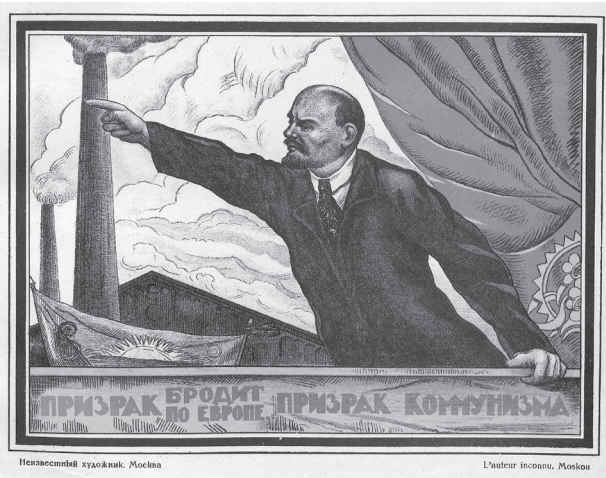


РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ



Серия «Русский Путь: pro et contra»
основана в 1993 году



Неизвестный художник, Москва

L'auteur inconnu, Moscou

В. И. ЛЕНИН: PRO ET CONTRA

*Образ и миф Ленина
в мировой литературе*

Антология

Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2022

Серия «РУССКИЙ ПУТЬ»

Серия основана в 1993 г.

Редакционная коллегия серии:

*Д. К. Богатырёв (председатель), В. Е. Багно,
А. А. Ермичёв, К. Г. Исупов (ученый секретарь),
А. А. Корольков, М. А. Маслин,
Р. В. Светлов, В. Ф. Фёдоров*

Ответственный редактор тома

Д. К. Богатырёв

Составители

К. М. Андерсон, О. В. Богданова



*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 21-011-43076 «Ленинизм
и ленинский миф как основа советской идеократии»*

В 11

В. И. Ленин: pro et contra. Образ и миф Ленина в мировой литературе, антология / Сост. К. М. Андерсон, О. В. Богданова. — СПб.: Изд-во РХГА, 2022. — 1120 с. — (Русский Путь).

ISBN 978-5-907613-14-0

Антология «В. И. Ленин: pro et contra. Образ и миф Ленина в мировой литературе» представляет собой емкий и обширный свод литературного материала, созданный писателями в СССР и далеко за его пределами в разные годы, вплоть до современности, и отражающий противоречивые — pro et contra — взгляды на личность, жизнь и деятельность вождя мирового пролетариата. Антология подразделяется на несколько разделов, каждый из которых отражает особые грани воплощения художественного образа В. И. Ленина в художественной и публицистической литературе.

Издание рассчитано как на специалистов-исследователей, так и на широкий круг читателей, интересующихся проблемами развития истории России, СССР и их литературного наследия XX–XXI вв.

© Андерсон К. М., Богданова О. В.,
составление, 2022

© Русская христианская гуманитарная
академия, 2022

© «Русский Путь», название серии, 1993

ISBN 978-5-907613-14-0



ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках книгу в серии «Русский Путь» — «В. И. Ленин: pro et contra. Образ и миф Ленина в мировой литературе, антология».

В 2019 году РХГА праздновала 30-летие своей научно-педагогической и просветительской деятельности. Серебряный юбилей отметила и серия «Русский Путь», являющаяся важным достижением РХГА. Число томов серии в 2019 году превысило полуторасотенный рубеж. «Русский Путь» открылся в 1994 году антологией о Н. Бердяеве. В результате четвертьвековой исследовательской и издательской работы перед читателями предстали своего рода «малые энциклопедии» о М. Ломоносове, Н. Карамзине, П. Чаадаеве, А. Пушкине, М. Лермонтове, Ф. Тютчеве, Н. Гоголе, В. Белинском, М. Бакунине, А. Сухово-Кобылине, А. Герцене, М. Салтыкове-Щедрине, Н. Чернышевском, И. Тургеневе, Л. Толстом, К. Леонтьеве, В. Ключевском, Вл. Соловьеве, В. Розанове, Н. Лескове, А. Чехове, П. Флоренском, В. Эрне, С. Булгакове, И. Ильине, М. Зощенко, М. Булгакове, В. Набокове, Н. Заболоцком, Д. Шостаковиче, А. Твардовском, Л. Гумилеве, Л. Шестове, В. Хлебникове, Б. Пастернаке, А. Ахматовой, М. Горьком и других. Готовятся книги о Н. Некрасове, Ф. Достоевском. В числе книг, посвященных деятелям искусства, — антология о П. Чайковском, Д. Шостаковиче, С. Эйзенштейне, Е. Бауэре, Л. Бетховене, М. Глинке, С. Прокофьеве.

Целью ряда книг представляет российскую рефлексию идейного наследия зарубежных мыслителей — Сократа, Платона, Августина, Данте, Боккаччо, Сервантеса, Макиавелли, Спинозы, Руссо, Вольтера, Дидро, Канта, Шеллинга, Гегеля, Маркса, Ницше, Бергсона, Витгенштейна, Хайдеггера, Рассела, в планах издание книги о Фрейте,

«Русский Путь» изначально задумывался как серия книг не только о мыслителях, но и демиургах отечественной культуры и истории. Удели свет антологии о творцах российской политической истории и государственности, царях — Алексее Михайловиче, Петре I, Екатерине II, Павле I, Александре I, Николае I, Александре II, Александре III и Николае II. Готовятся книги о Петре III и царице Софье. К ним примыкают антологии о выдающихся государственных деятелях — М. Кутузове, К. Победоносцеве, П. Столыпине. Опубликованы сборники, посвященные лидерам стран антигитлеровской коалиции — И. Сталину, У. Черчиллю,

Ф. Д. Рузвельту и Ш. де Голлю. К столетней годовщине Революции осуществлены издания антологий о ее демиургах — А. Керенском, Л. Троцком и В. Ленине. В 2018 году, к 100-летней годовщине начала Гражданской войны, вышли в свет книги о политически значимых лидерах Белого движения — А. И. Деникине, П. Н. Врангеле, А. В. Колчаке. Важным этапом развития «Русского Пути» является переход от персоналий к реалиям. Последние могут быть выражены различными терминами — универсалии культуры, мифологемы, формы общественного сознания, категории духовного опыта, типы религиозности. В последние годы работа в указанном направлении заметно оживилась.

Осуществлена публикация книг, отражающих культурологическую рефлексию важнейших духовных традиций в истории человечества — иудаизма, христианства, ислама, буддизма. Опубликованы антологии, посвященные российской рецепции христианских конфессий — православия, католицизма, протестантизма.

Проведена работа по осмыслению отечественной рефлексии ключевых идеологий Нового времени. Увидели свет пять антологий: «Либерализм: pro et contra», «Национализм: pro et contra», «Социализм: pro et contra», «Анархизм: pro et contra», «Консерватизм: pro et contra». Опубликованы четыре тома, отображающие оценку феномена русской классики. Первый том охватывает золотой век, второй — серебряный, третий — железный. Четвертый дает представление об отношении к русской классике в мировой культуре. В этом же ряду книги, посвященные переосмыслению ключевых исторических событий начала XX века: «Революция 1917 года: pro et contra» и «Красное и белое: pro et contra», представляющая все разнообразие позиций русской эмиграции по Гражданской войне.

За четверть века модель изданий трансформировалась от антологии, включающей классические тексты, к смежному жанру антологии/коллективной монографии, которая содержит тексты современных исследователей, подобранные в стилистике «pro et contra». Это обусловлено повышением уровня современных дискурсов, действующие исследователи вступают в полемику с классиками зачастую на равных. Обозначенные направления работы обычно дополняются созданием расширенных (электронных) версий антологий. Поэтапное структурирование таких информационных ресурсов может привести к формированию гипертекстовой мультимедийной системы «Энциклопедия самосознания русской культуры». Увеличение в составе серии доли книг, посвященных феноменам культуры, способствует достижению этой цели. Очерченная перспектива развития проекта является долгосрочной и требует значительных интеллектуальных усилий и ресурсов. Поэтому РХГА приглашает к сотрудничеству ученых, полагающих, что данный проект несет в себе как научно-образовательную ценность, так и духовный смысл.

I

**ЛЕНИН
ГЛАЗАМИ РОДНЫХ**



А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА*

О В. И. Ленине и семье Ульяновых**

<Фрагменты>

Детские и юношеские годы Владимира Ильича

Владимир Ильич родился в Симбирске 10 (22) апреля 1870 года. Он был третьим ребенком в семье.

Живой, бойкий и веселый, он любил шумные игры и беготню. Он не столько играл игрушками, сколько ломал их. Лет пяти он выучился читать, затем был подготовлен приходским учителем Симбирска к гимназии, куда и поступил в 1879 году осенью, девяти с половиной лет, в первый класс.

Учение давалось ему легко. С младших классов шел он лучшим учеником и, как таковой, получал при переходе из класса в класс первые награды. Они состояли в то время из книги с вытисненным на переплете золотом «За благонравие и успехи» и похвального листа. Кроме прекрасных способностей, лучшим учеником его делало серьезное и внимательное отношение к работе. Отец приучал к этому с ранних лет его, как и его старших брата и сестру, следя сам за их занятиями в младших классах. Большое значение имел также для маленького Володи пример отца, матери, постоянно занятых и трудящихся, и особенно старшего брата Саши. Саша был на редкость серьезный, вдумчивый и строго относящийся к своим обязанностям мальчик. Он отличался также не только твердым,

* *Ульянова-Елизарова А. И.* (1864–1935) — старшая сестра Владимира Ульянова. Один из организаторов Института Ленина и ИМЭЛ (Институт Маркса, Энгельса, Ленина).

** *Ульянова-Елизарова А. И.* В. И. Ульянов (И. Ленин). Краткий очерк жизни и деятельности. М., 1934. С. 136–146. «Детские и школьные годы Ильича» написаны в 1925. Книга, вышедшая в начальный период пропаганды ленинизма, предназначалась не только маленьким читателям, но и малограмотным взрослым. Первое издание «Воспоминаний об Ильиче» — 1926 г.

но и справедливым, чутким и ласковым характером и пользовался большой любовью всех младших. Володя подражал старшему брату настолько, что мы даже посмеивались над ним, — с каким бы вопросом к нему ни обратиться, он отвечал неизменно одно: «Как Саша». А если пример важен в детстве вообще, то пример несколько старших по возрасту братьев важнее примера взрослых.

Вследствие привычки серьезно относиться к делу, Володя, как он ни был шаловлив и боек, на уроках слушал внимательно. Эта большая внимательность, как отмечали в то время его учителя, вместе с бойкими способностями давала ему возможность хорошо усваивать еще в классе всякий новый урок, так что ему почти не приходилось повторять его дома. Помню, как быстро оканчивал он уроки в младших классах, а потом начинал шалить, ходил колесом и мешал нам, старшим, учившимся в той же комнате. Отец уводил его иногда к себе в кабинет, чтобы проверить уроки, и спрашивал латинские слова по всей тетради, но обычно Володя все знал. Много также читал он в детстве. Отцу присылали все вновь выходящие детские книги и журналы; подписывались мы и в библиотеке

Постоянной подругой игр Володи была сестра Оля (родилась 4 ноября 1871 г.). Очень способная, живая и бойкая девочка, она четырех лет выучилась около него читать и училась тоже очень легко и охотно. Кроме того, напоминая некоторыми чертами характера брата Сашу, Оля была чрезвычайно трудолюбива. Помню, как в одном из последних классов гимназии Володя, слушая из соседней комнаты бесконечные этюды Оли на фортепиано, сказал мне: «Вот чьей работоспособности можно позавидовать». Сознав это, Володя стал развивать и в себе трудоспособность, которой все мы удивлялись в его позднейшие годы и которая, наряду с его прекрасными способностями, помогла ему достичь таких блестящих результатов.

Охотно делился Владимир Ильич своими познаниями с товарищами по школе, объясняя им трудные уроки, задачи, сочинения и переводы с греческого и латинского. А в последних двух классах гимназии он, кроме своих уроков, занимался с одним учителем чувашенином, подготавливая его к выпускному экзамену для поступления в университет. Занимался бесплатно, так как платить последнему было нечем. И Владимир Ильич подготовил-таки своего ученика, несмотря на его малоспособность. Он сдал экзамен и смог заниматься в университете своей любимой математикой.

Пришлось и мне лично, на самой себе познакомиться с Владимиром Ильичем как с преподавателем, хотя он был на пять с лишним лет моложе меня и был еще гимназистом, а я была уже на предпоследнем курсе Высших женских курсов. И тем не менее он помог мне ликвидировать один прорыв. Весной 1886 года

мне предстояло сдать несколько экзаменов, в том числе латынь за целых три года. Латынь была тогда обязательным предметом на историко-словесном отделении. Преподавалась она в те годы преобладания классического образования очень казенно и была в забросе у меня, как и у большинства курсисток. Молодежь по окончании гимназической учебы тянулась, понятно, к чему-либо более живому и общественному, и я порывалась даже, чтобы бросить латынь, перейти в вольнослушательницы московских курсов. Когда этот план был оставлен, мне пришлось взяться за латынь всерьез, и я намечала подогнать ее во время зимних каникул, но ничего сделать не успела. А после смерти отца (12 января 1886 года) все занятия пошли у меня особенно туго, и латынь не двигалась с места. Тогда Володя предложил помочь мне в этом, несмотря на то что у него и у самого в предпоследнем классе гимназии было немало уроков и он занимался еще с учителем чувашской школы Охотниковым. Мальчик, которому не исполнилось еще 16 лет, взял на себя так легко и охотно эту новую обузу. И не только взял — мало ли за что готова бывает взяться сгоряча молодежь, чтобы бросить при первом же затруднении, — а вел занятия очень серьезно и усидчиво и продолжал бы их, если бы я не уехала в марте в Петербург. И вел их так внимательно, с такой живостью и интересом, что вовлек скоро в «противную латынь» и меня. Пройти предстояло много, требовалось прочесть и перевести Юлия Цезаря «О старости», а главное, знать и уметь объяснять все встречающиеся правила сложной латинской грамматики. Я испытывала, конечно, чувство неловкости, что не сумела преодолеть своего прорыва самостоятельно, а прибегла к помощи младшего брата, который сам-то умел работать без прорывов. Была тут, несомненно, и некоторая доза ложного самолюбия, что я стала заниматься под руководством младшего брата-гимназиста. Но занятия у нас пошли так оживленно, что скоро всякое чувство неловкости исчезло. Помню, что Володя отмечал для меня с увлечением некоторые красоты и особенности латинского стиля. Конечно, я слишком мало знала язык, чтобы уметь оценить их, и занятия сосредоточивались больше на объяснении разных грамматических форм, свойственных латинскому языку, как супинум герундий и герундив (отглагольное прилагательное и существительное), и изобретенных для более легкого запоминания изречений и стихотворений вроде (герундив):

Gutta cavat lapidem
Non vi sed saepe cadendo;
Sic homo sit doctus
Non vi sed multo studendo.

Капля камень долбит
Не силой, а частым паденьем,
Так человек становится ученым,
Не силой, а многим ученьем.

Помню, что я высказывала Володе сомнение, чтобы можно было пройти в такой короткий срок восьмилетний курс гимназии, но Володя успокаивал меня, говоря: «Ведь это в гимназиях, с беспотково поставленным преподаванием там, тратится на этот курс латыни восемь лет, — взрослый, сознательный человек вполне может пройти этот восьмилетний курс в два года», и в доказательство указывал мне, что пройдет его в два года с Охотниковым, и действительно прошел, несмотря на более чем посредственные способности последнего к изучению языков. Очень оживленно, с большой любовью к делу шли у нас занятия. Это не был первый ученик, усердно вызубривший уроки, — это был, скорее, молодой лингвист, умевший находить особенности и красоты языка.

Так как вкус к языковедению был присущ и мне также, я была очень скоро покорена, и эти занятия, перемежаемые веселым смехом Володи, очень подвинули меня вперед. Я сдала весной успешно экзамен за три года, а через несколько лет знание основ латыни облегчило мне изучение итальянского языка, которое дало мне возможность иметь заработок и доставило много удовольствия.

Любопытно отметить, что некоторые современные писатели находят в стиле Ленина сходство с латинским классическим стилем (см. статьи Эйхенбаума, Якубовского и Тынянова в журнале «Леф»).

В 1886 г., когда Володе не исполнилось еще 16 лет, умер его отец, Илья Николаевич, а годом позже семью постигло другое тяжелое несчастье: за участие в покушении на царя Александра III был арестован, приговорен к смертной казни и затем казнен — 8 мая 1887 г. — его старший любимый брат Александр. Несчастье это произвело сильное впечатление на Владимира Ильича, закалило его, заставило серьезнее задуматься над путями, которыми должна была идти революция. Собственно, уже и Александр Ильич стоял на перепутье между народолюбцами и марксистами. Он был знаком с «Капиталом» Карла Маркса, признавал намеченный им ход развития, что видно из составленной им партийной программы. Он вел кружки среди рабочих. Но почему в то время для социал-демократической работы еще не было. Рабочих было мало; они были разъединены и неразвиты; к ним тогда было трудно подступиться интеллигентам, да и гнет царского деспотизма был так силен, что за малейшую попытку общения с народом сажали в тюрьму, высылали в Сибирь. И не только с народом: если сту-

денты-товарищи организовывали какие-нибудь самые невинные кружки для чтения, для общения друг с другом, то кружки разгоняли, а студентов высылали на родину. Лишь те из молодежи, кто помышлял только о карьере да о спокойном проживании, мог оставаться безразличным к такому режиму. Все более честные, искренние люди рвались к борьбе, прежде всего, рвались хотя немного расшатать те тесные стены самодержавия, в которых они задыхались. Самым передовым это грозило тогда гибелью, но и гибель не могла утратить мужественных людей. Александр Ильич принадлежал к числу их. Он не только, не задумываясь, оставил университет и любимую науку (его прочили в профессора), когда почувствовал, что не в силах больше терпеть давящий всю страну произвол, но, не задумываясь, отдал и жизнь. Он взял на себя рискованные работы по подготовке снарядов и, признаваясь в этом на суде, думал только о том, чтобы выгородить товарищей.

Александр Ильич погиб как герой, и кровь его заревом революционного пожара озарила путь следующего за ним брата, Владимира.

Несчастье это случилось как раз в год окончания Володей гимназии.

Несмотря на свои тяжелые переживания, которые он сумел выносить с большой твердостью, Володя, как и сестра Оля, окончил в этом году гимназию с золотой медалью.

Естественно, что тучи от пронесшейся над семьей грозы сгустились и над головами остальных ее членов, что на следующего брата власти склонны были смотреть очень подозрительно, и можно было опасаться, что его ни в какой университет не пустят.

Тогдашний директор симбирской гимназии Ф. Керенский очень ценил Владимира Ильича, относился очень хорошо к умершему за год перед тем отцу его, Илье Николаевичу, и желал помочь талантливому ученику обойти эти препятствия. Этим объясняется та в высшей степени «добронравная» характеристика его, которая была направлена Керенским в Казанский университет и подписана другими членами педагогического совета. Покойный Илья Николаевич был очень популярной, любимой и уважаемой личностью в Симбирске, и семья его пользовалась вследствие этого большой симпатией. Владимир Ильич был красой гимназии. В этом характеристика Керенского совершенно верна. Правильно также указывает он, что это происходило не только вследствие талантности, но и вследствие усердия и аккуратности Владимира Ильича в исполнении требуемого, качеств, воспитанных той разумной дисциплиной, которая была положена в основу домашнего воспитания.

Керенский, конечно, с целью подчеркивает, что в основе воспитания лежала религия, так же как старается подчеркнуть «излишнюю замкнутость», «нелюдимость» Владимира Ильича Говоря, что «не было ни одного случая, когда Ульянов словом или делом вызвал бы непохвальное о себе мнение», Керенский даже грешит немного против истины. Всегда смелый и шаловливый, метко подмечавший смешные стороны в людях, брат часто подсмеивался и над товарищами, и над некоторыми преподавателями. Одно время Владимир Ильич взял мишенью для насмешек учителя французского языка, по фамилии Пор.

Этот Пор был очень ограниченный фат, говорят, повар по профессии, пролаза, женившийся на дочке симбирского помещика и пролезший через это в «общество». Он терся постоянно около директора или инспектора; порядочные педагоги относились к нему с пренебрежением. Разобиженный вконец, он настоял на четверке из поведения дерзкому ученику в четверть.

Ввиду того что брат был уже в седьмом классе, это происшествие пахло серьезным. Отец рассказал мне о нем зимой 1885 года, когда я приехала на каникулы, добавив, что Володя дал ему слово, что этого больше не повторится.

Но разве не в таких же пустяках коренилось часто исключение и порча всего жизненного пути непокорному юноше?! Отношение к отцу и ко всей семье, а также исключительная талантливость Владимира Ильича избавили его от этого.

На тех же соображениях, что и характеристика Керенского, основывалось решение моей матери не отпускать Владимира Ильича в университет одного, а переехать в Казань всей семьей.

В Казани была снята с конца августа 1887 года квартира в доме б. Ростовый, на Первой горе, откуда Владимир Ильич переехал через месяц со всей семьей на Ново-Комиссариатскую, в дом Соловьевой.

В те годы затишья и безвременья, когда «Народная воля» была уже разбита, социал-демократическая партия еще не зародилась в России и массы еще не выступали на арену борьбы, единственным слоем, в котором недовольство не спало, как в других слоях общества, а проявлялось отдельными вспышками, было студенчество.

В нем всегда находились честные, горячие люди, открыто возмущавшиеся, пытавшиеся бороться. И его поэтому давила всего сильнее лапа правительства. Обыски, аресты, высылки — все это обрушивалось всего сильнее на студентов. С 1887 года гнет еще усилился, вследствие попытки покушения на жизнь царя, произведенной весной этого года в Петербурге, участниками которой были почти одни студенты.

Мундиры, педея, самый тщательный надзор и шпионство в университете, удаление более либеральных профессоров, запрещение всяких организаций, даже таких невинных, как землячество, исключение и высылки многих студентов, бывших хотя сколько-нибудь на примете, — все это подняло настроение студентов с первых же месяцев академического года.

Волна так называемых «беспорядков» прошла с ноября по всем университетам. Докатилась она и до Казани.

Студенты Казанского университета собрались 4 декабря, шумно требовали к себе инспектора, отказывались разойтись; при появлении последнего предъявили ему ряд требований — не только чисто студенческих, но и политических. Подробности этого столкновения, переданные мне в свое время братом, не сохранились в моей памяти. Помню только рассказ матери, ходившей хлопотать о нем, что инспектор отметил Володю, как одного из активнейших участников сходки, которого он видел в первых рядах, очень возбужденного, чуть ли не со сжатыми кулаками. Владимир Ильич был арестован на квартире с 4 на 5 декабря и просидел несколько дней с другими арестованными при участке (всего 40 человек). Все они были высланы из Казани. В. В. Адоратский рассказывает о переданном ему позднее Владимиром Ильичем следующем разговоре с приставом, отвозившим его после ареста.

— Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена.

— Стена, да гнилая, ткни — и развалится, — ответил, не задумываясь, Владимир Ильич.

Вся история с исключением произошла очень быстро. Владимир Ильич был выслан в деревню Кокушкино, в 40 верстах от Казани, в благоприобретенное имение деда его по матери Александра Дмитриевича Бланка, где в то время проживала под гласным надзором сестра его Анна (пишущая эти строки), которой пятилетний гласный надзор в Сибири был заменен, по ходатайству матери, высылкой в эту деревню. Пятая часть этого имения принадлежала моей матери, и во флигеле одной из двух хозяйничавших там теток, очень холодном и неблагоустроенном, провела наша семья (некоторое время спустя мать с меньшими переселилась тоже в Кокушкино) зиму 1887/88 года.

Никаких соседей у нас не было. Провели мы зиму в полном одиночестве. Редкие приезды двоюродного брата да посещения исправника, обязанного проверять, на месте ли я и не пропагандирую ли я крестьян, — вот и все, кого мы видели. Владимир Ильич много читал — во флигеле был шкаф с книгами покойного дяди очень начитанного человека, были старые журналы с ценными статьями; кроме того, мы подписывались в казанской библиотеке,

выписывали газеты. Помню, каким событием были для нас оказии из города и как нетерпеливо раскрывали мы заветный пещер (корзинка местной работы), содержащий книги, газеты и письма. Равно и обратно при оказии пещер нагружался возвращаемыми книгами и почтой. Связано у меня с ним и такое воспоминание. Раз вечером все сидели за корреспонденцией, готовя почту, которую должен был забрать ранним утром в упакованном пещере работник тетки.

Мне бросилось в глаза, что Володя, обычно почти не писавший писем, строчит что-то большое и вообще находится в возбужденном состоянии. Весь пещер был нагружен; мать с меньшими уже улеглись, а мы с Володией сидели еще, по обыкновению, и беседовали. Я спросила, кому он писал. Оказалось, товарищу по гимназии, поступившему в другой — помнится, в один из южных — университет. Описал в нем, конечно, с большим задором студенческие беспорядки в Казани и спрашивал о том, что было в их университете.

Я стала доказывать брату никчемность отправки такого письма, совершенно бесплодный риск новых репрессий, которым он себя этим шагом подвергал. Но переубедить его было всегда нелегко. В повышенном настроении, прохаживаясь по комнате и с видимым удовольствием передавая мне те резкие эпитеты, которыми он награждал инспектора и других властей предрержащих, он подсмеивался над моими опасениями и не хотел менять решения. Тогда я указала ему на риск, которому он подвергает товарища, отправляя письмо такого содержания на его личный адрес, на то, что товарищ этот, может быть, находится тоже среди исключенных или состоящих на примете и подобное письмо принесет ухудшение его участи.

Тут Володя призадумался, а потом довольно быстро согласился с этим последним соображением, пошел в кухню и вынул, хотя и с видимым сожалением, из пещера злополучное письмо.

Позднее, летом, я имела удовольствие услышать от него в одной беседе по какому-то случаю между нами и двоюродной сестрой полусушутливое, полусерьезное заявление, что за один совет он мне благодарен. Это произошло после того, как он перечел провалявшееся несколько месяцев в его ящике письмо и подверг его уничтожению.

Кроме чтения Владимир Ильич занимался в Кокушкине с младшим братом, ходил с ружьем, зимой на лыжах. Но это была его первая, так сказать, проба ружья, и охота была всю зиму безуспешная. Я думаю, что это происходило и потому, что охотником в душе, как другие два брата мои, он никогда не был.

Но жизнь протекала, конечно, скучно в занесенном снегом флигельке, и тут-то и помогла Володе привычка к усиленным занятиям. Помню особенно ярко крутую, раннюю весну, после этой утомившей нас одинокой зимы, первую весну, проводимую нами в деревне. Помню долгие прогулки и беседы с братом по окрестным полям под аккомпанемент неумолчно заливавшихся невидимых жаворонков в небе, чуть пробивавшуюся зелень и белеший по оврагам снег...

Летом приехали двоюродные братья — у Володи появились товарищи для прогулок, охоты, игры в шахматы, но все это были люди без общественной жилки и интересными собеседниками для Володи быть не могли. Они, хотя и более старшие, сильно пасовали перед метким словцом и лукавой усмешкой Володи.

С осени 1888 года Владимиру Ильичу разрешено было переселиться в Казань, куда переехала мать с меньшими. Несколько позже дозволено было перебраться туда и мне.

<...>

Тайна шахматного столика

Шахматный столик для партий вчетвером с потайным выдвигающимся плоским ящичком служил хранилищем для нелегальных рукописей, писем и печатных материалов в нашей семье. Заказанный по рисунку, сделанному моим мужем, Марком Тимофеевичем Елизаровым, в 1900 году в Москве, он исколесил вместе с нами всю Россию, передвигаясь в Самару, Киев, Петербург, Саратов, Вологду, опять в Петербург и снова в Москву.

Первоначальная идея столика принадлежала Владимиру Ильичу, который со времени своего переезда в Петербург осенью 1893 года и начала нелегальной работы развивал мысль о необходимости каждому иметь у себя какое-нибудь потайное хранилище для нелегальщины. «Например, — говорил он, — круглый столик с выдолбленной ножкой».

В 1894–1895 годах он осуществил этот план, заказав в Петербурге через товарищей-рабочих, участвовавших в организации, такой столик. Его единственная толстая ножка, от которой шли, как обычно, три расходящиеся короткие ножки, была выдолблена. Точеная пуговица, которой оканчивалась ножка, отвертывалась, и в отверстие можно было засунуть довольно большой сверток.

Столик выдержал свой первый экзамен в ночь ареста Владимира Ильича 9 декабря 1895 года. Полиция не проникла в его тайну, и ничего нелегального поэтому у Владимира Ильича взято не было. Он перешел затем во владение Надежды Константиновны и у нее оправдал себя, будучи перевезен ко мне ее матерью после ее

ареста 9 августа 1896 года с содержимым: с переписанной частью объяснений к программе социал-демократической партии, которые Владимир Ильич посылал из тюрьмы написанными молоком между строк книги.

Продолжая работу по расшифровке и переписке объяснений, я также перед каждой ночью начинала результатами своей работы ножку столика, а законченные главы относила А. Н. Потресову, который передавал их в какую-то надежную квартиру. Так поступила я и с последним свертком переписанного, опустошив столик. Через пару дней мы должны были уехать с матерью на рождественские праздники в Москву, к остальной части семьи. Накануне или в день отъезда ко мне пришла А. М. Калмыкова и сообщила об аресте Потресова. Но программу, сказала она, он успел передать в верное хранилище. Помнится, что я говорила о столике Александре Михайловне. Но куда он попал и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Правда, он дал уже трещину от торопливо ввертываемой пуговицы и нуждался в ремонте.

Большим неудобством хранилища этой конструкции было то, что для вкладывания в него рукописей приходилось всякий раз переворачивать столик ножкой вверх. И вот муж мой надумал другую конструкцию, которая была осуществлена в шахматном столике. Тут приходилось вынимать только один ящичек, и дело шло так быстро, что иногда мы вкладывали кое-что уже после ночного звонка, возвещавшего о прибытии «гостей». Но обычно, не дожидаясь ночи, очищали при помощи столика квартиру. И постоянно в потайном ящичке что-нибудь да хранилось.

Этот столик выдержал еще более длительный экзамен. С 1902 года, когда были арестованы в Москве Марк Тимофеевич и Мария Ильинична, до февраля 1917 года, когда была арестована перед самой революцией я, ни разу, ни при одном из всех обысков, которым подвергалась наша семья, столик не выдал себя. Нас спрашивали иногда о содержимом его ящичков, мы приносили ключи и, как бы для проформы порывшись в наполнявших их разноцветных шахматах, ящички задвигали вновь и переходили к столам, содержавшим книги и бумаги.

Не раз было, что столик выручал нас от серьезных последствий. И он, можно сказать, спас меня и сестру Марию Ильиничну от каторги в Киеве в 1904 году, когда в его потайном ящичке хранился весь архив ЦК, выбранного на II съезде партии в 1902 году. Никаких данных против нас, кроме шпионских показаний, не оказалось, и мы были освобождены через полгода до окончания дела.

Последней перед революцией зимой 16–17 года у меня было на Широкой улице три обыска. Столик не вызвал, как и раньше,

ни малейшего подозрения, сохраняя и революционные листки местного происхождения, и номера заграничной газеты «Социал-демократ», и переписанные с химических чернил письма Ильича ко мне, к некоторым товарищам, в ЦК и в ПК партии, и черновики ответных ему писем. Переписка шла у нас с Ильичем без перерывов до самой революции.

Поистине столик заслужил себе пенсию!

Для хранения нелегалщины в небольших размерах — писем, адресов — имелись у нас и другие хранилища: папки и книжные переплеты из двойных листов картона, удобные также для перевозки; книжная полочка у сестры с полыми досками, крышка на кухонное ведро, зеркальце с выдолбленной задней доской.

В переплетах же книг, нот, альбомов получали мы из-за границы номера «Искры», «Вперед», «Пролетария» на специальной тонкой бумаге. Вклеивались эти номера в картон гравюр.

<...>

Письма В. И. Ленина к родным (1910–1916 гг.)

Письма Владимира Ильича с 1910 г. до революции сохранились у меня в меньшем количестве и не могут быть объединены вокруг какого-нибудь дела, как письма 1897–1899 или письма 1908–1909 гг.

От 1910 г., когда я много кочевала, прежде чем основалась в Саратове, осталось два письма Владимира Ильича от 13 февраля 1910 г. к М. А. Ульяновой в Москву и от 2 мая ко мне, А. И. Елизаровой, в Саратов. В первом из них он говорит о «делишках», от которых «освободился», имея в виду пленум ЦК в январе 1910 г. Там же благодарит он за посланные ему шахматы. Эти шахматы, являвшиеся у нас семейной драгоценностью, мать послала ему как дорогие по памяти: они были выточены собственноручно отцом еще в бытность его в Нижнем Новгороде, и в них играли всегда и отец и братья. Шахматы эти после ареста Владимира Ильича при начале мировой войны, а затем поспешного отъезда его из Кракова остались там и пропали.

В письме ко мне он выражает желание иметь хоть изредка «весть “из глубины России” про то, что делается в новой деревне. Сведений об этом мало, и просто побеседовать даже с знающим человеком было бы очень приятно». По этому поводу Владимир Ильич выражает сожаление, что «алакаевский сосед» (А. А. Преображенский), которому он шлет привет, «если удастся его увидеть», такой абсолютный враг переписки.

Шлет он привет и «северному маньчжурцу», под которым подразумевает своего старого самарского приятеля А. П. Складенко.

Владимир Ильич называет его «маньчжурцем», потому что он провел несколько лет в Маньчжурии, и «северным», потому что в то время он находился в ссылке в Вологодской губ. Его жена с ребенком жила тогда в Саратове, и через нее посылала я Владимиру Ильичу и от него обратно приветы Скляренко. Затем Владимир Ильич пишет о М. Ф. Владимирском — моем товарище по работе в первом Московском комитете РСДРП, находившемся тогда в эмиграции.

Та «сугубая склока», о которой он пишет в конце, из-за которой «из рук вон плохо идут занятия», обозначает разногласия с Заграничным бюро ЦК и с группой «Вперед». Этим же неоднократно высказываемым Владимиром Ильичем желанием получить сведения и рассказы о впечатлениях от деревни и от Волги были вызваны подробные письма с такими рассказами, которые посылал ему Марк Тимофеевич Елизаров. В своем ответном письме от 3 января 1911 г. Владимир Ильич высказывает свое удовольствие по поводу двух таких писем Марка Тимофеевича и извиняется за неаккуратность ответов, вызываемую особенно «склочным» временем (продолжение тех же разногласий).

В том же письме Владимир Ильич советует сестре Марии Ильичичне «не рваться в отъезд», то есть не стремиться в Москву, где после работы 1909–1910 гг. и обыска там весной 1910 г., а главное, после ареста в декабре 1910 г. С. Н. Смидович и А. П. Смирнова ей было неудобно поселяться (об этом аресте предупреждает в письме от 1 февраля Надежда Константиновна: «В Москве заболела Танина мать»).

«Материальные условия продолжают быть неважными: издателя не нашел, а также нет ответа относительно статьи из «Современного мира» В ответ на это сообщение о плохом положении финансов мать предлагала, очевидно, посылать ему из своей пенсии, потому что в следующем письме от 1 февраля 1911 г. Владимир Ильич спешит успокоить ее, сообщая, что теперь нужды нет и что он просит ее не посылать ему денег и из пенсии своей не экономить. Сообщает он также, что продолжает получать то «жалованье» о котором говорил ей в Стокгольме. Относительно книги по аграрному вопросу Владимир Ильич сообщает, что написал Горькому и надеется на благоприятный ответ. Книгу эту так и не удалось устроить. По поводу нее же пишет, очевидно, Владимир Ильич о неудаче моих переговоров со Львовичем.

Осенью 1911 г. — в октябре-ноябре — мне удалось побывать за границей, и я провела недели две в Париже, у Владимира Ильича. Нашла, что он живет плохо в материальном отношении, питается недостаточно и, кроме того, сильно обносился. Я стала

убеждать его пойти со мною на следующее утро в магазин, чтобы купить необходимое ему зимнее пальто. Но он категорически отказался, и я, уже не ожидая его, была удивлена, когда услышала из-под окна моей комнаты, выходящей во дворик, его оклик в условленный час. Оказалось, что Надя после моего ухода убедила его принять мое предложение. При покупке Владимир Ильич отказывался от всего более дорогого, и только убеждения приказчика, что одно пальто является «inusable» (неизносимым), заставило его остановиться на нем. Но тужурку, которую я считала тоже необходимой ему, он решительно отказался покупать.

Заметила я также в это посещение Владимира Ильича, что и настроение его было менее жизнерадостным, чем обычно. Как-то раз во время прогулки вдвоем он сказал: «Удастся ли еще дожить до следующей революции?» И вид у него был тогда печальный, похожий на ту фотографию, что была снята с него в 1895 г. в охранке. Это было время тяжелой реакции: симптомы возрождения, как факты выхода «Звезды» и «Мысли», только еще намечались.

Выяснив условия посылок съестного из России за границу, я посылала ему в Париж мясное (ветчину, колбасу). По поводу домашней запеченной ветчины он выразился в одном несохранившемся письме, что это «превосходная снедь», из чего можно было заключить о разнице между этим мясом и тем, которым ему приходилось питаться в Париже. В Австрию пересылка мясного не разрешалась, и поэтому по переезде его в Краков я посылала ему рыбное (икру, балык, сельди и т. п.) и сладкое, которое он сам, конспиративно от Нади, просил послать ей. Об этих «гостинцах» упоминают в письмах от 1912 и 1913 гг. и он, и Надежда Константиновна

Как известно, никакой статьи Владимира Ильича в 1911 г. в «Современном мире» напечатано не было, но что в этом году статья его обсуждалась редакцией журнала, это подтверждает определенно Вл. Дм. Бонч-Бруевич. Только он не может вспомнить, каково было ее заглавие и что случилось с нею. А. Е.

Письма Владимира Ильича от мая и июня 1912 г. говорят об аресте сестры Марии Ильиничны и меня. Арест этот, оставивший мою мать опять — в третий раз в ее преклонные годы (ей было тогда уже 77 лет) — совершенно одну, сильно обеспокоил, как видно по письмам, Владимира Ильича.

Сестра была арестована тогда, между прочим, в связи с Пражской — в январе 1912 г. — конференцией, на которой был делегат и из Саратова, и после пяти месяцев предварительного заключения пошла на три года в Вологодскую губернию. Был дан приказ об аресте — независимо от результатов обыска — всех нас троих,

живших тогда вместе: сестры, меня и мужа моего, Марка Тимофеевича. Мы с мужем в нелегальной саратовской организации тогда не участвовали, но уже жизнь вместе была достаточна для ареста. Кроме того, имел, конечно, значение и факт постоянных сношений всех нас с Владимиром Ильичем. Из архива департамента полиции выужено пока за рассматриваемый период три перлюстрированных письма Владимира Ильича — по одному за 1910, 1912 и 1913 гг. Письма эти были посланы на прямые адреса — обычно на адрес матери. Из них только письмо 1913 г., имеющееся и в моей коллекции, не касалось совершенно политических вопросов. Письмо от 1 февраля 1910 г. рассказывает о попытке объединения с меньшевиками и о закрытии фракционного органа;³ открытка от 24 марта 1912 г. могла, конечно, иметь непосредственное влияние на мой арест, так как в ней прямо повествовалось о «последней конференции» и о том, как все против нее ополчились, «так что дело буквально до драки доходило на здешних собраниях».

Марк Тимофеевич был во время производства обыска в отъезде, — разъезжал по службе страхового агента, а так как у него было больное сердце, вызвавшее осенью 1911 г. экстренную поездку в Наугейм, а в саратовской тюрьме было тогда скверное, «каторжное» положение, то мать выехала на пароходную пристань, чтобы предупредить его, и он проехал мимо Саратова и вообще поколесил по Волге до моего освобождения, которое произошло уже через три недели. Кроме того, что я в местной организации не состояла, на жандармов произвел, очевидно, впечатление слабый вид моей матери, когда она пришла хлопотать о нас. Мать рассказывала, что ей стало тогда дурно в жандармском.

С осени 1912 г., со времени переезда в Краков, настроение Владимира Ильича сильно поднялось. Он пишет, что они живут лучше, чем в Париже, — отдыхают нервы, больше литературной работы, меньше склоки. Отмечает, что Горький настроен теперь к ним менее недружелюбно, запрашивает, осталась ли нераспроданной его философская книга. «Мы бы могли, вероятно, найти теперь еще способ сбыта и договориться об этом с издателем» — и просит сообщить ему для этого адрес издателя Крумбюгеля. Пишет Владимир Ильич о предположении издавать брошюры при «Правде» и чувствует себя, видимо, уже ближе к России: зовет Марка Тимофеевича к ним на курорт, в Закопане, сообщая, что из Варшавы имеются туда прямые поезда, зовет и меня: «Если поедешь к Мите в Крым, то, я надеюсь, ты заглянешь и к нам — тут уже почти по дороге», дает мысль, что приграничные жители могут переезжать за 30 коп. Конечно, об этом я, когда мать была

исключительно на моих руках и я должна была перевезти ее в Вологду, и думать не могла. Но следует отметить также, что письмо это было перлюстрировано и что в конце доставленной нам копии из дела департамента полиции значится: «На подлинной автограф, снятый на кальку: «Крепко жму руку. Твой В. У.» О материальных условиях Владимир Ильич пишет, что они пока сносны, но очень ненадежны. Он говорит, что связей с издателями у него, увы, никаких нет. Это в ответ на письмо матери, которая писала о желательности какой-либо переводной работы для сестры Марии Ильиничны в ссылку.

Возобновляет Владимир Ильич в Поронине катание на коньках, вспоминая при этом Симбирск и Сибирь. Вообще жизнью как в Кракове, так и в предместье его, Поронине, доволен и пишет, что переселяться никуда не думает, — «разве война выгонит, но в нее я не очень верю». Последнее утверждение, что в войну он не верит, повторяется у него в письмах из Кракова дважды

С осени 1913 г. я поселилась в Петербурге, была секретарем и членом редакции журнала «Просвещение», работала в «Правде», а с основания журнала «Работница» состояла, вследствие ареста других членов редакции, фактически почти единственным редактором ее. В тот год у меня была большая переписка с Владимиром Ильичем — и химическая, по партийным делам, и главным образом по литературным, — на редакцию «Просвещение» он писал мне на псевдоним Андрею Николаевичу, а я на Deckadresse, без обращения, и подписываясь тем же псевдонимом, на который он писал мне.

Легальные письма 1914 и 1915 гг. говорят опять усиленно о приискании работы для заработка. В данном случае в заказном письме, прошедшем, как видно по конверту, через военную цензуру, Владимир Ильич просит Марка Тимофеевича устроить издание педагогической энциклопедии — работы, которую наметила себе и за которую собиралась засесть вплотную Надежда Константиновна. Из того, что с подысканием издателя Владимир Ильич просит очень поспешить, видно, что материальные условия у них с переездом в Швейцарию были очень неважны. Он просит поговорить сначала с «прежним издателем» — очевидно, с В. Д. Бонч-Бруевичем с которым я действительно говорила тогда и с которым мы и теперь припомним об этих переговорах и о том, что из них ничего не вышло. В. Д. говорит, что идея такой энциклопедии была тогда и у Веры Михайловны Бонч-Бруевич, но что провести по тем временам в жизнь ничего нельзя было. Обращались ли с этим делом мы с мужем еще к кому-нибудь или советовались ли с кем-нибудь, я теперь уже не помню. Спрашивает Владимир Ильич о журнале

«Просвещение», который мы собирались в 1914 и в 1915 г. возобновить; из этих попыток, конечно, ничего не вышло. Он огорчается ростом шовинизма в разных странах, пишет, что Плеханов, которого «опять хвалят либералы, вполне заслужил это позорное наказание», и возмущается «срамным и бесстыдным» номером «Современного мира», имея в виду статью Н. Иорданского «Да будет победа!». Очевидно, в годы войны переписка была скуднее, и многие письма пропадали. В единственной сохранившейся открытке Владимира Ильича от 1915 г. он особенно — «очень, очень и очень» — благодарит за книгу, за интереснейшее собрание педагогических изданий и за письмо. «Интереснейшим» собрание педагогических изданий было, конечно, вследствие написанного меж его строк химического письма, которое я предпочитала тогда писать в книгах и которое благополучно проскочило таким образом военную цензуру. В годы войны всякая корреспонденция в ЦК, из-за сокращения нелегальной работы, из-за отправки многих работников в ссылку, из-за большей затрудненности всяких сношений, сильно сократилась, и Надежда Константиновна писала мне в 1915 или в 1916 г. химически: «Бывало, писем по 300 в месяц получали, а теперь пишет почти что один Джемс».

Таким образом, к концу периода моей переписки с Владимиром Ильичем — во время войны — я услышала то же, что слышала в самом начале его, в годы сибирской ссылки, а именно что корреспондентом нелегальным, «химическим», так сказать, была почти только одна я.

<...>

Н. К. КРУПСКАЯ*

Мой муж — Владимир Ленин

<Фрагмент>

Часть I Введение

Печатаемые в данном сборнике воспоминания охватывают период с 1894 по 1917 г., со времени моей первой встречи с Вла-

* *Надежда Константиновна Крупская (1869–1939)* — супруга В. И. Ленина, доктор педагогических наук, один из создателей советской системы народного образования. Первые воспоминания о Ленине вышли в 1925 г. в изд-ве «Правда». Занималась проблемами определения целей

димиrom Ильичем в 1894 г. и до Октябрьской революции 1917 г. Мне часто говорят, что написаны мои воспоминания очень скупо. Конечно, об Ильиче всем хочется знать как можно больше, да и описываемая эпоха — эпоха громадной исторической значимости. Она охватывает период развертывания массового рабочего движения, создания крепкой, принципиально выдержанной, закаленной тяжелейшими условиями подпольной работы партии рабочего класса. Это были годы непрерывного нарастания сознательности и организованности рабочего класса, годы отчаянной борьбы, закончившейся победой пролетарской социалистической революции.

Об этой эпохе и об Ильиче можно написать горы интереснейших статей и книг. Целью моих воспоминаний было дать картину той обстановки, в которой приходилось жить и работать Владимиру Ильичу.

Я писала только о том, что особенно живо осталось в памяти. Воспоминания написаны в два приема. Первая часть, охватывающая период 1894–1907 гг., написана в первые годы после смерти Владимира Ильича. Сюда входят воспоминания, касающиеся работы в Питере, времени пребывания в ссылке, мюнхенского и лондонского периодов первой эмиграции, времени перед II съездом партии, самого II съезда и периода непосредственно после него — до 1905 г. Затем идут воспоминания о 1905 г. за границей и в России и, наконец, о 1905–1907 гг. Я писала их большею частью в Горках, бродя по опустелым комнатам горкинского большого дома и по зарастающим травой дорожкам парка, где провел последний год своей жизни Ильич. 1894–1907 гг. были годами пафоса молодого рабочего движения, и невольно мысли бежали к этим годам, когда закладывался фундамент нашей партии. Я писала первую часть почти исключительно по памяти. Вторая часть написана несколько лет спустя.

За эти годы пришлось много учиться, усиленно перечитывать Ленина, учиться связывать в тесный узел прошлое с настоящим, учиться жить с Ильичем без Ильича. И вторая часть вышла иная, чем первая. В первой части больше бытового, во второй — больше о том написано, чем жил, о чем думал Владимир Ильич. Мне кажется, что лучше читать обе части вместе. Первая часть ограниче-

и задач коммунистического воспитания; организацией форм детского коммунистического движения и др. Организовала общества «Долой неграмотность», «Друг детей» и др. Боролась с детской беспризорностью, занималась детдомами и дошкольным образованием. Редактировала педагогические журналы.

ски связана со второй, без первой части вторая может показаться менее «воспоминательной», чем она есть на самом деле.

Когда писалась вторая часть воспоминаний, вышло уже в печати много других воспоминаний, сборников, вышло второе издание Сочинений Ленина. Это наложило на воспоминания о второй эмиграции определенную печать. Можно было лучше проверять себя. Кроме того, период, которого касаются эти воспоминания, 1908–1917 гг., гораздо сложнее, чем предыдущий.

Первый период (1893–1907 гг.) охватывал первые шаги рабочего движения, борьбу за создание партии, нарастание первой революции, направленной главным образом против царизма, и разгром этой революции.

Второй период — годы второй эмиграции — куда сложнее. Это были годы подытоживания революционной борьбы первого периода, годы борьбы с реакцией. Это были годы бешеной борьбы против оппортунизма во всех его видах и формах, это была борьба за необходимость приспособлять свою работу ко всяким условиям, не снижая ее революционного содержания.

Годы второй эмиграции были годами, когда надвигалась мировая война, когда оппортунизм рабочих партий привел к краху II Интернационала, когда перед мировым пролетариатом встали совершенно новые задачи, когда нужно было прокладывать новые пути, камешек по камешку закладывать фундамент III Интернационала, когда нужно было начинать в труднейших условиях борьбу за социализм. В эмиграции все эти задачи выступали во всей своей конкретности и остроте.

Вне понимания этих задач нельзя понять, как вырос Ленин в вождя Октября, в вождя мировой революции. Вожди складываются и вырастают в борьбе, в ней черпают свою силу. Воспоминания об Ильиче за годы эмиграции нельзя писать, не связывая каждой мелочи его жизни с той борьбой, которую он вел за эти годы.

За девять лет второй эмиграции Ильич остался таким же, каким был. Он так же много и организованно работал, зорко вглядывался в каждую мелочь, все связывал в один узел, так же умел глядеть правде в глаза, как бы горька она ни была. Он, как и раньше, ненавидел всякий гнет и эксплуатацию, так же был предан делу пролетариата, делу трудящихся, так же близко к сердцу принимал их интересы, и вся его жизнь была подчинена интересам дела, само собой это выходило, иначе жить он не мог. Он так же горячо и резко боролся против оппортунизма, против каких бы то ни было сматываний удочек. Он по-прежнему рвал с ближайшими друзьями, если видел, что они тащат движение назад, умел просто, по-товарищески, подойти к вчерашнему противнику,

если это нужно для дела, по-прежнему говорил все начистоту, напрямик. По-прежнему любил он природу, пушистый весенний лес, горные тропы и озера, шум большого города, рабочую толпу, любил товарищей, движение, борьбу, жизнь во всей ее многогранности. Тот же Ильич, только если наблюдать его изо дня в день, заметишь, что стал он сдержаннее, еще внимательнее к людям, подолгу ходит задумавшись, и, когда оторвешь его от его мыслей, печалью какой-то светятся в первую минуту его глаза.

Трудны были годы эмиграции, унесли они у Ильича немало сил, но выковали из него того борца, который нужен был массам, который повел их к победам.

В Питере. 1893–1898 гг.

Владимир Ильич приехал в Питер осенью 1893 г. но я познакомилась с ним не сразу. Слышала я от товарищей, что с Волги приехал какой-то очень знающий марксист, затем мне принесли тетрадку «о рынках», порядком-таки зачитанную. В тетрадке были изложены взгляды, с одной стороны, нашего питерского марксиста, технолога Германа Красина, с другой — взгляды приезжего волжанина. Тетрадка была согнута пополам: на одной стороне растрепанным почерком, с помарками и вставками, излагал свои мысли Г. Б. Красин, на другой — старательно, без помарок, писал свои примечания и возражения приезжий.

Вопрос о рынках тогда очень интересовал всех нас, молодых марксистов.

В питерских марксистских кружках в это время стало уже от-кристаллизовываться особое течение. Суть его заключалась в том, что процессы общественного развития представителям этого течения казались чем-то механическим, схематическим. При таком понимании общественного развития отпадала совершенно роль масс, роль пролетариата. Революционная диалектика марксизма выбрасывалась куда-то за борт, оставались мертвые «фазы развития». Конечно, сейчас каждый марксист сумел бы опровергнуть эту «механистическую» точку зрения, но тогда наши питерские марксистские кружки весьма волновались по этому поводу. Мы были еще очень плохо вооружены — многие из нас не знали из Маркса, например, ничего, кроме первого тома «Капитала», даже «Коммунистического манифеста» в глаза не видали и лишь инстинктом чувствовали, что эта «механистичность» — прямая противоположность живому марксизму.

Вопрос о рынках стоял в тесной связи с этим общим вопросом понимания марксизма.

Сторонники «механистичности» обычно очень абстрактно подходили к вопросу.

С тех пор прошло больше тридцати лет.

Тетрадка, о которой идет речь, к сожалению, не сохранилась. Я могу говорить только о том впечатлении, какое она произвела на нас.

Вопрос о рынках в его трактовке приезжим марксистом ставился архиконкретно, связывался с интересами масс, чувствовался во всем подходе именно живой марксизм, берущий явления в их конкретной обстановке и в их развитии.

Хотелось поближе познакомиться с этим приезжим, узнать поближе его взгляды.

Увидала я Владимира Ильича лишь на масленице. На Охте у инженера Классона, одного из видных питерских марксистов, с которым я года два перед тем была в марксистском кружке, решено было устроить совещание некоторых питерских марксистов с приезжим волжанином. Для ради конспирации были устроены блины. На этом свидании, кроме Владимира Ильича, были: Классон, Я. П. Коробко, Серебровский, Ст. Ив. Радченко и другие; должны были прийти Потресов и Струве, но, кажется, не пришли. Мне запомнился один момент. Речь шла о путях, какими надо идти. Общего языка как-то не находилось. Кто-то сказал — кажется, Шевлягин, — что очень важна вот работа в комитете грамотности. Владимир Ильич засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех — я потом никогда не слыхала у него такого смеха:

«Ну, что ж, кто хочет спасать отечество в комитете грамотности, что ж, мы не мешаем».

Надо сказать, что наше поколение подростками еще было свидетелями схватки народовольцев с царизмом, свидетелями того, как либеральное «общество» сначала всячески «сочувствовало», а после разгрома партии «Народная воля» трусливо поджало хвост, боялось всякого шороха, начало проповедь «малых дел».

Злое замечание Владимира Ильича было понятно. Он пришел сговариваться о том, как идти вместе на борьбу, а в ответ услышал призыв распространять брошюры комитета грамотности.

Потом, когда мы близко познакомились, Владимир Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось «общество» к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы. Тогда еще не было железной дороги из Симбирска, матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадах до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать попутчика — никто не захотел ехать с матерью арестованного.

Эта всеобщая трусость произвела, по словам Владимира Ильича, на него тогда очень сильное впечатление.

Это юношеское переживание, несомненно, наложило печать на отношение Владимира Ильича к «обществу», к либералам. Он рано узнал цену всякой либеральной болтовни.

На «блинах» ни до чего не договорились, конечно. Владимир Ильич говорил мало, больше присматривался к публике. Людям, называвшим себя марксистами, стало неловко под пристальными взорами Владимира Ильича.

Помню, когда мы возвращались, идя вдоль Невы с Охты домой, мне впервые рассказали о брате Владимира Ильича, бывшем народовольце, принимавшем участие в покушении на убийство Александра III в 1887 г. и погибшем от руки царских палачей, не достигнув еще совершеннолетия.

Владимир Ильич очень любил брата. У них было много общих вкусов, у обоих была потребность долго оставаться одному, чтобы можно было сосредоточиться. Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, и когда заходил к ним кто-либо из многочисленной молодежи — двоюродных братьев или сестер — их было много, у мальчиков была излюбленная фраза: «Осчастливьте своим отсутствием». Оба брата умели упорно работать, оба были революционно настроены. Но сказывалась, вероятно, разница возрастов. Александр Ильич не обо всем говорил с Владимиром Ильичем.

Вот что рассказывал Владимир Ильич: — Брат был естественником. Последнее лето, когда он приезжал домой, он готовился к диссертации о кольчатых червях и все время работал с микроскопом. Чтобы использовать максимум света, он вставал на заре и тотчас же брался за работу. «Нет, не выйдет из брата революционера, подумал я тогда, — рассказывал Владимир Ильич, — революционер не может уделять столько времени исследованию кольчатых червей». Скоро он увидел, как он ошибся.

Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы.

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, причинила бы ему только глубокое горе или, в лучшем случае, вызвала бы в нем решимость и стремление идти по пути брата. При данных условиях судьба брата обострила лишь работу его мысли, выработала в нем необычайную трезвость, умение глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам.

Осенью 1894 г. Владимир Ильич читал в нашем кружке свою работу «Друзья народа» Помню, как всех захватила эта книга. В ней с необыкновенной ясностью была поставлена цель борьбы.

«Друзья народа» в отгектографированном виде потом ходили по рукам под кличкой «желтеньких тетрадок». Они были без подписи. Их читали довольно широко, и нет никакого сомнения, что они оказали сильное влияние на тогдашнюю марксистскую молодежь. Когда в 1896 г. я была в Полтаве, П. П. Румянцев, бывший в те времена активным социал-демократом, только что вышедшим из тюрьмы, характеризовал «Друзей народа» как наилучшую, наиболее сильную и полную формулировку точки зрения революционной социал-демократии.

Зимой 1894/95 г. я познакомилась с Владимиром Ильичем уже довольно близко. Он занимался в рабочих кружках за Невской заставой, я там же четвертый год учительствовала в Смоленской вечерне-воскресной школе и довольно хорошо знала жизнь Шлиссельбургского тракта. Целый ряд рабочих из кружков, где занимался Владимир Ильич, были моими учениками по воскресной школе: Бабушкин, Боровков, Грибакин, Бодровы — Арсений и Филипп, Жуков и др. В те времена вечерне-воскресная школа была прекрасным средством широкого знакомства с повседневной жизнью, с условиями труда, настроением рабочей массы. Смоленская школа была на 600 человек, не считая вечерних технических классов и примыкавших к ней школ женской и Обуховской. Надо сказать, что рабочие относились к «учительницам» с безграничным доверием: мрачный сторож громовских лесных складов с просиявшим лицом докладывал учительнице, что у него сын родился; чахоточный текстильщик желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха; рабочий-сектант, искавший всю жизнь бога, с удовлетворением писал, что только на страстной узнал он от Рудакова (другого ученика школы), что бога вовсе нет, и так легко стало, потому что нет хуже, как быть рабом божьим, — тут тебе податься некуда, рабом человеческим легче быть — тут борьба возможна; напивавшийся каждое воскресенье до потери человеческого облика табачник, так насквозь пропитанный запахом табака, что, когда наклонилась к его тетрадке, голова кружилась, писал каракулями, пропуская гласные, — что вот нашли на улице трехлетнюю девчонку, и живет она у них в артели, надо в полицию отдавать, а жаль; приходил одноногий солдат и рассказывал, что Михаила, который у вас прошлый год грамоте учился, надорвался над работой, помер, а помирая, вас вспоминал, велел поклониться и жить долго приказал; рабочий-текстильщик, горой стоявший за царя и попов, предупреждал, чтобы «того, черного,

остерегаться, а то он все на Гороховую шляется»^[1]; пожилой рабочий толковал, что никак он из церковных старост уйти не может, «потому что больно попы народ обдувают и их надо на чистую воду выводить, а церкви он совсем даже не привержен и насчет фаз развития понимает хорошо» и т. д. и т. п. Рабочие, входившие в организацию, ходили в школу, чтобы приглядываться к народу и намечать, кого можно втянуть в кружки, вовлечь в организацию. Для них учительницы не все уже были на одно лицо, они уж различали, кто из них насколько подготовлен. Если признают, что учительница «своя», дают ей знать о себе какой-нибудь фразой, например, при обсуждении вопроса о кустарной промышленности скажут: «Кустарь не может выдержать конкуренции с крупным производством», или вопрос загнут: «А какая разница между петербургским рабочим и архангельским мужиком?» — и после этого смотрят уж на учительницу особым взглядом и кланяются ей по-особенному: «Наша, мол, знаем».

Что случится на тракту, сейчас же все рассказывали, знали — учительницы передадут в организацию.

Точно молчаливый уговор какой-то был.

Говорить в школе можно было, в сущности, обо всем, несмотря на то, что в редком классе не было шпика; надо было только не употреблять страшных слов «царь», «стачка» и т. п., тогда можно было касаться самых основных вопросов. А официально было запрещено говорить о чем бы то ни было: однажды закрыли так называемую повторительную группу за то, что там, как установил нагрянувший инспектор, преподавали десятичные дроби, разрешалось же по программе учить только четырем правилам арифметики.

Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Я была в то время влюблена в школу, и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об учениках, о Семянниковском заводе, о Торнтоне, Максвеле и других фабриках и заводах Невского тракта. Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих, по отдельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой. Большинство интеллигентов того времени плохо знало рабочих. Приходил интеллигент в кружок и читал рабочим как бы лекцию. Долгое время в кружках «проходила» по рукописному переводу книжка Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности

и государства». Владимир Ильич читал с рабочими «Капитал» Маркса, объяснял им его, а вторую часть занятий посвящал вопросам рабочим об их работе, условиях труда и показывал им связь их жизни со всей структурой общества, говоря, как, каким путем можно переделать существующий порядок. Увязка теории и практики — вот что было особенностью работы Владимира Ильича в кружках. Постепенно такой подход стали применять и другие члены нашего кружка. Когда в следующем году появилась виленская гектографированная брошюра «Об агитации», — почва для ведения листковой агитации была уже вполне подготовлена, надо было только приступить к делу. Метод агитации на почве повседневных нужд рабочих в нашей партийной работе пустил глубокие корни. Я поняла вполне всю плодотворность этого метода только гораздо позже, когда жила в эмиграции во Франции и наблюдала, как во время громадной забастовки почтарей в Париже французская социалистическая партия стояла совершенно в стороне и не вмешивалась в эту стачку. Это-де дело профсоюзов. Они считали, что дело партии — только политическая борьба. Необходимость увязки экономической и политической борьбы была им совершенно неясна.

Многие из товарищей, работавших тогда в Питере, видя эффект листковой агитации, в увлечении этой формой работы забыли, что это одна из форм, но не единственная форма работы в массе, и пошли по пути пресловутого «экономизма».

Владимир Ильич никогда не забывал о других формах работы. В 1895 г. он пишет брошюру «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». В этой брошюре Владимир Ильич дал блестящий образец того, как надо было подходить к рабочему-средняку того времени и, исходя из его нужд, шаг за шагом подводить его к вопросу о необходимости политической борьбы. Многим интеллигентам эта брошюра показалась скучной, растянутой, но рабочие зачитывались ею: она была им понятна и близка (брошюра была напечатана в народовольческой типографии и распространена среди рабочих). В то время Владимир Ильич внимательно изучал фабричные законы, считая, что, объясняя эти законы, особенно легко выяснить рабочим связь их положения с государственным устройством. Следы этого изучения видны в целом ряде статей и брошюр, написанных в то время Ильичем для рабочих, и в брошюре «Новый фабричный закон», в статьях «О стачках», «О промышленных судах» и др.

Хождение по рабочим кружкам не прошло, конечно, даром: началась усиленная слежка. Из всей нашей группы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части конспирации: он знал

проходные двory, умел великолепно надувать шпионов, обучал нас, как писать химией в книгах, как писать точками, ставить условные знаки, придумывал всякие клички. Вообще у него чувствовалась хорошая народовольческая выучка. Недаром он с таким уважением говорил о старом народовольце Михайлове, получившем за свою конспиративную выдержку кличку Дворник. Слежка все росла, и Владимир Ильич настаивал, что должен быть намечен «наследник», за которым нет слежки и которому надо передать все связи. Так как я была наиболее «чистым» человеком, то решено было назначить «наследницей» меня. В первый день пасхи нас человек 5–6 поехало «праздновать пасху» в Царское Село к одному из членов нашей группы — Сильвину, который жил там на уроке. Ехали в поезде как незнакомые. Чуть не целый день просидели над обсуждением того, какие связи надо сохранить. Владимир Ильич учил шифровать. Почти полкниги исшифровали. Увы, потом я не смогла разобрать этой первой коллективной шифровки. Одно было утешением: к тому времени, когда пришлось расшифровать, громадное большинство «связей» уже провалилось.

Владимир Ильич тщательно собирал эти «связи», выискивая всюду людей, которые могли бы так или иначе пригодиться в революционной работе. Помню, раз по инициативе Владимира Ильича было совещание представителей нашей группы (Владимира Ильича и, кажется, Кржижановского) с группой учительниц воскресной школы. Почти все они потом стали социал-демократками. В числе их была Лидия Михайловна Книпович, старая народоволка, перешедшая через некоторое время к социал-демократам. Старые партийные работники помнят ее. Человек с громадной революционной выдержкой, строгая к себе и другим, прекрасно знавшая людей, прекрасный товарищ, окружавшая любовью, заботой тех, с кем она работала, Лидия сразу оценила во Владимире Ильиче революционера. Она взяла на себя сношения с народовольческой типографией: договаривалась, передавала рукописи, получала оттуда уже напечатанные брошюры, развозила корзины с ними по своим знакомым, организовала разноску литературы рабочим. Когда она была арестована, — по указаниям предателя, наборщика типографии, — было арестовано у разных знакомых Лидии двенадцать корзин с нелегальными брошюрами. Народовольцы печатали тогда массы брошюры для рабочих: «Рабочий день», «Кто чем живет», брошюру Владимира Ильича «О штрафах», «Царь — голод» и др. Двое из народовольцев, работавших в Лахтинской типографии, — Шаповалов и Катанская, — теперь в рядах Коммунистической партии. Лидии Михайловны

нет уж в живых. Она умерла в 1920 г., когда Крым, где она жила последние годы, был под белыми. Умирая, в бреду она рвалась к своим, к коммунистам, умерла с именем дорогой ей партии коммунистов на устах. Из учительниц были, кажется, на этом совещании еще П. Ф. Куделли, А. И. Мещерякова (обе теперь члены партии) и др. За Невской же заставой учительствовала и Александра Михайловна Калмыкова — прекрасная лекторша (помню ее лекции для рабочих о государственном бюджете), имевшая в то время книжный склад на Литейном. С Александрой Михайловной познакомился тогда близко и Владимир Ильич. Струве был ее воспитанником, у нее всегда бывал и Потресов, товарищ Струве по гимназии. Позднее Александра Михайловна содержала на свои деньги старую «Искру», вплоть до II съезда. Она не пошла следом за Струве, когда он перешел к либералам, и решительно связала себя с искровской организацией. Кличка ее была Тетка. Она очень хорошо относилась к Владимиру Ильичу. Теперь она умерла, перед тем два года лежала в санатории в Детском Селе, не вставая. Но к ней приходили иногда дети из соседних детских домов. Она рассказывала им об Ильиче. Она писала мне весной 1924 г., что надо издать особой книжкой статьи Владимира Ильича 17-го года, полные горячей страсти, его горячие призывы, так действовавшие тогда на массы. В 1922 г. Владимир Ильич написал Александре Михайловне несколько строк теплого привета, таких, какие только умел он писать. Александра Михайловна была тесно связана с группой «Освобождение труда». Одно время (кажется, в 1899 г.), когда Засулич приезжала в Россию, Александра Михайловна устраивала ее нелегально и постоянно с ней видалась. Под влиянием начавшего нарастать рабочего движения и под влиянием статей и книг группы «Освобождение труда», под влиянием питерских социал-демократов полевел Потресов, полевел на время и Струве. После ряда предварительных собраний стала нащупываться почва для совместной работы. Задумали сообща издать сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». От нашей группы в редакцию входили: Владимир Ильич, Старков и Степан Ив. Радченко, от них — Струве, Потресов и Классон. Судьба сборника известна. Он был сожжен царской цензурой. Весной 1895 г. перед отъездом за границу Владимир Ильич усиленно ходил в Озерной переулок, где жил тогда Потресов, торопясь закончить работу.

Лето 1895 г. Владимир Ильич провел за границей, частью прожил в Берлине, где ходил по рабочим собраниям, частью в Швейцарии, где впервые видел Плеханова, Аксельрода, За-

сулич. Приехал полон впечатлений, захватив из-за границы чемодан с двойным дном, между стенками которого была набита нелегальная литература.

Тотчас же за Владимиром Ильичем началась бешеная слежка: следили за ним, следили за чемоданом. У меня двоюродная сестра служила в то время в адресном столе. Через пару дней после приезда Владимира Ильича она рассказала мне, что ночью, во время ее дежурства, пришел сыщик, перебирал дуги (адреса в адресном столе надевались по алфавиту на дуги) и хвастал: «Выследили, вот, важного государственного преступника Ульянова, — брата его повесили, — приехал из-за границы, теперь от нас не уйдет». Зная, что я знаю Владимира Ильича, двоюродная сестра поторопилась сообщить мне об этом. Я, конечно, сейчас же предупредила Владимира Ильича. Нужна была сугубая осторожность. Дело, однако, не ждало. Работа развертывалась. Завели разделение труда, поделив работу по районам. Стали составлять и пускать листки. Помню, что Владимир Ильич составил первый листок к рабочим Семянниковского завода. Тогда у нас не было никакой техники. Листок был переписан от руки печатными буквами, распространялся он Бабушкиным. Из четырех экземпляров два подобрали сторожа, два пошли по рукам. Распространялись листки и по другим районам. Так, на Васильевском острове был составлен листок к работницам табачной фабрики Лаферм. А. А. Якубова и З. П. Невзорова (Кржижановская) прибегли к такому способу распространения: свернув листки в трубочки так, чтобы их можно было удобно брать поодиночке, и пристроив соответственным образом передники, они, как только раздался гудок, пошли быстрым шагом навстречу работницам, валившим гурьбой из ворот фабрики, и почти пробежали мимо, рассовывая недоумевающим работницам в руки листки. Листок имел успех. Листки, брошюры шевелили рабочих. Решено было еще издавать — благо была нелегальная типография — популярный журнал «Рабочее дело». Тщательно готовил Владимир Ильич к нему материал. Каждая строчка проходила через его руки. Помню одно собрание у меня на квартире, когда Запорожец с необычайным увлечением рассказывал о материале, который ему удалось собрать на сапожной фабрике за Московской заставой. «За все штраф, — рассказывал он, — каблук на сторону посадишь — сейчас штраф». Владимир Ильич рассмеялся: «Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, и за дело». Материал собирал и проверял Владимир Ильич тщательно. Помню, как собирался, например, материал о фабрике Торнтон. Решено было, что я вызову к себе своего ученика, браковщика фабрики Торнтон, Кроликова, уже

высылавшегося раньше из Петербурга, и соберу у него по плану, намеченному Владимиром Ильичем, все сведения. Кроликов пришел в какой-то занятой у кого-то шикарнейшей шубе, принес целую тетрадь сведений, которые были им еще устно дополнены. Сведения были очень ценные. Владимир Ильич на них так и накинулся. Потом я с Аполлинарией Александровной Якубовой, повязавшись платочками и придав себе вид работниц, сами ходили еще в общежитие фабрики Торнтон, побывали и на холостой половине и на семейной. Обстановка была ужасающая. Только на основании так собранного материала писал Владимир Ильич корреспонденции и листки. Посмотрите его листок к рабочим и работницам фабрики Торнтон. Какое детальное знание дела в нем видно! И какая это школа была для всех работавших тогда товарищей! Вот уж когда учились «вниманию к мелочам». И как глубоко врезывались в сознание эти мелочи.

Наше «Рабочее дело» не увидало света. 8 декабря было у меня на квартире заседание, где окончательно зачитывался уже готовый к печати номер. Он был в двух экземплярах. Один экземпляр взял Ванеев для окончательного просмотра, другой остался у меня. Наутро я пошла к Ванееву за исправленным экземпляром, но прислуга мне сказала, что он накануне съехал с квартиры. Раньше мы условились с Владимиром Ильичем, что я в случае сомнений буду наводить справки у его знакомого — моего сослуживца по Главному управлению железных дорог, где я тогда служила, — Чеботарева. Владимир Ильич там обедал и бывал каждый день. Чеботарева на службе не было. Я зашла к ним. Владимир Ильич на обед не приходил: ясно было, что он арестован. К вечеру выяснилось, что арестованы очень многие из нашей группы. Хранившийся у меня экземпляр «Рабочего дела» я отнесла на хранение к Нине Александровне Герд — моей подруге по гимназии, будущей жене Струве. Чтобы не всадить еще больше арестованных, было решено пока «Рабочее дело» не печатать.

Этот петербургский период работы Владимира Ильича был периодом чрезвычайно важной, но невидной по существу, незаметной работы. Он сам так характеризовал ее. В ней не было внешнего эффекта. Вопрос шел не о героических подвигах, а о том, как наладить тесную связь с массой, сблизиться с ней, научиться быть выразителем ее лучших стремлений, научиться быть ей близким и понятным и вести ее за собой. Но именно в этот период петербургской работы выковывался из Владимира Ильича вождем рабочей массы.

Когда я пришла в первый раз после ареста нашей публики в школу, Бабушкин отозвал меня в угол под лестницу и там пере-

дал мне написанный рабочими листок по поводу ареста. Листок носил чисто политический характер. Бабушкин просил передать листок в технику и доставить им для распространения. До тех пор у нас с ним никогда не было прямой речи о том, что я связана с организацией. Я передала листок нашим. Помню это собрание — было оно на квартире Ст. Ив. Радченко. Собрались все остатки группы. Прочитав листок, Ляховский воскликнул: «Разве можно печатать этот листок, — он ведь написан на чисто политическую тему». Однако, так как листок был, несомненно, написан рабочими по собственной инициативе, так как рабочие просили его непременно напечатать, решено было листок печатать. Так и сделали.

Сношения с Владимиром Ильичем завязались очень быстро. В те времена заключенным в «предварилке» можно было передавать книг сколько угодно, они подвергались довольно поверхностному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших точек в середине букв или чуть заметного изменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника конспиративной переписки у нас быстро совершенствовалась. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему «невесту», такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги и пр. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 г. я тоже села). Письма молоком приходили через волю в день передачи книг — в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверись, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заваришь чай и, как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай — письмо проявляется (в тюрьме неудобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так в тюрьме он был центром сношений с волей. Кроме того, он много работал в тюрьме. Там было подготовлено «Развитие капитализма в России». Владимир Ильич заказывал в легальных письмах нужные материалы,

статистические сборники. «Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку, в Сибири книги доставать трудно», — в шутку говорил Владимир Ильич, когда его выпустили из тюрьмы. Не только «Развитие капитализма» писал Владимир Ильич в тюрьме, писал листки, нелегальные брошюры, написал проект программы для первого съезда (он состоялся лишь в 1898 г., но намечался раньше), высказывался по вопросам, обсуждавшимся в организации. Чтобы его не накрыли во время писания молока, Владимир Ильич делал из хлеба маленькие молочные чернильницы, которые — как только щелкнет фортка — быстро отправлял в рот. «Сегодня съел шесть чернильниц», — в шутку добавлял Владимир Ильич к письму.

Но как ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы — я и Аполлинария Александровна Якубова — в определенный час пришли и стали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аполлинария почему-то не могла пойти, а я несколько дней ходила и простаивала подолгу на этом кусочке. Только что-то из плана ничего не вышло, не помню уже отчего.

Пока Владимир Ильич сидел, работа на воле разрасталась, стихийно росло рабочее движение. После ареста Мартова, Ляховского и др. силы группы еще более ослабели. Правда, в группу входили новые товарищи, но это была публика уже менее идейно закаленная, а учиться уже было некогда, движение требовало обслуживания, требовало массы сил, все уходило на агитацию, о пропаганде некогда было и думать. Листковая агитация имела большой успех. Стачка 30 тысяч питерских текстилей, разразившаяся летом 1896 г., прошла под влиянием социал-демократов и многим вскружила голову.

Помню, как однажды (кажется, в начале августа) на собрании в лесу, в Павловске, Сильвин читал вслух проект листка.

В одном месте там попалась фраза, прямо ограничивающая рабочее движение одной экономической борьбой. Прочтя ее вслух, Сильвин остановился. «Ну и загнул же я, как это меня угораздило», — сказал он, смеясь. Фраза была вычеркнута. Летом 1896 г. с треском провалилась Лахтинская типография, пропала возможность печатать брошюры, пришлось надолго отложить попечение о журнале.

Во время стачки 1896 г. в нашу группу вошла группа Тахтарева, известная под кличкой Обезьяны, и группа Чернышева,

известная под кличкой Петухи. Но пока «декабристы» сидели в тюрьме и держали связь с волей, работа шла еще по старому руслу. Когда Владимир Ильич вышел из тюрьмы, я еще сидела. Несмотря на чад, охватывающий человека по выходе из тюрьмы, на ряд заседаний, Владимир Ильич ухитрился все же написать письмишко о делах. Мама рассказывала, что он в тюрьме поправился даже и страшно весел.

Меня выпустили вскоре после «ветровской истории» (заключенная Ветрова сожгла себя в Петропавловской крепости). Жандармы выпустили целый ряд сидевших женщин, выпустили и меня и оставили до окончания дела в Питере, приставив пару шпионов, ходивших всюду по стопам. Я застала организацию в самом плачевном состоянии. Из прежних работников остался только Степан Ив. Радченко и его жена. Сам он работы по конспиративным условиям уже вести не мог, но продолжал быть центром и держал связь. Держал связь и со Струве. Струве вскоре женился на Н. А. Герд, социал-демократке, Струве и сам в то время был социал-демократствующим. Он совершенно не был способен к работе в организации, тем более подпольной, но ему льстило, несомненно, что к нему обращаются за советами. Он даже написал манифест для I съезда социал-демократической рабочей партии. Зимой 1897/98 г. я довольно часто бывала у Струве с поручениями от Владимира Ильича — тогда Струве издавал журнал «Новое слово», — да и так с Ниной Александровной меня многое связывало. Я приглядывалась к Струве. Он в то время был социал-демократом, но меня удивляла его книжность и почти полное отсутствие интереса к «живому дереву жизни», интереса, которого так много было у Владимира Ильича. Струве достал мне перевод и взялся его редактировать. Он, видимо, тяготился этой работой, быстро уставал (с Владимиром Ильичем мы часами сидели за аналогичной работой. Владимир Ильич совсем иначе работал, весь уходя в работу, даже такую, как перевод). Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это неверно. Фет — махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действительно любил Фета.

Знала я и Туган-Барановского. Я училась вместе с его женой, Лидией Карловной Давыдовой (дочерью издательницы журнала «Мир божий»), и одно время заходила к ним. Лидия Карловна была очень умная и хорошая, хотя и безвольная женщина. Она была умнее своего мужа. В его разговорах всегда чувствовался чужой человек. Раз я обратилась к нему с подписным листом на стачку (костромскую, кажется). Я получила сколько-то, не помню сколь-

ко, рублей, но должна была выслушать рассуждение на тему: «Непонятно-де, почему надо поддерживать стачки, — стачка недостаточно действительное средство борьбы с предпринимателями». Я взяла деньги и поторопилась уйти.

Я писала Владимиру Ильичу в ссылку обо всем, что приходилось видеть и слышать. Однако о работе организации мало чего можно было написать. Ко времени I съезда в ней было лишь четыре человека: Ст. Ив. Радченко, его жена Любовь Николаевна, Саммер и я. Делегатом от нас был Степан Иванович. Но, вернувшись со съезда, он ничего почти не рассказал нам о том, что там произошло, вынул из корешка книги хорошо знакомый нам «манифест», написанный Струве и принятый съездом, и разрыдался: все почти участники съезда — их было несколько человек — были арестованы.

Мне дали три года Уфимской губернии, я перепросилась в село Шушенское Минусинского уезда, где жил Владимир Ильич, для чего объявилась его «невестой».

<...>

Что нравилось Ильичу из художественной литературы*

Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичем, сказал мне, что Ильич человек ученый, читает исключительно ученые книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и т. п., такие писатели, как Чернышевский, Л. Толстой, Успенский, вошли в мою жизнь, как что-то значащее. Чудно мне показалось, что вот человек, которому все это не интересно нисколько.

Потом на работе я близко узнала Ильича, узнала его оценки людей, наблюдала его пристальное вглядывание в жизнь, в людей — и живой Ильич вытеснил образ человека, никогда не бравшего в руки книг, говоривших о том, чем живы люди.

Но жизнь тогда сложилась так, что не удосужились мы как-то поговорить на эту тему. Потом уж, в Сибири, знала я, что Ильич не меньше моего читал классиков, не только читал, но и перечитывал не раз Тургенева, например. Я привезла с собою в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил

* Статья написана в 1927 г.

их около своей кровати, рядом с Гегелем и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина. Но не только форму ценил он. Например, он любил роман Чернышевского «Что делать?», несмотря на мало художественную наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две карточки этого писателя, одна, написанная рукой Ильича, — год рождения и смерти. В альбоме Ильича были еще карточки Эмиля Золя, а из русских — Герцена и Писарева. Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил. Помнится в Сибири был также Фауст Гете на немецком языке и томик стихов Гейне.

Возвращаясь из Сибири, в Москве Владимир Ильич ходил раз в театр смотрел «Извозчик Геншель», потом говорил, что ему очень понравилось.

В Мюнхене из книг, нравившихся Ильичу, помню роман Гергардта «Bei mama» («У мамы») и «Buttnerbauer» («Крестьянин») Поленца.

Потом позже, во вторую эмиграцию, в Париже, Ильич охотно читал стихи Виктора Гюго «Chatiments», посвященные революции 48 года, которые в свое время писались Гюго в изгнании и тайно ввозились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напыщенности, но чувствуется в них все же веяние революции. Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем, — и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п. Особенно нравился Ильичу Монтегюз. Сын коммунара — Монтегюз был любимцем рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях — всегда с яркой бытовой окраской — не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Ильич часто напевал его привет 17 полку, отказавшемуся стрелять в стачечников: «Salut, salut a vous, soldats de 17-me» («Привет, привет вам, солдаты 17 полка»). Однажды на русской вечеринке Ильич разговорился с Монтегюзом, и, странно, эти столь разные люди — Монтегюз, когда потом разразилась война, ушел в лагерь шовинистов — размечтались о мировой революции. Так бывает иногда — встретятся в вагоне мало знакомые люди и под стук колес вагона разговорятся о самом заветном, о том, чего бы не сказали никогда в другое время, потом разойдутся и никогда больше в жизни не встретятся. Так и тут было. К тому же разговор шел на французском языке, — на чу-

жом языке мечтать вслух легче, чем на родном. К нам приходила на пару часов француженка-уборщица. Ильич услышал однажды, как она напевала песни. Это — националистическая эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова, и потом нередко сам пел ее. Кончалась она словами:

Vous avez pris Elsass et Latoraine,
Mais molgres vous nous resterons fsancais,
Vous avez pu germaniser nos plaines.
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais!

Был это 1909 год — время реакции, партия была разгромлена, но революционный дух ее не был сломлен. И созвучна была эта песня с настроением Ильича. Надо было слышать, как победно звучали в его устах слова песни: «Mais, notre coeur, vous ne laurez jamais!!»

В эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой, уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «и зачем мы только уехали тогда из Женевы в Париж!» В эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал — вместе с Монтегюзом, победно распевая эльзасскую песню, в бессонные ночи зачитываясь Верхарном.

Потом, позже, во время войны, Владимир Ильич увлекался книжкой Барбюсса «Le feu» («Огонь»), — придавал ей громадное значение. Эта книжка была так созвучна с его тогдашним настроением.

Мы редко ходили в театр. Пойдем, бывало, но ничтожность пьесы или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. Обычно, пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи, зря деньги переводим.

Но раз Ильич досидел до конца; это было, кажется, в конце 1915 года в Берне, — ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп». Хоть шла она по-немецки, но актер, игравший князя, был русский, он сумел передать замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнованно следил за игрой.

И, наконец, в России. Новое искусство казалось Ильичу чужим, непонятным. Однажды нас позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Грозовская декламировала Маяковского «наш бог — бег, сердце — наш барабан» и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул, когда Грозовскую сменил какой-то артист, читавший «Злоумышленника» Чехова.

Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной молодежь. Решили нанести визит нашей вхутемасовке — Варе

Арманд. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина, в 1921 г. Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Спали они в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было, «зато у нас есть крупа!» с сияющим лицом заявил дежурный член коммуны — вхутемасец. Для Ильича сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хоть и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц — их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами. Что вы читаете? Пушкина читаете? — О, нет! — выпалил кто-то, — он был, ведь, буржуй! Мы — Маяковского! Ильич улыбнулся: — по-моему, Пушкин лучше. После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского. Позже Ильич похвалил однажды Маяковского за стихи, высмеивающие советский бюрократизм.

Из современных вещей, помню, Ильичу понравился, роман Эренбурга, описывающий войну. — Это, знаешь, — Илья Лохматый! (былая кличка Эренбурга) — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло!

Ходили мы несколько раз в Художественный театр. Раз ходили смотреть «Потоп». Ильичу ужасно понравилось. Захотел идти на другой же день опять в театр. Шло Горького «На дне». Алексея Максимовича Ильич любил, как человека, к которому почувствовал близость на Лондонском съезде, любил, как художника, считал, что, как художник, Горький многое может понять с полуслова. С Горьким говорил особенно откровенно. Поэтому, само собой, к игре вещи Горького Ильич был особенно требователен. Излишняя театральность постановки раздражала Ильича; после «На дне» он надолго бросил ходить в театр. Ходили мы еще с ним как-то на «Дядю Ваню» Чехова. Ему понравилось. И, наконец, в последний раз ходил в театр уже в 1922 г. смотреть «Сверчка на печи» Диккенса. Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого игрушечника с его слепой дочерью, — не выдержал Ильич, ушел с середины действия.

Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику, к вечеру обычно. Читала Щедрина, читала «Мои университеты» Горького. Кроме того, любил он слушать

стихи, особенно Демьяна Бедного. Но нравились ему больше не сатирические стихи Демьяна, а пафосные.

Читаешь ему, бывало, стихи, а он смотрит задумчиво в окно на заходящее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами: «Никогда, никогда коммунары не станут рабами!».

Читаешь, — точно клятву Ильичу повторяешь — никогда, никогда не отдадим ни одного завоевания революции...



II

ОБРАЗ ЛЕНИНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ



Л. АВЕРБАХ*

О пометках Ленина на статье В. Плетнева**

<Фрагмент>

Дискуссия, развернувшаяся в «Большевике» по вопросам культуры, чрезвычайно показательна. Чем дальше, тем больше нашей партии придется уделять внимания той культурной революции, о которой говорил Ленин. Ведь эта культурная революция не надуманная абстракция, не утопическое измышление какой-либо группы т. т.*** Миллионы и десятки миллионов поднимаются с одной культурной ступеньки на другую. Рабочий класс, ведя за собой крестьянство, и в союзе с ним, овладевает старой культурой и перестраивает ее. И естественно, что мы усиливаем — хотя и далеко недостаточно наше внимание фронту народного образования. Совершенно понятно, что происходящий процесс культурной революции ставит перед нами ряд новых и сложных вопросов, требующих своего разрешения. Вот в чем показатель-

* *Леопольд Леонидович Авербах* (1903–1937) — руководитель Российской ассоциация пролетарских писателей (РАПП) в 1920-х, самый видный из группы коммунистических литературных критиков, которые утверждали, что за большевистской революцией, совершенной в 1917 году во имя промышленного рабочего класса России, должна последовать культурная революция, в которой буржуазная литература будет вытеснена литературой, написанной пролетариатом и для него. Авербах был влиятельной фигурой в русских культурных кругах до тех пор, когда Иосиф Сталин приказал РАПП прекратить свою деятельность (1932).

** *Валериан Фёдорович Плетнёв* (1886–1942) — советский писатель и литературный критик, идеолог Пролеткульта. «Заметки» В. И. Ленина на статье В. Ф. Плетнева широко привлекались историками, искусствоведами, философами и специалистами других наук гуманитарного комплекса при разработке теории и истории социалистической культуры, проблем идеологии, эстетики и других проблем исторического материализма.

*** Сокращение «т. т.» используется как множественное число существительного «товарищ» — «товарищи». — *Ред.*

ность наших, казалось бы, столь «теоретических», споров вокруг пролетарской культуры. Ответ на обсуждаемые принципиальные вопросы кое в чем определяет и нашу политику в деле проведения культурной революции, в направлении ее в нужное нам русло.

Однако, мы еще не научились подходить к этому вопросу со всей той серьезностью, которой он заслуживает. Многим еще он кажется «интеллигентщиной», многим кажется не актуальным, не срочным, а слишком многие отделяются легкомысленными фразами. Это в особенности относится к т. т., взявшимся за обсуждение культурных вопросов. Этой области чрезвычайно не повезло! У нас здесь — скажем прямо — столько безответственности, столько литераторских передраг, столько поверхностных наскоков и «заезжательств». Статьи П. Ионова (напр.) совершенно исключительный образец безответственной вульгарной свистопляски вокруг сложных вопросов. А ведь в вопросах культуры нам всем надо прежде и больше всего учиться. Надо понять, что речь идет о новых и сложных проблемах, по отношению к изучению которых больше чем где-либо требуются вдумчивость, серьезность и желание разобраться в сущности дела. Нам необходима здесь коллективная и товарищеская проработка вопроса возможно более широкими партийными кругами. Мы не сомневаемся в том, что придем к этому, несмотря на то, что дым от дискуссий и стычек заслоняет, подчас, поле сражения, прячет от нас то, о чем, собственно, идет речь.

Но, прежде всего, нам здесь необходимо желание быть ленинцами. Только в том случае, думается, сможем мы разобраться в вопросах культуры, если мы сознательно будем ставить себе задачу учебы у Владимира Ильича. Мы можем ошибаться на этом пути, уклоняться — возможно — в сторону, но мы должны хотеть решать проблему на ленинском пути. Ленинизм — целостное учение, одни части в нем пригнаны к другим, между всеми его сторонами имеется теснейшая связь и взаимодействие. И вопросы культуры не составляют исключения!

Некоторым т. т. может казаться, что они правильно разрешают вопрос в духе ленинизма, расходясь в каких-либо вопросах, или хотя бы, в частности с Владимиром Ильичем. Теоретически это мыслимо, конечно. Однако нам еще ни разу не приходилось видеть практического подтверждения такой теоретической возможности. И вот почему мы обязаны добросовестно изучать все и всякие материалы, оставшиеся от Ленина. Учение Ленина о культурной революции — ключ ко всем сегодняшним, и не только сегодняшним, конечно, вопросам строительства пролетарской культуры.

* * *

Больше года тому назад были опубликованы пометки Ленина на статье т. Плетнева. Эта статья появилась в сентябре 1922 г. в «Правде» и послужила поводом к дискуссии, в которой оппонентом тов. Плетневу выступил тов. Яковлев, тогда ещеознакомившийся с пометками Владимира Ильича.

Вся статья Плетнева испещрена рядом подчеркиваний, отметок, замечаний и возражений Ленина. Значение этого документа исключительно велико. Разработка и продумывание всех пометок Ильича дают чрезвычайно много.

Однако, тов. Плетнев стоит на другой точке зрения. Он доволен автором этих строк за то, что вскоре после опубликования разбираемого документа, я полностью солидаризировался с замечаниями Ленина. Тов. Плетневу кажется, что «ряд пометок, подчеркиваний поставлен так, что о смысле их можно много гадать». Тов. Плетнев маскируется в тогу уважения к Ленину, ах, дескать, мы не догадываемся часто о том, почему Ленин сделал то или иное замечание, ах, пусть «товарищи, непосредственно знакомые с творческой мыслью Ильича, дадут в дальнейшем материал к расшифровке ряда заметок Владимира Ильича».

Высокопарно, тов. Плетнев, но неверно! Что значит «непосредственное знакомство с творческой мыслью Ильича?» Может ли быть что-либо «непосредственнее» изучения ленинского собрания сочинений. И почему же, уж если встать на точку зрения, что, может быть, кто-либо иначе «непосредственно» знакомый с творческой мыслью Ильича, почему же и он сможет дать лишь «материал к расшифровке»? Неужели так темен и непонятен смысл замечаний Ильича? Неужели нельзя в них разобраться, особенно, если брать их в контексте со всеми ленинскими мыслями по этому вопросу?

Тов. Плетнев должен был дать ответ на вопрос о том, с чем он согласен и с чем он не согласен из возражений Ленина. Тов. Плетнев пытается прикрыться уважением к Ленину для того, чтобы не ответить на этот вопрос, для того, чтобы укрыться от выявления своего отношения к Ленину. Нет, никак мы не можем такое поведение охарактеризовать, как проявление уважения к Ильичу. Не наоборот ли? Пожалуй, что и наоборот. Ответ лежит в разборе пометок Ленина на статье Плетнева (1922 г.) и теперешних комментариях самого тов. Плетнева (1926 г.).

* * *

«На идеологическом фронте» — называлась статья тов. Плетнева. В ней программно и развернуто ставились вопросы строительства пролетарской культуры, давался ответ на вопрос о целях и задачах пролеткульта и обсуждался ряд проблем пролетарского искусства.

Первая же фраза статьи тов. Плетнева комментируется Лениным. «На 5-м году революции вопросы культуры шире — вопросы идеологии — выдвигаются на первый план». Ильич трижды подчеркивает на полях эту фразу и пишет: «шире». Тов. Плетнев признает теперь, что это крупная ошибка.

В самом деле. Сказать, что вопросы идеологии шире вопросов культуры, может только человек абсолютно непонимающий, что такое идеология и что такое культура. Когда мы говорим о культуре, мы различаем культуру духовную и культуру материальную. Культура того или иного класса всегда представляет собой явление, охватывающее и духовную и материальную культуру. Идеология данного класса только часть культуры класса. Сказать: «вопросы культуры — шире — вопросы идеологии», то же самое, что сказать: «вопросы математики — шире — вопросы арифметики». Признавая теперь свою ошибку, т. Плетнев считает, однако, необходимым привести в качестве смягчающего вину обстоятельства то, что «значительно ранее рассматриваемой статьи» им в «Горне», журнале пролеткульта, давалась правильная постановка вопроса. Объяснение, конечно, своеобразное. Если это ошибка, то почему бы т. Плетневу прямо не признать ее и тем покончить. Зачем сопровождать признание своей ошибки оговорками? Мы увидим дальше, что это не случайно.

«Творчество новой пролетарской классовой культуры — основная цель Пролеткульта». Ильич дважды подчеркивает фразу и недвусмысленно пишет: «ха-ха!» «Выявление и сосредоточение творческих сил пролетариата в области науки и искусства — его основная практическая задача. Этими силами и должна быть достигнута цель, которую Пролеткульт ставит». Ленин пишет сбоку: «примечание выше, шире».

Смысл этих замечаний Ленина настолько ясен, что тов. Плетнев счел возможным для себя понять их. «Здесь в зависимости от “шире” можно понять, что вся культура для Пролеткульта покрывается идеологией, и под этим углом должна пойти работа пролеткульта — это, во-первых, и, во-вторых, что будто бы только Пролеткульт будет строить пролетарскую культуру». Иначе понять эти замечания довольно трудно, однако, они много значительнее, чем это может показаться.

Тов. Плетнев беспрестанно и резко протестует против отождествления или смешения теперешнего Пролеткульта с Богда-

новским. Дата избавления от Богдановской скверны определяется тов. Плетневым, как конец 1920 г. Следовательно, статья тов. Плетнева, написанная в сентябре 1922 г. уже во всяком случае относится к «новой эре» Пролеткульта. И в доказательство того, что Ленин напрасно обвиняет в «старых» грехах т. Плетнева, последний мобилизует постановления Пролеткульта, относящиеся к декабрю 1920 г. и к маю 1921 г. «Это (декларация и основной доклад пленуму Пролеткульта 21 г. — Л. А.) определяло для нас место и задачи Пролеткульта в общем процессе строительства пролетарской культуры. И с этой позиции совершенно иначе освещается цитируемое нами положение нашей статьи с пометками В. И. — (стр. 68)». Но ведь эти утверждения т. Плетнева бьют исключительно по нему и вновь подчеркивают его действительные ошибки. Никакой случайностью нельзя объяснить того, что после верных — поверим тов. Плетневу на слово — решений — мая 21 г., он в сентябре 22 г. совершает такие ошибки.

Основной смысл «ха-ха» Ильича тот, что новую классовую культуру будет строить организация. Ленин обрушивается здесь на старое Богдановское положение, бывшее до «новой эры» т. Плетнева краеугольным камнем деятельности Пролеткульта. Ленин нападает здесь на осторожное протаскивание т. Плетневым осужденных партией пролеткультовских ошибок. Старый пролеткульт характеризовался противопоставлением пролетарского культурного строительства политической работе соввласти и «идеей самостоятельного культурного движения, ведущего работу, аналогичную работе партии в области политики, работе профсоюзов в области экономики». Старый пролеткульт считал, что: «Пролеткульт — есть культурно-творческая классовая организация пр-та, как рабочая партия — его политический орган, профсоюз — организация экономическая». И этой организации должна принадлежать монополия на строительство пролетарской культуры. Тов. Плетнев утверждает, что в 1920 и 1921 г. пролеткультовцы отказались от этих ошибок. Разберемся.

Пролетариат произвел революцию. Он удержал завоевания октябрьской революции в тяжелые годы гражданской войны. Он построил новое государство. Его партия в течение 5-ти лет уже руководит переделыванием старого общества в новое. Культурная революция уже происходит. Она идет через расширение сети народного образования, через кампании ликвидации неграмотности, через вовлечение миллионов масс в общественную жизнь, она рождается величайшим переворотом во всем укладе жизни широчайших масс, совершенном Октябрем. Те ростки пролетарской культуры, которые, по нашему утверждению, существовали еще при капитализме, раз-

виваются и растут. Налицо пролетарская партия, пролетарское государство, пролетарская армия, растущая пролетарская литература, первые признаки похода марксизма во все области науки и т. д. Обстановка невероятно сложна. Нужно суметь обязательно сработаться со спецами и использовать их, нужно заняться прежде и раньше всего ликвидацией элементарной неграмотности многих сотен тысяч и миллионов, а материальные ресурсы ничтожны — у всех в памяти еще сохранилось воспоминание о том, как первые годы нэпа ударили по сети наших школ и просветительных учреждений. И вот приходит тов. Плетнев и декламирует: «творчество новой пролетарской классовой культуры». Ленин дважды подчеркивает: новой. Ну, а кругом то, что происходит? Что вы то, пишущий в «Правде» программную статью по вопросам культуры, что вы, т. Плетнев, предлагаете? «Выявление и сосредоточение сил», объединение их вокруг пролеткульта и выполнение им, пролеткультом, цели, которую он себе ставит, т. е. строительства пролеткультуры?

Работает в холоде и голоде артель людей. Строит она новый дом. Уже закладывается фундамент, уже леса видны. И подходит человек и говорит, вот надо бы новый дом построить, планы у меня есть хорошие и прочее такое... Нет, в самом деле — ха-ха — это лучший ответ.

Ошибка старого пролеткульта заключалась, далее, в том, что он, как мы писали выше, противопоставлял свою работу строительной деятельности соввласти, руководимой нашей партией. Он сосредоточивал свою деятельность в некоторых областях идеологии, причем они тем значительнее для пролеткульта, чем дальше они от нашей практической борьбы (искусство, философия). Такова ли должна быть линия деятельности пролетарской культурно-просветительной организации, т. е. Пролеткульта? И вот на втором году «новой эры» пролеткульта тов. Плетнев пишет «вопросы культуры — шире — вопросы идеологии». Так ли уж случайна эта описка? Не — в лучшем случае — не инерция ли деятельности старого Пролеткульта крылась за этой ошибкой тов. Плетнева? И не старые ли ошибки старого Пролеткульта воскресали, когда тов. Плетнев писал, что «этими силами (т. е. выявленными и сосредоточенными около Пролеткульта. — Л. А.) и должна быть достигнута цель, которую пролеткульт себе ставит»? Старый пролеткульт не только претендовал на монополию в строительстве пролетарской культуры. Старый пролеткульт рассматривал себя, как своеобразную культурную партию: «пролеткульт должен непосредственно включать лишь культурный авангард пролетариата, индустриальный, и при том его элементы наиболее передовые и сознательные в культурном отношении». Тов. Плетнев

в своей статье, от сентября 22 г., — опять, по существу, повторял то же — этими, собранными у пролеткульта силами, он предполагал строить пролетарскую культуру.

Не таков ли смысл замечаний Ленина на этом абзаце статьи т. Плетнева? Последний пишет теперь: «за этими пометками ясно стоит отрицательное отношение В. И. к положениям А. Богданова о пролетарской культуре, и естественно, что удар пришелся и по пролеткульту, переживавшему в этот момент первый сдвиг с позиций 1918–1920 гг. Это усугубилось, конечно, ошибкой статьи в слове «шире» (стр. 68). Неверно это, тов. Плетнев! Напрасно вы переадресовываете Богданову удар, направленный против вас. Это по ошибкам Плетнева ударял Ленин. И вовсе эти ошибки связаны не только со словами «шире», как мы показывали выше.

Было чрезвычайно тревожно то, что на втором году «новой эры», тов. Плетнев повторял старые пролеткультуровские ошибки. В десятки раз более тревожно то, что тов. Плетнев не хочет их признавать сегодня. Во много раз более опасно сегодняшнее дипломатничанье и маневрирование тов. Плетнева около осужденных т. Лениным и всей партией ошибок его статьи.

Читатель отметил уже выше, что Ленин дважды подчеркнул упоминание о практической задаче пролеткульта. Вопросу о практических задачах, конкретных путях их осуществления, фактически имеющейся деятельности — все время приковано вниманием Ленина. Об этом свидетельствует целый ряд сделанных им пометок. Мы разберем ниже смысл каждой из них. Но тов. Плетнев продолжает сохранять недоумевающий и непонимающий вид. В его статье имелось следующее место: «Каковы же конкретные формы этой борьбы в области культуры». Ленин сбоку ставит нота-бене с плюсом (NB+), и нота-бене с плюсом за Плетнева. И вот тов. Плетнев меланхолически пишет: «NB+ в чем сущность этой пометки? Отметить с плюсом попытку конкретно поставить вопрос или иное? Не знаем. И комментировать этого не решаемся». И до чего же он наивен, этот тов. В. Ф. Плетнев.

Продолжим цитату из статьи тов. Плетнева: «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата. Сколько бы ни было у нас пришельцев из буржуазного лагеря, сколько бы ни “прияли” они классовую точку зрения, все же это будут единицы, быть может, очень ценные, но решающего значения они иметь не будут. Идея становится силой, когда ею овладевают массы». Ильич пишет сбоку: «и/а крестьяне».

Тов. Плетнев пишет: «В пометке стоит знак вопроса. Это крайне важно. Мы принимаем эту пометку за вопрос, на который В. И.

требует от нас ответа. Ответа по вопросу огромному — и вслед за этим тов. Плетнев (с. 69–70–71) отвечает на этот вопрос. Мы не будем сейчас разбирать весь вопрос и ответ тов. Плетнева по существу, мы сделаем это в другой связи в ближайшее время. Однако, тов. Плетнев напрасно Ленинскую отметку сводит к вопросу. Она не только вопрос. Она — возражение тов. Плетневу, она — удар по всему его построению. Посмотрим немного ниже.

Тов. Плетнев писал»... мировая революция может быть построена только силами «мы», силами классового единства. Этим бытием определяется классовое сознание пролетариата. Оно чуждо крестьянину, буржуа, интеллигенту». Ленин пишет сбоку: «А % строящих паровозы?» Было бы напрасным усилием пытаться и это замечание понять, как заинтересованность Ленина количеством транспортных рабочих. Это опять-таки не «вопрос» тов. Плетневу, а вместе с предыдущим «вопросом» связанное указание и возражение руководителю и создателю «новой эры» в пролеткульте. Однако тов. Плетнев и здесь пишет: «Здесь можно много гадать, но вскрыть точный смысл пометки мы, к сожалению, не имеем данных». Мы, к сожалению тов. Плетнева, попытаемся все же поднять таинственную завесу над Ленинскими замечаниями.

Из буржуазного лагеря могут прийти лишь одиночки: «Решающего значения они иметь не будут». А как с крестьянством — восклицает Ленин. И Плетнев продолжает: «классовое сознание... чуждо крестьянину, буржуа, интеллигенту». Получив дважды подчеркнутый им ответ, утверждающий чуждость крестьянству классового пролетарского сознания, Ленин ставит вопрос: а сколько же у нас пролетариев? У Ленина не было никакого желания заниматься «теоретическими» беседами по вопросу о пролеткульте. Его интересовали конкретные пути и практические формы проведения массовой культурной революции. А ему дают ответ, игнорирующий обстановку: никакого учета сил и средств пролетариата; ему преподносят программы борьбы на идеологическом фронте, в которых нет ни слова о крестьянстве. Весь вопрос-то заключается в том, чтобы учесть реальные силы «% строящих паровозы», суметь подчинить им и возглавить ими необходимую нам интеллигенцию, используя ее для поднятия масс «хотя бы до буржуазной культуры», и этот подъем масс, эту культурную революцию, захватывающую количественно больше всего и прежде всего крестьянство — ввести в пролетарское русло. Что было до всего этого тов. Плетневу...

Вопрос о % удаивается комментариев со стороны тов. Плетнева. Приведем их: «% строящих паровозы не был велик в России. Не больше он и сейчас. А вместе с тем никто иной, как именно

пролетариат «был, есть и будет» руководящей силой в революции. Это на что-нибудь да указывает».

Если эта пометка относится к тому, что «классовое сознание пролетариата чуждо крестьянину», то ничего неверного мы в этом не видим, это факт. (стр. 71).

Ленину, конечно, было бы чрезвычайно ново узнать от тов. Плетнева, что пролетариат гегемон в нашей революции. «Это на что-нибудь да указывает». Поистине так! А «указывает» приведенное положение прежде всего на абсолютную метафизичность всех рассуждений тов. Плетнева. «Не больше он и сейчас» — восклицает тов. Плетнев. Если «он» здесь действительное количество транспортных рабочих, то и оно изменилось: но ведь речь здесь идет о всем пролетариате, его силе и удельном весе. Неужели же не ясно, что одно дело — пролетариат в 1922 г., в самом начале нэп'а, и совсем другое дело пролетариат теперь — в 1926 г. Тов. Плетнев думает, что здесь можно отделаться от вопроса указанием на руководящую роль пр-та. Но это заявление в данном контексте совершенно бессодержательно. Весь вопрос встает за этим, за признанием руководящей силы пролетариата в нашей революции. Тому, кто навсегда имеет одну и ту же убогую мысль о пролеткультовской пролеткультуре достаточно принципа гегемонии, и тот будет говорить об одном и том же %. Тому же, кто хочет на деле помогать проведению Ленинской культурной революции, кто хочет, чтобы наша партия имела верную дорогу в вопросах культурного строительства, тому надлежит заниматься вопросами, встающими за общими фразами тов. Плетнева. Тов. Плетнев, далее, не находит никаких ошибок у себя и там, где он утверждал чуждость крестьянства классовому сознанию пролетариата. Первая и основная ошибка тов. Плетнева заключается в том, что он за одни скобки выносит чуждость «классовому сознанию пролетариата» и крестьянства, и интеллигенции, и буржуазии. Ему невдомек, что у всех этих слоев различное отношение к идеологии пролетариата. С точки зрения тов. Плетнева не понять того, почему мы ведем с крестьянством политику классового союза, почему мы — вместе с крестьянством, ведя его за собой, — боремся против буржуазии. Тов. Плетнев и теперь не исправляет своего прежнего утверждения, в корне противоречащего ленинизму.

Предположим, однако, что тов. Плетнев лишь оговорился, — что весьма сомнительно, ибо нельзя же предположить случайность оговорок и в 1922 г. и в 1926 г. — предположим, что тов. Плетнев вообще говорил о чуждости крестьянской идеологии пролетарской. Но и это предположение нисколько не улучшает положения тов. Плетнева. Совершенно недостаточно говорить о чуждости

крестьянской идеологии пролетарской, совершенно неправильно говорить только это. Пролетариат и крестьянство — два класса. У них имеются разные интересы и разные идеологии. Но непростительную ошибку совершает тот, кто говорит о чуждости всего крестьянства рабочему классу.

Да, и со всем крестьянством, как целым, может быть у нас расхождение в интересах (напр. политика цен на промизделия). Но с интересами бедноты и середняков пролетарские интересы совпадают гораздо больше и гораздо чаще, чем расходятся. На этом и покоится классовый союз рабочих и крестьян.

Этого и не понимает тов. Плетнев. У «крестьянства» иное «классовое» сознание, чем у пролетариата. Но крестьянство в целом класс промежуточный, крестьянство своей целостной классовой культуры создать не может. Как в области политики, так и в области культуры, оно будет идти или за пролетариатом, или за буржуазией. Разность, а не чуждость, более частое совпадение, чем противопоставление интересов — вот что характеризует отношения пролетариата с крестьянством. Неимоверно уважающий Ленина Плетнев пишет совсем иное. И какую же смелость надо иметь, чтобы по этому поводу писать будто «вскрыть точный смысл пометки мы, к сожалению, не имеем данных», и что «здесь можно много гадать». Тога уважения к Ильичу оказывается сотканной из пустой словесности, а посему она не может прикрыть лицемерия тов. Плетнева, и потому весь плетневский разбор ленинских замечаний на его статье носит фарисейский характер.

Крестьянин, в процессе своего индивидуального труда зависимый от сил природы («будет дождь, — будет хлеб»), всегда чувствует над собой от него независимую грозную силу, основа религиозных предрассудков.

Пролетарий имеет дело с совершенно ясными отношениями его к внешней природе. Он знает, что удар кайла в шахте даст известное количество руды или угля, и то, и другое вместе, в домне даст чугун, из домны не потечет молоко или вода, чугун даст железо, сталь, последние претворятся в машину, машина даст возможность с большей легкостью побеждать сопротивление материи, а в субботу будет получка. Здесь все ясно и математически точно.

Ленин опять спрашивает: «А религия рабочих и крестьян»? Легко понять, что этот «вопрос» также ставился Лениным не в порядке любознательности. Тов. Плетнев так рассуждает по этому поводу: «Весь абзац, за исключением подчеркнутой В. И. строки, по нашему мнению, ясен, и никаких ошибок в характеристике психологии, сознания пролетария и крестьянина не находим. Подчеркнута В. И. лишь одна строка: “Здесь все ясно и матема-

тически точно». Эта строка и вызвала примечание, заметку В. И. о религии». (стр. 71). Тов. Плетнев здесь совершенно напрасно сменил свою «робость» в толковании заметок В. И. на достаточно развязную смелость. Вовсе не только в цитируемой Плетневым строке, относится вопрос Владимира Ильича! На этом вопросе следует остановиться.

Тов. Я. А. Яковлев очень верно писал по поводу разбираемого абзаца из статьи тов. Плетнева: «Что это? Грубейшее непонимание классовых отношений в Советской России или беспардонная лесть «его величеству пролетариату»?

«Процент строящих паровозы» у нас очень мал. И вовсе ему не «все ясно и математически точно». Точно нет у нас малосознательных рабочих! Точно не пополняется рабочий класс у нас выходцами из крестьянства! Точно все у нас пролетарии «классово-сознательные и классово-спаянные»!

Совсем дело не в том, что различны «корни, питающие религию у рабочих и крестьян».

Дело в том, что нет для нас ничего вреднее «идеального пролетария», рассусоливаемого под кустарного героя. Работать и побеждать мы сможем только тогда, когда будем брать наш класс таким, каков он есть.

Тов. Плетнев пишет: «фраза и здесь все математически точно» ни в коем случае не лесть пролетарию, а простое указание на то, что у пролетария нет надежд на большее, чем на заранее оцененный его труд». (С. 72). Пустяки это! Во-первых, у пролетария в Советском Союзе есть уже надежда не только на его «заранее оцененный труд», а во-вторых, надежда на «иже еси на небесах» не пропадает у пролетария, только потому, что он продает свою рабочую силу на рынке товарного общества. Это у утопического пролетария, героя мещанских барышень из категории «прочих» в комсомоле, все так на 2000% большевистски твердокаменно. Да и сам тов. Плетнев прекрасно видит это, когда спускается с высоких пролеткультовских небес. Он пишет даже, что у нас в партии, среди ленинского призыва, имеется некоторое количество религиозных рабочих. И тут тов. Плетнев бросается в другую крайность: «никогда религия не стояла, как непосредственно мешавшая нам в борьбе». Из огня да в полымя. Или «математически точно», или религия нам никогда не мешала в пролетарской борьбе. Впрочем, я напрасно противопоставляю «огонь» и «полымя» у тов. Плетнева. Именно потому, что он вредно идеализирует пролетария, именно поэтому он приуменьшает реакционную роль религии. Многим ли эта фраза отличается от позиции Хеглунда? Религия не существует у Плетнева, как величайшее препятствие в деле

коммунистического воспитания масс теперь, в деле вовлечения их в революционную борьбу при капитализме. И такие вещи говорит наш «левый» теоретик пролетарской культуры. Да, не случайно, видно, мелкобуржуазные уклоны в нашей партии рядятся теперь в «левые» облачения.

Однако идеализирование пролетария далеко не случайно у тов. Плетнева. Оно необходимая составная часть всей его концепции пролеткультуры. Целый ряд пометок Ленина достаточно явственно характеризует утверждения тов. Плетнева о строительстве пролеткультуры силами одного и самого пролетариата. «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды». Ленин: «Архификция». Эта «архификция», однако, фундамент всех прежних построений тов. Плетнева. Но, очевидно, не только в 1922 году. Характеризуя те замечания, в которых он не смог разобраться, тов. Плетнев пишет, что на вопрос о строительстве пролеткультуры силами самого и одного пролетариата он ответил в связи с вопросом о крестьянстве. Что же писал там по интересующему нас вопросу т. Плетнев?

«В процессе строительства пролетарской культуры, процессе, неизбежно длительном, по мере того, как социализированное, обобществленное сель. — хоз. включается в ряд социалистич. обобществленного хозяйства Советского Союза, крестьянство входит вплотную в этих своих частях в процесс строительства пролетарской культуры» — такова точка зрения тов. Плетнева.

Формулировка прежде всего поражает своей из ряду вон выходящей небрежностью: обобществленное сельское хозяйство противопоставляется соц. обобществленному хозяйству Советского Союза. Что сей сон означает? У нас реально имеется в стране народное хозяйство, оно состоит из социалистической госпромышленности, этого ведущего начала нашего хозяйства, из неорганизованной массы товарных крестьянских хозяйств, из значительных еще элементов частного капитала. Несмотря на противоречивость этих составных частей — это единое хозяйство Советского Союза.

Что такое «социалистическое обобществленное хозяйство Советского Союза»? Это социализм, — и при том такая его фаза, когда кооперированное крестьянство вошло уже составной частью в систему социалистического хозяйства, когда исчез уже частный капитал. А это такая фаза социалистической революции, когда различия между классами сводятся ко все меньшим и меньшим отличиям. Иначе говоря, это период отмирания пролетарской диктатуры и становление бесклассового коммунистического общества.

К этому периоду тов. Плетнев «вплотную» вводит крестьянство в строительство пролетарской культуры. Великолепный ответ дает тов. Плетнев. Куда уж, в самом деле, лучше! Только как это связать с наводящими вопросами Ильича? Ответил ли тов. Плетнев Ленину, или он углубил свои прежние ошибки, превратив их в некую систему взглядов?

<...>

А. АВЕРЧЕНКО*

Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко**

Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Всё ли у тебя в полном здорovie?

Кстати, ты, захопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?..

А я тебя помню.

Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской, в то время, как ты стоял на балконе и кричал во всё горло:

— Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!

Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, жаловался Луначарский, что я, дескать, в своём «Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.

Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.

Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки на Гороховую — уехал из Петербурга, даже не простившись с тобой. Захлопотался.

Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.

Не ожидал ты этого?

* *Аркадий Тимофеевич Аверченко* (1880–1925) — русский писатель, сатирик, драматург и театралный критик, редактор журналов «Сатирикон» (1908–1913) и «Новый Сатирикон» (1913–1918). В 1920 в ходе Крымской эвакуации на одном из последних пароходов отплыл в Константинополь.

** Зарницы (Константинополь, София). 1921. № 15.

Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммунисты приняли меня замечательно. Правда, комендант Унечи — знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.

— За что? — спросил я.

— За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.

Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:

— А вы читали мои самые последние фельетоны?

— Нет, не читала.

— Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!

А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах — ты прости, голубчик, за резкость — просто писал, что большевики — жулики, убийцы и маровихеры...

Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я её не разубеждал.

Ну вот, братец ты мой — так я и жил.

Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая странная нейтральная зона, которую мне только приходилось видеть в жизни. потому что по одну сторону нейтральной зоны грабили только большевики, по другую только немцы, а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все вообще, кому не лень.

Бог её знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.

Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой — если эту твою Хайкину ещё не убили, награди её орденом Красного Знамени за мой счёт...

Много, много, дружище Вольдемар, за эти два года воды утекло... Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как солёного зайца: из Киева в Харьков, из Харькова — в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять... Севастополь.

Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.

Впрочем, что же это я о себе, да о себе... Поговорим и о тебе...

Ты за это время сделался большим человеком... Эка, куда хватил: неограниченный властитель всея России... Даже отсюда вижу твои плутоватые глазёнки, даже отсюда слышу твоё возражение:

— Не я властитель, а ЦИК.

Ну, это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться — я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь твой ЦИК ползет под стол и делает всё, что ты хочешь.

А ловко ты, шельмец, устроился — уверяю тебя, что даже при царе государственная дума была в тысячу раз самостоятельнее и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно сказать, в бараний рог.

Как настроение?

Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.

На кой чёрт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал до хрипоты с балкона — тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти и мир, по молодости лет, собирался перестроить.

А теперь? Наелся ты досыта, а мира всё равно не перестроил.

Доходят до меня слухи, что живётся у вас там в России, перестроенной по твоему плану — препротивно.

Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.

Стоит огород городить, действительно!

Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь.

Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этикие хорошенькие бабёночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.

А какой ты к чёрту Людовик, прости за откровенность!

Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев — и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом и ему кричали «ура», а тебе что кричат?

— Жулики вы, — кричат тебе и Троцкому, — Чтоб вы подошли, коммунисты.

Ну, чего хорошего?

Я ещё понимаю, если бы рождён был королём — ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне — и сочиняй законы для подданных.

А ведь ты — я знаю тебя по Швейцарии — ты без кафе, без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком — жить не мог.

Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим киастером — да где уж там!

И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.

Неуютно ты, брат, живёшь, по собачьему. Русский ты столбовой дворянин, а с башкирами всё якшаешься, с китайцами. И друга себе нашёл — Троцкого — совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.

Если хочешь иметь мой дружеский совет — выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что

это для отсталой России «не по носу табак», так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.

Просто и мило!

Ей богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось: дрянь, грязь и безобразия.

Не нужно ли денег? Лир пять, десять могу сколотить, вышлю.

Хочешь — приезжай ко мне, у меня отдохнёшь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем — поумней твоего марксизма.

Ну, прощай, брат, кланяйся там!

Поцелуй Троцкого, если не противно.

Где летом — на даче? Неужели в Кремле?

С коммунистическим приветом,
Аркадий Аверченко.

P. S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж, Елисейский дворец, Мильерану для Аверченко.

Г. АДАМОВИЧ*

Литературные заметки**

Г. Адамович в отзыве о книге И. Бунина «Освобождение Толстого» (Париж: YMCA-Press, 1937) писал, что Бунин спорит «даже с Лениным, но на этом долго не задерживается, а с презрением отшвыривает самоуверенные и довольно поверхностные статейки, считающиеся в казенной русской критике образцом гениальности. (Поверхностные, но, как почти всегда у Ленина, ядовитые и насмешливо-метко написанные: вспомните, например, знаменитую фразу о “рисовых котлетках”»).

* *Георгий Викторович Адамович* (1892–1972) — русский поэт-акмеист, литературный критик, переводчик. В 1923 эмигрировал в Берлин и жил во Франции. В эмиграции был дружен с И. Буниным.

** Последние новости (Париж). 1937. 23 сентября. № 6025.

В. АКСЕНОВ***Таинственная страсть.
Роман о шестидесятниках****

<Фрагмент>

1968, начало августа Литфонд

Ранним утром августовского дня, пока все еще спали в комнатах и на террасах Дома творчества, поэт Роберт Эр натянул шорты на свой мускулистый зад и отправился к воротам территории. Шел тихим расслабленным шагом, пошлепывал вьетнамками. Чуть появившееся над гребешком Хамелеона солнце создавало длинные тени, пересекающие пустые аллеи парка, с трудом возвращенного Литфондом на полупустынной земле Восточного Крыма. Роберт и сам отбрасывал длиннющую тень с парадоксально малой головой, что покачивалась аж в самом конце аллеи.

Будучи основательно с похмелья — вчера порядочно засиделись за амфорой совхозного вина в компании Кукуша Октавы и Нэлки Аххо, — а стало быть, иронически относясь к собственной персоне, тем более в ее удлинненном варианте, Роберт вовсе не отнекивался от парадоксов раннего восхода; напротив, вроде бы совсем не возражал ходить вот таким среди нормальных: ростом в сто метров, башка лишь отдаленно напоминает свой довольно объемный орган стихов, ручищи покачиваются словно фантастические лапы, и все это в виде плоской тени; ну, словом, сюр.

Еще не дойдя до ворот, он остановился на «звездном перекрестке» этой обители, где по ночам происходили скоропалительные свиданки. Здесь, обозначая центр, зиждился бюст Вечно Живого. Роберт тут покачался, оживляя голеностопы. Потом, опершись на пьедестал, сделал глубокую растяжку, как с левой стороны, так и с правой. В ходе растяжки ног он развивал и свою думу о Ленине. Говорят, что надо покрасить заново, но по мне он и так хорош. Что бы ни говорили, но он мыслитель глобального масштаба.

* *Василий Павлович Аксёнов* (1932–2009) — русский прозаик, драматург, сценарист, переводчик, педагог. В 1980 г. эмигрировал в США (выехал по приглашению, после чего был лишён гражданства), в последние годы жил во Франции.

** «Таинственная страсть» (2000-е) — последний роман Василия Аксенова. Его герои — кумиры шестидесятых: Роберт Рождественский, Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, Андрей Тарковский, Евгений Евтушенко...

Те, кто хотят его опровергнуть, не читали ничего из его трудов. Я все-таки хоть что-то читал.

Цитата, которую я тут хотел внедрить, исчезла из-за пьяноватого состояния головы. Протрезвев, я ее тут же вспомню. Да вот, собственно, уже и вспомнил: «Творчество человека лежит в коллективном творчестве масс». Он сильно трактует Гегеля. Да и вообще человек грандиозной страсти, поистине таинственной страсти к народу, любви к нему. Сталин ему не чета. Сталин — полувраг народа, почти троцкист. У этого Ленина в районе ушей, конечно, наблюдается некоторая замшелость, зеленоватый наросст мха, но это устранимо, потому что суррогату вождя истинный вождь не чета. Да что это я? Куда меня понесло от этого бюста? Попахивает похмельным зощенкоизмом, нет? Тогда переходим на чистую в стиле Маяковского агитку слов:

Ильич, ты не кочан капусты!
Ты наш влиятельный, живой!
Спросите всех, спросите Юста.
Меня и алебастр бюста,
И вы поймете. Ленин — свой!

Юст появился в похмельном стихе не случайно. Собственно говоря, именно из-за друга сердешного Юстинаса Юстинаускаса, скульптора, живописца и графика, народного художника Литвы и лауреата премии Ленинского комсомола, вот именно ради этого могучего друга и собутыльника Роберт и встал сегодня ни свет ни заря. Вчера во время обеда этот Справедливец Справедливский (прямой перевод его имени с латыни) позвонил в столовую и сказал, что вылетает ночным рейсом из Вильнюса в Симферополь и планирует появиться у ворот ДТ около семи утра. Попросил встретить и помочь с размещением. Эдакий европеец, усмехнулся Роберт, он думает, что, если он заказал такси, так она, тачка, и будет его ждать в ночном сумбурном аэропорте. Так или иначе, друга надо было встречать.

Порога Дома творчества представляли собой помпезную, хоть и облупившуюся на солнце арку. Под аркой были ворота с висячим амбарным замком. Над аркой и тоже в полукруглом варианте красовался основной лозунг советских писателей, изречение лучшего «беспартийного коммуниста» романиста Леонида Соболева на IV съезде СП СССР в Кремле: «Партия дала советским писателям все права, кроме одного — права писать плохо!» Роберт разбудил кемарившего в будке сторожа Жукова, дал ему трешку и попросил снять замок. За воротами в пыли и в лопухах, под пыльными акациями ночевала в спальниках компания «дикарей». Роберт

присел в тени на седло полуразобранного жуковского мотоцикла и стал заниматься привычным делом, рифмовкой: «Акация — Кац и я», «пыль — пол», «дикари — вдугаря»... Стало клонить ко сну. Чтобы взбодриться, он посмотрел на лозунг. Вдруг заметил, что в Соболевском изречении чего-то не хватает. Оказалось, что пропало последнее слово — «плохо». Без него возникал не очень-то вдохновляющий смысл: «Партия дала советским писателям все права, кроме одного — права писать!» Он усмехнулся: дожили до прямой идеологической провокации. Он догадывался, чьих это рук дело. Двое мальчишек. Славка и Левка, оставшиеся здесь еще с июльского заезда, постоянно потешались над нищенской наглядной агитацией, не исключая даже центрального бюста. Скорее всего это именно они разобрали слово «плохо», чтобы получилось хорошо. Что же из этого получится? Могут, конечно, не заметить до конца сезона, ведь не заметили же в течение всего лета на фео-досийском рынке лозунга «Наша цепь коммунизм!»; ну а если заметят? Колоссальный скандал? Поток доносов? За мальчишек, впрочем, можно не волноваться: у обоих папаши — лауреаты и секретари. Ну а если по сути, получается прямо в глаз. Партия — это директивный орган, никто не спорит. Однако литературу ведь не создашь по директиве; верно? Надо было бы ее отделить от партии, как церковь отделена от государства; так, товарищи?

<...>

Ал. АЛТАЕВ*

Я слушаю Ленина**

Я хочу закончить свои воспоминания рассказом о своей работе в большевистской печати в первые годы Октябрьской революции. Эта работа и связанные с нею незабываемые встречи озарили последний этап моего жизненного пути.

Много лет я была дружна с революционным студенчеством Горного института; у меня на квартире не однажды происходили студенческие собрания; я прятала прокламации; целый год у меня скрывался сподвижник лейтенанта Шмидта — матрос Фесенко.

* Ал<ександр> Алтаев — литературный псевдоним Маргариты Владимировны Ямщиковой (до замужества Рокотовой; 1872–1959) — русской советской детской писательницы, прозаика, публициста, мемуариста.

** Ал. Алтаев. Памятные встречи. М.: Гослитиздат, 1951. С. 374–376.

Когда к вечеру 9 января возмущенные рабочие стали строить баррикады на Васильевском острове, я всем существом потянулась к ним — я была на баррикадах.

В конце 1905 года у меня на квартире составлялся первый номер большевистской газеты «Молодая Россия»; помню, что ближайшее участие принимали тогда М. Горький, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский. Номер газеты оказался единственным и конфискованным. Тем не менее к сожалению, прямого деятельного участия в революционном движении не принимала.

В 1917 году один знакомый студент-горняк Глеб Иванович Бокий предложил мне пойти послушать выступление Ленина на митинге в Морском корпусе.

Этот день определил мою дальнейшую дорогу.

Помню, как сейчас, все моменты знаменательного для меня вечера.

Люди тянутся гуськом по набережной Васильевского острова, возле старого здания Морского корпуса. Несколько месяцев назад сюда входили только чистенькие кадеты, лощенные гардемарины и элегантные морские офицеры: чтобы учиться в Морском корпусе, надо было быть непременно дворянином. Теперь сюда свободно шли рабочие, навсегда выставив дворянчиков из пожелтевшего здания.

Тщательная проверка пропусков. Кто? Зачем? От кого получили пропуск?

В огромном конференц-зале так тесно, что трудно шевельнуться. Воздух скоро делается тяжелым, густым: слабо светят в тумане человеческого дыхания огоньки люстр.

Я оглядываюсь; мне кажется, что я одна женщина-интеллигентка в массе рабочих... Я стараюсь освоиться, но вот внимание привлекает шум; толпа расступается; к трибуне идут два человека: один невысокий, плотный, коренастый, в кепке; у него маленькая рыжеватая бородка и слегка прищуренные глаза. Я успела рассмотреть, что глаза — зоркие и словно смеются, — Ленин. Другой — выше, с продолговатым лицом, блондин; говорит сильно на «о» — Н. И. Подвойский.

Ленин быстро, почти стремительно поднимается на трибуну. Гром аплодисментов.

Как ясно, как просто и убедительно говорит он, говорит о войне, о братании на фронте, и я ловлю себя на мысли: «Как же все люди не видят гнусных целей империалистической войны?» Перерыв. Ленину неистово аплодируют.

Вносят на руках обрубок человека — безногого солдата. Он протягивает георгиевский крест, единственную ценность, которую он может пожертвовать на фронтовую газету «Солдатская правда».

Сбор идет по всему залу. Вокруг инвалида группа, расспрашивающая его о фронте. По рукам ходят свежееотпечатанные экземпляры «Солдатской правды». Гул веселый, бодрый гул. Около Подвойского толпа: он разъясняет ленинский доклад, голос его раскатывается своим округлым «о».

Снова движение в толпе, и снова на трибуне Ленин — такой ясный и уже такой близкий человек.

Он заканчивает речь среди шумных оваций, которые сливаются с торжественными звуками «Интернационала». В первый раз я слышала, как рабочие поют «Интернационал». До сих пор помню впечатление, какое произвело на меня это мощное пение: оно подхватило меня, вовлекло в рабочую массу, смущение мое мгновенно прошло. Я пела со всеми и чувствовала неразрывную связь с этой массой, чувствовала веру в человека, которого только что, в первый раз в жизни, услышала и которому светло и радостно — я видела это — верили рабочие.

Толпа выплеснула меня из зала на улицу. Мы шли и пели. Все пели, и это пение чудно объединяло...

М. АЛДАНОВ*

Ленин. Политическая биография**

<Фрагменты>

Вступление

В этой книге я ставлю перед собой двойную цель. С одной стороны — изучение сильной и довольно-таки любопытной личности. Ни один человек, даже Петр Первый, не оказал такого влияния на судьбы моей родины, как Ленин. Ни один человек, даже Николай II, не причинил ей столько зла: ведя речь о деспоте, в порядке вещей прибегать к сравнениям с ему подобными.

* *Марк Алданов* (урождённый Марк Александрович Ландау; *Алданов* — анаграмма, ставшая затем из псевдонима настоящей фамилией; 1886–1957) — русский прозаик, публицист, автор очерков на исторические темы, философ и химик. После вступления в Партию народных социалистов в 1919 был командирован этой партией за границу, с тех пор в Россию больше не возвращался. Жил сначала в Париже, затем в Берлине (с 1922 по 1924 г.), потом снова вернулся в Париж. После падения Парижа в 1940 переехал в США. Был тринадцать раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

** Завершена в Париже в ноябре 1919 г.

Россия дала миру великих гениев, глубоких мыслителей. Но ни один из них не воздействовал так на западный мир, как этот фанатик, может быть, даже не обладавший большим умом. И чтобы этот потрясающий воображение факт стал явью, потребовалось два бедствия мирового масштаба: война и революция. Они-то и выдвинули на авансцену истории разрушителей: Людендорфов и Лениных.

С другой стороны, я желал бы, чтобы эта книга стала опытом философского осмысления событий общественной жизни. И главная ее тема — коммунистическая революция. В поисках генезиса большевистской доктрины никак не обойтись без обращения к теориям Карла Маркса, Михаила Бакунина, Жоржа Сореля, которые сегодня, после пережитого в 1914–1919 годах, предстают в новом свете.

Считаю себя обязанным с самого начала предупредить читателя о главной концепции, которую развиваю в этой книге, дабы он взялся за ее чтение либо отложил ее в зависимости от характера и степени неколебимости своих политических воззрений.

Данный труд написан социалистом*, который еще к тому же контрреволюционер и антимиитарист: эти два слова употреблены здесь не в том фальшивом и искусственном значении, которое они имеют на митингах, где звучит жаргонная речь, но в их исконном и точном значении. Можно быть антимиитаристом, не желая при этом утопить национальный флаг в куче навоза. Можно быть контрреволюционером, не разделяя политические идеи Столыпина. Слова эти на самом деле означают следующее:

Нам не нужны ни войны, ни революции, ни сегодня, ни завтра. Мы видели их вблизи, с нас довольно. Оба эти явления стоят одно другого как с нравственной точки зрения, так и с точки зрения прогресса человечества. Да и похожи настолько, что можно принять

* Автор принадлежит к партии народных социалистов, во главе которой стоят господа Мякотин и Пешехонов, бывшие сотрудники Михайловского и Чайковского, главы правительства Архангельска. Эта партия, возможно единственная в России, следовала четко намеченной линии действий; ее главными характеристиками являлись: защита национальных интересов, лишенная какого-либо шовинистического духа и империалистических побуждений; верность союзническим отношениям; демократические свободы; Учредительное собрание; объединение всех сил, признающих суверенность всеобщего избирательного права; глубочайшие социальные реформы, осуществляемые легальным путем. Это та партия, которая выступила с инициативой переговоров, приведших к образованию Союза Возрождения России, состоящего из социал-революционеров, социал-лейбористов, социал-демократов и левых кадетов.

одно за другое. Мы считаем их худшими из бед, которые могут постигнуть свободные народы.

Ныне все европейские страны, за исключением России, имеют институты, позволяющие сражаться на идейном уровне, не строя баррикады и не расстреливая друг друга. И потому нашим желанием является, чтобы революция, которая опрокинет большевистскую тиранию, стала последней из революций. Ежели это лишь мечта, тем хуже.

В другой своей книге («Армагеддон»), написанной в 1914–1918 годах (на русском языке), я попытался показать, что мировая война означает страшный кризис, может быть, гибель определенных принципов, которыми вдохновлялись как сторонники, так и противники социального порядка старой цивилизации. Я был рад натолкнуться на аналогичную мысль в недавно опубликованной статье г-на Гульельмо Ферреро*. Прославленный историк проводит параллель между кризисом наших дней и кризисом III века, порожденным гражданскими войнами, последовавшими за смертью Александра Севера и приведшими к падению авторитета римского Сената. Античная цивилизация так и не оправилась после этого кризиса. Получится ли это у нас? Обладает ли наша цивилизация стержнем, который мог бы служить основой стабильного социального порядка? Такова задача. Ясно, что было бы бессмысленно искать подобных целей у людей, ответственных за катастрофу войны, как и у тех, кто хочет ввергнуть нас в пропасть всемирного большевизма.

Кошмар, начавшийся в 1914 году, не кончился. Вино открыто, следует его выпить. Что может быть вернее и печальнее этой пословицы... Да, нужно выпить вино, открытое кем-то другим. И выпить до конца.

Ноябрь 1919, Париж

<...>

Глава IV **Мировоззрение Ленина**

После провала первой русской революции русский марксизм переживал кризис. Многие социал-демократы, большевики и меньшевики, ощутили потребность в иной философской базе для своих взглядов, нежели та, которую обеспечивал им материализм, исповедуемый Энгельсом, Мерингом, Лафаргом и Плехановым.

* Guglielmo Ferrero. La ruine de la civilisation antique. Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1919.

Из-под пера социал-демократов, таких как Луначарский, Базаров, Богданов, Юшкевич и другие, вышел ряд философских книг и статей.

«В эти годы началось литературное мародерство, невиданный литературный распад. Под флагом марксизма хотели протачить в рабочую среду гнилые идеи буржуазной философии»*.

Это явление вскоре привлекло к себе разгневанное внимание Ленина, усмотревшего в нем опасность. До тех пор он еще не писал на философские темы и вообще не предполагал, что для хорошего социал-демократа могли существовать философские проблемы, не решенные Марксом и Энгельсом. Бесстрашие дезертиров из материалистического лагеря привело его в бешенство. Надлежало образумить тех социал-демократов, которые подняли против диалектического материализма Маркса и Энгельса «бунт на коленях».

И вот Ленин заточил себя в Национальной библиотеке в Париже и принялся штудировать труды буржуазных философов.

Я слышал от одного из его друзей, что он изучил всю буржуазную философию за шесть недель. Однако если верить г-ну Зиновьеву, Ленин отдал этому два года жизни. Как бы там ни было, в 1908 году на свет появился толстенный том**, который его биограф квалифицирует как «серьезный труд по философии», утверждая, что эта книга «закладывала основы коммунизма»***.

Сей труд и впрямь чрезвычайно любопытен, но, осмелюсь сказать, с психологической точки зрения.

Сама манера трактовать философские проблемы совершенно поразительна. Подход к трудам наиболее абстрактных из философов — самый что ни на есть большевистский: так легче внести сумятицу в ряды противника. Бедняги философы были бы весьма озадачены, узнав, зачем понадобились Ленину их доктрины.

Ленин цитирует довольно-таки безобидную статью г-на Бляя: «Метафизика в политической экономии» (*Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie*****) и сопровождает свою цитату следующей ремаркой: «Читатель, вероятно, негодует на нас за то, что мы так долго цитируем эту невероятно пошлую галиматью, это квазиученое шутовство в костюме терминологии Авенариуса.

* Среди тех, кто хотел это сделать — Луначарский, ныне коллега Ленина и Зиновьева в Совете Народных Комиссаров. Отсюда скромное хотели. — Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 41.

** В. Ильин (Ленин). Материализм эмпириокритицизм. Критические заметки о реакционной философии (на рус. яз.). М., 1909.

*** Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 42.

**** Ежеквартальник по научной философии (нем.).

No wer den Feind will verstehn, muss im Feindes Lande gehn: кто желает знать врага, тот должен побывать во вражеской стране. А философский журнал Р. Авенариуса — настоящая вражеская страна для марксистов. И мы приглашаем читателя преодолеть на минуту законное отвращение к клоунам буржуазной науки и проанализировать аргументацию ученика и сотрудника Авенариуса»*.

Очевидно, что Ленин интересовался философией, как интересуются недругом. Он изучил, то бишь перелистал, кучу философских трудов, задавшись при этом той же целью, что и немецкие офицеры, изучающие русский язык.

Стиль, отличающий приведенную цитату, характерен для ленинской книги в целом. Наугад выхватываю еще ряд цитат.

«В философии — поцелуй Вильгельма Шуппе ничуть не лучше, чем в политике поцелуй Петра Струве или г. Меньшикова**»***. «Но Мах здесь так же приближается к марксизму, как Бисмарк приближается к рабочему движению, или епископ Евлогий**** к демократизму»*****. «Луначарский говорит^{6*}: „...дивная страница религиозной экономики. Скажу так, рискуя вызвать улыбку нерелигиозного читателя”. Каковы бы ни были ваши благие намерения, товарищ Луначарский, ваши заигрывания с религией вызывают не улыбку, а отвращение^{7*}. «И вот эдакие-то немецкие Меньшиковы, обскуранты ничуть не менее высокой пробы, чем Ренувье, живут в прочном конкубинате с эмпириокритиками»^{8*}. «Что автор такого рассуждения может быть крупным физиком, это допустимо. Но совершенно бесспорно, что брать его всерьез, как философа, могут только Ворошиловы — Юшкевичи... Ошибаетесь,

* В. Ильин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии, (на рус. яз.). М., 1909.

** Реакционный русский публицист, недавно расстрелянный большевиками.

*** В. Ильин. Указ, соч., с. 69.

**** Прелат, известный своими отсталыми взглядами.

***** В. Ильин. Указ, соч., с. 142.

^{6*} На стр. 400 Ленин констатирует, с ужасом, достойным г-на Омэ, что «товарищ Луначарский заговорил о религии». Какова бы ни была ценность находок г-на Луначарского в области «религиозной экономики», удивительно, что Ленин доверил портфель министра народного просвещения столь опасному клерикалу. Это было, по меньшей мере, столь же неосмотрительно, как и доверить министерство иностранных дел г-ну Троцкому, которого Ленин в 1915 году охарактеризовал как буржуазного оппортуниста.

^{7*} В. Ильин. Указ, соч., с. 195.

^{8*} Там же, с. 223.

г. Пуанкаре: ваши произведения доказывают, что есть люди, которые могут мыслить только бессмыслицу»*. «Ограничусь только изложением очень важной для моей темы статьи нашего известного философского черносотенца г. Лопатина <...>. *Истинно русский идеалист г. Лопатин*** относится к современным европейским идеалистам примерно так же, как „Союз русского народа” к западным реакционным партиям»***. «Герман Коген <...> доходит до того, что проповедует введение высшей математики в школы — для ради внедрения в гимназистов духа идеализма, вытесняемого нашей материалистической эпохой <...>. Конечно, это — вздорное мечтание реакционера <...>. Но в высшей степени характерно <...> какими утонченными средствами пытаются представители образованной буржуазии искусственно сохранить или отыскать местечко для фидеизма, который порождается в низах народных масс невежеством, забитостью и нелепой дикостью капиталистических противоречий»****. «Русский физик, г. Хвольсон*****, отправился в Германию, чтобы издать там подлую *черносотенную* брошюрку против Геккеля...»6*.

Чувство, которое испытываешь, читая подобное в «философском труде», довольно сложно определить. В меня это вселяет прежде всего ужас при мысли о том, что этот человек, считающий себя апостолом будущего, а на самом деле обладающий психологией средневекового монаха, сегодня безраздельно властвует над сотнями миллионами людей.

Было бы ребячеством критиковать «философскую систему» Ленина. Впрочем, он не претендует ни на какую оригинальность в данной области и постоянно подчеркивает, что полностью разделяет учение диалектического материализма7*. Библия этого

* Там же, с. 309–310.

** Профессор Лопатин — столь же известный в России философ, как в Германии — г-да Шюппе, Шуберт-Золдерн, Мах, Коген. За черносотенцами, истинными русскими, «Союзом русского народа» во времена Николая II стояли организации и отдельные личности крайне левого толка.

*** В. Ильин. Указ, соч., с. 317.

**** Там же, с. 326–327.

***** Г-н Хвольсон, профессор физики в Петербургском университете, беседовал с Эрнестом Геккелем на философские темы, не имеющие никакого отношения к политике.

6* В. Ильин. Указ, соч., с. 370.

7* Нужно отдать должное Ленину: у него нет мании последнего крика, которая свирепствует в лагере его соратников и так им к лицу. «Большевики, — рассказал мне один русский, часто с ними общавшийся, — это люди, которые трижды в неделю приглашают маникюршу, но моются

учения — это даже не труды Маркса, а «Анти-Дюринг» Энгельса (Herrn Eugen Dührings Umwälzung in der Wissenschaft), для Ленина являющийся первым и последним словом человеческой мудрости. Это *ad majorem gloriam* большевизированной разновидности диалектического материализма. Им избалованы злодеяния таких философов, как Юм, Кант, Беркли, Авенариус, Ренувье, раскритикованы следующие физики: «немец Мах, француз Анри Пуанкаре, бельгиец Дюгейм*», а также предатели и дезертиры русского материализма.

Общий смысл рассуждений примерно таков:

Беркли, Юм, Кант, Мах, Пуанкаре и прочие, являясь прислужниками буржуазии, сочинили учения, лишенные общечеловеческого содержания и направленные лишь на дальнейшее поддержание рабского состояния рабочих. Ленин с воодушевлением цитирует одну тираду, с которой против этих философов выступил «ученик Энгельса, Лафарг» и которая его обессмертила:

«Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что он питается свиным мясом; что хозяин — вор и что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. — Ничего подобного, — говорит буржуазный софист, все равно, зовут ли его Пирроном, Юмом или Кантом, — мнение рабочего на этот счет есть его личное, т. е. субъективное мнение; он мог бы с таким же правом думать, что хозяин — его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо он не может знать вещи в себе...**»***.

лишь один раз в месяц». Замечание это столь же верно в символическом значении, как и в буквальном: большевики едва умеют читать и писать, но уже кубисты в живописи, футуристы в литературе и почувствовали бы себя обесщеченными, если б их обозвали хоть в чем-либо старомодными.

* Из духа симметрии, должно быть, знаменитый физик из Бордо был превращен Лениным в бельгийца.

** У меня нет работы Лафарга, откуда позаимствована эта тирада; я слово перевозжу на французский русский перевод Ленина.

Цитата содержится в той самой книге «Материализм и эмпириокритицизм» и выглядит так: Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что он питается свиным мясом; что хозяин — вор и что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. — Ничего подобного, — говорит буржуазный софист, все равно, зовут ли его Пирроном, Юмом или Кантом, — мнение рабочего на этот счет есть его личное, т. е. субъективное, мнение; он мог бы с таким же правом думать, что хозяин — его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо он не может знать вещи в себе... — Иван Штангенциркуль.

*** В. Ильин. Указ, соч., с. 212.

Впрочем, есть софисты и софисты. Ленин все же слегка снисходителен к Канту, который для него нечто промежуточное между идеалистами и материалистами. «Когда Кант допускает, что нашим представлениям соответствует нечто вне нас, какая-то вещь в себе, — то тут Кант материалист. Когда он объявляет эту вещь в себе непознаваемой, трансцендентной, потусторонней, — Кант выступает как идеалист»*. Кант нечто вроде буржуазного центра в духе кадетской партии (это сравнение, разумеется, принадлежит Ленину): «махисты критикуют Канта справа, а мы — слева»**. А вот Мах гораздо более зловерный софист. «Философия естествоиспытателя Маха относится к естествознанию, как поцелуй*** христианина Иуды относился к Христу»****. Не щадит Ленин и своих товарищей по партии, стоит им хоть сколько-нибудь доброжелательно отнестись к фидеистским учениям*****: так, он делает последнее предупреждение г-ну Луначарскому: «Позорные вещи, до которых опустился Луначарский <...> будь это прямой и обычный, т. е. непосредственно фидеистический смысл, мы не стали бы и разговаривать с автором, ибо не нашлось бы, наверное, ни одного марксиста, для которого подобные заявления не приравняли бы всецело Анатолия Луначарского к Петру Струве»^{6*} (разумеется, Ленин не мог упустить случая лягнуть Струве).

Это краткое изложение ленинской философии не было бы полным, если бы я не привел несколько перлов из другой философской книги, появившейся почти одновременно с книгой Ленина и написанной в том же духе одним из его товарищей по большевистской партии — г-ном Шулятиковым^{7*}. Его опус представляет еще больший интерес, чем книга самого Ленина; написан он в более спокойной и академической манере. Ленин ругается, исходит пеной, громит буржуазных философов. В книге же Шулятикова ни одного грубого слова: он спокойно и методично развенчивает великих мыслителей и с научной безмятежностью ставит

* Там же, с. 206.

** В. Ильин. Указ, соч., с. 207.

*** Поцелуй — одна из излюбленных речевых фигур ленинского красноречия.

**** Там же, с. 369.

***** «Фидеизм, — объясняет Ленин, — есть учение, ставящее веру на место знания или вообще отводящее известное значение вере» (цит. по: ПСС, т. 55, с. 259). Бедный большевистский философ даже не догадывался, что он самый что ни на есть настоящий фидеист.

^{6*} В. Ильин. Указ, соч., с. 366.

^{7*} В. Шулятиков. *Оправдание капитализма в западно-европейской философии* (от Декарта до Маха) (на рус. яз.) М., 1908.

их к стенке. Ленин сосредоточился прежде всего на современной философии, тогда как Шулятиков в своем экспозе поднимается до Декарта (и впрямь, чего церемониться с замшелым реакционером?). С другой стороны, Шулятиков, если это хоть в какой-то степени возможно, более последователен, чем Ленин, что повышает интерес к его патологическому труду. Но идеи и методы обоих примерно одинаковы.

«Предполагается, — начинает свой труд Шулятиков, — что философия — вещь очень невинная. <...> Пусть та или иная философская система сложилась в лоне буржуазии: из этого не следует, что надо <...> видеть в ней оружие, выкованное против рабочего класса». «Придерживаться изложенного взгляда значит впадать в наивную, прискорбнейшую ошибку. Философия не составляет счастливого искушения: на умозрительных “высотах” буржуазия остается верна себе. Она говорит не о чем ином, как о своих ближайших, классовых выгодах и стремлениях, но говорит очень своеобразным, трудно понимаемым языком. Все без остатка философские термины и формулы, с которыми она оперирует, все эти “понятия”, “идеи”, “воззрения”, “представления”, “чувства”, все эти “абсолюты”, “вещи в себе”, “ноумены”, “феномены”, “субстанции”, “модусы”, “атрибуты”, “субъекты”, “объекты”, все эти “духи”, “материальные элементы”, “силы”, “энергии” служат ей для обозначения общественных классов, групп, ячеек и их взаимоотношений»*. Подобно тому как офицеры службы разведки кладут годы, чтобы расшифровать условные сигналы противника, Шулятиков поставил перед собой цель разгадать шифры буржуазной философии и докопаться до секретов, которыми философы, оплаченные капиталистами, на протяжении веков обманывают пролетариат. И впрямь, из его книги мы узнаем о наиболее охраняемых тайнах буржуазной философии.

Пролетариат, к примеру, может узнать, что «мир, в системе Декарта, организован по типу мануфактурного предприятия»** и что «Декартово понятие о человеке, в свою очередь, воспроизводит организацию мануфактурной мастерской»***. А также, что понятие времени у этого философа было последствием нововведения: «Описывая устроенное в XVI в. типографское предприятие Кюбергеров, некто Нейдерфер считает нужным подчеркнуть следующую подробность: “В известный час они (подмастерья) должны приходить на работу и уходить с работы; ни одного из них не пускали без дру-

* В. Шулятиков. Указ, соч., с. 6.

** Там же, с. 27.

*** Там же, с. 30.

гих в дом... но они должны были поджидать один другого перед воротами дома”. Это — сенсационное нововведение...»*. Со Спинозой дела обстоят еще хуже: «Спинозовское миропонимание — песнь торжествующего капитала, — капитала, все поглощающего, все централизующего»**. «Величественная, очаровывающая система! Такова почти всеобщая оценка спинозовского миропонимания. Наиболее далекий от всяких “мирских помыслов” человек, идеальнейший тип мыслителя, исключительно преданного чистому умозрению — такова всеобщая оценка личности Спинозы. Но... когда Спиноза умер, то, как известно, погребальную колесницу, везшую его останки, с большой помпой провожал *fine fleur**** — голландской буржуазии. А если мы познакомимся поближе с кругом его знакомых и корреспондентов, то опять встретимся с *fine fleur*’ом — и не только голландской, но и всемирной — буржуазии. Объяснить внимание, которым последняя, в лице своих передовых представителей, удостаивала отшельника-философа, простым очарованием его системы, глубиной и последовательностью его мышления не приходится. Буржуазия чтит в Спинозе своего барда»****. После этого читатель не удивится, узнав, что «бог Лейбница — собственность образцово поставленного предприятия» и что «философия Лейбница — апофеоз организационного строительства мануфактуристов»*****. Но самые заметные представители «мануфактуристской мысли» — Юм и особенно Кант. «Капитал статичен. Но поскольку эластичность немецкого мануфактурного капитала в XVIII столетии не велика <...> идеолог немецкой буржуазии находит возможным защищать статическое представление о душе»^{6*}. Шулятиков также разоблачил тайное значение силлогизмов Фихте: «Это — славословие в честь всеспасающей специализации. Дифференцируйте профессии и функции...»^{7*}. Он также не скрывает от нас, что вся современная философия служит делу оправдания современного капитализма.

«Учение Авенариуса о принципиальной координации, учение Эрнста Маха об отношении психического к физическому, учение Вундта о представлениях — объектах — все это учения одного порядка, все это примеры разрешения одной и той же проблемы,

* Там же, с. 42.

** Там же, с. 42.

*** Весь цвет (*фр.*).

**** Там же, с. 42.

***** Там же, с. 45.

^{6*} Там же, с. 79.

^{7*} Там же, с. 92.

поставленной перед идеологами авангарда капиталистической буржуазии, примеры попыток передать с помощью философских символов отношение означенной буржуазии к факту роста и, вместе с тем, «поражения кадров исполнителей — организаторов»*.

Возможно, читатель, ознакомившись с этой тарабарщиной, проведет несколько веселых минуток. Однако не стоит забывать, что мы имеем дело с одной из разновидностей мании преследования, которая при определенных политических условиях далеко не безопасна. Пока обвинения выдвигаются против Спинозы и Лейбница, ничего серьезного. Но вспомним, что Россией ныне управляют Шулятиковы, что Ленин — тот же Шулятиков и что ЧК вместе со всякого рода обычными бандитами насчитывает в своих рядах и энное число Шулятиковых. Не будет преувеличением сказать, что миллионы русских были расстреляны большевиками по обвинению в контрреволюционной конспирации, столь же доказанному, как и тайный союз между Спинозой и международной буржуазией или «мануфактурный» характер философии Лейбница и Канта.

Вернемся к Ленину. Не делая его крайним за все «философские» постулаты Шулятикова, мы усматриваем присущий обоим авторам один тип мышления и убеждены, что приход к власти на высочайшем уровне человека, который написал подобную книгу, чреват огромной опасностью для нашей тридцативековой цивилизации. Ибо какова, в сущности, разница между ним и Халифом Омаром, который якобы сжег Александрийскую библиотеку? «Ежели эти книги содержат то, что есть в Коране, они бесполезны. Ежели в них есть то, чего там нет, они вредны». Замените слово Коран словом Анти-Дюринг, и вы получите точный образ мысли Ленина. Да, впрочем, он и сам сказал: «Книга губит социальную революцию», в чем он абсолютно прав. Если б он пожелал сегодня быть до конца последовательным, если бы его действия не встречали противодействия со стороны более образованного Луначарского и кое-кого другого, какие еще опыты ставились бы над несчастной Россией? В Советской республике можно было бы в крайнем случае оставить в покое естественные науки, ведь этот Иуда-Мах не сумел бы приспособить их для своих реакционных умозаключений. А вот строгие науки нельзя не заподозрить в идеализме, и потому они представляют определенную опасность. Философия, гуманитарные науки не могли не попасть под запрет, поскольку Юмы и Канта спят и видят, как обмануть рабочего человека и доставить удовольствие хозяину, который

* Там же, с. 114.

оплачивает их писания. Что до Авенариусов, Шуберт-Золдернов и прочих Меньшиковых, с ними все просто: их место в тюрьме, если только не у стенки, как поступили с *подлинным* Меньшиковым. Делом «труса» Хвольсона и черносотенного Лопатина вообще должна заниматься Чрезвычайка, борющаяся с контрреволюцией, спекуляцией и философией. Ей надлежит наблюдать за тем, чтобы преподаватели не использовали ничего иного, кроме изложенного в «Анти-Дюринге». Что до искусства, то оно по самой своей сущности полностью фидеистично, а посему как таковое подлежит бесжалостному изгнанию.

Пусть не говорят, что это преувеличение идей Ленина. К какому иному выводу мог бы прийти, оставаясь последовательным, тот, кто знаком со всей правдой, высшей правдой, и кто объявляет безумным, реакционным и трусливым все, что с ней не согласуется? Шекспировская фантазия Эрнеста Ренана предвидела этот страшный призрак дикаря, угрожающего цивилизации, этакого Калибана, опьяненного мстостью ко всему, что выше его понимания. Большевизм — осуществление наяву этого мрачного видения. Калибализм в философии, калибализм в политике — вот что принес в мир Ленин.

Глава V

О предсказаниях вообще и о ленинских предсказаниях в частности

Знаю, что коснусь в этой главе легенды, которая кажется всем ненарушимой: в мозгу большинства людей, часто даже тех, кто далек от того, чтобы быть почитателем этой личности, Ленин пребывает *человеком, который все предвидел*.

Не так давно «Юманите» опубликовала следующую заметку, которая свидетельствует о некоем добровольном помрачении в среде тех, кто культивирует в Париже московских героев.

«Уже более года, — пишет “Юманите”, — в те времена, когда виконт Грей публиковал свои брошюры о Лиге Наций, народный комиссар Ленин разоблачил его и назвал инструментом англосаксонской плутократии. Гений Ленин прозревает столь удаленные взаимосвязи и выделяет их столь черным цветом, что его предположения, в силу своей неожиданности, наталкиваются сперва на наше недоверие. По мере того как, с одной стороны, развиваются события, а с другой, мы привыкаем к стилю и способу мышления этого великого ума, мы вправе предположить, что мощь философской изобретательности, из числа самых плодотворных и развитых, соединяется в нем с прозорливостью, которая сама по себе

уже поставила бы его в ряды самых выдающихся государственных деятелей нашего времени. Статья из “Таймс”, которую мы вам предлагаем, служит полным подтверждением ленинских прозрений».

Это поразительное вступительное слово сопровождается статьей из «Таймс», в которой говорится, что России следует выбирать: «войти ли в семью наций или же попасть в вассальную зависимость от Германии». никоим образом не касаясь этого вопроса, можно лишь удивляться тому, что разоблачение «буржуазной» основы идей виконта Грея, которое во время войны было общим местом всей социалистической прессы Германии, рассматривается в качестве доказательства гения Ленина, его великого ума и мощи, философской изобретательности (?) и прозорливости. И все остальные хвалебные отзывы, расточаемые в адрес гения политического предвидения большевистского лидера, — примерно в том же духе.

Когда просишь у ленинских почитателей четко назвать его предвидения, они обычно отвечают, что главный большевик предвидел: война окончится революцией.

Не оспаривая этого, я, пожалуй, соглашусь, что он, действительно сделал данное предсказание. Не оспариваю я и того, что он обладает даром некоей проницательности, отнюдь не безграничной. Думаю, он дал и более блестящие доказательства оной, в частности в том, что касается большевистского движения.

А если разобраться по сути: что означало заявить, что война в Европе приведет к революции и ружья пролетариев всех стран обернутся в другую сторону, не в ту, куда направляли их провокаторы империалистической буржуазии?

Это просто-напросто означало повторить общее место революционной доктрины, которая до войны распространялась с помощью пропагандистских брошюр и митингов, стоило затронуть вопрос политики капиталистических стран, либо вопрос колониальных предприятий, либо вопрос вооружений, либо разоружений, либо буржуазного шовинизма, либо пролетарского братства и солидарности. Это-то общее место Ленин и припомнил в тот момент, когда разразилась мировая бойня, и вот это-то не бог весть какое извлечение из памяти общего места (пусть и подоспевшее ко времени) ныне и навеки заслужило ему титул мужа zelo прозорливого. Следует признать, что он разделяет этот титул с г-ном Зиновьевым*;

* Статьи обоих этих авторов, появившиеся в печати в Швейцарии во время войны, были собраны в Петрограде в 1918 г. в один большой том, названный «Против течения»; имя Зиновьева стоит на нем перед именем Ленина.

и тем не менее всякому ясно: нельзя быть более ограниченным, чем досточтимое *alter ego* Ленина.

Предсказания, относящиеся к великой трагедии, начавшейся 1 августа 1914 года, можно подразделить на три категории:

1. Большая часть свидетелей этой драмы, состоящая из людей, принадлежащих к различным партиям и интеллектуальным течениям, считала, что эта война пойдет тем же чередом, что и все прочие: будут сражения, победы, поражения, победители и побежденные, тайные и нетайные переговоры, настанет час перемирия, за которым последует мирный договор, и мало-помалу жизнь вновь наладится и войдет в довоенную колею. Мнения, разумеется, очень сильно разделились по вопросу: которая из двух коалиций одержит в войне верх; все считали также, что война будет гораздо короче, чем это произошло на самом деле. Однако дело не в этом.

В этой категории имелись (как в просоюзническом, так и в прогерманском лагере) большинство и меньшинство. Большинство искренне верило в победу и мир, построенный на законности; четырнадцать пунктов еще не были сформулированы, но политические устремления, — чьим из рук вон плохо сформулированным выражением явилась программа президента Вильсона, — имелись в каждом из лагерей. Не было согласия по вопросу: кто представляет право и добрые старые принципы, однако подразумевалось, что победа останется в русле права и добрых старых принципов. А меньшинство, «те, кто не желал быть обманутыми», придавали гораздо меньше значения праву и добрым старым принципам и считали, часто не стремясь заявить об этом во всеуслышанье, что победа явится триумфом силы и что эта война не только будет подобна всем другим войнам, но и мир, которым она окончится, будет подобен всем другим мирам, то бишь станет триумфом национального эгоизма победителя, и что благородная наивность людей, попусту ломающих себе голову и ищущих справедливость там, где она никак не может быть, в очередной раз будет обманута.

Как известно, нельзя быть умнее Вольтера, разве что скопом; и на этот раз весь свет отнюдь не ошибся. Мы и впрямь наблюдали победы и поражения, переговоры и перемирие, и наконец, наступил черед Версальского договора, а он в чем-то схож с Брест-Литовским миром, который, в свой черед, весьма напоминает как Франкфуртский, так и тот, что был заключен в Кампо-Формио. Парижская конференция с загадочными совещаниями четверок и десятков не слишком отличается от других мероприятий подобного типа; примерно то же, что Венский Конгресс, разве что без балов-маскарадов.

И все же, если взглянуть на это пошире, большинство и меньшинство были не правы. Они недооценили масштаба большой

войны. Они недооценили реальности явлений, называемых большевизмом, гражданской войной, террором. Каким бы ни быть выходу из этих вселенских судорог, наблюдаемых повсюду, Европа не сможет и дальше жить, как прежде: эта война решительным образом отличалась от других.

2. Для прочих наблюдателей вопрос мировой войны представлял в ином аспекте. Они верили в мир, заключенный на основе права, как и в то, что эта война подобна другим. Они думали, что она породит революции столь же дикие и кровавые, как и она сама. Но ничуть не веря в судьбоносную роль пролетариата, ожидали от окончания войны лишь возрастания всеобщей дикости. Они а priori не могли предположить, что катастрофа, подобная войне, может иметь благие последствия, что она приведет к вечному миру и братству народов, либо к росту материального благополучия, полученного за счет смены экономического строя революционным путем. Для них идеалистически настроенные мыслители, предполагавшие, что всеобщее братство должно выйти из самой кровавой бойни, какую знало человечество, были столь же недалекими простофилями, как и реалисты империалистической политики, предвкушавшие после победы обогащение своей страны. Ожидать того, чтобы братская гармония людей появилась после нескольких лет варварства и дикости, не было ни более ни менее наивно, чем тратить несколько сотен миллиардов, дабы заполучить в собственность железную дорогу Берлин — Багдад.

Люди, относящиеся к этой категории, думается, ошиблись меньше других. Да будет позволено нам подобное заявление, хотя мы сами принадлежим именно к ней*[99].

Да, они были правы, утверждая, что ничего хорошего не может получиться из этой катастрофы и что, если эта война приведет к решительной победе одной партии, победитель навязет побежденному свою твердую волю, не слишком заботясь о справедливости и этнографических границах. Да, они правы, утверждая, что дикость, присущая зверю по имени «человек», правящая в 1914 году бал, неизбежно наложит страшную печать на конвульсивные судороги, которые зиммервальдцы окрестили «освободительными революциями». Да, они были правы, указывая в разгар военных побед немцев в 1918 году, — когда армия Гинденбурга была в Шато-Тьерри и, казалось, германский империализм торжествует, — на невероятную хрупкость как этого триумфа, так и результатов политической

* Я развил эти мысли в статье «Дракон», написанной в начале войны, и в своей книге «Армагеддон» (1918), в которую эта статья вошла составной частью.

деятельности Бисмарка. Да, они были правы, веря вместе с Лениным и вразрез с мнением большинства в реальную возможность революции в странах, которые больше других пострадают от войны. И в ближайшем будущем станет ясно, что более всего они были правы, когда вразрез, на сей раз уже с Лениным, утверждали, что коммунистический режим не сможет возникнуть в разрушенной и опустошенной Европе, и провозглашенная им пресловутая социальная революция, — «последняя из революций», — столь же абсурдна, как и «последняя из войн», но более дика и ужасна.

Одним словом, что уж кичиться этими предсказаниями, учитывая их абстрактную очевидность и общий характер: мы считаем исторический прогноз, в подлинном смысле этого слова, невозможным, делая исключение лишь для отдельных случаев. Пока философы не отыщут другого смысла в «Его Величестве Случае», мы признаем за ним очень большую роль в управлении людскими делами. И по этой причине, когда нам говорят о человеке, который «с первого дня войны все предугадал», мы а priori уверены, что это не более, чем легенда.

3. Ленин и его немногочисленные соратники в 1914 году представляли третью категорию интеллектуалов. Они считали, что мировая бойня приведет к мировой революции, которая опрокинет капиталистический режим и обозначит наступление коммунистической эры.

Вот как с самого начала войны Ленин определил свою общую точку зрения на линию поведения, которой следует придерживаться: «Война — не случайность, не “грех”, как думают христианские попы (проповедующие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортунистов), а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир. Война наших дней есть народная война. Из этой истины следует не то, что надо плыть по „народному” течению шовинизма, а то, что и в военное время, и по-военному продолжают существовать и будут проявлять себя классовые противоречия, раздирающие народы. Отказ от военной службы, стачка против войны и т. п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией, вздыхание об уничтожении капитализма без отчаянной гражданской войны или ряда войн. Пропаганда классовой борьбы и в войске есть долг социалиста; работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций. Долой поповски-сентиментальные и глупенькие вздыхания о “мире во что бы то ни стало”! Поднимем знамя гражданской войны!..

II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом... III Интернационалу предстоит задача организации сил пролетариата для революционного натиска на капиталистические правительства; для гражданской войны против буржуазии всех стран за политическую власть, за победу социализма!»*

Что до *непосредственных* причин катастрофы, Ленин, кажется, верил, по-прежнему клеймя международный капитализм, что война стала для Германии, которой угрожали со всех сторон, *превентивной* войной.

«Мы знаем, что *десятилетиями* трое разбойников (буржуазия и правительства Англии, России, Франции) вооружались для ограбления Германии. Удивительно ли, что два разбойника напали раньше, чем трое успели получить заказанные или новые ножи?»**

Следовательно, социалистическая обязанность состоит в том, чтобы напасть сразу на обе коалиции разбойников. Именно эта общая идея продиктовала Ленину линию поведения — занять крайне левую позицию в Циммервальде и Киентале, где его влияние было господствующим. Он так и не отошел от нее. Практически такое поведение было на руку Германии, поскольку дезорганизаторская деятельность Ленина нигде, кроме России, не достигла того уровня совершенства, к которому он стремился.

Впрочем, повторяю, теория Ленина являлась общим местом всех довоенных революционных брошюр. И не нужно — здесь мы имеем в виду ту легенду о нем, о которой речь шла выше — совсем не нужно искать прогнозы, хотя бы и смутные, в статьях Ленина, относящихся к той поре. Там он пишет в императиве; он не предвидел и даже не постарался предвидеть политические события, желая мировой революции. Он даже не был уверен в том, что пролетариат последует за ним:

«Мы не можем — и никто не может — подсчитать, какая именно часть пролетариата идет и пойдет за социал-шовинистами и оппортунистами. Это покажет только борьба, это решит окончательно только социалистическая революция. Но мы знаем с достоверностью, что “защитники отечества” в империалистической войне *представляют* лишь меньшинство»***.

Так что это чистой воды легенда, будто бы Ленин с первого дня войны предвидел ход событий. Он не смог даже предвидеть,

* Н. Ленин. Социал-демократ, № 39, 11 ноября 1914. — Цит. по: «Положение и задачи Социалистического Интернационала», ПСС, т. 26, с. 41–42.

** В. И. Ленин. Русские Зюдекумы (на рус. яз.). Социал-демократ, 1 февраля 1915. — Цит. по: ПСС, т. 26, с. 119–125.

*** Н. Ленин. О лозунге «разоружение». Социал-демократ, № 2, 1916, с. 253.

как поведут себя западные социалисты по отношению к военной катастрофе. Г-н Зиновьев рассказывает, что в начале войны у него была по этому поводу дискуссия с Лениным. Тот думал, что немецкие социалисты станут голосовать против военных кредитов, тогда как сам Зиновьев полагал, что они воздержатся от голосования. На самом же деле они проголосовали за кредиты. А ведь если Ленин так плохо изучил сущность Второго Интернационала, он возможно ошибался и относительно прочности Третьего. В том множестве вышедших в 1914–1917 годах из-под его пера работ, — сперва в Швейцарии, потом в России, — политических предсказаний немного. Большинство не оправдалось, как, к примеру, его знаменитый постулат, что война окончится братанием солдат на фронте. Русская армия прекратила свое существование в 1917 году; болгарскую, австрийскую, турецкую, немецкую армии постигла та же участь годом позже, но братания врагов не было. Победенные солдаты бежали под натиском солдат-победителей.

Мы вовсе не упрекаем Ленина в том, что он не сделал лучших прогнозов. Но поскольку существует мнение, будто он «все предугадал», мы считали своим долгом все расставить по своим местам. Да, впрочем, повторяю, вовсе не в предсказаниях проявился политический талант Ленина, а в его манере эксплуатировать в интересах своих собственных идей огромные запасы ненависти, которые накопили капиталистический строй и война.

Глава VI Личность Ленина*

Это человек, соединивший идеи, представляющиеся ему идеями будущего, со средневековым мышлением.

Отбросим для начала клевету, как мы отбросили легенды. В Ленине видели, хотели видеть агента, находящегося на содержании Германии. Это ложное утверждение. Ленин совершил в интересах Германии (заклучив Брест-Литовский мир) больше, чем все ее агенты вместе взятые. Но агентом ее тем не менее не был и никогда не служил ей (чего, заметим в скобках, нельзя сказать обо всех его сотрудниках и подчиненных).

Он не брал немецких денег себе. Для меня это очевидно как божий день. Да и зачем ему было это делать? Этот человек всегда вел бедное существование; знавшие его издавна люди не замечали за ним ни каких-либо пристрастий, ни вкуса к роскоши. Сегодня,

* Некоторые выдержки из этой главы вошли в мою статью, опубликованную в «Мире народов».

когда большевики располагают миллиардами и по поводу его соратников ходят самые скандальные и зачастую верные слухи, грязная хроника шадит его. В погоне за постами и обогащением, увлекшей других, он остается «большевиком, не нажившим состояния». В этом смысле о нем говорят с восхищением.

Брал ли он плату с немцев за свою пропаганду?

Должен сказать, в 1917 году социалисты, знавшие его на протяжении долгих лет, прежде водившие с ним дружбу (я мог бы назвать очень известные имена), не скрывали, что они рассматривали такую возможность, и притом как весьма вероятную. Один из них публично заявил об этом. «Ради дела Ленин мог бы стащить портмоне», «нет ничего, перед чем Ленин остановился бы, если бы считал это необходимым для дела» — таково было почти единодушное мнение лиц, признающих его личное бескорыстие.

Возможно, однажды история даст ответ на этот вопрос. А пока непредвзятость заставляет нас указать на два обстоятельства, как будто подтверждающие наше предположение.

Все немецкие архивы, все счета секретных сумм*, израсходованных во время войны за границей то ли военными властями, то ли гражданскими, — в распоряжении нынешних правителей Германии, у которых есть веские основания не любить большевиков. И потому, если бы эти архивы содержали документы либо какие-либо сведения, способные скомпрометировать Ленина, неужто Шейдеман, Бауэр, Давид, Мюллер не воспользовались бы ими и не пустили в ход против такого опасного противника**?

С другой стороны, генерал Людендорф, в своем качестве диктатора, конечно же, не мог не быть в курсе, а он ничего не пишет в своих мемуарах о золоте, которое Ленин якобы получил от Германии. Он даже считает ошибкой гражданских властей то вольное передвижение, которое было позволено ими большевистскому лидеру в марте 1917 года***.

На это можно бы возразить, что Шейдеман и Бауэр, так же, как и Людендорф, слишком с большим почтением относятся к государ-

* Для тех, кто знаком с Германией, существование образцовой бухгалтерской отчетности о самых; секретных расходах не может подвергаться сомнению.

** Само собой, что в намерения немецкого правительства не могло входить скомпрометировать какого-то Ганецкого или любого другого бедолагурского большевика. Было бы бессмысленным, очевидным промахом — устанавливать продажность второстепенных большевистских агентов.

*** Это утверждение генерала Людендорфа справедливо в том, что огромная услуга, оказанная Лениным Германии, не спасла ее от падения и капитуляции, для нее же было бы лучше не заводить так далеко дела в России.

ственному секрету подобной важности, чтобы вот так легко взять да и выдать его. Поскольку не совсем доказано, что эта война последняя, Германии еще в будущем может пригодиться помощь всякого рода секретных агентов. И в подобных условиях с ее стороны было бы неосторожно по каким-либо причинам обнародовать имена тех, кто однажды оказал ей услугу. Правду сказать, насколько я знаю, со стороны правительства демократической Германии не было сделано никакого заявления о тех, кто в разных странах находился на содержании империалистической Германии, оказывая ей услуги*.

Какой бы неоспоримой ни была роль немцев в развитии большевизма в России**, утверждать, что Ленин получал деньги от правительства Вильгельма II, все же нельзя.

Зато с полной убежденностью можно утверждать, что во всех своих действиях, как до, так и после революции, он явил доказательство своей абсолютной политической аморальности.

Для него не существует ничего, кроме идеи, которой он одержим. Никаких моральных правил, кроме выгоды для дела большевизма. Со злонамеренностью, явленной им столь часто в оппозиционных боях, может сравниться лишь бесстыдство его действий на высшем государственном посту. Тот, кто обвинил Керенского в применении на фронте смертной казни, сам несколькими месяцами позже приказал или позволил расстрелять без всякой причины десятки тысяч человек. Спекулирующие на вековом народном невежестве, его обвинения всегда были почти столь же глупы***, сколь и полны желчи. В качестве примера приведу факт

* По чистой случайности телеграмма г-на фон Ягова, служащая основанием для обвинений против г-на Жюде, попала в руки союзнических властей. Однако и в этом случае в интересах немцев было доставить неприятности французским националистам, своим извечным врагам.

** Г-н Троцкий, любитель пошутить с бесстрастным видом, пишет следующее по поводу состояния русского фронта перед большевистской революцией («Пришествие большевизма», с. 63): «Среди солдат циркулировали летучие листки, составленные ими самими, в которых их приглашали не оставаться в траншеях дольше, чем выпадет первый снег». Видите — самими ими составленные, а немцы и большевики здесь ни при чем.

*** По глупости клеветы у него есть конкурент в лице Троцкого. И вот пример. Русские солдаты в 1916 г. в Марселе убили одного из своих офицеров — полковника Краузе. Кажется, у этих солдат был найден дневник, который Троцкий тогда публиковал в Париже («Наше слово»), что послужило одной из причин высылки из Франции этого большевика. А ведь г-н Троцкий сделал на этот счет сенсационное заявление: «Русское правительство организовало руками своего провокатора небольшое убийство во Франции, дабы придать веса своим аргументам» (Двадцать писем Льва Троцкого, Париж, 1919, с. 20). Царское правительство, убивающее одного из своих

выдвижения против конституционнорепубликанской партии (кадетов) обвинения в организации пьяных погромов в Петрограде. Нужно знать партию господ Милюкова, Набокова, Винавера — юристов и профессоров, — чтобы оценить вкус этого обвинения. А сам лидер партии был им осужден в одной из речей за глубокое и безнадежное невежество. В сильной личности г-на Милюкова и правда немало недостатков, но такое, я думаю, вменяется ему в вину впервые. Ленин, впрочем, некогда признался, что рассматривает клевету как дозволенный инструмент в борьбе с политическими противниками.

Этот клеветник к тому же ныне и деспот. И был им всегда: сегодня он правит самодержавно народом в сто миллионов человек точно так же, как правил когда-то кучкой русских эмигрантов. Его собственные коллеги и друзья часто обвиняли его в деспотизме. В одной из своих давних статей он иронически перечисляет эпитеты, которыми его наградили товарищи по партии: самодержец, бюрократ, формалист, централист, односторонний, упрямый, узкий, подозрительный, малообщительный*.

Мы не откажем себе в удовольствии привести здесь суждение о нем человека, которого трудно заподозрить в антибольшевизме, ибо это г-н Троцкий собственной персоной. Известно, что «блестящий второй» из Совета Народных Комиссаров терпеть не может первого, хоть и расточает порой в его адрес непомерную хвалу. Эта недоброжелательность возникла не вчера, правда, она могла обостриться в последнее время из зависти обычного честолюбца, каковым является г-н Троцкий.

Перед моими глазами брошюра**, которую последний посвятил Второму съезду социал-демократической партии, а по сути Ленину. Вот некоторые извлечения из нее: «Нам был предъявлен к уплате чисто ростовщический счет за долги недавнего прошлого, — и история, с безжалостностью шекспировского Шейлока, требовала мяса из живого партийного организма. Проклятье! Мы должны были расплачиваться...***»

Мы говорим о взысканиях безличной истории. Конечно, мы не думаем отрицать при этом личную ответственность тов. Ле-

полковников, дабы дать аргументы в пользу высылки Троцкого в Испанию, — находка, свидетельствующая о мании величия ее автора.

* Ленин. Шаг вперед, два шага назад, (на рус. яз.). Женева, 1904, с. 137.

** Н. Троцкий. Второй съезд Рос. Соц.-Дем. Рабочей Партии. Отчет Сибирской делегации. Женева, 1903.

*** Г-н Троцкий писал прежде так же, как говорит сегодня. Публика не в силах устоять перед красноречием этого Мирабо аптекарей.

нина. На втором съезде Российской социал-демократии этот человек, со свойственными ему энергией и талантом, сыграл роль партийного дезорганизатора... „Осадное положение”, на котором с такой энергией настаивал тов. Ленин, требует „твердой власти”». Практика организованного недоверия требует железной руки. Система террора* увеличивается Робеспьером. Тов. Ленин делал мысленную переключку партийному персоналу и приходил к выводу, что железная рука — это он сам — и только он. И он был прав. Гегемония социал-демократии в освободительной борьбе означала, по логике осадного положения, гегемонию Ленина над социал-демократией**.

Демонстрируя перед съездом назначение Ц. К-та, тов. Ленин показал... кулак (мы говорим без метафор), как „политический” символ Ц. К. Не помним, занесена ли эта централистическая мимика в протокол заседания. Очень жаль, если нет. Этот кулак по праву венчает здание***.

...тов. Ленин превратил скромный Совет во всемогущий Комитет Общественного Спасения, дабы взять в нем на себя роль „неподкупного Робеспьера”»****.

Известно, что и Ленин, в свою очередь, не принадлежит к числу сторонников Троцкого. Не говоря уж об издевательских комплиментах, которыми он осыпал его прежде, до и во время войны, в 1918 году, во время заключения Брест-Литовского мира, он написал одну из самых мрачных статей (подписав ее псевдонимом Карпов) о культе «революционной фразы», культе, проповедником которого всегда был Троцкий.

Деспотизм Ленина и его глубокая аморальность в политике, принимавшая порой явно рокамбольный***** характер, отдалили от него мало-помалу всех независимых представителей социал-демократической партии России. Влюбленная дружба^{6*} связывала

* Все эти определения относились к внутреннему устройству социал-демократической партии; они были исполнены, так сказать, иронии и символического значения. Предполагал ли тогда Троцкий, что настанет час, когда террор станет означать для него и для Ленина нечто совсем иное, чем просто символ?

** Н. Троцкий. Указ, соч., с. 20.

*** Там же, с. 28.

**** Там же, с. 29.

***** Можно было бы привести в качестве примера поистине чудесную историю с одним наследством, оказавшимся в распоряжении большевиков, то есть Ленина. Я подчеркиваю: речь не идет о личной непорядочности: распоряжаясь фондами партии, Ленин всегда жил бедно.

^{6*} «Ленин был влюблен в Плеханова», — пишет г-н Зиновьев.

его некогда с Плехановым, ставшим позднее его смертельным врагом. Аксельрод, Потресов, Алексинский, Мартов — все были поначалу с ним. Но лишь покорные посредственности, льстецы, подобные Зиновьеву, смогли в течение продолжительного времени пользоваться его благосклонностью. И даже теперь он обращается, как с прислугой, с большинством своих именитых сотрудников. Социал-революционная газета «Дело народа» опубликовала в 1919 году любопытное письмо, полное укоризны, обращенное к Зиновьеву, председателю Петросовета, виновного в том, что в святилище большевиков — Смольный институт был допущен «буржуазный» репортер; в этом письме Ленин обращается с высокопоставленным чиновником так, как Петр Первый обращался со своими придворными.

А вот людей самого худшего разбора в своем окружении он терпел. Ныне его сопровождают преступники всех родов, и прежде всего воры. И, кажется, он — неподкупный — неплохо себя чувствует среди этого подлого сброда. С этой точки зрения чрезвычайно любопытно взглянуть на его отношения с Малиновским. Если верить г-ну Бурцеву*, Малиновский якобы признался Ленину в преступлениях уголовного характера, совершенных в прошлом, и даже заявил, что не вправе оставаться членом Думы, будучи столь скомпрометированным прошлыми грехами. Ленин якобы прервал его, не желая слушать, и сказал, что «для большевиков подобные вещи не могут иметь никакого значения». Похоже на то: один из самых знаменитых большевиков, г-н Радек, исключенный из немецкой социал-демократической партии (до войны), начал свою политическую карьеру с кражи ручных часов. А вот в то, что Ленин то ли узнал, то ли догадался о провокаторской роли Малиновского, мы верить отказываемся. Однако об этом свидетельствует сам Малиновский**.

Подобная слабость большевистского лидера к каналье с авантюристической жилкой, впрочем, легко объяснима. Великая сила Ленина, превратившая его в настоящего пророка нашего падения в революционную пропасть, как раз в том и состоит, что он обращается к худшим инстинктам человеческой природы. Самый большой мизантроп не смог бы руководить революцией так, как этот старый большевик. Во имя дела разрушения, коему и служит

* W. Bourtzev. Lenin and Malinovsky. Struggling Russia, N 9–10, may, 1919, p. 139.

** «Согласно Малиновскому, Ленин пытался и не мог понять того, что его (Малиновского) скрытое прошлое не просто полно преступных деяний, но что он находился в руках жандармов и провокаторов» (W. Bourtzev).

большевистский строй, он с большим мастерством смог поставить себе на службу мощный социальный фактор — ненависть. Он воспользовался всеми видами ненависти, накопившейся в народе благодаря несправедливости и увеличившейся в годы войны: ненавистью рабочего к капиталисту, мелкого чиновника — к хозяину, крестьянина — к помещику, пролетария-латыша — к богачу, китайского кули к стране, где с ним плохо обращались, угнетенного еврея — к угнетателям, как и самым страшным видом ненависти: солдата и матроса — к офицеру и военной дисциплине. Ненависть, вся ненависть, ничего кроме ненависти — таков архимедов рычаг, благодаря которому Ленин с поразительной скоростью взлетел на вершины власти. Но ничего прочного не может быть создано единственно на одном этом фундаменте. Рано или поздно Ленин сам станет жертвой монстра, сделавшего его хозяином России.

Однако было бы несправедливо не отметить и тех замечательных качеств, которыми обладает этот человек.

Говорят, политика делается пером и языком. Ленин является публицистом и оратором. Однако не поднимается в этом выше среднего. Его брошюры плохо, небрежно написаны. Сожалею, что не могу дать примеров заурядности его стиля, поскольку пишу по-французски. Самые избитые обороты, самые вульгарные выражения, самые заурядные эпитеты, невероятная грубость по отношению к противнику*, отсутствие образов — вот характерные приметы стиля его произведений, скучных и читаемых с большим трудом, несмотря на психологический интерес, который вызывает его сектантская логика. Он мало образован вне рамок политэкономии. Русская культура, как и европейская, остались ему чужды. Он видит в них проявление капиталистического духа, который ненавидит со всей силой своей горячей и ограниченной души. Максим Ковалевский сказал бы о нем, что из него мог выйти неплохой преподаватель. Возможно, он и стал бы преподавателем политэкономии, если бы не презирал всякую мысль, отличающуюся от его собственной.

Для его речи характерен яростный задор, он не пользуется красивыми звучными фразами, остроумными шутками, не прибегает к актерству. Троцкий и кое-кто еще из большевистской головки, безусловно, большие ораторы, чем он. Однако один рабочий из большевиков говорил мне, что предпочитает простую

* Я попытался подсчитать, сколько раз меньшевики и социал-революционеры (многие из которых долгие годы провели на каторге), были названы «лакеями буржуазии» в его недавних статьях. Однако не хватает времени, чтобы закончить этот подсчет.

манеру Ленина всем трелям партийных соловьев. Возможно, подлинное красноречие в том и состоит, чтобы быть выше красноречия? Скорее, тут глубокое знание аудитории. Ленин — большой знаток толпы.

Бесспорно, он — прирожденный вождь и первостатейный руководитель людьми. Мне несколько раз довелось быть свидетелем того, какое огромное влияние оказывает он на людей, порой на тех, кто по своему складу, взглядам и социальному положению не должны были бы стать легкой добычей большевистской агитации. Позволю себе рассказать о двух случаях, которые меня особенно поразили. Оба они относятся к первым дням большевистского триумфа в 1917 году, но при этом испытали на себе влияние личности Ленина абсолютно разные люди.

В первом случае речь идет о рабочем петроградского завода, человеке лет под пятьдесят, трудяге, отце семейства, отличающемся спокойным нравом, не слишком умном, еще меньше образованном, честняге. Он считал себя социал-революционером, но, как и большинство петроградских рабочих, с весны 1917 года находился под сильным влиянием большевистской пропаганды, надо сказать, очень умно выстроенной. Завод, на котором он трудился, был «отсталым», рабочие не являлись даже в большинстве своем профессионалами, а скорее крестьянами, которые пришли туда с началом войны. Подавляющая часть не имела и не могла иметь политических убеждений; но почти все называли себя либо меньшевиками, либо социал-революционерами, поскольку то были самые умеренные партии, к которым уважающему себя рабочему прилично было принадлежать; не принадлежать ни к одной из партий считалось дурным стилем (с тех пор времена изменились: сегодня русские рабочие больше и слышать не хотят ни о каких политических партиях). Большевики сначала были в меньшинстве, но держались сплоченно, особняком, получали беспрестанно инструкции и терроризировали остальных: достаточно сказать, что им удалось навязать обязательную подписку на «Правду» (большевистский орган, руководимый Лениным) всем рабочим и мастерам завода. Самими работниками руководил молодой рабочий, очень умный, надменный, умевший хорошо организовать свои личные дела — до перехода к большевикам он входил в «Союз русского народа» (черносотенцы). И вот, тотчас после большевистского переворота, рабочие этого завода пришли на митинг и «присоединились к новому строю». Они выработали и приняли помпезную резолюцию, сомнительную с точки зрения грамотности, но не с точки зрения содержания: вчерашние социал-революционеры и меньшевики приветствовали Советскую власть,

диктатуру пролетариата, немедленное заключение всеобщего мира «без аннексий и контрибуций» и т. д., и все это согласно инструкциям, полученным от заводской большевистской ячейки; сотни подобных резолюций пеклись тогда, как блины, на всех заводах и во всех воинских частях Петрограда. Рабочему, о котором я веду рассказ, было поручено отнести эту резолюцию в Смольный, где располагалось тогда правительство. Он отправился туда и был принят непосредственно Лениным, на что у подателя резолюции, вероятно, было мало надежды. Старый демагог, за нехваткой времени отказывавший иностранным министрам, позднее отославший графа Мирбаха — всемогущего посла Германии — к Свердлову, которого не без ехидства назвал «первым должностным лицом Советской республики», принял незнакомого рабочего, явившегося к нему с резолюцией, составленной на каком-то второстепенном заводике... Вольно же поклонникам большевизма обливаться слезами умиления, слушая рассказ о демократизме председателя Совета Народных Комиссаров. Что до меня, я восторгаюсь его демагогическим талантом: так добиваются популярности в стране, где с нижними слоями населения веками обращались, как со скотом*. Я встретил этого рабочего, когда он выходил от Ленина. Он был потрясен, полностью преобразился. Всегда спокойный и рассудительный, он как будто бы находился в состоянии экстаза. «Вот человек, — повторял он, — вот человек, за которого я отдам свою жизнь! Теперь, с ним, начнется новая жизнь! Ах, если бы наш царь был таким! К чему тогда революция?» Последняя фраза, запечатлевшаяся в моей памяти, приведена здесь дословно. Бедняга, сам не зная того, цитировал Шекспира: «Цезарь убит, пусть его убийца станет Цезарем!» «Но о чем он с вами говорил?» — спросил я его чуть позже, когда он слегка успокоился. Ответ был туманный: «Все принадлежит вам, — якобы сказал Ленин, — все ваше. Берите все! Мир — для пролетариев. Не верьте никому, кроме нас... У пролетариев нет друзей: одни мы являемся друзьями рабочих...» Эти демагогические фразы, лишённые смысла, это обещание земного рая, который грядет на смену долгому нищему существованию, рабочий мог до того слышать сотни раз. Что это было? Заразительность глубокой веры? Магнетизм сильной личности**?

* Мне рассказали, что в 1918 г. Ленин часто показывался со своей женой на организованных большевиками публичных балах, посещаемых прислугой, матросами, кучерами, и беседовал с ними о политике, как какой-нибудь Гарун-аль-Рашид без инкогнито.

** Добавлю (ибо это типический факт), каковы были последствия для данного завода беседы Ленина с посланцем рабочих. Само собой, меньшевики и социал-революционеры завода тут же вступили в большевистскую

Второй случай, свидетелем которого я оказался, — совсем иного плана: юноша двадцати лет из очень хорошей, зажиточной и культурной семьи, умница, образованный, сложный и деликатный по внутреннему складу, талантливый поэт, учащийся Политехнического училища и временно Артиллерийского училища. В ночь, последовавшую за большевистским переворотом, волею судеб он оказался в зале Смольного института, где впервые публично показался Ленин, до того скрывавшийся после провала революции в июле. В эту триумфальную ночь все большевистские главы произносили пламенные речи перед подгулявшей солдатней. Однако ни Троцкий, ни другие не произвели на молодого человека впечатления. Зато Ленин, принятый неистовыми рукоплесканиями, потряс его до глубины души. «Это была отнюдь не политическая речь, — делился он со мной. — Это был крик души человека, который три десятилетия ждал этого мгновения. Мне показалось, я слышу голос Джироламо Савонаролы». А ведь юноша вовсе не был сторонником большевиков и так и не перешел на их сторону: это был несчастный Леонид Каннегиссер*, который год спустя застрелил из револьвера большевика Урицкого, палача Петроградской коммуны.

Савонарола? Да, возможно. В Ленине есть что-то от Савонаролы, а еще больше от тех фанатиков, которых великое множество в истории русских религиозных сект. С моральной и интеллектуальной точек зрения, в нем соединились Савонарола и Тартюф. Это сложная и в то же время бедная натура: под сложностью я не подразумеваю богатство. Сумасшедший, хитрый, как все сумасшедшие, маленький мудрец и визионер в одном лице, знаток масс, ничего не смыслящий в человеке, *сложный примитив*, сочетающий в себе поверхностные черты: элементарный фанатизм, элементарную хитрость, элементарный ум, элементарное безумие.

партию. Несколькими днями позже к директору завода, очень порядочному человеку либеральных убеждений, были применены санкции. Затем рабочие буквально выполнили ленинский совет и «все взяли», заставив администрацию по-прежнему выплачивать им заработную плату. А сами продавали старьевщикам инструменты и сырье. В январе 1918 г. завод окончательно встал. Рабочие из числа крестьян вернулись в деревню; война закончилась, их больше не страшил набор; профессиональные рабочие оказались на государственном содержании (если это слово подходит к большевистской России): в качестве безработных или охранников (небольшое число).

* Этот несчастный молодой человек, чьи блестящие способности и благородный характер были столь многообещающими, был расстрелян большевиками. Темные слухи ходили по столице, будто его четыре раза пытали.

Возможно, в этом его сила, ибо что есть более элементарного, чем полуобразованная масса русских рабочих? Один писатель, принадлежащий к социалистам, рассказывал мне о том разочаровании, которое испытал, услышав впервые выступление Ленина: создается впечатление, что ленинское красноречие воздействует в большей степени на юных поэтов и старых

Какова цель его политических действий? Социальные эксперименты большого масштаба: он экспериментатор-маньяк. Со всей его верой в себя и свои идеи мог ли он серьезно верить в немедленный и окончательный успех своего великолепно поставленного опыта в Кремле (или, скорее, в Бисетре)? Это, по крайней мере, сомнительно. Он заявил несколько месяцев назад Максиму Горькому (мне рассказал об этом один французский друг, слышавший это от Горького): «Самое удивительное во всей этой истории то, что все еще не нашлось никого, кто выставил бы нас за дверь». Но разве отрицательное воздействие этого эксперимента *in anima vili** не в счет? В любом случае из этого получится урок коммунизма. Кажется, это главная мысль всех кремлевских коммунистов. «Если мы провалимся, — говорил один из самых известных большевиков, — то снова возьмемся за дело позднее, вот и все. Социальная революция отложится до следующего раза». Все очень просто. Обрушение целого государства, разорение народа, несколько миллионов трупов** — стоит ли принимать все это в счет? Разве все это имеет значение для людей со столь высокими устремлениями?

И каковы же результаты действий Ленина? Отвращение, надолго полученное народными массами в России ко всему, что имеет отношение к понятию «социалистический».

«Современные события несомненно являют полное торжество идеи забитой и загнанной буржуазии: ее победители буржуазнее, чем она сама.

Ленин прав: жизнь, взбаламученная “социалистической революцией”, принесет в деревню „кодекс новой правды”. Только этот кодекс, вероятно, будет — с небольшими поправками— Десятый Том Свода Законов. Он освятит сложившееся положение вещей, закроет на многое глаза и назовет благоприобретенным награбленное имущество.

«Штык создал у нас новый верхний слой, новоявленную плутократию, капиталистов в хаки, эксплуататоров в красноармейской

* На подлые души (*лат.*).

** Если большевики останутся хозяевами России до весны 1920 г. (к несчастью, это возможно), гражданская война, голод и холод приведут к новым миллионам смертей.

шапке. Я видел, как эти солдаты плясали на танцуйках во дворцах Раевских и Победоносцевых. Сегодняшняя аристократия танцует меньше, чем вчерашняя, но защищать свои права она станет намного лучше.

Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос: для чего нужен Ленин? Для торжества идеи частной собственности. Если верить К. Пруткову, рабочих, чем на ученых социологов. «Я ждал, — говорил он мне, — социологического анализа ситуации, а услышал лишь полные ярости призывы и крики ненависти: «Остановите капиталистов! Бросьте их в тюрьмы!» Я был озадачен: так значит вот что такое это их хваленый Ленин?» — «А аудитория тоже была разочарована?» — спросил я. — «Ему устроили беспрецедентную овацию, — ответил он, пожав плечами. — *Quod erat demonstrandum?* Чего ж вам еще? Все эти лозунги отличаются ужасающей простотой: «Долой войну! Остановите капиталистов! Берите все, товарищи рабочие!» Да ведь с их помощью он и завладел Россией».

*Timeo homines unius libri**[127], — учил Фома Аквинский. Гораздо опаснее люди одной газеты. Особенно если она называется «Правдой». Простота большевистских лозунгов — первая из главных сил, которые имеются в наличии у Ленина. Я уже говорил о второй: мизантропической составляющей его поступков. А третья — его вера в самого себя и в свои поступки: эмигрант, влачащий свои дни в нищете, руководящий небольшой группой изгнанников, он был одержим мечтой завладеть Россией, Европой, Вселенной.

В книге «Дон Луиджи Тости» Эрнест Ренан пишет о «пренебрежении к толпе, — сложном чувстве, замешенном на бунтарстве и бессилии, представляющем собой нечто непоколебимое, упорное, стоическое, являющееся отличительной чертой сильных итальянских душ». Все это присутствует и в Ленине. В нем обнаружили натуру мечтателя, согласно традиционным представлениям иностранцев, составляющую главную черту славян. Я не очень люблю обобщения, построенные на основе национальной либо расовой принадлежности, ибо они весьма редко выходят за рамки истинных банальностей, на поверку оказывающихся ложными. Ленин — вполне русский человек, и все же во многих отношениях нечто противоположное славянину в том смысле, в каком обычно это слово воспринимается специалистами по национальной психологии. Говорят, славяне — люди слабохарактерные; он обладает железной волей. Говорят, славяне — романтики; в нем и на грош нет романтики. Говорят, славяне преклоняются перед метафизи-

* Боюсь человека одной книги (*лат.*).

кой: нельзя быть в меньшей степени метафизиком, чем Ленин; его мечта, если она у него есть, крайне приземлена: казарма, управляемая большевиками, — вот его идеал. <...>

Протопопов компрометировал реакцию и готовил революцию. Ленин компрометирует революцию и готовит реакцию. Прежде мы могли утешаться формулой, завещанной России Пушкиным: „чем хуже, тем лучше”. Теперь, к несчастью, чем хуже, тем хуже.

Все, что делается, есть самая очевидная и чистейшая импровизация. Русская революция, как дочь родную мать, напоминает русскую войну. Ленин законный наследник Николая Николаевича. Поход на капиталистический строй, по замыслу и подготовке, стоит похода на Карпаты. Где будут при отступлении „заранее подготовленные позиции”?

В Парижском Люксембургском музее есть прекрасная скульптура Тюргона: слепой ведет парализованного. Московитская Совнаркомия должна была бы украсить свой герб изображением этой статуи»*.

<...>

С. АЛЕКСЕЕВ**

Снегирь***

В Горках, гуляя по парку, Владимир Ильич часто подходил к одному и тому же месту. Высокая ель здесь росла, берёзка, у самой берёзки — кусты.

Придёт Владимир Ильич, остановится, подымет голову вверх. Стоит долго-долго. Всё смотрит.

Что же такое там?

Снегири.

Зима. Запорошило кругом дорожки. Ёлки в шубках стоят из снега. Разлетелись птицы. Остались в парке одни снегири. Зиме они даже рады.

* Ландау-Алданов. Армагеддон. Петроград, 1918.

** *Сергей Петрович Алексеев* (1922–2008) — русский советский писатель. Редактор издательства «Детская литература», с 1950 ответственный секретарь, позже председатель Комиссии по детской литературе Союза писателей СССР. В 1958 г. принят в члены Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1984).

*** Из книги «Рассказы о Ленине». Написан в 1973 г.

Смотрит Владимир Ильич на забавных красивых птиц. Вот с розовой грудкой сидит снегирь. Вот ещё один с розовой. А вот прилетел и третий — с красной, как знамя, грудкой. Сразу видать — озорник и проказник: на головке сбились перышки в хохолок. Приметил его Владимир Ильич. И снегирь был неглупый — сообразил, что Ленину именно он больше других понравился.

Привыкли птицы к приходам Ленина. Знают: то хлебных крошек принесёт для них Владимир Ильич, а то и самое вкусное — горсть конопляного семени.

Утро. Едва рассветёт — тут как тут уже снегири. Ждут, когда же появится Ленин.

Вообще снегири непоседы. Эти, однако, прижились.

Любуется Ленин на птичку с красной, как знамя, грудкой. Уж больно потешный снегирь. Сядет на ветку, грудку расправит, головку подымет: смотри, мол, Владимир Ильич, — правда, я самый красивый?

— Правда, — ответит Ленин.

Резвится снегирь: прыг-скок, прыг-скок, с ветки на ветку, с берёзки на ёлку, с ёлки на куст. То вспорхнёт, то снова присядет. Пронесётся у Ленина над головой, бухнется в снег и снова спешит на ветку. Скосит головку, на Ленина с ветки смотрит: вот я какой! Правда, я самый проворный?

Но однажды, гуляя по парку, Владимир Ильич не застал на месте весёлого снегиря. Походил Ильич по другим дорожкам, вернулся — снова нет снегиря.

Забеспокоился Ленин:

— Что же случилось?

А дело в том, что попался снегирь в силок. Поймал его мальчишка Егорка Исаев. Поймал, посадил в клетку, повесил в избе. Томится снегирь в неволе.

Не обнаружил нигде Владимир Ильич снегиря, зато повстречал Егорку. Мальчик снова пришёл сюда, в парк, и снова силки расставил.

Глянул Владимир Ильич на Егорку, на огромный отцовский трех, на огромные дедовы валенки.

— Ты не видел здесь снегиря с красной пушистой грудкой?

«Видел», — хотел, было сказать Егорка. Но тут же подумал: а что, если Ленин спросит: «Так, где же снегирь?»

— Нет, не видел, — сказал Егорка.

— Неужели замёрз снегирь? — тревожится Ленин.

«Да он же сидит в тепле», — хотел, было сказать Егорка. Но тут же осёкся.

Потушил глаза мальчишка. Ясно Егорке — очень расстроен Ленин.

— Замёрз, замёрз, — сокрушается Ленин. — Или кошка его схватила.

Не сдержался Егорка.

— Нет, — замахал головой. — Нет. Он живой. Он прилетит.

— Прилетит?!

— Прилетит, прилетит! — закричал Егорка.

Пришёл Владимир Ильич на следующий день к берёзке. Смотрит — прав оказался Егорка, сидит на кустах снегирь. А под берёзкой стоит Егорка.

Посмотрел Ильич на снегиря, посмотрел на мальчишку, широко улыбнулся.

— Здравствуй, — сказал Егорке. — Здравствуй, — сказал снегирю. — Где же ты пропадал?

Раскрыл снегирь свой короткий клюв, на Егорку с берёзки глянул.

Похолодело в душе у Егорки. Выдаст его снегирь, вот возьмёт и всё Владимиру Ильичу расскажет.

Однако снегирь смолчал. Понял: не такой уж противный Егорка мальчик. Зачем же зря выдавать Егорку.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ*

Смерть Ленина. Рассказ из книги «Пупоприпу» (пункт по приему пустой посуды)

На мой суровый взгляд, сдавать пустую посуду весьма приятно в одном лишь единственном случае: когда ты уверен на все сто процентов, что у тебя ее примут. Если же в состоянии тяжкого утреннего похмелья, постепенно переходящего в мучительное дневное, уверенности у тебя стопроцентной в этом нету, то жизнь твоя — как, впрочем, и жизнь всей длиннющей очереди к пункту приема пустой посуды — превращается в пытку адского ожидания и зверского, при всей его скрытости, протеста против мелкого свинства нашего времени.

Человек с обостренным душевным слухом улавливает тогда в каждом соседе по очереди как бы надтреснуто-жалобное звучание всей его нервной системы, вновь подвергающейся утон-

* Юз Алешковский (наст. имя — Иосиф Ефимович Алешковский; р. 1929) — русский прозаик, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен. С 1979 г. живёт в США.

ченному измывательству со стороны торговой сети бесчеловечного государства.

Разумеется, нервишки шалят у всех по-разному и в строгом соответствии с оригинальностью каждой отдельной личности. Причем не следует забывать, что похмельное состояние как бы оголяет любого человека перед собственным его испытующим взором, независимо от того, какой именно натуре принадлежит взор — художественной, например, увлеченной и развязно болтающей или же натуре, крайне подавленной всеми без исключения обстоятельствами вынужденного существования на Земле, а потому и размытой на фоне алчущей толпы до удручающей незаметности.

А ежели открывается в тебе вдруг ни с того ни с сего бесстрашие воспринимать в положении ближнего нечто невыносимое, то, что непьющие специалисты весьма приблизительно называют трагическим, то каких только борений человека со своей совестью и с Роком ты не будешь свидетелем. Только боязнь, что разрыдаешься ты неудержимо от новых подробностей чьего-либо низкого падения и вчерашнего пресмыкательства перед змием всесоюзного алкоголизма, что взвоешь внезапно от того, что делает с собой человек ради губительной страсти к выпивке и кого он в себе при этом непременно губит, что взвоешь, и вызовут «скорую», и увезут в психушку, несмотря на бешеное твое сопротивление и нежелание оставлять неизвестно какой сволочи пару авосек пустой посуды, — только эта боязнь удерживает тебя от пылких жестов и безумных высказываний.

Так вот, в тот самый день все мы — человек сто, если не больше, — уверены были вполне, что каждый из нас вскоре воспрянет в самозабвенном полете, что в руках у каждого, отягощенных унылым грузом пустых стекляшек, вдруг объявится крылатая легкость и закипит в страдающих организмах юношеская страсть к достижению самой нелепой цели.

Очередица двигалась быстро, походя, возможно, на фантастическую рептилию, смердящую изо всех своих пор зловонной сивухой и многогласо гудящую, поскольку надежда сдать вот-вот пустую посуду прерывала угрюмое молчание живых страждущих звеньев, вынужденно соединенных в эту советскую гидру.

Живые звенья, то есть мы, при движении к желанному провалу в подвал поднимали и вновь ставили на место разные сумки, авоськи, мешки и даже ящики, так что извивающееся существо очередици неумолчно позвякивало, тренькало, скрежетало и издавало иные, зачастую омерзительные акустике и атмосфере, порошне-стеклянные звучания.

Конечно же, передних, как всегда, распирало от недостойных чувств самодовольства и превосходства. Задние же нескрываяемо изнемогали от зависти, а порою и от более сильного и низкого чувства. Слова для него вы никогда не отыщете ни в одном словаре, потому что само это чувство присутствовало во всех без исключения живых тварях лишь на заре так называемой эволюции, когда языков никаких не существовало, но лишь оглашал старшие окрестности Творенья звук утробного ужаса перед развитием.

Живые твари бессознательно чуяли полную историческую невозможность возвращения в лоно Предвечного, но одновременно, преодолевая ужас перед развитием, стремились — бессознательно же, разумеется, — продвинуться куда-то вперед, хотя неведомо, куда именно, и неизвестно зачем. То есть в живых тварях наблюдалось вечно смущающее всех мудрецов явное желание содействовать прогрессу, подпорченное тем самым отвращением к эволюции, иначе говоря, к стоянию в очереди за прогрессом, а еще точнее говоря, подперченное безумным страхом перед Временем.

Позднее прогрессивные философы внушили полностью якобы просвещенному человечеству идею насчет светлого будущего, построить которое следует своими руками. Тогда, но никак не раньше, прекратится стояние к нему в тоскливой и недостойной гордого человечества очереди.

Как известно, советская наша власть первой совершила гигантский революционный скачок из мрака необходимости к царству свободы, или, как сказал бы ироничный обыватель, схимичила дефицитного прогресса без очереди.

Но, схимичив весьма, признаем, удачно, что-то такое совершила советская власть с болезненным от рождения, бедным и почти беззащитным организмом Общества, что моментально поперлось оно, подгоняемое сворой партийных шакалов, вспять по лестнице эволюции, взад очереди Истории.

В прежде приличном, хотя и несовершенном Обществе проснулись невероятно ужасные чувства, сдерживаемые подчас в людях, убивающих время в очередях, исключительно страхом перед тюрьмой, то есть возвращением в бесчеловечное рабство ко Времени.

Не могу не вспомнить тут об одном мужичишке, спокойном на вид гражданине неалкоголического типа, явно никогда не пропивавшем в отчаянные минуты верхней одежды и честных наград войны.

Огромное количество пустой посуды он приволок на санках, занял очередь, подождал пару минут следующих каких-то ханыг, подобострастно предупредил, как водится в порядочных очередях, что спешит на работу на автобазу и вернется вскоре на своем гру-

зовике. Добродушно сообщил, что три дня гуляли свадьбу Нюрки с «пилотом наружной авиации». Совсем уж доверчиво добавил, что «поправиться у компании нету ни капли», и в чудесном расположении духа поканал на автобазу.

Я и мой друг Паша, физик по образованию, стояли слегка впереди того социально-аккуратного мужичишки-шофера. С нами было двести семнадцать бутылок разного калибра, после дня рождения Паши, на котором, не без невинных безобразий, славно попьянствовало не менее ста пятидесяти человек.

Пока мы туповато поддерживали меркнущие сознания попыткой разобраться в том, что такое «наружная авиация», мужичишка действительно вернулся на рабочем грузовике. Первым делом он бросился к двум ханыгам. Страстно попросил опознать его: «Я давеча убежал на автобазу... Перед вами стоял, земляки...» Многие задние люди, как бесчувственные и замкнутые сами на себе звенья рептильной очереди, гнусовато и лживо забазлали: «Тут всякие давеча убежали на автобазу...», «Я твоего заявления тут сроду не замечал...», «Мы таких видали и знаем, у нас этот номер не пройдет...», «Если б каждый вроде тебя уходил, то и очередей в стране не было бы, а все являлись бы к сдаче посуды в положенный срок...» — «Земляки, я вам Христом-Богом клянусь, совесть не даст соврать: занимал. Вот за этим, с фингалом, и за тем вот, небритым, занимал. Он еще картавил... “скогей пгиходи, на хег ты сдался стоять тут за тебя?”» — «Не помню», — жестоко ответил картавый, а тот, который был, по мнению мужичишки, с фингалом, заезуитствовал: «Во-первых, это не фингал, а почки с похмелья тормозят водянку, а во-вторых, никуда ты не отходил, потому что ты сюда и не приходил...»

Никогда не забуду выражения лица того мужичишки. Сначала он густо покраснел от беспомощного, но яростного стыда за лживое человечество, как бы даже позабыв о своих персональных заботах. Затем мгновенно побледнел, словно человек, выслушавший смертельный приговор, весь жуткий смысл которого с запозданием пронзил его душу. Побледнев, тихо сказал: «Земляки... вон ведь и саночки с посудой... меня компания ждет... Так не-е-ель-зя...»

Мы с Пашей бурно стали доказывать всем опустившимся социальным уродам, что мужичишка стоял и уходил, что все мы, так сказать, стоим, уходим, а потом приходим и не хера тут зловердно выкаблучиваться...

«Земляки, нету саночек», — возопил вдруг мужичишка. Нервически и бесполезно посповав по окрестностям приемного пункта, он с тою же странной обескровленно-стью на совершенно по-детски обиженном и поистине растерянном лице повторил: «Саночек-то

нету, земляки...» «С того бы и начинал, ботинок хуев», — сказал картавый, мстительно подбирая слова без рычащих согласных. «Прохиндеев с утра — ну просто как грибов», — высказался тип с синими мешками под глазами. «Так нельзя», — рассудительно, но с глубочайшей обидой повторил мужичишка, обращаясь уже не к безобразно жестокой очередице, а как бы к Высшим Силам, отвлекшимся по каким-то причинам от наблюдения за порядком и справедливостью в нашей очередице. «Так нельзя», — с пафосом, весьма странным для человека простого, убежденно повторил мужичишка, после чего куда-то сгинул.

Не буду уж тут описывать, какая тупая тоска объяла ряд нормальных, совестливых, но бессильных чем-либо помочь несчастному душ.

Принявшие же участие в травле завели вдруг весьма энергичные разговоры об ужасах раскулачивания, о ежовском терроре, о язвах и ранах войны и о незабываемых мытарствах в эвакуации... Всеми этими охотными мемуаризмами травители и обидчики, скорей всего бессознательно, внушали себе и нам, что в жизнях ихних, а соответственно и в истории нашей многострадальной сверхдержавы, были такие моменты, по сравнению с которыми какие-то паршивые саночки с пустой посудой и шоферишкой-прогульщиком — это все равно что лишнее перо, выпавшее вдруг из куриного гузна по каверзному своеволию природы.

Очередица тем временем двигалась, доводя чуть ли не до экстаза благодущия всех находящихся в предельной близости к провалу в подвальное чрево и скромно подбадривая только что пришедших бедняг, угрюмых еще от скопления в сердцах утреннего отчаяния.

Живые, изнемогающие от безденежья и сужения сосудов звенья очередицы продолжали звякать передвигаемой и переносимой посудой. Лучше уж было не прислушиваться к этому во всех отношениях невыносимо разлаженному звучанию жалкого стекла, в унижительной зависимости от которого вынуждены находиться и издерганно-гордые, и привычно-непритязательные личности.

Мой друг Паша, удрученно молчавший после душераздирающего происшествия с мужичишкой, вдруг шепнул мне чистым, горячим шепотом похмельной молодости: «Все... больше не могу... надо что-то делать... мы не умеем ни принимать самостоятельных гражданских решений, ни сдать по-человечески посуду... второй час стоим... подлое блядство...»

Я, как обычно, беззлобно поддразнил моего друга, дедушка которого принимал самое активное участие в революционной деятельности ленинцев, мечтавших превратить всероссийский грязный бардак в царство социального благополучия. Стоять нам

оставалось минут пятнадцать. Мы явно успевали, сдав посуду, купить водяры, пивка и пельменей до закрытия «кишки» на обед.

В этот момент очередица драматически разволновалась. Пронесся слух, что не принимаются бутылки из-под шампанского с цимлянским и майонезные баночки.

«Тара кончилась... Тара кончилась... Тара кончилась...»

Очередица конвульсивно подперла к дверям приемного подвала. А подвал изрыгнул из себя пару изнемогающих от ненависти ко всему белому свету неудачников. Они больше не являли собою, как десять минут назад, самодовольных фигур жизненной удачи. В руках у них раздражительно позвякивали несданные крупные бутылки ценою по семнадцать копеек, а у одного за спиною, как какой-то неорганический и вовсе чуждый человечеству Черт, расположился здоровенный рюкзак, распираемый проклятыми майонезными баночками. Расположился и мелко бесил человека невозможностью скрыть от окружающих и от самого себя образ предельной бедности, который связан в умах поголовно всех обывателей сверхдержавы с собиранием, накапливанием и сдачей именно этих мизерных, оскорбляющих последние твердыни человеческого достоинства майонезных баночек...

Кстати, редчайшим видом социального, нравственного и даже художественного падения считается в народе сдача взрослым, пьющим человеком мешка бутылочек из-под разных лекарств, редких в нашей стране соусов, многочисленных ядовитых бытовых жидкостей, а также из-под лосьонов, духов и одеколона. Да и принимают эту посуду где-то в местах, ни разу не попадавших на глаза ни мне, ни моим знакомым, но, однако, существующих в природе общества, которое, по слухам же, скоро напомогает народно-освободительным движениям и диким, возникающим при успехе этих движений тираниям до того, что простому населению дана будет возможность сдавать не только мизерные бутылочки, но и спичечные коробки. ПУПОПРИСПИЧКО от населения... Это выглядело бы достаточно завершающе для сверхдержавы, находящейся, по убеждению отдела пропаганды ЦК КПСС, в первой фазе коммунистической формации.

В очередице вдруг начались назидательные изменения. Некоторые, бывшие первыми, стали последними, поскольку нагружены были шампанской, цимлянкой, сидровой и еще какой-то импортной посудиною. Бывшие же последними, естественно, стали первыми. Приспальный наблюдатель мог бы отметить при этом, что душевно-физиогномический такт, проявленный как теми, так и другими при сдержанном сокрытии чувств мелкого торжества и раздражительной ярости, достиг поистине героических высот.

Все мы несколько притихли перед всеустрашающим явлением мутного призрака социально-бытовой справедливости, затем бурно разговорились, как это случается в очередищах подобного типа. Сей феномен всегда доказывал лично мне, что советская очередьща, где бы и по какому поводу она ни возникала, безусловно, являет собою глистообразный зародыш сверхкоммуникативного монстра, состряпанного мстительной историей для фантастического будущего Сверхдержавы, а возможно, и всей нашей планеты.

Говорили мы невпопад. Каждый старался искреннейше выложить либо набольшее на душе, либо запекшееся в похмельном мозгу. Не принимали участия в разговоре лишь горестные женщины разных возрастов. Это были близкие родственницы тех, кто пропил каким-то образом весь семейный достаток, оставив ближним надежду на выживание до полочки в виде чекушек и поллитровок.

Тема бесконечной и поголовной униженности советского человека, словно молниеносная гангренозная зараза, охватила вскоре почти все живые звенья нашего извивающегося на тоскливом пустыре алчущего чудовища.

Серовато-синеватые прежде лица пропойц и просто озябших бедолаг оживленно раздумянулись. В мутных глазах появился если не свет мысли, то приблизительно человеческое выражение. Оттянутые посудной тягомотиной руки вскинулись в жестах горячей помощи еле ворочающимся, обезвоженным языкам. Кто-то даже запел ни с того ни с сего далекую от темы разговора «отвори па-атихонь-ку ка-алитку-у...». Кто-то предложил категорически расстреливать приемщиков посуды за необеспечение болгарского и венгерского сухарика надлежащей тарой. Какой-то умник заявил, что очереди возникают не от недостатка различных продуктов или же нерасторопности торгово-снабженческой сети, а от переизбытка времени у населения. «Время у тебя есть. Потому ты и стоишь тут. А не было бы — так и не стоял бы, а находился в другом месте. Захавались вы тут, как взгляну я на вас после червонца разлуки, сухой мне быть...» «Позвольте, — возразил мой друг Паша, — зачем распространять философию тюрьмы на проблему прав человека? Мы все-таки еще на воле». «На воле ты был, пока папа маме палку не кинул, — мрачно сказал философ тюрьмы и вечной ночи, — а как, извините, кинул папа маме палку, так ты и проканал из свободного живчика в кандей жизни. Вновь расконвоирован будешь лишь в гробу. Не ранее...» «Такие, как вы, — гневно крикнул Паша, — превращают борьбу за права человека в борьбу за права трупа...» «Только не оттягивай... не оттягивай... я уже и так оттянут, как ишачий член», — отмахнулся

бывалый и, судя по всему, безнадежно исправленный советской тюрьмою человек.

Затем все мы прислушались к замечательному рассуждению неплохо одетого гражданина о том, что в большой очереди необходимо видеть кроме социальной шкуры ее, так сказать, духовное нутро. То есть, настаивал гражданин, на Западе, где он неоднократно бывал до «известного момента катастрофы в карьере», ему буквально ни разу не приходилось наблюдать такого вот качества общения самых разных типов, причем не знакомых друг с другом, общения полностью братского и не сдержанного всякой сословной и снобистской пакостью.

— Западное общество предельно атомизировано, — страстно убеждал скорее себя, чем нас, человек, переставший быть выездным, — и вы на каждом шагу сталкиваетесь с тем, что вас как бы вовсе не замечают. Захожу однажды с похмелья на Гранд-Сентрал. Это в Нью-Йорке вокзал типа нашего Ярославского, только поменьше и погрязней. Иду в сортир отлить...Захожу, принимаюсь за дело нужды, то есть собираюсь приняться, одновременно гляжу вокруг, как русский человек с широкой открытой душой, желающий разговориться в праздной паузе жизни с себе подобным организмом. Организмов рядом штук семь, черных и белых. Радужно говорю, по-ихнему, разумеется, и ко всем обращаясь, что-то насчет вчерашнего бейсбола... Ледяное молчание в ответ... Даже головы ко мне никто не повернул, что немислимая вещь при затравке самого ничтожного разговора в любом нашем советском сортире. Ледяное молчание... И я думаю: а есть ли ты на свете, Игорь Матвевич? Или призрак ты своего чересчур вспененного пивом сознания?.. Может ли быть в сложном современном мире большая близость, чем близость доверительно друг перед другом мочащихся мужчин, когда руки у них заняты, а языки полностью свободны для борьбы с похмельной тоскою?.. Не может! А они молчат. Нулевая реакция. Возможно, не расслышали вопроса? Или только показалось, что задал я его? Бывает всякое с того же похмелья. Бывает, тебе кажется, что наговорил ты начальству с три короба объяснений, а впоследствии, на товарищеском суде, оказывается — ты лишь стоял, ковыряя в носу и опоздав на два часа, но слова ни одного не вымолвил... «Хирса» московского розлива отшибает у нас одну из сигнальных систем. Одним словом, высказался я — в порядке приглашения оправляющихся организмов к задушевности — насчет бума на бирже и плохой работы полиции в सबвее. Это метро... Ледяное молчание... Бесчувственное, эгоистичное журчание отчужденных струй. Для каждого, чую, его унитаза гораздо родственнее живого соседнего человека... Плевать, думаю, на вас, сволочи.

Я в виде протеста даже оправляться не буду, а поговорю сам с собой... у советских собственная гордость, так сказать, мы умеем в решительную минуту испепелить буржуа свысока... ебал я ваш Бруклинский мост и высокий жизненный уровень... Ну и заговорил сразу на двух языках... Думаете, арестовали, как восемнадцать суток тому назад? Нисколько... Носом никто не повел в мою сторону. Нет меня... Пустое вопящее место... Тут я форменно взвыл от страха одиночества. Хватаю какого-то мистера за грудки, застегнуть ширинку ему даже не дал, хватаю и с надрывом вопрошаю: «Ты меня понял?.. Ты понял меня, техническая цивилизация ебаная?» Естественно, падаю без сознания, потому что все они владеют боксом с самого детства. Думаете, забрали?.. Растормошили? Думаете, сунули в сморкало пронзительного нашатыря или тыкнули в толчок головой и спустили воду, как это дважды случилось со мною — в Москве и Тамбове? Нет... Так и валяюсь в сортирной пустыне, а подняться смущаюсь, поскольку предельно унижен непредвиденным обстоятельством иностранной действительности... Валяюсь и трясусь в рыданиях, уткнувши физиономию в габардиновый рукав макинтоша... Ни вопроса, ни расспроса, ни мимолетного интереса к человеку, все же поверженному и не имеющему сил встать с кафеля, я не дождался. Зато не раз чуял, как лезут в карман ко мне разные руки. Ошмонать пытаются и стырить деньги с документами. Не тут-то было, думаю, советский человек — не мудака манхэттенский. Он портмоне на груди носит... Затем встаю... Народу в сортире полно, но — ледяное молчание с торжеством прочих звуков над личностью человека... Можете поверить: из презрения я так и не оправился, хотя впоследствии оказалось, что просто-напросто обоссался... Иду в ООН. Там с опозданиями не так строго, как у нас... неважно где... По дороге лезу в карман... и что бы вы думали?

— Подтирки наложили, — быстро ответил кто-то из больших знатоков человеческой природы.

— Ошибаетесь. Я сам сначала так подумал. В кармане моем были доллары. Сорок семь долларов различными купюрами, но не выше пятерки.

— На пару бутылок, — подсказал все тот же бойкий эрудит.

— Ошибаетесь, товарищ. На десять бутылок «Смирновской» или на четыре приличных «гуся», то есть полугаллона виски. Не выдержав напряга внутренней жизни, принимаю оперативное решение опохмелиться, а затем уже заявиться в ООН. Захожу в кафе. Беру дабл-скотча с темным пивком «Гиннес» — расширить сосуды по-ирландски...

— А закусь? — сдавленным от аппетита и жажды шлепнуть рюмашку голосом спросил кто-то.

— На Западе большинство следящих за собой людей не закусывают по разным пустякам, а только опрокидывают, зная меру. Одним словом, успокаиваю душу. Успокаиваю еще раз. А разжевать не могу даже соломку с солью: скула онемела, и челюсть с челюстью не сходится. Там стараются с ходу бросить тебя в нокаут, чтобы ты не рыпался добавочно, а если стреляют в кого в порядке самозащиты, то стремятся не ранить тебя как-либо, а укокошить, потому что, очухавшись, ты найдешь адвоката, и уж адвокат докажет, что не ты нападал, но на тебя напали, ранили и лишили возможности ходить на работу. И присудят тебе с полмиллиона, когда не больше, компенсации за ранение. Покушавшийся же на тебя в порядке самозащиты господин будет мрачно оплеван либеральным общественным мнением как убийца социально-обездоленной молодости. Но дело не в этом... Опохмеляюсь, и снова пронзает меня тоска. Мало, думаю, того что вы игнорировали мой порыв по-человечески разговориться при оправке, когда у каждого есть минутка абсолютно свободного времени, но вы повергли советского человека на кафель, а затем откупились от него сорока семью долларами... Вы от всего откупаетесь, но вас тем больше ненавидят, чем щедрей, мудаки, относитесь вы к замурзанным мурлам третьего мира... Мы же вот — полмира отхряпали, нужду несем освобожденным от нас народам, шпионим где попало, террором занимаемся среди бела дня, а нас к тому же еще и любят, и уважают, и трепещут, не крадут и не подстреливают. Вот как мы себя умеем поставить при расстановке сил на мировой арене... Я слова от вас хотел живого в период резкого сужения сосудов и вдали от Родины, а вы презрительно помилосердествовали, падлы захававшиеся, на Уолл-стрите... А мне чего надо было? Мне всего-то надо было, чтобы я в сортире сказал вдруг с глубоким чувством личной тоски и боли за весь мир во всем мире: «О-ой, блядь... о-о-ой!!» — а ты бы мне с пониманием момента ответил бы всего-то-навсего: «Мнн-да... бывает», — и я бы на все враз плюнул за такую твою спонтанную солидарность. Я бы кассу взаимопомощи обокрал и расстался бы с кольцом обручальным навек, что не раз уже со мной бывало здесь, среди вас, товарищи...

Все мы как-то почувствовали, что рассказчик близок к нервному срыву. Руки у него дрожали, а потому и звенела жалобно в авоськах пустая посуда. Кто-то со вздохом, сопутствующим обычно тяжким борением человека с косным природным жлобством, протянул бедствующему рассказчику чуток серо-лунноватой жидкости на дне чекушки. Тот не мог сдерживать благодарных рыданий и так и затрясся от них. Затем поставил на землю посуду и вылакал из горла, ни разу не застучав об него зубами, спасительный, возможно, глоток.

— Спасибо, товарищ... я не останусь в долгу... не тот человек... то, что вы сейчас сделали, товарищ, это — будущее Запада, за которое ему еще долго придется бороться и бороться с атомизированным индивидуализмом, — заявил рассказчик. Занюхав глоток рукавом, он вновь нагнулся за авоськой, поудобней взялся и продолжал: — Откупиться не удастся, господа и мистеры. Планете нужны душевные слова, а не деньги, понимаешь, которые не пахнут... Сижу в кафешке, — кафешки там, надо объективно сказать, приспособлены к интимно-внутренним душеизлияниям любой отверженной личности — сижу, поддаю и прикидываю, как следует поступить с презрительной милостыней надменных буржуа?... А вдруг это — грубейшая провокация с целью дальнейшей компрометации нашей страны в обезьяньих глазах третьего мира?... Версию откидываю, потому что американцы — весьма наивные люди. Они не могут поступить так, как мы поступим в аналогичной ситуации, скажем, с работником ихнего посольства, валяющимся с похмелья в сортире на площади Восстания. Мы бы не рублей в его карманы напихали, а, например, антисоветских прокламаций, портативных Библий, Талмудов с фотографиями Папы или даже секретных чертежей. Показываем этого алкаша по программе «Время» на всю страну... Вот он — в сортире, обоссанный, как кутенок... вот — на шмоне в отделении... вот — в вытрезвителе, среди советских людей, говорящих ему: «Почему Рейган хочет уничтожить СССР звездной войной?... А?... Руки прочь от Никарагуа!..» Да я бы за такую акцию снова выездным стал и даже медалишку схлопотал с премией... Мы бы этой акцией лишний раз по Сахарову вдарили с Щаранским, чтобы диссидентская шобла попритихла и не мешала нам наводить порядок на международной арене... Мы бы, одним словом, не зевнули с посольским американцем... Беру еще разок дабл-скотча — извините, дабл-скотчу — и соглашаюсь со следующей версией: провокация устроена нашими. Слежку я чуял за собой с первого дня прибытия в Штаты. Не раз прорабатывался на партсобраниях за благодушное отношение к буржуазной массовой культуре и за попытку пристроить к телику канал «Плейбоа»... По нему можно всю ночь смотреть все натуральное в смысле тел и положений... Ну, естественно, представитель Верхней Вольты, обезьяна проклятая, пожаловался Генеральному секретарю ООН, что я два раза проспал. Не принес им, видите ли, когда обсуждали жалобу на Израиль, коктейлей... Спасало меня не раз то, что я являлся родственником домработницы Леонида Ильича. Мы все пошли по выездной линии... Благодаря такому родству наши позиции в ООН сильные были, как никогда. Вот, думаю, мечтают использовать, падлы,

момент, чтобы нас заменить своими выездными. Хватит, мол, вам — бровастые выкормыши — гулять по буфету. Дайте и нам доллар покусать да пожить по-человечески вдали от Родины... Явно, решаю, провокация... Свои же и набили карман деньгами, то есть валютой, и надеются, что зажму ее, как какой-нибудь ничтожный Евтушенко... выездная шлюха, понимаешь... Не тут-то было, мистер Добрынин и господин Трояновский... нас на мякине не проведешь... мы все нынче жеваные-пережеванные международной напряженностью и продовольственной программой... Но я принимаю не простое решение, а соломоново, на что, кстати, сионисты всегда были большие мастера. Я решаю возратить в нашу казну всего двадцать два доллара, а пропитые не возвращать категорически. С какой это, скажите мне, стати я должен оплачивать все расходы по вашей провокации своими кровными «зелеными»? Да провалитесь вы все пропадом. Я и так отстегиваю вам львиную долю своей валюты на оплату шпионов и террористов, а сам вынужден даже день рождения вдали от Родины натягивать ради экономии штопаный гондон на праздничный стол... Короче говоря, поправился я славно. Очень славно. Не пытался больше разговаривать ни с кем. Игнорировал даже беседу двух каких-то бывших советских прохиндеев. Рожи бородатые у них вдали от Родины были весьма похабны. И похожи, поверьте, на лобки скорее, а не на гражданские лица. У одного — толстого — на распаренный в бане вполне добродушный бабий лобок, а у другого — на серовато-унылый лобок моргового трупа, с увядшей уже волосней и завистливым ко всему живому выражением непонятно откуда взывшихся глазок.

Все же уходить в ООН было мне уже пора, да и вывели наконец душу мою из себя оба этих лобка. Они, видите ли, что-то тискали в соавторстве. Не выдержал я молчания и, проходя мимо, с небрежным презрением, то есть с тонкой подъебкой замечаю: «Ну что, получеловеки, все бумагу изводите?» Тоже — ледяное молчание в ответ, словно сговорились все в этом городе воротить рыла от целого советского человека... Может, думаю, бойкот нам суровый наконец объявлен за подлости на международной арене? Самолеты сбиваем с гамбургерами и хот-догами, в смысле с Макдональдами, а Эфиопию, наоборот, доводим до полной ленинградской блокады... Доигрались в светоч прогресса, равенства и братства... От ледяного молчания эмигрантишек — холод в душе. Но я продолжаю тонко подъебывать. Демонстративно закуривают оба, глядят на меня в упор и как бы пытаются молчанием — распаренный банный лобок и чахлый морговый... Просто изводят нахально... На Родине я уж давно врезал бы каждому кружкой пива промеж рог...

— Вот и врезал бы, поддержал бы честь родимого хоккея, — перебил кто-то рассказчика.

Тот после паузы рассудительно возразил:

— Я бы, конечно, врезал и на чужбине, но экономически было это весьма невыгодно. Они, может, только того и ждали, чтоб получить кружкой промеж рог и подать с ходу на меня в суд за моральный ущерб. И все — я в заднице. Международный скандал. Добрынин арестовывает мой ничтожный счет. Вышибают из партии. Лишают дипломатической неприкосновенности и отгружают, я подчеркнул, не отправляют, а именно отгружают на Родину. Хорошо еще, если в приличном гробу, что маловероятно, но скорей всего в урне, потому что прах советского человека гораздо экономичней перевозить с одного конца света на другой, чем его прибарахленное тело. Прах вообще можно перевозить бесплатно в дипбагаже или даже в дамской сумочке, раз уж на то пошло дело. Чего валюту на пустяки разбазаривать?.. Но как представил я, товарищи, что два эти лобка получают от нашей Родины компенсацию за получение пивной кружкой промеж рог и за циничные оскорбления личности, как представил, что получают они, ничего такого не совершив в жизни приличного и даже не в состоянии самостоятельно, в одиночку сочинять антисоветчину, и живут всю остальную жизнь на проценты с капитала, то скрипнул зубами, забывшись, и взвыл от боли в побитой скуле. Взвыл и молча, но выразительно вышел. Это я умею... Направляюсь для решительного объяснения с Трояновским. Прихожу в ООН. Там идет заседание. Снова почему-то обсуждают жалобу на Израиль. Буфет полон миллиардеров из нефтяного Арабистана. Они выходят из зала пить кока-колу, когда посол Израиля убедительно откалякивается от мирового антисемитизма. Подсаживаюсь в баре к какому-то шейху, который аж шуршит весь с ног до головы нефтедолларами, наливаю ему в фужер пивка и говорю, что пора бы не драть за бензин с простого человека доброй воли столько же, сколько дерете с адвокатов, зубных техников, продавцов очков и пиццы. Мы ведь в одном с вами антиссионистском лагере состоим защиты мира от Белого дома, господ... Шейх — ни слова. Очередное ледяное молчание. Говорить мне было ужасно больно из-за скулы, но я выступил, однако, с откровенностью постоянного члена Совета Безопасности... Молчание... И тут меня вдруг взорвало. Хлопаю еще дубла-скатчу, то есть дабла-скотча — и как ебну ни с того ни с сего фужером по мраморной стойке и, пальцем вода перед носом шейха, говорю: «Я тебе тут, брюхо, нефтью набитое, не делегат Израиля! Ты мне тут, сука, заговор молчания не устраивай в стенах ООН... тут тебе не сортир на Гранд-Сентрал, понимаете... Хули ты молчишь, многоженец?»

Улыбнулся засранец, но молчит. Потягивать продолжает из соломинки напиток сытых. А я продолжаю бушевать, поскольку абсолютно уверен, что уж нефтяной шейх — не советский эмигрантишка и не станет выканючивать у делегации СССР в ООН какой-то несчастный миллион за моральный ущерб. Наоборот, я — чего уж теперь скрывать — как бы сам бессознательно напрашиваюсь, чтобы выдали мне по мордасам пару разочков, да с оттяжкой, да со смазкой сопатки снизу вверх и в глаз с запеком синяка... Пусть держится до Большого жури...

Шейх и не станет ждать суда. Он вынет тебе наличными пару миллионов, а цену за баррель поднимет на один цент — и все в порядке, а я, отдав Родине положенные проценты, живу себе чин чинарем и еще орден «Дружба народов» получаю за вклад в Госбанк валюты. А ведь за лишний миллион мы можем купить у американо-советского патриота всю «звездную войну» и чертежи новых подводных гигантов...

Послушали меня шейхи с улыбочками, подобрали свои бабские затем подолы, надвинули на лбы черные шины от детских колясок и поспешили в зал на гневную отповедь Трояновского делегату Израиля... Я же в баре закемарил, товарищи, потому что трудно и невыносимо нам с вами годами находиться среди чуждых кругов Запада и Востока... Вывел меня из отдыха член делегации Болгарии, который шестеркой был у Трояновского с Добрыниным. «Шагом марш! Сам вызывает в постоянно-членскую... На цирлах!...»

Являюсь и хочу доложить о провокации в вокзальном сортире, но Трояновский высокомерно орет на меня: «Чем от вас пахнет в ООН?... Вы что? В хлеву валялись?.. Покровителя своего поминаете?.. Вас уже ничто не спасет... Высылаетесь немедленно на Родину!..» До меня что-то не дошло с ходу, что Леонид Ильич наконец скончался. Но я рад разговору с собою даже в таких резких административных формах. Кто из нас, скажите, не трепетал послушною душою при бешеных выговорах начальства? Никто... То есть трепетали, трепещем и будем трепетать... Однако, потрепетав и насладившись русской речью, я логически возразил, что, во-первых, Родина — не ссылка, а во-вторых, я имею честь с самого утра находиться под юрисдикцией Генерального секретаря ООН и обслуживаю чаем с коктейлями постоянные жалобы на Израиль... у меня не такой иммунитет, как у вас, но и я могу просить защиты у флага Организации... в этом месте выразительно икаю... вот вам семь долларов, найденные мною в кармане смокинга, то есть пиджака, при весьма двусмысленных обстоятельствах... Еще что-то я там наговорил, а Трояновский все старался встать под вентиляцию, чтобы до его, видите ли, тонкого, постоянно-членского

нюха не долетала сортирная вонища, в которой — согласитесь, товарищи, — трудно было не вывозиться вдали от Родины... И тут дошло до меня вдруг, что Леня... отец родной... покровитель верных вассалов... Замечаю, что член Белоруссии вешает на портрет Леонида Ильича черные ленты, а член Украины чему-то злорадно ухмыляется, так и жаждет, чтобы вся Россия поскорей передохла от продовольственной программы, сволочь...

Стоит ли говорить, как я был вывезен из Нью-Йорка методами, давно отвергнутыми людьми порядочными? Не стоит. Тем более подходит наша очередь. Я был усыплен и тайно вывезен на Кубу, где пробыл две недели в братском тропическом дурдоме. Затем — Москва. Встреча с семьей. Крушение карьеры...

Я призываю протестовать, если эта мразь-приемщик вновь заставит вынимать пробки и счищать сургуч с горлышек плодового-ягодного. Хватит, товарищи. Ведь какие-то все же права должны у нас быть в природе?..

Никто ничего не успел ответить рассказчику, хотя, например, у меня лично вопросов к нему накопилась целая куча с маленькой, как говорится, авоськой. Никто ни о чем не успел расспросить его, потому что совершенно неожиданно для нас всех после громкого хлопка разом вспыхнули все подсобники приемного пункта, горы наполненных пустую посуду ящиков, готовая к приему бутылок тара и прочая бытовая мусорюга, только и жаждущая какого-нибудь языка пламени, чтобы загореться наконец и перейти в иное, долгожданное состояние вещества...

Началось нечто невообразимое. Очередь, неведомым каким-то образом поняв, что ее больше не существует, превратилась в явление более неорганизованное и, соответственно, менее неприличное — в толпу. Ясно было, что жизнь людям дороже сдачи посуды, хотя сдается таковая именно для продолжения жизни, для предупреждения всеобщего к ней охлаждения. Приемный пункт весь был объят вонючим, угарным пламенем и дымом, отдающим керосином с бензином, спиртовым и сивушным осадком, а также сладковатой бормотью разогретых портвешков вкупе с хлебным, баннным запашком вскипевшего в трескающихся бутылках пивка... Толпа замороженно следила за животной панической возней, которая происходила на подвальной лестнице. Самые первые, даже из тех, кто успел уже сдать свою надежду приемщику, безумно стремились стать последними. Из подвального помещения, из жуткого зияния его доносились до нас вопли старающихся выбраться на улицу быстрее ближнего, доносился рык какой-то, хрипы, бабий визг, лязг давимой посуды, может быть, режущей уже ноги, упавшие тела и лица всех поверженных наземь, всех бесчеловечно подмятых более

сильными и обезумевшими паникерами. Паникерами, потому что огонь и не проник бы, очевидно, в подвал с улицы, хотя...

Мелькнувшую в мозгу моею догадку утвердил Паша, шепнувший мне следующее: «Шоферишка поджег... он тут мельтешил, пока мы внимали сдуру выездному... явно все полито бензином... месть за свистнутые саночки с посудой... Убедись лишний раз, что насильственные методы — бред собачий и удар по невинным людям... Что нам теперь делать? Новую очередь выстаивать? Новый пункт искать?»

Пожалуй, только мы с Пашей были удручены в ту минуту внезапными унылыми обстоятельствами этого злосчастного утра и возвращением нашим в отвратину безнадежного социального уныния. Впрочем, возможно, это всего лишь казалось, что только мы с Пашей пребываем в очеловеченном как бы то ни было состоянии, тогда как со стороны все мы могли бы произвести на постороннего наблюдателя впечатление странного многоликого животного, опьяневшего, одуревшего от пламени, клубов дыма и утробного рычания всех рвавшихся на выход из подвала, — животного, которое не покинуло еще счастливое удивление, что оно — животное — не там, в каше смятения, кровищи, взаимного подминания и острой, битой посуды, а здесь — на постылом, на тоскливом и унылом, но безопасном холоде поверхности земли.

Все вырывавшиеся из подвала пункта не оставались во дворе, не присоединялись, не прилипали к толпе везунчиков-соглядатаев, но с выпученными от пережитого глазами, со ртами, искривленными гримасою рыдания и обоих видов удушья — кислородного и душевного, скрывались куда-то прочь.

Ни один человек из стоявших в толпе даже и не подумал броситься на помощь к находившимся еще в подвале, даже и виду не подал притворного, что случается иногда в людском общежитии: «Вот, мол, я готов, всегда пожалуйста, протянуть руку гнущему, но технически не могу этого сделать, все подходы отрезаны, кое-кого следует судить за нарушение правил противопожарной безопасности...»

Молчание нашей животной толпы нарушил невыездной рассказчик. Он сказал, что наблюдал однажды в Штатах за пожаром в диско-клубе. Диско-клуб объят был наполовину пламенем, а люди продолжали танцевать, поскольку неодушевленная запись громоподобной бурды прокручивалась себе и прокручивалась. Ничего не зная о пожаре, танцующие, соответственно, выламывались и топтались, будучи полностью как бы оглушены скрежетом звуков, и, возможно, так бы и занялись пламечком с ног до головы, если бы кто-то не вырубил света и грохота. После этого мгновенно началось хаотическое спасение жизней и эксцессы почище данного

безобразия. Рассказчик добавил, что лично Добрынин лишил его за хождение в диско-клуб дипломатического иммунитета на две недели условно. «Донос Петрович сутки у нас работает, а двое суток стучит», — добавил он со знанием дела.

Тут же взвыла наконец сирена пожарной команды. Нас разогнали брандспойтами и чистенькими, протертыми машинным маслом топориками. Пожар ничего не стоило притушить. Многие сразу бросились вытаскивать из бесформенной груды тары чудом уцелевшую закопченную винную посуду.

Кто-то из пожарных, безусловно, обученных воздействовать водой на всегда готовые к беспорядкам людские толпы, направил струю в подвал. Оттуда начали выскакивать несколько побыстрей, чем раньше, вымоченные, стучащие зубами, но воодушевленные спасением бедолаги. Холодина пожарной воды, между прочим, мгновенно выводила очумелых граждан из шока и даже сообщала им чувство некоторой бесшабашной веселости, происходящей в таких вот условиях, как мне кажется, от вечного духа сопричастности человеческой души к победе доброй водной стихии над зловредной огненной. Ясно было, что всем им начхать на посуду, погибшую в подвале, и чуялось, что многие готовы сейчас на нечто героическое и даже преступное для отпразднования спасения от огня и растаптывания...

Еще через какое-то время прибыла «скорая помощь». Из подвала начали вытаскивать поломанных и порезанных битой посудой несчастных. Вид их был ужасен. Каждый, проходя к карете или же лежа на носилках, сокрушенно повторял: «Это — не люди... не люди... не люди», — как бы давая понять, что и сам он, если бы не ушибы и раны, не имел бы права быть причисленным к человеческому роду...

После «скорой» примчалась милиция — ОБХСС. Главный среди сотрудников цинично и громко произнес: «Все же ушел Кадыков от ревизии. Смудрил, сволочь... Всем разойтись. Свидетелям поджога остаться на месте для снятия показаний...»

К счастью, смертельных жертв в тот день оказалось мало. Сотрудники и санитары вытащили из подвала всего двух бездыханных человек. Одним из них был приемщик Кадыков — человек редчайше говнистого нрава с явно садистическими наклонностями, которого давно уже следовало как-либо уморить, не дожидаясь стихийного случая, за все его измывательства и изгиляния над бесправными людьми, сдающими стеклотару.

Когда вынесли второго погибшего, толпа зашумела: «Ленин... Ленина уделало... Ленин загнулся...»

Мы подошли к телу того, кого все именовали Лениным. Подошли, но тут же были отогнаны Главным. Однако я успел рассмотреть

лицо погибшего. Это был Картавый. Внешнего сходства у него с Лениным было не больше, чем у Ленина с Чарльзом Дарвином, чтобы не сказать с Марксом. Как он попал в самую гущу давки, когда стоял в очереди позади нас с Пашей, останется загадкой новейшей советской истории.

Дружок его, с фингалом под глазом, выдаваемым за отечный мешок в подглазье, как в воду канул. Скорей всего, оба они пробрались в подвал без очереди, чтобы как-то расправиться с саночками того оскорбленного мужичишки и с его посудой, после чего он и пустил, мерзавец, «петуха»...

Месть, подумал я, не может быть вполне благородной, если под разящее ее копые попадают посторонние и оказываются вдруг, как мы с моим другом Пашей, в пустыне общественной жизни, с глазу на глаз с равнодушным к чаяниям граждан государством.

Мы поспешили удалиться, проклиная гору вчерашней посуды, поразительную редкость и несовершенство работы приемных пунктов, а также глубоко въевшийся в уши, в мозг, во все поры наших существ мелкопакостный звон пустой стеклянной дряни. Поспешили удалиться потому еще, что Главный приказал своим ментам замести по мелкому хулиганству, переходящему с похмелья в антисоветскую агитацию, всех тех, которые называли Лениным опустившегося до жалкой гибели алкаша. Он также приказал обшмонать оставшихся на предмет обнаружения всей пропавшей кассы с деньгами растоптанного Кадыкова. Кассу, как мы поняли, кто-то успел стырить...

Покидая место брани, иначе его и не назовешь, обратил я внимание на выражение лица бывшего выездного. Лицо его было каким-то остолбенело задумчивым от всего только что происшедшего и от неостывшего еще воспоминания о драме пребывания вдали от Родины. Кроме того, была в лице его явная и почти невыносимая ненависть к самому себе, которая появляется в человеке при окончательном нежелании прощения какой-либо существенной, судьбоносной ошибки своей отвратительной личности.

Все же в человеке этом, к несчастью своему взглянувшем однажды на родные исторические пространства с противоположной части Земли, трепетала еще каким-то образом жизнь, а следовательно, и горячая надежда пристроить в ином немыслимом пункте всю эту отянувшую сердце пустую посуду. Он начал уже движение к нему...

Надрываясь под тяжестью четырех баулов с бутылками, мы потащились к знакомой продавщице, чтобы сдать ей их все к чертовой матери хотя бы за полцены вместе с баулами и кожей измоленных ладоней...

Тащились и всю дорогу болезненно молчали. Мой друг Паша, так же как я, с инфантильным самозабвением представлял себя на месте человека, не потерявшего голову в панический момент народного бедствия, но моментально разобравшегося в рискованной обстановке, перехватившего каким-то героическим, разбойным образом все денежки то ли из кассы, то ли уже из кармана обезумевшего Кадыкова, затем достойно отстранившегося от ужасной каши тел, а теперь вот, безусловно, подходящего уже к шашлычной, подходящего к ней с алчущим аппетитом жизни, с гордым трепетом всех душевных и телесных сил, с укором к себе за преждевременное утреннее отчаяние, с верою в конечную добропорядочность капризной Судьбы и с возрожденным, быть может, навсегда в воспрянувшем сердце чувством восторженного удивления перед таинственным поведением счастливого случая... Сейчас вот он сядет за свежий столик, с чистейшим вдохновением взглянет в знакомое до слез меню, передавая зачуханным его листочкам последнюю дрожь похмельных конечностей, поразит мизантропную фигуру официантки неслышанно солидным заказом и небрежно авансированными чаевыми, через пару минут уйдет рюмашкой коньячку сердечный стук, а заодно и непослушность разлаженных пальчиков, уйдет для пущей надежности и сходу — еще разок, многотрудно крикнет, помянет про себя нелепо погибшего Ленина, ухмыльнется при этом во всю свою жизнерадостную рожу и примется в ожидании шашлычка за сациви из цыплят, смачно шибяющее в носоглотку запашком кавказских провинций нашей необъятной, но непостижимо бездарной Империи.

Новая Англия, 1985

П. АНТОКОЛЬСКИЙ*

Рождение нового мира (1956)

Был тусклый зимний день, наверно.
В нейтральной маленькой стране,
В безлюдье Цюриха иль Берна,
В тревожных думах о войне,

* Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) — русский советский поэт, переводчик, драматург. Печататься начал в 1918 г. Член ВКП(б) с 1943 г.

Над ворохами русских писем,
Над кипой недочтенных книг —
Как страстно Ленин к ним приник!
Как ледяным альпийским высям
Он помыслов не доверял!
Как выше Альп, темнее тучи
Нагромождался матерьял
Для книги, медленно растущей!
Сквозь цифры сводок биржевых
Пред ним зловеще проступала
Не смытая с траншей и палуб
Кровь мертвецов и кровь живых.
В божбе ощерившихся наций,
Во лжи официальных фраз
Он слышал шелест ассигнаций
В который раз, в который раз.
Он слышал рост металлургии
И где-то глубоко внизу —
Раскаты смутные, другие,
Предвещававшие грозу.
Во мраке жарких кочегарок,
В ночлежке жуткой городской
Он видел жалостный огарок,
Зажженный трепетной рукой,
И чье-то юное вниманье
Над книгой, спрятанной в ночи,
И где-то в пасмурном тумане
Рассвета близкого лучи.

Во всей своей красе и силе
Пред ним вставали города
И села снежные России, —
О, только б вырваться туда!

Ему был тесен и несносен
Мещанский край, уютный дом.
Он жадно ждал грядущих весен,
Как ледокол, затертый льдом.

В его окно гора врезалась
В литой серебряной резьбе.
И вся история, казалось,
С ним говорила о себе.

С ним говорило мирозданье,
С ним говорил летящий век.
И он платил им щедрой данью
Бессонных дум, бессонных век.

И Ленин ждал не дня, а часа,
Чтобы сквозь годы и века
С Россией новой повстречаться,
Дать руку ей с броневика

П. АРСКИЙ*

Во дворце Кшесинской**

Однажды полковой комитет получил приглашение: выслать делегатов на дачу бывшего царского министра Дурново, где состоится совещание представителей фабрик и заводов, а также воинских частей Петрограда.

На это совещание у нас была выделена делегация из трех человек — я и еще два солдата.

Когда мы пришли на дачу Дурново, в большом зале было много рабочих, солдат и матросов.

* *Павел Александрович Арский* (Афанасьев, 1886–1967) — пролетарский писатель, прозаик и драматург. Участвовал в рабочих кружках, вел пропаганду. С 1918 г. сотрудник большевистской газеты «Псковский Набат», затем работал в ленинградском Пролеткульте, очеркистом в газете «Правда», член большевистской партии.

Первое стихотворение «Красное знамя» (1905) написано Арским в тюрьме. Стихотворение в четыре строки, напечатанное в газете «Правда» стало популярным: «Царь испугался, издал манифест: мёртвым свобода! Живых под арест!». В 1917 г. в «Правде» публикует стихи «Встреча Ленина»: Встаньте, заводы, / В огне баррикад, / Ленин приехал / В родной Петроград! В 1919 году Пролеткульт выпустил первый сборник его стихов «Песни борьбы». Позже изданы драматический этюд «За Красные Советы» (1920), две книги рассказов — «Метла революции» (1922) и «Кровь рабочего», трагедия «Голгофа» (1924) — из времён Парижской Коммуны, стихи «Серп и молот» (1925), «Даешь кооперацию» (1925), комедия «Мокрое дело» (1927), роман «Человек у конвейера» (1929), пьеса «Атаман Булак-Балахович» (1929), «Годы грозовые» (1958) и др.

** Вечно живой. Л.: Лениздат, 1960. С. 142–146.

Один за другим выступали ораторы с лозунгами: «Долой войну!», «Хлеба и мира!»

Председатель собрания обратился к нашей делегации:

— Павловцы желают получить слово?

Мы ответили согласием и стали держать совет, кто выступит. Мои товарищи решили, что выступить должен я. Говорил я недолго, сообщил о том, что Керенский искал опору для своей гнусной политики у солдат Павловского полка. С этой целью он провел смотр полка на Марсовом поле.

В конце собрания было принято решение: выбрать революционный комитет в составе пятнадцати рабочих, солдат и матросов.

Закрывая собрание, председатель сказал, что революционный комитет должен немедленно наметить план действий.

Секретарем революционного комитета выбрали меня. Я вел протокол заседания, на котором обсуждался один важный вопрос: о немедленном свержении Временного правительства и передаче всей власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Я предложил на повестку дня поставить еще один вопрос: немедленно послать делегацию к Ленину во дворец Кшесинской.

Мое предложение было принято. Делегация была выбрана из пяти: двух рабочих, двух солдат и одного матроса.

Солнце близилось к закату, когда мы вышли на улицу и направились ко дворцу Кшесинской.

По дороге мы встретили автомобиль. Взяв друг друга за руки, мы стали посередине дороги и крикнули шоферу:

— Стой!

В автомобиле сидел человек с портфелем. На его побледневшем лице виден был нескрываемый ужас.

— Кто едет? — спросил я.

— Чиновник особых поручений князя Львова! — пролепетал человек с портфелем.

— Вылезай!

Он покорно, не говоря ни слова, вылез из машины и стал посередине улицы.

Шофер, не шевелясь, вопросительно смотрел на нас.

— Во дворец Кшесинской! Давай быстро! — скомандовал матрос.

Шофер молча нажал рычаг, автомобиль быстро помчался по улице.

Я взглянул назад и увидел, что чиновник с портфелем по-прежнему неподвижно стоит на улице, как будто его ноги прирваны к мостовой.

Делегация наша приехала ко дворцу Кшесинской в хорошем и веселом настроении, но меня втайне тревожила мысль: что скажет Ленин, когда мы ему доложим о характере совещания на даче Дурново?

Мы вышли из автомобиля и подошли к воротам, где стоял на посту солдат броневого дивизиона, охранявшего штаб ЦК партии большевиков. Узнав, кто мы такие, часовой подозвал другого солдата и сказал:

— Делегация к Ленину!

Солдат ушел, быстро вернулся и повел нас в здание. Мы поднялись на второй этаж, вошли в большой зал, где у окна стояли Ленин и Свердлов.

Ленин с улыбкой встретил нас и спросил о цели нашего прихода.

Мы молчали, никто не решился говорить первым. Матрос толкнул меня в бок и тихо шепнул:

— Говори...

— Мы делегация... — Я вдруг запнулся и неловко замолчал.

— Какая делегация? — спросил Ленин.

— Делегация революционного комитета! — громко сказал я, но тут же холодок прошел у меня по спине, когда Ленин недоверчиво развел руками и сказал:

— Революционного комитета? — Он погладил бородку и с улыбкой посмотрел на Свердлова.

— Яков Михайлович! Как вам это нравится?

Я сразу понял, что наша делегация попала впросак. Матрос толкнул меня в бок:

— Скажи... По существу!

Стоявший рядом со мной рабочий так же тихо сказал:

— По правде, как было... Не робей!

Немного помедлив, я стал говорить о собрании на даче Дурново и о том, что после собрания был выбран революционный комитет, который заседал и вынес решение...

— Какое решение? — спросил Ленин.

— О немедленном свержении Временного правительства! — выпалил я.

— Да? — негромко засмеялся Ленин.

На лбу его легла складка, прищурился глаза, он посмотрел на нас, прошелся по комнате и с каким-то дружеским упреком сказал:

— Нет, товарищи, так нельзя! Партия наша этого вопроса еще не решала.

Я почувствовал, что мои ноги вдруг так же оказались привинченными к полу, как у чиновника князя Львова. Тем не менее я еще сказал, как бы в оправдание нашего прихода, что на собрании были представители от фабрик и заводов, а также от воинских частей.

— Голос масс, товарищ Ленин! — сказал рабочий.

— Да! Мы это понимаем! — быстро подошел к нему Ленин. — Но время еще не пришло...

Я увидел, что наша делегация действительно попала в неловкое положение, в особенности после того, как Ленин вдруг недовольно произнес:

— На даче Дурново бывают анархисты. Они тянут в свою сторону. Вы не слушайте их, дорогие товарищи.

— Мы не анархисты! — сказал я с легкой обидой.

— Нет! Не анархисты! — громко проговорил матрос.

— Очень хорошо! Я прошу вас, товарищи, когда вы возвратитесь на заводы и в свои воинские части, разъясните рабочим, солдатам и матросам, что, когда придет время, мы прогоним министров-капиталистов.

— Это так, Владимир Ильич! А вот позвольте мне сказать слово! — произнес рабочий.

— Прошу вас!

— Вот вы сказали — рано... Это верно! Партия еще не решила взять в руки власть. Правильно! А что же получается? Созвать хотели Учредительное собрание... А где оно? Нет его! И когда его созовут — никто не знает.

— Да, вы правы! — с живостью заговорил Ленин.

— Еще недавно нам говорили, что Учредительное собрание может быть созвано не ранее окончания войны, что на пути к созыву его стоят громадные, непреодолимые трудности. Но все это, конечно, неверно! Мы заставим буржуазных министров раскочкаться.

Ленин быстро зашагал по залу, заложив пальцы рук за проемы жилета.

— Дорогие товарищи! — сказал он, остановившись перед нами. — Жизнь не даст отсрочки министрам-капиталистам. Да! А нашим требованием остается: вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов... И пусть поскорее уйдут министры-капиталисты. Это единственная услуга, которую они еще могут оказать нашей стране. А власть мы возьмем в свои руки! В этом не может быть никакого сомнения. Верно, Яков Михайлович?

— Верно, Владимир Ильич, — улыбнулся Свердлов, поправляя пенсне.

Ленин посмотрел на часы:

— Вы извините нас, товарищи! Мы должны сейчас ехать на заседание Петроградского Совета, где с докладом выступит военный министр Керенский.

Мы переглянулись друг с другом, и, видимо, у нас на лицах было выражено желание послушать «главноуговаривающего». Ленин уловил нашу мысль и с улыбкой сказал:

— Если товарищи пожелают, они могут поехать с нами в Морской корпус, где скоро начнется заседание Петроградского Совета.

В это время вошел солдат:

— Машина готова, Владимир Ильич!

— Еще машину товарищам делегатам.

— Есть машину! — сказал солдат и быстро вышел.

— Спасибо, Владимир Ильич, — матрос наклонил голову, — машина у нас есть...

— Откуда она у вас?

— Мы взяли ее у князя Львова.

— То есть как это взяли? Я не понимаю!

— Чиновника особых поручений из машины... А мы в машину.

Ленин пошел к двери, а за ним Свердлов.

— Как вам это нравится? — засмеялся Ленин. — Если они взяли машину у князя Львова, то они могут у него и власть взять!

Выйдя из дворца на улицу, мы не увидели своего автомобиля.

— Князь Львов угнал вашу машину! — с добродушным смехом сказал Ленин. — Садитесь в нашу машину она вас ждет.

Ленин и Свердлов сели в автомобиль стального цвета, а мы — в другой, который нам дали солдаты броневого дивизиона.

По дороге в Морской корпус мы долго молчали. Первым заговорил вяло и неохотно матрос:

— Вот тебе, братишечки, революционный комитет! Что же это получилось?

Ему никто из нас не ответил, каждый думал свое, и всем было ясно: Владимир Ильич прав, час для выступления еще не пробил. Он впереди. Наступит время, и большевистская партия назовет его нам, поведет боевую и сплоченную армию пролетариев, крестьян и солдат на социалистическую революцию.

Н. АСЕЕВ***Опыт портрета (1934)**

(Отрывок)

Даты ленинской жизни известны всем.
Их не втиснешь в строчку скорую.
Он — великий итог вековечных тем,
Волновавших когда-то историю.

Но особенно в нём я люблю и чту
То, что в жизни им наново добыто:
Ту способность доводить мечту
До людского вседневного опыта.

Мечту не о жирных собственных щах,
Мечту овладенья запрятым где-то секретом.
О более крупных, о более веских вещах —
О всем человечестве, накормленном и обогретом.

Нам в Ленине каждая мелочь любя:
И скулы, и рот неуступного склада,
И эти прекрасные линии лба,
И меткая прищурь прицельного взгляда.

Но я говорю не об этих чертах —
О мыслях, вязавших узлами тугими,
О воле, залёгшей у каждого рта,
О сердце, что в лад ударялось с другими.

И я вспоминаю об этом лице,
О складках, которые начали класться
На каждом заводе и в каждом сельце
У губ и у скул пробуждённого класса.

У губ и у скул, зажавших тоску,
Обиду и волю, и к жизни упрямство,

* *Николай Николаевич Асеев* (1889–1963) — русский советский поэт, переводчик, сценарист, деятель русского футуризма. Один из лидеров групп ЛЕФ (1923–1928) и РЕФ (1929–1930). Хорошо знал В. В. Маяковского и Б. Л. Пастернака. Лауреат Сталинской премии первой степени (1941).

У множества множеств, у губ и у скул
Татарских, мордовских, калужских, зырянских.

И если я вижу — растёт человек
В стране, что отбросила тяжесть апатии,
И двигает делом в его голове
Мечта воплощённая ленинской партии —

Я знаю, что, тем же нагревом лучась,
И ныне, за краем безмерной потери,
Он с нами действительно жив и сейчас —
Живым подтвержденьем движенья материи...

Э. БАГРИЦКИЙ*

Ленин с нами

По степям, где снега осели,
В черных дебрях,
В тяжелом шуме,
Провода над страной звенели:
«Нету Ленина,
Ленин умер».
Над землей,
В снеговом тумане,
Весть неслась,
Как весной воды;
До гранитного основания
Задрожали в тот день заводы.
Но рабочей стране неведом

* *Эдуард Георгиевич Багрицкий* (наст. фамилия Дзюбин, *Дзюбан*; 1895–1934) — русский советский поэт, переводчик, драматург, художник-график. Первые стихи напечатаны в 1913 и 1914 гг. в альманахе «Аккорды» (№ 1–2, под псевдонимом «Эдуард Д.»). С 1915 г. под псевдонимом «Эдуард Багрицкий», «Деси» и женской маской «Нина Воскресенская» начал публиковать в одесских литературных альманахах «Авто в облаках» (1915), «Серебряные трубы» (1915), в коллективном сборнике «Чудо в пустыне» (1917), в газете «Южная мысль» неоромантические стихи, отмеченные подражанием Н. Гумилёву, В. Маяковскому. Вскоре стал одной из самых заметных фигур в группе молодых одесских литераторов.

Скудный отдых
И лень глухая,
Труден путь.
Но идет к победам
Крепь, веселая, молодая...
Вольный труд закипает снова:
Тот кует,
Этот землю пашет;
Каждой мыслью
И каждым словом
Ленин врезался в сердце наше.
Неизбывен и вдохновенен
Дух приволья,
Труда и силы;
Сердце в лад повторяет: «Ленин».
Сердце кровь прогоняет в жилы.
И по жилам бежит волнами
Эта кровь и поет, играя:
«Братья, слушайте, Ленин с нами.
Стройся, армия трудовая!»
И гудит, как весною воды,
Гул, вскипающий неустанно...
«Ленин с нами», —
Поют заводы,
В скрипе балок,
Трансмиссий,
Кранов...
И летит,
И поет в тумане
Этот голос
От края к краю.
«Ленин с нами», —
Твердят крестьяне,
Землю тракторами взрывая...
Над полями и городами
Гул идет,
В темноту стекая:
«Братья, слушайте:
Ленин с нами!
Стройся, армия трудовая!»

П. БАЖОВ*

Солнечный камень**

Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому — на всяких языках про это записано. На что немцы самохвалы да завистники, и в тех нашлись люди, по совести сказали: так и так, в Ильменских горах камни со всего света.

Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтoб, значит, промышленников и хитников всяких по загривку, а сберечь эти горы для науки, на предбудущие времена.

Дело было простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики-горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную силу шла. Товарищу Сталину с фронта на фронт поспешать приходилось, а тут вдруг камешки выплыли. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.

Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно — с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивленье людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — глядеть страшно, нога медвежья, и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздражит, так только пригрозит:

— Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.

Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно

* *Павел Петрович Бажов* (1879–1950) — русский советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Получил известность как автор уральских сказов («Малахитовая шкатулка», «Хозяйка Медной горы» и др.; Сталинская премия второй степени, 1943). Депутат Верховного Совета СССР 2 и 3-го созывов.

** Из уральских «Сказов о Ленине» (1940-е).

и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть, и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему соловей.

Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не все, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало, и сам-друг пески перелопачивали, — свою долю искали. Случалось, и находили, да в карманах не залеживалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют все, как полагаются, и опять на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее.

Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили — и айда. Вахоня гудит:

— Пойдем, поглядим, в коем месте люди хорошо живут.

Садык веселенько шагает да посмеивается:

— Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам залотой писок сама рука липнет. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.

— У тебя, небось, ни один не задержится, — отшучивался Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо!

Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досьта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.

На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали.

Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за Советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:

— Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи старики, от лица Советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же, — говорит, — фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.

Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал — надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и все хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики — как быть? Сбегали в Миас, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются:

— Не до этого теперь, да и на то главки есть.

Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу — одна главка, по золотому — другая, по каменному —

третья. А как быть, коли на Ильменских горах все есть. Старики тогда и порешили.

— Подадимся до самого товарища Ленина. Он, небось, найдет время.

Стали собираться, только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.

Спорили, спорили, на том договорились: каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется.

Вахоня расправился насчет цирконов да фенакитов. В Кочкарь сбежал, спроворил там эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел и камень — все самоцвет. А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет:

— Хо-хо-хо. Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.

Садык на это в обиде.

— Глупый, — говорит, — ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню — наплевать.

Поехали в Москву. Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и в сердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Одним словом, беспокойство.

Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:

— Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва, поди-ко, а не Миас! Тут порядок требуется.

Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу.

Садык отвечает:

— Бачка Ленин желаим каминь казать.

Вахоня тут же гудит:

— Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.

Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают.

Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:

— Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.

Тут Вахоня, откуда и прить взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит.

Владимир Ильич и спрашивает:

— Куда эти камни идут?

Вахоня отвечает — для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:

— С этим погодить можно.

Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:

— Амазон-камень, калумбит-камень, лабрадор-камень...

Владимир Ильич удивился:

— У вас, смотрю, из разных стран камни.

— Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны камень сбежался. Каменный мозга-камень, и тот есть. В Еремеевской яме солнечный камень находили.

Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:

— Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему. Этого добра и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.

Садык слышит этот разговор и дальше старается:

— Потому, бачка Ленин, наш камень хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.

— Это, — говорит Владимир Ильич, — всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.

Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготвить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:

— Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали! Государственное! — И руки им, понимаешь, пожал.

Ну, те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами как росой покрылась, а Садык бородашкой трясет да приговаривает:

— Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!

Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.

Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.

С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.

Д. БЕДНЫЙ*

Никто не знал (1927)

Был день как день, простой, обычный,
Одетый в серенькую мглу.
Гремел сурово голос зычный
Городового на углу.
Гордяся блеском камилавки,
Служил в соборе протопоп.
И у дверей питейной лавки
Шумел с рассвета пьяный скоп.
На рынке лаялись торговки,
Жужжа, как мухи на меду.
Мещанки, зарясь на обновки,
Метались в ситцевом ряду.
На дверь присутственного места

* *Демьян Бедный* (наст. имя и фамилия — Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945) — советский поэт, писатель, публицист, революционный и общественный деятель. Член РСДРП(б) с 1912 г., в 1938 г. исключён из партии, восстановлен посмертно (1956).

После Февральской революции 1917-го стал активно сотрудничать с газетой «Известия», издававшейся с марта Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, а позднее с восстановленной «Правдой». По воспоминаниям Бонч-Бруевича, басни и фельетоны Демьяна очень нравились Ленину, который оценил их как «действительно пролетарское творчество». Ленин ещё с 1912 г. активно переписывался с поэтом, а в апреле 1917 лично познакомился с ним и неоднократно цитировал стихи Демьяна в своих выступлениях.

Личность Демьяна Бедного художественно осмыслена М. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита» (образ Ивана Бездомного).

Глядел мужик в немой тоске, —
Пред ним обрывок «манифеста»
Желтел на выцветшей доске.
На каланче кружил пожарный,
Как зверь, прикованный к кольцу,
И солдатня под мат угарный
Маршировала на плацу.
К реке вилась обозов лента.
Шли бурлаки в мучной пыли.
Куда-то рваного студента
Чины конвойные вели.
Какой-то выпивший фабричный
Кричал, кого-то разнося:
«Про-щай, студентик горемычный!»
.....
Никто не знал, Россия вся
Не знала, крест неся привычный,
Что в этот день, такой обычный,
В России... Ленин родился!

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ*

Партбилет № 224332

Весь мир грабастают рабочие ручищи,
Всю землю щупают — в руках чего-то нет...
— Скажи мне, Партия, скажи, чего ты ищешь?
И голос скорбный мне ответил:
— Партбилет...
Один лишь маленький... А сердце задрожало,
И в сердце вздрогнула последняя тропа.

* Александр Ильич Безыменский (1898–1973) — русский советский поэт, сценарист, редактор, журналист. В 1922 г. был одним из основателей литературных групп «Молодая гвардия» и «Октябрь». Участник РАПП (1923–1926), группы «Литфронт» (1930).

Со многими братьями по перу его связывали далеко не дружеские отношения; он был одним из самых яростных критиков М. Булгакова, существует версия, что Безыменский (напряду с Д. Бедным) был прототипом Ивана Бездомного в романе «Мастер и Маргарита». Ещё при жизни поэта про него была сочинена эпиграмма: «Волосы дыбом, зубы торчком, старый дурак с комсомольским значком».

Вчера я только лишь в руках его держала,
Но смерть ударила — и партбилет упал.
— Эй, пролетарии! Во все стучите двери!
Неужли нет его, и смерть уж так права?..
Один лишь маленький, один билет потерян,
А в теле Партии зияющий провал...
Я слушал Партию и боль ее почувял,
Но сталью мускулов наполнилась рука.
— Эй, слышишь, Партия? Тебе! Тебе кричу я!
Тебя приветствует рабочий от станка.
Пусть сердце сдавлено и боль неимоверна,
Тебе на помощь я пошлю миллионный вал.
Вал пролетариев под знаком Коминтерна
Заполнит в Партии зияющий провал.
А первый — я иду. Я — из Страны Советов!
Эй, слышишь, Партия?.. Даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы — сто тысяч партбилетов
Заменят Ленинский потерянный билет.

О Ленине

Наверняка у каждого из Вас
Бывают и раздумья, и сомненья
Как поступить вот в этот раз,
Как лучше выбрать верное решенье...

Есть в жизни много тропок и путей,
Страстей, препятствий, красоты и грязи.
Душе, уму и совести своей
Они становятся ясны не сразу.

При встрече с ними на пути моём
Один закон для сердца неизменен:
Чтоб выбрать путь, я думаю о том,
Как поступил бы, что сказал бы ЛЕНИН...

А. БЕК***На другой день****

<Фрагмент>

1

Произведя всякие розыски для этой книги, собирая разные свидетельства, то изустные, то счастливо найденные в давних бумагах, погружаясь в нее мыслью, перебирая в уме будущие главы, я порою испытывал сомнение: хватит ли сил поднять или, по нынешнему выражению, потянуть дело, которое сам на себя взвалил. Однако поддерживаю решимость достойными примерами.

Вот Горький. Высоченный, сутулый, худой — сквозь темную ткань пиджака заметны выступы лопаток, шея просечена извилами крупных морщин, — он шагает по настилу сцены к кафедре в зале Московского комитета партии. Это торжественный вечер в честь пятидесятилетия Ленина. Ряды сплошь заняты. Сидят даже на краю помоста, предназначенного для президиума и ораторов. С виду Горький угрюм, бритая, с шишкообразными неровностями голова наклонена, впалые глаза затенены насупленными кустистыми бровями. В зале тихо; Горький, ухватившись обеими руками за ободки кафедры, молчит. Лишь двинулись, проступили желваки. Потом шевельнулись обвислые моржовые его усы, окрашенные над губой многолетним, дегтярного тона осадком никотина. Усы шевелятся, будто он уже начал говорить, но голосовые связки, как можно понять, стиснуты спазмом волнения.

Горький прокашлялся. И приподнял голову. Стали видны большие на удивление его ноздри. Проглянула и синева глаз. Все еще хмурясь, он неловко подвигал костлявыми плечами и развел

* Александр Альфредович Бек (1903–1972) — русский советский писатель. Писал очерки и рецензии для газет «Комсомольская правда», «Известия». С 1931 г. сотрудничал в редакциях «История фабрик и заводов» и «Люди двух пятилеток», в созданном по инициативе М. Горького «Кабинете мемуаров». Самая известная повесть Бека «Волоколамское шоссе» (1942–1943).

** Роман Бека «На другой день» не мог быть напечатан при жизни автора. Наперекор цензуре и общественному застою писатель ещё в 60-е годы прошлого столетия взялся за объективное исследование сталинского феномена. Изучив огромное количество архивных материалов, проведя сотни бесед с вышедшими из лагерей ГУЛАГа участниками и свидетелями революционных событий, Бек создал проблемный роман о власти и харизме вождя.

длинные руки. Это был откровенный жест беспомощности. Хрипловатым басом, окая, он произнес первую фразу:

— Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом.

Досадливо крикнул. Возможно, его требовательное ухо литератора — крупное, грубовато вылепленное — отметило нескладность оборота «человеческим словом»: каким же, в самом деле, оно может быть иным? Впрочем, до стилистики ли Горькому сейчас? Года полтора назад, в сентябре 1918-го, он пришел к Ленину, который был тогда чуть ли не смертельно ранен двумя пулями, что почти в упор террористка всадила ему в шею и в грудь, пришел после длительных несогласий с Лениным и с того дня заново определил свое место во все ожесточавшейся борьбе, напрямую вопрошавшей «на чьей ты стороне?», решил: если стреляют в революцию, то я с ней, в ее рядах! Однако на большом политическом собрании Горький со времен Октябрьского переворота, кажется, лишь впервые выступал.

— Русская история, — глухо громыхал его бас, — к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот Христофор Колумб...

Приостановившись, Горький опять крикнул, махнул рукой — было видно, что он не находит выражений, недоволен, что его занесло к Колумбу, и, не развивая такого сравнения, явно скомкав мысль, заговорил, забухал дальше:

— Мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей...

Первая минута истекла, глуховатый, но уже без хрипоты голос стал внятней:

— Людей, которые будто играли как-то, Горький опять недоумевающе повертел плечами, будто говоря: «Тут черт ногу ломает», играли каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону.

И живым неожиданным жестом как бы крутнул перед собой невидимый глобус. И улыбнулся. Брови вскинулись, совсем ясно проступили синие, с какой-то озорнинкой глаза.

Пожалуй, эта улыбка, явственно выражавшая влюбленность в того, о ком шла речь, имела и еще некий оттенок. В ней точно читалось: «Знаю, товарищи, что рассуждаю не марксистски, но ведь вам известно, что я плохой марксист, уж не взыщите».

Снова прихмурясь, Горький продолжал:

— У нас в истории был, — тут он щелкнул пальцами, словно ища и не находя верного слова, щелкнул и поправил себя: Нет, я сказал бы, почти был: Петр Великий таким человеком для России.

Выдержал паузу, подумал и, подняв указательный палец, произнес:

— Вот таким человеком — только не для России, а для всего мира, для всей нашей планеты — является Владимир Ильич.

Далее Горький опять затруднился, опять вертел о воздухе пальцами, не то лоя, не то вылепливая на глазах у всех какую-то нужную фразу. И тут же признался:

— Нет, не найду, хотя и считаюсь художником, не найду слов, которые достаточно ярко очертили бы... Вновь он водил руками, поднимая их выше головы, как бы не в силах нечто схватить, объять. — Такую коренастую... Такую сильную... Такую огромную фигуру...

Опять слово ему не повиновалось. Он не сдержал слезу, потерявшуюся в крупной морщине, словно прокопанной от скулы к подбородку. И не стеснялся умиленности — той умиленности, какую в искусстве не потерпел бы: она под пером сладка.

А затем, месяц или два спустя, Горький попытался нарисовать Ленина штрихами писательского своего пера. Тот ранний вариант литературного портрета заканчивался такими строками: «Я снова пою славу священному безумству храбрых. Из них же Владимир Ленин — первый и самый безумный».

Это маленькое изящное произведение вызвало резкий отклик Ленина. Впрочем, гнев его был направлен не столько против автора — возобновив прежнюю дружбу, Ленин, наверное, лишь рассмеялся бы, сыронизировал бы насчет «самого безумного», сколько по адресу журнала «Коммунистический Интернационал», напечатавшего заметки Горького о Ленине. Не вынося малейшей неряшливости в области теории, Ленин, как только прочел эти посвященные ему страницы, тотчас же стремительной, будто наклоненной в беге искосью, по обыкновению без помарок, выделяя подчеркиванием отдельные слова или даже части слов, написал проект постановления Политбюро о том, что в высказываниях Горького, помещенных в «Коммунистическом Интернационале», «не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического».

Однако, чтобы не впасть в грех упрощения и односторонности — быть может, самый опасный для задуманного нами труда. — дадим еще коротенькую справку. Это выдержка из письма Надежды Константиновны Крупской, посланного Горькому: «... Ильич в последний месяц жизни отыскал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал».

Так-то, друг-читатель. Не проста, не выведена прямыми линиями история, которую нам предстоит воспроизвести. Что же, к делу!

2

Вернемся в зал Московского комитета партии, — зал, что звался красным, ибо его стены были выкрашены темно-вишневым колером, — на заседание, посвященное пятидесятилетию Ленина.

Пусть эта зарубка, этот вечер 23 апреля 1920 года так и послужит началом нашей хроники.

Юбилей происходил без юбиляра, Владимир Ильич не захотел выслушивать поздравительных речей, отверг все уговоры, назвал затею никчемушной. Передавали, что, высмеивая назначенное чествование, он обратился к самому себе по Чехову: «Глубокоуважаемый шкаф!» — и сказал, что ни за какие коврижки его не заманят сыграть эту глупейшую, да и попросту непристойную роль.

Тем не менее на вечере разнесся и другого рода слух, исходивший не то от Надежды Константиновны — вон она, очень худая, с приметной родинкой справа на лбу, с непривычным для ее щек румянцем сидит в седьмом или восьмом ряду, — не то от светловолосого Бухарина, поворачивающего туда-сюда лысеющую голову, мальчишески непоседливого даже и тут, за столом президиума, слух, что все-таки в какой-то мере удалось уломать Ленина: он здесь появится, правда, лишь после того, как отговорят ораторы.

Докладчиком выступил Лев Борисович Каменев, тогдашний председатель Московского Совета или, как в шутку говорили, лорд-мэр Москвы. В этой шутке содержалось что-то меткое. Он, член Политбюро Российской Коммунистической партии, что вершила самую решительную в мировой истории революцию — революцию всех обездоленных против всех угнетателей, — впрямь являл в своем облике, в повадке некую напоминавшую о диккенсовской Англии респектабельность. Спокойные плавные жесты подошли бы представителю безукоризненно солидного, устойчивого дела. Осанку подчеркивал красивый постав головы, которую увенчивала русая, с отливом золота густая шевелюра, уже на висках с проседью. Линии столь же золотистых, с рыжей окаемкой, бородки и усов были мягки. Спокойно двигались белые породистые руки. Мягкость, природное добродушие сквозили и в выражении голубых, выпуклых в меру глаз, взиравших сквозь пенсене. Военного образца коричневая куртка, именованная френчем, на нем как-то не замечалась, обмявшимися складками свободно облегла кругловатые плечи, плотную, склонную, как говорится, к полноте, но отнюдь еще не располневшую фигуру. Каменев не обладал

даром сильной самостоятельной мысли, и, вероятно, поэтому он, несмотря на эрудицию, юмор, острый, быстро схватывающий ум, ораторскую и литературную талантливость, оставался все же несколько безличным, бесцветным. Вместе с тем он обладал редкой способностью резюмировать, подводить итог высказываниям, формулировать сложившееся мнение, не впадая в крайности, в пристрастия. И сплошь и рядом превосходно исполнял роль председателя или докладчика.

Ушли, казалось, в дымку времена, дни семнадцатого года, когда он — в апреле и затем в октябре — схватывался с Лениным, получая в ответ нещадно разящие удары. Мысль, воля, неприимимость Ильича сгибали Льва Борисовича. Со склоненной повинной головой он возвращался к Ленину. И теперь эпически спокойно, основательно, в духе своих лучших резюме произносил вступительный доклад к чествованию Ленина:

— Человек величайшего ума, величайшей воли, величайшего напряжения и величайшей прозорливости. Я не хочу употреблять здесь, в родной семье борцов коммунистов, слов слишком широко-вещательных и слишком больших, но если все это сжать в одно-два слова, то это слово было бы, конечно, гениальная способность Владимира Ильича.

Фразы несколько шаблонны, уже стерты в обиходе, но пробивается живая теплота:

— Человек, который неоднократно оставался один, человек, который неоднократно объявлялся сектантом, раскольником, который неоднократно видел, что он как будто оказывается в стороне от широкой исторической дороги. И вдруг выяснялось, что эта широкая историческая дорога пролетариата лежит там, где стоит Ленин.

Что-то личное, не свойственное стилю Каменева, еще заметней возникает в его речи:

— Я не знаю случая, чтобы Ленин задумался над расколом с самым близким своим другом, с самой могущественной организацией, если он был уверен, что они отступили от теории пролетарского социализма.

Перейдя к прежнему эпическому изложению, Каменев выделяет самые дорогие Ленину, заветнейшие мысли:

— Русский пролетариат принужден был ходом истории России поставить вопрос о власти и государстве. Первые образцы революционного решения вопроса о власти были даны Владимиром Ильичем.

Сейчас ни одной интонацией Лев Борисович не показывает, что в свое время и он отвергал эти идеи Ленина. Да, было и бы-

льем поросло. Зато потом он, ничуть не поступаясь солидностью, заново крестился, так сказать, в ленинской купели, стал как бы ревнителем ленинской теории государства.

— Когда Владимир Ильич сказал, что трудящиеся низы сами должны управлять государством, это было в истории человечества действительно новым словом, Ленин создал эту новую теорию, конечно, опираясь на гениальное предвидение Маркса, извлек его и разработал в целую систему, воплотил в ежедневную практику управления. Вот это абсолютное доверие, эта абсолютная уверенность, что каждый чернорабочий может взяться за государственное строительство, вот это и спасает наше дело.

3

Вслед за Каменевым говорил Горький.

Среди слушателей находился Алексей Платонович Кауров, прибывший с Юго-Западного фронта делегатом Девятого партийного съезда, задержавшийся в Москве из-за болезни — он на пути в столицу подхватил еще гулявшую по стране жестокую хворь, что звалась испанкой, ходил, температура, на съезд и был вдобавок наказан воспалением легких. Лишь вчера выпущенный врачами на волю, он пристроился тут вместе с другими, кому не досталось места в зале, прямо на половицах сцены близ добротной сработанной трибуны, которая — дитя революции — не блистала лаком, была промалевана немудрящей морилкой. В том же углу расположились и стенографистки, порой недовольно шикавшие на теснившихся и к их столику безместных сидельцев. Доставалось и Каурову, иногда ворочавшемуся или по живости натуры общавшемуся шепотком с соседями. Уловив идущее от столика «тс-с-с», он всякий раз картинно зажимал кулаком рот, потом просил извинения улыбкой, что выказывала чуть обозначившиеся ямочки на осунувшихся в дни болезни щеках, где, правда, уже пробивался свежий румянец, характерный для Каурова, словно добавлявший мазок наивности серьезным чертам.

Ему здесь не привелось сбросить с плеч шинель — опоздав, он пренебрег раздевалкой, прошел напрямик, благо тут, в Московском комитете, как, впрочем, в те годы и повсюду, не было на сей счет строгостей. Примостившись на дощатом настиле, он снял изрядно мятую военную фуражку, обнажив небольшую лысинку, образовавшуюся на самой макушке розовый правильный кружок среди льняных тонких волос. Белесый короткий зачес странно сочетался с густо-черными, точно нанесенными углем, бровями.

Так перемешались, перепутались в нем черты отца, русского полковника, и грузинки матери.

Время от времени Кауров наскоро фиксировал в записной книжке некоторые, на его взгляд, чем-либо знаменательные, сказанные с трибуны слова. Сегодняшняя его карандашная скоропись, подчас едва разборчивая, где зачастую окончания слов отсутствовали, не залежится, пойдет в дело, будет прочтена вслух сотоварищам-политотдельцам; понадобится, наверное, и для его докладов на партсобраниях в частях армии, с которой он делил и невзгоды отступления и победный путь на берега Черного моря, — завтра-послезавтра он снова укатит туда.

Придется, должно быть, и во фронтовую газету дать отчет о вечере, что называется, по личным впечатлениям. Однако это-то для него, сотрудничавшего еще в дореволюционной «Правде», разлюбозное занятие: он охотно посидит над статьей за полночь, были бы бумага, карандаш и табак!

Как и притихшую аудиторию, Каурова растрогала нескладница горьковской речи, признание: слов не нахожу, не понимаю, совершенно нечто чудесное, необъяснимое совершенно Лениным, редчайшим в истории человеком, которому под силу чудеса.

Опять черкнув в записную книжку строку-другую, Алексей Платонович (или, коротко, Платоныч, как в товарищеском кругу прозвали его) посматривал на Горького.

Нечто чудесное... Да, возглавляемая большевиками революция отстояла, утвердила себя в вооруженной борьбе. Поле сражения в бывшей Российской империи — еще только в ней одной! — осталось за нами, за невиданным новым государством, новым обществом. Вот заполненные сплошь ряды. Гражданская война наложила свой отпечаток на одежду. Штатских пиджаков немного. Галстуков — один, два, и обчелся. Там и сям кожаные куртки. И суконные, с накладными карманами френчи. Несколько красных косынок, повязанных вокруг женских голов, единственные яркие вкрапления. Еще не минуло и трех лет с тех пор, как Ленин вынужден был скрываться в шалаше, а ныне...

Нечто объяснимое... Нет, не по его велению произошла Октябрьская революция. История была ею беременна. Ленин это угадал, постиг. Если не танцевать от такой печки, конечно, ничего не уяснишь... Платоныч не раз в таком духе излагал закономерность Октября в своих лекциях в армейской политшколе — он, нагруженный еще многими обязанностями, все-таки урывал время, чтобы вести там занятия.

...Место на трибуне уже занял Ольминский, давний последователь Владимира Ильича, один из старейших в этом зале. Нежно-

розовая, не тронутая морщинами кожа усугубляла моложавость его лица, охваченного седой, без единого темного волоска, густой шевелюрой и вольно разросшейся столь же белой бородой.

Он, когда-то подписывавший свои статьи в большевистских газетах броским псевдонимом Галерка, теперь шутливой ноткой развевал торжественную серьезность собрания:

— Приглашение высказаться было, товарищи, для меня нечаянным, и первым чувством у меня был страх.

Шутка дошла — дошла, наверное, потому, что в ней содержалась и правда. Стенографистка условной закорючкой обозначила: смех. Вместе с другими засмеялся и Кауров.

А седовласый ветеран партии, участник множества политических драк, неизменно воевавший на стороне, как говорилось, твердокаменного большевизма, теперь, улыбаясь почти детской голубизны глазами, продолжал:

— У Владимира Ильича есть хорошие словечки. Например, хлюпкий интеллигент. Все мы, интеллигенты, действительно хлюпики, кроме товарища Ленина и некоторых других.

Каурову в тот миг подумалось: переборщил! Себя Платоныч к хлюпикам не причислял.

Тем временем оратор, отрекомендовавшийся — в шутку ли, всерьез ли? интеллигентом хлюпиком, проделал то, о чем позабыли и председатель, и докладчик, и все, кто уже выступил.

— Тут говорили, — произнес Ольминский, — что Ленин великий организатор. Я, товарищи, внесу добавление. Да, Ленин великий организатор с помощью Надежды Константиновны, своего самого...

Загремевшие отовсюду хлопки прервали речь. Все, не жалея ладоней, аплодировали. Слышались возгласы: «Надежду Константиновну в президиум!», «Надежда Константиновна, встаньте, покажитесь!» Но она, опустив голову — Кауров со сцены мог видеть ее темно-русые волосы, разделенные неглубокой бороздкой пробора, не очень приглаженные и сегодня, заметил и запылавшие, не совсем скрытые прической, ее уши, — она, опустив голову, по-прежнему сидела в седьмом или восьмом ряду. Поверх белой свежей блузки был, одет обыденный, что и на работе служил Крупской, темный, в полоску сарафан. На коленях лежали нервно сцепленные руки, давненько утратившие молодую плавность очертаний: уже пролегли выпуклости вен, угловато выдавались косточки у основания худощавых, не помилованных морщинками пальцев.

Наперекор шуму Ольминский пытался сказать что-то еще о жене Ленина:

— Самый близкий, самый верный ему человек...

Какие-то фразы пропадали в гуле. Выразительно взглянув на председателя, стенографистка держала над тетрадью замершее, бездействующее сейчас перо. Кауров все же улавливал:

— Исключительное свойство Ленина: готов остаться хоть один против всех во имя... Нет, он и тогда не один: с ним в самые-самые трудные минуты Надежда Константиновна...

Она так и не поднялась: переждала, пересидела овацию.

Платоныч вновь на нее поглядывал. Судьба в некотором роде обделила его. Ему уже тридцать два года, но женщины — друга он доселе не обрел. Бывали, конечно, увлечения, но любви, такой, в которой сплелись бы, сплелись два существа, ему знать не привелось. Кауров привык к этой своей доле, что в мыслях как-то связывалась с мытарствами революционера, с профессией, которой он себя отдал. Но понимал: у каждого это решается особо, не выищешь рецепта. И почти не задумывался о незадаче.

Выступил на вечере и Луначарский, один из одареннейших людей ушедшего в историю времени, которое является и временем действия нашей драмы или, что, быть может, пока более подойдет, репортажа в лицах.

Пленительная легкость речи, будто самопроизвольно льющейся, сочность, сочетавшаяся с афористичностью, редкая щедрость ассоциаций, экскурсов в далекое и близкое прошлое, меткость наблюдений, необыкновенный талант характеристики, способность несколькими живыми штрихами дать почти художественный словесный портрет — таков бывал на трибуне божьей милостью народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.

Воевавшая революция посылала его, превосходнейшего агитатора, и на фронты. Памятью об этом явились кадры кинохроники, изображавшие Анатолия Васильевича в красноармейской гимнастерке и грубых военных сапогах близ бронепоезда. И все же вопреки всяческим превратностям тех стремительных годов Луначарский почти непостижимым способом сохранил давнюю холеность небольших усов и бородки, что на французский лад звалась «буланже». «Старый парижанин» — так иной раз под веселую руку он был не прочь рекомендовать себя.

На мясистом и вместе с тем тонко пролепленном носу прочно угнездились пенсне в роговой темной оправе — так сказать, чеховское, хоть и без шнура, но с предназначенным для него выступающим колечком. Эти черточки как бы олицетворяли интеллигентность; может быть, даже чуточку богемную, вольно-литераторскую.

Однако довольно писаний! Заглянем в записную книжку Алексея Платоновича, где он, если снова воспользоваться выражением позднейших времен, «взял на карандаш» и кое-что из посвященной Ленину речи Луначарского.

...Редко когда земля носила на себе такого идеалиста.

...Откуда этот неудержимый поток энергии? Почему эта суровая расправа с врагами? Только потому, что это нужно для реализации высоких идеалов.

...Непреклонность Ленина.

...Знать, чего хочет противник, проникнуть в тайники его души, прищуренным глазом рассмотреть, что он скрывает за своим словом, пронизательно его поймать — таков Ильич.

<...>

О. БЕРГГОЛЬЦ*

Первый день (1941)

...И вновь Литейный — зона
фронтная.

Идут войска, идут — в который раз! —
туда, где Ленин, руку простирая,
на грозный подвиг призывает нас.

Они идут, колонна за колонной,
еще в гражданском, тащат узелки...

Невидимые красные знамена
сопровождают красные полки.

* *Ольга Фёдоровна Берггольц* (1910–1975) — русская советская поэтесса, прозаик и драматург, военный журналист. В 1934 г. принята в Союз писателей СССР, откуда была исключена 16 мая 1937 г. Вновь восстановлена в июле 1938, затем в связи с арестом снова исключена. Первый муж, поэт Борис Корнилов, был расстрелян 21 февраля 1938 г. в Ленинграде. В 1938 г. репрессирована по делу «Литературной группы», реабилитирована в 1939 г. В феврале 1940 г вступила в ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны оставалась в осаждённом Ленинграде. С августа 1941 г. работала на радио, читала стихи, выступала перед публикой в театрах, в своих стихах и речах ежедневно обращалась к мужеству жителей города. Автор крылатой фразы, ставшей лозунгом, высеченным на Мемориальной стене Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто». Завещала быть похороненной на Пискаревском кладбище (был получен запрет Горкома). Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1994, посмертно).

Так шли в Семнадцатом —
к тому ж вокзалу,
в предчувствии страданий и побед.
Так вновь идут.
И блещет с пьедестала
неукротимый Ленинский завет.

В. БИЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ*

Октябрь в Москве**

<Фрагмент>

Январь 1918 года. В числе депутатов Московского Совета я был делегирован на III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Подавляющее большинство на этом съезде составляли члены партии большевиков. Еще не отзвучало эхо Октябрьских боев. Еще свежо дыхание Революции. На лицах участников великих событий еще видны следы переживаний. Рабочие, солдаты, матросы, интеллигенты. Зал переполнен. Но Ленина в президиуме не видно.

На трибуне съезда товарищ Свердлов. Своим зычным, металлическим голосом, держа в руках «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», он провозглашает первый ее пункт:

— Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит Советам...

Короткая пауза... Потом словно взрыв! Задрожали стены, люстры, воздух. Оглушительный крик: «Ура!..» то был взрыв восторга победившего класса! Это был вздох веков! Это был ураган чувств! Казалось, ему не будет конца...

И вдруг чей-то мощный голос, как звук трубы, прорвал этот шум:

— Да здравствует Ленин!

— Ленин! Ленин! Ленин! — дружно подхватили голоса.

* *Владимир Наумович Биль-Белоцерковский* (наст. фамилия — Белоцерковский; 1885–1970) — русский советский писатель, драматург. Автор многих пьес пропагандистского характера, среди которых «Шторм» (1926; значительно переработана в 1935), вошедшая в классический репертуар советских театров. Писал рассказы.

** *Биль-Белоцерковский В.* Избранные произведения. М.: Гослитиздат, 1962. С. 273–274.

Из задних рядов президиума незаметно вышел невысокий, коренастый человек с характерной головой и большим лбом. Необычайно просто, серьезно, без улыбки, держа руки в карманах, он неловко поклонился раз, другой и, мягко картавя, сказал, что выступит, когда до него дойдет очередь. Сказал и снова скрылся.

Кто хоть раз видел этого человека, тот навсегда запомнит его. Печать дела, дела Революции — первой в истории мира, — лежала на нем. Об этом говорили его глаза, его жесты, каждая морщинка на лице. Об этом говорил весь его облик.

Разумеется, это был Ленин.

<...>

В. БОНЧ-БРУЕВИЧ*

Общество чистых тарелок

Все расселись вокруг стола на террасе. За столом было трое детей: две девочки и мальчик. Они подвязали салфетки и тихо сидели, ожидая, когда им подадут суп. Владимир Ильич посматривал на них и тихонько разговаривал. Вот подали суп. Дети ели плохо, почти весь суп остался в тарелках. Владимир Ильич посмотрел неодобрительно, но ничего не сказал. Подали второе. Та же история — опять многое осталось на тарелках.

— А вы состоите членами общества чистых тарелок? — громко спросил Владимир Ильич, обращаясь к девочке Наде, сидевшей рядом с ним.

— Нет, — тихонько ответила она и растерянно посмотрела на других детей.

— А ты?.. А ты? — обратился он к мальчику и девочке.

— Нет, мы не состоим! — ответили дети.

* *Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955)* — общественный деятель, литературовед, историк, этнограф, доктор исторических наук. Знаком с Лениным с конца 1890-х, работал в «Искре», ряде революционных изданий. Ближайший помощник и фактический секретарь Ленина. Первые воспоминания о Ленине «Нападение бандитов на Ленина в 1919 году» (1925), затем ежегодно (до середины 1930-х) издавались различные произведения, посвященные Ильичу. В 1928 г. в предисловии к своим воспоминаниям он писал: «А что может быть “главнее” в нашей более или менее мирной теперь обстановке, когда есть возможность отдать некоторые часы на литературную работу, как не написание о нём, о Владимире Ильиче». Знаменит рассказами «Ленин и дети».

- Как же это вы? Почему так запоздали?
- Мы не знали... мы ничего не знали об этом обществе! — то-ропясь, говорили дети.
- Напрасно... Это очень жаль! Оно давно уже существует.
- А мы не знали! — разочарованно сказала Надя.
- Впрочем, вы не годитесь для этого общества... Вас всё равно не примут, — серьёзно сказал Владимир Ильич.
- Почему?.. Почему не примут? — наперебой спрашивали дети.
- Как «почему»? А какие у вас тарелки? Посмотрите! Как же вас могут принять, когда вы на тарелках всё оставляете!
- Мы сейчас доедим!
- И дети стали доедать всё, что у них осталось на тарелках.
- Ну разве, что вы исправитесь, тогда попробовать можно... Там и значки выдают тем, у кого тарелки всегда чистые, — продолжал Владимир Ильич.
- И значки!.. А какие значки? — расспрашивали дети.
- А как же поступить туда?
- Надо подать заявление.
- А кому?
- Мне.

Дети попросили разрешения встать из-за стола и побежали писать заявление.

Через некоторое время они вернулись на террасу и торжественно вручили бумагу Владимиру Ильичу.

Владимир Ильич прочел, поправил три ошибки и надписал в углу: «Надо принять».

На ёлке в школе

— Хотите, Владимир Дмитриевич, участвовать в детском празднике? — спросил меня Владимир Ильич.

— Хочу, — говорю.

— Ну так вот, доставайте где хотите пряников, конфет, хлеба, хлопушек, игрушек, и поедем завтра к вечеру в школу Надю навестить. Устроим детишкам праздник, а на расходы вот вам деньги.

Девятнадцатый год был трудным, голодным и холодным. Шла гражданская война, все, что могло, правительство отправляло на фронт. В городах продуктов было мало. Кое-как купили мы вкладчину все, что нашли для детишек, и отправили в школу, чтобы детвора вместе с учительницами приготовила елку.

На следующий день, как и было условлено, Владимир Ильич приехал в школу. В этой школе, в Сокольниках, тогда отдыхала Надежда Константиновна. Владимира Ильича уже ждали, и, когда он вместе с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной сошел вниз, в комнату, где была устроена елка, детишки сразу окружили его.

— Во что мы будем играть? — спросила Владимира Ильича маленькая девочка. — Давайте скорее!.. Ну, во что же?

— Сейчас давайте водить хоровод вокруг елки, — предложил Владимир Ильич. — Петь будем, а потом в кошки-мышки...

— Согласны, согласны! — хлопая в ладоши, закричала девочка, и все другие хором за ней.

— Согласны? Ну так что же, за чем дело стало?.. Давай руку!.. Ну, живей, присоединяйтесь!

И мигом образовался большой круг детей и взрослых. Владимир Ильич пошел вокруг елки, и все за ним.

— Ну, запевай! Что ж ты?.. — обратился Владимир Ильич к той девочке, которая предложила играть, и та запела.

Все подхватили песню про елку и закружились вокруг нее. Владимир Ильич пел во весь голос.

В это время елка вдруг вспыхнула разноцветными огнями. Это монтер школы устроил. Он раздобыл маленькие электрические лампочки и накануне, поздно вечером, когда все спали, провел искусно шнур и вплел лампочки в ветви елки. Ликованию и радости детей не было конца.

Владимир Ильич от всей души веселился и пел вместе с ними.

Дети забрасывали его вопросами, и он каждому успевал ответить. Он и сам задавал им вопросы, загадывал загадки, и только приходилось удивляться, откуда это он все знает, все помнит. Дружный смех и шутки звучали вокруг елки.

— Ну, а теперь в кошки-мышки!.. Что же вы? Забыли? — подзадоривал детишек Владимир Ильич.

И снова образовался круг, и снова Владимир Ильич среди детей... Играет он с увлечением, не пропуская кота, защищая мышь. Ребята в восторге.

После игры завязалась беседа. Дети говорили с ним просто, и не чувствовалось никакого стеснения. Он уже был для них своим человеком. Они отбили его от взрослых, потащили с собой пить чай и наперебой угощали, накладывали ему варенья и решительно все хотели что-нибудь для него сделать.

А он колол для них грецкие орехи, наливал в блюдечки чай из горячих стаканов, подкладывал сладостей и ласково следил за всеми, точно все они были его семьей.

Владимир Ильич очень любил детей, и детишки это чувствовали. Он быстро узнал их имена, и надо было удивляться, как он только не путал их. С детьми ничего нельзя было поделаться, они совсем завладели Владимиром Ильичем.

После чая дети повели его в другие комнаты, заявив, что у них там есть секрет. Дети привели его в живой уголок, показали галку с подбитым крылом, воробья, потерявшего полхвоста в битве с кошкой, ужа, маленького ежика и лягушку. Потом принесли рисунки, свой журнал.

Владимир Ильич углубился в их дела, да так, как будто бы он всю жизнь только и делал, что занимался со школьниками. Наконец детям роздали подарки, и мы должны были уезжать. Провожая нас, они просили приезжать к ним еще и еще. Владимир Ильич тепло простился со своими маленькими друзьями. Праздник получился чудесный, и дети после него писали Владимиру Ильичу письма, а он, хотя был очень занят, всегда отвечал им.

Владимир Ильич на субботнике

Первое мая 1920 года.

Брошенный большевистской партией клич организовать вместо демонстрации Всероссийский субботник был горячо принят трудящимися. С самого раннего утра по городу с революционными песнями на субботник двинулись колонны московских рабочих и служащих.

В этот день в Кремле рано началась жизнь.

Сотрудники, явившиеся на субботник, объединялись в группы, отряды, колонны и уходили в назначенные места.

Красноармейцы Кремля не могли оставить свою службу. Поэтому и было решено, что субботник они проведут в Кремле, где также было много работы.

Кремлёвская воинская часть выстроилась на площади, против казарм.

Около девяти часов утра Владимир Ильич вышел на площадь, подошёл к командиру, по-военному отдал честь и сказал:

— Товарищ командир, разрешите мне присоединиться к вашей части для участия в субботнике.

Произошло секундное замешательство, после чего командир ответил:

— Пожалуйста! Станьте, Владимир Ильич, на правый фланг!

Владимир Ильич быстро прошёл к правому флангу и встал в шеренгу. Гул одобрения пронёсся по рядам красноармейцев. Они были счастливы, что Владимир Ильич вместе с ними.

Под звуки оркестра часть направилась к месту работы. Надо было очистить кремлёвскую площадь от огромных беспорядочных груд досок, брёвен, камней, перенести всё это довольно далеко и сложить по сортам: доски к доскам, брёвна к брёвнам, тёс к тёсу.

Все дружно принялись за дело. Владимир Ильич с увлечением работал, отдыхая лишь вместе со всеми, когда наступал пятиминутный перерыв «покурить». В эти пять минут Владимир Ильич был в центре внимания. Он шутил, смеялся, расспрашивал, рассказывал и вообще чувствовал себя великолепно.

По всей Москве пронеслась весть, что Владимир Ильич тоже участвует в субботнике. Везде с восторгом было встречено это радостное известие.

Л. БОРОДИН*

Без выбора**

(Автобиографическое повествование)

<Фрагмент>

<...>

Существеннейшим моментом нашего идеологического состояния было понимание социалистической идеи в целом как идеи не просто антихристианской, но именно антихристовой. Построение Царства Божьего на земле, царства всеобщей справедливости, где всяк равен всякому во всех аспектах бытия, — именно это обещано антихристом. Цена этому осуществлению — Конец Света, то есть всеобщая гибель.

* *Леонид Иванович Бородин (1938–2011)* — русский писатель, поэт и прозаик, публицист. В 1965 г. вступил в образовавшуюся в Ленинграде подпольную антисоветскую организацию «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» (ВСХСОН), программа которой, по словам Бородина, заключалась в трёх основных лозунгах — христианизация политики, христианизация экономики и христианизация культуры. В начале 1967 г. организация была раскрыта КГБ по доносу, её участники были арестованы. В заключении начал писать стихи, после освобождения обратился к прозе. Автор повести «Третья правда», «Ловушка для Адама», романа «Царица Смуты» и др.

** Автобиографическое повествование создавалось в начале 2000-х.

Хилиастическая ересь потому и была отвергнута и осуждена христианством, что как бы содержала в себе формулу гибели человечества через соблазн внебожьего преодоления несовершенства человека и всего им творимого.

Спекулируя на естественном, всеми мировыми религиями благословленном стремлении человека к улучшению бытия посредством нравственного совершенствования, просто и четко сформулированного в заповедях, хилиастический социализм освобождал человека от тяжелого морального напряжения и выносил причину мировых бед, бедствий и страданий вовне, в структуру бытия, каковую надо было просто «переделать» соответствующим образом, чтобы сама по себе «заработала» модель всемирного счастья.

В том был главный обман, и поскольку обман постепенно принял почти религиозную форму, то естественно было авторство этого обмана «заперсонифицировать» на антихристе. На дьяволе.

В этом смысле любопытным представляется текст гимна ленинградского Социал-христианского союза, о котором здесь столько уже говорилось. Слова и музыку гимна сочинил политзаключенный питерского следственного изолятора Иван Овчинников, никакого отношения к данной подпольной организации не имевший, но пребывавший какое-то время под большим впечатлением от самого факта возникновения организации и ее программы, представление о которой получил от своих сокамерников, членов ВСХСОН.

Текст гимна построен по принципу молитвы о даровании права на оружие в борьбе именно с сатанинскими силами, замаскировавшимися под идеи всемирного коммунистического жизнеустройства, в христианском же понимании — разрушения бытия.

Приведу две последние строфы гимна:

Боже! По силе Закона
Дай ему главы отсечь!
Дай нам повергнуть дракона!
Боже! Вложи в руки меч!

И свершилось! Знак Господнего волеизъявления получен:

На алтаре в древнем храме
Вспыхнули тысячи свеч.
Бейте в набат, христиане!
С нами Божественный меч!

Под мощным и, должен признать, достаточно талантливо исполненным воздействием следственного аппарата питерского КГБ мы признали себя виновными, однако же по-разному пони-

мая и толкуя саму виновность. Но собранная в кучу на этапе, что длился несколько месяцев, физически и морально разгромленная организация на короткое время как бы снова обрела дыхание подвига. Гимн, сочиненный совершенно посторонним человеком, был разучен и имел впечатляющее исполнение в этапном купе-камере, куда втиснули всех четырнадцать. (Руководители организации, осужденные по статье 64-й — «...а равно заговор с целью захвата власти», этапировались отдельно.)

* * *

Особо запомнился эпизод в пересылочной тюрьме городка под названием Потьма.

Двухэтажное здание тюрьмы было битком набито уголовниками всех мастей — от воров в законе всесоюзного масштаба до московских и питерских проституток. Последних и в шестидесятых было немало, но тогда их сажали за... тунеядство. Однако слово «уголовник» мы не употребляли, говорили корректно — «бытовик»...

В соответствии с ведомственной инструкцией в те времена политических с «бытовиками» уже в одну камеру не сажали. И поначалу начальство тюрьмы готово было блюсти инструкцию. Нас завели в камеру площадью метров двадцать, от противоположной стены на две трети оборудованную сплошным деревянным настилом высотой около полуметра. После поездной тесноты мы привольно устроились на полатах со всем своим этапным скарбом. Однако ж не прошло и пары часов, как сюда же запустили не менее двух десятков «бытовиков», агрессивная настроенность которых не обещала ничего хорошего и если до поры до времени открыто не проявлялась, то исключительно по причине того, что они никак не могли «просечь» наши «понятия». Мы же уловили их переговоры с «бытовиками» соседних камер на предмет «ошмонания фраеров» — попросту грабежа — и изготовились к сопротивлению.

Но тут вдруг обнаружилось, что один наш товарищ болен. Выпускник экономического факультета ЛГУ, преподаватель Томского университета Владимир Веретенев. Температура... Буквально на глазах лицо его опухало и багровело. Учащалось дыхание... Крепкий физически и мужественный по природе, Веретенев от нашей тревоги отмахивался, состояние списывал на обычную простуду. Самым компетентным в медицинской теме из нашей компании был ныне покойный Юрий Баранов, инженер по медицинской аппаратуре. Его предположение, высказанное, естественно, шепотом, потрясло нас. Рожь! Про такую болезнь мы слыхивали... Что-то страшное и заразное...

Появившийся после долгого стучания в дверь надзиратель сообщил, что нынче пятница, врач будет в понедельник. Чего? Помрет? Ну и хрен с ним. Закопаем. Кладбище рядом, за путями...

Один из «бытовиков», все еще не определившихся относительно наших «понятий», «смастрячил чифирок» — лучшее средство, по убеждению «бытовиков», от всех болезней. Больной выпил и, вопреки «чифировому» назначению, почти сразу уснул, что нами было принято за добрый знак.

Но к утру состояние больного ухудшилось. Говорил с трудом, странные красные пятна проступили на шее, в дыхании прослушивалась хрипота. Новые переговоры с надзирателем ни к чему не привели. И тогда мы объявили голодовку, о чем письменно уведомили начальство пересылочной тюрьмы.

...А тюрьма поутру гудела... Межкоконная переключка, визги из женских камер, крики надзирателей в коридоре... «Бытовички», которым мы так и не уступили наши «спальные места», галдели кто во что горазд. Мат и «блат», словно материализуясь, сотворяли из клубов махорочного дыма мерзких шевелящихся призраков под прокопченным потолком. К тому же вонь от полукубовой жестяной параши в углу...

И, как-то не сговариваясь, мы запели. Сначала тихо, как бы для себя... За два месяца мотания в этапных поездах, в пересылочных тюрьмах Горького и Рузаевки — мы за это время очень даже неплохо спелись. Сложился репертуар... Лучше прочего у нас получался «Варяг», но не тот, популярный, мажорно бравурный, а другой — «Плещут холодные волны». Страстный поклонник коллективного (не путать с хоровым, где все очень правильно) пения, и по сей день я помню по голосам каждого из моих соратников: глуховатый баритон Юрия Баранова, о котором уже упоминал; звонкий, хотя и не без «петушка» — стихотворца нашего Михаила Коносова; тихие, но вполне слухом удостоверенные голоса инженера, специалиста по драгам Александра Миклошевича и автоинженера Юрия Бузина; торжествующий на патетических нотах, по тембру неопределимый, с четким произносом слов голос моего давнего друга Владимира Ивойлова, выпускника ЛГУ, преподавателя Томского университета; негромкий, но звонкий тенорек Вячеслава Платонова, востоковеда, преподавателя ЛГУ. А вот Валерия Нагорного, инженера, кажется, электронщика, и Николая Иванова, преподавателя ЛГУ, больше помню вдохновенностью их лиц в процессе нашего коллективного песенного общения...

Этот кусок текста кому-то может показаться лишним: имена неизвестные, в дальнейшем никак не проявившиеся...

Но, во-первых, три четверти ныне проявившихся имен век бы не слышать... А во-вторых, и в главном — мне хочется, мне приятно произносить имена моих бывших друзей по счастью и несчастью... К тому же из тех четырнадцати пятеро — кто давно, кто недавно — уже ушли из жизни...

Итак, мы пели, «бытовики» галдели, и вся тюрьма содрогалась от утреннего гвалта. Коллективное пение — это ведь своеобразная форма медитации, и, увлекшись, мы не заметили, как возрастала громкость наших голосов, как сначала притихли и перестали елозить по камере «бытовики», потом соседние камеры будто вымерли. Но тогда и надзиратели обратили внимание на неслыханное нарушение режима. Заскрежетал замок, и некто, для нас безликий, крикнул: «А ну прекратите! Кому говорю! Прекратите!» Пели лежа, но с окриком приподнялись. Что пели именно в этот момент, не помню. Помню, что пели хорошо. По моему вкусу, хорошо петь — это непременно двухголосие. Солировать русскую песню, как бы хорош ни был исполнитель, будь он сам Шаляпин — просто преступление. И первые две струны балалайки, и первые две нашей семиструнной — они так и настраиваются. На двухголосие...

Надзиратель, пообещав нам нечто расправное, захлопнул дверь, а по сложившемуся репертуару на очереди исполнения было «Прощание славянки» со словами, сочиненными Михаилом Кокосовым. Текст песни, написанный на политическую потребу, всегда, мягко скажем, далек от совершенства. Текст нашей «Славянки» не был исключением, но эмоциональность исполнения и сам способ подачи песни-марша-гимна — именно такова «Славянка» — не могли не произвести впечатления. И когда снова распахнулась камерная дверь, а в дверях с полдюжины надзирателей, их вопль: «А ну, выходи по одному!» — только подхлестнул нас. Эта сцена — как картинка в моей памяти. Двенадцать мужчин, сцепившись локоть к локтю — попробуй растащи! — в лица безвинно виноватым стражникам режима выдают слова:

Душат правду в любимой Отчизне.
Подымайся, великий народ!
За свободу пожертвуем жизнью.
В сердце вера в победу живет.
Но это еще что! Дальше следовало:
Ленин хуже татарского ига.
И разрубит ярмо только меч.
Содрогайся, проклятая клика, —
Возрождается вольная речь.

Надзиратели с вытаращенными глазами — век такого не слыхивали — попытались ворваться в камеру, но до нас так и не добрались. Еще недавно враждебно настроенные «бытовики» в три ряда расселись на полу от дверей до нар, на которых мы стояли в рост, и, отступая назад в коридор, прапорщики и офицеры в полной растерянности дослушивали припев нашей самодельной «Славянки»:

За гибель церквей,
За плач матерей,
За стон с Колымы
Идем на бой с драконом мы!

А потом без остановки и наш гимн. Похоже, в коридоре собрался весь состав тюремной obsługi.

На алтаре в древнем храме
Вспыхнули тысячи свеч.
Бейте в набат, христиане!
С нами Божественный меч!

История эта закончилась вполне благополучно. Не имевшее по отношению к нам, политическим, никаких прав, тюремное начальство немедленно вызвало наших подлинных «шефов» — работников КГБ, каковые немедля и примчались. Был вызван врач, определивший у Владимира Веретенова сильное, но неопасное аллергическое заболевание, от которого в специальной больничной камере он быстро поправился. Подальше от греха, то есть от вредной пропаганды, убрали из нашей камеры «бытвиков». И, вытаскивая по одному на «собеседования» тех, кого считали нужным, уже тогда, на самом первом этапе «работы» с нами, выявив подлинное искусство психологической терапии, каковой я всегда искренно восхищался, сумели для начала посеять легкие сомнения друг к другу в наших отношениях.

Однако ж уверен, что описанный мною эпизод каждому запомнился так же, как и мне, — молодость, романтика протеста, пусть кратковременное, но несломимое мужское единство...

О. БРИК*

Брюсов против Ленина (1924)

В ноябре 1905 года в № 12 газеты «Новая жизнь» была помещена статья Ленина «Партийная организация и партийная литература».

Считая, что в условиях достигнутой относительной свободы слова, партийная социал-демократическая литература, бывшая доселе нелегальной, может, хотя бы на 1/10 стать легальной, — Ленин ставит в своей статье вопрос о взаимоотношении этой легальной партийной литературы с партийной организацией.

Положение нелегальной печати было просто. «Вся нелегальная печать была партийна, издавалась организациями, велась группами, связанными так или иначе с группами практических работников партии».

Связь была непосредственная и теснейшая.

При переходе на легальное положение, при массовом росте социал-демократической литературы связь эта ослабевает и возникает опасность отрыва социал-демократического партийного литературного дела от практической и организационной работы партии.

Поэтому Ленин говорит: «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, “колесиком и винтиком” единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса... Для пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела».

Ленин предвидит возраженья и оговаривает: «Спору нет, литературное дело всего меньше поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большого простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетари-

* *Осип Максимович (Меерович) Брик* (1888–1945) — русский советский писатель, литературный критик, сценарист, стиховед, один из теоретиков русского авангарда. Один из организаторов ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка). Участник художественных объединений левого искусства (комфуты, МАФ, ЛЕФ, РЕФ).

ата. Все это отнюдь не опровергает того, чуждого и странного для буржуазии и буржуазной демократии положения, что литературное дело должно непременно и обязательно стать неразрывно связанной с остальными частями частью социал-демократической партийной работы».

Но «пылкие сторонники свободы» могут не удовлетвориться этой оговоркой и возопят: «Как? Вы хотите подчинения коллективности такого тонкого, индивидуального дела, как литературное творчество... Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютного индивидуального идеального творчества».

На это Ленин отвечает, что, во-первых, «речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю», и если «я обязан тебе представить во имя свободы слова, полное право кричать, врать и писать что угодно», то «ты обязан мне, во имя свободы союзов, предоставить право заключать или расторгать союз с людьми, говорящими то-то и то-то».

А, во-вторых, «речи об абсолютной свободе — одно лицемерие... Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».

«И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески, — не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство (это будет возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу».

Но «пылкие сторонники свободы» остались неудовлетворенными и решили всемерно протестовать против Ленинского понимания действительно свободной литературы. Выразителем этого протеста явился Валерий Брюсов, поместивший в очередном номере (№ 11 за 1905 год) журнала «Весы» ответную статью — «Свобода слова».

Прочитав ленинские слова о подчинении литературного дела партийному контролю, Брюсов восклицает: «Вот, по крайней мере, откровенные признания. Г-ну Ленину нельзя отказать в смелости: он идет до крайних выводов из своей мысли; но меньше всего в его словах истинной любви к свободе».

Брюсов не понимает, почему называет Ленин литературу, «открыто связанную с пролетариатом» — «действительно свободной». Чем она свободней буржуазной?

По Брюсову: «обе литературы не свободны. Одна тайно связана с буржуазией, другая открыто с пролетариатом. Преимущество

второй можно видеть в более откровенном признании своего рабства, а не в большей свободе... Если мы и согласимся, что общепролетарское дело — дело справедливое, а денежный мешок — нечто постыдное, разве это изменит степень зависимости. Раб мудрого Платона все-таки был рабом, а не свободным человеком».

Цензурный устав, вводимый в социал-демократической партии, мало чем отличается от старого царского устава.

«Утверждаются основоположения социал-демократической доктрины, как заповеди, против которых не позволены (членам партии) никакие возражения».

«Есть слова, которые воспрещено говорить. Есть взгляды, высказывать которые воспрещено... Членам соц.-демокр. партии дозволяется лишь критика частных случаев, отдельных сторон доктрины, но они не могут критически относиться к самым устоям доктрины».

«Отсюда», заключает Брюсов, «один шаг до заявления халифа Омара: книги, содержащие то же, что Коран, лишние, содержащие иное, — вредны».

Но какое, казалось бы, дело Брюсову и прочим «пылким сторонникам свободы», какие уставы вводит у себя социал-демократическая партия? Каждый добровольный союз людей в праве устраиваться так, как ему заблагорассудится.

Брюсов и говорит: «разумеется, пока несогласным с такой тиранией представляется возможность перейти в другие партии».

Однако, — и в этом все дело, — «как у каждого солдата в ранце есть маршальский жезл, так каждая политическая партия мечтает стать единственной в стране, отождествить себя с народом. Более, чем другая, надеется на это партия социал-демократическая. Таким образом угроза изгнания из партии является в сущности угрозой извержением из народа».

Может случиться, что пролетариат захватит государственную власть, тогда социал-демократический устав станет уставом всенародным. Надо в предвидении этого «катастрофического» случая заранее обеспечить себе и себе подобным свободу творчества, свободу слова.

«В нашем представлении», указывает Брюсов, «свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению». Потому что, — «для нас дороже всего свобода исканий, хотя бы она и привела нас к крушению всех наших верований и идеалов».

Ленин утверждает, что вся буржуазная литература в рабстве у буржуазии. Брюсов протестует:

«По-видимому, г. Ленин судит по тем образчикам писателей — ремесленников, которых, он, быть может, встречал в редакциях

либеральных журналов. Ему должно узнать, что рядом встала целая школа, выросло новое, иное поколение писателей-художников... Для этих писателей — поверьте, г. Ленин, — склад буржуазного общества более ненавистен, чем вам... Всю свою задачу они поставили в том, чтобы и в буржуазном обществе добиться «абсолютной» свободы творчества».

Брюсов подразумевает, по-видимому, писателей символистов и расценивает их, как подлинных борцов за свободу в отличие от Ленина, который намеревается только сменить одну тиранию на другую.

Поэтому, обращаясь к Ленину, Брюсов считает своим долгом заявить:

«Пока вы и ваши идете походом против существующего «неправого» и «некрасивого» строя, мы готовы быть с вами, мы ваши союзники. Но как только вы заносите руку на самую свободу убеждений, так тотчас мы покидаем ваши знамена. «Коран социал-демократии» столь же чужд нам, как и «Коран самодержавия». И поскольку вы требуете веры в готовые формулы, поскольку вы считаете, что истины уже нечего искать, ибо она у вас, — вы — враги прогресса, вы — наши враги».

И добавляет:

«У социал-демократической доктрины нет более опасного врага, как те, которые восстают против столь любезной ей идеи «архе». Вот почему мы, искатели абсолютной свободы считаемся у социал-демократов такими же врагами, как буржуазия. И, конечно, если бы осуществилась жизнь социального, внеклассового, будто бы истинно «свободного» общества, мы оказались бы в ней такими же отверженцами, каковы мы в обществе буржуазном».

История переубедила Брюсова. Октябрьский переворот, тот самый, которого с таким ужасом ждали «пылкие сторонники свободы», увлек его в ряды Ленинской партии. Брюсов понял, почему Ленин называл открытую связь с пролетариатом подлинной свободой. Он честно признался в своих ошибках 1905 года.

Но мысли, высказанные тогда Брюсовым, не умерли. Они живы. До сих пор еще. В Советской России. И наряду с другими микробами буржуазного индивидуализма — заражают мозги даже молодых пролетарских литераторов.

Начинаются мечты о «свободе творчества». Отсюда культ Есенина. Пусть «свобода в кабаке», хулиганская свобода, пусть свобода добровольной смерти, — все равно, — какая ни на есть, — а «свобода».

Это большая опасность. О ней стоит поговорить всерьез.

Нельзя отмахнуться: — «буржуазный пережиток». Да, — буржуазный пережиток. Но чем объяснить, что этот буржуазный

пережиток оказался таким живучим, таким активным, что даже белую горячку сумел возвести в символ вождельной свободы.

Причин две. Первая, основная — это общие условия нашего на 90% мелкобуржуазного мещанского бытия.

Ленин это обстоятельство учел: «мы не скажем, разумеется о том, чтобы преобразование литературного дела, испакощенного азиатской цензурой и европейской буржуазией, могло произойти сразу. Мы далеки от мысли проповедовать какую-нибудь единообразную систему или решение задачи несколькими постановлениями... Перед нами трудная и новая, но великая и благодарная задача».

Задача трудная. Сразу дело не делается. Этим объясняется, почему буржуазный пережиток еще не изжит. — Но если еще не изжит, — значит изживается, постепенно отмирает? — Нет. — Иногда укрепляется, а кой-где и усиливается. Следовательно, есть еще какая-то причина, помимо инерции нашего мелкобуржуазного бытия, затрудняющая борьбу с этим буржуазным пережитком.

Причина эта — неумелость, так часто характеризующая у нас организацию пролетарского литературного дела. Нередко делается, как раз то, чего делать с литературой нельзя, — то, что Ленин счел нужным специально оговорить.

У нас встречаются и «механическое равнение, и нивелирование, и стеснение личной инициативы, и схематизм, и шаблонное отождествление», и безусловная вера во всемогущество циркуляров и постановлений.

Вот почему не только пресловутое «возрождение» буржуазной литературы, но и наша собственная вина порождают упадочные мечтания о свободе слова, о творческой инициативе и грустные размышления о «рабе мудрого Платона».

Даже в пролетарской литературной среде («Перевал») воскресают разговорчики Брюсова 1905 года; не добитый буржуазный пережиток оживает и грозит разрушить начатое строительство подлинно свободной пролетарской литературы.

И. БРОДСКИЙ***Меньше единицы** (1976)**

<Фрагмент>

1

По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни. Чувствуешь себя, как младенец, пытающийся схватить баскетбольный мяч: он выскользывает из рук.

Я немного помню из своей жизни, и то, что помню, — не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще. Биография писателя — в покрое его языка. Помню, например, что в возрасте лет десяти или одиннадцати мне пришло в голову, что изречение Маркса «Бытие определяет сознание» верно лишь до тех пор, пока сознание не овладело искусством отчуждения; далее сознание живет самостоятельно и может как регулировать, так и игнорировать существование. Для того возраста это, безусловно, было открытием — но отмечать его вряд ли стоит, и другие наверняка сформулировали его лучше. И так ли уж важно, кто первым раскусил духовную клинопись, прекрасным образчиком коей является «бытие определяет сознание»?

Так что пишу я это не для того, чтобы уточнить хронику жизни (таковой нет, а если и есть, то она несущественна и, следовательно, еще не искажена), а больше по той обыкновенной причине, по какой вообще пишет писатель: чтобы подхлестнуть язык — или себя языком, в данном случае чужестранным. То немного, что я помню, сокращается еще больше, будучи воспоминаемо по-английски.

Для начала должен положиться на мою метрику, где сказано, что я родился 24 мая 1940 года в России, в Ленинграде, хоть и претит мне это название города, давно именуемого в просторечии Питером. Есть старое двустиишие:

Старый Питер,
Бока повытер.

* *Иосиф Александрович Бродский* (1940–1996) — выдающийся русский поэт, лауреат Нобелевской премии 1987 г.

** Эссе написано в 1976 г. на английском языке. Авторизованный перевод В. Голышева.

В национальном сознании город этот — безусловно Ленинград; с увеличением пошлости его содержимого он становится Ленинградом все больше и больше. Кроме того, слово «Ленинград» для русского уха звучит ныне так же нейтрально, как слово «строительство» или «колбаса». Я, однако, предпочту называть его Питером, ибо помню время, когда он не выглядел Ленинградом, — сразу же после войны. Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный — и вследствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. Худое, жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных окон. Уцелевшего нельзя назвать именем Ленина.

За этими величественными выщербленными фасадами — среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гнили первыми) — слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков — классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей — из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция. Рим, Египет — все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон.

Все это имело мало отношения к Ленину, которого я, полагаю, невзлюбил с первого класса — не столько из-за его политической философии и деятельности, о которых в семилетнем возрасте я имел мало понятия, а из-за вездесущих его изображений, которые оккупировали чуть ли не все учебники, чуть ли не все стены в классах, марки, деньги и Бог знает что еще, запечатлев его в разных возрастах и на разных этапах жизни. Был крошка-Ленин в светлых кудряшках, похожий на херувима. Затем Ленин на третьем и четвертом десятке — лысеющий и напряженный, с тем бессмысленным выражением, которое можно принять за что угодно — желательно за целеустремленность. Лицо это преследует всякого русского, предлагая некую норму человеческой внешности — ибо полностью лишено индивидуального. (Может быть, благодаря отсутствию своеобразия оно и позволяет предположить много разных возможностей.) Затем был пожилой Ленин, лысый, с клиновидной бородкой, в темной тройке, иногда улыбающийся,

а чаще обращающийся к «массам» с броневика или трибуны какого-нибудь партийного съезда, с простертой рукой.

Были варианты: Ленин в рабочей кепке, с гвоздикой в петлице; в жилетке у себя в кабинете, за чтением или письмом; на пне у озера, записывающий свои «Апрельские тезисы» или еще какой-то бред, на лоне. И, наконец, Ленин в полувоенном френче на садовой скамье рядом со Сталиным, единственным, кто превзошел его по числу печатных изображений. Но тогда Сталин был живой, а Ленин мертвый, и уже по одному по этому «хороший» — потому что принадлежал прошлому, то есть был утвержден и историей, и природой. Между тем как Сталин был утвержден только природой — или наоборот.

Вероятно, научившись не замечать эти картинки, я усвоил первый урок в искусстве отключаться, сделал первый шаг по пути отчуждения. Последовали дальнейшие: в сущности, всю мою жизнь можно рассматривать как непрерывное старание избегать наиболее назойливых ее проявлений. Надо сказать, что по этой дороге я зашел весьма далеко, может быть, слишком далеко. Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению. Это относилось к фразам, деревьям, людям определенного типа, иногда даже к физической боли; это повлияло на отношения со многими людьми. В некотором смысле я благодарен Ленину. Все тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду. Подобный взгляд на вещи, мне кажется, колоссально ускорил движение сквозь чащу событий — с сопутствующим верхоглядством.

Янисколько не верю, что все ключи к характеру следует искать в детстве. Три поколения русских жили в коммунальных квартирах и тесных комнатах, и когда наши родители занимались любовью, мы притворялись спящими.

Потом была война, голод, погибшие или искалеченные отцы, огрубевшие матери, официальное вранье в шкале и неофициальное дома. Суровые зимы, уродливая одежда, публичное вывешивание наших мокрых простынь в лагерях и принародное обсуждение подобных дел. Потом над лагерем взвивался красный флаг. Ну и что?

Вся эта милитаризация детства, весь этот зловеющий идиотизм, половая озабоченность (в десять лет мы вождедели наших учительниц) не сильно повлияли на нашу этику и эстетику — а также на нашу способность любить и страдать. Я вспоминаю об этих вещах не потому, что считаю их ключами к подсознательному, и подавно не из ностальгии по детству. Я вспоминаю о них потому, что никогда прежде этим не занимался, потому что желаю кое-какие из них сохранить — хотя бы на бумаге. И потому еще, что оглядываться — занятие более благодарное, чем смотреть впе-

ред. Попросту говоря, завтра менее привлекательно, чем вчера. Почему-то прошлое не дышит такой чудовищной монотонностью, как будущее.

<...>

В. БРЮСОВ*

О Ленине**

Я не думал говорить, считая себя недостаточно осведомленным. Я скажу лишь несколько слов о личном взгляде своем. Вчера вместе с Максимом Горьким мы вспоминали слова поэта Тютчева:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Такие роковые минуты мы переживаем и сейчас.

Здесь много молодых лиц, и им непонятно то, как смотрим на вещи мы. Их детство прошло в 1905 году, их молодость совпала с европейской войной, теперь они переживают социалистическую революцию. Но для нас, которые в молодости жили в чеховской

* *Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924)* — русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик и историк. Теоретик и один из основоположников русского символизма. В 1917 г. поэт выступил с защитой Максима Горького, раскритикованного буржуазной прессой за поддержку большевиков в редактируемой им газете «Новая жизнь». После Октябрьской революции 1917 г. Брюсов активно участвовал в литературной и издательской жизни Москвы, работал в различных советских учреждениях. С 1917 по 1919 г. возглавлял Комитет по регистрации печати (с января 1918 г. — Московское отделение Российской книжной палаты); с 1918 по 1919 г. заведовал Московским библиотечным отделом при Наркомпросе; с 1919 по 1921 г. был председателем Президиума Всероссийского союза поэтов (в качестве такового руководил поэтическими вечерами московских поэтов различных групп в Политехническом музее). В 1920 г. стал членом РКП(б). Работал в Государственном издательстве, заведовал литературным подотделом Отдела художественного образования при Наркомпросе, был членом Государственного учёного совета, профессором МГУ (с 1921); с конца 1922 г. — заведующий Отделом художественного образования Главпрофобра; в 1921 г. организовал Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ) и до конца жизни оставался его ректором и профессором.

** Речь, произнесенная на торжественном заседании в Московском Доме печати в связи с пятидесятилетием В. И. Ленина в апреле 1920 г. — *Ред.*

России, теперешние события прямо фееричны. Конечно, мы все считали социалистическую революцию делом далекого будущего.

Вот теперь заговорили о возможности сношения с другими планетами, но мало кто из нас надеется там побывать. Так и русская революция казалась нам такой же далекой. Предугадать, что революция не так далека, что нужно вести к ней теперь же, — это доступно лишь человеку колоссальной мудрости. И это в Ленине поражает меня больше всего.

Мы знаем, что всякая героизация противоречит миросозерцанию Ленина; все мы учили, что земля движется по орбите, но это не мешает нам, однако, восхищаться восходом солнца утром, закатом его вечером, восторгаться им, когда оно стоит на небе в полдень.

Пройдут поколения, и они будут также восхищаться восходом солнца, также будут изучать и восхищаться образом тов. Ленина.

Реквием на смерть В. И. Ленина 24 января 1924

(Музыка Моцарта)

Все голоса.

Горе! горе! умер Ленин.

Вот лежит он, скорбно тленен.

Вспоминайте горе снова!

Горе! горе! умер Ленин!

Вот лежит он, скорбно тленен.

Вспоминайте снова, снова!

Ныне наше строго слово:

С новой силой, силой строй сомкни!

Вечно память сохрани!

Сопрано, тенор, бас.

Вечно память, память

вечно —

Альт.

Вечно память

Ленина —

Сопрано, тенор, бас.

Сохрани!

Альт.

Храни!

Все голоса.

Память!

Д. БЫКОВ*

Явившийся вовремя**

Чем меньше Россией управляешь, тем для нее лучше, но силу она чтит. Правда, революционер может рассчитывать, по крайней мере, на то, что проклинать его будут с уважением — так сказать, отдавая должное. Тирана в народе никогда не любят, хотя худшая часть народа — «лучшие люди города» — старательно изображает преданность ему. Но возродить его культ обычно пытаются начальство, и только тогда, когда большинство свидетелей уже вымерло. Так было с культом Грозного при Сталине и с культом Сталина при Путине: это явление официальное, а не массовое.

А вот с Петром и Лениным обстоит иначе. Ругают их главным образом те, кто от них пострадал: традиционалисты, изоляционисты, гуманитарии, церковники, политические противники (и то не все). Но народ вечно вспоминает о духе коллективного усилия, об азарте великих надежд, об открывшихся перспективах, пусть даже обманувших. Об атмосфере утопии, одним словом. Утопия — это то, что можем сделать с миром мы, антиутопия — то, что делает с нами он. Большую часть времени российские граждане живут в антиутопии. Но у них бывает несколько лет, когда им кажется, что от них — с той и другой стороны — что-то зависит.

Ленин умудрился разбудить этот азарт, после чего он сам и его наследники похоронили его надолго — может быть, навсегда. Но, кажется, он действительно верил в творческую силу масс и не считал себя пожизненным вождем. Он видел народ не союзом безликих единиц, не толпой, не охлосом: «Политику в серьезном смысле слова могут делать только массы, а масса беспартийная и не идущая за крепкой партией есть масса распыленная, бессознательная, не способная к выдержке и превращающаяся в игрушку ловких политиканов, которые являются всегда «вовремя» из господствующих классов для использования «подходящих» случаев». Массы в ленинском понимании — это именно народ, решающий свою судьбу, состоящий из личностей, не дающий себя одурачивать: прежняя модель политики — герой и толпа — его

* *Дмитрий Львович Быков* (наст. фамилия — Зильбертруд; р. 1967) — писатель-публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, кинокритик. Политический мыслитель и активист, активно демонстрирующий свою оппозиционность в различных областях.

** Вышел в издании «Собеседник+», 2020, № 11 под заголовком «Ленин без бронзы».

не устраивала категорически. Что бы он там ни думал в действительности про себя, особенно в худшие минуты, как бы ни проклинал временами этот народ за его стадные инстинкты, — целью его было ни в коем случае не стадо, не оболванивание, а пробуждение. Он постоянно повторял, что одним авангардом и одной пропагандой битвы не выигрываются. И все, кто его знал, с ним работал, его слушал, изумлялись: ничего от вождя. Просто, когда вы его видели и с ним говорили, он заряжал вас уверенностью, что от вас нечто зависит, что история — не предначертание, что ее можно изменить. И на отчаявшихся ссыльных, сходявших с ума от безнадежности и безделья, и на эмигрантов, помешавшихся на внутривнутрипартийных склоках, он действовал одинаково — как антидепрессант (допускаю, что на кого-то — как красная тряпка на быка; но взбесить — тоже значит разбудить).

Отсюда двойственность его фигуры, мешающая рассмотреть Ленина сколько-нибудь объективно: с одной стороны — политик с безнадежно плоской и примитивной картиной мира, с другой — единственный человек в истории XX века, сумевший разбудить страну и вывести ее из рабства. О Ленине можно говорить что угодно — и мало ли что он сам говорил под горячую руку; нельзя сказать одного — что он презирал народ. Может быть, это было единственным, чего он не презирал. И народ ему заплатил благодарной памятью; и народ, сносивший памятники Сталину, памятников Ленину сносить не будет. Даже тогда, когда снова проснется (именно не если, а когда).

Настоящий хирург

«Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова» — писал Маяковский уже через полгода после его смерти; в жизни Ленина мало загадок: боюсь, интерес представляет во всей его биографии только один момент, а именно — был ли он немецким агентом (к этой проблеме мы вернемся). Все остальное расписано еще до появления «Биографической хроники» в двенадцати томах.

Он был большим марксистом, чем сам Маркс, объяснял все исключительно классовыми и материальными мотивами, обладал некоторыми зачатками литературного вкуса (обывательского, впрочем), а также эффектным, но агрессивным публицистическим стилем. Ленин, указывавший в анкетах профессию «литератор» (и с полным основанием — 55 томов за 30 лет работы), писал коротко и дельно, не терпел многословия, но грешил однообразием и подменял полемику руганью. Тезисы его грамотно сформули-

рованы и хорошо запоминаются, остроты метки, клички всегда прилипали (не последнее качество для политика), но картина мира, рисовавшаяся ему, удивительно скучна. Наверное, чтобы действовать, нужна именно такая, но иногда все-таки лучше думать, чем действовать. В сознание Ленина эта мысль совершенно не вмещалась. По своему, так сказать, амплуа он не терапевт, а хирург, и не зря Юра Живаго в романе Пастернака говорит о революции: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали. Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. А тут, нате пожалуйста... Так неуместно и несвоевременно только самое великое».

Можно долго спорить, нуждалась ли Россия в тот момент именно в хирурге, а не в терапевте; но Ленин пришелся в самый раз и востребован был вовремя, хотя Февральская революция делалась без всякого его участия. И все недостатки его личности и характера: именно умение ссориться и размежевываться, а не объединяться, бедность и простота убеждений, всякое отсутствие метафизического чутья при очень развитом политическом, — бледнеют перед одним бесспорным достоинством: азартом. Недаром он так любил слово «драчка».

Откуда он взялся

Каким образом сформировался этот, без преувеличения, титанический характер? Искать национальные корни тут бессмысленно, потому что ни к одной национальной матрице образ действий и мыслей Ленина несводим: единственное, что он доказывает, — исключительные интеллектуальные и волевые качества метисов. В Ленине намешаны русская, калмыцкая, немецкая и еврейская крови. Его отец, внук крепостного и сын портного, был по образованию учитель математики, выпускник Казанского университета, впоследствии инспектор народных училищ. Мать — домашняя учительница. Владимир Ульянов — поздний ребенок (четвертый по счету): отец было почти сорок, матери тридцать пять. Его характер сформирован двумя событиями, последовавшими с годовым интервалом, когда ему было соответственно шестнадцать и семнадцать: сначала умер от инсульта отец (слабость сосудов и склонность к гипертонии Владимир унаследовал от не-

го и умер примерно в том же возрасте), потом казнили старшего брата Александра. О степени вины Александра Ульянова спорят, многие полагают, что он просто не стал отпираться от обвинений в терроре, не желая выгораживать себя за счет товарищей. Он был талантливым химиком, естественником, а какова была его истинная роль в создании террористической фракции «Народной воли» — мы вряд ли узнаем: советская историография, естественно, делала из него чуть ли не цареубийцу. Он отказывался просить императора о помиловании, но мать на единственном свидании умоляла его написать такое письмо — и он согласился (письмо, кстати, полно достоинства). Смерть отца, а потом брата сделала будущего Ленина, во-первых, человеком предельно самостоятельным, склонным опираться только на собственные силы; а во-вторых, внушила ему стойкое отвращение к обывателям: после казни брата Александра семья Ульяновых превратилась в зачумленную, у них перестали бывать, от них отшатнулся весь провинциальный Симбирск. Володя не просто обожал брата, он не мог простить горе матери, совершенно убитой, — и если бы российский суд знал будущее, Александра Ульянова наверняка бы помиловали... а впрочем, Владимира вряд ли остановило бы и это. Человек сугубо рациональный, он отлично видел всю недееспособность, неэффективность, недальновидность российской власти — и даже если бы делал официальную карьеру, неизбежно вошел бы в противоречие с этой скрипучей и жестокой машиной.

Профессия — революционер

Все дело в том, что Ленин был по призванию и склонности профессиональным революционером — есть такая профессия, ничего не поделаешь. Когда-нибудь этому будут учить в институте, только называться это будет как-нибудь иначе — «кризисный менеджер второй степени», «экстремальный реформатор»... Революционер — профессия не хуже всякой другой, и Ленин это чувствовал, усвоив мысль Энгельса: «Восстание есть искусство, точно так же как и война, как и все другие виды искусства. Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет к гибели партии, оказавшейся виновною в их несоблюдении» («Революция и контрреволюция в Германии»). Чувствовать слабости противника, точно подбирать соратников, оценивая их прежде всего по готовности на все и по личной преданности; агитировать, находить у врага уязвимые точки, вести партийную борьбу, отстраивать структуры для распространения литературы и для агитации в войсках, на фабриках, в деревне — для всего этого он был рожден.

Ленин сделал в России Октябрьскую революцию (некоторые называют ее переворотом, но это неточно) не потому, что сочувствовал обездоленным, и не потому, что желал видеть Россию процветающей мировой державой: патриотизм был мало ему присущ, как и любые иррациональные чувства. Он любил, конечно, волжский простор и все вот это, но сентиментальных эмоций относительно Симбирска не испытывал (вообще, кажется, ненавидел этот фарисейский, скучный купеческий город, где травили их семью); человек с такими взглядами едва ли вообще склонен придавать значение месту, где родился. Шовинистом Ленин не был тем более. Россия интересовала его не более, чем стартовая площадка — ракету, она годилась в качестве полигона для великого эксперимента, и эксперимент этот у него получился. Иное дело, что история над ним жестоко подшутила: в России можно было сделать революцию — но развить эту революцию было нельзя, все превращалось в ту же самую монархию. Он не дожил до этого перерождения, но интуитивно его почувствовал, и это, кажется, его добивало.

Ленин был практически беспомощен в быту, не слишком интересовался женщинами (и не знал у них особого успеха), не преуспел ни в одной из профессий — и, собственно, ни дня не проработал ни в качестве юриста, ни в качестве журналиста. Он был, разумеется, весьма умным, дисциплинированным и обучаемым человеком и на любой должности мог дойти до степеней известных, но его это не интересовало. Он был маниакально сосредоточен на политике — известен мемуар о том, как, восходя в Швейцарии на гору и остановившись передохнуть среди красивейших видов, он вдруг произнес «Эх, и гадят же нам меньшевики!» И если бы действительно серьезно изучать его биографию — следовало бы поставить во главу угла именно его профессиональные достижения. Перечисляя их хотя бы по книге Троцкого «Русская революция»: революция — это не заговор, не бланкизм, в котором Ленина вечно упрекали. Революция начинается с построения такого органа власти, который позволяет сместить старую власть и заменить ее, и для Ленина это были Советы. Именно они, а не террор и не пропаганда, были ключевым понятием русской революции.

Ленин отлично видел рыхлость российской власти: «Ткни — и развалится». Он понимал, что никакой поддержкой в массах она не пользуется и что терпение этих масс инерционно. Понимал он и то, что в России народился новый класс, который еще Писарев назвал «мыслящим пролетариатом», — и сделал ставку именно на этот класс: это уже не безликие, тупо покорные работяги, — это квалифицированные рабочие.

Новый класс, стремительное развитие российской индустрии, культуры, общественной мысли — все это перестало соответствовать монархии. Страной, где купцами и владельцами мануфактур были люди вроде Рябушинского и Саввы Морозова, где работали Блок и Горький, Станиславский и Комиссаржевская, — не могли править люди вроде ограниченных монархов, купленных министров и фальшивых идеологов. В это несоответствие Ленин и ударил. По большому счету власть в России всегда умудряется рухнуть под собственной тяжестью, ибо превышает порог своей компетенции; это и случилось — и этого момента Ленин не упустил.

Ленин и Европа

Значительную часть своей недолгой (54 года) жизни Ленин провел за границей — не по доброй воле, поскольку Европу не любил и считал, что после Парижской коммуны она вырождалась. С 1900 по 1905-й и с 1908 по 1917-й — в общей сложности 14 лет — он кочевал из Парижа в Лондон, из Австро-Венгрии в Швейцарию, и единственной его работой в это время была литературная, то есть создание партийных газет и сотрудничество в них, а также сочинение теоретических трудов, в которых он развивал и осовременивал марксизм. За границей разворачивалась и его семейная драма: женившись в сибирской ссылке на добившейся перевода к нему Надежде Крупской (девушке весьма эффектной, пока ее не обезобразила «базедка»), в Париже он увлекся Инессой Арманд. Но оба они с женой были воспитаны на Чернышевском, искренне считали, что без свободы личной, семейной не может быть и свободы политической, — и между Крупской и Арманд сформировались вполне товарищеские отношения.

Относительно европейской революции Ленин был скептиком, и не без оснований: система власти была прочней, демократичней, пролетариат — сытей, опыт поражений и разочарований — больше. В Европе в свою очередь не проявили особого интереса к нему. Но зато в России его авторитет был огромен, незыблем — все, кто его знал, вспоминали, что это был какой-то гипноз. Естественно, Ленин, как строгий материалист, отрицал любые «флюиды», а потому приходится признать, что весь гипноз его был основан на редком для русского характера твердом понимании того, чего он хотел, и готовности ничего и никого не пожалеть для достижения желаемого.

Личные качества Ленина, если рассматривать их в отрыве от революционного дела, не представляют особенного интереса: в обычной жизни он был совершенно никаким. Вот в деле его было

уж подлинно не остановить: тут для него не было ни моральных барьеров, ни неразрешимых задач. Когда встал вопрос о переезде в Россию весной семнадцатого, он был готов притвориться глухонемым, чтобы скрыть незнание шведского (ему собирались достать шведский паспорт для проезда через Германию), и если бы его стали пытаться, глумиться, щекотать до смерти — он все равно не вымолвил бы ни слова. Он готов был лететь в Россию на воздушном шаре — рассматривался и такой вариант. Когда ему надо было обратиться в Смольный в ночь с 24 на 25 октября 1917 года, его мог остановить любой патруль — и, пожалуй, не было бы Великого Октября, и у Виктора Пелевина блистательный рассказ «Хрустальный мир» повествует как раз об этом — как Ленин прорывается в Смольный с третьей попытки, замаскировавшись под сумку с пивными бутылками (которые «картаво скрежещут»); уж подлинно не было силы, способной его остановить. Если бы ему перекрыли все сухопутные пути — он бы приплыл; если бы обезводили Неву — нанял бы аэроплан. Не тот был человек, чтобы другие люди могли остановить его, тут требовалось сверхчеловеческое вмешательство.

Можно, конечно, «клубнички ради» поговорить о его кулинарных пристрастиях. Любил он то, что готовила теща, — сырники, обильно политые сметаной, блинчики, любил светлое пиво, от которого, как все рыжие, быстро краснел, — но вот уж кому было все равно, что есть. Он ел для поддержания жизни, а жил для революции. Окружающие имели для него только ту ценность, которую он сам им определял с точки зрения пролетарского дела. Каким он был человеком? Он не был человеком. Лучшую его характеристику дал Куприн, он же оставил самый точный его портрет, подтвердив тем свой писательский класс (некоторого успеха достиг А. Н. Толстой, изобразив его в виде инженера Гарина, и тут они в очередной раз совпали с Булгаковым: и профессор Персииков, и инженер Гарин изобрели таинственный луч, только луч Гарина резал, а луч Персиикова выращивал гигантские организмы — с равным успехом и кур, и гадов). Куприн видел Ленина раз в жизни в течение получаса, но понял все, ибо был цепок; не зря очерк называется «Моментальная фотография».

«У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает на обе ноги; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то «облическое», что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна: такая же согласованная, ловкая неуклюжесть чувствуется в движениях некоторых зверей, например, медведей и слонов. Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. И весь он сразу произ-

водит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия в сне и аппетите...

Ленин совсем лыс. Но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, красно-рыж. Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных, как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-накрепко вытерты. Разговаривая, он делает близко к лицу короткие, тыкающие жесты. Руки у него большие и очень неприятные: духовного выражения их мне так и не удалось поймать. Но на глаза его я засмотрелся. Другие такие глаза я увидел лишь один раз, гораздо позднее.

От природы они узки; кроме того, у Ленина есть привычка щуриться, должно быть, вследствие скрываемой близорукости, и это, вместе с быстрыми взглядами исподлобья, придает им выражение минутной раскосости и, пожалуй, хитрости. Но не эта особенность меня поразила в них, а цвет их райков. Подыскивая сравнение к этому густо и ярко-оранжевому цвету, я раньше останавливался на зрелой ягоде шиповника. Но это сравнение не удовлетворяет меня. Лишь прошлым летом в парижском Зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: «Вот, наконец-то я нашел цвет ленинских глаз!»

В сущности, — подумал я, — этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же — нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути... Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая — уничтожаю».

Применяя Ленина

Такой человек был бы бесценен, окажись он на стороне самодержавия. Но — вот еще один российский парадокс: не был бы он на стороне самодержавия. Он вообще не брался за провальные проекты, острейшим чутьем всегда улавливая, за кем будущее. И ключевая мысль Ленина, мысль на все времена, к которой и нам еще придется обращаться на историческом нашем пути, — проста и насущна: как сделать народ реальным хозяином своей судьбы? Как разбудить в нем тот самый азарт, что сжигал Ленина, и направить его не на самоуничтожение, не на пытки, не на алкоголизм, азартные игры или массовый террор (то есть

на разнообразные формы самоублажения)? Как направить его на главное — на социальное творчество и решение собственной судьбы? По большому счету великой можно назвать только одну его позднюю статью — «Великий почин», потому что она как раз о социальном творчестве масс, о живой инициативе. Я рискнул бы сказать, что она совсем не марксистская, потому что суть коммунистического субботника — вовсе не в материальном стимуле. Людьми двигает цель, сознание, гордость, если угодно, — а с миром, где все решала выгода, покончено. Управлять собой, намечать себе цели, мыслить — вот то, чего Ленин требует от массы; наивно думать, что авангардным классом способен быть только пролетариат. Революционный класс — всегда новый, и чтобы его найти и на него поставить — надо быть именно профессиональным революционером, это искусство, и оно не для всех. Думаю, в Белоруссии таким передовым отрядом оказались айтишники. Кто это будет в России — понять пока нельзя; но если о чем-то дискутировать — то вот об этом. Пролетариат, если употреблять это слово в нарицательном смысле, — те, кто производит главные ценности момента. Это могут быть информационные технологии, а может быть, учитывая пандемию, вакцина. О, как Ленин использовал бы пандемию! И уж конечно, не для того, чтобы развалить миропорядок, а для того, чтобы поставить на врачей, поднять их, разагитировать! (Не для того, чтобы они валили власть: власть, как мы помним, при несменяемости сама падает, удерживать течение времени еще бесполезней, чем сжимать в кулаке воду. А чтобы было кому ее взять — это в «Почине» открытым текстом сказано: штука не в том, чтобы победить в борьбе, а чтобы удержать власть после борьбы.) И клянусь вам, у медицинского движения были бы перспективы: ведь от врачей сегодня зависит все, и, хочешь не хочешь, их пришлось бы слушаться!

Но кто из представителей политических партий, из идейных политиков работает сегодня с врачами, объясняет им их права, зовет их на борьбу? «Вставай, Ленин, вставай, милый, разбуди народ ленивый!» — Ленин встал, развел руками: «Что мне делать с дураками?!» Частушка всегда умней любых идеологов, потому Ленин и верил в народное творчество.

Может быть, от всего его наследия и от всей личности только и осталось, что этот азарт да вполне оправданная вера в то, что никакая история никуда не двинется, пока люди не будут решать свою судьбу самостоятельно (и очень может быть, что американский способ решения своей судьбы действительно устарел или находится в кризисе — опять России все придется придумывать впервые). Но уже сейчас можно с полной уверенностью сказать,

что у революционеров, сбрасывающих ленинские памятники, точно ничего не получится. Они просто не понимают, что делают, и по строгому счету не являются революционерами.

Личное

Ответим на несколько спорных вопросов, которые всегда волнуют любителей желтизны (а угождать этим любителям надо — это ведь Ленин учил, что следует учиться разговаривать с массами на понятном им языке; если ради этого кто-то прочтет — уже хорошо). Был ли у него сифилис? Не было. У него был унаследованный по отцовской линии атеросклероз, осложненный последствиями ранения в 1918 году: вторая пуля, которую боялись извлекать до 1922 года, сдавливала левую сонную артерию. Когда же ее извлекли, в артерии уже мог образоваться тромб. Подробнее все это изложено в книге Ю. Лопухина «Болезнь, смерть и бальзамирование Ленина: правда и мифы».

Были ли у Ленина дети? Не было. По крайней мере, никаких достоверных сведений о них мы не имеем.

Доверял ли Ленин Сталину? Не до конца, но кому он вообще доверял?! Никакого варианта, кроме коллективного руководства, в предсмертном «Письме к съезду» не просматривается. Есть, впрочем, гипотезы, что Ленин рассматривал в качестве наследника кого-то из хозяйственников — Пятакова, Рыкова, — но доказать это трудно. Такие политики, как Ленин, даже думая о самоубийстве (а он думал), не могут представить наследника и предпочитают не думать о нем.

Презирал ли Ленин русский народ? Не более, чем всякий другой народ, но это скорей не презрение, а неверие в самостоятельность массы, если ее не вдохновляет революционный авангард. В способность русского народа — может быть, исключительную — породить такой авангард он верил абсолютно. Вообще же имманентные, врожденные признаки — национальность, возраст, рост, вес, место рождения — волновали его мало: ведь это все иррациональное, никак не объясняемое с материалистической точки зрения. Не верил он в национальный характер (если не брать исторически сформировавшиеся привычки и фобии, которые в общем в решительный момент отбрасываются). Ленин всячески боролся с предрассудками и вообще со всем, чего рассудок не контролирует: для него и любовь имела смысл лишь тогда, если это любовь единомышленников, идущая на пользу дела.

Был ли он немецким агентом? Не был. Немцы использовали его, Ленин использовал их, но это не было договорными отноше-

ниями, и рассматривать русскую революцию как результат подкупа смешно, неуважительно к русскому народу. Русофобия-с. Февральская революция случилась без Ленина — аккуратно после того, как он сказал, что революцию едва ли увидят наши внуки; Октябрьская революция, как показал Солженицын, была неизбежна после Февральской (иной вопрос, был ли неизбежен именно Октябрь — но какая разница?). А по большому счету всех использовала русская история, которая в результате этой революции всего лишь восстановила прежнюю империю, только потолок пониже и мозг пожизне. «Мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место», как говорилось в пластинке нашего детства. Политическая система России была к началу Первой мировой глубоко и безнадежно мертва, и революция дала ей мощный гальванический удар. После чего труп ходил еще семьдесят лет, получая все более сильные удары и наконец рассыпавшись. Ничего нового на смену ему пока не построено. Гальванизировать его больше невозможно, и даже уничтожение всего населения не вернет стране энтузиазма, да и со страхом не очень получается. Нужна будет принципиально новая политическая система — не монархия, не вертикаль, не плутократия. Что это будет — сейчас обсуждать бессмысленно, но очень скоро в исторических масштабах это делать придется. Это жутко увлекательно — гораздо увлекательней любых споров о вялотекущем моменте.

Надо ли его закапывать? В исторической перспективе его, безусловно, следует похоронить там, где он хотел — на Волковском кладбище, рядом с матерью и любимой сестрой Ольгой. Но сегодняшним российским властям, ненавидящим всякую революцию и всякую народную самостоятельность, этого делать нельзя. Они недостойны этой исторической задачи, да и вообще мало чего достойны. Довольно с них того, что они самозабвенно закапывают страну: это у них все равно не получится, но усилия и средства тратятся большие.

Действительно ли он взял псевдоним в честь некой Лены? Нет, псевдоним появился благодаря Николаю Егоровичу Ленину, по чьему паспорту Ульянов уехал за границу. Но есть версия, что он как бы продолжает собою галерею лишних людей, названных в честь великих рек: Онегин — Печорин — Волгин (герой романа Чернышевского «Пролог» и псевдоним Плеханова, которого Ленин высоко чтит).

Ругался ли Ленин матом? По дневниковому свидетельству Корнея Чуковского (а тот слышал от матросов), крыл по матери так, что даже они завидовали. Но и мудро было бы человеку с его темпераментом, с его раздражительностью, с его наследственной гипертонией (Крупская вспоминает, что язык у него чернел

от волнения) обходиться без мата. И с чего бы? Не он ли говорил, что надо овладевать всеми богатствами языка?

С кем из соратников он дружил? Ни с кем. У него эта способность отсутствовала. На «ты» был с Зиновьевым. Если бы потребовалось его расстрелять, расстрелял бы без колебаний, только, возможно, на «ты» сказал бы: извини, мы большевики. Это было у него отмазкой на все случаи жизни. Большевик — значит не-человек. Плачущий большевик — оксюморон, влюбленный большевик — притворяется.

Называл ли он интеллигенцию говном нации? Отнюдь. Цитата из письма Горькому от 15 сентября 1919 года в действительности звучит так: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно. “Интеллектуальным силам”, желающим нести науку народу (а не прислуживать капиталу), мы платим жалованье выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это факт».

Лакеи капитала вполне могут быть говном, имеют полное право. Это касается любых лакеев. А вообще — ну подумаешь, сказал бы он что-то такое об интеллигенции? Сам-то был интеллигентом из дворян, никуда не денешься. И мы вправе были бы ответить в полном соответствии с его теорией: вы имеете полное право обзывать нас как угодно, а мы имеем полное право использовать вас так, как считаем нужным. Спросил же я как-то Славоя Жижекка, великого философа, автора «Тринадцати опытов о Ленине»: «Не смущает ли вас то, что Ленин бы вас наверняка расстрелял?» «Такие мелочи никогда не смущают настоящего философа», — гордо отвечал ученый.

А самым верным определением, данным ему когда-либо, остаются слова Горького из крайне фальшивого (и еще более фальшиво переписанного) очерка о нем: «Владимир Ленин был человеком, который так исхитрился помешать людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это».

И то, что люди воспользовались указанной им возможностью для того, чтобы свою жизнь еще больше изгадить, вовсе не означает, что попытки разбудить их следует прекратить.

Вероятно, этот текст вызовет много насмешек, упреков в лудоедстве и прочих одобрительных реакций. А может, не вызовет вовсе никаких. Это нормально. «Такие мелочи не должны смущать мыслителя».

Не беспокойтесь, мы обязательно его похороним. Но сначала все-таки история похоронит тех, кто стремился закопать его.

Нет, он не живее всех живых. Но некоторых — безусловно.

Н. ВАЛЕНТИНОВ*

Смерть Ленина**

Восемнадцатого января 1924 г., за три дня до смерти Ленина, Крупская читала ему рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Содержание его многим известно. Через снежную пустыню, куда нога человеческая еще не ступала, пробирается к пристани реки больной, умирающий с голода, человек. Он уже не может идти, он ползет. А недалеко от него ползет, тоже умирающий с голода, волк. Волк угрожает человеку, набрасывается на него, между ними начинается борьба, в которой и волк, и человек теряют последние остатки своих сил. Человек все-таки побеждает и полумертвый, полубезумный доползает до цели. Рассказ Джека Лондона, — передавала Крупская, — чрезвычайно понравился Ленину. Так и должно быть. Рассказ полностью отвечал его натуре. «Любовь к жизни», воля к жизни, борьба за жизнь у Ленина была неистовая. Я это почувствовал еще в Женеве в 1904 г., вскоре после знакомства с ним. Позднее эта жажда, с бессознательной тягой к политическому бессмертию, проявилась у Ленина еще сильнее. Троцкий неправ, будто во время болезни на Ленина нападали периоды такого отчаяния, что он не верил докторам и не желал выслушивать их уверения, что может поправиться. Сестра Ленина Мария Ильинишна, наоборот, говорила, что Ленин «как лев» боролся с болезнью и послушно исполнял все требования лечивших его врачей. Он верил, что так или иначе, но осилит болезнь. Эта вера, огромная заложенная в него живучесть, эта воля к жизни, по мнению лечившего Ленина доктора Крамера, сделала чудо: он начал оживать, ходить, говорить, читать газеты, интересоваться политическими вопросами, даже после третьего удара невероятной силы, превратившего его в полутруп. Другие люди после такого удара обычно умирают, а Ленин прожил еще десять месяцев. При свойственной ему психологии и глубоко заложенной вере, что одолеет болезнь, Ленин, разумеется, не мог требовать доставки ему яда, чтобы покончить с собою. Как я уже писал, этот

* Н. Валентинов — псевдоним Николая Владиславовича Вольского (1879–1964), журналиста, экономиста и философа. Участвовал в революционном движении на Украине, примыкал к большевикам, затем (1904) перешел на сторону меньшевиков. Октябрьскую революцию не принял. В 1928 г. был командирован в Париж, в 1930 г. перешел на положение эмигранта.

** Глава из книги Н. Валентинова «НЭП и кризис партии. Воспоминания» (Нью-Йорк, 1991).

гулявший по Москве слух мог исходить от людей, не знавших, или не желавших знать одну из характерных черт Ленина.

21 января, в 6 часов 50 минут, Ленин умер. Смерть последовала при параличе дыхания и явлении гипертермии — нагревании тела до 42°. Общая картина болезни исчерпывающим образом объяснена врачами. У Ленина был резко выраженный общий артериосклероз на почве преждевременного изнашивания артерий. От глубокого изменения мозговых артерий (сужения просветов этих артерий), происходил недостаточный приток крови в мозг, отсюда обширные очаги размягчения ткани мозга, вызывавшие в последнее время параличи конечностей, расстройство речи. 22 января в Горках профессором Абрикосовым, в присутствии целого синклита врачей, произведено вскрытие тела, продолжавшееся почти пять часов. В результате его появился отчет (акт) о патолого-анатомическом состоянии умершего. Немедленно опубликованный в газетах, он произвел на многих, в том числе и на меня, шокирующее впечатление. Этот акт говорит решительно обо всем, что в болезненном или здоровом состоянии находилось внутри Ленина. Все было вскрыто. Ничто не оставлено без анализа. О всем и всех изъянах дан самый детальный отчет — о головном мозге, покрове черепа, сердце, легких, брюшной полости, селезенке, почках, мышечной системе. Кажется, никогда еще и нигде в мире не представляли умерших правителей страны, царей, королей и т. д., в таком обнаженном до последней, до крайней анатомической степени виде. Никаких анатомических секретов, все показано. В нашем кружке «Лиге наблюдателей» тот участник его, которого я назвал Юристом, позднее говорил, что в публикации акта детального вскрытия тела Ленина проявилось свойственное большевикам грубо-материалистическо-анатомическое отношение к человеку. На это другой участник, Икс, указал, что составлять подробнейший врачебный акт, конечно, было важно и нужно, но не следовало его печатать одновременно с выражением чувств любви, скорби, почтения к умершему. Я помню, как в редакции «Торгово-Промышленной Газеты» один из наших сотрудников, Штромберг, говорил со мною на ту же тему.

«Мы знали Ленина как вождя революции, законодателя, правителя страны, если хотите — диктатора, заменившего династию царей. Можем ему симпатизировать или не симпатизировать, это дело наших убеждений. Но Ленин — человек, это *психика*, а нам его потрошат, выворачивают наружу и этим как бы внушают: Ленин только *материя*, только собрание такого-то характера и состояния полушарий головного мозга, кишек, брюшной полости, сердца, почек, селезенки. В этом есть нечто шокирующее».

В акте вскрытия мои знакомые коммунисты обращали больше всего внимания не на это, а на другое: головной мозг Ленина весит — *1340 грамм*. Коммунист Ходоров, давший одновременно для «Правды» и для «Торгово-Промышленной Газеты» поминальную статью о роли Ленина в китайских делах, плача, скорбя о его смерти, уверял меня, что ленинская гениальность находится в прямой связи с весом, величиной его мозга. Якобы такой величины у людей обычного габарита не бывает. По наведенным некоторыми сотрудниками «Торгово-Промышленной Газеты» справкам оказалось, что вес мозга у мужчин вообще колеблется от 1100 до 1400 грамм, часто достигая 2000 грамм, и с этой точки зрения мозг Ленина ничего экстраординарного не представляет. Вдобавок, врачи нам объяснили, что, если уже искать причины образования «гениального мозга», важность приобретает совсем не вес, не обширность мозга, а его серое вещество. Я сообщаю, что тогда говорилось, а верно это или нет — не знаю.

Как отнеслось население к смерти Ленина? — Совсем не так, как изображала иностранная печать. Мой антикоммунизм ни при каких условиях не может сделать из меня лжесвидетеля. Я должен сказать, что, если взять, например, Москву, огромная часть ее населения к смерти Ленина отнеслась несомненно с печалью, с чувством какой-то важной утраты. Я не говорю о коммунистической партии. Она всем обязана Ленину и без него не существовала бы. Масса лиц, бывших ничем, благодаря Ленину и сделанной им революции, стала чем-то, подошла к власти, вступила в господствующий класс, и вполне понятно, что эти лица искренно, горько оплакивали того, кто вытащил их из политического небытия, состояния ничтожества. Но печаль, а в причины и мотивы ее здесь не вхожу (это сложный вопрос), чувствовалась в рабочей среде, среди мелких служащих и части беспартийной интеллигенции, с введением НЭП-а ставшей активно работать в советском аппарате. НЭП, новая экономическая политика, удалившая удушающие страну порядки военного коммунизма, создала симпатию к Ленину в слоях, далеко стоящих от какой-либо политики. В доме, где я жил, дворником служил безграмотный, в минимальной степени развитой Степан Антонович, после многих лет жизни в столице, в Москве, сохранивший душу крестьянина самого отсталого сельского захолустья. Попав во время войны в плен в Австрию, он пробыл там три года и из всего, что там видел (он был недалеко от Вены), он вынес только два наблюдения и заключения: «Чудной народ! Взвешивают они не по-нашему, на пуды и фунты, а на кило (“на килу”, как он говорил) и все австрийцы — кулаки, все носят сапоги или кожаную обувь».

Этот самый Степан Антонович мне поведал, что ему очень, очень жалко, что «Ленин помер». Когда я спросил: почему же он так жалеет Ленина, он мне ответил: «Да ведь это Лёнин приказал открыть рынки и лавки, позволил торговать тем, что нужно. Это после его приказа появился и ситный (белый) хлеб, и настоящий ржаной, и картошка, и сахар. Не сделай этого Ленин, мы бы и по сей день стояли бы голодными в очередях».

Представление о Ленине как правителе-избавителе от тяжких бед и грабежа было, несомненно, распространено среди крестьянства. О большом почтении к нему среди крестьян я впервые узнал в 1922 г., попав в село Васильевское в 60 верстах от Москвы. Один тамошний крестьянин мне весьма подробно стал объяснять, что «Ленин русский человек, крестьян он уважает и не позволяет их грабить, загонять в колхоз, а вот другой правитель — Троцкий — тот еврей, тому на крестьян наплевать, труд и жизнь их он не знает, не ценит и знать не желает».

23 января гроб с прахом Ленина был из Горок перевезен в Москву и водружен в великолепном колонном зале Дома профессиональных союзов. Мимоходом замечу, это здание, построенное еще в 1784 г., называлось до войны «Благородным Дворянским Собранием», в нем устраивались приемы царей, дворянские собрания, благотворительные вечера и концерты. В течение трех дней сотни тысяч людей непрерывным потоком шли к гробу «проститься с Лениным». Шли и днем, и ночью. Холод, мороз стоял нестерпимый, люди зябли, простуживались и все-таки стойко целыми часами дожидались очереди пройти к гробу. Мне кажется, что у русского народа есть гораздо большее, чем у других народов, особое мистическое любопытство, какая-то тяга посмотреть вообще на труп, на покойника, на умершего, в особенности, если покойник тем или иным выделялся из общего ранга. В паломничестве к гробу Ленина было и это любопытство, но несомненно было и другое чувство: засвидетельствовать перед покойником свое к нему уважение, любовь, признательность или благодарность. Пошла туда и наша редакция «Торгово-Промышленной Газеты», получившая от комиссии по организации похорон возможность пройти к гробу без долгих часов стояния в очереди. Без этого мы не могли бы своевременно выпустить газету. Отправился и я вместе с другими моими сотрудниками. Не идти я и не мог бы. В глазах мне подчиненных людей и моего начальства в ВСНХ это было бы большой и немедленно всеми замеченной демонстрацией. А делать ее у меня никаких мотивов не было. У меня, наоборот, были мотивы за то, чтобы идти. Во-первых, я действительно хотел взглянуть в последний раз, назовем это «проститься» с тем, чье большое

политическое влияние я испытывал в годы моей молодости, двадцать лет перед этим, в течение 1901–1904 гг. Во-вторых, Ленин последнее время был для меня больше всего смелым зачинателем НЭП-а, человеком 1921 г., а не человеком 1917 г., захватившим власть, разогнавшим Учредительное Собрание, ставшим осуществлять те идеи, провал которых наш кружок («Лига наблюдателей») с большим удовлетворением установил в своей памятке «Судьба основных идей октябрьской революции».

Гроб Ленина в Колонном зале был поставлен столь высоко, окружен таким количеством пальм, венков, цветов, прохождение около гроба должно было совершаться с такой быстротой, что, в сущности, умершего Ленина я и не увидел. Три или четыре года спустя, в 1927 или 1928 г., проходя по Красной площади, я решил зайти в мавзолей Ленина. От того, что я там увидел, впечатление осталось удручающее, отвратительное. Под стеклянным колпаком лежала небольшая лакированная кукла с желтенькими усами. Каким-то лаком было покрыто ее лицо. Ничего, ну, абсолютно ничего, сколько-нибудь схожего с человеком, которого я знал. Лет двенадцать перед этим, будучи в Париже, я зашел в музей Гревэн на бульваре Монмартр. Там из воска и разного материала специалисты делают с большим искусством точные «портреты»-фигуры в натуральную величину персон, по тем или иным причинам попадающим в поле большой актуальности, в поле обостренного внимания публики. Таковым может быть и король, и какой-нибудь генерал, ученый, политический деятель, артист или кровавый преступник-убийца. Фигуры из воска музея Гревэн — верх совершенства в сравнении с грубой фабрикацией, под наименованием «Ленин», находившейся под колпаком в мавзолее. Мощи Ильича мне показались величайшей насмешкой над живым Лениным. Откуда, как, у кого появилась мысль выпотрошить все внутренности из трупа Ленина и из чего-то небольшого после этого оставшегося создать подобие человека, — мумию? У кого родилась идея, под видом останков Ленина сохранить эту штуку в особом мавзолее?

Об этом, совершенно так же, как о многом другом неизвестном, о чем мне пришлось говорить на предыдущих страницах, до сих пор ничего не было в печати. «Предысторию» мавзолея Бухарин поведал Рязанову, а я узнал ее не прямо от него, а в передаче некоторых посредников. Ньюансы, оттенки мысли, выражения людей, создававших эту «предысторию», крайне интересны. Вряд ли мне удастся их передать во всей их «выпуклости», тем не менее я постараюсь, чтобы, хотя бы грубо и кратко, была охарактеризована позиция в этом вопросе Калинина, Сталина, Рыкова.

Троцкий в своей автобиографии писал, что «На Красной Площади воздвигнут был при моих протестах недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей». Когда Троцкий протестовал? Конечно не тогда, когда мавзолей с бальзамированным трупом Ленина уже появился. Тогда протестовать было поздно и невозможно, да и во время появления мавзолея Троцкий был не в Москве, а в Сухуме. Протестовал Троцкий задолго до этого и досадно, что нигде в своих воспоминаниях он об этом не рассказывает.

Вот что можно установить из рассказов Бухарина.

Вероятно, в последних числах октября 1923 г. сошлись шесть лиц из Политбюро — Троцкий, Бухарин, Каменев, Калинин, Сталин, Рыков. Это не было заседанием Политбюро. Зиновьев и Томский на нем не присутствовали, не было ни записи происходившего разговора, ни какого-либо зафиксированного решения. Это было только беседой. Сталин сообщил, что по полученным им сведениям состояние здоровья Ленина внезапно столь ухудшилось, что молено опасаться смертельного исхода. Ряд соображений подсказывает, что Сталин имел в виду резкое ухудшение положения Ленина после его поездки 19 октября из Горок в Москву. Отсюда я и вывожу, что совещание происходило в последних числах октября или в начале ноября.

Отзываясь на сообщение Сталина, Калинин указал, что надвигающаяся смерть Ленина ставит перед партией важнейший вопрос о его похоронах. «Нужно обдумать все к ним относящееся. Это страшное событие не должно нас застигнуть врасплох. Если будем хоронить Владимира Ильича, похороны должны быть такими величественными, каких мир еще никогда не видывал».

Сталин вполне поддерживал Калинина.

«Нужно действительно все обдумать заранее, чтобы не было никакой растерянности, незнания, что делать в часы великой скорби. Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции. Они говорят, что Ленин русский человек и соответственно тому и должен быть похоронен. Они, например, категорически против кремации, сжигания тела Ленина. По их мнению, сожжение тела совершенно не согласуется с русским пониманием любви и преклонения пред усопшим. Оно может показаться даже оскорбительным для памяти его. В сожжении, уничтожении, рассеянии праха русская мысль всегда видела как бы последний высший суд над теми, кто подлежал казни. Некоторые товарищи полагают, что современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования надолго сохранить тело усопшего, во всяком случае достаточно долгое время, чтобы позволить нашему сознанию привыкнуть к мысли, что Ленина среди нас все-таки нет».

Речь Сталина была длинная, верткая, но что я верно передало ее смысл и направление, можно судить по ответу на нее, который с величайшим возмущением сделал Троцкий:

«Когда тов. Сталин договорил до конца свою речь, тогда только мне стало понятным, куда клонят эти сначала непонятные рассуждения и указания, что Ленин — русский человек и его нужно хоронить по-русски. По-русски, по канонам русской православной церкви, угодники делались мощами. По-видимому нам, партии революционного марксизма, советуют идти в ту же сторону — сохранить тело Ленина. Прежде были мощи Сергея Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича. Я очень хотел бы знать, кто эти товарищи в провинции, которые по словам Сталина, предлагают с помощью современной науки бальзамировать останки Ленина, создать из них мощи. Я бы им сказал, что с наукой марксизма они не имеют абсолютно ничего общего».

В полном согласии с Троцким и с таким же возмущением говорил Бухарин. Превращение в бальзамированную мумию останков Ленина, по его мнению, до такой степени оскорбительно для его памяти, до такой степени противоречит, не вяжется со всем его материалистическим, диалектическим мировоззрением, что об этом не может быть и речи.

«Я замечаю, что где-то в партии, из каких-то щелей несет странным духом. Хотят возвеличить физический прах в ущерб идейному возвышению. Говорят, например, о переносе из Англии к нам в Москву праха Маркса. Приходилось даже слышать, что сей прах, похороненный около кремлевской стены, как бы прибавит “святости”, значения всему этому месту, всем погребенным в братском кладбище. Это чёрт знает что!»

В таком же духе возражал Сталину и Каменев. Он указал, что существует предложение (его особенно поддерживает Зиновьев) переименовать Петроград в Ленинград. Такой акт, отмечающий грандиозное значение Ленина в истории октябрьской революции, вместе с изданием в десятках миллионов экземпляров его сочинений, явится действительным почитанием памяти Ленина. Что же касается сохранения тела Ленина, он, Каменев, видит в этом своеобразный и странный отголосок того «поповства», которое бичевал Ленин в своей философской книге.

По-видимому, на Сталина и на Калинина протесты Троцкого, Бухарина и Каменева впечатления не произвели. Сталин отказался назвать имя «товарища из провинции», предложившего произвести бальзамирование останков Ленина, а Калинин продолжал настойчиво твердить, что Ленина нельзя хоронить как простого смертного. Странную, но клонящую к Сталину и Калинину позицию занял Рыков. Он находил весьма неудачной вообще идею устройства кладбища на Красной площади у кремлевской стены: «Принесли туда несколько сот гробов, якобы защитников октябрьской революции, и сложили в братские могилы. Но были ли они

действительными защитниками революции, а не случайно убитыми и даже врагами этой революции, этого точно мы не знаем. Этот вопрос кое-кем поднимался в 1919 г., когда хоронили в том же месте Я. М. Свердлов».

Из того, что до меня дошло, можно было понять, что Рыков тоже считал, что Ленина нужно хоронить как-то по-особому и, во всяком случае, вне братского кладбища. В моих встречах с ним вопрос о похоронах Ленина никогда не затрагивался, позиция Рыкова в этом вопросе делала для меня невозможной его постановку.

Что же случилось, когда Ленин умер и уже безотлагательно потребовалось установить, как его хоронить? О принятом на этот счет решении не знали даже в высокостоящих рядах партии. Например, Е. Ярославский занимал важнейший пост секретаря Центральной Контрольной Комиссии партии, куда, по определению Сталина, могли входить лишь люди, равные «цекистам». И все-таки даже он, Ярославский, не знал, что решено, и потому в своей поминальной статье (над нею потом издевались), помещенной 26 января в «Правде» писал: «Родной Ленин! Смертное тело твое — *скроем в землю*, а дело твое, твои мысли останутся с нами в нас»*.

В том-то и дело, что было решено не *скрывать*, не *зарывать* останки *Ленина в землю*. И в том же самом номере «Правды», в левом уголке четвертой страницы, явно избегая эпатировать партию и население, скромненько напечатано следующее постановление президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза, подписанное председателем ЦИК Калининным.

«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями в ЦИК СССР; и в целях предоставления всем желающим, которые не успели прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, президиум ЦИК Союза постановляет:

1. Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения.

2. Склеп соорудить у Кремлевской стены на Красной площади среди братской могилы борцов октябрьской революции»**.

Когда это постановление появилось, оно показалось мне и другим каким-то ребусом. Оно двусмысленное. С одной стороны, сохранение тела Ленина должно носить как будто временный характер — дать неприехавшим делегациям из провинции возможность «проститься» с любимым вождем. С другой стороны, «склеп» совсем не для временной цели, а навсегда для его постоянного посещения. Объяснение ребуса оказалось простым. В По-

* Правда. 1923. 24 янв. С. 3.

** Там же. С. 4.

литбюро была группа, которая, не считаясь с протестами Троцкого, Каменева, Бухарина, твердо решила труп Ленина бальзамировать и сохранять. За это стояли Сталин, Рыков, Калинин. Заявление Калинина, что в ЦИК будто бы поступали от «многочисленных делегаций» «просьбы и предложения сохранить останки Ленина (по «русским» канонам сделать из них мощи) было, разумеется, ложью, враньем. Все было решено без этих обращений. 26 января открылся второй Всесоюзный Съезд Советов. Казалось бы, он-то и должен бы решить вопрос о «мощах». Это сделано без него, до него, так как уже 25 января президиум ЦИК опубликовал свое постановление о сооружении «склепа». Съезду Советов, по предложению, — подчеркну, — *Рыкова* осталось постановление утвердить, одновременно с переименованием Петрограда в Ленинград, что тоже было уже сделано Петроградским Советом по предложению Зиновьева. Стоит напомнить, что строившийся втайне, впопыхах и с огромной скоростью, склеп немедленно после переноса в него останков Ленина был закрыт, и доступ туда запрещен. Официально это мотивировалось тем, что не окончены работы по оборудованию внутри склепа, на самом же деле была другая, более важная, причина: труп Ленина стал быстро разлагаться, его нужно было по-новому препарировать, а потом все последующие годы поддерживать особым туалетом. Спешно сделанный деревянный мавзолей заменен в 1929 г. другим, солидным, из гранита.

При приближении немцев к Москве, мумия Ленина была куда-то увезена. Я слышал, что вместо прежней мумии Ленина была сделана другая, вся новая и более на него похожая. Так ли это — не знаю. Место недалеко от мавзолея продолжает быть кладбищем высокостоящих персон коммунистического режима. По непонятным мне причинам, трупы одних подвергаются сожжению и прах их хранится в урнах; такой операции подверглись, например, тела М. Горького, Крупской, Куйбышева, Щербакова. Другие, как все до начала тридцатых годов, погребаются без сожжения в гробах — Калинин, Жданов*.

* Перенесение в мавзолей, хранящий «святые мощи» Ленина, мумии Сталина, преступные деяния которого заклеены в секретном докладе Хрущева, — того самого Сталина, смерти которого жаждали и, более чем вероятно, способствовали его нынешние наследники, представляет собой величайший абсурд. Но такими абсурдами полна вся история советской революции.

К. ВАНШЕНКИН*

Ленинский портрет (1960)

Наверно, нет в России дома,
Где б не висел его портрет.
Нам так лицо его знакомо
Еще с далеких ранних лет.

Живем, его чудесным светом
Всю жизнь свою озарены.
И вновь стоим перед портретом
Среди глубокой тишины.

Так только дети — кровь живая
Давно погибшего отца —
Глядят, всё больше открывая
В чертах родимого лица.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

«Лонжюмо» (1963)

Однажды, став зрелей, из спешной повседневности
Мы входим в Мавзолей, как в кабинет рентгеновский,
Вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
И Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали, Ленин?!
Скажите, Ленин, где победы и пробелы?
Скажите — в суете мы суть не проглядели?..»

* *Константин Яковлевич Ваншенкин* (1925–2012) — советский и российский поэт, автор слов популярных песен «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985) и Государственной премии Российской Федерации (2001).

** *Андрей Андреевич Вознесенский* (1933–2010) — советский и российский поэт, публицист. Лауреат Государственной премии СССР (1978) и Премии Правительства РФ (2010, посмертно). Один из известнейших поэтов середины XX века, т. н. шестидесятник.

Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно
Прозрачное чело горит лампообразно.
«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин отвечает...
На все вопросы отвечает Ленин...

Уберите Ленина с денег

Я не знаю, как это сделать,
Но, товарищи из ЦК,
уберите Ленина с денег,
так цена его высока!
Понимаю, что деньги — мера
человеческого труда.
Но, товарищи, сколько мерзкого
прилипает к ним иногда...
Я видал, как подлец
мусолил по Владимиру Ильичу.
Пальцы ползали малосольные
по лицу его, по лицу!
В гастрономовской бакалейной
он хрипел, от водки пунцов:
«Дорогуша, подай за Ленина
два поллитра и огурцов».
Ленин — самое чистое деянье,
он не должен быть замутнён.
Уберите Ленина с денег,
он — для сердца и для знамён.

А. ВОРОНСКИЙ*

Из прошлого**

Первое организационное собрание редакции «Красной нови»*** происходило в Кремле, в квартире Владимира Ильича Ленина. Помимо него на этом собрании присутствовали Надежда Константиновна Крупская, Алексей Максимович Пешков (Горький) и я. Владимир Ильич пришел на это собрание в промежутки между двумя заседаниями. Я сделал краткий доклад о необходимости издания толстого литературно-художественного и научно-публицистического журнала. Владимир Ильич согласился с моими мыслями. Здесь же было намечено, что журнал будет издаваться Главполитпросветом, что ответственным редактором буду я и что Алексей Максимович будет редактировать литературно-художественный отдел этого журнала. Во время обсуждения вопроса о журнале произошел разговор между Горьким и Лениным, который я прочно запомнил. Горький принес с собою пачку книг, изданных им, Горьким, совместно с Гржебиным в Берлине при содействии Советского правительства. Владимир Ильич бегло просмотрел привезенные книги, одобрил книгу о паровозах, потом взял в руки сборник древних индийских сказок. Он перелистал книгу, спросил Горького (Горький стоял около Владимира Ильича):

— По-моему, — сказал он, — это преждевременно.

Горький ответил:

— Это очень хорошие сказки.

Владимир Ильич заметил:

— На это тратятся деньги.

Горький возразил Владимиру Ильичу:

— Это же очень дешево.

— Да, но за это мы платим золотой валютой. В этом году у нас будет голод.

* Александр Константинович Воронский (1884–1937) — российский революционер-большевик, писатель, литературный критик и теоретик искусства. Член ВКП(б) (1904–1927, 1930–1934). Взгляды Воронского были близки Троцкому («Литература и революция»). Как и Троцкий, осуждал принципы Пролеткульта и выступал за постепенное привлечение в советскую литературу интеллигенции. Идеологи РАПП в полемике с его взглядами ввели в обиход понятие «воронщина», употреблявшееся ими как бранное слово.

** Прожектор. 1927. № 6. С. 19.

*** В марте 1921 г. — *Ред.*

Мне показалось тогда, что столкнулись две правды: один как бы говорил: «Не о хлебе едином жив будет человек», другой отвечал: «А если нет хлеба»... И после, находясь на стыке между художественным словом и практической работой Коммунистической партии и советских органов, я неоднократно вспоминал об этих двух правдах, и всегда мне казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды.

Участие Владимира Ильича в «Красной нови» не ограничилось первым организационным собранием. Так, в первый номер «Красной нови»* он дал свою статью о продналоге, устанавливающую основы новой экономической политики. Он помогал мне советами и указаниями. Помню, что однажды он мне прислал новую книгу Гобсона об империализме с указанием главы, которую, по его мнению, следовало бы перевести и поместить в одном из очередных номеров журнала. Она была напечатана. Не скрою, что у меня был случай, когда он пожурил меня за помещение воспоминаний о Февральской революции Суханова и за статью Базарова о Шпенглере. Я сказал ему, что Суханов не является постоянным сотрудником «Красной нови», статья же Базарова помещена в дискуссионном порядке, и в следующем номере будет помещен ответ на эту статью. Он успокоился, но заметил, что, по его мнению, Шпенглер неинтересен и что им заниматься в Советской России не стоит...

У склепа

Под кремлевской стеной, где вызванивают невнятно куранты III Интернационал, у братских могил, — свежий наскоро сделанный склеп, обшитый досками, и на них, выкрашенных в стальной цвет, начертано одно, ставшее большим, как мир, слово:

ЛЕНИН

Склеп застыл неподвижно-строгим броневиком у этого штаба краснозвонной, краснозвездной рати. Склеп стоит, как верный, молчаливый страж.

...Дни прощальных, последних приветов отошедшему и упорно, неотвязно горькое горечью недавней утраты имя:

Ленин.

Призыв и знамя, пароль и лозунг, клятва верности и зов в грядущие века, боевой клич и символ братства и товарищества.

* Первый номер журнала «Красная новь» вышел в июне 1921 г. — *Ред.*

Двоится образ подвижного крепкого человека и того, чьи уста больше никогда не разомкнутся в живом трепете слова. Кажется, сказано все, что нужно, в сотнях и тысячах статей подведены итоги, и вместе с тем есть что-то важное, о чем не написано и что будет написано гораздо позже и нескоро. В такие моменты с особой острою ощущается бедность и ограниченность языка.

...Ленин...

* * *

...Россия издавна жила в бунтах, в восстаниях, в кровавой и крестной борьбе трудовой, исподней народной массы. История этой тяжбы уходит в глубь и в темь веков. Она известна в самых общих очертаниях. Историческая жизнь наших окраин протекала под знаком этой борьбы. Туда спасались наши бегуны, протестанты, не умевшие мириться «смерды» и «холопы», пострадавшие от царского чиновничьего, дворянского гнета. Вольная, буйная запорожская сечь, глухие таежные места Сибири, бескрайние степи Оренбурга, холодные скалы и тундры северного края давали приют искателям «праведной жизни», тем, кто отстаивал свои права на лучшую жизнь и прежде всего право владеть и обрабатывать свободно землю.

Не раз и не два с Пугачевым, с Разиным, с другими народными атаманами и вожаками поднималась наша «голытьба», огнем и мечом мстя дворянству и купечеству за свои тяготы и за свою беспрсветную жизнь. То, что представлялось идиллией в учебниках истории, в повестях и романах, в поэмах и стихах, было напоено, наполнено до краев то глухой и скрытой, то явной и звучащей, как набат, борьбой угнетенных против угнетателей.

Но всегда бывало так, что движение, борьба крестьянских масс разбивались о гранит деспотического государства. Государство было организовано, имело сложный административный аппарат, регулярную армию, опиралось на поместное дворянство со своеобразной культурой. Крестьянство жило в неподвижных, патриархальных, отсталых, крепостнических условиях, было распылено, поголовно неграмотно, бескультурно; оно поднималось стихийно, неорганизованно и так же стихийно бросало оружие при первых неудачах. Такие поражения были неисчислимы и постоянны. Складывалось убеждение, уверенность даже: «против рожна не по-прещь», «не нами началось, не нами и кончится». Казалось, что верхние и нижние социальные этажи будут существовать вечно, а борьба угнетенных обречена на поражения.

Так было не только в России, так было в Турции, в Индии, в Китае, в Японии.

В так называемую «эпоху великих реформ» крестьянству нашему удалось расшатать классическое крепостничество, но здесь не было победы. Царский и дворянский гнет остался, крепостничество осталось в своих пережитках.

Во второй половине XIX века пришла революционная народническая интеллигенция, но она была слишком чужда народу, далека от него, новый класс-борец еще не сформировался, и героические усилия нашей интеллигенции разбились также о гранит деспотизма, распылившись в подвижнической борьбе одиночек, небольших кружков и групп.

Ленин был первый, кто возглавил победоносную революционную борьбу трудового народа, смывшую и пережитки крепостничества, и наш азиатский подлый капитализм. Он был и остается прежде всего вождем масс, далеко вышедшим за пределы России; вся его жизнь крепчайшими узами связана с классовой борьбой пролетариата всех стран и народов, но это ничуть не меняет положения, что для России, в России он был первым вождем-победителем, организатором революционной победы, дочиста, досуха смывшим старый строй.

Разумеется, борьба народных масс неизмеримо далеко ушла вперед от бунтов, от пугачевщины и разиновщины. Страна жестоко перемалывалась и пережевывалась железными челюстями капитала. В стране образовался, вырос, окреп новый класс работников наемного труда, и самый наш исконный крестьянин проходил предварительно беспощадную выгучку машинно-бетонного века. Новое «четвертое сословие» в меру своего роста, в меру общего разложения капитализма, своим идеалом, своей конечной целью поставило социализм — не утопический, не отвлеченный, а реальный, научный. Главным проводником его, проповедником в рабочих массах был Ленин. Но Ленин не был никогда только проповедником и учителем. Он был гениальным практиком. Он знал, что рабочий не добьется социализма, не победит царизма, если он не сумеет привлечь одну часть (беднейшую), нейтрализовать другую часть крестьянства (середняка). И одной из основных задач своей политики он поставил стык, смычку, добрососедство рабочего и крестьянина. В той степени, в коей это нужно было для победы над царизмом, над временным правительством, для подрыва власти господина Купона, для установки диктатуры пролетариата, он эту задачу разрешил гениально. Через рабочих, опираясь на них, с ними Ленин объединял, сплачивал, обучал, поднимал и бросал в бой наше крестьянство, ни на минуту, не упуская основной цели борьбы за коммунизм. В России этот стык облегчался тем, что большинство наших рабочих было связано с деревней.

Благодаря этой смычке, он и одержал победу. И оттого образ его выдвинулся и оставил позади себя пламенных борцов, глашатаев, сторонников, ратователей революционного дела. Он разбил косность, обломовщину, непротивленство; он стер в порошок нашу родную азию. Он доказал, что угнетенные побеждают, победят, победили, он показал, как организуется победа. Русь советов, это — достаточно наглядный аргумент. Тем самым в самые отсталые народные трудовые массы в России, в Европе, в Азии, в Африке, всюду он вселил, влил, усилил, укрепил веру, уверенность в свои силы, в торжество своих затаенных дум и надежд. С Лениным, через Ленина, в Ленине миллионы людей убедились на опыте, воочию, что победа труда не есть мечта, не есть чудесная, но несбыточная сказка. После Ленина нельзя говорить: «так было — так будет», «не нами началось, не нами и кончится». В нашей отсталой, косной стране это имеет бесценное значение.

Ленин не творил историю подобно демиургу или библейскому Иегове. Он не изменял направления, характера, русла исторического потока, но двигался вместе, внутри него, он был его частичей; но поток был живой, людской; Ленин был впереди его; он вносил в стихийное движение плановость, он предупреждал, где были опасные пороги, где можно было разбиться временно, потерять множество лишних жертв, и он бросал и бросался сам с бешеной энергией, где это нужно было, чтобы смыть, размывать, снести, уничтожить. Он ускорял движение, внося в него разум.

Ленин организовал победу революционных масс в России и подорвал старый мир во всех частях земного шара, объединяя пролетариат и крестьянство. Простое, ставшее стертым слово «смычка» означает не только трезвый учет, но огромное внимание и любовь и чутье к нуждам не только рабочим, но и крестьянским. Недаром Ленин не уставал доказывать, что две души у крестьянина: одна — собственническая, другая — трудовая. Вот почему Ленин стоит теперь как нечто исключительное и монументальное, как Гималаи в цепи гор и предгорий, заслоняя собой многое другое крупное и значительное. Вот почему имя его на устах миллионов людей и мимо гроба его прошло свыше миллиона людей, отдавая ему в рваной одежде при 20-градусных морозах свой прощальный долг, — и стоит в раздумьи у склепа рабочий, и причитает по-народному темная, неграмотная крестьянка, и плачет ребенок, и чтит его могилу кавказский горец, армянин, индус, китаец и негр, и смерть его стала огромным общественным явлением.

Ленин происходил из типичной интеллигентской семьи, но в нем не было ничего характерного для нашего прошлого интеллигентского поколения: ни гамлетизма, ни безалаберности и разбросанности, ни интеллигентской «широты натуры», ни обломовщины, ни чеховщинки, ни Достоевщинки, ни амикошенства, ни много иного подобного. Ленин — яркое, самобытное, индивидуальное лицо, но он не был индивидуалистом. Он — массовик с головы до пят. Он впитал в себя лучшие заветы революционного интеллигентского подполья от Герцена до народовольцев, но все же в целом он далек от них, и самое важное, чем он отличен, заключается в том, что Ленина нельзя мыслить, нельзя представить обособленно от широких масс рабочих и крестьян, между тем как все наши русские революционеры старого покроя из интеллигенции были всегда одиночками, вне народа, над народом. Конечно, Ленин жил в пору, когда трудящееся человечество пришло в великое социальное движение, когда оформился и созрел рабочий класс, но очень многое принадлежит ему, достигнуто в упорной работе над собой, Н. К. Крупская на XI съезде Советов очень точно, глубоко и верно сказала, что на мучительные, настоятельные вопросы т. Ленин нашел ответы у Маркса и пошел с ними к рабочим: «Но пришел он к рабочим не как надменный учитель. Он пришел как товарищ. Он не только говорил и рассказывал: он внимательно слушал, что говорили ему рабочие». Он учил рабочих и сам умел учиться у них. В этом нужно искать тайну мудрости Ленина. Именно благодаря этому умению он стал массовиком, слился с людьми труда, стал идейным выразителем их интересов, надежд, дум. По этой же причине, происходя из интеллигентской среды, он так мало походил на российского интеллигента и так много у него было от рабочего. Ленин — гениален. Его точный, ученый, вышколенный ум социального стратега, тактика и прозорливца, твердость и закал его воли, необычайная трудоспособность, умение спланировать, организовывать, действовать сообща, скрытый революционный пафос, ненависть до конца ко всему филистерскому, мещанскому, эксплуататорскому, деловитость, простота и полное отсутствие позы, — все это его, ленинское, индивидуальное. Но эти индивидуальные черты являются также и кровными типическими свойствами класса наемных работников. Такой контакт получился оттого, что Ленин учил и умел учиться у рабочего.

Многие интеллигентные мещане не понимают и удивляются бесстрашию Ленина. Да, он был бесстрашен, он умел идти до конца; раз убедившись, он действовал без колебаний и сомнений; он не мстил никогда ради мести, но в интересах революции он не останавливался ни перед какими жертвами, он не боялся крови,

где нельзя было обойтись без нее. Почему? Потому, что он умел ощущать потенциальную волю рабочего, умел «внимательно слушать», знал и понимал, чем они живут, чем дышат.

В нем билось поистине великое сердце с горячей любовью ко всем трудящимся. Это чувство покрывалось, скрывалось деловитостью Владимира Ильича. Можно сказать, что у него это чувство целиком ушло в дело, в практику.

В уменьи учить и учиться у рабочих нужно искать объяснения и тому исключительному единственному влиянию, каким тов. Ленин пользовался в рядах коммунистической партии. Русская революция, это — большевизм. Большевизм, это — Ленин. Коммунистическая партия — ленинская партия.

Ленин и наша партия — синонимы. Но партия большевиков только потому разбила и разнесла в щепки царский трон, подорвала власть господина Купона, привела к банкротству мещанских социалистов, что следовала за своим вождем: учила и сама училась у масс. Оформляя и переводя на ясный социально-политический язык то, что бродило в рабочих низах, что часто только инстинктивно переживал рабочий, Ленин создавал в партии особую атмосферу, психическую, общественную среду, в которой чудесно перекраивались, переделывались лучшие революционные интеллигенты: они совлекали с себя интеллигентщину и проникались настроениями и мыслями наиболее передовых рабочих. Лучший пример — кадры профессиональных революционеров, старая гвардия, в большой степени пополнявшаяся интеллигентами.

Но ни партия, ни Ленин никогда не льстили, не потакали рабочим массам, не плелись в хвосте. Наоборот, партия Ленина всегда старалась поднять рабочую массу до уровня наиболее революционного, решительного и сознательного авангарда, беспощадно борясь с трэд-юнионизмом, с экономизмом, с реформизмом, с ликвидаторством. В этом сочетании чистоты движения, ортодоксальной твердокаменности со способностью учиться у рабочих масс — вся суть большевизма. Это — тот камень, на котором зиждется наша партия,

«и врата адавы не одолеют ее».

* * *

Этому учил тов. Ленин свою партию.

Ленин, это — стык Запада и Востока и не только Востока. Ленин сумел объединить новейшую революционную классовую борьбу пролетариата Запада с освободительной борьбой поработченных, отсталых, находящихся на низших ступенях культуры народов Азии, Африки, Австралии, Америки.

Ни в чем с такой силой, наглядностью и очевидностью не обнаружилась изумительная чуткость тов. Ленина, понимание и знание нужд и положения угнетенных, как именно в его отношениях к этим народностям, находящимся под самым нечеловеческим гнетом своих и иностранных поработителей. Ленин твердо знал, что ни о каком подлинном социалистическом общежитии не может быть речи, пока целые нации превращены в рикш на потребу мистеров и лордов, банкиров и финансистов, пока не потрясен патриархальный экономический и политический уклад этих наций, государств.

Великой заботой об этих дремлющих недавно Тегеранах, об этой всесветной Азии, поработченной и разграбляемой, проникнута была вся жизнь тов. Ленина. И здесь он не уставал, не утомлялся бороться с мистерами и лордами, с национальными деспотами и угнетателями. Он не давал потачки и тем верхушкам и прослойкам западно-европейских и американских рабочих, получавших подачки от всесветных грабителей, которые так или иначе, активно или пассивно, сознательно или бессознательно прикладывали свою руку или попускали капиталистов своей страны, государства убивать, обирать, превращать во вьючных животных, в пушечное мясо индуса, негра, китайца. И он бил по самым больным, по самым опасным местам старый мир, бил твердо, точно, неустанно.

В этой области почти вся оценка тов. Ленина впереди, в веках, ибо у нас нет достаточных данных для подведения хотя бы приблизительных итогов. И не случайно, конечно, Ленин вышел из России. Именно, Россия лежит на стыке Востока и Запада, и в России наряду с высоко-развитым капитализмом бок-о-бок гнезвился азиатский уклад жизни.

Он был интернационалистом таким, каких не было. И к нему больше, чем к кому-либо, должны быть отнесены слова поэта:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык.

Друг трудового человечества, никогда, ни в чем, нигде не изменявший ему, — таким жил и таким сошел он в могилу.

* * *

О Ленине, выдвинувшем идею власти Советов и практически осуществлявшем диктатуру пролетариата, нужно писать особо. В этой области требуются целые исследования. Кроме того, деятельность тов. Ленина в этот период протекала на глазах миллионов людей. Здесь достаточно отметить одну черту. Борясь

за осуществление диктатуры пролетариата, Ленин не уставал противопоставлять формальный, «чистый», буржуазный демократизм пролетарскому, плебейскому. Вместо игры во свободы, в парламенты с четыреххвостками тов. Ленин двинул сотни тысяч рабочих и крестьян в хозяйство, в Красную армию, в государственные и партийные органы. Он дал им реальную, а не призрачную власть и находил, что сущность пролетарского демократизма заключается именно в том, чтобы рабочие получили доступ в школы, в университеты, чтобы они овладели «храмами науки», чтобы они управляли фабриками, заводами, государством.

Большие и маленькие Керенские до сих пор льют слезы и не понимают, как это случилось такое грехопадение, что рабочие отвернулись от всех великолепных свобод и предпочли «режим террора и насилия». Дело же очень простое и ясное: «режим террора и насилия» на наших глазах создал огромные кадры нового демоса, ставших хозяевами экономической, политической и культурной жизни страны.

И в этом тов. Ленин в конечном итоге только «внимательно слушал, что говорили ему рабочие», ибо Советы стихийно выдвинула прежде всего сама рабочая масса.

* * *

Смерть и похороны тов. Ленина показали и подчеркнули, что он подлинно-национальный, народный вождь и герой. Смерть тов. Ленина нашла такой могучий, массовый отклик во всей стране, какого никто не ожидал. Дрогнула и печаль утраты почувствовала вся Россия. Стало видным, наглядным и знаемым, какое неисчислимое количество людей — вся трудовая Русь — считало его близким, нужным, любимым, единственным, своим. И недаром мы являемся свидетелями того, как сотни тысяч мозолистых людей, стоявших в стороне от коммунистической партии, решили продолжать дело тов. Ленина в ее рядах.

Ленин принадлежит к тем великим людям, значение, удельный вес которых со смертью непрестанно растет в веках, в будущем. Уже теперь, на наших глазах его имя становится легендой, сказкой, сагой. Разные группы нашего пестрого населения уже сочиняют, создают, творят своего Ленина и ищут в нем воплощения своих надежд, идеалов и мыслей. Одни видят в нем непротивленца, другие — доброго американского дядюшку, третьи — культуртрегера, четвертые — хитроватого, хозяйственного мужичка, пятые уже окутывают его мистическим туманом.

Можно также быть уверенным в том, что буржуазный мир помимо клеветы и проклятий постарается извратить образ тов. Ле-

нина, и одна из очередных задач будет заключаться в том, чтобы решительно бороться против таких извращений. А в этом, конечно, недостатка не будет.

Но что сказать о тех «социалистах», которые во дни общего траура не нашли ничего лучшего, как твякнуть из-под зарубежной подворотни облезлой шавкой. А было и это. В № 368 «Дней», органе эс-эров и эн-эсов, напечатано было: «В промежутке между революцией 1917 года и началом 1914 года лежит мрачнейший для биографии Ленина период “циммервальдизма”. Не сама по себе борьба против войны кладет темное пятно на репутацию революционера. Пацифистов, агитировавших против войны, можно найти в каждой из боровшихся наций. Ленин умер, не погасив и не стараясь погасить прямое обвинение в его связи с германским штабом». Писалось все это во дни, когда буквально вся Москва шла ко гробу Ленина. Дневская шавка до того безмозгла и тупа, что называет Ленина, бросившего лозунг «война войне»... пацифистом. А о связи с германским штабом сейчас, после 6 лет революции нашей, могут говорить только выродки: тут нечего опровергать.

* * *

Тов. Ленин оставил нас в сложных, противоречивых условиях общественной жизни: государственного социализма и нэпа, признания Сов. России буржуазным миром и неустанных, новых, тайных и явных, подкопов под республику Советов и т. д.

Ленин сделал коммунизм вопросом дня, сделал его практической и тактической проблемой. Далекое стало близким, осязаемым, зримым, идеальное реальным. Коммунизм теперь не доктрина, а дело, практика, повседневная борьба и работа.

В этом смысле тов. Ленин стал новым Прометеем, сведший священный огонь социализма с небес на землю.

Много грозных опасностей каждодневно, ежечасно, на каждом шагу подстерегают паладинов новой земли обетованной. Но мы уже в пути; отошли слишком далеко от плена капиталистического Египта. Возврата нам нет, да и не могут хотеть его испытывавшие это иго. На нас, современниках, соратниках тов. Ленина, на нас, старогвардейцах, проходивших свой жизненный путь плечо с плечом вместе с ним, сковавшим свою жизнь с ним нерушимо, лежит особо тяжелая, почетная и великая ответственность: довести дело до конца, быть последовательными и непреклонными, как последователен и непреклонен был он. К одному из главнейших заветов, к одной из самых сложных проблем — к смычке пролетариата и крестьянства — мы обязаны отнестись с особым вниманием:

ведь Ленина, который с особой остротой выдвигал постоянно этот вопрос, теперь нет.

Да не дрогнут руки наши, да не опустятся наши боевые красные знамена!

3. ВОСКРЕСЕНСКАЯ*

Сердце матери (1963–1965)

Повесть в рассказах о М. А. Ульяновой

Лучшая отметка

Весело возвращаться домой из гимназии в сентябрьский погожий денек: пышные сады расцвечены багряными красками, воздух напоен запахом созревающих яблок и горьковатых астр.

Дома ждут братья и сестры, веселые игры, прочитанная до самого интересного места книга, гигантские шаги во дворе. А вечером вернется из губернии папа, и ему можно будет с гордостью показать свой дневник, в котором красуются круглые пятерки.

По дороге Володя завернул к женской гимназии, подождал, пока выбежит Оля.

— Ну как? — задал он обычный вопрос.

Оля весело помотала головой, отчего ее коса, похожая на тугую рыбку, описала в воздухе полукруг.

— Из истории двенадцать, и из физики двенадцать, — пропела она тоненьким голоском.

— А у меня из латыни пять, — сказал Володя.

Пять — это высшая отметка в мужской гимназии, а двенадцать — в женской. Схватившись за руки, брат и сестра, цокая башмаками по деревянному тротуару, помчались вниз по Покровской улице.

— Ты знаешь, как я волновалась за физику? — вдруг остановилась Оля. — Сижу за партой и ничегошеньки не помню, а когда учительница вызвала к доске, в голове все пришло в порядок. Ух, как я рада, что не срезалась!

— Ты же вчера свою физику при луне повторяла, — засмеялся Володя. — Я вылез на балкон и видел, как ты пальцем на стекле формулы выводила.

* *Зоя Ивановна Воскресенская* (по мужу — Рыбкина; 1907–1992) — советская разведчица и детская писательница. Лауреат Государственной премии СССР (1968). Полковник.

Володя по-хорошему завидовал сестре, ее усидчивости и терпению. Вот кто умел упорно трудиться!

— Нас кто-то ждет у калитки, — сказала Оля.

Володя прищурил левый глаз.

— Да, какой-то парнишка. Я его не знаю.

Подошли ближе. У изгороди стоял мальчик лет двенадцати, ровесник Володи. Видно было, что он пришел издалека: лапти на ногах совершенно разбиты, длинный кафтан покрыт пылью, за спиной болтается мешок.

— Ты к нам? — спросил Володя.

— Я к главному учителю Ульянову. Люди сказали, что он живет здесь.

— Здесь, здесь, — живо подтвердил Володя. — Это наш папа. Почему же ты неходишь?

— Боязно. Мой отец страдал, что в Симбирске в каждом дворе злая собака.

— У нас никакой собаки нет. Заходи, заходи. — Володя распахнул калитку; Оля прошмыгнула первой и побежала вперед. — Только папу тебе придется ждать, он вернется вечером. Зачем он тебе? — полюбопытствовал Володя.

— В школу мне надо. Учиться.

— Как зовут тебя?

— Иваном.

— Меня зовут Володя, сестру — Оля. Будем знакомы.

— Твой отец сердитый? — спросил Ваня и замедлил шаг.

— Увидишь сам.

Мама с Олей накрывали на стол в беседке, а Володя с Ваней пошли мыться в сарай. Натаскали из кадучки воды, нагретой солнцем. Ваня с любопытством смотрел, как Володя мылил себе голову и как у него под пальцами вырастала пушистая снежная шапка.

И Ваня захотел такую же шапку. Он никогда не видел мыла и не знал его волшебных свойств. Володя фыркал — и Ваня фыркал. Володя обливался из ведра — и Ваня обливался. А потом, вымытый, чистый, с довольным видом осматривал себя в Володиных холщовых брюках и в серой рубашке.

За обедом мама подкладывала Ване самые большие куски. Ваня уплетал за обе щеки и рассказывал, что он давно, еще с весны, решил учиться. А отец не пускал в школу — незачем, говорит, бурлаку учиться. Бурлак бедный, ему ничего не надо знать; если будет много знать, невзлюбит свою жизнь. Отец у Вани бурлак, и дед был бурлаком, а Ваня хочет стать учителем. Люди сказали, что занятия в школе начинаются осенью, когда пожелтеют листья.

Вот Ваня и ждал, пока береза под окном вызолотит свои листочки. Ночью он тайком ушел из дому искать школу. Много деревень прошел — нигде нет школы. Люди сказали, что в Симбирск надо идти, к главному учителю Ульянову, он поможет...

Володя внимательно слушал, подавшись вперед, ссутулив плечи, сдвинув брови, и только тихонько произносил: «Гм... гм... да... да...»

После обеда Володя с Олей повели Ваню к себе наверх, показали ему книжки с картинками.

— Вот это библия! — воскликнул Ваня, разглядывая книжку.

— Какая библия? — удивился Володя. — Это «Хижина дяди Тома». Самая лучшая книжка на свете.

— Нет, библия, — настаивал Ваня. — Я сам видел такую штуку в церкви, только еще красивее.

Брат с сестрой переглянулись. Они поняли, что мальчик никогда не держал в руках книги. Володя был потрясен. Он ровесник Ване и успел прочитать много-много книг, а этот чудесный мир был закрыт для сына бурлака.

Ваня вертел в руках книгу, перелистывая ее, как слепой, ощупывая пальцами строчки, и глаза его оживлялись, когда он встречал картинку.

— Хочешь, почитаю? — предложила Оля.

— Почитай. Покажи, как ты это делаешь.

Ваня слушал и следил за Олиным пальцем. Палец двигался по строчкам-бороздкам, и все бороздки были одинаковые, и каждая страница похожа на аккуратно вспаханное поле. Как же эта девочка высматривает в этих бороздках такие интересные истории и почему, как ни пялит глаза Ваня, он сам ничего этого не видит?

Володя сидел рядом и старался углубиться в латынь. И не мог. Его подавляло смутное чувство недовольства собою, какое-то сознание вины перед Ваней. Илья Николаевич часто рассказывал детям об ужасающей нищете и несправии в деревне. А теперь Володя сам услышал это от мальчика. Чем порадовать Ваню? Подарить ему свою любимую книгу? Но Ваня не умеет читать. Отдать свои сокровища — коллекцию перышек? Но он не умеет писать. Выпросить у Саши для Вани календарь?.. Нет, не то, не то...

Вечером приехал Илья Николаевич. Он был на открытии двух новых сельских школ, вернулся в отличном настроении, и ему не терпелось поделиться своей радостью с Марией Александровной, с детьми.

— Папочка, тебя ждет мальчик Ваня, — начал было Володя.

Но отец уже все знал от мамы.

— Мы поговорим с молодым человеком, а ты иди к себе.

Володя и Оля уселись на сундуке в передней и с нетерпением ждали решения отца.

Ваня вышел из кабинета счастливый. Он ничего не говорил, только смеялся.

Смеялись его глаза, губы и даже кончик сморщенного носа.

Володя побежал к отцу:

— Папочка, как хорошо, что ты определил Ваню в школу! Он такой счастливый!

— Нет, — ответил Илья Николаевич, — он опоздал, и ребята в занятиях ушли далеко вперед.

— Но он опоздал не по своей вине. Ему сказали, что занятия в школе начинаются, когда пожелтеют листья на деревьях. Вот он и ждал, а потом искал школу. Он шел до Симбирска две ночи и два дня. Разве можно, чтобы он вернулся ни с чем? — Перед глазами Володи стояло улыбающееся лицо Вани. — Папочка, разве ты не хочешь, чтобы он учился?

— Ты сам понимаешь, что нельзя задерживать целый класс из-за одного ученика. — Илья Николаевич внимательно смотрел на сына.

Володя вдруг весь вспыхнул, зарделись щеки, заискрились глаза.

Он подошел ближе к отцу:

— Он догонит, папочка. Мы поможем ему — я и Оля. Даю тебе слово.

Складка на лбу у Ильи Николаевича разгладилась, густые брови вскинулись вверх, губы дрогнули в улыбке.

— Вот именно этого я и ждал от тебя. Я буду просить, чтобы Ваню приняли в школу.

Володя порывисто обнял отца и помчался наверх...

Над садом висел серп луны, по небу плыли облака, оставляя за собой рассыпанные звезды. Огромные вязы в саду сильными изогнутыми сучьями, казалось, подпирали небо.

Володя стоял на балконе, вцепившись руками в перила, вглядываясь в Млечный Путь.

На балкон выбралась Оля.

— Я показала папе свой дневник. Он посмотрел на двенадцать по физике и сказал: «Это еще не самая лучшая твоя отметка». А какая же может быть лучше, Володя? — Она взглянула в лицо брату.

Володя молчал.

— О чем ты думаешь?

— О Ване... Ты слышишь? — Володя указал рукой вниз.

Через двор, по дорожке, посыпанной лунным светом, шли папа, мама и старшие — Аня и Саша. Илья Николаевич смеялся особенно задумчиво, и, как маленький колокольчик, звенел голос мамы.

— Ты слышишь? — повторил Володя. — Папа рассказывает про Ваню и радуется, словно открыл новую школу. Вот бы научиться так радоваться!.. — Володя схватил Олю за руку.

— Я знаю, знаю, что такое лучшая отметка! — Оля посмотрела на брата, на его сияющее лицо. — Лучшая каша с тобой отметка будет первая пятерка Вани. Правда?

Володя спрыгнул с перил и заглянул в окно. Ваня спал, крепко ухватив обеими руками «Хижину дяди Тома», которую Володя получил в подарок за успехи и учения.

Письмо

Володя подошел к дому, взялся за ручку двери и медлил повернуть. Из гостиной доносились приглушенные звуки музыки. Играла мама. Совсем недавно сняла она траурный чехол с рояля, и в дом вернулись музыка и песни. По вечерам снова слышалась колыбельная, хотя в колыбели давно уже никто не лежал и самой младшей, Маняше, шел десятый год. Все в семье любили эту песню, и с ней так же трудно было расстаться, как со счастливым детством. А сейчас мама играет что-то свое, импровизирует, словно думает вслух.

Как тяжело Володе было открыть дверь и преодолеть восемь ступенек на террасу! Он остановился у окна. Настенная лампа в гостиной освещала раскрытый рояль, белую голову матери, ее четкий профиль. Какая мама тоненькая и хрупкая, в лице ни кровиночки, даже губы совсем бледные, и только в ярких карих глазах живость, и доброта, и затаенная грусть. Над клавишами летают мамины руки. Пальцы едва касаются клавиш, а струны звучат, как оркестр. Они так близки, мамины руки, что, если бы не было оконного стекла, Володя мог бы до них дотронуться. Чего бы только он не совершил, чтобы оградить маму от новых бед и несчастий!

Он сжал письмо. «Может быть, порвать — скрыть от мамы страшное известие?.. Нет, это невозможно, она узнает по глазам».

Он продолжал стоять у окна. Продлить хоть на несколько минут отдых матери, ее покой. Никогда он еще так нежно не любил мать, как теперь, после смерти отца. Володя видел, с каким мужеством она затаила в себе горе, сделала все, чтобы дети меньше ощущали потерю отца, чтобы в доме не чувствовалось гнетущего траура. Он понимал, каких душевных сил ей это стоило.

И вот снова...

В гостиную убежала Маняша. Мама что-то у нее спрашивает, вынула из-за корсажа часы и покачала головой. Видно, тревожится, что так долго нет его, Володи. Нет, он не зайдет в дом, пока она не кончит играть.

Мария Александровна пробежалась пальцами по клавишам и медленно опустила крышку рояля.

Володя вошел в переднюю.

— Это ты, Володюшка? Что так поздно? — окликнула его Мария Александровна.

— Я был у Веры Васильевны, мамочка, — говорит он скороговоркой, проходя в гостиную и приглаживая обеими руками непослушные кудри на голове.

— Почему ты решил заглянуть к ней? Она же вчера вечером была у нас.

— Мы беседовали о петербургских арестах. В столице раскрыто покушение на царя.

— Опять покушение? — спросила Мария Александровна, вспомнив, что шесть лет назад в симбирских церквах целый день колокола били в набат по случаю убийства Александра II. — Но почему ты решил говорить об этом с Верой Васильевной?

— Она беспокоится, как там Саша и Аня.

— При чем тут они? — И смутная тревога возникает в сердце матери.

— Среди студентов идут аресты. Сашу и Аню могли захватить заодно.

— Что это тебе пришло в голову? Не могут же арестовать всех студентов?.. Володя, ты что-то знаешь? — обеспокоенно спрашивает Мария Александровна.

Володя молчит, потупив глаза, стиснув пальцы.

Мать положила руки на плечи сына:

— Володя, говори, ты не умеешь лгать.

— Мамочка, ничего страшного не произошло. Но Вера Васильевна получила от Песковских сообщение, что Саша и Аня арестованы. Я уверен, что это недоразумение, — поспешил добавить Володя, видя, как побледнела мать. Сам он понимал, что это дело для Саши может окончиться очень плохо.

— Саша и Аня в тюрьме?.. Возможно ли это? Они так далеки от всех этих дел. Саша увлечен естественными науками. Он мечтает о профессорской кафедре. Непостижимо!

— Мамочка, я поеду в Петербург.

— Нет, у тебя скоро экзамены, Володя, выпускные экзамены. В Петербург поеду я, и немедленно. Ты останешься дома с младшими. Сходи за Верой Васильевной, надо посоветоваться с ней. Я пойду к Ивану Владимировичу, он поможет.

— Вера Васильевна сама обещала прийти, а к Ишерскому я пойду вместе с тобой.

...Они шли молча. По прерывистому, тяжелому дыханию матери Володя видел, как ей тяжело. Мария Александровна не замечала прохожих. Володя отвечал на приветствия за мать и за себя вежливым поклоном.

Ишерский сам открыл дверь.

— Мария Александровна, какими судьбами? Добро пожаловать! Лена, — крикнул он жене, — гости к нам, готовь чай!

Мария Александровна опустилась на стул, сдвинула на затылок платок.

— Горе у нас, дорогой Иван Владимирович. Сашу и Аню арестовали в Петербурге. Научите, посоветуйте, что делать, к кому обратиться. Как спасти детей моих?

— Это не в связи с покушением на его императорское величество? — испуганно перекрестился Ишерский.

— Да. Песковский пишет, что в связи с этим. Но мои дети не могли стать террористами — вы их знаете. Родной Иван Владимирович, помогите!

Хозяин дома знаком руки показал жене, чтобы она не входила в комнату.

— К сожалению, я здесь не помощник, — произнес он и, сев за стол, нетерпеливо забарабанил пальцами. — Суд разберется: если они не виновны, их освободят, а если задумали поднять руку на священную особу... Будем надеяться на лучшее. Да поможет вам господь бог!

Володя стоял за спиной матери, обняв ее за плечи.

— Mamочka решила ехать в Петербург, хлопотать. Куда вы посоветуете ей обратиться? — спросил он, прямо глядя в глаза Ишерскому.

— Не могу знать, не могу знать...

— Можете вы, по крайней мере, дать лошадь, чтобы мамочка могла добраться до Сызрани? — спросил Володя.

Ишерский встал.

— С превеликим удовольствием, но я уже отпустил кучера, — пробормотал Ишерский, избегая сверкающего взгляда юноши.

Мария Александровна тяжело поднялась со стула.

Хозяин спешил открыть двери.

— Уповайте на милость божью, на суд праведный.

Мария Александровна медленно спускалась по ступенькам, словно несла на себе новый тяжелый груз.

— И это называется прогрессивно мыслящая личность! — гневно и пылко вырвалось у Володи.

Все внутри него бушевало, протестовало.

— У него семья, Володюшка. Он опасается за ее благополучие... Ступай, Володюшка, на постоялый двор, на почту, найми ямщика, а я пойду домой. К знакомым не заходи, не надо их ставить в тяжелое положение.

Мария Александровна понимала теперь, что бороться за своих детей предстояло ей одной. В глазах симбирского общества она уже не вдова действительного статского советника, а мать государственных преступников. Но для нее, матери, ее дети не могли быть преступниками. Чистый, благородный Саша, справедливый во всем, он не мог пойти на преступление, стать террористом. Хрупкая, нежная Аня, всегда болезненная, мечтательная, увлеченная изящной литературой, — и... террористка? Нет, это невысказано.

Может быть, Иван Владимирович прав: суд разберется, освободит их.

И вдруг в памяти Марии Александровны возник вечер в Кокушкине, когда Саша, Аня и Володя, стоя на крыльце, разгоряченные, потрясая сжатыми в кулак руками, громко, как клятву, повторяли:

...И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной!..

«Сберегите эти слова в сердце своем», — посоветовала она тогда детям. Вспомнилось гимназическое сочинение Саши. «Служба царю не входит в программу моей жизни...»

«Нет, нет, это невозможно», — отгоняла она от себя мрачные мысли. Саша не мог состоять в тайной организации, он сказал бы об этом отцу. Аня поделилась бы с ней, с матерью. У детей не было от родителей тайн.

Нельзя, чтобы глаза застилали слезы, чтобы горе туманило рассудок. Предстоит борьба. Нужно очень много сил. От ее душевной стойкости сейчас зависит все.

Дома ее ждала Вера Васильевна.

Мария Александровна пытливо заглянула ей в глаза. Может быть, и она... Нет, это настоящий друг, это настоящие слезы.

Молодая учительница прильнула к Марии Александровне.

— Что бы ни случилось, я всегда с вами. Да, да, поезжайте в Петербург, хлопочите, действуйте. За дом не беспокойтесь: я каждый день буду здесь.

— Спасибо, спасибо. Я уверена, что все обойдется, все кончится благополучно.

Вера Васильевна уже поведала детям — Оле, Мите и Маняше, — какая грозная опасность нависла над их старшим братом и сестрой. Завтра они об этом узнают в гимназии, надо было их подготовить.

Дети ни на шаг не отходили от матери. Первый раз в жизни уезжает она от них в далекий Петербург. Их доверчивые сердца полны надежды, что маме удастся высвободить Сашу и Аню из тюрьмы и они вернуться домой.

Володя весь вечер ходил от трактира к трактиру, от постоянного двора к почте, навещался к чиновникам, купцам, которые часто ездили в Сызрань и никогда раньше не отказывались прихватить с собой кого-либо из семьи Ульяновых.

Но весть о покушении на царя и аресте детей Ульяновых уже облетела весь Симбирск, и ни у кого не оказывалось в санях места для Марии Александровны.

Одни, отводя глаза в сторону, бормотали что-то несвязное, другие грубо отвечали, что для Ульяновых нет места не только в санях, но и на православной земле.

Трусость, животный страх видел Володя в глазах симбирских обывателей. Даже те, которые любили при случае поиграть словами «свобода, равенство и братство», не прочь были рассказать анекдот о тупости и невежестве Александра III, поплакать над горькой долей русского мужика, теперь всячески подчеркивали свои верноподданнические чувства.

Уже отчаявшись найти сани, Володя вдруг вспомнил, что у его приятеля Гриши отец занимается извозом.

Поздно ночью он постучался в окно деревянного домика.

Гриша, заспанный, взлохмаченный, прижав нос к стеклу, взгляделся в темноту и, узнав Володю Ульянова, накинул полушубок и выбежал во двор.

Выслушав Володю, вздохнул:

— Уламывать отца придется, но ты знай себе да помалкивай. Поворчит, поломается, а поедет. Человек же он!

На рассвете Володя усадил мать в сани, крепко поцеловал ее, заботливо подоткнул со всех сторон плед. Глаза у Марии Александровны были сухи, губы решительно сжаты.

Володя с Верой Васильевной долго стояли на крыльце, прислушиваясь к дребезжанию бубенчика.

Мария Александровна отправилась в долгий и нелегкий путь.

А. ГАСТЕВ*

Свидание с Лениным**

Это было 3-го июня 1921 года. Я был вызван к часу дня. Еще проходя через приемную Совнаркома, я увидел, что на стене было вывешено «Как надо работать» (цитовская памятка). В кабинете ровно в час Владимир Ильич уже ждал. В первый же момент он буквально облил своим радушием, реальную теплоту которого многие и не знают. «Я теперь в хороших условиях, я очень недурно кормлюсь, а вот Вы что-то плохо, все на Вас висит, а поэтому Вам надо куда-то поехать. Поезжайте-ка за границу да отдохните». Вот были фразы, с которыми он меня встретил. На встречный вопрос о здоровье Владимир Ильич стал жаловаться на недомогание. Уже не в первый раз, как и в прошлых встречах, он упоминал о том, что у него появилась какая-то глухота, которой не было, заявил о том, что он начал стареть. Как-то не верилось, однако, в эту старость, когда он быстро пошел в соседний кабинет и принес книги. Твердой топающей походкой, которую он проводил как будто на одних каблуках, почти бегая, как юноша, он принес книги и сказал: «Вот, все некогда, а обязательно, обязательно...» — и начал с воодушевлением рассказывать о том, как многое необходимо было бы сделать в области организации труда, как тщательно надо изучать капиталистический опыт. Владимир Ильич припомнил наши встречи, которые предшествовали настоящему разговору, и указывал, что вопросы организации труда — это есть самое главное, которое нужно теперь проводить, а потом начал говорить о том, что дело надо обставить хорошо, что условия для работы надо создать приличные, что оборудовать нужно так, как это нужно для Советской трудовой республики. И в то же время говорил, что неладна в хозяйстве вопиющая, а вот надвигается какая-то новая страдная пора: «Вот сейчас мне телефонировали с Украины, — хлеб, говорят, горит***, плоховато что-то», — и начал говорить подробно о том, что, вероятно, будет голод и общее истощение. Немного поговорив об этом, он сказал: «А все-таки это дело такое, которое надо поднять». Тогда как-то не имелось

* *Алексей Капитонович Гастев* (1882–1939) — революционер, профсоюзный деятель, поэт, теоретик научной организации труда, руководитель Центрального института труда. Член ВКП(б) с 1931. Один из идеологов Пролеткульта.

** Организация труда. М.: ЛИГ, 1924. № 1. С. 11–13.

*** Засушливое лето, определившее голод в стране. (*Прим. автора.*)

точного представления о золоте. Эпоха военного коммунизма не приучила нас к тому, чтобы знать реальный вес золота и реальную величину государственного золотого запаса, и поэтому я тогда размахнулся на оборудование ЦИТа* суммой в полмиллиона золотых рублей. Эту сумму удалось беспрепятственно провести через Наркомвнешторг при активной поддержке тов. Лежавы, но скоро оказалось, что решить легко, но реализовать, вследствие малой оперативной подвижности Внешторга, безумно трудно.

Когда я сказал об этом Владимиру Ильичу, он подал мысль обратиться в Наркомфин и настаивать перед ним,, чтобы было сделано «хоть кое-что». Но тут же, сейчас же мы съехали на разговор о волоките. В разговоре пришлось коснуться того, что мы очень плохи по части исполнительства. Провести какое-нибудь дело через инстанции не представляет никакой трудности, но точно, реализовать его, точно выполнить, — это очень трудно.

Смеясь и грохоча, Владимир Ильич давал реплики по этому поводу. Я бросил фразу о том, что слово «да» в разговорах очень мало значит; «так точно» — гораздо определеннее. Старая солдатская формулировка не допускала сомнений и предрешала действие. Он живо откликнулся и, когда давал письмо тов. Альскому, то нарочно вставил слово «точнее» и подчеркнул его. Однако я не мог скрыть от Владимира Ильича, что плохо верю в реализабельность этого дела. Тогда он сказал: «А знаете, ведь чем черт не шутит, почему не попробовать?..»

...Владимир Ильич говорил, что если встретятся какие-нибудь препятствия, то обязательно надо «черкнуть», что если бы случилось, что он где-нибудь занят, если бы случилось, что он на заседании, то надо тогда «маленькую записку в два слова» передать и он сейчас же на этой записке ответит.

Однако после этого свидания я не решался беспокоить мелочами, но с тех пор во всяком случае я всегда чувствовал, что дело, за которое я взялся, находится в поле зрения этого беспримерного человека, и это настроение давало силы, уже не встречаясь с ним, даже и не ища этих встреч, знать, что этим делом нельзя шутить, а его нужно делать. Как-то легко потом пришлось отнестись к тому факту, что знаменитые полмиллиона рублей золотом так и не попали к ЦИТ. От Наркомфина мы тогда не получили ничего, кроме маленького любезного разговора с тов. Альским, который, конечно, кроме этого разговора, при тогдашних условиях ничего не мог сделать, а наша заявка через Наркомвнешторг, которая сначала прошла в количестве полмиллиона рублей золотом,

* ЦИТ — Центральный институт труда. — *Ред.*

была сбавлена до ста тысяч, сто тысяч было сбавлено до двадцати тысяч. Эта цифра потом прошла через тот же глаз т. Ленина (по должности Председателя СТО)* и он сказал: «Дело хорошее, а все-таки сейчас больше не можем». В дальнейшем оказалось, что и двадцати тысяч мы не получили, и заявка наша была сведена до восьми тысяч рублей, да и то она была реализована далеко не в такой мере и не так, как нам хотелось. Заграничный аппарат Наркомвнешторга не мог ее реализовать с той скоростью и целостностью объема, на который мы рассчитывали. Мы сами уловили эту тенденцию и в ожидании заграничных благ, перешли на так называемую робинзонаду. Мы начали собирать все то, что было из какого-нибудь случайного оборудования, и создавали свою аппаратуру на месте. За отсутствием металла мы многое начали делать из дерева, и в этой работе, конечно, имело исключительное значение то, что работа по созданию ЦИТа была в поле зрения человека, который разбил историю человечества на два куска: один до него, другой после него...

З. ГИППИУС**

Черные тетради (1917–1919) (Дневники, воспоминания)

<Фрагменты>

<1917>

Игра ведется до такой степени в руку Германии, и так стройно и совершенно, что, по логике, приходится признавать и агентуру Ленина. О Троцком — ни у кого нет сомнений, тут и логика, и психология. Но Ленин, психологически, мог бы и не быть. А вот логика... Интересы Германии нельзя защищать ярче и последовательнее, чем это делают большевицкие правители.

<...>

* Совет труда и обороны. — *Ред.*

** *Зинаида Николаевна Гиппиус* (по мужу — Мережковская; 1869–1945) — русская поэтесса, прозаик, драматург, литературный критик. Одна из видных представительниц Серебряного века. Составляла с Д. С. Мережковским один из самых оригинальных и творчески продуктивных супружеских союзов в истории литературы, считается идеологом русского символизма.

Идиотское «покушение» на Ленина (в глубоком тумане, будто бы, стреляли в его автомобиль, если не шина лопнула), заставило «Правду» изрыгать угрозы уже нечеловеческие. Обещают «снести сотни голов» и объявляют, что «не остановятся перед ЗВЕРСТВОМ*». Третьего дня разгромили редакцию «Воли Народа» (эсеры), арестовали Пит. Сорокина, Аргунова, Гуковского и еще кучу сотрудников, даже Пришвина! Вчера разгромили редакцию «Дня» (с.-д. меньшевиков), арестовали Заславского, еще кого-то, Кливанского при аресте ранили. Разгромили солдатскую газету «Серая шинель».

<...>

КАЖДЫЙ ЛИШНИЙ ДЕНЬ ИМЕННО БОЛЬШЕВИЦКОЙ ВЛАСТИ —
ЛИШНИЙ ГОД ПОЗОРА РОССИИ

<...>

Говорил уже Чернов** (не сомневаюсь в отвратной демагогичности его речи), говорили Дыбенки-Крыленки и этот Иуда — Штейнберг. А Ленин будто бы сидит там в своей «царской» ложе, вид именинника и весь в цветах. Что ему! Велит матросам разогнать в нужный момент... Запашливо согнали в залу матросов со всего Кронштадта.

<...>

С каждым днем яснее, неоспоримее: НЕ РЕВОЛЮЦИЯ У НАС,
А ТА ЖЕ ВОЙНА.

<...>

9 февраля, пятница

Германцы благополучно продвигаются. Будто бы ответили (передаю, впрочем, как сомнительный слух, не верю этим «перехваченным радио»), что «мир будут заключать в Петрограде». Однако Ленин до того обалдел, что предложил выселить из Петербурга в 24 часа всех женщин и детей. Замяли; сами видят, что не в себе человек.

<...>

Ленин непреклонен в требовании — по его собственному выражению — «позорного» мира. «Условий его мы все равно выполнять не будем», утешает он далее (а немцы что же, дураки? Позволят?) и нисколько не боится неистовой внутренней ругани, которая у них поднялась. Объявил, что если не будет позорного

* Везде выделено З. Гиппиус.

** Речь о заседании Учредительного собрания: «У<кредительное>
С<обрание> постановило: О мире... О земле... О воле... и повелевает...»

мира, то он, Ленин, «уйдет в массы» (кажется, подразумевается Преображенский полк) и с этими «массами» явится свергать несогласных большевиков. Их, однако, не очень много, главный какой-то Бурханов (?), а больше левые эсеры гомозятся. (На что же они знаменитую телеграмму-то посылали?)

<...>

Левые лакеи* капризничают, взъелись на Ленина: «мелкобуржуазный, а не социалистический премьер».

<...>

15 февраля, четверг

Послы уехали. А большевики со своей эвакуацией решили ждать. Уверяют, что нет наступления. (А Ленин-то, на всякий случай, уехал.)

<...>

Мы в каменном мешке. Уехать в Москву? Но туда уже почти не пускают. И надолго ли эта сравнительная «свобода» в Москве? Ведь уже туда отправился Ленин...

<...>

Гадкая зараза — это общество соглашателей «Культура и Свобода». Опять там Максим Горький. Он — Суворин при Ленине... пока. Пойдет и дальше. Но уже и теперь — оказывается, Ленин у него был перед отъездом. Дружеская велась беседа...

<...>

Горький продолжает в «Новой Жизни» (ее одну не закрыли) свое худое дело. А в промежутках — за бесценок скупает старинные и фамильные вещи у «гонимых», в буквальном смысле умирающих с голоду.

<...>

Умер Плеханов. Его съела родина. Глядя на его судьбу, хочется повторять соблазнительные слова Пушкина:

Нет правды на земле...

Но нет ее и выше.

Он умирал в Финляндии. Звал друзей, чтобы проститься, но их большевики не пропустили. После октября, когда «революционные» банды 15 раз (sic) вламывались к нему, обыскивали, стаскивали с постели, издеваясь и глумясь, — после этого ужаса внешнего и внутреннего, — он уже не поднимал головы с подуш-

* Левые эсеры. — *Ред.*

ки. У него тогда же пошла кровь горлом, его увезли в больницу, потом в Финляндию.

Его убила Россия, его убили те, кому он, в меру силы, служил сорок лет. Нельзя русскому революционеру: 1) быть честным, 2) культурным, 3) держаться науки и любить ее. Нельзя ему быть — европейцем. Задушат. Еще при царе туда-сюда, но при Ленине — конец.

<...>

Опять я спрашиваю себя: с кем же, с каким правительством будут союзники (сегодня, кажется?) подписывать перемирие? Если все так, то, очевидно, немецкий Ленин пошлет им своего Троцкого? И будет Брестский мир. И союзники признают Либкнехта, как Германия признала Ленина? И, признав Либкнехта, кстати, заодно, признают Ленина? Ибо ведь они же давно в объятиях друг друга.

<...>

Одно мгновение говорили, что союзники потребовали сдачи СПб-га, и большевики раскололись, причем Ленин стоял за сдачу, Зиновьев — против. Но вряд ли это было, ультиматумы подкрепляются силою, а союзники, очевидно, не желают или не могут пойти на Петербург.

<...>

И эту чертовку Розу Люксембург тоже убили. Ее, будто бы, растерзала толпа. Жаль, что нашего К. Радека, кстати, не растерзала. Уж заодно бы!

<...>

Условия? Условия можно и обойти, можно и принять; Ленин, во время сделки с Германией, неустанно требовал принятия немецких условий: «Согласимся! ведь все равно мы их исполнять не будем!» И как сказал, так и сделал: после принятия двух главных условий Германии — разоружение всей армии и никакой пропаганды за чертой — тотчас взбодрил всю Красную Армию и особенно развил пропаганду в Германии.

<...>

И, наконец, вот главное открытие, которое я сделала: ДАВНЫМ-ДАВНО КОНЧИЛАСЬ ВСЯКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Когда именно — не знаю. Но давно. Наше «сегодня» — это не только ни в какой мере не революция. Это самое обыкновенное КЛАДБИЩЕ.

<...>

А. ГИТОВИЧ***Старому другу (1958)**

Ну вот мы и встретимся снова,
Вдвоём посидим у стола,
Обдумаем век наш суровый,
Превратные наши дела...
И всё же, как надобно смертным,
Ещё раз проверим, дружок —
Горит ли огонь беззаветный,
Который в нас Ленин зажжёт?

Г. ГОППЕ, В. ВЕРХОВСКИЙ*******Разговор о тепле**

Февраль суров. Февраль ветрами выюжит.
И за окном не разглядеть зари.
Как дети беспризорные, от стужи
На ветках присмирели снегири.
Казалось, нет от холода защиты,
Он властвует сегодня над Москвой.
Старинной печи кафельные плиты
Холодной отливают синевой.
Который день не топят в кабинете,
Который год идут в стране бои,
И Ленин за работой на рассвете
Дыханьем пальцы согревал свои.
Дверь приоткрыли.
— Можно к вам?

* *Александр Ильич Гитович* (1909–1966) — советский поэт, переводчик китайской и корейской литературы (Цюй Юань, Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Го Можо, Мао Цзэдун и др.). С 1937 г. руководил объединением молодых поэтов при Ленинградском отделении Союза писателей. Заведующий отделом поэзии журнала «Литературный современник» (1938–1940).

** *Герман Борисович Гоппе* (1926–1999) — советский поэт и педагог, участник Великой Отечественной войны.

*** *Юрий Никандрович Верховский* (1878–1956) — советский поэт, переводчик.

— Войдите. —
И вождь навстречу встал из-за стола:
— Вы нынче самый первый посетитель.
Какие привели ко мне дела? —
И, широко ступая, по-матросски,
Затягивая тщательно бушлат,
Вперёд проходит комендант кремлёвский,
И сразу видно: он чему-то рад.
Он не скрывает своего волнения,
Подыскивая нужные слова:
— Дрова достал для вас, товарищ Ленин!
— Какие же? — Хорошие дрова!
Одна берёза. Не дрова, а порох. —
Бумагу вынул, положил на стол. —
Доставлю их, товарищ Ленин, скоро,
Вот только ордер подписать пришёл. —
Ильич доволен. Щурится лукаво:
— А много ли достали?
— Целый воз! —
И щёлкнул каблукам и по уставу
Служивший революции матрос.
— Да вы садитесь... Просто молодчина!
У вас большой хозяйственный талант. —
И заскрипели жалобно пружины,
Лишь в кресло опустился комендант.
А Ленин пододвинул ордер ближе.
— Достать в Москве! Ну просто чудеса! —
Улыбку пряча, наклонился ниже
И что-то быстро-быстро написал.
Пальто поправил, чтобы не спадало,
Взглянул во двор, где всё снега мели.
— Мне кажется, уже теплее стало...
Не оттого ль, что вы дрова нашли? —
А комендант от похвалы высокой
Услышал под тельняшкой сердца стук:
Ведь это просто здорово, что смог он
Помочь тому, кто людям лучший друг.
Он быстро встал, взял ордер, как награду,
Смущённо посмотрел на Ильича.
А вождь ему вопрос последний задал:
— Не спутаете адрес сгоряча?
— Да нет, товарищ Ленин, как же можно?
Ну кто же адрес спутает такой! —

И ленинскую руку осторожно
Пожал своей огромной пятернёй.
Но, всё-таки вопросом озабочен,
Он в коридоре встал перед окном
И разобрал на бланке быстрый почерк:
«Дрова доставить срочно в детский дом».
А за окном февраль ветрами вьюжил,
Где, ожидая мартовской зари,
На зябких ветках, присмирив от стужи,
Друг к другу прижимались снегири.

С. ГОРОДЕЦКИЙ*

Наш Ильич (1949)

Какие сплотились в нём светлые силы,
Что, смерти не зная, среди нас он живёт?
За что все народы его полюбили,
За что им гордится советский народ?

За то, что он мыслью своей прозорливой
В сердцах прочитал у рабочих людей
Тоску молодую о жизни счастливой
И пламя зажёл в них от искры идей.

Раздвинув границы всемирной науки,
Народам он дал путеводную нить
И гневною силой рабочие руки
Наполнил, чтоб рабские цепи разбить.

Средь вихрей враждебных над бездной кровавой
Он поднял незыблемый стяг Октября

* *Сергей Митрофанович Городецкий* (1884–1967) — русский советский поэт, переводчик и педагог. В 1905 посещал «башню» Вячеслава Иванова. В 1906–1907 гг. опубликовал символистские с фольклорным уклоном книги стихов «Ярь», «Перун», «Дикая воля». В 1909 г. публиковался в журнале «Пробуждение». В 1910-е разошёлся с символистами, в 1912 г. стал одним из организаторов Цеха поэтов (совместно с Николаем Гумилёвым). В 1915 г. протезировал так называемым «новым крестьянским поэтам» (С. Есенин, С. Клычков, Н. Клюев, А. Ширяевец).

И вывел Отчизну на путь величавый,
Где мира и славы восходит заря.

И нет на земле высоты или дали,
И в счастье грядущем не будет луча,
Где б солнцем великих побед не сверкали
Бессмертные искры идей Ильича...

Б. ГУНЬКО *

«Дожили! Тянутся грязною лапой к Ленину!» (1991)

Дожили!
Тянутся грязною лапой к Ленину!
к Ле-ни-ну! —
приватизатор, бывший партбосс,
плутокрлат и бандит.
Правда расстреляна!
Совесьть молчит!

В бешеной пляске
звериная стая!
Сброшены маски!
Фашизм наступает!
Где ж ваше Слово,
о сёстры и братья?!
Ленину снова
готовят Распятье!

Снова пылают
костры его книг.

* *Борис Михайлович Гунько (1933–2006)* — инженер-химик, поэт-коммунист. В советское время, будучи убежденным коммунистом, не пытался вступить в КПСС. Тем не менее успешно закончил Университет марксизма-ленинизма. После появления в «Советской России» статьи «Не могу поступиться принципами» Н. А. Андреевой связывается с автором и вскоре создает вместе с ней общественную организацию левокоммунистической ориентации. В конце 1980-х ранее никому не известный инженер-химик Гунько выдвигается в число активных поэтов.

Варвары знают,
как Ленин велик.
Жаждают оружие
вырвать у нас.
Коршуном кружит
ворующий класс.

Ленина судят!
А завтра на плахе
корчиться будет
рабочий и пахарь!
В голоде, в холоде, в тяжких мученьях,
люди, вы вспомните вашего Ленина!

Как он был предан
рабочему люду,
Как его предал
всемирный Иуда,
Как вы, и сами
иудами став,
радостно камни
швыряли в Христа!

Вспомните, как, его дело разрушив,
душу и тело вы продали Бушу!
Хуже, чем Смерть,
этот ужас затмения!
Страшно смотреть
на моё поколение.

Страшно, но верю...
окончится бред.
Лжи изуверов
вы скажете: «Нет!
Нету вины Ильича перед нами,
Пир Сатаны мы устроили сами!».

Жаль, только каяться
поздно придётся —
всё покупается,
всё продаётся!
Был и окончился русский народ,
в час, когда Ленина он предаёт.

Л. ДАНИЛКИН***Ленин: пантократор солнечных пылинок****

<Фрагмент>

**Петербург
1893–1897**

Рассказывали, будто в Институте марксизма-ленинизма существовало целое здание, отведенное под производство монументальной Биохроники Ленина: лабиринт коридоров, где на дверях висели таблички вроде «1.07.1917–10.07.1917», «1898, 2-я пол.» и т. п. Если это правда, то синекурой, о которой мечтали все научные сотрудники этого мозгового центра, наверняка была должность заведующего кабинетом «1896»: год, про который мы знаем меньше, чем про какой-либо еще, — и крайне маловероятно, что сможем когда-либо узнать больше. Весь этот год Ленин, арестованный в ночь с 8 на 9 декабря 1895-го, как и его товарищи по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», просидел в камере-одиночке номер 193 в доме предварительного заключения по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная, 25.

Сам он о своем замке Иф особо не вспоминал, проворчал только через 14 месяцев, не успев дописать книгу: «Жаль рано выпустили, надо бы еще немножко доработать». Надзиратель тоже мемуаров не оставил. Мать — сохранились письма — просила освободить его под поручительство, но безответно. Четыре раза его допрашивали. Два раза в неделю можно было видиться с родными: один раз лично — полчаса, второй на общем свидании, через решетку, — час. Чтобы увидеть «невесту» — Надежду Константиновну, ВИ

* *Лев Александрович Данилкин* (р. 1974) — российский писатель, литературный критик, переводчик. Автор трех изданных отдельными книгами годовых критических обзоров современной русской литературы, а также биографии писателя Александра Проханова «Человек с яйцом» (шорт-лист премии «Большая Книга», шорт-лист премии «Национальный бестселлер»), биографий в серии «Жизнь замечательных людей» Юрия Гагарина (премия «Александр Невский») и Владимира Ленина (премия Большая книга, 1 место, 2017; премия «Книга года» в категории «Проза», 2017; замечал, что она заняла у него пять лет). Составитель и автор предисловия к сборнику избранных работ Ленина: «Ленин: Ослиный мост» (СПб.: Лимбус-пресс, 2017).

** *Данилкин Л.* Ленин: Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая гвардия, 2017.

убедил ее явиться в условленное время на Шпалерную и встать в том месте, где был виден в момент выхода на прогулку именно этот кусочек улицы.

Впервые будущие супруги взглянули друг другу в глаза в конце февраля 1894-го на квартире будущего руководителя Гидроторфа и создателя аппарата «торфосос» инженера Р. Классона — где, под видом празднования Масленицы, состоялся мини-съезд марксистского крем-де-ля-крем Петербурга. Празднование было фальшивым, а вот блины настоящими: жандармы иногда заявлялись на околоточные собрания и после того, как при разгоне одного такого в полицейских списках оказались самоназванные Николай Александрович Романов и Бином Ньютонович Гипербола, потребовали носить с собой на всякое суаре еще и паспорта — «Больше вам Гипербол не будет»; реквизит тоже приходилось предоставлять качественный — отсюда и блины.

Дом Первого свидания (в Биохронике — Большеохтинский пр., 99; потомок инженера, М. И. Классон, называет соседний — Панфилова, 26) не вошел в ленинскую мифологию; курьез в том, что это место находится ровно напротив — через Неву — от Смольного, где супруги Ульяновы поселятся 23 года спустя.

Больше, чем своим грядущим местом жительства, блинами и будущей женой — тогда учительницей Корниловских курсов и мелкой чиновницей Управления железных дорог, 24-летний ВИ интересовался другими гостями — П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановским.

Политэкономы и, по мере необходимости, философы П. Струве и М. Туган-Барановский были, по выражению А. Тырковой-Вильямс, «два Аякса марксизма», которые «вместе давали битвы в полузакрытых собраниях Императорского Вольного экономического общества», «вместе составляли программы и манифесты, явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников».

ВИ увидел этих полубогов — ради знакомства с которыми отчасти и перекочевал из Самары в Петербург — живыми впервые, но не стушевался: если где-то рядом затевалась атака на народников, то он тоже мог предложить свои услуги — и для этого у него в портфеле лежало оружие, которое могло избавить Петербург от этой ереси так же верно, как стрихнин уничтожает крыс, а диалектика — либеральную глупость.

М. И. Туган-Барановский, приметливый экономист, дока по части объяснить, как связан промышленный подъем в России с голодными годами, ростом производства в Англии и падением товарооборота Нижегородской ярмарки в сравнении с Ирбитской

и Полтавской (ничего сложного — просто есть устаревшая форма торговли, и новый транспорт убивает ее, как интернет-торговля — офлайн), чувствовал к В. Ульянову антипатию; особенно ощутимую по контрасту с его старшим братом, с которым они вместе занимались в биологическом кружке при Петербургском университете изучением пивов — и даже установили, что у тех есть нечто вроде органов зрения. Что касается органов зрения самого Тугана, то они подвели его — и он разглядел в ВИ только какого-то крошку Цахеса; в предисловии к «Русской фабрике» приведены выдержки из писем Тугана по поводу ранних экономических статей Ульянова-Ильина: «Так хотелось сказать — “маленький ты мальчик, не горячись, будь спокойнее, то, что тебе кажется верным, вовсе не так верно — жизнь неизмеримо сложнее, глубже, таинственнее, чем ты это себе представляешь”».

Что касается П. Б. Струве, то он оказался более покладистым; возможно, этому поспособствовало то обстоятельство, что в ульяновском портфеле лежала, среди прочего, еще и гигантская — и весьма благосклонная — рецензия на последнюю книгу Струве; так или иначе, с того вечера пройдет совсем немного времени — и ВИ сделается добрым приятелем Петра Бернгардовича, а тот будет приглашать самарского юриста печататься в легальных марксистских сборниках и выступать на разного рода полулегальных марксистских ассамблеях со своим главным хитом.

«Друзья» («Что такое “Друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?») были «цыганочкой с выходом» молодого, «дошушенского» Ленина — которую он исполнял в «салонах» и на разного рода молодежных собраниях не раз и не два. Именно благодаря «Друзьям» ВИ заработал себе эпатажную репутацию «рассерженного молодого человека», завтракающего живыми радетелями за крестьян и способного содрать позолоту с нимба на любой иконе. Впрочем, нимбы народников, засиявшие в народовольческие десятилетия, к середине 1890-х несколько поблекли — и идеология их, которую еще только предстояло реформатировать в эсеровскую, представляла легкую добычу для зубастых марксистских хищников, наслаждавшихся ощущением вседозволенности, которое давали им статистика и марксистская диалектика.

Как и большинство ленинских «шлягеров» такого рода, «Друзья» — полемика против идеологических двойников, псевдосоюзников, которые на деле хуже прямого врага — «честной буржуазии». Объект нападков номер один — «главарь» «Русского богатства» либеральный народник «г-н Н. Михайловский», искренне переживавший разорение русского крестьянства и усом-

нившийся в применимости марксовских теорий о капитализме к российской реальности.

Грубая вербальная атака с целью опорочить репутацию оппонента обычно включает в себя серию щелчков по носу, которые если и не квалифицируются формально как оскорбление личности, то звучат паразитительно развязно по тону: «Поскребите “народного друга” — <...> и вы найдете буржуа»; «с мещанской пошлостью размазывает»; «разглагольствует»; «решительно отказываюсь понимать — если это полемист, то кто же после этого называется пустолайкой?!»; «но ведь пишет это не институтка, а профессор» и т. п.

Настоящий конек ВИ — недружественный, в духе энгельсовского «Анти-Дюринга», пересказ с язвительными комментариями: «это замечательное “но”! Это даже не “но”, а то знаменитое “mais”, которое в переводе на русский язык значит: “уши выше лба не растут”»; «С таким же успехом можно бы связать и г. Михайловского с китайским императором! Что отсюда следует, кроме того, что есть люди, которым доставляет удовольствие говорить вздор?!»; «Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого перевертывания Маркса?»; «для грудных детей, что ли, рассказываете это Вы, г. Михайловский, что детопроизводство имеет физиологические корни!? Ну, что Вы зубы-то заговариваете?». В качестве мизерикордии ВИ пользуется классическими текстами; здесь — гётевским стихотвореньицем «Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что бог сжалится»; хороший довод в споре о том, изменит ли строительство фабрик в России, как в Англии, общество в лучшую сторону — или означает фактическое вымирание деревни.

Эта черта ВИ — ругаться, забывая о всякой мере, заливаясь, когда он слышит «чушь», злым смехом, — при первой же встрече врезалась в память будущей невесте, но не оттолкнула ее; чего не скажешь о большинстве других знакомых ВИ. Даже когда ему делали замечание, что его манера повторять последнюю фразу собеседника в сопровождении предуведомления «только подлецы и идиоты могут говорить, что...» не является основой для конструктивного общения, он все равно продолжал пользоваться этим приемчиком; Г. Соломону, который знавал ВИ не только по политическим, но и по семейным делам, он казался «полуненормальным».

Незнакомым, впрочем, это, скорее, нравилось. Анна Ильинична вспоминала, что приятельницы просили ее достать им почитать какой-нибудь из выпусков «Друзей» и на вопрос, какой именно, отвечали — а тот, где ее брат употребляет больше

«крепких слов». Потом, правда, выяснилось, что под «выражениями уж очень недопустимыми» имелось в виду, например: «Михайловский сел в калошу»; но идея понятна, и хотя ВИ, возможно, и производил на народников и посторонних наблюдателей впечатление берсерка, на самом деле его язвительность точно дозирована и просчитана.

И хотя ленинский «ситком о народниках» безбожно растянут (а ведь сохранились только две из трех дошедших до нас частей — середина пропала); хотя Н. Михайловский — пусть даже и осмелившийся вступить в спор с Марксом и Энгельсом — едва ли заслуживал той шокирующей манеры, в духе «ах Моська знать она сильна...», которую ВИ избрал для его критики; и хотя уже во втором абзаце у самого автора начинает заплетаться язык («изложивши...», «излагающей...» в одном предложении; кто на ком стоял?), текст и сейчас можно вернуть к жизни — если как следует жახнуть его дефибриллятором.

Считается, меж тем, что именно «Друзья» изменили статус и общественное положение марксистов, на которых раньше «смотрели в лучшем случае как на чудаков, пренебрежительно похлопывали по плечу (“ах вы марксист эдакий”), насмешливо спрашивали о числе открытых кабаков» (намек на увлечения статистикой и фразу Струве про необходимость для России «пойти на выучку к капитализму»), то есть «травили как выродков в семье благородной русской интеллигенции» (Б. Горев). Ульянов, да, доминирует на поле боя, владеет мячом все сто процентов времени — и ставит галочки против всех пунктов в списке намеченных задач: «отповедь всем божкам народнической публицистики» — дал; «несостоятельность» их подхода в социологии, философии, экономике и политике — вскрыл; умение бить противника статическими выкладками — продемонстрировал; монополию марксистов на понимание диалектического метода — отстоял. Разумеется, все запомнили в «Друзьях» «припев» — хамские персональные атаки на лидеров народников и их идеологию; но важнее всего, пожалуй, тот абзац, где Ленин формулирует мысль совсем иного рода: что просто подначивать рабочих бороться за их политическую свободу есть трюк буржуазной интеллигенции, потому что пролетариат, да, вытаскивает для буржуазии каштаны из огня, но политическая свобода будет служить интересам буржуазии и облегчит рабочим не их положение, а условия борьбы с этой же буржуазией. Это может показаться пустословием — однако в этом предупреждении прописан — в 1894 году! — весь сценарий 1917 года. Характерно, что помимо предупреждения, автор формулирует настоящую задачу рабочих: не просто реализация стихийных революционных

инстинктов, но организация социалистической рабочей партии. Ленину, еще раз заметим, 24 года.

Если осенью 1894-го Надежда Константиновна видела ВИ только в марксистских салонах, где тот размахивал своими «желтенькими тетрадками» с «Друзьями» — которые затем будут циркулировать в нелегальных кругах неподписанными, — то зимой 1894/95 года они знакомы «уже довольно близко», неопределенно поводит рукой в воздухе НК.

«Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры». 25-летняя НК была чувствительной женщиной — у нее даже кружилась голова от запаха табака, которым были пропитаны тетрадки ее учеников в Корниловской школе, где она, вместе с подругами, преподавала молодым рабочим с окрестных заводов географию (и, под ее видом, политэкономия), историю (с упором на классовую борьбу), математику (разрешались только четыре правила арифметики; полиция могла закрыть класс из-за того, что учат десятичным дробям: видимо, дроби пугали полицию потому, что революционеры зашифровывали свои письма как раз ими), литературу (Чернышевский и Писарев). Жизнь учительницы вечерней школы для рабочих была насыщена забавными происшествиями. Один из ее студентов пропал на две недели и объяснил свое отсутствие тем, что не мог оторваться от выданного ему романа «20 000 лье под водой» — пока, проглотив его несколько раз, едва не заучил наизусть. Другой — по фамилии Фунтиков (в пандан к другим ученикам НК — Бабушкину и Кроликову), одурев от чтения Некрасова, решил стать поэтом и, выступая на вечере промышленника, владельца бумажной фабрики Варгунина, продекламировал стихи, где были строки: «Ты эксплуатируй-то эксплуатируй, но помни свои задачи по отношению к рабочим». Варгунин хохотал; то был редкий тип честного отечественного капиталиста, некоторым образом конкурировавшего с социал-демократами. Понимая, что производительность труда обратно пропорциональна уровню пьянства — как среди его собственных рабочих, так и среди «соседских», он сначала учредил нечто вроде интеллигентского кружка, занимавшегося организацией досуга пролетариев, а в 1891-м выкупил у пивоваренного завода «Вена» часть территории и устроил там, с целью обеспечить рабочих «нравственным, трезвым и дешевым развлечением», народный парк — с театром, читальней и каруселями; собственно, он и основал ту самую Корниловскую школу, где НК проповедовала Белинского и Гоголя. «Вена» теперь принадлежит «Балтике»,

но пиво там больше не варят; варгунинский парк «Вена» — с вайфаем, картингом и веревочными «лазалками» — носит имя одного из учеников Крупской; на здании Корниловской школы, под мраморной доской с профилем Надежды Константиновны, намалевано: «Коммунизм — это молодость мира», и произведением вандалов это граффити не выглядит.

Дегустация кулинарных изделий Елизаветы Васильевны Крупской была скорее родом отдыха; чаще ВИ и НК вместе отъезжали по делам, и ВИ учил ее на своих семинарах, которые устраивал для интеллигентов и рабочих, методам ухода от «негласного надзора» — перескакивать с одного транспорта на другой, пользоваться проходными дворами, менять имена и туалеты — и искусству шифрования: для этого бралась какая-нибудь книжка, хоть тот же Некрасов, — и начинали шифровать тексты — и дробями, и через точки над буквами в книжках, и «химией».

Все это оказалось весьма кстати, когда ВИ оказался взаперти на Шпалерной, где все его письма, разумеется, просматривались; приходилось прибегать к разным уловкам.

НК выполнила просьбу «жениха» — и в течение нескольких дней приходила на указанную точку; но то ли неправильно что-то поняла, то ли еще что-то пошло не так — и в следующий раз они увиделись только в Шушенском. В качестве компенсации за эту «невстречу» ВИ мог наслаждаться ассортиментом тюремной библиотеки; мало того, в камеру разрешалось передавать книги с воли. Воспользовавшись случаем без помех погрузиться в запутанный статистический материал, Ленин договаривается с сестрами о поставках литературы — и энергично работает над «Развитием капитализма в России», дважды в неделю получая посылки. В перерывах между книгами он занимался гимнастикой, переписывался легально со знакомыми и нелегально, точками, через книги из тюремной библиотеки, с Мартовым, перестукивался через стенку со Старковым («ухитрялись даже играть в шахматы»), много ел (чтобы писать тайные послания молоком между строк писем и на книжных страницах, нужно было иметь «чернильницы»); ВИ приноровился лепить их из хлеба — и вынужден был отправлять их в рот всякий раз, когда щелкала форточка в двери; «Сегодня съел шесть чернильниц», — отчитывался он в письмах НК; будущая теща нашла его в феврале 1897-го несколько пополневшим), проявлял шифровки не на свечке, как принято было, а макая бумагу в горячий чай — имея последний в достатке («Чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной»). Его веселое настроение

разделяли далеко не все, кто пытался штурмовать питерское небо, — например, Потресов просидел пять месяцев из тринадцати не на Шпалерной, а в Петропавловке, где порядки в это время были таковы, что одна из заключенных, народоволка Ветрова, облилась керосином из лампы и сожгла себя заживо в знак протеста. Другой товарищ ВИ, студент-технолог Петр Запорожец, впал в одиночке в депрессию, связанную, не исключено, с тем, что ему дали срок ссылки на два года больше, чем всем, — якобы как главарю. Он проявлял беспокойство и подозрительность, его раздражало все, связанное с цифрой «два», — до такой степени, что он растоптал один из цветков, который невеста Ванеева принесла в тюрьму; уже после ссылки, сильно осложнив жизнь своим товарищам, он набросился на мать с ножом и умер в психбольнице.

ВИ, представитель совсем иного психотипа, сохранил здоровье душевное и уделял много внимания физическому.

Помимо книг и белья, он выписывал себе минеральную воду из аптеки, клистирную трубку и один раз зубного врача.

Видимо, лучшим биографом Ленина стал бы тот, кто сумел осмотреть его с раскрытым ртом и привязанными к стоматологическому креслу руками. Всю жизнь ВИ терзали зубные демоны — и он не только мучился от боли, появляясь с подвязанной нижней челюстью в самых неподходящих местах, но и использовал стоматологические образы в своей политической деятельности: «у партии имеются два флюса: флюс справа и флюс слева — ликвидаторы и отзовисты... партия сможет снова окрепнуть только в том случае, если она вскрыет эти флюсы»; «ближе мы подходим к тому, чтобы окончательно вырвать последние испорченные зубы капиталистической эксплуатации, — строить наше экономическое здание».

Именно из-за зубных врачей — которых охотно брали как в подпольные политорганизации за удобство использования кабинетов в качестве нелегальных хабов, так и в полицию, по той же причине, — в конечном счете ВИ и оказался в тюрьме и ссылке: «Союз борьбы» выдал 24-летний дантист Михайлов. ВИ вычислил его только уже на Шпалерной — и написал об этом между строк книги «Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного надзора в Херсонской губернии». Рабочие, оставшиеся без сэнсэя, собирались убить провокатора еще в 1896-м, но Михайлов ускользнул, а когда опасность рассосалась, вернулся к своей трикстерской деятельности: в 1902-м свел попа Гапона с Зубатовым и не смог пережить лишь лето 1906-го, когда его, тогда уже начальника сыскной полиции Севастополя, расстреляли на улице эсеры.

Опять же с подвязанными зубами Ленин — совпадение? — проследовал мимо Шпалерной вечером 24 октября 1917-го по дороге в Смольный, едва свернув с Литейного моста; как раз где-то на пятчке, который он указал в качестве места встречи своей невесте, стоял пикет пелевинских юнкеров в «Хрустальном мире». Такого рода здания редко меняют свое назначение, и неудивительно, что теперь там находится «следственный изолятор центрального подчинения» СИЗО-3 ФСИН России. На просьбу автора книги, отчаянно размахивавшего «официальным» письмом из издательства, разрешить с ознакомительными целями посещение камеры номер 193, которая в советское время пусть не была открытым музеем, но оставалась мемориальным помещением, по указанному на сайте телефону было сказано буквально следующее: «Там ремонт, ничего нет, ни музея, ничего, стены разбиты, самой той камеры больше не существует».

Не имея возможности заглянуть в это «великое ничто», мы можем, однако, реконструировать, как ВИ там очутился.

По приезду из Самары в его распоряжении имелись как деньги для аренды квартиры, так и рекомендательные письма, касающиеся и работы, и потенциальных единомышленников по части марксизма; статус помощника присяжного поверенного позволял ему попадать в весьма респектабельные места относительно свободно; ему не нужно было «завоевывать» столицу, как д'Артаньяну Париж, поэтому трансплантация из одной среды в другую прошла быстро, безболезненно и, сколько известно, без приключений.

Судя по отчетам мемуаристов, жизнедеятельность ВИ протекала в трех режимах. В адвокатской среде он был сын действительного статского советника И. Н. Ульянова и носил фрак с цилиндром. Выезжая на окраины, одевался самым непритязательным образом — сами рабочие и те удивлялись помоечному виду своего «Николая Петровича». Наконец, естественной средой для него была студенческо-интеллигентско-разночинная. К «Аяksam» и студентам-технологам ему даже не нужно было адаптироваться. С одной стороны, он был «брат повешенного». С другой — к отцу ВИ обращались «Ваше превосходительство»; и это тоже был элемент выигрышной комбинации, чтобы занять место среди «духовной аристократии» (Струве был сыном губернатора, Потресов — генерала, Калмыкова — женой сенатора, Мартов — из богатой буржуазной семьи); все участники этого кружка впоследствии сделали большие карьеры — академические и политические.

Естественно предположить, что Ульянов прибыл в Петербург, чтобы сделать карьеру, связанную с юриспруденцией; однако, судя по его поведению, непохоже, что продвижение по этой части

всерьез интересовало его. Тем не менее он не пренебрегал и социальным камуфляжем — позволявшим отвлекать внимание от своей нелегальной деятельности. В начале сентября 1893 года по рекомендации самарского адвоката Хардина Ульянов зачислен помощником присяжного поверенного к петербургскому адвокату Михаилу Волькенштейну — который учился в одном классе с Чеховым и написал об этом воспоминания, однако не посчитал нужным рассказать потомкам о своем необычном подчиненном: досадная оплошность, учитывая, что в феврале 1917-го архивы окружного суда Петербурга сгорели и понять, какие именно дела вел Ульянов, невозможно. Косвенные свидетельства указывают на то, что ВИ сам выбирал себе дела — но не по громкости и прибыльности, а по социальному признаку: его интересовало все, связанное с рабочими. Обычно такого рода дела назначал адвокату суд; «хлебными» их точно назвать было нельзя — и, видимо, они позволяли лишь перебиваться из кулька в рогожку, с расчетом на пенсию матери. М. А. Сильвин пересказывает ответ Ульянова на вопрос, «как идет его юридическая работа»: «Работы, в сущности, никакой нет, что за год, если не считать обязательных выступлений в суде, он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов на ведение дел». Формально Ульянова отчислили из состава присяжных поверенных уже после суда, в 1898 году.

Содержать семью ему было не нужно, квартиры — судя по тому «гробу Раскольников», что показывают сейчас в Большом Казачьем, где ВИ прожил с 14 февраля 1894-го по 25 апреля 1895-го, — он нанимал недорогие; доходят, правда, глухие слухи, что до знакомства с НК он якобы ухаживал не то за некой хористкой Мариинского театра, не то... однако все это сведения из серии «глухой слышал, как немой сказал, что слепой видал». Разумеется, как все сообщества прогрессивных молодых людей, марксистские салоны, помимо прочего, выполняли еще и функцию клубов знакомств, где складывались сложные отношения между мужчинами и женщинами. Мартов, например, был влюблен в Любовь Барановскую, подпольная кличка которой, «Стихия», позволяет предположить наличие у нее соответствующего темперамента; она, однако ж, вышла не за него, а за будущего агента «Искры» Радченко. Струве был официально приемным сыном издательницы Калмыковой, но по факту в течение трех лет — ее любовником. Ульянову якобы нравилась Аполлиария Якубова, но она вышла за Тахтарева, и поэтому ВИ познакомился с ее подругой Надеждой Крупской... Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла — как говорили в таких случаях казанские приятели ВИ из мусульман.

В Петербурге Ленин жила, «по-крупному», трижды — с десятилетними примерно интервалами. Большую часть времени ему приходилось укрываться от кого-либо — поэтому знание местности, проходных дворов и переулков было критически важным; и когда в 1905-м и 1917-м он несколько раз просил «достать ему план города» — это не означает, что он совсем не ориентируется на местности: просто если придется уходить от преследований, надо знать больше, чем обычный человек. Для организатора и «маршрутизатора», любящего быстрое планирование, Петербург — сложно устроенный, разрезанный реками и мостами на сектора — представлял хорошее поле для игры. Ленин, по-видимому, не был особо привязан к этому городу — но кажется очень «питерским» типом.

Многому научившийся и в казанских федосеевских кружках, и в самарских разговорах с Хардиным, Ленин к середине 1890-х был настоящим магистром конспиративных искусств и своим даром ускользать от филеров, используя подвернувшиеся по ходу декорации, напоминал персонажей гайдаевских комедий. Он не только менял квартиры, чтобы хозяева не запоминали людей, которые к нему приходили, но и был выдающимся знатоком питерских подворотен, проходных дворов и прочих особенностей городского лабиринта; его манера «шмыгать» в случайно подвернувшиеся подъезды, комнаты швейцаров вызывала восхищение. «Кто-то спускается с лестницы и видит, что сидит в комнате швейцара неизвестный человек и покатывается со смеху», — воспроизводит один из таких кадров с точки зрения случайного прохожего мемуарист.

У Ленина, несомненно, был определенный театральные дар, позволявший ему выдавать себя то за русского рабочего, то за финского косца, то за мастера-англичанина, то за повара-финна; вкупе с его осторожностью это позволяло ему безболезненно перемещаться по районам, чья репутация никогда не была на высоте.

Как он выглядел, какое производил впечатление и что представляла собой его повседневная жизнь?

Все согласны в том, что 24-летний ВИ выглядел много старше своих лет — отсюда уже тогда прилипшая к нему кличка «Старик». Бабушкин в «Воспоминаниях» приклеивает лектору слово «Лысый», Мартов — «Тяпкин-Ляпкин» («На вопрос о происхождении второго прозвища товарищи мне разъяснили: он у нас до всего своим умом доходит»). Шелгунов замечает, что «волосы, усы, борода тоже были в каком-то беспорядке. Лицо было как будто в морщинах, так что он произвел на меня впечатление человека, которому было уже к сорока годам». Что касается режима дня,

то Сильвин рассказывает, что ВИ в период проживания в Казачьем — это рядом с Гороховой, в общем, центр города — вставал в семь-восемь часов, работал дома, часам к одиннадцати шел в читальню газеты «Новости» на Большой Морской. Вторая половина дня, видимо, была посвящена нелегальщине.

«Ленинская» группа — «Старики», по внешности главаря — была одной как минимум из трех «банд» марксистов-практиков, занимавшихся на окраинах кружковой деятельностью; с ними в первой половине 1890-х конкурировали еще «Обезьяны» (тахтаревская группа) и «Петухи» (чернышёвская) — марксистов, готовых просвещать рабочих, было больше, чем потенциальных учеников. Все они были хорошо законспирированы и состояли из людей, которые вели двойную жизнь, все к 1895-му перешли от просвещенческой деятельности — за которой стоял поиск сознательных рабочих — к агитации: «сознательные» должны будут подтолкнуть своих коллег устраивать массовые беспорядки; опыт участия в бунтах, предполагалось, подготовит рабочих для вступления в массовую организацию. Интеллигентам, «профессиональным» марксистам нужно было подливать масла в огонь — чтобы стихийные экономические требования превращались в обдуманные политические.

И «Старики», и «Обезьяны», и «Петухи» рано или поздно проваливались — и оказывались за решеткой; таким образом, надо осознавать, что быть «нелегальным марксистом» в середине 1890-х означало не только принадлежать к прогрессивной интеллигенции и наслаждаться вниманием курсисток на студенческих вечеринках, но и состоять в «обреченном отряде»; хобби примерно такого же рода, что полеты на воздушном шаре.

Сегодняшние представления о кружковых занятиях интеллигентов с рабочими сводятся, пожалуй, к картинке в духе иллюстраций к ориенталистским книжкам: восседающий на ковре в позе лотоса мулла монотонным голосом зачитывает цитаты из Корана, и окружающие его ученики бьются лбами об пол. Ульяновские занятия выглядели скорее как гибрид лекций и дискуссий; ВИ читал «Капитал» и на примерах из жизни разъяснял, что все это значит; чтобы ученики усваивали материал, «Николай Петрович» обострял свои тезисы, переводил разговор на бытовые вопросы и даже на личности, вовлекал в спор, заставлял приводить оригинальные доводы: ведь из кружковцев должны были выйти агитаторы, способные сами растолковать рабочим, зачем им вступать в войну с хозяевами, которые могут их уволить или коррумпировать.

Взамен «Николай Петрович» требовал заполнять анкеты, состоящие из подробных вопросов об условиях жизни рабочих:

дорого ли молоко? читают ли женщины? сколько процентов берут штрафов за опоздание? Это анкетирование было едва ли не самой серьезной частью кружковой деятельности: «студентам» объяснялось, что они должны отнестись к своей среде «научно», изучать свой завод, как сыщик — место преступления. Заглядывайте в соседние мастерские, в окна корпуса администрации, в чужие кастрюли — в общежитиях, и везде разговаривайте, и в особенности держите уши на макушке, когда речь заходит о зарплатах, штрафах, трудовом графике, случаях, приведших к инвалидности, увольнении, готовящихся стачках и произведенных арестах; бытовые условия, распорядок дня и диета рабочих — всё запоминайте, всё записывайте, потом об этом и потолкуем.

Дело не ограничивалось только «Капиталом» и «Манифестом коммунистической партии»; каждый лектор брал своим.

Кто-то описывал высокотехнологичный Небесный Иерусалим, куда еще немного и вступит пролетариат; мир, где все работают и всё общее, производил особенно сильное впечатление на питерских рабочих — которые в тамошнем климате и «достоевской» атмосфере, оторванные от деревенской жизни и затурканные на фабриках, становились нервными и мечтательными. Кто-то, как Г. Алексинский, показывал литографию с «Сотворения мира» Айвазовского: «Товарищи! Вы, наверно, все видели в музее Александра III картину Айвазовского “Сотворение мира”»? Все не устроено, в беспорядке, в полутьме, но вдруг этот хаос озаряет луч света. Этот луч света вносит в среду пролетариата его рабочая партия». Туган-Барановский уверял, что уже через 30 лет пролетариат всё сметет, перестанут существовать частная собственность и государство, все будут свободны и все научатся летать — с помощью авиации. ВИ — «Николай Петрович» — работал совсем в другом режиме и стилистическом диапазоне — и выступал еще и в роли юрисконсульта со специализацией по трудовому праву, способного просветить не только касательно пресловутой прибавочной стоимости, но и насчет того, считать ли праздником запусы или пятницу масленичной недели, сколько именно делятся положенные для отдыха полдня сочельника, каково минимальное количество часов, которые рабочий может трудиться без перерыва на прием пищи, когда считать, что заканчиваются ночные часы — в 4 или в 5 утра, — и допускаются ли отступления от закона в случае внезапной порчи орудий, а также для вспомогательных работников, занимающихся уходом за котлами, обеспечением освещения и пожарной службы. Это создало ему недурную репутацию — и хотя он не расписывал, «как все будет в двадцатом веке», на его «семинарах» никогда не было пустых стульев.

Это только сейчас кажется, что нет ничего проще, чем разагитировать живущих в чудовищных условиях рабочих; на самом деле не такая уж податливая это была среда. М. Туган-Барановский вспоминает, как еще в 1880-х они с приятелями пытались агитировать крестьян — и тотчас столкнулись с криком: «На вилы их!»; и если бы не жандарм, то и некому было бы писать мемуары. Многие рабочие не доверяли чужим и отбрыкивались: сами, дескать, с усами; у них была своя традиция «кучкования» — идущая от Степана Халтурина.

В 1890-е «смычка» между интеллигентами и пролетариатом стала более привычной, но не сразу. Всякая попытка протянуть руку чревата была последствиями — иногда комичными (когда работницы табачной фабрики Лаферм приняли одного агитатора за «нахального Дон-Жуана и чуть не избил»), иногда не очень — так, марксиста Тахтарева в 1894-м рабочие на Шлиссельбургском проспекте отлупили по-настоящему — просто за то, что он не снял шапку, проходя мимо церкви. Надо понимать, что он возвращался домой после того, как провел занятие в своем кружке, то есть выглядел, как они; «Если бы они заподозрили во мне “интеллигента” и “бунтаря”, дело обошлось бы, по всей вероятности, еще хуже». Чтобы успешно общаться с рабочими, нужно было знать множество *Dos&Donts*: можно ругать правительство и попов, но — по крайней мере так было до 1905-го — ни в коем случае не царя: «Чашки бей, а самовара не трожь». Отсюда, собственно, озадачивающие лозунги, иногда выбрасывавшиеся самими рабочими: «Долой самодержавие, а царя оставить»; отсюда добровольное участие 50 тысяч рабочих — колоссальная цифра для 1902 года — в подношении венка к монументу Александру II в Москве. Неудивительно, что многие разочаровывались: если агитировать против монархии можно только под защитой полиции, то зачем такая агитация?

Марксистов в Петербурге было больше, чем щелей в том заборе, что отделял их от социального «материала», которым они собирались пробавляться. И раз работа с «массой» была невозможна, приходилось отыскивать и обучать азам марксизма отдельных сознательных рабочих, которые потом понесут идеи в массы, общаясь с ними на их языке: вы — сила, если сможете организовать, вы можете не просто получать больше денег, но стать властью; слабо?

Люди с экстраординарными коммуникативными способностями всегда ценятся в обществе, но особенным дефицитом в 1890-е были те, кто имел контакты в разделенных условиях существования мирах: разночинном и пролетарском Петербургах.

Один из старейших членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», счастливо избежавший в 1895-м ареста Васи-

лий Шелгунов, работал на Обуховском заводе и одновременно был «студентом» технолога Германа Красина, брата Леонида. Сolidный человек, он увлекся марксизмом и активно пользовался своим природным талантом заводить знакомства; его записная книжка толщиной напоминала «Желтые страницы», и именно этот человек разогревал среду до той температуры, когда социальные атомы начинали активно двигаться; благодаря Шелгунову, который через несколько рукопожатий знал, кажется, всех рабочих Петербурга, пролетарский Петербург вошел в плотную смычку с интеллигентским. Когда осенью 1894-го Шелгунов пригласил нескольких социал-демократов поработать в кружках, при дележке города на районы Ульянову, Мартову и Кржижановскому достался Шлиссельбургский тракт — Невская застава.

Расположенная на юго-восточной окраине Петербурга Невская застава была огромная — самая, наверно, большая в дореволюционной России — промзона, больше чем на десять километров растянувшаяся вдоль Невы, особенно с той стороны, по которой идет Шлиссельбургский тракт — нынешний проспект Обуховской Обороны.

Невская застава была настоящей твердыней русского капитализма; ее называли «русским Манчестером» или «русским Сент-Антуанским предместьем». Там было около пяти десятков заводов и фабрик — военных, чугунолитейных, ткацких, бумагопрядильных, стеариновых, химических, пивных, писчебумажных; из них десятков настоящих монстров — таких как Обуховский или Семянниковский. Возможно, сейчас она в меньшей степени «на слуху» в качестве очага революционного движения Петербурга, чем Выборгский район, — потому, наверно, что в последнее десятилетие перед революцией дух бунта почему-то там подвыдохся; однако в 1890-е то было самое перспективное в России место, с самыми сознательными и взрывоопасными пролетариями, и неудивительно, что Ульянова, для которого каждая фабричная труба была тем же, что бобовый стебель для сказочного Джека, тянуло сюда магнитом. Это был одновременно книжно-романтический — но скорректированный практическим опытом общения трезвый, прагматичный интерес; судя по текстам, Ульянов не испытывал по отношению к рабочим религиозного благоговения (класс вряд ли самостоятельно справится с ролью спасителя мира от капиталистического апокалипсиса) и уже тогда, как и после, выступал против абсолютной самостоятельности рабочих организаций: они должны работать совместно с «учеными» социал-демократами, взаимодействовать — но не оставаться самостоятельными политическими единицами.

Чаще всего фабрики в России открывали те, у кого были технологии и машины, — англичане и немцы. Особенно удобно им было работать в Петербурге, где были дешевая рабочая сила и приемлемая бизнес-среда. Отсюда фабрика Торнтона, мануфактура Максвелла, Александро-Невская мануфактура Паля, Невская писчебумажная (Джон Гобберт + Александр Варгунин); да и Семяниковский завод основал в 1857 году человек по фамилии Томпсон.

К началу 1890-х Россия напоминала Китай (переставьте одну цифру) начала 1980-х: изобилие полезных ископаемых, почти неисчерпаемая дешевая рабочая сила — идеальный плацдарм для разворачивания капитализма, особенно любопытный для наблюдателя в силу многочисленных «но», тормозящих эксплуатацию всех этих естественных богатств: закрытая таможенная система, затруднительность иностранных инвестиций, а главное — «невысокое качество русского труда», то есть низкая производительность — которая была для марксистов такой же проблемой, как для самих капиталистов; именно поэтому, когда товарищ с возмущением рассказывал ВИ о диких нравах начальства на одной сапожной фабрике: «За все штраф! Каблук на сторону посадишь — сейчас штраф», — тот смеялся: «Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, и за дело».

«Несмотря на то, что русский рабочий получает гораздо меньше западноевропейского, труд в России обходится едва ли не дороже, чем на Западе. В Англии на 1000 веретен — 3 рабочих, в России, по расчету Менделеева, — 16,6. Поэтому получая в 4 раза высшую плату, английский рабочий обходится дешевле фабриканту, чем русский рабочий», — чеканит цифры политэконом М. Туган-Барановский. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, полицейские запреты на любые виды протестов плюс невежество и безграмотность рабочих — вот те особенности, которые определили «физиономию» русской промышленности, обрекли ее на зависимость от иностранных технологий — и на тот сценарий, который реализовался после 1917 года, когда рабочие сами «национализировали» фабрики и заводы.

Трансформация сельской местности вокруг Петербурга в индустриальную зону, подразумевающая заселение ее людьми, оторвавшимися от почвы, началась еще при Петре, который, во-первых, переместил сюда ямщиков из Смоленской губернии — чтобы обслуживали Шлиссельбургский тракт, во-вторых, заложил здесь несколько кирпичных заводов, обеспечивающих Петербург стройматериалами. Основная масса заводов возникла уже в XIX веке — и комплектовалась мужчинами, которые пона-

чалу приезжали из деревень только на зиму, подработать, а потом, вкусив городской жизни, перевозили в слободки семьи.

Петербург работал гигантским пылесосом, который на протяжении десятилетий высасывал рабочую силу из деревни, особенно из северных губерний — Вологодской, Псковской, Архангельской. Есть сведения, что к концу 1890-х «natural born», потомственными пролетариями были 89 процентов рабочих города. На Торнтоне, Обуховском, Путиловском, Балтийском можно было увидеть толпы людей, проработавших на одном месте по четверть века. Именно в этой среде и следовало искать грааль марксистов — «сознательных» рабочих, сверхчеловеков-мессий, которые и должны были самоорганизоваться в процессе буржуазной революции, а затем совершить свою. Всего в Питере были сконцентрированы около пяти процентов от всего тогдашнего российского пролетариата: примерно 150 тысяч «настоящих» фабрично-заводских рабочих (то есть исключая строителей, грузчиков, кустарей и т. д.).

Молодые марксисты, унаследовавшие от народников интерес к перспективным в научно-историческом смысле классовым контингентам, смотрели на этот процесс как на сжатие стальной пружины, обратный ход которой можно направлять, — и изучали этот новый антропологический вид, расу, которая должна была стать материалом для преобразования истории, с тем же усердием, с каким Дарвин исследовал своих зябликов, а Александр Ульянов — пиявок. По тому, как быстро развивались события, какой эффект оказывала на массы пропаганда, было ясно, что вопрос, подействует ли на пролетариев оживляющий порошок марксизма или нет, уже не стоит; вопрос стоял: как скоро?

Политическая жизнь носила отчетливо сезонный характер, и с цветением черемухи деятельность кружков сворачивалась, интеллигенция рассеивалась по дачам. В 1894-м ВИ выехал из Петербурга к середине июня — чтобы провести лето под Москвой, в Люблине, на даче у семьи сестры, Елизаровых. В парке в Кузьминках до сих пор стоит менгир, напоминающий, что Ленин не болтался в этой сельской атмосфере без дела, а работал над «Друзьями» и переводом «Эрфуртской программы» Каутского; было бы правильнее поставить памятник либо с печатной машинкой (потому что именно здесь ВИ впервые попытался научиться — без особого успеха — печатать), либо, еще лучше, с велосипедом: во-первых, потому, что это лучший символ для выражения политических и этических идей Ленина, а во-вторых, потому что именно в этих местах он научился кататься на велосипеде — чтобы затем на протяжении всей жизни оставаться страстным, как тогда говорили, «циклистом». Машина, на которой учился ездить ВИ

(а также его младший брат, Дмитрий Ильич, и сосед Елизаровых по люблинской даче толстовец Павел Буланже), весила 53 фунта и принадлежала Марку Елизарову: он служил на железной дороге и мог себе позволить предоставлять родственникам и знакомым новинку для экспериментов.

В Европе в середине 1890-х был настоящий велосипедный бум; езду на велосипеде рекомендовали как средство физиологического и социального оздоровления. В одной России издавалось четыре профильных журнала («Циклист», «Велосипед», «Самокат», «Вестник Московского общества велосипедистов-любителей»), и решительно все учились кататься; даже 67-летний Толстой, одновременно с Лениным. Август Бебель ввел моду на велосипед в среде европейской социал-демократии — воплощение демократичности, он, депутат рейхстага, прикатывал на нем на рабочие митинги в Берлине; и даже Плеханову, который считал следование моде ниже своего достоинства, пришлось, морща нос, дотронуться до руля и седла велосипеда, принадлежавшего сыну П. Аксельрода: «А что, хорош велосипед? Не прокатиться ли и мне на нем? Или неудобно тамбовскому дворянину ехать на стальном коне?» Ему в его светлом костюме, желтых ботинках и лайковых перчатках, видимо, представлялось, что это недостаточно элегантный для него аксессуар.

Ленин умел крутить восьмерки, чинить прямо на тротуаре проколотые и лопнувшие шины и именно что гонять, не обращая внимания на красный свет светофоров и другие предупреждающие сигналы; он постоянно попадал в аварии и, судя по отчетам тех, кто встречал его на улицах разных европейских городов, представлял собой на велосипеде что-то вроде колесницы Джаггернута — готовый продемонстрировать всякому, кто не разделяет его взгляды, свои преимущества в скорости, ну или, в худшем случае, преподать самому себе урок диалектики: сядишься на велосипед, а слезаешь с кучи металлолома.

Как и во многих прочих сферах, он посвящал себя не только практике, но и педагогической деятельности; сразу несколько мемуаристов, по странному совпадению женщины, рассказывают о своем опыте по этой части. Особенно запоминается — потому что вообще эта женщина ненавидела Ленина и сообщала об этом при любой возможности — свидетельство жены Г. Алексинского. Т. Алексинская никак не могла преодолеть страх и поехать одна, без поддержки; она угодила в ученицы Ленина летом 1907-го в Финляндии. «Вдруг, усмехнувшись, он подходит и говорит: “Запомните хорошенько одно: нужно только захотеть! И когда вы почувствуете, что желание охватило вас всецело,

то смело в путь, все достигнете! А теперь, — он с силою толкнул мой велосипед, — *de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace!*». «Для победы нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость» — пожалуй, дантоновская цитата сообщает этому символу Ленина еще одно измерение.

Летом 1895-го ВИ выбирается из города уже в конце апреля — намереваясь всерьез подлечить свой желудок и заодно наладить контакты с европейскими социал-демократами. Май он проводит в Швейцарии, июнь — в Париже, июль — август — в Берлине и опять в Швейцарии и в сентябре завершает свое турне в Прибалтике.

Побывав в Берлине и Париже (у Поля Лафарга, который охладил его энтузиазм касательно возможности вбить рабочим Маркса кружковыми, «книжными» чтениями: «Они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает») и поправив, в обществе Аксельрода, здоровье на швейцарском горном курорте, ВИ едва не доехал до Лондона — но договориться о встрече с Энгельсом не удалось: 75-летний сагамор, находившийся при смерти, не пожелал принять молодого русского социалиста и тем же летом отправился в страну вечной охоты, так что еще и некролог пришлось с колес писать.

Европа завораживала 25-летнего адвоката прежде всего легальностью социализма: там можно было свободно посещать социал-демократические собрания, свободно выходили журналы, газеты для рабочих; ВИ набрасывался на этот тип потребления с жадностью. В Швейцарии состоялось его знакомство с будущими соредакторами по «Искре». Плеханов только что закончил книгу с сулящим увлекательное путешествие в мир марксистской философии названием «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»: тотальная ревизия истории, философии, экономики и, среди прочего, либерального народничества с марксистских позиций; и хотя Плеханова, полагавшего, что литературных талантов Ульянова едва ли хватит даже на создание инструкции, как пользоваться утюгом, прошиб бы холодный пот от одной лишь мысли об этом, однако если бы в типографии перепутались страницы «Монистического взгляда» и «Друзей», то никто бы этого не заметил.

ВИ нарисовался в Женеве и Цюрихе не просто как очередной марксист-самоучка, из тех, что съезжались к Плеханову и Аксельроду на манер китайских туристов, целыми группами. Отгектографированные «Друзья» добрались уже и до Плеханова с Аксельродом — которые очень нуждались в связях с организацией рабочих с конкретных предприятий, а не «русскими рабочими вообще»;

такого рода организацию они могли бы представлять в Европе на конгрессах Интернационала, и поэтому Ульянов был интереснее им едва ли не больше, чем они ему. Совместное периодическое издание? Отлично. Манифест российской социал-демократии? Да хоть завтра. Устроить что-то вроде съезда делегатов от российских марксистских кружков? Устраиваем. Хотим создать партию по образцу немецких социал-демократов? Прекрасно, давайте оформлять, немедленно! И он уехал оформлять.

Относительно того, кем он видел себя в этой будущей партии, сведений нет; были люди и с большим опытом, и более начитанные, и с настоящим боевым прошлым — как Плеханов, как Струве, как Вера Засулич. Но Плеханов эмигрировал из России пятнадцать лет назад, Струве был на настоящей, с живыми рабочими, фабрике один раз, на экскурсии, а Вера Засулич к тому моменту была скорее литературным критиком, чем террористкой. Однако ж и ВИ до поры до времени не проявлял претензий на лидерство.

Плеханов связал Ленина с Вильгельмом Либкнехтом — «штудирен, пропагандирен, организирен» которого ВИ так кстати цитировал в «Друзьях народа», — и, видимо, как раз эти двое и помогли Ленину раздобыть главный трофей его поездки. То был чемодан с настолько хитроумно сделанными потайными внутренностями, что туда поместился целый мимеограф — недавно изобретенное Эдисоном устройство: металлический цилиндр с ручкой сбоку, который, проворачиваясь, копирует вложенную в него бумагу. По тем временам это было примерно то же, что везти в Москву 1970-х ксерокс: можно было делать 600–800 копий, в 15 раз больше, чем на гектографе. Таможенники или жандармы, похоже, обнаружили, что с чемоданом что-то не то, но не стали конфисковывать его — в надежде проследить за владельцем и выйти на всю банду. ВИ, однако, был готов к этому — и умудрился подменить заветный чемодан по заранее обговоренной с товарищами схеме на поддельный, который он демонстративно — якобы уходя от погони — зашвырнул в Екатерининский канал, заставив филеров искать его там с водолазами. Прибор проработал в «Союзе» еще несколько лет, пережив повальные обыски декабря 1895-го.

За ту пару лет, что ВИ «работал» в Петербурге, у него образовалось несколько групп в разных районах — на Нарвской заставе, Васильевском острове, Черной речке, и это только достоверно известные. Но поскольку особым вниманием ВИ пользовалась именно Невская застава, нет ничего удивительного в том, что когда конструкторы Ленинлэнда пришли к мысли увековечить героический пренатальный период РСДРП, из тех десятков адресов, где

ВИ регулярно встречался с рабочими, преподавал в кружках или посещал собрания, выбран был «шелгуновский».

То, что сейчас называется «Домиком Шелгунова», на самом деле В. А. Шелгунову не принадлежало, и сам он был там сбоку припека — снимал жильцом комнату. Тем более никогда не жил там сам ВИ. И всё же многие местные жители уверены в обратном — и хотя они не правы, здесь обязательно надо побывать всем, кто «охотится» за «молодым Лениным» в Петербурге.

Между грязно-серыми, как из балабановских фильмов, пятиэтажки Новоалександровской улицы разбит скверик; к нему примыкает аллея, радующая глаз набором небольших стел-полуколонн, напоминающих не то о монолитах-радиоизлучателях из «Космической одиссеи», не то о столбиках-гномонах. Древние астрономические инструменты увенчаны бюстами: Крупская, Шелгунов, Шотман, Бабушкин... ну и Ленин, конечно. Сразу за ними, в самом центре оазиса, стоит аккуратный деревянный двухэтажный теремок, будто принесенный ураганом из Канзаса.

Этот коттеджец, принадлежавший хозяевам соседней Карточной фабрики, был рассчитан на четыре семьи рабочих; две верхние комнаты занимала семья Яковлевых — а еще одну они пересдали обуховцу Шелгунову (обычно рабочие старались снять у хозяев побольше, чтобы потом и самим что-то иметь от аренды), и уж тот принялся «водить» сюда Ленина.

Скорее всего, в 1890-е дом был обычным, хотя далеко не самым ужасным бараком, каких было понатыкано по округе десятки и сотни, целый лабиринт: халупа для рабочих с сортиром во дворе. Но сейчас теремок выглядит едва ли не романтично: сельская идиллия посреди спрута-города; совсем не похоже на бараки, как в романе «Мать» или в советских диорамах.

После блокады дом остался один в округе — все остальные деревянные строения сожгли: не хватало топлива для ТЭЦ; и сейчас это музей «Невская застава». Разумно, по нынешним временам, переформатировавшийся из политически ориентированного в краеведческий, он поддерживается в превосходном состоянии — и не только позволяет увидеть подлинную толстовку В. Шелгунова, но заставляет взглянуть другими глазами на весь район: а ведь в самом деле, прекрасно сохранилась и краснокирпичная Невская писчебумажная фабрика Варгуниных, где работали обитательницы дома Шелгунова; функционирует Александровский чугунолитейный, где в 1845-м был собран первый русский паровоз, — теперь это «Пролетарский», выпускает, к примеру, судовое оборудование. Действует и знаменитый Семянниковский — живущий, конечно, не паровозами и миноносцами, но машиностроением. Даже

Императорская Карточная фабрика — хотя бы и скрывшаяся под блеклым псевдонимом Комбинат цветной печати — и то на месте; ее, правда, вот-вот перестроят под бизнес-центр — но цеха, замечательной красоты, остались, — и оказались в окружении современного жилого комплекса.

Нынешняя Невская застава — это район вокруг проспекта Обуховской Обороны, станций метро «Пролетарская» и «Ломоносовская», Володарского моста, Парка имени Бабушкина — и на другом берегу Невы Сквера текстильщиков и Невской мануфактуры. Даже на метро путь неблизкий — хорошие полчаса из центра; а тогда? От Николаевского, нынешнего Московского, сюда ездила «дымопырка» — паровая конка с «империалом» — местами наверху; наверху было дешевле — три копейки против пяти в салоне. Потом, от Смольного, пустили «паровичок» — поезд из пяти-шести вагонов с паровозиком, вроде тех «игрушечных», что сейчас ездят по ВДНХ или Горкам Ленинским, — но на рельсах, гораздо более неуклюжий и страшно дымящий. Путешествия на «паровичках» 1890-х часто оказывались далекими от идиллических. Бабушкин рассказывает, как рабочие одного из заводов, устроившие бунт, разъярившись, нападали на поезд, бросали в него камни, барабанили по стеклам палками (машинист сползал с сиденья, увеличивал скорость и пытался не глядя проскочить сложный участок; пассажирам приходилось валиться на пол); проще всего было положить что-нибудь на рельсы, чтобы устроить крушение — боялись, что паровоз и поезд раздавят самих же рабочих. Стачки, романтизированные в советское время, были жестоким мероприятием; ближайший их современный аналог — майданные события в республиках бывшего СССР, когда неугодных запикивают в мусорные ящики и закатывают в горящие автомобильные покрышки. Посторонним — даже сочувствующим — в толпе такого рода может прийтись несладко.

Характер выступлений рабочих Невской заставы был далек от систематического. То собрались в лесу по случаю смерти Энгельса. То сплавали на пароходе «Тулон» — да так, что ради конспирации напоили команду и управляли судном сами. В случае более долгоиграющих бунтов начинали ползти слухи — которые, когда доходили до посторонних марксистов-интеллигентов, часто оказывались устаревшими. Разумеется, информация о том, что «масса сама заговорила о себе громким голосом» — когда мастерицы на табачной фабрике Лаферм, возмущенные снижением зарплат, перебили в цехах окна и принялись крушить станки, была той музыкой, о которой мечтали уши Ульянова и его коллег по тайному обществу. А уж визит на фабрику градоначальника,

который распорядился поливать работниц ледяной водой из пожарных кишок и ответил на доводы стачечниц относительно невозможности прожить на предлагаемые деньги знаменитым: «Можете дорабатывать на улице», — требовал немедленных действий: усугубить, перевести из экономической в политическую плоскость, возглавить. Фабрики, однако ж, были закрытыми корпорациями, куда посторонним особого хода не было; если там и происходило нечто необычное, то объявления на стену не вывешивалось и пресс-секретарь стачечников газеты не обзванивал. Для подтверждения того или иного слуха непременно требовался живой свидетель, с самой фабрики, — но где ж его было взять, да такого, чтобы пошел на контакт? Или, точнее, такую: там же женщины. Неудивительно, что в какой-то момент мы застаем крайне мало пьющего Ульянова в трактире за Невской заставой, за столиком, откуда хорошо слышны не только гудки фабричных труб, но и чужие разговоры; как ни странно, важной частью деятельности марксиста-практика было подслушивание, и не всегда продуктивное: в тот раз, разумеется, посетители заведения смаковали пикантный момент обливания женщин водой, тогда как о политике или хотя бы о требованиях табачных леди речь не заводили; их собственное мнение сводилось к разумной сентенции: «А потому не скандал!»

По сути, первые попытки социал-демократов зацепиться своими зубьями за рабочую шестеренку были чем-то вроде социологических экспериментов; идеи «окончательной встряски» возникали самые экзотические. Так, однажды родился — и «встретил всеобщее одобрение» — план объявить на некой квартире большую сходку, стянуть туда как можно больше народу — с оружием, и одновременно отправить жандармам донос на самих себя. Смысл затеи состоял в том, чтобы принять бой — и хоть так, не мытьем так катаньем, «расшевелить» дремлющих обывателей, форсировать превращение стихийных экономических протестов в классово-политические. «Словом, получилось бы буквально одно из тех сектантских самосожжений, которые известны истории русского раскола».

Первая из сохранившихся листовок, сочиненных Ульяновым, обращена к рабочим Торнтон: вон она, мануфактура, торчит, на Октябрьской набережной, никуда не делась. Этот район — как и проспект Обуховской Обороны через Неву — не производит впечатления процветающего: у него неуютный, невзрачный, свидетельствующий о моральной изношенности вид; обычная вроде бы спальная полусоветская, полуноворусская окраина — но словно более усталая — и от бурного революционного прошлого, и от со-

ветской бетонной демьяновой ухи. Никакой джентрификации: трансформация краснокирпичных зданий мануфактур в редакции глянцевого журналов и лофты, как в Москве, еще не набрала популярность. Многие памятники, расставленные в советское время, украдены или выглядят гротескно и безобразно; еще одна волна «декоммунизации» — и от Невской заставы останутся только голые бетонные плиты непонятно какой эпохи. Однако если заменить помутневший от разрушенных ультрафиолетом XX века белковых структур хрусталик свежим протезом, серая стертая панорама вдруг наливается — хотя бы местами, фрагментарно — особой, токсичной красотой: граненые, украшенные «капителями» кирпичные трубы-колонны, кружевные багрянобежевые, словно из шотландского замка водонапорные башенки, островерхие неоготические силуэты фабричных цехов превращают пейзаж в произведение искусства, реди-мейд сувенир из эпохи 1890-х, когда фабрики были территорией страдания, обителями, где гнездились химически чистое, беспримесное зло.

До революции Торнтон — не лишенное эlegantности пятиэтажное здание «индустриального дизайна» — был, пожалуй, одним из двух самых крупных предприятий на Невской заставе, наряду с Семянниковским (к рабочим которого, кстати, ВИ написал первую свою листовку вообще — так что теперь там, на территории, стоит каменный, что ли, факел — разлапистый, как елка, в полторы сажени шириной, — на котором написано, что это в честь той самой — не сохранившейся — листовки). Торнтон выпускал (да и сейчас, теоретически, выпускает; в советское время он назывался Комбинат тонких и технических суконов им. Э. Тельмана, а с 1992-го — АО «Невская мануфактура») шерстяные ткани: драп, фланель, шевиот.

Тысяча женщин и около девятисот мужчин, работавших на фабрике, выполняли тяжелую, однообразную работу в плохо пригодных для пребывания условиях, по 13–15 часов в день. У них была низкая производительность труда, и начальство с ними не церемонилось. Владельцами были англичане с гротескными именами Джеймс Данилович и Чарльз Данилович. Хозяева и высший менеджмент, обычно иностранцы, англичане, жили в деревянных виллах, разъезжали на автомобилях, у них была своя пристань — целый спектр возможностей быстро и с комфортом добраться до Невского. Для рабочих было построено пять домов, казарм: либо общие спальни, либо конурки для семейных; одна плита на десятки семей, хочешь, чтоб твой горшок со щами был поближе к огню — доплачивай кухарке по два рубля в месяц или ешь пищу полусырой. На одной кровати спали по несколько

человек, мастера устраивали себе гаремы, могли избить своего рабочего кнутом за то, что тот покупает водку не в фабричной лавке (где обвешивают и заведомо завышают цены). Это была какая-то индийская — или африканская, эфиопская — бедность. У многих рабочих все имущество помещалось в небольшой мешок или сундучок. Маленькие дети без призора; повсюду грязь, блохи, клопы, вши; нет ни света, ни водопровода. Младенцев выхаживают так, что лучше даже не писать о том, как выглядела соска, чем их кормили и как предотвращали крик. У Торнтонов было даже свое кладбище — не такое уж редко посещаемое место, учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляла тридцать два — тридцать три года.

В ноябре 1895-го здесь вспыхнула забастовка — которой и попытался дирижировать «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», подпольная социал-демократическая организация, созданная ВИ на основе марксистского кружка студентов Технологического института. Первую листовку — с изложением требований — сочинил Г. М. Кржижановский. Когда забастовка кончилась, за перо взялся Ульянов; текст сохранился. «Ткачи своим дружным отпором хозяйской прижимке доказали, что в нашей среде в трудную минуту еще находятся люди, умеющие постоять за наши общие рабочие интересы, что еще не удалось нашим добродетельным хозяевам превратить нас окончательно в жалких рабов их бездонного кошелька». После звучащей «по-пелевински» прижимки начинается «сорокинщина»: «В шерсть стали валить, без всяких оговорок ноллеса и кнопа, отчего странно замедлялась выработка товара, проволочки на получение основы, будто ненароком, увеличались, наконец, стали прямо сбавлять рабочие часы, а теперь вводят куски из 5 шмиц вместо 9, чтобы ткач почаще возился с хлопотами по получению и заправке основ, за которые, как известно, он не получает ни гроша». И заканчивалось все шестью требованиями с интонацией Ваньки Жукова — «чтобы в расценках не было обмана, чтобы они не были двойными» и т. п. («Например, бибер мы ткали по 4 р. 32 к., а урал всего за 4 р. 14 к., — а разве по работе это не одно и то же?»)

На самом деле, если знать контекст и понимать, о чем идет речь (бибер и урал — это сорта драпа), листовка не кажется такой уж забавной: ишь как изгаляется, чтоб за своего сойти; по правде сказать, в ней нет и вовсе ничего забавного. Это профессионально выполненная, адекватная, надо полагать, по языку вещь (у Ленина не так уж часто встретишь музыкально звучащую фразу, но ухо у него было довольно чуткое, и когда в графе «профессия» он указывал «литератор», то нисколько не преувеличивал). Да,

многие фразы режут слух — но это «нишевая литература», рассчитанная на специфическую аудиторию. Да, по этому тексту пока не чувствуется специфическое ленинское искусство «социального гипнотизма» (термин социал-демократа Б. Горева) — умение «так воздействовать устной и печатной речью на разум и волю масс, что эта воля подчиняется воле вождя». В забастовке поучаствовали не все работники, около пятисот; она не переросла в вооруженное восстание. И все же листовки, по воспоминаниям многих участников событий, производили и на фабричных, и на заводских обитателей одинаковый эффект — сходный с магическим. Обычно их находили в «ретирадах» — отхожих местах. Туда принимались наведываться группами; начиналось кучкование, «праздничное оживление». В какой-то момент через сторожа или иное незаинтересованное лицо листовка отсылалась в дирекцию; там тоже начиналось движение; часто заранее — потому что сочинители листовок отсылали копии всем, вплоть до полиции. Начальство — мастера, управляющие, иногда хозяин — выходило к людям. На вопросы, что конкретно они требуют, толпа обычно кричала — мол, сами читайте, там все написано; более конкретные ответы давали таким образом, чтобы отвечающий был прикрыт толпой — иначе потом выгонят. Но самое любопытное, что листовки оказывали эффект как раз на хозяев: «На глазах у рабочих фабричная инспекция и жандармский полковник производили исследования, пробовали тухлую некипяченую воду в баках, вешали гири, проверяли весы, мерили куски... Настроение у рабочих было самое радостное, особенно когда после всей этой встряски уничтожались уже очень очевидные злоупотребления». В том, что какие-то листки могут вызвать уступки хозяев, которые никогда не реагируют ни на какие жалобы, ощущалось едва ли не колдовство; рабочие — слабая, по самоощущению, сторона — начинали осознавать, что «хулиганы» их побаиваются.

В результате каждую следующую листовку оказывалось распространить проще; репутация «Союза» росла как на дрожжах; марксистов приглашали на заводы — а сделайте нам такое!

Разумеется, листовки не Ульяновым придуманы; самопальные, 1880-х годов, обычно отличались краткостью и емкостью: «Кто завтра продолжит работать, тот получит...» Один мемуарист вспоминает знаменитое «объявление», подписанное: «руку приложил Павел Иванов»; «причем на листе действительно была приложена рука, т. е. отпечаток руки. Этот отпечаток был таких внушительных размеров, что можно было усомниться в существовании такой руки, если б для воспроизведения ее на бумаге можно было допустить какой-либо другой способ, а не действительное

“рукоприкладство”» («Из рабочего движения за Невской заставой в 70-х и 80-х годах. Из воспоминаний старого рабочего»). Неудивительно, что последствиями таких листовок обычно становились драки с охраной и ломка машин, мало к чему приводившие.

Искусство написания самодельных листовок постепенно эволюционировало. В 1890-х рабочие могли прочесть, например, такое: «Господа рабочие товарищи! Обратите внимание и ваш взгляд на жизнь свою. Если бы вам пришлось встретить иностранца, по чину равного себе, то вы сразу сознаетесь, что вы против их дикари. Они также были угнетаемы своими хозяевами, но благодаря их острому понятию давно улучшили свое положение. Они по-нашему в часы отдыха не валяются в грязи, в рваной одежде около кабаков и трактиров, не относятся с ругательством и нередко с побоями к своим товарищам, как русский мужик, а собираются вместе и толкуют об улучшении, или же захочет развеселиться, то садится на велосипед и едет кататься и вместе с тем развивает свою мускульную силу». Живо — но по-прежнему мало конкретики; не попросишь же начальство перевести тебя в иностранцы.

Понимая, что малейшая фальшь в интонации убьет весь эффект от текста, ВИ и уделял так много времени анкетированию рабочих: это позволяло ему писать не просто «пролетарии всех стран, соединяйтесь», а предметно, с деталями, да, имитировать явно чужую речь, но не сбиваясь на пародию; как индейцы в романах Фенимора Купера подражали птичьим крикам.

Занятно, что «магия» листовок, работавшая в 1893–1895 годах, затем иссякла — но только потому, что рабочие и сами уже знали, чего могут добиться стачками, и устраивали их с пугающей полицией регулярностью; вырастая, в точности как было предсказано в марксистских сочинениях, они хотели уже литературы посерьезнее — периодики, газет. Всё это в конце концов приведет к ситуации 1905–1906 годов — «идеальному шторму».

Пожалуй, фигура, через посредничество которой о молодом Ленине можно узнать больше, чем как-либо еще, — это погибший в 1906 году тридцатитрехлетним рабочий Иван Бабушкин.

С Лениным его познакомил Шелгунов. Но то, что Бабушкин был уникалом, вычислила Крупская, у которой он учился в Корниловской школе; он был очень наивным, запомнила Крупская, — написал на уроке русского языка на доске: «У нас на заводе скоро будет стачка».

Бабушкин был рабочим-металлургом, заводским; это важно: ткачи и металлурги — «плебс» и «аристократия» пролетариата. Ульянова больше интересовали металлурги как наиболее сознательные рабочие — которые, в свою очередь, могли компетентно

просветить и распропагандировать более темных ткачей. В случае с Бабушкиным эта схема сработала идеально — по заданию «Искры» он немало времени провел на фабриках в Иваново-Вознесенске, Шуе, Орехово-Зуеве — самых чудовищных анклавах российского капитализма. В возрасте около двадцати лет он на тринадцать месяцев попал в камеру-одиночку; потом не смог вернуться к прежней профессии — потому что никак не получалось пройти экзамен с напильником: за год мозоли, которые раньше покрывали его руки, сошли — и пытаться обработать «контрольную» деталь в обозначенное время, он несколько раз стирал себе руки в кровь. В начале 1900-х Ленин придумал использовать его не только как агента «Искры» — распространителя газеты, но и как журналиста, создателя репортажных очерков о фабричной жизни. Когда Бабушкин приехал к нему в Лондон, Ленин предложил ему написать для «Искры» автобиографический текст; и даже сейчас, через сто с лишним лет, эта работа Ивана Бабушкина производит ошеломляющее впечатление.

О страшном, «диккенсовском» мире фабричного капитализма мы имеем довольно смутное представление. «Русская фабрика» Туган-Барановского, «Очерки» Тахтарева, «Развитие капитализма» Ленина — это всё же научные работы, но даже и по горьковскому роману «Мать» о нем трудно судить: там описано уже другое десятилетие, когда условия жизни рабочих сильно улучшились. Бабушкин, рожденный этим миром, — ключевая фигура для того, кто хотел бы увидеть ту среду, на трансформацию которой был направлен вектор усилий Ленина; понять, с какой стати Ленин с его талантами, применимыми в любой области, выбрал не просто занятия «академическим марксизмом», как его в каком-то смысле «двойник» Струве, или марксизм как просветительство, род интеллигентского хождения в народ (таких «двойников» — без счета), но активную, рискованную, опасную для жизни и здоровья деятельность.

Возможно, многие рабочие — ученики и товарищи ВИ — чувствовали то же самое, но только Бабушкин успел рассказать об этом. Его стостраничная автобиография — история жизни заведомо обреченного — принадлежностью к сословию, обстоятельствами рождения — человека, осознающего, что все его попытки изменить чудовищную среду вокруг себя оборачиваются страшными потерями; трагическое — и одновременно жизнеутверждающее произведение. При всей девальвации школьным советским курсом, добролюбивский образ луча света в темном царстве уместен для фигуры автора как никакой другой — луча, трагически рано угасшего, но оставившего о себе воспоминания и надежду.

Курьез еще и в том, что этот луч света был практиком, прагматиком, одинаково хорошо управлявшимся и с напильником, и с пером, и с браунингом, не терявшимся ни в Орехово-Зуеве, ни в Лондоне, ни в Чите, способным и шататься по фабричным слободкам под видом коробейника с образцами текстильной продукции — и «Искрой» на дне; и открыть слесарную мастерскую на дому; и навести порядок в лондонской коммуне интеллигентов-социал-демократов, погрязших в бытовом свинстве; и открыть кооперативную лавку на паях по торговле бакалеей; и бежать из тюрьмы, перепилив решетку (он носил в сапоге набор пилки для этого); и сочинить брошюру, которая станет классикой и будет годами циркулировать среди рабочих («Что такое социалист и государственный преступник»); и пробраться на конгресс английских тред-юнионов, чтобы — даже не зная языка — изучать культуру пролетариата, умеющего саморганизовываться. У него все спорилось — и одновременно в нем была и «мечтательность», впечатлительность, *Sehnsucht*. Это позволило ему, меланхолику, транслировать ужасы капитализма в России так, как у Ленина — сангвиника и отчасти холерика, которого мы всё время видим сложившимся пополам от беззвучного хохота над глупостью оппонентов, — никогда не получалось.

Возможно, сегодня мы поневоле воспринимаем деятельность марксистов 1890-х с некоторым раздражением: как они настырно «лезут» к рабочим, «развращая» их своими «штудирен-пропагандирен». Бабушкин показывает, как все было на самом деле; особенно это видно, когда он описывает горькое чувство потери, которое ощущали рабочие, видя, что «их» интеллигентов одного за другим арестовывают. Он не только сожалеет, но и досадует: важная работа остается невыполненной, ведь сами рабочие были не в состоянии написать и отредактировать «листки», которые так ждали и они сами, и их товарищи. «Как несчастье после какого-либо обвала, засыпавшего людей, не позволяет долго обдумывать особых приспособлений для отрытия их, а заставляет скорее схватить лопату и рыть, рыть без усталости, без конца, до тех пор, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, так точно и нам некогда было обсуждать наше положение, и нужно было по возможности скорее принимать наследство». Рыть, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, — вот на что была похожа революционная работа, вот почему они — и ВИ тоже — тратили столько времени и сил, вот почему так рисковали и торопились.

К Ленину за 54 года пришвартовывалось много хороших и очень хороших людей, но, возможно, лучшим из них был как раз Бабушкин; ни разу за последнее столетие не попавшая в раз-

ряд «модных» — в отличие от Богданова, Потресова, Струве, Троцкого, Дзержинского — фигура: просто рабочий со смешной фамилией, который в какой-то момент зачитался книжками и, вместо того чтобы продолжать вести нормальную жизнь, занялся просвещением и революцией — и расстрелян был, как собака, без следствия, суда и уведомления близких; тот ученик, за которого многое можно простить и учителю.

Согласно распространенному представлению, один из «грехов» Ленина состоит в том, что он, в рамках своего жестокого социального эксперимента, вывел на историческую авансцену «хама» — «шарикова», «чумазого», «манкурта», «гунна», варвара, класс недочеловеков, которых заведомо нельзя было допускать к власти, поскольку они представляют собой продукт дегенерации общества, антиподов самого понятия «культура». По бабушкинскому тексту — не говоря уж о бабушкинской биографии — понятно, что эти представления суть прикрытый ссылкой на булгаковское остроумие социальный расизм. Рабочие были классом, попавшим в трагическое положение, в беду; класс-жертва объективных историко-экономических обстоятельств. И даже сам внешний вид пролетариев — склонность к алкоголю, агрессивность, вульгарность — есть навязанное им состояние, которое доставляло им самим страдание. Отвечая одному из либеральных публицистов «Русского богатства», который проехался по фабрикам Центральной России и сочинил «скептический» очерк о положении рабочих: много пьяных, обстановка свинская; поделом им, сами виноваты, — Бабушкин объясняет, откуда взялась эта обстановка: их рабочий день длится слишком долго для того, чтобы думать о чем-то еще; такой режим, да еще в сочетании с вечным, с младенчества до смерти, недоеданием, действовал на рабочих как седативное лекарство; и читать им было тяжело — над книжкой засыпали, и пьянели они со второй рюмки — не потому, что были морлоками-деградантами; просто с ними обращались, как со скотом. Рабочий цикл мог длиться, например, 60 часов — с перерывами только для приема пищи, и сам Бабушкин, участвовавший в таких марафонах, не мог читать книги не из отвращения к высокой культуре, а потому, что по дороге домой дремал на ходу «и просыпался от удара о фонарный столб»; и затем ему приходилось буквально обкрадывать самого себя — недоедать и недосыпать, чтобы чего-то прочесть в книгах и что-то узнать в Корниловской школе. В школе, где в коридорах, из-за общественных туалетов, стоял такой запах, что с ног валило: свинство? Свинство, да, но «свинство» также не является имманентным свойством пролетариата, и даже когда вы видите, что по улице рабочей слободки

идет шатающийся, как пьяный, человек — он, вполне может быть не пьян, а голоден; особенно если это голодный год. Для России 1880–1890-х, как для Англии 1840-х, характерна была, в точности по Марксу, унтерменшизация человека, превращение его в придаток машины. Труд был не просто плохо оплачиваем, но мучителен, неизбежно приводил к разрушению организма и физическим увечьям; самими рабочими эта жизнь воспринималась как рабство (и неудивительно, что любимой книгой грамотных рабочих того времени становился «Спартак» Джованьоли — больно хорошо рифмовались обстоятельства и атмосфера). Именно здесь, на ткацких фабриках, случались совершенно «голливудские» происшествия, и женщины, чистившие ткацкий станок, подхваченные за волосы рваным ходовым ремнем, подброшенные под потолок и заживо оскальпированные, не были выдумкой. Как и полагается в антиутопиях, эти заведения кишели двенадцати-тринадцатилетними полурабами-детьми, заживо гнившими среди пыли, тьмы и ядовитых испарений от красителей для тканей. Условия жизни вели к физиологической и моральной деградации. Ужасы, которые Бабушкин — столичный все-таки рабочий, белая кость пролетариата — увидел на провинциальных ткацких фабриках, кажутся нынешнему читателю даже не просто неправдоподобными — «лавкрафтовскими», слишком страшными, чтобы воспроизводить их.

Сам Бабушкин был человеком, которого Ленин, не поспоришь, «улучшил»; вот уж действительно Эдмон Дантес, сформированный аббатом Фариа-Ульяновым. И да, слова, сказанные Лениным о Бабушкине (к сожалению, в некрологе): «благодаря таким рабочим пролетариат завоюет в России себе будущее» — кажутся не столько пророчеством, сколько обещанием.

Бабушкин — так скажем — есть воплощенная «совесть Ленина»; Ленина, которого всегда обвиняли, что у него «нет ничего святого»; и оценивая все дальнейшие действия ВИ — в том числе с позиции Горького, который, небезосновательно, называл Ленина «хладнокровным фокусником, не жалеющим ни чести, ни жизни пролетариата», — следует помнить, что какие бы фокусы Ленин ни выкидывал, у него была «совесть»; и пусть она не выставлена в Мавзолее, но достаточно набрать в поисковике «Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина» — и вы ее увидите.

Не то что бабушкинские тексты оправдывают «фокусы» Ленина — нет; но они объясняют, почему у Ленина было право на эксперимент и в каком состоянии изначально находились те, кто потом стали «жертвами» ленинского эксперимента (а сам Бабушкин демонстрирует, каким может быть результат эксперимента — пусть даже его не удалось запустить в «массовое производство»). И если

уж на то пошло, Ленин никогда не скрывал от рабочих, что «экспериментирует». Им говорили — в открытую, — что они сформированы капитализмом, а теперь им предстоит построить новый мир, и поэтому — у А. Платонова есть хорошая формулировка — «мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..».

Это гротескное, не без ерничества, но, в сущности, правильное изложение ленинского плана, касающегося приучения рабочих к культуре труда и классовой борьбы; сам И. В. Бабушкин наверняка понял бы, о чем идет речь.

* * *

Невская застава раскачивалась года аж до 1894-го — а затем медленно, но верно начала выходить из берегов: то ли пропагандисты в самом деле раскачали рабочих, то ли локомотив капитализма достиг крейсерской скорости, однако тапер играл уже совсем другие мелодии. Если до 1893-го марксисты гонялись за любыми, какими ни есть рабочими, а в условном 1894-м — за интеллигентными, которым можно втолковать хотя бы первую главу «Капитала», то уже к 1895 году сами рабочие стали искать агитаторов, способных спровоцировать их на массовое выступление и перевести экономические требования в политические.

Первый из летевших в коммунизм рабочих кружков «Николая Петровича» перехватили в ноябре 1894-го; лектор уцелел — но зубной врач Михайлов продолжал сверлить дыры; горячий воздух из оболочки воздушного шара стравливался, и уже через год все, кто находился в той корзине, экипаж которой собирался выпустить первый номер газеты «Рабочее дело», шваркнулись об землю.

Десять тысяч часов в одиночной камере изменяют психику кого угодно, и, выбравшись на три дня на волю перед ссылкой, ВИ, столько лет тянувший резину и дождавшийся того, что «невеста» сама угодила за решетку, пишет ей — «химией», разумеется — письмо, в котором — 14 февраля, как трогательно — признается в любви.

<...>

Ю. ДЕГТЯРЁВ*

«Все глуше стыд и боль все глуше...»

* * *

Все глуше стыд и боль все глуше,
Но груз вины не сбросить с плеч:
Мы не смогли, развесив уши,
Наследье Ленина сберечь.

И оставляем внукам нашим, —
За что они нас проклянут, —
Взамен Руси Советской —
Рашу:
Царя,
попа
и рабский труд.

С. ДОВЛАТОВ**

Представление***

...На КПШ сидели трое. Опер Борташевич тасовал измятые, лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженной сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник. Борташевич вяло произнес:

— Ну, хорошо, возьмем, к примеру, баб. Допустим, ты с ней по-хорошему: кино, бисквиты, разговоры... Цитируешь ей Гоголя с Белинским... Какую-нибудь блядскую оперу посещаешь... По-

* Юрий Алексеевич Дегтярёв (р. 1960) — член Союза писателей России, автор шести сборников стихов, лауреат нескольких литературных премий. Книга «Что с тобой, моя Россия?» (2007) по итогам конкурса признана Московским Союзом писателей «ЛУЧШЕЙ КНИГОЙ 2006–2011». Печатается на страницах газеты «Советская Россия».

** Сергей Донатович Довлатов (при рождении Мечик, по паспорту — Довлатов-Мечик; 1941–1990) — русский прозаик, эссеист, журналист. В августе 1978 г. из-за преследования властей эмигрировал в США. Один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX — начала XXI в.

*** Из повести «Зона» (1982).

том, естественно, в койку. А мадам тебе в ответ: женись, паскуда! Сначала загс, а потом уж низменные инстинкты... Инстинкты, видишь ли, ее не устраивают. А если для меня это святое, что тогда?!

— Опять-таки жида, — добавил караульный.

— Чего — жида? — не понял Борташевич.

— Жида, говорю, повсюду. От Райкина до Карла Маркса... Плодятся, как опята... К примеру, вендиспансер на Чебыю. Врачи — евреи, пациенты — русские. Это по-коммунистически?

Тут позвонили из канцелярии. Борташевич поднял трубку и говорит:

— Тебя.

Я услышал голос капитана Токаря:

— Зайдите ко мне, да побыстрей.

— Товарищ капитан, — сказал я, — уже, между прочим, девятый час.

— А вы, — перебил меня капитан, — служите Родине только до шести?!

— Для чего же тогда составляются графики? Мне завтра утром на службу выходить.

— Завтра утром вы будете на Ропче. Есть задание начальника штаба — доставить одного клиента с ропчинской пересылки. Короче, жду...

— Куда это тебя? — спросил Борташевич.

— Надо с Ропчи зека отконвоировать.

— На пересуд?

— Не знаю.

— По уставу нужно ездить вдвоем.

— А что в охране делается по уставу? По уставу только на гауптвахту сажают. Гусев приподнял брови:

— Кто видел, чтобы еврей сидел на гауптвахте?

— Далась тебе еврей, — сказал Борташевич, — надоело. Ты посмотри на русских. Взглянешь и остолбенеешь.

— Не спорю, — откликнулся Гусев... Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на кровельный лист возле сейфа.

— Ладно, пойду...

Борташевич вытащил карту, посмотрел и говорит:

— Ого! Тебя ждет пиковая дама.

Затем добавил:

— Наручники возьми.

Я взял...

Я шел через зону, хотя мог бы обойти ее по тропе нарядов. Вот уже год я специально хожу по зоне ночью. Все надеюсь привыкнуть к ощущению страха. Проблема личной храбрости у нас стоит

довольно остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы и татары.

Возле инструменталки я слегка замедлил шаги. Тут по ночам собирались чифиристы.

Жестяную солдатскую кружку наполняли водой. Высыпали туда пачку чая. Затем опускали в кружку бритвенное лезвие на длинной стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провode высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через две секунды.

Бурый напиток действовал подобно алкоголю. Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеяться без повода.

Серьезных опасений чифиристы не внушали. Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чифиря...

Во мраке шевелились тени. Я подошел ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифирбака. Завидев меня, стихли.

— Присаживайся, начальник, — донеслось из темноты, — самовар уже готов.

— Сидеть, — говорю, — это ваша забота.

— Грамотный, — ответил тот же голос.

— Далеко пойдет, — сказал второй.

— Не дальше вахты, — усмехнулся третий...

Все нормально, подумал я. Обычная смесь дружелюбия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина, рыбных консервов...

Закурив, я обогнул шестой барак и вышел к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии. Я постучал. Мне отворил дневальный. В руке он держал яблоко. Из кабинета выглянул Токарь и говорит:

— Опять жуете на посту, Барковец?!

— Ничего подобного, товарищ капитан, — возразил, отвернувшись, дневальный.

— Что я, не вижу?! Уши шевелятся... Позавчера вообще уснули...

— Я не спал, товарищ капитан. Я думал. Больше это не повторится.

— А жаль, — неожиданно произнес Токарь и добавил, обращаясь ко мне:

— Входите. Я вошел, доложил как положено.

— Отлично, — сказал капитан, затягивая ремень, — вот документы, можете ехать. Доставите сюда зека по фамилии Гурин. Срок — одиннадцать лет. Пятая судимость. Человек в законе, будьте осторожны.

— Кому, — спрашиваю, — он вдруг понадобился? Что, у нас своих рецидивистов мало?

— Хватает, — согласился Токарь.

— Так в чем же дело?

— Не знаю. Документы поступили из штаба части.

Я развернул путевой лист. В графе «назначение» было указано: «Доставить на шестую подкомандировку Гурина Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли Ленина...»

— Что это значит?

— Понятия не имею. Лучше у замполита спросите. Наверное, постановку готовят к шестидесятилетию советской власти. Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая... Не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте оружие. С богом!..

Я взял бумаги, козырнул и удалился.

К Ропче мы подъехали в двенадцатом часу. Поселок казался мертвым. Из темноты глухо лаяли собаки.

Водитель лесовоза спросил:

— Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра.

Пришлось ему объяснять:

— Так я назад поеду днем. А так пришлось бы ночью возвращаться. Да еще в компании с опасным рецидивистом.

— Не худший вариант, — сказал шофер. Затем прибавил:

— У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее зеков.

— Бывает, — говорю. Мы попрощались...

Я разбудил дневального на вахте, показал ему бумаги. Спросил, где можно переночевать? Дневальный задумался:

— В казарме шумно. Среди ночи конвойные бригады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и ремнем перетянуть... А на питомнике собаки лают.

— Собаки — это уже лучше, — говорю.

— Ночуй у меня. Тут полный кайф. Укроешься тулупом. Подменный явится к семи...

Я лег, поставил возле топчана консервную банку и закурил...

Главное — не вспоминать о доме. Думать о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются. А дневальный вроде бы не курит...

Я спросил:

— Ты что, не куришь?

— Угостишь, так закурю.

Еще не легче...

Дневальный пытался заговаривать со мной:

— А правда, что у вас на «шестерке» солдаты коз дерут?

— Не знаю. Вряд ли... Зеки, те балуются.

— По-моему, уж лучше в кулак.

— Дело вкуса...

— Ну ладно. — пощадил меня дневальный, — спи. Здесь тихо...

Насчет тишины дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору.

Там среди ночи проснулся арестованный зек. Он скрежетал наручниками и громко пел:

«А я иду, шагаю по Москве...»

— Повело kota на блядки, — заворчал дневальный.

Он посмотрел в глазок и крикнул:

— Агеев, хезай в дуло и ложись! Иначе финтилей под глаз навешу! В ответ донеслось:

— Начальник, сдай рога в каптерку! Дневальный откликнулся витиеватым матерным перебором.

— Сосал бы ты по девятой усиленной, — реагировал зек...

Концерт продолжался часа два. Да еще и папиросы кончились.

Я подошел к глазку и спросил:

— Нет ли у вас папирос или махорки?

— Вы кто? — поразился Агеев.

— Командированный с шестого лагпункта.

— А я думал — студент... На «шестерке» все такие культурные?

— Да, — говорю, — когда остаются без папирос.

— Махорки навалом. Я суну под дверь... Вы случайно не из Ленинграда?

— Из Ленинграда.

— Земляк... Я так и подумал. Остаток ночи прошел в разговорах...

Наутро я разыскал оперуполномоченного Долбенко. Предъявил ему свои бумаги. Он сказал:

— Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие при вас? Это хорошо...

В столовой мне дали чаю и булки. Каши не хватило. Зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу. А знакомый инструктор отсыпал мне десяток папирос.

Я просидел на вахте до развода конвойных бригад.

Дневального сменили около восьми. В изоляторе было тихо. Зек отсыпался после бессонной ночи.

Наконец я услышал:

— Заключение Гурина с вещами!

Звякнули штыри в проходном коридоре. На вахту зашел оперативник с моим подопечным.

— Распишись, — говорит. — Оружие при тебе?

Я расстегнул кобуру.

Зек был в наручниках.

Мы вышли на крыльцо. Зимнее солнце ослепило меня. Рассвет наступил внезапно. Как всегда...

На пологом бугре чернели избы. Дым над крышами поднимался вертикально.

Я сказал Гурину:

— Ну, пошли.

Он был небольшого роста, плотный. Под шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце.

Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти к переезду. Догонит нас попутный трактор — хорошо. А нет, можно и пешком дойти за три часа...

Я не знал, что дорога перекрыта возле Койна. Позднее выяснилось, что ночью двое зеків угнали трелевочную машину. Теперь на всех переездах сидели оперативники. Так мы и шли пешком до самой зоны. Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Гурину хлеб и сало. Тем более что сало подмерзло, а хлеб раскрошился.

Молчавший до этого зек повторял:

— Вот так дачка — чистая бацилла! Начальник, гужанемся от души...

Ему мешали наручники. Он попросил:

— Сблочил бы манжеты. Или боишься, что винта нарежу?

Ладно, думаю, при свете не опасно. Куда ему по снегу бежать?..

Я снял наручники, пристегнул их к ремню. Гурин сразу же попросился в уборную.

Я сказал:

— Идите вон туда...

Потом он сидел за кустами, а я держал на мушке черный воркутинский треух.

Прошло минут десять. Даже рука устала.

Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло. Одновременно раздался хриплый голос:

— Пошли, начальник... Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся Гурин. Шапку он, видимо, повесил на куст.

— Не стреляй, земля...

Ругаться было глупо.

Гурин действовал правильно. Доказал, что не хочет бежать. Мог и не захотел...

Мы вышли на лежневку и без приключений достигли зоны. В дороге я спросил:

— А что это за представление?

Зек не понял. Я объяснил:

— В сопроводиловке говорится — исполнитель роли Ленина.

Гурин расхохотался:

— Это старая история, начальник. Была у меня еще до войны кликуха — Артист. В смысле — человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело — артист. Помню, чалился я в МУРе, а следователь шутки ради и записал. В графу — профессия до ареста... Какая уж там профессия! Я с колыбели — упорный вор. В жизни дня не проработал. Однако как записали, так и поехало — артист. Из ксивы в ксиву... Все замполиты меня на самодеятельность подписывают — ты же артист... Эх, встретить бы такого замполита на колхозном рынке. Показал бы я ему свое искусство.

Я спросил:

— Что же вы будете делать? Там же надо самого Ленина играть...

— По бумажке-то? Запросто... Ваксой плешь отполирую, и хорош!.. Помню, жиганули мы сберкассу в Киеве. Так я ментом переделся — свои не узнали... Ленина так Ленина... День кантовки — месяц жизни...

Мы подошли к вахте. Я передал Гурина старшине. Зек махнул рукой:

— Увидимся, начальник. Мерси за дачку...

Последние слова он выговорил тихо. Чтобы не расслышал старшина...

Выбившись из графика, я бездельничал целые сутки. Пил вино с оружейными мастерами. Проиграл им четыре рубля в буру. Написал письмо родителям и брату. Даже собирался уйти к знакомой барышне в поселок. Но тут подошел дневальный и сказал, что меня разыскивает замполит Хуриев.

Я направился в ленинскую комнату. Хуриев сидел под огромной картой устьвымского лагпункта. Места побегов были отмечены флажками.

— Присаживайтесь, — сказал замполит, — есть важный разговор. Надвигаются Октябрьские праздники. Вчера мы начали репетировать одноактную пьесу «Кремлевские звезды». Автор, — тут Хуриев заглянул в лежащие перед ним бумаги, — Чичельницкий. Яков Чичельницкий. Пьеса идейно зрелая, рекомендована культурным сектором УВД. События происходят в начале двадцатых годов. Действующих лиц — четыре. Ленин, Дзержинский, чекист Тимофей и его невеста Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуазным настроениям. Купеческая дочь Полина затягивает его в омут мещанства. Дзержинский проводит с ними воспитательную работу. Сам он неизлечимо болен. Ленин настоятельно рекомендует ему позаботиться о своем здоровье. Железный Феликс отказыва-

ется, что производит сильное впечатление на Тимофея. В конце он сбрасывает пути ревизионизма. За ним робко следует купеческая дочь Полина... В заключительной сцене Ленин обращается к публике. — Тут Хуриев снова зашуршал бумагами. — «...Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?! Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек. Ради вас искореняли буржуазную нечисть... Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды...» И так далее. А потом все запевают «Интернационал». Как говорится, в едином порыве... Что вы на это скажете?

— Ничего, — говорю. — А что я могу сказать? Серьезная пьеса.

— Вы человек культурный, образованный. Мы решили привлечь вас к этому делу.

— Я же не имею отношения к театру.

— А я, думаете, имею? И ничего, справляюсь. Но без помощника трудно. Артисты наши — сами знаете... Ленина играет вор с ропчинской пересылки. Потомственный щипач в законе. Есть мнение, что он активно готовится к побегу...

Я промолчал. Не рассказывать же было замполиту о происшествии в лесу.

Хуриев продолжал:

— В роли Дзержинского — Цуриков, по кличке Мотыль, из четвертой бригады. По делу у него совращение малолетних. Срок — шесть лет. Есть данные, что он — плановой... В роли Тимофея — Геша, придурок из санчасти. Пассивный гомосек... В роли Полины — Томка Лебедева из АХЧ. Такая бикса, хуже зечки... Короче, публика еще та. Возможно употребление наркотиков. А также недозволенные контакты с Лебедевой. Этой шкуре лишь бы возле зеков повертеться... Вы меня понимаете?

— Чего же тут не понять? Наши люди...

— Ну, так приступайте. Очередная репетиция сегодня в шесть. Будете ассистентом режиссера. Дежурства на лесоповале отменяются. Капитана Токаря я предупрежу.

— Не возражаю, — сказал я.

— Приходите без десяти шесть.

До шести я бродил по казарме. Раза два меня хотели куда-то послать в составе оперативных групп. Я отвечал, что нахожусь в распоряжении старшего лейтенанта Хуриева. И меня оставляли в покое. Только старшина поинтересовался:

— Что там у вас за дела? Поганку к юбилею заворачиваете?

— Ставим, — говорю, — революционную пьесу о Ленине. Силами местных артистов.

— Знаю я ваших артистов. Им лишь бы на троих сообразить...
Около шести я сидел в ленинской комнате. Через минуту явился Хуриев с портфелем.

— А где личный состав?

— Придут, — говорю. — Наверное, в столовой задержались.

Тут зашли Геша и Цуриков.

Цурикова я знал по работе на отдельной точке. Это был мрачный, исхудавший зек с отвратительной привычкой чесаться.

Геша работал в санчасти — шнырем. Убирал помещение, ходил за большими. Крал для паханов таблетки, витамины и лекарства на спирту.

Ходил он, чуть заметно приплясывая. Повинуясь какому-то неуловимому ритму. Паханы в жилой зоне гоняли его от костра...

— Ровно шесть, — выговорил Цуриков и, не сгибаясь, почесал колено.

Геша сооружал козью ножку.

Появился Гурин, без робы, в застиранной нижней сорочке.

— Жара, — сказал он, — чистый Ташкент... И вообще не зона, а Дом культуры. Солдаты на «вы» обращаются. И пайка клевая... Неужели здесь бывают побеги?

— Бегут, — ответил Хуриев.

— Сюда или отсюда?

— Отсюда, — без улыбки реагировал замполит.

— А я думал, с воли — на кичу. Или прямо с капиталистических джунглей...

— Пошутили, и хватит, — сказал Хуриев.

Тут появилась Лебедева в облаке дешевой косметики и с шестимесячной завивкой.

Она была вольная, но с лагерными манерами и приклатненной речью. Вообще административно-хозяйственные работники через месяц становились похожими на заключенных. Даже наемные инженеры тянули по фене. Не говоря о солдатах...

— Приступим, — сказал замполит.

Артисты достали из карманов мятые листки.

— Роли должны быть выучены к среде. Затем Хуриев поднял руку:

— Довожу основную мысль. Центральная линия пьесы — борьба между чувством и долгом. Товарищ Дзержинский, пренебрегая недугом, отдает всего себя революции. Товарищ Ленин настоятельно рекомендует ему поехать в отпуск. Дзержинский категорически отказывается. Параллельно развивается линия Тимофея. Животное чувство к Полине временно заслоняет от него мировую революцию. Полина — типичная выразительница мелкобуржуазных настроений...

— Типа фарцовщицы? — громко спросила Лебедева.

— Не перебивайте... Ее идеал — мещанское благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В результате чувство долга побеждает... Надеюсь, все ясно? Приступим. Итак, Дзержинский за работой... Цуриков, садитесь по левую руку... Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан... Чемодана пока нет, используем футляр от гармошки. Держите... Итак, заходит Ленин. Начали!

Гурин ухмыльнулся и бодро произнес:

— Здравсьте, Феликс Эдмундович!

(Он выговорил по-ленински — «здгасьте».)

Цуриков почесал шею и хмуро ответил:

— Здравствуйте.

— Больше уважения, — подсказал замполит.

— Здравствуйте, — чуть громче произнес Цуриков.

— Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня в руках?

— Чемодан, Владимир Ильич.

— А для чего он, вы знаете?

— Отставить! — крикнул замполит. — Тут говорится: «Ленин с хитринкой». Где же хитринка? Не вижу...

— Будет, — заверил Гурин. Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул Дзержинскому.

— Отлично, — сказал Хуриев, — продолжайте. «А для чего он, вы знаете?»

— А для чего он, вы знаете?

— Понятия не имею, — сказал Цуриков.

— Без хамства, — снова вмешался замполит, — помягче. Перед вами — сам Ленин. Вождь мирового пролетариата...

— Понятия не имею, — все так же хмуро сказал Цуриков.

— Уже лучше. Продолжайте.

Гурин снова подмигнул, еще развязнее.

— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Чтобы вы, ба-тенька, срочно поехали отдыхать.

Цуриков без усилий почесал лопатку.

— Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики...

— Лазутчики, — поправил Хуриев, — далее.

— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посоветались и решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...

Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть.

- В чем дело? — нервно спросил замполит.
- Феликса жалко, — пояснила Тамара, — худой он, как глист.
- Дистрофики как раз живучие, — неприязненно высказался

Геша.

- Перерыв, — объявил Хуриев. Затем он повернулся ко мне:
- Ну как? По-моему, главное схвачено?
- Ой, — воскликнула Лебедева, — до чего жизненно! Как

в сказке...

Цуриков истово почесал живот. При этом взгляд его затуманился.

Геша изучал карту побегов. Это считалось подозрительным, хотя карта висела открыто.

Гурин разглядывал спортивные кубки.

— Продолжим, — сказал Хуриев. Артисты потушили сигареты.

— На очереди Тимофей и Полина. Сцена в приемной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит Полина. Начали!

Геша сел на табуретку и задумался. Лебедева шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком:

— Тимоша! А, Тимоша!

Тимофей:

— Зачем пришла? Или дома что неладно?

— Не могу я без тебя, голубь сизокрылый...

Тимофей:

— Иди домой, Поля. Тут ведь не изба-читальня.

Лебедева сжала виски кулаками, издав тяжелый пронзительный рев:

— Чужая я тебе, немилая... Загубил ты мои лучшие годы...

Бросил ты меня одну, как во поле рябину...

Лебедева с трудом подавляла рыдания. Глаза ее покраснели.

Тушь стекала по мокрым щекам...

Тимофей, наоборот, держался почти глумливо.

— Такая уж работа, — цедил он.

— Уехать бы на край земли! — выла Полина.

— К Врангелю, что ли? — настораживался Геша.

— Отлично, — повторял Хуриев. — Лебедева, не выпячивай-те зад. Чмыхалов, не заслоняйте героиню. *(Так я узнал Гешину фамилию — Чмыхалов.)* Поехали... Входит Дзержинский... А, молодое поколение?!

Цуриков откашлялся и хмуро произнес:

— А, блядь, молодое поколение?!

— Что это за слова-паразиты? — вмешался Хуриев.

— А, молодое поколение?!

— Здравия желаю, Феликс Эдмундович, — приподнялся Геша.

— Ты должен смутиться, — подсказал Хуриев.

— Я думаю, ему надо вскочить, — посоветовал Гурин.

Геша вскочил, опрокинув табуретку. Затем отдал честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу.

— Здравия желаю! — крикнул он.

Дзержинский брезгливо пожал ему руку. Педерастов в зоне не любили. Особенно пассивных.

— Динамичнее! — попросил Хуриев. Геша заговорил быстрее. Потом еще быстрее. Он торопился, проглатывая слова:

— Не знаю, как быть, Феликс Эдмундович... Полинка моя совсем одичала. Ревнует меня к службе, понял? (*У Гешы выходило — поэт.*)...Скучаю, говорит... а ведь люблю я ее, Полинку-то... Невеста она мне, поэт? Сердцем моим завладела, поэт?..

— Опять слова-паразиты, — закричал Хуриев, — будьте внимательнее!

Лебедева, отвернувшись, подкрашивала губы.

— Перерыв! — объявил замполит. — На сегодня достаточно.

— Жаль, — сказал Гурин, — у меня как раз появилось вдохновение.

— Давайте подведем итоги.

Хуриев вынул блокнот и продолжал:

— Ленин более или менее похож на человека. Тимофей — четверка с минусом. Полина лучше, чем я думал, откровенно говоря. А вот Дзержинский — неубедителен, явно неубедителен. Помните, Дзержинский — это совесть революции. Рыцарь без страха и упрека. А у вас получается какой-то рецидивист...

— Я постараюсь, — равнодушно заверил Цуриков.

— Знаете, что говорил Станиславский? — продолжал Хуриев. — Станиславский говорил — не верю! Если артист фальшивил, Станиславский прерывал репетицию и говорил — не верю!..

— То же самое и менты говорят, — заметил Цуриков.

— Что? — не понял замполит.

— Менты, говорю, то же самое повторяют. Не верю... Не верю... Повязали меня однажды в Ростове, а следователь был мудака...

— Не забывайте! — прикрикнул замполит.

— И еще при даме, — вставил Гурин.

— Я вам не дама, — повысил голос Хуриев, — я офицер регулярной армии!

— Я не про вас, — объяснил Гурин, — я насчет Лебедевой.

— А-а, — сказал Хуриев. Затем он повернулся ко мне:

— В следующий раз будьте активнее. Подготовьте ваши замечания... Вы человек культурный, образованный... А сейчас — можете расходиться. Увидимся в среду... Что с вами, Лебедева?

Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек.

— Что такое? — спросил Хуриев.

— Переживаю...

— Отлично. Это называется — перевоплощение...

Мы попрощались и разошлись. Я проводил Гурина до шестого барака. Нам было по дороге. К этому времени стемнело. Тропинку освещали желтые лампочки над забором. В простреливаемом коридоре, звякая цепями, бегали овчарки.

Неожиданно Гурин произнес:

— Сколько же они народу передавили?

— Кто? — не понял я.

— Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским. Рыцари без страха и укропа...

Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему доверять. И вообще, чего это Гурин так откровенен со мной?..

Зек не успокаивался:

— Вот я, например, сел за кражу. Мотыль, допустим, палку кинул не туда. У Геши что-либо на уровне фарцовки... Ни одного, как видите, мокрого дела... А эти — Россию в крови потопили, и ничего...

— Ну, — говорю, — вы уж слишком...

— А чего там слишком? Они-то и есть самая кровавая беспредельщина...

— Послушайте, закончим этот разговор.

— Годится, — сказал он.

После этого было три или четыре репетиции. Хуриев горячился, вытирал лоб туалетной бумагой и кричал:

— Не верю! Ленин переигрывает! Тимофей психованный. Полина вертит задом. А Дзержинский вообще похож на бандита.

— На кого же я должен быть похож? — хмуро спрашивал Цуриков. — Что есть, то и есть.

— Вы что-нибудь слышали о перевоплощении? — допытывался Хуриев.

— Слышал, — неуверенно отвечал зек.

— Что же вы слышали? Ну просто интересно, что?

— Перевоплощение, — объяснял за Дзержинского Гурин, — это когда ссученные воры идут на кумовьев работать. Или, допустим, заигранный фриayer, а гоношится, как урка...

— Разговорчики, — сердился Хуриев, — Лебедева, не выпячивайте форму. Больше думайте о содержании.

— Бюсты трясутся, — жаловалась Лебедева, — и ноги отекают. Я, когда нервничаю, всегда поправляюсь. А кушаю мало, творю да яички...

— Про бациллу — ни слова, — одергивал ее Гурин.

— Давайте, — суетился Геша, — еще раз попробуем. Чувствую, в этот раз железно перевоплощусь...

Я старался проявлять какую-то активность. Не зря же меня вычеркнули из конвойного графика. Лучше уж репетировать, чем мерзнуть в тайге.

Я что-то говорил, употребляя выражения — мизансцена, сверхзадача, публичное одиночество...

Цуриков почти не участвовал в разговорах. А если и высказывался, то совершенно неожиданно. Помню, говорили о Ленине, и Цуриков вдруг сказал:

— Бывает, вид у человека похабный, а елда — здоровая. Типа отдельной колбасы.

Гурин усмехнулся:

— Думаешь, мы еще помним, как она выглядит? В смысле — колбаса...

— Разговорчики, — сердился замполит...

Слухи о нашем драмкружке распространились по лагерю. Отношение к пьесе и вождям революции было двояким. Ленина, в общем-то, почитали, Дзержинского — не очень. В столовой один нарядчик бросил Цурикову:

— Нашел ты себе работенку, Мотыль! Чекистом заделался.

В ответ Цуриков молча ударил его черпаком по голове...

Нарядчик упал. Стало тихо. Потом угрюмые возчики с лесоповала заявили Цурикову:

— Помой черпак. Не в баланду же его теперь окунать...

Гешу то и дело спрашивали:

— Ну, а ты, шнырь, кого представляешь? Крупскую?

На что Геша реагировал уклончиво:

— Да так... Рабочего паренька... в законе...

И только Гурин с важностью разгуливал по лагерю. Он научился выговаривать по-ленински:

— Вегной догогой идете, товагици гецидивисты!..

— Похож, — говорили зеки, — чистое кино...

Хуриев с каждым днем все больше нервничал. Геша ходил вразвалку, разговаривал отрывисто, то и дело поправляя несуществующий маузер. Лебедева почти непрерывно всхлипывала даже на основной работе. Она поправилась так, что уже не застегивала молнии на импортных коричневых сапожках. Даже Цуриков и тот слегка преобразился. Им овладело хриплое чахоточное покашливание. Зато он перестал чесаться.

Наступил день генеральной репетиции. Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из кар-

цера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный художественный вкус.

Гурин сначала хотел отпустить натуральную бороду. Но опер сказал, что это запрещено режимом.

За месяц до спектакля артистам разрешили не стричься. Гурин остался при своей достоверной исторической лысине. Геша оказался рыжим. У Цурикова образовался вполне уместный пегий ежик.

Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик, что соответствовало жизненной правде. Для Геши раздобыли у лейтенанта Родичева кожаный пиджак. Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье. Цурикову выделили диагоналевую гимнастерку.

В день генеральной репетиции Хуриев страшно нервничал. Хотя всем было заметно, что результатами он доволен. Он говорил:

— Ленин — крепкая четверка. Тимофей — четыре с плюсом. Дзержинский — тройка с минусом. Полина — три с большой натяжкой...

— Линия есть, — уверял присутствовавший на репетициях фальшивомонетчик Журавский, — линия есть...

— А вы что скажете? — поворачивался ко мне замполит.

Я что-то говорил о сверхзадаче и подтексте.

Хуриев довольно кивал...

Так подошло Седьмое ноября. С утра на заборе повисли четыре красных флага. Пятый был укреплен на здании штрафного изолятора. Из металлических репродукторов доносились звуки «Варшавянки».

Работали в этот день только шныри из хозобслуживания. Лесоповал был закрыт.

Производственные бригады остались в зоне.

Заклученные бесцельно шатались вдоль следовой полосы. К часу дня среди них обнаружили пьяные.

Нечто подобное творилось и в казарме. Еще с утра многие пошли за вином. Остальные бродили по территории в расстегнутых гимнастерках.

Ружейный парк охраняло шестеро надежных сверхсрочников. Возле продовольственной кладовой дежурил старшина.

На доске объявлений вывесили приказ:

«Об усилении воинской бдительности по случаю юбилея».

К трем часам заключенных собрали на площадке возле шестого барака. Начальник лагеря майор Амосов произнес короткую речь. Он сказал:

— Революционные праздники касаются всех советских граждан... Даже людей, которые временно оступились... Кого-то убили,

ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху... Партия дает этим людям возможность исправиться... Ведет их через упорный физический труд к социализму... Короче, да здравствует юбилей нашего Советского государства!.. А с пьяных и накуренных, как говорится, будем взыскивать... Не говоря о скотоложестве... А то половину соседских коз огуляли, мать вашу за ногу!..

— Ничего себе! — раздался голос из шеренги. — Что же это получается? Я дочку второго секретаря Запорожского обкома тягал, а козу что, не имею права?..

— Помолчите, Гурин, — сказал начальник лагеря. — Опять вы фигурируете! Мы ему доверили товарища Ленина играть, а он все про козу мечтает... Что вы за народ?..

— Народ как народ, — ответили из шеренги, — сучье да беспредельщина...

— Отпетые вы люди, как я погляжу, — сказал майор.

Из-за плеча его вынырнул замполит Хуриев:

— Минуточку, не расходитесь. В шесть тридцать — общее собрание. После торжественной части — концерт. Явка обязательна, Отказчики пойдут в изолятор. Есть вопросы?

— Вопросов навалом, — подали голос из шеренги, — сказать? Куда девалось все хозяйственное мыло? Где обещанные теплые портянки? Почему кино не возят третий месяц? Дадут или нет рукавицы сучкорубам?.. Еще?.. Когда построят будку на лесоповале?..

— Тихо! Тихо! — закричал Хуриев. — Жалобы в установленном порядке, через бригадиров! А теперь расходитесь.

Все немного поворчали и разошлись...

К шести заключенные начали группами собираться около библиотеки. Здесь, в бывшей тарной мастерской, происходили общие собрания. В дощатом сарае без окон могло разместиться человек пятьсот.

Заключенные побрились и начистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Всякий раз, оборачивая кому-нибудь шею полотенцем, Мамедов говорил:

— Чирик, и душа с тебя вон!..

Это была его любимая профессиональная шутка.

Лагерная администрация натянула свои парадные мундиры. В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки, мигающие над простреливаемым коридором. Вольнонаемные женщины из хозобслуги распространяли запах тройного одеколона. Гражданские служащие надели импортные пиджаки.

Сарай был закрыт. У входа толпились сверхсрочники. Внутри шли приготовления к торжественной части.

Бугор Агешин укреплял над дверью транспарант. На алом фоне было выведено желтой гуашью:

«Партия — наш рулевой!»

Хуриев отдавал последние распоряжения. Его окружали — Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился Гурин. Я тоже подошел ближе.

Хуриев сказал:

— Если все кончится благополучно, даю неделю отгула. Кроме того, планируется выездной спектакль на Ропче.

— Где это? — заинтересовалась Лебедева.

— В Швейцарии, — ответил Гурин...

В шесть тридцать распахнулись двери сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамьях. Трое надзирателей внесли стулья для членов президиума.

Цепочкой между рядами проследовало к сцене высшее начальство.

Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал. Его поддержали.

Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показав надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку и начал:

— Вот уже шестьдесят лет... Как всегда, микрофон не работал. Хуриев возвысил голос:

— Вот уже шестьдесят лет... Слышно? Вместо ответа из зала донеслось:

— Шестьдесят лет свободы не видеть...

Капитан Токарь приподнялся, чтобы лучше запомнить нарушителя.

Хуриев заговорил еще громче. Он перечислил главные достижения советской власти. Вспомнил о победе над Германией. Осветил текущий политический момент. Бегло остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма.

Потом выступил майор из Сыктывкара. Речь шла о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали...

Затем на сцену вышел лейтенант Родичев. Свое выступление он начал так:

— В народе родился документ...

За этим последовало что-то вроде социалистических обязательств. Я запомнил фразу: «...Сократить число лагерных убийств на двадцать шесть процентов...»

Прошло около часа. Заключенные тихо беседовали, курили. Задние ряды уже играли в карты. Вдоль стен бесшумно передвигались надзиратели.

Затем Хуриев объявил:

— Концерт!

Сначала незнакомый зек прочитал две басни Крылова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный веер. Переключаясь на муравья, размахивал воображаемой лопатой.

Потом завбаней Тарасюк жонглировал электрическими лампочками. Их становилось все больше. В конце Тарасюк подбросил их одновременно. Затем оттянул на животе резинку, и лампочки попадали в сатиновые шаровары.

Затем лейтенант Родичев прочитал стихотворение Маяковского. Он расставил ноги и пытался говорить басом.

Его сменил рецидивист Шушаня, который без аккомпанемента исполнил «Цыганочку». Когда ему хлопали, он воскликнул:

— Жаль, сапоги лакшьювые, не тот эффект!..

Потом объявили нарядчика Логанова «в сопровождении гитары».

Он вышел, поклонился, тронул струны и запел:

Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее и нитка бус.
Хотел судьбу пытаться бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.
Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колочка ржавая, решетка частая,
Вагон столыпинский и шум колес...

Логинову долго хлопали и просили спеть на «бис». Однако замполит был против. Он вышел и сказал:

— Как говорится, хорошего понемножку... Затем поправил ремень, дождался тишины и выкрикнул:

— Революционная пьеса «Кремлевские звезды». Роли исполняют заключенные устьвымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин — заключенный Гурин. Феликс Эдмундович Дзержинский — заключенный Цуриков. Красноармеец Тимофей — заключенный Чмыхалов. Купеческая дочь Полина — работница АХЧ Лебедева Тамара Евгеньевна... Итак, Москва, тысяча девятьсот восемнадцатый год...

Хуриев, пятясь, удалился. На просцениум вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он почесал ногу, сел и глубоко задумался. Потом вспомнил, что болен, и начал усиленно кашлять. Он кашлял так, что гимнастерка вылезла из-под ремня.

А Ленин все не появлялся. Из-за кулис с опозданием вынесли телефонный аппарат без провода. Цуриков перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глубже.

Из зала ободряюще крикнули:

— Давай, Мотыль, не тяни резину.

Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руке.

— Здравствуйте, Феликс Эдмундович.

— Здравсьте, — не вставая, ответил Дзержинский.

Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись, спросил:

— Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое?

— Чемодан, Владимир Ильич.

— А для чего он, вы знаете?

— Понятия не имею.

Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие.

Из зала крикнули еще раз:

— Встань, Мотылина! Как ты с паханом базаришь?

— Ша! — ответил Цуриков. — Разберемся... Много вас тут шибко грамотных.

Он неохотно приподнялся. Гурин дождался тишины и продолжал:

— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.

— Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, — Цуриков сердито оглядел притихший зал, — буржуазные... как их?

— Лазутчики? — переспросил Гурин.

— Во-во...

— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посоветались и решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...

Цуриков молчал.

— Вы меня поняли, Феликс Эдмундович?

— Понял, — ответил Цуриков, глупо ухмыляясь.

Он явно забыл текст.

Хуриев подошел к сцене и громко зашептал:

— Делайте что хотите...

— А чего мне хотеть? — таким же громким шепотом выговорил Цуриков. — Если память дырявая стала...

— Делайте что хотите, — громче повторил замполит, — а службу я не брошу...

— Ясно, — сказал Цуриков, — не брошу... Ленин перебил его:

— Главное достояние революции — люди. Беречь их — дело архиважное... Так что собирайтесь, и в Крым, батенька, в Крым!

— Рано, Владимир Ильич, рано... Вот покончим с меньшевиками, обезглавим буржуазную кобру...

— Не кобру, а гидру, — подсказал Хуриев.

— Один черт, — махнул рукой Дзержинский.

Дальше все шло более или менее гладко. Ленин уговаривал, Дзержинский не соглашался. Несколько раз Цуриков сильно повысил голос.

Затем на сцену вышел Тимофей. Кожаный пиджак лейтенанта Рогачева напоминал чекистскую тужурку. Полина звала Тимофея бежать на край света.

— К Врангелю, что ли? — спрашивал жених и хватался за несуществующий маузер. Из зала кричали:

— Шнырь, заходи с червей! Тащи ее в койку! Докажи, что у тебя в штанах еще кудахчет!..

Лебедева гневно топала ногой, одергивала бархатное платье. И вновь подступала к Тимофею:

— Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня одну, как во поле рябину!..

Но публика сочувствовала Тимофею. Из зала доносилось:

— Ишь как шерудит, профура! Видит, что ее свеча догорает...

Другие возражали:

— Не пугайте артистку, козлы! Дайте сеансу набраться!

Затем распахнулась дверь сарая и опер Борташевич крикнул:

— Судебный конвой, на выход! Любченко, Гусев, Корались, получите оружие! Сержант Лахно — бегом за документами!..

Четверо конвойных потянулись к выходу.

— Извиняюсь, — сказал Борташевич.

— Продолжайте, — махнул рукой Хуриев.

Представление шло к финальной сцене. Чемоданчик был спрятан до лучших времен. Феликс Дзержинский остался на боевом посту. Купеческая дочь забыла о своих притязаниях...

Хуриев отыскал меня глазами и с удовлетворением кивнул. В первом ряду довольно шурился майор Амосов.

Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения.

— Кто это?! — воскликнул Гурин. — Кто это?!

Из темноты глядели на вождя худые, бледные физиономии.

— Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?..

В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.

— Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?..

Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все. В общем хоре слышался бас майора Амосова. Тонко вскрикивала Лебедева. Хлопал себя руками по бедрам Геша Чмыхалов. Цуриков на сцене отклеил бородку и застенчиво положил ее возле телефона.

Владимир Ильич пытался говорить:

— Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас... Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!..

Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем:

— Замри, картавый, перед беспредельщиной!..

— Эй, кто там ближе, пощекочите этого Мопассана!..

— Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!.. Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки:

— Пойте!

— Уже? — спросил Гурин. — Там осталось буквально два предложения. Насчет буржуазии и про звезды.

— Буржуазию — отставить. Переходите к звездам. И сразу запевайте «Интернационал».

— Договорились...

Гурин, надсаживаясь, выкрикнул:

— Кончайте базарить!

И мстительным тоном добавил:

— Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды!..

— Поехали! — скомандовал Хуриев.

Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать.

Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел:

...Вставай, проклятьем заклейменный...

И дальше, в наступившей тишине:

...Весь мир голодных и рабов...

Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты.

Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор:

...Кипит наш разум возмущенный,
На смертный бой идти готов...

Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка...

...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...

Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил...

А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса.

— Представление окончено, — сказал Хуриев.

Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу.

Е. ДОЛМАТОВСКИЙ*

Баллада о памятнике

Германия в сорок пятом
Запомнилась навсегда.
Врывалась огнем расплата
В старинные города.
Мы брали их, мы входили
Штурмуя за домом дом.
Что мы их освободили,
Понятно им стало потом.

Победа. Покой внезапный.
И — летом — приказ на марш:
Еще переход на запад
Проделает корпус наш.
Осела, остыла ярость,
Колонной идут полки.

* *Евгений Аронович Долматовский* (1915–1994) — русский советский поэт, автор слов многих известных советских песен («Венок Дуная», «Если бы парни всей земли», «Комсомольцы-добровольцы», «Любимый город» и др.).

Вот горы — на ярус ярус,
Медные рудники.

Не знал я, что есть на свете
На склонах саксонских гор
Эйслебен — дитя столетий
И чем он велик и горд.
Возник городок в пространстве.
Домишки — стена к стене.
Над кирхою лютеранской
Голуби в голубизне.

Прошли мы такие дали
Сквозь грохот, а то — сквозь тишь,
Что кажется, все видали,
Ничем нас не удивишь.
Эйслебен — пускай Эйслебек,
Город очередной
И вдруг
На площади —
Ленин!
Товарищи, что со мной?

Понять это чудо силясь,
Не верю глазам своим,
Как будто в горах сместились
Эпох и веков слои,
Как будто в походе этом,
Шар обогнув земной,
С другой стороны планеты
Вступаю я в край родной.

Нас обнимают крепко,
Сбежавшись со всех сторон,
Костлявые немцы в кепках,
В фуражках с витым шнуром.
А мы молчим в изумленье,
И слезы кипят у глаз:
Какой дорогой Ленин
Пришел сюда раньше нас?

Пора открываться тайнам.
История жестока:

Памятник сбили танком
На площади городка;
Безумцы в квадратных касках
Забыли, как близок суд,
Какую они закуску
Для ненависти несут.

Не просто запасы бронзы
В Германию повезли,
А символ живой и грозной,
Не сдавшейся в плен земли.
Так прибыл товарищ Ленин
В дни горестей и потерь
В тот самый город Эйсleben,
Куда мы пришли теперь.

Работали на разгрузке,
Где каждая гайка в счет,
Несколько пленных русских
И немец — костлявый черт.
Взойдя на платформу первым
Проверить прибывший лом,
Он вдруг огляделся нервно,
Платком отирая лоб.

Потом подозвал советских
Мальчишек с нашивкой «ОСТ».
«Работать!» — прикрикнул резко.
Смотри — он не так-то прост!
Медлительно и спокойно
Скульптуру несли на склад,
Ничем не смутив конвойных,
Выдерживая их взгляд.

В подполье уходит Ленин,
Как будто опять — Разлив!
Спасли его от глумленья,
В пакгаузе тайник отрыв,
Проволокою ржавой
Переплели подход.
Что виселица угрожала
Любому из них — не в счет.

Была тогда, в сорок третьем,
Победа так далека...
Но в сорок пятом встретил
Ленин свои войска.
Я помню то утро счастья
и как венки возлагал
Старый немецкий мастер
Под временный пьедестал.

Теперь уже все известно —
Кто эту скульптуру скрыл,
А также город и место,
Где памятник раньше был.
На том постаменте Тельман
Сегодня стоит у нас.
Но это уже отдельный,
Мой следующий рассказ.

Е. ДРАБКИНА*

Раздумье**

В тот год долго стояли ясные, солнечные дни. Холода наступили сразу. Накануне годовщины Октября вдруг подул ледяной ветер, а на второй день праздника разыгралась вьюга, снег мокрыми хлопьями залепил окна. Мы с мамой колебались, идти ли на концерт в Большой зал Консерватории, куда у нас были билеты. Какое счастье, что мы все же решили пойти!

На улице мело. Лампочки иллюминации слабо светились сквозь снежную мглу. У Дома Союзов стояла деревянная статуя красноармейца. Символизируя победы, одержанные за последние недели над Деникиным и Юденичем, на его штык были нанизаны генералы, помещики, фабриканты.

Взявшись за руки, мы с мамой шагали навстречу ветру, который рвал знамена и раскачивал провода. К подъезду Консерватории вела дорожка, протоптанная в снегу. Гардероб не работал. Страхнув с себя снег, мы поднялись наверх.

* *Елизавета Яковлевна Драбкина* (Драбкина-Бабинец, 1901–1974) — русская революционерка; советская писательница, историк, мемуаристка.

** *Драбкина Е.* Черные сухари. М.: Советский писатель, 1963. С. 371–376.

Когда мы вошли, зал был почти полон. Служители вносили пюпитры и раскладывали ноты. Билеты наши были в партер в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно. Кресло рядом с этим свободным местом занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Он поднял воротник пальто и сидел, опустив плечи и сжавшись, — то ли устал, то ли старался согреться.

Появились оркестранты — в шубах и шапках. Пианистка не сняла шерстяных перчаток. Вяло звучали настраиваемые инструменты, словно и звуки застывали в этом мертвящем холоде. Наконец вышел дирижер — Сергей Кусевицкий. На нем был фрак, но вместо белого крахмального пластрона из-под фрака выглядывал серый свитер. Кусевицкий быстро поклонился, подышал на руки и поднял палочку. Концерт начался...

Я запахла поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама осторожно дотронулась до меня. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от нас. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич.

Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича — вступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда ему казалось, что он был наедине с самим собою.

Слушая и не слушая увертюру «Кориолан», я неприметно, боковым зрением, наблюдала за Владимиром Ильичей. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой. Оркестр постепенно освобождался от оцепенения, но все еще звучал приглушенно, и только замерзший ударник, когда ему приходило время вступить, с непомерной силой колотил по своему инструменту.

— Как застоявшаяся лошадь бьет, — негромко пошутил кто-то сзади.

Но вот прогремел финал, раздались аплодисменты. Владимир Ильич слегка пошевелился. По его движению я поняла, что он старается устроить поудобнее левое плечо, из которого еще не были извлечены эсеровские пули.

Это движение напомнило мне, как работники Совнаркома и даже Секретариата Центрального Комитета партии, помещавшегося вне стен Кремля, в первые дни после ранения Владимира Ильича невольно ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, а потом он стал выздоравливать, и какое это было счастье для нас, когда мы приходили на обед в кремлевскую столовую и видели через окно, как он гуляет по двору.

Новый взрыв рукоплесканий прервал мои думы. Теперь Владимир Ильич переменял позу и сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу.

Мне вспомнился день Первого мая девятнадцатого года. Праздник международного пролетариата проводился тогда иначе, чем теперь. Вся революционная Москва стройными колоннами приходила на Красную площадь, слушала выступления ораторов, проходила мимо Ленина, пела, произносила клятву верности социалистической революции и, проведя здесь, на Красной площади, несколько часов, расходилась по своим районам, чтобы там закончить празднование Дня международной солидарности трудящихся всего мира.

И Красная площадь тоже была совсем не такой, как теперь. Вдоль Кремлевской стены голо и неприятно, обложенные дерном, тянулись могилы жертв революции. Площадь была вымощена брусчаткой. По ней проходили две трамвайные линии. Трамваи со звоном и скрежетом одолевали подъем у Исторического музея, а потом с грохотом спускались к коротенькому, перекинутому с берега на берег, Москворецкому мосту. Сразу за храмом Василия Блаженного шел ряд невзрачных домов — и площадь от этого была меньше и теснее, чем в наши дни.

В тот день, Первого мая девятнадцатого года, она выглядела более празднично, чем всегда. На здании Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ) были повешены огромные алые полотнища; на одном из них был нарисован рабочий, на другом — крестьянин. На каждом зубчике Кремлевской стены трепетал красный флажок, и даже Минину и Пожарскому сунули в руки по красному флагу. На Лобном месте белое покрывало окутывало фигуру Стеньки Разина — памятник должен был быть открыт сегодня. Свежая могила Якова Михайловича Свердлова утопала в цветах.

Ярко светило солнце. Деревья были усыпаны почками и зеленоватым кружевом вырисовывались на фоне ясного неба. Настроение у всех было радостное. С фронтов приходили вести о победах Красной Армии. В толпе слышались песни, знакомые громко приветствовали друг друга еще только входившими в обычай словами: «С Первым мая, товарищи!» Молодежь хором декламировала строки из последнего стихотворения Демьяна Бедного:

О Шейдеман, лихая тварь,
Как буду я судьбой утешен,
Когда увижу тот фонарь,
На коем будешь ты повешен!

Около полудня на площади появился Владимир Ильич Ленин, бурно приветствуемый собравшимися. Он обратился к ним с приподнятой речью, которую закончил словами: «Да здравствует коммунизм!» Потом он спустился, чтоб перейти на следующую трибуну (их было установлено несколько, в разных концах площади — так, чтоб все, кто пришел, могли услышать Ленина и других большевистских деятелей). Но Владимира Ильича остановили и протянули ему лопату.

Дело в том, что в тот год день Первого мая был объявлен днем древонасаждения. Окруженная со всех сторон врагами, Советская республика решила высадить молодые деревья.

Владимир Ильич, лукаво усмехаясь, потер ладони, взял лопату и принялся копать землю у Кремлевской стены.

Когда ямка была вырыта, подъехала подвода с саженцами, Владимиру Ильичу вручили тоненькую липку. Он бережно поставил ее на предназначенное место, засыпал землей, полил водой — и только когда работа кругом была закончена, прошел вперед и поднялся на другую трибуну.

В первой своей речи в этот день он подводил итоги прошлого, теперь его мысль была обращена к будущему — к тому новому миру, который вырисовывался из-за туч порохового дыма, окутавшего Советскую Россию. Он; видел это будущее и в детях, слушавших его, стоя у подножия трибуны, и в молодых деревьях, которые были только что посажены.

Опираясь на лопаты, собравшиеся вслушивались в слова Владимира Ильича.

— Внуки наши, — говорил он, протянув перед собой почерневшую от земли руку, — как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.

Он посмотрел на детей и, немного помедлив, сказал:

— Мы не увидим этого будущего, как не увидим расцвета деревьев, которые сегодня посажены; но это время увидят наши дети, его увидят те, кто переживает сегодня пору юности...

Шум аплодисментов возвестил об окончании первого отделения концерта. Все поднялись с мест, притопывая, похлопывая себя, чтоб согреться. Встал и Владимир Ильич.

Он надел шапку, постучал кулаком о кулак, потом обернулся и увидел нас с мамой.

— А, Елизавет-Воробей, — окликнул он меня тем прозвищем, которое мне дали, когда я была девочкой. Он поздоровался с мамой, потом со мной своим крепким, быстрым рукопожатием...

Да, все это было...

И когда сегодня вспоминаешь об этом, тебя охватывает желание быть лучше, благороднее, быть всегда достойным высокого звания коммуниста!

Вечер в Кремле

Мы пришли в Кремль часу в десятом вечера. Владимир Ильич и Надежда Константиновна были у себя. Одеты они были по-домашнему: он — в стареньком пиджаке из альпага, она — в ситцевом платье в горошек.

Разговор отца с Владимиром Ильичей был сугубо секретный, и они ушли в другую комнату. Мы с Надеждой Константиновной остались на кухне. Она что-то чинила, я рассказывала, как жила все то время, что мы не виделись.

Потом Владимир Ильич и отец вернулись. «Ну и ну», — сказал Владимир Ильич в дверях, оборотись к отцу» и встряхнул головой, как бы желая что-то от себя отогнать.

Он не сразу сел к столу, а прошелся по кухне, затем решительным движением повернул стул, уселся на него верхом и, положив руки на спинку, принялся расспрашивать отца о военных делах.

Разговор шел в быстром темпе. Владимир Ильич задавал односложные вопросы: кто? где? как? когда? сколько? Выслушивая ответы, часто поругивался, любимыми ругательными словечками его были: «болван полосатый», «рохля», «безрукий растяпа».

Сначала речь шла о положении на Южном фронте, которое внушало обоим собеседникам чрезвычайную тревогу. Потом заговорили о только что назначенном Главнокомандующим вооруженными силами республики Сергее Сергеевиче Каменеве.

— Он производит очень хорошее впечатление, — сказал Владимир Ильич. — Когда был у меня, развивал мысль, что в гражданской войне военные действия являются первым средством политики и политика с оружием в руках: прокладывает себе дорогу. Интересное применение положения Клаузевица о войне, как продолжении политики, к условиям гражданской войны.

Владимир Ильич сделал паузу и добавил:

— Вот только имеется у наших военных специалистов, даже у лучших, воспитанная оконной войной склонность воевать для того, чтобы воевать, а не для того, чтобы побеждать. Но Каменев это понимает...

Потом заговорили о новых военачальниках и полководцах, выросших в ходе гражданской войны, — Блюхере, Азине, Чевере, Буденном.

Владимира Ильича живо интересовали народный ум и творческая импровизация, которые вкладывали эти военачальники в свое полководческое искусство.

Отец с увлечением рассказывал ему о том, как Буденный, конница которого тогда только что была создана, водил по степным просторам свои полки. Как он описывал круги и восьмерки и держал своих людей и коней накормленными и напоенными, а преследовавшего его противника — голодным и без воды. Как сам делал переходы ночью, по холодку, а противника принуждал двигаться днем, по солнцепеку.

Много рассказывал отец Владимиру Ильичу о рано погибшем Александре Михайловиче Чевере, которого близко знал.

Рабочий-деревообделочник, член партии с 1908 года, Чевев во время наших тяжелых поражений на Восточном фронте в 1918 году сумел пробиться из Уфы со своим отрядом через расположение противника и соединиться с нашими войсками.

Примечательной чертой Чевева было то, что на небольшом опыте командования двухтысячным отрядом он почувствовал своим пролетарским инстинктом ахиллесову пяту партизанщины и понял, что без знаний командовать нельзя. Он неоднократно приходил в штаб 2-й армии и беседовал с членами Реввоенсовета армии Шориным и Гусевым.

— Главная беда, — частенько повторял он, — что не знаем, как командовать. Во фланг? А как ударить во фланг — этого-то и не знаем. Эх, если б подучиться немного, всю бы эту сволочь живо расколотили! Учиться, учиться надо!

Он внимательно прислушивался к каждому указанию, и в ближайших же боях обнаружилось, каким способным учеником он был. Полк Чевева оказался самым стойким из всех, наступавших на Ижевск. После окончания Ижевско-Воткинской операции он добился посылки в Академию генерального штаба, но, не прочувшись и двух месяцев, сбежал от царившей там мертвящей схоластики преподавания.

— Артиллерию начинают с персидской и греческой катапульты, — жаловался он Гусеву. — На черта мне эта катапульта, ежели гражданская война разгорается с каждым. днем? Дьявол их заберите вместе с их катапультой!

Потом разговор перешел на новые формы борьбы, созданные благодаря особым качествам нового, революционного солдата и нового командира в условиях новой армии, ведущей гражданскую войну.

Поговорить тут было о чем! Народ, создающий свою армию, вложил в это дело все свое золотое умение. Это он породил знаменитую пулеметную тачанку. Это он, когда не хватало оборудованных бронепоездов, устанавливал на товарные платформы орудия и пулеметы, заменял броню мешками с песком и, дав такому составу звучное имя: «Ленинец», «Молния», «Борец», «Смерть белым», превращал его в бронепоезд, способный к бою.

Отец рассказывал Владимиру Ильичу, как во время наступления на Уфу наши части вышли на берег реки Белой. Никаких технических средств для переправы не было. Реку пришлось форсировать на лодках, кавалерия переправлялась вплавь. Темп операции сильно замедлился. В это время к командованию явился рядовой красноармеец, сказал, что он плотник и берется навести переправу с помощью пустых бочек и досок, почти без гвоздей. Несмотря на быстрое течение реки и огонь противника, переправа была наведена и оставшиеся части и обозы переброшены на другой берег.

Так, за разговорами, прошел вечер. Пора уже было уходить. Но тут Владимир Ильич, лукаво посмотрев на Надежду Константиновну (разрешит?.. не разрешит?..), сказал:

— А что, Сергей Иванович, если нам воспользоваться тем, что вы здесь и работать все равно уже не будете, и позвать сюда Красикова и немножко помозицировать?

Надежда Константиновна разрешила. Позвонили Красикову — это был один из деятельных участников женевской группы большевиков в эпоху II съезда партии. Жил он в Кремле и минут пять спустя пришел со своей скрипкой.

С его приходом все переменилось. Он вошел, напевая какую-то французскую песенку. Отец подхватил. Владимир Ильич и Надежда Константиновна переглянулись, расхохотались, — видимо, эта песенка напомнила им что-то смешное. И вдруг они все четверо наперебой заговорили о Женеве, о Мартове и Плеханове, о спорах и эмигрантской столовке на Рю Каруж, о времени страстной борьбы с меньшевиками после II съезда партии, изобиловавшей, как и всякая такая борьба, массой всяческих перипетий — и трагических и комических.

Из их разговора я поняла, пожалуй, только одну забавную историю, которая произошла с одним из русских социал-демократов в день его приезда из России в Женеву.

Отправляясь за границу, этот товарищ приобрел самоучитель французского языка. Перелистывая его, он узнал, что буква «е» на конце слов во французском языке не выговаривается. Потом он нашел личное местоимение «я» — по-французски «je», но не обратил внимания на то, что оно произносится «жэ», и решил, что его надо произносить «ж».

В Женеве он снял комнату в старой части города, в одном из тех узких высоких домов, каждый этаж которых состоит из одной комнаты и квартира представляет собой несколько этажей.

Оставив там вещи, он отправился на явку и весь день посвятил изучению внутривнутрипартийных разногласий. Домой вернулся поздно, хозяева уже спали. Он постучал дверным молотком. Окно на верхнем этаже раскрылось, в нем появилась голова в ночном чепце и произнесла:

— Qui est ca?*

— Жжжжжжжж, — ответил он.

— Qui est ca? — снова послышалось сверху.

— Жжжжжжжж, — снова прозвучало в ответ.

Так он стоял и жужжал, пока окошко не захлопнулось. Ночевать ему пришлось на скамейке в городском саду.

Надежда Константиновна предложила перейти в ее комнату. Владимир Ильич сел на диван. Надежда Константиновна — рядом с ним.

Красиков поднял смычок и вопросительно посмотрел на отца. Тот утвердительно кивнул, и Красиков начал играть вступление к опере «Паяцы».

Владимир Ильич сидел, откинувшись назад и прикрыв глаза левой рукой. Видно было, что он весь ушел в слух. Скрипка не могла, разумеется, передать многоголосое звучание оркестра. Но Красиков неплохо ею владел, а главное — все так изголодались по музыке, что не могли не испытывать наслаждения.

В том месте, где раздвигается занавес и на сцену выходит актер, исполняющий партию «Пролога», зазвучал голос моего отца.

Я уже не раз слышала и от мамы и от товарищей отца рассказы о его голосе — о том, как Фигнер предложили ему сделаться солистом Мариинского театра, как шумное пение отца во время II съезда партии послужило причиной переноса заседаний съезда из Брюсселя в Лондон. Рассказывали, что, когда отец был в ссылке в Березове, его пение было слышно с одного берега широкой Сотьвы на другом.

В тот вечер у Владимира Ильича он пел негромко, в четверть голоса. Теперь Владимира Ильич сцепил руки и сидел, слегка на-

* Кто это? (фр.).

гнувшись вперед. В открытое окно видно было звездное ночное небо. Голос отца то усиливался, то становился глуше.

Так он провел всю партию. Оставалась лишь одна фраза, последняя фраза. И тут отец не сдержался. Он вскочил, сделал шаг вперед, протянул к Владимиру Ильичу обе руки и взволнованно пропел в полную силу:

— Итак, мы начинаем!

Был в этом такой порыв, такая глубина чувства и мысли, что и для слушателей и для певца «Пролог» прозвучал не как пролог к рассказу о трагической судьбе семьи паяцев, а как совсем иной пролог к совсем иным событиям, которые переживала тогда великая русская революция.

Ю. Друнина*

В доме Зыряновых (1969)

Я навек поняла отныне,
Стало в Шушенском ясно мне:
Людям надобно со святыней
Оставаться наедине.

Помолчать, грохот сердца слыша,
Не умом, а душою понять:
Здесь он жил, вот под этой крышей,
Эта койка — его кровать.

Здесь невесте писал про Шушу,
Здесь морщинки легли у рта...
Я хочу тишину послушать,
А при людях она не та.

И когда все уйдут отсюда
И затихнет людской прибой,
Я немного одна побуду,
Я побуду, Ильич, с тобой...

* *Юлия Владимировна Друнина* (1924–1991) — советская поэтесса. Член Союза писателей СССР. Секретарь Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР. Народный депутат СССР. Трагически ушла из жизни, покончив с собой 21 ноября 1991 г., основной причиной самоубийства послужило крушение общественных идеалов и развал страны.

М. ДУДИН***Ленин**

Пылают звёзды на Кремле.
Их свет горяч и неизменен.
Для всех людей на всей земле
Звучит надеждой слово «Ленин».

Когда приходит в первый класс
Простой веснушчатый мальчишка,
Он это слово первый раз
Читает в самой первой книжке.

Войдёт он в мир труда и света,
И нет того пути светлей.
Он будет ленинцем — а это
Всего прекрасней на земле.

Е. ЕВТУШЕНКО****Ленин поможет тебе**

Все реки от зноя мелеют,
А в стужу уходят под лед.
Но очередь у Мавзолея
Зимой и летом течет.
И чуть шелестят ее волны,

* *Михаил Александрович Дудин* (1916—1993) — русский советский поэт, переводчик и журналист, военный корреспондент. Общественный деятель, сценарист, автор текстов песен и более 70 книг стихов. Герой Социалистического Труда (1976), лауреат Государственной премии СССР (1981).

** *Евгений Александрович Евтушенко* (фамилия при рождении — Гангнус; 1932—2017) — русский советский поэт, прозаик, сценарист, публицист. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1963). В первый сборник стихов Евтушенко вошли стихотворения, прославляющие Сталина. Одна глава поэмы «Казанский университет» посвящена В. И. Ленину и написана к 100-летию юбилею Ленина. По заверениям поэта, всё это (равно как и другие искренно-пропагандистские его стихотворения советского времени: «Партбилеты», «Коммунары не будут рабами» и т. п.) — следствие влияния пропаганды

Рождаясь опять и опять
Какой-то особенной Волгой,
Которую льдом не сковать.
И руки на плечи положит
Ильич, наш товарищ в борьбе,
И если никто не поможет,
То Ленин поможет тебе.
И тихо, когда тебе трудно,
Приди за советом сюда.
Все мертвые спят непробудно,
Но Ленин не спит никогда.
Он видит все взлеты эпохи,
Все штормы и грозы ее.
Он слышит все стоны и вздохи,
И даже молчанье твое.
И все им любимые песни
Оставлены им для тебя.
И все его книги и письма
Написаны им для тебя.
Всем сердцем эпоху ты слушай —
Борец, а не зритель ее! —
И памятник Ленину лучший —
Не мрамор, а сердце твое.

Братская ГЭС

<Фрагмент>

Проселками и селеньями, с горестями, болями
Идут ходоки к Ленину, идут ходоки к Ленину.
Метели вокруг свищут. Голодные волки рыщут.
Но правду крестьяне ищут, столетьями правду ищут.
Столькие их поколения, емелек и стенок видевшие,
Шли, как они, к Ленину, но не дошли, не выдюжили.
Идут ходоки, зальделые, все, что наказано, шепчут.
Шаг за себя делают. Шаг — за всех недошедших...
А где-то в Москве Ленин, пришедший с разинской Волги,
На телеграфной ленте их видит сквозь все сводки.
Воет метель, завывает. Мороз ходоков корежит,
И Ленин себя забывает — о них он забыть не может.
Он знает, что все идеи — только пустые «измы»,
Если забыты на деле русские слезные избы.

А ночью ему не спится под штопаным одеялом.
Метель ворожит: «Не сбыться великим твоим идеалам!»
Как заговор, вьется поэмка. В небе за облака
Месяц, как беспризорник, прячется от ЧК.
«Не сбыться! — скрежещет разруха. — Я все проглочу бесследно!»
«Не сбыться! — как старая шлюха, неправда гнусит. — Я бес-
смертна!»
«В грязь!» — оскалился голод.
«В грязь!» — визжат спекулянты.
«В грязь!» — деникинцев гогот.
«В грязь!» — шепоток Антанты.
Липкие, подлые, хитрые, всякая разная мразь
Ржут, верещат, хихикают: «В грязь! В грязь! В грязь!»
Метель панихиду выводит, но вновь — над матерью-Волгой
Идет он просто Володей и дышит простором, волей.
Волга дышит смолисто, Волга ему протяжно:
«Что, гимназист из Симбирска, тяжело быть Лениным, тяжело?!»
Не спится ему, не спится. Но сквозь разруху, метели
Он видит живые лица, словно лицо идеи.
И за советом к селяням, к горестям и болям
Идет ходоком Ленин, идет ходоком Ленин...

Многие страны я видел. Твердо в одном разобрался:
Ждет нас всеобщая гибель или всеобщее братство.
В минуты самые страшные верую, как в искупление:
Все человечество страждущее объединит Ленин.
Сквозь войны, сквозь преступления,
Но все-таки без отступления,
Идет человечество к Ленину,
Идет человечество к Ленину...

Первый арест

(Из поэмы «Казанский университет») (1970)

Косит глазом конь буланый
и копытами частит.
Арестованный Ульянов
не особенно грустит.

Почему должно быть грустно,
если рот хотят зажать?
Пусть грустят в России трусы,
кого не за что сажать.

Рот пророческий, зажатый
полицейским кулаком, —
самый слышимый глашатай
на России испокон.

Страшно, брат, забыть о чести,
душу вывалить в дерьме,
а в тюрьме не страшно,
если цвет отечества в тюрьме.

В дни духовно крепостные,
в дни, когда просветов нет,
тюрьмы — совести России
главный университет.

И спасибочко, доносчик,
что властям, подлец, донес,
и спасибочко, извозчик,
что в тюрьму, отец, довел.

Вот уже ее ворота.
Конь куражится, взыграв.
Улыбается Володя.
Арестован — значит, прав.

Благодушный рыхлый пристав
с ним на «вы», а не на «ты».
У него сегодня приступ
бескорыстной доброты.

Мальчик мягкий, симпатичный,
чем-то схож с его детьми.
Сразу видно — из приличной,
из начитанной семьи.

Замечает пристав здраво:
«Тюрем — много, жизнь — одна.

Что бунтуете вы, право?
Перед вами же стена...»

Но улыбка озорная
У Володи: «Да, стена,
только, знаете, — гнилая.
Ткни — развалится она».

Обмирает пристав, ежась:
«Это слышу я стрезва?
Неужели есть возможность,
что она того... разва...»

Для него непредставимо,
что развалится режим,
как давным-давно для Рима,
что падет прогнивший Рим,

как сегодня на Гаити
для тонтонов Дювалье,
и в Мадриде на корриде,
и на греческой земле.

Топтуны недальнозорки.
Заглянуть боясь вперед,
верят глупые подпорки,
что стена не упадет.

А смеющийся Ульянов
ловит варежкой снег,
и летит буланый, прыгнув,
прямо в следующий век.

Там о смерти Че Гевары,
как ацтеки о богах,
мексиканские гитары
плачут, струны оборвав.

Но за ржавую решеткой
нацарапано гвоздем
по-Володиному четко:
«Мы пойдем другим путем».

Может, слышится в Китае:
«Перед вами же стена...»,
а в ответ звучит: «Гнилая...
Ткни — развалится она».

И в отчаянном полете
карусельного коня
продолжается, Володя,
вечно молодость твоя.

Бедный пристав — дело скверно.
Не потей — напрасный труд.
Что ломает стены? Вера
в то, что стены упадут!

Вен. ЕРОФЕЕВ*

Моя маленькая лениниана (1988)

* * *

Для начала — два вполне пристойных дамских эпитафия:
Надежда Крупская — Марии Ильиничне Ульяновой:

«Все же мне жалко, что я не мужчина, я бы в десять раз больше шлялась» (1899).

Инесса Арманд (1907):

«Меня хотели послать еще на 100 верст к северу, в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается».

Впрочем, можно следом пустить еще два дамских эпитафия, но только уже не вполне пристойных:

Галина Серебрякова о ночах Карла Маркса и Женни фон Вестфален:

«Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Это были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они работали

* Венедикт Васильевич Ерофеев (1938–1990) — русский писатель, автор поэмы «Москва — Петушки» (1970).

вместе. Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что у них ночами «не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев» (в серии ЖЗЛ).

Инееса Арманд — Кларе Цеткин:

«Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить? Будьте чистосердечны, и в вашем следующем письме признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!» (январь 1915).

Ну а теперь к делу. То есть к выбранным местам из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он научился писать, и до того (1922) времени, как он писать разучился.

В 1895 году он еще гуляет по Тиргартену, купается в Шпрее. Посетив Францию, сообщает: «Париж — город громадный, изрядно раскинутый».

Но уже в 96-ом году Ильич помещен на всякий случай в дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге:

«Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся об этом у прокурора. Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет».

Оттуда же он пишет сестрице:

«Получил вчера припасы от тебя, <...> много снеди <...> чаем, например, я мог бы с успехом открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с местной лавочкой победа осталась бы несомненно за мной.

Все необходимое у меня здесь имеется, и даже сверх необходимого. Свою минеральную воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу».

Одна только просьба:

«Хорошо бы получить стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой» (1896).

А дальше, разумеется, Шушенское.

«В Сибири вообще в деревне очень и очень трудно найти прислугу, а летом просто невозможно» (1897).

«Я еще в Красноярске стал сочинять стихи:

В Шуше, у подножия Саяна... но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил».

Младший братец его, Дмитрий Ульянов, тоже угодил в тюрьму, и вот какие советы из Шушенского дает ему старший брат:

«А Митя? Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли он гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту знаю и скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреешься даже. Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) — 50 земных поклонов» (1898).

И, сверх того, ожидание невесты Надежды Константиновны и будущей тещи Елизаветы Васильевны. Наконец приезжают. Вот как он сообщает об этом приезде своей матушке:

«Я нашел, что Надежда Конс-на выглядит неудовлетворительно. Про меня же Елизавета Васильевна сказала: „Эк Вас разнесло!“ — отзвы, как видишь, такой, что лучше и не надо» (1898).

«Мы с Надей начали купаться».

А когда закончились купальные сезоны — «катаюсь на коньках с превеликим усердием и пристрастил к этому Надю» (1898). Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье.

«Глупый народ — чехи и немчура» (Мюнхен, 1900).

«Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Гнусная дыра, но ничего не поделаешь» (1908).

«Париж — дыра скверная» (1910).

Блистательные сентенции вроде:

«Я вовсе не нахожу ничего смешного в заигрывании с религией, но нахожу много мерзкого» (1909).

«Мы все ездим с Надей на велосипедах кататься» (1909).

«Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (...) Надеюсь выиграть». (Париж, 1910).

«Погода стоит такая хорошая, что я надеюсь снова взяться за велосипед, благо процесс я выиграл и скоро должен получить деньги с хозяина автомобиля» (Париж, 1910). «Я не верю, что будет война» (Краков, 1912). «А насчет женского органа пусть напишет Надежда Константиновна» (Краков, 1914).

И драгоценные добавления в письмах Надежды Константиновны:

«Новый год мы встречали вдвоем с Володей, сидючи над тарелками с простоквашей» (январь 1914).

«Собираемся взять прислугу, чтобы не было большой возни с хозяйством и можно было бы уходить на далекие прогулки» (Краков, 1914).

«Сегодня Володя ездил на велосипеде довольно далеко, только шина у него лопнула» (Краков, лето 1914).

О своем друге Максиме Горьком Ильич помнит неизменно:

«Горький изнервничался и раскис» (1910).

«Горький всегда был архибесхарактерным человеком».

Или:

«Бедняга Горький! Как жаль, что он осрамился!»

И несколько позднее:

«И это Горький! О, теленок!»

Однако началась война. Бегство из Кракова. И, «сидючи» в нейтральной Швейцарии, тов. Шляпникову:

«Лозунг мира — это обывательский, поповский лозунг» (17 октября 1914 года).

А милой Инессе Арманд:

«... Даже мимолетная связь и страсть поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов». Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре.

Логично ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить...что?.. Казалось бы, поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную) «страсть» (почему не любовь?). Выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским».

Странно. Не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский брак без любви пролетарскому браку с любовью» (24 января 1915).

И ей же:

«Требование “свободы любви” советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. Дело не в том, что Вы хотите субъективно понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви» (17 января 1915).

И опять ей:

«Если уж непременно хотите, то мимолетная связь = страсть может быть и грязная, может быть и чистая» (24 января 1915). «У нас опять дожди. Надеюсь, небесная канцелярия выльет всю лишнюю воду к Вашему приезду, и тогда будет хорошая погода» (4 июня 1915). «Крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг».

И необходимость постоянно печатать свои очередные брошюры с очередными тезисами. Спустя два с лишним года, уже будучи вождем большевистского правительства, он будет давать такие распоряжения: «Реквизировать 30 000 ведер вина и спирта в винных складах. Есть ли бумажка от Военно-Революционного Комитета, чтобы спирт и вино не выливалось, а ТОТЧАС же были проданы в Скандинавию? Написать ее тотчас» (9 ноября 1917). А пока он не вождь, тов. Карпинскому:

«Дорогой товарищ! Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей и корректур (моей брошюры). Неужели наборщик опять запил?» (20 февраля 1915).

Тов Зиновьеву:

«Не помните ли фамилию Кобы? Привет, Ульянов». (3 августа 1915).

Тов. Карпинскому:

«Большая просьба: узнайте фамилию Кобы» (9 ноября 1915).

Все. Февральский переворот в России. Ленин:

«Нервы взвинчены сугубо нужно скакать, скакать».

«Мы боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся».

«Нужен отдельный вагон для революционеров».

«Я могу одеть парик».

«Хорошо бы попробовать у немцев пропуска — вагон до Копенгагена».

«Почему бы и нет? Я не могу этого сделать. А Трояновский и Рубакин и К — могут. О, если бы я мог научить эту сволочь!» (март 1917).

Инесе Арманд:

«Вы скажете, может быть, что немцы не дадут нам вагона. Давайте пари держать, что дадут».

«Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» (19 марта 1917).

«Германское правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона. Привет, Ульянов!» (14 апреля 1917).

В письмах послезалповских, послеавроровских — нет ничего триумфального. Напротив того: «Республика в опасности». Необходимы срочные меры. Например, такие:

«Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко. Он должен называться просто тов. Овсеенко» (14 марта 1918).

«Аресты, которые должны быть произведены по указанию тов. Петерса, имеют исключительно большую важность и должны быть произведены с большой энергией».

Тов. Зиновьеву в Петроград:

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором и что Вы их удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но! Надо поощрить энергию и массовидность террора!» (26 ноября 1918)

Тов. Сталину в Царицын:

«Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще».

«Повсюду надо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов» (7 июля 1918).

Тов. Сокольникову:

«Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применив строгости. Но если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте» (24 сентября 1918).

В Пензенский губисполком:

«Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении» (9 августа 1918).

Тов Федорову, председателю Нижегородского губисполкома:

«В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. Ни минуты промедления» (9 августа 1918).

Не совсем понятно, кого же убивать. Проституток, спаивающих солдат и бывших офицеров? Или проституток, спаивающих солдат, а уже от «...будьте образцово — беспощадны».

Тов Шляпникову, в Астрахань:

«Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских взяточников и спекулянтов. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили» (12 декабря 1918).

Телеграмма в Саратов, тов. Пайкесу:

«Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волкиты» (22 августа 1918).

Тов. Сталину в Петроград:

«Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предположить наличность в нашем тылу, а может быть и на самом фронте, организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение (Юденича) со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед.

Просьба обратить усиленное внимание на это обстоятельство, принять экстренные меры для раскрытия заговоров» (27 мая 1919).

«Предупреждаю, за это председателей губисполкомов буду арестовывать и добиваться расстрела их» (20 мая 1919).

Тов. Зиновьеву:

«Вы меня зарезали!» (7 августа 1919).

В отдел топлива Московского Совдепа:

«Дорогие товарищи. Можно и должно мобилизовать московское население поголовно и на руках вытащить из леса достаточное количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину).

Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в ЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпимы бездеятельность и халатность.

С коммунистическим приветом, Ленин» (18 июня 1920).

В Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов:

«Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты.

Простите за откровенное выражение своего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие» (12 октября 1918).

Глебу Кржижановскому:

«Мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-матем. факультеты и пр. Обязанность: в неделю не менее 2-х лекций. Обучить не менее 10-и (50-и) человек электричеству. Исполнить — премия. А не исполнить — тюрьма» (декабрь 1920).

Тов. Чичерину:

«Пусть Сталин поговорит начистоту с турецкой делегацией».

Получает донос на врачей, комиссующих раненых красных солдат, когда те еще «вполне способны воевать»:

«...организовать тайный надзор и слежку за поведением этих врачей, чтобы изобличить их, собрав свидетелей и документы, а потом предать суду» (20 ноября 1918).

В ответ на жалобу М. Ф. Андреевой относительно арестов интеллигенции:

«Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей этой околкадетской публики. Преступно не арестовывать ее. Лучше, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки. Ей-ей, лучше» (18 сентября 1919).

Максиму Горькому о том же:

«Короленко ведь почти меньшевик. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками. Нет, таким „талантам“ на грех посидеть недельки в тюрьме». «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно» (15 сентября 1919).

Тов. Крестьянскому:

«Брошюра напечатана на слишком роскошной бумаге. По-моему, надо отдать за эту трату роскошной бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует» (2 сентября 1920).

«Неумный человек или саботажник редактировал ее?»

Тов. Сталину в Харькове:

«Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведя связью, не умеет и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (16 февраля 1920).

Тов. Каменеву:

«По-моему, нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом «критики» (5 марта 1921).

Смольный, Зиновьеву:

«Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как и раньше он высказывался

в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения соответствующих разговоров, не высказаться против советской власти и коммунизма в России.

Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормативный паек» (25 июня 1920).

Каменеву и Сталину:

«Опасность, что с сибирскими крестьянами мы не сумеем поладить, чрезвычайно велика и грозна, а тов. Чупкаев несомненно слаб, при всех его хороших качествах, — он совершенно незнаком с военным делом» (9 марта 1921).

Шмидту, Троцкому, Цурюпе, Шляпникову, Рыкову, Томскому:

«Прошу Вас собрать совещание наркомов — об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков» (2 апреля 1921).

В Совет Труда и Оборона:

«Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив качество».

Тов. Брюханову:

«Сейчас же начать кампанию беспощадных арестов за нерадение <...>. НКПрод должен установить по губерниям и уездам ответственных лиц, чтобы знать, кого сажать» (25 мая 1921).

Тов. Преображенскому:

«Что он реакционер, охотно допускаю. Но их надо иначе изобличать. Изобличи на точном факте, поступке, заявлении. Тогда посадим.

Надо выработать приемы ловли спецов и наказания их» (19 апреля 1921).

Очень мило. В. Молотову:

«Предлагаю уволить Абрамовича тотчас.

Федоровскому предоставить объяснения, как он мог принять на службу Абрамовича.

Федоровского за это наказывать примерно» (10 июня 1921).

И шуточки:

«Тов. Цурюпа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).

И без шуток:

«Если после выхода советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить» (Тов. Литкенсу, 17 мая 1921).

Тов. Горбунову:

«Ведь есть ряд постановлений СТО об ударности Гидроторфа. Явно они забыты. Это безобразие! Надо найти виновных и отдать их под суд» (10 февраля 1922).

Тов. Каменеву:

«Почему это задержалось? [имеется в виду печатание ленинских “Тезисов о внешней торговле”] Ведь я давал срока 2–3 дня! Христа ради, посадите Вы за волокиту в тюрьму кого-нибудь!.. Ваш Ленин» (11 февраля 1922).

«Наши дома загажены подло. <...> Надо в 10 раз точнее и полнее указать ответственных лиц и сажать в тюрьму беспощадно» (8 августа 1921).

«От Центропечати требуйте быстрой рассылки “Наказа СТО”, иначе я их посажу».

«Позвоните Бельенкому и скажите, что я зол». А Брюханову и Потяеву:

«Если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим» (август 1921).

«Медленно оформляй заказ на водные турбины! В коих у нас страшный недостаток! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно найдите виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме» (13 сентября 1921).

«Если у Вас в Баку еще есть следы (хотя бы даже малые) вредных взглядов и предрассудков (среди рабочих и интеллигентов), пишите мне тотчас. Беретесь ли Вы сами разбить эти предрассудки и добиться лояльности или нужна помощь?» (2 апреля 1921).

«Либо дурак, либо саботажник злостный мог пропустить эту книгу. Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц» (7 августа 1921).

О Прокоповиче и Кусковой:

«Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение 2-х месяцев».

Наркому почт и телеграфа:

“Обращаю Ваше серьезное внимание на безобразие с моим телефоном из деревни Горки.

Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие-то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники”.

Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921). Расстрелян в 1921 году.

В Главное управление угольной промышленности:

«Имеются некоторые сомнения в целесообразности применения врубковых машин. Тот производственный эффект, который ожидает от применения врубковых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле» (август 1921).

В комиссию Киселева:

«Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921 года).

Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919:

«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через три месяца они должны предоставить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».

Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивалась морда у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вожды такие депеши:

«Все театры советую положить в гроб» (26 августа 1921).

Или телеграммы:

«Какие вопросы Вы признаете важнейшими, а какие — ударными! Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).

Для Политбюро ЦК РКП(б):

«Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и Балета» (12 января 1922).

Раздражение еще вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.

Тов. Богданову:

«Мы еще не умеем гласно судить за поганую волокиту, за это весь Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что всех нас когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).

Тов. Сокольникову:

«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).

Начинается изгнание профессуры.

Каменеву и Сталину:

«Уволить из МВТУ 20–40 профессоров. Они нас дурачат» (21 февраля 1922).

Ф. Э. Дзержинскому:

«К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.

Не все сотрудники «Новой России» — кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал «Экономист». Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее шпионов, слуг, растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом. Вам и мне» (19 мая 1922).

А тов. Кржижановский, которому было поручено 10–50 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.
Тов. Сталину:

«Прошу немедленно поручить НКИнделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимовича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.

Речь идет о лечении грыжи.

С коммунистическим приветом. Ленин» (25 апреля 1922).

А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой невротический недуг, который заключается вот в чем.

Тов. Иоффе:

«Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК — это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто ЦК — это я? Это переутомление. Отдохните серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечить вполне» (17 марта 1921).

И тут же следом — Г. М. Кржижановскому:

«Я должен тыкать носом в мою книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может». (5 апреля 1921).

А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина:

«Ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. <...> Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).

В. Молотову:

«Сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и пр.) согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий» (23 января 1922).

И через день тому же Молотову:

«Это и следующее письмо Чичерина явно доказывают, что он болен, и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий» (24 января 1922).

И в заключении — два негромких аккорда. Первый из них вызывает слезы, второй — тоже.

Тов. Уншлихту:

«Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).

Тов. Каменеву:

«Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921).

Москва, 5–6 февраля 1988.

В. ЕРОФЕЕВ***За мимолетную страсть против брака (2017)**

Надо признать, что молодой дворянин Владимир Ульянов был вполне живым и динамичным мыслителем своего времени. Начиная он как молодой романтик. Если символисты взрывали традиционную мораль во имя метафизической революции, то Ленин уничтожал государственную инфраструктуру во имя социальной. Посыл был схожим. «Надо мечтать!» — утверждал Ленин в своей работе «Что делать?». И в своих мечтах он был по-своему символом, разделившим мир на непримиримые лагеря добра и зла, взяв за основу не французскую поэзию, а Парижскую коммуну, не христианского Бога, а Карла Маркса. Кстати, несмотря на свой материализм, Ленин верил в объективную истину, чем примирил в конце концов с марксизмом и Брюсова, и Андрея Белого.

По сравнению с другими, более умеренными революционерами, меньшевиками и прочими полулиберальными оппортунистами Ленин достиг именно символистской чистоты восприятия действительности, выварился (если вспомнить слова Мандельштама) в своей же собственной чистке и приобрел уникальную революционную харизму уже в возрасте 25 лет. Этим «волжанином» многие увлекались, за ним шли, ему подражали. В нем не было ущербности плебея, рвущегося к власти. Он уже был полон интеллектуальной власти, которая извергалась из него фонтанами: грубостью, дерзостью, кровавыми фантазиями в основном риторического содержания. Он был безусловным продолжением русской литературы на новом, скособоченном этапе. Ему не хватало лишь героини, и она по законам жанра не могла не появиться.

Ленин стал революционером-любовником в 1909 году в Париже, когда влюбился во французскую красавицу Инессу Арманд. И тут, конечно, началась полная ерунда. Нет, он никогда не был примерным семьянином, как атеист, не верил в святость брака, использовал его по революционному назначению. Когда, задолго до встречи с Арманд, он предложил Крупской быть его женой, та, безусловно польщенная, сказала холодно: «Жена так жена». Знала Минога (партийная кличка и объективная оценка красоты

* *Виктор Владимирович Ерофеев* (р. 1947) — российский писатель, литературовед. Участник литературы андеграунда 1970-х. В 1979 г. за организацию в самиздате неподцензурного альманаха «Метрополь» был исключён из Союза писателей СССР.

Крупской), что Ленин относится к браку скептически. Но без женьги бы он бы не мог выписать ее в Шушенское, куда она поехала вместе с религиозной матерью и по дороге, как говорят, отморозила яичники и никогда не смогла родить. По требованию сибирской полиции она с Лениным венчалась на радость матери, и это только усилило их семейную иронию по отношению к традиционному браку. Но Ленин все-таки видел своей возлюбленной Революцию, а не Крупскую, и ей пришлось смириться с второстепенной ролью помощницы.

Однако в 1909 году у Ленина треснули все устои. Инесса Арманд с густыми волосами, пахнущая духами, подмышками, пахом, в шляпе с красными перьями была сама по себе Революцией. И если та, русская, социальная мечта под названием Революция, гнила где-то в далекой России, то здесь, в Париже, Инесса подменила собой мечту. И подменила настолько удачно, что, к ужасу подпевалы-Крупской, могла даже побеждать в спорах с самим Лениным.

Они стали жить втроем. Как Мережковский с Гиппиус и Философовым, как чуть позже Маяковский и многие другие... Это было время разрешенных адюльтеров, бурных романов на стороне, когда все спали со всеми, обещали не ревновать, но стрелялись из ревности и стреляли от собственного бессилия.

В такой сексуальной среде Серебряного века Ленин выделился как революционер-любовник, то есть тот, кто изменил одной Революции и адюльтерил с другой, у которой было свое представление о свободной женской любви, о пошлости поцелуев без эрекции, о торжестве мимолетной страсти над угрюмым браком. Арманд не только была практиком, но и теоретиком женской свободы. Она вообще была как глоток шампанского: вечный праздник и брызги энергии. Поначалу она боялась Ленина, который был действительно крутым революционером, опасной бритвой, но они быстро поняли, что оба крутые и никто им не пара.

Их праздник продолжался в Польше, где они, как и в Лонжюмо под Парижем, снова жили втроем. Но почему-то Крупская все больше болела, и глаза у нее вылезали из орбит от ужаса не только базедовой болезни. Однажды Ленин, который не был либералом ни в политике, ни в жизни, отправил Арманд с партийным заданием в Петербург, практически на верный арест. Так и случилось. Ее выкупил за большие деньги первый муж, и Арманд снова вернулась в Европу. К Ленину.

Ленин спорил с ней по поводу свободной женской любви не только по принципиальным соображениям, но, по-моему, из-за ревности тоже. Я не знаю, какой у них был секс, но Арманд

писала, что у нее в жизни только со вторым мужем было единство сердечной дружбы и страсти. Ленин тут явно проходил по списку сердечной дружбы, и, видимо, это его глубоко задевало. Молодых кандидатов в любовники у красавицы-блондинки Арманд всегда хватало.

Ленин не выдержал перегрузок и расстался с Арманд. Та поспешно уехала из Кракова. Крупская вздохнула с облегчением. Но Ленин не выдержал и отсутствия Арманд. Он вернул ее, обливаясь в письмах нежностью. Если бы не было Октябрьской революции, Ленин был бы разгромленным революционером-любовником. Это был бы печальный роман о сугубо индивидуальной любви (она бы его бросила, конечно). Но случилось иначе, громыхнуло на всю страну.

Вместе с Крупской и Арманд в одном купе Ленин едет в пломбированном вагоне с большими деньгами от германского генштаба навстречу русской революции. Он побеждает в схватке с противниками и становится диктатором и в первый раз смело смотрит на Арманд сверху вниз.

При этом он звонит ей из Кремля по вертушке, беспокоится о номере ее калош, наконец, встречает Новый год — только с ней, без Крупской. Полный крах семьи. А Арманд, назначенная в ЦК главой Женского отдела (главная, получается, женщина России, а Крупская всего лишь заместитель Луначарского), начинает заниматься женской революцией.

Она проводит — при поддержке Ленина — многие реформы семейной жизни. Начинается пора легких гражданских браков, никаких церемоний, когда можно расписаться сразу же и развестись немедленно, в секунду. А можно и так жить, без брака, меняя партнеров. Это полная десакрализация брака; Европа еще долгое время не отважится на такие реформы.

Кроме того, в рамках Трудового кодекса Арманд проводит закон о равных зарплатах мужчин и женщин. В сущности, она одобряет Коллонтай и Ларису Рейснер, которые (как всем известно) говорят о сексе как о стакане воды: захотелось — выпил — забыл. Но все-таки до идеи обобществления женщин, о чем шумели в местной печати владимирские коммунисты, дело не дошло. И дойти не могло. Декрет о сексе, в отличие от декретов о мире и о земле, не прошел. Да и не мог пройти. Там было много нового рабства, а не женской свободы. Все говорит о новом комсомольском ханжестве, и только требование отказаться от ревности кажется в духе того времени. Арманд была слишком умна, чтобы не заниматься очевидной дурью. Ее же основательные реформы семейной и сексуальной жизни были с трудом преодолены в сталинские годы.

Арманд до этого не дожила. Ее, реформатора русской женской доли, пианистку, блестяще игравшую для Ленина Бетховена и Шопена, случайно на тот свет отправил тот же Ленин. Ну, случайно. Он был готов на все, чтобы Инесса была рядом. Когда в 1918 году она уехала во Францию по делам русского экспедиционного корпуса и ее там арестовали, Ленин пригрозил расстрелять всю французскую миссию, оказавшуюся в Совдепии, и французы выпустили Арманд. В 1920 году она, истощенная работой, нуждалась в отдыхе, просилась снова в Париж, но бдительный Ленин угрожал ей ехать в Норвегию или еще куда, где спокойнее. В конце концов он убедил ее ехать под крыло Орджоникидзе в Кисловодск. Она отоспалась, отъелась, но на Кисловодск напали белые, и ее вывезли на Кавказ, где — в печально всем известном теперь Беслане — Арманд заболела холерой и умерла в Нальчике.

Для ее московских похорон был сделан уникальный белый катафалк в духе модерн. Ленин с закрытыми глазами, полными слез, с Крупской, которая поддерживала его, шел, шатаясь, за гробом (они в последний раз были втроем). Похоронил он свою любовь в Кремлевской стене.

Может быть, это и были истинные похороны Серебряного века, который дал жару русской плоти? Одна Революция съела другую, и революционер-любовник, разорвав оковы отечественного брака, вскоре отправился в свой мавзолей. Но это уже был символ новой эры.

С. ЕСЕНИН*

Ленин**

Ещё закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

* *Сергей Александрович Есенин (1895–1925)* — русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии, в более позднем периоде творчества — имажинизма. В разные периоды творчества в его стихотворениях находили отражение социал-демократические идеи, образы революции и Родины, деревни и природы, любви и поиска счастья.

** Отрывок из поэмы «Гуляй-поле». Июнь 1924 г. (печаталось как отдельное стихотворение под названием «Ленин»)

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушьё пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и доли.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.

Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор.

Россия —
Страшный чудный звон.
В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.

Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:

Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

И вот он умер... Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
«Ленин умер».
Их смерть к тоске не привела.

Еще суровой и угрюмой
Они творят его дела...

Ленин (1924)

Россия — страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,

Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,

А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
Еще суровой и угрюмой
Они творят его дела...

Капитан земли (1925)

17 января 1925, Батум

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир —
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то что мы,
Которым все так
Близко, —
Впадают в диво
И слоны...
Как скромный мальчик
Из Симбирска

Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
По-марксистски,
Совсем по-ленински
Творил.

Нет!
Это не разгулье Стеньки!
Не пугачевский
Бунт и трон!
Он никого не ставил
К стенке.
Все делал
Лишь людской закон.

Он в разуме,
Отваги полный,
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.

Он — рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия его —
Матросы.

Не трусъ,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты

Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

Он скажет:
«Только тот пловец,
Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную Сушу».

А. ЖАРОВ*

Ленин в гостях у комсомольцев**

Во многих подробностях вспоминается мне знаменательный день истории комсомола — день открытия III съезда РКСМ. Это было 2 октября 1920 года.

Холодные сумерки спускались на Москву, хмурую, суровую.

На дверях Лоскутной гостиницы, возле Охотного ряда, — листовки, постановления о борьбе с разрухой, об; угрозе сыпнотифозных заболеваний.

А на улице толпы молодежи, шагающей бодро, весело, с громким разговором, а то и с песней.

Группа делегатов съезда поднималась вверх по Тверской улице. Многие заранее переходили на правую сторону, прыгая через ямы и рытвины узкой булыжной мостовой, загроможденной к тому же трамвайными путями... Такой была тогда нынешняя улица Горького.

* Александр Алексеевич Жаров (1904–1984) — советский поэт, редактор. Автор гимна советской пионерии «Взвейтесь кострами, синие ночи».

** Воспоминания о В. И. Ленине. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 3. С. 304–311.

У площади Моссовета среди делегатов — вихрастый парень в кожаной тужурке. Размахивая шапкой-ушанкой, он резким голосом очень выразительно читает стихотворение Демьяна Бедного:

Еще не все сломили мы преграды,
Еще гадать нам рано о конце.
Со всех сторон теснят нас злые гады.
Товарищи, мы — в огненном кольце!

Двигаясь дальше по разбитому тротуару, мы останавливались у магазинных витрин, обращенных в витрины плакатов. Плакаты в прозе и стихах призывали громить Врангеля, гнать интервентов из Белоруссии.

«ЗАПИСАЛСЯ ЛИ ТЫ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?» —

спрашивал каждого из нас красный воин с яркого плаката.

На этот законный вопрос мы собирались дать достойный ответ на самом съезде. Так уж полагалось в то время в комсомоле. У площади Пушкина кто-то запел «Смело, товарищи, в ногу». А у поворота на Малую Дмитровку (ныне улица Чехова) был затеян лихой пляс, по ходу которого звучали слова самодеятельного припева к переделанной песне «Вдоль да по речке»:

Сергей поп, Сергей поп,
Сергей дьякон и дьячок,
Пономарь Сергеевич,
И звонарь Сергеевич,
Вся деревня Сергеевна,
И Матрена Сергеевна —
Разгова-а-ривают.

Весь комсомол пел и такого рода нехитрые песенные сочинения. Пели и мы, будущие поэты, песенники комсомольские. Песня была спутницей комсомола всегда: и в дни радостей, и в дни горестей. Холодно было, голодно, — а мы пели, предпочитая то, что повеселей. Это свойство юности, смотрящей вперед. Недаром говорилось в частушке:

Нам, солдатам Ленина,
Унывать не велено.

У самых дверей дома № 6, где собирался наш съезд, во время большого затора при проверке документов, неунывающий балтийский матрос поднялся на какое-то возвышение и на всю улицу прогорланил отрывок из «Левого марша» Маяковского:

Там,
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!

Комсомолец в стеганой ватной кацавейке, должно быть, делегат из хлебных краев, демонстративно вынул из сумки порядочную краюху хлеба и вручил ее матросу.

Матрос расцеловал щедрого товарища: — Спасибо, браток! Это будет лакомством для всей нашей делегации...

Кто-то сострил под общий смех:

— Это пока не солнечный край, но непочатый!..

Большой зал был переполнен. После выборов президиума начались приветствия. О комсомоле не так уж много было известно тогда. И приветствия в его адрес со стороны были малочисленны. Приходилось нам самим восполнять этот «пробел».

Мы от души приветствовали друг друга, делегация делегацию. Саратовцы передавали дружеский поклон москвичам. Следовал ответ. Потом уральцы сердечно кланялись питерцам, сибиряки — вологодцам и тверякам.

Во всех приветствиях неизменно звучали здравицы в честь партии рабочего класса, в верности которой комсомол клялся с первых своих шагов. Сердца революционной молодежи, взволнованные Октябрьской грозой, полные были прекрасных предчувствий будущего, дерзновенных надежд на завтрашний день.

Но любая надежда нашей юности опиралась на силу предвидения и мудрость Коммунистической партии.

Разум партии, основанной и ведомой Лениным, вот светоч, без которого самые благие наши порывы были бы бесплодными. Нам пришлось бы блуждать в потемках, сбиваться с верной дороги...

Жаркую речь на эту тему произнес белокурый паренек в поддевке, выступивший, кажется, от имени смоленской делегации.

Аплодисменты, раздавшиеся в середине этой речи, вдруг резко усилились, превратились в долгую овацию. Тут уж смоленский паренек был ни при чем. Он понял это. И тихо покинул трибуну. Потому что он увидел Ленина, подошедшего к столу президиума.

Из первых рядов зала мы хорошо рассмотрели Владимира Ильича. Он вошел в распахнутом осеннем пальто с узким бархатным воротником, в кепке. Снял пальто и кепку, положил их на стул, а сам сел с краю у стола. Поговорил с кем-то из президиума и наклонился над книгой или над бумагами...

Известная картина художника Б. Иогансона имеет одну погрешность. На ней неподалеку от стола президиума изображен черный блестяще-полированный рояль.

На самом деле никакого рояля не было. И не могло быть в 1920 году в помещении, которое время от времени использовалось под призывной пункт. И бархатных кресел с позолоченными спинками не было.

Сцена была украшена двумя портретами: Маркса и Энгельса. На большом ее пространстве, помимо стола президиума, стояло несколько маленьких столиков и много разнокалиберных стульев, табуреток и простых дубовых скамеек. Столики предназначались для секретарей.

Освещение зала было, конечно, не богатым. Поэтому многие комсомольцы из дальних рядов ринулись к сцене, чтобы получше разглядеть Ленина. А некоторые набрались храбрости проникнуть на сцену, чтобы оказаться хоть на минутку рядом с Владимиром Ильичей. Среди этих «некоторых» был и я.

Я не был писателем, но журналистом уже был. Даже московскую комсомольскую газету редактировал, несмотря на свой неподходящий для этого возраст. Не удивительно, что сидел я с блокнотом. И записывал. Вот что говорится в одной из моих записей, сделанных в те часы:

«Владимир Ильич наклонился над какими-то бумагами. Я очень хорошо вижу его лицо. Оно кажется чуточку хмурым и сосредоточенным. Он что-то пишет. Странно то, что Ленин словно не замечает приветственного гула, все еще бушующего в зале. Это ведь его приветствуют ребята».

Да, казалось, что ни оваций, ни криков «ура», ни радостных возгласов не слышит Владимир Ильич. А главное, — он, к счастью для нас, не видит явного беспорядка, учиненного нами, самовольно перекочевавшими из задач на сцену. Он очень занят. Это хорошо: многие из нас вместе со своими табуретками потихонечку продвигаются поближе к столу президиума. И вот — мы возле Ленина.

Он прервал свое занятие, поднял голову и, улыбаясь, медленным взглядом обвел всех нас, непрошенных гостей президиума.

У каждого из нас перехватило дыхание. Мы замерли, но под действием приветливого взгляда Ленина быстро пришли в себя. Вернулось самообладание. Кое-кто через плечо Владимира Ильича осмелился посмотреть — чем он занимается.

Ленин... рисовал. Нарисовал он деревенского типа дом — с крышей, с трубой, с вывеской «школа».

Разумеется, никому из нас не пришло в голову, что тема ленинского рисунка может иметь отношение к теме его речи.

Комсомольцы той поры не могли интересоваться таким учреждением, как школа. Шла гражданская война. Был голод.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ СЫТОМУ БЫТЬ!
ВРАНГЕЛЯ БИТЫ

Вот слова с плаката Маяковского, которые были для нас программой тех дней.

Они обнажали и подчеркивали мысль о второстепенности всех задач, кроме одной: защитить, отстоять молодую Республику Советов от вооруженных полчищ белогвардейцев и интервентов.

Вместе с билетом члена РКСМ почти каждый комсомолец получал в то время винтовку. Достижение шестнадцатилетнего возраста отправлялись на фронт. А кто помоложе, выполняли воинские обязанности в тылу, несли службу по охране порядка, участвовали в борьбе с контрреволюцией, с бандитизмом, со спекуляцией.

Впрочем, Павка Корчагин и его «двойник» Николай Островский вступили в ряды Красной Армии в пятнадцатилетнем возрасте потому, что жили они в зоне военных действий. Но и в глубоком тылу находились совсем юные ребята, ухитрявшиеся из тыловых мест прорываться на фронт в результате небольших исправлений в документе о рождении: прибавляли себе годик, а то и два. Рослым это удавалось довольно легко.

Мне не надо было прибегать к хитрости. В октябре 1920 года я уже достиг возраста, в котором комсомольцы должны были идти на фронт в обязательном порядке. Мы, шестнадцатилетние, пришли на III съезд РКСМ с полной уверенностью в том, что путь наш со съезда будет военным путем.

И вот мы видим на своем съезде Ленина. Значит, сам Ленин, великий полководец пролетарской революции, будет напутствовать нас. Именно в те дни вместо слов «Это будет» мы стали петь: «Это есть наш последний и решительный бой!»

Ленин вышел из-за стола президиума и направился не к трибуне, приготовленной для него, а к краю сцены. Трибуной он воспользовался после выступления, когда отвечал на вопросы.

Зал стоя приветствовал Ленина. Шумные вспышки восторгов долго не давали ему начать речь. Два или три раза пели «Интернационал». Владимир Ильич, отойдя в сторону, пел вместе со всеми. Потом он ходил по авансцене. Останавливался. Махал рукой и даже двумя руками в сторону разбушевавшегося, ликующего зала.

Потом довольно внушительно пальцем погрозил.

Начала было устанавливаться тишина. Но... Владимир Ильич заулыбался. Зал тут же отозвался на его улыбку. Раздался рас-

катистый тысячеголосый взрыв смеха. Все поняли, что грозился Ленин не всерьез. Его улыбка, словно искорка, перекинулась в зал и пошла сверкать по рядам, веселым пламенем охватила всех.

Но вот он вынул из жилетного кармана часы, приподнял их над головой и многозначительно указал на циферблат: время, дескать, идет, ребятки!.. А время дорого...

Это было ясно без слов.

Наступила полная тишина.

И мы услышали голос Ленина. Зазвучал он вовсе не приподнято, без всякой торжественности, спокойно, мягко, пожалуй, даже несколько по-домашнему, словно на беседе.

В сущности, по своему характеру речь Ленина на нашем III съезде была беседой, большим, серьезным и в то же время задушевным разговором о самом главном в жизни молодого поколения, призванного начать строительство нового общества, такого общества, о каком могли а лишь мечтать самые светлые головы человечества.

— Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи... — такими словами началась знаменитая ленинская речь.

Все мы удивились, когда Ленин сказал, что основные задачи молодежи можно выразить одним словом.

Он поднял кверху указательный палец и как-то загадочно повторил:

— Одним словом!

Ленин сделал шаг назад, как бы для того, чтобы большее число слушателей охватить пытливым взглядом. Большая и, как мы поняли впоследствии, необходимая пауза. Хотелось отгадать задуманное слово. Владимир Ильич, кажется, ждет, когда оно будет произнесено кем-нибудь из нас. Но в зале царило молчание. Как выяснилось позже, все хотели показать свою сообразительность. Загадку сочли не трудной. Смысл одного слова ни у кого не вызывал сомнений. Не знали только будет ли вернее слово «победить», или слово «сокрушить», или слово «разгромить», а может быть, и еще что-нибудь покрепче в отношении врагов.

Ленин снова подошел к самому краю сцены. Немного наклонился и отчетливо сказал:

— Задача состоит в том, чтобы учиться.

Этого никто из нас не предполагал. Даже видевшие листок с рисунком школы. И не мудрено: стотысячная армия барона Врангеля еще сидела в Крыму. В Белоруссии еще хозяйничали пилсудчики...

Ленин ничего не сказал нам об этом.

Значит, он не сомневается в том, что враги будут разгромлены и без нашей непосредственной помощи. Значит, партия уже подготовила этот разгром. Партия смотрит вперед. Она видит дальше, чем мы. Перед взором Ленина — мирные годы, новая полоса жизни. Отсюда и новые задачи.

Похвалой комсомолу были слова Ленина о том, что мы. прекрасно поняли свою задачу поддержки рабоче-крестьянской власти в ее вооруженной борьбе против капиталистических разбойников.

Но... теперь этого недостаточно.

Слушая Ленина, мы почти ощутили заманчивость и величие подвига мирного труда, в котором праздничная романтика должна сочетаться с кропотливой, суровой будничностью.

Значит, и тут нужно мужество! Владимир Ильич говорил о перспективах общего труда. Оказывается, нашему поколению суждено заняться организацией такого труда, освоением и созданием высокой техники. А для этого надо учиться. Крепости науки, искусства тоже предстояло штурмовать нам.

Призывая комсомольцев стать застрельщиками в организации общего труда, Владимир Ильич предостерегал от верхоглядства и беззаботности. Он говорил нам:

— Сразу общего труда не создашь. Этого быть не может. Это с неба не сваливается. Это нужно заработать, выстрадать, создать. Это создается в ходе борьбы.

В моей памяти эти слова — «заработать, выстрадать, создать» — сохранились в сочетании со словом «учиться», трижды повторенным Владимиром Ильичей.

Мы, представители первого поколения комсомольцев, дети народа, охотно пели о том, что —

Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Но прямо скажу, что сколько-нибудь конкретного представления о возможности «стать всем» у нас поначалу не было. Сама мысль о такой возможности казалась и ко многому обязывающей и... нескромной.

Может быть, достаточно стать борцом за дело партии, за интересы трудового народа? Может быть, достаточно остаться до последнего дыхания смелым защитником советской отчизны?

Нет, не достаточно.

Дело партии и интересы народа требуют, чтобы мы оказались способными стать инженерами, писателями, музыкантами, учеными, педагогами, агрономами, художниками, артистами, оставаясь одновременно революционными борцами. А для этого надо иметь не только талант, но и знания.

Особенная путаница в наших головах царила по вопросу об отношении к старой культуре. В начале революции даже среди литераторов, именовавшихся пролетарскими, в ходу были анархистского типа представления о старой культуре. Ее называли и хламом, и ветошью и считали чем-то обреченным на посмеяние и на слом.

На наших комсомольских вечерах и вечеринках можно было услышать декламаторов, выступавших со стихами, пафос которых состоял в пренебрежении к старой культуре, к классическому наследию.

И далеко не всегда такая декламация получала должный отпор.

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
Пусть кричат нам: «вы палачи красоты»,
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.

Такая ложнопатетическая тирада В. Кириллова принималась иногда за революционное откровение. Толкователи ее уверяли, что она вытекает из намерения рабочего класса уничтожить «весь мир насилия до основанья».

Ленин пришел на комсомольский съезд, чтобы внести ясность в важнейшие вопросы отношения к старой и построения новой культуры. Он фундаментально разъяснил нам, что без основательного знания и критического усвоения культуры прошлого никакой новой культуры не построишь.

Вовсе не следует сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина «с корабля современности», как это предлагали одно время футуристы. Нет необходимости пренебрегать сокровищами музеев и топтать цветы классического искусства.

Так мы поняли Ленина.

Поняли также, что «топтать» можно лишь фальшивые цветы буржуазного псевдоискусства, несущего в себе запах разложения, упадочничества.

Оказывается, во имя коммунистического Завтра надо нам усердно трудиться, чтобы овладеть всей суммой знаний, накопленных человечеством за всю его историю. Без этого нельзя успешно строить новое общество.

Так говорил Ленин, обрушиваясь одновременно на книжное, начетническое усвоение того, что написано о коммунизме.

К сочетанию теории с практикой, к тому, чтобы неразрывно связывать каждый шаг воспитания и учения с повседневной борьбой трудящихся, с житейскими заботами народа, — вот к чему призывал Ленин.

К концу ленинской речи в президиум стали поступать записки с вопросами. Они летели из зала на сцену и подбирались двумя

комсомольцами. Несколько записок поднял сам Владимир Ильич. Одну из них даже прочитал во время паузы, вызванной аплодисментами зала.

Прочитал и обрадовано воскликнул:

— Смотрите, какой замечательный вопрос мне задан! «Товарищ Ленин, а почему в деревне нет колесной мази?»

В зале засмеялись, находя вопрос наивным и неуместным.

А Владимир Ильич повторил, что вопрос замечательный и имеющий прямое отношение к разговору о том, каким должен быть коммунист. Коммунист должен ответить крестьянам: почему нет колесной мази, почему нет гвоздей, керосина, спичек. Мало того! Коммунист обязан так или иначе помочь в налаживании производства всего, что необходимо народу, в том числе и колесной мази! Вот каким должен быть коммунист!..

Указания Ленина, советы его, обращенные к молодежи, составили основу программы комсомола, стали неоценимым напутствием каждой девушке, каждому юноше, вступающим в жизнь, чтобы сделать ее прекрасной.

Это было в том далеком году, когда Владимира Ильича посетил английский писатель Герберт Уэллс. Кремлевским мечтателем назвал Уэллс Ленина в своей книге «Россия во мгле». Известно, что Ленин добродушно посмеялся над этим прозвищем.

И время посмеялось над теми, кто не понимал или не хотел понять, что чудо Октябрьской революции открыло невиданный простор для самых дерзновенных чаяний народа, способных воплотиться в живую действительность.

Когда Уэллс видел Россию разоренной, измученной множеством испытаний, когда Россия не без оснований казалась Уэллсу Россией «во мгле», Ленин говорил нам о России лучезарной.

— Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну богатую, — сказал Владимир Ильич.

Он при этом улыбался, как бы приглашая всех нас разделить с ним убеждение, что так оно и будет.

Не одно, а несколько поколений советской молодежи; росло, училось, достигало успехов в борьбе и труде, руководствуясь добрыми советами Коммунистической партии и великим напутствием Владимира Ильича, данным комсомольцам в 1920 году.

Двадцатый год —

Разруха, голод, холод.

Шла осень, громом битвы грохоча.

В Москве на Третьем съезде комсомола

Мне довелось увидеть Ильича.
Сердца юнцов рвались к нему навстречу.
Гул голосов казался гудом пчел...
Ильич
Большим заботам в этот вечер
Заботу о грядущем предпочел.
Могучей мыслью бережно и смело
Он нас через ненастье и мороз
Вдруг перенес
В весенние пределы,
В преддверье коммунизма перенес.
Мы от него услышали впервые,
Что близок мир — в суровом том году,
И отдали
Все силы молодые
Учению и общему труду.
Прошли десятилетия не напрасно.
Родной народ наш,
Полный новых сил,
Вплотную подошел к весне прекрасной,
Которую нам Ленин возвестил.

Свобода*

Свобода не там, где спины гнут
Под властью кнута и золота.
Свобода тут,
где правит труд
Под знаком серпа и молота!

Наказ вождя

Единенье коммунистов ·
разных наций, разных рас —
Это времени веленье,
это ленинский наказ!

* Стихотворные строки А. Жарова к политическим плакатам.

П. ЖЕЛЕЗНОВ***Дети Ленина**

Третий год Октября... Мостовые
В пятнах луж... тротуары в грязи...
Потускневшей столице России
Голод лапой костлявой грозит...

На вокзале толкучка и давка.
Здесь народищу невпроворот.
Кто храпит на мешках и на лавках,
Кто теплушки нахрапом берёт.

Два матроса у края перрона,
Два колосса с оружием в руках,
Охраняют пустых два вагона,
Уваженье внушая и страх.

Но, приблизясь к вагонам на миг,
Одолеть любопытство не в силах,
Дооктябрьская дама спросила:
«Для кого стережёте вы их?»

Улыбнулся могучий матрос:
«О вагонах тревожитесь этих?
Что ж. Ответить могу на вопрос.
Ехать будут в них Ленина дети!»

Дама прочь отошла, семена,
А мужчина, толпою зажатый,
То ль попутчик, то ль провожатый,
Проворчал, суматоху кляня:

«Всё, как было, осталось на свете.
Только зря будоражат людей.
Раньше ездили царские дети,
Нынче — дети народных вождей.
Нам давно это дело знакомо...»

Вдруг услышал он — песню поют.

* Павел Ильич Железнов (1907–1987) — русский советский поэт, переводчик. Член Союза писателей СССР с 1935 г.

Шли ребята из детского дома,
Что вчера назывался «приют».
С песней шли сквозь толпу на вокзале.
Расчищали им путь патрули.
Их детьми Ильича называли
И вагоны для них стерегли!

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ*

Ходоки (1954)

В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое —
По мирскому делу ходоки.

Русь моталась в голоде и буре,
Все смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человечье горе без прикрас.

Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей,
Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда,
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним, —
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.

* *Николай Алексеевич Заболоцкий* (при рождении — Заболотский; 1903–1958) — русский советский поэт, переводчик; член Союза писателей СССР. В 1938 г. был репрессирован. Реабилитирован посмертно 24 апреля 1963 г.

Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.

Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом суть.
Но зато в душе они скопили
Многое за долгий этот путь.

Потому, быть может, и таились
В их глазах тревожные огни
В поздний час, когда остановились
У порога Смольного они.

Но когда радушный их хозяин,
Человек в потертом пиджаке,
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке,

Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда,

Говорил, как жизнь расправит крылья,
Как, воспрянув духом, весь народ
Золотые хлебы изобилья
По стране, ликуя, понесет, —

Лишь тогда тяжелая тревога
В трех сердцах растаяла, как сон,
И внезапно видно стало много
Из того, что видел только он.

И котомки сами развязались,
Серой пылью в комнате пыли,
И в руках стыдливо показались
Черствые ржаные кренделя.

С этим угощением безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.

Е. ЗОЗУЛЯ***О Ленине****

Следовать за мыслями великого человека
есть наука самая занимательная.

А. С. Пушкин

Поскольку может симфония души гения быть услышана современником, поскольку могут хоть отдельные созвучия ее быть восприняты при отсутствии личного общения на расстоянии, постольку мне удалось «разгадать» Ленина только на VIII съезде.

Я сижу в оркестре, как и на предыдущих съездах Советов, в том же историческом Большом театре. Говорит Ленин.

Но какой он новый для меня! Какой бодрый, помолодевший, какой внутренне праздничный. Почти именинник. Он показывает съезду толстую книгу об электрификации, улыбается, но довольной, почти счастливой улыбкой именинника и шутит:

— Не пугайтесь товарищи... (Книга была объемистая.)

...И — как человек в своем доме и среди своих Ленин откровенен, удивительно свободен и даже интимен.

Он смеялся на V съезде над Спиридоновой и презрительно морщился, когда она произносила великое слово «идеал».

Почему? Теперь мне ясно почему.

Конечно, это было легкомысленно, легковесно и мелко. Чем глубже в человеке чувство или идея, тем плотнее, бережнее оно прикрыто целомудренной гордостью и тем скупее оно на проявление всуе. Партийные дразги и авантюра международной полицейщины, конечно, не могли и не должны были быть поводом для апелляции к великим идеалам социализма. Это было несерьезно, и Ленин, обиженный словесной профанацией кровного своего идеала, пренебрежительно смеялся, и когда нужно было говорить, то говорил сухо и деловито. Говорить «душевно» было еще рано тогда.

Но на VIII съезде Ленин говорит по душе. Теперь можно. Теперь пришло время. И, как все социалисты, он, конечно, прежде всего говорит об идеале:

— Когда работаешь изо дня в день, нельзя работать, не имея плана на долгий ряд лет.

* *Ефим Давидович Зозуля (1891–1941)* — русский советский прозаик и журналист, военный корреспондент.

** *Зозуля Е.* Встречи. М.: Б-ка «Огонек», 1921.

Вот как скромно и просто говорит о своем идеале социалист, для которого идеал — не только слово, а жизненная и действительная цель.

Он говорит об этом потому, что теперь, на VIII съезде, об этом кстати говорить, теперь об этом можно говорить, не профанируя.

И я смотрю на Ленина. Смотрю внимательно, долго.

...Да, он у себя дома. Он среди своих. И вполне естественно, что, будучи среди своих, он, между прочим, разрешает себе даже пожаловаться, чего раньше не разрешил бы себе.

— Работа нас дергает необыкновенно, — говорит он с полуулыбкой.

Не менее естественно, что он разрешает себе быть и интимно откровенным:

— Счастливое время, когда политики будет меньше... Не странно ли в устах мирового политика — мирового, не только по газетной трескотне, а по великому и реальному делу — эпитет «счастливое» в применении к времени, когда сократится политика?..

Кажется странным, а на самом деле это так просто у него, так искренне и убедительно.

— Счастливое время, когда политики будет меньше.

Это еще не было лозунгом, когда это произносилось. Лозунг я привожу ниже.

Это было душевное откровение.

А какое это глубоко интересное, захватывающее зрелище, когда человек, на котором сосредоточено внимание всего мира, имеет возможность проявлять интимную, целомудренно-скрытую духовную скупость!

И как парадоксальна жизнь!

Редчайшее душевное откровение происходит на съезде, на котором говорят о торфе, керосине, паровозах и хлебных разверстках.

И сам Ленин говорит обо всем этом и, может быть, не замечает, как между торфососами и цифрами хлебной разверстки у него вырываются высокие, и вечные, и старые социалистические слова о правде.

Касаясь вопроса о принуждении и убеждении, он говорит:

— Мы имеем право убеждать, потому что на нашей стороне правда. Этого права до нас не имело ни одно государство на земле.

И — я так ярко помню свое ощущение — среди хозяйственных образов, дров, вагонов и всех этих торфов вдруг неслышно открылась золотая дверь в храм морали, да морали, — как будто забытый храм, но, как оказывается, крепко стоящий в душах великих социалистов, старинный, незыблемый храм правды и подлинного человеколюбия.

Не оттого ли так полновесно и убедительно в устах Ленина звучало старое слово «правда»?

Не потому ли так заразителен был его пафос, с каким он говорил о торфососах, что они освободят от каторжной работы извлекающих торф рабочих?

Кстати. Как убедительно, свежо, хлестко и укоризненно прозвучали в его устах знакомые и затрепанные слова: «работать по-каторжному».

...От интересов военных — в сторону хозяйственного строительства.

Это уже деловая формула. Лозунг дня. Это уже будни.

Но во всей фигуре Ленина, в лице, в позе еще есть; что-то праздничное. Он говорит, заглядывая в бумажку, которую почтительно держит обеими руками. Он стоит на эстраде в строгой, почти напряженной позе, полной внутреннего внимания и готовности...

То, чего не было в нем на V съезде, что на один момент проскользнуло на VII, стало длительным на VIII и окрасило его лик в новые — по крайней мере для меня — тона.

Что же случилось на VIII съезде — самом, в конце концов, деловом, хозяйственном, «скучном»?

Почему в Ленине отчетливо чувствовалась глубокая радость достижения?

Ответ ясен: потому что у нас тогда впервые явилась возможность заняться мирным, творческим трудом, о чем, оказывается, как сообщил Ленин же, состоялось постановление еще 29 апреля 1918 года...

Однако самое главное не в этом.

Ну, Ленин мечтал о мирном строительстве. Мечта стала на пути к осуществлению — он до известной степени удовлетворен. Это понятно и естественно.

Повторяю, не это главное.

Самое главное и прекрасное состоит в том, что уже на первом мирном трудовом съезде рабочих и крестьян случилось проявленное через Ленина чудо.

Это чудо еще не того порядка, о котором говорил Ленин на VII съезде. Но это чудо историческое, сделавшее историческим и VIII съезд.

В чем дело?

А вот в чем. Новая, светлая, более счастливая жизнь идет и придет через труд, через пот, через паровозы, шахты, фабрики. Из-под мешков торфа, из-под чугуна колес и машин идет к нам — вместе с освобождением рабочего класса — какая-то правда новой жизни.

И как характерно, как чудесно, что уже на первом совете освобожденного труда — в речи, состоящей исключительно из разбора и постановки хозяйственных задач, в речи, целиком заполненной электрификациями, торфососами и разверстками, — между всем этим, может быть невольно для ее автора, прорывается идеология новой будущей жизни — правда; среди слов о торфе и хлебе прорывается прекрасное и нежное откровение могучей, замкнутой и внешне такой суровой, такой закаленной души.

Тогда впервые мне, более чем всегда, стало понятно, почему обладатель этой души является законным и бесменным вождем угнетенных пластов человечества, и, глядя на него, я ощутил глубокое волнение, и великую растерянность, и особую редкую радость от понимания большого, исторически значительного явления.

Когда я почувствовал это, Ленин стоял на эстраде и, полуобернувшись к столу, читал какую-то записочку.

М. ЗОЩЕНКО*

Рассказы о Ленине (1939–1940)

Графин

Когда Ленину было восемь лет, с ним случилась одна маленькая история, о которой впоследствии, много лет спустя, рассказала его старшая сестра, Анна Ильинична.

Анна Ильинична говорила про своего брата, что он был большой шалун. Но вместе с тем он был очень правдивый мальчик. Он никогда не врал и всегда признавался в своих шалостях.

Но однажды с ним случилось такое происшествие.

* *Михаил Михайлович Зощенко* (1894–1958) — русский советский прозаик, драматург, сценарист, переводчик. Классик русской и советской литературы. Его яркие сатирические произведения направлены против невежества, мещанского самолюбия, жестокости и др. Оказался объектом критики в известном Постановлении оргбюро ЦК ВКП(б) 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград». Был исключён из Союза писателей, лишён средств к существованию. Писателя не только перестали печатать — Зощенко был полностью вычеркнут из литературной жизни. В 1958 г. похороны писателя на «Литераторских мостках» Волкова кладбища власти запретили, писатель был похоронен на городском кладбище Сестрорецка.

Вместе с отцом и со своими сестрами маленький Володя поехал в Казань.

Там, в Казани, проживала их родственница, тетя Аня.

И вот они к ней поехали.

А у тети Ани тоже были дети — двоюродные братья и двоюродные сестры Ленина.

Встреча была интересная.

Дети много шалили, бегали, играли в разные игры.

И однажды до того распалились, что опрокинули на пол графин, который стоял на столике.

Это у них была какая-то веселая игра. Они друг от друга бегали. И Володя, бегая по комнате, наткнулся на этот столик. Столик покачнулся, и красивый хрустальный графин упал на пол и разбился вдребезги.

Дети даже не заметили, кто именно разбил графин. Все бегали и все носились по комнате.

И только когда разбился графин, дети присмирели.

Вдруг открывается дверь, и в комнату входит тетя Аня.

Тетя Аня услышала звон и шум и вот пришла посмотреть, что случилось.

И, увидев на полу разбитый графин, тетя Аня спросила:

— Дети, кто из вас разбил этот графин?

И все дети стали говорить: <Это не я>.

И маленький Володя тоже сказал: <Это не я>.

И сказал он это так тихо, что еле можно было услышать его.

Он сказал неправду, потому что он в первый момент испугался. Все-таки чужой дом, чужая квартира, малознакомая тетя Аня. И, кроме того, он из всех был самый маленький. И у него не повернулся язычок сказать: это я.

Тогда Тетя Аня говорит:

— В таком случае выходит, что графин сам разбился. Наверно, ему скучно стало на столе стоять — вот он и упал.

Дети засмеялись и говорят:

— Наверно, он хотел с нами побегать. И вот поэтому он прыгнул со столика на пол. Но он, бедненький, забыл, что он стеклянный, и разбился.

И дети опять засмеялись.

Только один маленький Володя не засмеялся. Он ушел в другую комнату и сел у окна. И долго там сидел и о чем-то думал. И только к вечеру он снова стал шалить с ребятами.

Но вот прошло два месяца.

Уже из Казани они давно уехали. И снова жили в своем городе Симбирске.

И вот как-то вечером, когда дети ложились спать, мать подошла к Володиной кровати и видит, что мальчик о чем-то горько плачет.

Мать спросила:

— О чем ты плачешь?

И мальчик, всхлипывая, сказал:

— Мама, когда мы были в Казани, я сказал тете Ане неправду. Я сказал, что это не я разбил графин, а это я разбил графин.

Мама стала утешать мальчика.

Она сказала:

— Ну это ничего. Не плачь. Я напишу тете Ане письмо. И она, наверно, тебя простит.

Мальчик, всхлипывая, сказал:

— Ты непременно напиши письмо тете Ане. Напиши, что это я разбил.

Мама снова стала утешать его. И тогда мальчик успокоился и заснул.

Целуя и закрывая одеялом своего маленького сына, мать подумала:

<Какой он удивительный ребенок: он два месяца помнил об этой истории и два месяца огорчился, что он случайно сказал неправду. Но теперь, когда он признался, ему стало легко, и вот он даже с улыбкой заснул>.

На другой день мама написала тете Ане письмо. И вскоре тетя Аня ответила, что она вовсе не сердится на милого племянника и снова ждет его к себе в гости.

Серенький козлик

Когда Ленин был маленький, он почти ничего не боялся.

Он смело входил в темную комнату. Не плакал, когда рассказывали страшные сказки. И вообще он почти никогда не плакал.

А его младший брат Митя тоже был очень хороший и добрый мальчик. Но только он был очень уж жалостливый.

Кто-нибудь запоет грустную песню, и Митя в три ручья плачет. Особенно он горько плакал, когда дети пели <Козлика>.

Многие дети знают эту песенку:

Жил-был у бабушки серенький козлик,

Вот как, вот как, серенький козлик.

Бабушка козлика очень любила, очень любила.

Вздумалось козлику в лес погуляти, в лес погуляти.

Напали на козлика серые волки, серые волки.

Оставили бабушке рожки да ножки, рожки да ножки.

Несомненно, песенка грустная. Но плакать, конечно, не надо было. Ведь это — песня. Это нарочно, а не на самом деле.

Безусловно, козлика жалко. Но только он отчасти сам виноват — зачем без спросу пошел в лес гулять?

В общем, у Мити всегда дрожал голосок и дергались губенки, когда он вместе с детьми пел эту песню.

А когда Митя доходил до грустных слов: <Напали на козлика серые волки>, — он всякий раз заливался в три ручья.

И вот однажды дети собрались у рояля и запели эту песню.

Они благополучно спели две строчки. Но когда дошли до грустного места о том, как козлик пошел в лес, Митя начал всхлипывать.

Маленький Володя, увидев это, обернулся к Мите, сделал страшное лицо и нарочно ужасным и громким голосом запел:

На-па-а-ли на-а коз-ли-ка серые вол-ки...

Тут Митя, конечно, не выдержал и зарыдал еще больше.

Старшая сестра сделала брату замечание — зачем он дразнит Митю.

И на это маленький Володя ответил:

— А зачем он боится? Я не хочу, чтобы он плакал и боялся. Дети должны быть храбрыми.

Митя сказал:

— Тогда я не буду больше бояться.

Дети снова запели эту песенку. И Митя храбро спел ее до конца. И только одна слезинка потекла у него по щеке, когда дети заканчивали песенку:

<Оставили бабушке рожки да ножки>.

Маленький Володя поцеловал своего младшего братишку и сказал ему:

— Вот теперь молодец!

Как Ленин учился

Ленин учился очень хорошо, даже замечательно. Он получил золотую медаль за окончание гимназии.

И в высшем учебном заведении он тоже, наверно, очень бы хорошо учился.

Но, к сожалению, начальники исключили его из университета, потому что он был революционер. А этого начальство не терпело. И царь тоже не позволял революционерам учиться.

В общем, Ленину не позволили учиться в университете.

Другой человек на месте Ленина так и остался бы без высшего образования. Но Ленин этого не захотел.

Он сказал матери: <Я непременно кончу высшую школу>.

А уже проходило время. И прошло два года после исключения.

Наконец Ленин подал заявление министру. Он попросил разрешения сдать экзамены за всю высшую школу сразу.

Министр удивился и подумал:

<Как он может сдать все экзамены сразу? Ведь он в высшей школе не учился. Хорошо. Я ему разрешу, но только он все равно не сдаст экзамены>.

Получив разрешение министра, Ленин стал усиленно заниматься.

Он целые дни сидел за книгами, читал, писал, изучал языки, переводил и так далее.

Он летом устроил в саду кабинет, в густой липовой аллее. Он там вкопал в землю стол и скамейку. И каждое утро уходил туда. И там в полном одиночестве занимался до обеда.

После отдыха и купания он снова туда шел. И снова работал три или четыре часа.

А вечером, после прогулки и купания, родные снова видели его за книгами. И родные поразились, как он так много может заниматься. И даже стали бояться за его здоровье.

Но Ленин им сказал:

— Человек может удивительно много учиться и работать, если он правильно отдыхает.

И действительно, Ленин правильно отдыхал. Он час работал. Потом делал гимнастику. Потом снова час или два писал и после этого бежал к реке купаться. Потом, отдохнув или погуляв в лесу, возвращался к книгам и опять учился.

В своем летнем кабинете он устроил себе турник недалеко от столика. И время от времени делал на нем упражнения.

В хорошую погоду он купался два или три раза в день. Он чудно плавал. Он так плавал, что всех приводил в удивление.

Один его знакомый, вспоминая о прошлом, говорил, что в Швейцарии было очень страшное озеро, где постоянно тонули люди. Это озеро было очень глубокое. Там были холодные течения, омуты и водовороты. Но Ленин бесстрашно плавал в этом озере.

Этот знакомый ему однажды сказал, что надо быть осторожным — тут тонут люди.

— Тонут, говорите? — спросил Ленин. — Ничего, мы-то не потонем.

И тут же заплыл так далеко, что еле можно было видеть его.

И вот благодаря купанию и физкультуре, благодаря правильному отдыху Ленин сумел много работать и сумел подготовиться за всю высшую школу сразу.

Он почти два года так усиленно учился. И за это время успел пройти весь курс университета — то, что другие изучали четыре года.

Он сдал все экзамены и получил диплом первой степени.

И все профессора ему сказали:

— Это поразительно! Вы же не учились в университете и не слушали наших лекций. Как же вы могли так великолепно подготовиться? Наверно, вам кто-нибудь помогал.

Ленин сказал:

— Нет, я один занимался.

И тогда профессора удивились еще больше. И министр от удивления развел руками.

Но профессора и министр не знали, что, кроме огромного ума и замечательных способностей, Ленин имел еще огромную работоспособность. А эта его работоспособность зависела от физкультуры и правильного отдыха.

И вот почему с таким прекрасным успехом Ленин закончил свою учебу.

Рассказ о том, как Ленин перехитрил жандармов

Когда Ленину было двадцать шесть лет, он уже был всем известный революционер, и царское правительство боялось его как огня.

Царь велел посадить Ленина в тюрьму.

И Владимир Ильич просидел в тюрьме четырнадцать месяцев.

А после этого жандармы выслали его в Сибирь. И там, в Сибири, Ленин прожил в деревне целых три года.

А это была глухая деревушка. Она стояла в тайге. И ничего хорошего там не было. Там протекала небольшая речонка Шушь. И там рос небольшой лесок, в котором даже деревьев было мало.

Но Владимир Ильич не огорчился, что его сослали в такую глушь. Он там много работал, писал революционные книги, беседовал с крестьянами и помогал им советами.

А в свободное время Ленин ходил на охоту со своей охотничьей собакой Женькой, купался, играл в шахматы. Причем шахматы он сам вырезал из коры дерева. И вырезал очень хорошо, даже великолепно.

И вот время проходило незаметно. И протекло почти три года. И уже приближался конец ссылки.

Уже Владимир Ильич начинал обдумывать, куда ему поехать, чтобы снова продолжать революционную работу.

Но незадолго до конца ссылки в избу, где жил Ленин, пришли жандармы.

Они сказали:

— Вот что. Сейчас мы сделаем у вас обыск. И если найдем что-нибудь запрещенное царским правительством, то берегитесь. Тогда, вместо освобождения, мы оставим вас в этой глухой деревне еще по крайней мере три года.

А у Ленина были запрещенные книжки и разные революционные документы. И все эти книги и документы лежали в книжном шкафу на нижней полке.

Вот один толстый, усатый жандарм встает у двери, чтоб никто не вошел и не вышел.

А другой жандарм, маленького роста, но тоже усатый и свирепый, ходит по комнате и во все нос сует.

Он осмотрел стол, комод, заглянул в печку и даже не поленился влезть под кровать, чтоб увидеть, что там такое.

Потом он подходит к книжному шкафу и говорит:

— А это что у вас там в шкафу?

Ленин говорит:

— Это мои книги в шкафу.

Жандарм говорит:

— А вот я сейчас посмотрю эти ваши книги и увижу, что это такое!

И вот жандарм стоит около этого шкафа и думает: с чего ему начать осмотр — с верхней полки или с нижней?

Жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, смотрит на этого жандарма и думает:

<Только бы он начал обыск с верхней полки. Если он начнет с верхней полки, тогда хорошо; тогда под конец обыска он устанет и последнюю полку не будет внимательно осматривать. Но если он начнет обыск с нижней полки, тогда плохо — как раз на этой полке среди других книг имеются запрещенные>.

Ленин тоже смотрит на жандарма и тоже об этом думает.

Вдруг Ленин, чуть улыбнувшись своим мыслям, берет стул и ставит этот стул к шкафу. И говорит жандарму:

— Чем при вашем маленьком росте тянуться — встаньте на этот стул и начинайте проверять мои книги.

Маленький усатый жандарм, увидев такую любезность со стороны революционера, поблагодарил и влез на стул. Но поскольку он влез на стул, то он и, ясно, начал осматривать с верхней полки. То есть то, что и надо было Ленину.

И, глядя на жандарма, Владимир Ильич улыбался.

И Крупская тоже улыбалась, видя, что Ленин заставил жандарма сделать так, как ему было надо.

Вот жандарм роется на верхних полках, читает заглавия и перетряхивает каждую книжку. А время идет. Книг много. И за три часа жандарм едва успел просмотреть четыре полки.

Пятую полку жандарм стал осматривать уже не так внимательно. Тем более, что толстый жандарм, стоявший у дверей, начал вздыхать и хандрить. И даже сказал своему приятелю:

— Ох, как долго идет обыск... Я устал и кушать хочу.

Маленький жандарм говорит:

— Скоро пойдем обедать. Вот осталась последняя полка. Ну, да, наверно, и на этой полке у них ничего нет, раз во всем шкафу ничего не обнаружено.

Толстый жандарм говорит:

— Ясно, у них ничего нет. Пойдемте кушать.

Почти не осматривая нижнюю полку, маленький жандарм сказал Ленину:

— Выходит, что ничего запрещенного мы у вас не нашли. Честь имею кланяться.

И с этими словами жандармы уходят.

И когда закрылась за ними дверь, Владимир Ильич и Крупская начали весело смеяться над тем, как были одурачены жандармы.

Ленин и часовой

Один молодой рабочий, некто товарищ Лобанов, охранял Смольный. То есть он стоял у дверей и проверял документы.

Он проверял у всех, кто входил в Смольный. Потому что если не проверять, мог бы войти какой-нибудь враг. Тем более, это было в самом начале революции, и нужна была особая бдительность.

И вот стоит этот Лобанов у дверей Смольного в качестве часового и просматривает документы.

А он был красногвардеец, этот Лобанов. Вдобавок он был путиловский рабочий, исключительно преданный делу революции. И поэтому его и поставили на такой ответственный пост.

Стоит он на этом посту. Винтовка в левой руке. Револьвер сбоку. За поясом ручная граната. Настроение великолепное.

И всем, кто подходит к Смольному, он говорит:

— Минуточку, товарищ! Прежде чем войти, покажите ваш пропуск, чтоб я мог узнать, кто вы такой. А то я дежурю в первый раз и мало кого знаю в лицо.

Ну и, конечно, каждый, кто входил в Смольный, показывал Лобанову свой пропуск.

И Лобанов, беря под козырек, говорил:

— Вот теперь проходите! С моей стороны задержки не будет.

И вот, представьте себе, идет Ленин.

Идет пешком. Скромный такой. В своем черном осеннем пальто и в кепке.

Идет быстро, но вместе с тем задумчиво. Даже по сторонам не смотрит: до того, видать, углублен в свои мысли.

Подходит к дверям Смольного и хочет туда пройти.

А часовой Лобанов не знал в лицо товарища Ленина. Портретов в то время печатали мало. И сам Владимир Ильич только недавно приехал в Петроград.

Ну и, конечно, Лобанов мог не знать Ленина по внешнему виду.

В общем, Ленин подходит к дверям. И Лобанов ему говорит:

— Минуточку, товарищ! Покажите ваш пропуск!

Ленин не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал:

— Ах да, пропуск! Извините, товарищ, сейчас найду.

И стал искать свой пропуск в боковом кармане.

А в этот момент подошел к дверям Смольного один какой-то человек, должно быть, из служащих. И, видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился. И крикнул:

— Это же Ленин! Пропустите!

Лобанов тихо ответил этому человеку:

— Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Ленина. И вдобавок я и вас не знаю и даже не посмотрел еще вашего документа.

Служащий возмутился еще больше и крикнул:

— Извольте немедленно пропустить Ленина!

Вдруг Ленин говорит:

— Не надо ему приказывать, и тем более не надо кричать. Часовой поступает совершенно правильно. Порядок для всех одинаков.

Тут Ленин достает из бокового кармана пропуск. И подает его часовому.

Лобанов с трепетом разворачивает этот пропуск. И видит: это действительно пропуск Владимира Ильича Ленина.

Лобанов берет под козырек и говорит Ленину:

— Я прошу извинить, Владимир Ильич, что потребовал ваш пропуск.

Ленин отвечает:

— Вы правильно поступили, товарищ. Благодарю вас за личную службу.

Ленин и печник

Однажды Ленин гулял в лесу и вдруг увидел, что какой-то мужчина дерево пилит.

А это пилит дерево некто Николай Бендерин. Немолодой мужчина, с огромной бородой. И очень дерзкий.

Он был по профессии печник. Но, кроме того, он мог все делать. У него сломалась телега. И вот он пришел в лес, чтобы спилить дерево для починки этой телеги.

Вот он пилит дерево. И вдруг слышит — кто-то ему говорит:
— Добрый день.

Бендерин оглянулся. Смотрит — перед ним стоит Ленин. А Бендерин не знал, что это Ленин. И ничего ему не ответил. Только сердито кивнул головой: дескать, ладно, здравствуйте, не мешайте мне пилить.

Ленин говорит:

— Зачем вы дерево пилите? Это общественный лес. И тут нельзя пилить.

А Бендерин дерзко отвечает:

— Хочу и пилю. Мне надо чинить телегу.

Ничего на это не ответил Ленин и ушел.

Через некоторое время — может быть, там через месяц — Ленин опять встретил этого печника. На этот раз Ленин гулял в поле. Немножко устал. И присел на траву отдохнуть.

Вдруг идет этот печник Бендерин и дерзко кричит Ленину:

— Зачем вы тут сидите и траву мнете? Знаете, почему сейчас сено? Будьте добры, встаньте с травы.

Ленин встал и пошел к дому.

А с Лениным была его сестра. Вот сестра и говорит печнику Бендерину:

— Зачем вы так грубо кричите? Ведь это Ленин, Председатель Совета Народных Комиссаров.

Бендерин испугался и, ничего не сказав, побежал домой.

И дома говорит жене:

— Ну, Катерина, пришла беда. Второй раз встречаю одного человека и с ним грубо разговариваю, а это, оказывается, Ленин, Председатель Совета Народных Комиссаров. Что мне теперь будет, не могу представить.

Но вот проходит еще некоторое время — может быть, там два месяца, — и наступает зима.

И понадобился Ленину печник. Надо было исправить камин, а то он дымил.

А кругом по всем деревням только и был один печник — этот Бендерин.

И вот приезжают к этому Бендерину два военных и говорят:

— Вы печник Бендерин?

У Бендерина испортилось настроение, и он отвечает:

— Да, я печник Бендерин.

Военные говорят:

— В таком случае, одевайтесь. Едем к Ленину в Горки.

Бендерин испугался, когда услышал эти слова. И настроение у него еще более испортилось.

Он одевается, руки дрожат. Говорит жене:

— Ну, прощайте, Катерина Максимовна. Наверно, уж с вами больше не увидимся. Наверно, Ленин припомнил все мои грубости — и как я его в поле пугнул, и как насчет дерева дерзко ответил. Наверно, он все это вспомнил и решил меня в тюрьму посадить.

И вот вместе с военными едет печник в Горки. Военные приводят Бендерина в комнаты. И навстречу ему из кресла поднимается Ленин.

Ленин говорит:

— А, старый знакомый. Помню, помню, как ты меня на покосе пугнул. И как дерево пилил.

Бендерин задрожал, когда услышал эти слова. Стоит перед Лениным, мнет шапку в своих руках и бормочет:

— Простите меня, старого дурака.

Ленин говорит:

— Ну ладно, чего там. Я уж забыл про это. Что касается травы, то, пожалуй, ты был прав. Это не дело, что я сидел на покосе и мял траву. Ну, да не в этом дело. А не можешь ли ты, дорогой товарищ Бендерин, сослужить мне одну маленькую службу? Дымит у меня камин. И надо его исправить, чтоб он не дымил. Можешь ли ты это сделать?

Бендерин услышал эти приветливые слова и от радости дар речи потерял.

Только кивает головой: дескать, могу исправить. И руками показывает: дескать, пусть мне принесут кирпичи и глину.

Тут приносят Бендерину глину и кирпичи. И он начинает работать. И вскоре все выполняет в лучшем виде и с превышением.

Тут снова приходит Владимир Ильич и благодарит печника Бендерина. Он дает ему деньги и приглашает за стол выпить стакан чаю.

И вот печник Бендерин садится с Лениным за стол и пьет чай с печеньем. И Ленин дружески с ним беседует.

И, попивши чаю, печник Бендерин прощается с Лениным и сам не свой возвращается домой.

И дома говорит жене:

— Здравствуйте, Катерина Максимовна. Я думал, что мы с вами не увидимся, но выходит наоборот. Ленин — это такой справедливый человек, что я даже и не знаю, что мне теперь о нем думать.

М. ИВЕНСЕН*

«Когда был Ленин маленький...»

Когда был Ленин маленький,
Похож он был на нас,
Зимой носил он валенки,
И шарф носил, и варежки.
И падал в снег не раз.

Любил играть в лошадки,
И бегать и скакать,
Разгадывать загадки
И в прятки поиграть.

Когда был Ленин маленький,
Такой, как мы с тобой,
Любил он у проталинки
По лужице по маленькой
Пускать кораблик свой.

Как мы, шалить умел он,
Как мы, он петь любил,
Правдивым был и смелым
Таким наш Ленин был.

* *Маргарита Ильинична Ивенсен (1903–1977)* — советская детская поэтесса. Работала в области детской литературы начиная с 1930-х гг. Стихотворение «Когда был Ленин маленький...» (его извод) часто приписывается Агнии Барто.

Р. ИВНЕВ***Ленин**

Хоть верь в могущество судьбы.
Хоть отрицай её значенье.
Но пробил час освобожденья, —
Россия встала на дыбы.

Среди осколков самовластья,
Под вой неистовых врагов
Не для себя мы ищем счастья,
А для народов и веков...

Нам путь указывает Ленин.
И с верой пламенной в него
Мы для грядущих поколений
Уже готовим торжество.

Мы примем на себя все муки
Холодных дней, голодных зим,
Но стяг родной в чужие руки
Мы никогда не отдадим.

Во имя равенства и братства
Народов, скованных еще,
Без передышки будем драться
До самой смерти горячо.

Нам путь указывает Ленин
Не отходящий от руля.
Уже сверкает в отдаленье
Обетованная земля.

* *Рюрик Ивнев* (наст. имя и фамилия — Михаил Александрович Ковалёв; 1891–1981) — русский советский поэт, прозаик, переводчик. В 1910-х входил в московскую футуристическую группу «Мезонин поэзии». После победы Октябрьской революции становится секретарем наркома просвещения А. В. Луначарского. В 1921 г. возглавляет Всероссийский союз поэтов. В этот период начинается его сближение с имажинистами. В издательстве имажинистов выходят сборник стихов Ивнева «Солнце во гробе» и брошюра «Четыре выстрела в четырёх друзей». В 1925 г. принимает участие в составлении сборника воспоминаний о Сергее Есенине, в дальнейшем Есенин часто фигурирует в мемуарной прозе Ивнева.

В. ИНБЕР***Пять ночей и дней**

(На смерть Ленина) (1924)

И прежде чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней...

И потекли людские толпы,
Неся знамёна впереди,
Чтобы взглянуть на профиль жёлтый
И красный орден на груди.

Текли. А стужа над землёю
Такая лютая была,
Как будто он унёс с собою
Частицу нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали
Из — за того, что он уснул.
И был торжественно — печален
Луны почётный караул.

22 января 1924 года

О Ленине

В его тетрадях и блокнотах,
В заметках беглых от руки
Мы о космических полётах
Не обнаружим ни строки.

* *Вера Михайловна Инбер* (урождённая Шпенцер; 1890–1972) — русская советская поэтесса и прозаик, переводчик, журналист. Проведя три года в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, Инбер отобразила жизнь и борьбу жителей осажденного города в стихах и прозе (поэма «Пулковский меридиан»). В 1943 г. вступила в ВКП(б). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Но он сумел таким горячим
Снабдить Советскую страну,
Чтоб ей поднять в небесных кручах
Космическую целину...

М. ИСАКОВСКИЙ*

Докладная записка

(Деревенская быль)

У нас в районе и сейчас
Живёт и будет жить вовеки
Простой, бесхитростный рассказ
О справедливом человеке.

Его припомнит вам любой,
Расскажет тихими словами,
И Ленин — близкий и родной —
Как будто сядет рядом с вами.

1

В тот боевой и славный год,
За тыщи долгих лет впервые,
И власть, и землю брал народ,
И счастье в руки трудовые.

А здесь, в глухом селе Ключи,
Лишь с кривдой были мы знакомы.
А здесь творили богачи
Свои особые законы.

У них во всём — своя рука,
Они везде найдут основу.
И сельсовет у бедняка
Забрал последнюю корову.

* *Михаил Васильевич Исаковский (1900—1973)* — русский советский поэт, поэт-песенник, прозаик, переводчик. Герой Социалистического Труда (1970). Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1943, 1949).

Остался двор совсем пустой, —
Один петух стоит на страже...
Хозяин ходит сам не свой, —
Куда пойдёшь, кому расскажешь?

Его и слушать не хотят:
Мол, хватит нам с тобой возиться...
Да тут в село один солдат
Пришёл с передовых позиций.

— Я, — говорит он, — научу,
Где правду отыскать людскую.
Ты, — говорит он, — Ильичу
Пиши записку докладную.

Пиши подробно: так и так,
Мол, всё пошло бы в лучшем виде,
Да власть у нас забрал кулак,
И мужики — в большой обиде.

Товарищ Ленин разберёт
И в долгий ящик не положит.
Горой стоит он за народ
И мужику всегда поможет.

Он — человек такой души,
Какой не сыщешь в целом свете.
Ты только сядь да напиши,
А он уж знает, что ответить.

А если сам ты не горазд,
Пера не брал, быть может, в руки,
Так я тебе составлю враз,
Как полагается в науке.

Недаром я на свете жил,
Понятна мне твоя кручина... —
Солдат писал, мужик светил
Сухой берёзовой лучиной.

Он так и так возился с ней
И повторял всё ту же фразу:
— Ты не мельчи... Пиши крупней,
Чтоб Ленин всё увидел сразу...

2

Заглянет вечером сосед,
Поговорит про то, про это
И спросит вдруг: — Ну, как ответ?
Да и не зря ль ты ждёшь ответа?

Не выйдет, видно, ничего, —
Поторопился ты некстати:
Без нас с тобою у него
Про каждый день заботы хватит...

А богачи, срывая злость,
Заводят речь при всём народе:
— Смотри, запеть бы не пришлось,
Как солнце всходит и заходит.

Товарищ Ленин — главный вождь,
За всю державу отвечает,
А ты с коровой пристаёшь,
А что корова означает? —

И сердце падает опять,
Опять сомненье душу гложет:
Быть может, лучше б не писать,
Себя напрасно не тревожить?

Но на своём стоит солдат,
Не уступает, не сдаётся:
— Готов я биться об заклад,
Что молоко к тебе вернётся!

Товарищ Ленин — он такой,
Что силы слабому прибавит,
А кто упал — своей рукой
Поднимет, на ноги поставит...

Но дни идут, проходят зря,
Летят вперёд неудержимо.
Взойдёт заря, зайдёт заря,
А почта проезжает мимо...

3

Это явь или только во сне?
Всё село говорит об этом:
Нарочный в ночь на коне
Прискакал из уезда с пакетом.

Ленин прислал приказ —
Строгий, короткий, точный:
«Корову вернуть тотчас,
И донести мне срочно».

Всех виноватых — под суд,
Раз не по-честному жили,
Пусть, говорит, понесут
Всё, что они заслужили.

Ходят весь день мужики,
Словно на праздник, по хатам.
Стали и ноги легки,
Стали и думы крылаты.

Те, что молчали весь век,
Сделались вдруг говорливы:
— Вот он, родной человек,
Вот он какой справедливый!

4

Так говорят у нас в селе
Про Ильича, про жизнь былую...

В какой стране, на чьей земле
Вы правду сыщете такую?.

Два сокола

На дубу зеленом
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры. А соколов этих

Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин; Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин,
Возле них кружились
Соколята стайей. Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом
К другу обращался: — Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться, —
Все труды-заботы
На тебя ложатся. А второй ответил:
— Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся —
Не свернем с дороги! И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

Ф. ИСКАНДЕР*

Человек и его окрестности** (2000-е)

<Фрагмент>

Вместо предисловия

«Человек и его окрестности» — моя последняя вещь. Каждому писателю его последняя книга кажется лучшей. Это и понятно. Иначе бы он ее не писал. Извиваясь на диалектической спирали, он думает, что наконец дотянулся до самой сочной грозди винограда и сумел всю ее целиком выдавить на рукопись. Разумеется,

* *Фазиль Абдулович Искандер* (абх. Фазиль Абдул-и а Искандер; 1929–2016) — русский прозаик, журналист, поэт, сценарист, общественный деятель. В 1979 г. участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого секса»; вошла в роман «Сандро из Чегема»). После этого в течение ряда лет, вплоть до горбачёвской перестройки, испытывал проблемы с публикацией произведений в СССР. Фазиль Искандер: «Я — безусловно русский писатель, много воспевавший Абхазию. По-абхазски я, к сожалению, не написал ничего. Выбор русской культуры для меня был однозначен».

** Повесть написана в начале 2000-х.

собственное опьянение не играет никакой роли и только время покажет, насколько удачна книга.

Глава о Ленине, по-видимому, формообразующая для всей книги. Всё, что случается в остальных главах вплоть до признаков полураспада нашего государства, естественное следствие победы ленинской мысли.

Я знал безумца, занимавшегося Лениным всю жизнь и порой выдававшего себя за него. Это помогло мне вступить в довольно утомительный диалог с Лениным и написать эту главу.

В последний раз я ее переписал перед самым путчем. Я был еще в постели, когда жена сообщила мне о случившемся. Я отнюдь не вскочил. Первой моей мыслью было — кончено, теперь ее никто не напечатает. Придется опять, как в случае с «Сандро», публиковать ее за границей, если теперь это будет не слишком опасно.

Продолжая оставаться в постели, однако прислушиваясь к дверям, я подумал, что больших арестов не будет, но, вероятно, будет большой голод.

Продолжая оставаться в постели, я не мог не вспомнить и не удивиться, что мой безумец, возомнивший себя Лениным, несколько раз в течение нашей последней беседы говорил о том, что готовится переворот, и прозрачно намекал на свою аналогичную семнадцатому году роль.

Тут зазвонил телефон, и я вынужден был встать. Дело происходило на даче. Мне из моей городской квартиры звонил племянник, проездом оказавшийся в Москве. Он сказал, что только что заходил в дом один человек и спрашивал меня. По описанию этого человека я сразу понял, о ком идет речь. Гениально совпало. Он был наиболее подозреваемым из моих светских знакомцев. Что им было надо — непонятно. Сам он сгинул с тех пор навсегда.

Поэтому вернемся к моему герою. Судя по организации провалившегося переворота, можно подумать, что он его действительно возглавлял. Грубые военные ошибки, замеченные даже мной, я не буду перечислять из соображений, о которых читатель сам может догадаться. Тем более что он тоже куда-то сгинул. Я имею в виду моего героя, а не читателя, конечно. Хотя в наше время всё может быть.

Возможно, он в глубоком подполье и готовит новый переворот. Будем надеяться, что столь же «удачный». Однако бдительность терять нельзя, и редакция стоит поспешить с изданием книги.

Но если всё обернется совсем плохо, пользуясь давним знакомством с главным героем моей книги, я постараюсь защитить себя и редакцию. Я уверю его, что безумцем он назван исключительно из цензурных соображений, а ленинские мысли я нигде не иска-

зил. Почему-то сперва напечатал «искажишь». Оговорка в духе Фрейда, да еще рифмуется с моим именем. Что бы это значило? Нет, он мне поверит. Это точно.

Фазиль Искандер

Ленин на «Амре»

Юмор — последняя реальность оптимизма. Так воспользуемся этой (чуть не сказал «печальной») реальностью.

Говорили, что в городе появился Ленин. Говорили, что он ездит на велосипеде и проповедует не слишком открыто, но и не слишком таясь грядущий в недалеком будущем переворот. Говорили, что чаще всего он это делает на «Амре», верхнем ярусе ресторана под открытым небом, где многие люди, местные и приезжие, едят мороженое, пьют кофе, а иногда и чего-нибудь покрепче.

Сразу оговорюсь, что речь идет о морском ресторане «Амра», расположенном на старинной пристани в городе Мухусе. Если кто-нибудь имеет на примете какой-нибудь другой ресторан «Амра» в каком-нибудь другом городе, может быть в чем-то и созвучном моему Мухусу, пусть остерегается писать протесты. Мол, у нас на «Амре» подают не так, мол, у нашего кофевара совсем не такой нос, мол, автор всё выдумал и архитектура не та. Так вот еще раз предупреждаю: речь идет о моей «Амре» в моем Мухусе. Там всё так, как описываю я, и нос у кофевара именно такой, каким его опишу я, если вообще опишу.

Так вот. Говорили, что в городе появился Ленин. Разумеется, речь шла о свихнувшемся человеке, который иногда выдает себя за Ленина, хотя иногда и не выдает. Говорили, что, когда он не выдает себя за Ленина, он выдает себя за величайшего знатока его жизни и может ответить на любой вопрос, касающийся ее.

Хотя он родился в Мухусе и его бедная мать до сих пор жива, он всю свою сознательную жизнь проработал в Москве. Он преподавал марксизм в одном из московских вузов и долгие годы писал книгу, где восстановил жизнь Ленина иногда не только по дням, но и по часам.

Он много раз делал отчаянные попытки издать ее. Сперва при Хрущеве, потом при Брежневe. Но властям ни при Хрущеве, ни при Брежневe столь густое жизнеописание Ленина не было нужно. И тут в конце концов, как теперь говорят, у него крыша поехала.

Как это ни странно, почти всё, что люди о нем говорили, впоследствии оказалось правдой. Но кто знает тайны человеческой психики? Неизвестно, когда именно крыша поехала: тогда, когда

его упорный тридцатилетний труд отвергли все редакции, или тогда, когда он засел за этот труд?

А может, собственное имя подтолкнуло его засесть за этот труд?

Дело в том, что, к несчастью, звали его Степан Тимофеевич, как и знаменитого волжского разбойника Степана Разина, возведенного нашими историками в ранг бунтаря-революционера.

Впрочем, еще задолго до большевиков народ его сделал своим кумиром, сочиняя о нем легенды и песни. Нет народа, который не воспевал бы своих разбойников, но каждый народ делал это по-своему.

В знаменитой песне о Степане Разине воспевается как благородный подвиг то, что он швырнул за борт свою прекрасную персиянку. Почему? Потому что услышал позади ропот: «Нас на бабу променял»? Дело, конечно, не в том, что он променял на бабу своих головорезов, а в том, что у него прекрасная персиянка, а у них ее нет. Несправедливо.

Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он понимает и принимает братство и равенство перед разбоем. Но он не понимает и не принимает братства в равенстве перед законом. Такого закона у него никогда не было, и то, что выдавало себя за такой закон, всегда было обманом. Тоска по равенству уходит в легучее равенство разбоя.

Разбой превращается в момент истины. Мечта о равенстве перед разбоем настолько его очаровывает, что он не только не думает о жалости к жертве, он заранее уверен в ее вине хотя бы потому, что она для него бездуховна, как скот, и, следовательно, резать ее можно, как скот.

Равенство перед разбоем не означает, что нажива у всех будет одинаковая. У каждого равные возможности перед разбоем, а дальше признается, что многое зависит от личной лихости, хитрости, беспощадности, везения.

Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя.

Степан Разин как самый мощный предводитель своей шайки овладел прекрасной полонянкой. И это было справедливо, никто не посмел с ним тягаться. Но вот он таскается с ней по Волге. Почти женился. Чужеет. Выражаясь современным языком, он готов обуржуазиться. Он получает проценты наслаждения с капитала персиянки.

Но Степан Разин как идеальный народный герой вове­мя угадывает грозную мощь недовольства своих сотоварищей. Он, а не они нарушили условия игры. Если бы вместо прекрасной персиянки рядом с ним был бочонок золота, он высыпал бы его своим товарищам и всё уладилось бы. Но персидскую княжну так разделить невозможно. Что же делать?

И за борт ее бросает
В набежавшую волну.

Мрачное великолепие равенства распределения. Никому значит — всем. Удивительна в своем гениальном простодушии строчка «в набежавшую волну». Волна, набега­я, подбегает как верная собака к хозяину. Сама природа одобряет справедливое решение. Восстанавливается мировая гармония. В одобрении природы угадывается тайная воля Бога. Он как бы сверху наблюдает за происходящим и улыбается: «Правильным путем идете, товарищи».

Что такое восточный владыка, который, появляясь перед народом, приказывает швырять в толпу серебро монет? Что такое купец, выставляющий работникам бочку вина? Что такое пиршественный стол в награду за услуги чиновника? И что такое наше­ствие коллективизации и что такое тридцать седьмой год? Всё это многообразные попытки соединить нас и восстановить наше единство через нашу разбойничью пра­память. Впрочем, не будем забегать вперед, а лучше вернемся к моему земляку, однажды вообразившему, что он Ленин.

В Мухусе есть один философ-мистик (в Мухусе всё есть), так он следующим образом объясняет случившееся. Он говорит, что наш земляк, вложив всю свою душу в жизнеописание Ленина, в прямом смысле восстановил дух Ленина и этот благодарный дух, естественно, всем другим земным оболочкам предпочел оболочку нашего трудолюбивого земляка. (Почему этот дух не устремился к Мавзолею, будет понятно позже, если мне удастся довести этот рассказ до конца.)

Странно, что в моей писательской жизни фигура Ленина меня мало занимала. Сталин и интересовал и притягивал к себе. Мне казалось, что в нем тайна величайшего злодея. А Ленин как-то проходил мимо. Ну фанатик, ну рационалист, думал я, тут нет глубокой тайны личности.

Я был в Америке по приглашению русской летней школы в штате Вермонт. Вместе с женой и ребенком прожил в этой школе полтора месяца, иногда читая лекции студентам, изучающим русскую литературу, а чаще гуляя по ее зеленым, холмистым окрестностям.

Там был старик, которому девяносто с лишним лет и который когда-то организовал эту школу. Фамилия его Первушин. Он приходил на мои лекции и не только на мои, вместе со мной сюда приехало несколько московских писателей. Старик Первушин с удивительным для его возраста бодрым интересом слушал нас и даже нередко задавал вопросы.

Оказалось, он родственник Ленина. И притом настолько близкий, по крайней мере по семейным узам, что сумел при помощи брата Ленина, Дмитрия Ульянова, подделать его подпись под фиктивной заграничной командировкой и уехать из России.

Разумеется, это было при жизни Ленина. Я обратил внимание на одну деталь. Тогда для ЧК, сказал старик Первушин, достаточно было одной фамилии Ульянова. Видимо, сразу после революции Ленин еще не всегда подписывался так, как мы привыкли видеть в его факсимиле, — Ульянов-Ленин. Он еще порой по вполне понятной инерции подписывался так, как привык подписываться с юных лет.

Рассказав, благодаря чему он сумел уехать за границу, старик засмеялся тихим, воркующим смехом. Смех его можно было понять так: я правильно решил, что с историей не стоит связываться, и потому еще жив. А где те, что связались с историей? То-то же!

Это был очень милый смех. К сожалению, я больше ничего не спросил у старика о его знаменитом родственнике. Да и об этом я у него не спрашивал. Он рассказал сам. Сейчас сожалею, но, увы, поздно.

Приехав в Москву и окунувшись в нашу тревожную, издерганную, кликушескую жизнь, столь напоминающую предоктябрьскую Россию, я наконец решил почитать Ленина, к сочинениям которого не прикасался со студенческих времен.

С месяц я его упорно читал. Это было нелегкое чтение, в том смысле, что трудно было преодолеть скуку. Он чертит бесконечные круги, а иногда и виртуозные зигзаги конькобежца, но всё это происходит на одном уровне, на одной плоскости.

Но то, что естественно для конькобежца, неестественно для мыслителя. Мыслитель интересен нам тем, что он шаг за шагом углубляется в поиски истины. Нам интересен путь этого углубления, потому что это творчество, потому что он сам не знает, куда поставит ногу, делая следующий шаг. Мы видим, как он нащупывает твердую опору, вот нащупал и двинулся дальше.

Ленин заранее знает, что углубляться некуда и незачем. Он, конечно, умен в узком смысле. Ленин постоянно здрав внутри безумия общей идеи. Поражает противоречие между энергией его ума и постоянной банальностью мыслей. Обычно у больших

мыслителей нас восхищает сочетание энергии ума с большой мыслью. Нам представляется это естественным. Именно энергия ума добрасывает мысль до изумляющей высоты.

Но может быть, бывают исключения? Вопрос сам по себе интересен помимо Ленина. Можно ли представить себе певца таланта Шаляпина, который, однажды поразившись красоте «Марсельезы», всю жизнь исполнял бы только ее, пусть и в тысячах вариантов?

Можно ли представить себе писателя таланта Льва Толстого, который в силу бедности, в силу обремененности большой семьей занимался бы всю жизнь мелкой журналистикой, так и не написав ни одного рассказа на уровне своего природного дара?

Практически это представить нельзя. По-видимому, мысль о человеке в каждом человеке соответствует его природному уровню понимания человека. Этический слух вроде музыкального слуха, его можно слегка усовершенствовать, но нельзя изменить его врожденную силу.

Невысокий уровень понимания человека Лениным объясняется, я думаю, не тем, что огромная революционная работа отвлекала его мысль от этого. Наоборот, сама огромная революционная работа была следствием невысокого уровня понимания природы человека. Она освобождала и его душе невероятную радостную энергию разрушения.

Представим себе карточного игрока, который разработал убедительную теорию выигрыша. Но эта теория требует большой игры, больших денег, которых у него нет. Представим себе, что он открыл эту теорию очень богатому человеку и тот предложил ему на каких-то условиях играть на его деньги.

И он сел играть. Но оказалось, что теория не работает. Однако он играет и играет и в конце концов проигрывается в пух и прах. Почему он не остановился, почувствовав, что теория не работает? И потому что азарт подхлестывал и, главным образом, потому что он не свои деньги проигрывал.

Так и великий революционер. Он играет на чужие деньги. Каламбур относительно денег Вильгельма тут неуместен. Он играет жизнями миллионов людей. Если бы его заранее могла потрясти мысль о проигрыше, мысль о напрасной гибели множества людей, он бы не брался за дело революции. Но почему эта мысль ему не приходит в голову? По причине невысокого уровня понимания природы человека. Но откуда этот невысокий уровень понимания природы человека? Если сократить сложнейшую дробь его собственной природы, останется главное — нравственная туповатость.

С яростью и необыкновенным темпераментом постоянно обрушиваясь на старую мораль и мечтая о создании нового социа-

листического человека, неужели он не понимал, что если вообще и можно создать новую мораль, более совершенную, чем старая, то это дело тысячелетий? И как можно начинать новую жизнь с разрушения старой, тоже тысячелетней, морали? Это всё равно что посадить росток хлебного дерева и тут же сжечь колосящуюся, пусть не в полную силу, пшеницу.

В сочинениях Ленина нет никакой мудрости. Он всегда торопится, всегда пристрастен. По-видимому, чтобы быть мудрым, надо думать много, но лениво. Только тот, кто думает, забывая о том, что он думает, может до чего-нибудь додуматься. Чтобы думать, надо выпадать из жизни. Дар философа — дар выпадения из жизни при сохранении памяти о ней.

Осмелюсь оспорить знаменитый афоризм Маркса: философы до сих пор объясняли мир, а дело в том, чтобы его изменить. Как только философ начинает изменять жизнь, он теряет возможность справедливого суждения о ней, потому что он становится частью потока этой жизни. И чем сильнее философ меняет течение жизни, войдя в ее поток, тем ошибочней его суждения о том, что делается в ней. И теперь шанс на справедливое суждение о жизни, которую изменяет и в которой барахтается наш философ, имеет только другой философ, который, сидя на берегу, наблюдает за тем, что происходит в потоке.

Но если он, видя своего собрата барахтающимся в потоке, сам бултыхнулся в поток, с тем чтобы объяснить ему его ошибки, всё равно информация, которую он ему передаст, будет уже неверна, потому что он сам, окунувшись в поток, еще раз изменил его свойства.

Так бедный Мартов то окунался в поток, где барахтался Ленин, то выплывал из потока и кричал ему с берега о его ошибках, но они уже были обречены не понимать друг друга. А Ленин в это время целенаправленно греб внутри водоворота, принимая каждый свой круг в бурлящей воронке за очередную диалектическую спираль, пока, скрюченной судорогой, не задохнулся.

Одним словом, при чтении Ленина у меня возникло много недоуменных вопросов. Кстати, я заметил и его сильные человеческие черты. Например, редкое самообладание, по крайней мере в письменных источниках. Чем трагичней ситуация, тем яростней и неуклонней он проводит свою волю. Никакой паники, никакой растерянности.

Я написал и напечатал статью, где высказал немалые сомнения по поводу его мыслей и образа действий. Я об этом сейчас пишу, потому что это имеет отношение к тому, что собираюсь рассказывать.

Итак, в Мухусе появился Ленин. Я стоял со своим двоюродным братом Кемалом, бывшим военным летчиком, а ныне пенсионером, на маленькой, уютной улочке, обсаженной старыми платанами. Я расспрашивал его об этом человеке. Брат неохотно отвечал. Он явно не одобрял моего любопытства.

— Большой нахал, — сказал он про него.

— Почему? — спросил я.

— Он получал вместе с нами продукты в магазине ветеранов, — сказал брат, — а потом выяснилось, что он на войне никогда не был... Подозрительная личность... А вот и он!

Брат кивнул в сторону человека, который выскочил из-за угла на велосипеде. Я его сразу узнал, и он меня сразу узнал.

— Два брата-акробата! — зычно закричал он и, воздев руку, добавил: Читал вашу статью! Не согласен принципиально! Диспорим в «брехаловке»!

С этими словами он поймал рукой виляющий руль и промчался мимо. Он был в матросской тельняшке с короткими рукавами, обнажавшими неожиданные для меня крепкие, цепкие руки. Мелькнуло знакомое, сейчас сильно загорелое, плотное лицо со светлыми глазами и большой лоб, отнюдь не переходящий в лысину. Я, конечно, знал его хорошо, но просто забыл о нем. Лет пятнадцать назад в Москве он приходил ко мне со стихами. Тогда он позвонил по телефону, назвался моим земляком и попросил прочесть его стихи.

Когда я открыл на звонок, в дверях стоял коренастый человек среднего роста, светлоглазый, лобастый, но о сходстве с Лениным не могло быть и речи. Чуть склонив голову, он внимательно рассматривал меня, коротко комментируя свои впечатления:

— Похож. Да, похож. Хотя и не очень. Слегка подпорчен.

— На кого это я похож? — спросил я, несколько настораживаясь.

— Да на брата-летчика! — крикнул он радостно и, рванувшись ко мне, обнял и успел чмокнуть в щеку. После этого, как бы доказав право на родственность, он быстро разделся и стал рассказывать о себе, глядя в зеркало и подправляя расческой вьющиеся светло-каштановые волосы.

Так ведут себя с давно знакомым человеком в давно знакомом доме. Да, я забыл сказать, что перед этим он с каким-то облегчением сунул мне в руку красную папку со стихами. Я как дурак взял ее и несколько посуловел как бы за счет взваленной на себя ответственности. Я решил быть с ним посуше и для начала хотя бы отсечь родственный пыл.

Усевшись на диван и поглядывая на меня яркими, светлыми глазами, он стал рассказывать о себе. Зовут его Степан Тимофеев-

вич. Живет в Москве. Женат. Преподает марксизм в институте, название которого я тут же забыл. Он вспомнил нескольких коренных мухусчан, наших общих знакомых. Мы тут же заговорили об их странностях и чудачествах. Я потеплел.

Он был бесконечно доброжелателен. То и дело всхохатывал, вскакивал с места, садился, шутил. Потом я читал его стихи, а он ходил возле книжных шкафов, как бы приветствуя некоторые книги как старых друзей и одновременно ненавязчиво показывая степень своей интеллигентности.

Стихи его оказались вполне грамотными и вполне бездарными. Тематика была революционная. Преобладали стихи о Ленине. Я довольно кисло отозвался о них, но, чтобы подсластить пилюлю, попросил принести что-нибудь еще. Он нисколько не обиделся на мой отзыв, и это мне понравилось.

Тогда же он мне сказал, что собирается опубликовать свой пожизненный труд — Лениниану. Это меня нисколько не удивило. Почти каждый преподаватель марксизма мечтает написать книгу о Марксе или о Ленине. В крайнем случае об Энгельсе.

Однако развить эту тему я ему не дал, чувствуя, что в этом человеке слишком много энергии и нам хватит разговора о невинных чудачествах наших знакомых, даже если они, эти чудачества, иногда переходят в необъяснимые странности. Впрочем, он сделал еще одну попытку прорваться и воскликнул:

— Когда будут опубликованы сто двадцать семь любовных писем Ленина к Инессе Арманд, мир узнает, что этот пламенный революционер умел любить как никто в мире!

— Что же он не женился на ней? — все-таки полюбопытствовал я, однако голосом давая знать, что речь идет о короткой справке. И он это понял.

— Не мог бросить Надежду Константиновну! — с жаром воскликнул он. — У нее была базедова болезнь, и он не мог бросить больную жену! Благородство этого человека невероятно. Мир должен знать о нем!

Я, как и мир, кое-что знал о благородстве этого человека, но промолчал. Одним словом, я кисло отозвался о его стихах и сказал, чтобы он показал что-нибудь другое. В течение двух лет он побывал у меня несколько раз. Стихи менялись, но тематика только сгущалась и грозно, как я теперь понимаю, сосредоточивалась на Ленине. Они как бы не отличались от обычных графоманских стихов о Ленине. О том, что Ленин в метафорическом смысле жив, писали все. А мой земляк сосредоточился на мысли о новой необыкновенной встрече народа с Лениным: «Ленин грядет», «Ленин среди вас», «Недолго ждать Ленина» и тому подобное. Опять же

и эти мотивы не были чужды нашей поэзии, но мой земляк явно перебарщивал.

— Устал бороться за издание Ленинианы, — как-то сказал он мне, двусмысленно подмигивая, — я готов поделиться гонораром с тем, кто протолкнет мою книгу. Баш на баш, идет?

— Нет, — сказал я, — это мне не подходит.

— Неужели баш на баш не подходит? — удивился он и неожиданно добавил: — А если так: треть гонорара мне, треть вам, треть директору издательства?

— Неужели вы не видите чудовищного противоречия, — сказал я, осторожно горячась, — вы живете в государстве Ленина, вы своей книгой славите Ленина, а ее не хотят печатать? Как это у вас в диалектике: отрицание отрицания?

— Ни малейшего противоречия! — воскликнул он. — Сталин совершил тихий контрреволюционный переворот! Надо готовить новую атаку. Моя Лениниана алгебра революции, потому они и не хотят ее печатать.

Я промолчал. Черт его знает, кто он такой! Может, он — оттуда? Почему бы им не использовать чудаковатых людей? Да это уже и было. После издания в Америке моего неподцензурного «Сандро» я ждал какой-нибудь подлости. И вдруг является один мой давний знакомый и после короткого, ни к чему не обязывающего разговора уводит меня на мой собственный балкон, якобы боясь подслушивающего устройства, и говорит мне там, что из Европы приехал его друг, вполне надежный человек, и можно через него отправить на Запад непечатную рукопись.

— Нет такой необходимости, — холодно ответил я ему.

Мне показалось, что он облегченно вздохнул: и задание выполнил и предательство не совершилось. Мы зашли в комнату.

— А для чего это? — кивнул он на письменный стол, где рядом с машинкой лежал абхазский пастушеский нож как защитник певца пастушеской жизни.

— А это на случай хулиганства, — очень внятно сказал я, чтобы и там, откуда он пришел, это было расслышано. Вскоре он ушел и больше никогда не появлялся. Мне тогда показалось, что тот раунд я провел хорошо и выиграл его. Мне и сейчас так кажется, но ведь нельзя быть до конца уверенным, что он был человеком оттуда. Но такой была наша жизнь в те времена.

Так или иначе, мой земляк мне надоел, и я решил отделаться от него под видом помощи. Я решил написать рекомендательное письмо в редакцию одного сравнительно либерального журнала, где я печатался и где меня хорошо знали. В конце концов, пусть они занимаются такими авторами, они за это деньги получают.

Я написал, как мне показалось, ловко замаскированную ироническую записку, где рекомендовал журналу начинающего поэта и известного преподавателя марксизма. (Известного кому? Ленин здесь поставил бы свое ироническое: sic!) Отметив, с одной стороны, литературную наивность начинающего поэта, я, с другой стороны, похвалил его упорное стремление воспеть чистоту революционных идеалов.

Я был доволен. Мне показалось, что записка не ловится ни с какой стороны. Я был уверен, что мои друзья из журнала мгновенно поймут, что это шутка. А он не поймет. Я передал ему записку и размяк от тихого и радостного предчувствия конца нашего романа.

Прочитав записку, он вскинул голову и неожиданно смачно поцеловал меня прямо в губы. Черт бы его забрал! Я расслабился и не сумел воспользоваться древней писательской мудростью: если графоман целует тебя в губы, подставь ему щеку.

Кстати, без дальнейших сентиментов он тут же деловито удалился. Даже стало как-то немного обидно. Я хотел, конечно, чтобы он быстрее ушел. Но я хотел, чтобы он ушел, благодарно помешкав. А получилось, что, захватив записку и наградив меня смачным поцелуем, он даже как бы переплатил и теперь не намерен терять со мной ни секунды.

У меня было неприятное предчувствие, что поцелуй этот добром не кончится. Так оно и оказалось. Через три месяца журнал напечатал его стихи, предварив их моей рекомендацией. Этого не должно было случиться, но случилось. Я всё учел, кроме безумия нашего мира, а его-то и надо было учитывать в первую очередь.

Я потом звонил в редакцию своему приятелю, вполне либеральному литератору, занимавшемуся там стихами. Оказывается, стихи моего земляка с пришпиленной к ним запиской лежали на его столе, когда к нему в кабинет неожиданно вошел редактор журнала. Он машинально взял со стола стихи, увидел пришпиленную к ним мою записку и унес всё это к себе в кабинет как коршун добычу.

Дело в том, что редактора этого журнала критика иногда клеветывала за направление и он решил этими стихами укрепить идейную платформу журнала. Сам он был не такой уж либерал, но его несло по течению хрущевского времени. Кресло редактора под ним то и дело неприятно всплывало, но приятно покачивало. И он тосковал по устойчивости. Он хотел, чтобы кресло редактора приятно покачивалось, но не всплывало.

— Я, конечно, сразу всё понял, — оправдывался в телефонную трубку мой приятель, — но так получилось. Редактор влетел и забрал стихи с твоей запиской. Обычно он воротил губу и от тех

стихов, которые мы ему подсовывали, а тут сам забрал и в тот же день отправил в набор. Не горюй! Про тебя в Высоком Учреждении сказали, что ты оказался лучше, чем они думали. Пригодится!

После этой публикации от моего земляка не было больше звонков. Я старался забыть о его существовании и в самом деле забыл.

Года через два, а может, чуть больше, один мой знакомый психиатр пригласил меня на хлеб-соль и воскресную лыжную прогулку. Он жил и работал за городом. Думая, что я буду отбиваться, он решил заманить меня и пообещал показать пациента, чья мания такова, что о ней нельзя говорить по телефону.

Это был исключительно милый и хлебосольный человек. И я ринулся. В яркий, морозный день я вышел из электрички и пошел в сторону больницы. На перекрестье деревенских дорог я увидел сани, на которых было два человека седок и возница. Они как бы раздумывали, в какую сторону ехать. Оба были сильно укутаны. Я подошел и, показывая рукой в ту сторону, откуда они приехали, для подстраховки, спросил:

— Больница там?

— Скажите этому невежде, — клубясь морозным паром, не глядя прогудел седок сквозь кашне, укутавшее лицо, — что там находится мое имение! Что им надо? Я с девятьсот шестнадцатого года не занимаюсь политикой! Пошел!

Последнее относилось явно к вознице. Возница успел кивнуть, но после слов седока можно было смело идти по свежему следу саней. Голос седока мне показался знакомым, но я тогда не обратил на это внимание. Я двинулся дальше, вспоминая слова седока и находя в них много скрытого юмора.

Он, конечно, имел в виду, что его преследует полиция. Говоря, что с 1916 года не занимается политикой, он хотел внушить, что к делам революции семнадцатого года он не имеет отношения. Революция, видимо, подавлена. Участников ее преследуют. Этот отсидживается в имении и в качестве алиби называет шестнадцатый год. Почему так близко? Слишком видный революционер, назвать более далекий год неправдоподобно.

Так я расшифровал его слова, подходя к сумрачному зданию, которое, увы, казалось бедняге его имением. Мой хозяин, добряк-богатырь, провел меня в свой кабинет и, чтобы отогреть с морозу, угостил спиртом. Пришли сотрудники, и мы, как говорится, подзарулили. Кстати, он хотел показать мне пациента, который выдает себя за Ленина, но я не проявил к этому ни малейшего любопытства.

— О Сталине ты уже написал, — сказал мой благодушный хозяин, — я думал, ты теперь интересуешься Лениным.

— Нет, — сказал я, — со Сталиным у меня были свои счеты. А Ленин — это слишком далеко.

И тогда один старенький психиатр, сидевший с нами за столом, сказал забавную вещь. Он сказал, что при Сталине страх перед ним был столь велик, что ни один психический больной с манией величия не выдавал себя за Сталина.

Если это действительно так, значит, зарубка страха в голове заблудшего человека была настолько глубокой, что давала о себе знать и после того, как человек заболел.

Застолье незаметно переместилось в квартиру моего приятеля. Я продолжал пить, хотя, как потом выяснилось, меня надо было остановить. Но все мчались параллельно, и поэтому останавливать было некому. Оказывается, уже в его кабинете, взобравшись на подоконник, я кричал в форточку:

— Советский псих самый нормальный в мире!

Следует обратить внимание на то, что эта пьяная фраза, которую я хотел прокричать миру и даже прокричал ее неоднократно, тоже не ловится. Так что наблюдение старого психиатра подтверждается. Опьянение можно считать, конечно до определенной поры, незлокачественным вариантом безумия. В ослабленном виде повторилась та же схема.

Утром было тяжело. Но я, преодолевая похмелье, пытался стать на лыжи. Богатырь хозяин вдруг схватил мою руку:

— Дай-ка послушать пульс! — Послушал и твердо приказал: — Домой. В постель.

Мы вернулись к нему домой, я лег в постель, хотя ничего особенного не чувствовал, кроме похмельной тоски. Но так как похмельная тоска своей смутной неопределенностью напоминает тоскливое чувство вины перед тем, что творится в стране, я к этому состоянию достаточно привык и был спокоен.

Я лежал в кровати, а мой хозяин хватался за голову и с чувством вины, возможно похмельно преувеличенным, повторял:

— Как я мог забыть об этом! — По его словам, медицинский спирт уже несколько лет как испортился. У пьющих медиков организм адаптировался к этому спирту, а я был свежий человек. Действительно, я пил спирт много лет назад в Сибири, и, судя по всему, тогда он еще не был подпорчен позднейшими примесями.

Если испортился спирт, подумал я, то есть вещество, предназначенное самой своей природой удерживать всё от порчи, значит, плохи наши дела. А мой неугомонный хозяин вызвал каких-то врачей с аппаратурой, проверяющей состояние сердца, и эта аппаратура, как впоследствии выяснилось — тоже порченная, злобно показала: инфаркт.

К счастью, тьфу! тьфу! не сглазить! — никакого инфаркта в помине не было и нет. Но пока выяснилось, что аппаратура пошаливает, и всё в одну сторону, представляю, сколько пережил мой хозяин. Разумеется, мне он ничего не сказал тогда об этом.

К вечеру я окончательно оклемался, и он меня привез в Москву на своей машине. Так что я не знаю, был ли его пациент именно моим земляком или это совсем другой человек. И спросить теперь не у кого, потому что мой богатырь теперь в Израиле. Такого неожиданного сальто, учитывая его могучую комплекцию, и такого точного приземления на небольшой территории я от него не ожидал. Впрочем, возможно, он и сам не подозревал в себе такой прыти.

А случилось вот что. Однажды ночью после крепкого возлияния он провожал на электричку своего друга. Видимо, им вместе было так хорошо, что они, гуляя по платформе, пропустили несколько электричек. Но в России нельзя забываться. Особенно когда тебе хорошо, тем более когда тебе хорошо ночью на загородной платформе.

Видимо, пока они гуляли по платформе, какие-то мрачные типы взяли их на мушку. Наконец мой любвеобильный хозяин заботливо посадил своего друга на электричку и пошел домой. Богатырь своим богатырством сам провоцирует удар сзади. Кто-то сзади ударил его чем-то тяжелым, и он потерял сознание. Пришел в себя — лежит на снегу, карманы выворочены, шуба и шапка исчезли. Еле дополз до дому и тут-то, вероятно, вспомнил, что у него мать наполовину еврейка.

И он заторопился в Израиль, а до этого совсем не торопился, я даже не знал, что у него есть такая возможность. И вот он со всей семьей уехал в Израиль, оставив своих психов черт знает на кого.

Хлебосолье — прекрасное свойство, но тут уж слишком. Теперь понятно, что он с еврейской энергией расширял свои русские возможности. Но поможет ли Израиль в этом случае? Кто его знает. Разве что шубу не снимут. Это точно.

Читатель может спросить: какое всё это имеет отношение к тому, что я собираюсь рассказать? Отвечу коротко, даже огрызнусь: раз написалось, значит, имеет.

...И вот я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Слава Богу, здесь всё как раньше. Только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сидел лицом к входу, чтобы не пропустить его, и поневоле любовался городом своей юности.

Слава Богу, всё та же береговая линия, всё так же возвышаются дряхлеющие эвкалипты на приморском бульваре, всё так же сквозь

густую зелень белеют дома, всё так же уютно выглядит приморская гостиница, если, конечно, не знать, что она после пожара начисто выгорела изнутри. Так как виновник пожара не был найден, решили, что он по неосторожности сгорел вместе с гостиницей. Говорят, что ее теперь отстраивают турки и поляки. Точно так же и в Москве, и в Ленинграде многие знаменитые здания реставрируются турками и финнами. То, что кажется побочным признаком конца империи — исчезновение мастеров, на самом деле является ее главным признаком.

Справа от меня, ближе к выходу, у самых перил ресторанный ограда, сидело трое молодых людей. Двое из них были одеты в ослепительные белые рубашки, а третий был одет в пурпурную шелковую рубашку, трепещущую и вскипающую под ветерком. Видно, он недавно ее приобрел, потому что время от времени замирал и любовался струящимся красным шелком. Они попивали кофе, рассказывали друг другу веселые истории и оглядывали входящих девушек. Народу в ресторане было довольно много. Было жарко, но под тенистыми тентами жара не чувствовалась. А столиков под тентами, как всегда, не хватало. Те, что сидели под тентами, явно не спешили их освободить, именно потому что некоторые клиенты упорно дожидались их освобождения.

Со стороны моря раздался завывающий шум приближающегося глссера. Шум внезапно оборвался у самой пристани ресторана.

— Бочо пришел! — сказал один из ребят и, склонившись над перилами, посмотрел вниз.

— Второго такого хохмача в городе нет, — добавил краснорубашечник.

— Интересно, что он сейчас скажет, — заметил третий.

В самом деле, через несколько минут над перилами ресторанный палубы появилась курчаво-волосая голова с бронзовым, загорелым лицом. Он поднялся сюда по железной лесенке.

— Девушки, где вы? — зычно закричал он. — Спешите на морскую прогулку, пока я здесь! В летний сезон беру клиенток от двадцати до сорока лет! Старше сорока можете оставаться на местах — только в зимний сезон.

Девушки ринулись к нему. Одна женщина поднялась было, но, услышав конец его призыва, замешкалась, как бы пытаясь вспомнить свой возраст. Припомнив, погасла и села.

Молодыми застольцами она была тут же замечена, и они, кивая на нее, стали покатываться от хохота. Шесть девушек уже стояло около водителя глссера.

— Вы! Вы! Вы! Вы! — тыкая пальцем, указал он на четырех девушек и отсек остальных: — А вы ждите следующего заезда!

Водитель глссера сошел с лестницы и отступил на деревянную палубу по ту сторону ограды. Одной рукой держась за перила, он другой помогал девушкам перелезть через ограду и спуститься вниз по железной лесенке. Одновременно он весело и хищно оглядывал палубу ресторана. Заметив ребят, сидевших справа от меня, он, продолжая помогать девушкам, стал громко рассказывать:

— Сейчас от хохота умрете. Вчера сидим дома и обедаем всей семьей. Со двора подходит к окну соседка и кричит: «Наташа, ты дома. Что делаешь?»

«Обедаю, — отвечает жена. — Обедай, обедай! — кричит соседка. — А в это время твой муж и мой дурак с двумя курортницами уехали гулять в Новый Афон. А ты сиди обедай с детьми!»

Я умираю от хохота, а жена смотрит на меня: готова убить. Наконец кричу этой соседке:

«Я твоего дурака три дня уже не видел!»

«Что, приехал уже?» — говорит соседка и быстро уходит. Стыдно.

«Ты видишь, — говорю я жене, — как клеветают на нашу дружную, прекрасную семью. Тебе женщины завидуют, хотят нас поссорить». Приеду, расскажу еще одну хохму.

— Бочо, а куда ты дел тех девушек, которых катал? — спросил краснорубашечник.

— Как куда? — встрепенулся Бочо. — В родильный дом отвез!

Ребята стали хохотать. Последняя девушка, перелезавшая через ограду, вздрогнула и отдернулась.

— Не бойтесь, девушка, — живо откликнулся Бочо, продолжая держать ее руку в своей ладони, — я их на пляже высадил. Кто так шутит, никогда не тронет. А тот, кто тронет, — никогда так не шутит.

Девушка рассмеялась и окончательно перелезла через ограду.

— Вам остается понять, шучу я или нет! — крикнул Бочо вниз, уже спускающейся по лесенке девушке. Подмигнув ребятам, хохмач быстро спустился за нею.

Через минуту взвыл мотор, и глссер ушел в море.

— Вот Бочо дает! — с восхищением сказал тот, что был в красной рубахе.

— А вообще он гуляет? — спросил второй.

— По-моему, нет, — сказал третий, — у меня была одна приезжая чувиха с подругой. И деньги у меня были тогда. Я встретил Бочо и говорю: так и так. Бабки у меня есть. Займись подругой моей девушки. Пожалуйста, говорит. Приходим в ресторан. Я заказываю всё что можно. Бочо наворачивает и хохмит так, что девушки падают. Даже моя стала к нему клеиться. Клянусь!

Но обидеться нельзя — Бочо! Только поужинали, как он встает и говорит:

«До свиданья, девушки. Спасибо за компанию, но меня ждет красавица жена!»

— А у него в самом деле красавица жена, — вздохнул тот, что спрашивал.

— Не в этом дело, — поправил его краснорубашечник, — он, учти, гуляет в глубоком подполье.

Я, видимо, так увлекся жизнью молодых людей, что не заметил, как появился тот, кого я ожидал.

— Не согласен принципиально и окончательно, — раздался над моей головой веселый и твердый голос.

Я вздрогнул. Это был он. Всё в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны. Ясно было, что они недавно начищены зубным порошком. Он стоял передо мной плотный, коренастый. Мускулистые, борцовские руки скрещены на груди. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие, живые светлые глазки. Металлический колпачок ручки, прищепленный изнутри на груди тельняшки, вспыхивал и отражал солнечный свет.

— Присаживайтесь, — сказал я, — сейчас закажем кофе, коньяк.

— Какая же это свобода, — сказал он, стремительно присаживаясь за столик, стремительно наклоняясь ко мне и стреляя в меня светлыми пулями глаз, — вы лишаете великого человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия! Какая же это свобода, батенька?

— Да, лишаю, — сказал я, — человек может экспериментировать над собой. В конце концов люди его образа мыслей могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальные опыты.

— Социализм в лаборатории — это, батенька, чепухенция! — воскликнул он, взмахнув рукой над столом. — В том-то и драма великого Ленина, что он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет!

— Только, знаете, — сказал я ему, — если можно, без этих словечек: батенька, ни-ни, гм-гм. Особенно ненавижу гм-гм.

— Гм-гм, — незамедлительно произнес он, как бы для того, чтобы тут же, не сходя с места, утвердить свои права.

Я вспомнил, что точно так же в детстве мой сумасшедший дядюшка, бывало, если кто, выходя их комнаты, плотно прикроет дверь, тут же вскакивал и пробовал открыть в знак того, что никто не смеет его запирасть, хотя его никто никогда не запирали.

— Запретить, конечно, я не могу, — сказал я мирно, — но постарайтесь, если можете.

— Я сказал «гм-гм» не нарочно, — пояснил он, — этим выразил сомнение в вашей демократичности.

— Так и скажите: сомневаюсь в вашей демократичности.

— Зачем мне говорить столько слов, когда я коротко говорю то же самое: гм-гм.

— В этом «гм-гм», — сказал я, стараясь быть доходчивым, — слышится какое-то подлое высокомерие. Как будто вы настолько выше собеседника, что он не стоит слов.

— Гм-гм, — сказал он опять, но, спохватившись, добавил: — Это я не по отношению к нашей беседе, а по отношению к тому, что вы считаете высокомерием.

Я понял, что эта мелкая перепалка может длиться бесконечно.

— Ну, как хотите, — сказал я и, стараясь поймать его в самый миг отклонения в безумие, спросил: — Что значит: «Ленин еще раз пойдет»? Появится новый Ленин?

Взгляд его отяжелел. Но мне показалось, что он взял себя в руки.

— Не новый, но обновленный новыми историческими условиями, — сказал он уклончиво и одновременно твердо.

Я подозвал официантку, которая, стоя в сторонке, почему-то обидчиво поглядывала на нас. Она подошла.

— Вы пьете? — спросил я у него.

— Слегка балуюсь, — живо отозвался он.

Официантка нахмурилась.

— Два кофе и триста грамм коньяка, — сказал я и, обращаясь к нему, добавил: — Может, что-нибудь еще?

— Мороженое, — попросил он коротко, — умственная работа требует сладости.

Я вспомнил, что мой сумасшедший дядюшка тоже любил сладости. Тогда, в детстве, я изредка мог позволить себе угостить его лимонадом.

— Может, три порции? — спросил я.

— Три! Три! — вспыхнул он. — Вы угадали мою норму! Люблю иметь дело с проницательными людьми, хотя от принципов не отступаю.

Официантка еще больше нахмурилась и, записав заказ, обрattилась ко мне:

— Вы тут новый человек, умоляю: если дядя Степа начнет говорить, что он Ленин, остановите его или позовите меня. Я его попрошу отсюда. Я знаю, что сейчас свобода, но стыдно перед людьми... И Ленина жалко...

— Лениньяна продолжается, — загадочно заметил мой собеседник.

— Вы опять за свое? — с горьким сожалением сказала официантка.

— Дорогая, не забывайте, что я бывший доцент московского вуза, — не без надменности произнес мой собеседник.

— Вот именно — бывший, — мстительно подчеркнула официантка.

— «И за борт ее бросает в набежавшую волну», — неожиданно пропел мой собеседник хорошим баритоном. Он пел, глядя на официантку, и пение его как бы означало шутивную угрозу по отношению к ней и одновременно обещание, оставаясь в рамках Степана Разина, выполнить ее просьбу.

— Оставьте, ради Бога, — сказала официантка и отошла.

Мне не хотелось с ним спорить. Но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку, где доказывалось, что знаменитое покушение на Ленина Фанни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Никакого убедительного доказательства автор не приводит, и всё это как-то не похоже на правду. Но там были вещи, которые показались мне бесспорными.

Ссылаясь на газету «Известия», где была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что эту информацию легко проверить? Но может быть, эту информацию «Известия» дали сгоряча, по слухам? Было ли позже в «Известиях» опровержение этой информации, уточнения?

Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив в Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там, и то случайно, была схвачена. Если это действительно так, что можно подумать об истинном отношении рабочих к Ленину?

И потом слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. И это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были в те горячие времена быстры на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковые следствия было в интересах самой власти. Кто спешил и почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан?

Обо всех этих сомнениях я ему рассказал. Он внимательно выслушал и вдруг воскликнул:

— Так вы и об этом знаете!

И, как бы боясь, что потом забудет, но важно, чтобы правда была полной, лихорадочно добавил:

— Только Дзержинский тут ни при чем! Запомните! Запомните! Запомните!

— Ну а как это было, если вы знаете?

Он тихо и подозрительно посмотрел по сторонам. Глаза его горели. Он наклонился ко мне и прошептал:

— Я вам всё расскажу. Вы наш, хотя и сами не подозреваете об этом.

— В каком смысле?

— В прямом. В трудную минуту вы оказали нам неоценимую помощь.

Казалось, он успокоился. Во всяком случае выпрямился.

— Какую?

— Вы помогли мне напечатать стихи, которые отвергли все редакции. Тем самым вы помогли поддержать дух народа, теряющего всякую надежду. Народ ждет Ленина. Вы наш. Вы же любили в детстве революционные песни?

Он пронзил меня буравчиками глаз. Я похолодел от чудовищной догадки. Откуда он это может знать? Это первая глава моей новой вещи! Ее еще ни один человек не видел! Я ее оставил в Москве у себя на столе! Украли! Украли! Никакого сумасшедшего не было и нет! Он оттуда! И стихи о Ленине были проверкой на лояльность! Но я случайно вывернулся тогда! Чего они хотят? Проверяют степень стойкости к безумию? Глупость! Держать себя в руках!

— Да, — сказал я, стараясь скрыть волнение, — я в самом деле в детстве любил революционные песни. Но откуда вы знаете это?

— Я всё знаю, — сказал он, насмешливо глядя на меня, — но почему вы смутились? Стыдитесь? Запомните, тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен. Я тоже любил! Так, как я, никто их не мог любить!

Вместе с этими словами буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. О, как я знал это выражение по глазам дядюшки! Бывало, я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня и узнавая и не узнавая меня, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее. Господи, прости!

И сейчас казалось, двойник Ленина в невероятной тоске по разуму намекает на причину своего безумия и отсылает к подлинному Ленину, пытается уверить, что и его ошибки имеют тот же благородный источник.

Нет, брат, подумал я, этот номер не пройдет. А что касается песен — он прав. В самом деле так и есть: тот подлец, кто в дет-

стве не любил революционных песен! И тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни. Она не виновата в кровавом фарсе революции.

И нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Где граница? Нет границы! Это всё равно что винить разум в том, что иные люди слишком пристально вглядываются в будущее и видят там свою могилу. Виноват ли разум, хотя, не будь разума, человек не знал бы, что он смертен? Значит, он сам в конечном итоге должен найти равновесие между бездной жизни и бездной небытия. Так и в искусстве, так и в песне.

Мой собеседник опять загравленно огляделся и низко наклонился над столом, приглашая меня сделать встречный наклон.

— Посмотрите сюда. Только вам, — сказал он доверительно.

Двумя пальцами сильной, загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит — не оставалось сомнения.

— Тише! К нам идут! Ни слова! — прошипел он и, бросив тельняшку, выпрямился над столом.

К нам быстро подошла наша разгневанная официантка.

— Вы опять за свое? — закричала она. — Я видела, что вы показывали! Я вас выведу отсюда!

— А что я показывал? — удивленно развел руками мой собеседник. — Я показывал след от фурункулов. Маркс тоже, когда работал над «Капиталом», страдал от фурункулов. «Дорого обойдутся мои фурункулы буржуазии», говаривал он в те времена.

— Значит, теперь Марксом заделались, — сказала официантка, явно сбавляя тон, — Господи, что за человек!

Она отошла, как бы примиряясь с меньшим злом.

— Конспирация, конспирация и еще раз конспирация, — сказал мой собеседник, явно довольный собой.

— Так, значит, стреляли в вас?

— А в кого же еще?

— Но ведь с тех пор прошло столько времени, — сказал я вразумительно, — разве вы похожи на человека, которому больше ста лет?

Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи.

— Мой настоящий биологический возраст, — сказал он, стараясь быть четким, — это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили.

— Разморозили?

— Конечно. Это длинная история. Но вы наш, вы еще послушайте пролетарскому делу. Восстание близится, хотя день и час даже вам не могу открыть. Но оно неминуемо... Тяжелый кризис...

— Что, есть такая партия? — спросил я неожиданно, чтобы заставить его врасплох.

— Есть! Есть! — ответил он, не только не смущаясь, а, наоборот, радостно распахиваясь. — Только она сейчас в глубоком подполье.

Он стал быстро-быстро черпать ложкой мороженое, отправляя его в свой губастый рот. И теперь казалось, что в сладости мороженого он чувствует сладость восстания.

— Кто вас заморозил и кто вас разморозил? — спросил я, стараясь быть как можно более четким.

Глаза его горели решительно и мрачно. Он резким движением отодвинул опустевшую вазочку.

— Это долгая история, — глухо начал он, — в чем трагедия Ленина? Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа: разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики. Они захватывают власть. А на втором этапе созидатели. Но как только Ленин попытался начать замену, случилось покушение... За это я и получил пули...

Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил:

— Кстати, Плеханов жив?

Я не успел ответить, как он сам себя поправил:

— Умер! Умер! После заморозки память пошаливает. Иногда события, которые я пережил, кажутся мне рассказанными другими людьми. А события, которые происходили во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах... Так вот за это в меня и стреляли... Но были и верные люди. Особенно среди немецких товарищей. После ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда я стал выздоравливать, они подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня. А меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции.

— Неужели, — спросил я, — вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно!

— Конечно, — согласился он, — а что им оставалось делать? Было совещание в Политбюро. Сталин тогда сказал: «Пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина. Стаж его работы не будет утомительным. А мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Камо придется ликвидировать. Он дикий, он будет кричать: „Я знал Ленина! Это ненастоящий Ленин!“»

В это время к нашему столику подошел один из парней, сидевших справа от нас. Это был краснорубашечник. Обращаясь к моему собеседнику с наглой почтительностью, он спросил:

— Скажите, пожалуйста, группа местных студентов интересуется, что делал Ленин первого сентября 1917 года?

Мой собеседник словно вынырнул из воды. Он стремительно повернулся к парню и заговорил горячо и толково, насколько толково можно было говорить в рамках учения.

— Более актуального вопроса вы не могли задать, молодой человек! воскликнул он. — Слушайте и запоминайте, это почти сегодняшний день! Первого сентября 1917 года в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья, где он критикует выступления Мартова на заседании ЦИК Советов.

Мартов утверждает, что Советы, видите ли, не могут в данный исторический момент бороться за власть, ибо идет война с Германией. Борьба за власть могла бы, по Мартову, привести к гражданской войне.

Тю! Тю! Тю! Тю! Нашел чем нас испугать! Цыпленок вареный, цыпленок жареный... По Мартову получается, что мы, революционные демократы, должны сейчас в противовес давлению правых сил на правительство создать контрдавление. Ай! Ай! Ай!

Узнаете наших сегодняшних либералов, молодой человек? Получается, что правительство борется с крайностями, как левыми, так и правыми. Как будто правительство не в руках у правых сил! Вот она филистерская мудрость, вот он урок сегодняшним правым и центристам! Ленин призывал брать власть в свои руки, не считаясь с войной, не считаясь с филистерской мудростью добренького Мартова! Вы поняли, в чем суть выступления Ленина, молодой человек?

— Да, конечно, — сказал краснорубашечник, — я передам ребятам ваши слова.

— Идите и передайте, и пусть они действуют в согласии с Лениным!

Пока он говорил, молодой человек слушал его, исполненный издевательской почтительности. Друзья его тряслись от тихого хохота. Тот, что был лицом ко мне, прятался за тем, что сидел спиной ко мне. Было приятно и удивительно, что они все-таки немного стыдились своего розыгрыша.

— Вся надежда на них, — кивнул мой собеседник в сторону удаляющегося краснорубашечника, — давайте выпьем за них.

Я разлил коньяк. Мы подняли рюмки, и он вдруг вспомнил:

— А наш патриот спелся с Мартовым... То же самое говорил... Говорит...

— Кто патриот? — не понял я.

— Да Плеханов Георгий Валентинович, — ответил мой собеседник, — он всю мировую войну стоял... и стоит... Нет, стоял, но не стоит...

Мутное безумие заволокло его глаза. Он взглянул на меня умоляющим и как бы стыдящимся того, о чем он умоляет, взглядом:

— Он жив?

— Умер, — сказал я как можно более просто, чтобы не травмировать его. Я это сказал так, как если бы смерть произошла на днях и он, естественно, мог еще об этом не знать.

Он быстро поставил рюмку и обеими ладонями ударил по столу.

— Да! — воскликнул он вместе с ударом по столу, вспыхивая разумом. Как я мог забыть! Наш барин не выдержал обыск матросов! Выпьем за молодежь, штурмующую будущее!

Мы выпили, и я почему-то подумал, что тельняшка моего собеседника как-то связана с этим обыском матросов у Плеханова. Поставив рюмку, он из последней точки безумия легко перелетел в предыдущую и продолжал:

— На этом и решили. Не объявлять же народу, что Ленина выкрали. Народ мог восстать против правительства, у которого выкрали Ленина. Тут мы Сталина перехитрили.

— А Крупская знала об этом?

— Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни как в Шушенском, так и за границей. Жизнь в Шушенском он освоил легко. По аналогии. Но заграничная давалась туговато.

— А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?

— Конечно, догадывался, — кивнул он, шумно прихлебывая из второй вазочки растаявшее мороженое, — он ее шантажировал, чтобы она выдала мое местопребывание. «Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове, — говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд, — или вы нам откроете местопребывание настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца». Но Наденька молчала как партизанка. Особенно он допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня.

— Какой Гриша?

— Григорий Зиновьев.

— Так он принимал участие в похищении?

— Знал, но не участвовал.

— А Каменев?

— И знал и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись.

— А Троцкий?

— Нет, нет и нет! Я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш.

— Что же вы делали в Германии?

— Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику. А с другой стороны, после подавления революции готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Не удивляйтесь. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знало только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Лонжюмо. Это была трагедия, достойная Шекспира!

Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн, Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов!» Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой!» А они мне: «Найн, найн, Ленин никогда не меняется!» Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили.

После прихода Гитлера к власти немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна впредь до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге на конспиративной квартире...

Тут он вдруг зашнулся и, взглянув на меня светлым, бытовым взглядом, сказал:

— Вы же депутат? Не могли бы вы, под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира.

— Нет, — сказал я твердо, — этим должны заниматься местные Советы.

Я здорово обжегся на этой помощи. Одна женщина пришла ко мне домой с жалобой на свои квартирные дела. Она была с замученным ночевками где попало ребенком. Оказывается, она уже много раз приезжала из провинции и подолгу жила в Москве, таскаясь со своим ребенком и со своей жалобой по разным учреждениям. Горсовет отобрал у нее одну из комнат ее квартиры, считая, что она получена не вполне законным путем. Я сделал для нее всё, что мог. Связался с горсоветом ее города, написал письмо в Верховный Совет, оттуда направили в ее город комиссию. Но ничего не помогло. Вероятно, ее хлопоты не имели достаточных юридических оснований, а может быть, обычное наше крючкотворство.

Но тут она потребовала у меня, чтобы я устроил ей личную встречу с председателем Верховного Совета. Я, естественно, этого

не мог сделать и отказал ей. И вдруг она стала звонить мне чуть ли не каждый день и говорить чудовищные непристойности.

Мне эти звонки страшно надоели, и я рассказал о них одному знакомому, работающему в административной сфере. Он дал мне телефон милицейской службы, как будто занимающейся именно такими делами. Я позвонил и, не называя имени женщины, рассказал об этих гнусных звонках. Человек, который говорил со мной, так хищно заинтересовался этим делом, что я дал задний ход. Мне стало жалко эту, по-видимому, все-таки больную женщину. Я сказал, что пока не стоит этим заниматься, но, если она снова будет звонить, я с ним свяжусь.

И вдруг эти подлые звонки, которые длились больше месяца, как рукой сняло. Я не называл ее имени, а московского адреса у нее вообще не было. Как это понять? Случайное совпадение? Или кто-то, знающий о моем телефонном разговоре с милицейской службой, сказал ей: «Хватит»?

— Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел, — продолжал мой собеседник, — а в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной...

Снова подошел к нам молодой человек в красной рубашке. На этот раз, извиняясь, он охватил взглядом нас обоих, и я почувствовал, что сфера насмешки расширилась.

— Извините, что прерываю вашу научную беседу, — сказал он, — но мы, студенты, интересуемся, что делал Ленин девятого марта 1909 года?

— Не менее актуально, — радостно воскликнул мой собеседник и махнул рукой в том смысле, что, в какой день жизни Ленина ни ткни, всё наполнено смыслом грядущего, — в этот день Ленин написал письмо своей старшей сестре Анне Ильиничне. Накануне он приехал в Париж из Ниццы, где ему удалось хорошо отдохнуть, что редко с ним случалось. По существу, сестра была редактором его книги «Материализм и эмпириокритицизм», которая выходила в издательстве «Крумбюгеля». Ленин уже тогда боролся с поповщиной и просил сестру не смягчать его формулировок против Богданова и Луначарского.

А сейчас поповщина захлестнула нашу прессу. Недавно на экране телика стоит в церкви бывший большевик и держит свечу как балбес. И в немалых чинах большевик. Спрашивается, если ты большевик, то что тебе надо в церкви? А если ты верующий, то какой же ты большевик? Как говорится в народе: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Хотя, с другой стороны, потому-то наш идеологический огород порос бузиной, что дядя уехал в Киев или

куда подальше. Но ничего! Скоро придет! Полоть будем бузину, беспощадно полоть! Так и передайте товарищам!

— Спасибо, обязательно передам.

Он повернулся и пошел к своим друзьям, стараясь солидно вышагивать. Друзья уже тряслись от тихого хохота.

Меня вдруг осенило спросить своего собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе.

— Скажите, — обратился я к нему, — после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется: как вы сюда попали? Кто вы? Откуда?

— Вы имеете в виду прописку? — спросил он и рассмеялся. — Прописка для подпольщика не препятствие. В этом городе такса — пять тысяч.

— При чем тут прописка, — сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее, — вы же новый человек, а вас принимают за старожилу?

— Очень просто, — удивляясь моему удивлению, развел он руками, Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него. Он в заморозке.

— Но ведь, если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться? — спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу.

Он откинулся и опять расхохотался ленинским детским смехом. Отсмеявшись, стал утирать слезы кулаком, а потом сказал:

— Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас девяносто шесть лет, а тогда было чуть за двадцать. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Коллонтай отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди. Но что я мог сделать? Я вызвал Коллонтай и поговорил с ней. Но она, бой-баба, в ответ мне: «Революция в личную жизнь не вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на Политбюро, я выдвину встречный! Почему вы после победы революции расстались с Инессой Арманд? Это не по-рыцарски».

Разве ей объяснишь, что председатель Совнаркома — это не эмигрант-революционер. На него смотрит весь мир — еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. Именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры. «Ладно, идите», — сказал я ей. А что я мог сделать? Пришлось пойти на похабный мир с Коллонтай.

Иногда я своей старушке напоминаю о тех славных денечках, а она, бедняга, тихо плачет и причитает: «Степушка, что с тобой сделали большевики? Зачем я отдала тебя в институт? Зачем не спала ночей, обстирывала соседей? Будь проклят твой учи-

тель истории! Он говорил: „У Степы волшебная память. Он будет большим ученым“. Что ж ты обеспамятел, сынок? Что с тобой сделали большевики?»

«Да не большевики, — говорю, — мамочка, а термидор. Потерпи до победы. Уже скоро. И Сталин получит свое, и Коллонтай. Я специально напишу статью об ошибках Коллонтай».

А она упрется головой в ладонь и плачет:

«Сыночек, что с тобой сделали большевики!»

И я в конце концов выхожу из себя:

«Мамочка, не надо путать большевиков с термидором. Это грубая ошибка. Мамочка, никакая ты мне не мамочка. Моя мамочка давным-давно лежит в Ленинграде на Волковом кладбище!»

«Лучше бы я лежала на Волковом кладбище, — плачет она, — лучше б она здесь сидела и видела это».

— Хорошо, — сказал я, пытаюсь прервать его, — а где же настоящая мать Степана Тимофеевича?

— В заморозке, — сказал он бодро и добавил: — Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил.

— А мать? — спросил я.

— А мать выводить из заморозки нерентабельно, — сказал он, хозяйственно разводя руками, — ей почти восемьдесят пять лет.

Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло.

— Так, значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?

— Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внес отсечку, но в общем правильно двигался к нэпу...

— Вы уж помолчали бы о нэпе, — не выдержал я, — разве это реформа великого государственного деятеля? Это всё равно что в овчарню, где в одном углу сгрудились овцы, а в другом волки, входит пастух и говорит: «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгоднее стричь, продавать шерсть и покупать мясо. Нэп всерьез и надолго». Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно, живое, дымящееся мясо. Великий государственный деятель потому и велик, что он создает законы и способы управления, которые нелегко разрушить.

Пока я говорил, он слушал меня, поощрительно кивая, иногда как бы пытаясь движением головы помочь мне глубже черпануть истину. Самое удивительное, что эти поощрительные движения головы и в самом деле помогали сформулировать то, что я хотел сказать, хотя направлены были как будто против него.

— Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, — сказал он, разрешите записать. Я это сравнение провозглашу в первом же своем докладе после переворота. Тем более что я сам так думаю.

Он выщелкнул из-за ворота тельняшки авторучку, вынул из кармана блокнот и, склонив голову, стал быстро-быстро записывать. Я почувствовал, что устал от него, и разлил коньяк. Он четким шлепком захлопнул блокнот, положил его в карман и заткнул авторучку за край тельняшки. Мы выпили не чокаясь.

— Волки, — вдруг сказал он грустно и поставил рюмку на столик, — а как без волков возьмешь власть? Мои инструкции хронически запаздывали, то шифровальщик напутает в Германии, то расшифровщика арестуют в Москве... Только, ради Бога, не говорите мне о коллективизации, голоде, тридцать седьмом... Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал... А вы знаете, где сейчас Сталин?

— Как где? — сказал я. — В могиле у Кремлевской стены, куда его перенесли из Мавзолея, где он лежал рядом с Лениным...

Тут я запнулся и посмотрел на него, понимая некоторую нелепость или даже бестактность этой фразы в данном случае. Он мгновенно угадал, почему я запнулся, и залился знаменитым ленинским детским смехом.

— Ничего-то, батенька, вы не знаете! — проговорил он, сияя и сверкая буравчиками глаз. — И никогда он не лежал в Мавзолее с Лениным или без Ленина, тем более что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в Мавзолее и в Гамбурге в заморозке? Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин. А сам Сталин сейчас в Пентагоне...

— Как в Пентагоне? — не понял я.

— Пока в глубокой заморозке, — сказал он, — но в нужный для Америки час они его разморозят, возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная. Я дам ему последний бой и за всё отомщу.

С этими словами он опустил глаза и достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Щелкнул крышкой, метнувшей солнечный зайчик, и посмотрел время. Снова щелкнул крышкой и спрятал часы.

— Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, — сказал он, — а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берия удрал к Франко и как его там заморозили. Ждите и помните, что вы наш. Вы еще пригодитесь для пролетарского дела.

— Ничего не понимаю, — сказал я и вздрогнул, чувствуя холода неведомой заморозки.

— Поспешешь сказать — опоздаешь сделать, — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу, рябя на солнце своей тельняшкой.

* * *

Жирная, мускулистая спина, обтянутая тельняшкой, решительно удалялась. Глядя на нее, я подумал: миром правит энергия безумцев.

Но если мир всё еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа, может быть, всего удивительней то, что уровень понимания человека высок, но не завышен.

Чтобы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не как Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Если что и было в его учении божественного, так это точность в понимании реальных возможностей человека.

Было бы странно и непоследовательно, если бы он, будучи Божьим Сыном, принял смерть именно как человек, а учение, которое он оставил людям, было бы результатом божественного откровения. Как раз потому, что он учение свое создавал на основании пусть и гениального, но человеческого опыта, он и смерть принял как человек неохотно, томясь духом, тоскуя.

Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну:

— Что-то я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что десять умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди как человек весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку прикрою вообще.

Кажется, подвиг Христа был бы гораздо убедительней, если бы он, родившись человеком, забыл, что он Бог, и люди узнали бы об этом только после его воскресения. Но это только кажется.

Если бы Христос не знал, что он Богочеловек, не было бы не только подвига его человеческой смерти, но и не было бы подвига снисхождения Сильного к Слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более что мы понимаем: при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей. Но он не прервал урок, его прервали.

Человек ужасно не любит снисходить. И чем упорнее, обдирая ногти, он карабкается вверх, тем неохотнее он снисходит к тем, кто

внизу. Но чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он нисходит к слабым. По легкости снисхождения к слабым мы познаем истинную высоту человека.

При всей своей внешней простоте учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается.

Человек живет, преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую.

Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге, но это настоящая жизнь без обмана и самообмана, где тише едешь, дальше будешь.

Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире логика выгоды, скажем якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы совести. Человек, следующий логике выгоды, видит ясные стреловидные дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи и они могут привести только к змеиному гнездовью.

Рационалистическая организация общества — это та же логика выгоды, разумеется широко понятая. Она всегда сводится к тому, что, прежде чем поднять человека, на него надо наступить.

Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на человека надо наступить, прежде чем его поднять, не является ли само желание наступить на человека подсознательно первичным, а вся остальная модель разумного общества наукообразным оправданием этого желания.

Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей. Идет мелкий лед, шуга. Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там и уже выбеленных зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечутся по островку. Им некуда деться. Они мечутся, как овцы, простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным, потому что бег зайца совсем не похож на бег овцы. Но зайцы в этих условиях бестолково мечутся и обречены как овцы. Отсюда и сравнение с овцами.

Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев, пишет Крупская. Из ее слов видно, что так бывало не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев? Это важно.

Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь. А дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России.

Владимир Ульянов дворянин. Образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведает, что творит. Здесь мы видим более или менее завершенного Ленина. Натура в чистом виде.

Но когда он стал собой? Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. Охладев от азарта, он не мог иногда не почувствовать омерзение, может быть, не столько от своих поступков, их еще могло и не быть, сколько от мыслей о том или ином человеке, исполненных ненависти или презрения.

В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что в учебе он гораздо одареннее многих. И это окрыляло его и утешало. Временами, может быть страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Такое желание, я думаю, было, но до конца сгладить это противоречие он не мог. Мешало то воспитание, которое он получил в семье.

Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв радостного самооправдания! Отныне он благодарно и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести.

Если вся история человечества это борьба классов, а гармоническое общество будущего это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка! Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Это дар прирожденного революционера.

В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма. Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана! Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее! Я знаю, где, когда и как! Вот о чем кричат его статьи и выступления.

Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству царя. Он был убийцей, случайно не завершившим свой замысел.

Чем гадать, как мои чегемцы, а не был ли он, Ленин, мстителем за кровь брата, гораздо реалистичнее предположить, что у них был общий склад темперамента. Недаром они так страстно резались в шахматы и радовались, когда превзошли отца в искусстве этой игры.

То, что я называю уровнем понимания человека данным от природы или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому как у Гамлета бесконечная рефлексия

вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания, когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлексию.

Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, провокатором Малиновским, пусть он и не знал, что тот провокатор, всё это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводила его в восторг. Это видно по письмам и запискам.

Сильный уголовник может долго обдумывать, как лучше ограбить кассу, но, сколько бы он это ни обдумывал, тут нет рефлексии, а есть попытка овладеть технологией своего замысла. Ленин был человеком уголовного типа сознания. Ни образование его, достаточно обширное, ни грандиозный социальный переворот, который он совершил, не должны заслонять от нас этой истины.

Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина семнадцатого года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенное лукавство. Но тогда я не только о Ленине, но и о Пугачеве так не думал. Удивительно не то, что историей чаще всего двигали люди уголовного типа, гораздо удивительней то, что иногда ее двигали и благородные люди.

* * *

Пока я думал о Ленине в ожидании его безумного двойника, в «Амру» вошла красивая юная женщина, катя перед собой коляску. Она остановилась у входа, оглядывая столики. Явно кого-то искала.

— Ребята, атанда! — сказал один из молодых людей. — Пришла жена Бочо. Если она увидит, что он привез сюда одних девушек, будет шухер. Пригнитесь, чтобы она не заметила нас. Может, уйдет.

— Уже заметила!

— Зурик, сними свою рубаху и помахай ему, чтобы не подоил сюда!

— Он не поймет!

— Поймет! Поймет! Скорей!

Парень в красной рубахе неохотно встал, отошел к концу «Амры», стянул с себя рубаху и стал махать ею в воздухе. Женщина, катя перед собой коляску, подошла к ребятам. Она остановилась возле их столика, поздоровалась и спросила:

— Ребята, Бочо не видели?

— Нет, а что?

— Он мне нужен. Он иногда здесь подхалтуривает.

— Нет, его здесь не было. Он, наверное, на пляже халтурит.

Женщина присела на место краснорубашечника. Тот продолжал лениво махать своей пламенной рубашкой. Чувствовалось, что он не верит в эту затею.

— Наташа, это правда, что вы с Бочо открываете кофейню? — спросил один из ребят.

— Правда. Закажи мне кофе, Даур.

Тот молча встал и пошел заказывать кофе.

— Папа мой дал нам деньги, — сказала юная женщина и, протянув голые, струящиеся руки, что-то поправила в коляске, — Бочо ищет помещение для аренды. Как вы думаете, справимся?

— Конечно, — в один голос сказали оба приятеля. А потом один из них добавил:

— Спокуха, Наташа. Если Бочо будет хозяином кофейни, народ отсюда поперет туда. Люди будут платить деньги только за то, чтобы послушать его хохмы. Твой муж любимец города. Можешь им гордиться.

— Да, но, — сказала юная женщина и посмотрела в коляску, — пора серьезным стать. Тридцать лет, двое детей, а у него все хохмы на уме.

Тот, что пошел за кофе, принес чашечку дымящегося напитка и осторожно поставил перед женщиной.

— Спасибо, Даур, — сказала молодая женщина, взяв чашечку, осторожно отхлебнула. — У нас будет кофе лучше, — сказала она.

Раздался шум приближающегося глссера. Пламя рубашки у того, что стоял в конце «Амры», заметалось в руке как от ветра.

— У вас будет лучшая кофейня в городе! — с пафосом сказал тот, что с ней разговаривал. Он тоже явно услышал шум приближающегося глссера.

— Лучшая не лучшая, будем стараться, — сказала молодая женщина и снова отхлебнула из чашечки.

— Весь город будет ходить только к вам! — восторженно сказал тот, что с ней разговаривал. — Послушать Бочо — лучшего кайфа не надо!

Шум глссера приближался. Пламя рубашки металось как под ураганным ветром.

— Он слишком старается всем понравиться, — рассудительно сказала женщина, — так тоже нельзя. Надо больше семье внимания уделять.

Шум глссера нарастал. Тот, что махал рубашкой, теперь, казалось, горящей головешкой отбивается от дикого зверя. Женщина что-то почувствовала и посмотрела в сторону моря. Но, видимо решив, что глссер ее мужа не единственный в бухте, перевела взгляд на коляску.

— Все ребята знают, что Бочо верный муж! — воскликнул ее собеседник. Он не гуляет.

— Попробовал бы, — грозно сказала юная женщина, снова прислушиваясь к шуму глассера и как бы отчасти обращаясь к нему.

Шум глассера с визгом смолк у самой пристани «Амры». Пламя рубашки бессильно повисло на руке сигнальщика.

— Город гордится твоим мужем! — в отчаянии крикнул тот, что успокаивал жену Бочо.

В это время голова Бочо появилась над перилами «Амры». Не замечая жены, он весело крикнул:

— Девушки, где вы?

Несколько девушек подбежало к нему. Жена его, чуть пригнувшись, замерла за столом. Теперь это была юная пантера перед прыжком. Дав девушкам добежать до мужа, она взвихрилась и полетела в его сторону, крича:

— Какие тебе девушки, подлец!

Разметав девушек, она схватила мужа за волосы и, что-то крича, стала выволакивать его на палубу «Амры». Ребята побежали вслед за ней. Но она успела выволочь его на палубу ресторана. Она продолжала трясти его, уцепившись ему в волосы.

— Ты что? Ты что? Я работаю! Я зарабатываю на детей! — доносился его растерянный голос.

— «Девушки, где вы?» — с презрением передразнивая его, кричала она, продолжая дергать его за волосы, словно пытаясь с него снять скальп. Наконец подбежавшие ребята разняли их и подвели к своему столику.

Вид у Бочо был растерянный. Волосы уцелели, но были всклокочены.

— Ишачу целый день на семью, и вот тебе благодарность, — сказал он, усаживаясь.

— Тогда при чем тут девушки, — всё еще тяжело дыша, грозно посмотрела на него жена, — что они, платят больше? Ты что, сутенер?

— Ладно, Наташа, успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал.

Он взял ее за руку и усадил рядом с собой.

— Слушай, человеку тридцать лет. Двое детей, — сказала она усаживаясь, но всё еще доклокатывая, — а он только и знает: «Девушки, где вы?»

— Ладно, Наташа, выпьем по кофе, и успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал, — тебе ли ревновать? Ты же красавица!

— Не в этом дело. Мне надо в поликлинику, я не могу на третий этаж поднимать коляску. Пришла за мужем, а он: «Девушки, где вы?»

— Оставила бы коляску внизу, — сказал Бочо, уже весело озираясь, своим поведением ты мне портишь бизнес.

— «Оставила бы внизу», — повторила она насмешливо. — Сопрут такие, как ты. Вставай, пошли.

Неожиданно она сама встала, достала из коляски гребенку, подошла к мужу и стала причесывать его.

— Такая красавица и такая ревнивая, — элегически заметил тот, что ее успокаивал.

— А ты что заладил: «красавица, красавица»! — сказал Бочо, явно наслаждаясь под гребенкой жены, как под струей теплого душа. — Наверное, пока меня здесь не было, ты ей назначил свидание. Жене друга назначил свидание! Какие нравы! А я еще хотел доверить тебе готовить в нашей кофейне чебуреки. Тому, кто назначает свидание жене друга, нельзя доверять чебуреки.

Все рассмеялись.

— Будешь так себя вести, — сказала жена, дочесывая его гребенкой, может, кто-нибудь и назначит свидание. Пошли, пошли, у нас времени нет. Чао, ребята.

Бочо встал. Он заглянул в коляску и сказал:

— Наследник лучшей кофейни Мухуса. Он спит, а ему уже бабули капают.

Бочо взялся за ручку коляски, и они пошли. Как только они скрылись из глаз, ребята стали высмеивать краснорубашечника.

— Бочо летит на глоссере, а он машет рубашкой. Тоже мне матадор, сказал Даур.

— А что я должен был делать? — ответил тот, смахивая пальцем невидимую пылинку с рубашки, хотя он ее так натряс, что на ней не могла остаться ни одна пылинка.

— Ты должен был бросить ее в воду. И тогда Бочо понял бы: случилось что-то ужасное, раз ты бросил в воду свою рубашку.

— А если бы рубашка утонула? — сказал Зурик.

— Поньряли бы, — ответил Даур, — или вызвали бы водолаза.

— Течением могло бы унести, — с дурашливой серьезностью поправил его хозяин рубашки и снова щелчком стряхнул с нее невидимую пылинку.

<...>

Р. КАЗАКОВА*

По поводу нового-старого гимна

А ну-ка вновь при красном флаге,
под нудный большевитский гимн
постройте всех, кто жил в ГУЛАГе,
и объяснить сумеете им,
что это — рынок и свобода,
не реставрация, а не...
немножко сталинская мода
в немножко ленинской стране.

В. КАЗИН**

Да здравствует В. И. Ленин! (1920)

В чьем сердце не биенье-бой!
Чье сердце — красное, живое знамя!
О, буревестник мировой,
Бушующий миллионными руками!
О, зоркий вождь, ты на высотах гор,
Где пролетарии — вулканы, скалы, кряжи,
Где пролетарии твой взор,
Твой взор поставили на страже.
Историю, работницу времен,
Упавшую перед парадным ходом,
Циклоном толп влеком и вдохновлен,
Стремительно повел заводом.
И вот грохочет Новый Год —
Короны падают, как звезды ночью пылкой,

* *Римма Фёдоровна Казакова* (1932–2008) — советская и российская поэтесса, переводчица. В 1976–1981 гг. — секретарь правления Союза писателей СССР. Автор многих популярных песен советского периода.

** *Василий Васильевич Казин* (1898–1981) — русский советский поэт, редактор. В 1920 г. был в числе основателей литературной группы «Кузница». В период становления советской литературы имя Казина среди молодых поэтов было одним из самых ярких и привлекательных. На его стихах училась литературная молодежь.

И содрогается громоотвод,
Воздвигнутый над биржей Учредилкой.
Сигнальным Октябрем
Россия вспыхнула, и в муках бури
Коммуну мы куем, куем
Тяжелыми молотами диктатуры.
Европы грудь
Вздывается в мозолистом восстаньи,
Готова глубоко вдохнуть
Советов свежее дыханье.
Несется и трясет гроза
Зевоту Будды, Браммы и Шамана,
И отряхает раб раскосые глаза
От векового сонного тумана.
Вселенная меняется лицом,
Вселенная на капитал восстала
Широким, огненным кольцом
Рабочего Интернационала.
В чьем сердце не биенье — бой!
Чье сердце — красное, живое знамя!
О, буреветник мировой,
Бушующий миллионными руками!

Ю. КАРЯКИН***Верны ли мои убеждения? ****

<Фрагмент>

«Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению.

Но откуда же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям».

Ф. М. Достоевский

Если ты прозрел в среду...

Да, сегодня та статья 87-го года кажется мне доисторической. Нет, там было много верного, но все-таки я и сам тогда наступил на грабли. С тех пор 8 лет прошло. Никогда у меня не было столь интенсивного времени в смысле преодоления прежних иллюзий.

После 56-го года (XX съезд) у большинства моих сверстников по университету открылись глаза на Сталина, но, как ни странно, еще больше ослепли на Ленина. Почему?

У каждого, конечно, свой ответ. Я — о себе.

Во-первых, не хватало ни фактов, ни их понимания: ведь дрессировали-то нас идеологически с самого детства. Гвозди, шурупы идейные вбивали, ввинчивали в наши головы каждый день по шляпку. Это может понять только тот, кто это испытал и кто их вытащил, вывинтил.

Во-вторых, мои родные со стороны отца и мамы (это человек десять дядьев и теток) все оказались людьми необычайно честными, щедрыми и мужественными. Их личная совесть, благородство заслоняли принципиальную бессовестность ленинизма. Из них убили при Сталине троих, сидели тоже трое, остальные, соответственно, притеснялись. При этом они почти все были коммунистами, отец так даже — ленинского призыва.

В-третьих, когда для нас открылось так называемое «Завещание» Ленина, то ведь открылось-то оно прямо как завещание *анти-*

* Юрий Фёдорович Карякин (1930–2011) — советский и российский литературовед, писатель, публицист, общественный деятель. Специалист по творчеству Ф. Достоевского. Народный депутат СССР. Лауреат премии Президента РФ.

** Карякин Ю. Ф. Верны ли мои убеждения? / Из беседы с главным редактором журнала «Журналист» Дмитрием Аврамовым // Журналист. 1995. № 2. С. 2–7.

сталинское. Не успел, дескать, Ленин его, Сталина, снять, зато Сталин сажал и расстреливал всех, кто об этом завещании знал...

К тому же все слилось, склеилось, перепуталось и далеко не сразу распуталось.

Но главная аберрация была все-таки в том, что я смотрел (многие смотрели) на «единственно верное учение», как на Солнце, вокруг которого все-все и вращается, вся мировая культура, философия, наука... И вдруг (у меня на это «вдруг» лет 30 ушло) оказалось, что оно, само это учение, никакого не Солнце, оно вмешалось, ворвалось в нашу жизнь, в нашу культуру какой-то чудовищной кометой, все перекорежило, и еще удивительно, что мы остались пока живы... В этом свете вдруг прозреваешь и на старые, давным-давно известные факты, а уж новые становятся и того ослепительнее.

Прибавлю к этому, что мне еще невероятно посчастливилось: философский факультет МГУ, несмотря ни на что, дал все же очень много. Да еще потом выпало общаться с такими людьми, как Э. Ильенков, А. Зиновьев, М. Мамардашвили, Э. Неизвестный, М. Бахтин, А. Солженицын, А. Сахаров, А. Адамович, Ф. Искандер, Ю. Давыдов, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Любимов, Ю. Ким, А. Якобсон — всех не перечислить. Это же какое облучение! Но я это не только со счастьем говорю, но и с горечью, потому что учеником я оказался довольно-таки посредственным — почти в каждом классе по два, по три года сидел. Однако подчеркну: если я — при таких учителях — сегодня, скажем, в среду, кое-что наконец понял, то какое же я право имею обличать тех, кто еще во вчерашнем дне застрял, во вторник или в понедельник? Ведь я только что сам оттуда.

— *А когда ваша «среда» случилась?*

— На исходе 88-го. Тогда я фактически вышел из партии, а 22 июля 90-го (в день своего 60-летия) и формально.

— *Но ведь вас раньше исключали из КПСС? За что?*

— Да за путаницу в моей голове. Дело в том, что в 68-м году я одновременно выступил против Сталина за Ленина да еще за Солженицына, а *им* нужен был первый и не нужен последний. Вот и все.

— *Но сейчас этой путаницы нет?*

— Надеюсь, но судить не мне. Во всяком случае, если сформулировать главный урок из всего этого, то я хотел бы подписаться под словами А. И. Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ». Ч. IV. Гл. 1):

«Оглядысь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом

то, что было для меня губительным, и я все порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна... Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами...

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира. Но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла, а не разбирая впопыхах и носителей добра — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство».

«Сверхнаглость» как политическое кредо

— *Давайте вернемся к Ленину. Какие факты, связанные с ним, повлияли на вас наиболее сильно?*

— Их сотни, тысячи, больше. Но «личных», «моих» фактов, которые окончательно пробили меня, примерно десять.

1. *Убийство царской семьи*, июль 18-го. Мало того, что Ленин, Свердлов и др. все это организовали (а особенно заметание следов, свалив все на «инициативу снизу»). Мало того, что нагло ввали, официально объявив лишь о расстреле царя (а царица и дочери, мол, отправлены в безопасное место). Но вот еще один штрих. А. И. Иоффе, наш дипломат, был в это время в Берлине. Ему, естественно, задавали вопросы о судьбе царицы и детей. Совет Ленина: «Пусть Иоффе ничего не знает, ему там, в Берлине, легче врать будет». (А при Сталине миллионы фактов были взяты под арест, чтобы легче врать. Заповедь Ленина была выполнена и перевыполнена.)

2. *Ленин — Чичерину*, 25 февраля 22-го (инструкция для переговоров с Западом): «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью». (И эта заповедь была выполнена и перевыполнена.)

— *Что, прямо так и сказано, этими словами?*

— Не сказано, а написано. Проверьте. А уж сказано-наказано между своими было и не такое.

Но вот факт третий, 20-й год. Ленин рекомендует воспользоваться проникновением банд «зеленых» на нашей западной границе: «Под видом “зеленых” (мы потом на них и свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. за повешенного».

4. *Ленин — Молотову*, 19 марта 22-го. Приказ подавить сопротивление духовенства «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».

5. Высылка за границу по приказу Ленина лучших философов, ученых, писателей на пароходах (настоящий духовно-интеллектуальный цвет России). Спасибо еще, что не догадались потопить в открытом море — «под видом» каких-нибудь «зеленых».

6. Оказывается, один из самых любимых героев Ленина — С. Г. Нечаев, прототип Петра Верховенского из «Бесов». А самый ненавистный роман — разумеется, «Бесы».

7. Со школы я запомнил, как в самые трудные, голодные годы Ленин озаботился тем, чтобы помочь академику И. П. Павлову. Теперь знаю мотивировку этой благородной гуманитарной помощи: чтобы не выпускать Павлова за границу, где он, несомненно, будет выступать против большевистской диктатуры, задобрить его пайком. Такова циничная подоплека той школьной рождественской сказочки.

8. После Достоевского, Чехова, Толстого не было в России столь надежного духовно-нравственного авторитета, как В. Г. Короленко. Луначарский прочил его в президенты будущей республики. Президентом, однако, стал Ленин. Прочитав одну брошюру Короленко, он поставил автора в ряд «интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». Окончательный вердикт: «На деле это не мозг, а говно». Однако после антибольшевистских выступлений Короленко («Русская литература не с вами, а против вас», «сила большевизма в демагогической упрощенности», вы установили «власть доноса») Ленин дает срочное поручение Луначарскому поговорить с Короленко и завязать с ним переписку, в надежде приручить непокорного. Короленко пишет Луначарскому шесть писем, отчаянных и мудрых (невольно вспомнишь «Письмо вождям» Солженицына). Разумеется, никакого обещанного ответа и никакой обещанной публикации.

9. Еще одна чеканная формула Ленина: «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Таков точный «перевод» его же формулы: «Партия есть ум, честь и совесть эпохи».

Короче, постепенно выяснилось, что все, от чего меня отталкивало, Ленину было любезно, а все, к чему я притягивался, начинал любить, он ненавидел.

— *А какие книги о Ленине на вас больше всего повлияли в этой смене убеждений?*

— Всех не назову — их десятки, но три главные и первые — это Н. Валентинов «Встреча с Лениным», А. Солженицын «Ленин в Цюрихе» и Вен. Ерофеев «Моя маленькая лениниана». Как говорил Ленин о «Что делать?» Чернышевского, они «меня всего перепахали».

Арифметический подход к высшей математике

Да, фактов неотразимых — тысячи, книг — сотни. Но я хочу сказать сейчас об одной вещи, которая является здесь уникальной для познания, уникальной методологически (и даже методически): закончился, заканчивается грандиозный всемирный социальный эксперимент с коммунизмом, огромный исторический цикл. И вот его главный итог:

ПРИ ТАКОЙ-ТО ЦЕНЕ ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?!

То есть мы можем рассматривать весь путь в свете конечного результата. Вещь действительно уникальная.

Вдумаемся в тему: фактор времени в теории и практике социалистической революции.

Есть известное высказывание Ленина о том, что Маркс и Энгельс действительно часто ошибались в определении сроков революции. И, дескать, напрасно издевались над этим всякие там филистеры, ибо эта ошибка благороднейшая: за ней — святое нетерпение видеть мир обновленным и осчастливленным...

Я бы добавил к этому: не просто часто, а очень часто, слишком часто, почти непрерывно классики ошибались именно в сроках. Здесь какая-то дурная бесконечность, какая-то фатальность. Можно (и должно) составить настоящую антологию по этой теме. Уверен: она произведет ошеломляющее впечатление.

Даже в начале 50-х годов прошлого века Маркс (уже «зрелый Маркс»), заметив падение денежного курса на Лондонской бирже, открывает в этом падении математическое доказательство близости революции. Это лишь один факт из десятков. Но все они предопределены классической установкой, четче, резче всего сформулированной в «Капитале» (последняя страница первого тома): превращение капиталистической собственности в общественную есть далеко не столь длительный, тяжелый и мучительный процесс, как превращение раздробленной частной собственности в капиталистическую. Там экспроприровалась масса народа немногими узурпаторами. Здесь все наоборот: огромная масса экспроприрует совсем-совсем немногих узурпаторов. А потому этот процесс будет несравненно короче, легче и безболезненнее...

Перед нами грубо механическое решение сложнейшей социальной, духовной, психологической задачи. Примитивно арифметический подход к наивысшей математике.

Несравненно короче, легче и безболезненнее... Сравните! Сравните именно в свете известного сегодня результата.

А метания Ленина? В январе 1917-го юным швейцарцам он говорит, что мы, старики, не доживем до начала революции,

а через десять месяцев берет власть. Кажется, на этот раз сама история обогнала вождя. Да ведь только кажется. Не успели взять власть — и тут же «перевели» непонятное латинское выражение «экспроприаторов экспроприруем» на «всем понятный язык»: «Грабь награбленное!» Это в России-то! В России, где, по выражению Карамзина, воруют все, а тут воровство, прямой грабёж возвели в ранг высшей революционной добродетели... Ждут со дня на день, с часа на час победы мировой революции. Ленин объявляет 1 мая 1919 года: «Большинство присутствующих, не переступивших 30–35-летнего возраста, увидят расцвет коммунизма...» Где сегодня все эти 30–35-летние?.. Сколько им сегодня должно было бы быть? Лет по 105–110...

Чекистский НЭП

— *Позвольте, а нэп?*

— Нэп? О, сколько тут было и осталось иллюзий! Вот слова Ленина (декабрь 19-го) о «свободе торговли хлебом»: «Против этого мы будем бороться до последней капли крови. Здесь не может быть никаких уступок». Нэп даже в партии пробивал себе дорогу вопреки, а не благодаря Ленину. Нэп ведь состоялся лишь после и в результате Кронштадта, лишь после и в результате крестьянских восстаний. Никакое это не гениальное открытие. Просто в самый последний момент успели выскочить из капкана, который сами себе и поставили. Но выскочили-то единственно для того, чтобы сохранить свою власть. Это был нэп — при усилении однопартийности, вплоть до запрета каких бы то ни было фракций внутри партии (X съезд), вплоть до указания Ленина, что «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Сообразили хоть в устав и программу не вносить этот пункт, но действовали всегда в соответствии с ним. Он и был эпиграфом XIV съезда, который сетовал: «Мы страдаем не от так называемого “доносительства”, а именно от недоносительства». Это был нэп — при ужесточении цензуры (Свобода печати? — говорил Ленин. — Мы самоубийством кончать не собираемся). Это был нэп — при безграничном расширении статьи, карающей за «антисоветскую деятельность» (тут же и начались фальсифицированные процессы против своих политических оппонентов). Нэп — при беспощадном физическом уничтожении церковнослужителей и вообще верующих. Нэп — при организации чекистской облавы (по прямому указанию Ленина) на либерально-демократическую интеллигенцию. Нэп, когда (уже после смерти Ленина, но *по Ленину*) весь XIII съезд РКП(б) чуть со смеху не умер, выслушав только цитату из письма ленин-

градских инженеров, требовавших каких-то «прав человека»... Зачитывал цитату и отвечал Г. Зиновьев: «Не видать вам этих прав как своих ушей». Зал опять хохотал и аплодировал. Очень интересно было бы узнать, как из такой веселой, насквозь чекистской нэповской России могла родиться Россия социалистическая?..

Родился «Великий перелом». В 1929–1932 годах было уничтожено не менее 10 миллионов человек. Глухой стон стоял в России, все раны кровоточили (как говорил поэт Н. Коржавин: «Ножам по живому телу они чертили свой чертеж»). Но вдруг было объявлено (всего через четыре года), что социализм уже построен и начинается переход к коммунизму (а хохотавшие на XIII съезде над «правами человека» и призывавшие к доносам на XIV съезде уже почти все перебили друг друга)...

В 1961-м нам был обещан полный коммунизм к 1980-му. А тут еще Мао вызвал нас на коммунистическое соревнование: «Десять лет упорного труда — десять тысяч лет счастливой жизни...» Составить бы список всех этих обещаний всех этих чаушесок, кимирсенов, кастро, полпотов... И все это случайность? «Святое нетерпение»?..

Самообман и обман

Да, все началось с ошибки. Причем ошибка ошибке рознь, к тому же ошибка до взятия власти — одно, тут волей-неволей приходится больше считаться с реальностью, но ошибка после взятия власти — нечто другое, потому что удержание власти и становится единственно реальной самоцелью. Тут непрерывные посулы измотанному, надорвавшемуся, изнасилованному народу и запугивание его врагами внешними и внутренними — вот единственное горячее, которое питало локомотив власти. Но все равно ничего не получается (где социализм как высшая производительность труда?), и вожди прекрасно знают об этом, знают, что ни одна сталинская пятилетка не выполнена, знают и — объявляют, что все они перевыполнены (конечно, предварительно ликвидировав всех сколько-нибудь объективных статистиков).

Есть много разных «оснований деления» для хронологии истории. Мне кажется, в нашей истории помогает разобраться и такое «основание деления»: два периода у нас было — первый, самообманный, романтический, так сказать, и второй — сознательно обманной, лживый, циничный (оговорюсь: оба периода — сообщающиеся сосуды: уже в первом было много от второго, а во втором не так уж мало и от первого). Первый — короче, второй — подлиннее. А эпитафия к обоим один и тот же: «Клячу истории загоним...» И — почти загнали...

На деле произошло не превращение социализма из утопии в науку. Произошла замена всех прежних утопий новой, трижды утопической. И если на деле все утопии — это лишь осуществление антиутопии, то наша и есть трижды антиутопия. Если все утопии на практике означают соревнование в составлении и реализации наиболее длинных проскрипционных списков, то наши списки длиннее всех предыдущих, вместе взятых.

Кто не знает слов Маркса о «родимых пятнах» капитализма? Эти слова — многолетнее, универсальное и, казалось, убедительное объяснение едва ли не всех наших «ошибок» и «недостатков» (на деле — преступлений). Но в этих словах невольная и страшная проговорка. Вдумаемся. От «родимых пятен» никто не умирал. Иногда они даже украшают. Проговорка в том и состоит, что Маркс (как и в приведенном выше случае с «Капиталом») чрезвычайно облегчил себе задачу объяснения и изменения мира, объявив, в сущности, всю историческую наследственность человечества «родимыми пятнами», поставив задачу стереть именно эту наследственность как простые «родимые пятна».

Таким образом, «единственно научное учение» абсолютно не приняло в расчет все завоевания религии, культуры, науки, мировой литературы, которые, может быть, яснее и короче других отчеканил «лжеученый» и «реакционер» Спенсер: как могут рождаться золотые характеры из свинцовых предрассудков?

Насилие над жизнью не может не проявляться насилем над временем, не может не выявиться сначала романтическим самообманом, а потом и циничным обманом насчет сроков наступления земного рая.

Сама неосуществимость коммунизма и предполагает, предопределяет насилие, самообман и обман.

Вот еще факты. Даже, казалось бы, чисто философские, сугубо теоретические работы Ленина являются своего рода судебнополитическими процессами над оппонентами, и приговор (пока, повторяю, вербально-идейный) здесь один, окончательный и никакому обжалованию не подлежащий, — только высшая мера. Возьмите «Материализм и эмпириокритицизм» или статью о «Вехах» — это же настоящий суд, настоящий процесс против чуть не всей русской и мировой философии, против идеализма и «поповщины». Политических ярлыков, ругательств, грубых, неприличных, порой просто площадных, здесь больше, чем философских, научных категорий.

А вот вам, к примеру, задушевные мысли, заметки Ленина — для себя — на полях Гегеля: «Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую

сволочь в помойную яму. <...> Пошло — поповская идеалистическая болтовня о величии христианства (с цитатами из Евангелия!!). Мерзко, вонюче! <...> Бога жалко!! сволочь идеалистическая!!»

Заметки для себя? Как бы не так! Это заметки на карте будущих сражений. Это настоящее руководство к действию. Из таких задушевных заметок для себя и родились впоследствии «совершенно секретные» приказы о физических расправах, тоже очень задушевные и тоже для себя, для своих, тем более задушевные, тем более для себя, для своих, чем более «совершенно секретные». Этот внутренний взрыв Ленина на полях Гегеля неизбежно аукнется 5 декабря 1931-го взрывом храма Христа Спасителя, взрывами десятков тысяч других храмов, тюрьмой, расстрелом сотен тысяч людей.

Жуткий триптих

И еще о фактах, страшных, знаменательных и лишь недавно опубликованных. Со второй половины 1921-го у Ленина резко ухудшается здоровье. В 1922-м — удар за ударом. Начинает гаснуть интеллект. Приходится учиться читать, писать, решать элементарные арифметические задачи. 30 мая в течение 5 часов он не может помножить 7 на 12... Но что задумывает и что решает он во время все более редких и коротких промежутков просветления (кто поручится, что не в бреде или в полубреде)? Именно, именно: все то же самое — страшное письмо Молотову, задание ЧК выслеживать, отлавливать и высылать философов и ученых. Это ведь все как раз 22-й год.

6 марта 1923-го следует новый — сильнейший — удар и как следствие — «сенсорная афазия» (неспособность понимать обращенную к нему речь). Но ведь этой «сенсорной афазии» предшествовала другая — неспособность (и нежелание) понимать никаких своих оппонентов, неспособность понимать (и слушать) ничего, что расходится с «научным понятием» диктатуры пролетариата... Дальше — хуже: потеря речи. Но вот, с 20 июля, небольшое улучшение (однако речь так уже больше и не вернулась). Ему прочитывают заголовки газет. Он выбирает, что ему читать вслух. По поводу того, что на Украине у богатых мужиков отбирают излишки хлеба, Владимир Ильич «выразил большое неудовольствие, что это не было сделано до сих пор»... Перед нами едва ли не последнее осмысленное или полуосмысленное выражение своих неискоренимых идей, уже без слов, а только мимикой. Куда это отнести? Штрих к «Политическому завещанию»?

Можно все объяснить болезнью, бредом. Но ведь ясно прослеживается какая-то неумолимая логика, логика самой этой болезни:

каждое просветление оборачивается новым помрачением, новым ужесточением. Как говорил Порфирий Петрович Раскольникову, тому Раскольникову, чье покаяние было особенно омерзительно Ленину: «... все это так-с, да зачем же, батюшка, в болезни-то да в бреде все такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с? Так ли?» Боюсь, что не так. Не могли. 7 на 12 помножить не в силах. Не может ни говорить, ни писать, ни читать, ни понимать. Но распоряжаться судьбами миллионов людей, судьбами страны, народа может и всегда считает себя обязательным распоряжаться, распоряжаться абсолютно безоговорочно, все жесточе и беспрекословнее.

Сравните три изображения Ленина. Первое, 1895-й. Семь руководителей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Фотография необыкновенно выразительна психологически. Фотографируются-то специально, то есть позируют, перед походом, для истории. Собрались на подвиг. Особенно выразителен Ульянов. На нем печать абсолютной властности. Остальные — по сравнению с ним — кажутся даже какими-то расслабленными. «Хозяин разговора», вождь — он, это ясно. Он — воплощение той партии, той части (партия ведь это часть), которая претендует стать всем, стать целым. Он — в центре. Сидит. Молчит. Губы сжаты. Рука властно облокотилась на стол. Глаза смотрят прямо на тебя, в упор, но одновременно устремлены в себя. Молодой сгусток, невероятная концентрация невероятной же воли, энергии, целеустремленности. До предела сжатая пружина. Что-то будет, если (когда) она разожмется? Куда, в кого выстрелит? По крайней мере двух, рядом с ним (Мартова и Потресова), она не пощадит.

Второе. 1917–1921 годы. Из сотен фотографий можно выбрать любую. Стоит. Призывает. На броневике, на балконе дворца, на грузовике, на деревянных, сколоченных наспех трибунах, на «кафедрах» съездов партии. Интернационала. Глаза сверкают. Рука выброшена вперед, указывая — нет, приказывая! — кого уничтожить, куда идти. Вместо буржуазного котелка — рабочая кепка. Пружина разжалась, выстрелила наконец. Внутренняя воля, энергия, целеустремленность становится и внешней, заражает сотни тысяч и миллионы.

Третье, 1923-й. Горки. Коляска. Балахон. Лежит и снова молчит. Глаза? Посмотрите. Сравните...

Мог ли он, первый, через второго, увидеть себя третьего?

Какой Тициан, Леонардо, Микеланджело мог вообразить, изобразить такое? Жуткий триптих.

Жуткое возмездие. Справедливое ли?

Первое слово здесь должно было бы принадлежать тем (если бы они прозрели к моменту его умирания) 13 миллионам, которые сгорели в его любимой гражданской войне, да еще тем десяткам миллионов, сгоревшим — по его предначертаниям — после...

Бунт в клетке

— *Вы в «Граблях» цитировали Ленина: «Ни слова на веру, ни слова против совести». Как вы относитесь к этому сейчас?*

— Я тогда верил этим словам и не понимал их в контексте всей его политической деятельности, не понимал, что истинность слов зависит, так сказать, и от уст говорящего. Ведь всю свою жизнь он проповедовал и осуществлял именно отрицание нравственности, совести в политике, обучал этому своих учеников. Что из них могло получиться, если их обучали, «как легче врать», как побеждать «сверхнаглостью», как убивать одних «врагов народа» и сваливать на других? Что? Еще более слепая вера в вождей и еще большая бессовестность. Что, если действительная совесть России — Короленко — был для него... (помним чем), если покаяние Раскольникова из «Преступления и наказания» было для него «морализаторской блевотиной», если он говорил о «Бесах» и «Братьях Карамазовых» — «пахучие произведения», «На эту дрянь у меня нет времени»? Что из его учеников могло получиться, если «хороший коммунист — хороший чекист»? Ученики и превзошли учителя. Вот он и спохватился, сам все посеяв и начав пожинать плоды рук своих. Да уже поздно было. Получилась, так сказать, вынужденная новая моральная политика, запоздалый моральный нэп. Парадоксально, но принятое всерьез — «ни слова на веру, ни слова против совести» — и привело меня в конце концов к тому рубежу, где я сейчас и нахожусь. Сколько лет, повторяю, пытался я совместить Достоевского, а потом еще и Солженицына с Марксом и Лениным. Оказалось: абсолютно несовместны, как гений и злодейство. Как говорил Достоевский: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» Вот я пытался возбуждать этот вопрос.

Смена убеждений — вещь страшно серьезная, если она искренняя, бескорыстная и беспощадная к себе, а если лицемерная, корыстная, трусливая, то ведь это даже и скучно. Напомню, что и Достоевский начинал социалистом и даже говорил, что мог бы быть и нечаевцем. Замятин в большевиках побывал, а Солженицын в камере на Лубянке Ильича защищал...

<...>

Дневник русского читателя* (Переделкино, 1994–2007)

<Фрагменты>

<...>

Февраль 1995

...к «ПЕРЕМЕНЕ УБЕЖДЕНИЙ»

Почему я так долго прозревал:

1. Не было ни достаточного количества фактов, ни информации, ни понимания...

2. Родные (отец, мать, ее сестры и братья, почти все коммунисты) — их личная совестливость, благородство заслонили от меня идеологически-политическую бессовестность Ленина;

3. Антисталинское завещание Ленина. Иллюзии о НЭПе...

В то же время тревожило (полуосознанно, полутрусливо): Ленин — ниже, слабее М-Э, что уж говорить о Сталине! Напал (начал предчувствовать) на ЗАКОН — на закон *понижения качества, понижения уровня* = т. е. выявления сущности. Напасть- то напал, а поверить даже испугался: не закон, дескать, а просто искажение Идеала. Стало быть, надо его — Идеал — восстановить.

Сегодня в «Известиях» статья о том, что делается, что делали с трупом Ленина в Мавзолее. И тут — все ввали (как статистика вся, как со Стахановым, с «Челюскиным» — баржа с заключенными, которую потопили, как с Джамбулом Джабаевым). Оказывается: давным-давно труп гниет, его маскируют, начальству врут, премии получают, конкурентов сажают...

В сущности, это и есть образ марксизма-ленинизма. Рано или поздно проступают трупные пятна... Что это? Искажение идеала? Да нет его, Идеала. Есть лишь долгое выявление его сущности.

<...>

«Клятва». Сталин клянется над гробом Ленина.

Господи, как я любил в юности эту клятву, как ею восторгался, вдохновлялся... Однажды (где-то в начале 60-х) вдруг пробило: да это же не скорбь, а трудно сдерживаемая радость. Тогда же подумал: найдутся когда-нибудь такие «методики», такие «приемы», которые выявят — по тону, по словоподборке, по словосочетаниям, по ритму — эту радость.

На самом деле Ленин прав: в политике нужно давно объявить дурачками тех, кто верит на слово. Я и был таким дурачком. А тут вдруг — перестал.

* Карякин Ю. Дневник русского читателя (Переделкино, 1994–2007) // Знамя. 2009. № 4. С. 112–153.

На самом деле: было две клятвы — эта для дурачков, внешняя, и другая — действительно, для себя — внутренняя — идти ленинским путем: «сверхнаглость», «на них и свалим», «пусть не знает, легче врать будет...»

Вот эта-та вторая клятва — исполнена, выполнена и перевыполнена. Ленин — писал кому-то, разъясняя смысл НЭПа для своих: вы что, не понимаете ничего, не понимаете, что НЭП требует — новой жестокости, новой непримиримости, нового террора.

В моей жизни, как и в жизни многих «шестидесятников», был целый период подборки хороших цитат из М-Э-Л. и отчаянная борьба за них, за эти цитаты, которые считались «ересью». Дурачки! Мы хотели цитатами пробить каменную — не каменную, железную стену.

Любили Ленина за антисталинское завещание, любили Ленина за НЭП, за мирное сосуществование...

Году в 60-м я придумал: НЭП=мирное сосуществование внутри России, мирное сосуществование = НЭП вовне... Ах как жаль, что Ленин не возвел эти установки в принципы стратегические и мировоззренческие, а остался на уровне тактики...

Но, может быть, главная молния, которая меня пробила, — была мысль, которой я долго боялся. От кого она ко мне пришла? Немножко от себя (немножко от начитанного), а главное, наверное, — от Бахтина — «солилоквиум», минуя пространства и времена...

<...>

12 февраля 1995

Еще к ПЕРЕМЕНЕ УБЕЖДЕНИЙ...

Одно из первых моих главных прозрений (сначала пронзило, потом заглохло, потом возродилось): физика, химия, астрономия... Ну, можно ли физику называть ньютонизмом, химию хотя бы даже и менделеевизмом, астрономию — коперниканством, а науку об обществе, о человечестве, о человеке, т. е. науку, совмещающую в себе все науки, уже известные и еще неизвестные, тоже в одном имени. Это же полный абсурд: марксизм, ленинизм...

А как же Христос? Христианство? Не наука, но все равно — мировоззрение, мироощущение, долговечнейшая эпоха... Тоже по имени же названное...

Мучился. Понял вдруг: христианство потому-то и неискоренимо, что в самой закваске, в зачатъе своем, имеет — ЛИЧНОСТЬ, конкретнейшую личность с детальнейшими деталями, а не абстрактнейшую идею (заметьте: чем более гениален марксизм-ленинизм, тем меньше должно нам знать о конкретной жизни этих гениев).

Неотвратимая притягательность именно ЛИЧНОСТИ ХРИСТА — вот в чем тайна неодолимости христианства.

Уничтожение личности — во мне, в тебе, в нас, но даже, оказывается, и в основателях, — вот в чем секрет обреченности марксизма-ленинизма. Личность уничтожена не только в подданных, но и в «отцах-основателях».

Достоевский: если мне докажут, что истина вне Христа, а Христос вне истины, я скажу: останусь с Христом, а не с вашей истиной. Спрошу: а мог бы Христос поступить как инквизитор? Нет? Ну, так значит...

Вся суть дела в том, что *духовно-нравственного авторитета* у Маркса, Ленина — нет. А что есть? Обратная фальсификация от якобы абсолютно истинной идеологии, науки, стало быть, к абсолютно непорочной личности.

<...>

Теперь *об отношении Ленина к культуре, в частности, к философии.*

Основная философская книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» есть «раскулачивание» в философии, и есть ставка на философские «комбеды».

...Когда Ленин говорит о «Бесах» — «гениальный, но омерзительный роман», — то ведь тут тоже проговорка: не так что, с одной стороны — плюс, с другой — минус, а вот как: потому и омерзительный, что гениальный.

Все знают, как говорил Ленин о культуре на съезде молодежи, публично...

А в это самое время — *«совершенно секретно» приказом* — уничтожить и запугать как можно больше духовенства, чтоб 50 лет голову поднять не могли.

Это не уничтожение духовной культуры?

А в это самое время — «философские пароходы»...

В чем, кстати, одно из самых коренных различий между коммунизмом и фашизмом? Во внутреннем лицемерии, самообмане первого и в откровенно циничном самосознании второго: Ленин, дескать, — за культуру, а Гитлер (кажется, все-таки не Гитлер, а Розенберг, проверить) — «при слове “культура” моя рука тянется к пистолету»...

<...>

В. КАТАЕВ***В Смольном (1960)**

Родион Жуков ходил по Смольному, разыскивая Ленина.

Недавно совершилась Октябрьская революция. Было образовано временное рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров.

Теперь Смольный, по-прежнему продолжая оставаться боевым штабом восстания и центром борьбы со всеми силами контрреволюции, начал понемногу приобретать также некоторые черты государственного учреждения с его обычной, не военной, а гражданской суетой, со стуком «ундервудов», звонками телефонов и даже «курьерами», которые разносили бумаги и чай, впрочем, не в стаканах, а в фаянсовых институтских кружках, иногда, очень редко, покрытых тоненьким ломтем черного солдатского хлеба.

По совету Павловской Родион Иванович сперва отправился в комнату, где временно на казарменном положении жили Владимир Ильич с Надеждой Константиновной.

Часовой — молодой солдат в черных обмотках, с узкими, напряженно-подозрительными глазами — вскинул винтовку, но, узнав известного потемкинца Жукова, тотчас отвел в сторону штык, и Родион Иванович заглянул в комнату. Она была пуста.

Родион Жуков увидел на подоконнике черную дамскую шляпку с воткнутой в нее длинной булавкой с шариком, а на стене — демисезонное пальто Владимира Ильича с потертой бархаткой на воротнике.

Эти самые шляпку и пальто Жуков видел еще до войны в Лонжюмо, под Парижем, где слушал лекции Ленина в партийной школе, и теперь, при взгляде на эти милые, постаревшие вещи, почему-то вдруг с особенной остротой почувствовал все значение того, что происходило сейчас в России.

* *Валентин Петрович Катаев* (1897–1986) — русский советский писатель, поэт, киносценарист, драматург, журналист, военный корреспондент. Главный редактор журнала «Юность» (1955–1961). Герой Социалистического Труда (1974). В школьную программу советского времени входила повесть «Белеет парус одинокий» (1936; экранизация, 1937). После войны продолжил «Белеет парус одинокий» повестями «За власть Советов» (1948; другое название «Катакомбы», 1951; одноименный фильм — 1956), «Хуторок в степи» (1956; экранизация, 1970), «Зимний ветер» (1960–1961), образующими тетралогии с идеей преемственности революционных традиций. Автор сценария сказки «Цветик-семицветик».

На лестницах, в высоких, узких, сводчатых, непомерно длинных институтских коридорах, в дортуарах, превращенных в караульные помещения и канцелярии, — всюду беспорядочно толпилось множество самого простого народа: мужиков в армяках и тулупах, в подшитых валенках и лаптях, обросших армейских делегатов, вооруженных рабочих, красногвардейцев с красными повязками на рукавах, матросов из Центробалта и Румчерода, среди которых Родион Жуков нередко узнавал товарищей по эмиграции.

В одном из коридоров на связке солдатских шинелей сидела в короткой жакетке поверх белой блузки с пленой грудью и в стоптанных ботинках Крупская и, отгоняя от себя рукой махорочный дым, отовсюду плывущий в воздухе, слушала нового народного комиссара просвещения Луначарского, который, топорща большими пальцами коротких рук дряхлый парижский жилет, развивал перед нею план коренной реорганизации народного образования в бывшей Российской империи.

Луначарский вдруг остановился на полуслове и стал близоручо всматриваться в Жукова сквозь мутные стекла старомодного пенсне с пружинкой, в резко-черной оправе, криво сидящего на его крупном дворянском носу.

— Надежда Константиновна, а ведь это Жуков!

— Конечно, — сказала Крупская, подавая Родиону Ивановичу руку. — А вы не знали, что он здесь?

— Пропащая душа! — воскликнул Луначарский. — Когда мы с вами виделись в последний раз? Дай бог памяти: на Капри у Горького в одиннадцатом или на вокзале в Неаполе?

— Не угадали. В Париже, в двенадцатом.

— Верно! В Лувре, не правда ли?

— Да, вы нам показывали Рубенса. Красиво говорили. Мы заслушались.

— Теперь не до Рубенса, — сказал Луначарский.

— Вы не скажете, где Владимир Ильич? — спросил Жуков.

— Какое время! Феноменально! — растроганно и возбужденно проговорил Луначарский, не слыша вопроса Жукова, но разглядывая самого Жукова, его старый, еще времен пятого года матросский бушлат, деревянную полированную кобуру маузера, чем-то напоминавшую новенький школьный пенал, георгиевскую ленту с почерневшей золотой надписью «Князь Потемкин-Таврический». — Да, «Потемкин». — На глазах Луначарского показались слезы. — Вы, Родион Иванович, теперь уже не человек. Вы памятник, легенда. Товарищи, смотрите: это — живое воплощение пятого года! — вдруг воскликнул Луначарский, оглядываясь

по сторонам и как бы приглашая в свидетели сотни людей, которые наполняли здание Смольного гулом своих голосов и шагов.

Жуков повторил вопрос, где сейчас находится Ленин, испытывая в то же время не менее сильное волнение, чем Луначарский, но никак не желая поддаться этому волнению.

— Всюду был, — сказал он. — Нигде нет. И никто не знает.

— Володя нынче ездил вместе с товарищем Свердловым в автомобиле в Главный штаб на прямой провод. Вы у Свердлова были?

— Был.

— Так сходите еще раз.

Едва Жуков начал спускаться по лестнице, как увидел Ленина в сереньком в мелкую клеточку пиджачке. Он бежал вверх навстречу Жукову, быстро мелькая по ступенькам ботинками «Вэра» и откинув в сторону руку, в которой держал моток телеграфной ленты.

Они чуть не столкнулись.

— Вы ко мне? — спросил Ленин, не узнавая Жукова в матросской форме. — Я же сказал, чтобы товарищи из армии и флота прежде всего направлялись прямо на третий этаж, к Дыбенко или Антонову-Овсеенко, наконец, к Кубе.

— Это я, Жуков.

— Ах, черт возьми! Не узнал вас в этом виде. Быть вам богатым.

Ленин подхватил на ходу Родиона Ивановича под руку и потянул за собою вверх по лестнице.

— Ну, что у вас? В двух словах!

— Да вот, хочу проститься: уезжаю.

— Куда?

— В Одессу, в Румчерод. Нас тут целая группа черноморцев.

— У Свердлова были?

— Был.

— Инструкцию получили?

— Получил.

— Имейте в виду, там обстановка ой-ой-ой!

— Знаем.

— Люди с вами едут надежные? Члены партии? Кого больше: рабочих или крестьян?

— Крестьян, пожалуй, будет побольше. Но, конечно, есть и рабочие. Настоящие пролетарии: рыбаки, металлисты, железнодорожники. Все делегаты съезда.

— За железнодорожниками посматривайте. Народ ненадежный. Викжель. Соглашатели, меньшевики.

— Мои надежные, — самодовольно усмехнулся Жуков.

Ленин резко остановился, слегка расставил короткие ноги, заложил руки за спину. Его лысая голова с громадным лбом

и рыжеватыми волосами на затылке была откинута, глаза строго, недоверчиво прищурены.

— Гм... вот как... Вы думаете, надежны?

Он как бы изучал Жукова, взвешивая слова, сказанные им.

Лицо Ленина не было похоже на лицо того Ленина, которого Жуков хорошо знал по Парижу и по Праге. Не было бородки и усов: они еще не вполне отросли после того, как Ленин их сбрил перед самым переворотом, отчего крупный рот и сильный подбородок Ленина были резко очерчены и делали его лицо еще более решительным, скуластым, протонародным. Если бы не сократовский лоб, его можно было бы смело принять за средних лет мастерового.

— А вы не ошибаетесь? — прищурился Ленин.

— Думаю, нет, — сказал Родион Жуков, любуясь Лениным, всей его маленькой фигурой с крепкой, очень широкой грудью и втянутым животом, на котором морщился жилет.

Все в Ленине нравилось Жукову, в особенности редкие, но стремительные движения рук, которые он то засовывал глубоко в карманы брюк, то закладывал за спину, то выбрасывал вперед.

— Пойдемте ненадолго ко мне, потолкуем. Я хочу у вас спросить одну вещь, — сказал Ленин. — Надя, ты уже виделась с Родионом Ивановичем? Он нынче уезжает на юг, в Одессу. Пришел прощаться.

— Видела, видела!

— Так пойдемте.

Ленин прибавил шагу, стараясь как можно незаметнее проскочить в толпе, которая, увидев его в коридоре, окружила со всех сторон и уже двигалась вместе с ним, с любопытством и гордостью рассматривая этого человека, вождя первой в мире социалистической революции.

Родион Жуков заметил, что Ленин слегка покраснел, но не от смущения, а от какой-то веселой досады.

Наконец они очутились в маленькой комнатке, где обычно работала на своем неуклюжем «ундervуде» Павловская, печатая первые декреты и указы Советского правительства.

Теперь в комнате никого не было. По-видимому, Павловская пошла в столовую обедать.

Они сели на стулья возле окна.

— Вот о чем я вас хотел спросить, уважаемый, — сказал Ленин, сильно упираясь обеими руками в колени, нагнувшись и пытливо глядя Жукову прямо в глаза. Он сделал маленькую паузу. — Скажите, как удержать власть? Что вы об этом думаете? А власть надо удержать во что бы то ни стало!

Этот вопрос через несколько дней после взятия Зимнего дворца, бегства Керенского, ареста Временного правительства — словом, после блестящей, молниеносной и почти бескровной победы пролетарской, социалистической революции — мог показаться весьма странным. Но Родион Иванович слишком хорошо чувствовал Ленина, чтобы не понять всю силу и глубину этого вопроса. В этом вопросе был весь Ленин с его предусмотрительностью, трезвостью мысли, остротой политического анализа, прирожденной нелюбовью ко всем и всяческому общим местам и полным отсутствием позы.

Среди всеобщего восторга великой исторической победы, которую так долго и так страстно ждали многие поколения русских трудящихся, легко можно было потерять голову. Это могло случиться со всяким, но только не с Лениным.

— Как удержать власть? — переспросил Жуков.

— Да, как? — спросил Ленин.

— По-моему, так же, как это бывает всегда во время революции: драться.

— Совершенно верно! — быстро сказал Ленин. — Я с вами согласен. Драться. Но какими силами?

— Армия, флот... — начал Жуков.

Ленин болезненно поморщился.

— Вы же знаете, что армия смертельно, адски устала. И, кроме того, еще многие воинские части находятся под сильнейшим влиянием всяческой контрреволюционной сволочи, а-ля правые эсеры, кадеты, Краснов, Корнилов... Вы знаете, что Керенский с войсками подошел к Гатчине? Так вот! Армию еще нужно повернуть целиком на нашу сторону. На это требуется время, а время не ждет. Флот я уже вызвал. Вот. — Ленин показал моток телеграфной ленты, который уже успел сунуть в карман пиджака. — Из Гельсингфорса идут военные корабли, «Республика» и миноносцы с оружием, десантом и продовольствием. Вот вы, например, военный моряк, правда бывший. Но у вас должен быть какой-то опыт. Как вы думаете: если миноносцы войдут в Неву около села Рыбацкого с тем, чтобы защищать Николаевскую железную дорогу и все подступы к ней, а «Республика» станет рядом с «Авророй», это даст нам какие-нибудь преимущества?

Ленин повернулся на стуле (стул скрипнул), привстал и посмотрел в окно, вдаль, как будто бы уже видел военные корабли, входящие в Неву.

Вечерело. За окном над Большой Охтой плыл холодный ноябрьский туман. Маячили размытые тени балтийских чаек. На фоне этого плывущего жемчужно-серого тумана и этих косо мелька-

ющих чаек лицо Ленина показалось Жукову вылепленным, как прекрасный барельеф, исполненный несокрушимой воли.

— Как хорош этот город! — мечтательно сказал Ленин, все еще продолжая, напряженно прищурившись, всматриваться в даль, в туман, и вдруг, повернувшись к Жукову, резко бросил: — Ну, есть ли резон отдавать его какому-нибудь пройдохе, вроде Керенского? — И почти без перехода: — Стало быть, вы считаете, что если «Республика» станет рядом с «Авророй», то мы будем иметь достаточный радиус для обстрела любой части города?

— Безусловно.

— Вы не ошибаетесь?

— А как же! Имею опыт. Когда в пятом году мы били с «Потемкина» по Одессе, то свободно хватало до Молдаванки и даже дальше.

— Это убедительно, — сказал Ленин, подумав. — Убедительно. Ну-с, так-с, значит, вы советуете драться? Так и поступим. По-видимому, впереди предстоит еще много боев: нам — здесь, а вам — на юге. По-моему, вам будет даже еще жарче, чем нам. Вы это, между прочим, учтите.

— Учту.

Ленин, блестя в сумерках глазами, коротко засмеялся своим альтом.

— Итак, подытожим: драться.

— Драться, Владимир Ильич.

— А у вас есть чем драться? — лукаво спросил Ленин.

— Вот, — ответил Жуков, похлопав по своему маузеру.

— Мало, — сказал Ленин строго, но в то же время с некоторым любопытством косясь на красивую деревянную кобуру маузера. — Вот вам главное оружие. — Он взял с подоконника газету. — Декрет о земле. Декрет о мире. Сколько экземпляров берете с собой?

— Порядочно.

— Покажите, покажите, сколько?

Жуков вынул из бушлата несколько экземпляров газеты.

— Всего! — разочарованно воскликнул Ленин. — Э, нет, батенька! Вы меня, вероятно, не поняли. Пойдемте-ка вниз.

Ленин пружинисто поднялся со стула и стремительно, несколько бочком, выскользнул из комнаты.

Жуков едва за ним поспевал.

...Они опустились по нескольким лестницам, где по-прежнему вверх и вниз двигались толпы людей, и наконец очутились в экспедиции.

Как раз в это время здесь несколько рабочих и балтийских моряков вносили со двора и укладывали под лестницу тюки и пачки

только что привезенных из типографии листовок с текстом декретов о земле и о мире.

Тут же Родион Иванович заметил Гаврика Черноиваненко и Марину.

Они, видимо, тоже ездили за листовками и теперь помогали выгружать тюки.

Неожиданно увидев перед собой Ленина, Гаврик остановился на месте с двумя тяжелыми пачками на плече.

Он видел Ленина всего один раз в жизни, и то издали, в тот день, когда Ленин появился на Втором съезде Советов, провозгласил Советскую власть и среди бури оваций поставил на голосование съезда те самые декреты, которые теперь держал на плече Гаврик.

— Это, Владимир Ильич, наше новое, революционное поколение. — сказал Жуков, показывая на Гаврика. — Молодой черногорец. Он нам еще в пятом году помогал.

Ленин с любопытством взглянул на Гаврика.

— Сколько же ему тогда было от роду?

— Лет девять, — ответил Жуков.

— Восемь, девятый, товарищ Ленин, — сказал Гаврик, шурясь на Ленина, как будто бы тот светился. — А потом я вам даже один раз письмо от группы одесских товарищей переправлял через одного знакомого человека. Адрес: Париж, четыре. Мари-Роз. Ульянову. Скажете, нет? — спросил он неожиданно совсем по-детски.

— Верно! — воскликнул Ленин и захохотал. — Был такой случай. Это когда вы никак не могли размежеваться с меньшевиками. — Видя, что пачки сползают с плеча Гаврика, Ленин подхватил их обеими руками и легко бросил на пол. — Вы солдат какой части? — спросил Ленин, искоса поглядывая на складную, аккуратную фигуру Гаврика в короткой и старой, но хорошо пригнанной пехотной шинели с матерчатыми погонами и в кожаной фуражке с облупившейся солдатской кокардой. — Самокатчик?

Ленина ввела в заблуждение кожаная фуражка Гаврика.

— Он у нас товарищ, так сказать, из разных частей, — подмигнул Жуков Ленину. — На все руки мастер, но главным образом по связи. Большую работу проделал в действующей армии. Дважды ранен. В партии с шестнадцатого года.

— Ого! Молодой, да из ранних! — засмеялся Ленин.

— Мой старый друг, — сказала Марина, коротко тряхнув головой в финской шапочке с черным кожаным верхом и кожаной пуговкой, из-под которой красиво выбивались каштановые, немного остриженные волосы. — Мы с ним, дядя Володя, вместе в Одессу едем.

— Мама в курсе? — спросил Ленин. — А то у меня смотри! — И погрозил пальцем.

Он знал ее совсем маленькой девочкой, в эмиграции в Париже, в Лонжюмо, в Швейцарии, и теперь ему странно и весело было видеть эту смелую, красивую, независимую девушку с револьвером на поясе, дочь Павловской, по-видимому влюбленную в складного солдатика-большевика с мальчишескими веснушками и рыжеватыми насупленными бровями, «мастера на все руки, а особенно по связи», здесь, в Смольном, через несколько дней после той революции, которой была посвящена вся его жизнь.

Узнав, что товарищ Ленин находится в экспедиции, сюда повалил народ со всего Смольного.

— А вот еще товарищ из нашей южной группы, делегат Румынского фронта, — сказал Жуков Ленину, заметив в толпе Акима Перепелицкого, накрест обмотанного пулеметными лентами и с двумя ручными гранатами за поясом.

— На! Аким Перепелицкий! Появился наконец! — воскликнул Гаврик. — Где пропадал? Почему я тебя не видел на открытии съезда? А еще делегат!

— Зимний брал с ребятами. Потом трошки постоял на втором заседании, проголосовал за мир и за землю и опять пошел с патрулями по городу, чтобы в случае чего давить любую контрреволюцию на месте. Товарищ Ленин, — сказал Перепелицкий, проталкиваясь к Владимиру Ильичу, — извините, знать вас, конечно, добре знаю и на съезде видел, но лично не имел случая. Так позвольте мне от имени солдат Румынского фронта и вообще от всех трудящихся юга пожать вам руку.

— Спасибо. Очень приятно. Передайте привет одесским большевикам, — сказал Ленин, крепко потряхивая руку Акима Перепелицкого.

— Передам непременно!

— И пусть одесские трудящиеся, не откладывая, берут власть в свои руки. Надо ковать железо, пока горячо. Да и еще вот что. Там у вас рабочие уже два месяца не получают заработной платы. Казначейство пусто. К сожалению, в настоящее время у нас у самих ничего нету, хотя мы и являемся русским правительством. Банковские чиновники саботируют и не желают давать деньги по нашим ассигновкам. Но можете быть уверены, что мы этот саботаж сломим вооруженной рукой, а саботажников будем беспощадно расстреливать, — Глаза Ленина сверкнули, сухая, желтоватая кожа на скулах натянулась, и крупный рот слегка очерился, обнажив крепкие зубы. — Тогда мы пошлем вам миллионов шестьдесят, чтобы вы незамедлительно расплатились

с одесским пролетариатом и ликвидировали всякую задолженность, потому что это — форменное безобразие. А пока убедите рабочих, что надо немного потерпеть. Они вас уважат. — Ленин улыбнулся. — Значит, товарищи, — прибавил он, обращаясь уже ко всем, — счастливого пути. И берите на дорогу, кто сколько может захватить. Не стесняйтесь. — Ленин стал срывать с пачек обертку, едко пахнущую керосином, брать листовки, аккуратно их складывать и с веселым, каким-то мальчишеским, как подумалось Жукову, озорством совать во все карманы Перепелицкого, Гаврика и Родиона Ивановича. — Берите, товарищи, берите. И помните, что сегодня в нашей стране, да и во всем мире, нету сильнее динамита, чем эти весьма понятные, простые русские слова: хлеб, земля, мир.

Делегаты стали разбирать листовки, класть их в вещевые мешки, ранцы, под сумки.

Ленин снова посмотрел на Жукова и вдруг как бы впервые увидел на его бескозырке георгиевскую ленту с золотыми, потемневшими буквами.

— А знаете, это очень хорошо, что вы надели свою старую форму. Носите ее, не снимая. Это тоже, знаете, своего рода динамит. «Потемкин-Таврический». Вы когда уезжаете?

— Ночью.

— Через Москву?

— Да.

— Там сейчас восстание юнкеров, уличные бои, опять Пресня, как в пятом. Вопрос: пропустит ли вас Викжель?

Не пропустит — сами пробьемся!

И верно. На бога надейся, а сам не плошай. Лучшая революционная тактика — наступательная. — Ленин взял Жукова под руку. Одна из самых крупных наших ошибок в пятом году состояла в том, что мы не довели дело до конца. Коли уж начали, то надо было драться и наступать до полной победы. Нерешительность — смерть восстания. Вы это должны знать на опыте «Потемкина». Надо было тогда идти до конца. Учтите это на будущее. Я думаю, вам предстоят уличные баррикадные бои.

— А мы надеемся на бескровную революцию, как здесь у нас, в Петрограде.

— Ну, не думаю, — сказал Ленин. — Еще неизвестно, что ждет нас здесь, в Петрограде. Не исключена крупная драчка. А у вас, на юге, дело не обойдется без большой крови. Это я вам предсказываю. Сейчас ситуация такова, что контрреволюция, потерпевшая поражение в центральных областях России, объединится и попытается взять реванш на периферии. Там к ее ус-

лугам всякие буржуазно-националистические организации, вроде Центральной Рады, «Сфатул-цэрия», дашнаков и прочее. Это все маски, под которыми будут выступать капитализм и кулачество. Буржуазный помещичье-капиталистический национализм — вот вам враг номер один. И запомните: лучшая и единственная тактика — наступательная. Зайдите ко мне несколько попозже, я вам дам письма к одесским большевикам и подпишу мандаты.

Когда, взяв у Ленина письма и мандаты, еще раз повидавшись со Свердловым и получив от него последние инструкции, самые новые сведения о положении в стране, взяв в канцелярии военного отдела железнодорожные литеры, попрощавшись с Павловской, Родион Жуков с вещевым мешком за плечами вышел мимо часовых — красногвардейцев и солдат петроградского гарнизона — во двор, под арками его уже ждали делегаты-южане, с тем чтобы всем вместе идти на Николаевский вокзал.

Марина, только что простившаяся с матерью и расстроенная этим коротким, деловым прощанием, в сапогах и в своей старой гимназической шубке с дешевым меховым воротником, подпоясанная солдатским ремнем с тяжелым наганом, сидела на своем швейцарском чемоданчике перед костром и, протянув к огню растопыренные пальцы, сушила варежки.

Гаврик стоял перед ней, опершись спиной о край трехдюймовки, и смотрел на ее милую, немного сутулую фигурку, на ее финскую шапочку, сапоги и блестящие от слез глаза, в которых отражался костер.

— Южная группа, становись! — скомандовал Родион Жуков.

Он проверил их всех по списку и вывел за ворота Смольного мимо освещенных кострами дежурных пулеметчиков, мимо броневика, в тусклых гранях которого угрюмо отсвечивал огонь, мимо ящиков с патронами, мимо артиллерийских передков, и их поглотил туман холодного балтийского ноября, плывущий над тревожно настороженным Петроградом.

А через неделю желтый пассажирский вагон второго класса с размашистой надписью мелом «Делегатский. Южная группа», задержавшись на несколько дней в Москве, где шли бои с юнкерами и горел большой дом на углу Никитской и Тверского бульвара, простояв двое суток в Киеве, захваченном гайдамаками, застрявши на сутки в Казатине, наконец прицепившись в Бирзуле к санитарному поезду, мимо горящих помещичьих экономий, сахарных заводов, станций, забытых солдатами с Румфронта, мимо дубовых роц с еще не опавшей ржавой тяжелой листвой, мимо черных замерзших украинских полей, белеющих по межам ранней порошей, мимо длинных ометов желто-бурой прошлогодней соломы, мимо

митингов, дымов, набатов, красных флагов, разбрасывая пачки ленинских декретов о земле и мире, которые стаями разлетались во все стороны вокруг поезда, охваченный темнокрасной, как раскаленное железо, поздней утренней зарей ноября, наконец прибыл на станцию Одесса-Товарная...

Т. КИБИРОВ*

Когда был Ленин маленьким (1985)

I

Отец Владимира Ильича, Илья Николаевич, был тогда инспектором народных училищ Симбирской губернии. Он происходил из простого звания, рано лишился отца и лишь при помощи старшего брата с трудом получил образование...

Мать Владимира Ильича, Мария Александровна, была дочерью врача; большую часть юности она провела в деревне, где крестьяне очень любили ее. Она была хорошей музыкантшей, хорошо знала музыку и языки — французский, немецкий, английский...

*А. И. Ульянова «Детские и школьные годы Ильича»,
Детгиз, 1947, с. 4.*

Я часто думаю о том, как... Право странно
представить это... Но ведь это было!
Ведь иначе бы он не смог родиться.
И, значит, хоть смириться с этим разум
никак не может, но для появления
его, для написания «Что делать?»
и «Трех источников марксизма», для «Авроры»,
для плана ГОЭЛРО, для лунохода,
и для атомохода — для всего! —
сперматозоид должен был проникнуть

* Тимур Юрьевич Кибиров (наст. фамилия — Запоев; р. 1955) — осетинец по происхождению, поэт, переводчик. Один из ярких представителей «московского концептуализма». Лауреат премии «Поэт» (2008), Премии Правительства РФ в области культуры (2011) и премии «Большая книга» (2020).

(хотя б один!) в детородящий орган
Марии Александровны... Как странно...
Я представляю домик их в Симбирске.
Год 69-й. Синий сумрак.
Инспектор в кабинете. Свет уютный
настойной лампы освещает лоб
сократовский. Перо скребет бумагу...
Но тут из отдаленных комнат тихо
мелодия внезапно зазвучала —
такой безмерной нежностью, такую
небесной, вечной, женственною грустью...
И сладкая мечтательность сковала
мозг деятельный. И рука застыла
не дописав... Он лампу потушил.
Встал и пошел на цыпочках...
В гостиной,
не зажигая света, за роялем
сидела Марья Александровна... Невольно
залюбовавшись стройным и печальным
на фоне окон женским силуэтом,
Илья в дверях замешкался... Минуты
летели. И мелодия росла
тоскою и любовью несказанной,
и обещаньем счастья, и рыданьем...
И наконец он кашлянул.
«Ой, милый!
Ах, как ты напугал меня!» — «Мария! —
от нежности охрипшим басом начал
инспектор, — Поздно! Спать пора, Мария!»
И было что-то в голосе его,
что Марья Александровна зарделась.
«Ах, милый, что ты...» — «Машенька, пойдем!
Пойдем, ведь поздно, ну пойдем, Масюся!» ...
Я думаю, она была фригидной.
Или почти фригидною, и пламень
инспекторский делила поневоле,
не сразу, а потом уже, обвив
руками нежными и нежными ногами
могучий торс инспектора училищ,
Ильи, Илюшечки, Илюшечки... Илюши!!

II

Ходить он начал одновременно с сестрой Олей, которая была на полтора года моложе его. Она начала ходить очень рано и как-то незаметно для окружающих. Володя, наоборот, выучился ходить поздно, и если сестренка его падала неслышно — «шлепалась», по выражению няни, — и поднималась, упираясь обеими ручонками в пол, самостоятельно, то он хлопался обязательно головой и поднимал отчаянный рев на весь дом. Вероятно, голова его перевешивала. Все сбегались к нему, и мать боялась, что он серьезно разобьет себе голову или будет дурачком. А знакомые, жившие на нижнем этаже, говорили, что они всегда слышат, как Володя головой об пол хлопается. «И мы говорим: либо очень умный, либо очень глупый он у них вырастет».

А. И. Ульянова «Детские и школьные годы Ильича»: Детгиз, 1947, с. 4–5*.

Читатель мой! Я, право, и не знаю,
что тут сказать... Конечно, можно б было...
Но лучше не пытаться. Ум евклидов
напрасно тщится размотать клубок
причинно-следственной неумолимой связи.
Не будем же гадать! Склонимся молча
пред тайнами великими, пред странной
игрою сил надмирных...

III

Игрушками он мало играл, больше ломал их. Так как мы, старшие, старались его от этого удержать, то он иногда прятался от нас. Помню, как раз, в день его рождения, он, получив в подарок от няни запряженную в сани тройку лошадей из патье-маше, куда-то подозрительно скрылся с новой игрушкой. Мы стали искать его и обнаружили за одной дверью. Он стоял тихо и сосредоточенно крутил ноги лошади, пока они не отвалились одна за другой.

А. И. Ульянова «Детские и школьные годы Ильича»: Детгиз, 1947, с. 6.

* К сожалению, уже в издании 1962 года этот замечательный пассаж отсутствует. — Авт.

Ах, Годунов-Чердынцев, полюбуйся,
 с какой базарною настойчивостью Муза
 Истории Российской предлагает
 сестрице неразборчивой своей,
 столь падкой на дешевку Каллиопе,
 свои аляповатые поделки:
 Эх, тройка, птица-тройка! Кто тебя
 такую выдумал? Куда ты мчалась, тройка?
 То смехом заливался колокольчик,
 то плачем, и ревел разбойный ветер,
 шарахались и в страхе столбенели
 языки чуждые, и кнут свистел, играя!
 А немец-перец-колбаса с линейкой
 логарифмической смотрел в окно вагона
 недоуменно... Эх ты, птица-тройка!
 Куда ж неслась ты, Господи спаси?
 И не было ответа. И не будет
 уже. Кудрявый мальчик яснолобый
 последнюю откручивает ножку.
 Нет, мы пойдем другим путем!... Как странно...
 Не лучше ль было ехать в пироскафе?
 Иль в пароходе? — в чистом поле, все быстрее,
 чтоб ликовал народ и веселился весь...

IV

Любил маленький Володя ловить птичек, ставил с товарищами на них ловушки. В клетке у него был как-то, помню, реполов. Не знаю, поймал он его, купил или кто-нибудь подарил ему, помню только, что жил реполов недолго, стал скучен, нахохлился и умер. Не знаю уж отчего это случилось: был ли Володя виноват в том, что забывал кормить птичку или нет. Помню только, что кто-то упрекал его в этом, и помню серьезное, сосредоточенное выражение, с которым он поглядел на мертвого реполова, а потом сказал решительно: «Никогда больше не буду птиц в клетке держать». И больше он, действительно, не держал их.

А. И. Ульянова «Детские и школьные годы Ильича»: Детгиз, 1947, с. 18.

Лети же в сонм теней, малютка-реполов,
 куда слепая ласточка вернулась,
 туда, где вьются голуби Киприды,
 где Лесбии воробышек, где Сокол

израненный приветствует полет
братишки Буревестника, где страшный
убитый альбатрос сурово мстит
английскому матросу, где в отместку
французские матросы на другом
таком же альбатросе отыгрались,
где чайку дробью дачник уложил,
где соловей над розой, где снегирь
заводит песнь военну, где и чибис
уже поет юннатам у дороги,
и где на ветке скворушка, где ворон
то к ворону летит, то в час полночный
к безумному Эдгару, где меж небом
и русскою землею льется пенье,
где хочут жить цыпленки, где слышать
малиновки ты сможешь голосок,
где безымянной птичке дал свободу,
храня обычай старины певец,
где ряба курочка, где вьется Альциона
над батюшковским парусом, где свищет
во тьме ночей и ропщет Филомела,
и где слепая ласточка, слепая...
Лети туда, малютка реполов!
Ты заслужил бессмертие. Лети же!

V

Бегал он и рыбу ловить на Свяягу (речка в Симбирске), и один его товарищ рассказывает о следующем случае. Предложил им кто-то из ребят ловить рыбу в большой, наполненной водой канаве поблизости, сказав, что там хорошо ловятся караси. Они пошли, но, склонившись над водою, Володя свалился в канаву; илистое дно стало засасывать его. «Не знаю, что бы вышло, — рассказывает этот товарищ, — если бы на наши крики не прибежал рабочий с завода на берегу реки и не вытащил Володю».

А. И. Ульянова «Детские и школьные годы Ильича»: Детгиз, 1947, с. 19.

Рука Рабочего Отечества спасла.
Что там ни говори эсдэки, а без роли
такой вот личности в истории все было б
иначе. Ведь уже б была готова
Россия-мать на рельсы соскользнуть

буржуйские — и так бы и пошла!
По плоскости наклонной, так сказать,
по этому порочному пути
сопротивленья наименьшего. Искала б
себе, наверное, легкие пути
и загнивала б. Ах, как загнивала б!
И до сих пор бы ели ананас
и рябчиков жевали бы, и вряд ли
когда-либо прорыли б Беломор.
И с проституцией навряд ли совладали б.
И безнаказанно бы жил себе Кровавый
царь Николай с супругой и детьми!
А ум, и честь, и совесть продолжали б
томиться в Шушенском! И наш Серафимович
глумленью подвергался бы циничных,
растленных модернистов, и, ей-богу,
пришлось бы Евтушенко выступать в одесских кабаках...
Подумать страшно!
А вот еще о чем подумать страшно,
но интересно — если б не Рабочий
из ила вытащил его, а, предположим,
Мужик, мужик Марей или Платон,
А вдруг бы полюбил он, наш Ильич,
смирномудрые и богоносность люда
сермяжного? И опростился б он,
и в нищем виде исходил бы он Россию,
благословляя? Ах, как это странно...
Или представь, что там Купчина ражий
в бобровой шапке проходил бы? Или стройный
какой-нибудь Корнет? Или в тужурке
студенческой какой-нибудь Сынок
Поповский? Словом, кто-нибудь из этих,
из своры псов и палачей? И стал бы
тогда бы наш Володинька кадетом.
И не был бы весны цветеньем он,
победы кличем... Ах, как это странно,
как странно это все, если подумать...

В. КИРИЛЛОВ*

Траурный марш (1924)

Песен моих кумачовое пламя,
В чёрный огонь перелейся, и встань
Там, у одра его, скорбное знамя!
Сердце, траурный марш барабань!

Чёрной тревоги сегодня не скроем —
Это умолк мировой набат,
Осиротевшим, рыдающим строим
Выйдем к нему на последний парад.

Полчищ народных любовное море
Гроб твой поднимет — багряный челнок.
Дум величавых бессмертные зори
Смерть не загасит, не скроет песок...

Вот оно — крепкое красное племя
Верных, вскормлённых тобою орлят.
Звёздною конницей движется время,
Красные птицы в небе парят.

Гроб отдадим мы, но знамя не сменим!
Пусть же узнает и друг наш, и враг:
В битвах грядущих не дрогнут колени,
Ленина сердце — наш пламенный стяг!

* Владимир Тимофеевич Кириллов (1890–1937) — русский советский поэт, представитель так называемой «пролетарской поэзии».

А. КЛИНГЕ***Ленин. Самая правдивая биография Ильича****

<Фрагмент>

К читателю

Эта книга — о Ленине.

У каждого жителя нашей страны в возрасте от 40 лет и старше это имя сразу же воскресит в памяти далекое детство. В советские времена Ленин окружал нас повсюду. Его статуи стояли во всех больших и малых городах. Его лицо с хитрым прищуром смотрело на нас с пионерских значков, почетных грамот, даже денежных купюр. Именем Ленина называли колхозы, Дома культуры, заводы, институты.

В детских книжках Ленина изображали либо «маленьким Володей», который с детства умел все делать правильно, либо добрым дедушкой — лучшим другом советских детей. Для взрослых существовал целый культ Ленина, почти религиозный по своему характеру. «Ленин — наш бог», — бросал колхозник в лицо кулакам-бандитам в одном известном советском фильме. И он был глубоко прав. «Ленин — вечно живой», — говорила советская пропаганда. Ленин изображался в роли некоего сверхъестественного покровителя, способного прийти на помощь в трудную минуту.

И тихо, когда тебе трудно,
Приди за советом сюда.
Все мертвые спят беспробудно,
Но Ленин не спит никогда.
И руки на плечи положит
Ильич, наш товарищ в борьбе,
И если никто не поможет,
То Ленин поможет тебе.

Так писал Евгений Евтушенко в семидесятые годы. Отсюда до религиозного культа — уже рукой подать.

Даже когда началась перестройка и ниспровержение всех и всяческих идеалов, Ленина поначалу не трогали. Более того, говорили о возвращении к чистым истокам ленинских идей, к социализму с человеческим лицом. Только в самом конце восьмидесятых «са-

* Александр Клинге — современный писатель-документалист, историк, публицист. Автор книг «Запрещенный Гитлер. 10 мифов о фюрере», «Маннергейм и блокада» и др.

** Статья (книга) написана в 2017 г., к 100-летию русской революции.

мого человеческого человека» решили свергнуть с пьедестала. Грубо и просто, поменяв все знаки на противоположные, превратив доброго дедушку и «небесного заступника» в злобного монстра, погубившего Россию. Выходит пасквиль Солоухина «При свете дня», а следом — двухтомная биография, написанная Дмитрием Волкогоновым, недавним верным ленинцем и политическим пропагандистом, а теперь — «срывателем покровов».

Впрочем, интерес к Ленину довольно быстро угас. В глазах как сторонников, так и противников советской власти его заслонила мощная фигура Сталина. Действительно, коллективизация и массовые репрессии тридцатых — гораздо более удобный материал для «осуждения тоталитаризма», чем «красный террор» времен Гражданской войны (без подобного террора не обходилась пока ни одна крупная усобица в истории). А индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, превращение страны в сверхдержаву выглядят гораздо красивее, чем Брестский мир и НЭП.

В результате фигура Ленина оказалась, как это ни парадоксально может прозвучать, полузабытой. Даже те, кто любит или ненавидит его, делают это, как правило, на основе своих симпатий и антипатий к советскому строю в целом. Ильич превратился в выцветшую фотографию в старой газете, в человека, имя которого все знают, но весьма смутно представляют себе, кто же он такой.

Ну и хорошо, — вздохнет, может быть, кто-нибудь из читателей. Пусть поскорее уходит в небытие! Такому читателю я поспешу напомнить, что история имеет свойство повторяться. Конечно, не целиком и в точности, но иногда в очень существенных чертах. Сегодняшняя Россия имеет много общего с Российской империей конца XIX века. А значит, судьба Владимира Ильича Ленина — вне зависимости от того, плохо или хорошо мы к нему относимся, — вновь становится остроактуальной.

У Ленина было много ипостасей. Для жителей России он — пламенный революционер и первый глава советского государства. На Западе его помнят не в последнюю очередь как плодовитого писателя, ученого-марксиста, который внес большой вклад в разработку теории империализма. Он был и тем, и другим. А еще — живым человеком, таким же, как и мы. Насколько эта многогранная фигура сложнее и богаче, чем плоский образ, созданный сначала советской, а затем постсоветской пропагандой! Кажется, у нас до сих пор не было шанса это осознать.

Сегодня в России практически отсутствуют краткие, емкие, современные и в то же время непредвзятые биографии Ленина. Именно такую книгу мне хотелось бы написать. Насколько у меня это получилось — решать читателю.

Глава 1 Отличник

Биографию крупного политика принято начинать с рассказа о его предках. Ленинские биографии — не исключение. Более того, вопрос о предках Ленина (точнее, об их национальности) долгое время являлся одним из самых актуальных вопросов отечественной исторической науки. В советское время было принято изображать его стопроцентно русским человеком, поэтому новость о том, что в роду Володи Ульянова были евреи, стала в годы перестройки настоящей сенсацией. Хотя, если вдуматься, для России примесь «инородческой» крови — скорее правило, чем исключение.

Я позволю себе немного нарушить традицию. Какая разница, кем был и чем занимался прадед Ленина, если герой нашей книги его никогда в жизни не видел и не ощущал никакого влияния с его стороны? Вместо этого расскажу о тех, кто действительно внес огромный вклад в формирование личности будущего основателя советского государства.

Володя Ульянов родился 10 апреля 1870 года (по старому стилю; по новому, как известно всем советским пионерам, 22 апреля). Местом его рождения был стоявший на берегу Волги провинциальный городок Симбирск (сегодняшний Ульяновск). Володя стал третьим ребенком в семье, которая, как и многие тогдашние российские семьи, была многодетной. Сколько всего детей родилось у Ильи и Марии Ульяновых, точно неизвестно (по разным данным, от 7 до 9), но из младенческого возраста вышли шестеро.

Кем были родители Ленина? В советское время всячески подчеркивалось, что Ильич был плоть от плоти трудового народа. В девяностые иные авторы стали превращать его едва ли не в богатого помещика. Истина, как это часто бывает, лежит посередине.

Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, родился в 1831 году в Астрахани. Некоторые историки предполагают, что в его жилах текла помимо русской калмыцкая кровь. Отец Ильи Николаевича был портным, достаточно обеспеченным по меркам того времени. Закончив с серебряной медалью Астраханскую гимназию, юноша поступил на физико-математический факультет Казанского университета и в 1854 году закончил его в числе лучших выпускников. Необходимость упорно трудиться, усвоенную им с младых ногтей, Илья Николаевич затем передал своим детям.

В 1861 году Мария приехала в Пензу в гости к старшей сестре Анне — супруге директора того самого Дворянского института, где преподавал Илья. Вскоре молодые люди познакомились. У них оказалось немало общего, и они стали все больше времени про-

водить вместе. Он помогал ей в подготовке к экзамену, она учила его разговорному английскому. Дружба переросла в большое и светлое чувство. В августе 1863 года Илья и Мария сочетались законным браком.

Практически сразу же молодая семья уехала в Нижний Новгород, где Ульянов получил должность учителя математики и физики в мужской гимназии. Именно здесь родились старшие дети — дочь Анна (1864 год) и сын Александр (1866 год). В 1868 году родилась еще одна дочь, Ольга, но умерла во младенчестве. Это стало большим ударом для семьи Ульяновых.

В 1869 году Илья Николаевич Ульянов получил назначение на должность инспектора народных училищ Симбирской губернии. Это была административная должность, фактически означавшая серьезное повышение по службе. Еще через пять лет отец Ленина станет директором губернских народных училищ, а в 1877 году получит чин действительного статского советника, дававший право на потомственное дворянство. Кроме того, за годы службы он был удостоен пяти орденов (о последнем награждении станет известно уже после его смерти).

Таким образом, Ленин был по своему происхождению дворянином. У нашего современника при слове «дворянин» в воображении всплывает богатая усадьба, лакеи и псовая охота. На самом деле эта картинка относится только к «сливкам» российского дворянства, к наиболее богатым и знатым семействам. К 1870 году в Российской империи было более полумиллиона потомственных дворян, из которых только каждый пятый владел хоть какой-нибудь землицей. Типичный русский дворянин второй половины XIX века принадлежал к прослойке общества, которую мы сегодня назвали бы средним классом.

Именно к этой прослойке принадлежала и семья Ульяновых. Жалованье Ильи Николаевича в начале 1870-х годов составляло около 80 рублей в месяц — сумма достаточно скромная. Перевести ее на сегодняшние деньги сложно (другое соотношение между ценами на различные виды товаров), но можно сказать, что в современных российских рублях Ульянов-старший получал около 50 тысяч. На эти деньги нужно было содержать семью и еще откладывать на свой собственный дом. Со временем жалованье выросло, с 1880 года к нему добавилась пенсия по выслуге лет, но в целом до богатства было еще очень далеко, хотя и в бедности Ульяновы не жили. Свой дом — двухэтажное деревянное строение, окруженное садом, — удалось купить только в 1878 году. До этого Ульяновы сменили в Симбирске шесть съёмных жилищ. Накопить на свой собственный дом с садом удалось с большим трудом, для этого потребовалось много лет.

Но вернемся в 1870 год, когда в доме на Стрелецкой улице родился маленький Володя. У младенца были короткие, слабенькие ножки и непропорционально большая голова. «Либо очень глупый, либо очень умный он у вас выйдет», — сказала его матери повитуха, принимавшая роды.

Действительно, некоторое время этот вопрос оставался открытым. Володя очень поздно начал ходить (практически одновременно с сестрой Ольгой, которая была младше его на полтора года). Он часто падал и поднимал, как вспоминала впоследствии его старшая сестра, «отчаянный рев на весь дом». Однако неудачи совершенно не обескураживали его — успокоившись, он поднимался на ноги и снова отчаянно несея вперед — до следующего падения.

И в дальнейшем Володя оставался шумным ребенком, любил подвижные игры, беготню. Став постарше, он часто ломал свои игрушки, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Домашние много лет спустя вспоминали, как он немедленно разобрал на кусочки только что подаренную ему лошадку из папье-маше.

И все же мальчик быстро стал в семье всеобщим любимцем. Ему прощались многие шалости, которые не сходили с рук другим детям. Правда, и сам Володя никогда не делал ничего исподтишка, а напроказив, сразу же честно сознавался в содеянном. Мальчик с золотыми кудрявыми волосами и бойкими карими глазами — таким вспоминали его впоследствии члены семьи, таким он запечатлен на детских фотографиях.

Володя рано выучился читать. С самого детства учеба давалась ему легко. Мать достаточно много внимания уделяла его развитию, однако не мучила лишними занятиями. Когда Володя решил отказаться от игры на фортепиано, она спокойно приняла его решение, хотя и сожалела о нем.

Здоровье Володи с раннего возраста было предметом беспокойства родителей. В частности, их тревожило его косоглазие. Врач, которому показали мальчика, поставил неутешительный диагноз: косоглазие врожденное и неизлечимое. Лишь много позже, уже под конец жизни, Ленин узнал, что речь идет не о косоглазии, а о близорукости. А пока что у него выработалась привычка щурить один глаз — тот знаменитый «ленинский прищур», который знаком многим из нас с детства. В 1878 году Володя долго и тяжело болел малярией, и временами казалось, что его жизнь в опасности.

Для того чтобы ухаживать за мальчиком (а потом и за другими младшими детьми), Ульяновы в 1870 году наняли няню — Варвару Григорьевну Сарбатову. Анна Ильинична впоследствии вспоминала о ней так: «Она была из того типа старинных нянюшек, которые, не имея своей семьи, всецело прилеплялись к семье своих питом-

цев, которым отдавали не только заботу за жалование, но искренно горячую любовь <...>. Помню ее довольно объемистую фигуру, помню чисто русское, скуластое <...> некрасивое лицо с небольшими черными глазами и гладко зачесанными под <...> чепец черными с проседью волосами. Носила она обычно темные ситцевые или шерстяные платья с крупной белой клеткой или белыми горошинами, необъятные сборчатые юбки и широкие свободные кофты. Помощь ее была прежде всего чисто физической, а затем выражалась в огромной преданности питомцам, так и ко всей семье. Своей ноты в воспитание няня, конечно, не вносила. Тут она всецело подчинялась матери».

Что представляла собой семья, в которой рос будущий вождь революции? Первое, о чем нужно сказать: Илья и Мария Ульяновы были людьми, принадлежавшими к русской культуре. Своих детей они воспитывали не в немецкой, еврейской, шведской или калмыцкой традиции. Ульяновы были обычными русскими провинциальными интеллигентами, и их дети росли в соответствующей атмосфере. Поэтому любые спекуляции на тему национальности Ленина по большому счету не имеют никакого смысла.

Илья Ульянов был человеком, преданным своему делу. Работе он отдавал все свои силы, что и стало залогом его успешной карьеры. Даже в день рождения сына Владимира он находился на службе — принимал в типографии корректуру своего отчета о состоянии губернских народных училищ.

Человек прогрессивных (но не радикальных) взглядов, отец Ленина считал развитие народного просвещения важнейшей для страны задачей. Сама должность предполагала постоянные разъезды по губернии, и отца семейства часто подолгу не было дома. Тем не менее Ульянов-старший пользовался в семье непререкаемым авторитетом. Несмотря на занятость по службе, он старался уделять детям как можно больше внимания, подолгу гулял с ними вдоль Волги. Илья Николаевич строго следил за успехами детей в учебе, был сдержан, даже скуп на похвалу. Он был человеком очень начитанным, собрал дома хорошую библиотеку, и эту страсть к чтению унаследовали и его дети.

Основные хлопоты по хозяйству легли на плечи матери. Мария Александровна безропотно взяла на себя эту ношу и обеспечивала своему мужу, говоря современным языком, крепкий семейный тыл. Конечно, в одиночку справиться с домом и детьми она бы вряд ли смогла, но это было и не нужно. Уровень жизни большинства граждан Российской империи был очень низок, поэтому прислуга обходилась дешево. Каждый, кто в материальном отношении хоть сколько-нибудь приподнимался над бедностью, мог позволить

себе домашних работников. В доме Ульяновых работали кухарка и домработница. Позднее, уже после переезда в собственный дом, для ухода за садом наняли садовника. Все это, повторюсь, не было признаком большого богатства — так жили представители среднего класса со сравнительно скромными доходами.

Всю свою последующую жизнь отец Ленина посвятил преподаванию. Карьера молодого учителя медленно, но верно шла в гору. С 1854 по 1863 год он преподавал математику в Пензенском дворянском институте — школе для дворянских детей. Здесь, в Пензе, он познакомился со своей будущей женой Марией.

Мария Александровна Бланк была на четыре года младше своего мужа. В ее жилах текли еврейская, немецкая и шведская кровь. Отец Марии, Александр Дмитриевич Бланк, был крещеным евреем, еще в молодости полностью порвавшим со своими родственниками, перешедшим в православие и сделавшим впоследствии карьеру врача. Ему удалось дослужиться до чина надворного советника и, по тогдашним российским законам, получить потомственное дворянство. В 1848 году он приобрел имение Кокушкино в Казанской губернии — сравнительно небольшую деревеньку в 15 дворов. После смерти Александра Дмитриевича в 1870 году Кокушкино осталось в совместной собственности его детей.

Мать Ленина получила прекрасное домашнее образование, владела тремя языками и в 28-летнем возрасте без особого труда сдала экзамен на получение звания домашней учительницы. Правда, своим правом преподавать она так никогда и не воспользовалась, если не считать обучения собственных детей.

Семья Ульяновых регулярно посещала богослужения. Обычно ходили в расположенную неподалеку Богоявленскую церковь. Есть сведения, что Мария Александровна время от времени ходила в лютеранскую кирху, отдавая дань своим предкам. Однако все дети были крещены по православному обряду и воспитывались как православные христиане. В этом опять же семья Ульяновых ничем не отличалась от других семей российского среднего класса: православие было обыденной составляющей их жизни, выполнение обрядов — социальной нормой, о которой не особенно задумывались. Илья Николаевич был глубоко и искренне верующим человеком; по воспоминаниям дочери, «дома дети видели искренне убежденного человека, за которым шли, пока были малы». Однако его вера не была фанатичной, он был открыт для новых прогрессивных веяний времени.

Много времени Мария Александровна посвящала образованию и воспитанию детей. Как и многие представители среднего класса, Ульяновы хотели, чтобы их дети жили лучше, чем они. И здесь

матери семейства всерьез пригодились навыки домашней учительницы. Ее дети знали иностранные языки, играли на музыкальных инструментах, были прекрасно воспитаны. Родители старались привить им те качества, которые считали важными для достижения успеха в жизни: любовь к упорному труду, тягу к знаниям, стремление к достижениям и личностному росту. «Поглощенная заботой о доме и детях, их кормлением, их болезнями, мать почти не имела знакомств в местном обществе, мало к тому же интересном», — вспоминала потом ее старшая дочь Анна.

Да и в целом семья Ульяновых жила достаточно замкнуто. Илья Николаевич общался с коллегами, посещал те мероприятия, где обязан был присутствовать по должности. Однако активной светской жизни Ульяновы не вели, и близких друзей в Симбирске у них так и не появилось. Семья пользовалась всеобщим уважением, однако посторонние люди нечасто появлялись в доме Ульяновых. Приходили в основном коллеги Ильи Николаевича по службе. Глава семьи любил играть в шахматы, но его единственным партнером был пожилой управляющий Симбирской удельной конторы Арсений Белокрысенко. Он же, кстати, являлся крестным отцом Володи.

Впрочем, эта замкнутость не переходила нормальные границы. Определенные контакты Ульяновы поддерживали. Среди людей, близких к их семье, можно назвать семейство Ауновских, с которым родители Ленина познакомились еще в Пензе, публициста Валериана Назарьева с супругой, Льва Персиянинова (сыновья которого один год даже жили у Ульяновых), домашних докторов Ивана Покровского и Александра Кадьяна. Илья Николаевич покровительствовал молодым учителям, старался способствовать карьере тех младших коллег, которых считал достойными. Некоторые из них становились друзьями семьи.

Общались и с родственниками. Летом семья Ульяновых часто ездила в Кокушкино, в имение Бланков. Там дети могли вдоволь резвиться и играть на природе, а также общаться с родственниками по материнской линии. Менее тесными были контакты с астраханской родней.

Дети Ульяновых, совершенно в русле семейной традиции, тоже предпочитали дружить между собой, хотя этим круг их социальных контактов не ограничивался. Старшие помогали матери заботиться о младших. Семья устраивала музыкальные вечера с хоровым пением, дети вместе работали в саду, а каждую неделю совместными усилиями выпускали рукописный журнал «Субботник». «Помню какую-то особую атмосферу духовного единения, общего дела, которая обволакивала наши собрания», — вспоминала впоследствии Анна Ильинична.

В семье Ульяновых было принято проводить время вместе. Нередко устраивались литературные викторины. В большом почете были шахматы — Илья Николаевич выучил этой игре всех своих детей. «Шахматы любил наш отец, и любовь эта передалась всем братьям. Для каждого из них была радость, когда отец звал их к себе в кабинет и расставлял шахматы. Шахматы эти, которые отец очень берег и которыми все мы восхищались в детстве, были выточены им самим на токарном станке еще в Нижнем Новгороде, до переезда в Симбирск. Мы все выучились играть», — вспоминала Анна Ильинична. Володя начал играть в шахматы в восьмилетнем возрасте и достаточно быстро стал отличным шахматистом, обыгрывавшим даже отца. Эту страсть и мастерство он сохранил на всю жизнь.

Самым близким другом и товарищем по играм для маленького Володи являлась его сестра Ольга, которая была ему ближе всего по возрасту. Но самым большим авторитетом для мальчика стал его старший брат Саша. Володя часто подражал брату, стремился во всем брать с него пример. Родители даже беззлобно подшучивали над ним, говоря, что он старается все делать «как Саша».

Как и все дети тех лет, младшие Ульяновы играли в огромное количество самых разных подвижных игр — в индейцев, казаков, лапту, пятнашки, салочки... Придумывали и свои игры, например, в «брыкаску». «Что такое «брыкаска»? — вспоминал впоследствии младший брат Дмитрий. — Это не то человек, не то зверь. Но обязательно что-то страшное и, главное, таинственное. Мы с Олей сидим на полу и с замиранием сердца ожидаем появления «брыкаски». Вдруг за дверью или под диваном слышатся какие-то звероподобные звуки. Внезапно выскакивает что-то страшное, мохнатое, рычащее, это и есть «брыкаска» — Володя в вывернутом наизнанку меховом тулупчике. Полумрак, мохнатое существо на четвереньках... Оно рычит и хватает тебя за ногу. Страшно!»

С детства Володя неплохо рисовал. Именно мать научила его «тайнописи» — письму молоком, когда строчки, написанные на бумаге, проступали только при нагревании. Впоследствии это знание пригодилось ему в тюрьме. Мальчик любил петь (опять же эту склонность он сохранит на всю жизнь), но был равнодушен к музыкальным инструментам. Не было у него и какого-либо ярко выраженного хобби.

Как и все мальчишки, Володя любил играть в солдатиков. Под руководством старшего брата дети вырезали из бумаги целые армии и устраивали сражения. Володя неизменно раскрашивал своих солдатиков в цвета армии северян времен Гражданской войны в США. Разгадка проста — к числу любимых книг мальчика при-

надлежал знаменитый роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Книга, посвященная борьбе негров-рабов за свободу, глубоко потрясла мальчика и стояла в его комнате на почетном месте. При желании именно чтение этой книги можно считать началом того пути, который превратил Ульянова в Ленина.

Но не будем забегать вперед. Володю, как и других детей в семье Ульяновых, начали рано готовить к поступлению в гимназию. Много внимания его обучению уделяла мать; однако занимали и репетиторов, молодых учителей, знакомых Илье Николаевичу. Родители не стали отдавать Володю в подготовительный класс, решив, что домашнее образование окажется эффективнее. И они оказались правы; по крайней мере, в 1879 году мальчик без особых проблем сдал сложные экзамены в Симбирскую классическую гимназию и был зачислен в первый класс вместе с 29 сверстниками. В той же гимназии, но несколькими классами старше, учился и его брат Саша.

Гимназия в дореволюционной России считалась элитной школой, открывавшей перед выпускником двери для поступления в университет и дальнейшей карьеры. Учились там в основном дети представителей российского среднего класса. Выходцы из низших слоев, пусть даже очень одаренные, имели мало шансов преуспеть — хотя бы потому, что обучение в гимназии было платным. Спустя несколько лет, в 1887 году, правительство и вовсе примет печально известный «циркуляр о кухаркиных детях», в результате чего, как было сказано в самом документе, «гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

Учиться в гимназии было сложно. Уже в первом классе ученики должны были проводить в классах по 28 часов в неделю, восемь из которых были уроками латыни. Позднее к латыни добавлялся древнегреческий, так что к выпускному восьмому классу на древние языки приходилась примерно половина учебного времени. Столь важное место отводилось им не только потому, что изучение классической латыни и древнегреческого считалось отличной гимнастикой для ума. Чтение текстов античных авторов, полагали педагоги того времени, способствует воспитанию молодежи, прививает им правильную систему ценностей, учит добродетели.

Разумеется, знакомство с произведениями Цицерона, Гомера и Геродота не могло повредить подросткам. Однако проблема заключалась в том, что другим предметам уделялось явно недо-

статочного внимания. Гимназисты учили французский и немецкий языки, однако естественно-научные дисциплины (физика, химия, биология) преподавались в минимальном объеме. Весьма ограниченным и односторонним было и знакомство с русской литературой. Гимназисты должны были заучивать огромное количество стихотворений, однако все произведения, в которых был малейший намек на неблагонадежность, были исключены из школьной программы. Более того, директор гимназии даже запретил ученикам посещать городскую Карамзинскую библиотеку!

К слову сказать, этим директором был Федор Михайлович Керенский — отец того самого Александра Керенского, недолгое правление которого много лет спустя прервет бывший гимназист Володя Ульянов. Последний глава Временного правительства был на 11 лет моложе Ленина. Позднее, находясь в эмиграции, он вспоминал, что совсем маленьким мальчиком бывал с отцом в доме Ульяновых.

Ежегодно гимназисты должны были сдавать письменные, а иногда еще и устные экзамены. По их результатам многие оставались на второй год либо вовсе покидали учебное заведение. Достаточно сказать, что из набора 1879 года до получения аттестата зрелости дошли, ни разу не оставшись на второй год, лишь 8 гимназистов.

Но вернемся к Володе. На момент поступления в гимназию он был самым младшим в своем классе — ему было 9 лет и 4 месяца, в то время как минимальным возрастом считался 10-летний. Описывая его учебу в гимназии, трудно избежать шаблонных фраз, которыми обычно характеризуют отличников и которые в изобилии встречаются в биографиях знаменитостей. Учеба давалась Володе легко. В то время как многие его одноклассники не выдерживали огромной нагрузки и суровой дисциплины и «сходили с дистанции», будущий вождь революции получал только отличные оценки. Сказались качество домашнего образования и любовь к упорному труду, привитая с детства. Но налицо были и немалые способности мальчика; отец даже опасался, что Володя слишком легко справляется с нагрузкой и из-за этого не сможет воспитать в себе должного усердия. Любимыми предметами Владимира были древние языки (которыми он владел в совершенстве) и история.

«Способности он имел совершенно исключительные, — вспоминал впоследствии один из его одноклассников, Александр Наумов, писавший свои мемуары в эмиграции и потому не имевший никаких поводов восхвалять вождя. — Обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной наблюдательностью и необычайной работоспособностью, <...> я все шесть лет прожил с ним в гимназии бок о бок, и я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы

найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но настолько мне тогда казалось, он все же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум».

Другой одноклассник Ленина, поэт Аполлон Коринфский, вынес из гимназии похожие впечатления: «Не по годам серьезный, относящийся к приготовлению уроков, как к некоему священнодействию, но не имеющий надобности прибегать к практикующейся менее способными товарищами по классу «зубрежке», пробудивший во мне старые воспоминания «одноклассник» — наш первый ученик. <...> Первый из сорока пяти, неизменный «пятерочник». <...> Семь лет мы были с ним вместе в гимназии, и он во все продолжение их оставался первым. Все предметы — от чистописания в младшем и до тригонометрии, космографии и логики в старших классах — были для него одинаково серьезными. И «латинист», и «грек», и «математик», и «словесник» — все учителя были для него непреложными вещателями истины, без основательного познания каковой непременно ощущался бы пробел в его образовании <...>. И нужно было видеть, каким лихорадочным румянцем вспыхивало его лицо — до корней волос — в тех редких случаях, когда почему-либо он не мог сразу ответить на внезапно заставший его отвлеченное внимание вопрос того или другого преподавателя <...>. Но на редкость обостренная сообразительность всякий раз вызволяла мальчика из непривычных затруднений. «Позвольте подумать! Сейчас, сейчас! — молящим тоном, торопливо повторял он. — Да, да... Сейчас...» И действительно, тотчас же разрешал смутивший было его на несколько мгновений вопрос. Непоколебимая репутация «первого из сорока пяти» блистательно восстанавливалась».

В то же время было бы неправильно представлять себе Володю Ульянова книжным червем, проводящим все свое время за письменным столом. Сделав уроки, он любил гулять и играть в саду. Вместе с приятелем Володя пытался ловить птиц, бегал купаться и рыбачить (при этом однажды едва не утонул, провалившись в водоем с глубоким илистым дном), зимой катался на коньках. В общем, будущий лидер большевиков мало чем отличался от своих сверстников. Впоследствии он вспоминал: «Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Плохо знаете? Широка! Необъятная ширь. Так широка... Мы в детстве с Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко,

очень далеко уезжали. И над рекой, бывало, стелется неизвестно откуда песня».

И внешне, и по своему характеру Владимир был очень похож на своего отца. Его старшая сестра Анна много лет спустя вспоминала: «Володя был вспыльчивым, что унаследовал от отца, на которого очень походил, и, как отец, он научился с годами побарывать эту вспыльчивость. Но, унаследовав от отца сложение, черты лица и характера: большую исполнительность, неуклонность в стремлении к поставленной цели, лично большую скромность и нетребовательность, консерватизм привычек и т. п., до мелочей — он был совершенно своеобразен по большей смелости и самоуверенности с детства. Отец, прошедший суровую школу воспитания, был очень скромным и застенчивым человеком. Строгое и замкнутое воспитание получила и мать, часто жалевавшая впоследствии, что застенчивость много вредила ей в жизни. Эту дерзновенную смелость <...> пронес через всю свою жизнь один Володя. Конечно, свободные условия воспитания имели тут значение, но все же несомненное своеобразие типа было в Володе с раннего детства».

У мальчика были приятели, товарищи по играм, но не было близких друзей. Учитывая определенную замкнутость семьи Ульяновых, удивляться этому не приходится. «Ульянов в гимназическом быту довольно резко отличался от всех нас — его товарищей, — вспоминал его одноклассник Наумов. — Начать с того, что он ни в младших, ни тем более в старших классах никогда не принимал участия в общих детских и юношеских забавах и шалостях, держась постоянно в стороне от всего этого и будучи непрерывно занят или учением, или какой-либо письменной работой. Гуляя даже во время перемен, Ульянов никогда не покидал книжки и, будучи близорук, ходил обычно вдоль окон, весь уткнувшись в свое чтение. Единственно, что он признавал и любил как развлечение, — это игру в шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при одновременной борьбе с несколькими противниками. По характеру своему Ульянов был ровного и скорее веселого нрава, но до чрезвычайности скрытен и в товарищеских отношениях холоден: он ни с кем не дружил, со всеми был на «вы», и я не помню, чтоб когда-нибудь он хоть немного позволил себе со мной быть интимно-откровенным. Его «душа» воистину была «чужая» и, как таковая, для всех нас, знавших его, оставалась, согласно известному изречению, всегда лишь «потемками». В общем, в классе он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но вместе с тем нельзя сказать, что его любили, скорее — его ценили. Помимо этого, в классе

ощущалось его умственное и трудовое превосходство над всеми нами, хотя надо отдать ему справедливость — сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал».

Примерно то же вспоминал и Аполлон Коринфский, говоря: «Он никогда ни с кем из нас не сблизился на почве дружбы. Товарищеские начала соблюдались им неуклонно и неизменно; но не было случая, когда бы эти отношения переходили на более интимную плоскость. Он был для всех «наш», но ни для кого не был «своим». Это вносило уже известный элемент холодности, хотя нельзя сказать, чтобы эта холодность сбивалась на отчужденность». И все же приятели у Володи были, однако не из круга его одноклассников-гимназистов. Так известно, что он тесно общался с детьми коллег своего отца — Борисом Фармаковским и Николаем Стржалковским.

Пока Володя Ульянов корпел над трудами античных авторов, в стране происходили большие перемены. После убийства Александра II в 1881 году Россия вступила в полосу реакции. Илья Николаевич ни в коей мере не сочувствовал террористам и был вполне лояльным подданным империи. Однако происходившие в стране процессы затронули и его. В 1884 году представители духовенства раскритиковали директора народных школ за то, что он уделяет недостаточное внимание религиозному воспитанию в учебных заведениях. Спор с церковниками попортил отцу семейства Ульяновых много крови. Его и без того не слишком крепкое здоровье пошатнулось. Практически сразу же после Рождества 1886 года он слег. В семье поначалу не придали его недомоганию большого значения — решили, что обострилась хроническая болезнь желудка. Сам Илья Николаевич пытался делать вид, что все в порядке, и даже заняться служебными делами — тем самым, возможно, подписав себе смертный приговор. Днем 12 января он не пошел обедать со всей семьей; когда жена и дети уже сидели за столом, Ульянов-старший вышел из своего кабинета, обвел всех долгим взглядом и снова скрылся в дверях.

Через несколько часов его не стало. Приехавший уже к постели умершего доктор констатировал кровоизлияние в мозг. Напряженно работая, отдавая все силы своему призванию, обеспечив достойный уровень жизни своей семье, Илья Николаевич Ульянов подорвал свое здоровье. Организм уже немолодого мужчины не выдержал напряжения.

Хоронили его через три дня, 15 января. В Симбирске Ульянова любили и уважали, поэтому на похороны пришло много людей — коллеги, подчиненные, ученики... «В местном обществе Илья Николаевич заслужил редкое внимание и уважение, — говори-

лось в некрологе, опубликованном в местной газете. — Смерть Ильи Николаевича была встречена как близкая для всех утрата. К 9 часам утра все сослуживцы покойного, учащие и учащиеся в городских народных училищах, г-н вице-губернатор, директор и многие учителя гимназии, кадетского корпуса, духовной семинарии и все чтители памяти покойного (а кто в Симбирске не знал и не уважал его!) и огромное число народа наполнили дом и улицу около квартиры покойного <...> Гроб с останками покойного был принят на руки его вторым сыном, ближайшими сотрудниками и друзьями».

На могиле Ильи Николаевича вдова поставила скромный памятник. Теперь семье нужно было привыкать к гораздо более сложным материальным условиям.

Володя неожиданно для себя оказался самым старшим мужчиной в доме. Александр, студент Санкт-Петербургского университета, находился в Северной столице. Правда, «пятнадцатилетним капитаном» Владимиру становиться было не нужно: бразды правления твердо удерживала в своих руках Мария Александровна. Уже 14 января она подала прошение о назначении ей и детям пенсии в связи с утратой кормильца.

Смерть отца стала для Володи тяжелым ударом. Он не жаловался и не плакал, но его поведение серьезно изменилось. Он стал более своевольным, начал дерзить матери, так что приехавшему на летние каникулы старшему брату пришлось его урезонивать. «Человек очень способный, но мы с ним не сходимся», — сказал Александр о своем младшем брате. Володя стал также более замкнутым, ушел в себя, все больше времени проводил с книгами. Из его поведения не стоит делать какие-либо далеко идущие выводы. В конце концов, он был в самом сложном, переходном подростковом возрасте, когда многие даже без всяких жизненных потрясений начинают вести себя не вполне адекватно.

Гораздо более важна для понимания личности Ленина другая деталь. Перенесенная трагедия никак не сказалась на его учебе. Он продолжал упорно трудиться и считаться лучшим учеником в классе. В мае 1887 года он сдал десять выпускных экзаменов, и все — на «отлично». Гимназию Владимир Ульянов окончил с золотой медалью. Директор гимназии Керенский дал ему следующую характеристику:

«Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению. Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он

словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение».

И все же в бочке меда была ложка дегтя:

«Добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в личном поведении Ульянова. Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости и чуждаемости даже с знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами, которые были красотою школы, и вообще нелюдимости».

<...>

Н. КЛЮЕВ*

Ленин (1918, 1923)

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».
Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.
Нам красная молвь по уму:
В ней пламя, цветенье сафьяна, —
То Черной Неволи басму
Попрала стопа Иоанна.
Борис, златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.
Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяником,
Там нищий колодовый гроб

* *Николай Алексеевич Клюев* (1884–1937) — русский поэт, представитель новокрестьянского направления в русской поэзии XX века. Стихи Клюева рубежа 1910-х и 1920-х отражают «мужицкое» и «религиозное» приятие революционных событий, он посылал свои стихи Ленину (несколькими годами раньше, вместе с Есениным, выступал перед императрицей).

С останками Руси великой.
«Куда схоронить мертвеца», —
Толкует удалых ватага.
Поземкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.
Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.
Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

М. КОЛЬЦОВ*

Человек из будущего (1923)

Там — натянулись туго обручи, готовые сию минуту лопнуть от рывка измученных людей в синих блузах, засаленных кепках. Раскаленные жарой, ждут циклона, благодетельной грозы, освежения и отдыха.

Здесь — холодное лето, невысохшие слезы дерев, смутный лик природы. Здесь, в России, тоже ждут циклона — другого. Тепла, жаркой рабочей страды.

И там, в тошнющие минуты отчаяния, и здесь, в радостные перемены труда, стирая пот со лба, чуть собрав мысли, замирают и, притихшие, думают о человеке, далеком и близком, о болезни человека незнакомого, но такого нужного и важного, того, на имени которого встречаются мысли всего человечества. Если слышат тревожное — темнеют лица и сжимаются руки. Если радостное, об улучшении — тогда распрямляется спина, ярче светят глаза.

Если бы можно было передать Ленину сил, здоровья, крови, он жил бы Мафусаилом неслыханной мощи и крепости. Пролетариат же всего мира, переливая вождю частицы миллионов жизней, не думал бы ни о загробном возврате, ни о земном возмещении.

* *Михаил Ефимович Кольцов (Моисей Хаимович Фридлянд, 1898–1940)* — советский писатель, публицист и общественный деятель, журналист, заведующий Иностранным отделом Союза писателей СССР. Член-корреспондент АН СССР (1938).

Разве не кровь самого пролетариата — кровь Ильича? Не рабочие мускулы — его мускулы? Не центральная узловая станция и главный стратегический штаб — мозг Ленина?.. Мы знаем:

1. Любит детей.
2. И котят.
3. Часто смеется.
4. Скромен в одежде и в образе жизни.
5. Хороший шахматист.
6. Любит кататься на велосипеде.

Это почти все. Еще немного, но не много знаем о нем. И что тут такого важного: любит детей! Мало ли кто любит детей!

Как это странно... Так ценим, так любим — и так мало знаем лично. У нас есть и институт Ленина, собирающий всякую бумажку с его пометкой, а сам Ленин-человек нами еще до сих пор полностью не изучен и не освоен до конца.

От какого-нибудь Наполеона у нас осталось впятеро больше торжественных фраз, поз, скрещенных рук, «исторических случаев», чем от живого, присутствующего Ленина.

И афоризмы ленинские тоже такие же скромные, как его пиджак. Простые, утилитарные, по стилю обыденные, не лезущие в одну книжку с Александром Македонским и королевой Викторией.

— Лучше меньше, да лучше.

— Долой революционную фразеологию!

— Поменьше политиков, побольше инженеров и агрономов!

Если мы будем подходить к великому человеку Ленину с такими же мерками, с какими подходят к обычным патентованным великим людям, мы не добьемся ничего. Мы будем ловить руками пустой воздух.

В том-то и вся поразительная суть, что Ленин — первый из «новой серии» великих умов и характеров, выдвинутых человечеством в начавшийся новый период социалистического переустройства мира. И выглядит он, этот первый из новой вереницы, совсем не так, как выглядели расфуфыренные фигуры старых гениев, подмалеванные поклонением буржуазных историков.

От Наполеона остались портреты, анекдоты, запыленные перчатки под стеклом музея. После Ленина останутся великие исторические перемены. И отчего? Именно оттого, что гений Ленина насковзь величественно утилитарен, глубоко сращен с его партией, классом и эпохой.

Попробуем взять, скажем, Петра Великого и отделить его от страны. Это не трудно. Можно себе представить другого, скажем, китайского Петра Великого, тоже у себя стригшего дворянам не бороды, а косы, толкавшего вперед отсталую страну, насаждав-

шого мореплавание, геометрию... Разве Мустафа-Кемаль в наши дни не повторяет жестов Петра, срывая феску со старой Турции?

Попробуйте взять отдельно Ленина. Исцарапайте себе до крови мозги — не возьмете. Ни за что не разберешь, где кончается личный Ленин и начинается его семья — партия, так же как трудно определить резкие грани там, где кончается партия и начинается пролетариат.

Ленин — это сложнейший тончайший аппарат, служащий пролетариату для его исторической миссии. Потому-то так грозен для врагов его облик, потому-то так прирос он к рабочему классу, потому и физически больно пролетариату, когда Ленин болен.

Отлично известно отношение партии к Ленину. Единственное в истории неповторимое сочетание доверия, благоговения, восхищения с дружеской, фамильярной спайкой, с грубоватой рабочей лаской, с покровительственной заботой матери о любимом сыне. В. И. Ульянов-Ленин — грозный глава Республики-победительницы, и Ильич — простой, близкий, старший брат. Не было никогда, нигде такой всесторонне сплетенной связи полководца с войском, политического вождя с единомышленниками.

Но интересно отношение к Ленину не только его партии, а широчайших кругов страны, массы обывателей, интеллигентов и мещан, сначала пошедших наперекор революции, хотевших слабыми руками повернуть поток вспять, а потом самих повернутых и потянутых революцией по течению ее.

Приезд Ленина в Россию был встречен ими диким взрывом озлобления. Сразу, общим фронтом, было предано широкой рекламной анафеме ленинское имя, еще несколько месяцев назад слабо знакомое обывательскому уху; каким широким радиусом разлилась тревога буржуазных и правосоциалистических верхов! Для них день 3 апреля, день приезда Ленина, был моментом чего-то трагически важного, непоправимого, того, что никак не должно было случиться и случилось.

Посмотрите буржуазные газеты и журналы второй половины семнадцатого года. Океан грязи, Монблан клеветы. Но как это, особенно теперь, кажется наивно, беспомощно! При всем напоре, при мобилизации всех запасов яда и злобы буржуазная кампания прессы против Ленина была юмористически беззуба. Ленин — запломбированный вагон, немецкие деньги. Ленин — агент германского генерального штаба, грабитель с большой дороги... Нечестивый узурпатор особняка балерины Кшесинской, враг своего отечества... Как вся эта слабенькая дребедень не затопила сурово-загадочного, предвещающе-грозного имени, а лишь увеличивала внимание и шум вокруг него!

Ведь буржуазные журналисты, желая по-настоящему испугать Лениным публику и восстановить против него, могли бы зычным голосом сказать гораздо более страшные слова.

— Это тот, кто зовет рабочих отобрать у вас ваши дома и фабрики. И волов ваших и ослов ваших! И белый хлеб и спокойное житье! Тот, кто заставит вас трудиться, чтобы есть, колоть дрова, чтобы не замерзнуть. Это тот, кто вывернет всю вашу жизнь наизнанку! Овчиной наружу!

Буржуазные газетчики не писали этих слов, ибо сами боялись увидеть их на бумаге, боялись услышать их, боялись даже мысленно представить себе все это.

И они отделялись болтовней о запломбированном вагоне, изо дня в день жевали детскую жвачку, еще более жидкую, чем барабанные стихи о Вильгельме-шельме, скреблись, как мышь безнадежно скребется о стекло. Вzbивали грязную пену, бессильно болтавшуюся за волной, уже упруго вздымавшей Ленина и его дело.

Надо было устроить выставку этих предоктябрьских писаний, пасквилей и карикатур на Ленина. Был бы убедительнейший пример того, как абсолютно не прилипает, отваливается, как горох от стены, любая клевета от подлинно чистого и великого имени. Выставка была бы поучительна именно тогда, когда враждебная революции обывательская, мещанская масса так безоговорочно и категорически склонилась перед непререкаемым авторитетом, обаянием и чистотой личности Ленина.

Если рассматривать Ленина просто как человека, как Владимира Ильича Ульянова, если посмотреть следы жизни его в среде окружавших его современников, — все равно остается бодрое и радостное чувство.

Есть и было много крупных, даже великих личностей, объективно сделавших на своем веку много исторически ценного, важного, хорошего. Но часто это были сухие, мрачные, неприятные люди, колючие и нетерпимые в обращении, самонадеянные, самовлюбленные, гениально вздорные.

Ленин как личность был устроен гармонически. Величие мирового исторического Ленина нисколько не задавило и не ущемило человека и партийца Владимира Ульянова.

Отказавшись от мысли отрицать мощь и волю великого революционера, буржуазия пыталась исказить его личный облик. В описаниях наших врагов Ленин — мрачный фанатик.

Талантливый писатель-юморист Аверченко, превратившийся напоследок жизни в яростного белогвардейца, попробовал в сборнике «Дюжина ножей в спину революции» описать Ленина именно таким — гиперболическим разбойником.

Получилось очень смешно, но совсем не в том смысле, в каком рассчитывал развеселить читателя автор. Хохотал больше всех, читая о себе, сам Ильич. Он даже иронически расхваливал в «Правде» книгу Аверченко.

Что было смешно? Оказался глуп и смешон сам юморист, попавший со своим описанием пальцем в небо.

И любопытная штука. Мы проверили её, порывшись в эмигрантских книгах. После заметки в «Правде» Аверченко, переиздавая свой сборник рассказов, стыдливо выбросил рассказ о Ленине, заменил в дюжине этот неудачный свой «нож» другим, Впрочем, не более острым.

Казалось бы, интересы рекламы заставляли белогвардейского писателя повторить свой рассказ, замеченный самим Лениным. А все-таки — на громадном расстоянии, через границы и фронт — Аверченко стало не по себе...

Зато буквально все настоящие описания и воспоминания о встречах, разговорах и работе с Владимиром Ильичей абсолютно совпадают в части производимого им лично впечатления:

- Очень живой человек...
- Общительный!
- Веселый!

Ведь Ленину пришлось вести свою партию через страшные боевые ущелья. Держать бойцов в огромном напряжении воли. Накалить их для ведения упорной кровопролитной войны.

И все-таки Ленин лично не ожесточался. Он так и остался от первой до последней страницы своей личной биографии добрым, отзывчивым, заразительно жизнерадостным человеком и товарищем.

Этот железный человек, на которого временами ложилась непередаваемая трагическая тяжесть решающих моментов революции (Брест, мятеж левых эсеров, польская война), не надламывался, не терял крепкого, бодрого, солнечного мироощущения. Пример для всех нас!

- Ильич расхохотался.
- Ильич улыбнулся.
- Ильич начал ругательски ругать, но под конец смягчился и добродушно высмеял нас.

Такие черточки встречаешь очень часто в воспоминаниях ближайших сотрудников Ленина о самых тяжелых, смертельно опасных днях.

Как забыть до сих пор звенящий в ушах ленинский смех на больших собраниях, когда он в горячий момент речи, с разбегу «обкладывал» противника хлестким словом и, зараженный хохотом зала, сам, остановившись, веселился по поводу сказанного!

Пусть никогда не присваивают себе напыщенно мрачные, высокопарно трагичные люди претензии на «высший революционный стиль», на образцовость коммунистического поведения. Живая, веселая простота величайшего из вождей уничтожающе говорит против них!

— С первого дня, пока не была устроена для меня отдельная комната, Владимир Ильич, проходя ночью в темноте, нечаянно задел меня ногой и взволнованно сейчас же спросил у своих: «Почему у нас Паша спит на полу?» Ему Елизавета Васильевна объяснила, что еще не успели приготовить для меня комнату и что скоро все необходимое будет сделано. На второй день мне отвели отдельную комнату с кроватью и постельными принадлежностями.

— Прежде чем дать какую-нибудь работу, меня обыкновенно спрашивали, могу ли я это сделать, а если я говорила «нет», меня учили, как это делать.

Это вспоминает о Ленине крестьянка Прасковья Мезина, та, что помогала стряпать семье Ульяновых в ссылке, та, которой на прощание хозяева пожелали «иметь двух дочек и двух мальчиков».

— На второй год нашего знакомства у меня родился сын, и моя жена стала просить Ульяновых «принять мальчика». Они не заставили себя долго просить и стали нашими кумовьями.

Надо было платить деньги за подати. Прихожу, бывало, к Владимиру Ильичу, еще ничего не успеешь сказать, а он уже почему-то догадывается, что я к нему пришел не так просто. «Ну, что? Поди, деньги нужны?» «Да, Владимир Ильич, ежели можно, выручите». «А сколько нужно вам?»

Это рассказывает о Ленине шушенский крестьянин Ермолаев, тот, кто ходил с ним на охоту стрелять куропаток, тот, кто подтрунивал над ним при промахах и радостно бежал подбирать подстреленную дичь.

— Наш новый пропагандист учил нас хорошо, с большим терпением. Любил шутки и сам их охотно принимал. В конце занятий бегал за хлебом и колбасой по двенадцати копеек фунт, в складчину. Готовили чай и вместе с нашим пропагандистом все это уничтожали.

Это вспоминает рабочий Малолетов, тот, кто учился на Васильевском острове в кружке Ильича двадцать пять лет назад.

Не с неба свалилось ленинское учение. Значит, все тома ленинских сочинений и все то, что на нашей планете приведено в движение этими томами, нанизано на стержень живой человеческой жизни.

И эта жизнь, стремительная зубчатка, не вращалась в книжнотеоретической пустоте, а цепко задевала за все, стоявшее на ее пути.

Весь мир навсегда узнал Ленина — революционера, ниспровергателя, мыслителя, созидателя социалистического государства, бойца, ученого, партийца, вождя и писателя. А за Лениным, неотделимо от него стоит Владимир Ульянов — живой, вечно активный открытый, общительный, остроумный и, главное, вполне доступный, понятный окружающим.

Как это характерно! Сколько ни перечитываешь всяческих буржуазных писателей о Ленине, особенно о его личности, натыкаешься всегда на одно и то же:

- Человек без сердца.
- Непонятная натура.
- Сфинкс.

А читаешь или слушаешь людей того класса, которому служил Ленин, — и никакого сфинкса нет, и Ульянов кажется таким ясным, таким цельным, выдержанным, понятным... Как он мог бы быть иным!

Прасковья Мезина из занесенного снегом сибирского села с лаской вспоминает, как оберегал Ленин ее труд и заботился о человеческих удобствах ее жизни. Чистенькому немцу-сапожнику Камереру с улицы Шпигельгассе в Цюрихе приятно рассказать:

— Он сам сделал вот эту полку для писем, чтобы почтальону не приходилось много бегать по лестнице. Он всегда заботился, мой жилец, господин Ульянов, о том, чтобы люди зря не бегали и не беспокоились. Он оберегал наш покой и заботился о нем.

Ульянов, который берег окружающих, был с ними заботлив, как отец, ласков, как брат, прост и весел, как друг, и деликатен до того, что в царские времена не отказывался от обычая кумовства, чтобы не обидеть крестьянина, — и Ленин, принесший неслыханные беспокойства земному шару, возглавивший собой самый страшный, самый потрясающий кровавый бой против угнетения, темноты, отсталости и суеверия. Два лица — и один человек. Но не двойственность, а синтез.

Те, кто, заблуждаясь в толковании жизненного пути революционера, дает волю анархическому наплевательству на окружающих, лжекоммунистическому заносчивому отношению к отсталым, темным, слабым, чванливому отмежеванию от реальной жизни, если они хотят быть ленинцами не только в служебные часы, от десяти до четырех, а целиком, во всей своей жизни, пусть пристально взглянутся в его человеческий и глубоко человеческий облик. Они поймут ясную, до улыбки простую вещь:

— Чтобы быть хорошим ленинцем в политике, неплохо быть ульяновцем в жизни.

Сначала враги Ленина признали его мудрость.

Потом его гениальную смелость, прямоту и беспощадность к предрассудкам чужим и своим собственным. Личный героизм.

Наконец его абсолютное всестороннее человеческое бескорыстие, чистоту до святости.

И это вбилось гвоздем.

В душно наэлектризованный вечер 8 марта 1923 года меня на улице остановил знакомый. Обыватель, мещанин, циник, вечный злопыхатель, открытый враг. В руке бумажный комок — «сообщение о здоровье председателя Совета Народных Комиссаров».

— Читали?

— Читал. А что?

— Как же теперь? Что же будет? Что же это? Как это?

— Будет, как было, не беспокойтесь. Но вам-то что до Ленина?

Он смутился, стали нехорошими глаза, но овладел собой и сказал мне тихо и просто:

— Сам не понимаю, как это прокралось ко мне. Только чувствую, что несчастье с ним было бы для меня личным горем. Да и для других вроде меня. Можете радоваться.

Такое, от таких же людей мы в ленинские дни слышали отовсюду. Люди, враждебно настроенные против революции, непримиримые к коммунистам, воздают ему великое признание, политическое и моральное. Отчего?

Разве Ленин был менее, а не более грозен с буржуазией?

Разве он был мягче, а не беспощаднее в тяжелом углублении революции и укреплении советской власти на спинах ее врагов?

Разве он выделялся своим «либерализмом» и миндальничанием, а не наоборот?

Нет, не оттого. От другого.

Оттого, что в Ленине даже враги его видят человека будущего, пионера оттуда, из мира осуществленного коммунизма — мира, который раньше или позже, с отсрочкой или без, но все равно наступит.

Со всей остальной партией, от рядовых коммунистов до крупнейших вождей, нашим врагам и «нейтральному» мещанину приходится сталкиваться с будничной борьбой на классовом фронте в ежедневны отчаянных стычках. Их повседневные противники солдаты неприятельской армии в многолетней, но обыденной борьбе.

Ленин отмечен для них праздничной печатью социальной справедливости, той, которую они в глубине души не могут отрицать.

Ленин среди коммунистов — действительно человек оттуда, из будущего.

Мы все — по уши в повседневном строительстве и борьбе, он же, крепко попирая ногами обломки старого, строя руками будущее,

ушел далеко вверх, в радостные дали грядущего мира и никогда от них не отрывался. Мы все помним, как рассердился Ленин, увидя где-то на митинге плакат «царству рабочих и крестьян не будет конца», как горячо подчеркивал он тогда переходную роль классов на пути к будущему неклассовому обществу...

Безупречный воин за мировую справедливость, человек из будущего, посланный заложником грядущего мира в нашу вздыбленную эпоху угнетения и рабства, — вот звание, категорически признанное всем человечеством за Владимиром Лениным при жизни его, на пятьдесят четвертом году.

Жена. Сестра (1924)

Десятилетиями партия видела две женские фигуры около Ленина. Жену. Сестру.

Издали, через путаницу границ, мимо глаз жандармов, в подпольные берлоги революционеров, тонко, неслышно, крадучись, проникали объемистые письма Центрального Комитета. Приказы, напоминания, предостережения, одобрения, ободрения.

Писал Ленин, шифровала, отправляла, пересылала Надежда Константиновна.

В волнах людей, стеклянных переплетов заводских сводов, на площадях, в вокзалах, с автомобиля неслась бурливая, волнующая скороговорка Ленина, а рядом с ним, скромно затерявшись в толпе, но не далее пяти шагов всегда дежурила, стерегла, берегла бедная шубка Марии Ильиничны.

Женевский отшельник стал вождем сотен миллионов трудящихся, правителем шестой части света. Его слова уже не шифруются химическими чернилами, не таятся зашитыми в одежду, их диктуют по радио всему миру, расклеивают как приказы, скрепленные мощью четырехмиллионной армии. Но жена, сестра не отделились ни на шаг. Только масштабы выросли, как в телескопе.

Надежда Константиновна учит Россию, безграмотную страну рабочих и крестьян, читать.

Мария Ильинична учит рабочий класс писать. Она вкладывает в перепачканную руку пролетария перо:

— Пиши о себе.

У нас так много толковали, чесали языки о коммунистическом быте, о семье рабочего и партийца, вычисляли, через сколько сотен лет придет проектируемый быт. Но вот, смотрите, коммунистический быт уже среди нас! Семья Ленина. Это так же изумительно, как Ленин. Это так же просто, как Ленин.

До конца, до последнего вздоха Ленина, до его прихода в Мавзолей Надежда Константиновна была, ни на миг не переставала быть — коммунисткой и женой коммуниста.

До последнего пути к кремлевской стене Мария Ильинична была, не переставала быть — коммунисткой и сестрой коммуниста.

Если болезнь притихала на полдня, на день, на два, уже Крупская — к письменному столу в Главполитпросвет, к бою с чудовищем российского невежества, уже Ульянова — на саянях, в мороз, трясясь в вагончиках Павелецкой дороги, скорей, запыхавшись, шапка съехала набок — в «Правду», в комнату рабкоров.

В эту звенящую в ушах неделю, когда смерть Ленина леденила нашу кровь, в Горках у постели, в последнем рейсе Ильича, в Доме Союзов, на Красной площади — поднимал глаза на прямую фигуру, на прямой взгляд жены, сестры и обрывал себя: «Молчи. Терпи!»

На Съезде Советов, в переполненном колодце Большого театра, когда стало тихо до суши в горле и вышла Надежда Константиновна, она сказала самое в эту минуту неожиданное, но самое простое и самое нужное.

Слова величайшей, самой благородной скромности не только в отношении смерти Ленина, его самого и его партии, но и самого рабочего класса. Слова о том, что роль рабочего класса в истории — не добыть себе сладкое житье, а быть борцом за освобождение всех угнетенных всего мира.

Над еще свежей могилой Ленина жена — и губы ее не дрожат — призывает не прославлять бессмертное имя трогательными, но шаблонными способами обычного чествования. Она указывает на простые, будничные — но великие, но реальные — дела, на то, что было так просто и так изумительно для коммуниста Ленина, ее мужа.

Владимир Ильич пришел к нам из будущего. Через наши головы он видел эту далекую страну. Край победившего и осуществленного социализма. Его семья — жена, сестра — тоже семья из будущего коммунистического мира.

Коммунистки и жены коммунистов! Не кивайте же туда, в пустоту грядущего, не откладываете на потомков! Ведь семья Ленина была с ним при жизни и смерти его — в наши дни, при вас.

Коммунисты, друзья, почитатели, последователи Ленина! Если вы когда-нибудь захотите занять свои уста пошлостью, голый благоговейной фразой, безответственным, добродетельным ханжеством, помните, помните, — на вас смотрят строгие глаза жены, сестры. Смотрят и твердят о делах.

А. КОНОНОВ*

Рассказы о В. И. Ленине

На мосту

Восстание началось ночью.

Ночь была чёрная, грозная. Фонари на улицах не горели. На Неве тёмной громадиной высился большевистский крейсер «Аврора». Огни на нём были погашены, а дула орудий повернуты к Зимнему дворцу.

В темноте раздавались далёкие выстрелы, трещали мотоциклы, с грохотом носились по мостовой грузовики; на них стояли с винтовками солдаты и матросы.

Горели костры на улицах. Красногвардейцы грелись у огня, негромко переговаривались, ждали приказа наступать.

Отряды вооружённых рабочих к этому времени уже заняли все мосты через Неву.

На одном мосту стоял молодой петроградский рабочий Андрей Крутов. Вместе с ним охраняли мост ещё восемь бойцов — красногвардейцев и матросов. Командовал ими старый большевик, которого все звали Василием Ивановичем.

Два раза за ночь мост обстреливали юнкера, но красногвардейцы отогнали их выстрелами, не сходя с места. Через мост можно было пройти только по особым пропускам.

Но у одного человека пропуска не было, и всё-таки его пропустили. Когда он подошёл ближе к заставе, Василий Иванович шагнул к нему с револьвером в руке и спросил строго:

— Ваш пропуск!

Человек остановился и отогнул поднятый воротник пальто.

Щека у него была туго обвязана платком.

Он негромко сказал что-то Василию Ивановичу. Тот постороился и взял под козырёк.

Человек с подвязанной щекой прошёл быстрыми шагами мимо Андрея на мост и скрылся в темноте.

А начальник заставы вернулся на своё место, стал рядом с Андреем.

Он не сказал ни слова и всё поглядывал в ту сторону, куда ушёл незнакомец. Там, за рекой, по временам глухо гремели выстрелы.

* Александр Терентьевич Кононов (1895–1957) — русский советский, педагог, писатель, получивший известность в связи с рассказами о В. И. Ленине для детей.

Наконец Крутов не вытерпел и спросил:

— Что ж, показал он тебе пропуск? Василий Иванович ответил медленно:

— Нет. Он не успел его получить. Он скрывался всё время... Сперва в Финляндии, потом здесь. А сейчас вот идёт в Смольный.

Потом Василий Иванович добавил, и Андрею почудился в его голосе страх:

— Подумать только: он прошёл сюда мимо вражеских отрядов. Его же могли... ты понимаешь, его могли убить!

В первый раз слышал Андрей, что его командир говорит таким голосом.

Он заглянул Василию Ивановичу в лицо и спросил:

— Да кто это был?

И командир красногвардейской заставы ответил:

— Владимир Ильич Ленин.

Мальчик и Ленин

Шёл мальчик из села Ям. Он нёс пустую корзинку.

Дорога была ему знакома: поле, речка, мост через речку. А за мостом тропинка вела в гору. На горё за большими деревьями стоял белый дом с колоннами.

Недалеко от этого дома мальчик догнал человека в синей рубашке и тапочках.

Мальчик сказал ему:

— Тут Ленин живёт.

— А тебя как зовут, мальчик? — спросил он. — Ты куда идёшь-то?

— Мишей зовут. А иду я в совхоз за капустой.

— Ну, значит, тебе прямо, а мне в сторону. Прощай, Миша.

Мальчик пошёл дальше один. На дороге около грядки с цветами стояла женщина с граблями. Когда мальчик подошёл поближе, она оперлась на грабли и спросила:

— О чём это ты там с Лениным говорил?

Мальчик поставил корзинку и хотел бежать назад.

А Ленин уже ушёл.

Большое дерево

Деревья в парке были большие, тенистые. И росли они на высоком месте.

Отсюда, с горы, было видно поле, за полем — деревня, за деревней — железная дорога. А слева от парка текла речка Пахра.

Иногда Владимир Ильич спускался по тропинке вниз, шёл к речке, встречался с крестьянами, беседовал с ними про их дела. А иногда останавливался на дорожке в парке и следил, как тают за деревней белые дымки над далёкими паровозами.

Возле дорожки, на повороте, росла большая ель. Ветви её нависали над дорожкой, и на песок падала тень, такая густая, что солнечных кружков в ней можно было насчитать три-четыре, не больше.

Сюда в жаркие летние дни собирались играть ребята. Усталые люди садились отдохнуть под деревом.

Однажды (было это в июне 1920 года) пришёл Ленин к этому месту и увидел: остался от большой ели один пенёк, а ствол лежит на траве спиленный. Верхушка и сучья обрублены топором.

Владимир Ильич вернулся домой и стал расспрашивать:

— Кто срубил? И как это комендант не уследил?

А комендант в Горках заведовал всем хозяйством: домом и другими постройками, электрической станцией. И парк охранять тоже было его обязанностью.

Пошли к коменданту узнавать, как это случилось, что в парке стали рубить деревья.

И оказалось, что срубил ёлку сам комендант.

Узнав про это, Владимир Ильич рассердился не на шутку:

— Экое безобразие! Посадить его под арест!

Коменданту и в голову не приходило, что его так накажут.

И он пошёл к Ленину объяснить, зачем спилил дерево.

Но Владимир Ильич ответил ему строго:

— Деревья в парках растут не для того, чтобы их на дрова рубить. Это и маленьким ребятам понятно. А вы ведь взрослый человек.

Комендант расстроился и начал не совсем связно говорить, что, конечно, он сделал ошибку, но нельзя ли для первого раза как-нибудь полегче наказать его.

— Полегче? — удивился Владимир Ильич. — Да ведь это не моё дерево. Это народное достояние. Значит, нельзя полегче.

И комендант ушёл ни с чем.

В тот день даже кто-то из родных стал заступаться перед Владимиром Ильичём за коменданта. А Ленин сказал: хуже всего, что срубил дерево не кто-нибудь другой, а именно комендант. Человека поставили охранять народное имущество, а он его портит. От этого его вина ещё больше.

Так и отсидел комендант неделю под арестом.

Красивая лиса

Ленин любил охоту. Но охотиться ему приходилось редко: не было для этого времени.

Может быть, потому, стреляя, он и давал иногда промахи. Но это не портило ему удовольствия.

Когда Ленин отдыхал после болезни, товарищи решили пригласить его на лисью охоту. Было это зимой, в хороший морозный день.

Охоту устроили с флажками. Вокруг леса, где была лисья нора, расставили красные флажки. Потом охотники стали по своим местам. Остановился за огромной сосной и Владимир Ильич.

Где-то вдали раздался гулкий лай, потом прогремел в лесу далёкий ружейный выстрел. Ленин стоял с ружьём в руках. Стало тихо кругом. Видно, лису выгнали в другой конец леса. Какая-то птица пролетела над головой Владимира Ильича, задела ветку на сосне, стряхнула снег. Сверху, медленно кружась, посыпались лёгкие снежинки.

Очень красиво и тихо было в лесу.

Неожиданно из-за молоденькой ёлки показалась лиса. Она оглянулась, потом вытянула шею — должно быть, нюхала воздух. Шерсть на ней была длинная, пушистая. Особенно хорош был хвост. Когда лиса шевелила им, хвост переливался на солнце рыжими искорками.

Владимира Ильича лиса не видела: он стоял за сосной.

Лиса вдруг прыгнула вперёд и остановилась. Она прислушалась, повела хвостом и тревожно поглядела вдаль тёмными круглыми глазами: почуяла человечьи следы.

В это время недалеко от Ленина колыхнулся от лёгкого ветра флажок. Лиса испугалась и метнулась назад.

А к Ленину уже бежал старый охотник и сердито что-то кричал.

Владимир Ильич стоял, опустив книзу дуло ружья.

— Что ж не стреляли-то? Ведь она рядом стояла, Владимир Ильич!

Ленин улыбнулся и ответил:

— Жалко стало. Уж очень она красивая.

Л. КОТОМКА*

Третье поручение**

Приближалась ночь с 26 на 27 октября. В дни восстания спать почти не приходилось. И вот я снова около М. С. Ольминского. Беседуем об искусстве восстания.

— Из какого теста лепятся оппортунисты? — спрашиваю я. Мне хочется социально осмыслить явление. — Кто они, предатели по природе или жертвы неправильной теории?

В самый разгар горячей беседы подходит Емельян Ярославский. Строгий, суровый, выдержанный. В его усах прячется улыбка.

— Надо поехать в Петроград, — говорит он мне. Я вспыхиваю. Захватило дыхание. Такое поручение, о котором и не мечталось!

— Нет связи, — поясняет Емельян Ярославский. — Есть телефон, по которому можно говорить с Москвой, а Смольный этого не знает. И надо информировать петроградцев о московских делах.

«Смольный!» — как молния проносится в голове.

Софья Николаевна Смидович вручает мне железнодорожный билет и мандат от Московского Военно-революционного комитета. Улыбается. Она рада, как и я, что мы в гуще событий, вместе с другими товарищами участвуем в общем революционном деле. Но радость радостью, а дело делом.

— В Петрограде восстание началось. Но чем кончилось, неизвестно. Будьте осторожны. Подъезжая к вокзалу, смотрите, кто на перроне. Если матросы, — наша взяла! Из левого кармана вынимайте мандат Военно-революционного комитета. Если юнкера — вытаскивайте билет железнодорожника.

Все ясно. Остальное в моих руках, в моей выдержке и находчивости. Молча жму руку. Ухожу.

Вокзал Николаевской (теперь Октябрьской) железной дороги. Бывший царский павильон. Восьмого октября здесь происходила общегородская конференция Союза молодежи, раздавались страстные революционные речи. Как мало прошло времени, как много произошло событий! Тут теперь штаб Военно-революционного комитета Николаевской железной дороги. Вооруженная молодежь...

* *Леонтий Котомка* (Желткевич, Ирина Зеленая и др.; 1890–1965) — псевдоним Владимира Иосифовича Зеленского, поэта-социал-демократа, организатора большевистского союза молодежи, печатавшегося в газете «Правда» и выпускавшего в 1918 г. сатирический журнал «Соловей» (впоследствии — сотрудника Известий и Гослита).

** Юность. 1957. № 10. С. 46–47.

Поезд отрывается от платформы и медленно двигается, оставляя позади пригороды Москвы. В моем вагоне ни души. В соседних вагонах по два, по три человека. И в Москве, и в Петрограде неспокойно.

Петроград для меня — это размах революционной деятельности, это беззаветная страсть революционной молодежи, демонстрации на Невском проспекте, у Аничкова дворца, на Литейном, на Знаменской площади, сходки, тайные собрания, прокламации, «Правда». Волнующие воспоминания.

Ведь в Петрограде (Петербурге) прошли лучшие годы моей юности. Тут развернулась моя партийная работа.

Вспоминается более далекое прошлое. Камышин, Саратовской губернии. Реальное училище. Живу в доме у вдовы Татьяны Семеновны Нагорновой. Невзрачная улица. Дворы тянутся около оврага. В 1904 году сын Нагорновой, Александр Тихонович, вступает в партию. У Нагорнова — штаб-квартира большевиков. В небольшом городке, как и всюду, формировались высокоидейные и глубоко убежденные борцы за свободу. Приходит революция 1905 года. Нагорнов во главе организации. Лучшая молодежь города высоко ценит его. Если кому-нибудь из молодых революционеров говорят: «Ты прямо как Нагорнов», — он сияет. Это высшая похвала. Из его речей, из бесед в нелегальных кружках я узнал о Марксе, познакомился с учением Ленина. Нагорнов создает нелегальный кружок, где идет подготовка партийных организаторов и пропагандистов. Я вхожу в этот кружок и вскоре получаю от Нагорнова первые партийные поручения. В октябре 1906 года здесь я вступаю в партию.

...Поезд осторожно входил под вокзальные своды. Выхожу на площадку, отворяю дверь. На перроне — кронштадтские моряки. Молниеносно растекаются по перрону, сосредоточиваются у дверей, встречая пассажиров.

Мандат мой производит сильное впечатление. Меня расспрашивают о Москве. Наперебой сообщают:

— Мы победили!

Непередаваемое волнение охватило меня, когда на Знаменской площади на заборе я увидел объявление о новом правительстве, именуемом «Совет Народных Комиссаров». Читал, перечитывал: председатель Владимир Ульянов (Ленин).

Рядом наклеено воззвание кадетов с кричащим заголовком: «Не подчиняйтесь узурпаторам!»

Слово «узурпатор» не было понятно балтийцам, с которыми я шел. Я объяснил им.

Хочется пройтись по Невскому, вспомнить демонстрации, схватки с полицией. Но Невский проспект длинный, времени мало, каждая минута дорога. Скорее в Смольный!

Подымаюсь по лестницам. На третьем этаже около какой-то двери остановка. Проводники у меня уже другие!

— Входите, — приглашает меня балтиец.

Вхожу. За круглым столом у карты Петрограда сгрудились руководители восстания. Некоторые стоят.

— Товарищи, оставим все, выслушаем товарища из Москвы, — порывисто вставая из-за стола, говорит один из; присутствующих. Воля, энергия в его словах и движениях.

Сразу понял: это не кто иной — он, Ленин. Как ни думалось, что может быть такая встреча, — все же она была неожиданной и воспламенила сердце.

Дружеским жестом Ленин показал на стул.

Не очень складно я начал говорить о Москве. Но, заметив глубокий интерес Ленина к этой информации, ободренный его простотой и теплотой в обращении, я почувствовал себя хорошо и незаметно увлекся рассказом о московских событиях. В памяти навсегда запечатлелась порывистость Ленина, быстрая смена в выражении лица, глаз: то промелькнет усмешка, то загорятся, то потемнеют глаза — в зависимости от услышанного.

Я бросил взгляд на окружающих. Заметил Николая Ильича Подвойского — с ним я встречался в 1915 году в Петрограде по поводу намечавшегося издания журнала «Просвещение». Запомнил лица. Потом догадался по портретам, что это Свердлов, Дзержинский, Бубнов. А мысль рвалась к Ленину. Так вот он какой! Простой и ясный, и речь простая и увлекающая! Невольно оглянулся на него, встретил смеющиеся глаза.

— Все сказали? Может быть, еще что-нибудь необходимо сообщить?

Глаза пытливые, понимающие, большой лоб, поза выжидающая.

— Мало у нас в Москве командиров, офицеров... — смущенно сказал я.

— Рабочие и солдаты с нами! Это решает все!

Глаза Ленина, сосредоточенные, серьезно поблескивали, это придавало словам силу и вес.

— Немедленно надо ехать в Москву. Дадим вам декреты о земле и мире. Печатайте их, размножайте, распространяйте по всей стране. В них наша сила.

Владимир Ильич быстро вынимает часы, смотрит на циферблат. Потом дает распоряжение балтийцу об отправке меня в Москву с декретами Советского правительства и, наклонившись, что-то еще говорит.

Вспыхиваю от слов «желаю успеха», от протянутой руки и крепкого пожатия.

И вот я мчусь по коридору за балтийцем, стараясь не потеряться среди неугомонного людского движения. Вдруг: «Стоп!» Налетает на меня какой-то представитель, петроградской прессы.

— Это вы, товарищ, из Москвы?

— Я.

Замечаю небольшой стол, чернильницу, ручку, листы бумаги.

— Напишите о событиях в Москве. Оставьте здесь. На обратном пути захвачу, — кидает он, ныряя в поток людей, льющийся в разные стороны.

Балтиец смеется: «Некогда заниматься писаниной. Пошли!»

Смольный словно многоэтажный город. Все торопятся, все обеспокоены.

Взглядываю на балтийца: куда он меня ведет?

— Владимир Ильич сказал, чтоб вас накормить. А потом на вокзал.

Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ*

Сонеты Владимиру Ильичу Ленину (1948)

1

Мне той далекой осени не позабыть вовеки!
Сбылось все, о чем я лишь мечтал:
Судьба меня свела с чудесным человеком,
В нем гения я с первых встреч признал.
О, как он с той поры мне стал и мил и дорог,
Как все особо в нем, полно своей красы,
Кто враг ему — и мне тот злейший ворог.
В беседе с ним, как миг, идут часы.
Уйдет — и все вокруг бледнеет,
И мысли вслед ему без усталости бегут,
Вернется — и заря повсюду заалет,
И лучшие надежды расцветут...
Была та встреча юных дней
Великим счастьем жизни всей!

* *Глеб Максимилианович Кржижановский* (1872–1959) — видный деятель революционного движения в России, советский государственный и партийный деятель, один из создателей плана ГОЭЛРО; учёный-энергетик, академик и вице-президент АН СССР, литератор; советский экономист и экономико-географ.

2

Прекрасна Волга-матушка в разливе,
В сиянье солнечном и в синих даях гор.
Весна играет в плеске волн шумливых,
Ведег веселый с ними разговор.
Приволье в берегах заманчиво-уютных,
Простор, куда ни кинь свой взор...
И сколько раз под ветерок попутный
Скользил и я в ладье у волжских гор.
Волжанину не оторваться
От ласки волжских берегов,
Всегда он с ними рад встречаться —
Родных небес незаменим нам кров.
Здесь был рожден Ильич, всем труженикам милый
И Волги мощь его растила силы.

3

Взвился орленок гордо к небесам...
Орлиный взор немую даль пронзает.
Он сил своих еще не знает сам,
Но скоро их весь мир узнает.
Плехановское слово тех времен —
Пророчеством оно для нас звучало,
А он писал, что был тобой пленен, —
О, если б чувство то ему не изменяло!
Писал он, что растет поток к нему друзей,
Но никого из них с тобой он не сравниет;
За много, много лет он на своей стезе
Такого юношу борца впервые здесь встречает!
Мой край родной, таких сынов рождая,
Не мира ли всего ты счастье утверждаешь?

4

Ласкают взор синеющие дали
Могучих гор и блестяи волн морских,
Плениают облаков закатные эмали,
Что может заменить нам чары красок их?
С природой связаны все судьбы наши,
Вселенской жизни вечный бег,
Но каждому из нас красот природы краше

И разуму и сердцу милый человек.
Из всех людей тот будет нам дороже,
Кто глубже всех собою воплотил
То лучшее, что миру дать лишь может
Бессмертный наш народ, могучих полный сил.
И ты, Ильич, простой и величавый,
Не оттого ль достоин вечной славы?

5

Все в этой комнатке, обставленной сурово,
Сегодня приняло особый вид,
Не оттого ль, что Ленинское слово
Впервые мощно здесь звучит?
В его докладе все так просто, ясно,
Но взято с небывалой глубиной,
И каждого из нас неотразимо, властно
Увлек он в дум своих заветных строй.
Немного нас, но нас влекут не грезы,
Л правда жизни всей на нашей стороне,
Не страшны нам врагов угрозы,
Добьемся счастья мы родной стране!
И то, что было нам еще темно,
Его чудесный ум прозрел давно!

6

Как быстро все в кружке преобразилось,
Когда живительно забил родник твоих идей,
И сколько раз, бывало, я дивился
Чудеснейшей весне твоих расцветных дней.
Как удалось тебе в такие сроки
Проникнуть в тайники возвышенных умов?
И как умел ты в бисерные строки
Чеканить мысль, не тратя лишних слов!
Какое счастье забежать украдкой
К тебе, в твой скромный уголок,
В беседе дружеской учесть все паши неполадки
И бодро встретить то, чем угрожал нам рок...
Давно, давно тебя уж нет,
А все держу с тобой совет!

7

Немного дней прошло, а кажется порою,
Что в заключение я не малый срок...
Тюремный перестук стал легкою игрою,
В искусстве этом все я превозмог.
Соседям и похвастать не могу я —
Людьми, мне чуждыми, я окружен,
О горестях своих они со мной толкуют —
В тюрьме нет стен немых, в них всюду сердца стоп.
Библиотеку здесь за дар небес считаю,
Наш шифр условленный в ней пущен в ход,
Шлю в книгах письма, письма в них читаю —
Какой для наших чувств здесь найден был исход!
Звучит и здесь нам голос твой,
Отвагой полнит боевой...

8

Вновь потянулись дни сугубого надзора,
Вновь круг меня был чужаков кордон,
Но в книгах мы вели свои переговоры,
Властителем же дум по-прежнему был он.
Трудом неустанным он дни свои заполнил.
Грохочет ящик книг... Мы знали: то — к нему,
Здесь думы родились, что скоро мир заполнят
И светом озарят веков насилья тьму.
Какой бы рок ему ни угрожал судьбою —
Дней обывательских не знал он за собою!

9

Газету, настоящую рабочую газету
Мы в типографию подпольную сдаем!
Ей не пришлось увидеть света,
Погибнуть ей пришлось под вражеским огнем...
Твоими большинство статей в ней были,
Грядущей «Искры» виден в них размах.
Мы свой отряд в стан мировой включили,
Зажечь огонь надежд мы жаждали в умах!
Немало жертв нам стоила газета!
В борьбе за новый мир нам жертв не избежать.
Кто не проникнут мыслью этой,

Товарищем того нельзя назвать.
Ты говорил: в страде наш мир родится,
Тот не борец, кто мук борьбы страшится!

10

Три шага вширь и пять в длину —
Очерчен так всей камеры мирок.
Окошко вздернуто предельно в вышину.
В двери, над форткой запертой, глазок.
Листок железа — стол стеной,
Стул откидной, такая же кровать...
В белесом потолке порой ночной
Малютка-лампочка начнет мерцать.
Здесь вашей воли нет; ее сломить
Наметил враг. Он на расправу крут.
Вас будут одиночеством томить,
Не все, не все его перенесут...
Но вот письмо, твой бодр привет,
Условным шифром шлю ответ.

11

С допросами ко мне недолго приставали:
Неподходящий был, как видно, «матерьял»;
В охранку раза два всего лишь вызывали,
Жандармский офицер меня сопровождал.
Любезен без конца: сигары предлагает,
Любых услуг, казалось, он не прочь...
Духами острыми он весь благоухает,
Но видно по лицу: вчера кутил всю ночь.
Вот прокурор Кичин, чиновник именитый,
Старается внушить, что он-де знает все,
Что карты наши явно биты,
Что участь мы свою признаньем лишь спасем...
Но злейшему врагу все ж было невдомек,
Как близок ты к нему, расправы грозный срок!

12

Как робко северной весны дыханье!..
Разведкой скромной были первые шаги
Тогдашних наших начинаний...

Подстерегали нас со всех сторон враги.
Но с каждым днем заметно нарастали
И крепили силы наши в той борьбе,
И все ясней мы сознавали,
Сколь многим мы обязаны тебе.
Заботой дружеской проникнутое слово,
От зорких глаз твоих ничто не ускользнет.
И легче дышится нам снова —
Сквозь полог туч нам солнца луч блеснет...
Держанье юности и мудрость зрелых лет —
Таков источник мировых побед!

13

Какое горе — тяжело болен он!..
Преступно было нам его не уберечь.
Ужели может быть — недугом он сражен?
А врач нам говорит — идет о жизни речь.
Придешь к нему, и трудно оторваться
От этих черт любимого лица...
Высоким лбом нельзя не любоваться —
Нет, смерти не сломить бесстрашного борца!
Все та же чудесных глаз с раскосинкой загадка,
Грассирующий тот же говорок,
Губ волевых- с насмешечкой укладка,
На этот раз над тем, что сам сплющить так мог.
Болезнь побеждена, он снова с нами,
Дни баррикад не за горами!

14

Ужель все кончено? Все струны отзвенели?
И о страде всех нас замолкнет в мире речь...
Не может быть! Недаром мы сумели
Такой костер из искорок зажечь...
Далеких юных дней отрадные волненья,
И встречи первые, Ильич, с тобой...
О, если бы в последнее, предсмертное мгновенье
Твой облик пламенный предстал передо мной!
И чтобы не укор прочесть в твоём мне взоре,
А прежний тёплый твой и дружеский привет..
С самой бы смертью я тогда поспорил,
Сказал бы я: где ты — там смерти нет!
Где ты — там сердце мира бьётся,
Там знамя красное победно развернется!

Заморский подарок*

За обнажённый лоб и огромные знания Владимиру Ильичу пришлось поплатиться кличкой «Старик». Несмотря на молодость нашего «Старика», прозвище за ним закрепилось.

Не много времени прошло с тех пор, как мы познакомились с Владимиром Ильичём, а всё в нашем кружке переменилось, работа кружка стала совсем иной. Прежде мы были связаны только с небольшой группой рабочих, которым помогали изучать марксистскую теорию, а теперь перешли к широкой агитации на фабриках и заводах. Мы организовывали митинги, маёвки, распространяли прокламации.

С этой целью Владимир Ильич объединил в Петербурге все марксистские рабочие кружки в один «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Мы явно грешили тем, что частенько захаживали друг к другу не по деловому поводу, а просто для того, чтобы «отвести душу». Владимир Ильич запретил нам такие посещения.

— Помните, что мы ведём острую борьбу с самодержавием, — сказал он. — Нам надо учиться конспирации у старых революционеров.

Сам Владимир Ильич был великолепным конспиратором. Он умел очень ловко скрываться от сыщиков. Он тщательно изучил расположение проходных дворов Петербурга и, отправляясь на «явку», частенько брал с собой запасную шапку. Заметив шпика, он быстро заходил в ближайший проходной двор, переодевал на ходу шапку, приподнимал воротник и появлялся уже на другой улице совсем неузнаваемым.

Прошло немного месяцев моего знакомства с этим своеобразным «Стариком», как я уже начал уличать себя в чувстве какой-то особой полноты жизни именно в присутствии, в дружеской беседе с этим человеком. Уходил он — и как-то сразу меркли краски, а мысли летели ему вдогонку...

В 1895 году Владимир Ильич ездил за границу, чтобы установить связь с группой русских марксистов-эмигрантов. Возвращаясь из-за границы, Ленин сумел спрятать от сыщиков и провезти в чемодане с двойным дном нелегальную литературу и ещё один заморский подарок: начинавший в то время входить в употребление мимеограф**. Жандармы подозревали, что Ленин

* Из воспоминаний Г. Кржижановского «Шу-шу (Воспоминания о В. И. Ленине)»

** *Мимеограф* — станок, на котором размножали листовки. — *Ред.*

из-за границы приехал не с пустым чемоданом, и установили за ним наблюдение. Но Владимир Ильич тоже догадался, что за чемоданом следят, и решил провести шпиков. Заехав к одним знакомым и вынув из чемодана печатный прибор, Владимир Ильич передал пустой чемодан двум студентам и поручил «утопить» его обязательно на виду у шпиков. Потом мы все до колик хохотали над рассказом этих студентов. Два часа они возили по городу на извозчике чемодан, набитый камнями. За ними неизменно следовали на другом извозчике шпики. Наконец студенты со всеми предосторожностями, но так, чтобы шпики видели, утопили чемодан в Екатерининском канале. Вот была жандармам забота вытаскивать из воды чемодан с камнями!

— Рожи-то, рожи-то у них какие были при этом! — хохотал Владимир Ильич.

А этот мимеограф немало поработал впоследствии для дела просвещения петербургского пролетариата.

За работой

Владимир Ильич всегда очень много работал. И в ссылку, и в тюрьму ему присылали массу книг. Мы дивились, когда он успевал их прочитывать. А ведь он не просто читал книги, он тщательно изучал их, делал выписки, заметки. В ссылке Ленин написал свыше тридцати работ, в числе их и большую книгу — «Развитие капитализма в России». И при этом для заработка он вынужден был переводить книги с английского и немецкого языков.

Владимир Ильич всё делал страстно, с увлечением. Когда я был у него в Шушенском, он вставал всегда первым, рано утром, и начинал энергично трясти меня:

— Вставай, лежебока!

Умывшись ледяной водой, сделав гимнастику и позавтракав, Ленин садился за работу.

Владимир Ильич во всём любил порядок и чистоту. Комната его была опрятно убрана. Все вещи лежали на своих местах. Одежда его тоже была аккуратна, никогда, даже в домашней обстановке, он не ходил одетым небрежно.

А какой идеальный порядок был у него на столе! Всё всегда было на месте, ничего не приходилось искать.

Работал Ленин необычайно сосредоточенно, сразу же целиком погружался в работу, и видно было, что она доставляет ему наслаждение.

Писал Владимир Ильич чётким «бисерным» почерком, с изумительной быстротой. Листки с выписками выглядели у него так же аккуратно, как и переписанные набело рукописи.

Этих листков с выписками из книг и с заметками было у Владимира Ильича огромное количество. Ведь только для того чтобы написать «Развитие капитализма в России», он прочёл больше шестисот книг!

Особенное внимание он уделял статистическим сборникам: из цифровых данных — «точных и бесспорных фактов» — создавалась правдивая картина положения в стране. Вспоминая Пушкинское, я так и вижу Владимира Ильича со счётами, на которых он часами складывал цифры, сопоставлял, сравнивал и затем снова проверял их на счётах.

Иногда он вдруг откладывал книгу в сторону и прохаживался по комнате, раздумывая над прочитанным, потом вновь углублялся в чтение.

Он любил обдумывать свои мысли на ходу. Нередко во время прогулок он обсуждал с нами то, что собирался написать.

А когда писал, то время от времени перечитывал написанное вслух.

— Всё понятно? — спрашивал он.

И если что-то казалось нам спорным или туманным, он исправлял написанное, добиваясь предельной чёткости мысли, ясности языка.

Владимир Ильич любил словари и часто пользовался ими. Стоило при нём употребить какое-либо слово, произношение или смысл которого казался Владимиру Ильичу спорным, как он немедленно учинял допрос:

— Откуда вы взяли это слово? Вы правильно его употребляете? Посмотрим, что скажут словари.

И он доставал с полки словарь.

Однажды мы со Старковым послали Владимиру Ильичу какой-то наш перевод с немецкого, чтобы он высказал своё мнение о нём. Владимир Ильич вернул нам рукопись с многочисленными пометками и поправками.

Это был для нас очень поучительный урок того, как тщательно надо работать над каждой фразой, над каждым словом.

Ни в чём: ни в работе, ни в жизни — Ленин не терпел небрежности.

Н. КУБАНСКИЙ***Ленин великий (1924)**

Великое сердце сгорело в бореньи
И жарко зажглось в коллективной груди,
И Ленинский путь к лучезарной вселенной
Железным цветением горит впереди.

Печальные, в траурных черных извивах,
Алеют ряды наклоненных знамен..
Но Ленин Великий ведет коллективы
На бархат багряный грядущих времен.

Да здравствует Ленин!.. Пусть красные клики
Промчатся над блеском январских снегов,
Наш Ленин бессмертный, наш Ленин Великий,
Разбивший оковы кабальных веков!

Надуются мышцы от дружной работы,
Натянется жил молодых тетива...
Вперед же, железные дети заводов,
Меж огненных дозн, засучив рукава!...

Ю. КУЗНЕЦОВ****Триптих****1**

Я в Мавзолей встал в очередь за Лениным, —
Да, я его и со спины узнал.
Вошли мы с ним. Он пред своим успехом
Повел плечами. «Холодно!» — сказал.

* Не профессиональный литератор, рабочий.

** Юрий Поликарпович Кузнецов (1941–2003) — русский поэт, переводчик и литературный критик, редактор, педагог. В 1998 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II перевёл на современный русский язык и изложил в стихотворной форме «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (литературная премия).

Шла очередь, как в те года за хлебушком,
И вышла вся. Закрылся Мавзолей.
— Куда теперь? — спросил его под небушком.
— В народ, — ответил, — к людям, где теплей.

2

Опустите штыки перед ним,
Пусть он встанет из гроба холодного,
Пусть увидит, куда мы летим —
Гребни рваные моря народного.

Пусть развяжет родимую речь,
Где корнями сплетаются молнии.
Он устал от мелькающих встреч.
Мы у гроба молчим, мы — безмолвие.

Хотя страна давно его отпела
На все свои стальные голоса,
Но мать — земля не принимает тела,
А душу отвергают небеса.

Два раза в год его душа томится,
В трибуну превращается гробница.

Самозабвенно движется поток,
Его портреты мимо проплывают,
Но людям на трибуне невдомек,
Чей прах они ногами попирают.

А. КУПРИН*

Ленин. Моментальная фотография (1919)

25 октября старого стиля 1917 года в управление всем Российским государством вступил Владимир Ленин и вот уже два года в полной мере самодержавно правит Россией. Он заключил

* Александр Иванович Куприн (1870–1938) — русский писатель, переводчик. После поражения Северо-Западной армии находился в Ревеле, с декабря 1919 г. — в Гельсингфорсе, где сотрудничал с газетой «Новая русская жизнь», с июля 1920 г. — в Париже. В 1937 г. по приглашению правительства СССР вернулся на родину.

позорный мир с Германией, он впустил германские полки разорять русскую землю, он порвал всякие дружеские отношения с нашими старыми союзниками англичанами и французами, он вместе с немцами устроил самостоятельную Украину, и он же источил русскую землю кровью, уничтожил десятки тысяч людей в тюремных застенках и под орудиями пытки палачей, он призвал наемных китайцев и латышей, чтобы пытать и уничтожать русских людей, он задушил русскую свободу и вернул Россию к самым темным временам бесправия, полицейского режима, пыток и казней. В страшные времена Иоанна Грозного русскому народу легче жилось и дышалось, нежели в Советской России в неистовые времена Владимира Ленина.

Кто посадил его на всероссийский престол? Маленькая кучка, человек в триста, никем не уполномоченных людей, исключительно петроградцев. Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов, никем не уполномоченный выражать волю всей великой России. Кто избрал его? Никто. Его имя не было известно на Руси. Он появился уже после революции, появился из Германии, нарочно присланный немцами для разложения русского фронта. Он был обвинен в шпионстве и в измене, он должен был быть предан смертной казни, из-за него пролилась при Керенском 4 июля на улицах Петрограда невинная кровь, и тем не менее он — правитель с такими страшными правами, каких не имели и цари московские в самое старое жуткое время средних веков.

Кто же он такой? Чем держится он среди народа и откуда в одном человеке могла сосредоточиться такая страшная жажда крови, такая сатанинская ненависть к людям и презрение к чужим мукам, к чужим людским страданиям и чужой жизни?

В конце семидесятых годов в одной из приволжских губерний учились два брата Ульяновых, дети зажиточного местного помещика. Младший сын Владимир отличался тяжелым, мрачным, нелюдимым характером. Он не сходил с товарищами по классу, никогда никому не помогал. Учился он хорошо. Замкнутый в себе, он проявлял необычные в молодом возрасте признаки ненависти и презрения к людям, не к кому-нибудь одному, но вообще ко всем людям, ко всему человечеству. Его старший брат был замешан в покушении на цареубийство, судим и приговорен к смертной казни. Но он так хорошо, смело, открыто и благородно держал себя на суде, что тронул судей и прокурора, и прокурор составил для него прошение о помиловании. Надо было только подписать это прошение, и успех был бы обеспечен. Ульянов отказался подписать прошение.

К нему в темницу пришла его мать с младшим братом Владимиром. Всю ночь на коленях она простояла перед сыном с напи-

санным прошением, умоляя дать подпись под ним. Ульянов был непреклонен. Его не тронули ни мольбы матери, ни ее слезы, ни то, что она поседела за эти страшные дни суда и приговора. Молча, угрюмо, исподлобья глядя на мать и брата, наблюдал эту страшную сцену Владимир. На другой день Ульянов был казнен.

Владимир был замешан в процессе, оставаться дальше в гимназии он не мог. Он уехал за границу, в Швейцарию, где поселился очень уединенно. Он почти не отлучался из своего дома, читал книги, немного писал, о чем-то задумывался, но когда встречался с людьми и заводил свои речи, то такая ненависть, такое нечеловеческое презрение к людям сквозили в его словах, что самым крайним анархистам было с ним жутко.

Он был помешан.

Та страшная ночь, которую он провел в тюрьме накануне казни своего брата, мольбы и унижение его матери произвели на его мозг такое впечатление, что он сошел с ума.

И помешательство его было самое страшное потому, что не проявлялось ни в диких выходках, ни в страшной непонятной речи, — наружно Владимир Ульянов-Ленин был совершенно здоровым человеком, речь его была гладкая, ясная, но поражала страшными, необыкновенными выводами, поражала своим презрением к людям, доходившим до ненависти. Была в его речах, наконец, страшная, таинственная, почти непонятная жажда смерти, убийства, разрушения. Все, что мешало осуществлению его идеи, должно быть устранено, уничтожено. Это его слова повторит Троцкий в сентябре 1917 года: «Мы, большевики, поставим в конце Невского у Адмиралтейской площади громадную гильотину и отсечем головы всем тем, кто не пойдет с нами и за нами...»

Убийство и кровь не только не смущали Ленина, но они его радовали — он был сумасшедший.

И вот его-то, умалишенного, избрали немцы своим орудием для того, чтобы уничтожить Россию и так ее ослабить, чтобы немецкое засилье могло снова в ней водвориться. Ленин с фанатизмом сумасшедшего принялся за исполнение своего сатанинского плана.

Он приехал в Петроград. На Каменноостровском проспекте, во дворце Кшесинской, на балконе, обитом красной материей, освещенном красным электрическим светом, он начал говорить свои речи. Он говорил негромко, без пафоса, без оживления, но был в его речах страшный яд, разжигавший толпу. Он говорил тогда о прекращении войны с Германией, о мире и тут же объявлял непримиримую войну всем «капиталистам». В красном свете электрических фонарей, в алых отблесках кумача и сукна на его лице играла кровь. И эта кровь опьяняла толпу.

Все видели, что его проповедь разлагает фронт, что он подослан от немцев, уже добыты были данные, доказывающие, сколько он получил денег от Вильгельма на свою страшную работу, указывали банки, переводившие ему деньги из-за границы, и лиц, доставлявших ему банковские чеки. Все улики были налицо. Его оставалось только схватить и арестовать.

Керенский воспротивился этому. Тогда была «свобода». Тогда можно было сослать в Тобольск и томить в неволе царских дочерей и маленького отрока-наследника, тогда Кресты, Петропавловская крепость и Смольный монастырь были переполнены узниками, но арестовать Ленина было нельзя.

Ленин говорил свободные слова. Слишком свободные! С развязностью умалишенного он развязывал толпы от страха убийства. Убивайте, грабьте, берите, насилуйте, уничтожайте — все ваше, все принадлежит вам.

В нем сидел демон убийства...

И толпа заразилась его сумасшествием. Около него стали собираться подобные ему люди, люди, опьяненные кровью, и он царил над ними. Толпа насильников и убийц вознесла его на высоту и посадила на престол всероссийский...

На этом престоле, в Петрограде и московском Кремле, он был не первый сумасшедший. Правил Россию безумный Павел, на престоле Московском сидел сумасшедший Иоанн IV Грозный.

Ленин стал председателем исполнительного комитета народных комиссаров. И его сумасшедшая воля подавила их всех. Каждый понял, что его жизнь на волоске. Каждый понял, что для их председателя нет ни свойства, ни родства, ни заслуг прошлых, что поднимутся темные ресницы над глазами, полными глубокой думы, бездонными глазами умалишенного, откуда хохочет демон разврата и убийства, явятся члены Чрезвычайной комиссии, произнесет свой страшный приговор Революционный трибунал и тут же, подле, иногда в том же доме, где сидит Ленин, прольется кровь.

Призраки убитых по его приказанию людей его не тревожат. Пролитая им кровь его не душит. Его темный разум спокоен.

Он пишет свои декреты. В этих декретах он с настойчивостью сумасшедшего излагает устройство райской жизни для рабочих и крестьян. Имущество богатых роздано бедным, рабочие спят на пружинных матрацах буржуев, буржуи и буржуйки привлечены к труду на пользу рабочих, крестьянин обрабатывает сколько угодно земли. Женщины поделены поровну. Везде играет музыка, везде танцуют, везде веселье. Ленин счастлив. Он все национализует, все социализует, все роздал. Он сам живет хорошо,

ест сладко, пьет тонкие вина, ездит в царском автомобиле, живет подле Кремля, он окружен свитой, военными, народом, он ведет мир к счастью. С загадочной улыбкою сумасшедшего он кивает народам Европы, приглашая их сделать то же самое, что сделал он с русским народом.

Какое громадное, какое поразительное сходство с Иоанном Грозным! Тот в сумасшедшей ненависти преследовал бояр, повсюду ища крамолу, этот в такой же сумасшедшей ненависти преследует буржуев, всюду видя контрреволюцию. При том — толпа опричников с Малютой Скуратовым во главе, при этом — латыши и китайцы с Петерсом и Троцким. При том — раболепные бояре, и при этом — продавшиеся большевикам члены исполнительного комитета и изменники — чиновники и генералы...

Но есть и страшная разница. У Иоанна бывали минуты просветления, когда с ним смело говорили Сильвестр и Адашев, когда ему давали советы оставшиеся верными России и смелые бояре, Иоанна тяготили и жгли призраки замученных им жертв. Он шел в монастыри, он каялся, и были моменты, когда мог хоть на минуту вздохнуть спокойно русский народ.

У Владимира Ленина таких просветлений нет. При нем нет никого, кто бы сказал ему правду. Наглый еврей Троцкий пляшет перед ним и разжигает все больше и больше его ненависть к России. Исполнительный комитет взрывами восторга и нечеловеческого ржания приветствует каждый его декрет, каждое его сумасшедшее распоряжение.

Советская Россия — приют сумасшедших. Его окружили такие же сумасшедшие, его окружили уголовные преступники, и все вместе с ним пляшут дикий танец на трупах...

А русский народ? А солдаты красной армии, и голодающие крестьяне, и рабочие, и те недостойные вожди, которые их ведут, — скоро постигнут они весь ужас такого правления, скоро поймут они, в каком диком вихре кружит Россию сумасшедший Ленин, обращая ее в сумасшедший дом?

* * *

В первый и, вероятно, последний раз за всю мою жизнь я пошел к человеку с единственной целью — поглядеть на него: до этого я всегда в интересных знакомствах и встречах полагался на милость случая.

Дело, которое у меня было к самодержцу всероссийскому, не стоило ломаного гроша. Я тогда затеивал народную газету — не только беспартийную, но даже такую, в которой не было бы и намека на политику, внутреннюю и внешнюю. Горький в Пе-

тербурге сочувственно отнесся к моей мысли, но заранее предсказал неудачу. Каменев в Москве убеждал меня, для успеха дела, непременно ввести в газету полемику. «Вы можете хоть ругать нас», — сказал он весело. Но я подумал про себя: «Спасибо! Мы знаем, что в один прекрасный день эта непринужденная полемика может окончиться дискуссией на Лубянке, в здании ЧК», — и отказался от любезного совета.

Свидание состоялось необыкновенно легко. Я позвонил по телефону секретарю Ленина, г-же Фотиевой, прося узнать, когда Владимир Ильич может принять меня. Она справилась и ответила: «Завтра товарищ Ленин будет ждать вас у себя в Кремле к девяти часам утра».

Надо было заручиться удостоверением личности от какой-нибудь организации. Мне его охотно дали в Комиссии по ликвидации армии Южного фронта. (Все это происходило в начале 1919 года.) С ним я и отправился утром в Кремль. За мной, как за лоцманским судном, увязался один молодой московский поэт. Он составил какой-то календарь для красноармейского солдата и в этом издании, между прочим, высказал замечательную сентенцию: «Красный воин не должен быть бабой». Жена Ленина, г-жа Крупская, обиделась за женский коллектив и в «Московской правде» отчитала поэта. «У автора старорежимные представления о женщинах. Те женщины, которых выдвинула в первые красные ряды великая русская революция, ничем не уступают ее самым смелым и пламенным борцам-мужчинам». Поэт испугался и шел оправдываться. Для этого он держал под мышкой целую стопку каких-то прежних брошюрок.

В проходе башни Кутафьи мы предъявили наши бумаги солдатскому караулу. Здесь нам сказали, что тов. Ленин живет в комендантском крыле, и указали вход в канцелярию. Оттуда по каменной, грязной, пахнувшей кошками лестнице мы поднялись на третий этаж в приемную — жалкую, пустую, полутемную, с непромытыми окнами, с деревянными скамейками по стенам, с единственным хромым столом в углу. Из большой двери, обитой черной рваной клеенкой, показалась барышня — бледнолицая, с блекло-голубыми глазами, спросила фамилию и скрылась. Надо сказать, нигде нас не обыскивали.

Ждали мы недолго, минуты три. Та же клеенчатая Дверь слегка приоткрылась, и из нее наполовину высунулся рослый серьезный человек в поношенном пиджаке поверх черной косоворотки. Лицо у него было какого-то жесткого, желтого, дубового вида, черные, круглые, упорные глаза без ресниц, маленькие черные усы, холодное, враждебное и лениво-уверенное спокойствие в фигуре и движениях.

Подобного вида внушительных мужчин можно было видеть в качестве ночных швейцаров в самых подозрительных гостиницах на окраинах Киева, Одессы или Варшавы.

Идите, — сказал он и пропустил нас по очереди, оставляя между собой и дверью такую узкую щель, что я поневоле прикоснулся к нему. Мне кажется, будь у меня в эту минуту с собой револьвер, он сам собою, повинувшись магнитной силе этих черных глаз, высочил бы из кармана.

В эту дверь, налево.

Просторный и такой же мрачный и пустой, как передняя, в темных обоях кабинет. Три черных кожаных кресла и огромный письменный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола подымается Ленин и делает навстречу несколько шагов. У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает на обе ноги; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то «облическое», что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна: такая же согласованная, ловкая неуклюжесть чувствуется в движениях некоторых зверей, например, медведей и слонов. Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм, очень опрятный, но не щегольской; белый отложной мягкий воротничок, темный, узкий, длинный галстук. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия в сне и аппетите.

Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты; он сам пробежит его на досуге и скажет свое мнение. Но он все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Спрашивает -какой я фракции. Никакой, начинаю дело по личному почину.

— Так! — говорит он и отодвигает листки. — Я увижусь с Каменевым и переговорю с ним.

Все это занимает минуты три-четыре. Но тут вступает поэт, который давно уже нетерпеливо двигал ногами под креслом. Я очень доволен тем, что остался в роли наблюдателя, и приглядываюсь, не давая этого чувствовать.

Ни отталкивающего, ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. Есть скуластость и разрез глаз вверх, но эти черточки не слишком монгольские; таких лиц очень много среди «русских американцев», расторопных выходцев из Любимовского уезда Ярославской губернии. Купол черепа обширен и высок, но далеко не так преувеличенно, как это выходит

в фотографических ракурсах. Впрочем, на фотографиях удаются правдоподобно только английские министры, опереточные дивы и лошади.

Ленин совсем лыс. Но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, красно-рыж. Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных, как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-накрепко вытерты. Какое великолепное здоровье!

Разговаривая, он делает близко к лицу короткие, тыкающие жесты. Руки у него большие и очень неприятные: духовного выражения их мне так и не удалось поймать. Но на глаза его я засмотрелся. Другие такие глаза я увидел лишь один раз, гораздо позднее.

От природы они узки; кроме того, у Ленина есть привычка щуриться, должно быть, вследствие скрываемой близорукости, и это, вместе с быстрыми взглядами исподлобья, придает им выражение минутной раскосости и, пожалуй, хитрости. Но не эта особенность меня поразила в них, а цвет их райков. Подыскивая сравнение к этому густо и ярко-оранжевому цвету, я раньше останавливался на зрелой ягоде шиповника. Но это сравнение не удовлетворяет меня. Лишь прошлым летом в парижском Зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: «Вот, наконец-то я нашел цвет ленинских глаз!» Разница оказывалась только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они — точно проколы, сделанные тоненькой иглой, и из них точно выскакивают синие искры.

Голос у него приятный, слишком мужественный для маленького роста и с тем сдержанным запасом силы, который неоценим для трибуны. Реплики в разговоре всегда носят иронический, снисходительный, пренебрежительный оттенок — давняя привычка, приобретенная в бесчисленных словесных битвах. «Все, что ты скажешь, я заранее знаю и легко опровергну, как здание, возведенное из песка ребенком». Но это только манера, за нею полнейшее спокойствие, равнодушие ко всякой личности.

Вот, кажется, и все. Самого главного, конечно, не скажешь; это всегда так же трудно, как описывать словами пейзаж, мелодию, запах. Я боялся, что мой поэт никогда не кончит говорить, и по этому встал и откланялся. Поэту пришлось последовать моему примеру. Мрачный детина опять выпустил нас в щелочку. Тут я заметил, что у него через весь лоб, вплоть до конца правой скулы, идет косою багровый рубец, отчего нижнее веко правого глаза кажется вывороченным. Я подумал: «Этот по одному знаку

может, как волкодав, кинуться человеку на грудь и зубами перегрызть горло».

Ночью, уже в постели, без огня, я опять обратился памятью к Ленину, с необычайной ясностью вызвал его образ и... испугался. Мне показалось, что на мгновение я как будто бы вошел в него, почувствовал себя им.

В сущности, — подумал я, — этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же — нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного края и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И при том — подумайте! — камень, в силу какого-то волшебства — мыслящий! Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая — уничтожаю.

Б. ЛАВРЕНЕВ*

Дворец Кшесинской (1937)

С вокзала Андрей поехал на Петроградскую сторону. Трамвай шел, гремя и раскачиваясь. Мелькали дома, люди на тротуарах. Андрей цепко держал на коленях свой вещевого мешок с драгоценным грузом и разглядывал город.

Петроград облысел и потускнел за двухлетнее отсутствие Андрея. Дома казались потемневшими, ободранными и жалкими.

Что первым бросалось в глаза и что удивило Андрея — было обилие военных. Когда два года назад он уезжал на фронт, население Петрограда было еще обычным. Человек в военной форме попадался на улице редко, и Андрей даже радовался этому, потому что каждый военный мог оказаться офицером, а зевок в отдалении чести мог привести к неприятностям.

* *Борис Андреевич Лавренёв* (наст. фамилия — Сергеев; 1891–1959) — русский советский прозаик, поэт, драматург, журналист, военный корреспондент. Во второй половине 1920-х годов входил в творческое объединение ленинградских писателей «Содружество» (вместе с Н. Брауном, М. Комиссаровой, В. Рождественским и др.). Автор широко известной повести «Сорок первый». Во время Финской кампании и Великой Отечественной войны был военным корреспондентом ВМФ. Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1950).

Сейчас тротуары были густо закрашены цветом хаки. Это был почти основной цвет человеческой одежды. Солдаты, юнкера, офицеры вкрапливались в толпу целыми косяками. Андрей подумал: «Если бы не революция, так надо было б ходить, не отдирая руку от козырька, чтобы не вляпаться».

Он усмехнулся. Все эти беды, связанные с солдатским положением, провалились в тартарары и никогда больше не возникнут.

Он перевел взгляд на публику в вагоне. У двери, напирая колёнами на вещевой мешок, стояла хорошенькая розовая девушка. Встретив любующийся взгляд Андрея, она еще больше порозовела и чуть улыбнулась уголком губ. Андрей тоже покраснел и отвел глаза от девушки и в ту же секунду насторожился. Рядом с девушкой торчал долговязый субъект в коротеньком пиджачке, из рукавов которого выпирали длинные кисти с худыми грязноватыми пальцами. У субъекта были белесые воровские глаза, и он пристально смотрел на мешок Андрея. Андрей нахмурился и на всякий случай подтянул мешок поближе к груди. Солдаты, приезжавшие в полк из Петрограда, рассказывали, что в городе развелось видимо-невидимо воря.

А в мешке было целое сокровище. Когда в окопах получилась «Правда» с призывом редакции к рабочим и солдатам помочь материально своей большевистской газете, большевики дивизии созвали митинг. На митинге целым лесом рук приняли резолюцию — отдать «Правде» георгиевские кресты и медали. У снарядного ящика, изображавшего трибуну, сели члены большевистской фракции дивизионного комитета записывать сносимые солдатами регалии. К вечеру в списке значилось девятьсот тридцать крестов и медалей, из них больше сотни золотых.

Наутро Андрей выехал в Петроград, командированный комитетом, напихав кресты и медали в мешок. Вес оказался солидный, больше пуда. В вагоне Андрей спал, положив мешок под голову. Было неудобно, проклятые кресты сквозь брезент старались проколоть затылок своими углами, но пришлось терпеть. Оставлять такой груз на багажной полке было рискованно. Комитет дал Андрею наказ сдать собранные ценности в Петроградский комитет партии.

Трамвай глухо гремел по настилу Троицкого моста. Синяя Нева медленно и величественно катилась под устои. Белые огромные облака висели над Петроградской стороной. Андрей встал и выбрался на площадку. Трамвай летел, визжа, с уклона. Остановка. Андрей соскочил с подножки, вскинул на спину мешок и двинулся к дворцу Кшесинской. Дорогу спрашивать не приходилось. Андрей знал Петроград, как свою ладонь. Но едва он отошел не-

сколько шагов от остановки и кинул взгляд на издавна знакомый облицованный изразцами невысокий особняк за темной зеленью бульвара, как остановился в недоумении и тревоге. Вся мостовая на проезде бульвара и самый бульвар были заполнены несметной толпой, глухо гудевшей и колыхавшейся. То тут, то там над головами поднимались отдельные люди. Они размахивали руками, били себя в грудь. Видимо, кричали, но крика за общим гулом не было слышно.

Андрей растерялся. Он привык к совершенной безлюдности этого проезда. Он запомнил это с детства. Против особняка всегда стоял огромный городской, весь в медалях, охраняя покой стареющей любовницы императора. Здесь запрещалось проезжать наемным извозчикам и нельзя было останавливаться на тротуаре. Андрей всматривался. В чем дело? Почему такая толпища? Может быть, какая-нибудь беда?.. Нагрянули юнкера или еще какая-нибудь сволочь.

Но тогда нельзя соваться в дом. Заберут или отдуют в лучшем случае, но главное — кресты отнимут. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Андрей стоял посреди мостовой, не зная, на что решиться. К нему подошел невзрачный мужчина с красной повязкой на рукаве, украшенной буквами «ПНМ», — милиционер. На ремне у него ненужно висела ободранная винтовка. Милиционер поглядел на Андрея и осторожно спросил:

— Разыскиваете кого, товарищ?

Андрей в секунду оценил милиционера. Нет, не шпик. И, оценив, решительно спросил:

— Чего это там тамаша такая? Кого раздавили или карманника поймали?

Милиционер хмуро покосился в сторону дворца и с раздражением сказал:

— Ты с неба свалился, солдатик, что ли? Это ж дворец Кшесинской... Тут большевики засели. И народу толчется гибель. Самый беспокойный пост — того и гляди, стрелять начнут.

Андрей усмехнулся. Значит, все благополучно и можно идти. Он кивнул милиционеру. И в ту же минуту услышал автомобильный гудок за спиной. Он обернулся. По натертым, пахнущим смолой торцам бесшумно шла большая, блестящая, новехонькая машина, так непохожая на облупленные фронтовые развалины. Над радиатором ее вился цветной красивый флажок. В автомобиле Андрей различил девушку в форме сестры милосердия, пожилую даму и господина с нерусским длинным лицом, со свислыми блеклыми усами. На голове у господина блестел мягко и тепло атласный плюш цилиндра. Машина шла очень медленно, и Андрей увидел,

как господин, взглянув на дворец балерины, брезгливо поджал губы и что-то сказал девушке, видимо злое и насмешливое. В пустых глазах девушки тоже вспыхнула злоба, смешанная с испугом. Машина прошла. Андрей сразу понял седоки злы и боятся этой толпы и этого дома. Ему стало весело.

— Щекочет буржуев, — сказал он милиционеру, кивая на дом. — Видал, как морду перекосило?

— Ему чего, — лениво ответил милиционер, — его дело стороннее. Это английский посол. Каждый день тут на прогулку к островам ездит.

Андрей втиснулся в толпу у дома и, работая локтями, стал продираться к парадной двери. На него огрызались и шипели, но он отмалчивался и упорно пробивался вперед. На крыльце его остановил высокий парень, по виду рабочий, откуда-нибудь с Выборгской стороны. На поясе у него висел наган. Андрей вынул из кармашка гимнастерки мандат. Парень прочел и приветливо улыбнулся.

— Валяй! Хорошее дело. В зал зайдешь, там кого-нибудь спросишь.

Андрей пошел в вестибюль. Здесь была такая же толчея, как и на улице. По лестнице носились люди с кипами бумаг в руках. Они прыгали через три ступеньки. Спросить их о чем-нибудь было невозможно. Пока Андрей выговаривал первое слово вопроса — встречные уносились вихрем и на смену им пролетали новые. Здесь не жили, а кипели. Это был дом, яростно ненавидимый буржуазией и военщиной и беззаветно любимый рабочими и солдатами Петрограда. Одни проходили мимо, сжимая кулаки и мечтая о часе, когда можно будет уничтожить это проклятое гнездо. Другие шли сюда, как домой, со своими нуждами и печалью, со всеми недоуменными вопросами, которых так много ставила перед ними революция. Сюда шли с фабрик и заводов Васильевского острова и Выборгской стороны, из-за Обводного канала, с Лиговки и Волкова, с Голодая и из порта, из казарм бронедивизиона и гренадеров, из кирпичной тюрьмы балтийского экипажа. Шли с резолюциями, с требованиями, по делу и просто так, чтобы потолкаться в этих кипящих комнатах и вдохнуть воздух, пахнущий бодростью и бурей. Сюда привезли на броневике с Финляндского вокзала Ленина, который, не отдохнув, бросился в бой. Сюда по ночам стреляли в освещенные окна из-за верков Петропавловской крепости. Сюда приходили анонимные письма, полные бешенства и страха. Здесь был главный штаб начинавшейся величайшей войны пролетариата.

Андрей втиснулся в белый светлый зал, заднюю стенку которого составляло сплошное окно зимнего сада. Тут было не-

много попросторней, но та же бегодня. В зале стояло несколько столов. Сидевшие за ними были густо обложены посетителями. Все шумело, гудело, наполняло зал немолчным голосом. Андрей растерянно озирался, не зная, к кому подойти; у кого спросить. В эту минуту из боковой двери вышел человек невысокого роста, в сером костюме, держа в руке листок бумаги. Шел он неторопливо, не так, как другие. Губы его под небольшими усами шевелились, как будто он читал про себя написанное на листке. Лицо его показало Андрею странно знакомым. Человек остановился в двух шагах от Андрея и, подняв голову, обвел взглядом суматоху зала. Андрей воспользовался его остановкой и спросил:

— Слушайте, товарищ. Куда мне сунуться? Я с фронта приехал. Привез кресты дивизии для кассы «Солдатской правды». А тут такая толчея, что не знаешь, куда руки-ноги девать.

Человек прищурился, разглядывая Андрея с мягкой улыбкой.

— Много крестов? — спросил он, заглатывая букву «р».

Андрей брякнул мешком об пол. Обеспокоенные «георгии» ответили дребезгом.

— За девятьсот. Пудик с гаком.

Человек в сером костюме засмеялся.

— Это хорошо... Целый банк в мешке. Пойдемте.

Он взял Андрея за руку и повел на возвышение зимнего сада. У стеклянной стенки сидел за столом плотный, опушенный круглой бородкой, с добрыми и усталыми серыми глазами, добродушно и терпеливо отвечая на вопросы толпившихся у стола солдат. Человек в сером подвел Андрея к столу.

— Михаил Васильевич, — сказал он, — примите товарища. Он с фронта. Привез кресты, пожертвованные товарищами солдатами для «Солдатской правды». Целый мешок. Примите и поговорите с ним о фронтовых делах.

Сидевший за столом спросил Андрея, откуда он, какой дивизии, давно ли приехал. Удивился мешку и приказал поставить его у окна.

— А не сопрут? — усомнился Андрей.

— Нет. Пока я сижу, будьте спокойны, — засмеялся Михаил Васильевич, продолжая расспрашивать Андрея.

Андрей отвечал спокойно и точно. Михаил Васильевич записал некоторые ответы Андрея в блокнот и спросил, долго ли он пробудет в Петрограде.

— Перед отъездом зайдите, я вам литературы подброшу, — закончил он и протянул руку Андрею.

Андрей постоял в нерешительности и вдруг выпалил:

— Я вот насчет того... нельзя ли как-нибудь товарища Ленина повидать.

Михаил Васильевич поднял на него удивленные глаза.

— Так вы же его только что видели, товарищ.

— Где? — спросил Андрей, недоумевая.

— Да вы же с ним ко мне подошли. Товарищ Ленин нас и познакомил.

Страшная обида ударила в сердце Андрею. Он тяжело задышал и зло сказал Михаилу Васильевичу:

— Какого же черта вы мне раньше не сказали!

Михаил Васильевич вскинул голову и хотел рассердиться. Но, увидев отчаянное лицо Андрея, засмеялся.

— Вот чудак, — сказал он, — откуда ж я знал, что вы не знакомы. Идут под ручку, я думал — приятели... Да ничего, вы не расстраивайтесь. Приходите вечером сюда. Владимир Ильич говорить с балкона будет. Вот тогда не только увидите, но и услышите.

Андрей отошел от стола, проталкиваясь к выходу и внимательно оглядывая встречающих. У него была надежда еще раз увидеть Ленина. Но Ленина больше не было. Андрей с досадой вышел из дворца, чтобы съездить пообедать. Он решил обязательно вернуться сюда и простоять хоть всю ночь, лишь бы послушать Ленина.

Э. ЛИМОНОВ*

Священные монстры (портреты) (2004)

Предисловие

Эта книга не предназначается для обывателя. Она предназначается для редких и странных детей, которые порою рождаются

* *Эдуард Вениаминович Лимонов* (наст. фамилия — Савенко; 1943–2020) — русский писатель, поэт, публицист, политик и бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), бывший председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия». Был депутатом и членом совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х гг.: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» — гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ (и др.). В 1974 г. эмигрировал в США. Во Франции с 1980 г., сблизился с руководителями Французской коммунистической партии. Писал для журнала «Революсьон» — печатного органа ФКП. В 1987 г. получил гражданство Франции. В начале 1990-х восстановил советское гражданство и возвратился в Россию, где начал

у обывателей. Для того чтобы их поощрить: смотрите, какие были les monstes sacres, священные монстры, от какими можно быть. Большинство населения планеты, увы, живет овощной жизнью.

Книга написана в тюрьме в первые дни пребывания в следственном изоляторе Лефортово, я помню ходил по камере часами и повторял себе, дабы укрепить свой дух имена Великих узников: Достоевский, Сад, Жан Жене, Сервантес, Достоевский, Сад... Звучали эти мои заклинания, молитвой, так я повторял ежедневно, а по прошествии нескольких дней стал писать эту книгу. Мне хотелось думать о Великих и укрепляться их именами и судьбами.

Одновременно это и ревизионистская книга. Ну, на Пушкина наезжали не раз. Но обозвать его поэтом для календарей еще никто не отважился. Я думаю, что помещичий поэт Пушкин настолько устарел, что уже наше ничто. Надо было об этом сказать. Также как и о банальности Льва Толстого, и о том, что Достоевский для создания драматизма использовал простой трюк увеличения скорости, успешно выдавал своих протагонистов невротиков и психопатов за русских. Я полагаю, что Ревизионизм это хорошо. Он заставляет думать, и таким образом, человечество не спит, движется успешно, строит свой дом у подножья вулкана. Мне всегда хотелось быть тем базлающим мальчиком из сказки Андерсена, который завопил: «А король-то голый!» И мальчику неважно, что будет потом, что все бросятся бить его — ведь боль побоев ничто в сравнении с неизъяснимым удовольствием возопить правду.

И еще: это бедные записки. От них пахнет парашей и тюремным ватником, который я подкладывают себе под задницу, приходя писать в камеру № 25. (Часть записок написана в камере № 24.) Бедные, потому что справочной литературы или хотя бы энциклопедического словаря, чтобы уточнить даты, у меня нет. Синий обшарпанный дубок -столлик размером 30 x 60, два блокнота на нем, три ручки — вот вся бухгалтерия и библиотека.

Владимир Ленин: эмигрант

В первый раз Ленин заслужил ссылку всего навсего за то, что участвовал в собрании студентов, где обсуждались вопросы студенческого самоуправления. И только. Это обстоятельство достойно упоминания.

У меня было множество встреч с Лениным. Помню, что году в 1992, кажется, в один из моих коротких приездов, мне позво-

активную политическую деятельность. Автор повестей «Это я, Эдичка» (1976), «Дневник неудачника» (1982), «Палач» (1986) и др.

нил фотограф из «Paris-Match», друг писателя Патрика Бессона, и сообщил, что по идее Бессона хотел бы снимать меня в квартире-музее Ленина на rue Marte-Rose. Квартирой владела ФКП (Французская коммунистическая партия, рядом на лестничной площадке жил человек, надзиравший за музеем. Фотограф договорился, и в назначенный день мы встретились у дома Ленина, поднялись, вызвали консьержа-коммуниста и начали работать. Вначале попросили разрешения переставить вещи на письменном столе Ленина, и я сел за сто, спиной к камину. Клац-клац-клац — фотограф действовал со вспышкой. На кухне старозаветные трубы вентиляции должны были выводить чад с кухни Ленина. Фотограф сделал снимки на кухне. Удивили меня две узкие металлические кровати в спальне: совсем стерильные, солдатские какие-то. Фотограф поставил меня в спальне между двумя этими солдатскими кроватями и заставил взяться руками за обе спинки. Я не знаю, где сейчас эти фотографии, в 1993 году устами члена Политбюро Ги Ермье ФКП отреклась от меня. За мой национал-большевизм. Тогда с июня 1993 года французская пресса массированно громила заговор национал-большевиков, обнаруженный все то же прессой. Национал-большевиками называли нас — редколлегию газеты «L'Idiot International» всего 30–40 интеллектуалов. Так что и фотограф ФКП и «Paris Match» очевидно сочли публикацию фотоснимков моего визита на улицу Мари Роз несвоевременной.

В 1993 году, 16 сентября, я приехал в Россию. В один из дней между 16 и 20 сентября, когда Ельцин огласил свой Указ № 1400, я и Тарас Рабко посетили музей Ленина. Тарас был тогда любопытным подростком-холериком, студентом юридического факультета Тверского университета. Он затащил меня в музей. Уже в конце визита меня узнали вдруг сотрудницы музея и радушно повели показывать и те комнаты музея, бывшие закрытыми для обычных посетителей. (Впрочем, может быть, по каким-то причинам эти комнаты были закрыты именно в эти дни.) Удивили меня костюмы Ленина: архи-буржуазные тройки, галстуки в горошек, массивные туфли на высоком каблуке. Женщины любезно сообщили мне, что Ленин был 163 сантиметра роста, а Сталин 164 сантиметра. Я подумал тогда, как должно быть был далек маленький Ленин в этих жилетках и галстучках от революционных солдат в шинелях, матросов, крестьян в армяках. Ленин выглядел разительно эмигрантски, швейцарцем таким, явившимся в мерзлую страну. К счастью для него, ему не пришлось проходить через всеобщие выборы: с такими внешними данными, и в таком костюмчике, он бы никогда не выиграл. Чужой. Музей закрыли сразу после октябрьских событий.

Моя книга «Убийство часового», включавшая в себя собственно книгу «Убийство часового» и «Дисциплинарных санаторий» поступила из типографии 18 сентября 1993. Вышла она в издательстве «Молодая Гвардия». Директор издательства и моя редакция, кстати сказать, уговаривали меня написать книгу о Ленине для серии «Жизнь Замечательных Людей». Возможно, получилась бы неплохая книга, но меня привлекали другие дела.

Приехав в конце октября 2000 года в Красноярск, я попросил друзей снять меня квартиру, так как намеревался писать книгу об Анатолии Быкове. Квартиру мне нашли в центре города в пятиэтажке на пересечении улицы Горького и улицы Ленина, за каким-то деревянным домишкой, заключенным в забор. Домишко и забор были завалены снегом по самые уши. Только через несколько недель во время оттепели, когда снег на вывеске растаял, я обнаружил, что дом, оказывается, — музей, и музей он потому, что здесь, ожидая, когда вскроется Енисей, чтобы ехать в Шушенское, бывал, жил и ночевал Владимир Ленин. Происходило это в 1897 году за 103 года до моего появления там. Каждое утро, вставая писать книгу, я глядел на окна Ленина, и здоровался с ним.

Недалекие идиоты всякие журналисты и журналистки вякают порой, что Ленин разрушил старую Росси. Россию, справедливости ради, следует заметить, разрушила февральская революция. Ленин в это время жил в Швейцарии, в Цюрихе. В городе этом скопилось во время войны немало беглецов из воюющих стран. Поэты, дезертиры, художники, всяческий богемный люд, политэмигранты собирались в кабаре «Вольтер», куда нередко приходил и Ленин — русский политэмигрант. В этом кафе часто выступал, читая свои стихи, глава дадаистского движения румын Тристан Тцара, там же бывал еще один впоследствии знаменитый человек, в те годы он был лишь известен, как один из крупных художников дадаистов Италии, граф Юлиус Эвола. Впоследствии граф Эвола из дадаиста превратился в ученого эзотерика, наконец, в философа традиционализма. Его книги «Языческий империализм», «Скачка на тигре», «Борьба против современного мира» после 2-й мировой войны имели такое же влияние на правую молодежь, как книги Маркузе на левую.

Ленин наверняка встречался с Тцара и, возможно, раскланивался и разговаривал с графом Эволой. Съездив несколько раз пет в Цюрих и на швейцарские курорты, моя жена Наталья Медведева написала шлягер про -кабаре «Вольтер», Ленина, Инессу и кайзеровские миллионы. Песню эту она впоследствии включила в альбом «Трибунал Натальи Медведевой». В песне фигурирует и «сумасшедший румын» Тцара. Историю кабаре «Вольтер» она слышала от меня.

В то время в Швейцарии уже не было еще одного интересного персонажа, Бенито Муссолини. Муссолини признавался людям из своего ближайшего окружения, что встречался с Лениным в Швейцарии. Однако, это случилось раньше, по меньшей мере, несколькими годами, до войны. Им было о чем поговорить, ведь они происходили из одной политической семьи. Более десяти лет Муссолини был социалистом. Когда он стал приобретать первую политическую известность, итальянские журналисты, каламбура, называли его Муссоленин, и в те годы это прозвище не могло ему не нравиться. Муссолини старательно изучал опыт Ленина, ведь Ленин первым из социалистических вождей пришел к власти. Ему для этого понадобилось только семь месяцев, в то время как Муссолини, если считать с марта 1919 года, когда была создана фашистская партия — три года (1922), а Гитлеру и того более — 15 лет.

В чем гениальность Ленина? Ну, во-первых, приехав в Россию через пару месяцев после февральской революции (о, как он рвался в Россию! У него были безумные планы лететь в Россию на воздушном шаре, а также ехать по фальшивому шведскому паспорту, выдавая себя за глухонемого шведа), он обратился к своей партии с дичайшей идеей, взять курс на новую революцию. Подумать только, смешной маленький, лысый эмигрант в швейцарском галстуке в горошек приехал и заявил, что революции, видите ли, не было. РСДРП имела двух человек в Петроградском Совете: Сталина и Каменева, а всего депутатов в Совете было более шестисот, и они были счастливы этим! А тут эмигрант приехал и зовет к новой революции. «Старик пересидел за границей и перестал понимать Россию», — говорили в Партии. Но Ленин неустанно говорил, убеждал, внедрял в умы знаменитые свои апрельские (на самом деле мартовские) тезисы, и к лету преуспел в свое убеждении. Нехотя, корчась, отплеываясь, партия пошла за ним. 42-я по численности среди других партий.

Знаменитый эпизод, когда Ленин на собрании в присутствии всех лидеров тогдашнего политического бомонда оппозиции, когда некто (грузин, кажется, Чхеидзе) призвал к союзу всех партий, мол, ведь ни одна отдельно взятая партия не сможет повести за собой массы. «Есть такая партия», — сказал из задних рядов зала Владимир Ленин. Так ведь его заявление сопровождалось смехом! Этого советские учебники не могли опубликовать. Это вспоминает Суханов, политический противник Ленина, сторонник временного правительства. Ленина их смех не смущал. Пусть смеются. Он гнул свою линию. Он убедил партию, и стал готовить ее к новой революции. В данном случае, это несомненная яркая

иллюстрация того, настолько важна роль личности в истории. Без Ленина большевики удовольствовались бы своей заурыдной участью 42-й партии!

Большевикам повезло с Лениным еще и потому, что он бы, как говорят американцы, *workaholic* («воркаголик», от «алкоголи») — запойный работник. Он написал несколько возов руководств, записочек, правил, объяснений, толкований, вплоть до руководства, адресованного часовым Смольного, как держать винтовку, что спрашивать, как останавливать непрошеного посетителя.

И какие у него были нервы! Когда два идиота Зиновьев и Каменев выдали в газетах дату вооруженного восстания, подготавливаемого большевиками, Ленин преспокойно перенес восстание на две недели. Потом в газеты просочились сведения о том, что Ленин, якобы, получил от германского правительства какое-то количество золотых миллионов на дестабилизацию ситуации в России. О кайзеровский миллионах с Вильгельмштрассе орала вся желтая пресса. Ленин германский шпион! Нынешний лидер любой партии, окажись он в подобной ситуации, подал бы в отставку, или его изгнала бы его собственная партия. Не тут-то было в случае Ленина! Силой ума, интеллекта этот хрупкий интеллигент скрутил всех в бараний рог! Какой контраст с нынешними болванами-лидерами!

Большевики собрали Россию, распавшуюся в результате Февральской революции. По частям, в течение пяти лет с 1918 по 1922 собрали заново. Этим праведным процессом неустанно руководил Ленин. Партия не стеснялась брать на службу бандитов, генералов, атаманов, делая их командирами Красной армии, чтобы в нужный момент повернуть против них пулеметы и уничтожить.

Нерусская пунктуальность железного делопроизводителя, нерусская трезвость, дикая работоспособность — вот Ленин. Жестокый, трезвый, фанатичный работник. Гибкий ум, лишенный тщеславия и позерства. И как отомстил за брата!

В коридорах облупленного Казанского университета я побывал дважды. На втором этаже есть аудитория с табличкой у двери, что здесь учился В. И. Ленин. Побывать в самой аудитории мне не удалось ни в первый, ни во второй мой приезд в Казань — там шли занятия студентов. Но сам университет произвел на меня впечатление именно облупленного. В вестибюле меж старых белых колонн продавали в прилепившемся киоске зеленую и желтую дрянь-воду в пластиковых бутылках, да палки «Твикс» и «Сникерс». Впечатление захоластной отсталости.

Еще одно замечание. Ленин со своими ребятами сумели всучить России новомодную марксистскую идеологию, настолько

западный, казалось бы, совсем неподходящий России товар и преуспел в этом. Из опыта большевистской революции (точнее ее следовало бы назвать *coup d'état* — государственным переворотом) производной может быть только циничная мораль: любую идеологию можно навязать любому народу, если знать методику. И приступить к делу с энергией и хладнокровием. Вспоминается Ленин после убийства немецкого посла Мирбаха, собирающихся вместе с Дзержинским к немцам в посольство, извиняться. Натягивая пальто: «Ну что ж, Феликс Эдмундович, надевайте шинель, поедем извиняться к бошам».

Лексика Ленина энергична. «Какой матерый человечеще!» о Льве Толстом. Излюбленная фраза «архи-важно». Об интеллигенции: «в том, что вы жидкое говно — мы никогда не сомневались».

М. ЛИСЯНСКИЙ*

Семья

На странице газеты «Правда»
Я увидел, как будто впервые,
На восьми фотографиях равных
Всю ульяновскую семью.

Фотографии эти знакомы
И без подписей всем известны,
Я их видел, конечно, раньше,
В окантовке да под стеклом.

Я их видел не раз в музеях,
На художественных открытках,
Видел в книгах воспоминаний,
Но не рядом, не вместе — врозь.

А семья — это значит рядом,
А семья — это значит вместе,
В прежней жизни так они были,
Так и надо им быть сейчас.

* *Марк Самойлович Лисянский* (1913–1993) — русский советский поэт, песенник. Автор гимна Москвы.

Правда, снимок один семейный
Сделал лучший симбирский фотограф:
Снят инспектор народных училищ
В безмятежном кругу семьи.

Снимок сделан себе на память,
Для детей, для родных и близких.
Там Володе всего лишь девять,
Саше только тринадцать лет.

А теперь на газетной странице
Три товарища — три побратима,
Три сестры, словно три подруги,
Рядом с матерью и отцом.

А теперь на одной странице
Восемь веток зеленого древа,
Восемь дальних дорог скрестились,
Восемь жизней — плечом к плечу!

Что хотели они?
Хотели,
Чтоб под общею звездною крышей
На планете обетованной
Люди жили одной семьей.

Вот как славно у нас в России,
Продолжая путь поколений,
Защищают отважные дети
Благородное дело отцов.

Я смотрю, как будто впервые,
На открытые эти лица,
И за мной повторяет эхо:
— Ах, какая была семья!

Б. ЛИХАРЕВ***Старая фотография (1956)**

Ещё грозила нам Антанта.
Был трудный год, суровый год.
Есть снимок: площадь, демонстранты,
А в их рядах Ильич идёт.

Идёт Ильич с улыбкой доброй,
Идёт среди простых людей,
Таким его тогда фотограф
Запечатлел для наших дней.

В тот день Ильич сошёл с трибуны,
Вступил как старший в общий ряд —
И флаги алые Коммуны,
Непобедимые, шумят.

Зовут в далёкие походы,
Зовут в бессмертные года.
Родной Ильич идёт с народом,
С народом будет он всегда!

В. ЛУГОВСКОЙ****Ленин**

Сто сотен рек родного края до дна промёрзли в этот день,
И люди, слёз не утирая, читали краткий бюллетень.
Нет, мы не думали о чуде, темнело небо над Москвой,
Но тот, о ком рыдали люди, бессмертен в памяти людской!

* *Борис Михайлович Лихарев* (1906–1962) — русский советский поэт, редактор. В послевоенные годы — редактор журналов «Ленинград» (1944–1946, до закрытия журнала) и «Ленинградский альманах», главный редактор ленинградского отделения издательства «Советский писатель».

** *Владимир Александрович Луговской* (1901–1957) — русский советский поэт, журналист, военный корреспондент. Автор слов для хора «Вставайте, люди русские!» из знаменитого кинофильма «Александр Невский» (1938).

Он воплощенье светлой силы, которой смерти не сломать!
Вернее не бывало сына в семье твоей, Россия-мать.
В нём пела слава поколений, прозренья сердца и ума,
В том имени — Владимир Ленин — жила история сама!

Он создал партию, дотоле непроторённый путь избрав, —
Надежды, разума и воли воистину чудесный сплав!
В ней, словно факел в эстафете, бессмертны мужество и честь,
Он жив, и в каждом партбилете души его частица есть.

В музеях жёлтые страницы, тома в тиши библиотек,
Но блещут времени зарницы, перегоня бурный век.
Изваян он и нарисован, он воплощён в сердцах людей, он жив:
Деяньем, мыслью, словом, — властитель творческих идей.
В суровый испытаний час полки прошли сквозь дым и пламя,
И осеняло в битвах нас родное ленинское знамя.
И, став сама прочней металла в краю железа и огня,
То знамя гвардия лобзала, одно колено преклоня.

Мы все преграды побороли, сумели их с пути смахнуть,
И в этом ленинская воля, его ученья смысл и суть.
Его мечты — вот наши крылья, нас кличут славы времена,
Нам щедрости и изобилья отрада светлая дана.

До самых дальних поколений, как свет, дойдут твои слова,
Великий Ленин, вождь и гений, твоя мечта в сердцах жива!
Он шёл, как вестник ледохода, он света луч метнул во тьму,
Сердца великого народа, как к солнцу, тянутся к нему.

И с нами, как живой с живыми, он в поколениях говорит.
Родное ленинское имя над миром знаменем горит!

Из поэмы «Москва» (1956)

Народ великий, терпеливый, грозный,
В терпении своём, в своём размахе
Не для того переносил невзгоды,
Невиданные тяготы и беды,
Чтоб усомниться в самой чистой правде,
Которую своей железной волей
Поставил выше всех на свете правд.
А в этой сказке есть и быль, и сказка,

Без сказок правды в мире не бывает.
И вера в человечество, и вера
В родную землю, в равенство людей
Перед Октябрьским, ленинским законом.
Ведь через нашу жизнь прошла, как совесть,
Отцовская крутая голова...
Мы шли за ним. Всегда, всегда за ним.
За Лениным. За нашим человеком,
Не бронзовым, не мраморным, не книжным —
Живым, пока в груди у нас дыхание.
Он умер? Нет, не умер! Он вернулся!
Где видишь ты его? Он рядом с нами...

М. ЛУКОНИН*

Его любовь**

Россия-мать ждала его, искала,
В ладонях Волгу пить ему несла,
У Каспия немного расплескала,
Степям в пути напиток подала.
Он видел солнце здесь, в летящей глади,
Большие облака у самых глаз...
И, может быть, тогда в глубоком взгляде
Зажглись лучи, счастливые для нас.
На будущее шаг равняя каждый,
Он вышел, путь прокладывая свой,
И навсегда прижалась к сердцу жажда
Той волжской полосы береговой.
Он голод ненавидел всей душою
И не любил бессилие и тьму.
Людское счастье — самое большое! —
С рожденья было дорого ему.
Свободный, неподвластен был он плену
Тюрьмы и ссылки, звал и звал к борьбе.
И ссыльную подругу Волги, Лену,

* *Михаил Кузьмич Луконин (1918–1976)* — русский советский поэт, журналист, военный корреспондент. Член СП СССР с 1946. Секретарь правления СП СССР с 1971 г.

** Из поэмы «Признание в любви» (1959).

Так полюбил, что имя взял себе.
Любил он реки Родины любимой,
От Волги шёл к Москве, дружил с Невой.
И мыслью разглядел сквозь сумрак дымный
Бушующий Октябрь, заветный мой.

Мать-Родина, как ты помолодела!
Живём в труде, счастливые судьбой,
Тем, что живое ленинское дело —
Его любовь — ведёт нас за собой.
И партия, и он предельно схожи,
Характером близки, как сын и мать,
Тем, что ему и ей всего дороже —
Умением народ свой понимать.
Он был великой мыслью озабочен
О лучшей жизни. Он любил людей.
Сдружил в боях крестьянина с рабочим,
Сказал земле родимой: «Молодей!»
И, с будущим связав себя навеки,
Хотел, чтоб над землёю рассвело...
Ещё тогда переспросил все реки,
К себе созвав их планом ГОЭЛРО.
Он реки так любил... Он так любил их!
В его душе цвела земли краса —
Могучий, рослый хлеб Отчизны милой,
Луга и горы, степи и леса...
Любил, преобразуя жизнь Отчизны.
Любил на все века, на все года.
Для этой вот любви — во имя жизни —
Не умер он, рождённый навсегда.
Страна родная, жизнь ему дала ты,
А смерть своим бессмертьем отвела.
Он человек без той, последней, даты.
Живёт его любовь — его дела!

А. ЛУНАЧАРСКИЙ*

Владимир Ильич Ленин**

В первый раз я услышал о Ленине после выхода книжки «Тулина»*** от Аксельрода. Книжки я еще не читал, но Аксельрод мне сказал: «Теперь можно сказать, что и в России есть настоящее социал-демократическое движение и выдвигаются настоящие социал-демократические мыслители». «Как, — спросил я, — а Струве, а Туган-Барановский?» Аксельрод несколько загадочно улыбнулся (дело в том, что раньше он очень высоко отзывался о Струве) и сказал мне: «Да, но Струве и Туган-Барановский — все это страницы русской университетской науки, факты из истории эволюции русской ученой интеллигенции, а Тулин — это уже плод русского рабочего движения, это уже страница из истории русской революции».

Само собой разумеется, книга Тулина была прочитана за границей, где я в то время был (в Цюрихе), с величайшей жадностью и подверглась всяческому комментарию.

Ленин**** решил прочесть большой реферат на тему о судьбах русской революции и русского крестьянства*****.

На этом реферате я в первый раз услышал его как оратора. Здесь Ленин преобразился. Огромное впечатление на меня и на мою жену произвела та сосредоточенная энергия, с которой он говорил, эти вперенные в толпу слушателей, становящиеся почти мрачными и впивающиеся, как бурава, глаза, это монотонное, но полное силы движение оратора то вперед, то назад, эта плавно текущая и вся насквозь зараженная волей речь.

Я понял, что этот человек должен производить как трибун сильное и неизгладимое впечатление. А я уже знал, насколько силен Ленин как публицист — своим грубоватым, необыкновенно

* Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) — русский революционер, советский государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 по сентябрь 1929 г. — первый нарком просвещения РСФСР, активный участник революции 1905 г. и Октябрьской революции. Академик АН СССР (1930).

** Из книги «Великий переворот» (Единственный неповторяемый. Екатеринбург, 1914. С. 23–28).

*** Имеется в виду статья «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе)», опубликованная под псевдонимом «К. Тулин» в 1895 г. — *Авт.*

**** В Женеве. — *Ред.*

***** В мае-июне 1903 г. — *Ред.*

ясным стилем, своим умением представлять всякую мысль, даже сложную, поразительно просто и варьировать ее так, чтобы она отчеканилась, наконец, даже в самом сыром и мало привыкшем к политическому мышлению уме.

Я только позднее, гораздо позднее узнал, что не трибун, и не публицист, и даже не мыслитель — самые сильные стороны в Ленине, но уже и тогда для меня было ясно, что доминирующей чертой его характера, тем, что составляло половину его облика, была воля, крайне определенная, крайне напряженная воля, умевшая сосредоточиться на ближайшей задаче, но никогда не выходявшая за круг, начертанный сильным умом, которая всякую частную задачу устанавливала как звено в огромной мировой политической цепи.

Кажется, на другой день после реферата мы, не помню по какому случаю, попали к скульптору Аронсону, с которым я был в то время в довольно хороших отношениях. Аронсон, увидев голову Ленина, пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить, по крайней мере, хотя модель с него.

Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена.

В то время карьеровский портрет Верлена в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена, купленный потом в Женевский музей.

Впрочем, было отмечено, что Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы.

Строение черепа Владимира Ильича действительно восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы вместо первого впечатления простой большой лысой головы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал опять-таки, физическое излучение света от его поверхности.

Скульптор, конечно, отметил это сразу.

Рядом с этим более сближающие с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие (судя по портрету Карьера) — у Ленина они насмешливые, полные иронии, блестящие умом и каким-то задорным весельем. Только когда он говорит, они становятся действительно мрачными и словно гипнотизирующими. У Ленина очень маленькие глаза, но они так выразительны, так одухотворены, что я потом часто любовался их бессознательной игрой.

У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорей выпуклые.

В нижней части опять значительное сходство, особенно когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно. И у всех трех нижняя часть лица несколько бесформенна, сделана грубо, как бы кое-как.

Большой нос и толстые губы придают несколько татарский облик Ленину, что в России, конечно, легко объяснимо. Но совершенно, или почти совершенно, такой же нос и такие же губы и у Сократа, что особенно бросалось в глаза в Греции, где подобный тип придавали разве только фантастическим сатирам. Равным образом и у Верлена. Один из близких к Верлену друзей прозвал его калмыком. На лице великого мыслителя, судя по бюстам, лежит именно прежде всего печать глубокой мысли. Я думаю, однако, что если в передаче Ксенофонта и Платона есть доля истины, то Сократ должен был быть веселым и ироническим и сходство в живой игре физиономии было, пожалуй, с Лениным большее, чем дает бюст. Равным образом в обоих знаменитых изображениях Верлена преобладает то тоскливое настроение, тот декадентский минор, который, конечно, доминировал и в его поэзии, но всем известно, что Верлен, особенно в начале своих опьянений, был весел и ироничен, и я думаю опять-таки, что сходство здесь было большее, чем кажется.

Чему может научить эта странная параллель великого греческого философа, великого французского поэта и великого русского революционера?

Конечно, ничему. Она разве только отмечает, как одна и та же наружность может принадлежать, правда, быть может, приблизительно, равным гениям, но с совершенно разным направлением духа, а во-вторых, дала мне возможность описать наружность Ленина более или менее наглядным образом.

Когда я ближе узнал Ленина, я оценил еще одну сторону его, которая сразу не бросается в глаза: это поразительную силу жизни в нем. Она в нем кипит и играет. В тот день, когда я пишу эти строки, Ленину должно быть уже 50 лет, но он и сейчас еще совсем молодой человек, совсем юноша по своему жизненному тону. Как он заразительно, как мило, как по-детски хохочет и как легко рассмешить его, какая склонность к смеху — этому выражению победы человека над трудностями. В самые страшные минуты, которые нам приходилось вместе переживать, Ленин был неизменно ровен и также склонен к веселому смеху.

Его гнев также необыкновенно мил. Несмотря на то что от грозы его, действительно, в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть и сотни, он всегда господствует над своим негодованием и оно имеет почти шутиливую форму. Этот гром,

«как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Я много раз отмечал это внешнее бурление, эти сердитые слова, эти стрелы ядовитой иронии, и рядом был тот же смешок в глазах и способность в одну минуту покончить всю эту сцену гнева, которая как будто сама разыгрывается Лениным, потому что так нужно. Внутри же он остается не только спокойным, но и веселым.

В частной жизни Ленин тоже больше всего любит именно такое непритязательное, непосредственное, простое, кипением сил определяющееся веселье. Его любимцы — дети и котята. С ними он может подчас играть целыми часами.

В свою работу Ленин вносит то же благотворное обаяние жизни. Я никогда не скажу, чтобы Ленин был трудолюбив, мне никогда как-то не приходилось видеть его углубленным в книгу или согнувшимся над письменным столом. Пишет он страшно быстро, крупным размашистым почерком; без единой помарки набрасывает он свои статьи, которые не стоят ему никакого усилия. Сделать это он может в любой момент, обыкновенно утром, встав с постели, но и поздно вечером, вернувшись после утомительного дня, и когда угодно. Читал он все последнее время, за исключением, может быть, короткого промежутка за границей, во время реакции, больше отрывками, чем усидчиво, но из всякой книги, из всякой страницы он вынесет что-то новое, выкопает ту или другую нужную для него идею, которая служит ему потом оружием.

Особенно зажигается он не от родственных идей, а от противоположных. В нем всегда жив ярый полемист.

Но если Ленина как-то смешно назвать трудолюбивым, то трудоспособен он в огромной степени. Я близок к тому, чтобы признать его прямо неутомимым; если я не могу этого сказать, то потому, что знаю, что в последнее время нечеловеческие усилия, которые приходится ему делать, все-таки к концу каждой недели несколько надламывают его силы и заставляют его отдыхать.

Но ведь зато Ленин умеет отдыхать. Он берет этот отдых как какую-то ванну, во время его он ни о чем не хочет думать и целиком отдается праздности и, если только возможно, своему любимому веселью и смеху. Поэтому из самого короткого отдыха Ленин выходит освеженным и готовым к новой борьбе.

Этот ключ сверкающей и какой-то наивной жизненности составляет рядом с прочной шириной ума и напряженной волей, о которой я говорил выше, — очарование Ленина. Очарование это колоссально: люди, попадающие близко в его орбиту, не только отдаются ему как политическому вождю, но как-то своеобразно влюбляются в него. Это относится к людям самых разных калибров и духовных строений — от такого тонко вибрирующего огромного таланта,

как Горький, до какого-нибудь косолапого мужика, явившегося из глубины Пензенской губ., от первоклассных политических умов, вроде Зиновьева, до какого-нибудь солдата и матроса, вчера еще бывших черносотенцами, готовых во всякое время сложить свои буйные головы за «вождя мировой революции — Ильича».

Это фамильярное название «Ильич» привилось так широко, что его повторяют и люди, никогда не видевшие Ленина.

Когда Ленин лежал раненный, как мы опасались, смертельно, никто не выразил наших чувств по отношению к нему лучше, чем Троцкий. В страшных бурях мировых событий Троцкий, другой вождь русской революции, вовсе не склонный сентиментальничать, сказал:

«Когда подумаешь, что Ленин может умереть, то кажется, что все наши жизни бесполезны, и перестает хотеться жить».

Вернусь к линии моих воспоминаний о Ленине до великой революции.

В Женеве мы работали вместе с Лениным в редакции журнала «Вперед», потом «Пролетарий». Ленин был очень хорошим товарищем по редакции. Писал он много и легко, как я уже говорил, и относился очень добросовестно к работам своих коллег: часто поправлял их, давая указания, и очень радовался всякой талантливой и убедительной статье.

Отношения у нас были самые добрые. Ленин очень скоро оценил меня как оратора: он чрезвычайно не любит делать какие бы то ни было комплименты, но раза два отзывался с большим одобрением о моей силе слова и, опираясь на это одобрение, требовал от меня возможно частых выступлений. Некоторые наиболее ответственные выступления он обдумывал со мной заранее.

В первой части нашей жизни в Женеве до января 1905 года мы отдавались, главным образом, внутренней партийной борьбе.

Здесь меня поражало в Ленине глубокое равнодушие ко всяким полемическим стычкам, он не придавал большого значения борьбе за заграничную аудиторию, которая в большинстве своем была на стороне меньшевиков. На разные торжественные дискуссии он не являлся и мне не особенно это советовал. Предпочитал, чтобы я выступал с большими цельными рефератами.

В отношении его к противникам не чувствовалось никакого озлобления, но тем не менее он был жестоким политическим противником, пользовался каждым их промахом, раздувал всякие намеки на оппортунизм, в чем была, впрочем, доля правды, потому что позднее меньшевики и сами раздули все тогдашние свои искры в достаточно оппортунистическое пламя. На интриги он не пускался, но в политической борьбе пускал в ход всякое оружие, кроме грязного. Надо сказать, что подобным же образом вели себя

и меньшевики. Отношения наши были довольно-таки испорчены, и мало кому из политических противников удалось в то же время сохранить сколько-нибудь человеческие личные отношения. Особенно отравил отношения меньшевиков к нам Дан. Дана Ленин всегда очень не любил, Мартова же любил и любит, но считал и считает его политически несколько безвольным и теряющим за тонкою политической мыслью общие ее контуры.

С наступлением революционных событий дело сильно изменилось. Во-первых, мы стали получать как бы моральное преимущество перед меньшевиками. Меньшевики к этому времени уже определенно повернули к лозунгу:

толкать вперед буржуазию и стремиться к конституции или, в крайнем случае, демократической республике. Наша, как утверждали меньшевики, революционно-техническая точка зрения увлекала даже значительную часть эмигрантской публики, в особенности молодежь.

Мы почувствовали живую почву под ногами. Ленин в то время был великолепен. С величайшим увлечением разворачивал он перспективы дальнейшей беспощадной революционной борьбы и страстно стремился в Россию.

Ленин и искусство*

Воспоминания

У Ленина было очень мало времени в течение его жизни сколько-нибудь пристально заняться искусством, и так как ему всегда был чужд и ненавистен дилетантизм, то он не любил высказываться об искусстве. Тем не менее вкусы его были очень определены. Он любил русских классиков, любил реализм в литературе, в театре, в живописи и т. д.

Еще в 1905 году во время первой революции ему пришлось раз ночевать в квартире тов. Д. И. Лещенко, где, между прочим, была целая коллекция кнакфуссовских изданий, посвященных крупнейшим художникам мира. На другое утро Владимир Ильич сказал мне: «Какая увлекательная область история искусства. Сколько здесь работы для марксиста. Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Эти слова Ильича запомнились мне чрезвычайно четко.

* Впервые: Художник и зритель. 1924. № 2–3. Февраль-март.

Несколько раз приходилось мне встречаться с ним уже после революции на почве разных художественных жюри.

Так, например, помню, он вызвал меня, и мы вместе с ним поехали на выставку проектов памятников на предмет замены фигуры Александра III, свергнутой с роскошного постамента около храма Христа-спасителя. Владимир Ильич очень критически осматривал все эти памятники. Ни один из них ему не понравился. С особым удивлением стоял он перед памятником футуристического пошиба, но, когда спросили его об его мнении, он сказал: «Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского». На мое заявление, что я не вижу ни одного достойного памятника, он очень обрадовался и сказал мне: «А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое чучело».

Другой раз дело шло о памятнике Карлу Марксу. Известный скульптор М. проявил особую настойчивость. Он выставил большой проект памятника: «Карл Маркс, стоящий на четырех слонах». Такой неожиданный мотив показался нам всем странным и Владимиру Ильичу также. Художник стал переделывать свой памятник, и переделывал его раза три, ни за что не желая отказаться от победы на конкурсе. Когда жюри под моим председательством окончательно отвергло его проект и остановилось на коллективном проекте группы художников под руководством Алешина, то скульптор М. обратился к Владимиру Ильичу с жалобой. Владимир Ильич принял к сердцу его жалобу и звонил мне специально, чтобы было созвано новое жюри. Сказал, что сам приедет смотреть алешинский проект и проект скульптора М. Приехал. Остался алешинским проектом очень доволен, проект скульптора М. отклонил.

В этом же самом году на празднике 1 Мая в том самом месте, где предполагалось воздвигнуть памятник Марксу, алешинская группа построила в небольшом масштабе модель памятника. Владимир Ильич специально поехал туда. Несколько раз обошел памятник вокруг, спросил, какой он будет величины, и, в конце концов, одобрил его, сказав, однако: «Анатолий Васильевич, особенно скажите художнику, чтобы волосы вышли похожими, чтобы было то впечатление от Карла Маркса, какое получается от хороших его портретов, а то как будто сходства мало».

Еще в 1918 году Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, что надо двинуть вперед искусство как агитационное средство. При этом он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, надо было украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно бывают афиши, большими революционными надписями. Некоторые из них сейчас же предложил.

Второй проект относился к постановке памятников великим революционерам в чрезвычайно широком масштабе, памятников временных из гипса, как в Петрограде, так и в Москве. Оба города живо откликнулись на предложение осуществить идею Владимира Ильича, причем предполагалось, что каждый памятник будет торжественно открываться речью о данном революционере и что под ним будут сделаны разъясняющие надписи. Владимир Ильич называл это «монументальной пропагандой».

В Петрограде эта «монументальная пропаганда» была довольно удачной. Первым таким памятником был Радищев — Шервуда. Копию его поставили в Москве. К сожалению, памятник в Петрограде разбился и не был возобновлен. Вообще большинство хороших петроградских памятников по самой хрупкости материала не могли удержаться, а я помню очень неплохие памятники, например, бюсты Гарибальди, Шевченко, Добролюбова, Герцена и некоторые другие. Хуже выходили памятники с левым уклоном; так, например, когда открыта была кубически стилизованная голова Перовской, то некоторые прямо шарахнулись в сторону. Так же точно, помнится, памятник Чернышевскому многим показался чрезвычайно вычурным. Лучше всех был памятник Лассалю*. Этот памятник, поставленный у бывшей городской думы, остался и до сих пор**. Кажется, его отлили из бронзы. Чрезвычайно удачен был также памятник Карлу Марксу во весь рост, сделанный скульптором Матвеевым. К сожалению, он разбился и сейчас заменен в том же месте, т. е. около Смольного, бронзовой головой Маркса более или менее обычного типа, без оригинальной пластической трактовки Матвеева.

В Москве, где памятники как раз мог видеть Владимир Ильич, они были неудачны.

Вообще удовлетворительных памятников в Москве было мало. Лучше других, пожалуй, памятник поэту Никитину. Я не знаю, смотрел ли их подробно Владимир Ильич, но, во всяком случае, он как-то с неудовольствием сказал мне, что из монументальной пропаганды ничего не вышло. Я ответил ссылкой на петроградский опыт. Владимир Ильич с сомнением покачал головой и сказал: «Что же, в Петрограде собрались все таланты, а в Москве бездарности?» Объяснить ему такое странное явление я не мог.

* Памятник Лассалю художника Зелита. — А. Л. (Ошибка А. В. Луначарского: памятник Лассалю — работы скульптора Синайского. — *Ред.*)

** Письмо ЦК РКП «О пролеткультах», опубликованное в «Правде» 1 декабря 1920 г. — *Ред.*

С некоторым сомнением относился он и к мемориальной доске Коненкова. Она казалась ему не особенно убедительной. Сам Коненков, между прочим, не без остроумия называл это свое произведение «мнимореальной доской».

Помню я также, как художник Альтман подарил Владимиру Ильичу барельеф, изображающий Халтурина. Владимиру Ильичу барельеф очень понравился, но он спросил меня, не футуристическое ли это произведение? К футуризму он вообще относился отрицательно. Я не присутствовал при разговоре его в Вхутемасе, в общезнание которого он как-то заезжал с Надеждой Константиновной. Мне потом передавали о большом разговоре между ним и вхутемасовцами, конечно, сплошь «левыми». Владимир Ильич отшучивался от них, насмехался немножко, но и тут заявил, что серьезно говорить о таких предметах не берется, ибо чувствует себя недостаточно компетентным. Самую молодежь нашел очень хорошей и радовался их коммунистическому настроению.

Владимиру Ильичу редко в течение последнего периода его жизни удавалось насладиться искусством. Он несколько раз бывал в театре, кажется, исключительно в Художественном, который очень высоко ставил. Спектакли в этом театре неизменно производили на него отличное впечатление.

Владимир Ильич сильно любил музыку. Одно время у меня в квартире устраивались хорошие концерты. Пел иногда Шаляпин, играли Мейчик, Романовский, квартет Страдивариуса, Кусевицкий и т. д. Я много раз звал Владимира Ильича, но он всегда был занят. Один раз прямо мне сказал: «Конечно, очень приятно слушать музыку, но, представьте, она меня расстраивает. Я ее как-то тяжело переносу». Помнится, т. Цюрупа, которому раза два удалось залучить Владимира Ильича на домашний концерт того же пианиста Романовского, говорил мне также, что Владимир Ильич очень наслаждался музыкой, но был, по-видимому, взволнован.

Мне несколько раз приходилось доказывать Владимиру Ильичу, что Большой театр стоит нам сравнительно дешево, но все же, по его настоянию, ссуда ему была сокращена. Руководился Владимир Ильич двумя соображениями. Одно из них он сразу назвал: «Не годится, — говорил он, — содержать за большие деньги такой роскошный театр, когда у нас не хватает средств на содержание самых простых школ в деревне». Другое соображение было выдвинуто, когда я на одном из заседаний оспаривал его нападения на Большой театр. Я указывал на несомненное культурное значение его. Тогда Владимир Ильич лукаво прищурил глаза и сказал: «А все-таки это кусок чисто помещичьей культуры, и против этого никто спорить не сможет».

Из этого не следует, что Владимир Ильич к культуре прошлого был вообще враждебен. Специфически помещичьим казался ему весь придворно-помпезный тон оперы. Вообще же искусство прошлого, в особенности русский реализм (в том числе и передвижников, например), Владимир Ильич высоко ценил.

Вот те фактические данные, которые я могу привести из моих воспоминаний о Владимире Ильиче. Повторяю, из своих эстетических симпатий и антипатий Владимир Ильич никогда не делал руководящих идей.

Товарищи, интересующиеся искусством, помнят обращение ЦК по вопросам об искусстве, довольно резко направленное против футуризма. Я не осведомлен об этом ближе, но думаю, что здесь была большая капля меду самого Владимира Ильича. В то время Владимир Ильич считал меня не то сторонником футуризма, не то человеком, исключительно ему потворствующим, потому, вероятно, и не советовался со мною перед изданием этого постановления ЦК, которое должно было, на его взгляд, выпрямить мою линию.

Расходился со мной довольно резко Владимир Ильич и по отношению к Пролеткульту. Один раз даже сильно побранил меня. Скажу прежде всего, что Владимир Ильич отнюдь не отрицал значение кружков рабочих для выработки писателей и художников из пролетарской среды, но он очень боялся поползновения Пролеткульта заняться выработкой «пролетарской науки» вообще, «пролетарской культуры» во всем объеме. Это, во-первых, казалось ему совершенно несвоевременной и непосильной задачей, во-вторых, он думал, что такими, естественно, скороспелыми выдумками рабочих отгородят от учебы, от восприятия элементов уже готовой науки и культуры, и, в-третьих, побаивался Владимир Ильич, не без основания, по-видимому, и того, чтобы в Пролеткульте не свил себе гнезда какой-нибудь политический уклон. Довольно недружелюбно относился он, например, к большой роли, которую в Пролеткульте играл в то время А. А. Богданов.

Владимир Ильич во время съезда Пролеткульта в октябре 1920 года поручил мне поехать туда и определенно указать, что Пролеткульт должен находиться под руководством Наркомпроса и рассматривать себя как его учреждение и т. д. Словом, Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству; в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии. Речь, которую я сказал на съезде, я средактировал довольно уклончиво и примирительно, Владимиру Ильичу передал эту речь в еще более мягкой редакции. Он позвал меня к себе и разнес. Позднее Пролеткульт был перестроен согласно указаниям Владимира Ильича.

Новые художественные и литературные формации, образовавшиеся во время революции, проходили большей частью мимо внимания Владимира Ильича. У него не было времени ими заняться. Все же скажу — «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной⁴. Нельзя не пожалеть, что о других, более поздних и более зрелых поворотах литературы к революции он уже не мог высказаться.

Всемирно известен огромный интерес, который проявлял Владимир Ильич к кинематографии.

Н. МАЙОРОВ*

Ленин (1937)

Вот снова он предстанет в жестах
Весь — наша воля. Сила. Страсть...
Кругом — народ. И нету места,
Где можно яблоку упасть.
Матрос. И женщина с ним рядом.
Глаза взведя на броневик,
Щекой небритую к прикладу
Седой путиловец приник.
Он рот открыл. Он хочет слышать,
Горячих глаз не сводит он
С того, о ком в газетах пишут,
Что он вельгельмовский шпион.
Он знает: это ложь. Сквозная.
Такой не выдумать вовек.
Газеты брешут, понимая,
Как нужен этот человек
Ему. Той женщине. Матросам,
Которым снился он вчера,
Где серебром бросают осыпь
В сырую ночь прожектора...
И всем он был необходим,
И бредила — в мечтах носила —
Быть может, им и только им

* *Николай Петрович Майоров (1919–1942)* — русский советский поэт, поэт-фронтовик.

В тысячелетиях Россия.
И он пришел... Насквозь прокурен
В квартирах воздух, кашель зим.
И стало сразу ясно: буря
Уж где-то слышится вблизи.
Еще удар. Один. Последний...
Как галька, были дни пестры.
Гнусавый поп служил обедни.
Справляли пасху. Жгли костры.
И ждал. Дни катились быстро.
Уж на дворе октябрь гостил,
Когда с «Авроры» первый выстрел
Начало жизни возвестил...

Л. МАРТЫНОВ*

Бессмертие правды

Где Ленин?
Ленин в Мавзолее.
И на медали. И в звезде.
Где Ленин?
Вот его квартира,
Вот кабинет его в Кремле.
Где Ленин?
Он на полках книжных.
Но не стоять же целый век
На постаментах неподвижных
Ему во мгле библиотек!
Где Ленин?
Даты, юбилеи...
Но где же Ленин? Ленин где?
.....
Ленин там, где тоска о свободе
Грудью врывается в жандармские пули
Ленин там, где в подобной оде
Бой пролетариев, землеробов, улей.
С ленинской думой летят космонавты,

* Леонид Николаевич Мартынов (1905–1980) — русский советский поэт, журналист, переводчик. Лауреат Государственной премии СССР (1974).

Поэты путь пробивают в мещанстве
Ленин — это бессмертие правды,
Это мечта миллионов о счастье.
Ленин — это бессмертие правды,
Это мечта миллионов о счастье!

Ленин и Вселенная (1969)

Многое
Связано
С именем Ленина —
Подвиги славные,
Улицы главные...
Может быть,
Будущие поколения
Сделают образ великого Ленина
Явственным и за земными пределами,
И превратятся в понятия межзвездные
Мысли и чувства Владимира Ленина,
Те или эти его размышления,
И для соседей по космосу ценные.
К прописям: Ленин и Человечество,
Четко прибавится:
Он и Вселенная.

С. МАРШАК*

Баллада о памятнике (1946)**

1

Передают в горах такой рассказ:
Война пришла на Северный Кавказ,

* *Самуил Яковлевич Маршак* (1887–1964) — советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, сценарист. Автор известных детских книг. Лауреат Ленинской (1963) и четырёх Сталинских премий (1942, 1946, 1949, 1951).

** Впервые в газете «Комсомольская правда». 1946. № 19, 21 января.

И статую с простертою рукой
Увидел враг над пенистой рекой.
— Убрать! — сказал немецкий генерал
И бронзу переплавить приказал.
И вот на землю статуя легла,
А вечером, когда сгустилась мгла,
Немецких автоматчиков конвой
Ее увез в машине грузовой.

2

В ту ночь на склонах бушевал буран,
В ущельях гор скрывая партизан.
И там, где был дороги поворот,
Заговорил по-русски пулемет.
И эхо вторило ему в горах
На всех гортанных горских языках.
И выстрелами озарялась высь:
В теснинах гор за Ленина дрались.
И Ленин сам — с машины грузовой —
Смотрел на этот партизанский бой.

3

Проснулись утром люди в городке,
И вышли дети первыми к реке.
Они пошли взглянуть на пьедестал,
Где Ленин столько лет и зим стоял.
И видят: Ленин цел и невредим
И так же руку простирает к ним.
Как прежде, руку простирает к ним
И говорит: — Друзья, мы победим!
Он говорит — или шумит река,
Бегущая сюда издалека...

ни день,
ни год,
ни века.
Все так же
вскипают
от этой даты
души
фабрик и хат.
И я
привожу вам
просто цитаты
из сердца
и из стиха.
Февральское пламя
померкло быстро,
в речах
утопили
радость февральскую.
Десять
министров капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.
Купался
Керенский
в своей победе,
задав
революции
адвокатский тон.
Но вот
пошло по заводу:
– Едет!
Едет!
– Кто едет?
– Он!
«И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик».

Была
 простая
 машина эта,
как многие,
 шла над Невой.
Прошла,
 а нынче
 по целому свету
дыханье ее
 броневое.
«И снова
 ветер,
 свежий и крепкий,
валы
 революции
 поднял в пене.
Литейный
 залили
 блузы и кепки.
– Ленин с нами!
 Да здоровствует Ленин!»
И с этих дней
 езде
 и во всем
имя Ленина
 с нами.
Мы
 будем нести,
 несли
 и несем –
его,
 Ильичево, знамя.
«– Товарищи! –
 и над головою
 первых сотен
вперед
 ведущую
 руку выставил.
– Сбросим
 эсдечества
 обетшавшие лохмотья!
Долой
 власть

соглашателей и капиталистов!»
Тогда
 рабочий,
 впервые спрошенный,
еще нестройно
 отвечал:
 — Готов! —
А сегодня
 буржуй
 распластан, сброшенный,
и нашей власти —
 десять годов.
«— Мы —
 голос
 воли низа,
рабочего низа
 всего света.
Да здравствует
 партия,
 строящая коммунизм!
Да здравствует
 восстание
 за власть Советов!»
Слова эти
 слушали
 пушки мордастые,
и щерился
 белый,
 штыками блестя.
А нынче
 Советы и партия
 здравствуют
в союзе
 с сотней миллионов крестьян.
«Впервые
 перед толпой обалделой,
здесь же,
 перед тобою,
 близ —
встало,
 как простое
 делаемое дело,
недостижимое слово

— «социализм».

А нынче
в упряжку
взяты частники.

Коопов
стосортных
сети вьем,
показываем
ежедневно
в новом участке
социализм
живьем.

«Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ».

Коммуна —
еще
не дело дней,
и мы
еще
в окружении врагов,
но мы
прошли
по дороге к ней
десять
самых трудных шагов.

Владимир Ильич!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!

Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?
Ноги без мозга – вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И зéмли
сели на óси.
Каждый вопрос – прост.
И выявилось
два
в хаóсе
мира
во весь рост.
Один –
животище на животище.
Другой –
непреклонно скалистый –
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.
Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают,
чьими
трусами
им идти.
Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье – «подождем»!
Руки знают,
кого им

крыть смертельным дождем.
Пожарами землю дымя,
езде,
где народ исплёнен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!
И это –
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют. –
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.
Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел –
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода ВКП.

Из поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924)

Когда я
 итожу
 то, что прóжил,
и роюсь в днях –
 ярчайший где,
я вспоминаю
 одно и то же –
двадцать пятое,
 первый день.
Штыками
 тычется
 чирканье молний,
матросы
 в бомбы
 играют, как в мячики.

От гуда
 дрожит
 взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
 внизу пулеметчики.
– Вас
 вызывает
 товарищ Сталин.
Направо
 третья,
 он
 там. –
– Товарищи,
 не останавливаться!
 Чего стали?
В броневики
 и на почтайт! –
– По приказу
 товарища Троцкого! –
– Есть! –
 повернулся
 и скрылся скоро,
и только
 на ленте
 у флотского
под лампой
 блеснуло –
 «Аврора».
Кто мчит с приказом,
 кто в куче спорящих,
кто щелкал
 затвором
 на левом колене.
Сюда
 с того конца коридорища
бочком
 пошел
 незаметный Ленин.
Уже
 Ильичем
 поведенные в битвы,
еще
 не зная

его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вонзал,
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
уоставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я,
что всё
раскрыто и понято
и этим
глазом
наверное выловится –
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил

до миллиардов полутора.
Он
взвешивал
мир
в течение ночи,
а утром:
– Всем!
Всем!
Всем это –
фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,
в рабство
богатым отданным. –
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным!

Мы не верим

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.

Разве жар
такой
термометрами меряется?!

Разве пульс
такой
секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Нет!
Нет!
Не-е-т...
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ*

Царство антихриста**

Большевики, Европа и Россия***

«Большевизм и Россия», — если так ставился вопрос еще недавно, то теперь уже не так. Не «большевизм и Россия», а «большевизм, Европа и Россия», — вот как сейчас он поставлен всемирно-историческими судьбами, русскими и европейскими.

* *Дмитрий Сергеевич Мережковский* (1865–1941) — русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. Яркий представитель Серебряного века, вошёл в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историсофского романа, один из пионеров религиозно-философского подхода к анализу литературы. Философские идеи и радикальные политические взгляды Мережковского вызывали резко неоднозначные отклики, но даже оппоненты признавали в нём выдающегося писателя, жанрового новатора и одного из самых оригинальных мыслителей XX века. Мережковский (начиная с 1914) был 10 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

** *Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В., Злобин В. А.* Царство Антихриста. Мюнхен: Drei Masken, 1921.

*** Впервые: *Общее дело* (Париж). 1921. 26–29 января. № 195–198.

Между нынешней Россией, большевистскою, и Россией будущей, освобожденною, Европа, хочет того или не хочет, будет вдвинута. Сколько бы не отрещивалась от «вмешательства», — рано или поздно, вмешается, двинется.

Как интернационален, в существе своем, в Интернационале, сам большевизм, так и борьба с ним должна быть интернациональною, всемирною. Когда последний русский национальный фронт пал или ушел в глубь России, в неизбежную революцию, — это яснее, чем когда-либо. Национальный фронт пал — обнажился фронт всемирный.

Этот час, когда я с вами говорю, есть час всемирности, и это место, где я с вами говорю, — есть место всемирности: Париж — город всемирный по преимуществу. Вот почему, если когда-либо, то отныне, и если где-либо, то отсюда, борьба с большевизмом должна, сделаться всемирной.

Да, между большевизмом и Россией будет вдвинута Европа. Это очень трудно понять европейцам. Но, как им ни трудно, — мы, русские, должны сделать, чтобы они наконец это поняли.

Европейцы этого не поймут, пока мы, русские, сами не поймем, что большевизм может быть побежден только «Третьей Россией».

Что такое Третья Россия?

Россия первая — царская, рабская; Россия вторая — большевистская, хамская; Россия третья — свободная, народная.

Но, прежде чем говорить о существовании Третьей России, должно сказать о ведущих к ней путях.

На этих путях все русское изгнание, русское «рассеяние», уже подобное великому рассеянию Израиля — diaspora — делится надвое: на знающих и не знающих о том, что сейчас происходит в России.

Не застигнутые полднем большевистского ужаса в самой России, успевшие бежать, — не знают всего, а не знают об этом всего — ничего не знают. Кто этого сам не видел, не испытал, не пережил, тот никогда ничего не узнает.

Между знающими и незнающими — черта, подобная черте смерти: живые — мертвых, мертвые живых не понимают. «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Мы и вы — тот свет и этот.

О том свете мы вам ничего сказать не можем. Между нами и вами — стена стеклянная. Вы видите, слышите, но не осязаете главного. Главное свойство того, что сейчас происходит в России — немота, несказанность, неизреченность ужаса. Люди страдают страданию малому и среднему; слишком большому сострадать уже

не могут, потому что не видят его: так ультрафиолетовых лучей не видит глаз. Вся Россия сейчас — в таких лучах страдания невидимых.

Кто знает все, что сейчас происходит в России, — у того не рана в душе, а вся душа — рана; тот человек с содранной кожей. «Ничего, обрастешь, забудешь», говорите вы, незнающие; а мы говорим: не хотим обрастать, не хотим забывать. Будь мы прокляты, если забудем!

«Воскреснет же когда-нибудь Россия, — подождем», говорите вы; а мы говорим: никогда не дожидется России тот, кто ждал.

«Лучше большевики, чем то или это», говорите вы, а мы говорим: лучше все, чем большевики.

Для их свержения вы готовы жертвовать тем или этим, а мы — всем. С тем или этим вы у них соглашаетесь; а мы — ни с чем. Вы — мирящиеся; мы непримиримые.

«Не вмешивайтесь в русские дела», говорите вы, а мы говорим: невмешательство против большевиков — вмешательство за них.

Невмешательство — соглашательство — предательство, русское и всемирное.

Кто предал Россию большевикам и вот уже три года предает? Соглашатели — Ллойд Джордж один, и Ллойд Джорджи бесчисленные; Керенский один — и бесчисленные Керенские. Если Керенский вернется в Россию, то как встретят его? Растерзают? Нет, он сам рассыплется прахом.

Кто торговался о России «единой, неделимой» и мертвой, забыв о России живой и расчлененной, растерзанной? Все вы же, соглашатели, русские и всемирные.

Еще оттуда, из нашего гроба, погребенные заживо вместе с Россией, мы торг этот слышали, во время наступления Колчака, Деникина, Юденича, — торг о Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии, и каждое условие торга вколачивало лишний гвоздь в наш гроб. Нет, этого мы вам никогда не забудем за себя и за всех, кто остался в России. Будь мы прокляты, если забудем, — говорим о себе. Говорим и о вас: будьте вы прокляты, уже забывшие!

Да, соглашатели суть предатели, пусть невинные, честные, благородные, но все же предатели, — ведь главное свойство Керенских и есть сочетание благородства с предательством.

Русский Париж — город соглашателей. Но не весь. Если бы весь, то с ним и говорить бы не стоило. Я с вами говорю, потому что верю, что там, где есть русские люди, есть и люди с содранной кожей, незарастающей; там где есть русские люди, есть и помнящие все, что сейчас происходит в России; не соглашатели, не предатели, — враги большевиков непримиримые. Я с вами говорю, потому что верю,

что среди вас непримиримых много, и будет все больше; а когда будут все, тогда большевизму конец, тогда будет Третья Россия.

Непримиримость — вот в Россию Третью путь единственный. Кто сошел с него, тот в нее не войдет. Не войти в Россию, не иметь в ней части — казнь мирящихся.

Мириться можно со злом относительным, с абсолютным — нельзя. А если есть на земле воплощение Зла Абсолютного — Дьявола, то это — большевизм.

«Ваш отец — дьявол. Он был человекоубийца от начала, лжец и отец лжи».

Большевики — сыны дьявола, лжецы и человекоубийцы от начала. Лгут и убивают, убивают и лгут. Покрывают ложь убийством, убийство — ложью. Чем больше лгут, тем больше убивают. Бесконечная ложь — человекоубийство бесконечное.

От начала солгали: «Мир, хлеб, свобода». И вот — война, голод, рабство. Такое рабство, такой голод, такая война, каких еще никогда на земле не бывало.

Лгут о революции — освобождении, а свободу называют «буржуазным предрассудком» (Ленин.) Но, если надо буржуазию уничтожить, то надо уничтожить и свободу. Это и делают: убивают свободу и покрывают убийство ложью. Лгут, что убили свободу на время, пока не восторжествует равенство. Но нельзя убить свободу на время. Убитая свобода не воскресает, пока живы свобододубийцы. Пока жив большевизм, свобода мертва.

Да, воистину, такого рабства никогда еще на земле не бывало. Доныне всякое человеческое насилие, порабощение было только частичным, условным и относительным, именно потому, что было только человеческим. Всякий поработитель знал, что делает зло. Большевики этого не знают. Так извратили понятия, что зло считают добром, добро — злом, «по совести» по своей нечеловеческой, дьявольской совести. И впервые на земле явилось рабство безграничное, абсолютное, нечеловеческое, дьявольское.

Так же лгут и о хлебе. Не хлеб им нужен, а голод. Не борются с голодом, а голодом держатся: вся власть их зиждется на голоде. Давно уж поняли, что сытый народ бунтует, ищет свободы; а голодный покоряется и чем голоднее, тем покорнее. Давно уже поняли, что цепь голода — из всех цепей крепчайшая. Все человеческие страхи мгновенны и частны, по сравнению со страхом голода, общим и вечным. Огнем и железом пытаются одного человека, а человеческие множества — «массы» — голодом. Много смертей человеческих; у каждого человека — своя; но голодная смерть для всех одна. Когда и мать-земля не родит, то человек — сын, проклятый матерью. Проклятье земли тягчайшее.

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах,
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.

Так сейчас в России, так будет и во всей Европе, если пройдет по ней большевизм. Где конь этот ступит копытом, там трава не растет; где саранча эта сядет, там уже ни былинки, ни колоса. Съели Россию — съедят и Европу. Весь мир съедят. Вот для чего идут с востока на запад красные полчища. Не Троцкий ведет их, а полководец иной — апокалипсический всадник на черном коне с черным знаменем — Голод. И пулеметного огня в спину не нужно, когда гонит людей голод: если позади смерть, а впереди хлеб, то люди идут вперед и пройдут весь мир — не остановятся. Вот, в чем тайна красных «побед», этих чудес дьявольских.

Большевики и это давно уже поняли. Как победили Россию, так победят весь мир голодом. Исполнилось над нами слово пророка: «Умерщвляемые мечом блаженнее умерщвляемых голодом. Руки мягкосердечных жен варят детей своих, чтобы они были им пищею. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода».

Погодите, народы Европы, слово это и над вами исполнится: если не обратитесь и не покаетесь, будет и у вас небывалое царство голода — царство дьявола.

Лгут о хлебе, лгут о свободе, но больше всего лгут о мире.

Мира жаждет ныне человечество, как умирающий от жажды жаждет воды. Но мира нет, и сейчас меньше, чем когда-либо, можно надеяться, что будет мир. На востоке Европы все еще бушует война; на западе буря как будто утихла, но страшная мертвая зыбь войны уносит полуразбитый корабль Европы в океан безбрежный, к новой буре, крушению новому, последнему. Как умирающий от жажды в пустыне, плетется человечество к источнику мира, а большевики забегают вперед и отравляют воду в источнике. Уже отравили, осквернили, сделали мир «похабным» для России и хотят сделать то же для всего человечества. Много у них грехов; но это — тягчайший. Вот за что им камень жерновный на шею, — за осквернение мира.

Лгут: все войны кончатся, и будет мир всего мира только тогда, когда внешняя война международная делается внутренней войной междуусобной, переродится в так называемую «борьбу классов».

Вот где этими сынами дьявола, лжеца и человекоубийца изначального, ложь и человекоубийство сплетены в крепчайший узел.

Идея «классовой борьбы», как основной социальной динамики, открыта не ими: вообще никаких идей не открыли они — безыдейность одно из главных их свойств. Идея эта принадлежит тому,

кого они считают своим пророком и учителем, Карлу Марксу. «В большевизме Маркс неповинен; Марксовы кости в гробу перевернулись бы, если бы он узнал, что большевики с ним делают». Утверждение это, ныне столь ходкое, следует принимать *cum grano salis*. Именно идея классовой борьбы, вплоть до всемирной войны междуусобной, поглощающей все войны международные, идея «классовой борьбы», в качестве единственно желанной и действительной революционной динамики, связывает большевизм с марксизмом, как пуповина связывает младенца с утробой матери. Именно по этой идее видно, что недалеко большевистские яблочки от яблони марксистской падают.

Хороша или дурна идея классовой борьбы, благородна или презренна, — мы, живые люди, участники борьбы, палачи или жертвы, кое-что знаем о ней, чего Маркс не знал, что и не снилось всем мудрецам социал-демократии. У них идея эта была только в уме; у нас — в крови и в костях: кровь наша льется, кости трещат от нее.

Мы знаем, что война междуусобная в неизмеримо-большей степени есть «война на истребление», чем все войны международные, и что это война бесконечная. Конец ее — взаимоистребление классов — еще менее возможен, чем истребление одного народа другим. Французы могли бы истребить немцев, и желтая раса — белую, потому что тут враг — видит врага в лицо, может отличить его от друга. Но как отличить буржуа от пролетария? Маркс думал, что это легко. Мы знаем, как трудно.

Два класса — не только два существа экономических, два тела, как думал Маркс, но и два духа. Класс на класс — дух на дух. Борьба двух начал духовных — антиномий метафизических — есть борьба безысходная и бесконечная. Тело истребить можно; но как истребить дух? Дух буржуазный таится и в пролетариях. И даже эти «буржуи» новые хуже старых. Дух неуловим, неистребим. Бесконечна война русских чрезвычайек с «буржуйным» духом, — какова же будет война чрезвычайек всемирных?

Да, по русской междуусобной войне можно судить о всемирной. Война междуусобная на международную — братоубийство на человекоубийство, огонь на огонь, больший на меньший. В войне международной — жар горящего дерева, в междуусобной — жар железа, раскаленного добела. В международной войне люди — звери; в междуусобной — дьяволы.

Такова тройная ложь большевиков — «мир, хлеб, свобода» — бесконечный голод, бесконечное рабство, бесконечная война — тройное царство дьявола.

О, я понимаю, как страшно о десятках, сотнях тысяч людей сказать не шутя, веря в реальное существование дьявола: «Все это сыны дьявола»! Но как это ни страшно, я именно так говорю. Так же говорил это Достоевский в «Бесах».

Что такое «бесноватость»? Для научного знания — душевная болезнь. Могут ли ею заболеть не только отдельные люди, но и целые народы? Мы видим, что могут.

Для знания религиозного бесноватость — больше, чем душевная болезнь: это — реальная одержимость дьяволом, предельное воплощение, реализация Абсолютного Зла в человеческой личности, не только в духе, но и в плоти. Человек становится воистину дьяволом. Могут ли быть бесноватыми не только отдельные люди, но и целые народы? Мы видим, что могут.

Если богочеловечество — основной догмат христианства, то обратная сторона этого догмата — бесочеловечество. Можно отвергнуть все христианство вместе с его основным догматом; но, приняв одну половину его, надо принять и другую.

Таков ужасающий реализм моего утверждения: большевики — сыны дьявола.

Но все ли большевики — сыны дьявола? Нет ли между ними и честных, добрых людей, даже «святых»? Вот вечный вопрос соглашателей.

Честных и добрых большевиков нет, а есть как будто честные и как будто добрые. Но эти еще хуже простых негодяев: чем лучше, тем хуже.

Разумеется, и честный и добрый человек может сойти с ума, сделаться зверем, дьяволом или идиотом, юродивым, даже как будто «святым». Но в сумасшествии уже нет человека, не только честного и доброго, но и какого бы то ни было: человек был и, может быть, снова будет, когда выздоровеет, но сейчас его нет.

Большевизм, как душевная болезнь, не столько умственная, сколько нравственная — *moral insanity*, и есть такой именно абсолютный провал человеческой личности, ее исчезновение абсолютное. В этом смысле, истинных большевиков, «честных» и «святых», к счастью, немного. Но это — самые страшные.

Единственное метафизическое оправдание большевистского дьявола, последний обман его, — равенство. Убивают братство, убивают свободу во имя равенства; да погибнет мир, да будет равенство.

Вопрос о большевистском равенстве — сложный и трудный, требующий ответа пространного. Но мой ответ будет краток. Того, кто слеп, потому что не хочет видеть, не убедят никакие ответы. Слепой, не видящий красного цвета, не увидит и белого: кто не знает свободы, не узнает и равенства.

Равенство в рабстве, в смерти, в безличности, — в Аракчеевской казарме, в пчелином улье, в муравейнике или в братской могиле, где труп равен трупу, так что не различишь, — и равенство в личности, в жизни, в свободе, в революции, — не одно и то же. Как соединить революционную Свободу с революционным Равенством, — в этом, конечно, весь вопрос. Большевики не только не разрешили его, но и не поставили; прошли мимо, не подозревая, что тут есть вопрос. Умно и преступно, или идиотски невинно, «свято» утверждают они равенство на свобододубийстве и братоубийстве. Но, убивая Братство, убивая Свободу, убивают и Равенство, потому что разделить их нельзя: эти три — едино: Свобода, Равенство, Братство — три лика одного Божества — Революции.

Свобода — мать Равенства. А большевики вырезают не рожденного младенца, Равенство, из чрева матери, Свободы. Большевизм — братоубийство, свобододубийство и убийство равенства — проклятая троица.

«Светом трижды светящим» — das dreimal glühende Licht — Пресвятою Троицей — заклинает и побеждает дьявола Фауст. Тем же светом и мы победим Красного Дьявола.

«Свобода, Равенство, Братство» — Пресвятая Троица в человечестве — этот «трижды светящий свет» загорелся впервые во Франции. Прав Гегель, утверждающий, что Французская революция есть «величайшее откровение христианства после Христа». Франция — святая земля Революции, ее купина неопалимая во всемирной истории. «Скинь обувь свою, ибо ты стоишь на земле святой».

О, я себя не обманываю, я знаю, что и здесь, во Франции этот огонь потухает, что и здесь святыня революции глубоко забыта, зарыта. Зарыта, но не потеряна; забыта, но жива. Жива Революция, пока жива Демократия, потому что у обеих одна душа — Свобода.

Нет, никогда не примирится святая земля Свободы со свобододубийцами. И если в последней борьбе с Красным Дьяволом где-либо вспыхнет всемирный очаг непримиримости, то именно здесь, во Франции.

Вот почему здесь, во Франции, здесь, в Париже, я с вами говорю об этой последней борьбе.

<...>

Если большевизм — не только политика, но и религия — религия дьявола, то и победа над большевизмом должна быть победой Бога над дьяволом. Это значит: существо Третьей России должно быть религиозным.

Нет никакого сомнения в том, что хозяином освобожденной от большевиков России будет русский крестьянин, мелкий зе-

мельный собственник, мелкий буржуй. Но повторит ли он европейского буржуа окаянного? Если да, то большевики правы: дни Европы сочтены, круг ее замкнут в повторениях бессмысленных. Но история бессмысленно не повторяется. Русский буржуй, чтобы оправдать свое существование, должен прибавить к европейскому что-то новое. Что же именно?

Европа, чтобы ни говорила и ни делала, все еще тождественна не только христианству, но и революции — величайшему откровению христианства после Христа. Изменив христианскому началу революции, утвердив свободу против Бога, против Христа — Абсолютной Личности, Европа провалилась в буржуизм окаянное, в капитализм, безличную собственность.

И русская революция, приняв от Европы ту же свободу анти-христову, провалилась в большевизм — безличное равенство. Чтобы выйти из этого провала, Россия должна сделать то, что Европа не сделала, раскрыть не только политическое и социальное, но и религиозное содержание Революции, утвердить свободу со Христом — Абсолютною Личностью. Проблему социального равенства, задачу, заданную людям Богом, в большевизме решает дьявол «борьбою классов», «гражданскою войною», братоубийством, как единственной социальной динамикой. Ту же проблему Третья Россия должна решить не войною, а миром, не братоубийством, а братством, не разделением, а соединением классов, обществ, государств, народов в союз всечеловеческий, в Интернационал Белый, революционно-преображенно-молниенно-белый, — в Церковь Христову Вселенскую.

Вот что должен сделать для Европы хозяин Третьей России, русский «буржуй», не окаянный, а святой, русский крестьянин-христианин, ибо русское крестьянство, что бы ни говорило и ни делало, все еще христианству тождественно.

Но не в первом и втором христианстве, не в православии и не в католичестве, а только в Христианстве Третьем, в «Третьем Завете», предсказанном от Мицкевича до Ибсена, всеми пророками святой Европы, «земли святых чудес», — только в Третьем Завете соединится Третья Россия с Третьей Европой. И в этом соединении вспыхнет всемирная революция, которая победит буржуино-большевистскую всемирную реакцию, вспыхнет «трижды светящий свет» — Свобода, Равенство, Братство.

Если будет Третья Европа, то недаром именно Франция сейчас, в своей непримиримости к большевикам — одна против всей Европы. Или нигде, или здесь, во Франции, в святой земле Революции, «величайшего откровения христианства после Христа», в земле «света трижды светящего» — Свободы, Равенства,

Братства, — здесь, во Франции, начнется Третья Европа, преображенно-революционно-молниинно-белая. Вот почему именно здесь, во Франции, здесь, в Париже, я говорю с вами о союзе Третьей России с Третьей Европой.

Я говорю не всем европейцам, а только французам: не милости мы просим у вас, а требуем верности общему делу. Мировая война не кончилась: гражданская война в России — продолжение, усиление этой войны — ее жарчайшее полмя. На бумаге наш союз с вами расторгнут, но не на деле. Мы требуем верности святому союзу военному и еще более святому союзу мирному. Мы требуем, чтобы вы спасали не нас, а себя от тройного царства Дьявола, апокалипсического «царства Зверя».

Это я говорю французам, а остальным европейцам вот что.

Страшна ли вам Россия красная? Нет, не очень? Ну, так погодите, страшнее будет — белая.

Железо, раскаляемое в горне, говорит огню: «Довольно, я уже красно». А огонь отвечает: «Погоди, будешь белым». Горн Божий раскалил Россию докрасна; раскалит и добела. Россия красная вас не жжет, европейцы; погодите, обожжет — белая.

Народам иногда прощается глупость, а иногда и подлость; но глупость и подлость вместе — никогда. То, что вы с нами делаете, — подло и глупо вместе. Это вам никогда не простится. Я знаю, вы скажете: «Не мы, а вы сами это сделали». Да, мы, но и вы. Если бы вы большевиков не поддерживали, — их бы давно уже не было.

«Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» Не мы их разобьем, а вы сами, — сами себе отомстите за то, что с нами сделали.

Вы захотели устроиться так, как будто нет России. И вот устроились, основались на землетрясении, а землетрясение, — оттого, что ось земли сдвинута тяжестью России «несуществующей».

Нам, русским, уже нечего терять и бояться нечего: лучше все, чем то, что сейчас. Если разразится мировая катастрофа, — мы можем надеяться, что выйдем из нее первые, и, когда вы, европейцы, только начнете болеть, мы уже исцелимся. Во время землетрясений деревянные постройки меньше страдают, чем каменные: ужасен был развал деревянной России; каков же будет развал Европы каменной!

Но да не будет этого. Мы не бежали бы из России в Европу, если бы не надеялись, что это может не быть. Горчайшую из всех судеб человеческих — судьбу изгнанников — мы для того и приняли, чтобы это сказать.

С изгнанническим посохом в руках, путями горькими до смертной горечи, через бесконечные дали чужбины, мы идем к Отчеству, к России будущей. Мы говорим: России нет, — да будет Россия. На путях изгнания каждый шаг наш, каждый стон, каждый вздох пусть говорит: да будет Россия!

Вся земля, — как женщина в муках родов. По слову пророка: «Младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». Это везде сейчас, но в России больше, чем где-либо.

Все человечество под ношею крестною. Но на России сейчас — самый острый край креста, самый режущий.

Глубина страдания неутоленного — глубина чаши ненаполненной. Никогда еще не подымало к Богу человечество такой глубокой чаши. И эта чаша — Россия.

Россия гибнущая, может быть, ближе к спасению, чем народы спасающиеся; распятая — ближе к воскресению, чем распинающие.

Пусть вера наша в Россию есть вера в чудо. Вера творит чудеса. Чудо сотворит и наша вера: России нет — Россия будет.

Она не погибнет, — знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, — верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем, — верьте!
Но что нам наше спасенье?
Россия спасется, — знайте!
И близко ее воскресенье.

Записная книжка. 1919–1920*

<Фрагменты>

<...>

* * *

У царя Николая был Распутин, у царя-народа — Ленин. Тот — мужик; этот — интеллигент; тот блудник и пьяница; этот — скопец и трезвенник; тот — изувер с Богом; этот — без Бога. Как различные и подобны! Не в глазах, а во взоре, или только в возможности взора — один и тот же русский хмель, русский бес, черный Дионис; одно и то же безумие хлыстовских радений, все равно каких, монархических или анархических.

* Впервые: Свобода. 1920. 28 и 31 июля. №№ 10 и 13.

* * *

В последние дни царя Николая, стоило взглянуть в лицо Распутина, чтобы понять: это бред, наваждение; это не может длиться долго. И теперь, стоит взглянуть в лицо Ленина, чтобы понять: это долго длиться не может: второй Распутин падет, и начнется вторая революция, — нет, не вторая, а первая — все та же единственная, не оконченная, а только задержанная, заваленная не растаявшей ледяной глыбой опрокинутого самодержавия — Октябрьской контрреволюцией.

* * *

Грядущий Хам узнается по дурному запаху. Это шутка? Нет, эстетика не шутка, а проникновение в сердце вещей. Некрасота, антиэстетика русской «социалистической революции» — зловещий знак. Жизнь прекрасна; все живое цветет и благоухает; только мертвое глеет и смердит.

* * *

Как благоуханны наши Февраль и Март, солнечно-снежные, вьюжные, голубые, как бы неземные, горние! В эти первые дни или только часы, миги, какая красота в лицах человеческих! Где она сейчас? Вглядитесь в толпы Октябрьские: на них лица нет. Да, не уродство, а отсутствие лица, вот что в них всего ужаснее.

<...>

* * *

Ленин — самодержавец, Горький — первосвященник. Он — в такой же ласковой оппозиции к Ленину, как Суворин — к Николаю II. У Горького и Суворина — одно и то же лицо, на все готовое: «Чего изволите?» У обоих в душе — один и тот же провал в пустоту, в нигилизм, в «босячество». Оба — великие блудники или, вернее, блудницы. Абсолютная русская женственность, абсолютная проституция.

<...>

Лев Толстой и большевизм*

<Фрагменты>

<...>

Большевизм — варварство; но усталая культура жаждет варварства, как задыхающийся жаждет воздуха.

Большевизм — зверство; но «когда я читаю Руссо, мне хочется стать на четвереньки и убежать в лес» (Вольтер). Глядя на большевиков, всей Европе захотелось в лес.

Большевизм — нагота; но «обнажимся и заголимся», предлагает Европа, как покойник в «Бобке» Достоевского.

Большевизм — чума; но вся Европа давно уже — «пир во время чумы».

Большевизм — конец мира; но мир хочет конца.

Большевизм — самоубийство Европы. Начал его Толстой, кончает Ленин.

<...>

Существует ли вавилонский или, как выражаются русские черносотенцы, «жидо-масонский» всемирный заговор, я не знаю. Аврааму, пришедшему в Ханаан из Ура Халдейского тайна вавилонского оккультного знания могла быть ведома; но как проникли в нее такие религиозно-невежественные люди, как Ленины-Троцкие, — я не знаю; знаю только, что пентаграмма ведет ныне на Запад красные полчища, так же как некогда крест вел на восток крестоносное воинство. Нет, кажется, это — не новый, «жидо-масонский», а древний, более страшный и таинственный, заговор; кажется, Ленинцы-Троцкие сами не знают, что делают: они — только слепые орудия тайных сил.

<...>

Мы забыли Бога и разучились поклоняться героям, богоявлениям в человечестве, «существам реальнейшим» — вот почему поклонились мы этим двум великим ничтожествам, Троцкому и Ленину, — великому Прохвосту и великому Скопцу.

Дух зла воплотился в Ленине — о, еще не последний, а только очень средний! но все же подлинный; а дух зла есть дух небытия, ничтожества. Имя «великого» Ленина останется в памяти человечества вместе с именами Атиллы, Нерона, Калигулы и даже самого Иуды Предателя.

* Впервые: Общее дело. 1921. 19 и 20 января. № 189, 190.

С. МИХАЛКОВ*

Ноябрь (Из цикла «Круглый год»)

День седьмого ноября —
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно.

Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.

Весь народ — и млад и стар —
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!

В музее В. И. Ленина

В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
— Я поведу тебя в музей! —
Сказала мне сестра.
Вот через площадь мы идём
И входим наконец
В большой, красивый красный дом,
Похожий на дворец.

Из зала в зал переходя,
Здесь движется народ.

* *Сергей Владимирович Михалков* (1913—2009) — советский и российский писатель, поэт, драматург и публицист, военный корреспондент, сценарист, баснописец, общественный деятель. Соавтор текста гимна Советского Союза и автор текста гимна Российской Федерации, председатель Союза писателей РСФСР, с 1992 по 2008 — председатель Международного сообщества писательских союзов. Большую известность Михалкову принесли его произведения для детей.

Вся жизнь великого вождя
Передо мной встаёт.

Я вижу дом, где Ленин рос,
И тот похвальный лист,
Что из гимназии принёс
Ульянов-гимназист.

Здесь книжки выстроились в ряд —
Он в детстве их читал,
Над ними много лет назад
Он думал и мечтал.

Он с детских лет мечтал о том,
Чтоб на родной земле
Жил человек своим трудом
И не был в кабале.

За днями дни, за годом год
Проходят чередой,
Ульянов учится, растёт,
На сходку тайную идёт
Ульянов молодой.

Семнадцать минуло ему,
Семнадцать лет всего,
Но он — борец! И потому
Бойтся царь его!

Летит в полицию приказ:
«Ульянова схватить!»
И вот он выслан в первый раз,
В деревне должен жить.

Проходит время. И опять
Он там, где жизнь кипит:
К рабочим едет выступать,
На сходках говорит.

Идёт ли он к своим родным,
Идёт ли на завод —
Везде полиция за ним
Следит, не отстаёт...

Опять донос, опять тюрьма
И высылка в Сибирь...
Долга на севере зима,
Тайга и вдаль и вширь.

В избе мерцает огонёк,
Всю ночь горит свеча.
Исписан не один листок
Рукою Ильича.

А как умел он говорить,
Как верили ему!
Какой простор он мог открыть
И сердцу и уму!

Не мало смелых эта речь
На жизненном пути
Смогла увлечь, смогла зажечь,
Поднять и повести.

И те, кто слушали вождя,
Те шли за ним вперёд,
Ни сил, ни жизни не щадя
За правду, за народ!..

Мы переходим в новый зал,
И громко, в тишине:
— Смотри, Светлана, —
я сказал, —
Картина на стене!

И на картине — тот шалаш
У финских берегов,
В котором вождь любимый наш
Скрывался от врагов.
Коса, и грабли, и топор,
И старое весло...
Как много лет прошло с тех пор,
Как много зим прошло!

Уж в этом чайнике нельзя,
Должно быть, воду греть,
Но как нам хочется, друзья,
На чайник тот смотреть!

Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу.

Рабочий тащит пулемёт.
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»

Несут отряды и полки
Полотна кумача,
И впереди — большевики,
Гвардейцы Ильича.

Октябрь! Навеки свергли власть
Буржуев и дворян.
Так в Октябре мечта сбылась
Рабочих и крестьян.

Далась победа нелегко,
Но Ленин вёл народ,
И Ленин видел далеко,
На много лет вперёд.

И правотой своих идей —
Великий человек —
Он всех трудящихся людей
Объединил навек.

Как дорог нам любой предмет,
Хранимый под стеклом!
Предмет, который был согрет
Его руки теплом!

Подарок земляков своих,
Красноармейцев дар —
Шинель и шлем. Он принял их
Как первый комиссар.

Перо. Его он в руки брал
Подписывать декрет.

Часы. По ним он узнавал,
Когда идти в Совет.

Мы видим кресло Ильича
И лампу на столе.
При этой лампе по ночам
Работал он в Кремле.

Здесь не один рассвет встречал,
Читал, мечтал, творил,
На письма с фронта отвечал,
С друзьями говорил.

Крестьяне из далеких сёл
Сюда за правдой шли,
Садись с Лениным за стол,
Беседу с ним вели.

И вдруг встречаем мы ребят
И узнаём друзей.
То юных ленинцев отряд
Пришел на сбор в музей.

Под знамя Ленина они
Торжественно встают,
И клятву Партии они
Торжественно дают:

«Клянёмся так на свете жить,
Как вождь великий жил,
И так же Родине служить,
Как Ленин ей служил!

Клянемся ленинским путем —
Прямее нет пути! —
За мудрым и родным вождем —
За Партией идти!»

На родине Ленина

Родился мальчик в тихом городке —
В Симбирске,
Что на Волге на реке...

Еще никто не знал в тот день и час,
Кем будет он.
Кем вырастет для нас...

Простые деревянные дома.
Они для нас — история сама,
Они для нас как памятник стоят —
Здесь Ленин жил сто лет тому назад.

Дом с мезонином. Маленький музей.
Сюда приходит множество гостей,
И здесь для них уже не первый раз
Звучит простой волнующий рассказ —

Рассказ о Ленине, мечтавшем с юных лет
Дать людям правду, дать им хлеб и свет,
Чтоб с плеч своих навеки сбросил гнет
На всей земле трудящийся народ.

Мы входим в дом, дыханье затая,
В дом, где жила Ульяновых семья...

Вот спальня матери. Вот кабинет отца.
Воспитывая юные сердца,
Ульяновы старались детям дать,
Что только могут дать отец и мать.

Здесь жили скромно, в строгой простоте,
Здесь были Труд и Честь на высоте,
И каждый знал, что есть Добро и Зло,
И что живет бедным тяжело,
И что для бедных Правда есть — одна,
Но у царей не в милости она.

Стоят на том же месте до сих пор
Подсвечник, лампа, письменный прибор.

Часы в столовой.
Глобус расписной.

Еще тогда не ведал мир земной,
Что слово ЛЕНИН прозвучит в веках
На всей земле на разных языках.

Брат Александр с Володей рядом жил.
Со старшим братом младший брат дружил.
Родил двух братьев юношеский пыл,
И старший брат во всем примером был.

Два стула. Стол. Железная кровать.
Володя здесь любил один бывать.
Тут был его заветный уголок,
Где он мечтал и повторял урок...

Из этого раскрытого окна
Тропинка в сад была ему видна.
Он с книжной полки эти книги брал
И шахматами этими играл...

С тетрадками и книжками в свой класс
По этой улице шагал он много раз.

Мы входим в школу.
В классе парта есть,
Сидеть за ней — особенная честь:

Сидел за ней Ульянов-гимназист,
Ульянов-Ленин, русский коммунист.

Родился Ленин в тихом городке —
В Симбирске,
Что на Волге на реке.
Теперь уже не тот Симбирск, не тот!
Он вширь и ввысь растет из года в год.
И в честь Ульянова,
Что жил и вырос тут,
Его теперь Ульяновском зовут.

В. НАБОКОВ***Воспоминание о Ленине в беседе с Рильке**

В апреле 1917 года мой воспитатель предложил мне пойти послушать Ленина. Трамваи в тот день бастовали, пешком мы прошли по набережной к особняку знаменитой балерины, которая в прошлом к тому же была возлюбленной русского наследника престола.

День выдался пасмурный, моросил мелкий дождь. Около особняка стояла горстка людей, большей частью женщины в шалях и под черными зонтиками. Воспитатель показал мне Бухарина, Зиновьева и, насколько я помню, Луначарского и Каменева.

Внезапно на балконе появился Ленин. В зимнем пальто и в кепке. Он встал на возвышение, так что казалось, что он выше всех, кто был на балконе. Говорил он резким пронзительным голосом, грассировал на манер светских снобов и обильно уснащал свою речь варваризмами, словами иностранного происхождения, заимствованными из лексикона политических брошюр восточно-европейских социалистов.

Вы знаете, как хорош русский язык, в то время он еще сохранял относительную чистоту, но в языке, которым говорил Ленин, был привкус чего-то иностранного, а его грассирующая «р» усиливала это впечатление. К тому же все иностранные выражения он произносил на европейский лад.

В памяти у меня остались лишь отрывочные короткие фразы и отдельные слова — аннексия, контрибуция, реституция. Но потом меня потрясло несовпадение смысла его речи и того, как он это преподносил, его тона произношения лексики.

Где-то я читал, что Робеспьер тоже изъяснялся по-французски чрезвычайно изящно, на языке представителей высшего сословия, и именно эта его особенность приводила в трепет аристократов, которым доводилось его слушать.

Слушая Ленина в тот день, я тоже не раз содрогнулся, не раз страх сдавливал мне горло. Этот вполне светский человек на языке социальных верхов излагал совершенно антипатриотические

* *Владимир Владимирович Набоков* (публиковался также под псевдонимом Владимир Сирий; 1899—1977) — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог. Автор романов «Лолита», «Защита Лужина», «Другие берега», «Память, говори» и др. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1963; 1964; 1965; 1966).

требования — немедленный мир без аннексий и контрибуций, немедленная отмена собственности на землю без всяких компенсаций землевладельцам, немедленная демобилизация, немедленный захват власти советами рабочих и крестьян, полное уничтожение частной собственности.

Домой я вернулся охваченный тревогой и недоумением. Впервые столкнувшись с большевистской идеологией, я ощутил, что от нее исходит серьезная угроза, а всего полгода спустя все мы, кого Ленин называл презренными кровожадными буржуа, узнали на деле, что значат его слова.

Из мемуарной книги «Другие берега»

Говорят, что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. То немногое, что мой Бомстон и его друзья знали о России, пришло на Запад из коммунистических мутных источников. Когда я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же он оправдывает презренный и мерзостный террор, пытки, и расстрелы, и всякую другую полоумную расправу, — Бомстон выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног и говорил, что, не будь союзной блокады, не было бы и террора. Всех русских эмигрантов, всех врагов Советов, от меньшевика до монархиста, он преспокойно сбивал в кучу «царистских элеменов» и, что бы я ни кричал, полагал, что князь Львов — родственник государя, а Милюков — бывший царский министр. По его мнению, то, что он довольно жеманно называл «некоторое единообразие политических суждений» при большевиках, было следствием «отсутствия всякой традиции свободомыслия» в России. Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и «не одобрял модернистов», причем под «модернистами» понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей <...> наш убогий Ленин был чувствительнейшим, проницательнейшим знатоком и поборником новых течений. <...> Гром «чисток», который ударил в «старых большевиков», героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни Ленина, не могли сделать с ним

никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть, и может быть осудить, восторженные и невежественные предубеждения его юности; оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде *quinquennium Neronis*.

Разговор разваливался, и Бомстон уцепился за политику. Дело было уже в конце тридцатых годов, и бывшие попутчики из эстетов теперь поносили Сталина (перед которым, впрочем, им еще предстояло умилиться в пору Второй мировой войны). В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон, по невежеству своему, принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти. Гром «чисток», который ударил в «старых большевиков», героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть и может быть осудить восторженные и невежественные предубеждения его юности: оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде *quinquennium Neronis* (Нероновское пятилетие, *лат.*)

Л. НАППЕЛЬБАУМ***Лицо**

Памяти М. С. Наппельбаума,
фотографировавшего Владимира Ильича

Смольный был стремительней вдоха.
Пулеметы взошли на крыльцо.
Чтобы стала понятней эпоха,
Шел отец постигать лицо.

В эти дни страна, в просветленьи,
До конца всей правды ища,
Уже знала, как действует Ленин,
Но желала узнать Ильича.

И, задавшись великою целью
Говорить с ней лицом к лицу,
На мгновенье Ленин моделью
Предоставил себя отцу.

Свет январский был серый и плоский.
Беглый луч засветил слегка.
И тогда аппарат отцовский
У ловил и бросил в века

Эти лба высокие кручи
И широких плеч разворот,
Эти всё говорящие очи,
Этот всё понимающий рот.

* *Лиля (Рахиль) Моисеевна Наппельбаум (1916–1988)* — поэтесса, литературовед, литературный критик. Родилась в семье петербургского фотографа и художника Моисея Соломоновича Наппельбаума, автора художественных фотопортретов В. Маяковского, Б. Пастернака, Э. Мейерхольда, В. Ленина и других известных людей. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького (1940). Член Союза писателей СССР (1975).

Л. НИКУЛИН*

Большой человек мира сего**

Из года в год все чаще и чаще люди старшего поколения слышат обращенный к ним вопрос: «Случалось ли вам видеть Ленина?»

Нельзя побороть чувство гордой радости, когда отвечаешь: «Да, случалось». И тогда вслед за первым вопросом непременно последует второй: «Где вы видели Ленина? Когда?»

Если даже человеку довелось видеть Ленина только однажды и мельком, все равно он ощущает это, как важнейшее событие, воспоминание об этом навсегда останется самым дорогим и ценным в жизни. Поэтому-то с чувством тревоги и недоверия следишь за появлением образа Ленина на экране или на сцене, и только по мере того, как артист силой своего дарования восстанавливает в нашей памяти облик, походку, манеру разговора Ленина, мудрость, пронизательность и великодушие его, — тень недоверия к артисту исчезает и остается одно чувство — чувство безмерного восхищения величайшим человеком нашей эпохи.

«Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер».

Так писал Горький, выразив этими словами всю огромную скорбь народа, человечества в дни смерти Ленина. «Большой, настоящий человек мира сего...» — именно эта мысль приходит в голову автору, которому посчастливилось однажды увидеть Ленина.

В те годы, первые годы молодого Советского государства, все, чем жил народ, все его чаянья и стремления, были обращены к этому человеку и партии, которую он создал. И потому можно вообразить те чувства, которые владели нами, молодыми политическими работниками Балтийского флота, когда нам предстояло увидеть и услышать Ленина.

Нас командировали по делам Политуправления в Москву. Необычайное иногда совершается просто и неожиданно. Я помню жаркий день, когда мы подходили к Троицким воротам Кремля, сжимая в руках зеленые пропуска на заседание II конгресса Коминтерна, которое должно было происходить в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Часовой поглядел наши пропуска,

* *Лев Вениаминович Никулин* (наст. фамилия — Олькеницкий; 1891–1967) — советский писатель, поэт и драматург, журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).

** Воспоминания о Ленине. М.: Госполитиздат, 1957. Т.2. С. 537–540.

но не нанизал их на штык, как делалось в те времена, а вернул и уважительно посмотрел на нас.

Были летние дни 1920 года. 19 июля, в день открытия II конгресса Коминтерна, Красная Армия заняла Гродно и Барановичи. Польские помещики покидали родовые усадьбы и убегали в Варшаву и дальше, на запад. Лодзинские фабриканты оставляли особняки на Познанской улице. Антанта спешила на помощь белополякам. Врангелевцы готовили наступление в северной Таврии. Шайки Махно терзали Украину.

И в эти-то дни в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца делегаты II конгресса Коминтерна обсуждали колониальный вопрос.

Над трибуной появилась характерная, знакомая миллионам людей голова Ильича. Его зоркие, немного прищуренные глаза мгновенно охватили весь раззолоченный Андреевский зал, несколько сот человек — делегатов и гостей конгресса. Наступила полная, особого значения тишина. Такая тишина говорит об огромном уважении слушателей к оратору. Она говорит о том, что слова, которые сейчас будут произнесены, обращены не только к людям, собравшимся в этих стенах, но что слова эти имеют значение для всего мира, для всей истории, для всего человечества.

Ленин не сделал никакой паузы, ни одного движения, присущего испытанному оратору. Он не сделал ни одного жеста из тех обдуманых жестов, которые имеют единственной целью привлечь и сосредоточить внимание слушателей. Не напрягая голоса, ровно, отчетливо и довольно быстро он начал читать известные теперь всему миру свои тезисы по колониальному вопросу.

Этим тезисам, которые стали с той минуты достоянием человечества, предшествовали споры, колебания и сомнения среди делегатов конгресса. Надо помнить, что Ленин был своеобразным Колумбом социализма в действии, он вел революционное движение мира по еще не изведанным путям. Колебаниям и сомнениям некоторых делегатов посвятил в те дни одно из своих выступлений Ленин.

«Тов. Квелч, из Британской социалистической партии, говорил об этом в нашей комиссии (комиссии по национальному и колониальному вопросам. — *Л. Н.*). Он сказал, что рядовой английский рабочий счел бы за измену помогать поработенным народам в их восстаниях против английского владычества.

...здесь мы имеем дело с величайшей изменой со стороны вождей и рабочих, принадлежащих к этому буржуазному Интернационалу», — сказал Ленин. И это противопоставление измены в том смысле, как ее понимали соглашатели из буржуазного Интернаци-

онала, и измены, как ее определял и оценивал Ленин, произвело буквально потрясающее впечатление.

Оно усиливалось и целиком покоряло слушателя еще и потому, что такие слова произносились Лениным с глубокой убежденностью, искренностью и притом очень просто, без малейшей ораторской рисовки.

Логика Ленина пленяла и в этот единственный раз, когда мне довелось слушать Ленина. Потому и сейчас в памяти моей сохранилось не только внешнее, не только обстановка, характерные особенности того времени, но и те чувства, вся та гамма ощущений, с которой мы слушали величайшего человека мира сего.

Ленин не выделял ни одной фразы, и все же сразу запоминалось самое важное из того, что он читал, запоминалось потому, что ясность ленинской мысли, правда ленинских слов покоряли слушателей. Так может говорить лишь человек, глубоко уверенный в правоте своих слов. Так может говорить лишь человек, внутренне убежденный в том, что он выступает от имени восставшего могучего народа, — народа, который во имя правды и справедливости призывает человечество на защиту угнетенных. И потому, что текст документа, который читал Ленин, был составлен в очень простых, ничуть не цветистых, ясных выражениях, и потому, что Ленин простор без всякого ораторского нажима, произносил эти, по существу потрясающие старый мир слова, — впечатление от речи было глубоким и неотразимым.

Особенно глубоким и неотразимым оно было, когда Ленин обращался к массам, к народу, которому чужда голая ораторская техника какого-нибудь «парламентария», оратора-златоуста. Народ не воспринимает ни ораторской рисовки, ни эффектной театральной жестикуляции, а ищет правды, ищет логики и ясности, и когда находит ее в словах и делах поистине великого человека, то следует за ним бесповоротно, до конца, до победы.

Нужно было хотя бы однажды услышать Ленина, чтобы понять, почему за ним шел народ. Именно эта мысль овладела мной в тот июльский вечер, когда я в первый раз в жизни слышал Ленина.

Были московские белые летние сумерки, бледное отражение северных белых ночей. Закат светился в позолоте Андреевского зала и зажигал огненный отблеск в алом шелке знамен у трибуны.

Был неожиданный, почти ошеломляющий контраст громоздкой пышности дворцового зала с деловой, рабочей обстановкой заседания конгресса. Длинный, крытый красным сукном стол, зеленые колпаки рабочих ламп над столиками стенографисток и тяжелая малиновая сень (балдахин тогда еще не убранного трона) позади стола президиума.

И был негромкий, отчетливо звучащий в полной тишине голос Ленина, проникавший далеко за пределы этого зала и дворца, за пределы страны, окруженной кольцом блокады и ржавой железной паутиной проволочных заграждений. «Большой, настоящий человек мира сего» говорил с миром, глядел сквозь десятилетия и видел победу уже в те дни, когда «государственные люди» Англии посылали британский флот обстреливать красноармейские части на берегу Черного моря, когда государственные люди Франции готовились признать де-факто правителем России барона Врангеля.

Ленин кончил свою речь и тотчас же оставил трибуну. Все дружно захлопали, тут же встали и прошли в соседний зал. Там, у окна, остановился Ленин. Он говорил с одной из делегаток конгресса, и то, что она рассказывала ему, вызывало у Ленина смех, он весело и заразительно смеялся, временами с живостью перебивая свою собеседницу. И когда мы глядели на Ленина, то уже не удивлялись тому, что ни один портрет, ни одна фотография не передают живости этого лица, проницательности и ума этих глаз.

Люди, стоявшие вблизи Ленина, старались не показать, что они остановились здесь только для того, чтобы еще раз поглядеть на него. И все же вокруг «человека мира сего» была явственно ощутимая атмосфера внимания, уважения и теплоты. Среди делегатов конгресса были люди, которые знали Ленина в годы его изгнания, в годы эмиграции, они читали и знали его труды и теперь с тенью почтительного изумления смотрели на ученого, который сумел воплотить в жизнь свои воззрения и совершить то, что было его единственным желанием, его мечтой и вместе с тем волей и желанием миллионов людей нашей страны.

Вечернее заседание конгресса кончилось. Ленин уходил. Он шел по дворцовой галерее своей обычной, живой, легкой походкой, и, когда проходил мимо часовых, они провожали его долгим, внимательным и серьезным взглядом.

Часовые провожали взглядом великого человека, признанного его современниками, на вечные времена утвержденного в веках; и потому, что Ленин был общителен, прост в обращении, скромен и доступен для человека из народа, из низов, — популярность его становилась еще шире и огромней.

Многие из людей, которые были в тот день в Кремлевском дворце, «наследники разума и воли его», еще живы и, подтверждая слова Алексея Максимовича Горького, «работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал»; другие со славой кончили свой жизненный путь.

Лето 1920 года прошло. Наступили осень и суровая зима и еще три зимы с Лениным, затем январские черные, траурные ночи.

Крепчайший мороз, пар и снег, иней на бородах у старых людей и бесконечно движущаяся колонна людей. Голова колонны медленно вползала в открытые двери Дома Союзов, а хвост не имел конца и терялся в улицах; и переулках Москвы. В центре Колонного зала лежали Ленин, и морозное дыхание миллионов людей веяло над его удивительным, незабываемым и теперь уже смертельно желтым лбом.

Все, что было честного на земле, все, что было светлого и благородного, соединилось в глубокой скорби у гроба Ленина, и в первые дни у клеветников и ненавистников как бы перехватило горло: у них не было силы поднять голос против сияющей славы величайшего человека мира сего.

Великий русский писатель, на двенадцать лет переживший своего друга и учителя, писал:

«...если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира».

Этими словами следует закончить одно из самых драгоценных воспоминаний жизни, — воспоминание о том дне, когда автор этих строк видел и слышал Ленина.

Л. ОЗЕРОВ*

«Как мало жил он!..» (1970)

* * *

Как мало жил он! Пятьдесят четыре,
Но дни его так яростно-полны
Заботой о судьбе своей страны
И потому — о человечестве, о мире.

Как много жил он! Годы — что века.
Его дороги — всей земли маршруты.
Его всей жизни цель так велика,
Что нет напрасно прожитой минуты.

* Лев Адольфович Озеров (наст. Гольдберг; 1914–1996) — советский поэт и переводчик, критик, литературовед.

Как жил он много, и как жил он мало,
И, видно, был он временем самим,
История едва лишь попевала
По коридорам Смольного за ним.

С. ОРЛОВ*

Гвардейское знамя

Мы становились на колени
Пред ним под Мгой в рассветный час
И видели: товарищ Ленин
Глядел со знамени на нас.

На лес поломанный, как в бурю,
На деревеньки вдалеке
Глядел, чуть-чуть глаза прищуря,
Без кепки, в чёрном пиджаке.

Гвардейской клятвы нет вернее,
Взрели танки за бугром.
Наш полк от Мги пронёс до Шпрее
Тяжёлый гусеничный гром.

Он знамя нёс среди сражений
Там, где коробилась броня,
И я горжусь навек, что Ленин
В атаки лично вёл меня.

*Сергей Сергеевич Орлов (1921–1977) — русский советский поэт и сценарист.

Г. ОСТЕР***Товарищи Ленина (1970)**

Спи.
Бойцы уходят в ночь
В годы и в века.

...Ты не можешь им помочь.
Нет тебя пока.
Спи, пока ты не рожден.
Жди своей судьбы.
Жди, пока ворвется в сон
Дальний зов трубы.

* * *

Спи. В снегу своем бессилён,
Под откос ползёт откос.
По истерзанной России
Полям чешет паровоз.
Пар веселый выси лижет,
Доставая до звезды.
И все ближе,
ближе, ближе
Петроградские мосты.
От окраин дальних, хмурых
До столицы — полчаса.
И все ближе те, с прищуром,
Те, знакомые глаза.
Взгляд, просвеченный насмешкой,
Взгляд, пробивший даль времен.
...Он явился. Он не мешкал,
Раз России нужен он.
Лишь заставы раскусили
Этот грозный паровоз,
Как пошла качать Россию
Дрожь разгневанных колес.
Ох, дрожит под дерзким взглядом

* Григорий Бенционович Остер (р. 1947) — писатель, сценарист, драматург, телеведущий. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007). Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями».

Абазуров бахрома,
И стоят немым парадом
Придорожные дома.
Те дома в испуге зыбком
Дрожью пущены вразнос
От насмешливой улыбки,
От грохочущих колес.
Ближе,
ближе —
и с размаху
Грянет гром по волчьим лбам,
И империя со страху
Поползет, треща по швам.
Так, пока ему преграды
Возводили из угроз,
К Петрограду,
к Петрограду
Торопился паровоз.

* * *

И тогда,
и тогда...
Как невиданное половодье,
Затопляя страну,
Размывая трясину дорог,
За строкою строка...
(Ну и брошены в гриву поводья)
О земле и о мире...
(И выплеснут в небо клинок)
И пошла молотьба.
Только дышит испуганно небо.
Это что за борьба?
Это лунные тени коней.
Это битва о чем?
Это бой из-за песни и хлеба.
Привкус крови с огнем
Остается по донышкам дней.

Эти люди могли,
Эти люди хотели и были,
Эти люди сошлись
Понимать и любить заодно.
Это было давно.

Посплетались легенды и были.
Спи, пока тебя нет.
Спи.
Потом все увидишь в кино.
Это что за народ,
Что за люди?
Спроси их, спроси их.
Как из бурной реки
За волной набегают волна,
По разбухшим от крови,
Весенним дорогам России
В бесконечной погоне
Гражданская скачет война.

* * *

Эти трое ребят
Вовсе не были в драке неловки.
Просто пули — есть пули,
Не им бы — достались другим.
И теперь у ребят
На троих —
Три штыка, три винтовки...
А отряд ускакал
В предрассветный, распластанный дым.
И остались они,
И хозяин поглядывал косо
(В самой лучшей избе
Командир поместить их велел),
Так уж вышло:
Они из Кронштадта,
Все трое матросы —
Мастера штормовых, просоленных,
запененных дел.
Что вам их имена?
Посплетались легенды и были.
Ночь. В просторной избе
Густо пахнет крестьянским жильем.
Говорили они.
Всего чаще они говорили
О товарище Ленине —
Ленине, друге своем.

* * *

Три винтовки на троих,
Три горячих раны...
«Нет, — сказал один из них,
Помирать нам рано».
А другой: «Неплохо б жить,
Воевать до мира.
Братцы, вот бы нам дожить
До Советов Мира».
Но, качая головой,
Отвернулся трети:
«Вот поправлюсь — и домой.
Дома жинка встретит.
Я войной по ноздри сыт.
Наглотался дыма,
И нога моя болит,
Братцы, нестерпимо»,
Но в ответ товарищ встал:
«Брось, — болит колено.
Знаешь, что б тебе сказал
Сам товарищ Ленин?
Сколь ко он ночей не спит?
Где берет он силы?
У тебя нога боли...
У него — Россия.
У него в огне Кавказ,
Украина в ранах.
Только знает он: сейчас
Отдыхать нам рано.
Всем охота мирно жить
Меж земли и воли.
Надо прежде заслонить
Родину от боли!»

* * *

По дворам собаки, воя,
Теребили тишину.
За столом сидели трое,
Встал один, шагнул к окну.
И тотчас же засвистел и
Пули, правя торжество,
И матросы разглядели

Душу друга своего.
На рубахе белой ало
Проступила суть ее.
Пошатнулся и сказал он:
«Ах ты сволочь. Кулачьё».
Только выстрелы сверкнули,
Им уже потерян счет.
в окна пули, в двери пули,
И еще, еще, еще...
И второй в минуты эти
На полу ничком. Затих.
Но из трех винтовок третий
Бьет подряд за всех троих.
За трёх в бою он ловок,
И пока он жив, пока
Бой ведет из трех винтовок Трое
живы для врага.
Время близится к рассвету,
Нет патронов,
Дом в дыму...

Спи...
Тебя на свете нету.
Чем поможешь ты ему?
Эх, когда б могли мы, милый,
Из сегодняшних времен
Двинуть армий наших силу
В утро то и в тот район, —
Как бы в бой рванулись роты,
Приминая ковыли!
Как б ы небо самолеты
Заслонили от земли!
...Свет подходит с небом синим
К холодеющим губам.
Мы помочь ему не в силах,
Это он поможет нам.
Если нелегко сегодня,
Если ждет сегодня бой, —
В наши дни бросая сходни,
Он приходит к нам с тобой...

* * *

Спят товарищи Ленина.
Спят.
И заря на восходе
Поднимает их кровь
И стоит над землей горяча...
...Но, как прежде, опять
Боевые отряды уводят
По сегодняшним дням
Боевые друзья Ильича —
Мы уже рождены.
Мы теперь постигаем ученье,
Понимать и любить
Заодно с тем, кто жил ради нас.
Может, Ленин нас знал?
Разве это имеет значенье?
Мы живем на земле,
Чтобы свет его дел не погас.
Ты, идущий за нами,
Еще не родившийся ныне,
Ты, кому на земле
Наше дело продолжить дано,
Спи, пока тебя нет.
Спи, пока над землею раскинет
Крылья
Время твое.
Спи.
Потом — нас увидишь в кино.

Н. ОСТРОВСКИЙ*

Как закалялась сталь (1930–1934)

<Фрагмент>

<...>

Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю 1924 год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью.

* *Николай Алексеевич Островский* (1904–1936) — советский писатель, автор популярнейшего в СССР романа «Как закалялась сталь» (1930–1934).

На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись с озверелой стихией.

В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа, из двенадцати линий работали только три: индоевропейский телеграф и две линии прямого провода.

В комнате телеграфа станции Шепетовка 1-я три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор.

Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает двадцати километров, в то время как старик, их коллега, уже начинал третью сотню километров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланке слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху: «Все, всем, всем!»

Записывая, телеграфист думает: «Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами». За окном вьюга, ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно, он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей.

Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова.

Аппарат передавал:

«Двадцать первого января в шесть часов пятьдесят минут...»

Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руку, стал слушать.

«...вчера в Горках скончался...»

Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений, первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием.

Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок: «Все, всем, всем!» Аппарат стучал. «В-л-а-д-и-м-и-р И-л-ь-и-ч», — переводил стуки молоточка в буквы старик телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич, кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это все чужое, он — посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире, а он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк, — это была «Л». За ней он на-

писал вторую — «Е», рядом с ней старательно вывел «Н», дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю — «Н».

Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую секунды остановился взглядом на выписанном им слове:

«ЛЕНИН»

Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшись на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово — «ЛЕНИН». Что? Ленин? Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за тридцатидвухлетнюю работу он не поверил записанному.

Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись: «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить! Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услышали испуганный вскрик:

— Ленин умер!

<...>

И. ОХЛОБЫСТИН*

Тень вождя (дачное поверье)**

20 июля, в венец лета, моя боголюбивая теща решила перекрыть полы в беседке и, как следствие, отправила меня на рынок за досками с Николаем — местным разнорабочим. Николай — мужик пустой, его жена Лилька долгий срок числилась в кооперативе комендантом, была матерщинница и лицо имела также не умиленное, не с плаката «Ингосстраха». Николай же имел машину «Жигули», шестой модели, десятилетку, на которой мы поехали за досками на строительный рынок в деревню Ядромино. Пока ехали, Николай всячески искал беседы, чтобы намекнуть на причитающийся магарыч.

— Это вот там я денег мне и не надо, ты мне там вот это пиво в магазине купишь и все, — в итоге сформулировал он. — Я это там вот это «Сокол» люблю, полтора литра.

* *Иван Иванович Охлобыстин* (р. 1966) — российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, журналист и прозаик.

** Опубликовано в интернет-сети в 2012 г.

Пока я покупал ему пиво, он успел подловить знакомого дачника, и тот, несчастный, чтобы скорее расстаться, налил «сотенного» из припаса в багажнике. С заднего сиденья машины дачника за всем наблюдали обеспокоенные супруга и болонка.

— Лилька будет на тебя кричать, — напомнил я подельщику. — И на меня будет.

— Значит, это как вот не узнает, ты не говори. Мне сам это где вот самое нормально. Доски возьмем, где как вот надо. А то жара, — уверил он.

И действительно, шестиметровые доски мы купили без происшествий, Николай привязал их веревочкой и опротестовал аренду «Газели», чей водитель с большим, глупым и ленивым лицом грыз семечки под солнцем на лавке рядом.

— Куда!? Тысячу за доску хоть. Одна цена. Он это вот, не жилец, за ним Ленин придет вот, — аргументировал Николай.

Признаться, что к этому времени манера выражать Николаем мысли меня стала изрядно раздражать, но из соображений хорошего тона я поинтересовался: «В смысле Ленин придет?»

— Так это он, на своей, вот там помогал плиты из пионерлагеря вывезти. Этим, которые на иномарке под каток там как, значит, вот. На пятьдесят метров голову у одного отбило, искали там вот все. Вокруг.

— А Ленин как причастен к этой трагедии? — смиренно продолжил я изнурительную беседу.

— Он и спихнул этих под каток. Они памятник свалили, а я взял Ленина себе потом вот. Бесплатно почти. Там чугун, он палкой, без руки, не сломаешь, вот, скульптура, прошлый социализм, — увлеченно рассказывал Николай. — Где это вот меня тоже звали машину обмывать, а меня Лилька с насосом заставила, а они поехали втроем и под каток. Обрато когда ехали. Я насос делаю, пиво поставил в тень, под Ленина, я его зеленой краской покрасил, которая от забора осталась там где вот. Сижу, хочу пива попить, а оно горячее и тени нет. У столба есть, у кастрюли есть, а у Ленина нет. Ну так я к Лильке, потому что она знает что. У меня так пять лет назад было. Отравился сильно. Ловили. В общем, к Лильке иду, слышу — идет сзади. Я там гляжу — тень есть. Ленина. Владимира вот как где это Ильича.

Когда я дешифровал эту часть истории дочери Евдокии, во время ежедневного десятикилометрового променада по окрестным полям, безвинное дитя резонно предположило, что Николай, как всегда, «накалдырился».

— Логику приемлю. Первое, что приходит в голову, — согласился я. — Но ты подумай: у Николая провал в образном мышлении. Где он узнал?

Далее Николай крайне подробно описал недоразумение, из-за чего его уволили с работы и определили к насильственному лечению. В заключение он вспомнил:

— И потом, я ихнюю машину видел. Железо в кучу. На лонжероне справа пятерня, как толкали, а сначала руку краской зеленой вот макнули. С маху так. Вжить! На скорости. И под каток.

Не дерзая утомлять читателя публицистическими изысками коренного дачника, схематично обрисую осознанную мною картину злключенияй Николая, памятника Ленину, его смертоносной тени и печальной судьбы друзей-собутельников.

В распоряжении одного из них находился погрузочный кран на платформе машины ЗИЛ. Именно это обстоятельство сделало их деятельность по общенародному разворыванию заброшенного пионерского лагеря особенно удачливой. Если остальные жители выламывали дверные скобы и резали садовыми секачами кабель, то наши герои с помощью крана сняли несколько сотен квадратных бетонных плит с дорожек и продали их в соседний кооператив. На вырученные деньги купили у главного инженера истринского хладокомбината давно облюбованную иномарку, напились водки и в тот же день всмятку разбились о стоящий на обочине каток. Непосредственно во время акции вандализма в пионерском лагере они, куража ради, спихнули с каменного постамента двухметровую статую Ленина. Статую потом погрузил к себе владелец грузовика и обменял Николаю на новый казенный счетчик, который тот накануне стащил у Лильки. Николай до своих видений поставил памятник во дворе, но после видений нанял таджиков с соседней дачи, и те за Лилькину справку отволокли памятник на Ядроминское кладбище, где поставили между захоронениями семьи Семеновых и Швецовых. На следующий день у живой части семьи Семеновых при невыясненных обстоятельствах издохла корова, ей кто-то кувалдой, измазанной зеленой краской, череп расколол, а у Швецовых наверняка той же кувалдой перебили газовый отвод. Чудом всей семьей на воздух не взлетели. Поскольку к этому времени Николай успел всем растрепать о своих подозрениях на причастность тени Ленина к гибели трех подельщиков и выпить за это, главы семей Семеновых и Швецовых сходили на кладбище да не поленились перенести статую в часть кладбища, где покоятся останки одиноких старушек. Ну и Николаю морду не забыли побить. Он даже хотел на них в суд подать, но побоялся, что судья, выслушав его рассказ о тени памятника Ленину и просмотрев личное дело, может опять на принудительное лечение отправить.

Так и стоит где-то в тени кривых кладбищенских березок забытый всеми зловецкий монумент. И в особо солнечные дни хищ-

но ползает его тень по выцветшим фотографиям всеми забытых женщин, да ничего плохого сделать им больше не может.

Р. С. Мы с детьми на кладбище в той части, где пребывают в мире старушки и мстительная тень Вождя Мирового Пролетариата, не гуляем.

Мир скрывает от нас еще столько тайн, что не обязательно выбирать самые жуткие.

В. ПАНОВА*

Листок с подписью Ленина**

Эту очень простую историю я слышала от одной женщины. Произошло это зимой 1920 года. Женщина была тогда девочкой-подростком, и звали ее не Мария Николаевна, а Маруся.

Марусина мать преподавала русский язык в школе красных курсантов. Жили мать и дочь скудно, как все в те времена.

Мать бывала по своим учительским делам в Наркомпросе и встречалась с Надеждой Константиновной Крупской. Однажды зашла она в Наркомпрос вместе с Марусей. Идут по коридору, и вдруг Надежда Константиновна навстречу. Поздоровалась и пошла, внимательно оглядев обеих. «А мы уж так плохо были одеты!» — вспоминает Мария Николаевна...

На другой день Надежда Константиновна вызвала к себе Марусину мать и спрашивает:

— Это вы с дочкой вчера были?

И дает ей листок, вырванный из блокнота, и говорит:

— Идите с этой запиской к бывшему Мюру и Мерилизу. Возьмите, что вам нужно, только стучитесь хорошенько: там заперто.

Смотрит Марусина мать — на листке подпись Ленина. Несколько слов его почерком и подпись внизу.

Надежда Константиновна улыбнулась ее волнению и говорит:

— Идите, идите к Мюру и Мерилизу.

* *Вера Фёдоровна Панова* (1905–1973) — русская советская писательница и драматург. Лауреат трёх Сталинских премий (1947, 1948, 1950).

** Написан в 1960. Впервые опублик.: Веч. Ленинград. 1962, 6 нояб. и «Звезда». 1962, № 11; Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964. Рассказ был написан к 90-летней годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Тут кругом стола люди с разными делами, и неловко Марусиной матери расспрашивать, что все это значит. Взяла Марусю и пошла, куда велела Крупская.

Мюру и Мерилизу до революции принадлежал самый роскошный и модный универсальный магазин в Москве. Это здание и сейчас стоит на Петровке: одно время москвичи называли его «Большой Мосторг», а теперь оно называется «ЦУМ» — центральный универмаг. Чего-чего в нем нет, с утра народу по всем четырём этажам, что пчел в улье... А в тот морозный, жестокий день двадцатого года, когда Маруся и ее мать подошли к этому зданию, высокие витрины были непроницаемо забраны ледяной броней, и заперто было все и немо. Только к одной двери была кой-как протоптана тропка в снегу. Они постучались, робея. Человек в тулупе, с кобурой у пояса, отворил им. Прочитал листок с ленинской подписью и сказал:

— Заходите.

Не горело электричество. Еле пробивался свет дня сквозь толстый лед витрин. Холодно было — холодней, чем на улице. И странно звучали шаги и голоса троих в пустой громадной каменной коробке. До крыши уходили бесконечными ярусами голые полки, но на нижних полках лежали редкостные, прекрасные вещи, нужные для жизни: овчинные тулупы, валенки, бязевое белье. И даже стояли сапоги из настоящей кожи!

— Что будете брать? — спросил человек с кобурой. Белые облака рвались из его губ и ноздрей.

— Не знаю, — смущаясь, ответила Марусина мать. — Вот если бы тулупчик для девочки.

— А тебе лично не нужен тулупчик? — спросил человек с кобурой.

— Куда же два, — сказала Марусина мать. — Я еще ничего. Перехожу как-нибудь. А она выросла очень...

— Ты слушай! — сказал человек с кобурой. — Тебя Ленин сюда направил, потому что ты перед революцией заслужила. Ты заслужила, видать из этого факта, чтоб тебе одеться по-человечески и девочку свою одеть! Бери, что требуется, не стесняйся. Товарищ Ленин заранее на все изъявил согласие и утвердил. Он тебе верит, что лишнего не возьмешь. Видишь, вот его собственноручная подпись, этой подписью он за твою совесть ручается... Рубашки есть у девочки?

— Нету, — прошептала мать.

— Ну видишь! — сказал человек с кобурой. — И у тебя нету, факт.

И так как Марусина мать продолжала стесняться, он распорядился сам. Он сбрасывал на прилавок груды окоченевших товаров

и рылся в них, выискивая вещи подходящего размера. Он отобрал два тулупа, две пары валенок, четыре смены белья и отмерил сколько-то аршин мануфактуры. Белье было солдатское, желтое, с завязками Женского на складе не было.

— Ничего, — сказал человек с кобурой. — Где длинно, подрежете.

Он вписал вещи в листок с подписью Ленина, Марусина мать расписалась в получении, и они с Марусей ушли, сказав:

— До свиданья. Спасибо.

— Всего вам, — ответил человек с кобурой и запер за ними дверь. И они, счастливые, пошли домой по снежной, нечищенной, малолюдной Петровке.

В новеньких, необношенных тулупчиках и валенках они пошли домой, пошли в свое будущее. Зимний день кончался, малиновая зорька горела над Москвой...

Ф. ПАНФЕРОВ*

Твердой поступью**

В тысяча девятьсот девятнадцатом году мы из Саратова на VIII съезд партии ехали восемнадцать дней: то не хватало топлива для паровоза, то вдруг машинисты уходили в деревню и гуляли там день-два, то вдруг начинали гореть буксы. Наша делегация поместилась в отдельном вагоне, заняв одно купе буханками черного хлеба, другое — мясом, целой коровьей тушей. Через несколько дней у нашего вагона загорелись буксы — не было масла, нечем было их смазывать. Железнодорожное начальство предложило другой вагон, переполненный пассажирами. Мы отказались. Но буксы выли, как самые громкие сирены, тревожили, беспокоили, не давали спать. У нас был мешок со стеариновыми свечами. Стали тискать свечи в коробки буксов. Вагон трогался. Проходило десять, пятнадцать минут, и буксы снова начинали выть. Тревожила и другая опасность — в Тамбовии «гуляла» банда Антонова.

Разруха, разгильдяйство, мешочники, и со всех сторон на стра-ну наседали колчаки, Юденичи, Деникины.

Но вот и Москва.

* *Фёдор Иванович Панфёров* (1896–1960) — советский писатель, один из руководителей РАПП, главный редактор журнала «Октябрь» (с 1931).

** Советский моряк. 1959. № 7. С. 2–3.

Выйдя из вагона, на всякий случай захватив с собой по буханке хлеба, мы облегченно вздохнули: наконец-то прибыли в столицу! Сейчас трамвай довезет нас на Садово-Каретную в Третий Дом Советов, там передохнем — и утром в Кремль, на съезд...

Выходим на площадь. Она не очищена от снега, вся в кочках и ямах. В воздухе вонючая гарь. Трамваи не ходят. Изредка только проносится одинокий вагон с отбитыми подножками — это чтобы не садились в него, — переполненный дровами и бочками.

Мы постояли, посмотрели на площадь, и руководитель нам сказал:

— Видно, пешком придется.

И мы от Павелецкого вокзала отправились на Садово-Каретную. Москва!

Изябшая, голодная Москва...

Улицы не чищены, редко горит электрический свет, в домах холодно, магазины пусты и закрыты, извозчики на клячах.

Грустная Москва, нищая Москва, промерзшая Москва...

Но такая же разрушенная, истерзанная империалистической войной и вся полуголодная страна.

На что мы надеемся?

В самом деле — не фанатики ли мы?

Вот эти гнетущие мысли овладели нами, когда мы шагали по кочкастым, грязным, провонявшим какой-то гарью улицам Москвы.

...Кремль.

На его башнях еще красуются золотые орлы.

Мы входим в зал. До открытия съезда еще около часа. По мандатам выдают книги. Жадно забираем все, что можно. Затем через узкое окно смотрим на кремлевскую площадь и ждем — скоро придет Владимир Ильич Ленин.

Увидеть Владимира Ильича собственными глазами — какая это радость!

Ведь мы, молодые большевики, до сих пор не видели его, хотя жадно читали, изучали его статьи, а книги «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Государство и революция» являлись нашими путеводителями в сложной, еще неведомой практической деятельности становления нового государства.

И вдруг кто-то до крика шепчет:

— Ильич!

И все, кто был в зале, хлынули к окнам.

Легко, накинув на плечи пальто, площадь пересекает Владимир Ильич Ленин. Он что-то говорит своему соседу, то и дело взмахивая рукой. Сосед слушает его, шагая в ногу, и через очки смотрит ему в лицо.

Ленин!

Какой он могучий!

Смотришь на него отсюда, из окон Колонного зала, — и кажется: больше Ильича ростом на земле человека нет. У него огромная, с большим лбом голова, широкие, могучие плечи, крупный, уверенный и твердый шаг.

Да, такой вождь сломит любого врага.

Но что ему говорит идущий рядом с ним человек? Возможно, он высказал наши тревожные мысли:

— Не фанатики ли мы, товарищ Ленин? Чем и как будем бить врага? И вот этого, внутреннего: железнодорожный транспорт почти не работает, водный закован во льды, магазины закрыты, в Москве не достать и осьмушки хлеба, не говоря уже о масле, мясе, сахаре. Фабрики и заводы почти не работают. Жутко становится на душе, товарищ Ленин.

Возможно, это и сказал идущий рядом с Ильичей человек. И Владимир Ильич, резко взмахивая левой рукой, видимо, возражает ему.

...Зал переполнен.

На небольшой сцене видны руководители партии.

Все — и делегаты в зале, и люди на сцене — в напряженной тишине ждут Ленина.

Из-за кулис стремительно к трибуне подходит Ильич.

Да нет, он даже ниже среднего роста. У него только такая огромная голова, со светящимся, как солнце, лбом, небольшая бородака и острые, всевидящие глаза. По всему видно — он очень занят государственными делами, каждая минута и даже секунда у него на счету. А мы бурей аплодисментов встретили его и не умолкаем. Он чуточку поморщился, махнул рукой в нашу сторону, как бы говоря: «Хватит, товарищи, не тратьте время попусту». И мы на какой-то миг оборвали аплодисменты. Ильич одобрительно улыбнулся, и делегаты, помимо своей воли, послушались его, бурей аплодисментов потрясли зал.

Нет, нет!

Я не смогу сидеть где-то в задних рядах. Нагнувшись, перебегаю вперед, легонько толкаю в плечо делегата, сидящего с краю в первом ряду. Он любезно потеснился, и я на расстоянии пяти-шести метров вижу за трибуной Ильича.

Он опять передо мной, могучий и мощный. Светится лоб, большие глаза чуть вприщур, но они пронизывают меня и всех нас. Они родные, близкие, как будто всегда и постоянно видимые нами. Говорит он без всяких выкрутасов, чуть картавя, глухим, басовитым голосом.

Я внимательно слушаю Владимира Ильича, и мне кажется, что он высказывает мои мысли. Да, да, вот так думал и я. Но тут же опровергаю себя: да нет. У меня, конечно, было что-то смутное. Но почему же мне кажется: что-то подобное я где-то говорил?

Во время перерыва я расспрашивал делегатов, какое у них впечатление от выступления Ильича.

Все в один голос утверждали:

— Наши думы высказал! — в чем и были глубоко уверены, но вскоре выяснилось, что мы, практические созидатели Советской власти, приблизительно и довольно туманно думали о том же самом, что высказал Ленин.

Так он народен, наш Владимир Ильич.

А он говорит, косо вскидывая правую руку:

— Крестьянину, который не только у нас, а во всем мире, является практиком и реалистом, мы должны дать конкретные примеры в доказательство того, что «коммуния» лучше всего.

— Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию» (то есть за коммунизм).

Мы знаем хозяйственное, политическое и военное положение нашей страны: поля почти не засеваются, рабочие выпускают зажигалки — в виде танков, пушек, снарядов и так далее. Транспорт? Восемнадцать дней ехали из Саратова до Москвы — это вместо полутора суток...

Ильич, конечно, все это знает лучше нас, и, однако, вон он о чем:

— Если деревне дать сто тысяч тракторов! Признаться, мы не видели трактора. Что это за штука такая? Хоть бы посмотреть! А Ленин — сто тысяч. Раз они произведут такой переворот в умах крестьян, то рабочий класс, безусловно, эту «фантазию» превратит в быль. Не теперь — так завтра, не завтра — так через год, два, но тракторы поползут по крестьянским полям.

Они преобразуют эту старую, материально нищую Русь, где землю все еще ковыряют сохой и редко самой «крупной машиной» — двухлемешным плугом.

Временами хочется крикнуть:

«Трудно ведь, Ильич! Страна оголена!»

А он свое:

— Бодрость! Больше бодрости: силы народа неиссякаемы. Народ пробудился только ныне. Умейте находить эти силы и направляйте их на использование неисчерпаемых богатств природы.

Владимир Ильич говорит, временами хмурия солнечный лоб, сердится, и мы хмурим лбы, сердимся. А вот он захохотал над наи-

вным заключением противника. И как хохочет! Громко. Раска-
тисто. Убийственно.

Я, содрогаясь, думаю:

«Ох! Если он так захохочет надо мной... Умру!»

Но Ленин хохочет не над нами, а над такими, как Карл Каут-
ский. Как он его отстегал в своей книге «Пролетарская революция
и ренегат Каутский»!

Нам же Ильич — все свое внимание, все свои думы, мысли,
мечты.

— Действуйте, товарищи: история за нас.

Владимир Ильич тогда нас так вдохновил, что мы забыли про-
мерзшую Москву — перед нами предстала вся наша необъятная
страна с ее неисчерпаемыми богатствами природы и исполинскими
народными силами.

Вернувшись со съезда партии, мы, вдохновленные Ильичей,
засучив рукава принялись восстанавливать хозяйство, или, как
говорили тогда, «по-революционному бить разруху».

Мы все, особенно молодые большевики, были уверены — вот-
вот заживем при коммунизме. В нас жила неугасимая вера в свет-
лое будущее, вселенная в нас гениальным Владимиром Ильичей
Лениным, — и мы шли в бой против колчаковцев, насмерть стояли
за Советскую власть...

Б. ПАСТЕРНАК*

Из поэмы «Высокая болезнь»** (1923–1928)

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молнии шаровой.

* *Борис Леонидович Пастернак* (1890–1960) — русский поэт, прозаик, переводчик. Один из крупнейших русских поэтов XX века. В 1955 г. закончил роман «Доктор Живаго», за который через три года был удостоен Нобелевской премии по литературе, после чего подвергся травле и гонениям со стороны советского правительства.

** Поэма написана в 1923 г., переработана в 1928 г. Поэма «Высокая болезнь» была определена современниками как эскиз лирического эпоса, явилась попыткой автора откликнуться на события общественной жизни. В центре произведения проблема места интеллигенции в революции, судьбу которой поэт связывает со своей судьбой и раскрывает с предельным драматизмом.

Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегчение, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольцо поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном.
Что в нем В тот миг связалось с ним одним?

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.

Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,

Ревнив их ревностью одной,
Он управлял течением мыслей
И только потому — страной.

Я думал о происхожденье
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

К. ПАУСТОВСКИЙ*

Январская стужа**

От костров клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым пламенем. Дым ночных костров и январской стужи низко висел над Москвой.

Сквозь этот дым со скрежетом ползли трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.

Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом — «снегири». Так звали милиционеров в то время. Милиционеры держали на поводу заиндевелых нетерпеливых коней.

Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю.

Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на руках у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.

Уже на Лубянской площади слышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они

* *Константин Георгиевич Паустовский* (1892–1968) — русский советский писатель, сценарист и педагог, журналист, военный корреспондент. Во второй половине XX века его повести и рассказы вошли в советских школах в программу по русской литературе для средних классов как один из сюжетных и стилистических образцов пейзажной и лирической прозы.

** Огонек. 1962. № 4. С. 10–11.

усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче.

Прощайте же, братья, вы честно прошли

Свой доблестный путь благородный...

Кто-то запел вполголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав, — к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.

Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы.

Страна двигалась к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.

Шли все. Потому что не было ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.

В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей. Время от времени плавное звучание оркестров разбивали пронзительные плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.

Со мной в толпе шел капитан дальнего плавания, сотрудник морской газеты «На вахте» Зузенко — мой сосед по даче в Пушкине.

Мы медленно прошли мимо гроба и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать увиденное — лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.

Он был мертв, этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами. Куда пойдет страна? Какая судьба ждет революцию?

Казалось, что время застыло. Эпоха отыграла свое, замолкла, и вряд ли кто-нибудь сможет удержать ее на прежнем пути.

— Наши дети, — сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, — будут завидовать нам. Если не вырастут круглыми дураками. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, разочарований и побед. Зеленых от голода и почерневших от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня.

Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино в пустом дачном поезде. Он грохотал и качался в густом пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельсов. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает и потому звенит и потрескивает, как тонкий лед, разбитый камнем.

Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна.

Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенко спросил:

— Поедете завтра на похороны Ленина?

— Конечно.

— В чем? Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко — чистое рядно, чтобы не сказать больше. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра.

— У меня есть.

— Померяйте. А завтра утром я зайду. Пораньше.

Я ушел.

В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись потертой медвежьей шкурой.

Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни, просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распоряжаться собой.

Мир потрясен. Неистовая стужа не может убить печаль человеческих сердец. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут полного избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать.

Он знал. Но знаем ли мы?

Я потянулся к часам. Печка прогорела. При свете углей я увидел, что уже шесть часов. Сильно болела голова.

Серый сумрак, поморок, заползал в комнату из окна и тут же падал в темноту, на пол.

Надо было собираться и ехать в Москву.

Зузенко постучал в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, чтобы я даже не смел отворять ему дверь: мороз осатанел и просто сжигает легкие.

— Ехать в Москву немислимо! — прокричал он. — Оставайтесь. Ложитесь. Я поеду, вернусь поскорее и все вам расскажу.

У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же надел пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел.

Я добрел до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал.

Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы.

Но я не прошел и двух километров. Очень кружилась голова. Мне хотелось сесть на откос, в снег, и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все брел и брел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться.

Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу громяющий вздох оружейных залпов.

Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес.

Наконец со стороны Пушкина послышался нарастающий шум, — это шел в Москву, выбрасывая столбы дыма и пара, сибирский экспресс.

Он всегда проходил в это время мимо Пушкина, не останавливаясь, не тормозя, увлакивая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, отдохнуть, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться.

Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и запели тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь.

Поезд остановился там, где его застало время похорон.

Пар вырвался могучей струей из недр паровоза, и паровоз закричал. Он кричал непрерывно, не меняя тона: В его крике слышалось отчаяние, гнев, призыв.

Этот могучий гудок летел окрест — в леса, в стужу, в поля, где одним нетронутым пластом растлелись снега.

Шли минуты, а паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и настойчиво, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве хоронят Ленина.

Экспресс промчался через тысячи километров великой русской зимы, но опоздал. Всего на сорок минут.

Мне казалось, что я слышу не только вопль сибирского экспресса, но крик всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и сотрясали зимние свинцовые воды плачем мощных сирен.

Гудок сразу стих, и поезд тронулся в задымленную даль, к близкой Москве.

Все было кончено. Я побрел домой.

На дачах мертво висели траурные флаги.

На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне чудилось, что вымер весь мир и жизнь иссякла, как последний неприятный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма.

В. ПЕЛЕВИН***Хрустальный мир****

Вот — третий на пути.
О милый друг мой, ты ль
В измятом картузе над взором оловянным?
А. Блок

Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Царь природы не складывал бы ладонь в подобие индийской мудры, пытаясь защитить от промозглого ветра крохотную стартовую площадку на ногте большого пальца. Царь природы не придерживал бы другой рукой норовящий упасть на глаза край башлыка. И уж до чего бы точно никогда не дошел царь природы, так это до унижительной необходимости держать зубами вонючие кожаные поводья, каждую секунду ожидая от тупой русской лошади давно уже предсказанного Дмитрием Сергеевичем Мережковским великого хамства.

— И как тебе не надоест только, Юрий? Уже пятый раз за сегодня нюхаешь, — сказал Николай, с тоской догадываясь, что товарищ и на этот раз не предложит угоститься.

Юрий спрятал перламутровую коробочку в карман шинели, секунду подумал и вдруг сильно ударил лошадь сапогами по бокам.

— Х-х-х-а! За ним повсюду всадник медный! — закричал он и с тяжело-звонким грохотом унесся вдаль по пустой и темной Шпалерной. Затем, как-то убедив свою лошадь затормозить и повернуть обратно, он поскакал к Николаю — по пути рубанул аптечную вывеску невидимой шашкой и даже попытался поднять лошадь на дыбы, но та в ответ на его усилия присела на задние ноги и стала пятиться через всю улицу к кондитерской витрине, заклеенной одинаковыми желтыми рекламами лимонада: усатый герой с георгиевскими крестами на груди, чуть пригибаясь, чтобы не попасть под осколки только что разорвавшегося в небе шрапнельного снаряда, пьет из высокого бокала под взглядами двух приблизительно нарисованных красавиц-медсестер. Николай

* Виктор Олегович Пелевин (р. 1962) — русский писатель, эссеист, автор культовых романов 1990-х гг. «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation “П”». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» (1993), «Национальный бестселлер» (2004), «Большая книга» (2010, 3-е место), премия Андрея Белого (2017).

** Рассказ написан в 1991 г.

с кем-то уже обсуждал идиотизм и пошлость этого плаката, висевшего по всему городу вперемежку с эсеровскими и большевистскими листовками, сейчас он почему-то вспомнил брошюру Петра Успенского о четвертом измерении, напечатанную на паршивой газетной бумаге, и представил себе конский зад, выдвигающийся из пустоты и вышибающий лимонад из руки усталого воина.

Юрий наконец справился с лошадьёю и после нескольких пирюэтов в центре улицы направился к Николаю.

— Причем обрати внимание, — возобновил он прерванный разговор, — любая культура является именно парадоксальной целостностью вещей, на первый взгляд не имеющих друг к другу никакого отношения. Есть, конечно, параллели: стена, кольцом окружающая античный город, и круглая монета, или — быстрое преодоление огромных расстояний с помощью поездов, гаубиц и телеграфа. И так далее. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что каждый раз проявляется некое нерасчленимое единство, некий принцип, который сам по себе не может быть сформулирован, несмотря на крайнюю простоту...

— Мы про это уже говорили, — сухо сказал Николай, — неопределимый принцип, одинаково представленный во всех феноменах культуры.

— Ну да. И этот культурный принцип имеет некий фиксированный период существования, примерно тысячу лет. А внутри этого срока он проходит те же стадии, что и человек — культура может быть молодой, старой и умирающей. Как раз умирание сейчас и происходит. У нас это видно особенно ясно. Ведь это, — Юрий показал рукой на кумачовую полосу с надписью «Ура Учредительному собранию!», протянутую между двумя фонарными столбами, — уже агония. Или даже начало разложения.

Некоторое время ехали молча. Николай поглядывал по сторонам — улица словно вымерла, и если бы не несколько горящих окон, можно было бы решить, что вместе со старой культурой сгнули и все ее носители. С начала дежурства пошел уже второй час, а прохожих навстречу не попадалось, из-за чего совершенно невозможно было выполнить приказ капитана Приходова.

— Не пропускать по Шпалерной в сторону Смольного ни одну штатскую бл**ь, — сказал капитан на разводе, значительно глядя на Юрия, — ясно?

— Как прикажете понимать, господин капитан, — спросил Юрий, — в прямом смысле?

— Во всех смыслах, юнкер Попович, во всех.

Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по Шпалерной, надо, чтобы кроме двух готовых выполнить приказ юнкеров суще-

ствовал и этот третий, пытающийся туда пройти, — а его не было, и пока боевая вахта сводилась к довольно путаному рассказу Юрия о рукописи какого-то немца, которую сам Николай не мог прочесть из-за плохого знания языка.

— Как его зовут? Шпуллер?

— Шпенглер, — повторил Юрий.

— А как книга называется?

— Неизвестно. Я ж говорю, она еще не вышла. Это была машинопись первых глав. Через Швейцарию провезли.

— Надо запомнить, — пробормотал Николай и тут же опять начисто забыл немецкую фамилию — зато прочно запомнил совершенно бессмысленное слово «Шпуллер». Такие вещи происходили с ним все время: когда он пытался что-то запомнить, из головы вылетало именно это что-то, а оставались разные вспомогательные конструкции, которые должны были помочь сохранить запоминаемое в памяти, причем оставались очень основательно: пытаюсь вспомнить фамилию бородатого немецкого анархиста, которым зачитывалась гимназистка-сестра, он немедленно представлял себе памятник Марку Аврелию, а вспоминая номер какого-нибудь дома, он вдруг сталкивался с датой «1825» и пятью профилями — не то с коньячной бутылки, не то из теософского журнала. Он сделал еще одну попытку вспомнить немецкую фамилию, но вслед за словом «Шпуллер» выскочили слова «Зингер» и «Парабеллум», второе было вообще не при чем, а первое не могло быть нужным именем, потому что начиналось не на «Ш». Тогда Николай решил поступить хитро и запомнить слово «Шпуллер» как похожее на вылетевшую из головы фамилию, по идее, при этом оно должно было забыться, уступив этой фамилии место.

Николай уже решил переспросить товарища, как вдруг заметил темную фигуру, крадущуюся вдоль стены со стороны Литейного проспекта, и дернул едущего рядом Юрия за рукав. Юрий встрепенулся, огляделся по сторонам, увидел прохожего и попытался свистнуть, получившийся звук свистом не был, но прозвучал достаточно предостерегающе.

Неизвестный господин, поняв, что замечен, отделился от стены, вошел в светлое пятно под фонарем и стал полностью виден. На первый взгляд ему было лет пятьдесят или чуть больше, одет он был в темное пальто с бархатным воротником, а на голове имел котелок. Лицо его с лучеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если бы не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, которой помахивал взад-вперед в том смысле, что

просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать, и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада.

— П'гивет, 'ебята, — развязно и даже, пожалуй, нагло сказал господин, — как служба?

— Вы куда изволите следовать, милостивый государь? — холодно спросил Николай.

— Я-то? А я гуляю. Гуляю тут. Сегодня, ве'гите, весь день кофий пил, к вече'гу так аж се'гце заныло... Дай, думаю, воздухом подышу...

— Значит, гуляете? — спросил Николай.

— Гуляю... А что, нельзя-с?

— Да нет, отчего. Только у нас к вам просьба — не могли бы вы гулять в другую сторону? Вам ведь все равно, где воздухом дышать?

— Все 'гавно, — ответил господин и вдруг нахмурился, — но однако это безоб'газие какое-то. Я п'гивык по Шпале'гной туда-сюда, туда-сюда...

Он показал тростью, как. Юрий чуть покачнулся в седле, и господин перевел внимательные глазки на него, отчего Юрий почувствовал необходимость что-то произнести вслух.

— Но у нас приказ, — сказал он, — не пускать ни одну штатскую бл**ь к Смольному.

Господин как-то бойко оскорбился и задрал вверх бородку.

— Да как вы осмеливаетесь? Вы... Да я вас в газетах... В «Новом В'гемени»... — затараторил он, причем стало сразу ясно, что если он и имеет какое-то отношение к газетам, то уж во всяком случае не к «Новому Времени», — наглость какая... Да вы знаете, с кем гово'гите?

Было какое-то несоответствие между его возмущенным тоном и готовностью, с которой он начал пятиться из пятна света назад, в темноту, — слова предполагали, что сейчас начнется долгий и тяжелый скандал, а движения показывали немедленную готовность даже не убежать, а именно задать стрекача.

— В городе чрезвычайное положение, — закричал ему вслед Николай, — подышите пару дней в окошко!

Молча и быстро господин уходил и вскоре полностью растворился в темноте.

— Мерзкий тип, — сказал Николай, — определенно жулик. Глазки-то как зыркают...

Юрий рассеянно кивнул. Юнкера доехали до угла Литейного проспекта и повернули назад — Юрию эта процедура стоила

некоторых усилий. В его обращении с лошадьёю постоянно проскальзывали ухватки опытного велосипедиста: он далеко разводил поводья, словно в его руках был руль, а когда надо было остановиться, подергивал ногами в стремянах, как будто вращая назад педали полугоночного «Данлопа».

Начал моросить отвратительный мелкий дождь, и Николай тоже накинуд на фуражку башлык, после чего они с Юрием стали совершенно неотличимы друг от друга.

— А что ты, Юра, думаешь — долго Керенский протянет? — спросил через некоторое время Николай.

— Ничего не думаю, — ответил Юрий, — какая разница. Не один, так другой. Ты лучше скажи, как ты себя во всем этом ощущаешь?

— В каком смысле? — Николай в первый момент решил, что Юрий имеет в виду военную форму.

— Ну вот смотри, — сказал Юрий, указывая на что-то впереди жестом, похожим на движение сеятеля, — где-то война идет, люди гибнут. Свергли императора, все перевернули к чертовой матери. На каждом углу большевики гогочут, семечки жрут. Кухарки с красными бантами, матросня пьяная. Все пришло в движение, словно какую-то плотину прорвало. И вот ты, Николай Муромцев, стоишь в болотных сапогах своего духа в самой середине всей этой мути. Как ты себя понимаешь?

Николай задумался.

— Да я этого как-то не формулировал, — сказал он. — Вроде живу себе просто, и все.

— Но миссия-то у тебя есть?

— Какая там миссия, — ответил Николай и даже немного смутился, — Господь с тобой. Скажешь тоже.

Юрий потянул ремень перекосившегося карабина, и из-за его плеча выполз конец ствола, похожий на голову маленького стального индюка, внимательно слушающего разговор.

— Миссия есть у каждого, — сказал Юрий, — просто не надо понимать это слово торжественно. Вот, например, Карл Двенадцатый — знаешь, был такой шведский король — всю свою жизнь воевал — с нами, еще с кем-то, чеканил всякие медали в свою честь, строил корабли, соблазнял женщин. Охотился, пил. А в это время в какой-то деревне рос, скажем, некий пастушок, у которого самая смелая мечта была — о новых лаптях. Он, конечно, не думал, что у него есть какая-то миссия, — не то что не думал, даже слова такого не знал. Потом попал в солдаты, получил ружье, кое-как научился стрелять. Может быть, даже не стрелять научился, а просто высовывать дуло из окопа и дергать за курок. И вот так

однажды высунул он дуло, заткнул уши и дернул курок — а в это время где-то на линии полета пули скакал великолепный Карл Двенадцатый на специальной королевской лошади. И — прямо по тыкве...

Юрий повертел рукой, изображая падение убитого шведского короля с несущейся лошади.

— Самое интересное, — продолжал он, — что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия, и не узнает того момента, когда выполняет действие, ради которого был послан на землю. Скажем, он считает, что он композитор и его задача — писать музыку, а на самом деле единственная цель его существования — это попасть под телегу на пути в консерваторию.

— Это зачем?

— Ну, например, затем, чтобы у дамы, едущей на извозчике, от страха случился выкидыш и человечество избавилось от нового Чингисхана. Или затем, чтобы кому-то стоящему у окна пришла в голову новая мысль. Мало ли.

— Ну, если так рассуждать, — сказал Николай, — то, конечно, миссия есть у каждого. Только узнать о ней положительно невозможно.

— Да нет, есть способы, — сказал Юрий и замолчал.

— Какие?

— Да есть такой доктор Штейнер в Швейцарии... Ну да ладно, — Юрий махнул рукой, и Николай понял, что лучше сейчас не лезть с расспросами.

Темной и таинственной была Шпалерная, темной и таинственной, как слова Юрия о неведомом немецком докторе. Все закрывал туман, хотелось спать, и Николай начал клевать носом. За промежуток времени между двумя ударами копыт он успевал заснуть и пробудиться, и каждый раз видел короткий сон. Сначала эти сны были хаотичными и бессмысленными — из темноты выплывали незнакомые лица, удивленно косились на него и исчезали, потом мелькнули какие-то темные пагоды на заснеженной вершине горы — Николай вспомнил, что это монастырь и вроде бы он даже что-то про него знал, — но видение исчезло. Потом пригрезилось, что они с Юрием едут по высокому берегу реки и вглядываются в ползущую с запада черную тучу, уже закрывшую полнеба, — и даже вроде не они с Юрием, а какие-то два воина — тут Николай догадался было о чем-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять была Шпалерная.

В домах горело только пять или шесть окон, и они походили на стены той самой темной расщелины, за которой, если верить древнему поэту, расположен вход в ад. «До чего же мрачный го-

род, — думал Николай, прислушиваясь к свисту ветра в водосточных трубах, — и как только люди рожают здесь детей, дарят кому-то цветы, смеются... А ведь и я здесь живу...» Отчего-то его поразила эта мысль. Моросить перестало, но улица не стала уютней. Николай опять задремал в седле — на этот раз без всяких сновидений.

Разбудила долетевшая откуда-то из темноты музыка, сначала неясная, а потом — когда юнкера приблизились к ее источнику (освещенному окну первого этажа в коричневом трехэтажном доме с дующим в трубу амуром над дверью) — оказавшаяся вальсом «На сопках Манчжурии» в обычной духовой расфасовке.

— Но-о-чь тишина-а-а лишь галян шуми-и-т... — На глухой и негромкий звук граммофона накладывался сильный мужской голос, четкая тень его обладателя падала на крашеное стекло окна — судя по фуражке, это был офицер. Он держал на весу тарелку и махал вилкой в такт музыке — на некоторых тактах вилка расплывалась и становилась огромной расплывчатой тенью какого-то сказочного насекомого.

— Спице, друзья-я, страна больша-ая память о вас хранит... — Николай подумал о его друзьях.

Через десяток шагов музыка стихла, и Николай опять стал размышлять о странных речах Юрия.

— И какие это способы? — спросил он покачивающегося в седле товарища.

— Ты о чем?

— Да только что говорили. Как узнать о своей миссии.

— А, ерунда, — махнул Юрий рукой. Он остановил лошадь, осторожно взял поводья в зубы и вынул из кармана перламутровую коробочку. Николай проехал чуть вперед, остановился и выразительно посмотрел на товарища.

Юрий закрылся руками, шмыгнув носом и изумленно глянул на Николая из-под ладони. Николай усмехнулся и закатил глаза. «Неужели опять, подлец, не предложит?» — подумал он.

— Не хочешь кокаину? — спросил наконец Юрий.

— Даже не знаю, — лениво ответил Николай, — да у тебя хороший ли?

— Хороший.

— У капитана Приходова брал?

— Не, — сказал Юрий, заправляя вторую ноздрю, — это из эсеровских кругов. Такой боевики перед терактом нюхают.

— О! Любопытно. — Николай достал из-под шинели крохотную серебряную ложечку с монограммой и протянул Юрию, тот взял ее за чашечку и опустил витой стерженек ручки в перламутровую кокаинницу.

«Жмот», — подумал Николай, далеко, словно для сабельного удара, перегибаясь с лошади и поднося левую ноздрю к чуть подрагивающим пальцам товарища (Юрий держал ложечку двумя пальцами, сильно сжимая, словно у него в руке был крошечный и смертельно ядовитый гад, которому он сдавил шею).

Кокаин привычно обжег носоглотку, Николай не почувствовал никакого отличия от обычных сортов, но из благодарности изобразил на лице целую гамму запредельных ощущений. Он не спешил разгибаться, надеясь, что Юрий подумает и о его правой ноздре, но тот вдруг захлопнул коробочку, быстро спрятал в карман и кивнул в сторону Литейного.

Николай выпрямился в седле. Со стороны проспекта кто-то шел — издали было неясно, кто. Николай тихо выругался по-английски и поскакал навстречу.

По тротуару медленно и осторожно, словно каждую секунду боясь обо что-то споткнуться, шла жирная женщина в шляпе с густой вуалью. Николай чуть не сбил ее лошадью — чудом успел отвернуть в последнюю минуту. Женщина испуганно прижалась к стене дома и издала тихий покорный писк, отчего Николай вспомнил свою бабушку и испытал мгновенное и острое чувство вины.

— Мадам! — заорал он, выхватывая шашку и салютуя, — что вы здесь делаете? В городе идут бои, вам известно об этом?

— Мне-то? — просипела сорванным голосом женщина. — Еще бы!

— Так что же вы — с ума сошли? Вас ведь могут убить, ограбить... Попадетеьь какому-нибудь Плеханову, так он вас своим броневиком сразу переедет, не задумываясь.

— Еще кто кого пе'геедет, — с неожиданной злобой пробормотала женщина и сжала довольно крупные кулаки.

— Мадам, — успокаиваясь и пряча шашку, заговорил Николай, — бодрое расположение вашего духа заслуживает всяческих похвал, но вам следует немедленно вернуться домой, к мужу и детям. Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте, наконец, вина. Но не выходите на улицу, умоляю вас.

— Мне надо туда, — женщина решительно махнула ридикиюлем в сторону ведущей в ад расщелины, которой к этому времени окончательно стала дальняя часть Шпалерной улицы.

— Да зачем вам?

— Под'гуга ждет. Компаньонка.

— Ну так встретитесь потом, — подъезжая, сказал Юрий. — Ведь ясно вам сказали — вперед нельзя. Назад можно, вперед нельзя.

Женщина повела головой из стороны в сторону — под вуалью черты ее лица были совершенно неразличимы и нельзя было определить, куда она смотрит.

— Ступайте, — ласково сказал Николай, — скоро десять часов, потом на улицах будет совсем опасно.

— Donnerwetter! — пробормотала женщина. Где-то неподалеку завyla собака — в ее вое было столько тоски и ненависти, что Николай поежился в седле и вдруг почувствовал, до чего вокруг сыро и мерзко. Женщина как-то странно мялась под фонарем. Николай развернул лошадь и вопросительно поглядел на Юрия.

— Ну как тебе? — спросил тот.

— Что-то я ничего не пойму. Не успел распробовать, мало было. Но вроде самый обычный.

— Да нет, — сказал Юрий, — я об этой женщине. Какая-то она странная, не понравилась мне.

— Да и мне не понравилась, — ответил Николай, оборачиваясь посмотреть, не слышит ли старуха обидных для нее слов, но той уже след простыл.

— И обрати внимание, — задумчиво добавил Юрий, — оба они картавят. Тот, первый, и эта.

— Да ну и что. Мало ли народу грассирует. Французы, так все. И еще, кажется, немцы. Правда, чуть по-другому.

— Штейнер говорит, что когда какое-то событие повторяется несколько раз, это указание высших сил.

— Какой Штейнер? Который эту книгу о культурах написал?

— Нет. Книгу написал Шпенглер. Он никакой не доктор. А доктора Штейнера я видел в Швейцарии. Ходил к нему на лекции. Удивительный человек. Он-то мне про миссию и рассказал...

Юрий замолчал и вздохнул.

Юнкера медленно поехали по Шпалерной в сторону Смольного. Улица уже давно казалась мертвой — но только в том смысле, что с каждой новой минутой все сложнее было представить себе живого человека в одном из черных окон или на склизком тротуаре. В другом, нечеловеческом смысле она, наоборот, оживала: совершенно неприметные днем кариатиды сейчас только притворялись оцепеневшими — на самом деле они провожали друзей внимательными закрашенными глазами. Орлы на фронтонах в любой миг готовы были взлететь и обрушиться с высоты на двух всадников, а бородатые лица воинов в гипсовых картушах, наоборот, виновато ухмылялись и отводили взгляды. Опять завыло в водосточных трубах — это при том, что никакого ветра на самой улице не чувствовалось. Сверху, там, где днем была широкая полоса неба, сейчас не видно было ни туч, ни звезд — сырой и холодный мрак провисал между двух линий крыш, и клубы тумана сползали вниз по стенам. Из нескольких горевших до этого фонарей два или три почему-то погасли, по-

гасло и то окно первого этажа, где совсем недавно офицер пел трагический и прекрасный вальс.

— Право, Юра, дай кокаину... — не выдержал Николай. Юрий, видимо, чувствовал то же смятение духа — он закивал головой, будто Николай только что сказал что-то замечательно верное, и полез в карман.

На этот раз он не поспешил: подняв голову, Николай изумленно заметил, что наваждение исчезло, и вокруг — обычная вечерняя улица, пусть темноватая и мрачноватая, пусть затянутая тяжелым туманом, но все же одна из тех, где прошло его детство и юность, с обычными скупыми украшениями на стенах домов и помигивающими тусклыми фонарями.

Вдали у Литейного грохнул винтовочный выстрел, потом еще один, и сразу же донеслись нарастающий стук копыт и дикие кавалерийские вскрики. Николай потянул из-за плеча карабин — прекрасной показалась ему смерть на посту, с оружием в руках и вкусом крови во рту. Но Юрий оставался спокоен.

— Это наши, — сказал он. И точно — всадники, появившиеся из тумана, были одеты в ту же форму, что и Юрий с Николаем. Еще секунда, и их лица стали различимы.

Впереди на молодой белой кобыле ехал капитан Приходов, концы его черных усов загибались вверх, глаза отважно блеснули, а в руке замороженной молнией сверкала кавказская шашка. За ним сомкнутым строем скакали двенадцать юнкеров.

— Ну как? Нормально?

— Отлично, господин капитан! — вытягиваясь в седлах, хором ответили Юрий с Николаем.

— На Литейном — бандиты, — озабоченно сказал капитан, — вот. — Николаю в ладони шлепнулся тусклый металлический диск на длинной цепочке. Это были часы. Он ногтем откинул крышку и увидел глубоко врезанную готическую надпись — смысла ее он не понял и передал часы Юрию.

— «От генерального... от генерального штаба», — перевел тот, с трудом разобрав в темноте мелкие буквы. — Видно, трофейные. Но что странно, господин капитан, цепочка — из стали. На нее дверь можно запирать.

Он протянул часы Николаю: действительно, хоть цепочка была тонкой, она казалась удивительно прочной, самое удивительное, что на звеньях не было стыков, будто она была целиком выточена из куска стали.

— А еще можно людей душить, — сказал капитан, — на Литейном — три трупа. Два прямо на углу: инвалид и медсестра, задушены и раздеты. И непонятно, то ли их там бросили, то ли

убили и ограбили. Скорей всего выбросили — не могла же медсестра безногого мужчину на себе тащить... Но какое зверство! На фронте такого не видел. Ясно, отнял у инвалида часы и их же цепочкой... Знаете, там такая большая лужа...

Один из юнкеров тем временем отделился от группы и подъехал к Юрию. Это был Васька Зиверс, большой энтузиаст конькобежного спорта и танкового дела, — в училище его не любили за преувеличенный педантизм и плохое знание русского языка, а с отлично знавшим немецкий Юрием он был накоротке.

— ...за сотню метров, — говорил капитан, плашмя похлопывая шашкой по сапогу, — третье тело — успели в подворотню... Женщина, тоже почти голая... и след от цепочки...

Васька тронул внимательно слушающего Юрия за плечо, и тот, не отводя от капитана глаз, вывернул лодочкой ладонь, куда Васька быстро положил крохотный сверточек. Все это происходило у Юрия за спиной, но тем не менее не укрылось от капитана.

— Что такое, юнкер Зиверс? — перебил он сам себя, — что там у вас?

— Господин капитан! Через четыре минуты меняем караул у Николаевского вокзала! — отдав честь, ответил Васька.

— Рысью — вперед! — взревел капитан. — Да не туда, на Литейный! У Смольного быстро не пройдем!

Юнкера развернулись и унеслись в туман, капитан Приходов задержал пляшущую кобылу и крикнул Юрию с Николаем:

— Держитесь рядом! Никого без пропуска не пускать, на Литейный не выезжать, к Смольному тоже не соваться! Ясно? Смена в десять тридцать!

И исчез вслед за юнкерами — еще несколько секунд доносился стук копыт, а потом все стихло и уже не верилось, что только что на этой сырой и темной улице было столько народу.

— От генерального штаба, — повторил Николай, подбрасывая серебряную лепешку на ладони — второпях капитан забыл о своей страшной находке.

Часы имели форму маленькой раковины-жемчужницы, на циферблате было три стрелки, а сбоку, по числу стрелок, выступали три рифленых головки для завода. Николай слегка нажал на верхнюю и чуть не уронил часы на мостовую — они заиграли. Это были первые несколько нот какой-то напыщенной немецкой мелодии, которую Николай сразу узнал, но названия которой не помнил.

— Аппассионата, — сказал Юрий, — Людвиг фон Бетховен. Брат рассказывал, что немцы ее перед атакой на губных гармошках играют. Что-то вроде марша.

Он развернул оставленный Васькой сверток — тот, как оказалось, состоял почти из одной бумаги. Внутри оказалось пять ампул с неровно запаянными шейками. Юрий пожал плечами.

— То-то Приходов заерзал, — сказал он, — насквозь людей видит. Только что с ними делать без шприца... Педант называется: берет кокаин, а отдает эфедрином. У тебя тоже шприца нет?

— Отчего, есть, — безрадостно ответил Николай. Эфедрина не хотелось — хотелось вернуться в казарму, сдать шинель в сушилку, лечь на койку и уставиться на знакомое пятно от головы, которое спростыня становилось то картой города, то хищным монголоидным лицом с бородкой, то перевернутым обезглавленным орлом — Николай совершенно не помнил своих снов и сталкивался только с их эхом.

С отъездом капитана Приходова улица опять превратилась в ущелье, ведущее в ад. Происходили странные вещи: кто-то успел запереть на замок подворотню в одном из домов, на самой середине мостовой появилось несколько пустых бутылок с ярко-желтыми этикетками, а поверх рекламы лимонада в окне кондитерской косо висело оглушительных размеров объявление, первая строка которого, выделенная крупным шрифтом и восклицательными знаками, фамильярно предлагала искать товар. Почти все фонари уже погасли — остались гореть только два, друг напротив друга, Николай подумал, что какому-нибудь декаденту из «Бродячей собаки», уже не способному воспринимать вещи просто, эти фонари показались бы мистическими светящимися воротами, возле которых должен быть остановлен чудовищный зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и поглотить весь мир.

Где-то снова завывли псы, и Николай затосковал. Налетел холодный ветер, загредел жестяным листом на крыше и умчался — но оставил после себя странный и неприятный звук, пронзительный далекий скрип где-то в стороне Литейного. Звук то исчезал, то появлялся опять и постепенно становился ближе — словно Шпалерная была густо посыпана битым стеклом, и кто-то медленно, с перерывами, вел по ней огромным гвоздем, постепенно протыкая его все ближе к двум последним светящимся точкам.

— Что это? — глупо спросил Николай.

— Не знаю, — ответил Юрий, вглядываясь в клубы черного тумана, — посмотрим.

Скрип стих, а потом вдруг раздался совсем рядом, и один из клубов тумана, налившись какой-то особенной чернотой, отделился от слоившейся между домами темной мглы. Приближаясь, он постепенно приобретал контуры странного существа: сверху — до плеч — это был человек, а ниже — что-то странное,

массивное и шевелящееся, именно эта нижняя часть и издавала отвратительный скрипящий звук. Это странное существо тихо приборматывало одновременно двумя голосами — мужской стонал, а женский утешал, причем женским говорила верхняя его часть, а мужским — нижняя. Существо на два голоса прокашлялось, вступило в освещенную зону и остановилось, лишь в этот момент, как показалось Николаю, приобретя окончательную форму.

Перед юнкерами в инвалидном кресле сидел мужчина, обильно покрытый бинтами и медалями. Перебинтовано было даже его лицо: в просветах между лентами белой марли виднелись только бугры лысого лба и отсвечивающий красным прищуренный глаз. В руках мужчина держал старинного вида гитару, украшенную разноцветными шелковыми лентами.

За креслом, держа водянистые пальцы на его спинке, стояла пожилая седоватая женщина в дрянной вытертой кацавейке — она была не то чтобы толстой, но какой-то оплывшей, словно мешок с крупой. Глаза женщины были круглы и безумны и видели явно не Шпалерную улицу, а что-то такое, о чем лучше даже не догадываться, на ее голове косо стоял маленький колпак с красным крестом — наверно, он был закреплен, потому что по физическим законам ему полагалось упасть.

Несколько секунд прошли в молчании, потом Юрий облизнул высохшие губы и сказал:

— Пропуск.

Инвалид заерзал в своем кресле, поднял взгляд на медсестру и беспокойно замычал. Медсестра вышла из-за кресла, наклонилась в сторону юнкеров и уперла руки в колени — Николай отчего-то поразился, увидев на ее ногах стоптанные солдатские сапоги, торчащие из-под голубой юбки.

— Да стыд у вас есть, али нет совсем? — тихо сказала она, ввинчиваясь взглядом в Юрия. — Он же раненный в голову, за тебя убитый. Откуда у него пропуск?

— Раненный, значит, в голову? — задумчиво переспросил Юрий. — Но теперь как бы исцелел? Пропуск.

Женщина растерянно оглянулась. Инвалид в кресле дернул струну гитары, и по улице прошел низкий вибрирующий звук — он словно подстегнул медсестру, и она, снова пригнувшись, заговорила:

— Сынок, ты не серчай... Не серчай, если я не так что сказала, а только пройти нам обязательно надо. Если б ты знал, какой это человек сидит... Герой. Поручик Преображенского полка Кривотыкин. Герой Брусиловского прорыва. У него боевой товарищ завтра на фронт отбывает — может, не вернется. Пусти — надо им повидаться, понимаешь?

— Значит, Преображенского полка?

Инвалид закивал головой, прижал к груди гитару и заиграл. Играл он как-то странно, словно на раскаленной медной балалайке — с опаской ударяя по струнам и быстро отдергивая пальцы, — но мелодию Николай узнал: это был марш Преображенского полка. Другой странностью было то, что вырез резонатора, у всех гитар круглый, у этой имел форму пентаграммы, видимо, этим и объяснялся ее тревожащий душу низкий звук.

— А ведь Преображенский полк, — без выражения сказал Юрий, когда инвалид кончил играть, — не участвовал в Брусиловском прорыве.

Инвалид что-то замычал, указывая гитарой на медсестру, та обернулась к нему и, видимо, старалась понять, чего он хочет, это никак у нее не получалось, пока инвалид вновь не извлек из своего инструмента низкий вибрирующий звук, — тогда она спохватилась:

— Да ты что, сынок, не веришь? Господин поручик сам на фронт попросился, служил в третьей Заамурской дивизии, в конно-горном дивизионе...

Инвалид в кресле с достоинством кивнул.

— С двадцатью всадниками австрийскую батарею взял. От главнокомандующего награды имеет, — укоряюще произнесла медсестра и повернулась к инвалиду, — господин поручик, да покажите ему...

Инвалид полез в боковой карман кителя, вынул что-то и протянул медсестре, та передала Юрию. Юрий не глядя протянул лист Николаю. Тот развернул и прочел:

«Пор. Кривотыкин — 43 Заамурского полка 4 батальона. Приказываю атаковать противника на фронте от д. Онут до перекрестка дорог, что севернее отм. 265 вкл., нанося главный удар между деревьями Онут и Черный Поток с целью овладеть высотой 236, Мол. фермой и северным склоном высоты 265.

П. п. командир корпусагенерал-от-артиллерии Баранцев»

— Что еще покажете? — спросил Юрий. Инвалид полез в карман и вытащил часы, отчего Николаю на секунду стало не по себе. Медсестра передала их Юрию, тот осмотрел и отдал Николаю. «Так, глядишь, часовым мастером станешь, подумал Николай, откидывая золотую крышку, — за час вторые». На крышке была гравировка:

Поручику Кривотыкину за бесстрашный рейд.
Генерал Баранцев

Инвалид тихо наигрывал на гитаре марш Преображенского полка и шурился на что-то вдаль, задумавшись видно о своих боевых друзьях.

— Хорошие часы. Только мы вам лучше покажем, — сказал Юрий, вынул из кармана серебряного моллюска, покачал его на цепочке, потом перехватил ладонью и нажал рифленую шпечку на боку.

Часы заиграли. Николай никогда раньше не видел, чтобы музыка — пусть даже гениальная — так сильно и, главное, быстро действовала на человека. Инвалид на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку мог написать человек, а затем повел себя очень странно: вскочил с кресла и быстро побежал в сторону Литейного, следом, стуча солдатскими сапогами, побежала медсестра. Николай сорвал с плеча карабин, передернул затвор и выстрелил вверх.

— Стоять! — крикнул он. Медсестра на бегу обернулась и дала несколько выстрелов из нагана — завизжали рикошеты, рассыпалась по асфальту выбитая витрина парикмахерской, откуда всего секунду назад на мир удивленно глядела девушка в стиле модерн, нанесенная на стекло золотой краской. Николай опустил ствол и два раза выстрелил в туман, наугад: беглецов уже не было видно.

— И чего они к Смольному так стремятся? — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил Юрий. Он не успел сделать ни одного выстрела и до сих пор держал в руках часы.

— Не знаю, — сказал Николай. — Наверно, к большевикам хотят: там можно спирт купить и кокаин. Совсем недорого.

— Что, покупал?

— Нет, — ответил Николай, закидывая карабин за плечо, — слышал. Бог с ним. Ты про свою миссию начал рассказывать, про доктора Шпуллера...

— Штейнера, — поправил Юрий, острые ощущения придали ему разговорчивости. — Это такой визионер. Я, когда в Дорнахе был, ходил к нему на лекции. Садился поближе, даже конспект вел. После лекции его сразу обступали со всех сторон и уводили, так что поговорить с ним не было никакой возможности. Да я особо и не стремился. И тут что-то стал он на меня коситься на лекциях. Поговорит-поговорит, а потом замолчит и уставится. Я уж и не знал, что думать — а потом он вдруг подходит ко мне и говорит: «Нам с вами надо поговорить, молодой человек». Пошли мы с ним в ресторан, сели за столик. И стал он мне что-то странное втолковывать — про Апокалипсис, про невидимый мир и так далее. А потом сказал, что я отмечен каким-то особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории. Что чем бы я ни за-

нимался, в духовном смысле я стою на некоем посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то сражался.

— Это когда ты успел? — спросил Николай.

— В прошлых воплощениях. Он — то есть не демон, а доктор Штейнер — сказал, что только я могу его остановить, но смогу ли — никому не известно. Даже ему. Штейнер мне даже гравюру показывал в какой-то древней книге, где будто бы про меня говорится. Там были два таких, знаешь, длинноволосых, в одной руке — копье, в другой — песочные часы, все в латах, и вроде один из них — я.

— И ты во все это веришь?

— Черт его знает, — усмехнулся Юрий, — пока, видишь, с медсестрами перестреливаюсь. И то не я, а ты. Ну что, вколем?

— Пожалуй, — согласился Николай и полез под шинель, в нагрудный карман гимнастерки, где в плоской жестяной коробочке лежал маленький шприц.

На улице стало совсем тихо — ветер больше не выл в трубах, голодные псы, похоже, покинули свои подворотни и подались в какие-то другие места, на Шпалерную сошел покой — даже треск тончайших стеклянных шеек был хорошо различим.

— Два сантиграмма, — раздавался шепот.

— Конечно, — шептал другой голос в ответ.

— Откинь шинель, — говорил первый шепот, — иглу погнешь.

— Пустяки, — откликнулся второй.

— Ты с ума сошел, — шептал первый голос, — пожалей лошаадь...

— Ничего, она привычная, — шептал второй...

...Николай поднял голову и огляделся. Трудно было поверить, что осенняя петроградская улица может быть так красива. За окном цветочного магазина в дубовых кадках росли три крошечных сосенки, улица поднималась вверх метра на полтора и становилась шире, окна верхних этажей отражали только что появившуюся в просвете туч луну — все это было Россией и было до того прекрасно, что у Николая на глаза навернулись слезы.

— Мы защитим тебя, хрустальный мир, — прошептал он и положил ладонь на рукоять шашки. Юрий крепко держал ремень карабина у левого плеча и не отрываясь глядел на луну, несущуюся вдоль рваного края тучи. Когда она скрылась, он повернул вдохновенное лицо к спутнику.

— Удивительная вещь эфедрин, — сказал он. Николай не ответил — да и что можно было ответить? Уже по-иному дышала грудь, другим казалось все вокруг, и даже отвратительная изморось теперь ласкала щеки. Тысячи мелких и крупных вопросов,

совсем недавно бывших мучительными и неразрешимыми, вдруг оказались не то что решенными, но совершенно несущественными, центр тяжести жизни был совершенно в другом, и когда это другое вдруг открылось, выяснилось, что оно всегда было рядом, присутствовало в любой минуте любого дня, но было незаметным, как становится невидимой долго висящая на стене картина.

— Я жалобной рукой сжимаю свой костыль, — стал нараспев читать Юрий. — Мой друг — влюблен в луну — живет ее обманом. Вот третий на пути...

Николай уже не слышал товарища — он думал о том, как он завтра же изменит свою жизнь. Мысли были бессвязные, иногда откровенно глухие — но очень приятные. Начать обязательно надо было с того, чтобы встать в пять тридцать утра и облиться холодной водой, а дальше была такая уйма вариантов, что остановиться на чем-нибудь конкретном было крайне тяжело, и Николай стал напряженно выбирать, незаметно для себя приборматывая вслух и сжимая от возбуждения кулаки.

— ...Заборы — как гроба! Повсюду прееет гниль! Все, все погребено в безлюдье окаянном! — читал Юрий и свободной рукой вытирал выступающий на лбу пот.

Некоторое время ехали молча, потом Юрий стал напевать какую-то песенку, а Николай впал в странное подобие дремы. Станным было то, что это было очень далекое от сна состояние — как после нескольких чашек крепкого кофе, — но сопровождавшееся чем-то вроде сновидений. Перед Николаем, накладываясь на Шпалерную, замелькали дороги его детства: гимназия и цветущие яблони за ее окном, радуга над городом, черный лед катка и быстро скользящие по нему конькобежцы, освещенные ярким электрическим светом, облетающие столетние липы, двумя рядами сходящиеся к старинному дому с колоннами у входа, — все это он когда-то видел на самом деле. Но потом стали появляться картины чего-то очень знакомого и одновременно никогда не виданного: померещился огромный белый город, увенчанный тысячами золотых церковных головок, — город, как бы висящий в воздухе внутри огромного хрустального шара, — и этот город (Николай знал это совершенно точно) был Россией, а они с Юрием, который во сне был не совсем Юрием, находились за его границей и сквозь клубы тумана мчались на конях навстречу какомуто чудовищу, в котором самым страшным была полная неясность его очертаний и размеров: это был бесформенный клуб пустоты, источающий ледяной холод.

Николай вздрогнул и широко открыл глаза. В окружающей его броне блаженства появилась крохотная трещинка, в которую

просочилось несколько капель неуверенности и тоски. Трещинка постепенно росла, и скоро мысль о предстоящем завтра утром (ровно в пять тридцать) повороте всей жизни и судьбы перестала доставлять удовольствие. А еще через пару минут, когда впереди замигали и поплыли навстречу два горящих друг напротив друга фонаря, эта самая мысль стала несомненным и главным источником переполнившего душу страдания.

«Отходняк», — наконец вынужден был признаться себе Николай. Странное дело — откровенная прямота этого вывода словно заделала брешь в душе, и количество страдания в ней перестало увеличиваться. Но теперь надо было очень тщательно следить за своими мыслями, потому что любая из них могла стать началом неизбежной, но пока еще, как хотелось верить, далекой полосы мучений, которых каждый раз требовал за свои услуги эфедрин. С Юрием явно творилось то же самое, потому что он повернулся к Николаю и сказал тихо и быстро, словно экономя выходящий из легких воздух:

— Надо на кишку было кинуть.

— Не хватило бы, — так же отрывисто ответил Николай и почувствовал к товарищу ненависть за то, что тот вынудил его открыть рот.

Под копытами лошади раздался густой и противный хруст — это были осколки выбитой наганым рикошетом витрины.

«Хр-р-рус-с-стальный мир», — с отвращением к себе и всему на свете подумал Николай. Недавние видения показались вдруг настолько нелепыми и стыдными, что захотелось в ответ на хруст стекла так же заскрипеть зубами.

Теперь ясно стало, что ждет впереди: отходняк. Сначала он был где-то возле фонарей, а потом, когда фонари оказались рядом, он отступил в клубящийся у пересечения с Литейным туман и пока выжидал. Несомненным было то, что холодная, мокрая и грязная Шпалерная — единственное, что существует в мире, а единственным, чего можно было от нее ждать, была беспросветная тоска и мука.

По улице пробежала черная собака неопределенной породы с задранным вверх хвостом, рывкнула на двух сгорбленных серых обезьянок в седлах и нырнула в подворотню, а вслед за ней со стороны Литейного появился и стал приближаться отходняк.

Он оказался усатым мужиком средних лет в кожаном картузе и блестящих сапогах — типичным сознательным пролетарием. Перед собой пролетарий толкал вместительную желтую тележку с надписями «Лимонадь» на боках, а на переднем борту тележки был тот самый рекламный плакат, который выводил Николая

из себя даже и в приподнятом состоянии духа — сейчас же он показался всей мировой мерзостью, собранной на листе бумаги.

— Пропуск, — мучительно выдавил из себя Юрий.

— Пожалуйста, — веско сказал мужчина и протянул Юрию сложенную вдвое бумагу.

— Так. Эйно Райхья... Дозволяется... Комендант... Что везете?

— Лимонад для караула. Не желаете? — В руках у пролетария блеснули две бутылки с ядовито-желтыми этикетками. Юрий слабенко махнул рукой и выронил пропуск — пролетарий ловко поймал его над самой лужей.

— Лимонад? — отупело спросил Николай. — Куда? Зачем?

— Понимаете ли, — отозвался пролетарий, — я служащий фирмы «Карл Либкнехт и сыновья», и у нас соглашение о снабжении лимонадом всех петроградских постов и караулов. На средства генерального штаба.

— Коля, — почти прошептал Юрий, — сделай одолжение, глянь, что там у него в тележке.

— Сам глянь.

— Да лимонад же! — весело отозвался пролетарий и пнул свою повозку сапогом. Внутри картаво загрохотали бутылки, повозка тронулась с места и проехала за фонари.

— Какого еще генерального штаба... А впрочем, пустое. Пройди, пой посты и караулы... Только быстрее, садист, быстрее!

— Не извольте беспокоиться, господа юнкера! Всю Россию напоим!

— Иди-и-и... — вытягиваясь в седле, провыл Николай.

— Иди-и... — сворачиваясь в серый войлочный комок, прохрипел Юрий.

Пролетарий спрятал пропуск в карман, взялся за ручки своей тележки и покатил ее вдаль — скоро он растворился в тумане, потом долетел хруст стекла под колесами, и все стихло. Прошла еще секунда, и какие-то далекие часы стали бить десять. Где-то между седьмым и восьмым ударом в воспаленный и страдающий мозг Николая белой чайкой впорхнула надежда:

— Юра... Юра... Ведь у тебя кокаин остался?

— Боже, — облегченно забормотал Юрий, хлопая себя по карманам, — какой ты, Коля, молодец... Я ведь и забыл совсем... Вот.

— Полную... отдам, слово чести!

— Как знаешь. Подержи повод... Осторожно, дубина, высыпleshь все. Вот так. Приношу извинения за дубину.

— Принимаю. Фуражкой закрой — сдует...

Шпалерная медленно ползла назад, остолбенело прислушиваясь своими черными окнами и подворотнями к громкому разговору в самом центре мостовой.

— Главное в Стриндберге — не его так называемый демократизм и даже не его искусство, хоть оно и гениально, — оживленно жестикулируя свободной рукой, говорил Юрий. — Главное — это то, что он представляет новый человеческий тип. Ведь нынешняя культура находится на грани гибели и, как любое гибнущее существо, делает отчаянные попытки выжить, порождая в алхимических лабораториях духа странных гомункулусов. Сверхчеловек — вовсе не то, что думал Ницше. Природа сама еще этого не знает и делает тысячи попыток, в разных пропорциях смешивая мужественность и женственность — заметь, не просто мужское и женское. Если хочешь, Стриндберг — просто ступень, этап. И здесь мы опять приходим к Шпенглеру...

«Вот черт, — подумал Николай, — как фамилию-то запомнить?» Но вместо фамилии он спросил другое:

— Слушай, а помнишь, ты стихотворение читал? Какие там последние строчки?

Юрий на секунду наморщил лоб.

— И дальше мы идем. И видим в щели зданий старинную игру вечерних содроганий.

А. ПЛАТОНОВ*

Лампочка Ильича (1927)

I

Моя фамилия Дерьменко. Идет она от барского самоуправства: будто бы предки мои в давнее время с голоду ели однажды барские тухлые харчи-дерьмо, оттуда и пошло Дерьменко.

Наше село Рогачевка от города шестьдесят верст; расположение имеет вкось по реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань.

По преданию говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимурлык, по-татарски значит «маленький сын Тимура». А Тимур, как исторически известно, был предводитель татар, кои в старые времена здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами для

* *Андрей Платонович Платонов* (наст. фамилия — Климéнтов; 1899–1951) — русский советский писатель, поэт, публицист, драматург, киносценарист, журналист, военный корреспондент, инженер и изобретатель. Автор знаменитых романов и повестей («Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море» и др.).

своих коней. А Усмань у татар значит «красавица». И вот будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу гречанского рода, родил от нее сына Тимурлыка и ускакал бить балканцев. Гречанка от горя иссохла и умерла вместе с сыном-ребенком; вернувшийся Тимур так затосковал по своей скончавшейся любимой семье, что велел войску своему и пленным горстями насыпать два памятных кургана, а сам Тимур носил и сыпал землю мечом.

И до сей поры у нас есть два жутких холма — один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни вода.

Вот что значит сердце человека!

Когда я гляжу на эти курганы, у меня начинается тоска, — и я чувствую в себе добросовестность.

Вот на этом знаменитом месте стоит наша Рогачевка — не-богатое село.

От помещика Снегирева остался у нас сад в пятнадцать десятин — хороший сад, и деревья не старые. А как стало им пользоваться общество, вижу — гибнет сад: ни окопки, ни обмазки, никакого хозяйственного ухажерства, — плод еще зеленый, а уж ребятишки все вдрызг обломали, оборвали и поносом изошли.

А зимой зайцы кору лущат, — еще год-другой — и усохнет сад, и пропадут чудеса его плодородия.

Думал я сильно, за всех, и враз схватила меня догадка:

«Надобно крепкую, мудрую артель — и взять у общества сад. А мужики подходящие есть».

И еще было у меня мечтание — построить у нас на Рогачевке электростанцию, и чтобы при ней была мельница с просоружкой и обойкой. Это было бы очень способно для крестьян. У нас стоят семь ветрянок — все у кулаков; берут по четыре фунта с пуда, да ещё когда ветер, а в летнее время ветры жидкие, — иной раз с голоду насидишься, хоть и есть зерно. Да и электрический свет даст селу интересное увлечение.

Сам я проходил в красноармейцах курсы электротехники сильных токов, а брат мой тоже любитель этих делов и знаток своему разуму. А до службы в войске я пять лет трубил линейным монтером на городской электрической станции, оттуда у меня и пошел интерес ко всяким механизмам и таинственности, с той же поры скучно мне на деревне и напрасной кажется бедность ее.

Собрал я артель, вышел на сходе и говорю мужикам:

— От барского сада нету нам прибýtка, кроме как ребятишки по картузу зелени нарвут. А сад ведь, граждане, гибнет — то ведомо всем. Отдайте нам сад, — говорю. — Только пять лет мы вам ничего платить не будем, а за то сад приведем в показательный порядок

и электрическую станцию вам построим с линией и вводами на сто дворов, а дальше сами тяните (я уже подсчитал про себя, сколько даст сад и сколько стоит станция). При станции же оборудуем мельницу с камнем на девять четвертей, просорушку и обойку для пеклеванной муки. И все это добро передадим, кому общество укажет, а лучше кредитному товариществу — на правильное пользование. А по изжитии пяти годов и сад вам в целости представим, либо аренду будем долее держать, это, — говорю, — как вам угодно будет.

А меня влекла не только полезность дела и свое пропитание, но и интерес к жизни — советское строительство.

Тут пошел гам и обсуждение предложения.

— Брось, — говорят, — Ефимыч, не твоего ума это дело. Погорим от твоего электричества...

— Фролка, а какво твое обеспечение, где залоги возьмешь? Аль общество дуриком отдаст тебе сад?

— Набрался газу в городе, умней всех стал!..

— Не трожь напрасно: Фрол — городской парень, он и ране был по разуму ходовитый...

— Жрал сто лет дерьмо, на яблошные харчи хочешь...

— Знаем мы этих изобретателей — землю липистричеством мазать хотят, дожду пуцать...

— Оно любопытно, только ни хрена не выйдет: тут иностранец нужен...

Вышел здесь председатель сельсовета, мужик здравый и в зрелых летах:

— Тиш-ша! Пулеметы, гуси-лебеди! Девки, брось зерна грызть! Кузьма, отставь от себя брехню и агитацию... Граждане, садом нам не владать все едино, не к рукам он нам, а Фролка на глазах будет — ежели што, враз водворим на его усадебное место... Рыска я не вижу, а посулы Фролкины — не обида...

Обломались к вечеру мужики — сдали нашей артели сад на пять лет. Все буквально в протоколе отметили, и расписались мы всей артелью казенным почерком с фигурками. Один из артели нашей — Прошка Кузнецов — сумел лебеда вывести. Даже председатель сельсовета, который видел сзади, как Прошка старался, сказал ему:

— Да будет тебе, Прокофий, мудрить на официальной бумаге, ты не шуточное дело делаешь и собрание задерживаешь...

II

Осенью было дело. Грузно нам пришлось зимовать: харчей мало, артельщики люди без избытку, одежи нет, тот же Прошка зимой и летом ходил в железных калошах, которые сам сделал, — в хо-

лодное время у него, говорят, пот на ногах мерз. Однако с весны до самых плодов не посидели — суетливое дело сад.

Прошла завязь, а потом плод, еще хуже стало — лезет вся деревня к нам. Сколько тут скандалов, сраму было, день и ночь не очнешься. Да ведь не ребятишки донимали: сурьезные мужики лომились за яблоком.

Захватишь и говоришь:

— Да ты бы попросил, Фома, я бы тебе дарма насыпал.

— Да я и не лез, — говорит, — я бадик сломить зашел. Нужон твой сад, хозяин нашелся! Выгоним скоро обратно: обчество говорит, урожай хорош, — Фролку долой с нашего имущества!

А раз захватили милиционера и секретаря совета с двумя набитыми мешками: что тут делать будешь? Хотел я усовестить — куда тебе!

— Мы, — говорят, — не себе, а детдому.

— Так чего же, — спрашиваю, — нам сперва не заявили, предписания не дали — ведь мы организация.

— Молчи, — отвечают, — мы знаем, что делаем, не суйся в административные мероприятия!

Тогда Прошка (который и захватил их), слова не говоря, хрясь ладонью милиционеру в ухо, ляп железной калошей секретарю в спину. И так и далее. Однако дело это прошло молчком: вреда эти власти нам впоследствии не сделали.

Подговорились мы с одним городским армянином сбывать ему фрукт, и стали водиться у нас деньги.

Вышел сезон — подсчитали, свели в срезёк баланец, ан три тысячи с лишком чистого дохода.

И хлебом мы запаслись на целый год, и прикупились кое-чем для себя и для сада, а три тысячи остатку.

Сильный был фрукт, да еще червь попортил.

* * *

Надобно договор до дела доводить.

Поехали мы с братом и Прошкой в город — двигатель покупать. Походили, поспросили, — дорого.

— Зато машины, — говорят, — на букву ять.

— Нет, — отвечаем, — дорого. И при чем тут твоя царская буква?

— Букву не лай, — говорит сиделец, — она довоенного качества!

Наконец довел нас до дела один гражданин из Дома крестьянина. Пришли мы с ним к одному частнику: видим, мельница на дворе стучит. Входим — идет шведская машина. Отсечка — мягкость и чистота, газ — без дыма, тянет восьмерики плавно, бес-

шумно, шутя, — все блестит и влечет, как кровная лошадь. Танец, а не работа, шут ее дери! Я понимаю это, я сам электромеханик.

Долго мы вращались около двигателя.

— Сколько машина стоит, — спрашиваем, — со всей гарнитурой — чохом (как раз и постав мельничный тут же, рушка, обойка, бочки для нефти и весь инструмент).

— Пять тысяч, — говорит нам хозяин.

Дней пять мы ходили — испытывали постав, разбирали машину и торговались.

Сошлись на трех с половиной тысячах. Ведь машина сорок сил, да причиндалу сколько.

А денег у нас три тысячи двести. Поговорили с хозяином — согласился обождать триста рублей.

Тогда мы вошли во владение машиной и мельницей, пошли в сельскохозяйственный банк и заложили все благоприобретенное за две с половиной тысячи. На эти деньги мы окончательно расплатились за двигатель и купили в тресте: динамо, два маленьких электромотора для молотыбы, приборы, щиты, провода, лампы и прочее.

И начали мы возить имущество в Рогачевку. Сопровождал Прошка — ездил и ужасал встречных мужиков.

— Прокоп Палыч, нюжли ж взаправду светить и молотить оно будет?.. А я так думаю, не двинется оно — все же мертвый минерал...

— А ты пойдй — тронь, — отвечал Прошка, показывая на какой-нибудь изолятор на возу. — Тронь, Матвей, пальцем! Да не бойся — тебе приятно станет...

— Да ну тебя к шуту — изувечит еще...

— Ага, а говоришь, мертвый минерал: это энергетик, тайная живность...

Кредитное товарищество дало нам амбар под станцию — туда и свезли все. Начали мы орудовать с братом и Прошкой. Привезли цемент и начали класть фундаменты под двигатель и динамо.

Утром поедим в саду печеных яблок с молоком — и до вечера на электростроительство. От народа в амбаре работать было нельзя: каждый указывает и советует, но и помогали иногда.

Собрался раз в кредитном сход о налоге, исчерпали повестку дня, я вышел и говорю:

— Трудно, граждане, втроем станцию — завет Ильича и основу социализма — строить. Нужна ваша помощь. Свезите нам из лесничества столбы, ошкурите их и вкопайте вдоль по улице, как мы укажем. Затем я полагаю, что бесплатно следует провести электричество только безлошадным и неимущим, по списку комитета взаимопомощи, а остальным по десять рублей с хаты.

Мне говорят:

— Правильно, Фрол Ефимыч, — устроим! Видим твои старания, от забот борода облупилась!..

Тогда дело пошло скорее: мы с братом установку делаем, а мужики под руководством Прошки столбы вкапывают, линию тянут и вводы в хаты втыкают по особому списку, а богатых проходят мимо: если хочешь свету-силы, вноси десять рублей.

Прошка стоит на столбу и верховодит:

— Кузька, глянь, как столб твой стоит, — переставь вкрутую, это тебе не бадик!

— Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги паришь!

— Петруха, неси харчей из дома, скажи: Прошка требует.

— Эх, вы, жлоботория, да разве так тянут провод — это вожжи, где же тут напряжение пойдет? Его ветер сдует. Тяни втугачку, сопля, жми до пупка — технически трудись!

Вечером мужики наблюдают:

— До чего ж ходовит Прошка — огнем горит: глянь — с версту уже протянули. Ты скажи, и не обидчив! И сам смеется — и все ребята грохочут...

Когда у Прошки затекали руки и ноги, он слезал со столба и выплясывал из себя тут же всю усталость. Тогда все бросали работу и сбегались к нему. Прошка, поплясав и поорав, сразу смолкал и уставлялся своими белыми глазами на толпу:

— По местам, электромеханики, аль инженера не видали?

Довольные электромеханики расходились на работу.

По вечерам мы задумчиво отдыхали. Машины уже собраны и блестят, по соломенному селу ходит влажный осенний ветер, а Прокофий греет ужин.

* * *

Наконец настал день 5 ноября. Мы сделали деревянную звезду с лампами, через улицу протянули гирляндой тридцать ламп, а самая улица освещалась десятью фонарями на версту.

Кроме того, на площади против станции поставили две молотилки с электромоторами и подвезли хлеба к ним.

Ночью втихомолку мы попробовали станцию: впрягли в двигатель все — и динамо, и постав, и рушку, и обойку. Двигатель пошел мерно и без натуги. Улица засияла огнями, звезда в разноцветных фонарях светила с крыши дома кредитного товарищества на десять верст через село в степь, в ста хатах тоже загорелись лампы, — мужики в смятенье проснулись, заплакали дети, бабы их начали кутать и выносить на улицу, но в ту осеннюю ночь на улице тоже горел электрический свет.

По селу началась горячка. Народ бежал к станции, радуясь и тревожась, угрожая и удивляясь. Всех охватило смутное чувство, и сон в селе пропал.

А предприятие наше было на полном ходу и жутко гудело таинственной силой.

Прошка стоял у распределительного щита и следил за приборами, мы с братом мотались от двигателя к мельнице, от мельницы к молотилкам, устраняя неполадки, слушая ход и дыхание механизмов.

Над селом плыло великое зарево, за околицей гремели чьи-то убегающие телеги по завоклой, обмерзшей земле.

Был третий час ночи.

Тогда я крикнул человеку на щит:

— Прокофий, запри нефть, включай реостат, вырубай село, кредитное и улицу!

И Прошка ответил:

— Есть, механик, — вырубай ток!

Свет погас всюду, и сразу все ослепли от вновь нагрянувшей страшной ночи.

Полуодетый народ стоял в полном молчании: он ошалел и поник.

— Прокофий, переведи ремень на холостой шкив, пусти двигатель, затем прекрати нефть, открой все краны и продуй машину!

— Есть продуй машину! — ответил Прошка. Он, должно быть, матросом был: очень уж ловок и тактичен. Машина пошла ходко, а затем засвистела дикими голосами во все открытые отверстия.

— Прокофий, заулочь установку, конец работе.

— Есть заулочь механизмы, работу прекратить!

Стало торжественно, и мы пошли к себе в сад отдыхать.

Но мы не уснули, а разволновались и просидели до света в разговорах по механике.

III

Наступил день открытия станции. Наладить праздник взялась сельская ячейка большевиков. К тому же открытие совпало с днем Октябрьской революции.

Наше дело малое: мы вновь проверили машины.

Ячейка вела дело лихо: разослала всем соседним селам и городу особое трогательное приглашение.

Было сухо — народу съехалось, как на обношение мощей в старое время. Приехала вся большая власть и простые крестьяне.

В зале кредитного товарищества назначено было торжественное заседание. Прошка ввернул туда пять ламп по шестьсот свечей, чтоб свет бил до слепоты.

Уже завечерело, мы стоим на станции наготове и греем двигатель паяльной лампой. Вдруг приходит за мной предуика товарищ Кирсанов.

— Пожалуйте, — говорит, — Фрол Ефимович, в залу.

— Сейчас, — говорю, а сам задержался.

— Прокофий, — обращаюсь, — Семен (это брат мой), глядите, ежели што — стыд и срам: кувалдой запущу! Я скоро вернусь. Пускай машину — вруби одно кредитное, я выключатель там выключил, — как увидишь нагрузку на амперметре, — глаз не своди! — так моментально включай все и пускай на полный ход предприятие целиком. Ты, Семен, следи за молотилками, мельницей и всем прочим, — поставь надежных мужиков.

Прихожу в зал кредитного: чувствуется торжественность, тишина, а народу — как ржи в мешке. За красным столом — власть и два наших мужика, а сбоку оркестр.

Прохожу сквозь ущелье стульев и иду прямо в президиум: мне машет оттуда предуика. Сажусь. Начинается вечер его речью. На столе горит пока что керосиновая лампа — для пущего противоречия!

Умно говорил предуика.

— Лампа Ильича сейчас, — говорит, — вспыхнет и будет светить советскому селу века, как вечная память о великом вожде. Мотор, — говорит, — есть смычка города с деревней: чем больше металла в деревне, тем больше в ней социализма. Наконец, — указывает на меня, — строитель электрификации Фрол Ефимыч есть тоже смычка; глядите, он родился крестьянином, работал в городе и принес оттуда в вашу деревню новую волю и новое знание... Объявляю Рогачевскую сельскую электрическую станцию имени Ильича открытой!

Я еле успел подбежать к выключателю и дал свет. Свет упал в темную залу, как ливень: три тысячи свечей пожертвовал сюда Прощка. Все зажмурились и нагнулись — как будто лилась горячая вода.

Оркестр заиграл «Интернационал», все встали и закричали что попало.

Я подошел к окну.

Пятиконечная звезда, уличные фонари, лента через дорогу, хаты — все сияло.

Народ бросился глядеть наружу.

Дальше говорил председельсовета, потом секретарь укома, а затем вышел председатель нашего кредитного товарищества:

— Товарищи! Что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили лампу так называемого Ильича, то есть обожаемого товарища Ленина.

Он, как известно здесь всем, учил, что керосиновая лампа зажигает пожары, делает духоту в избе и вредит здоровью, а нам нужна физкультура... Что мы видим? Мы видим лампу Ильича, но не видим тут дорогого Ильича, не видим великого мудреца, который повел на вечную смычку двух апогеев революции — рабочего и крестьянина... И я говорю: смерть империализму и интервенции, смерть всякому псу, какой посмеет переступить наши великие рубежи... Пусть явится в эту залу Чемберлен, либо Лой-Жорж, он увидит, что значит завет Ильича, и он зарыдает от своего хамства... И я говорю: помни завет вечного Ленина, носи его умное лицо в своем несчастном сердце...

Тут председатель кредитного заплакал, сел и вынул кисет.

Еще говорил, всем на удивление, наш мужик, Федор Фадеев: — Граждане, сказано в Писании: вначале бе слово. А кто его слышал, и еще чуднее — кто его сказал? Нет, граждане, сначала был свет, потому что терлись друг о друга куски голой земли и высекалось пламя... Граждане, ведь мы слышали сейчас задушевные слова наших вождей и видим, что действительно электричество есть чистота и доброе дело...

Поговорив еще с час, Федор сбился и сел, и весь вечер не мог очнуться от своей речи.

Остальную ночь я пробыл на станции. На дворе в драку молотили хлеб и дивились маленькой напористой машине — электромотору.

Всю ночь зарево пропускало над собой тучи, и темная долина Тамлыка была впервые освещена от сотворения мира.

IV

Так прошел счастливый год. Станция везла уже не сто, а триста дворов. Мельница не управлялась молотить хлеб, и кооперация, которая владела всем предприятием, здорово наживалась. Ветряки заглохли — весь помол отобрала мельница на станции: она брала дешевле, от налогов была свободна и работала без задержки, а кооперативный приказчик был обходительный человек и приучил мужиков.

А мне не раз уже говорил председатель кредитного, что мельники с ветряков собираются сжечь станцию, но я думал, что они не посмеют.

В сельсовете подсчитали, что одна наша мельница, не считая пользы от освещения, молотьбы, рушки и обойки, сберегла мужикам за год шесть тысяч пудов хлеба — это то, что мужик переплатил бы мельникам-кулакам, если бы не было нашей мельницы.

Да еще заработок весь пошел не кулаку, а кооперации, — это тоже прибыток.

Оказывается, действительно, в правление кредитного приходили два сельских мужика и говорили, что один мельник, — владелец самого большого ветряка, — подвыпивши, обещал сжечь все паровое заведение в августе — перед обработкой нового урожая. Я посоветовал кредитному застраховать предприятие, повесить в нем огнетушители и нанять ночного сторожа, а на кулака донести власти. Не знаю, сделало ли это кредитное товарищество.

Только раз, когда я спал — дело было в августе, работы в саду много, за день уморишься здорово, — будит меня Прошка:

— Ефимыч, вставай, в Рогачевке полыхает что-то свечой, должно, станция, хаты так не горят — это нефть...

От сада до села была верста. Добежали мы до станции, видим — уже нет постройки, все машины в огне и по двигателю зелеными струями текут расплавленные медные части.

Теперь стоит в Рогачевке линия, висят фонари на улицах, а лампочки в хатах засижены мухами до потускнения стекла.

Прошка ездит на тракторе, а я думаю опять уйти в город и поступить там на электростанцию линейным монтажистом.

Брат осел в деревне окончательно и разводит кур плимутроков. Хотя на что нужны куры кровному электромеханику?

Н. ПОГОДИН*

Человек с ружьем (1937)**

Пьеса в трех действиях, тринадцати картинах

<Фрагмент>

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Владимир Ильич Ленин.

Иосиф Виссарионович Сталин.

Иван Шадрин — солдат с фронта.

* *Николай Фёдорович Погодин* (наст. фамилия — Стукалов; 1900–1962) — русский советский сценарист и драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949). Лауреат Ленинской (1959) и двух Сталинских премий (1941, 1951). Кавалер двух орденов Ленина (1939, 1960).

** Первая часть трилогии о Ленине: «Человек с ружьём», «Кремлёвские куранты», «Третья Патетическая». В 1938 г. режиссёром Сергеем Юткевичем поставлен одноименный фильм «Человек с ружьем».

Николай Чибисов — питерский рабочий.
Надежда — жена Шадрина.
Катерина — сестра Шадрина.
Стамескин. Евтушенко. Лопухов. Первый солдат. Второй солдат — солдаты на фронте.
Капитан.
Сибирцев Захар Захарович.
Варвара Ивановна — его жена.
Бабушка Лиза.
Виталик — сын Сибирцева.
Генерал.
Кадет.
Волжанин.
Западник.
Господин в шубе.
Иностранец.
Ефим.
Савелий. Мисс Фиш. Старуха-приживалка. Камердинер.
Швейцар. Шеф-повар. Официант. Швейка. Судомойка. Полотер.
Истопник — прислуга в доме Сибирцева.
Матрос Дымов.
Молодой солдат.
Солдат с хлебом.
Солдат.
Первый рабочий.
Второй рабочий.
Солдат у костра.
Самсонов — моряк с фронта.
Володя — матрос-связист.
Никанор.
Комиссар по топливу.
Военный.
Военный человек в кожаном.
Бывший прапорщик — начальник Пулковского участка.
Рабочий-агитатор.
Деятели эсеровско-меньшевистского толка.
Меньшевик.
Студент.
Связист.
Красногвардеец.
Матрос, сопровождающий Ленина.
Капитан Карнаухов.
Крестьянин.

**Пленный солдат Макушкин.
Пожилой солдат.
Солдат с нашивками.
Переодетый офицер.**

<...>

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Шадрин идет коридорам Смольного. На нем винтовка на ремне, вещевой мешок, в руках старый, битый жестяной чайник. Прочитал на дверях: «Учительская». Прошел, опять остановился и решительно раскрыл одну из дверей. Там в табачном дыму сидели, стояли, лежали на полу люди. Моряк стучал на пишущей машинке; молодая женщина в пенсне ему что-то диктовала. Трое штатских разворачивали карту; на полу у порога спал солдат. На Шадрина никто не обратил внимания. Он бережно закрыл дверь.

Шадрин. Оперируют... (Стоит в раздумье.)

По коридору непрерывно снуют люди. Проходит отряд вооруженных солдат, матросы. Навстречу Шадрину идет человек в военной форме. Шадрин приготовился заговорить с ним.

Уважаемый...

Военный прошел, точно влекомый посторонней силой.

Как на фронте... (Идет.)

Из дальних дверей коридора появляется Ленин и идет по направлению к Шадрину. Шадрин немного присмотрелся к встречному и чуть посторонился оттого, что тот шел напористо и быстро.

Уважаемый, где бы тут чайку мне?

Ленин прямо посмотрел в лицо Шадрину, и Шадрин смутился.

Извините, уважаемый, мы издали.

Ленин. Соскучился по чаю... а?

Шадрин. Ох, и не говорите, уважаемый...

Ленин. Ну пойдёмте, укажу... Вы давно, товарищ, воюете?

Шадрин (вздыхнув). Третий год без выходу.

Ленин (остановился). Окопы оставили давно?

Явился и стал поодаль матрос.

Шадрин. Дней десять-двенадцать как живой выскочил.

Ленин. Плохо дело?

Шадрин. Беда.

Ленин. Во всем этом сидите на позициях?

Шадрин. Это еще хорошо.

Ленин. А у немцев как? Ничего не замечали?

Шадрин. По нашим заметкам судим, тоже не сладко им. Солдату везде не сладко.

Ленин. А какие у вас были заметки? Это очень важно.

Шадрин. Кофием таким... знаете? Цикорием пахнет... Пленного приведут... не тот стал немец.

Ленин. Не тот? Устал немец?

Шадрин. Что и говорить.

Ленин. Пойдет с нами на мировую?

Шадрин. За это не скажу... то ись по солдату ежели судить, по их боям — всем осточертела война, но ведь у них царь.

Ленин. Наши генералы тоже мира не хотят.

Шадрин. Это правда.

Ленин. Как же быть?

Шадрин. Этого я сказать не могу.

Ленин. А если советская власть скажет солдатам: берите дело мира в свои руки... вы, например, возьмете руку советской власти?

Шадрин. Дорогой товарищ... пусть только скажет это советская власть.

Ленин. Не оробеете?

Шадрин. Кто? Я?

Ленин. Хоть вы... возьмите себя, теперь приходится каждому солдату за судьбу всей России отвечать.

Шадрин. Страшновато, не спору.

Ленин. Вы женаты?

Шадрин. Женат.

Ленин. Дети остались?

Шадрин. Трое.

Ленин. Земли много?

Шадрин. Где там...

Ленин. Лошадь есть?

Шадрин. Цела.

Ленин. Корова?

Шадрин. Пала. *(Стоит в грустной задумчивости.)*

Ленин *(вскинув голову, легко дотронулся до ремня винтовки Шадрина).* А винтовку бросать нельзя? Как, нельзя?

Шадрин. Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить.

Ленин. Керенский идет на нас с оружием.

Шадрин. Слышу теперь.

Ленин. Каледин на Дону подымает казаков.

Шадрин. Ежели они первые подымутся на народ, то что же...

Ленин. Опять война? Солдат ведь устал?

Шадрин. За что и как воевать, за Дарданеллы воевать никто не будет.

Ленин. Советская власть чужих земель захватывать не собирается, но если царские генералы захотят посадить в России помещиков и капиталистов, то... как вы думаете? Вы сами как думаете?

Шадрин. Тогда пойдем воевать.

Ленин. Воевать надо сегодня... сейчас...

Шадрин. Тогда пойдем воевать сейчас...

Пауза.

Вы, может, мне не верите, уважаемый? За себя я вам от чистого сердца говорю...

Ленин (*за руку прощается с Шадриным*). До свидания, товарищ, извините, что я вас задержал.

Шадрин. Что вы... какое там...

Ленин. А чаю вы достанете наверху... вот там, по лестнице, у нас столовка. (*Ушел в те самые двери, что раскрывал Шадрин.*)

Шадрин. Вот ведь какие люди бывают... а? (*Увидел матроса.*) Браток, ты меня не бойся... я с фронта... я свой.

Матрос. А я тебя не боюсь.

Шадрин. Скажи, с кем я разговаривал? Кто это такой?

Матрос. Кто? Ленин...

Шадрин качнуло.

Шадрин. Что же мне никто раньше не сказал... Ведь я бы ему... Я бы ему все поведал...

Матрос. А ты ему все и сказал...

Шадрин. Молчи, матрос. (*Бросил чайник.*) Какой теперь чай... Пойду солдатам скажу — я сейчас разговаривал с Лениным. Воевать надо сегодня, сейчас!

<...>

Б. ПОЛЕВОЙ*

Покушение**

Машина въехала прямо в раскрытые ворота. Митинг ещё не начинался, но по гулу, доносившемуся во двор, было ясно, что огромное помещение битком набито людьми.

Встречавших не было видно, но это нисколько не смущало Владимира Ильича. Среди рабочих он был свой человек, и именно как свой человек он, приветливо улыбаясь, быстро направился в цех, скрылся за дверью, и сразу же всё это большое, приземистое, закопчённое здание будто бы ожило, содрогнулось от аплодисментов и приветственных криков, а потом разом стихло. Замерло.

Сквозь открытые потолочные фрамуги стали доноситься отзвуки ленинского голоса.

Шофёр развернул машину, поставил её поближе ко входу в цех и, прислушиваясь, снова задумался: нет, удивительный этот человек, кажется, вовсе не ведает страха. И сегодня он обычен. Вот и сейчас голос его, доносящийся из цеха, звучит, как всегда, уверенно и спокойно.

Эти мысли прервал вопрос.

— Что это, кажется, товарищ Ленин приехал? — спрашивала молодая, худощавая, бледная женщина, одетая в короткую жакетку...

У Степана Гиля, давно уже возившего Ленина, было правило никогда не говорить, кого он привёз, откуда и куда поедут дальше.

Глядя на женщину, он как можно равнодушнее ответил:

— А я почём знаю. Какой-то оратор... Мало ли их возить приходится, всех не узнаешь... — И, ответив так, заметил, что женщина нервно покривила рот и направилась в цех, где шёл митинг.

А митинг между тем был в разгаре. Со своей обычной спокойной логикой, всегда увлекавшей и покорявшей слушателей, Владимир Ильич говорил на тему о двух диктатурах — диктатуре пролетариата и диктатуре буржуазии. Вот он закончил эту свою речь знаменитыми словами:

— У нас один выход, товарищи: победа или смерть!

* *Борис Николаевич Полевой* (наст. фамилия — Кампов; 1908–1981) — русский советский прозаик и киносценарист, журналист, военный корреспондент. Лауреат двух Сталинских премий II степени (1947 (за «Повесть о настоящем человеке»), 1949). Кавалер трёх орденов Ленина (1962, 1967, 1974).

** Отрывок из книги «Наш Ленин» (книга написана в соавторстве с Н. Жуковым).

И, не слушая аплодисментов, быстро сошёл с трибуны и сразу окунулся в толпу, будто растворился в ней, пробираясь к выходу, отвечая на вопросы, дружески беседуя с рабочими.

Толпа, двинувшаяся к дверям, как бы вынесла его во двор. Он оказался возле своей машины. Кто-то из рабочих открыл перед ним дверцу. Но две женщины ещё продолжали с ним беседу. Жаловались на питание: очень плохо с едой стало. Сами-то ничего. Стерпим. А вот детишек кормить нечем. Голодные детишки. А поедешь за хлебом, последние пожитки в обмен на хлеб повезёшь, так по дороге свои же и отберут.

Ленин слушал внимательно. Кивал головой. Кругом стояли люди, и шофёр, мучаясь нетерпением, ожидал момента, когда кончится этот разговор. Вот наконец Ленин сказал:

— Совершенно верно, есть много неправильных действий заградительных отрядов, но это всё, безусловно, устранится.

Простившись с собеседницами, Владимир Ильич сделал шаг к машине, и тут раздался выстрел. Один, другой, потом третий.

Какая-то женщина, в которой Степан Гиль тотчас же узнал ту, что расспрашивала его о том, кого он привёз, бросив на землю дымящийся револьвер, старалась скрыться в толпе. За ней побежали.

Когда шофёр опустил перед раненым, тот был в сознании. Ни стопа, ни вздоха...

— Поймали его? Задержали?.. — спросил Владимир Ильич, думая, что в него стрелял мужчина.

А со стороны цеха к Ленину бежал уже какой-то человек в матросской бескозырке. Неистово размахивая левой рукой, он, не вынимая правую из кармана, бежал прямо на раненого. Шофёр закрыл собой Ленина и поднял наган:

— Стой! Стреляю!

Человек в бескозырке круто повернул в сторону и бросился к заводским воротам. Рабочие окружили раненого, хотели поднять его на руки. Он отказался.

— Ничего, ничего. Я сам.

И действительно, с помощью многих дружеских рук Владимир Ильич поднялся на ноги, вошёл в автомобиль и, сев на заднее сиденье, откинулся на спинку, полузакрыв глаза.

Двое рабочих сели в машину, и она понеслась по направлению к Кремлю. Мостовые тех дней изобиловали ухабами, машину подбрасывало и мотало.

Владимир Ильич всё так же полулежал, откинувшись на спинку сиденья, лицо его было бледно, на висках выступали капельки пота, но зубы его были крепко стиснуты, и он не проронил не звука.

И шофёру становилось жутко: хоть бы поохал, хоть бы постонал.

Так без единого стога и доехали они до Кремля. И когда наконец машина остановилась у крыльца, Владимир Ильич ещё раз поразил всех твёрдостью воли и выдержкой. Шофёр и рабочие хотели поднять его на руки и внести в дом.

— Я пойду сам, — твёрдо сказал он и попросил: — Товарищ Гиль, снимите пиджак, мне так легче будет идти...

Так, опираясь на провожатых, он, стиснув зубы, двинулся по крутой лестнице к себе домой, на третий этаж. Шёл тяжело. Дыхание было прерывистым. Порой пальцы его инстинктивно сжимали руки провожатых, бережно поддерживавших его. Но снова ни стога, ни жалобы, «ни вдоха», как вспоминает Гиль.

Дома Ленин позволил уложить себя на кровать. Устало прикрыл глаза. Но, чувствуя, как беспокоятся окружающие, видя полные тревоги и муки глаза сестры Марии, попытался улыбнуться и твёрдо, хотя и слабым голосом, произнёс:

— Успокойтесь. Ничего страшного. Кажется, немного ранен в руку...

А когда приехала жена и, встревоженная, вбежала в комнату, он, ещё не зная точно, сколь трудно его ранение, испытывая тяжёлые муки, всё же нашёл в себе силы сказать обычным голосом:

— Приехала?.. Я по лицу вижу — устала... Поди приляг.

И всё это говорил человек, который лишь чудом спасся от смерти, человек, раненный вовсе не «немного» и не в руку, раненный тяжело и опасно пулями, которые были надрезаны и отравлены.

Н. ПОЛЕТАЕВ*

Ленин на трибуне**

Я видел море, я измерил
Очами жадными его,
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.

А. Полежаев

Портрет Ленина во весь рост будет нарисован, когда нас уже не будет. На нас, современниках его, лежит великая ответственность точно, по возможности фотографически точно, закрепить

* *Николай Гаврилович Полетаев* (1889–1935) — русский советский поэт, входил в группу пролетарских писателей. В 1918 поступил в студию Московского Пролеткульта. В 1920 г. вступил в объединение «Кузница».

** Рабочий журнал. 1924. № 1. С. 81–85.

всякую деталь жизни великого человека, написать все, что знаем, что слышали, что думаем о нем, чтобы дать материал будущим историкам, мыслителям и поэтам.

Поэтому я так рад возможности исполнить свой долг: рассказать, как я его видел, какие мысли, какие чувства возбуждал он во мне и окружающих.

Четыре раза видел я его, и все четыре раза изменялся, усложнялся, выростал в моем сознании образ этого человека.

Седьмое ноября 1918 года. Красная площадь. Празднование первой годовщины Октября. Ясный осенний день. Косые, холодные лучи солнца как-то особенно резко, особенно отчетливо освещают еще непривычное зрелище: торжественное шествие победивших рабочих, их строгие, серые, сосредоточенные лица, их блистающие победой лохмотья, колыхающиеся над их головами красные знамена, сверкающие золотыми и серебряными словами.

Я стою у самой трибуны. Сейчас на ней должен стоять и говорить необыкновенный человек, человек, который прогнал с этой площади прежних ее господ: жандармов, попов, генералов, царей, все гнилое, старое, все, что еще так недавно, по какому-то недоразумению, распоряжалось, господствовало здесь.

Что это за человек? Я уже оставил процессию, я уже смотрю, как на некое зрелище, на пустую красную трибуну.

И все-таки я не заметил, как даже не появился, а каким-то образом очутился на трибуне Ленин.

Еще хлопали, еще кричали, а он уже стоял с открытым ртом, с поднятой правой рукой, он уже говорил. Таи вот — говорящим, жестикулирующим, двигающимся и остался он навсегда в моей памяти.

Наружность его была обыкновенна и скромна, но как-то блистательно обыкновенна и скромна, говорил он без всяких внешних признаков пафоса, просто, немного крикливо, звонко и отчетливо, как будто спешил, как будто волновался. Он не старался говорить красиво. Он говорил так, как течет река. Она ведь мало беспокоится о том, красив ли блеск ее волн на солнце, мелодичен ли ее шум. Ей нужно течь. Ему нужно говорить, говорить о самых, по его мнению, обыкновенных вещах: о европейской, о мировой революции. Только одно различие с рекой: река не спешит, в ее беге нет нетерпения, а он весь нетерпение, огонь, пожар. Ему как будто мало того, что он сделал, ему нужно сейчас же, непременно сейчас, перевернуть, перекувырнуть всю землю, чтобы разгорелась она огнем коммунизма, который сжигает его. Оттого он там и бегаёт по трибуне, оттого он так и машет и правой и левой рукой. И вот еще что поразило меня: он весь в движении, он весь нетерпение, и в то же время на этой красной пустой трибуне он

выглядит каким-то памятником, монументом: как будто новый род искусства создал — двигающийся монумент.

Итак, еще раз: в его речи нет признаков пафоса, но этот пафос сжигает его, этот пафос насквозь прожигает окружающих, в его наружности нет ничего величавого, она очень скромна, даже сера, эта наружность, но эта серость блещет блеском прокаленной стали, эта скромность озарена огнем и кровью величайшей из революций. Когда он ушел с трибуны, я ничего не видел и ничего не хотел больше видеть.

Еще о наружности Ленина: я не знаю, имеет ли какое значение, что у него был огромный выпуклый лоб и большая лысина. Что он был плотный, сугуловатый, короткошей, среднего роста, что лицо у него было сероватое, в широких и глубоких морщинах, что он очень часто и очень искренне усмехался, что он неправильно выговаривал букву Р, что поношенный костюм как бы прирос к нему, казался неотделимым.

Второй раз я видел Ленина в редкой и неожиданной для меня обстановке: на концерте, устроенном московским Пролеткультом; концерт был как концерт, и не только Ленина, даже меня не очень интересовал. Публика же была наша, пролеткультовская. Ленин пришел с женой и совершенно неожиданно для всех. Сели они, не помню в каком ряду, но где-то посредине зала и недалеко от меня. Если бы не знали, что это Ленин, никто бы не подумал, что тут сидят люди, дело которых перейдет в века. Всякий сказал бы, что это очень скромная, очень милая, пожилая чета: вероятно, он учитель, вероятно, оба идеалисты-народники этак семидесятых или восьмидесятых годов.

Пока Ленин сидел, я заметил, что он, как это ни странно, не привык, чтобы на него смотрели, не мог сидеть спокойно и в смущении как-то нетерпеливо двигался, насколько позволяли обстоятельства. Когда номер кончился, Ленин раньше всех, торопливо захлопал, приподняв руки выше, чем это нужно.

И опять я не заметил, как он очутился на трибуне...

Всякий бы другой на его месте... при такой обстановке, сказал бы несколько слов об искусстве, о его значении, или что-либо подходящее к моменту, чтобы потом перейти на главное. Ленин же сразу без всяких предисловий заговорил о том, что нужно ему, что поглощает его: о близости мировой революции, о Красной Армии, о том, что рабочая молодежь должна идти в командный состав, должна идти в деревню добывать хлеб для Красной Армии, о том, что мы победим, не можем не победить.

Небольшими, нервными короткими руками он словно уже держал эту мировую революцию, вертел ее в них, в ней не было уже никакого сомнения. И весь зал, все молодые возбужденные

лица как-то побледнели, все съежились перед этой небольшой, скромной, немного мешковатой фигурой.

Третий раз. Железнодорожная конференция. Белые наступают, уже где-то близко. Настроение подавленное, усталое. Говорит Красин. Красивая, благородная фигура этого пожилого, серьезного человека благотворно и успокаивающе действует на аудиторию, но чего-то недостает, чего-то освежающего, близкого.

И опять волнуется, спешит, говорит Ленин. Совершенно не помню, о чем он говорил, но — словно окно открыли в душевной комнате больного, словно сын у матери выздоровел, словно коммунизм уже наступил и разгорелся, разблестался в угрюмом каменном здании. Все чувствуют, что никогда, ни за что, ни под каким видом никакие Деникины, никакие Ллойд-Джорджи, ну никто никогда не свалит, не победит этого человека в коротком пиджаке.

Последний раз я видел Ленина у нас на Брянском вокзале. Это было в самое голодное время. Мы отправляли рабочих в южные губернии для того, чтобы они там в бывших помещичьих имениях заводили свои советские хозяйства. Был мягкий весенний вечер. Около сотни железнодорожников столпились у открытой воинской платформы и терпеливо, хлюпая в лужах худыми ботинками, ждали Ленина.

На платформе сидели на своих корзинах, сундучках, узлах отправляемые: их было вагона на четыре, на пять, с женами, с ребятами. Бледные, голодные, измученные, встревоженные внезапной переменой всех своих жизненных привычек, они тоже ждали Ленина. И он явился. Я никогда еще не видел его таким. На этот раз он был как-то тих, строг, сосредоточен и даже как будто спокоен. Он не подделывался к голодным людям, которым грозила неизвестность. Без всякой рисовки, без всякой напускной жалости, сурово и просто он говорил этим людям, что город голодает, что в городе делать нечего, о том, что деревня, Россия, нуждаются в рабочих, нуждаются в культуре, что им предстоит там на новом месте трудная ответственная работа, и потом опять о ней, о единственной, о мировой революции, о том, что мы победим, что мы не можем не победить.

И в мягком ласкающем свете вечерней весенней зари я видел блистание слез на серых измученных лицах рабочих и понял, что эти люди пойдут всюду, куда их пошлет этот сутулый, невысокий, крепкий, как скала, человек в кепке, потому что посылает он их в неизвестность не для себя, а для светозарного коммунистического будущего, о котором человечество грезит целые века и к которому он приблизил его — как никто.

Больше я не видел Ленина, но и того, что я видел, хватит на всю мою жизнь.

Портретов Ленина не видно (1923)

Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Перо, резец и кисть не в силах
Весь мир огромный охватить,
Который бьется в этих жилах
И в этой голове кипит.

Глаза и мысль нерасторжимы,
А кто так мыслию богат,
Чтоб передать непостижимый,
Века пронизывающий взгляд?

А. ПОМОРСКИЙ*

Июльские дни**

Третьего июля ранним утром я вышел на улицу. Со всех сторон на грузовиках, пешком собирались рабочие к своим районам. Они пели, смеялись. Проходили матросы, загорелые, в белых бескозырках и синих, немного выцветших воротниках. Шли девушки, женщины, заразительно веселые.

Балтийский ветер шумел в дворцовых садах, вскипая на Неве широкими и порывистыми волнами.

«Вся власть Советам!» — читал я большевистские лозунги.

«Долой десять министров-капиталистов!»

Толпа все увеличивалась. Она выстраивалась в ряды, выкрикивала лозунги и напоминала штормовые океанские волны, поднятые первым ветром нарастающей бури.

* Александр Николаевич Поморский (наст. фамилия — Линовский; 1891–1977) — русский советский поэт, прозаик. Публиковаться начал с 1908 г. В ряде своих произведений Поморский запечатлел образ Ленина. В 20–30-е гг. поэтом созданы стихи, посвященные социалистическим преобразованиям.

** Октябрь. 1957. С. 29–31.

Люди шли все вперед и вперед. Вал за валом, гребень за гребнем, заливая мосты, площади, улицы и переулки.

Утром на заводы «Новый Лесснер» и «Старый Парвияйнен» пришли солдаты 1-го пулеметного полка и просили грузовики для оружия.

Они становились в цехах среди машин на черные замасленные табуреты и призывали рабочих поддержать вооруженное восстание.

На Выборгской стороне заревели гудки. По заводам; начинались общие собрания.

У машин, в цехах, собирались крепкие вооруженные люди. Другие бежали по улицам с винтовками и за винтовками, третьи строились в колонны, боевые, безмолвные колонны. Я привел свой отряд рабочей милиции построил его на фоне фабричных труб, жалких деревянных домишек, улиц, поросших травой, потом двинул вместе со всеми к Невскому.

Мною в этот июльский день, как и многими другими, владело простое и глубокое чувство чистой радости людей, впервые осознавших возможность победы.

Я шел впереди колонны, как все большевики, хотя партия и отказалась от вооруженного выступления в это день...

Было написано и послано в «Правду» воззвание, чтобы по выходе газеты в свет удержать рабочих и солдат от выступления, остановить не вовремя начавшееся вооруженное восстание.

Но разве можно остановить разыгравшийся ураган?

И, несмотря на то что партия разослала во все районы по всем заводам и фабрикам агитаторов и пропагандистов, движение с каждым часом росло.

Четвертого июля с утра площадь у дворца Кшесинской была залита темно-синим морем матросских воротников. Алели знамена рабочих организаций.

По рядам пронеслось магическое слово: «Ленин» Ленин вышел на балкон, спокойный, как всегда. В простых и теплых словах Ленин передал революционный привет морякам, съехавшимся из Ораниенбаума, Кронштадта, Петергофа. Он выразил уверенность, что лозунг провозглашенный большевиками: «Вся власть Советам», победит. Ленин призывал моряков к стойкости, к выдержке, к бдительности.

Разноречивый, многоголосый гул выростал.

Во дворах, запертых наглухо, около которых стояли молчаливые дворники, я, проходя вместе с демонстрацией к Литейному проспекту, заметил спешенных казаков.

Вдруг вся улица заполнилась ими.

Я обратил внимание на фигуру казачьего командира. Его лицо было искажено, и с ненавистью он бросал в толпу слова:

— Дождались — свобода... На улице запели. Сначала раздался высокий женский голос, затем второй, а первый, контральто, все больше и больше звал его вперед — вся улица подхватила песню и понесла ее, как знамя. Казаки дрогнули и остановили коней. А песня росла и росла.

К демонстрации присоединилась новая рабочая колонна.

С Литейного и Садовой раздались первые выстрелы.

Казаки услышали сигнал, которого с таким нетерпением ждали. Выскакивая из дворов, они на ходу садились на лошадей и мчались навстречу демонстрации, все еще поющей свои песни. Снова раздались выстрелы, и, как бы в раздумье, постояв на месте, покачнулась юная, красивая девушка, шедшая рядом со мною.

Матрос поднял девушку. Из рта ее лилась кровь.

У всех, кто это видел, поднималась безудержная ярость, но сделать мы ничего не могли, так как уже со всех сторон били пулеметы. Люди, расстроив колонны, пригибаясь к земле, бежали к подъездам, к воротам, где их встречали пулями и саблями юнкера и казаки.

Когда я пробежал мимо того места, где раздались первые выстрелы, я увидел девушку на мостовой с открытыми глазами и окровавленным ртом. Я остановился, долго всматривался в ее лицо. И вдруг сердце сжалось у меня от боли: я узнал Шуру Кривцову, с которой я в шестнадцатом году работал в Москве, в студенческом подпольном паспортном бюро.

Шура лежала на мостовой, раскинув руки, а рядом с нею, под ударами казацких эскадронов, падали новые и новые мои товарищи, и по их живым телам мчались казацкие кони.

Демонстрация отступила, не приняв боя.

Е. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ*

Ленин — гений рабочего класса (Социологический очерк)

<Фрагмент>

«Ленин, это — мы сами».

Из речи одного уральского рабочего в 1917 году.

Каждый гений, как явление социальное, менее всего является сыном своего отца и матери. Мы хотим этим сказать, что гениальность есть прежде всего общественное, а не физиологическое свойство. Вернее, гениальность, это — определенный социальный процесс, который возникает на основе соединения определенных психофизиологических свойств выдающегося человека с социальными потребностями общества или данного класса. При ближайшем анализе гениальности отпадает почти весь элемент мистического и таинственного; его место занимает изучение социальных и классовых потребностей, ищущих своего выражения в деятельности того или иного таланта или гения. Конечно, человек, являющийся по своим психо-физиологическим данным идиотом, не может стать гениальным выразителем потребностей своего класса. В этом смысле для проявления гениальности нужны известные психофизиологические предпосылки. Но эти предпосылки останутся мертвым капиталом, их не позовет «к священной жертве Аполлон», если социальная необходимость не заставит физиологию работать на общество. В этом смысле общественный гений рождается не от отца и матери. На десятки и сотни тысяч людей, живущих сознательной общественной жизнью в той или иной стране, давит социальная и классовая необходимость в самых различных направлениях. Изобретайте новые машины! Давайте музыку, выражающую наши переживания! Давайте нам художественные образы, отвечающие нашим запросам в литературе, живописи! и т. д. Ведите нас к победе на фронтах! дайте нам классового вождя, который приведет нас к победе с наименьшей тратой сил! и т. д.

* Евгений Алексеевич Преображенский (1886–1937) — деятель российского и международного коммунистического движения, советский экономист и социолог. Автор книг «Анархизм и коммунизм», «Крестьянская Россия и социализм», «Новая экономика» и др.

На почве давления этих социальных потребностей происходит выбор наиболее подходящих мозгов из всего наличного человеческого материала, и затем происходит процесс соединения работы этих мозгов с социальной потребностью. Прежде всего, делается ясным, что при наличии достаточных физиологических данных, играющих роль материала для горения, степень гениальности будет пропорциональна степени давления социальной потребности на личность. Чем глубже, шире, чем грандиознее исторические проблемы, стоящие перед обществом или классом, тем больше сила гения, который все это должен выразить. Сила гения пропорциональна величине исторических задач, стоящих перед его классом.

Но, когда произошла установка способностей выдающегося человека на классовую потребность (при чем выдающимся он делается *post factum*, т. е. после того, как класс проявил его, выдвинул его вперед, как своего выразителя), дело не кончается этим, а только начинается. Когда завязывается эта внутренняя связь между потребностями, мыслями, всей мозговой работой таланта и социальной потребностью (на прежнем мистическом языке это называлось вдохновением), то начинается длительный, постепенный, никогда не прекращающийся процесс приспособления таланта к социально-классовым потребностям. Примером несостоявшегося приспособления является «неудачное произведение», «ошибка» и т. д. Примером удачного приспособления является все то, что общество квалифицирует, как талантливое, гениальное и т. п. Этот процесс приспособления продолжается непрерывно. Вообще гений, это — не качества, которые человек носит в кармане или за своей черепной коробкой, а это — социальный процесс, это — движение, в котором определяющая роль принадлежит коллективу, хотя внешне представляется, что дело обстоит как раз наоборот. По мере роста классовых потребностей, их углубления, изменения их характер, талант или развивается, совершенствуется, поднимается миллионами рук и социальными потребностями этих миллионов рук до высоты гения, либо социальные потребности, выжав все, что можно было выжать из данного таланта в данный период, переходят к другим объектам, которые способны лучше выразить новые запросы, выполнить новые задания коллектива. В первом случае талант развивается в гения, питаясь соками своего класса и возвращая классу продукт своей гениальности, т. е. в сущности продукт классовой гениальности, лишь индивидуально выраженный. Во втором случае, талант не двинулся вперед, остался на старом уровне. А не идти вперед в области таланта и гения, значит потерять талант. И, разумеется, не индивидуум здесь что-то теряет, а, наоборот, класс теряет

в данном случае точку приложения социальной потребности к данным индивидуальным мозгам и вынужден устанавливать смычку с другими.

Эти несколько общих предварительных замечаний будут нам необходимы как для понимания социальных корней ленинского гения, так и для понимания индивидуального развития Владимира Ильича на протяжении трех революций.

* * *

Рабочий класс нашего Союза сильнейшим образом отличается от пролетариата Запада. Исторически он сложился из двух слоев. Во-первых, из рабочих, которые организованы нашим национальным капиталом при постоянной поддержке со стороны государства; сюда относятся прежде всего рабочие горных заводов, рудников, оружейных и аммуниционных заводов, а во-вторых, это — рабочие мануфактурных фабрик, созданных нашим российским капиталом. Другой слой представляют рабочие нашей тяжелой промышленности и отчасти транспорта, рабочие крупнейших предприятий, построенных по последнему слову европейской техники, прежде всего на юге. Эти рабочие были продуктами вторжения к нам иностранного капитала. Несмотря на свою историческую молодость, этот слой пролетариата сразу стал играть руководящую роль в русском рабочем движении. Не текстильщик центрального района, не уральский рабочий старых уральских заводов, а металлист с предприятий иностранного капитала делается теперь застрельщиком и коноводом пролетарской борьбы. Этот новый рабочий представлял и совсем другой тип по сравнению с рабочим старых российских заводов, не особенно легким на подъем, жившим в условиях полумещанского быта наших мелких городов и местечек. Новый рабочий, явившийся продуктом вторжения к нам иностранного капитала, очень быстро раскачал и старого рабочего, очень сильно изменил его психологию, действуя на него примером своей борьбы.

Европейский пролетариат развивался медленно, как медленно мануфактура душила ремесло, как сравнительно медленно крупная машинная промышленность вытесняла мануфактуру и мелкое производство. Европа, выбрасывавшая промышленный капитал в другие страны, начиная со второй половины XIX века, в период разветвления в ней капитализма, строилась за счет своей собственной прибавочной стоимости. При этой медленной стройке рабочий класс был в некотором смысле приручен капитализмом. Буржуазия научила его ценить блага буржуазной культуры. Она заставила его проникнуться уважением к предпринимателям,

как к организаторам нового способа производства. Получая сверхприбыли от эксплуатации колоний, европейский капитал, прежде всего английский капитал, заинтересовывал частично аристократию рабочего класса в своей колониальной политике и во всей той системе, которая на одном конце означала зверскую эксплуатацию колоний, расстрелы сопротивлявшихся туземцев, вымирание их от сифилиса и водки и прочих благ европейской цивилизации, а на другом — гарантированный ростбиф к столу квалифицированного рабочего Англии. И в то время, как рабочий-аристократ Запада был силой, которая сковывала весь остальной рабочий класс и держала его в моральной узде эксплуататоров, передовой отряд рабочих нашей тяжелой промышленности, созданной иностранным капиталом, играл по отношению к остальной рабочей массе России как раз обратную роль.

Наш рабочий был классово молод. Его отцы и деды были в большинстве крепостные помещиков. Ненависть к барину он перенес полностью на хозяина. Наш рабочий не уважал своего благодетеля-хозяина. Он начал ненавидеть весь уклад буржуазных отношений, раньше, чем стал уважать и ценить буржуазную культуру. Русский рабочий, это — бунтовщик деревни, поставленный около машины. Естественно, что рабочий класс, сделанный из такого теста, явил миру совершенно особый тип пролетариата. Это был пролетариат высоко концентрированной промышленности, — следовательно, с этой стороны он ни в чем не уступал передовому пролетариату буржуазной Европы. А с другой стороны, психологически, этот пролетариат был совершенно не покорен буржуазной идеологии, не приручен капиталом, не разложен, не подкуплен в лице своего авангарда. Такой пролетариат был предназначен исторически к роли гегемона в нашем революционном движении. Что касается нашей буржуазии, то на нее гораздо больше могла рассчитывать реакция, чем революция, ибо «чем дальше на восток, тем подлей буржуазия». Крестьянство не могло играть никакой самостоятельной роли в революции, несмотря на целый пороховой погреб классовых противоречий, скопившихся в деревне на почве аграрных отношений. Интеллигенция могла лишь примкнуть к тому или иному основному классу. Ее удельный вес, как самостоятельной силы, был измерен поражением народников, «Народной Воли» в 70-х гг.

Вот какой пролетариат, вот в какой междуклассовой обстановке взял к себе на службу, на службу революции дарование Ленина.

В развитии гения Ленина надо, мне кажется, строго различать два периода. Первый период — до мировой войны 1914 г., и второй период — до его кончины. В первый период дело шло

в общем и целом о буржуазно-демократической революции, и талант Ленина мы должны исследовать под углом зрения того, насколько верно он наметил путь и основы междуклассовой тактики для пролетариата, вынужденного исторически довести до конца буржуазно-демократический переворот, не только преодолевая сопротивление помещиков и самодержавия, но и проводя его последовательно до конца против воли самой буржуазии и отчасти даже самой буржуазной демократии.

Во второй период дело шло о переходе буржуазно-демократической революции в социалистическую в обстановке мировой войны и о первых шагах по пути строительства социализма в крестьянской стране.

В своей знаменитой брошюре: «Две тактики», Ленин категорически отверг такую постановку вопроса, при которой пролетариат осуждался на роль подручного буржуазии, на роль пушечного мяса для российского либерализма. Он провозгласил лозунг, что буржуазно-демократическая революция может победить лишь на основе революционного блока пролетариата и крестьянства, направленного против помещиков и против самодержавия. На протяжении революции 1905–1906 гг. правильность такой постановки вопроса была подтверждена лишь от противного. А именно: революция 1905 года была разгромлена именно потому, что она не успела развернуть свои классовые силы в направлении установления рабоче-крестьянского блока. Рабочий класс, выступивший изолированно, был раздавлен крестьянской армией, которая, несмотря на большие колебания, в общем дала себя использовать самодержавию в период революции против пролетариата. 1917 год подтвердил правильность основной оценки классовых сил нашей революции, сделанной Лениным, — и подтвердил уже в положительной форме. Буржуазно-демократическая революция, развиваясь в социалистическую, т. е. лишь исчерпав себя, как буржуазно-демократическая, в состоянии была вскрыть в процессе этого перерастания своих пределов основы своих собственных внутренних сил. И эти силы оказались такими, как их расценивал Ленин в 1905 году.

С этой точки зрения все спорные вопросы в полемике с меньшевиками, коренившиеся в различной оценке характера русской революции 1905 и 1906 г. и в различной оценке ее классовых сил, были решены против меньшевистской концепции революции. Так решились: и вопрос об отношении к либеральной буржуазии, и вопрос о роли Советов, как зародыша революционной власти, и вопрос о захвате помещичьих земель, и программа национализации, и вопрос о вооруженном восстании и технической подготовке

к нему, и, наконец, вопрос о социально-классовой оценке партии меньшевиков. Так как революция 1905–1906 гг. победила только в 1917 г., то правильная тактическая линия Ленина не могла целиком и полностью найти себе подтверждения и проверки как раз на протяжении той революции, в ходе которой создались основы большевистской тактики. Поэтому-то гениальность ленинского прогноза не могла быть оценена по достоинству в первой революции, а позиция меньшевиков представлялась тогда не в такой степени предательской и глупой, какой она выглядит в перспективе 1917 г.

В 1905–1906 гг. спор шел о том, какая тактика вернее всего приводит к завершению буржуазно-демократического переворота при данном соотношении классовых сил, но вопрос вовсе не стоял так: какая тактика лучше всего соответствует революции, идущей к краху? В программе дня была победа революции, а не ее крах. Меньшевистская же тактика была целесообразной лишь в том случае, если бы провал революции был программной задачей для этой фракции.

Эта гениальная оценка классовых сил нашей революции, сделанная Лениным, не исключала ряда ошибок в частности. Например, в 1902–1903 гг. тов. Ленин отдал дань марксистскому доктринерству в своей аграрной программе «с отрезками». В 1906 г. он ошибся в оценке размеров революционного подъема, откуда проистекла и ошибка с бойкотом Думы, и ошибка с линией на восстание в 1906 г. Все мы, большевики, участники тогдашней борьбы с ее автоматизмом в развертывании революционных процессов, с тогдашними перспективами 1906 г., знаем хорошо, что не сделать последних ошибок можно было бы прямо чудом. А если бы даже эти ошибки и не были сделаны, то сманеврировать на новую тактику, не отрываясь от своих масс, мы вряд ли бы смогли.

Так самоопределил себя гением Ленина авангард наш пролетарский в первую русскую революцию. Тактическая линия, намеченная Лениным, лишь переводила на марксистский язык и на язык политической борьбы то, что несли рабочие массы в неотесанных кирпичках своего элементарного понимания вещей, что отвечало их массовым настроениям, что улавливал их классовый инстинкт. Большевистский лозунг — поддерживать кадетов, но только дубиной, — соответствовал стихийному недоверию рабочих масс к купеческо-помещичьему либерализму. Лозунг свержения самодержавия и вооруженного восстания соответствовал огромному озлоблению масс против царизма, помещиков, фабрикантов и решению бороться до конца. Массы не шутят в революции, и,

если они вступили в движение, они идут, как говорится, до точки, до предела. С этой точки зрения интеллигентскими умничаниями и марксистскими «выкрутасами» являлась позиция меньшевиков по вопросу о неучастии во власти со стороны победившего рабочего класса. И, наоборот, только лозунг революционной власти, построенной на диктатуре пролетариата и крестьянства, соответствовал силе натиска рабочих на самодержавие и их решимости довести дело революции до конца. Наконец, и отношение большевиков к крестьянству соответствовало российским условиям. В то время как меньшевики пытались пересадить на русскую почву то вековое недоверие потомственного почетного пролетариата Запада к своему крестьянству, у нас в России, где связь рабочих с деревней никогда не прерывалась, лишь большевистские отношения к крестьянству соответствовали реальному взаимоотношению между нашим рабочим и нашей деревней.

Меньшевики, большие импрессионисты в политике (мелкобуржуазная черта вообще), умели очень тонко улавливать и отражать в своих решениях и лозунгах колебания и даже поверхностные нюансы рабочих настроений. Но они прошли мимо главного и основного, они либо прошли мимо стержневых фундаментальных классовых настроений, либо в большинстве случаев предательски отшатнулись от них. Наоборот, тов. Ленин и большевики были весьма неподатливы («меднолобые», «твердокаменные» и т. д.), когда дело шло о том, чтобы принизить лозунги движения, приспособляясь к минутным настроениям рабочего класса, к настроению сегодняшнего дня рабочей массы. Но в то же время Ленин понял и схватил главное и основное в стремлениях революционного пролетариата, — схватил основные тенденции пролетарской борьбы и ее неизбежные конечные результаты. В этом смысле в 1905 г. он антиципировал пролетарскую победу 1917 г.

Что касается организационного вопроса, то и здесь тов. Ленин лишь гениально писал под диктовку классовой необходимости. Состав сил, которыми можно было располагать партии, был в общем таков: очень небольшое число совершенно сознательных и убежденных передовых рабочих, а также революционеров из интеллигентов, за ними сочувствующие слои рабочих и мелкобуржуазной интеллигенции, за сочувствующими рабочими — рядовик-рабочий; за рядовиком-рабочим — крестьянин. При таких условиях задача формулировалась так: как при минимальных руководящих кадрах получить идейное и организационное господство над максимальным количеством людей, во-первых, из своего класса, а затем — из класса союзного. Вторая задача, связанная с первой, формулировалась так: как при максимальном вовлечении в дви-

жение широких масс сохранить максимальное единство действия, максимальную однородность кадрового стержня рабочего движения. Между той и другой задачей было известное противоречие. Чем многочисленнее массы, которые идут за партией, тем больше опасности разнобоя в их действиях, а тем более в мыслях, чувствах, лозунгах и т. д. Чем большим успехом пользуется партия в массах, тем больше людей ломится в ее двери, тем быстрее она растет, тем больше опасности для нее потерять свою однородность, идейную похожесть, монолитность. Необходимо было массовое движение рабочих и массовый характер партии совместить с максимальным единством действия, с чистотой принципов и с однородностью состава партии. Ленин нашел правильным выход в том, что взял курс не на партийного интеллигента, который способен от сектантской однородности и однотонности переходить к противоположной крайности — к мещанскому индивидуализму, к разнообразию мнений, точек зрения и т. д., а взял курс на рабочего в партии. Он взял курс на то типовое классовое единство, на ту классовую однородность в главном и основном, которая характерна для рабочей психологии. В результате кадр старых большевиков, воспитанный Лениным и в большинстве состоящий из профессиональных революционеров-интеллигентов, — этот кадр, обработанный применительно к требованиям рабочего класса путем идейной и практической тренировки, соединился с резервами из новых, большевистски настроенных слоев рабочего класса, т. е. соединился с широким кадром «натуральных» большевиков-рабочих. Взяв курс на рабочих-большевиков, Ленин тем самым предохранил партию от разбухания ее за счет интеллигенции, и благодаря этому ее единство, ее однородность и ее монолитность он переместил на единственно твердую основу, — переместил на естественную классовую базу партии.

Таким путем были заложены в ходе практической борьбы основы для того замечательного социологического феномена, каким является Р. К. П. Задача с малыми, но хорошо спаянными и однородными силами двигать большими силами — была решена. Структура Р. К. П., ее методы работы внутри и вне партии — вот метод решения этой задачи. Это решение не является, разумеется, единственно возможным и единственно целесообразным для всех рабочих партий, идущих к революции. Не везде есть те элементы, из которых можно было бы получить такие слагаемые, как у нас. Мы имели революционный рабочий класс, молодой, неиспорченный капитализмом, с огромной потенциальной революционностью и самоотвержением; мы имели не мирную, а революционную ситуацию в стране; мы имели несколько по-

колений революционной интеллигенции, из которой было что выбрать и притянуть к себе пролетарскому магниту; у нас были отводные каналы для мелкобуржуазной революционности (с.-р.) и для марксистски прикрытого интеллигентского оппортунизма (меньшевики). Наконец, — и это не наш плюс, — партия строилась на базе культурно очень отсталого пролетариата, при огромной дистанции, отделяющей идейных передовиков-интеллигентов и рабочих не только от всей рабочей массы, но и от массы членов своей же партии. А это делало объективно неизбежным усиление централизма, усиление, в том числе формальное, партийного авторитета руководящих кадров, и соответственное уменьшение самостоятельности партийных низов.

Решение организационной проблемы, представленное в лице Р. К. П., не есть единственное возможное для рабочих других стран, но оно было единственно возможным для нашего пролетариата в условиях первой революции. Гений Ленина проявился в том, что он выбрал единственный целесообразный путь строительства большевистской партии из данного материала в данных исторических условиях.

Важнейшей предпосылкой в идейной однородности большевиков является их теоретическая непримиримость, их ортодоксальный марксизм. Но сам по себе марксизм не гарантирует еще единства действия, ни революционности в этом действии. Меньшевистское оскопление марксизма — достаточно яркий этому пример. В то же время марксистское книжничество и буквоедство совсем не гарантирует и от большого разброда в области практической деятельности. Все зависит от того, в каких головах помещается этот марксизм и корректируется ли он практикой живого массового рабочего движения. Между теорией в голове и между практикой политической борьбы класса лежит целый ряд промежуточных ступеней, представляющих достаточный простор, чтобы свихнуться той или иной «личности», чтобы от книжного марксизма в теории докатиться до оппортунистической, а иногда прямо контрреволюционной практики. Ленин был превосходнейшим марксистом. Он был одним из лучших знатоков текста Маркса в нашей партии; можно было бы сказать без преувеличения, что он был идейно влюблен в Маркса и марксизм, который был его «натуральной» точкой зрения. Но он никогда не был книжником от марксизма. Он презирал и высмеивал буквоедов от марксизма, этих старых кукол, заснувших с «Капиталом» под подушкой около живого рабочего движения и проспавших величайшую в мире революцию. Он смотрел на теорию, в том числе и на теорию марксизма, как на орудие классовой борьбы, как на необходимый

инструмент при руководстве массами в этой борьбе. Он ценил его больше всех, между прочим, и потому, что больше всех видел на практике, что значит теоретическое марксистское вооружение к политической борьбе. Применять марксизм — для политического деятеля — значит считать в области социально-экономической большими числами, это значит уметь проводить учет классовых сил, их расположение в данный момент, их изменение, их динамику, и все это не ради марксистского искусства для искусства, а для того, чтобы безошибочней действовать в интересах пролетариата своими собственными силами, силами своей партии и авангарда рабочего класса. Марксизм Ленина, это — марксизм действенный, в котором теория переходит в практику, а обобщения в практике тут же сгущаются в теорию. Ленин хорошо почувствовал и не раз сам повторял слова Гете: «Сера теория, но зелено вечно растущее дерево жизни». Да, для него дерево жизни всегда было растущим! Он был истинным диалектиком. Он всегда отдавал себе отчет в том, что в общественной среде все движется, все меняется. То, что было верным вчера, является ошибочным сегодня. Он понимал и понимал на деле душу марксизма. Он проявил величайшее искусство в том, чтобы изменять изменяющуюся социальную среду. Марксизм был для него не орудием познания самим по себе, а орудием наилучшего изменения социальной среды, при помощи наилучшего ее познания. Марксистская теория, без применения к практике, была для него бесплодной смоковницей. В области теории для него не было ничего такого, что было бы ценным само по себе, вне конкретных задач в борьбе за освобождение трудящихся. В одном своем произведении Чехов, говоря о том, что в художественном произведении не должно быть ничего лишнего, писал: «Если на первой странице рассказа у вас в кабинете висит ружье, то на следующей оно должно выстрелить». Для Ленина в теории марксизма так же не было ничего лишнего, теория марксизма была для него тем ружьем, которое надо сегодня заряжать, и которым надо вооружаться, затем, чтобы завтра оно могло выстрелить во врагов пролетариата. Ленин был не только учеником Маркса: среди учеников Маркса есть и тупицы, и педанты, и люди в футлярах. Он был гениальным марксистом, т. е. свободным при применении марксизма к практике сегодняшнего дня, к практике вечно зеленого дерева жизни. Отсюда и другой вывод: кто хочет быть в этом отношении похожим на Ленина, кто хочет быть настоящим ленинцем, тот не должен быть буквоедом и ханжой ленинского текста, а диалектиком революционной борьбы пролетариата и его социалистического строительства, нужно быть духовным учеником Ленина, а не его начетчиком.

* * *

Ленин как гениальный тактик, как тактик не только русского (каковым он был до 1914 г.), но и тактик мирового рабочего движения, выдвигается эпохой мировой войны. Предвидение в политической борьбе означает все. На правильном предвидении будущего усиливаются и растут одни партии, на неверной оценке гибнут другие. На предвидении в большом историческом разрезе, с одной стороны, на ошибках, с другой стороны, одни делаются политическими вождями, другие сходят со сцены в качестве политических банкротов. Ход истории имеет свои узловые пункты, от которых начинаются новые эпохи. Тот, кто правильно поймет смысл такого исторического перелома, тот окажется пророком на полстолетия вперед. Такой узел мировой истории завязался в 1914 г. Точнее, в этом году с катастрофической быстротой начал разрубаться мечом империалистической войны тот узел, который завязывался, начиная с буржуазных революций, самим ходом капиталистического развития мира. Социал-предатели в каждой стране высказались в своем патриотическом усердии за сегодняшний день своей буржуазии. Ленин высказался за завтрашний день пролетариата. Он схватил с точки зрения рабочей основной нерв эпохи. На данной стадии беременности буржуазного общества социализмом Ленин расценил мировую войну, как начало краха капитализма, как сигнал к социальной революции. Он выбросил в 1914 г. свой знаменитый лозунг, на который будут смотреть столетия, как на гениальнейшее из пророчеств XX века: превращение империалистической войны в войну гражданскую. Мы знаем, как мало было тех, кто понял сразу и сразу воспринял этот лозунг. Мы знаем, сколько заплатил убитыми, ранеными и искалеченными мировой пролетариат, сколько крови и костей он отдал за то, чтобы к концу мировой войны уловить смысл этих слов.

С 1914 г. Ленин делается постепенно вождем всей революционной части мирового пролетариата. Рабочие массы, отходя от социал-предателей, связавших свою судьбу с буржуазным строем и взваливших на себя ответственность за войну, идут по линии большевистских лозунгов.

Здесь мы должны остановиться на вопросе, почему эти лозунги были брошены с российской территории и почему здесь именно впервые начали осуществляться. С этим связан и другой вопрос, — вопрос о второй стадии развития ленинского гения.

Наша революция 1905–1906 гг., хотя и имела известное международное значение, поскольку и наш царизм был международным жандармом, однако ее влияние за пределами наших

границ было все же довольно скромным. Она имела отзвук в Турции, Персии, Китае, она имела известное влияние на усиление революционного движения германских и английских рабочих. Но это было не то влияние, которое оказывает революционный процесс, когда он делается главным процессом для развертывания революции в целом ряде других стран. Наоборот, наша февральская и октябрьская революции выдвинули наш рабочий класс на авансцену мирового пролетарского движения. Или, если быть ближе к социологическому описанию факта, мировое рабочее движение прорывалось через кору капитализма русской революцией. Это объясняется, во-первых, слабостью капиталистического сопротивления на этом участке, поскольку развитие капитализма в России происходило не только за счет национального, но и за счет иностранного капитала, который не отлагался социально в стране в виде соответствующих групп капиталистического класса и его окружения из промежуточных классов, связанных с ним идейно и материально. Вследствие этого силы сопротивления капиталистического класса не соответствовали степени капиталистического развития страны. Это объяснялось далее революционностью рабочего класса, перенесшего на фабрику бунтарский дух крестьянских восстаний и крестьянскую ненависть к помещичьему строю и прибавившего к этому всему классовую ненависть к своим непосредственным буржуазным эксплуататорам. Это объяснялось далее накоплением острейших классовых антагонизмов и огромной революционной энергией в российской деревне, где развитие капитализма, разлагая старые отношения, создавало многомиллионные кадры безработных или скрыто-безработных рабочих сил, обостряло земельную тесноту, подготавливая в социально-экономическом фундаменте предпосылки для страшного взрыва аграрной революции. Ко всему этому надо прибавить истощение от войны, военное банкротство самодержавия, голод, дороговизну...

<...>

Д. ПРИГОВ***Из сборника «Написанное с 1975 по 1989»**

* * *

Я возле Ленина хожу
И слов, и слов не нахожу
Волнуюсь: встанет иль не встанет
А он встает из гроба чистый
И спрашивает: Коммунистка?
Я отвечаю: Я — святая!
Сам вижу — отвечает — а то
чего бы я это встал вдруг

* * *

О, коммунисты, деточки златые
Повсюду жизнь как чудище Батыя
Огромным пальцем лезет в небеса
И выколупливает там глаза
Они текут — и кто бы порицал
Но это ж не интернационал!
Ведь правда же!

* * *

Вот мир советский и антисоветский.
Что их объединит и что спасет?
Как говорится: красота спасет
Как говорил он: красота спасет —
Известный в свое время Достоевский
Но он ответственности не несет
Поскольку в его время — что узнаешь!
Тогда весь мир-то был антисоветский.

* * *

Ну, не будет коммунизма —
Будет что-нибудь другое
Дело в общем-то не в сроках —
В историческом мышленьи

* *Дмитрий Александрович Пригов* (1940–2007) — русский поэт, художник-график, скульптор. Один из основоположников московского концептуализма в искусстве и литературном жанре (поэзия и проза).

Очень трудно жить на свете
Ничего не предвещая
Эдак можно докатиться
До прекрасного мгновенья
Но в том-то и дело, что мгновенье
Кому — прекрасно, а кому — и нет

* * *

Кто очень хочет — тот увидит
Народ российский — что он есть!
Все дело в том — уж кто увидит
Его каким — такой и есть
Вот скажем Ленин — тот увидел
Коммунистическим его
И Солженицын — тот увидел
Богоспасительным его
Ну что же — так оно и есть
Все дело только в том — чья власть

М. ПРИЛЕЖАЕВА*

Жизнь Ленина**

Радость

Над Симбирском заливаются жаворонки. Звенят в небе над Волгой. Волга круто повернула у города, несёт к югу глубокие воды. Льды недавно прошли. С высокого симбирского берега видны луга, синие дали. Плывет по Волге пароход.

* *Мария Павловна Прилежаева* (1903–1989) — советская писательница. Окончила педагогический факультет, работала учительницей. Начала писательскую карьеру с произведений для школьников, её первая книга вышла в 1941 г. Написала несколько повестей о детстве и юности Калинина; художественно-публицистическую книгу для детей «На 24 съезде» (1971). Большую популярность имели повести, посвященные детству и юности Ленина: «Начало» (1957), «Удивительный год», «Три недели покоя» (1967). В первых двух впервые в детской литературе были изображены отношения Н. К. Крупской и В. И. Ленина. В третьей Прилежаева изображает «неисторические» события жизни Ленина, его «повседневную революционную работу, недолгую встречу с семьёй и друзьями после ссылки и перед отъездом в эмиграцию».

** Повесть «Жизнь Ленина» (1970) М. Прилежаевой была удостоена Государственной премии РСФСР им. Н.К. Крупской.

«Белый пароход, куда ты плывёшь?» — «Далеко, к морю Каспию».

В Симбирске весна. Слышно, как хором щебечут воробьи.

Все улицы и сады полны птичьим щебетом. В Карамзинском сквере по чёрной клумбе важно расхаживает грач с большим серым клювом. Ветер треплет ветви берез. На улицах весенняя радость.

А в доме Ульяновых радость. Дом Ульяновых недалеко от Волги. Солнце горячо светит в окна. Доносятся гудки пароходов.

Мама нагнулась над колыбелью. В колыбели сын. Мама глядит на него с задумчивой лаской: «Кем ты будешь? Какая тебя ждет судьба?»

Вошел отец, Илья Николаевич Ульянов — инспектор народных училищ Симбирской губернии. У него важная работа. Хорошо ли учителя учат ребят? Илья Николаевич помогает, советует учителям, как лучше учить. Добивается, чтобы как можно больше было новых народных школ в Симбирской губернии. Заботится, чтобы вдоволь было для школьников книг и учебников. Очень полезная для народа работа у Ильи Николаевича!..

— Машенька! — позвал он, входя. — Добрый день, Маша милая!

Вместе с отцом пришли к маме старшие дети — Анюта и Саша. Темноглазой курчавой Анюте шесть лет. Саше четыре.

Полные любопытства, они приблизились к колыбели.

— Дети! — сказал Илья Николаевич. — У вас родился брат. Любите его.

— Какой маленький! — удивилась Анюта.

— Подрастёт, будет большим, — ответил отец.

— А как его зовут? — спросил Саша, поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше увидеть младшего брата.

— Назовём Володей, — ответила мама.

— Хорошо, пусть будет Владимир, — согласился отец.

— Хорошо! — согласились и дети. — У нас брат Володя!

Так 22 апреля 1870 года в городе Симбирске на Волге появился на свет новый человек, Владимир Ульянов, который станет после великим Лениным.

Будь товарищем

Зазвенел звонок к уроку. Второклассники с шумом занимали места. Была весна. Окна были открыты. Вдруг с улицы на подоконник вскочила кошка.

— К нам новичок! — хохоча, крикнул кто-то.

Вошёл учитель. Мальчик, сидевший у окна, недолго думая схватил кошку, сунул в парту, захлопнул крышкой.

— Начнём урок, — сказал учитель, поднимаясь на кафедру и поправляя на носу пенсне.

«Мяу», — промяукала кошка.

— Что такое? — строго сдвинул брови учитель.

В классе послышались кашель и шорохи, у кого-то шлёпнулись на пол книги. Гимназисты старались всячески заглушить мяуканье кошки в парте. А она всё пуще: «Мяу, мяу, мяу».

Мальчик перепугался, что влетит от учителя, и выпустил кошку. Кошка как ни в чём не бывало направилась между партами к учительской кафедре. Второклассники замерли.

Учитель побагровел, пенсне упало с носа, повисло на шнурке.

— Что за безобразие? Кто принёс?

— Мы не приносили. Она сама вскочила в окно.

— Кто спрятал? Сейчас же сознавайтесь. Кто спрятал кошку? Назовите тотчас!

Ни звука в ответ. Никто не оглянулся к окну, где тот мальчик сидел ни жив ни мёртв от грозного крика.

— Смутьяны! — сказал учитель. — Будет доложено инспектору.

Урок прошёл в глубокой тишине. После звонка, когда учитель удалился, Володя вышел перед классом:

— Будем молчать!

— Верно, Ульянов! Не выдавать! Ни за что!

С последней парты поднялся один второклассник, длинный, тонкий, неслышный. Бочком незаметно ушёл. «Куда он?» — удивился Володя. Но некогда было раздумывать. Обсуждали происшествие. Никто не обратил внимания на то, что Длинный ушёл.

— Ребята, — сказал Володя, — молчать, как один.

— Как один! — подхватил второй класс.

Было и боязно, и дружно, и какой-то у всех был подъём.

Длинный вернулся, сел за парту.

В конце перемены появился инспектор, выпячивая грудь в зелёном мундире:

— По местам!

Вмиг второклассники были за партами. Стояли. Что будет?

Инспектор леденящим взглядом обвёл второклассников и... задержался на мальчике, спрятавшем кошку.

— Вон из класса! Единица за поведение. В карцер!

Мальчик, ошеломлённый, поникнув, отправился в карцер. Все были поражены. Как мог инспектор узнать? Кто-то наябедничал. Кто?

Володя оглянулся на Длинного.

У того горели уши, пугливо шныряли глаза...

Плохо стало в классе. Каждая, даже небольшая, проказа и малейшая шалость становились известны инспектору. Ежедневно

кого-нибудь то в карцер, то без обеда. Мальчики стали подозрительны. Боялись дружить. У всех вертелась мысль: «Кто же, кто ябедничает инспектору?»

Однажды в перемену Володя увидел: из кабинета инспектора выскочил Длинный и, прячась, шмыгнул в ребячью толпу. «Он», — понял Володя.

— Он ябедничает, — сказал Володя товарищам.

Многие уже и сами догадывались.

— Я его изобью! — сжимая кулаки, возмущался Дима Андреев, Володин товарищ. — Ребята, подстережём его на улице, проучим.

— Лучше по-другому проучим, — сказал Володя. — Объявим бойкот.

— Что такое бойкот?

— Не разговаривать, не отвечать на вопросы, не замечать, будто его нет.

Как раз вошёл Длинный. Глаза, как всегда, жалко суетились и бегали. Он заметил, все умолкли при его появлении.

— Какой сейчас у нас будет урок? — спросил Длинный.

Никто не ответил. Один мальчик подбежал к доске, написал крупно: «С ябедами не разговариваем» — и быстро стёр тряпкой.

Длинный съёжился и, втянув голову в плечи, ушёл за свою парту.

Володя его презирал. Когда Длинный попадался навстречу, Володя глядел мимо. И все так. Длинный остался один, совершенно один. Никто не говорил с ним ни слова. На него не глядели. Не замечали.

Шли дни. Шла неделя, другая, третья. Доносов не стало. Второклассников не сажали каждый день в карцер.

— Он перестал ябедничать, мы его проучили, — говорили между собой второклассники. Но по-прежнему не замечали его.

Раз после уроков Володя вбежал в пустой класс взять забытую книжку. Длинный сидел на последней парте и плакал. Володя подошёл:

— Ты раскаялся? Ты больше не будешь?

Длинный поднял дрожащее, залитое слезами лицо. С ним говорили, он не верил ушам!

— Никогда, никогда! — залепетал он. — Я от страха. Я боялся, что инспектор прогонит меня из гимназии за то, что плохо учусь. Не могу я так жить, без товарищей!

— Будь сам товарищем, и у тебя будут товарищи, — ответил Володя. — Ну ладно, мы верим. Уговорю ребят, что тебе можно верить.

И бойкот Длинному во втором классе кончился. Никто не поминал прошлого. Длинный получил урок на всю жизнь... И все второклассники получили урок.

В деревне Лонжюмо

Тысячи русских революционеров-эмигрантов жили во Франции. Владимир Ильич тоже жил и работал в Париже. А весной 1911 года они с Надеждой Константиновной выехали на всё лето в деревню Лонжюмо.

Лонжюмо недалеко от Парижа, километрах в пятнадцати. Длинная улица протянулась больше чем на километр вдоль деревни. Ночами по улице тархтели колёса возов, крестьяне везли на парижский рынок продукты.

Дома в Лонжюмо были каменные, невзрачные, насквозь прокопчённые. Копоть валила из трубы небольшого кожевенного заводика. Даже листья и трава были от копоти тусклые и скучные в этой деревне. Правда, вокруг зеленели поля. Но Владимир Ильич с Надеждой Константиновной приехали сюда не для отдыха. Напротив, для трудной работы.

Был ранний час. На дворе во всё горло запел петух. Владимир Ильич проснулся. Комната была тёмной и сырой даже в это яркое летнее утро. Казалось, и солнце ещё не взошло — так было сумрачно в комнате.

Между тем Надежда Константиновна уже несла завтрак, состряпанный на керосинке.

— Изволили проспать, милостивый государь? За поведение — кол.

Такую отметку выставил себе Владимир Ильич, живо поднимаясь с постели. И скорей помогать по хозяйству. Чашки, тарелки на стол. Сахарница...

— Ой! — вскрикнула Надежда Константиновна.

Сахарница вырвалась у него из руки. Владимир Ильич изловчился, подхватил:

— Чем не жонглёр?

— На троечку, — ответила Надежда Константиновна.

Что-то колы да тройки у них на языке! Уж не заделались ли учителями Владимир Ильич с Надеждой Константиновной?

Нестерпимая жарница стояла в то лето во Франции! С утра нещадно пекло и жгло солнце. Лохматая дворняга лежала в тени под забором на улице. Высунула язык и часто-часто дышала.

— Жарко, псина? — дружески потрепал дворнягу Владимир Ильич. — Доброе утро! — поздоровался с рабочим-кожевником.

Ильичи снимали у него две тёмные комнаты в сумрачном доме с черепичной крышей.

Было воскресенье. Рабочий сидел в тени забора, положив на колени жилистые руки. У него было узкое, худое лицо. Пе-

пельного цвета усы опускались вниз. Таким усталым он казался и измождённым!

Мимо по улице проезжал экипаж на рессорах, с лакированными крыльями. Под кружевным зонтиком ехала дама с миловидными, нарядными детьми. Рабочий торопливо вскочил, низко поклонился. Дама кивнула.

— Супруга хозяина, — почтительно сказал кожевник.

— Вот у кого отдых в полное удовольствие, — с насмешкой заметил Владимир Ильич.

Рабочий помолчал, погладил опущенные усы и смиренно ответил:

— Бог создал богатых и бедных. Значит, так надо.

Через улицу, наискосок, зазвонили колокола. Отворились для воскресной службы двери храма. Рабочий перекрестился и направился в храм, бормоча:

— Господь создал мир, нам ли судить?

— Да-а... — в раздумье протянул Владимир Ильич.

— Мосье, — спросил соседский французский мальчишка, — вы, наверное, на Сену купаться?

— Нет, дружок, не купаться.

— А, знаю, знаю, — закивал французский мальчишка, — вы в свою школу. Вы и в праздники учите.

Школа Ленина на другом краю длинной улицы в Лонжюмо была необычной школой. И по виду она не походила на школу. Раньше когда-то тут был постоянный двор. В глубине двора стоял просторный сарай. На пути в Париж останавливались в нём дилижансы. Кучера отдыхали, курили. Кормили лошадей. Но это было давно...

Весной 1911 года Владимир Ильич снял сарай под школу. Ученики выгребли мусор. Сколотили из досок стол на восемнадцать человек. Раздобыли у соседей старенькие табуретки и стулья — и школа открыта.

Какие же ученики в ней учились? Учениками были русские рабочие. Тайно от царских жандармов они приехали сюда из разных городов России учиться. А учителями были Владимир Ильич, Надежда Константиновна и некоторые другие товарищи.

Ученики сидели за столом, когда Владимир Ильич пришёл на урок. Честь по чести встали при входе учителя. Но вот что смешно: все босые. Жара в Лонжюмо была нестерпимая, вот они и ходили босые.

Это были молодые ребята, любопытные и способные. Они любили уроки и лекции Владимира Ильича! Всегда он умел заинтересовать с первого слова.

— Бог создал богатых и бедных. Значит, так надо, — начал неожиданно Владимир Ильич сегодня урок.

Лукавая улыбка играла у него на губах, смеялись глаза. Все в удивлении молчали. Прямо-таки мёртвая тишина воцарилась в ответ.

— Так мне сказал один французский рабочий-кожевник, — после паузы объяснил Владимир Ильич.

Ученики зашумели:

— А! Вон оно что! Э! Это какой-то слизняк проповедует, это не борец.

— Отсталый ваш француз, Владимир Ильич! Ведите его в нашу школу, живо проветрим мозги.

А один ученик поднялся и сказал:

— Я тоже рабочий-кожевник, только, думаю, божьи законы нам не подходят. Надавать надо богатеям по шее да и строить новое общество.

— Правильно! — закричали вокруг.

Шумный получился урок. Но Владимиру Ильичу это и нравилось.

— Значит, не обязательно, чтобы были богатые и и бедные, — подхватил Владимир Ильич.

И незаметно и просто перешёл к уроку по политической экономии. Так называется очень важная наука о развитии общественного производства.

Владимир Ильич учил рабочих марксизму. Рабочий должен быть образованным, умным и сведущим. И превосходно должен разбираться в политике.

Разве будет бороться за революцию такой человек, как тот французский кожевник, который бормочет: «Господи помилуй!» — и знать ничего больше не знает? И у нас в России немало таких отсталых рабочих. Отсталость — не подмога революционной борьбе.

— Учиться надо рабочим! — говорил Владимир Ильич.

Потому и организовал он в Лонжюмо партийную школу. Ученики проучились в ней четыре месяца и поехали домой, понесли русскому рабочему классу свою революционную веру и знания. А французская деревня Лонжюмо, обыкновенная деревня, не очень казистая, сейчас известна стала всем людям оттого, что там была первая партийная школа Ленина.

Лесной кабинет

Под Петроградом, недалеко от финской границы, в посёлке Сестрорецке был большой оружейный завод. Рабочий Николай Александрович Емельянов работал на Сестрорецком заводе лет тридцать. А жил на станции Разлив, оттуда до завода пешком

всего полчаса. Станция называлась по озеру Разливом. Озеро здесь начиналось и тянулось вёрст семь; в солнечные дни голубое, как небо. По берегам — ольха, да кусты, да болота.

Однажды к Емельянову приехал человек. Емельянов его знал: это был доверенный ЦК. По важному делу приехал доверенный. Центральный Комитет партии большевиков постановил: скорее укрыть вождя партии Ленина от преследований контрреволюционного Временного правительства.

— Поручено тебе, товарищ Емельянов. Сумеешь ли?

— Затем я и большевик, чтоб суметь, — ответил Емельянов.

На первое время он решил спрятать Владимира Ильича на сеновале у себя во дворе.

Но скоро понял: нет, не годится, опасно. Кругом соседи. Чужие ребята забегают во двор. У Емельянова своих детей семеро — по товарищу на каждого, считайте: малая ли команда составитя? Нет, другое надо искать убежище.

Ранним утром Емельянов разбудил Владимира Ильича. Солнце ещё не взошло. Над прудом висел сизый тонкий туман. Пруд был сразу за домом. Емельянов отвязал лодку. Тихо плеснулась вода под веслом. Сонные дома бесшумно стояли вдоль пруда. Мимо сонных домов вывел Емельянов лодку по пруду в озеро Разлив. Озеро светлое, большое, безлюдное. Ночь только ушла. Люди спят. Птицы спят. Чуть заалела заря на востоке.

Емельянов торопился переправить Ленина на другой берег Разлива. Версты четыре туда. Волновался: не увидел бы кто из соседей, что раным-рано везёт чужого человека неизвестно куда, неизвестно зачем. Во всех газетах было напечатано, что власти ищут Ленина. Разные люди встречаются... Поэтому Емельянов спешил.

Владимир Ильич сидел за рулём. Утренний ветерок налетел, и седые туманы тронулись над Разливом. Яснее стали видны берега. Розового света зари прибывало.

В этот тихий час вспомнились Владимиру Ильичу давние годы, дорогие друзья. Вспомнился питерский рабочий Бабушкин. Вместе с Бабушкиным написал Владимир Ильич первую листовку «Союза борьбы». Твёрдым революционером и большевиком стал питерский пролетарий Иван Васильевич Бабушкин. Власти казнили его без суда в 1906 году.

И матрос Афанасий Матюшенко с броненосца «Потёмкин», который приезжал к Владимиру Ильичу в Женеву рассказать о восстании! После вернулся на родину, власти казнили его.

Ещё один товарищ вспомнился Владимиру Ильичу — молодой уфимский рабочий Иван Якутов. В революцию 1905 года Иван Якутов образовал в Уфе рабочую республику. Революцию подави-

ли, Ивана Якутова казнили на тюремном дворе. Тысячи павших за революцию рабочих бойцов! Вечная память вам.

Владимир Ильич подумал, что сестрорецкий рабочий Емельянов тоже сильно рискует, укрывая его от буржуазных властей. Попадётся — не помилуют. А ведь семеро ребятишек останутся.

— Спасибо, Николай Александрович, — сказал Владимир Ильич.

Емельянов быстро взглянул на него, понял:

— Чего там, Владимир Ильич! Это честь для меня.

И повёл лодку к берегу. В осоку. Осока шуршала, раздвигаясь под лодкой.

Прямо у берега стоял лес. Не лес, а лесок из голенастых осинок, ольхи, тонкоствольных берёз. Невысокий, частый лесок.

Разгрузили лодку, оттащили провизию да одеяла с подушками в глубь леска, с полверсты. Да ещё Владимир Ильич нёс под мышкой кипу бумаг и синюю тетрадь.

Почти год работал в Цюрихе, в библиотеке, делал разные необходимые записи. Сейчас была кладом для Владимира Ильича эта синяя тетрадь с записями.

Однако куда же Емельянов ведёт? А вот куда. Прошагали леском, и открылась поляна. Большая зелёная поляна. На поляне шалаш. Возле шалаша врыты колышки в землю, подвешен на колышках котелок. Понимайте, что кухня.

— Ба! — воскликнул Владимир Ильич. — Знатное жильё, Николай Александрович! Лучше и вообразить невозможно.

— Это видали? — спросил Емельянов.

И показал косу, приставленную к шалашу. И брусок...

— Владимир Ильич, я в косцы вас нанял. Поляну эту заарендовал, скосить, стало быть, надо. В случае, если ягодники или грибники на шалаш набредут, вы, Владимир Ильич, ни полслова. Финна я в косцы подыскал. Ничегошеньки по-русски финн не кумекает. Ни словечка не смыслит.

— А похож я на финна? — спросил Владимир Ильич.

Емельянов внимательно, в который уж раз, Владимира Ильича с ног до головы оглядел. Владимир Ильич бороду сбрил, подстриг усы. В косоворотке, поношенном пиджачке — рабочий, да и только.

— Здорово на финна-рабочего смахиваете, — одобрил Емельянов. И дальше: — Провизию будем возить на заре или ночью.

— Непременно газеты, все, какие выходят! — сказал Владимир Ильич.

— Будет исполнено. Мальчишек своих мобилизую. Одно-то нельзя. Заметят, что больно много один газет набирает. Распределю, какие кому доставать. Да на лодку. Да к вам.

Солнце поднялось. На траве засверкала роса. Казалось, вся поляна обрызгнута была драгоценными камушками.

— Вот что ещё, — сказал Владимир Ильич. — Косцу вашему необходимо много писать. Где бы пристроиться?

— Гляньте, — с удовольствием заявил Емельянов.

Раздвинул вблизи шалаша густые кусты, развёл в сторону ветви, и Владимир Ильич увидел вырубленную в кустах уютную площадку. И два чурбана. Один пониже, другой повыше. Пониже табурет, а это будет стол.

— Лесной кабинет ваш, — сказал Емельянов. — И не видно. И тишь, чтобы мысли не спугивать.

Через некоторое время, наладив в шалаше порядок, Емельянов уехал. Владимир Ильич пошёл к озеру проводить. Постоял, пока лодка скрылась в голубом просторе Разлива. Где-то вдали запоздалая кукушка вздохнула: «ку-ку». Смолкла. Лето шло к середине, птицы не пели — кормили птенцов.

Владимир Ильич помахал невидной уже лодке и быстрым шагом направился в свой «кабинет». Раскрыл синюю тетрадь. Он писал книгу о том, как надо рабочим бороться за диктатуру пролетариата — как строить своё государство.

Кочегар паровоза № 293

Хорошо, что Центральный Комитет партии постановил укрыть Ленина. На другой день, как он ушёл из дому, прискакали юнкера с обыском. Перерыли все вещи. Штыками шарили под кроватями. Искали Ленина.

А Ленин жил в шалаше у Разлива. Ничего бы, да комары не давали покоя. Тучи комаров. День и ночь грызли.

— От Временного правительства спасся, а от комаров спасения нет, говорил, весь искусанный, Владимир Ильич.

Или припустят дожди. Тогда сиди в шалаше. Костёр зальёт — не разожжёшь, и чаю вскипятить негде, не погреешься горяченьким. Трудновато приходилось. Но Владимир Ильич голову не вешал. Работы у Владимира Ильича было без края. Писал статьи, обдумывал книгу. Руководил съездом большевиков. В Петрограде собрался VI съезд большевистской партии. К Владимиру Ильичу тайно приезжали товарищи. С ними Владимир Ильич посылал свои советы и указания съезду.

Владимир Ильич говорил: надо готовить вооружённое восстание и пролетариату с беднейшим крестьянством брать власть. Вот какую грандиозную задачу поставил Владимир Ильич перед съездом! Съезд согласился с Лениным и принял решение готовить восстание.

«В эту схватку наша партия идёт с развёрнутыми знамёнами... настаёт смертный час старого мира» — так было написано в воззвании съезда.

Буржуазное Временное правительство боялось и ненавидело Ленина. Оно понимало, что вождь партии — Ленин. Это Ленин ведёт так смело и решительно партию. В погоне за Лениным буржуазное правительство поставило на ноги сотни сыщиков. Была у полиции знаменитая собака-ищейка по имени Треф, так и её пустили по следу за Лениным.

Стало рискованно жить в шалаше. Да и лето шло к осени. Ночи стали студёные, длинные. Зарядили дожди. Угрюмо супился насквозь вымокший лес.

И ЦК партии постановил перевести Ленина из шалаша в другое, более отдалённое место. Во что бы то ни стало уберечь вождя партии!

...Однажды Емельянов чуть свет явился на Оружейный завод. Прямо к начальству. Но разве сыщется такое начальство, чтобы с зарёй поднялось на работу? Конечно, и в помине начальника не было. Емельянову того и надо. Знакомый караульный разрешил войти в кабинет. Для караульного Емельянов придумал причину, на самом же деле ему нужно было раздобыть пропуск для перехода границы Финляндии. Некоторые заводские рабочие жили тогда в финских местностях, так им начальник выдавал такие пропуска на проезд. Пропуска у него на столе валялись кое-как, в беспорядке. Емельянов, что под руку попало, загрёб — и в карман. И к Ленину в шалаш. Превратился Владимир Ильич в Константина Петровича Иванова. Начисто обриты усы и борода, подрисованы брови. Надет парик. Из-под надвинутой кепки упали на лоб пряди волнистых волос. Совершенно на себя не похож сделался Ленин Надежда Константиновна и та не сразу узнала бы.

Поздним вечером оставили шалаш у Разлива и отправились в путь, через лес, к железной дороге. Вели Владимира Ильича Емельянов да двое финских товарищей. Вначале шли благополучно, только уж очень было темно, по-осеннему. Шли гуськом узкой тропкой. Ветви бьют по лицу. Вдруг стали спотыкаться о кочки. Тропка исчезла. Деревья поредели. А кустарник разросся чаще, непроходимее. И что это? Что это?.. Потянуло дымом. Костёр или где-то пожар? С каждым шагом дым ядовитее. Трудно стало дышать. Слепли глаза. Владимир Ильич остановился, взялся за грудь. Грудь разрывалась от кашля. Идти невозможно.

— Свернём, — сказал Емельянов. — Горит торф на болоте.

Ничего нет страшнее и коварнее торфяного пожара! Огонь тлеет под землёй, раскаляется, ползёт дальше. И вдруг взвьётся ввысь бушующий столб, всё сжигая и уничтожая кругом.

«Что наделал! На пожар завёл Ленина. Неужто погубим?» — думал Емельянов.

— Владимир Ильич, за мной! Товарищи...

Они задыхались. Брели в клубах белого дыма. Как слепые. На ощупь. Спотыкались. Падали. Поднимались, снова брели.

Но вот дым стал редеть. Дым оставался в стороне, позади. Под ногами не шатались больше зыбкие болотные кочки. Вырвались из горящего торфяного болота! Вырвались наконец. Убежали от пожара. Спаслись.

Измученные, они сели на землю отдохнуть. Дрожали ноги от слабости. Емельянов мучительно себя корил. Страшно подумать, что могло быть...

А на завтра ночью, в час пятнадцать минут, к станции Удельной из Петрограда подошёл дачный поезд. Поезд направлялся в Финляндию. Машинистом был финн Гуго Ялава. Он был большевиком, жил в Петрограде. Он любил свой испытанный паровоз № 293, с чёрной, расширенной кверху трубой и круглыми горячими бочками. На Удельной Гуго Ялава остановил паровоз у переезда. Выглянул на волю. Так и есть. Возле переезда стоял человек, курил; вспыхивал светляком в темноте огонёк папиросы. Другой читал у фонаря газету. Так было условлено. Провожающие — один курит, другой читает. Значит, всё в порядке. Сейчас покажется Ленин. «Где же он?» — забеспокоился Гуго Ялава.

В эту секунду к паровозу быстрой походкой подошёл невысокий коренастый рабочий. В кепке. Каштановая прядь упала из-под кепки на лоб. Взялся за поручни, подтянулся, залез на паровоз:

— Здравствуйте. Я Константин Петрович Иванов. К вам в кочегары.

— Здравствуйте, товарищ кочегар, — приветствовал Гуго Ялава.

Владимир Ильич, а это был он, сбросил пальто и, как заправский кочегар, принялся укладывать возле топки в клетку дрова. Паровоз коротко свистнул, заработали шатуны. Побежал мимо лес.

До станции Белоостров доехали без забот. Станция Белоостров была пограничной. Едва поезд остановился, по вагонам началась проверка у пассажиров документов. Заверещали свистки. Вдоль поезда торопился кондуктор, раскачивая в темноте фонарём. Слышались крики, брань.

— Как бы к нам на паровоз не пожаловали, — с опаской сказал Гуго Ялава. — Хоть и с пропуском, а всё от сыщиков лучше подальше.

— Какой же выход? — спросил Ленин.

— Найдём, — сказал машинист.

Спрыгнул на рельсы, живо отцепил паровоз и погнал на всех парах к водоразборной колонке. Будто надо воды набирать.

Первый звонок. Сыщики из пограничной охраны всё шныряли по вагонам. Кого-то искали. Кого-то куда-то вели. Вся станция была в возбуждении.

Второй звонок. Паровоз у колонки не тронулся. Только за минуту до отправления Гуго Ялава подвёл свой 293-й к вагонам. Прицепил. Третий звонок. Паровоз озорно засвистел. «Остались с носом, голубчики!» — дразнил сыщиков машинист Гуго Ялава.

И поезд помчался дальше. Ночь летела навстречу. Летело звёздное августовское небо. Владимир Ильич высунулся из паровозной будки. Свежий ветер ударил в лицо.

Скоро они были в Финляндии.

3. ПРИЛЕПИН*

О Ленине (2015)

Просвещённая публика постит записи Ленина, экий, мол, злодей.

Мы не в курсе ведут ли записи нынешние действующие лица, тот же Пётр Порошенко, вёл ли их Турчинов, но в любом случае всегда удивляет искреннее, детское какое-то возмущение выходками кровавого Ильича, в то время, как такие же, только поглупей и пожиже, кровопийцы живут по соседству, и даже выпускают шоколадные конфеты.

Другим же традиционным удивлением моим является столь же ретивая ненависть к кровавому Ильичу со стороны националистов, уверенных в том, что он немецкий шпион.

Я, честно говоря, так и не понял — вне зависимости от того, брал он деньги или не брал, зачем немецкий шпион и разрушитель России берёт Казань, берёт Баку, а если не будет Баку братья, обещает город сжечь, жестоко троллит Прибалтику, бьёт немцев

* *Захар Прилепин* (наст. имя и фамилия — Евгений Николаевич Прилепин; р. 1975) — российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель Палаты депутатов партии, член Президиума Центрального совета партии, член Центрального совета политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 22 февраля 2021 г. Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

на Украине, и ведёт себя точь в точь как какой-нибудь Иоанн Грозный.

Итак, цитаты.

«...Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он всё приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку».

3 июня 1918 г. (*Волкоганов Д. А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэлянчу*).

«Свияжск, Троцкому.

Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление...»

10 сентября 1918 г. (*Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 178*).

«Насчет иностранцев советуем не спешить высылкой. Не лучше ли в концлагерь...»

3 июня 1919 г. (*Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 335*).

«Т. Луначарскому

...Все театры советуем положить в гроб.

Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте».

Ленин, 26 августа 1921 г. (*Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142*).

«...Принять военные меры, т. е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, “на плечах” Балаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить там 100–1000 их чиновников и богачей)».

Ленин, август 1920 г.

(*Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996*).

(Часть записей тут вполне может быть вырванной из контекста, а какие-то просто фальсифицированы, у нас самые честные люди на земле так часто делают. Впрочем, сути это не отменяет. Ленин был очень жестокий человек, злодей, маниак. А то, что там Антанта, японцы, поляки, немцы, басмачи, заговорщики, французы, британцы, чехи и так далее, это всё неважно. Иное дело на Донбассе. Там-то понятно, отчего так разбомбили Донецк с Луганском и десяток деревень с городками снесли с лица земли. Оттого что «путинтиран». Всё ровно).

Про театр, кстати, самая смешная запись. Прогрессивные люди, видимо, всерьёз уверены, что злой Ильич хотел убить Станиславского и Немировича-Данченко с Качаловым. Но не успел.

И грамоте ещё предлагает обучать народ, гадина.

«Власть должна думать, насколько она мне угодна»

Инт. Надежде Дроздовой 25 апреля 2016

— Вчера, 20 апреля, был день рождения у Адольфа Гитлера, завтра — у Владимира Ленина. Как Вы относитесь к этим людям?

— Гитлер — демон, чудовище, отвратительный персонаж, место ему в аду.

Владимир Ильич Ленин — вековая мечта человечества, тоже тиран. Человек, у которого сознание взорвалось после колоссальной пролитой крови. Но человечество потом будет существовать и обращаться к опыту Ленина, потому что люди должны жить на принципах солидарности, согласия и освобождения труда, а не на принципах конформизма, идеализма, стяжательства, ростовщичества. Вспомнилась ситуация... В Индии выступал один хороший писатель. Он стал ругать Ленина очень сильно, Советскую власть. В зале сидели в чалмах индийские товарищи, и вдруг они взяли и все вышли из зала. Я тоже вышел вслед за ними. Они стоят, аж подрагивают.

Я спрашиваю: чего вы все ушли? Они говорят: он не имеет права ругать. Мы все получили образование благодаря Советскому Союзу, построили заводы, фабрики. Мы вышли из третьего мира и стали первым. Мы можем конкурировать со всем человечеством. И это подарил нам дедушка Ленин. Никто не может приехать сюда и ругать дедушку Ленина. Это взрослые мужики лет по семьдесят. Их свобода, достоинство, их честь, величайшее достижение напрямую связано с Лениным. У третьего мира появилась надежда на то, что люди больше не будут рабами. Сейчас нам кажется это смешным, а в начале двадцатого века, когда весь мир состоял из колоний, из наций, которые работали на белых людей, это явление было революционным. Что бы ни делали с Лениным, как бы к нему ни относились, он останется.

Коммунизм — это наша традиция и наша единственная надежда на прорыв в будущее*

Изменения, которые случились в последние три десятилетия с народами России, и в первую очередь с русским народом — удивительны.

Народ оказался сильнее и умнее пропаганды.

За эти годы страна получила в нагрузку тонны и тонны печатной продукции, посвящённой созданию «чёрного мифа» вокруг СССР и социализма как такового.

На телевидении властвовал коллективный Сванидзе, эфирное время оккупировали бесконечные антисоветские сериалы, которые, надо сказать, снимают и по сей день.

Являться антисоветчиком во все эти годы — огромный срок! — означало: быть модным, быть в тренде, быть современным.

Короли дискурса, самые богатые люди страны, самые модные актёры, певцы и певички, смехачи и ведущие ток-шоу, считали своим долгом при всяком удобном случае, по поводу и без повода, цедить: ...мы знаем, чем всё это закончилось!..

Ничего они не знали, на самом деле. И самое главное: ничего ещё не закончилось.

Приведём несколько элементарных примеров навскидку.

Если в 1995 году к Ленину относилось негативно 48% россиян, то спустя двадцать лет ситуация изменилась ровно наоборот: теперь выше половины взрослого населения страны воспринимают Ленина позитивно. (Негативно — чуть выше 20%; остальные «не определились».)

Объяснения тому, думается, простые; мудрствовать лукаво тут не зачем.

Во-первых, Ленин воспринимается, как заступник всех униженных и оскорблённых: человек, бросивший самый страшный вызов капитализму как таковому, или, если угодно: мировой финансовой системе.

Ленин — антоним олигархату и гламуру.

Не важно, какое это имеет отношение к реальному историческому Ленину, важно то, что миф о «немецком шпионе» и «маньяке» в сознании большинства жителей России не прижился.

Ленин — это, да, фанатик, безраздельно преданный своей идее.

Сейчас такая порода перевелась. Но люди устали от «слишком человеческого» в наших руководителях, иногда хочется иметь

* Написано в 2016.

дело со «сверхчеловеком». Ленин — безусловный сверхчеловек: лобастый тип из Симбирска, изменивший историю человечества, сделавший Россию центральным персонажем мировой истории XX века и предметом надежд и чаяний для миллионов и миллиардов представителей «третьего мира»: глядя на советскую Россию, они верили, что «мировой порядок» — это не навсегда, что однажды может явиться некий русский, упрямый, непобедимый вождь — и всё это (колониальную систему в том или ином виде, систему международных финансовых манипуляций и т. п.) беспощадно сломать.

Ещё больший переворот произошёл в сознании населения нашей страны в связи с именем Сталина.

По данным экспертов, если в 1989 году рейтинг Сталина в перечне государственных деятелей, оказавших наибольшее влияние на отечественную историю, был всего 12%, то в 2012 году он оказался уже на первом месте с 42%, а в 2015 году 52% россиян заявили, что Сталин сыграл в истории России «безусловно положительную» и «скорее положительную» роль. Противоположной точки зрения придерживаются менее 30% опрошенных. (Есть резонные данные, что рейтинг Сталина стремится в России к 70 процентам: но признать такое публично социологи элементарно не решаются).

Восприятие, а, вернее сказать, приятие Сталина — вовсе не признак, как любят выражаться наши любезные либерал-демократы, «крепостного сознания» населения страны, и уж точно не желание возобновления репрессий и чисток.

В первую очередь, Сталин — это символ победы в самой страшной мировой войне, символ индустриализации и модернизации.

Наконец, Сталин (собственно, как и Ленин) — аскет. Это важно! Данное качество в современной российской, да и мировой политике, просматривается плохо.

Но русские высоко ценят скромность и бессребреничество.

(Все рассуждения на тему, что «Ленин попил пиво в Швейцарии», а «Сталин имел в войну спецпаёк» — особенно из уст людей, скупивших кварталы недвижимости во всех мыслимых европах и азиях, — звучат не просто анекдотично, а идиотично. Постыдились бы рот свой открывать.)

«Сталин — единственное, что может вызвать ужас на блудливом лице лавочника», — сказал как-то один профессор. Под «лавочником» здесь, естественно, не имеется в виду банальный представитель малого и среднего бизнеса (желаем всем им удачи и сил), но тот тип человека, для которого всё продётся и покупается, и цена в той или иной валюте — единственная мера всех вещей.

Подобного вида «лавочки» заняли слишком много места в нашей жизни, и — не по праву.

Взыскуя справедливости, люди не понимают, отчего торговцы стали национальной аристократией: заняли место, где по праву должны находиться воины и философы (успешные купцы и фабриканты тоже обязаны представлять аристократию — но не могут только они).

Наконец, мы подошли к тому, что схожие трансформации случились и по отношению к советскому прошлому как к таковому. Ныне свыше 40% россиян оценивают опыт СССР, как положительный (и только 9% как отрицательный).

Для сравнения: 52% россиян не может назвать никаких достижений Бориса Ельцина; зато многочисленные отрицательные итоги его правления называют свыше двух третей россиян.

(Убеждены в «полезности» Ельцина только 11% россиян.)

И здесь мы подходим к простейшему вопросу: у нас демократия или нет?

Едва ли стоит сомневаться в том, что подавляющая часть российских элит, обладающих всей полнотой исполнительной власти — родом из 90-х.

По сути говоря, это либерально-буржуазная генерация, «дети Бориса Николаевича»!

Но кто-то должен представлять большинство населения?

Давайте мы ещё раз повторим для закрепления: по разным оценкам, от 40 до 60% россиян придерживаются «левых» взглядов, ожидают «полевения» экономики, и испытывают в той или иной мере интерес или симпатию к «левым» фигурам отечественной и мировой истории.

Никакая идеология в России — ни либеральная, ни правонационалистическая не имеет столь очевидной и реальной поддержки.

Больше половины россиян, согласно официальной статистике, желает переоценки эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ», и уж точно не хочет жить в той же системе, со всеми очевидными её издержками — как минимум, в виде социального неравенства и явной зависимости от мировых финансовых институтов, как максимум — в обществе, построенном на принципах стяжательства и конформизма.

Так почему же мы до сих пор пребываем в обществе, которое не отвечает чаяниям большинства?

Потому что кто-то нам сказал, что коммунизм — это прошлое, что он уже был?

А либерализм — его что, не было?

А национализм — его только что придумали?

Коммунизм — это одновременно и наша традиция, и наша единственная надежда на прорыв в будущее.

Более того, коммунизм — это ещё и стремление к свободе, проявление воистину дерзких, вольнолюбивых, яростных качеств нашего национального характера.

Буйство донского казака Степана Тимофеевича Разина, удаль башкирского атамана Салавата Юлаева, декабристский идеализм, поэзия Маяковского и поэзия Есенина, партизаны Сидора Ковпака, улыбка Гагарина — это тоже коммунизм.

Помните, как там у Есенина: «А Россия — вот это глыба... Лишь бы только советская власть!»

Коммунизм — выбор народный.

Мы не раз видели в последние годы, где собираются люди во имя сохранения своей русской идентичности. Они собираются возле памятников Ленина.

Отстоявшие памятник — сохраняют право говорить на русском языке, жить в пространстве национальной истории, гордиться своими победами, а не смотреть на факельные шествия.

Красное знамя над Россией — неизбежно.

Взяли рейхстаг — и здесь справимся.

М. ПРИШВИН*

Ленин на охоте**

Ошибка Вани

Шестой год мои летние наблюдения в Московской и Владимирской губерниях (Ленинск — Переславль — Сергиев) вертятся около знаменитого утино́го озера-болота, и все почему-то я никак не могу собраться побывать на этом Заболотье. Причина этому: обычное равнодушие охотника с подружейной собакой к утиной охоте. А болото теперь уже не просто охотничье, это историческое место: тут Ленин был на охоте. Буденный принял шефство над селом Константиновым, которое лежит тут в центре бекасиных охот. Я отправился в этот край Дубенских болот за бекасами, не загадывая

* *Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954)* — русский советский писатель, прозаик и публицист. В своём творчестве исследовал важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношениях людей, о связи человека с природой.

** Наше творчество (Сергиев). 1926. № 2–3, ноябрь-дек.

собирать легенды и факты о пребывании Ленина в утином этом краю. Из Константинова в Сергиев на каждый базар возят яблоки. Утром, разыскав себе подводу, я сговорился г Ваней ехать в Посеево, когда он распродаст свои яблоки. Часа в три дня я был с собакой своей и ружьем возле «Дома крестьянина». Ваня тут еле на ногах стоял.

— Эх, Ваня, Ваня, как-то мы теперь доедем с тобой!

— Доедем, товарищ!

Ваня, деревенский комсомолец, беседовал не раз с самим Лениным, когда был еще мальчиком.

— Верно, Ваня, не впрок пошла тебе наука Ильича?

Простодушный Ваня согласился:

— Фа-акт!

И стал сваливать все на Госспирт.

— Врешь, — говорю, — это не потому: наверное, и до того пил самогонку?

Пришлось и с этим согласиться:

— Ясно!

Мы сидели на грядке телеги, свесив ноги. Чтобы в этом положении видеть лошадь и дорогу, надо постоянно повертывать туда голову и не забываться: особенность нашей телеги. Случилось, около одной большой колдобины Ваня недосмотрел, колесо скользнуло, телега сильно наклонилась, мы плашмя лягнулись в грязь, и через нас перелетела собака.

Досадно стало.

— Эх ты, Ваня...

— Ошибка вышла, — сказал он, — больше не буду.

— Ну, да, не будешь, давай вожжи, бери собаку.

— Не буду, не буду, виноват, простите, сам же Ильич говорил: «На ошибках мы учимся».

— Брехун ты порядочный, не учил же тебя Ильич водку пить.

Согласился и, почесав затылок, сказал:

— Фактически!

Так мы ехали шагом, три-четыре версты в час непрерывными лесами до Посеевки, откуда начинались знаменитые когда-то охотничьи угодья, арендатором которых был англичанин Мерилиз. В темноте мы подъехали к дому Алексея Михайловича Егорова, который был двадцать лет егерем у Мерилиза и, как оказалось потом, охотился с Лениным.

У егеря

Всю жизнь слышал «Мюр и Мерилиз» и представлял себе это немецкой четой: Мюр — супруг, Мерилиз — его дама. И тут ока-

зывается: Мерилиз мужчина, англичанин и страстный охотник. Он снимал огромное пространство болот и лесов, много охотился, но всегда в меру, зараз больше восьми тетеревей не стрелял и, если собака делала стойку по девятому, — отзывал ее и отправлялся домой. Не жалел денег, в каждой деревне держал сторожа. Дичь размножалась, кишела в этих местах.

Выполняя свое дело, каждый охотник большой индивидуалист, каждому хочется выучить лучше другого свою собаку и обстрелять своего товарища. Но основа души настоящего природного охотника, получившего прививку этой страсти в детстве, хранит стихийный коммунизм. Только этим и объясняется, что на охоте сходятся как друзья люди самых разнообразных жизненных положений. Так сошлись между собой богатый англичанин Мерилиз и бедный русский мужик Егоров. Теперь, когда егеря рассказывает о конце своего хозяина, жена его плачет и дети сидят повесивши нос. После трудной операции Мерилиз уже не мог ходить по болоту, но до самого конца все-таки охотился. Выдумал с своим егерем натаскать собаку так, чтобы она сама, без хозяина, обегала большие пространства. Собака ищет. Мерилиз сидит на стуле и наблюдает. Собака делает стойку. Охотник, поддерживаемый своим егерем, еле передвигая ноги, приближается: дупель крепко сидит и собака надежная...

В прежних барских охотах егеря обыкновенно баловались и делались хамами. Но англичанин иначе воспитал своего егеря. Алексей Михайлович и с малоопытным и небогатым охотником будет теперь весь день ходить и виду не покажет, только бы начинающий охотник любил свое дело. Может быть, с таким охотником он не пойдет в другой раз, но все мы кормимся своим ремеслом.

С первого слова, с первого взгляда на мою собаку Алексей Михайлович почувствовал мою природу, и только успели мы поздороваться, вступаем с ним в продолжительную беседу на тему, кто умней — куропатка или же тетерев. Взвесив все, мы решили, что тетерев много умней Правда, глуповата куропатка: приладится зимой и летает все на то же самое место, и она утром только, бывает, собирается вылетать, а ястреб уже дожидается ее на дереве. Так, беседуя, мы высидели незаметно далеко за полночь.

— Я вас, — сказал Алексей Михайлович, — отведу спать на сено в сарай, на то самое место уложу, где и сам Ленин спал.

— Как Ленин?

После того долго еще пришлось посидеть, слушая рассказы этого охотника о Ленине.

Первая встреча

- Сразу узнал, — сказал Алексей Михайлович.
— По портрету?
— По карточке, да и так: взгляд серьезный. Все другие товарищи сидят просто, а у него взгляд.
— И не шутит?
— Ну, как же не шутит, смеется, а все-таки заметно, взгляд не такой.
— Не охотничий?
— Ну, какой Ленин охотник: ездил, конечно, на деревенскую жизнь посмотреть, отдохнуть.

«Не охотник» было сказано егерем почти с уважением, потому что очень уж много настрадался он от тех, кому хочется быть настоящими охотниками.

Да, вот тоже так не бывает с настоящими охотниками: собираются на охоту, и вдруг Ленина нет. Бросились в сад — нет, во дворе нет, на улице никто не видал. Ленин пропал, а ведь это не шутка. Долго искали, тревожились, пока наконец слух дошел: Ленин в Шеметове в совхозе сидит, с ребятами беседу ведет.

— И про охоту забыл, — сказал Алексей Михайлович, — а ведь у настоящих охотников так не бывает.

Ленин на тяге

Старый егерь терпеть не может револьверов, считает, что у охотника должно быть одно ружье. Но по тому времени считалось, что необходимо ходить с револьвером: опасное было время. Так и они с Лениным взяли по револьверу и пошли в лес на вальдшнепов.

Известно, как тянут вальдшнепы, каждый год вдоль такой-то просеки, у такой-то березки завертывают, и тут одна линия пересекается с другой, и кто знает эту березку от прошлого года, стань тут в новом году, и непременно весь вальдшнеп пойдет через тебя.

Возле такой замечательной березки егерь поставил Ленина и сам отошел, но все-таки устроился, чтобы ему видно было Ленина.

Опытный охотник не ошибся, конечно: только успели расставиться, раздается «цик» и «хор», показывается вальдшнеп и через голову Алексея Михайловича прямо тянет на Ленина. Что с ним? Не слышит ли, или обманулся слухом, ждет с другой стороны?

— Владимир Ильич!

Оглянулся, поднимает ружье, выстрелил и вдруг повалился навзничь.

Егерь бросился.

— Что с вами, Владимир Ильич?

Поднимается. Вышло это, верно, оттого, что он поспешил, плохо ружье прижал к плечу, оно его толкнуло, попятился, а там назади пенек под ногу, и повалился.

«Ну, — подумал егерь, — так много вальдшнепов не убьешь», — и стал рядом. Ленин не гонит. Вот опять тянет вальдшнеп. И тут Алексею Михайловичу вдруг пришла в голову одна счастливая мысль. Ведь это известно всем охотникам, что если выстрелить одновременно двум стрелкам, то каждый их них не будет слышать выстрела соседа: свой выстрел у самого уха все заглушает. Это известное и положил егерь в основу своего загада. Ленин целится, и егерь целится. Вместе ударили. Вальдшнеп упал. Прекрасный загад: конечно, Ленин не мог слышать выстрела. Побежал подымать, а ружье-то продуть и забыл. Эх, дурень ты дурень, старый Алексей, что бы тебе дунуть в кустах, когда подымал вальдшнепа! Несет теперь добычу Ленину, поздравляет:

— Ловко ударили, с полем, Владимир Ильич!

— Спасибо, Алексей Михайлович, — отвечает Ленин, — только отчего же у тебя ружье-то дымится?

Сам смеется, закатывается, как ребенок.

— Ну, ничего, — говорит, — ничего, становись рядом, давай вместе стрелять.

Стали рядом. Стреляли вместе. И за вечер семь штук убили без промаха.

А. ПРОКОФЬЕВ*

«Когда мы в огнеметной лаве...» (1932)

* * *

Когда мы в огнеметной лаве
Решили все отдать борьбе —
Мы мало думали о славе,
О нашей собственной судьбе.

* Александр Андреевич Прокофьев (1900–1971) — русский советский поэт и журналист, военный корреспондент, общественный деятель Герой Социалистического Труда (1970). Лауреат Ленинской (1961) и Сталинской премии второй степени (1946).

По совести — другая думка
У нас была, светла, как мед:
Чтоб пули были в наших сумках
И чтоб работал пулемет!

Мы горы выбрали подножьем
И в сонме суши и морей
Забыли все, что было можно
Забыть. Забыли матерей.

Дома, заречные долины,
Полей зеленых горький клоч,
Пески и розовую глину —
Все то, что звало и влекло.

Но мы и в буре наступлений,
Железом землю замостив,
Произносили имя Ленин,
Как снова не произнести!

Все было в нем: поля, и семьи,
И наш исход из вечной тьмы, —
Так дуб не держится за землю,
Как за него держались мы!

Ленин (1941)

Ленин — клич миллионов. Никогда не смолкая,
Клич гремит через годы, через все времена.
Ленин в сердце народов, воля их боевая,
Песня матери сыну, что легка и вольна.

Ленин — вечное солнце, с ним никто нам не страшен,
Человеческой радости Ленин ясная весть.
Ленин — вождь Красной армии героической нашей,
Той, которая строилась, той, которая есть!

Вместе с Лениным рвали мы мрак извечный, гнетущий.
Рдеют звёзды на шлемах, а сколько — не счастье.
Ленин — свет всех народов, тех, что будут в грядущем,
Тех, которые были, тех, которые есть!

Вместе с Лениным всюду врагов одолели,
Отстояли отчизну в кровавом бою.
Вместе с Лениным шли мы в снега и метели
За советскую власть за родную свою...

За советскую власть, что от моря до моря
Подняла металлистов, косарей, рыбаков,
За которую мужество наше прямое,
Закалённое Лениным, шло на гребни веков.

За советскую власть, за простор необъятный —
От низин Заонежья до дорог на Памир...
Высоко встало солнце. Гремит наша клятва
От лица всех народов, населяющих мир!

Три поколения

Тысяча в рядах и каждый дорог
По-особому не только нам.
Вот идут товарищи, которых
Ленин называл по именам.
Их сжимали, комкали и гнули
Ветер и вода, огонь и твердь, —
Гвардию, прошедшую сквозь бури,
Через плен централов, через смерть.
Дальше, речь пойдет о переправах.
Об отрядах в грохоте, в дыму,
И представляется по праву
Слово поколенью моему.
Тут, величья класса не унизив,
Через смерть шагнувшие горой,
Комиссары армий и дивизий
Воинский выравнивают строй.
А за нами, не окинуть глазом,
Тоже под порядком боевым
Молодость, которая ни разу
Не видала Ленина живым.
Тысячи в рядах. И каждый дорог
По-особому не только нам.
Впереди товарищи, которых
Ленин называл по именам.

А. ПРОХАНОВ*

Ленин — человек неба**

Меня всегда изумляет, когда во время великолепных победных парадов на Красной площади власти закутывают Мавзолей в матерiu. Они хотят отделить Мавзолей от великолепной, наполненной огромными строевыми «коробками» площади. Они хотят от солдат, танкистов, авиаторов, от знаменосцев со сверкающими саблями и развевающимися знамёнами спрятать Ленина. Боятся, что воины во время шествия смогут разглядеть ту, нетронутую, незадрапированную площадь, с которой в 1941 году Сталин направлял парадные войска сразу в бой под Волоколамск. Или не хотят, чтобы войска видели полноту парада 1945 года, когда к мавзолею швыряли обугленные, простреленные немецкие штандарты? Это обидно и смешно. Ткань не сможет удержать мистическую мощь кристалла, от которого веет гигантской космической силой, что пробивает не только ткань, не только броню, она пробивает времена и эпохи.

Власть, которая боится Ленина, — слабая власть. Путин сказал, что Россия — наследница Советского Союза. А Советский Союз — это Ленин. Неужели нашему лидеру не хватает мужества, чтобы отринуть глупые, дурацкие, иногда смешные претензии либералов, которые украли у России её имперскую советскую историю и всё ещё правят бал, диктуют, определяют положение вещей в сегодняшней идеологии?

Жду момента, когда опадёт эта ткань, и во время военных парадов Мавзолей во всей своей грозной кристаллической красоте вольётся в череду русских соборов, памятников, и мимо него будет грохотать наша современная техника.

Ленин — это грандиозный ресурс России. Через таких людей, как Ленин, страны и народы вписывают себя в историю, делают себя частью грандиозных мировых процессов. Россия без Ленина — всё равно, что Россия без Волги или Уральского хребта.

Ленин — это не Горки Ленинские, это не Шушенское, где стоит изба, в которой Ленин проводил ссылку и писал свои заметки. Ленин — это огромная Саяно-Шушенская ГЭС. Ленин — это могучий

* Александр Андреевич Проханов (р. 1938) — советский и российский писатель, журналист, прозаик, сценарист, общественный и политический деятель. Член секретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты «Завтра». Лауреат премии Ленинского комсомола (1982).

** Время публикации на сайте газ. «Завтра» — 22 апреля 2020.

ледокол, который, как бритва, резал полярные льды. Ленин — это русский космос. Ленин — это вся русская цивилизация. Он оставил свой след — свои мысли, свой замысел — во всей небывалой красной государственной машине, которая сложилась и продолжала складываться после его кончины. И в 1941 году приняла на себя натиск и одолела другую, такую же мощную машину, которая пришла в человечество из чёрного космоса.

Ленин предчувствовал эту красную страну. Ленин задумал эту красную страну, которой тогда ещё не было и в помине. Ленин выхватил эту красную страну из кровавых войн, из междоусобиц и распрей. Он воплотил её, он запустил её в историю.

Ленин был экономист, политик, футуролог, он остро ощущал будущее, он его предрекал и потом реализовывал. Он смотрел вперёд. Но он всегда чувствовал над собой небо, он был человеком великой вертикали, как все великие русские мечтатели, он всегда грезил о земном царстве, в котором господствует божественная справедливость, творчество, труд и бессмертие. Ленин — это человек русского неба.

Ленин — человек, через которого одна эпоха перешла в другую. Это мост, по которому человечество переместилось из эпохи, именуемой «капитализм», в новую эпоху — социализм. И Ленин выдержал это движение. Выдержал, как мост, движение человечества, которое шло иногда в ногу, иногда не в ногу, но оно перешло в новую эпоху. И та социалистическая эпоха больше никогда никуда не денется: она становится достоянием Вселенной.

Ленин возник в момент, когда завершился один из фрагментов грандиозной многовековой истории человеческой цивилизации. Цивилизации было тесно в тех рамках, в которых она оказалась. И она рванула, разрушила рамки, раздвинула их, она совершила революцию и переплеснулась в другое время и в другую историю. Ленин был человеком, который стоял на рубеже этого. Он пропустил через себя всю эту бурю, все натиски, всю кровь, всё страшное давление истории.

Сейчас мы видим, что кончается ещё одна эпоха — та, которая была воспета философами и стратегами антиленинизма, теми, кто разрушил красную империю, осквернил все её смыслы, все ценности и вбил осиновый кол туда, откуда рождались русские революции. Эта эпоха кончилась, она не оправдала себя. Не оправдал себя глобализм, не оправдал себя мировой капитал, не оправдал себя транснациональные корпорации. Человечество под эгидой этих антиленинских сил превратилось в нечто дряблое, загнивающее, бессмысленное, не охваченное историческим порывом, историческим творчеством. Превратилось в нечто жалкое и бессильное,

на что набросился крохотный плазмодий, имя которому — коронавирус. И всё, что отрицали антиленинцы, теперь отрицается самой русской историей.

И вновь Ленин возникает на перепутье эпох. Теперь человечество опять возвращается на ленинский путь, на ленинскую дорогу. Благо, что русские люди, русские революционеры-ленинцы задолго до того, как они погибли здесь, на родине, сумели посеять семена ленинизма в Китае. И эти семена выросли в грандиозный китайский урожай, в китайский колосс.

Наша жизнь полна китайских осквернителей Ленина и ленинизма. Насмешники, иронисты, пародисты — вся эта мелкотравчатая комариная многомерная толпа, которая то возникает, то исчезает, то смеётся, то рыдает, — вся она обречена на снос. Ветер перемен будет сдувать её с лица земли, выметать из истории.

Они хотят вынести Ленина из Мавзолея, хотят снести Мавзолей, испепелить само имя Ленина, память о Ленине из русской истории, из русского бытия. Но когда я был на шанхайской всемирной выставке в Китае, я видел главный китайский павильон. Китайцы сделали этот павильон в виде мавзолея. Но не того мавзолея, который стоит у нас на Красной площади, как пирамида, и этаж за этажом, ступень за ступенью поднимается вверх, сужаясь к небу. Китайцы развернули эту пирамиду, они направили её в небо самыми мощными платформами. Китайский мавзолей опирается на землю кристаллическим кубом, а из него, всё расширяясь и расширяясь, закрывая небо, растут всё новые и новые платформы. И это — продолжение ленинизма, это осмысление ленинизма как могучей силы, которая сродни геологической силе, способна создать новое представление о земле и о небе, создать новые координаты, в системе которых и будет развиваться человечество.

Нет сомнения, что мир после победы 1917 года, в 1991 году отступил назад, отказался от будущего, устремился в прошлое. И в прошлом он одичал, озверел, он измельчал. Сегодняшний человек — это человек не будущего, а прошлого. Человек, которому нравится всё, что связано с отжившим, с остекленевшим и омертвевшим.

Но так будет не всегда. Русская Мечта, русский порыв, русская революция — они выносят нас к вершинам новой цивилизации, нового мироустройства, в котором Ленин велик и столь же значителен для России, как Байкал или три океана. Поэтому вместе с другими я жду с нетерпением, когда пройдёт парад по Красной площади, и исчезнет эта эфемерная материя, ткань, отделяющая магический кристалл Мавзолея от Храма Василия Блаженного

и от русских пехотинцев, несущих среди блеска сабель знамя Победы. Потому что знамя Победы — это знамя ленинизма.

Если этого не случится, если всё останется в прежней робости, в прежнем страхе, то найдётся человек, который, глядя на нынешних лидеров, повторит библейские слова из книги пророка Даниила: *«Ты взвешен на весах и найден очень лёгким»*.

В. ПЬЕЦУХ*

Дневник читателя**

Если ты человек праздный, то есть тебе дела нет до биржевых котировок или оптовых цен на пиво, то разум твой беззащитен перед влияниями извне. Вот пример того, как одно постороннее замечание может вогнать такого человека в изнурительные размышления и тоску...

Читаем у Чезаре Ломброзо: «Те, кому выпало редкое счастье жить рядом с великими людьми, знают, что все они сумасшедшие».

Вот так так! Это, стало быть, мыслители, ученые, художники, вообще выдающиеся деятели в сфере нематериального, на которых держится человеческая культура, — это всё обыкновенные «психические», как говорят у нас труженики города и села. Отсюда, между прочим, логически вытекает, что нормальные, здравомыслящие особи — это как раз труженики города и села.

Впрочем, может быть, так и есть. Ведь известно же нам, что многие великие люди страдали такими свойствами, которые несовместимы со здравым смыслом, например, страстью к положительному труду. Менделеев работал даже во сне, Петр Чайковский только во сне и не сочинял, Лев Толстой оставил после себя девяносто с лишним томов шедевров, Саврасов бесконечно воспроизводил в красках прилет грачей. Кроме того, великих людей обличают некоторые фантастические поступки: например, Диоген жил в бочке из-под вина. Причем если на Западе таким образом отличались через одного, то в России все: Сумароков ходил похмеляться до ближайшего кабака в ночной рубашке и с Аннен-

* Вячеслав Алексеевич Пьецух (1946–2019) — русский писатель, редактор, репортёр, педагог. Литературным творчеством начал заниматься с 1973 г., публиковаться — с 1978 г. С января 1993 по июль 1995 был главным редактором журнала «Дружба народов».

** Октябрь. 2000. № 7.

ской лентой через плечо; Чайковский, будучи в Нью-Йорке, увидел в окошко демонстрацию мусорщиков и до того напугался, что со страху залез под стол; Лев Толстой полжизни провел в мыслях о самоубийстве; Саврасов, кроме водки и клюквы, ничего иного в пищу не употреблял; Менделеев на досуге мастерил чемоданы; Циолковский считался в Калуге городским дурачком, и ему ангелы являлись; Маяковский у себя на лбу бабочек рисовал. Вот и выходит, что великие люди суть сравнительно сумасшедшие, если в иных случаях не вполне.

Но тогда почему именно эти ненормальные испокон веков сизидали человеческую культуру, если бок о бок с ними всегда жили труженики города и села? Казалось бы, им-то и карты в руки, ибо труженик, как правило, трезв, расчетлив, целеустремлен и наперед знает свою судьбу. Но нет, ничего метафизического не родилось в этой здоровой среде, помимо хоровода, частушек и хохломы. Да и то хохломскую роспись не соборно же выдумывали всей Нижегородской губернией, а, поди, выдумал сей стиль какой-нибудь безвестный «психический» из народа, который видел ангелов и нарочно жил в собачьей будке вместо бочки из-под вина. То есть, скажем, народная песня — это такая песня, которую неизвестно кто именно сочинил.

Поэтому вопрос о роли личности в истории хорошо бы пересмотреть. В истории государств, движений, войн и прочих стихий общественного порядка пусть роль личности остается вторичной либо покуда гадательной, в рамках старинного силлогизма насчет того, кто ведет козла на бойню: веревка или десница поводыря. Но что до культуры, то невольно приходишь к выводу, что ее строили сумасшедшие, пускай даже относительно, если в иных случаях не вполне. Разве трезвомыслящий человек, знающий толк в арифметике и закваске, построит храм Василия Блаженного, который даже культурные люди называли «бредом пьяного огородника»? Нарисует селедку с головой человека, которая через столетие будет стоять, как пароход? Сочинит гениальную «Героическую симфонию» в честь кровопийцы и дурака? Трезвомыслящий человек, как это ни странно, даже анкерный механизм придумать не в состоянии, а изобрел его, как это ни странно, драматург Бомарше, который страдал kleptomанией, манией величия и смертельно боялся блох. Разумеется, не каждый сумасшедший напишет «Мертвые души» или откроет принцип реактивного движения, но и Гоголь, и Циолковский были положительно не в себе.

Таким образом, культура, самая наша суть, то, что с течением времени превратило говорящее млекопитающее в человека, есть следствие деятельности одиночек, которые были в той или иной

степени не в себе. Но тогда что есть норма, что аномалия, если культура составляет самую нашу суть? Может быть, норма — государственность, движения, войны и прочие формы каннибализма, может быть, норма — обыватель, который интересуется исключительно биржевыми котировками или оптовыми ценами на пиво, а культура... это так, детский случай, что-то вроде «родничка» на темени у младенцев, который, дай срок, затянется сам собой... Ведь странно все-таки: здравомыслящее большинство есть, чтобы работать, и работает, чтобы есть, а горстка «психических» «невесть зачем и почему не жнет, не сеет, а созидает избыточное знание, которое напрочь не нужно труженикам города и села. Ну зачем они его созидают? Ответа нет. Разве что подумаешь: а зачем планеты вращаются в бесконечной Вселенной, которая к тому же еще и расширяется? Вращаются ли они, нет ли где-нибудь в созвездии Гончих Псов, это не скажется ни на деторождаемости, ни на урожайности зерновых... Видимо, не зачем, а затем, что их Бог сотворил и завел, как часы заводят, из субстанциональной способности к творчеству или, если угодно, из неспособности не творить. Следовательно, наши «психические» сочиняют затем же, зачем планеты вращаются: одни не могут не вращаться, другие не могут не сочинять. То-то Гегель называл их «доверенными лицами мирового духа», видимо, подозревая, что сам Создатель бытует за рамками здравого смысла и в некотором роде не ведает, что творит.

Или, может быть, напротив: норма — это горстка сумасшедших, которые созидают культуру, то есть самую нашу суть. В этом случае искусство никак не принадлежит народу, а принадлежит оно узкому кругу творцов и потребителей прекрасного, которые тоже по-своему не в себе. Как же они в себе, если, вместо того чтобы заняться делом, они нацепят очки на нос и ну читать.

Словом, одно из двух: либо прав Платон и в идеальном государстве всех поэтов следует перевешать, чтобы они не смущали простой народ, либо Христос нам явился зря. Ибо не только способность к творчеству, а сама человечность есть прямое сумасшествие, хотя бы потому, что она обращена не на себя любимого, а вовне. Недаром князь Святослав Игоревич смеялся над христианами, поскольку в глазах нормального человека «возлюби врага своего» — это, конечно, бред. Также недаром настоящих последователей Христа раз-два и обчелся, разве что наши «психические», которые вечно отдают человечеству всё до последнего кодранта, а взамен получают кто чашу с цикутой, как Сократ, кто общую могилу, как Моцарт, кто астму, как Пруст, кто пулю, как Пушкин, а кто по минимуму — жену-заразу и невылазные долги.

Закономерность эта настолько стойкая, что иной раз заподозришь вмешательство в творческий процесс иной, противоположной, злобствующей силы, которая ежеминутно нашептывает тебе: а ты, бродяга, не сочиниай!

«Писать его портрет — трудно».

Из очерка М. Горького «В. И. Ленин».

И действительно, нет более загадочного, неосвоенного исторического персонажа, нежели Владимир Ульянов-Ленин. Даже Иисус Христос весь как на ладони, и феномен Емельки Пугачева легко поддается анализу, и Наполеон Бонапарт понятен, а Ленин нет. Слишком уж он широк, слишком многосторонен в диапазоне от гуманиста до палача. И то сказать, сколько кровей в нем было понаmeshано — лейкоциты русские, эритроциты шведские, тромбоциты еврейские, гемоглобин калмыцкий, антитела, вероятно, от чуваша. Недаром он и внешностью был чудной: лицо земского деятеля честного направления, а туловище волжского бурлака, приземистое, плотное и до того коротконогое, что, сидючи, он только мысками ботинок до пола и доставал.

Неудивительно, что на его счет путались даже те, кто превосходно знал вождя в борении и в быту, Вот в восемнадцатом году дружбан Горький о нем писал: «Ленин “вождь” и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы...» А в тридцатом году «буревестник» совсем иначе о нем писал: «... великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды (!) и ненависти ради осуществления дела любви». Вот такая метаморфоза, и это при том, что Горький знал Ленина как никто.

С нас же, внучат Великого Октября, как говорится, и взятки гладки, и это очень понятно, почему нам Ленина не понять. Главным образом потому, что он нас с младенчества гипнотизировал, глядя ласково и одновременно подозрительно с фотографического портрета, который не висел разве что при входе в общественный туалет. Так мы тогда и знали: если бы не Ленин, жили бы мы теперь, как в какой-нибудь несчастной Аргентине, где лечатся за деньги и солнце светит наоборот. После, в сравнительно зрелые наши годы, когда страна жила частично как во сне, частично как бы по «Домострою» и Первые Лица государства все были в разном градусе дураки, сделалось очевидно, что Ленин был самый культурный владыка за всю историю нашего отечества, не жулик и реалист. Во всяком случае, когда не показал себя пер-

вый коммунистический эксперимент, он честно и трезво вернулся к рыночному хозяйству, которое изначально не одобрял. В общем, мы, как добрые христиане в Христа, изо всех сил верили в Ильича, вместо того чтобы попытаться его понять.

Между тем, видимо, так и есть: Ленин был самый культурный владыка за всю историю нашего отечества, не жулик и реалист. То есть в тактическом отношении реалист, в стратегическом отношении он был отпетый идеалист. А то даже романтик, слепо и безусловно веровавший в мировую революцию, электричество, государственную форму собственности и, главное, в человека как благодатный материал, который только в силу социально-экономических обстоятельств пьяница и обормот, а так из него что хочешь, то и лепи. Таким образом, социалистическая эпопея, с одной стороны, представляет собой акт веры, с другой — чисто мальчишеское предприятие, отчаянную затею от избытка молодой энергии, пробу сил: получится — расчудесно, не получится — хлопнем дверью так, что содрогнется подлунный мир? И ведь получилось: такая фантастическая страна Россия, что получилось вопреки всем законам физики и даже семьдесят с лишним лет крутилось это перпетуум-мобиле, пока природа вещей не взяла свое. Именно пока не оказалось, что форма собственности сама по себе, а пьянство само по себе, что единственный источник прогресса — частная инициатива, а происхождение зла темно.

В остальном Ленин был реалист: ставки он делал всегда точные, например, на беспринципного босняка, поедом ел своих идейных противников, пароходами высылал вредную интеллигенцию за границу и перво-наперво раздавил тысячелетнее православие, классически понимающее разницу между добром и злом, благо знал из Белинского, что русский человек, в сущности, атеист. Хотя по-настоящему трезвым политиком был его преемник Иосиф I, который точно угадал, что, опираясь на учение Карла Маркса и особенности русской жизни, можно построить единственно грозную империю по древнеперсидскому образцу. Правда, этот был жулик, поскольку ради единоличной власти лицедействовал и ловчил. А Ленин нисколько жуликом не был, поскольку, как в женщину, был влюблен в коммунистическую идею, не то что его преемники, которые кадили марксизму так, по инерции, потому что Россия без вероучения не стоит.

А вот мудрецом Ленин не был, это что нет, то нет. Когда однажды его спросили, не опасается ли он, что со временем диктатура пролетариата выродится в диктатуру пролетарских вождей, он искренне не понял вопроса и отвечал собеседнику невпопад. Ну разве что под конец дней был ему просвет, и он чисто по-русски,

задним умом понял, что дело куда-то движется не туда. А ведь, кажется, нетрудно было предугадать, что в нашей варварской стороне полостная операция на государственности закончится как-нибудь особенно безобразно, исходя хотя бы из опыта Великой французской революции, которая заразила идиотией самый культурный народ Земли. Кажется, нетрудно было предугадать, что во исполнение идеалов справедливости и добра Россия непременно пройдет через ад, какого не знает историческая наука, и в конце концов придет к тому, от чего ушла. Именно к либерализму, частной собственности и эксплуатации человеческого труда. О, как бы хотелось спросить Владимира Ильича: а миллионы погибших ни за понюх табаку, а неисчислимость исковерканных судеб, а черное море слез — это, товарищ, как?!

А никак. Горький пишет, что однажды Ленин, приласкав соседских детей, сказал:

«— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя в даль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Всё будет понята, всё!»

И действительно, с течением времени понята было всё. В-первых, мы вывели, в чем, собственно, заключается всемирно-историческое значение Октября: в том, что Россия дала сигнал прочим народам мира — в этом направлении хода нет. В-вторых, стало понятно, что самая страшная историческая фигура — это беспочвенный идеалист с пистолетом, которому и ножниц в руки давать нельзя. В-третьих, выяснилось, что социальное счастье зарыто не там, где его искали большевики. В-четвертых — что переустройство общества лучше не доверять особам, которые не в состоянии наладить собственную жизнь, особенно если они по природе аскеты, перекаати-поле и непривычны к положительному труду. В-пятых — что общественное бытие намного сложнее личного, не терпит простых решений и чуть что немедленно превращается как бы в небытие.

Между тем Ленин был человеком простых решений. Если партия — то орден фанатиков, которые беспрекословно слушаются вождя. Если торжество социальной справедливости — то «грабь награбленное» вплоть до последнего пиджака. Если дисциплинированная армия — то каждого десятого в расход за нестойкость, как это было заведено у монголов времен Бату. Даром что русский

народ говорит: «Виноват волк, что корову съел, виновата и корова, что в лес забрела», — вообще русачку по сердцу простые решения, то-то большевики одержали верх в баснословные сроки и сравнительно без потерь. Ленин, по воспоминаниям Горького, так и говорил: «Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто». И точно, просто, если понимать Советы как барскую затею, а коммунизм — как дорогое нашему сознанию равенство по линии бедности и невзгод. Вот и у Горького сормовский рабочий Дмитрий Павлов, отвечая на вопрос, «какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина», говорит: «Прост. Прост, как правда».

Положим, правда как раз сложна, правда — это, когда «виноват волк, что корову съел, виновата и корова, что в лес забрела», но то, что Ленин был прост, — это, как говорится, научный факт. Он не знал комплексов, не чувствовал юмора, не понимал искусства, выходящего за рамки обыкновенного, и своеобразно скрашивал свой досуг. Горький пишет: «В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в “мюзик-холл” — демократический театрик, Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на всё остальное и особенно внимательно (!) на рубку леса рабочими Британской Колумбии...» Вдруг «он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему».

Вообще о человеке легче всего судить по тому, что он любит, а что не любит. Ленин любил пиво, уличные шествия, Мартова, пролетариат, шахматы, а не любил: интеллигенцию за расслабленность, русских за разгильдяйство, буржуазию за хищничество, политических противников за то, что они мыслят не по нему. Впрочем, он был большой аккуратист и сторонник приятного обхождения, но, кажется, внутренняя культура ему мешала, не ко времени она была и не по обстоятельствам, как котелок, который он немедленно сменил на пролетарскую кепку, едва в воздухе запахло смутой и мятежом.

В сущности, только такой, по-своему ограниченный человек и мог взять на себя ответственность за судьбу всего мира, причем еще и гадательную, несмотря на страдания миллионов как неизбежную эманацию мятежа. Для этого, обдумывая мироздание, достаточно нечаянно уклониться от простой истины: счастливого человека нельзя осчастливить, а несчастного человека можно разве что накормить. Но ежели он олух царя небесного от рождения и по природе, то он что на полный желудок олух, что натошак.

Судя по тому, что Ленин был мономан, то есть субъект, безнадежно помешанный на идее, что он сердечно сочувствовал человечеству, а личность ни в грош не ставил, что он выказал способность добиваться цели любой ценой, — это был в своем роде Родион Романович Раскольников, только немец. Таковой комнатный мечтатель заранее распорядился бы насчет топора, не позабыл бы сменить цилиндр на неприметную фуражку, не упустил бы время и уж, разумеется, две убиенные тетки во имя высшей справедливости — это был не его масштаб. Собственно говоря, Ленин только потому шире определения, что давным-давно вымер этот тип дворянчика из народа, исчез, как стеллерова корова, человекопаровоз, он же пламенный революционер, драчливый, цельный, неглубокий, доброхот, который не ведает, что творит. В карты бы он играл, что ли, или по женской линии был ходок...

При всем этом история нашего тысячелетия, может быть, не знает фигуры более фантастической и многозначительной, чем Владимир Ульянов-Ленин, поскольку она, может быть, не знает события более фантастического и многозначительного, чем Октябрьский переворот. Не исключено, что через тысячу лет перестанут читать Льва Толстого, забудется Робеспьер, о Чингисхане будут знать только узкие специалисты, а Ленин заматерееет в истории в качестве восьмого чуда света и не забудется никогда. Все-таки Чингисхан был дикарь и разбойник, Робеспьер — маньяк, а по милости Ленина наша Россия приняла на себя коммунистический грех мира и, пройдя через крестные муки, тем самым его спасла.

Оттого мумия последнего мессии посреди Москвы — это, во-первых, очень по-нашему, по-русско-египетски, а во-вторых, совершенно по заслугам Владимира Ильича. Пусть так и лежит, аккуратно напротив ГУМа, и вечно напоминает: истинный доброхот человечества — это тот, кто больше заботится о себе.

Л. РАДИЩЕВ*

Пассажир с проходным свидетельством**

Обычно доктор Крутов ездил по железной дороге вторым классом. Первый он считал для себя дороговатым, а третьего избегал по причине многолюдья, тесноты и прочих неудобств.

Но однажды — это было ранней весной 1897 года — ему все-таки пришлось познакомиться с этими неудобствами. По случаю масленичных дней выехать из Москвы оказалось чрезвычайно трудно, и, если б не оборотистый носильщик, захвативший для доктора верхнюю полку в третьем классе, — сидеть бы ему на Курском вокзале неведомо сколько времени.

Вагон дальнего следования, которым ехал доктор, был переполнен. Здесь, наверное, не удалось бы обнаружить даже вершка незанятого пространства. И вот так, стиснутые в узких вагонных стенах, зажатые среди мешков, узлов, корзин, люди едут сутками, неделями, забываясь только во сне, тяжелом, как грохотание чугунных колес.

Глядя на тусклый моргающий огонек в керосиновом фонаре, доктор размышлял: «Говорят: «Яблоку негде упасть!» А почему, собственно, яблоку? Что за единица измерения? Тут не яблоку, а горошине негде упасть... А еще говорят: «В тесноте, да не в обиде». Нет, сюда это не подходит! Здесь люди в страшной обиде, в нечеловеческой обиде...»

За окнами рассвело, а доктор все еще ворочался на своем жестком деревянном ложе, безуспешно пытаясь заснуть.

В уши лез назойливый храп соседей, кто-то стонал и вскрикивал со сна; надрывно, почти не умолкая, плакал ребенок. Потом забренчали чайники, кружки — верный признак приближающей станции.

Когда поезд остановился, те, кто порезвее, кинулись к торговым рядам за вокзалом. Оттуда доносились громкие выкрики: «Кому сытных пирогов с горохом?», «А вот хлебный квас, квас клюквенный!»

Доктор медленно пошел вдоль поезда. Поташнивало, ломило виски, в горле пересохло. Не хотелось ни пить, ни есть, а только вздыхать утренный прохладный воздух.

За грязно-зелеными, облупившимися третьеклассными вагонами следовали аккуратные второклассные, а дальше, сияя лаки-

* Леонид Николаевич Радищев (1905–1973) — русский советский писатель.

** Из сборника «Самый дорогой друг. Рассказы о Владимире Ильиче Ленине».

рованными боками и зеркальными стеклами, стоял роскошный спальный вагон первого класса.

Он существовал как бы отдельно от всего поезда, скрывая за светлыми, сборчатыми шторками жизнь своих обитателей. Но вот двое из них вышли наружу: дама в легкой накидке с голубым мехом и офицер, сверкающий позолотой пуговиц и погон.

Скользнув невидящим взглядом по лицу доктора, они стали прохаживаться у вагона, перебрасываясь французскими фразами. Они тоже существовали отдельно от всего, что было вокруг: и от многоголосого вокзального шума, и от выкриков с торговых рядов. От всего этого мира, где едят пироги с горохом и спят вповалку на мешках, узлах и торбах.

Мимо доктора мелкой рысцой пробежал проводник, держа в руках поднос, прикрытый накрахмаленной салфеткой. Доктор посмотрел на его угодливо изогнувшуюся спину и повернул обратно. Он шел, глубоко задумавшись, глядя себе под ноги, и чуть не налетел на толпу, собравшуюся в кружок на платформе. В центре его виднелась красная фуражка начальника станции. Какой-то молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком говорил ему, точно подталкивая слова короткими взмахами руки:

— Соболаговолите все-таки объяснить: почему касса продает билеты в третий класс?! Там и без того уже ни встать, ни сесть!

Начальник пожал плечами:

— Ничего не могу добавить к вышеизложенному!

— Но вы же ничего еще не изложили! — Молодой человек придвинулся к начальнику вплотную. — Давка чудовищная! Вы обязаны прекратить продажу билетов и прицепить по крайней мере один свободный вагон.

Начальник молча воззрился на своего непрошеного собеседника. На скулах у него заиграли желваки. Молодой человек требовательно, в упор смотрел на него. Но тут прозвучали гулкие медные удары станционного колокола, рассыпался дребезжащий свисток обер-кондуктора.

— Господа, господа, — вскинулся начальник станции, — займите ваши места, иначе отстанете от поезда!

— Вывернулся! — угрюмо сказал кто-то из толпы.

Доктор с трудом пробрался на свое место. В вагоне как будто стало еще тесней. Неужели здесь мог поместиться хоть один новый пассажир?

И снова застучали колеса, поплыли мимо окон оттаявшие голые поля. Мысли доктора вернулись к только что виденному на перроне. «Хочет прошибить кулаком стену, да еще какую стену! Что же, разобьет себе кулак и ничего более...»

Мысли доктора рассеялись, заглох настойчивый перестук колес. Открыв глаза, он с удивлением установил, что выспался, и весьма изрядно. За окнами переливался яркий, солнечно-голубой день.

— Узловая. Стоим час без малого, — сказал кто-то из нижних пассажиров. И сразу захотелось крепкого, горячего чаю с лимоном.

На двери вокзального буфета было написано: «Для пассажиров первого и второго класса». У порога стоял мордастый швейцар и наметанным глазом определял посетителей. «Куда?! — выкрикнул он, придерживая пятерней старика в картузе и рыжей поддевке. — Ваше заведение на том конце».

Доктор никогда не интересовался ни надписями на буфетах, ни швейцарами у дверей, а шел себе спокойно вперед. А сейчас он невольно задержался, поглядел искоса на свой помятый пиджак с налившими соринками, потом на швейцара — еще спросит: «Куда прешь?!»

Подумав это, доктор покраснел, нахмурился и, смотря прямо перед собой, направился в буфет.

Чай оказался такой, какого желалось, — горячий, крепкой заварки, но похоже было, что доктор этого не оценил. Он сидел нахмураясь, рассеянно подталкивая ложечкой прозрачный ломтик лимона.

Покончив с чаепитием и расплатившись, он вышел из буфета и сразу же натолкнулся на происшествие: опять толпа на платформе, но больше, гуще. Опять начальник станции в центре. Но этот был не один, а с какими-то железнодорожными чинами. Рядом с ними жандарм. И тот же молодой человек с рыжеватой бородкой клинышком.

— Нам уже известно, что вы и есть именно то самое лицо, которое собирает, так сказать, публику на каждой станции и... э... отвлекает от занятий дорожный персонал, — хрипел начальник, спотыкаясь о многочисленные междометия и приставки. — Изложите... э... ваши претензии как положено... в письменной форме и не устраивайте, так сказать... э... эксцессов...

— Я полагаю, мы не будем тратить время на писание и прочтение бумаг, — хладнокровно ответил молодой человек. — Вы же сами отлично понимаете всю бессмысленность этого занятия! У вас спрашивают, какие меры примите вы, чтобы уменьшить дикую, безобразную давку в вагонах третьего класса. Люди едут в невозможных, немислимых условиях. Среди них — кормящие матери, старики, старухи. Так дайте же хоть один дополнительный вагон.

Начальник станции обернулся к железнодорожным чинам и бросил одному из них, видимо, помощнику:

— Поместите этого господина в служебное купе!

— Это вы меня собираетесь помещать? — Молодой человек сощурился. — Вы, милостивый государь, плохо меня поняли. Речь идет о всех пассажирах третьего класса, и вы обязаны принять меры. У вас же есть свободные вагоны!

Толпа зашумела. Жандарм приподнялся на цыпочки и задрал голову, как бы желая установить виновников этого шума. Начальник стал шептаться со своими, и шея у него багровела все больше. Потом все услышали, как он прохрипел помощнику:

— Начальнику движения... э... передайте... пусть прицепит... к черту! Порожний, так сказать...

Молодой человек шагнул за ним:

— Позвольте уточнить: когда это будет сделано?

Начальник затрясся:

— Э... теперь... сейчас! — И почти побежал к служебным помещениям вокзала.

Достав из кармана часы на шнурке, молодой человек сверил их с вокзальными. Движения у него были неторопливые, спокойные, как будто он закончил мирную беседу.

У доктора, стоявшего поблизости, чуть не вырвалось: «Смотрите, все-таки пробил!» Возникло непреодолимое желание сказать хотя бы несколько слов этому удивительному пассажиру. Он подошел ближе и приподнял шляпу:

— Извините великодушно, но я хочу выразить вам восхищение и благодарность... Я убежден, что все пассажиры третьего класса уполномочили бы меня на это. Еще утром на одной из станций я наблюдал за вашими действиями. Да, к сожалению, я был только наблюдатель. Скажу откровенно: я не верил в возможность даже самого незначительного успеха! Но вы одержали победу! Молодой человек слушал, чуть наклонив голову. Взгляд его карих глаз был необычайно пронизателен, точно говорил: «Сейчас узнаем, кто ты таков!»

Эта мгновенно произведенная оценка была, видимо, в пользу доктора. Молодой человек ответил благожелательно:

— Пожалуй, еще рано поздравлять. Пусть сначала прицепят вагон!

— Далеко изволите ехать?

— До Красноярска.

— Так мы же попучики с вами! И я до Красноярска! — воскликнул доктор. — Тамошний житель. Врач. Ездил по делам в Петербург и Москву, а теперь возвращаюсь восвояси... Тогда уж разрешите и представиться? — Доктор снова приподнял шляпу и назвал себя.

— Очень приятно. Предвижу возможность пополнить свои небольшие познания о Сибирском крае. — Молодой человек в свою

очередь отрекомендовался: — Ульянов. Помощник присяжного поверенного, а ныне — пассажир с проходным свидетельством. Пока что в Красноярск, а что дальше — сие на усмотрение начальства. — В быстрых глазах говорившего засветилась усмешка. — Знаете, как теперь говорят? Дальше едешь — тише будешь...

Доктор буквально онемел от изумления. Как житель Восточной Сибири, куда ссылали политических, он хорошо знал, что такое проходное свидетельство.

Это означает, что осужденный на ссылку следует к месту назначения не по этапу, а собственными средствами.

С него берут подписку, что он обязан прибыть в указанный срок и немедленно явиться для отметки в полицию. Останавливаться по дороге строго воспрещается. Если задержат, — снова тюрьма и уже обязательный этап. И вот этот бесправный человек смело борется за человеческие права, не отступая ни на шаг, добивается своего и побеждает...

— Знали бы они, с кем дело имеют, вот бы у них физиономии вытянулись! Представляете картину? — Новый знакомец рассмеялся как-то по-детски беззаботно. — А вы, доктор, в каком вагоне едете? — спросил он, утирая повлажневшие от смеха глаза.

— Вот в этом...

— Стало быть, мы с вами не только попутчики. Заходите в гости. Большого гостеприимства оказать не могу, но недостаток его мы восполним интересным разговором. — Он взглянул на часы. — Что-то не чувствуется никакого оживления в связи с прицепкой вагона. Загляну-ка я еще раз к господину начальнику станции... Так заходите, доктор! Вы в шахматы играете? Превосходно! Тогда сразимся! У меня они имеются...

Едва доктор возвратился в вагон и улегся на своей верхотуре, как во всех углах поднялась суматоха. На все лады повторялись слова о том, что прицепили свободный вагон. Чей-то озорной голос выкрикнул: «Новенько-ой! Что игрушечка! Местов — занимай не хочу!»

Позабыв о крайней ограниченности своего местоположения, доктор сел чересчур резко и стукнулся головой о верхнюю доску. Но он даже не заметил этого. Ему хотелось аплодировать изо всех сил, не жалея ладоней, как студенту на галерке.

И тут он увидел «пассажира с проходным свидетельством», который пробирался сквозь вагонную кутерьму, внимательно оглядывая полки.

— Вы не меня? — крикнул ему доктор.

— Да, да, вас! Предлагаю вам перейти в дополнительный вагон.

Прицепленный вагон действительно был новый или заново отремонтированный. Двухместное купе с открытым окном, с пол-

ками, еще блестящими свежей окраской, показалось доктору необыкновенно уютным.

— Вот здесь мы с вами и поедем! — В голосе нового знакомого слышалось торжество. — Располагайтесь, доктор!

Он снял пальто и шляпу. С крупной головой, высоченным лбом, широкими плечами, которые были как-то незаметны под пальто, он показался доктору значительно старше.

— Приготовьтесь, доктор, к тому, что я буду вас нещадно эксплуатировать, — улыбка снова сделала это лицо юношески молодым, — буду все время спрашивать вас о Сибири. Говорят, Сибирь — сказочная, необыкновенная страна. Будущее у нее такое, что дух захватывает.

Доктор смотрел как зачарованный: и это говорит человек, который осужден тянуть долгую ляжку ссыльного в неведомой ему глухомани, где зима продолжается тринадцать месяцев в году, как невесело шутят тамошние жители...

Под вагоном точно продернули ржавый скрежещающий звук. Колеса отбили свой первый чугунный такт. Кирпичное здание вокзала стало медленно отворачивать в сторону.

Рядом со стрелочницей, высоко поднявшей свой флажок, стояла крошечная девочка и старательно махала ручонкой проходящему поезду.

«Пассажир с проходным свидетельством» высунулся из окна и махал ей до тех пор, пока она не скрылась из виду.

Ф. РАСКОЛЬНИКОВ***Рассказ о потерянном дне****

Как заунывный осенний дождь, льются в зал потоки скучных речей. Уже давно зажглись незаметно скрытые за карнизом стеклянного потолка яркие электрические лампы. Зал освещен приятным матовым светом. Все больше редеют покойные мягкие кресла широкого амфитеатра; члены Учредительного собрания прогуливаются по гладкому, скользкому, ярко начищенному паркету роскошного Екатерининского зала с круглыми мраморными колоннами, пьют чай и курят в буфете, отводят душу в беседах.

Нас приглашают на заседание фракции. По предложению Ленина мы решили покинуть Учредительное собрание, ввиду того что оно отвергло Декларацию прав трудящегося и обездоленного народа.

Оглашение заявления о нашем уходе поручается Ломову и мне. Кое-кто хочет вернуться в зал заседаний. Владимир Ильич удерживает.

— Неужели вы не понимаете, — говорит он, — что если мы вернемся и после Декларации покинем зал заседаний, то наэлектризованные караульные матросы тут же, на месте, перестреляют оставшихся? Этого нельзя делать ни под каким видом, — категорически заявляет Владимир Ильич.

* *Фёдор Фёдорович Раскольников* (наст. фамилия — Ильин; 1892–1939) — известный советский революционный, военный и государственный деятель, дипломат, журналист и писатель. В 1910 г. вступил в социал-демократическую партию; публиковался в газете «Звезда» и «Правда», в журнале «Просвещение». В 1917 г. в Кронштадте редактировал газету «Голос правды». В годы гражданской войны командовал Волжской и Астраханско-Каспийской военными флотилиями, являлся зам. наркома по морским делам. Награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1921–1923 гг. — полномочный представитель РСФСР в Афганистане; в 1924–1928 гг. — зав. отделом в Исполкоме Коминтерна. С 1924 г. — главный редактор журнала «Молодая гвардия», «Красная новь» и издательства «Московский рабочий». В 1930–1938 гг. — полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии. Известен как талантливый литератор. Его книга «Кронштадт и Питер в 1917 году» в 1937 г. была включена в список для обязательного изъятия из библиотек и уничтожения. В 1939 г., находясь во Франции, узнал, что в СССР он объявлен «врагом народа». 26 июля 1939 г. опубликовал заявление «Как меня сделали «врагом народа»; 17 августа было написано «Открытое письмо Сталину», опубликовано 1 октября 1939 г. в эмигрантском издании «Новая Россия». В СССР не вернулся.

** Из книги мемуарных очерков «Рассказы мичмана Ильина» (1934).

После фракционного совещания меня и других членов правительства приглашают в Министерский павильон на заседание Совнаркома. Я состоял тогда заместителем народного комиссара по морским делам («Замком по морде» сокращенно прозвали мою должность испытанные остряки).

Заседание Совнаркома началось, как всегда, под председательством Ленина, сидевшего у окна за письменным столом, уютно озаренным настольной электрической лампой под круглым зеленым абажуром.

На повестке стоял только один вопрос: что делать с Учредительным собранием после ухода из него нашей фракции?

Владимир Ильич предложил не разгонять собрание, дать ему ночью выболтаться до конца и с утра уже никого не пускать в Таврический дворец. Предложение Ленина принимается Совнаркомом. Мне и Ломову пора идти в зал заседаний.

— Ну ступайте, ступайте, — напутствует нас Владимир Ильич.

С напечатанным на машинке текстом мы вдвоем спешим в зал заседаний. Все остальные большевики направляются в кулуары. С согласия Ломова я беру на себя оглашение Декларации.

Войдя в зал заседаний, мы проходим в ложу правительства, расположенную рядом с трибуной оратора.

Плохо очинённым карандашом я пишу на вырванном из блокнота клочке бумаги:

«По поручению фракции большевиков прошу слова для внеочередного заявления. Раскольников».

Поднявшись на цыпочки, протягиваю листок уже переставшему улыбаться Чернову, сидящему в кресле на высокой эстраде с величавой суровостью египетского жреца во время торжественного обряда. По окончании речи очередного оратора Виктор Чернов объявляет:

— Слово имеет член Учредительного собрания Раскольников.

Я поднимаюсь на трибуну и во весь голос, без ложного пафоса, но по мере возможности четко и выразительно читаю наше заявление, подчеркивая наиболее важные места. В сознании серьезности оглашаемого документа весь зал насторожился.

Пустые скамьи левого сектора, где еще недавно сидели большевики, зияют, как черный провал. В матросской фуражке, лихо сдвинутой набекрень, с ухарски выбивающимся из-под нее густым клоком черных смолистым волос, стоит у дверей веселый и жизнерадостный, весь опоясанный пулеметными лентами начальник караула Железняков. Рядом с ним теснятся в дверях несколькими депутатов-большевиков, напряженно следящих затем, что делается в зале.

Среди мертвой тишины я открыто называю эсеров врагами народа, отказавшимися признать для себя обязательной волю громадного большинства трудящихся. Весь зал словно застыл в безмолвии.

Несмотря на резкий язык нашего заявления, никто не перебивает меня. Объяснив, что нам не по пути с Учредительным собранием, отражающим вчерашний день революции, я заявляю о нашем уходе и спускаюсь с высокой трибуны. Публика неистовствует на хорах, дружно и оглушительно бьет в ладоши, от восторга топает ногами и кричит не то «браво», не то «ура».

Кто-то из караула берет винтовку на изготовку и прицеливается в лысого Минора, сидящего на правых скамьях. Другой караульный матрос с гневом хватает его за винтовку и говорит:

Бр-о-о-ось, дурной!

Владимир Ильич, уже одетый, отдает в Министерском павильоне последние указания.

— Я сейчас уезжаю, а вы присмотрите за вашими матросами, — улыбаясь, говорит мне товарищ Ленин.

На прощание Владимир Ильич крепко пожимает мою руку, держась за стенку, надевает галоши и через занесенный снегом подъезд Министерского павильона выходит на улицу.

Морозная свежесть врывается в полуоткрытую дверь, обитую войлоком и клеенкой. Моисей Соломонович Урицкий, близоруко щуря глаза и поправляя свисающее пенсне, мягко берет меня под руку и приглашает пить чай. Длинным коридором со стеклянными стенами, напоминающим оранжерею, мы обходим шелестящий многословными речами зал заседаний, пересекаем широчайший Екатерининский зал с белыми мраморными колоннами и не спеша удаляемся в просторную боковую комнату. Урицкий наливает чай, с мягкой, застенчивой улыбкой протягивает тарелку с тонко нарезанными кусками лимона, и, помешивая в стаканах ложечками, мы предаемся душевному разговору.

Вдруг в нашу комнату быстрым и твердым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко с густыми черными волосами и небольшой, аккуратно подстриженной бородкой, в новенькой серой бекеше со сборками в талии. Давясь от хохота, он раскатистым басом рассказывает нам, что матрос Железняков только что подошел к председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему:

— Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам.

Дрожащими руками Чернов поспешно сложил бумаги и объявил заседание закрытым.

Было 4 часа 40 минут утра. В незавешенные окна дворца глядела звездная, морозная ночь. Обрадованные депутаты шумно ринулись к вешалкам, где заспанные швейцары в потрепанных золоченых ливреях лениво натягивали на них пальто и шубы.

В Англии когда-то существовал Долгий парламент. Учредительное собрание РСФСР было самым коротким парламентом во всей мировой истории. Оно скончалось после 12 часов 40 минут бесславной и безрадостной жизни.

Когда на другое утро Дыбенко и я рассказали Владимиру Ильичу о жалком конце Учредительного собрания, он, сощурив карие глаза, сразу развеселился.

— Неужели Виктор Чернов беспрекословно подчинился требованию начальника караула и не сделал ни малейшей попытки сопротивления? — недоумевал Ильич и, глубоко откинувшись в кресле, долго и заразительно! смеялся.

3. РИХТЕР*

Первая годовщина**

Седьмого ноября, в четверг, Москва проснулась рано, разбуженная пением проходящих под окнами демонстрантов.

В десять часов утра Советская площадь заполнилась воинскими частями, демонстрациями из районов, оркестрами и красными знаменами. Каждое слово с трибуны колонны Свободы слышно в самых отдаленных уголках площади. Открывая памятник Свободы, представители Московского Совдепа говорят о наших успехах на фронтах и о международном положении. С Советской площади все процессии, соединившись сомкнутыми колоннами, направляются на Красную площадь.

Красная площадь для свободного прохода колонн перед мемориальной доской очищена от публики, которая отеснена до Торговых рядов. Возле задернутой красным атласом доски — высокая, со многими ступенями, красная трибуна, вокруг которой

* *Зинаида Владимировна Рихтер* (1890–1967) — советская писатель, журналист, очеркист. Впервые в печати выступила с «Записками путешественницы». С 1918 г., в разгар Гражданской войны в России, — специальный военный корреспондент «Известий». В 1920-х работала инструктором и заведующим Московским губернским отделением Российского телеграфного агентства (РОСТА).

** Вчера и сегодня. М.: Гослитиздат, 1960. С. 28–30.

на возвышении уже выстроилась депутация со знаменами от Московской организации Коммунистической партии, российского Пролеткульта, Красной печати и др. Нет пока только делегатов VI съезда Советов с Лениным. Их ожидают с минуты на минуту. Они уже вышли из Большого театра, но задержались на открытии памятников Марксу и Энгельсу.

Проходит несколько томительных минут ожидания.

— Идут, идут!

Впереди делегатов — Ленин.

Подхватившая человеческой волной, я оказываюсь возле самой трибуны и поспешно достаю блокнот. В тесноте немислимо было записать речь Ленина дословно, но главное мне удалось зафиксировать.

Вы жертвою пали в борьбе роковой... —

звучит над площадью, разом склонившей знамена.

Ленин срезает печать, и красная завеса падает к его: ногам, открыв доску-барельеф белокрылой фигуры с пальмовой ветвью. Вверху доски, работы скульптора Коненкова, надпись: «Октябрьская революция», а внизу: «Павшим в борьбе за мир и братство».

— Товарищи! Мы открываем памятник передовым борцам Октябрьской революции 1917 года, — отчетливей говорит Владимир Ильич. — Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за освобождение народов от империализма, за прекращение войн между народами, за свержение господства капитала, за социализм.

Товарищи! История России за целый ряд десятилетий нового времени показывает нам длинный мартиролог революционеров. Тысячи и тысячи гибли в борьбе с царизмом. Их гибель будила новых борцов, поднимала на борьбу все более и более широкие массы.

На долю павших в Октябрьские дни прошлого года; товарищей досталось великое счастье победы. Величайшая почесть, о которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоянием: эта почесть состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товарищей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу.

Теперь во всех странах кипит и бурлит возмущение рабочих. В целом ряде стран поднимается рабочая социалистическая революция. Капиталисты всего мира в ужасе и озлоблении спешат соединиться для подавления восстания. И особенную ненависть внушает им Социалистическая Советская Республика России. На нас готовится поход объединенных империалистов всех стран, на нас обрушиваются новые битвы, нас ждут новые жертвы.

Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг — «победа или смерть».

— Победа или смерть! Победа или смерть! — как клятву повторяют слова Ленина тысячи голосов на площади.

Ленин сходит с трибуны и присоединяется к другим товарищам.

А площадь долго еще не может успокоиться, и то тут, то там, как эхо, разносятся возгласы:

— Победа или смерть!

Начинается церемония прохождения колонн мимо доски. Солнце ярко освещает волнующиеся пурпурные знамена и привлекающие общее внимание художественные плакаты профессиональных союзов. Над головами демонстрантов плывут вырезанные и разрисованные изображения химиков в белых халатах, грузчиков, согнувшихся под тяжестью ноши, печатников за станком. Взрыв восторга вызывает союз пищевиков, плакаты которого изображают продавца, бычью голову и румяные калачи. Своеобразную красоту придают процессии футуристические плакаты, от пестроты и разнообразия которых разбегаются глаза. Проходят комитеты бедноты, представители Орловской, Тамбовской и Тульской губерний, общественные организации, рабочие всех районов, Народный суд, Пролеткульт, учащиеся различных учебных заведений. Пресненский район вызывает общий восторг аллегорическим шествием: на телегах едут крестьянки и солдаты в цепях, а за ними стоит Свобода с порванными цепями.

— Красной Пресне привет! — громко говорит Ленин. Стройными колоннами, в полном порядке проходят школы инструкторов, пулеметчики, красноармейцы, конница и тяжелая артиллерия.

— Будущим красным офицерам — ура! — приветствует инструкторов Ленин.

На площади появляется автомобиль «Международного союза артистов цирка» с огромным глобусом и останавливается против доски. Украинский хор исполняет «Интернационал». Медленно движутся автомобили, превращенные в цветочные клумбы, из которых глядят улыбающиеся детские лица.

— Детям революции привет!

Шествие колонн продолжается несколько часов. Над площадью все время летают аэропланы, разбрасывая прокламации, которые кружатся, как голуби. Без устали работают фотографы кинематографических фирм и журналов. До поздней ночи на улицах Москвы продолжается иллюминация и шумное веселье. Особенно

людно и весело на Трубной площади, в Охотном ряду, у цирка, на Садовой-Триумфальной, где на специально устроенных эстрадах выступают артисты цирков.

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ*

Из поэмы «Письмо в тридцатый век» (1963)

Я — по собственному велению, —
Сердцу в верности покаяясь,
Говорю о ВЛАДИМИРЕ ЛЕНИНЕ
И о том, что главное в нас.
Вот уже, разгибаясь под ношей,
Вырывается мир из тьмы!
Начинаются горы с подножий.
Начинаемся с ЛЕНИНА мы!
Мы немало столетий ждали
И вместили в себя потому
Силу всех прошедших восстаний!
Думы всех Парижских коммун!..
Жгли сомнения. Шли опасности,
С четырёх надвигались сторон...
Но была на планете партия —
Та, которую создал он!
Мир готов за неё поручиться
Перед будущим наверняка
И лежит на пульсе Отчизны —
Вечно! — ленинская рука.
Он — ровесник всех поколений.
Житель Праг, Берлинов, Гаван.
По широким ступеням столетий
Поднимается ЛЕНИН к вам!
Представляю яснее ясности,
Как смыкают ваши ряды
Люди ленинской гениальности,

* Роберт Иванович Рождественский (наст. Роберт Станиславович Петкевич; 1932–1994) — советский и российский поэт и переводчик, автор песен. Один из ярких представителей эпохи «шестидесятников». Лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.

Люди ленинской чистоты.
Не один, не двое, а множество!
Вырастающие, как леса,
И по всей Вселенной разносятся
Их спокойные голоса...
Что ж, для этого мы и трудимся.
Терпим холод. Шагаем в зной...
Ведь ещё только начал раскручиваться
И раскачиваться шар земной!
Прозвучи, сигнал наступления!
Солнце яростное, свети!..
Всё ещё впереди! И ЛЕНИН,
Будто молодость, впереди!

В. РОЗАНОВ*

Воспоминания о Владимире Ильиче

Раннее утро. Меня подняли с постели, сказавши, что нужно ехать в Кремль на консультацию к Председателю Народных Комиссаров, Влад. Ил. Ленину, которого ранили вечером и которому стало теперь хуже. Ехал с каким-то напряженным чувством той громадной ответственности, которую на тебя возлагают этим участием в консультации у Ленина, того Ленина, который возглавляет всю нашу революцию, направляет и углубляет ее. Сложное это было чувство; за давностью времени кое-что уже стерлось, но, кроме этой напряженности, очевидно, здесь была и доля любопытства — поглядеть поближе на вождя народа, может быть, некоторое чувство робости...

Небольшая комната, еще полумрак. Обычная картина, которую видишь всегда, когда беда с больным случилась внезапно, вдруг: растерянные, обеспокоенные лица родных и близких — около самого больного, подальше стоят и тихо шепчутся тоже взволнованные

* *Владимир Николаевич Розанов (1872–1934)* — российский хирург. В 1921 г. оперировал И. В. Сталина; в 1922 г. оперировал В. И. Ленина. 23 апреля 1922 г. извлек пули, оставшиеся после покушения на жизнь Ленина, произошедшего 30 августа 1918 г. 29 октября 1925 г. оперировал народного комиссара по военным и морским делам СССР, председателя Реввоенсовета СССР М. В. Фрунзе по поводу язвы желудка ([?], операция прошла неудачно, Фрунзе скончался). Главный врач Кремлёвской больницы (с 1929). Герой Труда (1932).

люди, но, очевидно, уж не столь близкие к больному. Группой с одной стороны около постели раненого врачи: Вл. Мих. Минц, Б. С. Вейсброд, Вл. А. Обух, Н. А. Семашко — все знакомые. Минц и Обух идут ко мне навстречу, немного отводят в сторону и шепотом коротко начинают рассказывать о происшествии и о положении раненого; сообщают, что перебито левое плечо одной пулей, что другая пуля пробила верхушку левого легкого, пробила шею слева направо и засела около правого грудно-ключичного сочленения. Рассказывали, что Вл. Ил. после ранения, привезенный домой на автомобиле, сам поднялся на 3-й этаж и здесь уже в передней упал на стул. За эти несколько часов после ранения произошло ухудшение как в смысле пульса, так и дыхания, слабость нарастающая. Рассказавши это, предложили осмотреть больного.

Сильный, крепкий, плотного сложения мужчина; бросалась в глаза резкая бледность, цианотичность губ, очень поверхностное дыхание. Беру Владимира Ильича за правую руку, хочу пощупать пульс, Владимир Ильич слабо жмет мою руку, очевидно, здороваясь, и говорит довольно отчетливым голосом: «да, ничего, они зря беспокоятся». Я ему на это: «молчите, молчите, не надо говорить». Ищу пульса и к своему ужасу не нахожу его, порой он попадает, как нитевидный. А Вл. Ильич опять что-то говорит, я настоятельно прошу его молчать, на что он улыбается и как-то неопределенно машет рукой. Слушаю сердце, которое сдвинуто резко вправо, — тоны отчетливые, но слабоватые. Делаю скоро легкое выстукивание груди, — вся левая половина груди дает тупой звук. Очевидно, громадное кровоизлияние в левую плевральную полость, которое и сместило так далеко сердце вправо. Легко отмечается перелом левой плечевой кости, приблизительно на границе верхней трети ее с средней. Это исследование, хотя и самое осторожное, безусловно очень болезненное, вызывает у Вл. Ил. только легкое помарщивание, ни малейшего крика или намек на стоны. О результатах своего осмотра быстро сообщая Вл. А. Обуху, который стоит здесь рядом со мной, нагнувшись над раненым. Вл. А. Обух, соглашаясь со всеми находимыми мною данными объективного исследования, все время шепотом говорил: «Да, да», и мы оба настойчиво просим Вл. Ил. не шевелиться и не разговаривать. Вл. Ил. в ответ на наши слова молчит, но улыбается. Идем в другую комнату на консультацию, по дороге в коридорчике меня останавливает Надежда Константиновна и двое из знакомых мне — кто, не помню — и тихо спрашивают: «ну, что?». Я мог ответить только: «тяжелое ранение, очень тяжелое, но он сильный». На консультации мне, как вновь прибывшему врачу, пришлось говорить первому. Я отметил, что здесь шок

пульса от быстрого смещения сердца вправо кровоизлиянием в плевру из пробитой верхушки левого легкого и центр нашего внимания, конечно, не сломанная рука, а этот так наз. гематоторакс. Приходилось учитывать и своеобразный, счастливый ход пули, которая, пройдя шею слева направо, сейчас же непосредственно впереди позвоночника, между ним и глоткой, не поранила больших сосудов шеи. Уклонись эта пуля на один миллиметр в ту или другую сторону, Владимира Ильича, конечно, уже не было бы в живых. Военный опыт после годов войны у нас, у хирургов, был очень большой, и было ясно, что если только большой справится с шоком, то непосредственная опасность миновала, но оставалась другая опасность, это опасность инфекции, которая всегда могла быть внесена в организм пулей. Эту опасность предотвратить мы уже не могли, мы могли ее только предполагать и бояться, так как она была бы грозной: страшно было и за плевральную полость и за пулевой канал на шее, который пронизал, очевидно, в нескольких местах шейную клетчатку, да еще такую клетчатку, как заглоточную. Все эти тревоги и опасения были высказаны мною, равно как и другими врачами. Соответственные мероприятия были выработаны очень легко: абсолютный покой, все внимание на сердечную деятельность, руку временно приходилось забыть, для нее только легкая контентивная повязка, чтобы трущиеся при невольном движении отломки костей не доставляли раненому ненужных страданий. Я с удовольствием согласился и поддерживал предложение Вл. А. Обуха пригласить вечером на новую консультацию д-ра Николая Николаевича Мамонова, большого терапевта, талантливого и удивительного мастера в подходе к больному. Такой врач нам, хирургам, был нужен, чтобы детальнее следить за изменениями в плевре и в легком. Вопрос о том, нужно или нет вынимать засевшие пули, без малейших колебаний был сразу решен отрицательно. После консультации длинное и долгое обсуждение официального бюллетеня о состоянии здоровья Вл. Ил. Приходилось тщательно и очень внимательно обдумывать каждое слово, каждую запятую: ведь нужно было опубликовать перед народом и миром горькую правду, исход был неизвестен, но это нужно было сказать так, чтобы осталась надежда.

После этого опять пошли к Вл. Ил. Около него сидела Надежда Константиновна. Вл. Ил. лежал спокойно, снова наша настойчивая просьба не шевелиться, не разговаривать. На это — улыбка и слова: «ничего, ничего, хорошо, со всяким революционером это может случиться». А пульса все нет и нет. Вечером снова консультация и так каждый день, утром и вечером, пока дело не наладилось, т. е. 4–5 недель.

Пульс восстановился только через 2-е суток, т. е. стал таковым, что его можно было назвать удовлетворительным. Через четыре дня общее состояние настолько улучшилось, что позволительно было подумать о том, чтобы приняться за правильное лечение перебитой руки.

Опасность инфекции как будто миновала, и могучая натура Вл. Ил. стала быстро справляться с громадным кровоизлиянием в плевру. Выпот быстро всасывался, сердце возвращалось к нормальному положению, дышать больному становилось все легче и легче, а нам, врачам, становилось все труднее и труднее: дело в том, что как только Вл. Ил. стал чувствовать себя лучше, как только у него поокреп голос, заставить его быть спокойным, заставить его не шевелиться, не разговаривать, заставить его поверить нам, что опасность еще не миновала, — представлялось совершенно невозможным: он хотел и работать, и быть в курсе всех дел. На наши приставания: всегда улыбка, всегда очень милая, но совершенно откровенная, т. е. «я вам верю, верю, что вы говорите по совести, но»... Вот это-то «но» и заставляло нас быть благодарными переломанной руке. Рука была повешена на вытяжение и тем самым волей-неволей приковывала Вл. Ил. к постели. Сращение руки шло прекрасно, и недели через 3 появилась уже настолько хорошая спайка, что удерживать Вл. Ил. в постели не представлялось нужным, так как вытягивающий груз можно было хорошо приспособить и при вертикальном положении больного.

Вл. Ильич нас, врачей, меня в частности, всегда встречал очень радушно и приветливо, хотя неоднократно высказывал свое неудовольствие, очень искренно и горячо, что нас заставляют навещать его 2 раза в день, отрывая нас от других больных. Я ему на это всегда отвечал: «Вл. Ил., ведь вы тоже больной и больной серьезный, со всех сторон». Раз он мне за это «со всех сторон» и ответил довольно сердито: «а разве от “этих сторон” болезнь течет иначе? все ведь это товарищи пристают». Я ему на это: «обязательно, Вл. Ил., иначе, все равно, как у врачей: до 7-го колена болезни текут всегда как-то шиворот навыворот». Вл. Ил. рассмеялся и, сказавши: «Вас не переспоришь», со смехом стал снимать сорочку, чтобы проделать скучную процедуру выстукивания и выслушивания легкого.

Выражаясь нашим врачебным языком, можно сказать, что случай протек изумительно гладко: выпот в плевру рассосался бесследно, легкое расправилось совершенно. Я не помню, чтобы тогда мы отмечали что-либо особенное в смысле склероза, склероз был соответственный возрасту. Спайка руки шла прекрасно, бы-

ли только небольшие боли по тракту лучевого нерва, небольшие, очевидно, зависящие от ушиба этого нерва одним из отломков сломанной кости. На руку был сделан протезным заводом легкий, съемный кожаный протез с шинками, съемный, чтобы можно было сделать массаж, и Вл. Ил., по настоянию всех врачей, уехал на несколько недель в деревню. Уехать было необходимо, так как здесь, в Кремле, Вл. Ил. все-таки занимался, а отдохнуть и набраться сил после тяжелейшего ранения было нужно. В конце сентября Вл. Ил. приехал показаться нам, лечащим врачам, т. е. В. М. Минцу, Н. Н. Мамонову и мне. Вл. Ил. выглядел прекрасно: бодрый, свежий, со стороны легких и сердца — полная норма, рука срослась прекрасно, так что протез свободно можно было бросить; жалоба только одна: неприятные, порой болевые ощущения в большом и указательном пальцах больной руки — результат указанного выше ушиба лучевого нерва. На этой консультации было решено, что д-ру Мамонову делать больше нечего, а мы, хирурги, увидимся еще раз недели через $\frac{1}{2}$ — 2. Вл. Ил. во время этой консультации долго болтал с нами, расспрашивал меня про нашу больницу, успокоился тем, что у нас уже начались затруднения с отоплением корпусов, что-то записал себе на бумажке, при этом долго смеялся тому, что нигде у себя в комнате не мог найти какой-либо бумажки, говоря: «вот, что значит быть председателем». На мой вопрос: беспокоят ли его пули, из которых одна на шее прощупывалась очень легко и отчетливо, он ответил отрицательно и при этом, смеясь, сказал: «а вынимать мы с вами их будем в 1920 году, когда с Вильсоном справимся».

На последней консультации, когда мы распрощались с Вл. Ил., произошел один маленький эпизод, который хорошо выявляет удивительную деликатность и чуткость Вл. Ил. От Ц. К. ко мне несколько раз обращались с вопросом о гонораре за лечение Вл. Ил. Говорил об этом и Вл. А. Обух, которого я очень просил, чтобы этот вопрос о деньгах не поднимался.

Я эти разговоры передал, конечно, коллегам Минцу и Мамонову; нам казалось совершенно невозможным представлять какой-то счет Вл. Ил., выздоровление которого мы буквально сами переболели.

Вл. Ил. решил этот вопрос сам деликатно и великолепно. На последней консультации были только я и В. М. Минц. Осмотрели, беседовали немного, попросили его некоторое время массировать руку, указывали ему на необходимость беречься и позаботиться о том, чтобы в квартире было потеплее. Здесь Вл. Ил. нас насмешил и сам посмеялся: «Вы говорите — потеплее, велел себе электрическую печку поставить, — поставили, а оказывается это

против декрета; вот как быть? — придется все-таки оставить... по предписанию врачей». Хотим проститься (я не помню, кто с нами здесь еще был, кажется Мария Ильинична), — Вл. Ил. встает как-то немного смущенный, и говорит: «на минутку», зовет в спальню. Протягивает одной рукой конверт В. М. Минцу, а другой — мне. И, буквально конфузясь, говорит: «Это — за лечение, я глубоко вам благодарен, вы так много на меня тратили времени». Мы с Минцем оба смешались на несколько секунд и держались за конверты, которые оставались в руках у Вл. Ил. Выйдя из этого замешательства, я, наконец, сказал: «Владимир Ильич, может быть, можно без этого, — поверьте, мы рады, что вы выздоровели, искренно рады и благодарны за то, что вы выздоровели». Минц, тоже волнуясь, сказал что-то в этом роде. Вл. Ил. немного прищурился на меня, поглядел как-то пристально, бросил конверты, кажется, на постель, подошел почти вплотную, крепко, крепко пожал руку, взял меня рукой за плечо и, волнуясь очень заметно, произнес: «Бросим это, спасибо, еще раз благодарю». Сказал он это так хорошо и искренно, что мне тоже хорошо стало. Он проводил нас до двери, еще раз пожал мне не руку, а плечо и сказал: «если что-либо нужно будет — скажите». Приехавши домой, я сейчас же позвонил Вл. А. Обуху, о том, что у меня гора с плеч свалилась, рассказал ему всю сценку и сказал, что теперь вопрос о гонораре, мне кажется, ликвидирован окончательно. Больше никакого разговора ни с кем о гонораре не было.

Нам, работникам Солдатенковской больницы, которая стоит за 2 версты от заставы, зима 1918 и 1919 г. была очень трудна — и холодно, и голодно. Рядом с больницей расположен был так называемый Петровский огород. Получить этот огород для нужд коллектива служащих было крайне желательно, так как он был бы большим подспорьем, особенно, в смысле снабжения картофелем. Начались хлопоты, т. е. бесконечное хождение наших представителей по различным учреждениям, но все без толку.

Наконец, я совместно с представителями нашей больницы и Октябрьской написал прошение Вл. Ил., которое и передал ему через Надежду Константиновну д-р Ф. А. Гетье (лечивший в это время Над. Конст. и часто бывавший у Лениных). Вл. Ил. не только быстро помог нам получить этот огород в наше общее пользование, но и потом не забывал про него все годы, звонил ко мне по телефону, спрашивал, как идут дела, не нужно ли чего еще, и много раз присылал самокатчиков с коротенькими записочками, вроде такой: «тов. Розанов, как дела на огороде, что нужно?», или так: «тов. Розанов, будет ли урожай, сколько придется на каждого? Привет». Мы все, Солдатенковские, были ему бесконечно бла-

годарны за эту заботу. Приходилось только удивляться, как он среди груды работы умудрялся не забывать такой песчинки, как наш огород.

Когда я оперировал т. Сталина, который лежал у меня в больнице, Вл. Ил. ежедневно два раза, утром и вечером, звонил ко мне по телефону и не только справлялся о его здоровье, а требовал самого тщательного и обстоятельного доклада. Операция тов. Сталину была очень тяжелая: помимо удаления аппендикса пришлось сделать широкую резекцию слепой кишки и за исход ручаться было трудно. Вл. Ил. видно очень беспокоился и сказал мне: «Если что, звоните мне во всякое время дня и ночи». Когда на 4-й или 5-й день после операции всякая опасность миновала, и я сказал ему об этом, у него видно от души вырвалось: «Вот спасибо-то, но я все-таки каждый день буду звонить к вам». Навещая тов. Сталина у него, уже на квартире, я как-то встретил там Вл. Ил. Встретил он меня самым приветливым образом, отозвал в сторону, опять расспросил, что было со Сталиным; я сказал, что его необходимо отправить куда-нибудь отдохнуть и поправиться после тяжелой операции, на это он: «вот и я говорю то же самое, а он упирается, ну, да я устрою, только не в санаторию, сейчас только говорят, что они хороши, а еще ничего хорошего нет». Я говорю: «Да пусть едет прямо в родные горы». Вл. Ил.: «Вот и правильно, да подальше, чтобы никто к нему не приставал, надо об этом позаботиться». А сам бледный, желтый, усталый. «Вл. Ил., вам бы самим-то отдохнуть не мешало». — «Нет, нет, я совсем здоров, — засмеялся, пожал руку и почти убежал, а на пороге обернулся и сказал, — правда, правда, здоров, скоро по тетеревам».

Помню хорошо еще одну встречу с Вл. Ил. Лежал у меня в больнице Гр. Як. Сокольников. Доставили его ко мне в довольно тяжелом состоянии, боли в правой почке и правой ноге, повышенная температура. Приходилось делать довольно сложные исследования. Тов. Сокольников налаживался медленно, был слаб; через несколько дней он обращается ко мне с просьбой разрешить ему принять комиссию, которая приедет к нему сегодня, чтобы переговорить о каких-то важных государственных делах. Я запротестовал, но он настаивал, говоря, что это необходимо, что приедет и Вл. Ил. Пришлось уступить. Вл. Ил. скоро приехал, с ним еще несколько человек. Я встретил Вл. Ил. и сказал ему, что боюсь за Сокольникова, что эта комиссия принесет ему вред. Вл. Ил. на это: «да уж очень нужно срочно, а он хорошо знает Туркестан», при этом он приложил палец к губам. «Давайте Вл. Ил. по часам — 30 минут, а потом я к вам приду». Устроил я их для беседы в лаборатории. Ровно через 2 часа вошел я к ним; смотрю,

Г. Я. Сокольников сидит совершенно бледный. Вл. Ил. вынул часы, положил их перед собой и сказал: «точно через 5 минут». И действительно ровно через 5 минут беседа была закончена. Вл. Ил. отвел меня в сторону, подробно расспросил про болезнь Сокольникова, потом спросил, как у нас идет работа в больнице, и на прощанье сказал: «Ну, а огород-то как?» — «Кряхтит», ответил я. «Почему так?» — «Да хозяев уж очень много, все совещаемся». Вл. Ил. улыбнулся и сказал: «У нас все еще так, много совещаемся; ну, если нужно, позвоните. А у вас здесь очень чисто и хорошо, как-то и на больницу не похоже. Ну, простите, я, небось, оторвал вас от работы, ведь опять резать пойдете? Идите, идите, не провожайте, до свидания». Пошел, потом сейчас же вернулся и спросил: «А Сокольникова-то скоро выпустите?». Я ответил, что и сам не знаю.

После этого я и Вл. Ил. увидались 21 апреля 1922 года. Накануне вечером мне позвонил Ник. Ал. Семашко и сказал, что он просит меня завтра поехать к Вл. Ильичу: приезжает проф. Борхардт из Берлина для консультации, так как нужно удалить пули у Вл. Ил. Я ужасно удивился этому и спросил: «почему?». Ник. Ал. рассказал мне, что Вл. Ил. последнее время стал страдать головными болями, была консультация с проф. Клемперером (большой германский профессор, терапевт). Клемперер высказал предположение и, очевидно, довольно определенно, что эти боли зависят от оставшихся в организме Вл. Ил. пуль, якобы, вызывающих своим свинцом отравление. Мысль эта мне, как хирургу, перевидававшему тысячи раненых, показалась прямо странной, что я и сказал Николаю Александровичу. Ник. Ал. со мной соглашался, но все-таки на консультацию нужно было ехать.

Консультация была интересная. Я заехал за Борхардтом, и мы вместе с ним поехали в Кремль. С нами поехала еще женщина-врач, фамилии не помню, на которую была возложена обязанность быть переводчицей. Нас провели прямо в кабинет Вл. Ил., который сейчас же вышел к нам, поздоровался, переводчице сказал, что она нам не нужна: «сами сговоримся», и пригласил нас к себе на квартиру. Здесь кратко, но очень обстоятельно он рассказал нам о своих головных болях и о консультации с Клемперером. Когда Вл. Ил. сказал, что Клемперер посоветовал удалить пули, так как они своим свинцом вызывают отравление, вызывают головные боли, Борхардт сначала сделал удивленные глаза и у него вырвалось *unmöglich* (невозможно), но потом, как бы спохватившись, вероятно, для того, чтобы не уронить авторитета своего берлинского коллеги, стал говорить о каких-то новых исследованиях в этом направлении. Я определенно сказал, что эти пули

абсолютно не повинны в головных болях, что это невозможно, так как пули обросли плотной соединительной тканью, через которую в организм ничего не проникает. Пуля, лежавшая на шее, над правым грудино-ключичным сочленением, прощупывалась легко, удаление ее представлялось делом не трудным и против удаления ее я не возражал, но категорически восстал против удаления пули из области левого плеча: пуля эта лежала глубоко, поиски ее были бы затруднительны; она так же, как и первая, совершенно не беспокоила Вл. Ил., и эта операция доставила бы совершенно ненужную боль. Вл. Ил. согласился с этим и сказал: «ну, одну-то давайте удалим, чтобы ко мне не приставали и чтобы никому не думалось». Сговорились на другой день проверить положение пуль по Рентгену в Институте акад. Лазарева. При рентгеноскопии пули были видны прекрасно, они немного сместились, сравнительно с тем, что мы видели на рентгенограммах после ранения. Сделали рентгеновские снимки в различных направлениях. После этого Вл. Ил. пошел с П. П. Лазаревым осматривать Физический Институт, но осмотр этот не удался, так как Вл. Ил., дойдя до комнаты, где у П. П. Лазарев собраны материалы по Курской аномалии, заставил П. П. познакомить его с этими материалами самым подробным образом. Вл. Ил. слушал очень внимательно, о многом переспрашивал, видно, что он углубился в вопрос. Уезжая, Вл. Ил. сказал, чтобы П. П. Лазарев продолжал держать его в курсе дела. Об операции было условлено делать ее у меня завтра 23 апреля и что Вл. Ил. придет в 12 часов. Я предложил Борхардту приехать ко мне в больницу к 11 часам, думая показать ему до операции хирургические отделения, но проф. Борхардт просил разрешения приехать в 10 / 2 час. Я, конечно, не возражал, думая, что он хочет поподробнее посмотреть нашу больницу. Борхардт приехал и притащил с собой громаднейший, тяжелый чемодан со всякими инструментами, чем премного удивил и меня, и всех моих ассистентов. Инструментов для операции требовалось самый пустяк: несколько кровеостанавливающих зажимов, пинцет, зонд, ножницы, да скальпель, — вот и все, а он притащил их целую гору. Я успокоил его, что у нас есть все, все приготовлено, готов и раствор новокаина, есть и перчатки, и так как до приезда Вл. Ил. оставалось еще 1 / 2 часа, предложил ему познакомиться с хирургическим корпусом. Он видно волновался и сказал, что хочет начать готовиться к операции. После этого Борхардт стал говорить, чтобы оперировал я, а он будет ассистировать, я ему на это ответил, что оперировать должен он, а я с удовольствием ему поассистирую. Борхардт еще несколько раз повторял это свое предложение, что он будет помогать при операции. Так я и до сих пор не знаю, зачем

он это говорил, — думаю, из галантности. О самой операции Владимир Ильич потом как-то на перевязке сказал мне и д-ру Очкину: «я думал, что вся эта процедура будет гораздо скорее; я бы сдавил так — да и разрезал, пуля и выскочила бы; а то это все для парада было». Пришлось невольно рассмеяться и почти согласиться с ним. Вл. Ил. приехал точно в 12 час., с ним тов. Беленький и еще кто-то из охраны. Приехал и Н. А. Семашко. В операционную вошел, конечно, только Ник. Ал., который спросил меня «кто же будет оперировать?». Я ему ответил: «немец, конечно, для чего же он приехал?». Ник. Ал. согласился с этим. Операция прошла вполне благополучно, Вл. Ил. видно совершенно не волновался, во время самой операции только чуть-чуть морщился. Я был уверен, что операция будет амбулаторная и Вл. Ил. через /2 часа, после операции, пойдет домой. Борхардт категорически запротестовал против этого и потребовал, чтобы больной остался в больнице, хотя бы на сутки. Я не возражал против этого, конечно, так как стационарное наблюдение всегда гораздо покойнее. Но куда мне было положить такого пациента, как Владимир Ильич? Отделение было переполнено, но — кем? Я знал, чем каждый из них болен, но совершенно не представлял себе, что может быть на уме у моих больных. Посоветовавшись с главным доктором Вл. Ил. Соколовым, мы решили положить Вл. Ил. в 44-ю палату на женское отделение; палата была отдельная, изолятор, лежавшую там больную легко можно было перевести в общую палату.

Вл. Ил. сначала очень запротестовал и не хотел оставаться в больнице «из-за пустяков». Пришлось уговаривать, указывать, что после кокаина может появиться и тошнота, и рвота, может быть головная боль и нам удобнее будет его наблюдать. Вл. Ил. долго не с оглашался на наши уговоры, последней каплей, кажется, были мои слова: «я даже для вас, Вл. Ил., палату на женском отделении приготовил». Вл. Ил. рассмеялся, сказал «ну вас» и остался.

Это неожиданное помещение в больницу, конечно, наделало много хлопот не нам, больничным, а, главным образом, охране и обеспокоило Надежду Константиновну и Марию Ильиничну, которые и звонили ко мне и потом приехали. Мар. Ил. беспокоилась, накормят ли Вл. Ил. Я успокоил, сказавши, что и позаботимся со всех сторон, и покормим, и напоим.

Вл. Ил., как всякий больной, поступающий в больницу, был проведен по всем бумагам, была написана история болезни, которую заполнил Вл. Ив. Соколов, главный доктор. Вл. Ил. беспрекословно подчинился больничным порядкам, очень любезно принял д-ра Соколова, отвечал на все его вопросы, дал себя выслушать и выстукать. Из этой истории болезни позволю отметить только

последние строчки: «Со стороны нервной системы — общая нервозность, иногда плохой сон, головные боли. Специалистами констатируется неврастения на почве переутомления». Часов в 7 вечера мой сынишка сильно порезал себе ногу, пришлось пойти с ним в корпус и наложить на рану швы и повязку. Я зашел к Вл. Ил., рассказал ему об этом случае, и потом он каждый день спрашивал у меня, как нога моего сына, пока у него не зажило. Эта внимательность к другим — одна из черточек характера Вл. Ил. Вл. Ил. чувствовал себя прекрасно, на вопрос мой, не нужно ли чего, ответил, показывая на тов. Беленького, который стоял в дверях: «Скажите ему, чтобы они не очень волновались и больных бы не стесняли». Часов в 11 вечера, когда я зашел вновь в корпус, Вл. Ил. уже спал. На другой день утром приехал Борхардт, сделали перевязку и в 1 часу Вл. Ил. уехал домой. С Борхардтом вместе сделали еще одну перевязку, он уехал, и рану повели уже я с моим помощником д-ром А. Дм. Очкиным, с нами всегда ездила и моя операционная фельдшерица К. М. Грешнова. Заживление ранки, которое велось на тампоне, длилось недели 2 /2, ранка заживала совершенно гладко; несколько дней из-за этой ранки Вл. Ил. пробыл в Кремле и потом приезжал на перевязки из Горок. Каждый раз Вл. Ил. пенял на то, что нам приходится из-за этих перевязок много терять времени, и все хотел ездить на перевязки в больницу. Приходилось уверять, что мы это делаем с полной готовностью и что для нас будет гораздо спокойнее перевязывать его здесь, а не в больнице. Несколько раз Вл. Ил. оставлял нас пить чай, радушно угощал, беседуя на самые различные темы. Рана уже зажила, была под корочкой; чтобы снять совсем повязку, нужно было посмотреть через день, через 2 — так и договорились.

Через 2 дня меня вызывают часа в 3 с конференции в больнице к телефону. У телефона Вл. Ил.: «Вы что делаете?» — спрашивает он. «Сижу на заседании, потом пойду домой». — «А скоро ли?» — «Минут через 15–20». «Хорошо, минут через 20 я к вам приеду». Я хотел было запротестовать, но он положил трубку.

Действительно, минут через 20, Вл. Ил. приехал и прошел прямо ко мне в кабинет. Я стал было ему говорить, зачем он беспокоился, ведь я бы к нему приехал. «Я, Владимир Николаевич, сейчас ровно ничего не делал, а вы работали; нечего об этом толковать». Снял я коллобийную повязку и сказал, что можно оставаться без повязки. «Ну, вот и хорошо, а то вся эта ерунда мне очень надоела». Потом Вл. Ил. стал спрашивать меня, как бы ему поблагодарить мою фельдшерицу и не нужно ли чего д-ру Очкину. Я сказал, что фельдшерица моя очень издергалась нервами, у нее есть девочка-воспитанница, которая перенесла только-что

какую-то детскую инфекцию, и было бы очень хорошо им поехать в Крым, в санаторию. Вл. Ил. записал себе это в книжку и сказал, что он об этом скажет Семашко. Про д-ра Очкина я ничего не мог сказать, сказал только, что у него жена хворает. Я стал спрашивать Вл. Ил., как он вообще себя чувствует. Вл. Ил. ответил, что в общем ничего, только вот головные боли по временам, иногда сон неважный, настроение плохое. Я стал убеждать Вл. Ил., что ему необходимо хорошенько поотдохнуть, бросить на время всякие дела, пожить просто растительной жизнью. А он на это мне в ответ: «вам, тов. Розанов, самим-то надо отдохнуть, вид у вас тоже скверный, поезжайте за границу, я вам это устрою». Я поблагодарил его, но сказал, что в Германию ехать — не отдохнешь, так как невольно побежишь по клиникам, да по больницам, если ехать отдыхать, то разве только на рижское взморье. — «Ну, и поезжайте» (Вл. Ил., действительно, дал возможность мне отдохнуть в Риге, а моя фельдшерица съездила в Крым). Я сказал спасибо Вл. Ил. и опять к нему с уговорами. Вл. Ил. тепло поблагодарил меня за лечение и сказал, что он о себе «все-таки» думает и старается отдыхать, что за этим особенно смотрит Мария Ильинична; сказал, что его беспокоит больше не свое здоровье, а здоровье Надежды Константиновны, которая, кажется, стала мало слушаться Федора Александровича (д-ра Гетье), и просил сказать Гетье, чтобы он с ней был понастойчивее, а то она всегда говорит, что «ей хорошо». А я в ответ: «так же, как вы». Он засмеялся и, пожимая руку, проговорил: «работать, работать нужно».

Расстался Вл. Ил. со мной в полном благополучии и поехал в Горки, а недели через 3, 25 мая утром, часов в 10, звонит ко мне по телефону Мария Ильинична и с тревогой в голосе просит поскорее к ним приехать, говоря, что «Володе что-то плохо, какие-то боли в животе, рвота». Скоро подали автомобиль, заехали в Кремль, а оттуда уже на двух машинах отправились в Горки, забравши из аптеки все необходимое и для инъекций и различные медикаменты. Поехали Н. А. Семашко, д-р Л. Г. Левин, брат Вл. Ил. Дмитрий Ильич, тов. Беленький и еще кто-то.

Вл. Ил. в это время жил в маленьком домике наверху; большой дом еще отделялся. Раньше нас из Химок приехал уже Федор Ал. Гетье и осмотрел Вл. Ил.; сначала, по словам окружающих, можно было подумать, что заболевание просто гастрическое, хотели связать его с рыбой, якобы не совсем свежей, которую Вл. Ил. съел накануне, хотя все другие ели, но ни с кем ничего не случилось. Ночью Вл. Ил. спал плохо, долго сидел в саду, гулял. Фед. Ал. передал, что у Вл. Ил. рвота уже кончилась, болит голова, но скверно то, что у него имеются явления пареза правых конечностей

и некоторые непорядки со стороны органа речи. Было назначено соответствующее лечение, главным образом, покой. Решено было вызвать на консультацию невропатолога, насколько помню, проф. В. В. Крамера. И так, в этот день грозный призрак тяжелой болезни впервые выявился, впервые смерть определенно погрозила своим пальцем. Все это, конечно, поняли; близкие почувствовали, а мы, врачи, осознали. Одно дело разобраться в точной диагностике, поставить топическую диагностику, определить природу, причину страдания, другое дело — сразу схватить, что дело грозное, и вряд ли одолимое — это всегда тяжело врачу. Я не невропатолог, но опыт в мозговой хирургии большой; невольно мысль заработала в определенном, хирургическом направлении, все-таки порой наиболее верном при терапии некоторых мозговых страданий. Но какие диагностики я ни прикидывал, хирургии не было места для вмешательства, а это было грустно, не потому, конечно, что я хирург, а оттого, что я знал: борьба у невропатологов будет успешна только в том случае, если имеется специфическое заболевание. Рассчитывать же на это не было никаких оснований. У меня давнишняя привычка спрашивать каждого больного про то, были ли у него какие-либо специфические заболевания, или нет. Леча Влад. Ил. я, конечно, его тоже об этом спрашивал. Влад. Ил. всегда относился ко мне с полным доверием, тем более у него не могло быть мысли, что я нарушу это доверие. Болезнь могла длиться недели, дни, годы, но грядущее рисовалось далеко не радостное. Конечно, могло быть что-либо наследственное, или перенесенное незаметно, но это было мало вероятно.

10 марта 1923 г. вечером ко мне позвонил Вл. А. Обух и сказал, что меня просят принять участие в постоянных дежурствах у Владимира Ильича, которому плохо; на другой день мне о том же позвонил т. Сталин и сказал, что он и его товарищи, зная, что Вл. Ил. ко мне относится очень хорошо, просят, чтобы я уделял этому дежурству возможно больше времени.

Я увидел Влад. Ильича 11 числа и нашел его в очень тяжелом состоянии: высокая температура, полный паралич правых конечностей, афазии. Несмотря на затемненное сознание, Вл. Ил. узнал меня, он не только несколько раз пожал мне руку своей здоровой рукой, но, видно довольный моим приходом, стал гладить мою руку. Начался длительный, трудный уход за тяжелым больным.

Тяжесть ухода усиливалась тем, что Вл. Ил. не говорил. Весь лексикон его был только несколько слов. Иногда совершенно неожиданно выскакивали слова: «Ллойд-Джордж», «конференция», «невозможность» и некоторые другие. Этим своим обиходным словам Вл. Ил. старался дать тот или другой смысл, помогал жеста-

ми, интонацией. Жестикуляция порой бывала очень энергичная, настойчивая, но понимали Вл. Ил. далеко не всегда, и это доставляло ему не только большие огорчения, но и вызывало порой, особенно в первые 3–4 месяца, припадки возбуждения. Вл. Ил. гнал от себя тогда всех врачей, сестер и санитаров. В такие периоды психика Вл. Ил. была, конечно, резко затемнена, и эти периоды были бесконечно тяжелыми и для Надежды Константиновны, и для Марии Ильиничны, и для всех нас. Вся забота о внешнем уходе лежала на Марии Ильиничне и, когда она спала, никому не известно. Кроме Над. Конст., Марии Ил., дежурящих врачей и ухаживающего персонала, к которому должен быть причислен и Петр Петрович Покалл, к Влад. Ильичу никого не допускали. Влад. Ильич видимо постоянно тяготился консультациями и всегда после них был далеко не в духе, особенно когда консультанты были иностранцы. Из иностранцев Вл. Ил. хорошо принимал проф. Ферстера, который, надо отдать справедливость, сам относился всегда к Влад. Ил. с большой сердечностью. Но с осени Вл. Ил. и Ферстера перестал принимать, сильно раздражаясь, если даже случайно увидит его, так что проф. Ферстеру, в конце концов, пришлось принимать участие в лечении, руководствуясь только сведениями от окружающих Влад. Ильича лиц.

Свежий воздух, уход, хорошее питание делали свое дело, и Вл. Ил. постепенно поправлялся, полнел. Явилась возможность учиться речи. Гуляли, пользовались каждым днем, когда можно было поехать в сад, в парк. Сознание полное. Влад. Ил. усмехался на шутки. Искали грибы, что Влад. Ил. делал с большим удовольствием, много смеялся над моим неумением искать грибы, подтрунивал надо мной, когда я проходил мимо грибов, которые он сам видел далеко издали.

Дело шло хорошо, уроки речи давали некоторые определенные результаты, нога крепла и настолько, что можно было надеть легкий фиксирующий стопу аппарат. Вл. Ил., чувствуя себя окрепшим, все больше стеснялся услуг ухаживающих, сводя их до минимума. Он действительно захотел обедать и ужинать со всеми, иногда протестовал против диетного стола и всегда протестовал против всяких лекарств, охотно принимая только хинин, при чем всегда смеялся, когда мы говорили ему, как это он так спокойно проглатывает такую горечь, даже не морщась.

Дело, повторяю, шло настолько хорошо, что я с спокойной совестью уехал на август месяц в отпуск. В середине августа от Марии Ильиничны получил письмо, тоже совершенно успокоительное, где она писала, что дежурства врачей уже не нужны, что идут усиленные занятия по упражнению в речи, от которых Влад. Ил.

приходилось даже удерживать. В сентябре пришлось прекратить и дежурства сестер милосердия, которых Влад. Ил. видимо просто стал стесняться.

Упражнения в речи, а потом и в письме легли всецело на Надежду Константиновну, которая с громадным терпением и любовью вся отдалась этому делу, и это ученье происходило всегда в полном уединении. Врачи, специально приглашенные для этого, не пользовались вниманием Вл. Ил.; он потом просто не допускал их до себя, приходя в сильное раздражение, так что они руководили этими занятиями, давая специальные указания Над. Конст. Все как будто шло хорошо, так что против всякой врачебной логики у меня невольно закрадывалась обывательская мысль: а вдруг все наладится и Вл. Ил. хоть и не в полном объеме, а станет все-таки работником.

Л. РУБИНШТЕЙН

Камень на камень (навстречу 97-й годовщине смерти Владимира Ильича Ленина)

Сам я в детский сад никогда не ходил. Я рос при маме и двух бабушках. А мой старший брат — ходил. Он был старше меня на девять лет. Он пережил войну. Он был вместе с мамой в эвакуации, в Уфе.

Он запомнил это время очень хорошо и подробно. Я, например, часто вспоминаю его многократно повторенный рассказ о том, что именно оказалось для него самым вкусным из всего, что ему приходилось есть или пробовать за всю его жизнь. И это «самое вкусное» было тоже связано с войной, с эвакуацией, с Уфой.

Однажды, рассказывал брат, когда ему было лет шесть, соседская девочка пригласила его и еще нескольких мальчиков и девочек из их двора на свой день рождения. По случаю праздника мама этой девочки соорудила торт. Торт был приготовлен из картофельных очисток, сахара и, — верх блаженства, — маргариновых роз, покрашенных, кажется, тертой морковкой.

Роз было всего три, а ребят было пятеро, поэтому неизбежно возникла некоторая недолгая, но бурная потасовка. Маме именинницы каким-то образом удалось убедить двух мальчиков, что розы должны достаться девочкам. Это был самый первый урок рыцарского кодекса. И это был, по твердому и многолетнему

убеждению брата, самый вкусный торт из всех, которые он ел за всю свою жизнь.

И был детский сад! Детский сад военных лет.

Однажды в студеную зимнюю пору, числа примерно 16-го или 17-го января 1941-го года, то есть ровно 80 лет тому назад, когда его, четырехлетнего, мама забрала из детского сада, он был в горьких слезах.

«Миша! — испугалась мама, — Что случилось? Кто тебя обидел?»

«Ленин умер!» — давясь слезами, сказал брат.

Ну, все понятно. Через пару дней ожидалась очередная годовщина смерти вечного дедушки, и детям сообщили об этом прискорбном, но торжественном факте, а также о том, что в саду по этому поводу ожидаются какие-то соответствующие мероприятия. Стихи какие-то, видимо, какие-нибудь песенки, еще чего-нибудь в подобном роде...

Безутешное горе маленького Миши понятно. Им, детям, с утра до вечера внушали, что дедушка Ленин вечно живой. А тут вдруг такая трагическая неожиданность почти двадцатилетней давности.

А другой маленький мальчик, но уже лет тридцать спустя, тоже вернулся однажды из детского сада, и его глаза тоже были на мокром месте.

«Что такое?» — встревожилась его мать. «Я боюсь Ленина», — дрожащим голосом ответил мальчик. «То есть?!» — испугалась мамаша. «Валентина Николаевна сказала, что он умер, но что он живой и очень любит детей».

«Камень на камень, кирпич на кирпич — умер наш Ленин Владимир Ильич». Был когда-то такой столь же неуклюжий, сколь и живучий детсадовский стишок. И появился он, кажется, сразу же после описываемого в нем события.

Знают ли этот стишок нынешние дети? Если и знают, то насколько твердо они знают, кому был посвящен этот реквием? Кажется, не очень. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Леннон и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом «давно это было, еще до меня».

Хорошо это или плохо? Плохо, потому что плохо не знать историю. О социальных последствиях исторической амнезии сказано много, и не будем повторяться. Но это и хорошо, потому что поколение не живет уже теми столь же бурными, сколь и малопродуктивными страстями, какими жили и продолжают жить поколения предыдущие. Потому что им не надо расставаться, смеясь, со своим прошлым — это уже не их прошлое.

Смываются историческими дождями и ливнями иконография и фразеология, многие годы составлявшие основу идейно-эстетического ландшафта страны. Навечно засевший в головах нескольких поколений цитатный фонд, для одних служивший символом веры, для других же — неисчерпаемым источником иронических манипуляций, одним из инструментов выяснения отношений с государством и его господствующей идеологией, неведом для поколений последующих. Кто помнит об «удивительной, нечеловеческой музыке», о «советской власти плюс электрификации всей страны» и о том, по какой именно причине учение Маркса всеильно? Кто хмыкнет, услышав словечко «архиважно»? Кому интересно знать о том, «как нам реорганизовать Рабкрин»?

И даром, что мы ходим в Ленинскую библиотеку, проезжаем по Ленинградскому шоссе и уезжаем в Петербург с Ленинградского вокзала, даром, что на площадях русских городов по-прежнему стоит обильно растиражированный дядька с протянутой рукой. Из общественного сознания стремительно выветриваются и облик, и имя того, с кем навсегда связано совсем еще недавнее существование того грозного, великого и бесконечно иррационального космоса, каковым долгие десятилетия являлась одна шестая часть мировой суши.

Кажется, можно было бы забыть и нам, то есть тем, кто вырос в мучительном ощущении, что все это — навсегда. Кажется, сказано уже все об этом человеке — от «величайшего гения человечества, основателя первого в мире государства рабочих и крестьян и самого человеческого человека» до «мерзкого и циничного вурдалака». Но сказано, разумеется, не все, потому что время для трезвого, академического анализа все еще не пришло. Не пришло оно именно потому, что не улеглись до конца оценочные страсти. А они, эти страсти, продолжают «добушевывать» главным образом по причине того, что мы с вами почти что в самом буквальном смысле имеем «скелет в шкафу».

«Камень на камень». Это ведь о Мавзолее. А в семидесятые годы мы распевали такую песенку: «Камень на камень, кирпич на кирпич — умер наш дядя Федор Кузьмич. Умер наш дядя, жалко его. Он не оставил нам ничего. Он не оставил нам ничего. Ничего, кроме себя самого».

Так что вполне можно сказать, что мы отмечаем в эти дни не годовщину смерти Ильича, а день рождения одноименной мумии, прославленного шедевра отечественной таксидермии, уже которое десятилетие прописанного в самом центре столицы нашей родины.

Собственно, она-то и подменила собою того, кто почил в подмосковных Горках 21 января 1924 года.

Это и есть «заветы Ильича». Это и есть «Великое Ленинское наследие». И что с этим наследием делать — так до сих пор и непонятно. «Ничего кроме себя самого»...

Кто и что отмечает в эти дни? Ну, коммунисты — понятно что. Специалисты-бальзамировщики — годовщину триумфа своей легкой профессии. Еще кто-нибудь — что-нибудь еще.

Я же отмечаю в эти дни восьмидесятилетний юбилей того дня, когда заплаканный мальчик в горьких слезах вернулся из уфимского детского сада. Я ясно вижу, как он горько плачет, впервые в жизни переживая чью-то смерть. И он еще не знает о том, что тот, чью смерть он оплакивает, умирает каждый год, как постоянно и регулярно умирает все то, что директивно назначено «вечно живым».

Он этого всего пока не знает. Он просто впервые узнал о том, что смерть вообще бывает.

Он плачет. Но он непременно утешится. Дальнейшая жизнь много отнимет, но много и подарит. Например, буквально через пару лет ему посчастливится попробовать самый вкусный торт в его жизни. Жаль только, что без маргариновой розы.

Н. РЫЛЕНКОВ*

Баллада о портрете (1948)

Не в мастерской художника, где краскам
Дано грустить и радоваться, нет, —
В глухом лесу, в становой партизанском,
Тот необычный создан был портрет.

Когда над лесом проносились грозы
И гром гремел на языке чужом,
Среди поляны на коре березы
Его разведчик вырезал ножом.

И стало вдруг светло под небом хмурым.
И сразу все поверили — он здесь.
Глядит сквозь чащу точный глаз с прищуром,
И мир пред ним — как на ладони весь...

* Николай Иванович Рыленков (1909—1969) — русский советский поэт.

К нему тянулись тропки по оврагу,
Где шепотком деревья говорят,
Ему спешили принести присягу
Все, кто отныне приходил в отряд.

Что были им фашистские угрозы,
Кто мог их след невидимый найти,
Когда в лесу из-под шатра березы
Сам Ленин им указывал пути!

И час расплаты видел мститель грозный,
Одним его присутствием согрет...
Не зря теперь меж мрамором и бронзой
Поставили в музей тот портрет.

И. САВЕЛЬЕВ*

Я говорю врагам моим**

Я говорю врагам моим,
Что нас расстреливали дружно:
Оставьте Ленина — живым!
А мёртвым — ничего не нужно.

Оставьте Ленина живым.
Он — глыба Мысли, он — Вершина.
И вам ли сбросить Исполина,
Ведь вы — пигмеи перед ним.

Он вас — зверей среди людей —
Сквозь смерть свою,
Сквозь мрамор видит.
Вам ненавистен Мавзолей:
Трепещите, а вдруг он выйдет?

* *Иван Кузьмич Савельев* (р. 1937) — русский поэт, прозаик, переводчик. Лауреат Международной премии имени М. А. Шолохова, кавалер «Ордена В. В. Маяковского». С 1990-го был руководителем аппарата комиссии по культурному наследию Верховного Совета РСФСР. Член Союза писателей России (с 1972).

** Написано по поводу обсуждения вопроса о выносе тела Ленина из Мавзолея в 1991 г.

А вдруг на рубеже веков
Своею логикой железной
Разденет вас, временщиков,
Держащих Родину над бездной?!

И, взглядом охватив страну
В трагичный час ее крушенья,
Откроет людям глубину,
Иуды, вашего паденья.

И как бы вы ни вознеслись —
Вас тут же сбросит с пьедестала
Его космическая мысль,
Его державное начало.

Он — свет и света не уступит.
Он с небом подтвердил родство.
Вот почему, живые трупы,
Бойтесь мертвого — его.

Г. САДУЛАЕВ*

Жизнь на Капри**

— С тех пор как я узнал Наоми, земные женщины мне совершенно неинтересны.

В зале ожидания чистого, ровного, серого до блистательной синевы, отлаженного как часы, идеального, как преддверие рая, аэропорта одной из европейских столиц сидели двое мужчин, старый и молодой. Они сидели за столиком в кофейне зоны отлета, перед ними стояли чашки с чем-то вроде кофе: такой формальный заказ делают для того, чтобы официант отвязался и не мешал разговаривать. Разговаривал старый, молодой слушал.

Старому было на вид хорошо за сорок. Он был одет в синие штаны необязательного покроя и в белую рубашку-поло, расхристанную на все пуговицы. На ногах, одна из которых была закинута

* *Герман Умаралиевич Садулаев* (р. 1973) — российский писатель, политический деятель, журналист. В 2010 г. вступил в КПРФ.

** *Очарованный остров: новые сказки об Италии* (сб.). М.: АСТ; Москва: Corpus, 2014.

на другую, красовались мягкие фиолетовые туфли, слегка поношенные или искусственно состаренные: есть модели обуви, которые специально делают так, чтобы их возраст было невозможно определить. Сам мужчина был поношен изрядно, и, кажется, вполне естественным образом — течением лет. Особенно потасканным выглядело его лицо, обожженное средиземноморским загаром, украшенное морщинами и едва заметными рубцами на лбу. Щетина на подбородке была трехдневной, но, может, и недельной, однако аккуратно подстриженной до стандарта трех дней. В общем, он выглядел как бывалый яхтсмен. Или как человек, который старается выглядеть как бывалый яхтсмен, и ему это удается.

Молодой был едва тридцати лет. Одет в костюм — итальянский или вроде того, светлую рубашку в тонкую полоску, рукав виднелся на два пальца из-под обшлага, галстук на тон ярче костюма, ботинки черные. Верхняя пуговица рубашки была расстегнута, а узел галстука ослаблен. У молодого были слегка полноватые, розовые от природного румянца щеки, губы цвета незрелой вишни были припухлые, но в меру, а шея белая как молоко.

Широкий нос, узкие губы и общая непропорциональность в чертах лица отличали старого. Его можно было назвать некрасивым, если бы не глаза. Глаза у него были крупные и словно бы затянутые дымчатой поволокой. Про такие глаза говорят: печальные и умные как у собаки. Есть женщины, которые влюбляются в одни только такие глаза, не обращая внимания на прочую внешность. Наверное, им кажется, что такие глаза не могут принадлежать человеку расчетливому и циничному, а свидетельствуют, напротив, о тонкой душевной организации. Видимо, дело в особом строении сетчатки.

Молодой был внешне милым, симпатичным, но без излишней слащавости, которая только портит мужчин. Красота его была не точеной, не писаной, но простой и природной красотой свежести и здоровья. Вот только глаза сидели глубоко и были мелковаты, что создавало впечатление одномерной натуры, почти всегда, впрочем, обманчивое.

Трудно сказать, что могло связывать двоих мужчин. Едва ли это была случайная встреча в аэропорту. Не были они похожи и на привычных друг к другу родственников или давних знакомых. Можно предположить, что между ними были деловые отношения и старый был старшим партнером в бизнесе, а молодой младшим; причем совсем не обязательно согласно размеру пакета акций, а может, и вопреки размеру пакета акций, но из-за возраста, опыта и личных качеств каждого. Иногда в такой ситуации старший становится не только в деле, но и в жизни доброжелательным наставником младшего.

Молодой выглядел несколько растерянно и удрученно, как если бы у него была какая-то личная неурядица, обычная для его возраста: несчастная любовь или иные романтические переживания. А старый рассказывал молодому историю из своего личного опыта или придуманную, но поданную как история из личного опыта, рассказывал в дидактических целях и в качестве дружеской психотерапии. От старого и прозвучала эта первая странная фраза. И все дальнейшее повествование.

* * *

С тех пор как я узнал Наоми, земные женщины мне совершенно неинтересны. Это случилось летом на Капри. Капри — остров неразбавленной *dolce vita*, остров праздности, но я был там в некотором смысле по делу.

Я зарабатываю прилично даже по европейским меркам. Если говорить о среднем классе. Не превосходный, но хороший врач-дантист, или юрист, специализирующийся на бракоразводных процессах не звезд, не миллиардеров, но вполне обеспеченных людей, которым есть что делить, владелец небольшого магазина или заведения питания, работающего по франшизе, — каждый из них после уплаты налогов имеет доход примерно такой же, какой имею я. Однако наш бизнес в России никак нельзя назвать respectable. К тому же довольно сложно объяснить вежливо интересующимся иностранцам, как именно мы зарабатываем деньги. Поэтому обычно я говорю, что занимаюсь гуманитарными исследованиями — *humanitarian researches*. Это снимает все вопросы. И в любой случайной компании гарантирует умеренное почтение и невмешательство в мои дела. А ничего другого мне и не нужно.

Но изыскания в области литературы, философии и истории — не только удобная легенда. Я действительно занимаюсь наукой при каждой возможности. Мне нравится. И этим я оправдываю свое существование. Иначе мне пришлось бы признать себя еще одним примитивным мелким паразитом в ряду прочих паразитов на теле страдающего человечества.

На Капри меня привела старая фотография, датируемая 1908 годом. Я наткнулся на нее случайно в одной из книг про Максима Горького, где эта фотография была в ряду прочих иллюстраций. Снимок сделан на вилле Круппа, первой вилле, которую занимал Горький после приезда на остров в 1906 году. Этому предшествовало скандальное выдворение из пуританской Америки, где не признали право Горького проживать вместе со своей неофициальной женой. Мягкая Италия встретила влюбленных

лепестками роз. И Капри, каменный нарцисс, распустился навстречу солнцу русского гения. И так далее. А русский гений, не теряя времени, занялся на Капри своей обычной работой: исследованием головокружительных глубин человеческой души и подготовкой мировой революции.

На фотографии мы видим Ленина, который играет с высоким благородной внешности товарищем в шахматы. И Максима Горького, который сидит рядом, со стороны Ленина, и наблюдает за шахматной партией, улыбаясь в усы. Товарищ напряженно всматривается в доску с фигурами. А Ленин зеваает. То ли ночь выдалась бессонная, то ли слишком легко и скучно ему обыгрывать своего импозантного, но не слишком умного соперника.

Этот красивый товарищ — Александр Богданов. Настоящая его фамилия была Малиновский, а Богданов — наиболее известный псевдоним, другими псевдонимами были Рядовой, Максимов и Вернер. Впрочем, Ленин и Горький — такие же псевдонимы. Литературные псевдонимы смыкались с конспиративными кличками и подменяли одни другие, пока не стали политическими титулами. В начале XX века огромной страной правили люди под псевдонимами. Такого никогда раньше не было и, вернее всего, никогда больше не будет в истории человечества. И я не говорю, хорошо это или плохо. Мне просто любопытно время, когда все грани между литературой, философией, жизнью, политикой, тюрьмой, каторгой, славой, ссылкой и безграничной властью были зыбкими и условными, когда имена испарялись и выпадали пеплом прозвищ и псевдонимов, а тюремные клички превращались в боевой клич и отливались в бронзе. Это было движение тектонических плит, кипение магмы, извержение вулкана: все то, что сформировало наш теперешний социальный ландшафт. Теперь эти скалы стоят там, где стоят, и ничто не сдвинет их с мест, пока не случится новая великая революция.

Остров Капри когда-то был частью материка. Геологи утверждают, что он не вулканического происхождения. Здесь никогда не плескалась лава. Только морские волны точили мирный беспомощный известняк, вырезая в береговой линии пещеры и фьорды. Зато отовсюду на острове виден стоящий на берегу Неаполитанского залива Везувий, спящий чутким сном и раз в полвека поднимающий одеяло Земли.

В номере отеля, где я остановился, точное имя его «La Certosella» (я люблю точность во всем, что только можно назвать и измерить в этом мире хаоса, точность меня успокаивает), в прихожей, напротив двери в ванную комнату, висит репродукция картины про извержение Везувия. Я не нашел оригинала ни у Джо-

зефа Райта, ни у Юхана Кристиана Даля. На самой репродукции нет никаких имен и дат. Возможно, эта картина принадлежала кисти малоизвестного автора. По парусным лодкам и некоторым деталям берега я определил для себя, что, скорее всего, нарисовано извержение 1822 года. Менее вероятно, но тоже возможно, что сюжетом картины стало следующее пробуждение Везувия, которое случилось в 1872 году. Картина живая и яркая. Но самое интересное — это точка обзора. Художник показал извержение Везувия так, как оно виделось с острова Капри. Через залив. Красиво и безопасно. Мне подумалось, что с такого места, как известняковый Капри, хорошо было любоваться и вулканами социальных революций на пылающем материке.

Нисколько не осуждаю Богданова, Горького и иных. Напротив. Чтобы написать картину вулкана, нужно, чтобы художник был в относительной безопасности. Никто не сможет закончить свое полотно, если посередине творческого процесса прилетит от вулкана горящая бомба и ударит художника по голове. У нас, у русских, есть эта неприличная злая зависть к таланту, которая мешает истинному расцвету благотворительности и меценатства в нашей стране. Мы хотим, чтобы художник был непременно, как мы, голоден и зол. А еще лучше, чтобы ему было гораздо хуже, чем нам. Чтобы он был еще голоднее и злее, вот тогда, дескать, он прочувствует правду-матку. Потому меценатство у нас считают за преступление против высокого нищего искусства. А состоятельному автору не принято доверять.

Однако те же мы привычно сетуем, что вот, мол, какое у нас искусство бедное и злое. Какое мрачное и беспросветное. Какая у нас везде и всюду непобедимая достоевщина. Какая подвальная сырость и низкие бетонные своды в каждом русском фильме или романе. И никому не приходит в голову спросить: «А чего еще мы можем желать от художника, который, бедный и злой, живет в сыром подвале и потолок у которого низкий, рукой достать?» И ведь сами мы его туда поселили ради правды жизни. Вот он и пишет правду, которую знает. А другие из нас, они под солнечным небом на белой яхте или в хоромах под облака, да только они не могут написать ни строчки, чтобы это не было пошло и тошнотворно. И, привычно поругав родную «чернуху», идем впитывать заморский светлый мир искусства, где не принято художнику завидовать и никто не осуждает тебя, если ты дашь художнику хлеб и оливковое масло, и пусть пишет. Никто не спросит художника злобно: «Откуда у тебя хлеб и масло?» Никто не скажет меценату: «Зачем дал художнику? Лучше бы дал нищему! Или мне! Или никому лучше не давай, только не дай художнику, потому что испортишь его чистый голодный глаз!»

А разве испортишь художника хлебом и маслом? Нет. Но голодом, голодом испортишь художника. Так, что плюнет он на свое ремесло и пойдет ловить рыбу, вместо того чтобы ловить человекoв.

Известный биограф всех-великих-русских-писателей замечает, что пролетарский певец Горький в Неаполе остановился в шикарной гостинице. А жил потом на Капри, который был самым дорогим курортом в Италии. И удивляется, почему в Италии это никого не удивляло? А меня удивляет, почему это должно было в Италии кого-то удивить? Я удивляюсь: чему тут удивляться? Тут не удивляться нужно, а радоваться. Если это хороший пролетарский певец, так пусть он живет в хорошей гостинице и на хорошем острове пусть живет. Если он пролетарский певец, так что теперь, обязательно ему жить в лачуге? А во дворцах, значит, могут жить только буржуазные певцы? Что это за врожденная привилегия буржуазии? Нет, дорогие! Пролетарская революция, она в том и состоит, что хороший пролетарий будет жить во дворце с другими хорошими пролетариями, а паразиты буржуи, бесполезные и вредные обществу, — вот они пусть и живут в лачугах и грызутся там за свои никому не нужные устаревшие «акции» и «деньги», как бомжи за пустые бутылки, потому что только так встанет над землей заря коммунизма, а не иначе.

В Италии все это если не понимали, то чувствовали очень хорошо. Поэтому Горького осыпали лепестками роз. А Горький использовал свое положение для общей пользы. В частности, вместе с Богдановым и Луначарским устроил на Капри революционную школу для продвинутых представителей рабочего класса. Мне из этой компании более всего был интересен Богданов. Ради Богданова я и прибыл на остров Капри.

Конечно, моя история не про Богданова, а про Наоми. Потому что всякая история должна быть про любовь, иначе в истории нет ни пользы, ни смысла. Но мне трудно рассказывать про Наоми. Ведь я, в сущности, почти ничего про нее не знаю. Гораздо легче рассказывать про Богданова. Мне кажется, что я знаю про Богданова больше, чем про Наоми, хотя Богданов умер за сорок лет до моего рождения, а с Наоми я был знаком лично, даже близок, и прожил вместе с ней на Капри целую жизнь, уместившуюся в пять дней.

Начиналось все в кафетерии рядом с остановкой кабельного вагончика, который поднимает пассажиров от порта Marina Grande к центру городка Капри. Была ночь, я сидел за столиком на улице и смотрел на светящуюся гирлянду дороги, привешенную к горе на другой стороне бухты. Зрелище меня завораживало, и я ловил какой-то необычный «приход», если вы понимаете, о чем я гово-

рю. Я прибыл на Капри за день до этого и успел уже обустроиться: изучил окрестности отеля, нашел недорогой ресторан с хорошей пастой, супермаркет с винами и сырами, маршруты коротких прогулок и площадки для созерцательного уединения, а также посетил пару мест по своей научной программе. В целом я был доволен, хотя и устал, и теперь просто отдыхал. Кафетерий был пуст: вся публика шумела неподалеку в ресторанах и барах знаменитой Piazzetta — самой маленькой и самой заполненной городской площади в Европе.

Я что-то пил, кажется, зеленый чай, и в положенный срок у меня возникла естественная надобность. Я вошел в кафетерий и направился к двери уборной, которая была в глубине помещения, слева от стойки бара. Там я и встретил Наоми. Прямо у двери. Она вывалилась из туалета в зал кафетерия, слегка пошатываясь и вращая глазами. Поравнявшись со мной, она споткнулась, и я едва успел подхватить ее на руки. У меня вырвалось по-русски:

— О Господи! Вам плохо?

И тут же я подумал, что она наверняка не понимает по-русски, и сказал ей что-то на английском языке. Потом на немецком. По-итальянски я не знаю ни слова. Но девушка, утвердившись с моей помощью на ногах, ответила по-русски:

— Ничего, все нормально. Господи, как они тут на этих ходят!

Она смотрела на свои красные туфли с длинными тонкими каблуками. Выше туфель на ней было легкое зеленое платье, стилизованное под тунику, с золотой вышивкой и без пояса. Волосы на голове были собраны в кичку. Наряд был вполне продуманный и вечерний. Но девушка чувствовала себя как-то неуверенно, словно одевалась случайно и впопыхах.

— Хорошо бы присесть.

Она говорила по-русски с акцентом, который я определил как среднехорватский, что бы это ни значило.

Свою нужду я забыл, мы вышли на улицу, я придерживал ее за руку, подвел к своему столику, хотя вокруг было полно других, пустых, и предложил кресло — в данном случае пластиковый стул. Она присела, и я спросил, где ее друзья. Она сказала, что никого нет, она здесь одна. Ей было немного плохо. Тошнило. Но теперь все в порядке. Я спросил, откуда она. Она почему-то показала пальцем вверх и сказала:

— Оттуда. Я только что упала.

— В смысле прилетела?

— Прилетела, да. Сверху вниз.

Она засмеялась.

Потом она посмотрела на открытую кожу своих рук и ног под короткой туникой и воскликнула с неприятным изумлением:

— О ужас! Как я обгорела! Пока падала.

Она действительно была очень темной. Но я не мог понять при ночном освещении, загар это или она мулатка. В любом случае внешностью и акцентом она никак не походила на русскую, и я спросил, откуда она знает русский язык.

— Выучила, — ответила она серьезно.

— В университете? Вы славистка? — подсказал я.

Она задумалась на несколько секунд. Потом сказала:

— Да, пожалуй, я славистка.

И еще через пару секунд добавила:

— Это ты хорошо придумал.

Позже, когда она представлялась в различных компаниях, при мне и без меня, она так и называла себя — славистка: «Я — славистка». Похоже, для нее это стало тем же, чем для меня мои «гуманитарные исследования». О настоящей ее профессии я мог только догадываться. Мог. Но не хотел. Я думал: «Какая, в самом деле, разница?»

Она сказала, что ей надо устроиться, и попросила помочь. Я подумал о том, что она могла бы прекрасно устроиться вместе со мной в моем двухместном номере, где я жил один. Но вслух предложить это постеснялся. Хотя теперь понимаю, что зря. Она бы не оскорбилась, не удивилась и не обиделась. С ней все было просто. Но тогда я еще этого не знал и спросил, где ее багаж и есть ли у нее документы. Про деньги я спрашивать не стал, это было бы совсем неприлично. Она беспомощно пожала плечами и сказала:

— Не знаю!

Я сказал:

— Может, в сумочке?

У нее через плечо висела маленькая дамская сумочка-клатч, красная — в тон туфлям. Она хлопнула себя по лбу и открыла сумочку. В сумочке нашлись паспорт, пачка купюр и пара золотистых кредиток. Я не посмотрел в ее паспорт. Снова постеснялся. Поэтому я даже не знаю, как ее на самом деле зовут. Она представилась, но на слух ее имя было очень сложным. Я попытался повторить и произнес:

— Наоми?

— Да, Наоми. Пусть будет Наоми. Мне нравится, — сказала она.

Я сказал, что отель, где я живу, недалеко отсюда. И, кажется, там есть свободные номера. Она сказала: «Прекрасно, пойдём!» Мы пошли. Я придерживал ее за руку. Но только до первого пункта с муниципальными контейнерами для мусора. Наоми остановилась, внимательно изучила инструкции по разделному сбору мусора

на каждом из контейнеров, а затем, выбрав наиболее подходящий, сняла туфли и выбросила. После этого она пошла босиком, легко и спокойно, и моя поддержка ей больше не требовалась.

На следующий день мы первым делом пошли в обувную лавку, где мастера, используя заготовки подошв и ремешков, вяжут сандалии прямо на ноге. Наоми села и подала свою маленькую ступню. Обувщик дотронулся до Наоми и впал в транс. В трансе он сплел для Наоми обувь точно по размеру, и, когда мы ушли, он продолжал сидеть в состоянии просветления, покачиваясь, улыбаясь и мыча.

У нее была волшебная кожа.

Сказать, что Наоми была красива, значит ничего о ней не сказать или солгать. Наоми была не красива, она была идеальна. Что такое женская красота? Чаще всего это степень приближения к какому-то стандарту. К исторически изменчивому стереотипу «красоты». Стандарт всегда формален, поэтому следование ему всегда искусственно. То есть это искусство. Все образы, которые мы почитаем за воплощения современных нам представлений о красоте, на 80 процентов созданы не природой, а дизайнерами, стилистами и особенно фотографами. Они всегда дают нам тот ракурс, с которого модель выглядит как ее запланированный образ, а другого ракурса никогда не дают. И когда мы встречаем эту модель или актрису в жизни, то узнаем, что она выглядит как лягушка. И испытываем разочарование. Я уже не говорю о том, что земные женщины имеют на теле волоски, не всегда приятные, поры, из которых сочится пот, разные неровности, пятна и шероховатости — все то, что стирает глянец. Глянец продает нам образ небесной девы, которой нет в жизни, никогда не было и не будет. Модель для фотографа то же самое, что натурщица для художника, — не менее, но и не более. Он берет податливую глину и создает образ, соответствующий его извращенным представлениям о красоте. Но даже этот образ — не настоящая красота.

Настоящая красота не зависит ни от какого формального стандарта. Настоящая красота сама себе является критерием и мериллом. У Наоми были женские бедра, слегка широковатые по представлениям геев-фотографов и дизайнеров-педофилов. У Наоми был смешной вздернутый носик. И Наоми была по-настоящему красива, то есть идеальна. А если вы видели вблизи ее кожу или могли к ней чуть прикоснуться, то все вопросы устранились. Она была самой красивой здесь, на нашей планете. Она была неземной. Идеальной. И не только внешне.

Наоми понимала, что у меня на острове есть дела. И сказала, что хочет погулять одна. И отправилась гулять одна. А я отпра-

вился изучать Богданова. Она не капризничала, я не обиделся, не нервничал, не ревновал, вообще не беспокоился. Я был уверен, что все хорошо. Наоми гуляет, я занимаюсь делом. Все в порядке.

Потому что Наоми была идеальной женщиной. Идеальная женщина не вытягивает внимание на себя, не выжимает всю твою энергию до последней капли, не ввергает в отчаяние твой мозг. Идеальная женщина создает ощущение покоя, с ней мужчина может заниматься своим делом, а не бегать вокруг нее на задних лапках, как мопс. Это удивительно! Я только что познакомился с самой прекрасной женщиной на планете, мы подружились, у нас завязались многообещающие отношения! И я, совершенно не волнуясь по этому поводу, отпустил ее гулять, а сам отправился изучать Богданова.

* * *

В 1909 году вышла в свет философская книга «Материализм и эмпириокритицизм». В качестве автора на титуле значился некий Вл. Ильин. Это псевдоним. Псевдоним того же самого человека, который более известен под другим псевдонимом — Ленин. Вся книга посвящена разоблачению А. Богданова и прочих «русских махистов» как скрытых идеалистов, отступников от марксизма и диалектического материализма. Философский уровень работы Ленина низок, полемический накал высок. Ленин постоянно обзывает оппонентов всеми возможными обидными словечками. Говоря по-нашему, «жестко троллит». Но ради чего?

Я давно задумывался: что заставило Ленина, практического политика *par excellence*, заняться критикой чисто теоретических установок, гносеологии и прочих мудреных вещей, слабо связанных с политической жизнью? А ведь «Материализм и эмпириокритицизм» — главный, если не единственный, чисто философский труд основателя советского государства. Неужели так опасны были махисты?

Познакомившись с Богдановым, я понял: да. Богданов был для Ленина опаснее, чем все остальные опасности, вместе взятые. И сколько бы усилий ни прилагал Ленин для опровержения Богданова, никакие усилия не могли быть чрезмерными, а все были недостаточными. И Ленин в итоге проиграл. И сам Ленин понимал, что в итоге обязательно проиграет Богданову. Ленин знал, что у него нет против Богданова никаких шансов, потому так нервничал и писал столько обидных слов. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» каждая строчка сочится, как кровью, безграничным отчаянием.

Богданов-Малиновский состоял в центральном комитете большевиков. Они были дружны с Лениным с 1904 года. Но вскоре

Ленин понял, что от Богданова нужно избавиться. В 1908 году Ленин на Капри переиграл Богданова в шахматы, а в 1909 году издал критическую книгу, которой поставил «богдановщину» вне закона для истинных большевиков, вывел Богданова из ЦК, а потом и вообще из партии. Богданов плохо играл в шахматы и в политику. Он пытался организовать собственную фракцию «Вперед!», которую Ленин легко разгромил. Богданов не стал упираться, он ушел из политики и даже из философии, которая оказалась политически значима. Богданов занялся своей придуманной наукой «тектоникой» — об организации всего, писал фантастические романы, «Красная звезда» и так далее, после революции вдохновлял Пролеткульт, а после того как и Пролеткульт был разгромлен, занялся медициной — по своей первой специальности. Открыл институт переливания крови. И вскоре умер от неудачного эксперимента по переливанию крови, поставленного на самом себе.

Некоторые полагают само собой разумеющимся, что идеи Ленина выиграла, а идеи Богданова проиграла. Эти люди ничего не смыслят в борьбе идей. Они полагают, что борьба идей сводится к борьбе между людьми, носителями идей. Но это величайшее заблуждение.

Идея не является принадлежностью какого-либо человека или группы людей. Идеи используют людей как футляры. Иногда футляры думают, что какая-то идея победила другую идею, потому лишь, что футляры — носители первой идеи победили футляры — носители второй идеи. Но это только война футляров, никакого отношения не имеющая к противостоянию идей. Идея — совершенно иная форма жизни, нежели человек или вообще любое биологическое создание. И в этом идеи подобны вирусам.

Вирус — так называемая неклеточная форма жизни. Никакими признаками обыкновенной клеточной жизни вирус не обладает. Вирус никогда не умирает, потому что он, собственно, никогда и не жил. Вирус — это не сама структура вируса в веществе, а идея структуры вируса. В отличие от настоящей жизни вирусу совершенно безразлична судьба любого тела, то есть живого вещества. В нас, многоклеточных организмах, «колониях из миллиардов клеток», как определял человека Богданов, может присутствовать частичка вещества, пришедшая к нам через миллионы лет от далеких предков. Наши коды зашифрованы в веществе и передаются только вместе с веществом. Так мы размножаемся, распространяем свое вещество.

Вирус не размножается. Репликация вируса — это перенос идеи его структуры на другое вещество без переноса самого веще-

ства. Само вещество вирусу нужно только затем, чтобы временно хранить идею, конфигурацию вируса, до репликации на новое вещество. Никакой самостоятельной ценности у вещества нет. Никаких «детей», «родителей» и прочей семьи у вирусов нет. Вирус — это чистая идея, без тела. А идея — это вирус.

Идея «живет» в человеке, идея использует человека для того, чтобы сохраниться и реплицироваться в как можно большее количество копий, а после без сожаления оставляет человека. Идее все равно, «победил» человек или «проиграл», она не заботится о его судьбе. Ее цель — безграничная репликация. Ее бытие — постоянная мутация, подобная мутациям вируса.

Иногда целые государства становятся «телом» идеи. И другие государства, пытающиеся истребить пугающую их идею, борются с такими государствами и побеждают. Они разоряют побежденные государства и расчлениают на части. И думают, что теперь уже совершенно победили идею. Они не знают, что убили больного чумой, но не саму чуму. И, сев пировать на останках поверженного врага, они даже не думают о том, что с каждым куском его мяса они отправляют в себя бесчисленные вирусы его болезни. И тем более им не понять, что само поражение и гибель прежнего носителя, ослабшего от болезни, было частью плана идеи по проникновению в здоровое тело врага.

«Жизнь» идеи невероятно интереснее и богаче жизнью людей, даже тех, кого идеи избирают временными носителями.

Богданов в своем ответном на критику Ленина трактате подметил, что Вл. Ильину, то есть Ленину, не так важно, является ли философ по сути учения диалектическим материалистом, как важно то, что он себя называет диалектическим материалистом. Сам Богданов относился к такой подмене отрицательно, но богдановская идея использовала эту уловку. В будущем все истинные богдановцы называли себя «истинными ленинцами» и тем обеспечивали себе выживание и возможность претворения своих теорий в государственную практику. Никаких иных «истинных ленинцев», помимо богдановцев, никогда не было и не могло быть. Хотя бы потому, что никто, никогда, даже все вместе «столицот» кафедр марксизма-ленинизма в СССР так и не смогли выяснить, в чем собственно состояло учение Ленина, ленинизм. В плане философии Ленин не заявил ничего нового, поскольку был всего лишь прилежным учеником, если не сказать эпигоном, Плеханова, который, в свою очередь, был не менее прилежным компилятором немецких философов, от Канта до Маркса и Энгельса. Во всех остальных отраслях знания и литературы Ленин был практически политиком и свои теоретические воззрения подстраивал

под тактические требования момента. В этом смысле и сам Ленин был богдановцем, так как именно Богданов заявлял, что нет истины как догмы, а есть процесс постижения. Не было у Ленина своего учения, и ленинцев он не мог наплодить.

А вот у Богданова философия была. Настоящая «теория всего», объясняющая все на свете. И по-настоящему русская. Хотя Богданов и отталкивался в своей философии от Маха и Авенариуса, но именно что отталкивался, а забрел в такие дали, которые и не снились его учителям. Тогда как Плеханов и прочие боялись пройти и полдороги, которую осилили их учителя, Маркс и Энгельс. Богданов придумал свою «тектонику» как базу всех наук, естественных и социальных. Ключевое слово его учения — «организация». Даже истина у Богданова — это форма организации коллективного опыта. А в социальном ключе базис «богдановщины» можно сформулировать так:

Человечество *может* быть сознательно и разумно *организовано*, следовательно, *должно* и *будет* сознательно и разумно *организовано*.

Эта идея далека от «классического», «научного» марксизма, как и от прочих догм о примате экономики и прочих «объективных» факторов над субъективными представлениями с выводами об ограниченности возможностей для социального конструирования. Зато смыкается с русским учением о ноосфере Вернадского, с русским страшным философом воскресения во плоти Николаем Федоровым и общим течением настоящей русской философии, которое состоит не в маргинальном бердяевском упадничестве, а в прозрении о неведомой безграничной силе пробужденного и правильно организованного сознания. Это и есть то, что русский интеллигент понимал под словом «социализм».

Все русские титаны социализма были богдановцами. Горький был богдановцем, им и остался, даже притворяясь ленинцем. Луначарский был богдановцем и остался, даже отрекшись от имени Богданова, пока трижды не пропел петух. Богдановцы организовали Госплан и плановую экономику. Богдановец Хрущев сажал кукурузу, а богдановец Андропов сажал взяточников. Создали СССР и сделали его могущественным богдановцы, и богдановцы его разрушили, когда, начитавшись в своих богдановских НИИ богдановцев Стругацких, решили, что СССР *недостаточно* разумно *организован*.

Суть и тайну русской литературы двадцатого века поймет тот, кто увидит, что Венедикт Ерофеев — это тот же Андрей Платонов, богдановец. Но уставший. Дайте ему отдохнуть. Напоите его живой слезой комсомолки. Отвезите его в Петушки, туда, где не отцветает

жасмин. Он отдохнет и воспрянет. Встанет и устроит правильную, *организованную* жизнь для себя и всего вокруг.

Кроме «богдановщины» в русской литературе была еще одна линия: пессимизма и декаданса. Ее главная мысль состояла в том, что ничего никогда не получится. Человек плох, а русский человек еще хуже. Все обернется ко злу. Поэтому лучше было бы ничего не менять, не трогать, а жить при царе, как раньше. Играть на роялях, ходить в театры, ловить бабочек и в меру жалеть чернь. Это титаны Бунин, Булгаков, Набоков и далее до перестроечных пигмеев.

Никто не был прав, и никто не виновен. Люди жили и умирали, некоторые создавали гениальные произведения, другие нет. Все влюблялись и разочаровывались. Каждый страдал. А идеи продолжали собственное независимое бытие. И, как всегда, во многих мудрости было много печали. Печально было Ленину понимать, что сколько бы ни побеждал он Богданова в шахматах и в интригах, а все равно идеи Богданова будут побеждать в той стране, которую создаст Ленин, отдав этому свою душу, и умрет Ленин совсем без идей, как пустой футляр, и останется только имя, как оболочка, а внутри всеильным червем будет жить вечный Богданов.

* * *

Идеальная женщина умна. Но ум ее легок, не тяжел. Она понимает все, что говорит мужчина. Однако она умеет оттенить мужское умствование своей легкомысленной репликой так, что самые чугунные построения приобретают ажурную невесомость.

Мы с Наоми поставили себе целью пройти все пешие маршруты, обозначенные на туристической карте острова. И первым было восхождение по Финикийской лестнице — La Scala Finicia. То ли 800, то ли 900 с гаком ступеней, древняя пешая дорога между городками Капри и Анакапри. О, это была трудная дорога! Вообще-то туристы поднимаются вверх на автобусе, а лестницу используют для спуска. Но мы сделали наоборот. Я преодолевал ступень за ступенью, обливаясь горячим потом. Кожа Наоми тоже сочилась какой-то жидкостью, пахнущей жасмином. Вдоль дороги нам часто попадались алтари в нишах стен и выемках скал. Обычно в центре композиции находилась статуя Девы Марии. Попадался и Христос в разных обликах. Или даже сразу в нескольких: от младенца на руках Богородицы до распятия.

Я остановился около одного из алтарей, чтобы сделать передышку, и вслух подумал о том, что средиземноморская религия — объемная, чувственная, телесная. Поэтому в храмах и на алтарях чаще встретишь не иконы, а скульптуры — объемные образы

божества. И сделаны они так, что передают телесные чувства. И распятие — это мука настоящая. И в раны Христа можно вложить персты. И Дева Мария, хоть и непорочная, а мать любящая, изначальная. И Бог — отец. Даже Святой Дух опознается в форме, в теле, голубем, например. Вера средиземноморских католиков не оторвана от вещества жизни. А дальше, на восток, через Византию к России, исчезают статуи, преобладают иконы. Восприятие плоское, бестелесное. За двухмерностью иконы стоят множественные измерения духа, но тела больше нет, оно иллюзорно, и вещество жизни не имеет значения, важна только идея. И вот Богданов, живший на Капри, здесь обдумывает свою «тектонику». Размышляет о веществе жизни. И формулирует, что сохранение и приумножение вещества жизни есть главная цель любого действия и критерий истины. А не какая-нибудь идея. Он говорит, что все идеи второстепенны перед веществом жизни. Что истина в смысле любой «истинной» идеи — временное понятие, а настоящая истина, правда и справедливость только в жизни, в живом веществе, в его сохранении и приумножении. Однако эта красивая формула сама была идеей. Очень живучей. Которая переживет много жизней и угробит много живого вещества. Но Богданов об этом не знал. Ему было удобно здесь размышлять, на Капри, в Средиземноморье, посреди объемной и телесной веры. Такой нет в России. Что-то похожее есть в Индии, там божества объемны, есть и скульптура, и чувства...

— Ты был в Конарке? — спросила меня Наоми.

Я был в Конарке, у храма Солнца, который построил внук Кришны несколько тысяч лет назад или какой-то раджа несколько сот лет назад, а теперь храм полуразрушен и засыпан внутри песком, его засыпали песком англичане, говорят, для сохранности, но звучит фальшиво, и тысячи туристов приезжают посмотреть на храм снаружи, полюбоваться на барельефы, изображающие в том числе небесных танцовщиц — апсар.

— Я тоже была, — сказала Наоми. — Я позировала.

Она встала к скале и шуточно изогнулась, подражая позам апсар на барельефах, и на мгновение мне показалось, что она сама стала объемным изображением на скале — с преувеличенно широкими бедрами и налитой грудью, этими магическими символами, призывающими плодородие, и я не мог не поверить, что она, Наоми, позировала сотни или тысячи лет назад неизвестному скульптору, вырезавшему барельефы Конарка.

— Вишвакарма, — сказала Наоми. — Его зовут Вишвакарма, этого скульптора. И он довольно известен. Хотя, конечно, больше там, чем здесь.

Она дернула подбородком, показывая куда-то вверх.

Любой мужчина, когда видит фотографию обнаженной красавицы, задумывается над вопросом: было ли что-то у фотографа с моделью? Ну было ведь. Не могло не быть. Однако я не успел ничего такого подумать, тем более спросить. Тем более про Вишвакарму. И про барельефы, которым не то сотни, не то тысячи лет. Наоми опередила меня. Она сказала:

— У нас с ним было трое детей.

Затем она приблизилась ко мне и, словно желая утешить и предугадать мои возражения, провела по моим губам пальцем и сказала:

— Не печалься. У тебя тоже все будет.

Когда мы забрались на самый верх и стояли на обзорной площадке одни и смотрели с головокружительной высоты на бухту, скалы, зеленые вершины и море, Наоми нырнула под мою руку. Она стояла лицом ко мне, касаясь моей груди своими сосками, внезапно затвердевшими, несмотря на жару, под ее мокрой, пахнущей жасмином майкой, и гладила меня ладонями сверху вниз, от затылка, по дрожащей спине, до напряженных каменных ягодиц. Она склонила голову немного вбок и нашла мои губы, открыв свои губы навстречу, и, как змея в бутоне, сверкнул ее влажный язык. А после мы полетели над морем, и было не страшно, хотя голова кружилась, и кто-то пел, играли лютни, сыпались лепестки. Когда я очнулся и приземлился, уже начинало темнеть.

* * *

Самое важное открытие в своей жизни я сделал, когда мне было пятнадцать лет. Я отчетливо помню этот день или, скорее, вечер. Помню место: остановка автобуса, навес и лавка, асфальт, заплеванной семечной шелухой. Название городка я тоже помню, но не буду его называть, чтобы не вызывать лишних, не имеющих отношения к существу моего открытия, ассоциаций. Потому что это могло случиться в любом месте.

Помню, что по поводу своего внезапного прозрения я сочинил стих. И стих помню, но не буду его цитировать, он довольно неуклюж по форме. В стихе обыгрывается метафора — звезды уходящей ночи, падающие в леса, сравниваются с семенами, из которых взойдет заря нового дня. Не помню только, сам сочинил я этот образ или позаимствовал из мифологии каких-нибудь древних племен. Мыслью и стиха, и прозрения было: не стоит жалеть о зря потерянном времени. Потому что любое время потеряно зря. Не бывает никакого непотерянного времени. Никакого хорошо использованного. И так далее. Любое время прошло, а значит — потеряно. Безвозвратно.

И чем бы мы ни занимались, мы всегда одинаково теряем время. С одинаковой скоростью. А больше ничего и не важно. Да, конечно, субъективное восприятие времени разнится, и ласки с любимой девушкой, кажется, длились всего минуту, а прошел час, или, наоборот, в кресле стоматолога пять минут делятся как сутки, и все такое. Но это иллюзия. Время идет всегда с одной и той же скоростью. Мы проживаем, то есть теряем время всегда одинаково: и когда целуемся, и когда лечим зубы. И потом нам не важно, что мы делали, так как и то и другое прошло.

У времени нет никакой скорости, потому что любую скорость мы измеряем во времени, так чем же измерять само время? И никакой относительности нет, все это сказки: про то, что время замедляется при приближении к скорости света. Гипотетический космонавт, летящий со скоростью света, проживет, потеряет то же самое свое время. Свои условные сто лет. И даже если когда он вернется, узнает, что на Земле прошла тысяча лет или более, ему-то что? Он прожил свои сто лет, а не земную тысячу. Все живут свои сто лет: и космонавт, и муравей. Все теряют время одинаково, с одинаковой скоростью. Никакого успеха ни у кого быть не может. Никто никуда не успеет раньше остальных. Все, что мы тут делаем, — это едем к пропасти, вползаем в пасть змеи, и самое обидное, что все с одинаковой скоростью, и не можем ни ускориться, ни замедлиться, ничего мы не можем сделать, поэтому все равно.

Если есть Бог, то в мире Он проявлен как время. Никакого другого Бога тут может и не быть. Да и не нужно. Времени вполне достаточно. Чтобы держать нас под каменной пятой и раздавить, когда оно придет, время. Время — причина всего и время — следствие. Все, что существует, существует только во времени, и только само время существует. Да, только само время существует. Все остальное лишь иллюзия, порождающая скорбь.

Дело в том, что, как бы ты ни жил, как бы ты ни старался, в конце тебе все равно будет мучительно больно за прожитые годы, потому что эти годы целно или бесцельно, но прожиты и их больше нет. И я не верю, когда седой мужчина с довольным лицом поет: «I did it my way». Что типа у него все хорошо, он все исполнил, все делал по-своему и ни о чем не жалеет. И даже вроде уже готов уходить, такой как он есть, довольный прожитой жизнью. Так не бывает.

Видели ли вы, чтобы умирающий с голоду говорил: «Это ничего. Бывало, и я ел! Бывало, каждое утро завтракал! Какие были тосты, какие бутерброды, супы прекрасные и паста с томатами! Все у меня было, а теперь я спокойный умираю». Нет. Прошлое прошло, и он снова хочет кушать, сейчас. Съеденный вчера обед никак не помогает против сегодняшнего голода.

И старый старик, думаете, он удовлетворен воспоминаниями о былой любви? О покойной жене? О прочих разных романтических приключениях? Нет. Он хочет новой любви. Он хочет любви сейчас, а не раньше. Даже если не может уже совсем ничего.

Так и время. Ты никогда не будешь доволен прошлым временем, ты все равно будешь зол на него за то одно, что прошло оно, оставило тебя, а ты его потерял. И количество тоже не имеет никакого значения. Можно жениться на любимой и прожить с ней двадцать лет, а можно провести вместе двадцать минут. Когда эти двадцать лет или двадцать минут пройдут, ты будешь чувствовать одинаковую скорбь. Количество времени не имеет значения. Имеет значение только само время, и его главный закон: оно проходит.

Из этих печальных рассуждений есть один добрый и полезный для психики вывод: жалеть глупо. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал или не делал, время всегда проходит одинаково, и потом ничего не остается. Воспоминания? Воспоминания — это иллюзия. Кто поручится, что это было, если этого уже нет? Могло быть, а могло и не быть. Воспоминания можно забыть. Или придумать.

Мы прожили с Наоми на Капри пять дней.

* * *

Я не считаю вечер того дня, когда мы впервые встретились у кафетерия над Marina Grande. Ночь мы провели в разных номерах одной и той же гостиницы «La Certosella». Утром мы купали босоножки, потом я работал, а Наоми гуляла одна. Это был первый день. Потом мы ночевали, снова в разных номерах. Второй день, мы гуляли вместе, поднимались по La Scala Finicia. На самом верху, на обзорной площадке, она поцеловала меня. Мы вернулись в гостиницу и легли спать в одном номере.

Утром третьего дня Наоми сказала мне:

— Я беременна.

Усмехнувшись, я спросил:

— От Вишвакармы?

Наоми даже не улыбнулась. Она посмотрела на меня очень строго и сказала:

— Дурак. От тебя.

Я взглянул в ее глаза сине-зеленого цвета водорослей, подсвеченные изнутри словно бы отражением солнца, и отчетливо понял, что она не шутит и не обманывает. Но это было невероятно! Ночью между нами ничего не было, мы просто спали без задних ног, уставшие от прогулки. И даже если было, это ведь не случается так, не становится известно сразу наутро? Но нет, не было! Ничего не было!

— Мы целовались, — напомнила Наоми.

— И?.. — непонимающе сказал я.

— У нас все гораздо проще. Поцелуя достаточно. И остальное тоже проходит иначе, чем у вас. Так что ничему не удивляйся и просто слушайся меня, хорошо, милый?

Мы позавтракали вместе в нашем отеле, около бассейна. После завтрака никуда не пошли. Наоми сказала, что ей надо полежать. Мы вернулись в номер. Наоми сказала, что никуда не будет выходить на обед, попросила принести еду в номер. Я отправился в супермаркет, набрал сумку всяческой снеди. Принес, и мы пообедали в номере. Наоми заметно пополнила. После обеда она начала немного капризничать и попросила сладостей. Я отправился в кондитерскую, а когда пришел, моя любимая была уже очень и очень пузатой. Ужин был легкий, с бокалом вина. Около полуночи Наоми попросила меня выйти на балкон. Через несколько минут я вернулся и увидел, что Наоми уже родила. На ее руках пицчала маленькая девочка светящегося золотистого цвета. Она подала ребенка мне. Я взял сначала с опаской, но как только прижал к своей груди, ощутил кровное, родное. И навсегда влюбился.

Конечно, я был обескуражен всем происходящим. Но, стыдно признаться, более чем чудесность этих событий, меня волновали низменные проблемы. Например, как я объясню администрации отеля появление у меня в комнате новорожденного младенца? Наоми приказала мне не беспокоиться. И лечь спать. А сама пошла в свой номер. Я лег и на удивление быстро заснул. Я проспал часов до одиннадцати, и разбудил меня стук в дверь. Открыв, я увидел Наоми, держащую за руку прелестного светловолосого ребенка лет пяти в розовом платьице.

— Не волнуйся, я сказала в отеле, что это моя племянница, у меня сестра отдыхает в отеле «San Felice», они с мужем отправились на морскую экскурсию, боялись, что ребенка укачает, и оставили ее со мной. Знакомься, нашу крошку зовут Нина. И нам нужно в магазин, а то у нас очень мало одежды, и к тому же мы быстро из нее вырастаем.

Мы пошли в заprimeченный моей любимой магазин детской одежды одного очень модного и дорогого взрослого бренда. Цены были неприлично высокими. Но Наоми, похоже, не испытывала вообще никакого стеснения в деньгах. Она покупала одежду, не глядя на ценники. По размеру, немного на вырост и сильно на вырост. И еще, она прекрасно лопотала по-итальянски с продавщицами. А я сидел рядом, любовался на свое дитя, на свою жену, собирал покупки и был счастлив. И даже не думал о том, что так не бывает. Почему не бывает? Не бывает, чтобы вот так

все сразу из ничего: Капри, лето, море, любовь, семья, счастье! Нет, я думал. Бывает. Может, это мне сразу за все хорошее, что я сделал в жизни, и за все испытания, которые перенес. У некоторых хорошее случается ежемесячно, понемногу, как зарплата. А у меня все и сразу — джекпот.

Мы занесли покупки в номер, переоделись и все втроем отправились на виллу Тиберия. Шли долго и весело вверх по узеньким каменным улочкам старого Капри, дышали ароматами лета, слушали птиц и смотрели на показывающееся за огородами внизу море. По дороге я успел вспомнить Богданова: подумал, что остров Капри навеял ему мысль о том, что разные исторические и экономические формации не обязательно должны сражаться насмерть одна с другой, а вполне могут какое-то время сосуществовать. В романе «Красная звезда» марсиане рассказывают, что у них такой переход осуществлялся спокойнее, чем на Земле. Капри многим похож на Марс Богданова, на его утопическую «Красную звезду». На Капри история застыла в ярусах. На самой вершине — древняя античность, резиденция римского императора. Далее вниз — Средневековье, католические храмы и монастыри. Еще ниже — магазины, торговцы, суетное Новое Время. А у самого основания, там где порты Marina Grande и Marina Piccola, — современность, с мощными паромы, катерами и яхтами вида high-tech, глобализация, толпы разноцветных туристов — немцы, японцы, американцы, китайцы, африканцы, русские и все-все-все.

Мы вернулись поздно вечером, Нина выглядела лет на семь или десять, Наоми хотела сказать администратору, что это другая ее племянница, старшая сестра предыдущей, и заготовила историю про задержавшихся на яхте папу и маму, которые позвонили и попросили, потому что так редко остаются наедине и... ну вы понимаете. Но никто ни о чем не спрашивал. Полночи мы всей семьей сидели в номере Наоми. Я учил Нину русскому языку. Итальянский она уже знала, на итальянском она говорила с Наоми. И еще на каком-то. Потом мы легли спать. Так закончился четвертый день.

Пятый день был днем расставания. Но я об этом не знал. Я проснулся счастливым. С таким ощущением чистого и беспредельного счастья я не просыпался со времен далекого детства. Едва очнувшись от легкого и спокойного сна, я подумал о том, что у меня есть Наоми и Нина, а значит, у меня есть все, что мне нужно. Я полетел к ним в номер, постучал, и мне ответил голосок почти взрослый: «Подождите, я одеваюсь!» Когда дверь открылась, я увидел подростка, почти девушку, лет пятнадцати. Она была ослепительно красива. Так, что хотелось зажмурить глаза. И она сказала: «Доброго утра, папа!»

Когда ко мне подошла Наоми, встала за моей спиной и обняла меня за плечи, а наши взгляды слились в один, направленный на дитя, я, ошеломленный, только и смог сказать: «Это невероятно, этого не может быть, но она еще красивей, чем ты!» И Наоми рассмеялась, как звенит серебряный колокольчик в храме или щебечут птички в райской южной стране.

Мы отправились на завтрак в ресторан. Нина вела себя за столом как какая-нибудь кастильская принцесса! Хотя о чем я говорю, кастильские принцессы в XII веке наверняка ели мясо руками. Наоми и Нина ели только зеленые овощи, фрукты и пили нектар. После завтрака Наоми стала озабоченной и деловитой. Сказала, что нам нужно осмотреть весь остров. Мы спустились в вагончике фуникулера в порт, наняли катер и объехали весь остров по окружности. Это заняло часа три. Наоми пристально вглядывалась в берега, а Нина улыбалась и росла. Мы сошли на берег в том же месте, где начинали путешествие, и вернулись наверх.

Неисследованные места острова нам предстояло найти пешком. Мы пообедали в еще одном ресторане и отправились в дорогу. Капри прекрасен тем, что здесь нет автомобилей. Дороги, пригодные для автотранспорта, есть только внизу, между Капри и Анакапри, и в самом Анакапри. А Капри состоит из тесных улочек, где автомобилю никак не протиснуться. Поэтому можно ходить только пешком. И нет шума моторов. Это чудесно. Иногда только специальный электрокар с тележкой везет багаж туристов до отеля. Но и он не шумит, жужжит только электродвигателем да шелестит шинами по дороге.

И вот мы дошли до того места, которое искала Наоми. Грот Кибелы. Пещера, где в античности был храм богини. Наоми была возбуждена. Она ходила вдоль стенок и даже выстукивала их. А Нина забралась на возвышение, возможно, алтарь или жертвенник, и просто села там. Мне показалось, что полумрак пещеры рассеялся исходящим от Нины золотистым свечением, и зазвучал хор, поющий гимны на незнакомом языке, и запах цветов, масла, дыма проник в ноздри, вскружил голову, и я чуть было не упал в обморок.

А может, я и упал в обморок. Потому что я не помню, что было дальше. А помню только то, как мы уходим от пещеры, а мои жена и дочь поддерживают меня под руки. Наверху, рядом с тропинкой, ведущей к пещере, стоит небольшое кафе, там мы выпили кофе, и я пришел в себя.

У Богданова в «Красной звезде» похожий сюжет. Герой влюбляется в марсианку. Любовь взаимна, но герой оказывается не готов к интеграции в марсианское общество, построенное по идеалам

коммунизма, «богдановского» коммунизма, конечно. Героя разлучают с марсианкой и возвращают на Землю. Но марсианка продолжает незримо участвовать в его судьбе и спасает от смертельной опасности.

Моя Наоми тоже была инопланетянкой, но в ином смысле. Насколько я понял, она имела отношение к древним богам и к их обителям — райским планетам. Она спустилась на Землю, чтобы родить дочь, так как там, в раю, есть все, кроме рождения новой жизни. Райские жители сколько угодно могут заниматься любовью, но они не рожают детей. Потому что рождение, как и старение, болезни и ужасная, внезапная смерть, — печальная прерогатива нашего мира. Когда необходимо «пополнение», граждане рая спускаются к нам, вступают в союз со смертными существами и производят здесь потомство, имеющее божественное происхождение.

Вот как вкратце объяснила мне нашу связь моя возлюбленная, Наоми. Она сказала, что выбрала Капри для быстрой акклиматизации, потому что Капри — место на Земле, самое близкое к раю. И еще потому, что здесь надлежало исполнить миссию: прежняя Кибела устала и попросилась на небо. Нужна была новая богиня. И новой богиней станет наша дочь Нина.

Наоми сказала, что Нина останется на острове. Все необходимые формальности улажены. У Нины есть итальянский паспорт, она гражданка по рождению, ее родители недавно умерли здесь, на Капри, оставив дочери в наследство небольшой обувной бутик и дом с участком земли на склоне холма, вдоль дороги к вилле Тиберия. Она будет работать в магазине, руководя сменными продавщицами, и водить экскурсии по острову. Она никогда не выйдет замуж, потому что ей не нужны смертные мужчины. Она не состарится: достигнув «возраста» девятнадцати лет, она останется такой навсегда. Чтобы не смущать людей, каждые двадцать лет она будет менять свои имя и паспорт, «становясь» собственной племянницей. Люди, которые ее будут знать близко, подвергнутся влиянию ее майи, волшебной иллюзии, и ничего не заподозрят.

В особые ночи Нина будет приходить в грот и вставать на алтарь Кибелы. Здесь, на Капри, живут ее жрецы и поклонники. Они работают лодочниками, экскурсоводами, некоторые владеют отелями и магазинами. Говорят, что и сам мэр числится в тайном обществе. В условленное время они облачаются в белые одежды и собираются в гроте, чтобы почтить Кибелу, дарующую богатство и процветание островитянам, и не только им. Потому что боги нужны — здесь все так работает. Природа — совершенный механизм, однако и самые лучшие машины управляются операторами.

Никакая организация материи немислима без организаторов, и за каждым безличным проявлением, таким как солнечный и лунный свет, смена сезонов, морские ветра, грозы, притяжение, судьба, — за всем стоят личности.

Наоми сказала, что она возвращается. И я должен покинуть Капри. Так надо. Сегодня мы все расстанемся навсегда. Я вел себя малодушно. Я плакал, упрасивал Наоми не покидать меня. Торговался, пытался вымолить разрешение видеться с дочерью. Просил дать надежду на то, что мы встретимся в будущем. Шантажировал, грозился покончить с собой. И так далее. Нелепая истерика взрослого мужчины. Мне стыдно об этом вспоминать, но вряд ли я мог иначе.

Все должно было случиться на закате. Мы встречали закат на вилле Lysis Fersen. На вилле Fersen самые красивые закаты Европы. Кажется, у них есть соответствующий слоган. Если нет, то стоит внедрить. Действительно, очень красиво. Солнце садится на вершину горы соседнего острова названием Искья, словно бы зажигая гору огнем вулкана. И медленно погружается в жерло.

Мы стояли на балконе. Наоми и Нина держали бокалы красного вина, Наоми в правой руке, Нина — в левой. Я держал их за руки, Наоми — за левую руку, а Нину — за правую. Но это не помогло. Когда от вершины горы до балкона протянулся последний закатный луч, Наоми пролила вино на землю и встала на дорогу из света. Она удалилась вместе с лучом, небо вобрало ее в себя, как жемчужину на кончике щупальца. Я протянул к Наоми обе руки, а когда обернулся, Нины уже не было. Нина стояла на другой стороне виллы и махала мне рукой. Потом она исчезла.

Я собрал чемодан и следующим утром сел на паром до Неаполя. Вот и все. Больше у меня не было любви. Земные женщины мне совершенно неинтересны.

* * *

Посторонний наблюдатель мог заметить, что к концу рассказа с мужчинами случилась странная метаморфоза. Теперь старый уже не казался ведущим в этой паре, бывалым, утешающим своего молодого спутника. Напротив, он сам искал сочувствия и поддержки. Молодой же стал спокоен и серьезен и словно забыл о своих проблемах, если они у него были. Объявили начало посадки на рейс до Неаполя.

— Мне пора, — сказал старый.

— Снова в Неаполь? — сказал молодой.

— Да, а из Неаполя на пароме до Капри. С тех пор каждый год. Я провожу там одну неделю. Брожу по городку, заглядываю

в лица. Я хочу увидеть Нину, хотя бы мельком. Я ничего не буду ей говорить. Просто постою, посмотрю на нее. Больше мне ничего не надо. Я знаю, что она меня не забыла. Она всегда рядом, она помогает в делах, она посылает мне удачу, но в меру, чтобы я не пал жертвой людской зависти и злобы. Она заботится обо мне. И я благодарен ей, но я не хочу знать ее как богиню, я хочу увидеть ее как свою дочь. И еще я мечтаю встретить Наоми.

— Понятно, — сказал молодой.

— К тому же у меня на Капри есть дело. Я пишу книгу. Про Богданова, Горького, Ленина. Про идеи и революции, про вулкан, зародившийся на острове невулканического происхождения. Про то, как райский остров Капри повлиял на судьбы русской цивилизации.

Молодой проводил старого до выхода. Отстояли очередь вместе, а когда старый, показав билет, скрылся в коридоре, молодой развернулся и пошел к табло посмотреть, у какого выхода его собственный рейс до Мадрида. Посадка на Неаполь заканчивалась. Мимо молодого процокали каблучками две девушки, вероятно, очень красивые, их лица наполовину закрывали шляпки. Услышав обрывки разговора, молодой удивился: девушки выглядели одинаково юными, лет девятнадцати, но одна называла другую мамой. Они спешили к самолету в Неаполь.

М. СВЕТЛОВ*

Ленин смотрит на нас

Хочется без конца
Думать об Ильиче,
Будто рука отца
Вновь на твоём плече.

Рвался в бою металл,
Бился с врагом солдат,
Подвиг сопровождал
Мудрый отцовский взгляд.

* *Михаил Аркадьевич Светлов* (наст. Шейнкман; 1903–1964) — русский советский поэт, драматург, журналист, военный корреспондент. Лауреат Ленинской премии (1967, посмертно).

Множится ширь полей,
Голос их слышишь ты:
Нет ничего теплей
Ленинской теплоты!

Ленин! Всё видит он —
Звёзды полярной мглы,
Мчащийся эшелон,
Кедров таёжных стволы...

Не уставай, рука!
Помните каждый час:
Совесьь большевика —
Ленин смотрит на нас!

Родное имя

Имя Ленина снова и снова
Повторяет советский народ.
И, как самое близкое слово,
Имя Ленина в сердце живет.

И советская наша держава
И великих побед торжество —
Это Ленина гений и слава
И бессмертное дело его.

Мы в работе большой не устанем,
И сильней нашей Родины нет,
Если партии теплым дыханьем
Каждый подвиг народа согрет.

Мы прошли по дорогам суровый,
Мы за Сталиным к цели идем.
Ленин, Сталин, Победа — три слова
Мы на знамени нашем несем.

И. СЕВЕРЯНИН*

По справедливости (1918)

Его бесспорная заслуга
Есть окончание войны.
Его приветствовать, как друга
Людей, вы искренне должны.

Я — вне политики. И, право,
Мне всё равно, кто б ни был он.
Да будет честь ему и слава,
Что мир им, первым, заключён.

Когда людская жизнь в загоне,
И вдруг — её апологет,
Не всё ль равно мне — как: в вагоне
Запломбированном иль нет?..

Не только из вагона — прямо
Пускай из бездны бы возник!
Твержу настойчиво-упрямо:
Он, в смысле мира мой двойник.

Л. СЕЙФУЛЛИНА**

Мужицкий сказ о Ленине***

Большой, от столиц и крупных городов далекий, уезд. По захваченным верстам он не меньше иного иноземного государства. Были в нем золотые прииски, черноземные земельные угодья, винокуренные и салотопенные заводы, гурты баранов, овец и козы с мягким тонким пухом для прославленных оренбургских платков.

* *Игорь Северянин* (предпочитал написание Игорь-Северянин; наст. имя — Игорь Васильевич Лотарёв; 1887–1941) — русский поэт Серебряного века. Эгофутурист. Организатор и участник поэзоконцертов.

** *Лидия Николаевна Сейфуллина* (1889–1954) — русская советская писательница и педагог, общественный деятель. Член правления Союза писателей СССР (с 1934).

*** Сказ «записан» в 1923 г. Отрывок из романа «Перегной».

Население его — старожилы-казаки и переселенцы из губерний: Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Харьковской, Екатеринославской, Воронежской, Полтавской, Таврической. С разных краев, с разной повадкой и обычаями. И еще набросаны по речке Сакмаре и глубже в степях деревушки мордовские, башкирские и киргизские зимовки.

Люди разных кровей, с различным бытовым укладом и разной веры: православные, старообрядцы, магометане, субботники, дырники, евангелисты, скопцы, хлыстовствующие и много других сект, затаившихся здесь от правительственной кары.

Крестьяне-богачи с тысячами десятин и безземельные, «квартиранты», не могущие поставить даже собственной избы. И крапинами разрозненными вкраплена в станицах, селах и деревнях мелкая, глушью придушенная, интеллигенция: с десятков врачей, учителя, агрономы и библиотекари.

Газеты и вести о жизни всего государства Российского получались из Оренбурга. Доходили быстро только до станиц на большой дороге с телеграфными столбами, до приисков и до уездного города. Он — деревянный. Этапы существования своего — от одного большого пожара, после которого сызнова надо строиться, до другого. И низкорослый. Высились в нем только колокольни и онемевшая с девятьсот четырнадцатого труба винокуренного завода. Газеты и вести сгасали в его сырьевой глухоте. Деревни и села в глубине уезда отделены были сотней и больше верст от него и от однокольной железной дороги на Оренбург. И к нему и к железнодорожным станциям от этих сел и хуторов вели неверные проселочные дороги через степь, через овраги, горные увалы и перелески.

Каждое село, каждый хутор творили свою отдельную веру, свой обычай. Изживали тяготу своих налогов, совсем не интересовались не только всероссийским, но даже губернским масштабом. О министрах, царе не хранили никаких рассказов, преданий. Солдаты, приносившие их со службы, быстро забывали свои сказы. Сменяли их на близкое, осязаемое: о земских начальниках, станových, урядниках. И мобилизация на русско-германскую войну и февральская революция были негаданны здесь, как камень с неба.

Земство посылало лекторов и агитаторов. Но они не могли объехать всех деревень, хуторов и зимовок в буранные зимы, пашен, покосов и жнивья в крестьянскую рабочую летнюю пору; аулов в период кочевья.

И хоть с тысяча девятьсот четырнадцатого накатаны стали даже недавно проложенные отчаянным человеком сокращенные пути в уездный город — все же вывезенные оттуда имена военачальников и революционных правителей скоро сглыхали в заста-

релой тишине. В волостном нашем селе были мужики, путавшие Керенского с Родзянкой. А бабы и подростки вовсе именами не интересовались.

Но в зиму бурливого тысяча девятьсот восемнадцатого большевистская тревога властно разворошила и низкорослый город, и весь уезд. С этой тревогой пришло имя «Ленин».

Пришло — и прошло не только по большаку с телеграфными столбами, — проникло на хутора и в зимовки. Ни одного из жителей уезда, разных по крови, по достатку, по мыслям не оставило теплохладным.

И о нем, далеко, не только всероссийского, но и мирового масштаба, в этом глухом, разношерстном уезде сложились сказания. В богатых казачьих станицах, в селах, где верховодили многоземельные старообрядцы, у сектантов, сумевших нажиться в общинном землевладении и приобрести под рукой отдельные собственные поля и пашни, эти сказанья пропитаны той высокой степени ненавистью, какую внушает только большой и сильный враг, которая звучит уже, как экстаз уважения. Им мало казалось в сказаньях обвинять его в корыстных расчетах. Они создали легенды о нем по библии, как о существовании мистического сверхчеловеческого мира. Я слышала старообрядцев и сектантов, вдохновенно кричавших наизусть целые страницы библии, утверждавшие за Лениным число зверя, число шестьсот шестьдесят шесть, число антихристово.

Сектантский наставник, чернобородый, властный мужик, на сходке в нашем бывшем волостном правлении, кричал об языке подписанных Лениным декретов. Он от имени пророка Исаяи страстно грозил всем, повторяющим сокращенные слова указов: «Не увидишь больше народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным!». И эти сокращенные слова называл ленинскими.

Другой сектант, по ремеслу шорник, на митинге уже в самом уездном городе, вздергивая седоватую, бобриком стриженную голову, взмахивал руками и кричал из писания уж в защиту Ленина. О том, что он по писанию поступает, отнимая «жирные пажити богатых»: «Ибо горе им, прибавляющим дом к дому, поле к полю, так что другим не остается места, как будто они одни поселены на земле». Ленин для него был носителем справедливого священного гнева, осуществляющим предсказанное пророком Исаяей.

В старообрядческом поселке Карагай сухощавый, красноватый, наследственный кержак Болдин тоже по писанию, фанатично, как все из этого писания, принял Ленина. Записался в партию, надел винтовку, стал носить наган без кобуры. И на каждом

сходе грозно размахивал им и кричал утверждающие правильность политических деяний Ленина тексты.

Из этих выступлений, из споров о «божественном» и Ленине вместе — создалось много сумбурных, но пафосных рассказов о нем в уезде. Разного настроения, различного к Ленину отношения, но равно горячих. От вдохновенья художественно-ярких. Никто не остался теплохладным. Безземельные «квартиранты», мало-земельные поселенцы, батрачье, беднота русская, мордовская и башкирская создали о Ленине целые былины. В этой статье, спешной и взволнованной, которую пишу в час, когда еще не закрыта Ленина могила, я не могу многого вспомнить. И не о своих мыслях — о нем пишу. Я пишу о глухом уездном, где застревали и сгасали имена. И где вдруг одно большое осталось жить. Осталось и чудесно расцветилось редким и редкостным мужицким вдохновением.

Более точно и ярко я вспоминаю один рассказ. На хуторе, по пути в город, я слышала его. За сто сорок верст, в буранную зиму тысяча девятьсот восемнадцатого, ехал за новостями в город мужик Никита Минушев. И прихватил меня с собой. Обжигающий, холодный ветер и колючая поземка заставили нас еще до сумерек свернуть к ночлегу. В избе у знакомых Минушева, на распатанной деревянной кровати, на деревянных скамьях у стола за позеленевшим самоваром, оказалось много свернувших с дороги путников. Тоже хозяевам знакомцев. Тоже — за новостями в город, не боясь переметенной бураном дороги. До темноты оглядывали друг друга затаенными мужицкими глазами. Обменивались утвержденными, как обычай, при встречах сообщениями о ценах на хлеб, об отсутствии товаров и — очень осторожно — о новых порядках. Но в час, когда от нечистоплотной мужицкой одежды, от дыхания сбившихся в маленькой избе людей начал тускнеть и мигать огонек пятилинейки под потолком, разговорились бабы. И сухощавая серолицая хуторянка, с пеплом седины на выбившихся из-под бабьей повязки волосах, с выцветающими черными глазами, рассказала не спящим сказку про Ленина: «Как Ленин с царем народ поделили».

— Вот приходит один раз к царю Миколашке самый главный его генерал. «Так и так, ваше царское величество, в некотором царстве, в некотором государстве объявился всем наукам обученный дотошный человек. Неизвестного он чину-звания, без пашпорту, а по прозванию Ленин. И грозит этот самый человек: «На царя Миколая приду, всех царевых солдатом одним словом себе заберу, а генералов всех, начальников, офицеров-благородию и тебя, царь Миколай, в прах сотру и по ветру пущу, — слово такое есть

у меня». Испугался тут Миколашка-царь, ногами вскакнул, руками всплеснул, громким голосом воскричал: «Отпишите скорееича человеку тому, чину-звания неизвестного, без пашпорту, а по прозванию Ленину, пусть не ходит с тем словом на меня, не крушит в прах меня, генералов моих, начальников, офицеров-благородию, а за то отдам я человеку тому полцарства моего». Набежали тут к царю люди ученые, скоро-скоро, с задышкою, обточили перья вострые, отписали тому Ленину: «Так и так, не ходи ты, Ленин, на царя Миколаса со словом твоим, а забирай себе полцарства Миколаса без бою, без ругани». И мало ли, много ли, а в скорости прислал ответ письменный тот человек, чину-звания неизвестного, без пашпорту, а по прозванию Ленин. И отписывает Ленин царю Миколашке: «Так и так, прописывает, согласен я получить от тебя, царь Миколашка, половину царства твоего. Только отписываю я тебе уговор, как мы делиться с тобой станем. Ни по губерниям, ни по уездам, ни по волостям. А вот как: прописываю я тебе, на какую дележку я с тобой согласен, и чтоб без никаких больше разговоров. Забирай ты себе, царь Миколашка, всю белую кость: генералов, начальников, офицеров-благородию со всеми их отличьями, со всеми чинами, крестами, наградными аполетами, с супругами благородными, с детьми их белокостными. Господинов-помещиков со всем их богатством, с одежей шелковой и бархатной, с посудой серебряной позолоченной, с супругами ихними и с отродием. Забирай себе купцов с товарами ихними, с казною несметною, и из банков пушай заберут всю казну свою. Забирай себе всех заводчиков и с казной, и с машинами, и со всем их заводским богатством. А мне отдавай всю черную кость: мужиков, солдат, фабричных, с немудрящей ихней шарaborой. Только скот на племя оставь, поля травные да землю-родильницу для пахотьбы». Прочитал письмо Миколашка-царь, заплясал ногами в радости, зашлепал в ладошки в веселости и приказал своим генералам, офицерам и начальникам: «Сей же час отпишите тому Ленину на все полное согласие». И какой же он есть всем наукам обученный, слово тайное знающий, коль от всей казны несметной моей, от товаров купеческих, от припасов помещичьих отказывается, а забирает себе черную кость безо всякого способия! А на тую казну мы себе другую черную кость найдем, из тех нанятых в солдаты заберем, и будем жить опять в спокойе да в богатстве». Набежали тут опять к царю спешно-спешно, с задышкою, многие люди ученые, обточили перья вострые, отписали тому Ленину цареву согласие. А насчет надсмешки и не гукнули, чтоб не одумался, не пошел на них с тайным словом своим. И мало ли, долго ли, а в скорости наезжает тишком-тихонечком тут Ленин к своим солдатам, мужи-

кам и фабричным. А царь с костью белою уж подальше отъехали. Глядят мужики, солдаты, фабричные, а приехал к ним простецкий крестьянский человек и говорит им: «Товарищи, здравствуйте». Куда глаз хватил, всех за ручку подержал и объявил громким голосом: «Буду с вами я в одном положении, как есть мы теперь товарищи. Только вы меня слушайте, я всем наукам обученный и своих товарищей на худое не выучу». Солдаты по солдатской своей выучке сейчас: «Точно так, товарищ Ленин, слушаюсь». Фабричные, городской народ, грамотный, со сноровкою тож ему не прекословили. А мужики избиделись, что в расчете просчитал он, зашумели, загалдели, задвигались: «За что, про что опустил из рук казну и богатство несметное? Разделил бы нам, мы бы в хозяйстве поправились». Засмеялся тут Ленин, головой качнул и сказал им в ответ такое слово: «Не галдите, не корите, забирайте землю-скот и хозяйствуйте. А там будет дело видное. Не хватило бы казны той про вас, как есть вас многие тысячи, а белой кости малые сотенки. А насчет того, чтобы всю белую кость совсем со света свести, то слово я знаю, еще неполное. Недокумекал маленечко. Но есть у меня другое, достоверное, на всю черную кость по всей земле. Как скажу его, нигде белая кость не найдет себе ни солдат, ни работничков. Все под мою руку уйдут, а от их откажутся. И как есть они не добытчики, а прожитчики, то им долго на белом свете не выстоять». И мало ли, долго ли, а в скорости, как сказал, и приключилось так. Прискакал верховой к Ленину, привез ему известие от Миколашки-царя. И отписывает в том известии Миколашка-царь: «Так и так, Ленин, надул ты меня. Взял себе всю черную кость, а мне отдал не добытчиков, а прожитчиков. Генералы мои, офицеры-благородия — как кони стоялые без солдатов нашенских. Только пьют, едят да жир нагуливают. Господины-помещики все припасы свои уж поканчивают, одежду из сундуков донашивают, без опаски изорвали всю, позамазали. Проторговались купцы мои, без мужиков некому им товар свой лежалый сбывать. Заводчики мои все машины посбивали, перепортили. Как нету сноровки у них, по-книжному и знают, а к винту не подладят. А чужеземный чернокостный народ на службу к нам не наймается, под твою руку прет, на твое слово тайное. И как дошло нам дело, что хоть ложись да помирай, то идут на тебя войной генералы мои, офицеры-благородия, чтоб отбить нам назад к себе всю черную кость». И с того теперь война пошла промеж белой костью да черною. Только долго белой не выстоять, как привыкли генералы, офицеры-благородие команду на солдата кричать, войска туды-сюды передвигивать, а сами в войне отбиваться непривычные, как есть в их жила тонкая. И недолго им на белом свете выстоять...

Погасла лампа. Храпели мужики. Бормотала спросонок баба. А худощавая стареющая хуторянка, сидя на тулупе своем, на полу, истово, напевно, как молитву, выговаривала смешные и трогательные слова своей сказки. У ней были добавления и отступления, которых я не помню. Не помню точных слов, но характер слов, содержание, ритм речи ее я помню. Как сейчас слышу. Оттого смело воспроизвожу.

Это — первая легенда о человеке с именем Ленин в бедном легендами уезде, где гсасала яркость многих имен. И для меня она — убедительное свидетельство: дана была Ленину вера тугой мужицкой души. Только о том мужик рассказывает сказы, что вошло в его сердце и память в живых образах, чему он поверил. Оттого в печальный час я не боюсь смешных слов простой его сказки. Этими сказками входил Ленин в душу к мужику.

И я жалею, что не могу сейчас восстановить еще один рассказ, башкирина-подводчика. Надо тщательно вспомнить сочетанья его слов, детали содержания и ритм рассказа. А этого сейчас мне не сделать. Он говорил о красном тюре (начальник, господин) Ленине, который башкир от русской жестокости и хитрости защищал. Разноплеменный состав населения часто служил причиной долгих распрей, иногда и кровопролитных схваток в уезде. Равно невежественные были, равно и жестоки. Долгая их тяжба еще не кончена. Окончится только тогда, когда придет знание, а с ним уважение к разноверцу и разнокровцу.

Я во вступлении подробно описала уезд. Для того, чтобы стало понятно: какая яростная, какая жестокая была там схватка из-за утверждения Октября. Некоторые села и поселки по пять, по семь раз переходили от белых к красным. Многие хутора сметены с лица земли. Выжжены, обеднели станицы, затоптаны, не засеяны богатые земли старообрядцев. Умирает полуразрушенный уездный город. Этим летом я была в нем и в селах уезда. В городе площади и редкие тротуары поросли травой. Разрушено не меньше трети домов. Разбиты школы. У города нет средств отремонтировать их. В нем не ожила торговля. Торгует случайным товаром одна кооперативная лавка. От многих башкирских зимовок одно пепелище. Грозная ступня войны четко отпечаталась на том уезде. Нищенствуют учителя. В селах крестьяне позакрывали школы. Кроме войны притоптал уезд еще голод. Такой же, как в Поволжье, и в тот же год. Вот в этом уезде, где столкнулось столько групп и мировоззрений, деревянный глухой мещанский город выдержал двухмесячную казачью осаду. При сдаче города, поддержка населения помогла красноармейцам пробиться на соединение с главными силами армии.

Этот невероятный уезд, приявший всю страсть Октября, сохранил нерушимой веру в Ленина. Легендами она прочно утвердилась в нем, и тяжкие испытания не задушили ее. О Ленине расспрашивали, как о своем кровном родственнике. И подробно, будто каждому, побывавшему в Москве, легко знать ежедневную Ленина жизнь.

— Ну, как он там? Где живет?

— А как он насчет хлебного займу?

— Как Ленин теперь? Слышно, выздоравливает. Пищу ему всякую разрешается или нет? Что он говорит? Насчет деревни что высказывает?

— А семейство его вы видали?

— Вот надо бы Ленину до сведения довести. Этот правильно рассудит.

И простое любопытство могло продиктовать эти вопросы. Простая хитрость научить. Но я годы жила в деревне. Знаю распросы себе на уме. И знаю тон, в котором правдив искренний «родственный» интерес. Этот тон у мужика часто не услышишь. Туго запертая душа — его защитная броня. И он редко впускает в нее большую веру. Редко отмыкает душу. Для Ленина отомкнул. Даже в ненависти богатых крестьян был фанатизм веры в неуступчивость Ленина, в его хозяйственную стяжательность для бедноты. Кряжистая стойкость и хозяйственная сметка в крестьянском ощущении — величайшие добродетели. Мужик награждает ими только того, в кого верит. Один богатый мужик, ругательски ругая коммунистов и местную власть, неожиданно наивно заключил:

— Если бы на каждую волость по Ленину... А то у нас — один... культпросвет. Дак чего же тут?

Этот сбитый из населения разных губерний уезд мне кажется малым отображением всей мужицкой России. Его сказы о Ленине — подлинное свидетельство того, что «толщу бытия» российского прокатило это имя.

Идут о нем и новые рассказы. Старая крестьянка, что недавно в Москве вызвала у целого съезда величайшее душевное волнение простыми словами о том, как не знали в деревне они, «какая есть Москва и какая есть в ней театра», теперь узнала Москву, обсуждала государственные вопросы и передавала Ленину от деревни «последнее целование». Она в деревне по-новому о Ленине расскажет. И по неровным проселочным дорогам и по удобному тракту пойдет не один ее рассказ. И тот, чья жизнь даже в передаче историка будет звучать как легенда, художественно-ярко оживет для потомков в устном предании, где правда переплетается со сказочным вымыслом, и все вместе будет самой убедительной правдой...

О Ленине

Мне дорога Москва не величием исторической своей седины, а обликом сравнительно недавним. Далек от благообразия любимый лик моей Москвы. Он слишком щетинистый и напряженный, чтобы внешне казаться красивым. Но внутренне прекрасен, как символ моральной силы народа, воплощение упорства человеческой воли.

Именно такой я увидела нашу столицу впервые, когда мне было шестнадцать лет. В молодости неотразимы впечатления именно воинствующей жизни. Из далекой Сибири на очень короткий срок приехала я в Москву 1905 года. Я видела людей несдавшейся революционной Москвы, и этот краткий срок стал значительным этапом моей юности. Рассказать сейчас коротко о нем я не могу, но нерушимо храню благодарную память о встречах и людях, с которыми свела меня тогда судьба.

Когда я в 1920 году, по командировке Челябинского губнаробразу, приехала на курсы и на I Всероссийский съезд по внешкольному образованию¹ в холодную, голодную, окруженную иноземной и белогвардейской блокадой Москву, она была мне уже дорога, как земля обетованная.

На Усачевке, в общежитии, выделенном для нас Социалистической академией народного образования, в доме, занятом убежищем имени неизвестного нам Гензеля для каких-то благородных вдов и старых дев, нам было холодно и голодно.

Из своего скудного питания Академия смогла выделить для нас лишь еще более скудное, абы — ноги не протянуть. По ночам мы разобрали на топку все ближайшие дощатые заборы. Их не хватало, мы мерзли, согревались танцами в самые неурочные ни по времени, ни по душевному нашему настроению часы. Благородные девы и вдовы не допускали нас, чтобы согреть чайник на общей плите, и неустанно пиявили нас слезливым причитанием о прегрешениях Советской власти против них. Когда я вспоминаю об этих «дамах из общества», их назойливые жалобы снова «юзжат» у меня в ушах. Вдовы являлись главным злом нашего трудного быта. Они были злобны и жалки — отвратительное сочетание! Все остальные трудности нашего быта мы преодолевали легко, потому что были счастливы в основном: в своем мироощущении. Перед нами были раскрыты ворота в новый мир, в новое, небывалое на земле Советское, социалистическое государство. И суровая Москва тех лет была его столицей.

В том же году, на Всероссийском съезде по внешкольному образованию, в зале особняка в Малом Харитоньевском переулке, я увидела и услышала Ленина. Было холодно в зале. Особняк не отапливался совсем или очень мало отапливался. Мы сидели

в рядах, не сняв верхней одежды. Коллонтай на трибуне стояла в зимних ботах и теплой кофточке. Она — прекрасный оратор. Я больше не слышала ни одной женщины, кроме нее, которая умела бы так заставить свой голос не звучать определенно женскими нотами, хотя говорила она о женской психологии, о средствах раскрепощения личности жен и матерей. А. Коллонтай — всегда оратор, никогда — не ораторша. Оттого с предельным вниманием ее слушали люди обоего пола, сидящие в зале.

Но как это случилось, я до сих пор не могу себе объяснить, как вдруг оборвалось это внимание слушателей. Словно внезапно выключили электрический ток. И Коллонтай замаялась, оглянулась назад. В дверях, ведущих на возвышение, занятое президиумом съезда, появился небольшого роста человек в черном распахнутом пальто с барашковым воротником, с шапкой в руках. Показался он в дверях на самое короткое мгновение и скрылся из виду. Но в одно мгновение этот небольшого роста человек, как великан, как некая громада, занял собой все вокруг. Вдруг не стало ни аудитории, ни президиума, ни стен барской залы, ни замечательного оратора на трибуне. Один он, его присутствие! Я решительно не помню, как закончила свое выступление Коллонтай, не знаю, каким образом мы все взглянули в дверь на возвышении именно тогда, когда на миг в ней появился Ленин. О том, что он придет и будет говорить для нас, нам не было известно. Во всяком случае, рядовые участники съезда не знали об этом, но весь зал интуитивно взглянул на дверь с одной общей мыслью: это Ленин. Я даже не помню, была ли овация, когда Ленин вышел уже на трибуну. Или мы не смогли внешним образом шумно проявить огромное наше волнение, или сам он властно пресек радостные наши рукоплескания. Я не помню. Как будто сразу он заговорил, уверенно и просто, с двумя-тремя своими единомышленниками об одинаково интересующем их деле, а не с большой и еще очень разнородной по духу аудиторией внешкольных работников. Эта речь его известна. Я не буду ее цитировать. Какое большое организующее значение имела она для нас в дальнейшей нашей внешкольной работе, вообще для дальнейших путей внешкольного образования в Советской стране, это — тема не для данной странички моих воспоминаний. Ленин говорил, в зале стояла та изумительная тишина, при которой кажется, что и дышит здесь один — тот, который говорит. И смотрели мы на него всепоглощенным зрением, чтобы сохранить его образ в себе, унести с собой навсегда в свою отдельную человеческую жизнь. И слушали так же, чтобы донести в свою жизнь каждое ленинское слово во всей его полноценности. Так слушала Ленина всякая аудитория. Его словам даже враги не сразу находили в себе отпор. Для меня этот день стал жизненным откровением. Он опре-

делил мое трудовое место в стране, весь мой дальнейший рабочий путь — внешкольного работника, позднее — литератора.

В 1942 году я снова жила в суровой Москве. Но и на затемненных улицах, на стесненных рабочих местах, в холодных жилищах, в быту военного времени, полном всяческих лишений, — люди советской Москвы бодро двигались, творили, жили, как мировое бродило человеческого достоинства, как хранители светлых идей справедливости в мире, окутанном мракобесием фашизма. И наш свет победил. Я люблю Москву грозных лет, ее внутренней мужественной красоте.

И. СЕЛЬВИНСКИЙ*

Баллада о ленинизме

В скверике, на море,
Там, где вокзал,
Бронзой на мраморе
Ленин стоял.
Вытянув правую
Руку вперед,
В даль величавую
Звал он народ.
Массы, идущие
К свету из тьмы,
Знали: «Грядущее —
Это мы!»
Помнится сизое
Утро в пыли.
Вражьих дивизий
С моря пришли.
Чистеньких, грамотных
Дикарей
Встретил памятник
Грудью своей!
Странная статуя...
Жест — как сверло,

* *Илья Львович Сельвинский* (в документах военного времени — Илья-Карл Львович; 1899–1968) — русский советский поэт, прозаик и драматург. Основатель и председатель Литературного центра конструктивистов.

Брови крылатые
Гневом свело. — Тонко сработано!
Кто ж это тут?
ЛЕНИН.
Ах, вот оно!
— Аб!
— Гут! Дико из цоколя
Высится шест.
Грохнулся около
Бронзовый жест.
Кони хвостатые
Взяли в карьер.
Нет
статуи,
Гол
сквер.
Кончено! Свержено!
Далее — в круг
Входит задержанный
Политрук.
Был он молоденький —
Двадцать всего.
Штатский в котике
Выдал его.
Люди заохали...
(«Эх, маята!»)
Вот он на цоколе,
Подле шеста;
Вот ему на плечи
Брошен канат.
Мыльные капли
Петлю кропят...
— Пусть покачается
На шесте.
Пусть он отчаётся
В красной звезде!
Всплачется, взмолится
Хоть на момент,
Здесь, у околицы,
Где монумент,
Так, чтобы жители,
Ждущие тут,
Поняли. Видели,

— Ауф!
— Гут! Желтым до зелени
Стал политрук.
Смотрит...
О Ленине
Вспомнил... И вдруг
Он над оравую
Вражеских рот
Вытянул правую
Руку вперед —
И, как явление
Бронзе вослед,
Вырос
Ленина
Силуэт.
Этим движением
От плеча,
Милым видением
Ильича
Смертник молоденький
В этот миг
Кровною родинкой
К душам проник...
Будто о собственном
Сыне — навзрыд
Бухтою об стену
Море гремит!
Плачет, волнуется,
Стонет народ,
Глядя на улицу
Из ворот.
Мигом у цоколя
Каски сверк!
Вот его, сокола,
Вздернули вверх;
Вот уж у сонного
Очи зашлись...
Все же ладонь его
Тянется ввысь —
Бронзовой лепкою,
Назло зверью,
Ясною, крепкою
Верой в зарю!

Ленин (1966)

Политик не тот, кто зычно командует ротой,
Не тот, кто усвоил маневренное мастерство,-
Ленин, как врач,
Слушал сердце народа
И, как поэт,
Слышал дыханье его.

А. СЕРАФИМОВИЧ*

Мои встречи с Лениным**

В начале революции, в 1918 году я заведовал литературным отделом Наркомпроса***. В то время старая литература ушла, прежние литераторы ушли со сцены. А новая, пролетарско-революционная литература еще не сорганизовалась. Один только Маяковский выдвигался как советский писатель. Нужно было собирать советски-революционно настроенных писателей. Это была трудная и сложная задача. Владимир Ильич Ленин в высшей степени внимательно относился к этому вопросу.

Однажды он вызвал меня в Совнарком, чтобы я дал отчет, что сделано по собиранию пролетарских писателей, по организации пролетарской литературы.

Прихожу в Кремль.

В громадном зале за длиннейшим столом сидит человек во семьдесят ответственных работников — наркомов, замнаркомов, заведующих управлениями, отделами, комитетами. Много приехавших из разных краев и областей.

Все расположились за столом и вдоль стен на стульях.

Тов. Ленин председательствовал. Он давал ораторам слово и строго следил, чтобы ораторы не переливали из пустого в порожнее, требовал сжатости и изложения по существу. И ораторы боялись расплываться в многословии. Заседание шло напряженно,

* Александр Серафимович (наст. имя — Александр Серафимович Попов; 1863–1949) — советский писатель, журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Член РКП(б) с 1918 г.

** Воспоминания написаны 25 декабря 1943 г.

*** Автор указывает ошибочную дату; он был назначен на эту должность распоряжением Наркомпроса № 49 от 25 января 1921 г. — *Ред.*

сжато и быстро. Тов. Ленин употреблял многообразные приемы, чтобы сэкономить время.

Стали обсуждать вопрос о бумаге.

Мы совершенно сидим без бумаги. А она нужна и Красной Армии, и гражданским учреждениям, и для печатания литературы. Владимир Ильич взял папку, слегка приподнял ее и сказал:

— Вот проект, как упорядочить выработку бумаги, как заставить бумажные фабрики напряженнее работать. Ваше слово, товарищ... Впрочем, подождите минуточку, — обратился он к товарищу, поднявшемуся со своего места*. (Он тогда занимался вопросами бумаги.) Я вас попрошу с автором этого проекта выйти за дверь. Пусть он вам расскажет сущность своего проекта. Если проект дельный — мы сейчас же проведем его без прений. Если ж он пустой — автор проекта пусть сядет под арест на три дня. Даю вам обоим пять минут.

Товарищ Ленин продолжал заседание. А тов. Шведчиков и автор проекта с скукожившимся лицом вышли за дверь. Ровно через пять минут они вернулись. У автора проекта лицо было красное, как вареный рак. Тов. Ленин сейчас же прервал речь очередного оратора и торопливо обратился к тов. Шведчикову:

— Ну, как?

— Проект дельный.

— Ага! Ну, прекрасно. Мы его утвердим...

И обратился к секретарю, быстро передавая ему папку.

Заседание продолжалось.

Я был поражен удивительным умением Ленина вести заседание в высшей степени экономно, уплотненно.

Я не помню ни одного председателя, который бы так умел это делать.

Тов. Ленин в высшей степени внимательно слушал речи оратора, а сам в это время успевал перекинуться словом с кем-нибудь из сидящих товарищей. То и дело он писал маленькие записочки товарищам, сидевшим за столом: «Вы неправильно ставите вопрос...» «Надо сделать так-то и так-то». Эти записочки он ловко бросал сидевшим поодаль.

Ночь... Уже два, три, четыре часа непрерывной работы. У всех глаза посоловели. Усталые лица бледны. Товарищ Ленин видит, что нужно дать передышку. Он кладет карандаш, хитро оглядывает сидящих товарищей и говорит, пряча усмешку:

— Я, знаете ли, прошлой осенью поехал в деревню с товарищами отдохнуть. Ну, беседовали мы с крестьянами и крестьянками о деревенской жизни. Чайку попили. Потом пошли поохотиться.

* Тов. Шведчиков. — *Авт.*

Хозяин говорил, что под самой деревней есть озерцо в камышах, там масса уток. Приходим туда. Сняли башмаки, закатали штаны и полезли в озеро... Топко. Шуршит камыш, из-за него ничего не видно. Высокий.

Мы шлепаем по воде. Ноги уходят выше колена в тину, с усилием вытаскиваем их. Слышим, где-то впереди из камыша вылезают утки и... пропадают — нам из-за камыша их не видно. Мы все болтаемся в тине, с плеском и шумом. Так, должно быть, с час промаялись... «Да ну их к черту, — говорит товарищ... — Этак мы до вечера без толку будем болтаться...»

Насилу вылезли. На берегу собрались ребятишки. Как глянули на нас, давай хохотать и шлепать в ладошки. «Дяденьки, дяденьки, да вы всю тину с озера выгребли».

Мы глянули друг на друга и тоже стали хохотать. Жалко — не было ни художника, ни фотографа. Надо было нас увековечить.

Ленин хитро посмеивается. А зал оглашается хохотом товарищей. Усталости — как не бывало. Блестят у товарищей глаза. Напряженны приготовившиеся к работе лица.

Тов. Ленин постучал по столу карандашом, и опять началась напряженно-громкая работа по спасению страны от врагов, по строительству.

Как-то вечером в 1920 году* тов. Ленин прислал за мной машину. В Кремле поднимаюсь по лестнице в маленькую квартиру Ленина. За небольшим столом сидит Надежда Константиновна Крупская и сестра Ленина, Марья Ильинична Ульянова. С Марьей Ильиничной мы долго работали вместе в «Правде». Через нее Владимир Ильич давал направление газете. Он указывал на ошибки в ведении газеты и подчеркивал ее хорошие стороны. Это чрезвычайно ободряло редакцию и всех сотрудников.

Вскоре вышел Ильич, подошел ко мне, крепко пожал руку, пригласил за стол. Глядя на меня чуть усмевающимися глазами, он быстро спросил:

— Ну, с кем вы больше встречаетесь — с интеллигентами или с рабочими?

— Да понемногу и с теми и с другими.

— Да-да-да, — быстро проговорил Владимир Ильич, — вот литературу нужно нам свою организовать. Кого из старых писателей можно привлечь?

— Да ведь как... Много их, да, пожалуй, самых талантливых, враждебно убежало на запад, за границу. Другие — в Харбин,

* Встреча В. И. Ленина и А. С. Серафимовича состоялась в январе 1920 г. — Ред.

в Японию. Третьи притаились тут у нас, и о них ничего не слышать...

Владимир Ильич на минуту призадумался, потом быстро заговорил:

— Да-да-да... Надо новых писателей создавать, из рабочих, из крестьян. Кружки...

— Кружки у нас есть. Кружки рабкоров, селькоров. Пишут.

— Да-да-да... отлично... Постепенно из них и художники выйдут.

— Рабочие, Владимир Ильич, своими силами стараются культурно выбиться. Вот пришлось мне побывать на Северной дороге на станции Лосиноостровской. Там интересно проявили себя в самодеятельности рабочие. Жил там богатый помещик. У него была скаковая конюшня. Когда пришла революция, он сбежал совсем с лошадьми. Осталась конюшня, заваленная навозом. Рабочим арсенала очень хотелось иметь свой клуб. А здания не было. Выпросили они у местной власти эту конюшню. Им дали. Рабочие выгребли навоз, поделали окна, настлали пол и потолок, потом сделали эстраду, электричество провели, повесили занавес, поделали сами скамьи, кресла. Получился клуб, вроде «Дворянского собрания».

Владимир Ильич заразительно расхохотался. И все приговаривал:

— Да-да-да, совершенно «Дворянское собрание», совершенно «Дворянское собрание».

И в этом радостном смехе, в этом радостном блеске глаз неизъяснимая любовь и гордость за рабочий класс. И все приговаривал:

— О, рабочий класс все может сделать!.. И из конюшни — «Дворянское собрание».

В начале Великой Октябрьской социалистической революции я с группой товарищей организовал литературно-художественный журнал «Творчество». Владимир Ильич опять внимательно следил за жизнью журнала, за всем тем, что в нем появлялось. В общем, он хорошо относился к журналу. Но однажды сказал:

— Хорошо, что журнал отдает внимание жизни рабочих и особенно, что сами рабочие там пишут. Но скажите, почему у вас ничего не рассказывается о жизни советской женщины, о крестьянке. Ведь в преобразованном государстве, в социалистическом государстве, она играет громадную роль. Ведь впервые у нас она выходит на широкую общественную арену. Посмотрите, как наши женщины, даже в деревне, рвутся к учебе, к образованию. Пройдет немного лет, и у нас появятся женщины-врачи, женщины-агрономы, женщины-инженеры, женщины-ученые, женщи-

ны — государственные деятели. Да-да, — опять проговорил он, думая о своем, — нужно писать о нашей женщине. От них много зависит, как пойдет строительство нашей жизни.

Не было ни одного вопроса общественной жизни, который бы проходил мимо т. Ленина. Но один из таких вопросов всегда, при всяких выступлениях, по всякому поводу, он особенно подчеркивал — это вопрос о защите отечества.

На партийных собраниях, на комсомольских и на общих больших собраниях рабочих, крестьян и интеллигенции он упорно говорил:

— Готовьтесь к отражению враждебных нападений. Готовьтесь защитить вашу родную страну... Помните, мы окружены со всех сторон враждебными государствами...

Это упорное напоминание глубоко проникло в народные массы, — и нынешняя война ярко показала это: народ, все национальности, по завету Ленина, страстно бьются с подлыми врагами и ломают их.

Ленин чрезвычайно внимательно заботился о людях умственного труда — об ученых, о профессорах, изобретателях, инженерах. В те трудные времена он старался всячески возможно лучше устроить их жизнь.

В высшей степени внимательно он относился к жизни и обстановке писателей. Марья Ильинична Ульянова как-то рассказала ему, что я нуждаюсь, живу в сырой квартире. Владимир Ильич сейчас же распорядился отвести мне комнату в Первом Доме Советов и дать мне обед в совнаркомовской столовой. Это чрезвычайно поддержало меня.

В 1918–19 годах рабочие голодали. Ленину часто присылали из деревни мясо, печеный хлеб, овощи, фрукты. Владимир Ильич все это отсылал в детские дома, в больницы. Однажды Марья Ильинична сказала ему:

— Володя, ты бы хоть немного себе оставлял... А то ослабеешь, свалишься, не в состоянии будешь работать...

Владимир Ильич ответил:

— Я не могу есть, зная, что рабочие и их дети голодают.

Г. СЕРЕБРЯКОВА*

В. И. Ленин**

Есть немеркнущие воспоминания в жизни каждого человека. Они, как звезды, освещают темнеющее небо ушедшего времени.

Два раза видела я Владимира Ильича Ленина: в Большом театре во время исполнения Девятой симфонии и позднее, на конгрессе Коминтерна в зале Кремлевского дворца.

Прошло несколько десятилетий, но в памяти звучат бессмертные звуки Бетховена и подле поблекшей пунцовой портьеры, прислонясь к стене, в темном пиджаке стоит передо мной живой Ленин.

Все мы, находившиеся на утреннем симфоническом концерте, были несказанно поражены и обрадованы тем, что рядом с нами Ильич. Он вошел с женой неожиданно, неслышно и долго стоял в глубине ложи, не желая кого-либо побеспокоить. Помню широкий, решительно протестующий жест выброшенной вперед руки, когда мы все поднялись, чтобы уступить свои места. Так и не сели Ленин и Крупская, покуда не были внесены в ложу дополнительные кресла.

С той минуты, как Владимир Ильич появился, я не могла более оставаться спокойной. Хотелось смотреть только на него, но это было неловко. Когда хор и солисты запели «От страдания к радости», Ильич облокотился на барьер ложи, и я увидела его бледное, вдохновенное, сосредоточенное лицо. Он был весь во власти торжествующей, победной симфонии, заполнившей огромный театр, рвущейся прочь, сквозь камни, к небу. Ликующие, жизнеутверждающие аккорды завершили финал, и музыка оборвалась. Не сразу, однако, рассеялось могучее очарование гениального творения Бетховена. Ленин как бы очнулся, встал, приветливо поклонился всем и, пропустив вперед Надежду Константиновну, вышел.

Это был счастливый день. Навсегда отныне Девятая симфония стала для меня музыкальным выражением не только одного, а двух гениев.

Тринадцатого ноября 1922 года я снова не только увидела, но и услышала Владимира Ильича. Это было на одном из заседаний

* Галина Иосифовна Серебрякова (урожд. Бык-Бек; 1905–1980) — русская советская писательница и журналистка, автор романов о Марксе и Энгельсе.

** Из книги «Странствия по минувшим годам» (М.: Советский писатель, 1965).

IV конгресса Коммунистического Интернационала в Кремле. Переполненный до отказа Андреевский зал был охвачен нетерпеливым ожиданием. Представители пятидесяти восьми коммунистическим организаций мира ждали Ленина. Всюду слышалась чужеземная возбужденная речь. Владимир Ильич совсем недавно оправился после первого грозного проявления той болезни, которая вскоре свела его в могилу. Тем более волновались делегаты и гости. Я не отрывала жадных глаз от трибуны. Там, среди многих других, особенно выделялась прекрасная, в рамке голубовато-серебряных пышных волос, голова Клары Цеткин. Внезапно я услышала аплодисменты и пылкие приветствия, раздавшиеся где-то в конце длинного светлого зала. Ленин с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной появились не со стороны президиума, а из двери для публики. Меня поразила стремительность и легкость походки Владимира Ильича, живость и четкость его жестикуляции и мимики. Прекрасна была его улыбка в ответ на радостный гул, поднявшийся вокруг. Никто не дал бы Ленину, несмотря на недавно перенесенную болезнь, пятидесяти двух лет. Он выглядел значительно моложе и благодаря ширине плеч и пропорциональности сложения казался выше ростом, нежели был на самом деле. Пройдя вдоль стены через весь зал, Ленин поднялся на трибуну. Надежда Константиновна примостилась у подножия деревянной кафедры, за которой он встал. Я не сразу поняла, зачем она это сделала. Владимир Ильич выступал с речью на немецком языке. Его переутомленному мозгу нельзя было чрезмерно напрягаться, и на случай, если память в какой-то миг не подскажет ему нужное немецкое слово, Крупская должна была быть переводчицей. Этого, однако, не понадобилось.

Едва Ленин заговорил, воцарилась глубокая тишина. Все замерло. Несмотря на плохое знание немецкого языка, мне казалось, что я понимаю каждую услышанную фразу.

Поразительны были не только экспрессия, четкая дикция, но и обаяние голоса и жеста этого бессмертного оратора. Безошибочно и сразу нашел он, как всегда, ту волну, которая лучше всего могла донести до аудитории его мысли и чувства. Факты, думы, провидение покорили слушателей. Лица их просветлели. Это было поистине интеллектуальное пиршество. Владимир Ильич говорил о пяти истекших годах Октябрьской революции. Речь его по времени почти совпадала с великой годовщиной победы. Он коснулся и будущего, которое принесет всем странам коммунистическое мировоззрение.

Лишь когда под ураган аплодисментов Ленин уходил с трибуны, я заметила, как посерело его лицо и как трудно он дышит. Видимо,

он очень устал после своего выступления и тотчас же вынужден был покинуть заседание.

Прошло немногим более года. Весть о смерти Ленина зимним вечером облетела землю.

Есть черные даты в жизни людей. Они как затмение солнца. Снова увидела я Ленина, и снова оркестр играл Бетховена, но то были звуки трагического похоронного марша. Свет люстр, окутанных крепом, как сквозь темную дымку тумана освещал гроб, усыпанный кроваво-красными тюльпанами. В нем был Ленин.

Уходя из Колонного зала Дома Союзов, как и часто потом, я тщетно старалась вспомнить тот час, когда услышала впервые об этом вечно живом человеке. Революция застала меня маленькой девочкой. Может быть, отец и мать, оба большевики-подпольщики, или уличный митинг, газета, плакат первые сказали мне о Ленине. Напрасные поиски. В моем сознании он жил всегда и стал частью самой жизни. Всем нам хотелось хоть чем-нибудь походить на Владимира Ильича, которого мы воспринимаем как воплощение человеческих идеалов. Обычные мерилка ему не под стать. Он, так же как Маркс и Энгельс, доподлинно человек революции, гениально выразивший требования своей эпохи, и вместе с тем человек будущего.

Ленин показал непревзойденные образцы смелой революционной борьбы, поведения в повседневной жизни отношения к труду, мышления и неизменного единства цели. Это величайший гуманист, отдавший всего себя борьбе за счастье трудового народа.

Каждая, даже самая незначительная бытовая деталь его биографии отражает высокую простоту, большое сердце. Владимир Ильич всегда думал только о других и ничего лишнего, особенного не хотел для себя... Вспоминаю, как Валерьян Владимирович Куйбышев рассказывали о «головомойке», которую он получил в самом начале 20-х годов от Ильича. Когда до Ташкента дошла весть о тяжелой болезни Ленина, члены Средне-Азиатского Бюро ЦК и Реввоенсовета фронта решили отправить ему свои охотничьи трофеи — тушки фазанов. Ильич, узнав о посылке, очень рассерчал, объявил, что считает это проявлением подхалимства, и приказал немедленно передать дичь Московскому военному госпиталю в Лефортово.

Нельзя без душевного трепета и восхищения думать о той большой любви, которая связывала много лет Владимира Ильича с его женой.

Глубоко запал мне в душу рассказ старого большевика, сопровождавшего Ленина в одной из его поездок в Петроград. Прежде чем направиться в Смольный, Ильич поехал к дому, в котором в конце прошлого века познакомился с Крупской. Там он вышел

из автомобиля и не которое время прохаживался по тротуару, поглощенный дорогами ему воспоминаниями.

Недавно одна из старейших коммунисток — Серафима Ильинична Гопнер рассказала мне эпизод, который еще раз показывает, как дорога и нужна всегда была Надежда Константиновна Владимиру Ильичу.

Это было грозной, тяжелой и голодной весной 1919 года. В Москве собрался I конгресс Коммунистического Интернационала. Гопнер приехала с Украины, где в хлебе не ощущалось большого недостатка.

На заседаниях конгресса была и Надежда Константиновна. Она очень исхудала и выглядела болезненной. Гопнер решила уговорить Крупскую поехать отдохнуть на Украину и в перерыве между заседаниями сказала об этом Владимиру Ильичу. Ленин категорически воспротивился:

— Нет, нет, невозможно, — не задумываясь, горячо возразил Ильич. — На Украине хоть и сытно, но беспокойно. Да и мне без Нади будет трудно, — и опять повторил: — Нет, нет, уж лучше не надо...

— Было ясно, — добавила Серафима Ильинична, — что Владимир Ильич огорчился даже мыслью о разлуке с женой. Она ведь была самым близким его другом.

СКИТАЛЕЦ*

Ульянов-Ленин

Было это в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Самаре**.

Старая Самара, ныне Куйбышев, была тогда типично провинциальным городом, славившимся грязью и пылью.

В то же время это был как бы пересыльный пункт для высылаемых из столиц «политических», вносящих единственное оживление в умственную жизнь скучного, сонного города.

* *Скиталец* (наст. имя и фамилия — Степан Гаврилович Петров; 1869–1941) — русский писатель, поэт и прозаик.

** Автор допускает неточность. Первая его встреча с В. И. Лениным могла состояться в Самаре в 1891 г. перед отъездом Ленина в Петербург для сдачи экстерном экзаменов за юридический факультет при Петербургском университете. — *Ред.*

Это оживление было особенно заметным, когда в столичных университетах ввели новый, жесткий устав, уничтожавший остатки вольностей для учащейся молодежи. Самара наводнилась высланными по случаю студенческих «беспорядков».

Незадолго до этого произошло неудачное покушение на жизнь царя Александра III.

На нелегальных, но многолюдных вечеринках революционной молодежи выступали иногда крупные люди того времени, посидевшие в «Крестах», отбывшие почетную ссылку или бежавшие из ссылки. Многих через Самару высылали дальше — в Сибирь.

К весне 1887 года весь этот шум, внесенный политическими, куда-то схлынул. Почти все приезжие «ухали».

Я был тогда очень юным человеком, только что окунувшимся в эту кипучую жизнь и вдруг оставшимся «без среды».

На таком же положении оказался и друг моего детства, мой однодеревенец, крестьянин моей родной деревни Бестужевки, — Марк Елизаров, получивший образование в Петербургском университете и «вышибленный» оттуда во время беспорядков.

Мы ежедневно виделись. Марку было двадцать пять, мне — семнадцать лет. Нас связывали деревенское детство в нашей Бестужевке, среди красивой природы, на берегу Волги, стремление обоих к образованию и, революционное настроение.

Однажды под вечер теплого майского дня я зашел к Елизарову. У него оказался гость — юноша моего возраста, крепыш среднего роста, с большим лбом и длинными до плеч, густыми, светло-каштановыми, вьющимися волосами, закинутыми назад. Веснушчатое, с первым золотистым пушком на подбородке, лицо его, с веселой усмешкой на пухлых, но крепко сжатых губах, еще носило следы юношеской мягкости. В небольших голубоватых глазах светился быстрый и острый ум. Говорил он, усмехаясь, негромким, слегка грассирующим голосом.

— Ульянов! — отрекомендовался он, крепко сжимая мне руку.

О семье Ульяновых, с которой Елизаров познакомился в Петербурге, я много слышал от него и прежде. По его словам, все они были способные люди. Старший брат, Александр, был казнен за участие в покушении на жизнь царя, после чего вся семья очутилась под надзором полиции. Передо мной был младший Ульянов — Владимир. Он ехал в Казань с целью поступить в Казанский университет.

Начался обычный разговор учащейся молодежи того времени: о том, как и где сдать экзамены «вышибленному» человеку и как, наконец, при всей любви к науке, может она в таких скитаниях осточертеть.

— Прежде я был не в ладах с математикой! — посмеиваясь и запуская руки в карманы брюк, говорил Ульянов. — Рассуждал так: если назначен урок по математике — значит, я свободен! Хе-хе! Но теперь, когда вник, люблю ее! Но все-таки, если мыкаться из города в город с мешком толстых учебников, то, кажется, так бы и спихнул их в Волгу!

— Ну, при твоей-то башке, с такой памятью, — возразил Марк, — как не сдать?!

— Сдам, конечно! Да вся эта казенная учеба давно в зубах навязла! Надоела! Меня теперь совсем не это занимает!

Внезапно загоревшись, расхаживая по комнате большими шагами, юноша заговорил об истории революционного движения в России.

Он не говорил звонких слов, — говорил просто, понятно, поэтому сразу захватывал убедительностью своих суждений. Видно было, что этот почти еще мальчик хорошо, основательно знает тот предмет, о котором говорит. Центральной областью его интересов и познаний как тогда, так и во всю последующую жизнь была революция.

Елизаров на первых порах пытался было вставлять в его речь краткие реплики, но вскоре умолк: Ульянов сыпал датами, цитатами, цифрами, историческими подробностями, иногда отвлекаясь далеко в сторону от своей основной мысли и как бы теряя связь с ней, но потом оказывалось, что он несколько не забывал о ней, подтверждал ее, развивая сложное и строго построенное мировоззрение. Спорить с ним не приходило в голову ни мне, ни Елизарову: под конец его обширной, содержательной речи мы оба должны были только слушать, а юный ученый, по-видимому, чувствовал себя в любимой стихии. Ульянов, засунув руки в карманы и потряхивая длинными золотистыми кудрями, большими шагами как бы вымерял комнату и говорил с увлечением математика, доказывающего совершенно ясную для него теорему. В эти минуты юноша словно вырос перед нами, казался много старше своих лет. Было ясно, что даже по своей теоретической вооруженности Владимир Ульянов представляет незаурядное, явление.

Иногда он останавливался около окна и, оборотись к нам, продолжал говорить.

Заходящее весеннее солнце косыми лучами освещало его оживленное, сделавшееся чрезвычайно интересным лицо. Небольшие, искрящиеся лукавым торжеством глаза светились в это время голубым, сияющим светом.

Таким на всю жизнь остался в памяти моей юношеский образ Ульянова-Ленина при первой моей встрече с ним в 1887 году.

На другой день он уехал и, конечно, сдал экзамены в Казани. Вскоре Елизаров женился на Анне Ильиничне, старшей сестре Владимира Ильича.

В 1893 году я уехал из Самары. В это же время, исключенный из Казанского университета*, Ленин уехал в Петербург. Марк с женой переселился туда же, поступив снова в студенты, несмотря на свой более чем тридцатилетний возраст.

Мы расстались на многие годы, встретившись уже возмужавшими людьми в обстановке надвигающейся революции 1905 года.

В 1903 году, будучи уже профессиональным писателем, я в первый раз в жизни поехал за границу посмотреть европейские страны и кстати побывать в гостях у зарубежной революционной эмиграции, среди которой выделялось имя Владимира Ильича Ленина, уже известное тогда всей России.

На летние месяцы попал в Женеву, остановился в гостинице и тотчас же вышел пройтись по городу; но едва вышел, как столкнулся со знакомым московским студентом — партийцем. Он окликнул меня:

— Давно ли на сей земле?

— Только что. Еще и города не видал!

— Пойдемте сейчас на эмигрантское собрание, вот в этом доме, здесь же, на площади. Я думал, что и вы туда идете! Вероятно, знакомых своих, вроде меня, многих встретите. Жаль, немножко запоздали!

Мы вошли во второй этаж, в довольно большой зал собрания, наполненный русскими эмигрантами. Оказалось, собрание кончилось, публика расходилась.

Мы спустились по лестнице обратно, невольно остановившись у подъезда.

— Знаете что? — сказал мой спутник в раздумье. — Давайте завернем сейчас к Ленину! Наверное, он дома теперь!

— Пожалуй! Мы встречались с ним когда-то давно, в юные годы!

— Да, он говорил мне! Ленин помнит вас, и ему, конечно, будет приятно повидаться с вами! Ведь ваше «Знание» гремит теперь!

Через несколько минут ходьбы мы нашли квартиру Ленина: это был отдельный маленький флигелек или, скорее, избушка, во дворе большого дома, в саду. Обстановка жизни Ленина в Женеве выглядела аскетически: через прихожую мы вошли в небольшую комнату, которая казалась голой от скудной мебели; вместо письменного — простой, некрашенный стол, несколько венских стульев и этажерка с книгами.

В момент нашего прихода сам хозяин быстро шагал по своей комнате, по-видимому о чем-то думая.

* Ленин был исключен из Казанского университета в декабре 1887 г. — *Ред.*

Я сразу узнал Ленина, хотя за пятнадцать лет после нашей встречи наружность его значительно изменилась. В это время ему было тридцать два — тридцать три года. Но вместо прежних золотистых кудрей — на макушке светилась небольшая лысинка, поредевшие волосы коротко острижены, отросла маленькая бородка. По-прежнему крепко сложенный, казался он худее, сутуловатее и одет был неважно: потертый коричневый пиджак, надетый на косоворотку, коротковатые брюки.

Увидев меня, он не особенно удивился, словно давно поджидал писателей из России.

На первых порах отдали дань воспоминаниям.

— Отлично помню нашу с вами встречу у Елизарова! Вы и тогда, кажется, неплохие стихи пописывали! Марк показывал. Он чудак: почти сорока лет опять в студенты поступил, в технологический, но, конечно, от политики не мог отстать, — влопался, в тюрьму попал, выслали! Пропало инженерство!

Он стал с интересом расспрашивать меня о России, о литературе и литературных наших делах.

Мне удивительно было видеть огромную мощь духа, заключенную в человеке маленького роста с огромным лысеющим лбом, непрестанно работающим над тем, чтобы из-под семи замков могли вырваться скованные силы революции.

Во время революции 1905 года Ленин появился в Петербурге и начал руководить газетой большевистского направления «Новая жизнь». Статьи Ленина поражали рядового читателя новым, широким масштабом.

Я жил в то время в Петербурге.

Когда появился царский «манифест» с подозрительными «свободами», ко мне в то же утро прибежал мой приятель, сотрудничавший в газете большевиков «Новая жизнь».

— Можно в вашей квартире сделать экстренное собрание? — запыхавшись, спросил он меня.

— Можно! А что это за собрание?

Наша газета только что закрыта*, явилась полиция. Нужно немедленно обсудить положение!

— Хорошо! Собирайтесь!

Через полчаса моя квартира стала наполняться сотрудниками закрытой газеты, руководимой Лениным. Собралось человек сорок. После всех приехали вместе Ленин и Горький.

* Ошибка: газета «Новая жизнь» начала выходить после манифеста 17 октября, с 27 октября (9 ноября) и была закрыта 3 (16) декабря 1905 г. — *Ред.*

Ленин выглядел почти весело в противоположность всем: о закрытии газеты говорил с той же спокойной усмешкой, с какой говорил прежде о «пропавшем инженерстве» Елизарова.

Я предоставил собранию самую большую комнату в квартире — мой кабинет, и они, не садясь и не раздеваясь, тотчас же начали дебаты.

Говорили спешно, возбужденно. Ленин все время молчал, руки у него были засунуты в карманы.

Я ушел в другую комнату.

Через час все разбежались с такой же быстротой, с какой собрались.

После всех остался у меня посидеть Горький.

— Вы сами-то как думаете: чего теперь можно ждать?

— Вероятно, реакции!

— Да! — со вздохом подтвердил он, уходя. — Идет реакция!

Ленин после этого собрания исчез из Петербурга.

Я. СМЕЛЯКОВ*

Ленин (1949)

Мне кажется, что я не в зале,
а, годы и стены пройдя,
стою на Финляндском вокзале
и слушаю голос вождя.

Пространство и время нарушив,
мне голос тот в сердце проник,
и прямо на площадь, как в душу,
железный идет броневик.

Отважный, худой, бородатый —
гроза петербургских господ, —
я вместе с окопным солдатом
на Зимний тащу пулемет.

* *Ярослав Васильевич Смеляков* (1913–1972) — русский советский поэт и переводчик, литературный критик. В 1934–1937 и 1951–55 был репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. Лауреат Государственной премии СССР (1967). Член Правления СП СССР и СП РСФСР.

Земля, как осина, дрожала,
когда наш отряд штурмовал.
Нам совесть идти приказала,
нас Ленин на это послал.

Знамена великих сражений,
пожары гражданской войны...
Как смысл человечества, Ленин
стоит на трибуне страны.

Я в грозных рядах растворяюсь,
я ветром победы дышу
и, с митинга в бой отправляясь,
восторженно шапкой машу.

Не в траурном зале музея —
меж тихих московских домов
я руки озябшие грею
у красных январских костров.

Ослепли глаза от мороза,
ослабли от туч снеговых.
и ваши, товарищи, слезы
в глазах застывают моих...

Размышления возле новогодней елки (1970)

Мы кузнецы, и дух наш молод.

Ф. Шкулев

Они недаром ходят, толки,
что в Горках памятной зимой
ты был у Ленина на елке,
мой современник дорогой.

Ту елку посредине зала,
как символ неба и труда,
невиолеумская венчала,
а большевистская звезда.
Светились лампочки и свечи.
Водили робко хоровод

вы, небольшие человечки,
ребячий чистенький народ.

И, сидя как бы в отдаленье,
уже почти уйдя от дел,
в последний раз товарищ Ленин
на вас прищуренно глядел.

И с торопливостью усталой,
еще стройна и не стара,
для вас торжественно играла
без нот, до самого финала
и снова сызнова, с начала
раскат «Интернационала»
его помощница — сестра.

А заробевшие вначале
девчурочки и сорванцы
уже, сияя, распевали:
«Мы кузнецы! Мы кузнецы!»
Да, дух ваш был и вправду молод
в те достославные года.
Они недаром, Серп и Молот,
над вами реяли тогда.

Никто не видел в те мгновенья
его, ушедшего во мглу.
Какие отблески и тени
прошли по бледному челу?

Он размышлял, любуясь вами,
о том, как нынешний народ
в боях простреленное знамя
в руках надежных понесет.

Он думал, глядя в дни иные
и в нашу жизнь из тех времен,
как сложится судьба
России
и всех иародов и племен...

...И, глядя в прожитые дали,
отсюда, из своей земли,

давайте вспомним
в звездном зале,
что мы и нынче,
как вначале,
не отступились, не солгали.
не отреклись, не подвели.

Ф. СОЛОДОВ*

На субботнике

Первое мая — день боевой международной пролетарской солидарности — в 1920 году в нашей стране было объявлено днём Всероссийского субботника. В этот день работали всюду.

В то время я был курсантом Первых Кремлёвских пулемётных курсов. В Кремле, кроме нас, курсантов, работали на субботнике сотрудники ВЦИКа и Совнаркома.

...Нашей группе пришлось работать на Ивановской площади, у памятника Александру II; здесь же работал и Владимир Ильич. Вначале Ленин работал с комиссаром курсов Борисовым, потом напарником у него стал курсант Пермяков. Они носили пяти-шестиметровые брёвна. Курсант, зная состояние здоровья и возраст Ленина, старался брать утолщённый конец бревна. Ильич это быстро заметил и стал опережать курсанта. Тогда курсант сказал Владимиру Ильичу:

— Зачем вы это делаете? Ведь я моложе вас, и для меня эта тяжесть больших трудов не составляет.

Ленин, усмехаясь, ответил курсанту:

— Вот вы и не спорьте со мной, если я старше.

Когда перенесли брёвна, стали носить огромнейшие дубовые кряжи. Их переносили на палках по шесть человек. На этот раз мне посчастливилось несколько раз работать в одной группе с Лениным. Почему несколько раз, а не всё время? Да потому, что каждому хотелось поработать с Ильичём, и почти после каждого перекура курсанты менялись.

Когда мы носили дубовые кряжи, со всех лил пот: кряжи были очень тяжёлые, а день был жаркий. Однако Владимир Ильич всегда старался быть впереди и брать то, что тяжелее. Мы не могли равнодушно смотреть на это, но он и слушать не хотел наших уговоров. Тогда один из нашей группы подошёл к Ленину и сказал:

* Курсант Первых Кремлёвских пулемётных курсов.

— Владимир Ильич, зачем вы это делаете? Идите лучше в Совнарком. Ведь вас там, наверное, ждут, а здесь мы и без вас управимся.

Владимир Ильич сильно обиделся. Он несколько раз прошёлся туда и обратно, потом подошёл к этому товарищу, взял его за плечи, громко рассмеялся и сказал:

— Зря вы, батенька мой, выпроваживаете меня. Всё равно ничего из этого не выйдет: я не уйду. Сейчас эта работа самая важная.

Работать с Владимиром Ильичём было очень легко и хорошо. Он был очень внимателен и каждого из нас спрашивал:

— А вы, товарищ, не устали?

Ильич много шутил и заразительно смеялся. Наши робость и стеснительность, появившиеся вначале, исчезли. Мы чувствовали себя с ним совершенно свободно.

Как-то во время отдыха все сели на бревно. Сел с нами и Владимир Ильич. Мы закурили. Ильич посмотрел на нас и сказал:

— Ну, что вы в этом куреве находите хорошего? Ведь табак — это яд. Он разрушает ваше здоровье.

А мы в свою очередь спросили его:

— А вы, Владимир Ильич, когда-нибудь курили?

— Да, в юношеские годы как-то закурил, но бросил и больше этим не занимался.

Владимир Ильич ушёл с работы до окончания субботника, так как за ним пришли и сказали ему, что пора ехать на закладку памятника Карлу Марксу. Уходя, Ильич попрощался с нами, пожелал успешно закончить работу.

Так работал Ленин в этот исторический день, подавая личный пример дисциплинированности, трудолюбия, настоящего товарищества.

В. СОЛОУХИН*

Это было в двадцатом (1950)

Это было в двадцатом суровом году.

Выли вьюги в российской советской столице.

Раскалялись морозы, от них на лету

Задыхались и падали мёртвыми птицы.

* *Владимир Алексеевич Солоухин* (1924–1997) — русский советский писатель, прозаик и поэт. Главная тема творчества Солоухина — русская деревня. Представитель т. н. «деревенской» (традиционной) прозы. Был ярым монархистом, носил на пальце перстень с изображением царя Николая II.

Были выбиты стёкла в цехах заводских,
 Индевели станки и молчали моторы.
 Трудно с хлебом — и резали фунт на двоих,
 Трудно с топливом — шли на растопку заборы.
 С перебоем в дома приходила вода,
 Неожиданно свет угасал на неделю.
 Но ведь это в столице, а что же тогда
 От Москвы вдалеке, за декабрьской метелью?

Так он думал, из дальней страны человек,
 Этот город суровый увидев воочью.
 Перед фарами пылью крутящийся снег,
 Переулки, афиш шелестящие клочья,
 Да никчёмность трамвайных завьюженных рельс,
 И над всем — вековые кремлёвские башни...
 Был великим фантастом британец Уэллс,
 Стало страшно Уэллсу от были тогдашней...
 Всё он понял ещё до кремлёвских ворот.
 Предстоящая встреча добавит немного:
 Вся Россия во мгле, полудикий народ,
 К омертвению и тлену прямая дорога.
 Эта схватка миров не похожа на ту,
 Что ему представлялась в часы вдохновений.
 Не к вождю марсиан в темноту, в пустоту
 Шаг за шагом его поднимали ступени —
 Двое рослых, в военной одежде, людей
 От парадных дверей до приёмного зала
 Проводили его коридорами, где
 Под глубокими сводами свет вполнакала...
 Под ногами паркет, позабывший про воск.
 Распахнулась тяжёлая дверь кабинета...
 Что там думает этот загадочный мозг
 Истощённой России, державы Советов?

У вождя кабинет протопили вчера,
 Но сегодня прохладно в его кабинете.
 И внакидку пальто, и сидеть до утра,
 И работать с мечтой о свободной планете.
 Вот британскому гостю движеньем простым
 Предлагает он кресло, обитое кожей.
 «Не угодно ли чаю, пока не остыл?
 Удивительный чай, без варенья, но всё же...»
 А по окнам струя снеговая, как бич.

Без конца и без края страна за стеною...
«Ну а всё-таки что же, Владимир Ильич,
Вы решаете делать с погибшей страной?»
Натянулась беседы суровая нить.
Гость открыто сочувствует, смотрит жалея.
«Мы республику нашу хотим осветить,
Чтобы стало и жить, и работать светлее».
И по карте — от Пинских болот до Кремля,
От Кремля над тайгой — и руки не хватило.
Разве может погибнуть такая земля,
Разве можно такой напророчить могилу?

От движенья пальто соскочило с плеча,
По просторам страны заскользила указка,
И поплыли тогда в кабинет Ильича
За виденьем виденье, за сказкою сказка.
Будто дикие реки сибирских равнин
Перекрыли плотины бетонные наши,
И струится высокая сила турбин,
И летят провода над безмолвием пашен.
Будто вся до конца задымилась тайга,
Засветилась она заводскими огнями,
Будто реки бросают свои берега
И уходят дорогой, указанной нами!
Будто мёртвую степь заливают вода
И лимонные рощи в степи вырастают,
А на месте пустынь — города, города,
И над ними — машин светлокрылые стаи!

Гость ушёл раздражённым, он в Лондоне даст
Интервью о поездку своей за границу
И о том, что сидит утопист и фантаст
За кремлёвской стеной в азиатской столице.
Нам не спорить о том, к нам стучится весна,
Нам мечтать вдохновенно и радостно строить,
Но душа торжеством до избытка полна,
И поэтому хочется крикнуть порою:
— Что ж, мечтатель Уэллс, слышишь нынче меня
Под чугунным надгробьем, замшелым и ржавым?
Что, Россия во мгле? Нет, Россия в огнях!
Нет, в сверканье и славе родная держава!
Это знамя Советов пылает огнем,
Освещая потемки Австралий и Азий.

А о Марсе мечтать? Мы мечтаем о нем.
Коммунистам — и это не область фантазий!

При свете дня*

<Фрагменты>

Портретов Ленина не видно;
Похожих не было и нет,
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет
Николай Полетаев. Поэт 20-х годов

Понятие диктатуры означает не что иное, как ни чем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть.

*Ленин. Собр. соч. Т. 41, стр. 383
«Съезд советов». Речь Ленина*

О, какое это животное!
Иван Бунин. «Окаянные дни»

<...>

В следующем абзаце мне хотелось показать отношение Ленина к российской интеллигенции, но я подумал, что эти две составные российского общества (а в конечном счете народа) — дворянство и интеллигенция — во многом смыкались и совпадали. Так что ненависть Ленина к дворянству полностью распространялась на русскую интеллигенцию, а ненависть к интеллигенции питала ненависть к дворянству. Когда Горький пытался внушить Ленину, что интеллигенция — это мозг нации, а Ленин ответил, что это не мозг, а говно, и тот и другой подразумевали интеллигенцию как часть дворянства и дворянство как часть общества, порождающего интеллигенцию.

<...> Уж если мы говорим об интеллигенции (и прежде чем перейдем к другим слоям общества), остановимся на смерти одного из самых интеллигентных людей России, на смерти великого русского поэта Александра Блока, остановимся и посмотрим, в какой степени Владимир Ильич лично причастен к этой смерти.

* Солоухин В. При свете дня. М., 1992.

Многие имена первой величины, составлявшие то, что мы называем русской культурой, не «вписывались», не могли «вписаться» в послереволюционную большевистскую систему. Некоторые из них сумели избежать железных зубов этой системы: Бунин, Куприн, Мережковский, Шалапин, Рерих, Рахманинов, Цветаева, Сомов, Иван Шмелев... Оставшиеся, как правило, погибали.

Из людей первой величины, так или иначе погибших, так или иначе изъятых из русской действительности после 17-го года, в двадцатые годы, смерть Александра Блока является самой необъяснимой, точнее сказать, самой необъясненной.

Гумилева нашли повод арестовать, расстреляли и объяснили расстрел тем, что Гумилев якобы участвовал в контрреволюционном заговоре Таганцева. Есенина убили и создали оригинальную версию, что он повесился. Маяковский застрелился, хотя нет-нет да и возникают робкие версии, что он, мол, не сам... Как бы то ни было, причина смерти ясна: пуля в сердце. Но Блок?

Ни диагноза болезни, ни медицинского заключения о смерти великого поэта, ни вскрытия. Сорокалетний человек в три месяца истаял и умер. Рак? Тиф? Цирроз печени? Гепатит? Воспаление легких? Склероз почек (как, скажем, у Михаила Булгакова)? Туберкулез (как у Чехова)?

Инсульт? Инфаркт? Ничего ничуть не бывало.

Кое-где, кое-когда шелестит версия, что великий поэт умер голодной смертью. Теоретически могло быть, но практически маловероятно. Жили же в это время другие писатели, поэты в Петрограде.

Те же Ахматова, Корней Чуковский, Сергей Городецкий, Всеволод Рождественский, Елена Книпович, оперная певица Любовь Александровна Дельмас, встречавшаяся с Блоком, многие другие. Не поумирали же они с голоду. Да что посторонние люди? Любовь Дмитриевна, жена... Жили вместе, пили-ели что Бог даст, но — вместе.

Не объедала же она своего мужа, однако и с голоду не умерла.

Кроме того, в описаниях очевидцев, видевших больного Блока, все время речь идет о болях, сопровождающих болезнь, о задышаниях, о нервозном состоянии. «Страдания его так ужасны, что стоны и вскрики слышны на улице». Нет, с голоду так не умирают. Вернее, с голоду умирают не так. Вон, в 1933 году, во время голода в Поволжье, дедушка Михаила Николаевича Алексеева, чтобы не быть лишним ртом среди детей и внуков и не объедать их, лег на печке и перестал есть. И постепенно тихо угас, без мучений, по крайней мере физических.

Свидетельство, как говорится, из первых рук.

Однажды, еще в семидесятые годы, я написал стихотворение «Три поэта». Там были такие слова:

Их было трое. В круге этом узком
Звучал недолго благовестный стих.
Блок умер первым, ибо самым русским
И самым честным был он из троих.
Он умер не от тифа, не от раны
(Небрит, прозрачен, впалые виски),
Но потому что понял слишком рано...
Сказать точнее – просто от тоски.

Это, конечно, не более чем поэтическая версия. Ее в медицинское заключение о смерти не запишешь. Более того, когда я разговаривал об этом с блоковедами (со Ст. Лесневским в частности), то Станислав категорически утверждал, что Блок в свое последнее полугодие с огромным упорством боролся за жизнь, пытался «вырваться из бездны».

Он работает над речью о Пушкине, возвращается к поэме «Возмездие» и продолжает ее, а вовсе не лежит в тоске в ожидании смерти. Не он искал смерти, а смерть нашла его. Правда, из воспоминаний современников явствует, что Блок иногда высказывал мысли о смерти. Кому-то он прямо сказал, что очень хотел бы умереть. Что ж, действительность была такова, что и в самом деле лучше бы сдохнуть. Но все же от высказывания о смерти до самой смерти далеко. Сколько бы ни говорить слово «сахар», во рту сладко не станет.

Первый приступ болезни произошел в мае. Но что за приступ?

Головокружение, обморок, рвота? Боль в сердце? Головная боль?

Сколько я ни пытался это узнать, никто ничего не знает. (Великолепный знаток Блока профессор Андрей Леопольдович Гришунин где-то раскопал, что был еще, так сказать, предварительный кратковременный приступ в январе. Большая слабость и ощущение холода.) В мае Блок еще ездил в Москву, где были организованы его вечера. По возвращении приступ повторился, и Блок уже не воспрянул, он слег в постель. Своей матери он напишет: «Делать я ничего не могу... все болит, трудно дышать...» Сестра матери М. А. Бекетова сообщает: «...больной был очень слаб... голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться». Елена Федоровна Книпович вторит Бекетовой: «Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался».

Добросовестный и устремленный литературовед и публицист Вл. Вл. Радзишевский, статьей которого из «Литературной га-

зеты» (28.8.91) мы пользуемся, делая эти выписки, заключает в духе моих стихотворных строк: «Его тоже убило «отсутствие воздуха». У меня — от тоски, у Радзишевского — от не менее символического «отсутствия воздуха». Ну а все-таки что же это было? «Сейчас у меня ни души, ни тела, — жаловался Блок, — я болен, как не был никогда еще...» Доктор А. Г. Пекелис, пользовавший Блока, предложил немедленно увезти больного за границу.

Но все же если был врач, значит, он мог поставить диагноз. Или уж настолько загадочной и небывалой оказалась болезнь?

В свое время я разговаривал об этом с академиком медицины, главным хирургом Института им. Склифосовского, профессором (естественно), с которым нас волею судеб связывали дружеские, можно сказать, отношения. Разговорился я с Борисом Александровичем Петровым у «Троице-Сергия», за хорошим (патриаршим) застольем.

Рассказал ему все, что знал о болезни Блока, и напрямую спросил: что это была за болезнь? Борис Петрович, совершивший сотни (или тысячи?) раковых полостных операций, со всей своей прямоотой рубанул. Может, он в те застойные времена и поостерегся бы рубануть, если бы времена не были к тому же застольными. В том доме, где мы находились, любили и умели угощать, да и обстановка сама (лавра!) отвлекала от суровой действительности развитого и зрелого социализма, и Борис Александрович рубанул: «Не знаю, что думают ваши литературоведы. Больше всего это похоже на яд. Его отравили».

Вл. Радзишевский назвал свою статью о болезни и смерти Блока «Канцелярское убийство», не сделав, однако, последнего, решительного вывода. Но и без этого вывода описание Вл. Радзишевским канцелярской волокиты, связанной с больным Блоком, неожиданным образом накладывается на запоздалый и заочный диагноз, высказанный опытнейшим медицинским академиком.

В самом деле. После заключения доктора о немедленном увозе Блока за границу жена поэта кинулась к Горькому. Горький обратился к Луначарскому, чтобы тот в спешном порядке выхлопотал выезд Блока в Финляндию. Это свое письмо Горький просил передать Ленину. Но письмо осталось без какого-либо ответа. 18 июня около постели больного собрался консилиум. Доктора сошлись во мнении, что больного нужно поместить «в одну из хорошо оборудованных, со специальными методами для лечения сердечных больных санаторию».

Весь консилиум от такой рекомендации почему-то остерегся.

Любовь Дмитриевна снова обратилась к Горькому с мольбой о помощи.

Горький сам поехал в Москву и уже не письмом, а лично с заключением консилиума в руках обратился к Владимиру Ильичу. Ильич дал понять, что один этот вопрос решить не может, что этот вопрос будет решать Политбюро РКП(б), а документы отправил на Лубянку к Менжинскому Менжинский (цитирую Вл. Радзишевского): «...документы на выезд в Финляндию притормозил». Он тянул время. Он знал, чем на самом деле «болен» Блок, знал, вероятно, когда все это должно кончиться, и тянул время. Время тянул и дорогой Владимир Ильич. Напрасно Горький и Луначарский подталкивали его «Просим ЦК повлиять на т. Менжинского в благоприятном для Блока смысле».

Вл. Вл. Радзишевский («Лит. газ.», 28.8.91): «напрасно было тут ожидать, что, получив это письмо, председатель Совнаркома тут же устроит выволочку т. Менжинскому, а еще раньше запросит справку в Наркомздраве: не лучше ли, допустим, будут для Блока условия в Германии или Италии? Увы, Ленина занимало другое: есть ли гарантии, что за границей Блок сохранит свою лояльность к большевистскому режиму... Поэтому совсем не в Наркомздрав отсылает Ленин письмо Луначарского, а... в ЧК. «Тов. Менжинский, — приписывает он от себя, — Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом».

Если вспомнить, что в эти самые дни, а точнее, 3 августа 1921 года, из Петербурга в эмиграцию выехал поэт Ходасевич и почему-то Ленина не заботило, сохранит ли Ходасевич в эмиграции лояльность к большевикам, если вспомнить, что лишь годом позже в эмиграцию выехали с позволения Владимира Ильича более двадцати крупнейших профессоров, философов, в том числе Бердяев, Сергей Булгаков, Лосский, Франк, то забота о лояльности полуживого Блока кажется странной.

На самом деле ничего странного в этом нет. К этому времени Ленина, по-моему, не очень-то заботила лояльность к большевистскому режиму какого-нибудь отдельного интеллигента. В конце концов уже находились в эмиграции и вовсе не были лояльны к большевикам десятки русских интеллигентов (Бунин, Куприн, Мережковский, Ив. Шмелев, Шаляпин, Цветаева) и от их нелояльности большевистский режим не рухнул. Выиграна гражданская война, бояться было уже нечего. Не случайно легко и без проблем выпустили и Ходасевича и два десятка упомянутых нами ученых-философов.

Почему же Ленин испугался нелояльности Блока и запрос о нем послал не в Наркомздрав, а Менжинскому? (Хотя без всяких запросов мог бы лишь бровью повести или мизинцем пошевелить, и Блок немедленно оказался бы за границей.) ПОТОМУ ЧТО БО-

ЛЕЗНЬ БЛОКА ПРОХОДИЛА ПО ВЕДОМСТВУ МЕНЖИНСКОГО. Другого объяснения этому нет. Поэтому Владимир Ильич послал Менжинскому записку:

«Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом». Что же в ответ на слезную просьбу жены поэта, на настойчивые просьбы Горького и Луначарского, на заключение консилиума врачей предлагает Менжинский? Создать для Блока хорошие условия где-либо в санатории в пределах России. Хотя Менжинский лучше, чем кто-либо другой знает, что такого санатория тогда в пределах России не было и быть не могло.

Важно было не выпускать Блока за границу.

Ходатайство Горького и Луначарского рассматривалось на Политбюро (!) 12 июля под председательством В. И. Ленина. Решили — за границу Блока не выпускать.

Я надеюсь, что люди, читающие эти строки, уже догадываются, чего боялись Менжинский и Ленин, а вслед за ними, возможно, лишь идя на поводу, и члены Политбюро. Не нелояльности Блока, не его выздоровления. Полагаю, Менжинский и Ленин знали, что Блок не выздоровеет, что дни его сочтены. Они, как вы, наверное, догадываетесь, боялись, что европейские медики ПОСТАВЯТ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ, И ОБНАРУЖАТ, И ОБЪЯВЯТ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО БЛОК ОТРАВЛЕН. Это единственное реальное объяснение чудовищному решению Политбюро не пускать Блока за границу и вообще всей этой волоките и проволочке, которую Вл. Радзишевский назвал канцелярским убийством. Убит Блок был раньше, за несколько месяцев до самого факта смерти, а проволочка понадобилась, чтобы довести начатое до конца и чтобы спрятать концы.

Луначарский мог быть не посвященным в чекистскую (все-го лишь нарком просвещения!) тайну болезни Блока, поэтому и приставал со своими ходатайствами, поэтому и пошло в ЦК после чудовищного решения Политбюро возмущенное письмо: «Высокодаровитый Блок умрет недели через две, и тот факт, что мы уморили талантливейшего поэта России не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению». ЧК, видимо, зорко следила за течением болезни Блока. И когда Блок впал уже в забытие и уже не мог самостоятельно уехать в Финляндию, а Любовь Дмитриевну надо было еще оформить для этой поездки, а к тому же «затерялись» в Москве ее анкеты и получила дополнителная проволочка, разрешение на выезд было издательски дано. Но выехал Александр Александрович не в Финляндию, а на Смоленское кладбище.

<...>

Первое, что сделал Ленин, переехав вместе со своими сообщниками в Москву, — это уничтожил памятник Александру Второму в Кремле, царю, освободившему Болгарию от турецкого ига, отменившему крепостное право... да и просто так: стоит памятник в центре Москвы и России, историческая, художественная ценность.

Одновременно Ленин уничтожил памятник Александру III около Храма Христа Спасителя (сам храм Ильич уничтожить не успел, он был взорван по его заветам в 1931 году), а также памятник генералу Скобелеву, главному русскому генералу. Он стоял напротив теперешнего Моссовета.

В Кремле же уничтожены Чудов монастырь вместе с могилами наших предков и Вознесенский монастырь вместе с могилами наших предков. А одна яркая сценка про Владимира Ильича запечатлена в воспоминаниях тогдашнего коменданта Кремля П. Малькова.

«Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником (с 1 Мая, конечно, а не с Пасхой), а потом внезапно шутиливо погрозил пальцем.

— Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уже не хорошо. — И указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства Сергея Александровича, великого князя, безвинного человека, убитого подонком Каляевым.

Вдова Сергея Александровича, Елизавета Федоровна, основала Марфа-Марьяинскую обитель, где воспитывала склонных к рукоделию российских девочек-сирот. В июле 18-го года, в дни истребления царской семьи, была в уральском городе Алапаевске живой сброшена в шахту.

Ныне прославлена и причислена к лику святых. (А Ильича скоро выбросят из Мавзолея. — В. С.) Я сокрушенно вздохнул.

— Правильно, — говорю, — Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.

— Ишь ты, нашел причину! Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки всегда найдутся, хоть сейчас. Как, товарищи? — обратился Ильич к окружающим. Со всех сторон его поддержали дружные голоса.

— Видите? А вы говорите — рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки.

Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за нее все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.

— А ну, дружно! — задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов и сотрудники ВЦИК и Совнаркома впряглись в веревки, налегли, дернули. и памятник рухнул на булыжник.

— Долой его с глаз, на свалку! — продолжал командовать Владимир Ильич.

Десятки рук подхватили веревки, и памятник за скользил по булыжнику к Тайницкому саду.

...Владимир Ильич, — продолжает комендант Кремля Мальков, — вообще терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным при царе генералам (надо ли относить сюда прославившихся при царях Суворова, Кутузова, Багратиона, Нахимова, Минина, Пожарского (князя), Скобелева и др. — В. С.). По предложению Владимира Ильича, — продолжает Мальков, — в 1918 году в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле Храма Христа Спасителя, генералу Скобелеву.. Мы снесем весь этот хлам, заявлял он, и воздвигнем в Москве и других городах Советской России памятники Марксу, Энгельсу, Лаврову, Марату, Робеспьеру».

А теперь откроем какую-нибудь энциклопедию на букву «В» и посмотрим: «Вандализм, бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей». Это выписано из Советской энциклопедии, которая, конечно, слегка слукавила, поставив словечко «бессмысленное» и пропустив словечко «исторических». Как будто уничтожение памятников может быть осмысленным. Или как будто памятник, отражающий историю народа, не является ни культурной, ни материальной ценностью.

В нашей редакции это звучало бы так: «Вандализм, уничтожение культурных, исторических и материальных ценностей». Так точнее. Значит, человек (или люди), занимающийся уничтожением культурных, исторических и материальных ценностей, занимается вандализмом, и его с полным основанием можно назвать вандалом.

А теперь зададим еще один вопрос: можно ли вандала назвать культурным человеком и может ли культурный человек заниматься вандализмом? Я думаю, что-нибудь одно: или вандализм, или культура.

А вот и еще один образчик проявления культуры. Или все-таки вандализма?

Верный друг, жена и соратница (сообщница) Владимира Ильича была председателем Главполитпросвета. Однажды она подписала «Инструкцию о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы».

Тут возникают два вопроса: является ли книга культурной и материальной ценностью и кто и каким образом может опреде-

лить степень художественности или антихудожественности той или иной книги?

Известно изречение халифа Омара, когда он приказал сжечь Александрийскую библиотеку — около 700 тысяч рукописных томов древнего мира. Он сказал приблизительно следующее: «Если в этих книгах написано то, что в Коране, то зачем они, когда у нас есть Коран?»

Если же в этих книгах написано не то, что в Коране, то тем более их нужно уничтожить».

И кто был халиф Омар: вандал или культурный, просвещенный человек?

Инструкцией, подписанной Надеждой Константиновной Крупской, верным другом и соратницей Владимира Ильича, предписывалось всем Политпросветам (оказывается, эта мракобесная, варварская, вандалистская акция шла под эгидой просвещения!), Гублитам, ГПУ (!) немедленно развернуть работу по освобождению полок библиотек от «вредной литературы». В «черном» списке по разделу психологии и этики было названо более двадцати авторов, среди них Декарт, Кант, Платон, Спенсер, Шопенгауэр, Соловьев... По этике были запрещены книги двенадцати авторов, среди них — Кропоткина, Ницше и даже Льва Толстого.

Особенно опасными считались книжные, журнальные и газетные публикации после февраля 1917 года, ратовавшие за конституцию, демократическую республику, гражданские свободы, всеобщее избирательное право, учредительное собрание...

Изымались книги о религиозном воспитании, о церковно-приходских школах, все дореволюционные хрестоматии, книги «Родная речь», буквари.

Подлежала уничтожению и художественная литература: 63 книги для взрослых и 61 для детей.

Однако эта инструкция Н. К. Крупской не была приведена в действие, ибо Наркомпрос посчитал, что список книг, обреченных на изъятие, недостаточно полон. В новом списке значилось уже более двухсот произведений художественной литературы.

Вся эта директивная писанина сейчас передо мной (в ксерокопиях), как общие указания, так и списки книг и авторов.

«Изымается литература следующих типов:

1. Патриотическая, черносотенная, враждебная передовым идеям.
2. Историческая беллетристика, идеализирующая прошлое, приукрашивающая самодержавный строй.
3. Религиозно-нравственная.
4. Проповедующая мещанскую мораль, чрезмерно сентиментальная.

5. Бледная, не художественная, пустая.
 6. Порнография.
 7. Литература надрыва и упадочного настроения, мистическая, теософская и оккультная.
 8. Пошлая юмористика.
 9. Романы приключений, грубые, бессмысленные по содержанию, уголовщина.
10. Воспевающая буржуазный быт, враждебная советскому строительству, утратившая интерес в настоящее время.

Дальше идет очень важное практическое указание.

«Так как под эти рубрики можно подвести почти всю старую литературу наших библиотек, то Главполитпросвет вырабатывает примерные списки изымаемой литературы, которые в течение ближайшего времени будут периодически высылаться для того, чтобы места имели более конкретное представление о том, что допустимо в библиотеках и какие пределы следует положить изъятию. Списки эти примерные и потому отнюдь не будут исчерпывать всего, что надо изъять. Поэтому местам надо к делу чистки привлечь лиц, знающих литературу, чтобы они смогли, руководствуясь списками, вычистить и все остальное, что походит на указанные в списках книги».

Широкие, не правда ли, полномочия.

Списки «местам» посылались периодически, все их переписать невозможно. К тому же многие имена современному читателю неизвестны. Но все же мелькают и знакомые имена: Аверченко, Амфитеатров, Боккаччо, Вербицкая, Гнедич, Арцыбашев, Дюма (отец), Данилевский, Загоскин, Бор. Зайцев, Крестовский, Лесков («На ножах», «Некуда», «Обойденные»), Лажечников, Лейкин, Мельников-Печерский, Мережковский, Потапенка, Пшибышевский, Сенкевич, Сологуб, Стерн, Фаррар, Тэффи, Терпигорев, Хаггард, Толстой («Народные рассказы», «Отец Сергей», «Ходите в свете, пока есть свет» и все религиозные и философские сочинения), Немирович-Данченко Вас. («Пловца и Щипка», «Вперед», «Рядовой Неручев», «Скобелев», «За далеких братьев», «По воле Божией» и др. рассказы и повести из русско-турецкой войны), Полевой («Клятва при гробе Господнем»).

Особо составлялись списки детских книг: Авенариус «Сказка о муравье-богатыре», «Сказка о пчелке-мохнатке», «Русские сказки» изд. Ключкина, Лебедев «Великие сердца», «Сильные духом», Лукашевич «Русские народные сказки» в трех выпусках, Сегюр «Волшебные сказки», Федоров-Давыдов «Бабушкины сказки», «Котик, коток, серенький лобок», «Кума-лиса», «Легенды и предания», «Петя-петушок»; Тур «Дети короля Людовика»,

«Катакомбы», «Мученики Колизея», Шмидт «Мурка, Галя и все другие»; Юрьев «В золотые дни детства»; детские журналы: «В школе и дома», «Доброе утро», «Галчонок», «Задушевное слово» (для младшего и старшего возраста), «Мирок», «Ученик»; Позднякова «Святочные рассказы»; Полмановская «Щелкунчик-попрыгунчик»; Роставская «Звездочки»... Лубочные книжки такого характера, как «Вова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Витязь Новгородский», «Заднепровская ведьма», «Пан Твардовский». Выпуски бульварных романов, как «Гарибальди», «Нат Пинкертон», «Пещера Лейхтвейса», «Тайны германского двора»...

Книги по истории и исторической беллетристике: «Наследница Византии» (Зорина), «Детство и отрочество первого царя из дома Романовых» (Львов), «За трон Московский» (Ордын-Кострицын), «Царица Ирина» (Петров), «Первые подвижники земли русской» (Фазина), «Бородинская битва», «Слава Севастополя», «1812 год» (Троицкий), «Царь-освободитель Александр II» (Ефимов), «История покорения Сибири», «Забавы царя Алексея Михайловича» (Шарин), «Пугачевец» (Смирнов), «Владыка света и крещение Руси» (Алексеев), «Отечественная война в родной поэзии», «Кирилл и Мефодий — просветители славян», «Грозный царь Иван Васильевич», «Великий князь Ярослав и основание Киево-Печерского монастыря», «Богдан Хмельницкий», «Запорожская старина»...

По отделу философии, психологии, этике: биографии и сочинения Платона, Декарта, Ницше, Канта, Шопенгауэра, Маха, Спенсера... Жакомсо «Спиритизм в Индии», Аллан Карден «Книга медиумов», Добэ «Мир чудесного», Ленорман «Истолкование снов», Кораблев «О нравственности», Ф. Страхов «Дух и материя», Биттер «Верить или не верить», Друмманд «Высшее благо». Мельников «Думы о счастье». Лапте «История материализма», Слайлос «Долг, характер, самодеятельность»...

«Московские святые и памятники», «Ростов Великий» (Титов), «Монастыри России» (Денисов), «Жития святых» (изд. Синодальной типографии), «Киево-Печерский патерик», Тихон Задонский «Сокровище духовное». Толстой «В чем моя вера», Библия, Евангелие, Коран, Талмуд...

В кипе ксерокопий оказались несколько листов-списков под названием «Литература, подлежащая распространению».

Выпишу несколько наименований плакатов, брошюр, книг: «Торопись в библиотеку», «Книга поможет тебе», «Всемирный Октябрь», «Уничтожайте вошь», «Без просвещения нет коммунизма», «Грамота — путь к коммунизму», «Советская репка», «Оружием добьем врага», «Береги книгу»... Портреты Ленина, Маркса, Зиновьева, Троцкого, Свердлова.

У Толстого в «Анне Карениной» читаем о Левине: «В последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра — тех философов, которые не материалистически объясняли жизнь».

Значит, вот, в поисках ответа на мучившие его вопросы о жизни, русский человек мог в любую минуту обратиться к перечисленным выше и любым другим философам. «Материалисты» же, захватив страну и власть в ней, попросту изъяли все эти книги из библиотек, запретили их издавать и читать. Удобный аргумент в споре с оппонентами и в поисках истины!

<...>

«Но как образовалась индивидуальность Ленина, какими внутренними бурями и переживаниями из четвертого ребенка многодетной семьи директора народных училищ Ульянова вырос на все века и народы гений революции, совершенный по своей цельности и типичности характер большевика?

...И как раз для этого периода ленинской биографии меньше всего сохранилось воспоминаний и материалов... По-видимому, переломные годы Ильича, когда из мальчика формировался будущий человек, прошли во многом не замеченными ни для товарищей, ни для школьной среды».

Первым, наиболее «замеченным» и серьезным событием в жизни В. И. была, конечно, сибирская ссылка на три года. Но и об этой ссылке до удивления мало написано по одной, как мне кажется, причине: уж очень она была благополучна. Не на что пожаловаться, не за что бросить проклятие в лицо царскому правительству, не за что даже уязвить местные губернские, уездные и волостные власти. Но взглянем сначала на предыдущие события.

В марте 1895 года Ленин получает паспорт для выезда за границу. Этот паспорт выхлопотала ему в Петербурге Мария Александровна, мать. Вообще надо заметить, что очень многое для сына выхлопывала она. Скажем, возможность сдать в Петербургском университете экзамены экстерном. Скажем, ехать в ссылку не по этапу, а вольно, свободно, на свои деньги. Скажем, во время поездки в Сибирь останавливаться и задерживаться то в одном городе, то в другом...

Видимо, хорошими связями обладала Мария Александровна, но, скорее, быстро находила общий язык с людьми, быстро находила нужных людей в самых разных инстанциях.

Советские источники не скрывают, что Ленин поехал за границу для установления связей с группой «Освобождение труда» и для чтения марксистских книг, которые он, и правда, конспектиру-

ет. Он посещает Зальцбург в Австрии, Женеву, Цюрих, Париж, встречается с семьей Шухта, Плехановым, Аксельроде, Лафаргом, то есть — на революционном языке — устанавливает связи, а на обычном, человеческом — плетет нити заговора. В то же время в Швейцарии он лечится (а вернее всего, консультируется) в одном из санаториев. Со здоровьем у него явно не все в порядке, и, конечно, не грипп, не насморк.

Ведь к 23 годам он уже совершенно лыс. Недаром потом будут говорить, что трехлетнее пребывание в Шушенском сильно укрепило его здоровье.

В Петербург из-за границы Ленин возвратился не только со связями, но, очевидно, и с деньгами. В Петербурге он начинает выпускать листовки, газету «Рабочее дело», налаживает связь с петербургской марксистской группой, печатает свою брошюру о штрафах и, наконец, становится во главе «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». И тут его арестовывают, чтобы потом, через некоторое время, сослать на три года в большое и богатое сибирское село Шушенское.

Но сначала задумаемся над словами: «Освобождение рабочего класса». Казалось бы, какое дело интеллигентам с космополитическими наклонностями — Марксу, Энгельсу, Плеханову, Аксельроде, Ульянову — до рабочего класса? И от чего этот класс нужно освобождать? От труда (группа «Освобождение труда»)? И хотят ли сами рабочие, чтобы их от труда освободили? Мала зарплата? Штрафы? Но тогда надо было бы создавать группы «улучшения жизни рабочих», а не освобождения их от труда. Ведь если их освободить от труда, то они уже перестанут быть рабочими, а на их место у машин, станков, в шахтах встанут другие люди, которые тоже будут называться рабочими. Сделать их труд свободным?

Но это же фикция. Рабочих ведь не держат в лагерях, за ключей проволокой. Их держит на заводах и фабриках, в шахтах и на паровозах необходимость зарабатывать деньги. Но эта необходимость существует и теперь. Забегая вперед, скажем (а скоро, через определенное количество страниц, и докажем), что Ленин, придя к власти, теоретически обосновал и практически осуществил необходимость и неизбежность принудительного труда для рабочего класса, а заодно и всего населения страны.

Им, марксистам, для того, чтобы завоевать какую-либо страну и править в ней, необходимо было народ (тот или иной народ) подразделить на классы. Классовая теория марксизма. В то время как народ — это цельный, исторически сложившийся организм. А подразделив народ на классы, можно натравить один класс

на другой. Пусть они борются друг с другом и уничтожают друг друга. А выиграют марксисты. Классовая теория — это ключик к любой стране и к любому народу. А наиболее подходящий класс, с которого надо начинать, есть, правда, рабочий класс.

Во-первых, рабочие механически уже объединены. Ищи там крестьян по разным деревням, а интеллигентов по их домам, а ремесленников-одиночек по их мастерским. Рабочие же каждый день собираются в одно место в количестве многих тысяч человек. Легко агитировать, легко спровоцировать их выйти с флагами. Во-вторых, крестьянин привязан к своей земле, к своему хозяйству, ремесленник — к своему «делу», рабочий же не привязан ни к чему, кроме рабочего места, которое легче сменить на другое, нежели хозяйство или мастерскую. Отсюда и формула Маркса: «Рабочим нечего терять, кроме своих цепей». Более того, Маркс выкинул формулу, лозунг: «Пролетариат не имеет отечества».

Действительно, из всех слоев населения той или иной страны пролетариат (будем рабочих называть по-марксистски) наименее обременен национальным самосознанием. Во всяком случае, пролетариату легче, чем какому-либо другому слою населения, заморочить голову, распропагандировать его. Отсюда марксистский лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Соединяйтесь поверх своих народов и поверх своих правительств. То есть сокрушая свои правительства и размывая свои народы.

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В Петербурге (!), в России (!!), где рабочих было 3 процента от общего населения. Но Ленину нужна была организация и нужна была для этой организации благовидная вывеска. Ведь это его формула: «Сила... авангарда в 10, в 100 раз и более велика, чем его численность». Возможно ли это? Может ли сила сотни превышать силу тысячи?

Может и превышает, когда сотня организована. Организация удесятеряет силы.

Это тот же принцип, по которому мафия из 3–4 десятков человек терроризирует и держит в руках целый город или его большую часть.

Да, им нужна была организация. Они понимали, что как организованная сотня сильнее тысячи, так организованные десять человек сильнее сотни, той же тысячи, а несколько тысяч могут оказаться сильнее неорганизованных миллионов. И не могли же они свою заговорщицкую организацию назвать как-нибудь: «Союз борьбы с Российской империей», «Союз борьбы с самодержавием», «Союз по завоеванию и сокрушению России». Лучше звучит: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Такой «союз» был создан, а его создатель арестован и на три года сослан в богатое сибирское село Шушенское. Приговор о высылке

утвержден (везде будем иметь в виду новый стиль) 10 февраля 1897 года.

Но сам Ленин еще в тюрьме. Мария Александровна хлопочет, и 24 февраля Ульянов получает разрешение ехать в ссылку не по этапу, а за свой счет по проходному свидетельству.

26 февраля его выпускают из тюрьмы и разрешают пробывать в Петербурге до 1 марта. Он немедленно собирает совещание петербургского «Союза борьбы», где спорит с экстремистских позиций с некоторыми более молодыми членами союза, обвиняя их в оппортунизме, то есть в относительной мягкости по отношению к существующему строю, а затем фотографируется с некоторыми заговорщиками, которым, как и ему самому, предстоит ссылка. Это Ванеев, Запорожец, Кржижановский, Малченко, Мартов (Цедербаум) и Старков.

Подумайте только все вы, кому внушили представление о чудовищной жестокости царского режима. Представьте себе, что в тридцатые годы, а тем более в двадцатые, т. е. в годы ленинской диктатуры, обнаружен заговор, антиправительственный кружок и арестовывают организатора этого кружка...

Во-первых, мы имеем конкретный пример: «дело Таганцева», по которому расстрелян русский поэт Николай Гумилев, а уж сам Таганцев в первую очередь. Только бы всех этих Ванеевых, Кржижановских, Мартовых и видели. Да и в более поздние наши, уже застойные времена арестовали бы какого-нибудь диссидента, «правозащитника» и сослали бы его... не знаю уж куда. И вот он едет себе не торопясь.

Останавливается в Москве у мамы, живет здесь два лишних дня сверх разрешенных. Приехав в Красноярск, встречается с такими же, как и он, политическими ссыльными Бабушкиным, Красиковым и другими, живет в Красноярске около двух месяцев. В прошении на имя иркутского генерал-губернатора задержаться в Красноярске он ссылается на слабость здоровья, свободно переписывается с матерью и сестрами, много занимается в частной библиотеке купца Юдина. (Интересно, что стало с этим купцом, с его домом и с его уникальной библиотекой после 1917 года? Положим, «в бывшем доме купца Юдина в Красноярске, где размещалась (?) огромная библиотека этого книголюба, разрешавшего ссыльному Ульянову пользоваться своими сокровищами, также создан музей» (Путеводитель). Ну а если бы не было этого обстоятельства? А дома и сокровища других красноярских, и минусинских, и всех российских купцов? Да и то подозреваю, что сначала дом разорили, хозяев уничтожили, а потом уж в 30-е годы спохватились устроить музей.

Не случайно в путеводителе написано в прошедшем времени «где размещалась огромная библиотека»).

<...>

В Шушенское В. И. поехал, когда открылась навигация по Енисею, на пароходе «Св. Николай». Говорят, пароход этот цел до сих пор и даже сохранилось на нем меню обедов. Прочитать бы.

У нас есть возможность прикинуть, хоть и приблизительно, размеры села. Может быть, читатели не забыли еще письмо крестьянина из большого богатого сибирского села Сивкова, разоренного советской властью. Я, вводя это письмо в книгу, опустил тогда подробный подворный перечень, а теперь скажу, что в Сивкове было 813 жителей и 214 домов. Значит, если в Шушенском более полутора тысяч жителей, то и домов соответственно тоже в два раза больше, то есть около пятисот домов. Действительно, большое село.

Сначала Владимир Ильич поселился в доме А. Д. Зырянова.

«Зырянов был зажиточным крестьянином, держал постояльцев. Места было достаточно и в доме, и во флигеле». (Путеводитель «Шушенское».) Потом Владимир Ильич, женившись на Надежде Константиновне, переселился в более просторный дом Петровых. «Муж Петровой вел доходную торговлю зерном, позволявшую ему иметь большой, городского типа дом с высокими окнами и двумя входами» (там же).

Интересно, как пережили бы Зыряновы и Петровы 1929 год, доживи они до этого времени. А они, конечно, не были самыми зажиточными жителями Шушенского.

В селе, как написано в путеводителе, насчитывалось 33 двора, хозяева которых вынуждены были работать по найму у своих более зажиточных односельчан. 33 двора из 500.

«Говорил Ильич по этому поводу, — вспоминала Н. К. Крупская, — о беспощадной жестокости мелкого собственника (Зырянова и Петрова?), о беспощадной эксплуатации им батраков».

Да полно, так ли! Наготове обкатанные словечки: «мелкий собственник», «батрак», «беспощадная эксплуатация», «беспощадная жестокость». А ведь в жизни все это выглядело по-другому. Работали, получали деньги. Надеюсь, что деньги, а не пустые голые трудодни. А жестокая мелкая собственница Петрова выделила жильцам в своем огороде несколько грядок. «В огороде выросла у нас всякая всячина — огурцы, морковь, свекла, тыква, — вспоминала Н. К. Крупская, — очень я гордилась своим огородом» (там же).

Не знаю, как было с Шушенским в 1929 году. Может, из-за того, что некогда жил тут Ленин, менее свирепо прошелся по нему чугунный каток коллективизации, но едва ли. И очень наглядно, что политика советской власти состояла не в том, чтобы 33 кре-

стьянских дома поднять до уровня 477 зажиточных хозяйств, а чтобы 477 низвести до уровня бедноты.

Когда листаешь путеводитель, сознание выхватывает то одну, то несколько фраз о селе. В течение всего XIX столетия в хлебородный Минусинский уезд на постоянное жительство переселялись крестьяне из центральных областей России. Они принесли с собой в Сибирь приверженность обычаям, традициям и старым строительным приемам...

На главной улице Шушенского не редкостью был большой дом-крестовик («крестовая изба») ... Такие дома принадлежали зажиточным крестьянам.

Значит, вот. Крестовые избы были не редкостью и принадлежали зажиточным крестьянам. Но это, оказывается, не предел.

«Дома торгующих крестьян и купцов чаще всего тяготели к городской планировке и отделке. Наружный облик разнохарактерных домов «крепких хозяев», торгующих крестьян, купцов имеет, однако, и много общего. Срубы, сложенные из мощных «полубревен» лиственницы, придавали местным избам и амбарам своеобразный колорит... На столярные изделия использовался главным образом красивый мягкий кедр. На кровельный тес шла пихта — долговечный, прочный материал.

Хозяйственные и жилые строения, как правило, не объединяются под одной кровлей. Это связано с большим разнообразием надворных сараев, амбаров, навесов... Выделялись двухэтажные амбары, принадлежавшие местным скупщикам зерна (например, на усадьбе Петровых). Фасады зданий, оконные наличники, карнизы украшались резьбой. Встречаются и накладные детали в виде розеток и горизонтально расположенных композиций, напоминающих стилизованные листья папоротника. Орнаментовка ворот имела в местном крестьянском зодчестве большое значение. Оригинальные по замыслу и исполнению ворота заметно украшали общий вид улицы...

Крестьяне Шушенского были земледельцами, многие имели скот.

Кроме того, они занимались охотой, рыболовством и разведением пчел...

Такой хозяин мог владеть 3–4 лошадьми и несколькими головами крупного рогатого скота, получать дополнительный доход от рыболовства...»

Одним словом, благополучное, красивое сибирское село, каких было по Сибири сотни, если не тысячи. На примере Сивкова мы видели, что села эти все разорены, обезлюдели, земля перестала рожать, истощена, испорчена химией. Жители разъехались, рас-

ползлись, а те, что уцелели, бедны, вялы, безынициативны, как пчелы в больном, погибающем улье.

А Шушенское? О, в Шушенское я каждому рекомендую поехать, пока не поздно. Я там был. Там оставили от села одну небольшую часть или, может быть, скомбинировали эту часть села из разных домов Шушенского по замыслу: три дома победнее, три дома середняцкие, два дома зажиточных крестьян, да одна усадьба богатого торговца.

Восстановлены сельская лавка, волостное управление и примыкающий к нему острог. Не то, чтобы тюрьма, но — каталажка. Поместить временно провинившегося человека, драчуна, пьяницу или неизвестного бродягу, беглого какого-нибудь.

Весь этот «комплекс» с широкой зеленой и чистой улицей обнесен забором из металлической сетки — заповедник. А вокруг — современная жизнь. Цементно-стеклянное строительство шестого, седьмого сорта. Кинотеатр «Искра», турбаза «Турист», «Библиотека», «Дом торговли» с пустыми прилавками, автовокзал, жилые унылые двухтрехэтажные коробки да еще безвкусно-помпезные Дом культуры, Дом Советов.

После всей современной мерзости, входя в заповедную зону, вы понимаете, что оказались в оазисе совершенно иной жизни, иной действительности. Вернее, не жизни, конечно, никакой жизни там нет, а есть только муляж. Но все же сохранен кусочек настоящего сибирского села, настоящей России, и если посетитель не совсем еще оболванен и умерщвлен пропагандой, то у него невольно зарождается в сердце боль, а в голове мысль: зачем же было уничтожать этот крепкий, здоровый, красивый мир России? И разве это не курьез, что этот уголок российской крестьянской действительности уцелел благодаря тому, что в этом уголке прожил три года, как сыр в масле катаясь, главный разрушитель России, всех ее укладов, всех ее традиций, всего ее образа жизни, всего ее внешнего облика.

Ну, сыр не сыр, в масле не в масле, но ему давали одного барана на месяц и восемь рублей денег. Корова тогда в Сибири стоила 5 рублей (для сравнения с ежемесячным бараном напомним, что рабочие в промышленных городах, даже сталевары и шахтеры, получают теперь по талонам на месяц 400 граммов колбасы. Мне запомнились эти четыреста граммов потому, что во время встречи рабочих с Горбачевым сталевар говорил: «Я же сталевар, я эти четыреста граммов за один раз съем, а вы мне их на месяц... А в Болгарии, слышал я, которая тоже около сорока лет шла по ленинскому пути, дают по талонам на месяц 400 граммов брынзы»). Так что целая овца, да еще 8 рублей (при цене 5 рублей за корову)

... чем же это не сыр в масле? Да при полном избытии продуктов в тогдашней России... Пельмени в Сибири мешками стояли на морозе, заготовленные на всю зиму. Русское масло (топленое, цвета чистого золота, про которое мы уж совсем забыли) стояло кадками. Сиговые рыбы хариус да ленок малосолили в чанах.

Кроме того, плюс к этой ежемесячной овце (да еще надо поверить по источникам, точит меня сомнение, где-то когда-то запало — не еженедельная ли это была овца?), плюс к ней охотничье ружьецо. Ведь именно там и тогда произошел знаменательный *эпизод с зайцами*, записанный потом Надеждой Константиновной в воспоминаниях. Эпизод этот для меня несомненен как приступ и вспышка той тающей в человеке болезненной, патологической агрессивности, которая, как помнит читатель, проявлялась и раньше. А проявление ее в недалеком будущем обогреть горячей, тяжелой соленой волной крови всю российскую землю.

«Его жена в своих воспоминаниях о нем рассказывает, как однажды в Шушенском он охотился на зайцев. Была осень, пора, предшествующая ледоставу. По реке шла шуга — ледяное крошево, готовое вот-вот превратиться в броню. На маленьком островке спасались застигнутые ледоставом зайцы. (Как тут не вспомнить русскому человеку про деда Мазая! — В. С.) Владимир Ильич сумел добраться в лодке до островка и прикладом ружья набил столько зайцев, что лодка осела под тяжестью тушек. Надежда Константиновна рассказывает об охотничьем подвиге антипода некрасовского деда Мазая с завидным благодушием.

Способность испытывать охотничье удовлетворение от убийства попавших в естественную западню зверьков для Ленина характерный штришок». (Выписано из книги Доры Штурман «В. И. Ленин: ИМКА-пресс. Париж. 1989, стр. 61.) В государстве, созданном шушенским ссыльным в 1917 году, ссылка почти не практиковалась: лагеря и расстрелы. А уж если ссылали, то целыми народами — чего мелочиться! А уж если в редких случаях ссылали отдельного человека (чаще всего после отсидки в лагере, если остался жив, давали несколько лет ссылки), то ссыльный должен был ежедневно отмечаться в комендатуре. Конечно, ни о какой овце, ни о каком денежном пособии, на которое можно купить полторы коровы, не могло быть и речи.

Ленин и Крупская были свободны в своих передвижениях, по крайней мере в пределах Минусинского уезда. Читаем в путеводителе:

«...Иногда Владимир Ильич охотно ездил повидаться с товарищами в другое село верст за 50, за 100 или встречался с ними в Шуше».

«...в разных селах и деревнях Минусинского уезда жили 27 ссыльных социал-демократов... В. И. Ленин наладил с ними обширную переписку, установил связи с социал-демократическими группами России и Западной Европы. Помимо переписки, ссылкой... удавалось встречаться друг с другом. Владимир Ильич ... добивался разрешения на поездку к товарищам. Многие ссылки сумели хоть раз побывать в Шушенском.

«Большими праздниками были для нас съезды всех или большинства социал-демократов Минусинского уезда вместе с Владимиром Ильичем Ульяновым», — вспоминал П. Н. Лепешинский.

В. И. Ленин стремился объединить вокруг себя как можно больше единомышленников (заговорщиков — В. С.). Вместе с ними предстояло осуществить то, что тогда было самым важным в деле подготовки революции — создание в России марксистской партии нового типа. Владимир Ильич во время ссылки подготавливал революционных социал-демократов (заговорщиков. — В. С.) к решению именно этой задачи. Ленин из Шушенского ведет большую, оживленную переписку с родными и другими заговорщиками. Он получает по почте огромное количество книг. Россию Ленин не любил. Находясь в Шушенском, он мечтает не о своем родном городе Симбирске, не о Казани, где учился, не о Петербурге или Москве, не о Волге, на которой стоит Симбирск. Его пристрастия недвусмысленны.

«Получили мы, Маняша, твое письмо и были ему очень рады.

Взялись сейчас за карты и начали разглядывать, где это — черт побери — находится Брюссель. Определили и стали размышлять: рукой подать до Лондона, и до Парижа, и до Германии, в самом, почитай, центре Европы... Да, завидую тебе. (Кстати сказать: братец в ссылке по политической части, а сестра между тем «выездная», разъезжает себе по Брюсселям.) Я в первое время своей ссылке решил даже не брать в руки карт... Европы: такая, бывало, горечь возьмет, когда развернешь эти карты и начнешь рассматривать на них разные черные точки. Ну, а теперь ничего, обтерпелся и разглядываю карты более спокойно; начинаем даже нередко мечтать, в какую бы из этих «точек» интересно было бы попасть впоследствии...» Поэтому вполне естественно, что после ссылки Владимир Ильич, заглянув по дороге в Уфу, где встретился с такими же, как он, заговорщиками, чтобы обсудить дальнейшую подрывную работу против Российского государства, съездил в Псков, где жили его сообщники Стопани, Лепешинский, Радченко, побывал в Москве, в Подольске, где жили тогда его мать Мария Александровна и сестра Анна Ильинична, и уехал в эмиграцию, а конкретно в Швейцарию. Законы европейских государств не преследовали русских революционеров. Можно было свободно

издавать газеты и книги, направленные против русского царя, против России. Он нигде не работал, не служил. Мы не знаем, за счет чего пополнялась его революционная касса, хотя кое-что потом стало известно. Молодой грузинский экстремист по кличке Коба (революционеры все, как урки или мафиози, имели клички) ограбил не то банк, не то почту, не то почтовый дилижанс, перевозивший деньги, и переправил эти деньги в Швейцарию. Ленин потом долго добивался, просил своих друзей узнать фамилию этого Кабы. Это был Джугашвили...

Русские дураки вроде Морозова и Горького тоже благотворительно пополняли партийную кассу большевиков. Но, конечно, это были не главные деньги. Главные деньги большевики хранили в тайне. В Америке, в Европе, в Швейцарии хватает денег на самые разные цели. Как бы то ни было, Ленин, кроме самого короткого времени, после получения университетского диплома, когда он был судебным заседателем, нигде, никогда, никем не работал.

Конечно, он издавал газету «Искра», собирал партийные съезды и конференции, была даже какая-то партшкола во французском городке Лонжюмо. Но в годы войны Ленин начал склоняться к тому, что все усилия сокрушить Россию бесполезны, начал думать о переезде в Америку, чтобы навсегда обосноваться в эмиграции. И тут вдруг грянула в России сверхнеожиданно для марксистов-большевиков Февральская революция. Царь отрекся от престола, создалось Временное правительство до той поры, пока Учредительное собрание не изберет новое законное правительство. Власть в Петрограде при военной и революционной неразберихе, при очевидной слабости Временного правительства, а возможно, и при сознательном саботаже Керенского (как-никак однокашник Владимира Ильича по симбирской гимназии) валялась как палка — кто первый поднимет.

Между тем Германия, все еще находящаяся в состоянии войны с Россией, была крайне заинтересована в ее ослаблении, а тем более в выведении ее из строя. Кто-то надоумил германское правительство, что есть возможность взорвать Россию изнутри и что есть большая группа революционеров-экстремистов, которые организованы и которые не питают к России никаких чувств, кроме ненависти, кроме желания завоевать ее, чтобы потом использовать ее богатства, ее население как трамплин к осуществлению своих политических амбиций, а именно к осуществлению мировой революции и тем самым собственного мирового господства.

Возникает вопрос: почему же германское правительство не испугалось мировой революции, которая Германию поглотила бы в первую очередь? Потому что в отличие от «гения» Владимира Ильича, движимого маниакальной идеей мировой революции,

германцы более трезво смотрели на вещи, тогда уже они поняли, что мировая революция — это утопия и бред полусумасшедших людей. Впрочем, может быть, и ленинской группе идея и лозунг мировой революции нужны были только для того, чтобы осуществить личную власть в такой стране, как Россия.

Ведь надо понять и то, что Россия была самым большим, огромным государством на земном шаре, и если не самым могущественным сию минуту, то самым могущественным потенциально и в перспективе, причем очень скорой перспективе, ибо темпы развития России по всем направлениям были поистине сказочными. А по расчетам Дм. Ив. Менделеева, население Российской империи к 1980 году должно было бы составлять 500 миллионов человек. Так что на земном шаре нашлось достаточное количество сил, финансовых, государственных, национальных, наднациональных, явных и тайных, которые были заинтересованы в сокрушении Российской империи. И легче всего ее в той обстановке (но и эту обстановку создали все те же силы) взорвать изнутри.

<...>

Мы же укажем лишь на одну маленькую подробность. В Стокгольме Ленин садился в поезд в котелке, а в Петрограде, на площади перед Финляндским вокзалом, он оказался в кепке. Ближе к образу пролетария.

<...>

В. СОРОКИН*

Аварон**

* * *

«...можно сказать, что большевики тоже боролись с незавершенностью мира и с человеческой природой — за нового человека. Правда, понимание свободы у этого человека отличалось от “свободы” Шлегеля, фон Кляйста или Шумана... Практически вся эпидемия неистовой борьбы в СССР привела к закреплению человека внешне и внутренне...» (2009)

* *Владимир Георгиевич Сорокин* (р. 1955) — русский прозаик, сценарист, драматург, художник. Один из наиболее ярких представителей московского концептуализма и соц-арта в русской литературе.

** Из сборника рассказов «Пир».

9 сентября 1937 года немке Эсфирь Семеновне опять соврали урок: только она принялась диктовать диктант «Mein Lieblingsbuch», как весь 5-й «Б» загудел. Она выбежала в слезах.

— Робя, фашизм не пройдет! — закричал Петух и поднял сжатый кулак.

В классе все знали, что у Петуха отец воюет в Испании.

— Пошли в «Ударник» на «Арсена»! — предложил Вовка Фрумкин.

— Уже дважды смотрели, — зевнул Серега Голова. — Айда по домам.

— Робя, она за директором поползла, — сел на парту Сальников. — Лучше остаться.

— Вот и сиди здесь, Сало. — Петух вытянул из парты портфель. — Петък, пошли с девятым домом в расшибец порежемся. Они там за котельной с утра до ночи духарятся.

— Я — домой. — Петя положил учебник и тетради в свой портфель желтой кожи, застегнул.

— Петь, оставайся. — Сальников качался на парте. — Будем с фашистской гадиной воевать.

— Guten Tag. — Петя вышел в пустой школьный коридор.

В нем было прохладно и сильно пахло краской. Возле двух белых бюстов Ленина и Сталина стояли корзины с цветами.

— Петък, погоди! — Андрюша Скуфин догнал Петю. — Чего так рано домой? Пошли выжигать!

— Неохота. — Петя спускался по лестнице, стучая себя портфелем по коленям.

— Чего ты вареный такой? — Скуфин остался стоять наверху. — От отца есть чего?

— Не твое дело. — Петя потянул дверь, вышел на улицу.

В Лаврушинском переулке было чисто и жарко. Солнце серебрило неряшливые тополя, уже тронутые желтизной, сверкало в створе открытого окна писательского дома. Полная женщина мыла другую половину окна.

Петя вышел на набережную.

Здесь было тоже жарко, чисто и пусто.

«Сказал на свою голову, — вспомнил Петя Скуфина. — Теперь каждый раз пристаёт, дурак. Хорошо, что про мать не знает».

Он добрал до Малого Каменного моста, посмотрел на работу молодого регулировщика в белом кителе и белом шлеме, перешел через мост.

На «Ударнике» по-прежнему висели две афиши — маленькая «Арсен» и большая «Ленин в Октябре». Петя уже трижды посмотрел «Арсена» и дважды «Ленина в Октябре».

Недавно покрашенная крыша «Ударника» сверкала серебром. Петя направился к большому серому дому, возвышающемуся над куполом «Ударника», но вдруг остановился.

«Сейчас начнется! — хмуро подумал он. — Опять из школы сбежал?! Прогуливаешь? В физиономию захотел?!»

Бабушка шла на него, сворачивая жгут из розового полотенца. — Ты думаешь, без родителей я тебе шалберничать позволю?!

Петя сплюнул, посмотрел на свои окна. В столовой занавешено, как всегда. В детской открыто. Наверно, Тинга вырезает своих кукол.

Он сделал еще несколько шагов и остановился.

Рядом стоял подвижной лоток с газировкой. С трех мокрых стаканов на алюминиевом подносе стекала вода. Солнце тяжело светило в перевернутом стеклянном конусе с вишневым сиропом. Худая продавщица с желтыми кудряшками из-под белой пилотки и с папиросой в стальных зубах сонно глянула на Петю.

Он сунул руку в карман и тут же вспомнил, что денег нет.

«Каждую копейку теперь надо беречь!» — бабушка очень часто стала пересчитывать оставшиеся деньги и прятала их в новом месте — не в китайской шкатулке отца, а в своей коробке с орденом.

— Ну что, истребитель? — хрипло спросила продавщица. — Полный потянешь аль половинку?

Петя повернулся и побрел через проезжую часть — на ту сторону.

Фонтан по-прежнему уже вторую неделю не работал, на скамейках сидели редкие люди. По клумбе ходили голуби.

Петя добрел до ближайшей скамейки и плюхнулся на нагретое солнцем крашеное дерево. Положил желтый портфель на колени. Замок портфеля глупо улыбался.

— Дурак... — Петя плюнул в латунную морду замка.

На лавочке возле клумбы засмеялась девушка. Парень в футболке что-то быстро, но негромко рассказывал ей. Она смеялась, облизывая эскимо, зажатое двумя круглыми вафлями.

— Дура... — Петя зло посмотрел на девушку.

Нагретая полуденным солнцем, Москва была полна дураков.

Петя дернул себя за кончик пионерского галстука, посмотрел на портфель. Замок по-прежнему улыбался сквозь слюну.

— Скройся, гад! — Петя плюнул так сильно, что слюна попала на галстук.

— Бесполезно. Слюны не хватит, — раздался спокойный голос рядом.

Петя повернул голову.

На другом конце скамейки сидел мужчина в светло-сером костюме с такого же цвета шляпой на голове.

— Его только плавильная печь исправит. — Мужчина подмигнул Петину портфелю, снял шляпу и стал быстро обмахиваться ею. — Сентябрь, а духота как в июле. Хоть бы картошкин дождичек ливанул...

Он был неопределенного возраста, лысоватый, с узким сухощавым лицом.

«Кондуктор какой-то», — подумал Петя.

— Ну что, Петь, допекла тебя бабишка — потная пипишка? — спросил незнакомец. — Ладно бы за дело грызла, старая. А то ведь со страху бесится — как бы завтра за ней не пришли. А была-то раньше неробкого десятка — зам. начальника политотдела армии. Не баран чихал. В девятнадцатом под Херсоном, когда белые прорвались и Бураквичюса ранило, она шестерых из маузера застрелила. Потом, когда Городовиков с бригадой подошел, она Парфенова перед строем лично расстреляла. А теперь без вале-рьянки не засыпает. Кому она нужна?

Петя недоверчиво смотрел на незнакомца. Больше всего его удивляло, что тот знает тайное прозвище бабушки «бабишка — потная пипишка», которое Петя придумал не так давно, бормотал только про себя и не говорил даже сестренке Тинге.

— Вы из НКВД? — спросил Петя.

— Не совсем. — Незнакомец достал пачку «Казбека», быстро закурил.

Его руки, глаза, губы — все было быстрое, подвижное; но в быстроте этой не было никакого беспокойства, наоборот, был какой-то тяжкий покой, нарастающий с каждым движением.

— А откуда вы знаете про... — начал было Петя, но незнакомец перебил его, со свистом выпустив дым из узких губ.

— Я все знаю, Петя. Знаю, что ты живешь вон в том Доме Правительства, в квартире сто пятьдесят. Что ты хочешь стать эпроновцем, моряком-подводником. Что ты смертельно поругался с Ундиком, а Володю сломал затылком палец. Знаю, что ты любишь теребить соски, чтобы уснуть быстрее. Знаю, что тебе уже двенадцатый раз снится папа с деревянными руками. Знаю, что ты зашил в подушку Тайную Пионерскую Клятву, сокращенно ТПК. И в этой ТПК семь пунктов. Первый — никогда не плакать. Второй — встретиться лично с товарищем Сталиным. Третий — собирать материалы на врагов папы. Четвертый...

— Вы... гипнотизер? — прошептал покрасневший Петя.

— Не совсем. — Незнакомец смотрел на клумбу серо-голубыми, ни на секунду не отставившими глазами.

— Вы знаете, где мои родители?

— Знаю.

- Они в Бутырках?
- Нет.
- В Лефортове?
- Твоя мама в Лефортово.
- А папа? Его же раньше арестовали, тридцатого июня.
- Папа не в Лефортово.
- А где?
- В Бутово.
- Это что, тюрьма?
- Это место под Москвой.

Петя облизал пересохшие губы. Девушка доела мороженое и кинула остатки вафли голубям. Парень стал гадать ей по руке.

— А почему тогда у бабушки в Лефортове деньги не приняли? — спросил Петя.

— Неразбериха. Тюрьма переполнена. Твоя мама в камере номер семьдесят четыре. На втором этаже.

- Правда?
- Я всегда говорю правду.

Петя растирал пальцами слюну на замке портфеля.

— Скажите... а я... а за что их арестовали? Они враги?

— Нет. Они не враги.

— А за что тогда?

Незнакомец кинул папиросу в громоздкую черную урну.

— Вот что, Петя. Петр Лурье. Я могу тебе помочь. Могу сделать так, что твою маму выпустят.

— А папу? — выдохнул Петя.

— С папой сложно. Но маму — могу. Но с одним условием. Если ты мне сегодня поможешь в одном важном деле.

— Вы шпион?

— Нет. Я не шпион, — хрустнул тонкими сильными пальцами незнакомец. — Скажи мне, только быстро — да или нет? И не тяни время. Его и так в обрез.

— А вы... вас как зовут?

— Аварон.

— Вы... армянин?

— Не совсем. Ну, так — да или нет? Быстро, Петя.

Незнакомец встал. Он был среднего роста, худощавый и неуволимо-сутулый.

— Да, — сказал Петя и тоже встал.

— Тогда поехали. — Незнакомец поднял стоящий у скамейки пухлый портфель и пошел к трамвайной остановке.

Петя со своим портфелем поспешил за ним.

Они молча доехали до Казанского вокзала.

Отстояв небольшую очередь, Аварон сунул мятую пятерку в окошко кассы:

— Удельная, два билета.

— А это далеко? — спросил Петя.

— Не задавай вопросов. — Получив билеты, Аварон зашагал к седьмому пути.

Они вошли в последний вагон электрички, сели на свободную скамью.

Ехали молча в переполненном вагоне. Люди стояли в проходах.

— Пионер, уступи место, — посмотрела на Петю полная дама в панаме.

— У него арестовали отца и мать, — громко сказал Аварон, не глядя на даму.

Дама замолчала.

В Удельной вышли. Аварон глянул на часы.

— Еще полчаса. Пошли.

Миновали поселок с рынком и одноэтажными домами, прошли сквозь сосновый перелесок и оказались возле небольшой церквушки. Рядом с ней возвышался небольшой пригорок, поодаль терялось в зелени заросшее кладбище. Возле церкви толпились народ, в основном пожилые женщины.

Аварон взошел на пригорок и сел на траву:

— Садись.

Петя опустился рядом.

— Сейчас начнут, — прищурился Аварон на церковь. — Значит, слушай меня внимательно, Петр Лурье. Когда начнется акафист, ты войдешь в церковь. И встанешь напротив иконы Параскевы Пятницы. И будешь стоять и смотреть. Запомни, мне нужно только то, что упадет на пол. Понял?

Петя ничего не понял, но кивнул.

Вскоре пару раз робко протренировал церковный колокол, двери храма открылись, и толпа полезла внутрь.

Аварон раскрыл свой портфель и вынул толстый моток бечевки на стальном пруте. Он сделал из бечевки петлю, надел Пете на шею. Бечевка была смазана чем-то жирным.

— Это солидол? — спросил Петя, чувствуя возбуждение, нарастающее с каждой минутой.

— Нет. Это натуральный жир, — пробормотал Аварон. — Иди. И ничего не бойся.

Петя встал. Бечевка натянулась.

Петя осторожно пошел к церкви.

Аварон, сидя на холме, держал прут с мотком бечевки в руках, неотрывно следя за Петей. Бечевка медленно разматывалась.

Спустившись с холма, Петя подошел к двери церкви. У входа толпились не попавшие внутрь. Он приблизился к их спинам.

«Как же я пройду?» — успел подумать он и прикоснулся своим телом к толпе.

Едва это произошло, по телам толпящихся старух, женщин и стариков пробежало что-то вроде вялой судороги, и Пете показалось, что все они всхлипнули спинами.

Толпа зашевелилась, расступилась, впуская в себя неуютно-невидимый клин.

Петя понял, что клин — это он сам. Ноги его вспотели и прогнулись, как резиновые, он словно заскользил на коньках по горячему и очень приятному льду; сердце его билось тяжело, но очень-очень редко, и между каждым ударом роем накатывали мелкие, щекочущие слова и мысли, разлетающиеся приятными радугами и ниспадающие очередным ударом сердца.

Сделав несколько резиновых скольжений, Петя оказался в центре храма; петля на шее сильно натянулась, бечевка запела басовой струной. Петя понял, что моток размотан, и там, на пригорке Аварон держит обеими руками голый стальной прут с привязанной бечевкой.

Дышать стало тяжело, но страха не было, наоборот, — непередаваемый восторг силы охватил Петю, он улыбнулся и осмотрелся по сторонам. Вокруг, стоя на коленях, молились верующие. Батюшка быстро читал что-то по книге, стоя неподалеку от небольшой темной иконы. Именно этой иконе молились все собравшиеся.

Петля совсем сильно сдавила Петино горло, он открыл рот и вдруг издал громкий ключевой звук.

Вокруг потемнело; стены церкви выгнулись сферой, молящиеся стали бесформенными темными кучами; в этих кучах что-то двигалось, собиралось, напрягалось, перестраивалось, набухало — и из куч сладко выдавливались светящиеся молитвы. Извиваясь, они медленно текли к иконе.

Икона тоже изменилась. Ее квадрат стал совсем белым, изображение пропало, растворяясь в ровном белом свете иконы. Свет этот не был похож на обыкновенный, — он тек наоборот, к источнику, поглощая исходящие из куч молитвы.

Молитвы были разные: одни напоминали извивающихся змей, другие выдавливались из куч светящимися шарами, третьи вились бесконечной спиралью, некоторые имели форму сцепленных колбас, некоторые были прямыми и тонкими, как копыя. Все они светились зеленовато-голубым и всех их поглощал квадрат иконы, как пылесос.

Поглощение это заставляло Петю прощально вздрагивать, но не телом, а чем-то тяжелым и родным.

Вдруг по кучам прошло движение, они перестали выдавливать молитвы, расступились, и в сферу храма, опираясь на четыре кучи, проник большой темно-вишневый шар.

— Безногого Фроловича принесли! — почувствовал Петя слоистые покалывания слов.

— Заступник наш...

— Стратотерпец... отошал-то как, Господи...

— Слышь, его опять Моисеевы приволокли...

— А Наташка больше горбатиться не хочет, во как...

— Помолись за нас, окаянных, Фролович...

— Отступите, православные, дайте ему место...

Шар остановился в центре храма. Кучи замерли в ожидании. По шару пошли складки, он сжался, вгибаясь. Из его центра выползла толстенная, прямая, как бревно, молитва и поплыла к иконе.

В диаметре молитва Фроловича была больше иконы и гораздо толще всех предыдущих молитв. Белый квадрат всосал ее в себя, но не поместившиеся в поле иконы сегменты срезались о края квадрата и бесшумно попадали на пол.

Это напомнило Пете процесс изготовления бруса на Кунцевском деревообрабатывающем комбинате: круглое бревно, проходя сквозь прямоугольно выстроенные циркулярные пилы, превращается в брус, а четыре края отваливаются. Эти края в плотницком деле назывались горбылем и шли обычно на заборы.

Отвалившиеся от молитвы Фроловича куски лежали на полукруглом полу и медленно сгибались, словно огромные стружки. Цвет их из сине-зеленого стал грязно-голубым, потом оливковым с розовыми вкраплениями.

Петя двинулся к остаткам молитвы.

Он совсем не чувствовал бечевку на шее, только за плечи и ключицы его держала восторженная сила.

Он поднял все четыре куска и прижал к груди. Они были никакие и не вызвали у Пети никаких чувств.

И сразу восторженная сила потянула его назад. Петя с удовольствием повиновался, поехал на своих резиновых коньках, но, к удивлению, выйти из церкви ему оказалось гораздо труднее, чем войти в нее. Вокруг все изгибалось и дробилось радугами теребящих слов, слипающихся в вязкое слоистое месиво. Петя словно всплывал спиной к выходу сквозь многослойный мед. Вдруг что-то неродное чувствительно лопнуло, и Петя оказался на улице возле пахнущей купоросом двери храма.

— Сюда иди! — раздался голос с холма.

Петя с трудом разжал стиснутые зубы, открыл рот и жадно втянул в себя вечерний воздух. Руки его были согнуты и прижимали к груди пустоту. Петя посмотрел на них как на чужие.

— Держи! Если бросишь — все пропало! — крикнул Аварон.

Петя ничего не чувствовал в руках.

Он повернулся к пригорку и ощутил боль в груди, шее и плечах. Солнце зашло.

Аварон стоял на пригорке.

— Сюда иди! — снова позвал он Петю.

Петя двинулся к нему. Несмотря на боль, он чувствовал в себе силу, бодрость и нарастающий с каждым шагом разрешающий покой.

— Не торопись, — посоветовал Аварон, когда Петя взошел на пригорок.

Быстрые руки сняли с Петиной шеи обрывок бечевки.

— Хорошо. Теперь в Москву поедem. Ты прижимай, но не сильно.

— А я... там... это... там в этом... — с трудом заворочал одеревеневшим языком Петя, но Аварон перебил его:

— Держи, держи! Пошли.

Они спустились с пригорка. Оба портфеля остались лежать там.

Аварон шел слева позади, правой рукой поддерживая мокрую от пота спину Пети. Петя напряженно смотрел под ноги, словно искал место, куда бы уложить свою ношу. Он тяжело дышал.

— Говорю — не спеши, — придерживал его Аварон.

Они осторожно двинулись через вечерний поселок. В приземистых домах желтели окна, детвора носилась в полумраке, слышались женские голоса и угрюмое мужское пение под гармонь.

— А что там... это... когда было... — тяжело выдавливая слова, заговорил Петя.

— Все хорошо. — Аварон направлял его рукой, как пьяного.

— А веревка? Лопнула?

— Лопнула, — кивнул Аварон.

Трое ребятишек сидели на заборе и грызли семечки.

— Дядь, а вы кинщик новый? — спросил один.

— Нет, я не кинщик, — ответил Аварон.

На станции валила толпа с подошедшей электрички. Старухи торговали цветами и семечками. Низкорослая продавщица запырала магазин на большой амбарный замок. Рядом кривоногий худой шофер задвигал в хлебный фургон деревянные противни.

Аварон подвел Петю к магазину.

— Закрывает уже, — покосилась на них продавщица и сунула ключ в карман жакета.

— Отвезите нас в Москву, — обратился Аварон к шоферу.

— А чего такое? — Шофер задвинул последний противень. — Еще лектрички ходят.

— Нам очень нужно.

— Да мне на базу. — Шофер закрыл жестяные двери фургона.

— Болен, что ли, малой? — полусонно спросила продавщица.

Аварон молчал.

— Так вам, может, «скорая» нужна? — Шофер заломил кожаную фуражку. — До Малаховки могу подвезти.

— Нам очень нужно в Москву.

— Не, до Малаховки.

— Ладно, пошла я. — Продавщица косолапо побрела прочь.

— Садитесь, — шофер кивнул на фургон. — Гражданин, у вас покурить не будет?

— Я не курю, — ответил Аварон и стал помогать Пете забраться в кабину.

Когда уселись, шофер завел мотор, вырулил к переезду, встал у опущенного шлагбаума.

Петя сидел между шофером и Авароном, держа руки у груди и напряженно глядя вперед. Аварон вжался правым боком в дверь, стараясь не коснуться того, что Петя прижимал к груди. Высокий лоб его покрылся испариной, по вискам из-под шляпы тек пот.

Шофер недовольно покосился в открытое окно, сплюнул:

— Слышь, как я с куревом-то обмишурился? Алеха-воха...

Загудел приближающийся паровоз, поползли бесконечные вагоны с углем.

— Это что, вроде падучей? — кивнул шофер на Петю.

— Нам надо скорей в Москву, — ответил Аварон. — Я заплачу.

— Да это понятно... — Шофер устало вытер лицо загорелой рукой.

Состав прошел, горбатый старик поднял шлагбаум.

Фургон поехал дальше.

Шофер включил фары и замычал какую-то мелодию.

Петя смотрел вперед. Но не неровную, освещенную фарами дорогу видел он. После прохождения через поселок Удельная в Петином теле еще больше прибавилось деловитого покоя. Руки его налились беззвучным гудением, из центра груди по телу расходились послушные волны силы, и тело ответно пело в такт их движению. В голове у Пети было ясно. Он все понял. Пот струился по его спине, а в остекленных глазах повторялась одна и та же сцена: мать на кухне в ночной рубашке зачерпывает снег из таза, лепит снежки и раскладывает на политем маслом противне.

— К ужину нагрянут, а у меня еще конь не валялся, — улыбается она.

В Малаховке шофер притормозил, почесал лоб.

— На три чекушки дадите?

— Да, — ответил Аварон.

— Была не была! — затрещал передачей шофер. — Скажу — ремень лопнул... Куда вам в Москве-то?

— Никольская, — Аварон отер пот с висков носовым платком.

— Никольская? — важно нахмурился шофер. — Где это?

— Красную площадь знаете?

— А то как же?

— Прямо на нее выходит. Я покажу.

— Ужо так.

Когда выехали на шоссе, он бодро поскреб подбородок нечистым прокуренным ногтем.

— Читали третьего дня в «Правде»? Про вредителей?

Аварон не ответил.

Шофер по-бабьи покачал головой:

— Что делали, суки рваные!

До Москвы ехали молча.

— Так вам на Никольской-то чего надо? — спросил шофер, выезжая на Котельническую набережную.

— Дом.

— А чего там? Больница?

— Нет.

— А как же... а парень?

Аварон достал бумажник, вынул тридцать рублей, дал шоферу.

— Ага... — Тот сунул деньги под фуражку.

Доехали до Лубянки, свернули на темную Никольскую и, не доезжая слабо освещенной Красной площади, остановились.

— Ежли что перевезти там или чего, то я завсегда, — забормотал шофер. — Через Машу меня найдете. Вы ж с Удельной?

Не отвечая, Аварон вылез, помог Пете. Петя вылезал из кабины медленно.

— Бывай здоров, пионер, — махнул шофер, развернулся, и хлебный фургон затарахтел, рассекая темень фарами.

Аварон повел Петю.

Они обогнули серый массивный дом, пошли по Ветошному переулку. Вскоре Аварон сжал Петино плечо:

— Стой.

Петя остановился.

Аварон подошел к неприметной зеленой двери, отпер ее ключом, открыл.

— Вперед иди.

Петя вошел, шевеля губами. Аварон зажег свет.

Они стояли в небольшой подсобке, заваленной ведрами, швабрами, метлами и лопатами для уборки снега. На всех ведрах было выведено красной краской «РЖЦ».

В подсобке не было окон. Огромная батарея парового отопления растянулась толстой гармошкой во всю стену.

Аварон вынул из кармана вентиль, насадил на штырь крана батареи, с силой повернул. В трубе зашипел сжатый воздух, стена с батареей дрогнула и поехала, открывая темный проем. Аварон мягко подтолкнул Петю. Петя пошел в темноту. Рука Аварона лежала на его плече. Вскоре они уперлись в дверь. Аварон зазвенел ключами, отпер замок, открыл дверь, и Петя зажмурился от яркого света — впереди был полукруглый зал с белыми стенами и розовым мраморным полом. Яркая люстра освещала зал.

В центре зала стоял человек, абсолютно похожий на Аварона и одетый точно так же. Он глянул на Петю все теми же быстрыми глазами, подошел к стене, взялся за стальное колесо сейфовой двери, налег.

Толстая дверь бесшумно отворилась.

Аварон-2 забежал за Петину спину и положил ему руку на левое плечо.

Рука Аварона-1 покоилась на правом.

Вдвоем они направили Петю.

За стальной дверью оказалась винтовая лестница. Втроем они осторожно спустились по ней и оказались в начале длинного бетонного тоннеля, уходящего в полутьму. Здесь стоял на стальных опорах могучий барабан с двумя ручками и намотанной цепью. Цепь блестела от жира.

Аварон-2 взял конец цепи с толстым стальным ошейником, надел Пете на шею и запер на ключ.

Оба Аварона взялись за ручки барабана и произнесли:

— Прямо иди.

Петя шагнул раз, другой и пошел по тоннелю.

Авароны вращали барабан, цепь разматывалась, позвякивая, тянулась за Петей.

Тоннель был длинным. Редкие лампочки тускло освещали его.

Петя шел. Цепь волочилась за ним по бетонному полу. Петино тело внутренне тайно онемело, покой и сила больше не потрясали его, сердце билось тяжело и равномерно, ноги шли сами.

Изменилось и видение матери. Теперь он видел ее стоящей посередине огромного обмелевшего океана, доходящего ей до колен. Мать была одета в свою беличью шубу, в левой руке держала кулек с человеческими зубами, а правой брала зубы, как леденцы, отправляла в рот и громко, с удовольствием грызла.

Впереди показался свет, обозначился проход. Петя вошел в него, поднялся по восьми гранитным ступеням и с трудом понял, что он находится в Мавзолее Ленина.

Сдержанный свет растекался по каменному залу. В стеклянном гробу необычной формы лежал Ленин. В Мавзолее стояла глухая тишина.

За свои 13 лет Петя четырежды побывал здесь. Первый раз — с родителями в три года, когда отца наградили вторым орденом, потом с бабушкой и Тингой, затем со своим классом, сразу после вступления в пионеры, и последний раз — с отцом, перед его выступлением на съезде партии.

Каждый раз Петя чувствовал в Мавзолее что-то грозно-неповторимое, что заставляло думать о непонятном. Входя в Мавзолей, он всегда сильно волновался и искал опоры в сопровождающих. Выходя, он сразу все забывал и, лишь придя домой, вспоминал что-то из увиденного. Лучше всего он помнил цвет лабрадора, которым были отделаны стены. Самого Ленина он почти не помнил.

Сейчас Петя не испытывал прежних чувств. Ему было внимательно тоскливо, и он не понимал, зачем он с цепью на шее пришел сюда.

Желтолицый Ленин в черном костюме вызывал правильную скуку, она нарастала, как стена. Пете впервые за весь невероятный вечер стало очень скучно и одиноко. Он понял, что Аварон ему по-отцовски ошибается, прижал пустоту к груди и сделал три шага вперед. Цепь натянулась, ошейник сдавил горло.

— Пройдет... — прохрипел Петя, и слезы потекли по его щекам.

Уперевшись ногами в скользкий пол, он зло-печально потянулся вперед, но цепь не пускала. Рыдая, Петя рванулся из последних сил. Цепь натянулась и напряглась, как штанга, в голове у Пети прощающе лопнуло красное яйцо, каменный зал изогнулся сферой, стеклянный гроб сжался в равностороннюю пирамиду, засветился мягким фиолетовым светом.

Петя ощутил знакомое по церкви ничто в руках, — обрезки молитвы Фроловича появились, он держал их. Но если тогда, свежесрезанные, они были оливковыми, с розоватыми пятнами, то теперь все четыре куска стали бледно-розовыми, с сеткой бордовых прожилок.

Сфера, сомкнувшаяся вокруг Пети, тончайше завибрировала и издала ровный, приятный, завораживающий и плавно нарастающий звон. Ему ни в чем не было препятствий, он легко прошел сквозь плоть Пети и зазвенел в костях. И кости по-домашнему зазвенели в ответ, и уютный звон этот сочно потряс Петю.

Звук стягивался к пирамиде. Внутри нее сдвинулось что-то, шевельнулось спящее и могучее, и из боковой грани стал плавно вытягиваться фиолетовый Червь.

Он был прекрасен, силен и мудр. Он был старше воздуха, раздвигаемого его божественным телом. Фиолетовые кольца его текли, как тысячелетия, изменчивые узоры покрывали их. Звон сферы объял Червя, словно коконом, и перетек в неземной хорал. Сонм невидимых существ запел в такт движению Червя. И песнь эта рассекала все сущее на Земле.

А Червь все выходил и выходил из пирамиды, и выходу этому не было конца.

Когда же фиолетовые кольца его заполнили все пространство сферы, Червь повел своим прекрасным лицом, ища, и обратил взор на Петю.

И Петя содрогнулся в восторге и замер. Ноги его подкосились, он опустился на колени. Червь приблизился к нему, и Петино сердце раскрылось ему навстречу. И Петя, трепеща, протянул Червя четыре куска.

Прелестный рот Червя открылся, и Червь всосал в себя первый кусок.

И кусок заскользил по телу Червя. И вспыхнул багровым. И дал Червя Новую Энергию Преодоления. И оживил кольца Червя Новым Движением.

И всосал Червь второй кусок.

И рассыпался кусок на мириады пламенных искр во чреве Червя. И пробежали искры по становому хребту Червя. И загорелся хребет Червя Новым Огнем Соответствия.

И третий кусок вошел в рот Червя. И источился во чреве Червя Влагой Вечных Пределов. И утолил Старую Жажду Червя.

А четвертый кусок, едва коснулся губ Червя, исчез сразу. И проглотил Червь Пустоту Пустот. И вошла она в тело Червя. И наполнила тело Великим Покоем Отсутствия.

И удовлетворился Червь. И просиял лик Червя. И потекли бесконечные кольца его в обратном движении.

Червь стал входить в грань пирамиды.

И всем своим существом осознал Петя, что никогда больше не дано ему будет зреть Червя. И, возрыдав, рванулся он к Червя. Но цепь держала его.

А Червь плавно исчезал в сияющей пирамиде, и прекрасный лик его светился сытым светом.

И закричал Петя, и протянул руки к Червя. Но тот исчез в пирамиде, и стала она гаснуть.

Синий треск раздался в Петиной голове. Петя упал и лишился чувств.

Придя в себя, он поднял голову.

Он лежал в Мавзолее на холодном гранитном полу. Стекланный гроб с Лениным стоял на своем месте.

Петя пошевелился. Стальной ошейник больно резал шею, из-под него скупо сочилась кровь.

Петя сел. Потом встал. Страшная слабость овладела его телом. Шатаясь, он разлепил губы, сисясь сказать что-то, но изо рта вышел лишь хриплый шепот.

Цепь потянули. Петя попытался назад, к ступеням, ведущим в тоннель. И вдруг почувствовал страшную тоску, и понял, что этот мертвый старик с желтым лицом не стоит мельчайшего узора на божественной коже Червя, а этот Мавзолей, куда идут на поклонение миллионы, всего лишь мертвый дом из мертвых камней.

Ужасная скорбь парализовала Петю.

Цепь тянула его назад, в мертвый мир. Но Петя не хотел туда.

Изо всех сил он уперся, но цепь тянули сильнее, сильнее, сильнее.

Голова Пети запрокинулась назад, он взмахнул руками и с хрипом покатился вниз по ступеням.

Цепь волокла его по тоннелю. Петя скулил и хрипел. Его школьные полуботинки скребли по бетонному полу.

Авароны подтянули его к барабану, сняли ошейник, поставили на ноги. Петю шатало. Колени его подгибались, все плыло перед мокрыми от слез глазами.

Если после церкви он чувствовал в себе восторженную силу, то после Мавзолея на него, как мокрое пальто, навалилась горькая слабость.

Авароны подхватили его под руки и поволокли вверх по винтовой лестнице. Поднявшись, прошли в подсобку. Один Аварон отпер дверь, другой подвел Петю и толкнул. Петя упал на мостовую и заснул.

Проснулся он от хриплого голоса:

— Чевоито ты, паря, тут разлегси? А ну, подымайси.

Петю потрясли за плечо.

Он открыл глаза. Бородатый бритоголовый дворник в брезентовом переднике склонился над ним.

— Напоил, что ль, кто? Али падучая? И-и-и... да ты весь в крови! — Дворник потрогал Петину шею с запекшимися кровью ссадинами.

Петя зашевелился и сел. Двигаться было больно. Он посмотрел на свои испачканные кровью руки.

— А ну-ка... — Дворник стал поднимать его.

Петя вскрикнул.

— Чего? — Дворник поддержал его заскорузлыми руками.

Петя застонал.

— Ступай в больницу, — мягко подтолкнул его дворник.

Петя сделал шаг, другой и побрел, еле переставляя ноги. Обогнув серый дом и выйдя на Красную площадь, он остановился, пошатываясь. Стрелки на Спасской башне показывали четверть шестого. Уже рассвело, но солнце еще не взошло.

В Петиной голове было пусто и тупо. Он равнодушно обвел площадь взглядом, посмотрел на марширующую к Мавзолею смену караула, заметил красный флаг и вспомнил, что живет в Доме Правительства.

— Поправить... — неожиданно произнес он и провел рукой по опухшему лицу.

Проходяживающийся неподалеку милиционер внимательно смотрел на него.

Петя икнул и заковылял через площадь к набережной. На Васильевском спуске он дважды падал, спотыкаясь о брусчатку. Идти по набережной было легче — здесь стелился асфальт.

Петя брел и брел.

Путь до Большого Каменного моста показался ему бесконечным.

— Ты где ж так приложился? — спросил его прохожий.

Петя зашел под мост, держась за стену, миновал его и, преодолев площадь с редкими машинами, оказался возле своего дома.

Солнце встало и золотило окна десятого этажа. Петя посмотрел на окна своей квартиры. Свет в бывшем кабинете отца горел.

Петя вошел во двор и потихоньку добрел до своего подъезда. Взялся за ручку двери, потянул и понял, что силы оставляют его. Дверь была огромной и тяжелой, как гранитная плита на дедушкиной могиле.

Он потянул изо всех сил. Дверь приоткрылась. Он протиснулся в щель, вошел в полутемный вестибюль. Молодая консьержка спала за столом.

Задыхаясь и балансируя руками, Петя двинулся к лифту. Левую ногу он выставлял вперед, подталкивал правой, затем руками подтягивал правую ногу. Так минут за двадцать он преодолел вестибюль и схватился за ледяную ручку лифта, навалился всем телом. Ручка пошла вниз, лязгнула. Дверь лифта открылась.

Консьержка подняла голову, сглотнула слюну.

— Тебе в которую? — глянула она на Петю и осеклась — она знала, что его родители арестованы.

А Петя знал, что она знает.

Он долго забирался в лифт, закрывая за собой сначала металлическую, потом деревянную двери. Поднес трясущуюся руку к кнопке 5. Нажал. Но тугая, черная, как хоккейная шайба, кнопка не поддавалась. Он взял свою правую руку левой и надавил локтем. Лифт дернулся и громко поехал на пятый этаж.

Петя закрыл глаза.

В голове по-прежнему было пусто и тупо. Колени заспанно дрожали. В груди колыхалась чужая вода. Она была очень тяжелой. Лифт встал.

Петя вывалился из него на лестничную площадку, сполз по гладким ступеням к своей квартире 150 и долго, минут сорок вставал, цепляясь за косяки.

Кнопка звонка, к счастью, оказалась не тугой. Прижавшись щекой к родной двери, Петя слышал, как зашаркали бабушкины шлепанцы.

Дверь распахнулась, но Петя не упал, удержавшись руками за косяки.

Опухшее от слез бабушкино лицо пылало яростью.

— Ты смерти моей хочешь?

Петя тупо смотрел в ее трясущийся, поросший белыми волосами подбородок.

— Я уже дважды в милиции была! — визгливо выкрикнула она.

В глубине квартиры послышалось шлепанье босых детских ног, и в прихожую вбежала шестилетняя Тинга.

— Петюня! А ты с Ундиком на прудах был!

Бабушка разглядела окровавленную шею Пети:

— Погоди... тебя, что... побили?

— Нет, — прошептал Петя.

— Где ж ты был, негодяй?!

— Я... помогал маме и папе...

— Как помогал? Где?

— В церкви. И в Мавзолее Ленина...

Петя оттолкнулся руками от косяков и рухнул на пол.

«Скорая помощь» приехала через пятнадцать минут после бабушкиного звонка. Петю отвезли в Первую градскую больницу. От «Кремлевки» семью Лурье открепили вскоре после ареста отца. Дежурный врач, обследовав Петю, обнаружил двустороннее воспаление легких. Пете вкололи кофеина, дали красного стрептоцида, поставили банки. На следующее утро он умер.

«Ураганная пневмония с двусторонним отеком легких», — написал врач в свидетельстве о смерти.

Умирал Петя в бреду. Последние слова его были: «Пусть сияет».

Петю Лурье похоронили 13 сентября на Смоленском кладбище. Его отец, Виктор Викторович Лурье, заведующий отделом ЦК партии, арестованный 30 июня 1937 года, был расстрелян 1 сентября и погребен ночью в общей могиле близ Бутово.

Петина мать, Марьяна Севериновна Лурье-Милитинская, была арестована спустя полтора месяца после ареста мужа и содержалась в Лефортовской тюрьме.

В конце августа ее стали интенсивно допрашивать. Марьяну сперва не били, как мужа, которому следователь на третьем допросе раздробил каблуком кисть руки и повредил сетчатку глаза. Двое сменяющихся следователей пытали жену Виктора Лурье бессонницей, требуя показаний на мужа и его друзей. Она, комсомольская богиня двадцатых, знаменитая Марьяша Милитинская, терпела, валясь со стула на пол и засыпая хоть на минуту. Следователь будил ее, зажимая рот и нос, и снова сажал на стул под слепящую лампу.

Марьяна продержалась неделю, потом провалилась в глубокий обморок.

Следователи дали сутки ей отоспаться, но потом набросились снова — грубо и жестоко. Они молча раздели ее, привязали к банкетке и стали сечь скрученными электропроводами. Секли по очереди, не торопясь.

Марьяна нутряно рычала, грызла банкетку.

Через два часа бедра и ягодицы ее превратились в сплошную рану. Марьяна потеряла сознание.

Ее облили водой из графина.

— Если завтра не расскажешь про врагов — засечем, — сказал ей следователь.

В камере, лежа на животе на нарах, Марьяна поняла, что завтра ей предстоит умереть. Она проваливалась в тяжелый сон, просыпалась, боясь пошевелиться, вспоминала свою жизнь, мужа, детей, друзей, бурную комсомольскую юность, Ленина и Сталина, революцию и гражданскую войну, первую и последнюю любовь и снова проваливалась.

Наступило завтра.

Но за ней не пришли.

Не пришли и на следующий день.

А еще через два дня ее посетил тюремный врач, осмотрел нагноившиеся раны и насупленно протер пенсне:

— В больничку.

Неделю она провела в тюремной больнице. Когда смогла ходить, ее отвели к новому следователю — спокойному и конопатому. Крутя конопатыми пальцами толстый красный карандаш, он сообщил

ей, что дело ее прекращено за отсутствием состава преступления. И что она свободна.

Восемнадцатого сентября, пасмурным прохладным днем, Марина Севериновна Лурье-Милитинская, прихрамывая, вышла из ворот Лефортовской тюрьмы. Чтобы прожить на планете Земля еще 43 года.

Ф. СТЕПУН*

Ленин**

Ленин родился в семье директора народной школы в 1870 г., в Симбирске, на Волге. За год до его совершеннолетия старший брат Ленина за покушение на Александра III был приговорен к смерти. Ясно, что при таких обстоятельствах Ленин уже не мог спокойно учиться в Казани. Он тотчас погрузился в революционную литературу и уже через месяц был исключен из университета. Однако ему удалось выдержать государственный экзамен по юриспруденции в Санкт-Петербурге. С этого времени он становится убежденным марксистом, публикует свои первые работы, а в 1895 г. создает «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Работа в Союзе закончилась для него пятилетней ссылкой в Сибирь.

С 1900 г. Ленин на долгое время уезжает за границу. В 1903 г. он расколол социал-демократическую партию и после энергичной борьбы становится во главе ее радикального большевистского крыла. Его главными требованиями, каждое из которых возникло из чувства «актуальности революции», были: 1) строгая дисциплина членов партии; 2) политизация и милитаризация экономической борьбы пролетариата; 3) подготовка пролетариата к руководству предстоящей революцией; 4) решительный отказ от общего фронта борьбы вместе с радикальной буржуазией и союз с деревенской беднотой.

В 1905 г. Ленин возвращается в Россию и с отчаянной энергией агитатора и организатора борется за вооруженное восстание, закончившееся, как известно, неудачей. С 1907 г. он живет за границей.

* Федор Августович Степун (1884–1965) — русский философ, социолог, историк, литературный критик, общественно-политический деятель, писатель. В ноябре 1922 г. был выслан советской властью за границу. Активно работал до конца жизни. Писал на русском и на немецком языках.

** Перевод с немецкого А.А. Ермичева.

Когда разразилась война, Ленин начал неистовую борьбу против «империалистической бойни». Существенно то, что Ленин ведет свою борьбу не как пацифист, а как революционный милитарист. Его лозунгом был не мир, а гражданская война. Пожалуй, как раз в эти годы Ленин становится достаточно заметен. Ему удалось то, что удается только врожденной вождистской натуре: оставаясь одиноким, ни на мгновение не сомневаться в верности избранного пути.

С началом революции Ленин спешит в Россию. За восемь месяцев из странной политической фигуры, которую поддерживали только верные члены партии и безграмотная солдатская масса, он превратился в роковое олицетворение русской революции.

В октябре 1917 г. вопреки воле многих своих товарищей по партии, Ленин захватывает власть. Монументальность его первых декретов сравнима только с библейской историей творения. Не обращая внимания на их исполнимость и результативность, он пытается за одну ночь вызвать к жизни новый мир.

Он начинает с национализации банков, передачи крупных имений крестьянским советам, а фабрик — рабочим. Во второй половине того же года он проводит национализацию промышленности и частной торговли. Вновь созданные продовольственные комиссариаты получают указание подсчитывать и распределять общий продукт. К этому времени для всех непролетарских элементов был введен обязательный физический труд. Его исполнение регистрировалось в специальных рабочих книжках, что служило основанием для получения продуктов питания. Так под полными парусами правила навстречу отмене денег.

Рука об руку с развертыванием этой хозяйственной программы шло развитие большевистской политики в области культуры.

Ее высшей идеей является отрицание буржуазной свободы мнений, в которой истина и свобода находят общую могилу. Для Ленина свобода обозначает не право искать истину, а долг осуществлять давно найденную истину. Для него свобода всегда была познанной необходимостью. Материалистический характер истины, защищаемый Лениным, ведет к тому, что из всех форм причинности признается только причинность механическая. Так возникает основная идея большевистской политики в области культуры — идея механического и насильственного нового чекана русской души и русской жизни.

Все прочее объясняется этим: страстная борьба с церковью, что резко противоречит Декрету об отделении церкви от государства; замена всякой философии марксистско-ленинской догмой в университетах и школах; в искусстве — подавление всего, что не означает крайней революции его форм и всем доступной ил-

люстрации пролетарской судьбы; не в последнюю очередь этим объясняется советская педагогика, которая повсюду — и в университетах, и в детских садах — преследует одну-единственную цель — по-марксистски организовать сознание и переживание русского человека.

Так все кружит вокруг одного центра.

Конечно, бывали моменты, когда Ленин тоже колебался, уступал; причем не только в области духовно-культурной, но также и в хозяйственно-политической. Однако это было лишь тактикой. Уступая тактически, он никогда не поступался принципом. Картина его жизни и трудов имеет завершенность, которую нелегко найти еще раз в истории. Духовный облик юноши и историческая участь мужчины, умиравшего в имении «Горки», выглядят абсолютно схожими. Ленин принадлежит к тем немногим людям, вся жизнь которых предстает перед нами как одно-единственное непрерывное осуществление его юношеской мечты. Если иметь в виду суждение Гегеля, будто бы гениальность является претворением юношеской идеи в жизни, то можно спросить, был или не был гением великий русский революционер. Ответ на этот вопрос полностью зависит от того, как мы интерпретируем это высказывание Гегеля. Если понимать под преданностью юношеской идее безостановочный — на протяжении всей жизни — подъем к духовной реальности и тогда же укоренение в подлинно творческом слое бытия, порождающем и дарящем жизнь, то позволено будет усомниться в субстанциальной гениальности Ленина. Что он не был гением в этом, как мне представляется, единственно верном, философско-филологическом смысле слова, доказывает полное отсутствие у Ленина действительно нового оригинального мировоззрения. Насколько силен был он в переделке жизни, настолько же малозначителен был его тип видения жизни и мышления о мире. Здесь он всегда и во всем остается только самостоятельным учеником Маркса.

И все-таки в особенностях его дарования и в размерах его было, в широком смысле этого слова, нечто гениальное. Я имею в виду постоянство его страстной воли и теоретическую последовательность его мысли - всегда прикрепленной к воле и ориентированной на практику. Так мы приходим к глубинному ядру духовного своеобразия Ленина.

Его часто именуют догматиком, чуждым миру. Такое понимание совершенно неверно: Ленин никогда не думал абстрактными умозаключениями, а всегда только конкретными решениями. Всеми своими мыслями он постоянно обдумывает одну мысль: что делать и именно теперь, в этой конкретной ситуации? Читая том

за томом произведения Ленина, переживаешь странное ощущение не мыслительного процесса, а физической работы по перестраиванию жизненной массы в заданном социальном пространстве. Эта постоянная направленность ленинской мысли на практический результат настолько очевидна, что многие его противники толкуют его, в свою очередь, не догматиком, далеким от жизни, а, напротив, оппортунистом, приспособливающимся в ней. Это тоже неверно. Оппортунист формирует жизнь с точки зрения сиюминутной практической целесообразности. Обстоятельнейшие занятия практическими вопросами у Ленина нацелены на совершенно иное: на попытку отвоёвать у всей жизни в целом доказательство правильности марксистско-ленинской теории.

Если бы Ленин был догматиком, оторванным от жизни, то он просто-напросто проигнорировал бы ее, особенно современную жизнь. Если бы он был приспособленцем-оппортунистом, то он приноровился бы к ней. Но он не был ни тем ни другим, а чем-то третьим: фанатичным экспериментатором-фантастом. Каждый экспериментатор имеет дело не с иррациональной полнотой действительности живой природы, а со специфическим отрезком действительности, сконструированным с точки зрения определенной теории. В самой высшей степени это приложимо к Ленину. Всю свою жизнь он имел дело не с эмпирически-конкретной действительностью, а с одним, искусственно сконструированным социальным миром, основанным на точном познании действительности и все же абсолютно неадекватным ей. Мыслительный прием, которым он низводил историческую действительность на социологический уровень своего революционного экспериментирования, был приемом стилизации и упрощения. Это замечали многие его современники и соратники. Уже Плеханов называл его «гением упрощения», а Троцкий писал: «Он (Ленин) воспринимал события *en masse* и мыслил блоками». Этому мышлению присуще нечто таинственное и прямо-таки мистическое, когда его простота усиливается до бессмыслицы и когда он, к примеру, утверждает, что борьба с капитализмом очень проста: нужно только повесить семьдесят капиталистов. Эта примитивность приобретает цинично-демонические черты, когда она охватывает область нравственной человеческой оценки.

В известном смысле, как в античности, Ленин тоже не делал никакого различия между знанием и добродетелью. Добродетельным был для него человек, который владел истиной. Но все истины заключены в марксизме. Поэтому все противники марксизма являются предателями, «шкурниками», лакеями, негодьями. У Ленина эти выводы следуют с механической достоверностью, как само

собой разумеющиеся. Вообще его мысль зачастую производит впечатление аккуратной работы точнейшего марксистского аппарата. Ленин проглатывает проблему, производит пару движений диалектическим рычагом и выдает марксистский мыслительный продукт. Последнее всегда ясно, точно и сподручно; часто гротескно, иногда монументально. Этой мыслительной механикой объясняется то, что в иных случаях Ленин не воспринимал смысла простейших вещей. Так, он не понимал, что Бог есть нечто иное, чем труп, балъзамированный попами, что социал-демократ может любить свое отечество вплоть до желаний его защищать. И также многое другое. Парадоксальный диалектик был никудышным психологом. Свои марксистские схемы он меньше связывал с душевными реальностями, чем с революционными мифами: пролетариатом, партией, революцией, классовой борьбой, Интернационалом. Само собой разумеется, Ленин отрицал бы это. Как материалистический метафизик был он убежденным врагом всякой метафизики. И все-таки его победа доказывает немаловажное — что еще в XX столетии мифы являются силой, образующей историю.

В чем состоит, однако, особенность ленинского толкования марксизма? Если его нужно обозначить одним словом, то можно использовать только слово «фашистское». Это звучит парадоксально, но верно.

Постоянно, снова и снова в борьбе с «фаталистами» в марксистском лагере Ленин подчеркивал, что люди сами делают свою историю. Конечно, делают ее не в ими выбранных обстоятельствах, а среди обстоятельств, уже сложившихся. Поэтому, по Ленину, крайне неверно уступить буржуазии первую роль в предстоящей революции. Чисто социальную революцию могут ждать только «утописты» и «болтуны», которые ее боятся. «Подлинной революцией должен стать диалектический переворот буржуазной революции в революцию пролетарскую». На такой переворот может рискнуть пролетариат и осуществить его. Но под пролетариатом Ленин понимает не всех пролетариев, как таковых, а некоторое иерархическое образование. Во главе стоят пророки: Маркс, Энгельс, Ленин. Потом следует клир — члены партии. Ступенью ниже — воистину верующий народ: «пролетарский авангард», «рабочая аристократия» и, наконец, несознательные массы — скорее базис, чем субъект революции. Следовательно, все мыслится в форме идеократии. Уже в 1902 г. Ленин разглядел, что революционная идеократия должна быть организована не демократически, а бюрократически, и сказал об этом.

Многие не замечали идеократически-бюрократической структуры ленинского социализма, другие порицали ее как отказ

от подлинного социализма. И, однако, она вполне последовательно вытекала из ленинского восприятия социализма. В отличие от многих своих товарищей по партии, Ленин не был ни идеологом, ни воспитателем народа. Он никогда не пытался рисовать в частностях картину будущего социалистического парадиза и воспитать пролетариат для этой цели. Он всегда исходил из веры, что пролетариат хранит в своей груди живую идею социализма. Поэтому его самой большой заботой было одно: призвать пролетариат к осуществлению социалистической идеи, что значило — организовать классовую борьбу. Высшей мыслью ленинского социализма является классовая борьба в ее максимальной суровости, силе и чистоте. Но вести борьбу можно только с организацией, которая создана сверху, а не снизу. Ленин много занимается вопросами стратегии и тактики.

Примат идеи классовой борьбы в ленинской концепции социализма объясняет, почему Ленин превращал все вопросы теории в вопросы организации. С максимальным радикализмом подготавливая пролетарскую революцию, он по-своему определял истинную сущность социализма. Для него социализм являлся только неизбежным результатом классовой борьбы, ведущейся с образцовой чистотой. Чем неукротимее распространялась революция, чем безмернее становились ленинские декреты, тем очевиднее становилось, что происходящее объяснимо не только его сердечным исповеданием бакунинских слов: «Страсть разрушения есть творческая страсть», но также теоретически обоснованной волей к полному уничтожению источника буржуазной заразы, т. е. к радикальному подавлению буржуазной структуры души и буржуазного духа культуры.

Истолкование социализма и направление, которое Ленин как теоретик и тактик придал социализму, прежде всего объясняются тем, что вождь мировой революции (а таковым в первую очередь Ленин и ощущается) был не просто русским революционером, но также типично русским человеком.

В стране без буржуазии и пролетариата (в европейском смысле этого слова) «фаталистическое», законоверческое и хозяйственновверческое истолкование марксизма было бы равнозначно полнейшему отречению от скорой революции. При 80% неграмотных массовая партия едва ли могла быть построена по-иному, чем на принципе послушания иерархии. Путь к диктату пролетариата в форме диктатуры над пролетариатом был унаследован от царской автократии. Религиозный тон русской культуры и богатое русское сектантство объясняют в большевизме примат мировоззренческих вопросов и сектантско-еретический характер большевистского

мировоззрения. Факт, что царское правительство сделало невозможным участие революционных элементов русского западничества в практической жизни, отозвался большевистской практикой невозможного, марксистской склонностью к нерусскому, расположением к нерусскому. И все-таки в большевизме прозвенел древнерусский мотив мессианизма. Большевизм тоже полагает, что Россия призвана спасти мир. Вера славянофилов, будто бы Москва есть Третий Рим, снова отразилась в большевистской вере в III Интернационал.

Портрет Ленина будет завершен только в зеркале его дел. Зрелище большевистской революции потрясает нас величием ее масштабов, но одновременно наполняет нас страхом. Миллионы заключенных, миллионы умирающих с голода, миллионы убитых в Гражданской войне. Беспризорные, сифилитичные дети на улицах Москвы. Голод в стране. Подавление свободы — почти в форме возвращения к крепостничеству. Слежка, пытки и падение всей духовной культуры. И при этом, и несмотря на это: победа над белыми армиями контрреволюции. Масштабная и целенаправленная внешняя политика в Китае, в Британской Индии, во всей Европе. Не лишенное значения искусство, блестящие достижения естествознания. Открытие новых научных институтов, какие не всегда были возможны в Европе и Америке. И все это — рядом с самосожжением целых крестьянских семей из страха перед антихристом Лениным, рядом с государственным преследованием христианства и возвышением социализма до религии: красные крестины, красные свадьбы и иконописное изображение пророка Ленина. Во всем и повсюду причудливая встреча и взаимопроникновение Средневековья и Нового времени, Азии и Европы, отсталости и пророчествования, холодного расчета и лихорадочных мечтаний, творческого безумия и непонятной бессмыслицы.

Так пламенеет небо большевистской революции. Мы должны постараться увидеть на этом фоне лик Ленина, если мы хотим верно понять его значение.

П. СТРУВЕ*

Подлинный смысл и необходимый конец большевистского коммунизма.

По поводу смерти Ленина**

Когда умер Ленин, мне приходилось почти со всех сторон встречать какие-то большие ожидания, связанные с этим фактом. Я этих ожиданий не разделял и оказался прав.

Смерть Ленина, сама по себе, решительно ничего не изменила в положении вещей в России. Это неудивительно. Реально и личность, и значение Ленина были вовсе не те и не такие, какими их представляли себе коммунисты и еще более враги коммунистов.

В истории есть два вида значительных людей. Одни таковы в силу своего личного содержания, которым они налагают на исторический процесс свою печать. Другие выражают лишь какую-то большую историческую, добрую или злую, стихию, являясь ее исполнителями и орудиями. Первые люди всегда лично значительны, ибо они сами содержательны, самобытны. Вторые представляют комбинацию каких-то личных свойств, которую можно в известном смысле назвать одаренностью, с силами исторической стихии.

В Ленине перед нами второй случай. Его идейное содержание было неоригинально, и в своей существенной неоригинальности он, как ум, был лишен даже какой-либо одаренности. Все его умственное содержание это - марксизм в его внутренне противоречивом, логически и объективно несостоятельном варианте. Но этот скудный и плоский ум был наделен огромной и гибкой волей, не только безоглядной, но и совершенно б е с т ы ж е й. Всякой сильной воле присущ более или менее значительный гипнотизм, некая степень неотвратимой заразительности. Воля Ленина была заразительна, и она вместе с его «революционным» содержанием, соединившись с волнами разбуженной и разнузданной темной исторической стихии, привела к торжеству коммунистической революции.

Воля политического деятеля не есть просто натиск и напор. Она есть всегда упор, она всегда способна осуществлять и на самом

* *Петр Бернгардович Струве* (1870–1944) — один из первых русских марксистов, известный экономист, историк, философ, публицист, политик, автор «Вех», редактор журнала «Русская мысль», видный деятель Белого движения и либерально-консервативного крыла русской эмиграции.

** Русская мысль. М., 1923–1924. Кн. IX/XII. С. 313–318.

деле осуществляет «обходы». Ленин был мастер тактики вообще и «обходов» в частности. Я сказал однажды, что в Милюкове нет ни грана Ленина, но в Ленине сидит нечто от Милюкова. Это значит, что Ленин, будучи революционером, был тактиком. Эта комбинация революционера и тактика, вообще говоря, морально весьма трудная, осуществлялась в Ленине с полной, я бы сказал, артистической легкостью. Ленин был абсолютным аморалистом в политике и потому ему было легко быть таким превосходным и успешным тактиком.

* * *

Политико-психологической комбинации революционера с тактиком соответствовал и личный психологический тип Ленина. Это была смесь палача с лукавцем. То, что в Ленине всегда отталкивало тех людей, которые когда-то были его единомышленниками в главном и основном, была именно эта ужасная смесь. Я уже писал однажды, что и Г. В. Плеханов, и В. И. Засулич, и М. И. Туган-Барановский, и пишущий эти строки, несмотря на все различие своих темпераментов и даже взглядов, испытывали некое общее глубочайшее органическое отталкивание от самой личности Ленина, от его палаческой жестокости и абсолютной неразборчивости в средствах борьбы. Душа прямой и нежно-тонкой Веры Ивановны Засулич прямо содрогалась и сжималась при соприкосновении с этим человеческим воплощением лукавой злобы.

Но именно такой человек и мог напоить своим ядом и оседлать народную стихию. В стихии этой огромную силу с 1917 г. возымели всегда тлеющие в человеческой природе искры и семена злобы и ненависти, предательства и хамства. Как ловкий тактик, Ленин со своими «товарищами» разжигал эти искры, в то же время всю силу своей воли и все могущество своего подпольного гипнотизма направляя на организацию власти. Палач и лукавец, революционер и тактик в одном лице, Ленин был великим органическим властолюбцем.

К власти вообще, и особенно в эпохи социальных и политических бурь, органически призваны только те, кто власть любит и жаждет ее. Властолюбие было у Ленина подлинной стихией его существа. Вся его личность была объята этой похотью. В этом страшном властолюбии была его сила как политического деятеля и организатора партии.

Смерть Ленина не изменила и не могла ничего изменить в положении вещей в России. Это вытекает вполне естественно из реальной личности Ленина и основанного на ней реального значения его деятельности, как мы их обрисовали выше. Смерть

Ленина если что-нибудь и изменила в положении вещей, то лишь в том смысле, что она еще больше, чем то было раньше, легендой о Ленине закрыла Ленина действительного.

* * *

Легендарный Ленин есть порождение глубокой монархической потребности, живущей во всяких массах вообще и тем более в сырых, детски наивных русских народных массах, с их нарушенным душевным равновесием, с их повышенным до болезненности воображением. Легендарный Ленин, вырастающий в «Красного Царя», есть социально-психологическое явление, подобное «самозванцам» XVII и XVIII вв., столь же уродливое и столь же причудливое.

Коммунистическая партия тщится народную легенду о Ленине превратить в настоящую пристойную (а если угодно совершенно непристойную) коммунистическую «традицию» и при помощи легенды эту традицию прочно внедрить в народное сознание. Здесь возникает для коммунистической партии труднейшая задача, чреватая огромной борьбой и великими неожиданностями и опасностями. Ибо не может подлежать сомнению, что легендарный Ленин есть какая-то не только причудливая, но и прямо фантастическая проекция реального основателя коммунистической партии в душах людей, которые никогда не были и не будут коммунистами, ниже социалистами, никогда не были и не будут интернационалистами. Проекция, или призрак, Ленина либо станет, как я сказал, «пристойной» коммунистической традицией и тогда потеряет свою ему сейчас присущую национальную соль, либо обратится против этой традиции и тем самым против коммунистической партии. В лице ленинской легенды большевизм может стать против коммунизма.

* * *

Я бы хотел еще отметить одно соотношение, существенное для исторического понимания большевистской революции и для политического осмысливания всего нами пережитого. В успехах и победах большевистского коммунизма огромную, можно сказать, решающую роль сыграло наше неверие в успехи коммунизма, наша неспособность и нежелание считаться с их возможностью и вероятностью. Ленин пришел к власти потому, что враги коммунизма не верили в его успех, ни, еще менее, в прочность этого успеха. В этом неверии, в этом «нечутком сне» и в этом невнимании к опасности большевизма со стороны его противников — самая главная ошибка, великое историческое заблуждение и, если угодно, преступление антибольшевиков. Это значение неверия, которое было

и непониманием, а тем самым известным пониманием, опровергает те трафаретные исторические объяснения, которые, если можно так выразиться, рационалистически исключают человеческую *ratio*, разум, или ведение, а также человеческое недомыслие и неведение из ряда «творящих» или «определяющих» историю сил. Летом 1917 г. Коммунистическому большевизму с относительной легкостью и с огромными шансами на успех не только главы правительства, сперва кн. Львов, а потом и Керенский, но, что еще более существенно, частные лица в порядке революционной инициативы могли нанести разительный и уничтожающий удар. И если они этого не сделали, то только потому, что не верили в силу и прочность коммунистической революции и не учитывали ее значения для всего будущего страны.

* * *

Независимо от вопросов, чем был реальный Ленин, какой смысл имеет легенда о Ленине и во что в истории обернется легендарный Ленин, ставится вопрос о подлинном смысле большевистской революции и утвержденного ею коммунистического владычества.

Коммунистическая власть раскрыла этот смысл в действии, глубоко символическом.

Санкт-Петербург, иначе град Св. Петра, иначе Петроград, переименован в Ленинград.

В этом символическом действии, сочетающем в себе дерзкую святотатственность с подлейшим и глупейшим хамством, сказано о деле Ленина самое главное и самое важное.

Ленин, как вершитель и организатор Коммунистического интернационала, оборвал традицию и разрушил дело Петра Великого, отбросив Россию как государство в XVII в. И сделал он это разрушительное дело сперва при явной поддержке внешнего врага, ведшего с нашим государством войну, а потом при более или менее откровенной или прикровенной поддержке того же дела всеми враждебными нам внешними силами.

Делом Ленина явилось умаление и расчленение Державы Российской. Ленин использовал безумие русских народных масс для того, чтобы на алтаре мировой социальной революции заклать Россию. Ибо, что ему было до России, он ведь не Петр, который, находясь в опасности плена, призывал Сенат думать не о Петре, а о России?!

В этом «призвании» Ленина к разрушению России и ее могущества — ключ к «признанию» русских коммунистов буржуазным миром. Локализованная Россией социальная революция, социальная революция как болезнь одной только России, на руку

тому миру, который враждебен могущественной и здоровой России, который целые столетия ненавидел ее, творя о ней ядовитую легенду.

Но в этом деле, т. е. в коммунистическом разрушении России и в его «признании» внешним некомунистическим миром, есть своя собственная разрушительная для разрушителей логика. С одной стороны, на разрушении нельзя ничего построить, а с другой стороны, те, кто проповедует, творит и поощряет разрушение, и не могут ничего строить. Они только притворяются строителями. Нельзя было произвести коммунистическую революцию в России только для того, чтобы превратить Россию в колонию для буржуазной Европы, управляемую в ее и в собственных интересах коммунистической партией. Действительный Ленин, творец Брест-Литовского мира и погромной демобилизации России в разгар войны, может превратиться в легенду о Ленине как «Красном Царе», но «коммунистическая партия» не может, без великого сдвига и разительного переворота, превратиться в националистическую легенду о самой себе.

А между тем у владычествующего над Россией коммунизма есть наследник и преемник, которого никакими ни заклинаниями, ни «признаниями», ни даже «демократиями» нельзя ни отвести, ни покорить. Это стихийный, в унижениях, страданиях и муках рождающийся и возрождающийся русский национализм.

Разве не примечательно и не замечательно, что коммунисты, преследуя своих врагов, походя обвиняют их в «государственной измене» и «шпионаже»? Люди, рожденные от пломбированного вагона и духа Интернационала, этими обвинениями сами готовят суд и гибель и себе, и своим воистину похабным инициалам СССР. Вопреки своей воле и они теперь вынуждены проповедовать и, пожалуй, даже исповедовать национализм, т. е. то начало, поправление которого, сознательное у одних, животное у других, составило содержание большевистско-коммунистической революции.

Какая же «партия» сменит коммунистов, не в порядке призрачной эволюции, призываемой и, может быть, пестуемой иностранцами, а в той Божьей грозе и буре, которая неотвратимо должна прийти для России?

У этой «партии» есть только одно имя: русская. И как русская, она не будет партией.

Апрель 1924 г.

Человек-легенда, или Легенда о Ленине*

Сталин по существу ничем не отличается от Ленина и не уступает ему. Он всецело его продолжает, действуя вполне в его духе.

Так же как Сталин, Ленин должен был бы отказаться от «нэпа», видя, что «нэп» пролагает путь не коммунизму, а тому свободно-му, основанному на собственности, хозяйству, которое принято называть «капиталистическим».

Так же как Сталин, Ленин привлекал инородцев раздроблением и разложением России. Но он так же обратился бы против всякого поползновения этих инородцев обойтись без коммунистическо-большевистской опеки.

Словом, будь Ленин жив, ход вещей в России и в остальном мире ни на йоту не изменился бы. Мысль — крушение большевизма приписывать «эпигонам» Ленина и во имя «эволюции» козырять авторитетом Ленина против Сталина есть мысль не только глупая и вздорная, но и зловредная, идущая навстречу образованию не-лепой и пагубной легенды о Ленине...

Сталин, который ликвидирует на спинах крестьянства, русского и инородческого, введённый Лениным под угрозой Кронштадта «нэп» («Нэп» провозглашён 16 марта, кронштадтское восстание ликвидировано 17 марта 1921 г.!), этот Сталин действует не только именем, но и в духе Ленина. И против дурацкой и лживой легенды о Ленине мы никогда не устанем утверждать и укреплять мысль об исторической ответственности этого первого и главного коммунистического мучителя и палача русского народа.

А. СУРКОВ**

Песня о Ленине (1932)

В серых потемках заводов и пашен
Слово твое разгоралось борьбой.

* Россия и славянство. 1929. № 51, 16 ноября.

** *Алексей Александрович Сурков* (1899–1983) — русский советский поэт и литературный критик, общественный деятель, педагог. Журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1969). Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1951). Батальонный комиссар (1941).

Наши надежды и ненависть нашу
Ты разбудил и повел за собой.

Ты проводил сквозь тюремные ночи
Ленинской гвардии славный отряд,
Первый нарком диктатуры рабочей,
Первый стальной командарм Октября.

Вел ты Республику к солнечной цели,
Сердце и жизнь отдавая борьбе,
В Горках под ропот январской метели
Смерть незаметно подкралась к тебе.

Шли мы в безмолвье за трауром флагов,
Шли молчаливые в скорбном пути
И над могилой давали присягу
Дело твое до конца довести...

Ленин (1948)

Если б мог он пройти по большим перепутьям отчизны,
Зорким взглядом окинуть деревни, поля, города,
Он увидел бы всюду края, пробуждённые к жизни,
И увидел людей, закалённых годами труда.

Если б мог он пройти по дорогам недавнего боя,
Там, где знамя его развевалось в огне и в дыму,
О великой победе, о славе народа-героя
Каждый куст по пути рассказал бы легенды ему.

Он увидел бы сёла, где люди под песню метели
Ладят плуги к весне и работа кипит, горяча,
Где полны закрома, где под кровлями хат заблестели
Светлой, солнечной россыпью звёздочки ламп Ильича.

Он услышал бы всюду своё сокровенное имя —
В Приамурской тайге, на Памире, в цехах под Москвой.
Он, бессмертный и мудрый, живёт между нами, живыми.
Негасимый пылает огонь его мысли живой.

Нас в пути осеняет Октябрьское красное знамя.
Миллионы встают и идут за отважными вслед.
Вот он, мир коммунизма, открытый для радости нами.
Мир свершённых надежд, молодая эпоха побед...

Песня о Ленине (1960)

В светлый праздник победы и в буднях труда,
Засевая поля, возводя города,
На советской земле, в государстве своём
Мы о Ленине песню поём.

Ленин — красное знамя бессмертных идей,
Ленин — факел в редющей мгле.
Ленин — вера, надежда и сила людей,
Коммунизм на счастливой земле.

Слово «Ленин» понятно на всех языках,
Знамя Ленина в сильных, надёжных руках.
Ленин вечно с народом, нетленный, живой,
Нашей армии клич боевой.

На просторах разбуженной бурей земли
Миллионы неправых в движение пришли.
Словом «Ленин» на верность и стойкость в бою
Коммунисты присягу дают.

Будет время — в сраженьях сильны и смелы —
Все народы земли разобьют кандалы,
И за нами, за ленинской гвардией, вслед
Встанет мир на дорогу побед!

Ленин — красное знамя бессмертных идей,
Ленин — факел в редющей мгле.
Ленин — вера, надежда и сила людей,
Коммунизм на счастливой земле...

А. ТВАРДОВСКИЙ*

Ленин и печник (1938–1940)

По преданию

В Горках знал его любой,
Старики на сходку звали,
Дети — попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.
Был он болен. Выходил
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится, любил
Поздороваться душевно.
За версту — как шёл пешком —
Мог его узнать бы каждый.
Только случай с печником
Вышел вот какой однажды.
Видит издали печник,
Видит: кто-то незнакомый
По лугу по заливному
Без дороги — напрямик.
А печник и рад отчасти, —
По-хозяйски руку в бок, —
Ведь при царской, прежней власти
Пофорсить он разве мог?
Грядка луку в огороде,
Сажень улицы в селе, —
Никаких иных угодий
Не имел он на земле...
— Эй, ты, кто там ходит лугом!
Кто велел топтать покос?! —
Да сплеча на всю округу
И поехал, и понёс.
Разошёлся.
 А прохожий
Улыбнулся, кепку снял.
— Хорошо ругаться можешь! —
Только это и сказал.

* Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) — русский советский писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент. Главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954 и 1958–1970). Автор поэмы «Василий Теркин» (1942–1945).

Постоял ещё немного —
Дескать, что ж, прости, отец,
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.
Но печник — душа живая, —
Знай меня, не лыком шит! —
Припугнуть ещё желая:
— Как фамилия? — кричит.
Тот вздохнул, пожал плечами,
Лысый, ростом невелик.
— Ленин, — просто отвечает.
— Ленин? — Тут и сел старик...

День за днём проходит лето.
Осень с хлебом на порог,
И никак про случай этот
Позабить печник не мог.
А по свежей по пороше
Вдруг к избушке печника
На коне, в возке хорошем —
Два военных седока.

Заметалась беспокойно
У окошка вся семья.
Входят гости:
— Вы такой-то? —
Свесил руки:
— Вот он я...
— Собирайтесь! —
 Взял он шубу,
Не найдёт, где рукава.
А жена ему:
— За грубость,
За свои идёшь слова...—
Сразу в слёзы непременно,
К мужней шубе — головой.
— Попрошу, — сказал военный, —
Ваш инструмент взять с собой.
Скрылась хата за пригорком.
Мчатся санки напрямиком.
Поворот, усадьба Горки,
Сад, подворье, белый дом.
В доме пусто, нелюдимо,

Ни котёнка не видать.
Тянет стужей, пахнет дымом —
Ну овин — ни дать ни взять.
Только сел печник в гостиной,
Только на пол свой мешок —
Вдруг шаги, и дом пустынный
Ожил весь, и на порог —
Сам, такой же, тот прохожий.
Печника тотчас узнал.
— Хорошо ругаться можешь, —
Поздоровавшись, сказал.

И вдобавок ни словечка,
Словно всё, что было, — прочь. —
Вот совсем не греет печка.
И дымит. Нельзя ль помочь?

Крякнул мастер осторожно,
Краской густо залился.
— То есть как же так нельзя?
То есть вот как даже можно!..
Сразу шубу с плеч — рывком,
Достаёт инструмент. — Ну-ка... —
Печь голландскую кругом,
Точно доктор, всю обстукал.
В чём причина, в чём беда,
Догадался — и за дело.
Закипела тут вода,
Глина свежая поспела.
Всё нашлось — песок, кирпич,
И спорится труд, как надо.
Тут печник, а там Ильич,
За стеною пишет рядом.
И, привычная, легка
Печнику работа.
Отличиться велика
У него охота.
Только будь, Ильич, здоров,
Сладим любо-милу,
Чтоб, каких ни сунуть дров,
Грела, не дымила,

Чтоб в тепле писать тебе

Все твои бумаги,
Чтобы ветер пел в трубе
От весёлой тяги.
Тяга слабая сейчас —
Дело поправимо,
Дело это — плюнуть раз,
Друг ты наш любимый...
Так он думает, кладёт
Кирпичи по струнке ровно.
Мастерит легко, любовно,
Словно песенку поёт...
Печь исправлена. Под вечер
В ней защёлкали дрова.
Тут и вышел Ленин к печи
И сказал свои слова.
Он сказал, — тех слов дороже
Не слышал ещё печник:
— Хорошо работать можешь,
Очень хорошо, старик.
И у мастера от пыли
Зачесались вдруг глаза.
Ну, а руки в глине были —
Значит, вытереть нельзя.

В горле где-то всё запнулось,
Что хотел сказать в ответ,
А когда слеза смигнулась,
Посмотрел — его уж нет...
За столом сидели вместе,
Пили чай, велася речь
По порядку, честь по чести,
Про дела, про ту же печь.
Успокоившись немного,
Разогревшись за столом,
Приступил старик с тревогой
К разговору об ином.
Мол, за добрым угощением
Умолчать я не могу,
Мол, прошу, Ильич, прощенья
За ошибку на лугу.
Сознаю свою ошибку...
Только Ленин перебил.
— Вон ты что, — сказал с улыбкой, —

Я про то давно забыл...
По морозцу мастер вышел,
Оглянулся не спеша:
Дым столбом стоит над крышей —
То-то тяга хороша!
Счастлив, доверху доволен,
Как идёт — не чует сам.
Старым садом, белым полем
На деревню зачесал...
Не спала жена, встречает:
— Где ты, как? — душа горит...
— Да у Ленина за чаем
Засиделся, — говорит...

Н. ТИХОНОВ*

«Июль девятнадцатый, год двадцатый...»

* * *

Июль девятнадцатый, год двадцатый,
Дворцовая площадь, по ней идет
Всех цветов кожи, замысловатый,
Интернациональный народ.
То делегаты Второго конгресса,
Шагая, глядят на громаду дворца,
Точно лишённую силы и веса,
Как этот ангел, что смотрит с отвеса
На равнодушную плоскость торца.
Все удивительно здесь делегатам:
Древней квадриги над Аркой полет,
Ходит рабочий по царским палатам,
Ленин по площади с ними идет.
Видит, шагая, он дальние ночи,
Тусклые светы рабочих трущоб,

* *Николай Семёнович Тихонов* (1896–1979) — русский советский поэт, прозаик и публицист, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1966). Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957), Ленинской премии (1970) и трёх Сталинских премий первой степени (1942, 1949, 1952).

Там, где кружки собирались рабочих,
Где он учил их, учился, пророчил,
Где о Победе мечталось еще.
Слышит слова иноземца собрату:
— Чувствуй, товарищ! Идем не во сне,
Здесь дело сделано. Точная дата!
Нам бы такую в своей бы стране...
Да, эта площадь, дворец, эта арка
Вписаны в нового века размах,
И от дыханья истории жарко
Нынче на хладных Невы берегах.
Вижу: уверен он, тверд и спокоен,
Слышу: народ приутих, не шумит,
Только лишь чайки кричат над рекою,
Он на трибуне, и он говорит.
Он говорит человечества ради,
Ради грядущего, об Октябре,
В этот последний приезд в Петрограде,
Перед дворцом, на вечерней заре

Апрельский вечер (1966)

Поздним весенним вечером, третьего апреля тысяча девятьсот семнадцатого года, на второй день пасхи, студент Петроградского университета Анатолий Оршевский шел из гостей — от приятеля своего, тоже студента — Василия Шахова, с которым он спорил весь вечер.

Сначала шел спор за общим столом, где была и праздничная закуска, и водка, а потом этот спор продолжался уже в комнатке Василия, и конца ему не предвиделось. Потом они оба враз прервали спор, засмеялись и Шахов воскликнул:

— Мы же с тобой приятели, не разлей водой — ну, к чему мы так яростно спорим?

— Сейчас спорят все в России. Посмотри, спорят на улицах, на митингах, в домах, спорят бедные и богатые, спорят и в правительстве и в Совете, рабочие и солдаты, крестьяне, все кричат. Не кричать нельзя. Как будет дальше жить Россия, куда пойдет?

— Мы, кажется, опять начинаем все сначала! — ответил, горячась, Шахов. — Ждали мы, ждали, чтобы Романовых свергнуть. Свергли. Народный праздник — все ликовали, от мала до велика. Есть у нас Временное правительство, и с ним согласен и Совет рабочих и солдат. Власть есть, значит, будет и порядок...

— Подожди, дорогой Вася, послушай. Какой же порядок, когда твои министры-капиталисты ничего не делают для народа...

— Как, разве они не у власти?

— Они-то у власти, а смотри, второй месяц революции, а главного нет и в помине?

— Что ты называешь главным?

— Войну надо кончать, а они только что подтвердили: «Война до победного конца!» Крестьянам нужно землю, а они что объявили — удельную землю передали в министерство земледелия, а кому она достанется и когда — неизвестно. Куда же они поведут нас?

— Но Родзянко — опытный политик, председатель Государственной думы!

— Что он, по-твоему, за народ? Смешно, ей-богу!

— Но Керенский, как он говорит, как зажигает своими речами! Как громит старый режим!

— Твой Керенский — адвокат! Это одни слова, слова... А что будет дальше? Надолго их хватит, твоих временных... капиталистов!

— Но подожди, я же сказал тебе, что с ними вместе заодно рабочий и солдатский Совет?

— Знаешь, Вася, — сказал решительно Анатолий. — Я не разбираюсь хорошо в партиях, там и меньшевики, и эсеры, и анархисты, и большевики, но одно скажу, что не понимаю, почему рабочим и солдатам по пути с Временным правительством! Да в самом деле — почему?

Так он шел сейчас домой и мучительно думал, почему получилась такая страшная неразбериха и почему министры, которых справедливо называют министрами-капиталистами, неизвестно куда ведут страну...

Конечно, в те дни в своих мучительных поисках он был не одинок. Действительно, кипела вся страна, а уж о революционном Петрограде и говорить нечего. Вот и сейчас. Праздничный день. Второй день широкого русского праздника — пасхи. Заводы не работают, даже трамваи стоят, а откуда идут эти толпы, эти огромные массы рабочих? Идут, как на демонстрацию, с красными стягами, с песнями, идут и едут на грузовиках. Много людей по-праздничному одетых, много солдат, которые движутся стройными рядами, не очень стройными, но строятся и соединяются с рабочими колоннами. Что тут происходит?

Он сначала, занятый своими мыслями, только проталкивался, но потом уже и проталкиваться стало трудно, потому что колонны занимали места плотно друг к другу, и скоро площадь перед вокзалом была так переполнена, что подъезжавшие грузовики уже не уходили, а оставались среди пришедших. Это море челове-

ских голов колыхалось все время, потому что надо было давать пройти к вокзалу новым и новым демонстрантам. Что происходит? Финляндский скромный вокзал, видимо, ждал чьего-то приезда?

Теперь Анатолием Оршевским владела другая мысль: увидеть предстоящее событие. Что это будет важное событие, видно было по волнению собравшихся, по шуму голосов, что-то выкрикивавших, как бы приготавливаясь кого-то могуче приветствовать. Вдруг над площадью проносилась революционная песня, которую пели недружно, но громко и уверенно. Анатолий понял, что он не пробьется через площадь, и он стал искать места, откуда бы лучше увидеть вход в вокзал. Он нашел грузовик, с которого то слезали, то снова влезали люди. За грузовиком был удобный выступ стены, и в тесноте, достигнув его, он, прижатый к выступу, вскарабкался на него.

Новое оживление было вызвано продвижением моряков, которые, чернея в толпе своими бушлатами и сверкая оружием, проходили в вокзал. Потом стали разворачиваться броневики, чтобы занять нужные им места. Время шло незаметно. Анатолий вслушивался в громкие разговоры, которые слышались вокруг. Кто-то воскликнул: «Будем ждать все равно, хоть всю ночь будем ждать!» Другой голос ответил: «Да нет, говорят, уже Белоостров проехал, а тут уже рукой подать!»

Неожиданно на площади стало светло. Какие-то солдаты из инженерных войск привезли с собой прожекторы.

Анатолий испытывал странное чувство. Он много видел за дни Февральской революции сцен, самых разных, от восторженных до трагических, когда под пулями последних слуг старого режима падали люди, видел митинги и собрания, где бушевали страсти, но тут, в этом скоплении народа, было что-то новое, необыкновенное.

Само ожидание, такое взволнованное и глубоко душевное, какое-то единство, скреплявшее эти бесконечные ряды людей, готовых ждать, не считаясь со временем, появления кого-то, кто, еще не появившись, имеет такую привлекательную силу, что тысячи готовы его поднять на руки, одно это ожидание, затянувшееся на долгие часы, уже настраивало на торжественный и вместе с тем боевой лад.

Дело шло не о красивых словах, революционных фразах, а о чем-то очень серьезном, что может стать судьбой, сражением, переломом истерии.

Много раз повторялось одно имя, и это имя производило на молодого студента сложное впечатление. Это имя он уже слышал. О его носителе иные говорили, как о явлении чуть не враждебном

народу, но почему же народ пришел встречать его с такой любовью и доверием? Что объединило солдат, рабочих, матросов, женщин, пожилых людей, молодежь на этой встрече?

Мысли путались в голове Анатолия, но ясно было одно. Он — свидетель необыкновенного, пусть он еще не разобрался в положении, но стоит увидеть то, что сейчас произойдет. Наступили времена каких-то новых устремлений, и надо посмотреть в лицо будущему, отвергнув все маски, которые окружают тебя и тащат в разные стороны. Он первый раз в жизни чувствовал себя в глубине народных масс, и ему было приятно это ощущение, потому что ничего наигранного, ничего ложного здесь, на этой площади, не было. Здесь все дышало жизнью, большими чувствами, великими надеждами.

В двенадцатом часу где-то темноту прорвал гудок, оркестры заиграли все сразу, был слышен шум и свист подошедшего поезда. Клубы дыма вырвались из вокзала. Площадь то замирала до почти полной тишины, то снова начинала наполняться гулом многих голосов.

— Идет! Идет! — раздалось откуда-то от вокзала, но, даже вытянув голову, Анатолий не мог ничего увидеть, кроме группы людей, которая вышла из вокзала и сразу утонула в народной волне. Но площадь, ярко освещенная прожекторами и факелами, осененная знаменами и плакатами, гремела «ура» и под гром оркестров кричала: «Ленин! Ленин! Привет Ленину! Да здравствует революция!»

Как-то вдруг, точно по невидимому сигналу, все стихло, и Анатолий не видел, как Ленин вышел из вокзала на площадь, но когда он поднялся на броневик, он стал отчетливо виден всем, кто был близко.

Ленин был в демисезонном пальто и сером костюме. Он стоял на броневике и, вытянув руку к народу, громко говорил, но только отдельные фразы можно было слышать, хотя слушали внимательно, затаив дыхание. Постепенно из отрывочных фраз складывалось нечто, что доходило до сердец слушавших, и совсем отчетливо услышал Анатолий, как он бросил, как факел, последнюю фразу: «Да здравствует социалистическая революция!»

С народом творилось нечто поразительное. Как будто кто вдохнул в него волну такой энергии, что теперь-то уже нельзя стоять спокойно. Теперь надо двигаться, теперь надо идти вперед. И невиданное шествие действительно двинулось.

Вся площадь как бы повернулась в одну сторону, и, провожаемый криками и шумомдвигающихся тысяч, Ленин еще некоторое время виднелся на броневике, который уже тронулся в путь,

но потом сошел с него и, чего Анатолий тогда не знал, сел рядом с водителем, и броневик направился к Финляндскому переулку.

В большой суматохе перестроения машин и колонн Анатолию удалось перескочить с выступа на грузовик и втесниться в стоящую на грузовике толпу, уже ни на что не обращающую внимания, кроме как на броневик, который шел впереди.

Теперь начался второй поражающий акт исторической эпопеи этого вечера. Этот удивительный путь входил в глаза отдельными картинами небывалого шествия. Впереди медленно двигался броневик. За ним, уходя в темноту, виднелись несчетные головы, знамена, штыки, броневики, факелы.

Не было конца этому потоку, который останавливался на несколько минут, когда останавливался передовой броневик и Ленин, стоя на подножке, держась за открытую дверь или выходя на улицу, выступал с краткой речью или просто говорил слова приветствия. Открывались окна в домах. Удивленные люди высовывались из окон, прохожие останавливались, пораженные зрелищем.

При появлении Ленина из всех колонн снова гремели приветствия, в воздух кидали шапки и кепки, подымали винтовки, и в ответ идущим сверкали штыки поднятых винтовок у солдат, стоявших по пути вдоль улиц.

Анатолий был потрясен всем виденным. Ночь, а была уже ночь, преобразила лица. Он с захватывающим дух интересом смотрел на этих людей, живших в одном с ним городе, но он никогда не видел таких лиц.

Из тьмы выступали освещенные прожекторами, факелами, фонарями незабываемые лица, на которых можно было прочесть отважную уверенность, беспощадность к врагам революции, восторг, суровую нежность людей, охраняющих самое для них дорогое.

Во всем этом шествии, в поступи многих тысяч, в тяжелом шуме их ног, в говоре, напоминавшем шум большого, встревоженного леса, в песнях, которые вспыхивали, подобно тем факелам, что освещали идущих, было нечто от эпических времен, когда слово «народ» не требует уточнений.

Одно дыхание, одна мысль, одно чувство владела этой массой, двигавшейся через город с торжественной и угрожающей медленностью. Кому же угрожала эта масса, прожигая огнями ночь и сверкая оружием?

Она угрожала тем силам, которые прятались в окружающей темноте, злобно всматриваясь в неповторимое шествие, и готовились, подсчитав свои возможности, завтра же броситься, чтобы остановить, отбросить, разгромить этих людей, так уверенно идущих вперед, в будущее.

В этих людях жила радость, потому что начало новых дней уже было рядом с ними, в них. Революция должна была подняться на высшую ступень, а тревожное волнение росло потому, что было ясно: понадобятся новые жертвы, новые, решающие бои, когда кровь обогривит улицы старого города на Неве.

Это шествие было таким красочным, таким впечатляющим еще и потому, что в нем соединились все те, кто давно, еще с юности, стал под знамена революции, кто шел за Лениным, кто завтра будет драться за Октябрьскую революцию на всех фронтах, кто начнет строительство небывалого в мире рабоче-крестьянского государства, кто кинет вызов всему старому миру и понесет пламя победных знамен до границ старой империи.

Всего этого не мог знать и чувствовать Анатолий Оршевский, студент Петроградского университета. Когда он вскочил в грузовик, но где-то в глубине сознания отметил, что ему просто по дороге к дому удобно включиться в маршрут этого народного шествия (он жил на Лахтинской улице). По мере же разворачивавшихся ночных картин, встреч и выступлений Ленина на так хорошо знакомых местах, как угол Новгородской и Боткинской, на Сампсониевском проспекте, на Оренбургской улице, на Большой Вульфовой, он уже чувствовал, что именно ему по дороге с этим народом, идущим так, точно никогда не кончится это шествие.

Ему казалось, что начинается нечто невиданно новое в истории этого многовидевшего, многоиспытывавшего города, но что главное еще впереди и он — простой, скромный человек, маленький студент, будет участником чего-то невероятно грандиозного.

Это заражало его волнением, которому пока не было объяснения. Он мог бы только сказать, что он уверовал в то, ему до сих пор неизвестное, что собрало людей на площадь, оторвав их от праздничного отдыха, от своих жилищ, где можно было встречать пасху по старинке, оторвало от всего, что было прошлым, и направило по неизвестному, но героическому пути за этим человеком в демисезонном пальто. Лица выступавшего он не успел хорошо разобрать, но на всю жизнь запомнил его жест и его краткую заклинательную пророческую речь!

И он все смотрел и смотрел и не мог насмотреться...

Утром к нему пришел еще друг и постоянный спорщик Василий Шахов. Он сразу сказал:

— Есть новости, специально для спора. Будем спорить сейчас или посидим и поговорим просто о жизни?..

— Нет, спорить не будем, — ответил почти надменно Анатолий.

— Почему?

— Потому что я спорил в поисках будущего. Теперь я нашел, что искал...

— Что же это такое — не секрет?

— Какой секрет! Об этом весь мир уже, наверное, трубит. Ты знаешь, что я по своей специальности — химик, но я люблю и музыку. Химики любят проверять небесной гармонией свои земные формулы. Но ты знаешь, что я занимаюсь и рисованием. Для себя. Так вот я тебе сейчас кое-что нарисую...

— Интересно, неожиданный поворот, — заметил Василий. — Ну, рисуй!

Анатолий взял тушь, лист бумаги и быстро набросал какой-то чертеж, но нет, это был, конечно, не чертеж...

— Позволь, — сказал Василий, — по-видимому, да не по-видимому, а точно, я не ошибаюсь — это броневик?

— Он самый. А теперь...

Василий смотрел растерянно, как на башне броневика выростала фигура с протянутой вперед рукой, как будто обращенной в большое пространство.

— Броневик вижу, — сказал Шахов, — а кто же это с протянутой рукой? И что за речь он держит?

— Что за речь? Слушай вкратце: «То, что мы совершили, — еще не полная победа. Победа будет впереди. Это еще не та революция, пролетарская революция должна быть впереди, социалистическая революция!»

— Постой, постой! — воскликнул Шахов. — Да это ты же Ленина нарисовал. Это он вчера с броневика у Финляндского вокзала говорил. Ну что ты, кто же пойдет за ним?! Ты видел сам-то его?

— Да! Я видел сам, и я тебе скажу — за ним шел вчера весь народ, все питерцы — и рабочие, и солдаты, и матросы, и женщины, и старики, и подростки вчера шли, а завтра пойдет вся Россия!

— Ты уверен? — нерешительно сказал Шахов. — Почему пойдет за ним?

— Потому что он единственный, может быть, человек сегодня в России, который знает настоящий путь! И я хочу идти этим путем!

— Как же так? — уже растерянно сказал Шахов. — Ты жил, не гадал, вдруг какое-то чудо. Один вечер, и все ясно. Разве так бывает?

— Бывает, ты сам сказал хорошо про чудо. Да, это чудо одного апрельского вечера, и это чудо повернуло не только мою жизнь, а может, и жизнь всей России, а может, и пошире...

Чудо этого апрельского вечера Анатолий Оршевский хранил в памяти до самой смерти. Он погиб на фронте в рядах Красной Армии в 1918 году.

Т. ТОЛСТАЯ***Сюжет**

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

Блок

И долго буду тем любезен я народу...

Пушкин

Допустим, в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке, некая рядовая, непоэтическая птичка Божия, спугнутая с еловых веток возней и топтанием в голубоватом снегу, какает на длань злодея. Кляк!

Рука, естественно, дергается произвольно; выстрел, Пушкин падает. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, он целится, стреляет в ответ; падает и Дантес; «славный выстрел», — смеется поэт. Секунданты увозят его, полубессознательного; в бреду он все бормочет, все словно хочет что-то спросить.

Слухи о дуэли разносятся быстро: Дантес убит, Пушкин ранен в грудь. Наталья Николаевна в истерике, Николай в ярости; русское общество быстро разделяется на партию убитого и партию раненого; есть чем скрасить зиму, о чем поболтать между мазуркой и полькой. Дамы с вызовом вплетают траурные ленточки в кружева. Барышни любопытствуют и воображают звездообразную рану; впрочем, слово «грудь» кажется им неприличным. Меж тем, Пушкин в забытьи, Пушкин в жару, мечется и бредит; Даль все таскает и таскает в дом моченую морошку, силясь пропихнуть горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца, Василий Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь, для собравшейся и не расходящейся толпы; легкое прострелено, кость гноится, запах ужасен (карболка, сулема, спирт, эфир, прижигание, кровопускание?), боль невыносима, и старые друзья-доброхоты, ветераны двенадцатого года, рассказывают, что это как огонь и непрекращающаяся пальба в теле, как разрывы тысячи ядер, и советуют пить пунш и еще раз пунш: отвлекает.

Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие мелким и жестким кустарником,

* *Татьяна Никитична Толстая* (р. 1951) — российская писательница, публицист, литературный критик. Автор сборников рассказов «На золотом крыльце сидели...», «Любишь — не любишь», «Реска Оккервиль», «День», «Ночь», «Изюм», «Круг», «Белые стены» и др.

один в вышине, топот медных копыт, карла в красном колпаке, Грибоедовская телега, ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод — кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб — Даль? — Даль. Даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит, — к чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор? — шотландская луна льет печальный свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой и могоучей, до небес, морошкой; прекрасная калмычка, неистово, туберкулезно кашляя, — тварь дрожащая или право имеет? — переламывает над его головой зеленую палочку — гражданская казнь; что ты шьешь, калмычка? — Портка. — Кому? — Себя. Еще ты дремлешь, друг прелестный? Не спи, вставай, кудрявая! Бесмысленный и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с железом, и свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца, и мальчики кровавые в глазах. Расстрелять, — тихо и убежденно говорит он, — ибо я перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не волк я по крови своей: и в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть. Встал, жену убил, сонных зарубил своих малюток. Гул затих, я вышел на подмости, я вышел рано, до звезды, был, да весь вышел, из дому вышел человек с дубинкой и мешком. Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой сапоги, в сапогах дневники. Так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело. Дневник писателя. Записки сумасшедшего. Записки из Мертвого дома. Ученые записки Географического общества. Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в кармане, впереди неясен путь. Что ты там строишь, кому? Это, барин, дом казенный, Александровский централ. И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое. И назовет меня всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью по улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под устриц, шср ыеукиу, — не тот это город, и полночь не та. Много разбойники пролили крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай меня... Р, О, С, — нет, я букв не различаю... И понял вдруг, что я в аду.

«Битая посуда два века живет!» — кричат Василий Андреевич, помогая тащить измятые простыни из-под выздоравливающего. Все норовит сделать сам, суетится, путается у слуг под ногами, — любит. «А вот бульончику!» Черта ли в нем, в бульончике, но вот хлопоты о царской милости, но вот всемиловистейшее прощение за недозволенный поединок, но интриги, лукавство, притворные

придворные вздохи, всеподданнейшие записки и бесконечная езда взад-вперед на извозчике, «а доложи-ка, братец...» Мастер!

Василий Андреевич сияет: выхлопотал-таки победившему ученику ссылку в Михайловское — только лишь, только лишь! Сосновый воздух, просторы, недалние прогулки, а подзаживет простреленная грудь — и в речке поплавать можно! И — «молчи, молчи, голубчик, доктора тебе разговаривать не велят, все потом! Все путем. Все образуется».

Конечно, конечно же, вой волков и бой часов, долгие зимние вечера при свече, слезливая скука Натальи Николаевны, — сначала испуганные вопли у одра болящего, потом уныние, попреки, нытье, слоняние из комнаты в комнату, зевота, битье детей и прислуги, капризы, истерики, утрата рюмочной талии, первая седина в нечесанной пряди, и каково же, господа, поутру, отхаркивая и сплевывая набегающую мокроту, глядеть в окно, как по свежевыпавшему снегу друг милый в обрезанных валенках, с хворостиной в руке, гоняется за козой, объедавшей сухие стебли засохших цветов, торчащие там и сям с прошлого лета! Синие дохлые мухи валяются между стекол — велеть убрать.

Денег нет. Дети — балбесы. Когда дороги нам исправят?.. — Никогда. Держу пари на десять погребов шампанского «брют» — ни-ко-гда. И не жди, не будет. «Пушкин исписался», — щебечут дамы, старея и оплывая. Впрочем, новые литераторы, кажется, тоже имеют своеобразные взгляды на словесность — невыносимо прикладные. Меланхолический поручик Лермонтов подавал кое-какие надежды, но погиб в глупой драке. Молодой Тютчев неплох, хоть и холодноват. Кто еще пишет стихи? Никто. Пишет возмутительные стихи Пушкин, но не наводняет ими Россию, а жжет на свечке, ибо надзор, господа, круглосуточный. Еще он пишет прозу, которую никто не хочет читать, ибо она суха и точна, а эпоха требует жалостливости и вульгарности (думал, что этому слову вряд ли быть у нас в чести, а вот ошибся, да как ошибся!), и вот уже кровохаркающий невротик Виссарион и безобразный виршеплет Некрасов, — так, кажется? — наперегонки несутся по утренним улицам к припадочному разночинцу (слово-то какое!): «Да вы понимаете ль сами-то, что вы такое написали?»...А впрочем, все это смутно и суетно, и едва проходит по краю сознания. Да, вернулись из глубины сибирских руд, из цепей и оков старинные знакомцы: не узнать, и не в белых бородах дело, а в разговорах: неясных, как из-под воды, как если бы утопленники, в зеленых водорослях, стучались под окном и у ворот. Да, освободили крестьянина, и теперь он, проходя мимо, смотрит нагло и намекает на что-то разбойное. Молодежь ужасна и оскорбительна: «Сапоги

выше Пушкина!» — «Дельно!». Девушки отрезали волосы, походят на дворовых мальчишек и толкуют о правах: ышт Вшуг! Гоголь умер, предварительно спятив. Граф Толстой напечатал отличные рассказы, но на письмо не ответил. Щенок! Память слабеет... Надзор давно снят, но ехать никуда не хочется. По утрам мучает надсадный кашель. Денег все нет. И надо, кряхтя, заканчивать наконец, — сколько же можно тянуть — историю Пугачева, труд, облюбованный еще в незапамятные годы, но все не отпускающий, все тянувший к себе — открывают запретные прежде архивы, и там, в архивах, завораживающая новизна, словно не прошлое приоткрылось, а будущее, что-то смутно брезжившее и проступавшее неясными контурами в горячечном мозгу, — тогда еще, давно, когда лежал, простреленный навывлет этим, как бишь его? — забыл; из-за чего? — забыл. Как будто неопределенность приотворилась в темноте.

Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися глазами, с трясущейся головой, маленький и кривоногий, белый как вата, но все еще густоволосый и курчавый, припадающий на клюку, собирается Пушкин в дорогу. На Волгу. Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, имеющие касательство к разбойнику. Дневники. Письмо. Но только из рук: очень ценные. Занятно, должно быть. «Куда собрался, дурачина!» — ворчит Наталья Николаевна. — «Сидел бы дома». Не понимает драгоценность трудов исторических. Не спорить с ней, — это бесполезно, а делать свое дело, как тогда, когда стрелялся с этим... как его?.. черт. Забыл.

Зима. Метель.

Маленький приволжский городок занесен снегом, ноги скользят, поземка посвистывает, а сверху еще валит и валит. Тяжело волочить ноги. Вот... приехал... Зачем? В сущности (как теперь принято выражаться), — зачем? Жизнь прошла. Все понять тебя хочу, смысла я в тебе ишу. Нашел ли? Нет. И теперь уже вряд ли. Времени не остается. Как оно летит... Давно ли писал: «Выстрел»?.. Давно ли: «Метель»?.. «Гробовщик»?.. Кто это помнит теперь, кто читает старика? Скоро восемьдесят. Мастодронт. Молодые кричат: «К топору!», молодые требуют действия. Жалкие! Как будто действие может что-то переменить?.. Вернуть?.. Остановить?.. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлый и мрак грядущий, и вздымается стиснутая предчувствием близкого конца надсаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось... ножка, головка, убор, тенистые аллеи... и этот, как его...

Бабах! Скверный мальчишка со всего размаху всаживает снежок-ледышку в старческий затылок. Какая боль! Сквозь туман,

застилающий глаза, старик, изумленно и гневно обернувшись, едва различает прищуренные калмыцкие глазенки, хохочущий щербатый рот, соплю, прихваченную морозцем. «Обезьяна!» — радостно вопит мальчонка, приплясывая. — «Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна!»

Вспомнил, как звали! Дантес! Мерзавец! Скотина... Сознание двоится, но рука еще крепка! И Пушкин, вскипая в последний, предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой — наотмашь, по маленькой рыжеватой головке негодяя, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам, — по чему попало. Вот тебе, вот тебе! За обезьяну, за лицей, за Ванечку Пущина, за Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, за вертоград моей сестры, за сожженные стихи, за свет очей моих — Карамзину, за Черную речку, за все! Вурдалак! За Санкт-Петербург!!! За все, чему нельзя помочь!!!

«Володя, Володя!» — обеспокоенно кричат из-за забора. «Безобразие какое!» — опасливо возмущаются собирающиеся прохожие. «Правильно, учить надо этих хулиганов!.. Как можно, — ребенка... Урядника позовите... Господа, разойдитесь!.. Толпиться не допускается! Но Пушкин уже ничего не слышит, и кровь густеет на снегу, и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом и белой головой.

Соседи какое-то время судачат о том, что сына Ульяновых заезжий арап отлупил палкой по голове, — либералы возмущены, но указывают, что скоро придет настоящий день, и что всего темней перед восходом солнца, консервативные же господа злорадничают: давно пора, на всю Россию разбойник рос. Впрочем, мальчонка, провалявшись недельку в постели, приходит в себя и, помимо синяков, видимых повреждений на нем не заметно, а в чем-то битье вроде бы идет и на пользу. Так же картавит (Мария-то Александровна втайне надеялась, что это исправится, как бывает с заиканием, но — нет, не исправилось), так же отрывает ноги игрушечным лошадам (правда, стал большой аккуратист и, оторвав, после непременно приклеит на прежнее место,) так же прилежен в ученьи (из латыни — пять, из алгебры — пять), и даже нравом вроде бы стал поспокойнее: если раньше нет-нет да и разобьет хрустальную вазу или стащит мясной пирог, чтобы съесть в шалаше с прачкиными детьми, а то, бывало, и соврет — а глазенки ясные-ясные! — то теперь не то. Скажем, соберется Мария Александровна в Казань к сестре, а Илья Николаевич в дальнем уезде с инспекцией — на кого детей оставить? Раньше, бывало, кухарка предлагает: я, мол, тут без вас управлюсь, — а Володенька и рад. Теперь же выступит вперед, ножкой топнет, и звонко так:

«Не бывать этому никогда!» И разумно так все разберет, рассудит и представит, почему кухарка управлять не может. Одно удовольствие слушать. С дворовыми ребятами совсем перестал водиться. Носик воротит: дескать, вши с них на дворянина переползти могут. (Прежде живность любил: наловит вшей в коробочку, а то блох или клопов, и наблюдает. Закономерность, говорит, хочу выявить. Должна непременно быть закономерность.) Теперь если где грязь увидит — сразу личико такое брезгливое делается. И руки стал чаще мыть. Как-то шли мимо нищие на богомолье, остановились, как водится, загнусавили — милостыню просят. Володенька на крыльцо вышел, ручкой эдак надменно махнул: «Всяк сверчок знай свой шесток!» — высказался. — «Проходите!.. Ходоки нашлись...» Те рты закрыли, котомки подхватили, и давай Бог ноги...

А как-то раз старшие, шутки ради, затеяли домашний журнал, и название придумали вроде как прогрессивное, с подковыркой: «Искра». Смеху!.. Передовую потешную составили, международный отдел — «из-за границы пишут...», ну, и юмор, конечно. Намеки допустили... Володенька дознался, пришел в детскую такой важный, серьезный, и ну сразу: «А властями дозволено? А нет ли противуречия порядку в Отечестве? А не усматривается ли самоволие?» И тоже вроде в шутку, а в голосишке-то металл...

Мария Александровна не нарадуется на средненького. Поверяет дневнику тайные свои материнские радости и огорчения: Сашенька тревожит, — буйн, младшие туповаты, зато Володенька, рыженький, — отрада и опора. А когда случилась беда с Сашенькой — дерзнул преступить закон и связался с социалистами, занес руку — на кого? — страшно вымолвить, но ведь и материнское сердце не камень, ведь поймите, господа, ведь мать же, мать! — кто помог, поддержал, утешил в страшную минуту, как не Володенька? «Мы пойдем другим путем, маменька!» — твердо так заявил. И точно: еще больше приналег на ученье, баловства со всякими там идеями не допускал ни на минуточку, да и других одергивал, а если замечал в товарищах наималейшие шатания и нетвердость в верности царю и Отечеству, то сам, надев фуражечку на редееющие волоски, отправлялся и докладывал куда следует.

Илья Николаевич помер. Перебрались в столицу. Жили небогато. Володечка покуривать начал. Мария Александровна заикнулась было: Володя, ведь это здоровье губить, да и деньги?.. — Володечка как зарет: «Ма-алча-ать! Не смей рассуждать!!!» — даже напугал. И с тех пор курил только дорогие сигары: в пику матери. Робела, помалкивала. Ликеры тоже любил дороге, французские. На женщин стал заглядываться. По субботам к мадамкам ездил. Записочку шутовскую оставит: «ушел в подполье», возвращается

навеселе. Мать страшилась, все-таки докторова дочка, — «Вовочка, ты там поосторожнее, я все понимаю, ну а вдруг люэс?.. Носик провалится!» — «Не тревожьтесь, маман, есть такое архинадежное французское изобретение — гондон!» Любил Оффенбаха оперетки слушать: «нечеловеческая музыка, понимаете ли вы это, мамахен? Из театра на лихаче едешь — так и хочется извозчика, скотину, побить по головке: зачем музыки не понимает?» Квартиру завел хорошую. Обставил мебелью модной, плюшевой, с помпончиками. Позвал дворника с рабочим гардины вешать — те, ясно, наследили, напачкали. С тех пор рабочих, и вообще простых людей очень не любил; «фу, — говорил, — проветривай после них». И табакерки хватился. Лазил под оттоманку, все табакерку искал, ругался: «Скоты пролетарские... Расстрелять их мало...»

В хорошие, откровенные минуты мечтал, как сделает государственную карьеру. Закончит юридический — и служить, служить. Прищурится — и в зеркало на себя любит: «Как думаете, маменька, до действительного тайного дослужусь?.. А может лучше было по военной части?..» Из елочной бумаги эполеты вырежет и примеряет. Из пивных пробок ордена себе делал, к груди прикладывал.

Карьеру, шельмец, и правда, сделал отличную, да и быстро: знал, с кем водить знакомства, где проявить говорливость, где промолчать. Умел потрафить, с начальством не спорил. С молодежью, ровесниками водился мало, все больше с важными стариками, а особенно с важными старухами. И веер подаст, и моську погладит, и чепчик расхвалит: с каким, дескать вкусом кружевца подобраны, очень, очень к лицу! Дружил с самим Катковым, и тоже знал как подойти: вздохнет, и как бы невзначай в сторону: «какая глыба, батенька! какой матерый человечисе!», — а тому и лестно.

Были и странности, не без того. Купил дачу в Финляндии, нет чтобы воздухом дышать да в заливе дрызгаться, — ездил без толку туда-сюда, туда-сюда, а то на паровоз просился: дайте прокатиться. Что ж, хозяин — барин, платит, — пускали. До Финляндского доедет, побродит по площади, задумывается... Потом назад. Во время японской войны все на военных любовался, жалел, что штатский. Раз, когда войска шли, смотрел, смотрел, не выдержал, махнул командиру: «ваше превосходительство, не разрешите ли патриоту на броневичок взобраться? Очень в груди ноет.» Тот видит — господин приличный, золотые очки, бобровый воротник, отчето не пустить? — пустил. Владимира Ильича подсадили, он сияет... «Ребята! Воины русские! За веру, царя и Отечество — ура!» — «Ура-а-а-а!..» Даже в газетах пропечатали: такой курьез, право!

Еще чудил: любил на балконах стоять. Ухаживал за балеринами — ну, это понятно, кто ж не ухаживал, — напросится в го-

сти и непременно просит: «прелесть моя, чудное дитя, пустите на балкончик!». Даже зимой, в одной жилетке. Выйдет — и стоит, смотрит вокруг, смотрит... Вздохнет и назад вернется. «Что вы, Владимир Ильич?» Затуманится, отвечает нехотя, невпопад: «Народу мало...» А народу — как обычно.

Патриот был необыкновенный, истовый. Когда мы войну с немцем выиграла — в 1918-м, он тогда уже был Министром Внутренних Дел, — кто, как не он, верноподданнейше просил по поводу столь чаемой и достославной победы дать салют из трехсот залпов в честь Его Величества, еще столько же в честь Ее Величества, еще полстолька в честь Наследника Цесаревича и по сту штук обожаемым Цесаревнам? Даже Николай Александрович изволили смеяться и крутить головой: эк хватили, батенька, у нас и пороху столько не наскребется, весь вышел... Тогда Владимир Ильич предложил примерно наказать всех инородцев, чтобы крепко подумали и помнили, что такое Российская Империя и что такое какие-то там они. Но и этот проект не прошел, разве что отчасти, в южных губерниях. Предлагал он — году уже в двадцатом-двадцать втором — перегородить все реки заборами, и уже представил докладную записку на высочайшее имя, но так и не сумел толком объяснить, зачем это. Тут и заметили, что господин Ульянов заговаривается и забывается. Стал себя звать Николаем, — патриотично, но неверно. Цесаревичу Наследнику подарил на именины серсо с палочкой и довоенную игру «диаболо», — подкидывать катушку на веревочке, словно забыв, что Цесаревич — молодой человек, а не малое дитя, и уже был сговор с невестой. (Впрочем, Цесаревич его очень любили и звали «дедушкой Ильичом»). Черногорским принцессам козу пальцами строил! И при болгарском царе Борисе кричал: «Бориску на царство!», оконфузив и Его Величество, и присутствующих. Прощали: знали, что дедуля хоть и дурной, но направления самого честного.

Читать не любил, и писак не жаловал, а сам пописывал, но только докладные. В Зимнем любили, когда он, бывало, попросит аудиенции и стоит навтытяжку у дверей кабинета, дожидается вызова, — портфель подмышкой, бородка одеколоном благоухает, глазки хитро так прищурены. «Опять наш Ильич прожекты принес! Ну, показывай, что у тебя там?» Смеялись, но по-доброму. А он все не за свое дело брался. То столицу предложит в Москву перенести, то распишет, «Как нам реорганизовать Сенат и Синод», а то и вовсе мелочами занимается. Где предложит ручей перекопать, где ротонду срыть. А особо норовил переустроить Смольный Институт: либо всю мебель зачехлить в белое, либо перекроить коридоры. Тамошних благородных девиц навещать любил и не-

которым, особенно лупоглазым, покровительствовал: конфет сунет или халвы в бумажке. Звал их всех почему-то Надьками.

Когда же Его Величество Николай Александрович почил в Бозе, Владимира Ильича хватил удар. Отнялась вся правая половина, и речь пропала. Не пришлось идти и в отставку. Графиня Т., всегда к нему благоволившая, отвезла его в свое имение в Горках, где его держали целый день в саду в гамаке, под елкой. Кормили спаржей, клубникой, шоколадом. Давали kota погладить. Раз пришли — а он уже умер.

Придворный доктор, лейб-медик Боткин из научного любопытства испросил дозволения вскрыть покойнику череп. Молодой царь плакали, но дозволили. Мозг с одной стороны оказался хорошего, мышиноного цвета, а с другой — где арап ударил — вообще ничего не было. Чисто.

Сейчас ждем, когда нового Министра Внутренних Дел назначат. Говорят, бумаги уже подписаны. Господин Джугашвили, кажется, фамилия.

Июнь 1937, СПб.

Б. ТОМАШЕВСКИЙ*

Конструкция тезисов

В наши годы увлечения поэтикой совершенно забытой дисциплиной является сестра поэтики — риторика. Даже самое слово это звучит для нашего слуха как-то «неприятно» (риторика — риторика). Меж тем совершенно несомненно, что поэтика (т. е. дисциплина, изучающая конструкцию словесно-художественных произведений) может развиваться нормально лишь на сравнительном базисе изучения риторики (соответственно на не-художественных словесных произведениях. Обычное противопоставление «поэзии» и «прозы»). Эта потребность в сравнительных экскурсах, при отрицании законности существования риторики, приводит к тому, что проблемы риторики рассовываются по смежным дисциплинам. В части языка проблемы риторики отошли к лингвистике (к сравнительно узкой сфере этой науки — к стилистике), в области мотивировки — эти проблемы вчитываются в логику

* *Борис Викторович Томашевский (1890–1957)* — советский литературовед, теоретик стиха и текстолог, исследователь творчества А. Пушкина, переводчик, писатель, член Союза писателей СССР.

и психологию, и от этих трех дисциплин поэтика ждет сравнительных указаний. Вместо ясного, хотя может быть терминологически и неудачного, противопоставления старой схоластической науки «поэзии» и «прозы», мы, склоняясь к путям лингвистики — выдвигаем другое противоположение — «практический» и «художественный» язык, хотя это противоположение не покрывает всех проблем конструкции словесных построений, касаясь исключительно сферы языка, во-вторых оно не соответствует и границам деления «поэзии» и «прозы», ибо «прозаический» язык быть может не менее «поэтического» следует противопоставить «практическому».

Проблемы логики и психологии, которые могут сослужить свою службу в анализе генезиса тех или иных словесных конструкций, совершенно ничего не говорят о самоценности этих конструкций в их словесном выражении, ибо как бы ни было связано наше мышление с языком — в форме внутренней речи — все равно нельзя подменивать проблем словесного построения проблемами мышления.

Основные проблемы конструкции словесного материала не затрагиваются ни логикой, ни психологией, ни лингвистикой. Должна быть воскрешена старушка риторика так же, как воскресла поэтика. Пока этого не случилось, схоластическая «теория словесности» не теряет своего значения, ибо объединяет в себе проблемы ретирики, еще не ассимилированные новой научной мыслью. Необходимо это и с точки зрения динамики современной культуры. В настоящее время происходит характерное «оседание» культуры. Прошла эпоха «парниковой» духовной жизни. Парниковая рассада пошла в дело. Отсюда и широкая демократизация искусства, и такие симптомы, как своеобразный утилитаризм в художественных направлениях. Все это — проявления здоровой тенденции создания широкой культурной традиции; традиция — это своего рода маховик, аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу будущего. Это оседание, как всякий социальный процесс, сопровождается и отрицательными, уродливыми явлениями, но в основе это процесс здоровый и исторически необходимый. Парники («интеллигентство» — которое напрасно смешивают с «интеллигенцией» профессиональной носительницей культуры, которая нужна при всяких социальных соотношениях) — эти парники разбиты.

Проникновение культуры в «жизнь» — выражаясь грубо — влечет за собой и пристальную, внимательную культивировку прозаической речи. Мечта Писарева о слиянии художественной литературы с популярно-научной, наконец, обретает в России реаль-

ную почву, хотя и не в формах, мыслившихся реалисту. Пред нами стоит практический вопрос — выработка нормальной реторики.

Такие факты, как появление курсов журналистики, ораторского искусства, преподавание искусства спора, и трактаты по этим вопросам доказывают стихийные этапы возникновения нормативной реторики. Но ни одна нормативная дисциплина не обеспечена в своем развитии без параллельного существования соответствующей теоретической дисциплины. Этим я не хочу сказать, что задачей теоретической реторики является разрешение нормативных проблем, как например, задачей общей теории упругости до сих пор является, главным образом, создание практической, технологической дисциплины сопротивления материалов, — нет, взаимоотношения нормативных и теоретических дисциплин значительно сложнее: непосредственный утилитаризм не всегда стимулирует культуру, и иногда ее тормозит, — но факт сосуществования этих двух рядов есть факт культурно-исторический, и в нем залог развития теоретических изучений в этой области.

Впредь нельзя безнаказанно пользоваться «газетным стилем» и хаотической словесной конструкцией. Теперь на это обращено внимание, и каждый пишущий чувствует это постороннее наблюдение.

Наиболее значительной областью современной прозы являются произведения социально-политические. Наиболее крупной, мировой величиной в современной социально-политической литературе был Ленин. Вот почему естественнее всего именно с Ленина начинать теоретические изучения в области реторики. Совершенно естественно, что на первой стадии этой дисциплины преобладать должны описательные приемы изучения. Описание конструкций Ленинских статей явится фундаментом новой реторики.

Ленин, всю жизнь борющийся словом, чувствовал всю ответственность словесного построения. Он знал как положительную — движущую силу слова, так и отрицательную его силу — силу инерции, трения, власти привычных, выветрившихся формул.

Главной задачей словесных построений Ленина была их актуальная действенность. У него с редкой для теоретического мыслителя гибкостью общие положения переливаются в лозунги, словесные директивы политического действия. Отсюда тесная связь слова с делом и постоянная тема, особенно в полемике, о соотношении слова и дела: «сколько-нибудь опытный буржуазный политикан никогда не затруднится наговорить сколько угодно, “блестящих”, эффектных, звонких, ничего не говорящих, ни к чему не обязывающих фраз... А коснется до дела — можно сфокусничать» («Луиблановщина», 8 апреля 1917 г.). «Марксист

должен учитывать живую жизнь, точные факты действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае, намечает основное, общее, лишь приближается к охватыванию сложности жизни». (Письма о тактике апрель 1917 г.). «Настоящее рабочее правительство не обманывает рабочих болтовней о реформах, а борется на деле за полное освобождение рабочих» («Пролетарская революция и ренегат Каутский», октябрь 1918 г.).

Отсюда стремление в словесных конструкциях Ленина к формулам-лозунгам, имеющим тесное, конкретное, актуальное значение. Избегая универсальных общеполитических сентенций («фраза», «теория», «болтовня»), он стремится кратко и ясно выразить директивы текущего политического действия.

В этом отношении характерны его «тезисы», с которыми он выступил на следующий день по приезде в Россию, 4 апреля 1917 г.

Самая форма выступления — «тезисы» — свидетельствует о стремлении большое политическое содержание — собственно декларацию всей политической деятельности партии большевиков — втиснуть в ряд кратких лозунгов. Форма эта не изолирована в творчестве Ленина. В чистом виде она повторена в декабре 1917 г. — «Тезисы об Учредительном Собрании», в январе 1918 г. «Тезисы о мире». Без внешнего аппарата расчленения на цифрованные пункты та же структура доминирует в Ленинских декларациях, резолюциях. Развернутыми «тезисами» являются такие работы, как «задачи пролетариата в нашей революции», «Политические партии в России и задачи пролетариата».

Тезисы были напечатаны в «Правде» 7 апреля 1917 г. с обрамляющей их статьей, под заглавием «О задачах пролетариата в данной революции».

В газете тезисам предпослана краткая справка относительно условий их опубликования, сухая статья (по объему вдвое короче первого тезиса), немедленно вводящая нас в деловую обстановку тезисов. Если вспомнить политическое окружение тезисов, глумление газет по поводу «пломбированного вагона», эмфатические словопрения на общие либеральные темы, общий задор и запальчивость, — то этот деловой тон вступления к тезисам есть своеобразный стилистический прием, придающий особую энергию словесному их выражению.

Тезисы сгруппированы по внешне логической схеме: первые два представляют общиесторическую оценку момента (война и революция), два следующие — отношение к носителям власти в России (временное правительство и советы), следующие четыре развивают социально политическую программу революции

(вопросы государственного устройства, аграрная программа, финансовая политика, организация производства), два последние касаются партийной жизни (созыв съезда партии, организация Интернационала).

Наиболее развитыми являются первые четыре тезиса, имеющие актуальное значение. Следующие четыре, трактующие задачи будущего, вводятся лишь как мотивировка конкретной деятельности.

Из первых четырех наименее развит третий — о временном правительстве. Отрицательная позиция по отношению к временному правительству соответствует наибольшей словесной скудости.

Таким образом словесный объем каждого тезиса соответствует актуальному значению его. Значение это, понятно, следует учитывать с точки зрения 4 апреля 1917 г. и в этом отношении был бы интересен историко-политический комментарий к тезисам, от которого я, естественно, воздерживаюсь.

Эти три развитые тезиса распадаются каждый на две части: общее положение и вытекающие отсюда директивы политической пропаганды.

Прочитирую соответствующие абзацы:

Из 1-го тезиса: «Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества, признающих войну только по необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо особенно, обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной, доказывать, что кончить войну истинно демократическим, не насильственным миром нельзя без свержения капитала».

Из 4-го тезиса: «Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная форма революционного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое приспособляющееся, особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок и тактики».

Абзацы эти тематически аналогичны: речь идет о «разъяснении массам»; аналогичны они и стилистически. В обоих случаях заметна установка на т. н. слитные сочетания.

«Обстоятельно, настойчиво, терпеливо», «разъяснять ошибку, разъяснять связь, доказывать», «терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся к потребностям». Здесь перекликаются конструкции, перекликаются слова («настойчиво, терпеливо». Ср. во 2-м тезисе: «приспособиться к особым условиям партийной работы»).

И эта слитная конструкция является типичным и сознательным приемом Ленина: «массы присоединятся к рабочим в их осторожных, постепенных, обдуманых, но твердых и немедленных шагах к социализму» (Луиблановщина).

«Отделяются фразами, отмалчиваются, увертываются, поздравляют тысячи раз друг друга с революцией, не хотят подумать о том, что такое Советы Р. и С. Д.» (О двоевластии). «Конкретно дела сложились иначе, чем мог (и кто бы то ни был) ожидать, оригинальнее, своеобразнее, пестрее». (Письма о тактике). «Этому вопросу придана та абстрактная, простая, одноцветная, если можно так выразиться, постановка, которая не соответствует объективной действительности» (там же).

Таково же бессознательное перечисление имен: «потому ли что Чхеидзе, Церетели, Стекловы и К° делают „ошибку“». (О двоевластии) «На очереди дня решительная, бесповоротная размежевка с Луибланами-Чхеидзе, Церетели, Стекловыми, партией О. К. партией С. Р. и т. п., и т. п.» (Луиблановщина). «Каутский, Лонгэ, Турати и мн. др.» (там же). «Гучковы, Львовы, Милюковы и К°» (там же).

Аналогичны конструкции такого типа: «Нет, формула устарела. Она никуда негодна. Она мертва». («Письма о тактике»).

Характерны везде трехчастные формулы. В языковых формулах число три есть синоним «много». Недаром тремя точками мы обозначаем «многоточие», недаром в сказках все совершается на третий раз.

Вернемся к тезисам. На фоне пестрого синтаксиса эти два места выделяются своими синтаксическими аналогиями. И это те места, которые сознательно выделял сам Ленин. В своих «Письмах о тактике» Ленин говорит: «Чтобы не допустить ни тени сомнений на этот счет, я дважды подчеркнул в тезисах необходимость терпеливой, настойчивой, “приспособляющейся к практическим потребностям масс” работы “разъяснения”...»

Подчеркнуто это и в послесловии к тезисам, построенном в форме полемики с Гольденбергом: «Я пишу, читаю, разжевываю: ввиду несомненной добросовестности и т. д.» «А господа из буржуазии и пр.» И далее: «Я пишу, читаю, разжевываю» «Советы Р. Д. есть единственно возможная форма и т. д.» «А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды и проч.»

Характерно здесь двукратное, анафорическое повторение той же формулы «Я пишу, читаю, разжевываю»...

Это слитное, троекратное, бессознательное сочетание производит впечатление отрезка бесконечной словесной серии. Поскольку в тезисах замечается прямое соответствие между важностью и словесным объемом высказываемого, постольку в местах упора

применяется эта искусственная амплификация речи, заменяющая словесное развертывание. Ибо для Ленина, с его предельно сжатым стилем, не было другого средства для создания иллюзии словесной полноты. Там, где требовалось увеличение словесного объема, там он прибегал к синтаксической символике этого объема, своего рода алгебраическому знаку суммы ряда.

И в дальнейшем в обрамляющем послесловии Ленин снова прибегает к этому приему: «Г. Плеханов назвал в своей газете мою речь “бредовой”. Очень хорошо, господин Плеханов! Но посмотрите, как Вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике». «Гораздо легче, конечно, кричать, браниться, вопить, чем попытаться рассказать, разъяснить, вспомнить, как рассказали Маркс и Энгельс, в 1871, 1872, 1875 г. об опыте Парижской Коммуны».

И послесловие замыкается тематической фразой о слове и деле: «Запутались бедные, русские социал-шовинисты, социалисты на словах, шовинисты на деле». Эта тематическая концовка как бы разъясняет исключительно деловой — до сухости — зачин обрамления тезисов.

Таким образом, проследив один из стилистических приемов построения тезисов, мы видим, что на ряду с принципами логического построения, здесь наличествует уравнивание словесных объемов.

Другим приемом варьирования и индивидуализации тезисов является пестрота синтаксических сочетаний. Тезисы комбинируются из абзацев предложений. Количество абзацев в тезисе различно (I тезис 5 абзацев, II — 3, III — 1, IV — 3, V — 3, VI — 3, VII — 1, VIII — 1, X — 2, IX делится на 3 пункта из них второй — на 3 подразделения). Построение этих абзацев различно (устраняю IX «пунктовый» тезис). Семь представляют собой развитые полные предложения, остальные 15 — безглагольные фразы — лозунги, вроде «Устранение полиции, армии, чиновничества», или «Братанье». При этом общая конструкция такова, что от сочетаний глагольных тезисы переходят к сочетаниям безглагольным. Первый тезис после трех абзацев, построенных по типу полных, распространенных предложений, замыкается двумя краткими безглагольными. Из них последний — одно слово «братанье». Второй тезис — три полных абзаца. Третий — один безглагольный. В четвертом — положение обратное: два безглагольных абзаца (из них первый слитный) замыкающий абзац — полное предложение. Начиная с пятого — исключительно безглагольная конструкция.

Может возникнуть сомнение — имеем ли мы дело в этих безглагольных конструкциях с подлинными «предложениями», или же это явление типа «перечней», оглавлений и т. д., т. е. каждая конструкция представляет своего рода заголовок, эквивалент, символ

потенциально мыслимой словесной конструкции, как в оглавлении подобная конструкция обозначает целую статью или даже трактат.

Понятно, почему подобная психологическая емкость безглагольной конструкции ощущается, почему выражение приобретает характер чрезвычайной сжатости (что получает и осязаемое подтверждение в формуле: «братанье»). Но все же конструкции эти суть предложения, с потенциальной, психологической глагольностью. Об этом свидетельствует отглагольность большинства именительных: «организация» (как деятельность), «братанье», «разъяснение», «признание», «перенесение», «слияние», «обновление»...

В двух случаях этого нет, но в обоих случаях наличие предложения особо подчеркнута.

1) «Никакой поддержки Временному Правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний». «Никакой поддержки» — косвенный падеж параллельно с именительным, «разъяснение» определенно ориентирует нас на потенциальную глагольность конструкции.

2) «Не парламентская республика, — возвращение к ней от Советов Рабочих Депутатов было бы шагом назад, — а Республика Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянских Депутатов по всей стране, снизу доверху».

Здесь наличие вводного предложения («возвращение к ней было бы») определенно дает впечатление предложения главной конструкции.

Безглагольность, субстантивизация глагола придает особую модальность этим конструкциям, модальность приказания.

Конструкция эта убыстрена, нагнетена, достигает максимума энергии выражения; это — своего рода натянутая словесная пружина.

Я должен оговориться, что подхожу к вопросу не с лингвистической точки зрения, и функциональное значение выражения меня мало интересует. Меня занимает вопрос о конструкции всего произведения, и, останавливаясь на элементах стиля, я хочу лишь показать, как во всем произведении распределен словесный материал, аналогично окрашенный.

Если мы проследим в тезисах распределение безглагольных конструкций, то мы увидим, как последовательно проводится нагнетение энергии выражений. Проводится это в три приема: внутри первого тезиса, в переходе от второго к третьему, и наконец «хиастическое» расположение четвертого тезиса окончательно подготавливает к переходу на насыщенные безглагольные сочетания всех остальных тезисов.

Таковы приемы расположения аналогично-конструированного словесного материала в общей композиции тезисов. Мы видим характерные параллелизмы, своеобразные «анафоры», напоминающие «Композицию лирических стихотворений» — Жирмунского. Я далек от мысли, что анализ конфигураций аналогичного словесного материала в произведении дает нам познание конструкции материала. Дело не в форме конфигураций, не в словесных арабесках, а в их выразительно-конструктивной функции.

Даже чисто поэтическое произведение относится сравнительно безразлично к форме конфигурации как таковой. Это доказывается тем, что каждая попытка классификации таких повторов приводит к тому, что в реальном материале наличествуют всевозможные формы. Так было с попыткой классификации эвфонических повторов (см. особенно последнюю работу Брюсова о звукописи Пушкина), также случилось с классификацией «анафорических» явлений, т. е. с классификацией аналогично-словесного материала. Тоже случилось с попыткой изучения стиха, как комплекса индивидуальных форм «стопы». Оказалось, что при такой постановке любое сочетание слов есть стопа, — иначе стопы нет. Точно так же классификация эвфонических и словесных повторов ни на иоту не сдвигает вперед вопроса с точки голого утверждения наличности таких повторов. Ибо оказывается, что все формы сочетания равноправны. Иначе эти формы «в себе» неощутимы, безразличны.

Все дело не в форме комбинации, а в конструктивной мотивировке, в выразительной функции данного явления, в данном индивидуальном построении.

И в данном случае для нас менее всего важно, что стилистическими приемами распределение полных и безглагольных форм 10 тезисов разбито на группы 4+6, а первая группа обрамлена («кольцо») слитными сочетаниями, а важно построение тезисов не по принципу чистого логического мышления подбора адекватного словесного выражения, а по законам словесной (в данном случае утилитарно словесной конструкции), оперирующей объемом и потенциальной энергией выражения. Важно, что в момент программного декларирования играл закон словесных формул, был конструктивный замысел.

Я оставляю в стороне вопрос о тематическом распределении материала. Между тем прозаические произведения имеют свой «сюжет», свои тематические ходы. В данном случае мы имеем обрамление (приступ и послесловие), мотивированное тем, что ранее написанные тезисы сообщаются в газете. Это обрамление имеет свою завязку, перипетии (полемика) и развязку (концевое совмещение двух тем: полемики и общей антитезы «слова» и «дела»).

Н. ТРЯПКИН***Вербная песня (1994)**

За великий Советский Союз!
За святейшее братство людское!
О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси наше счастье земное.
О Господь! Наклонись надо мной.
Задичали мы в прорве кромешной.
Окропи Ты нас вербной водой.
Осени голосистой скворешней.
Не держи Ты всевышнего зла
За срамные мои вавилоны, —
Что срывал я Твои купола,
Что кромсал я святые иконы!
Огради! Упаси! Защити!
Подними из кровавых узилищ!
Что за гной в моей старой кости,
Что за смрад от бесовских блудилищ!
О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси мое счастье земное.
Подними Ты наш красный Союз
До Креста своего аналоя.

Яков ТУБЛИН****Слово «Ленин» (1970)**

Великое имя «Ленин»
Рифмуется с наступлением,
С прозреньем,
С преодолением,
С распахнутой целиной.
Но не рифмуется с ленью,
С подогнутыми коленями.
Но не рифмуется «Ленин»

* *Николай Иванович Тряпкин (1918–1999)* — русский советский поэт.

** *Яков Айзикович Тублин (1935–2011)* — поэт, судостроитель. С 1991 г. жил в Израиле.

Ни с робостью, ни с войной.
Рифмуется с чистым небом,
Рифмуется с честным хлебом,
С орбитами космоланов,
С разбуженною рекой.
Рифмуется это слово
Со всем молодым и новым,
Но не рифмуется «Ленин»
С удобным словом «покой».
Рифмуется слово «Ленин»
С лирическим стихотвореньем,
С рождением человека,
С коротким словом «вперёд».
Со взглядом простым и ясным,
Со знаменем нашим красным,
Со всем, что под этим знаменем
Навек отстоял народ...

ТЭФФИ*

Моя летопись (Воспоминания)

<Фрагменты>

<...>

Как-то при выходе из театра в вестибюле разговаривали мы с ясновидящим Арманом Дюкло. К нему подошел дежуривший у двери солдат и спросил:

— Скажите мне, господин Дюкло, скоро ли Петлюра придет?

Арман сдвинул брови, закрыл глаза.

— Петлюра... Петлюра... через три дня.

Через три дня Петлюра вошел в город.

Удивительное явление был этот Арман Дюкло. Перед моим отъездом из Москвы я была несколько раз на его сеансах. Он отвечал очень верно на задаваемые ему вопросы.

* *Тэффи* (наст. имя и фамилия — Надежда Александровна Лохвицкая; 1872–1952) — русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. После революции эмигрировала (Берлин, Париж).

Потом, когда мы познакомились, он признавался, что обычно приступал к сеансам с различных подготовленных трюков, но потом начинал нервничать, очевидно, впадал в транс и, сам не зная почему и как, давал тот или иной ответ.

Это был совсем молодой, лет двадцати, не больше, очень бледный и худой мальчик с красивым утомленным лицом. Никогда не рассказывал о своем происхождении, недурно говорил по-французски.

— Я жил много-много лет тому назад. Меня звали Калиостро. Но врал он лениво и неохотно.

Кажется, был он просто еврейским мальчиком из Одессы. Импресарио его был какой-то очень бойкий студент. Сам Арман, тихий, полусонный, не был деловым человеком и очень равнодушно относился к своим успехам.

В Москве им чрезвычайно заинтересовался Ленин и два раза вызывал его в Кремль для уяснения своей судьбы. Когда мы его расспрашивали об этих сеансах, он отвечал уклончиво:

— Не помню. Помню только, что у самого Ленина до конца успех. У других различно.

<...>

Федор Сологуб

<...>

Был доклад Мережковского «О России».

Большевики в ту пору еще не утвердились, и Мережковский с присущим ему пафосом говорил о том, что из могилы царизма поднялся упырь.

Упырь этот Ленин.

Вот тут Сологуб и изрек свое «вещее слово».

— Никогда Ленину не быть диктатором. Пузатый и плешивый. Уж скорее мог бы Савинков.

Мы слушали с благоговением и не отрицали, что роскошная шевелюра и стройный стан суть необходимые атрибуты народного вождя. Мы тогда еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера, этих грядущих Аполлонов. Нас можно простить.

<...>

«45 лет»

В нашем дружеском кругу постоянно бывал некто К. П-в [К. Платонов], сын сенатора, тесно связанный, к недоумению своего отца, с социал-демократами. Это была мятущаяся душа,

раздиравшаяся между брошюрой Ленина «Шаг вперед, два шага назад» и стихотворениями Бальмонта.

— Вы непременно должны ехать в Женеву к Ленину, — говорил он мне.

— К Ленину? Зачем мне к Ленину?

— Как зачем? Учиться. Это именно то, что вам нужно.

Я тогда только начала печататься. Печатали меня «Биржевые ведомости». Газета эта бичевала преимущественно «отцов города, питавшихся от общественного пирога». Я помогала бичевать. Как раз в это время злобой дня был план городского головы Леянова — засыпать Екатерининский канал. Я написала басню «Леянов и канал».

Свой утренний променад однажды совершая,
Леянов как-то увидал
Екатерининский канал.
И говорит: «Какая вещь пустая!
Ни плыть, ни мыть, ни воду пить.
Каналья ты, а не канал.
Засыпать бы тебя, вот я б чего желал».
Так думал голова, нахмутив мрачный лоб,
Вдруг из канала вынырнул микроб
И говорит: «Остерегись, Леянов,
Ты от таких величественных планов» и т. д.

Государь был против леяновского проекта, и басня ему очень понравилась. Издатель газеты Проппер был «высочайшею пожалован улыбкой», прибавил мне две копейки. В те времена из всех газетных сотрудников только один Немирович-Данченко получал легендарный оклад: десять копеек.

Словом, карьера передо мной развевывалась блестящая. При чем тут Ленин? И чему еще можно у него научиться?

Но К. П-в вел пропаганду. Для начала познакомил меня с загадочной особой, Валерией Ивановной. Вскоре выяснилось, что это кличка, а зовут ее как-то иначе. На вид было ей за тридцать, лицо усталое, на носу пенсне. Часто просила разрешения привести с собой какого-нибудь интересного знакомого. Так привела Каменева, Богданова, Мандельштама, Финна-Енотаевского, Коллонтай.

Ее друзья мало обращали на меня внимания и больше разговаривали между собой о вещах, совершенно мне неизвестных и непонятных. О каких-то съездах, резолюциях, кооптациях. Часто повторялось слово «твердокаменный», часто ругали каких-то меньшевиков и часто цитировали Энгельса, сказавшего, что на городских улицах вооруженная борьба невозможна. Все они, очевидно, были очень дружны между собой, потому что называли друг друга товарищами. Раз привели совсем простого рабочего. И его тоже

называли товарищем. Товарищ Ефим. Тот больше молчал, а потом надолго исчез. Сказали мельком, что он арестован.

Через несколько месяцев Ефим появился снова, но в преобразенном виде: новенький светлый костюмчик и ярко-желтые перчатки. Ефим сидел, подняв руки и растопырив пальцы.

— Чего вы так?

— Боюсь попачкать перчатки. Меня переодели буржуем, чтобы я не привлекал внимания.

Камуфляж очень неудачный. Именно в этом виде он был так живописен, что нельзя было на него не оглянуться.

— Вы сидели в тюрьме? Тяжело было?

— Нет, не особенно.

И вдруг с добродушной улыбкой:

— На Рождество давали гуся (с ударением на «я»).

Но напрасно я удивлялась на ефимовский маскарад. Скоро пришлось убедиться, что это не так глупо, как кажется неопытному глазу. Валерия Ивановна уехала месяца на два за границу и вернулась в ярко-красной кофточке.

— Почему это вы так нарядились?

Оказывается, что она ехала по фальшивому паспорту, выданному на имя шестнадцатилетней безграмотной девицы. Товарищи решили, что, нарядив пожилую женщину с усталым интеллигентским лицом и пенсне на носу в красную кофту, сразу превратят ее в безграмотного подростка. И оказались правы. Пограничные жандармы поверили, и Валерия Ивановна в красной кофте въехала в Петербург.

Впоследствии, когда появилась газета «Новая жизнь», еще искуснее скрывался от полиции Ленин. Выходя из редакции, он просто подымал воротник пальто. И ни разу не был узнан шпиками, хотя, конечно, слежка за ним была.

Стали появляться приезжие из-за границы. Большею частью из Швейцарии. Разговоры велись все те же. Ругали меньшевиков, часто упоминали Плеханова, причем выговаривали «Плеканов».

— Почему?

— Так привыкли в Швейцарии.

Многие с гордостью сообщали мне, что Плеханов происходит из старого дворянского рода. Почему-то это им льстило. Мне казалось, что Плеханов чем-то неприятно их волнует, и что им очень хочется чем-то его убедить, и что они боятся, как бы он не ушел от них.

В этой компании очень выделялась Коллонтай. Это была светская, очень красивая молодая дама, одевалась изящно и элегантно и кокетливо шевелила носиком. Помню, был женский съезд, она выступила и начала свою речь словами:

— Не знаю, каким языком говорить, чтобы меня поняли буржуазные женщины.

А была она в великолепном бархатном платье, и золотая цепочка с привешенным к ней медальоном-зеркальцем висела до колен. Я заметила, что товарищи гордились элегантностью Коллонтай. Не помню, по какому именно случаю и когда — она была арестована. Газеты отметили, что, отправляясь в тюрьму, она повезла с собой четырнадцать пар башмаков. Товарищи повторяли эту цифру с большим уважением, даже понижая голос. Совсем также, как говоря о дворянстве «Плеканова».

Как-то она позвала нас к себе. Валерия Ивановна повела нас по кошачьей лестнице. Попали прямо в кухню. Изумленная курка спросила:

— Это вы к кому же?

К това... к Коллонтай.

— Так чего же вы по черному-то ходу? Пожалуйте в кабинет.

Валерии Ивановне, очевидно, и в голову не приходило, что товарищ Коллонтай живет по парадной лестнице.

В большом, прекрасно обставленном кабинете встретил нас друг Коллонтай Финн-Енотаевский, высокий остролицый брюнет, с головой, похожей на австрийский кустарник. Каждый волос вился отдельно твердой длинной спиралью. Думалось, что под ветром эти спирали звенят.

Подали чай с печеньем; всё как полагается в буржуазных домах, но разговоры пошли опять все те же: меньшевики... Энгельс сказал... твердокаменный... Плеканов... Плеканов... Плеканов... меньшевики... кооптация.

Все это было чрезвычайно скучно. Разбирались какие-то мелкие дразги, кто-то ездил за границу, привозил бестолковые партийные сплетни, кто-то рисовал карикатуры на меньшевиков, которые по-детски веселили бородатых «твердокаменных» марксистов. Между ними уютно фланировали матерые провокаторы, о роли которых узнавали только много времени спустя.

Рассказывали, что меньшевики обвиняют Ленина в том, что он якобы «зажилил 10 франков, предназначенных для меньшевиков». Именно так и говорилось: «зажилил». За границей меньшевики срывали доклады большевиков; мяукали, когда выступал Луначарский, и даже пытались утащить входную кассу, которую большевики отстояли, пустив в ход кулаки.

Все эти беседы для постороннего человека были неинтересны и уважения к беседующим не вызывали. Они никогда не говорили о судьбах России, никогда не волновало их то, что мучило старых революционеров, за что люди шли на смерть. Жизнь шла мимо

них. И часто какое-нибудь важное событие — забастовка большого завода, какой-нибудь крупный бунт — заставало их врасплох и поражало неожиданностью. Они поспешно посылали «своих», и те, конечно, опаздывали. Так проморгали они гапоновское движение да и многое другое, о чем потом досадовали.

«Новая жизнь»*

Максим Горький обратился ко мне с просьбой: из провинции получают разные сведения, интересные для него и для его друзей и совершенно не нужные для посторонних.

Получение слишком большой корреспонденции частным лицом может обратить на себя внимание полиции. Письма будут перехватываться и пропадать. Но если корреспонденция будет направлена по адресу какой-нибудь редакции, то это ничьего внимания не привлечет. В «Биржевых ведомостях» заведует отделом провинции некто Линёв^[291], человек очень левых настроений. Надо его попросить, чтобы письма из провинции, в которых дата будет подчеркнута два раза, ни в коем случае не печатались, потому что содержание их, вполне невинное, — абсолютный вымысел, интересный только для Горького и его друзей. Пусть Линёв эти письма собирает и передает прямо мне, так как я бываю в редакции. А от меня их будут забирать друзья Горького. Все ясно и просто.

Линёв с радостью согласился.

Это был вообще великий энтузиаст. Пышная шевелюра, борода развевается.

— Я обращаюсь к России Гоголя и к России Достоевского и ставлю им вопрос: куда мы идем? Но ответа не слышу.

Это, конечно, было нехорошо, что ни та, ни другая Россия Линёву не отвечали. Но он не обижался и время от времени повторял свой коварный вопрос.

Итак, он соглашался и даже обещал всегда и во всем содействовать друзьям Горького. Скоро я получила от него два-три таких письма с подчеркнутой датой. Пришел какой-то господин, сказал, что от Горького, и взял их. Письма были действительно ерундовые. «В курской семинарии семинаристы недовольны экономом, выдает несвежее мясо». «В Таганроге нужно отремонтировать здание прогимназии, но ассигновок на ремонт добиться нельзя».

* Впервые: Возрождение. 1956. № 49, 50. Начало этой главы напечатано в № 49 под названием «Новая жизнь», окончена публикация в № 50 под заглавием «Он и они», названием явно редакционным.

Но вот письма неожиданно прекратились. «Господин от Горького» пришел очень расстроенный. Им известно, что неделю тому назад было послано важное письмо, но Линёв его не отдал. И вообще письма стали пропадать. В чем дело? Надо немедленно выяснить.

Я пришла в редакцию.

— Были письма?

— Конечно, были, — отвечал Линёв. — И содержание их оказалось настолько интересно, что я, как опытный обозреватель провинциальной жизни, не мог этот материал не напечатать.

— Да ведь вас же предупреждали, что все это сплошной вымысел. Как же можно было печатать! Ведь начнутся опровержения.

— Да уж и начались. Тем не менее, как опытный обозреватель... Да, кстати, больше ничего и не было.

Я заглянула в редакционную корзину и первое, что увидела, — письмо с подчеркнутой датой.

— А это что? И вот еще одно, и еще.

— Ах, эти! — равнодушно сказал он. — Эти можете взять, я их уже использовал.

В тот же день я передала эти письма «господину от Горького». Он страшно обрадовался, к удивлению моему, попросил свечку, зажег ее и стал греть на огне письма.

— Что это вы делаете?

— Как — что? Проявляю.

Так вот оно что. Между строчками появились желтые слова. Всё те же. «Кооптация... мандат... меньшевики...»

Дня через три рано утром вбегает ко мне Линёв. Волосы взъерошены, пальто нараспашку, лицо человека, бросающегося со скалы в море.

Кричит:

— У меня дочь! Я не видел ее пятнадцать лет, но я тем не менее отец.

— Что случилось с вашей дочерью?

— А то, что все вы губите ее единственного отца. Да, да. Эти письма! Горький тащит меня на гильотину!

— Голубчик, не волнуйтесь. У нас же нет гильотины. Гильотина во Франции.

— Все равно! Скажите Горькому, что у меня дочь...

Я обещала, и он умчался, забыв у меня портфель и перчатки.

Я передала «господину от Горького» его отказ, и это дело было покончено.

Уже давно в литературных кругах поговаривали о необходимости начать новую газету. У поэта Минского было разрешение,

но не было денег. Навернулся было какой-то капиталист, устроил у себя заседание, на котором по знакомству присутствовал и наш друг К. П-в. Планы были самые благонамеренные, но вдруг нагрянула полиция и всех арестовала. Народ был все совершенно невинный, но в полиции отнеслись к ним очень строго. Поехали они к приставу Барочу, отличавшемуся держимордовским нравом. Он кричал, топал ногами и обещал всех сгноить. Тогда П-в спокойно сказал:

— Все это отлично, но я должен позвонить отцу.

— Звони, звони! — вопил пристав. — Вот я ему тоже скажу, что ты за птица! Я и до него доберусь!

В те времена номер телефона говорили телефонной барышне, а та уже соединяла. Когда К. П-в назвал номер, пристав испуганно насторожился.

— Квартира сенатора П-ва? — спросил К. П-в.

Пристав вскочил.

— Игорь, ты? Скажи папе, что меня арестовали и что пристав Бароч юродствует.

Пристав молча втянул голову в плечи и ушел из комнаты.

П-ва в тот же день отпустили. Остальных продержали дня три.

После этого намеченный капиталист сразу погас. Мечта о газете провалилась.

Но вот занялась другая заря. Горький вступил в переговоры с Минским. Разрешения на новую газету добиться было трудно. Легче было воспользоваться уже готовым разрешением, которое было у Минского. Деньги Горький достал. Редактором предполагался Минский. В литературном отделе должны были работать Горький, Гиппиус (как поэт и как литературный критик Антон Крайний) и я. Политическое направление газеты должны были давать социал-демократы с Лениным во главе. Секретарем редакции намечался П. Румянцев, заведующим хозяйственной частью — Литвинов, по прозвищу Папаша.

Наш будущий секретарь нашел для редакции прекрасное помещение на Невском, парадный вход, швейцар. Все были радостно взволнованы.

Минский вдохновился лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», уловив в нем правильный стихотворный размер, и написал гимн:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь,
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.
Встанем цепью вокруг всего земного шара

И по знаку дружно вместе все вперед.
Враг смутится, враг не выдержит удара,
Враг падет, и возвеличится народ.
Други-братья, счастьем жизни опьяняйтесь!
Наше все, чем до сих пор владеет враг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Солнце в небе, солнце красное — наш стяг.

Гимн был напечатан в первом номере газеты. Называлась газета «Новая жизнь».

Интерес к этой «Новой жизни» был огромный. Первый номер вечером продавался уже по три рубля. Брали нарасхват. Наши политические руководители торжествовали. Они приписывали успех себе.

— Товарищи рабочие поддержали.

Увы! Рабочие остались верны «Петербургскому листку», который печатался на специальной бумаге, особенно пригодной для кручения сигарки. Газетой интересовалась, конечно, интеллигенция. Новизна союза социал-демократов с декадентами (Минский, Гиппиус), а к тому же еще и Горький, очень всех интриговала.

В нашей роскошной редакции начали появляться странные типы. Шушукались по уголкам, смотрели друг на друга многозначительно.

В газетном мире никто их не знал. Даже наш король репортеров Львов-Клячко, знавший буквально всех и все на свете, и тот, глядя на них, только пожимал плечами. Пригласил их как будто Румянцев. Справились у него. Он лукаво улыбнулся.

— Поживете — увидите.

Собственно говоря, они еще за работу не принимались, а только совещались и готовились.

Но вот появился и старый знакомый — товарищ Ефим, тот самый, что, томясь в царском узилище, ел на Рождество гуся (с ударением на «я»).

Ефим, смущенно улыбаясь, объявил, что задумал политическую статью.

— Пока что придумал только заглавие. «Плеве и его плевелы». Хотелось бы поскорее напечатать.

— А где же статья?

— Да вот статью-то пока что еще не придумал.

Появился некто Гуковский. Разевал щербатый рот, стучал ногтем по зубным корешкам, говорил с гордостью:

— Цинга.

Все должны были понимать, что пострадал за идею и был в ссылке. Появился приезжий из-за границы Гусев. Кто-то про не-

го сказал, что он «здорово поет». В общем, все они были похожи друг на друга. И даже говорили одинаково, иронически оттягивая губы и чего-то недоговаривая.

Мне предложили писать что-нибудь сатирическое.

Злобой дня был тогда Трепов. Я себе сейчас плохо представляю, какой именно пост он занимал, но пост был ответственный и важный, и называли Трепова «Патрон». При только что произошедшем усмирении бунта этот «Патрон» дал солдатам приказ, чтобы они стреляли и патронов не жалели. Вскоре после этого он был смещен.

Редакция решила, что я должна эту историю отметить.

Я написала басню о «Патроне и патронах». Басня кончалась словами:

Трепов, не по доброй воле ли
С места вам пришлось слететь,
Сами вы писать изволили,
Чтоб «патронов не жалеть».

Басню спешно набрали, и она должна была появиться на другой же день.

И не появилась.

В чем дело?

Из боковой комнаты вылезло что-то — не то Гусев, не то Гурковский — и сказало:

— Я попросил задержать, потому что я не уверен, можно ли рифмовать «изволили» и «воле ли». Это надо обсудить на редакционном собрании.

Пошла к Румянцеву.

— Петр Петрович, задерживать нельзя. Дня через два любая газета успеет придумать этот каламбур, и тогда уже печатать будет поздно.

Румянцев сейчас же побежал в типографию, и на следующий день басня появилась, а к вечеру уже везде — на улицах, в трамваях, в клубах, в гостиных, на студенческих сходках — повторяли шутку о «Патроне и патронах». Мне хотелось было рассказать об этом тому знатоку рифм, который накануне задержал мою басню, но так как все они были похожи друг на друга, то я боялась, что еще огорчу невинного. Да и Румянцев сказал:

— Бросьте. Он сам отлично знает. А задержал басню, просто чтобы показать, что он тоже что-то значит и чего-нибудь да стоит.

— Что же он, писатель? Почему он такой знаток по части рифм? И потом, ведь «они» должны врать, согласно договору, только политической частью газеты. Если вы знаете, кто именно это был,

то передайте ему от меня, что я хочу внести кой-какие поправки в их передовые статьи.

— Это действительно очень бы оживило газету, — засмеялся он. — А то последнее время к ней как будто падает интерес.

Нет, интерес к газете еще не падал. Нами начала интересоваться Москва. Прислал рассказ Валерий Брюсов. Минский получил письмо от Андрея Белого. Литературная часть газеты очень оживлялась.

В обществе по-прежнему шли разговоры о новых веяниях. Уловить какую-нибудь общую линию было трудно. В салонах обсуждали действия правительства, люди скромного ранга говорили:

— Мастеровщина бунтует. Им ведь что ни дай, все будет мало.

В парикмахерской рядом со мной завивалась краснощекая бабища, содержательница извозничьего двора. Говорила парикмахеру:

— Я, мусью, теперь прямо боюсь из дому выходить.

— Чего же так?

— Да, говорят, скоро начнут антиллигенцию бить. Ужаси как боюсь.

В доме одной губернаторши встретила баронессу О. Ее недавно привезла из-за границы Зинаида Гиппиус. Баронесса очень возмущалась, что у нас нет своей карманьолы.

— Какая же революция без карманьолы? Карманьола — веселая революционная песенка, под которую пляшет торжествующий народ. Я напишу музыку, а кто-нибудь из ваших поэтов пусть сочинит слова. Я люблю писать музыку. У меня есть уже два романа. Один о влюбленном паше, другой — о влюбленной королеве. Теперь будет карманьола. Так не забудьте же. Поговорите с поэтами.

В темных углах редакции шептались, шуршали таинственными листочками, шевелили усами тараканьи группы.

Румянцев шагал бодрыми шагами циркового дрессировщика. Он был всем доволен и с нетерпением ждал Ленина, чтобы похвастаться, как он чудесно наладил дело. Из тараканьих углов направлялся на него шорох недоброжелательный. Но он как-то не замечал этого и только лукаво посмеивался. И, глядя на него, всегда казалось, что он играет в большевика и очень этой игрой развлекается. А между тем в его послужном списке значилась и ссылка (положим, не в Сибирь, а в город Орел). Он переводил Маркса и считался у большевиков выдающейся литературной силой. С шептунами он как будто даже не общался и на них подмигивал.

Но настроение в редакции было какое-то напряженное, недружеское, неудобное. Очень тревожился Минский. Он был ответственным редактором, газета была разрешена на его имя, а политических статей ему даже не показывали. Горький в редакцию не заходил, и его, кажется, в это время не было в Петербурге.

— Подождите, — успокаивал Румянцев. — Вот скоро приедет Ленин, и все устроится.

Я ходила и напевала:

— «Вот приедет барин, барин все устроит».

И Румянцев не обманул.

Барин приехал.

И все устроил.

В приемной нашей редакции сидел Румянцев и с ним еще двое. Один уже знакомый, из шептунов, другой новый. Новый был некрасивый, толстенький, с широкой нижней челюстью, с выпуклым плешивым лбом, с узенькими хитрыми глазами, скуластый. Сидел, заложив ногу на ногу, и что-то решительно говорил Румянцеву. Румянцев разводил руками, пожимал плечами и явно возмущался. Шептун ел глазами нового, поддакивая ему, и даже от усердия подпрыгивал на стуле.

Когда я вошла, разговор оборвался. Румянцев назвал мое имя, и новый любезно сказал:

— Знаю, знаю. (Хотя знать, собственно говоря, было нечего.)

Его имени Румянцев не назвал. Очевидно, я и так должна была понять, кого я вижу.

— Вот Владимир Ильич недоволен помещением, — сказал Румянцев.

Ага, Владимир Ильич! Значит, это и есть «он».

— Помещение отличное, — прервал его Ленин. — Но не для нашей редакции. И как могло вам прийти в голову, что нашу газету можно выпускать на Невском. И какого роскошного швейцара посадили! Да ни один рабочий не решится пройти мимо такой персоны. А ваши хроникеры! Куда они годятся! Хронику должны давать сами рабочие.

— Уж не знаю, что они там напишут, — ворчал Румянцев.

— Все равно. Конечно, все это будет и безграмотно, и бестолково, это не важно. Мы тут такую статейку как следует обработаем, выправим и напечатаем. Таким образом, рабочие будут знать, что это их газета.

Мне вспомнился Ефим и его «Плеве с плевелами».

— А литературную критику, отчеты о театрах и опере тоже будут писать рабочие? — спросила я.

— Нам сейчас театры не нужны. И никакая музыка не нужна. Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно. Только рабочие хроникеры могут связать нас с массами. А вот ваш хваленый Львов дает только министерские сплетни. Он нам абсолютно не нужен.

Бедный Румянцев! Он так гордился, что ему удалось переманить Клячко-Львова, короля репортеров.

Клячко был удивительный репортер. О нем рассказывали легенды. Он будто бы сидел под столом в кабинете министра внутренних дел во время одного секретного заседания, и на другой день в обслуживаемой им газете появился в рубрике «Слухи» отчет об этом заседании, поразивший до паники высшие сферы. Откуда мог он узнать? Кто проговорился? Или здесь был многотысячный подкуп? Но это предположение совершенно чудовищно. Долго разыскивали виновного и, конечно, так и не нашли. Виноват был лакей, получивший хорошую плату за то, что спрятал Клячко под зеленое скуно.

Еще рассказывали, как он интервьюировал одного сановника, готовившего важный проект. Сановник ничего толкового по этому делу Клячко не ответил, ограничился общими местами и только все разглаживал рукой лежавшую на столе рукопись. Сановник торопился ехать на заседание, и Клячко предложил довести его. Уходя, любезный журналист забыл в кабинете свой портфель. Сановник уже занял место в экипаже, Клячко уже поставил ногу на подножку и вдруг всполошился:

— Портфель! Боже мой! Забыл портфель!

И ринулся в подъезд.

На глазах оторопевшего лакея ворвался в кабинет, схватил свой портфель да заодно и лежащую на столе рукопись.

Через час, когда рукопись была спешно просмотрена, он вернулся в дом сановника и сказал лакею:

— Барин велел, чтобы я сам положил эти листы к нему на стол.

На другой день сановник был страшно удивлен, увидя в газете общий план составленного им проекта.

— Я ведь отвечал очень уклончиво на расспросы этого журналиста. Какой у него необычайный нюх!

И вот этого-то Клячко-Львова, короля репортеров, за которым охотились все газеты, Ленин предложил удалить. Заменить Ефимом с плевелами.

— Пожалуй, и весь литературный отдел покажется вам лишним? — спросила я.

— Откровенно говоря, да. Но подождите. Продолжайте работать, а мы все это реорганизуем.

Реорганизация началась сразу же. Началась с помещения. Явились плотники, притащили доски, разделили каждую комнату на несколько частей.

Получилось нечто вроде не то улья, не то зверинца. Всё какие-то темные углы, клетки, закуты. Иногда выходило вроде стойла на одну лошадь. Иногда маленькое, вроде клетки на небольшого зверя, скажем, для лисицы. И внутренняя стена так близко,

что если поставить перед зрителями решетку, то можно было бы подразнить зверя зонтиком и даже, если не страшно, погладить. В некоторых закутках не было ни стола, ни стула. Висела только лампочка на проводе.

Появились в большом количестве новые люди. Все неведомые и все друг на друга похожие. Выделялись из них Мандельштам, умный и интересный собеседник, А. Богданов, скучноватый, но очень всеми ценимый, Каменев, любящий или, во всяком случае, признающий литературу. Но они почти никогда в редакции не появлялись и были, насколько я понимаю, заняты исключительно партийными делами. Остальные собирались группами по закуткам, становились в кружок, головой внутрь, как бараны во время бурана. В центре кружка всегда была в чьей-нибудь руке бумажка, в которую все тыкали пальцем и вполголоса бубнили, не то не разбирая, в чем дело, не то следя друг за другом. Странная была редакция.

Нетронутой оставалась только одна большая комната для редакционных собраний.

Собрания эти велись довольно нелепо. Приходили люди, ничего общего с газетой не имеющие, толклись тут же, у стенки за стульями, пожимали плечами, глубокомысленно-иронически опускали углы рта там, где все было просто и ясно и никакой иронии вызвать не могло. Вроде того, что набирать покойников петитом или общим шрифтом.

Во время одного такого заседания кто-то доложил, что пришел некто Фаресов (кажется, из народников), хочет принять участие в газетной работе.

— Никто не имеет ничего против Фаресова? — спросил Ленин. Никто.

— Он мне только лично несимпатичен, — пробормотала я. — Но это, конечно, не может иметь значения.

— Ах, так, — сказал Ленин. — Ну, если он почему-нибудь неприятен Надежде Александровне, так Бог с ним совсем. Скажите, что мы сейчас заняты.

Боже мой, какой джентльмен! Кто бы подумал!

А П-в шепнул мне:

— Видите, как он вас ценит.

— А по-моему, это просто предлог, чтобы отделаться от Фаресова, — ответила я.

Ленин (он сидел рядом) покосил на меня узким лукавым взглядом и рассмеялся.

А жизнь в городе текла своим чередом.

Молодые журналисты ухаживали за молодыми революционерками, наехавшими из-за границы.

Была какая-то (кажется, фамилия ее была Градусова — сейчас не помню), которая разносила в муфте гранаты, и провожающие ее сотрудники буржуазной «Биржевки» были в восторге.

— Она очень недурно одевается и ходит к парикмахеру, и вдруг в муфте у нее бомбы. Как хотите — это небанально. И все совершенно спокойно и естественно. Идет, улыбается. Прямо душка!

Собирали деньги на оружие.

Вот такие небанальные душки приходили в редакции газет и журналов, в аристократические театры и очень кокетливо предлагали жертвовать на оружие. Одна богатая актриса отнеслась к вопросу очень деловито. Дала двадцать рублей, но потребовала расписку.

— В случае, если революционеры придут грабить мою квартиру, так чтобы я могла показать, что я жертвовала в их пользу. Тогда они меня не тронут.

Ко мне пришел Гусев. Я собирать отказалась. И не понимаю, и не умею. У меня как раз сидел один английский журналист, сотрудник «Таймс». Он засмеялся и дал Гусеву десятирублевый золотой. Гусев положил добычу в большой бумажный мешок из-под чувских сухарей. В мешке уже был сбор — три рублевки и двугривенный.

Вскоре после этого произошла у меня с этим Гусевым забавная встреча.

Мои буржуазные друзья повезли меня после театра ужинать в один из дорогих ночных ресторанов с музыкой и артистической программой. Публика там была богатая, пили шампанское.

Вот вижу я, недалеко от нас сидит девица, к стилю этого дорогого кабаре совсем не подходящая. Густо набеленная, разляписто одетая — прямо Соня Мармеладова с Сенного рынка. А рядом с ней из-за серебряного ведра с бутылкой шампанского выглянуло какое-то знакомое лицо. Выглянуло и сразу спряталось. Я даже не смогла разглядеть, кто это. Но вот один из моих спутников говорит:

— Там, за третьим столиком, какой-то тип вами заинтересовался. Все поглядывает.

Я быстро обернулась и сразу встретила глазами с Гусевым. Это он прятался от меня за бутылку. Он и опять спрятался, но, очевидно, понял, что я его узнала, и решил действовать. Красный, распаренный и растерянный подошел к нашему столу.

— Вот в каких ужасных вертепах приходится иногда прятаться, — сказал он хриплым голосом.

— Бедненький, — вздохнула я. — Как я вас понимаю! Вот и наша компания тоже решила здесь спрятаться. Подумать толь-

ко, что приходится иногда терпеть. Музыка, балетные номера, неаполитанские песни. Прямо ужасно!

Он покраснел еще больше, засопел носом и отошел.

Критическую статью Антона Крайнего (З. Гиппиус) на литературную тему не напечатали. Отчет о театре, о новой пьесе, тоже не поместили.

— Почему?

— Ленин говорит, что это не должно интересовать рабочего читателя, который литературой не интересуется и в театры не ходит. Спросила у Ленина.

— Да, это верно. Сейчас не время.

— Но ведь нашу газету читают не только рабочие.

— Да, но те читатели нам неинтересны.

— А не думаете ли вы, что если вы совершенно устранили всю литературную часть газеты, то она потеряет много подписчиков? А это будет для вас материально невыгодно. Кроме того, если газета превратится в партийный листок, ее, наверное, скоро прихлопнут. Пока в ней мелькают литературные имена, цензура относится к ней не слишком внимательно. Эти литературные имена — это вам щит. Без них сразу обнаружится, что это просто партийный листок, и, конечно, с ним церемониться не станут.

— Ничего. Это дело провалится, надумаем другое.

— Хорошо, значит, ни театров, ни музыки не нужно.

Присутствовавший при этом разговоре Гуковский сочувственно кивал головой.

Поговорила с Румянцевым.

— Петр Петрович. А ведь газету закроют.

— Ну вот пойдите потолкуйте с ним. Кроме того, у нас есть обязательства по отношению к литературной группе. У нас договор. Газета разрешена на имя Минского. Мы не имеем права выживать его из редакции. Это будет безобразнейший скандал на весь литературный мир.

Уходя из редакции, увидела Гуковского. Он разбирал почту.

— А вот это отлично. Билеты в оперу. Жена обожает музыку. Непременно пойдем.

— Ну нет, друг мой. Никуда вы не пойдете, — остановила я его. — Это было бы уже совсем нетвердокаменно. Сотрудники газеты не имеют права пользоваться даровыми билетами, раз о театрах не будет отзывать. Вы ведь только что разделяли мнение Владимира Ильича, что ни литературы, ни музыки сейчас не нужно. Будьте последовательны. Вот так — возьмем и разорвем дружно вместе эти гнусные предложения на беспринципное времяпрепровождение.

Спокойно сложила билеты и разорвала их крестом на четыре части. Конечно, уже через полчаса мне было досадно, что я его обидела. Ну, пошел бы с женой в оперу, послушал бы «Евгения Онегина», отдохнул бы душой. Ну, конечно, он благоговееет перед Лениным и боится и поддакивает — все это понятно. Но ведь и он человек. Музыка-то и ему хочется. Да еще и жена любит... И чего я озлилась! Хорошо бы достать билеты и послать ему от неизвестного. Слышали вот, что вы любите музыку... Да ведь он, пожалуй, еще испугается. Откуда такой слух пошел? Ему оперу и знать-то не полагается. Это уже не шаг вперед, а прямо с места два назад. Но как на душе все-таки нехорошо. Если опять билеты пришлют, непременно подсуну их к нему в стойло.

Ленин жил в Петербурге нелегально. За ним, разумеется, следили. Не могли не следить. Тем не менее он свободно приходил каждый день в редакцию и, уходя, чтобы его не узнали, поднимал воротник пальто. И ни один из дежуривших шпииков ни разу не полюбопытствовал — что это за личность, так усердно прячущая свой подбородок?

Буколические были времена, и лев жевал траву рядом с ягненком.

Замечая, какую роль играет Ленин среди своих партийцев, я стала к нему приглядываться.

Внешность его к себе не располагала. Такой плешивенький, коротенький, неряшливо одетый мог бы быть служащим где-нибудь в захолустной земской управе. Ничто в нем не обещало диктатора. Ничто не выражало душевного горения. Говорил, распоряжался точно службу служил, и казалось, будто ему и самому скучно, да ничего не поделаешь.

Держал себя Ленин очень просто, без всякой позы. Поза всегда вызывается желанием нравиться, жаждой красоты. Красоты Ленин не чувствовал никогда и ни в чем. Так, Луначарский был барином и поэтом. Румянцев — орлом. Шептуны — все робеспьеры и мараты, хотя в присутствии Ленина все поджимали хвосты. Все позировали.

Разговаривал Ленин с маратами тоном дружелюбным и добродушным, объяснял им то, что они не сразу ухватывали. И они умиленно благодарили Ильича за науку.

— И как это мы так! А ведь как просто! Ну, вот спасибо.

И так, держа себя добродушным товарищем, он мало-помалу прибирал всех к рукам и вел по своей линии, кратчайшей между двумя точками. И никто из них не был ему ни близок, ни дорог. Каждый был только материалом, из которого вытягивал Ильич нитки для своей ткани.

О нем говорили «он».

— Он еще здесь?

— Он еще придет? Он не спрашивал?

Остальные были «они».

Он никого из них не выделял. Зорко присматривался узкими монгольскими глазами, кого и для какой цели можно использовать.

Этот ловко проскальзывает с фальшивым паспортом — ему дать поручение за границу. Другой недурной оратор — его на митинги. Третий быстро расшифровывает письма. Четвертый хорош для возбуждения энтузиазма в толпе — громко кричит и машет руками. Были и такие, которые ловко стряпали статейки, инспирированные Ильичем.

Как оратор Ленин не увлекал толпу, не зажигал, не доводил до исступления, как, например, Керенский, в которого толпа влюблялась и плакала от восторга. Я сама видела эти слезы на глазах солдат и рабочих, забрасывавших цветами автомобиль Керенского на Мариинской площади. Ленин очень деловито долбил тяжелым молотом по самому темному уголку души, где прячутся жадность, злоба и жестокость. Долбил Ленин и получал ответ без отказа:

— Будем грабить, да еще и убьем!

Друзей или любимцев у него, конечно, не было. Человека не видел ни в ком. Да и мнения о человеке был довольно низкого. Сколько приходилось наблюдать, он каждого считал способным на предательство из личной выгоды. Всякий был хорош, поскольку нужен делу. А не нужен — к черту. А если вреден или даже просто неудобен, то такого можно и придушить. И все это очень спокойно, беззлобно и разумно. Можно сказать, даже добродушно. Он, кажется, и на себя смотрел тоже не как на человека, а как на слугу своей идеи. Эти одержимые маньяки очень страшны.

Но, как говорится, победителей не судят. Кто-то ответил на эту поговорку:

— Не судят, но часто вешают без суда.

Прошел слух, будто черносотенцы из «Чайной русского народа» собираются устроить погром «Новой жизни». Составлены списки всех сотрудников и раздобыты их адреса. Намечена уже ночь, когда прямо пойдут по квартирам расправляться с нами.

Все решили эту ночь дома не ночевать. Мне тоже строго велели куда-нибудь уйти. Но вышло так, что я вечером была в театре, а оттуда поехала к знакомым ужинать и попала домой уже к пяти часам утра.

Решила, что если черная сотня хотела меня убить, то на это была в ее распоряжении целая ночь, а утром будет уже дело неподходящее. Спросила прислугу, не приходил ли кто. Нет, говорит, не приходил. Так все и обошлось благополучно. Днем выяснилось, что вообще никого из редакции не обеспокоили.

Тем не менее настроение в редакции было беспокойное, и уже по другим причинам.

Румянцев сказал, что Ленин требует порвать соглашение с Минским, завладеть газетой целиком и сделать ее определенно органом партии. Румянцев протестовал, находя это неприличным. Газета разрешена на имя Минского, он — ответственный редактор. Какого же мнения будут о нас в литературных кругах!

— На ваши литературные круги мне наплевать, — отвечал Ленин. — У нас царские троны полетят вверх ногами, а вы толкуете о корректном отношении к каким-то писателям.

— Но ведь договор-то заключил я, — защищался Румянцев.

— А порву его я.

Но прежде, чем он порвал этот несчастный договор, он напечатал в «Новой жизни» статью, которая всех перепугала. Насколько помню, это было что-то о национализации земли. Минскому было сделано предостережение. Он пришел в редакцию очень расстроенный.

— Я ответственный редактор, а вы меня оставляете в полном неведении о помещаемых вами статьях. Еще одна такая, и мне грозит ссылка.

Пришла и жена Минского, поэтесса Вилькина.

— Я боюсь, — говорила она. — Вдруг мужа сошлют в Сибирь. Он не выдержит, у него слабые легкие.

И в ответ на эту законную тревогу послышалось подхихикивание.

— Ничего, не беда! Климат в Сибири здоровый. Это ему даже, хи-хи, полезно.

Получилось неприятно и грубо. Минский даже не ожидал такого отношения. Выручил его П-в.

— Уезжайте сейчас же за границу.

— Да меня, пожалуй, и не выпустят.

— Я вам дам свой паспорт. И не теряйте времени.

Через несколько дней Минский пришел прощаться в редакцию. Показывал новенький заграничный паспорт, в котором на листке для Англии было вписано «джентльмен» (П-в был дворянин).

— Вот, — смеялся Минский, — теперь у меня имеется правительственное удостоверение, что я — настоящий джентльмен.

Он скоро уехал, и вся наша литературная группа решила из газеты уходить. Попросили вычеркнуть наши имена из списка сотрудников. В этой газете нам действительно больше делать уже было нечего.

Просуществовала газета недолго, как и можно было предвидеть.

Ленин поднял повыше воротник пальто и, так никем и не узнанный, уехал за границу на несколько лет.

<...>

А. ФАДЕЕВ*

Предсмертное письмо**

Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загубленно самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли преждевременно; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40–50 лет.

Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, из самых «высоких» трибун — таких, как Московская конференция или XX-й партсъезд, — раздался новый лозунг «Ату ее!». Тот путь, которым собираются «исправить» положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой все той же «дубинкой».

С каким чувством свободы и открытости входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это — «партийностью». И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность — при возмутительной дозе самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить...

* Александр Александрович Фадеев (1901–1956) — русский и советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии I степени (1946). Кавалер двух Орденов Ленина (1939, 1951). Член РКП(б) (1918–1956). Член ЦК ВКП(б) (1939–1956). Лауреат премии Ленинского комсомола (1970 — посмертно). В 1946–1954 гг. — генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей СССР.

** Покончил жизнь самоубийством 13 мая 1956 г.

Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, рабочими и крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней, глубоко коммунистического таланта моего. Литература — это высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от са-трапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже трех лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

А. Фадеев.

13.05.56.

К. ФЕДИН***Рисунок с Ленина (1939)**

1

Летним полднем молодому художнику Сергею Шумилину позвонили по телефону из газеты и сказали, чтобы он зашел в редакцию договориться об одном деле. Художник бросил рисовать, помыл руки, сунул в карман гимнастерки карандаши с блокнотом и вышел на улицу.

В магазинных окнах были выставлены портреты Ленина в красных рамочках из кумача, и повсюду бросались в глаза надписи: «Да здравствует Третий Коммунистический Интернационал!»

Сергей, заглядывая в окна, думал, что — вероятно — фотографии очень правильно передают черты Ленина, без отклонений, но художник мог бы тоньше, уловить особенности лица, живость движений, и хорошо было бы порисовать когда-нибудь Ленина с натуры.

В редакции Сергею сказали:

— Вот какое хотим мы дать вам поручение.

На конгресс Коминтерна съезжаются иностранные делегаты. Отправляйтесь во Дворец труда, там они сегодня соберутся. Запишите кого-нибудь из делегатов. Согласны?

— Хорошо.

— А завтра мы дадим вам пропуск на открытие конгресса, можете рисовать любого делегата и, если увидите, Ленина...

— Ленина? — быстро перебил Сергей и улыбнулся своей мгновенной мыслью, что вот судьба так странно исполняет его желание.

— Да, если представится возможность, нарисуйте нам Ленина.

— Хорошо, — опять сказал Сергей.

Веселый, он поехал на трамвае во Дворец труда и, как только через открытые окна вагона замечал где-нибудь портрет Ленина, — снова удивлялся необыкновенному совпадению и уже ясно представлял себе, каким легким, непринужденным, живым будет его рисунок с Ленина.

Он решил, какой альбом возьмет с собою; какие нужны карандаши и как он потом, по рисунку, напишет большой портрет.

* *Константин Александрович Федин (1892–1977)* — русский советский писатель и журналист, специальный корреспондент. Первый секретарь (1959–1971) и председатель правления (1971–1977) Союза писателей СССР.

2

Во Дворце, куда явился художник, было шумно. На лестницах, в коридорах попадались иностранцы, окруженные русскими, которые рассказывали им о жизни Советской Республики.

Шла война с Польшей, поляки были разбиты, и Красная Армия преследовала бежавшие польские войска. Белогвардейцам барона Врангеля в Крыму тоже приходил конец. Но до мира было далеко, вражеская блокада изнуряла молодую советскую землю, и трудно было проникнуть из-за границы в Петроград. Иностранцы гости ехали на конгресс морем, вокруг Скандинавии, им приходилось переживать по дороге рискованные приключения. Но желание увидеть Страну Советов заставляло преодолевать самые трудные препятствия, и люди съехались со всех концов света.

Сергея познакомили с одним немцем. Это был маленький горбун с важным лицом и с медленной походкой. Родом он происходил из Брауншвейга, по профессии был портным. Во время германской революции он три дня возглавлял «независимую» республику в Брауншвейге, которую предательски разгромили немецкие социал-демократы.

Хотя он сразу согласился позировать художнику, он занялся подробными расспросами о Советской власти и все не мог понять, зачем ей понадобилось упразднить всякую торговлю и ввести распределение товаров.

Они стояли на балконе, глядя на суровую площадь перед Дворцом, еще хранившую следы героической обороны Петрограда от генерала Юденича: на мостовой виднелись второпях засыпанные окопы, на бульваре торчали остатки бруствера — бревна, мешки с песком. Сергей сказал:

— Целое сонмище врагов ополчились на нас. Мы думаем об одном — победить их.

— Понимаю, понимаю, — с превосходством говорил брауншвейгец и плавно двигал головой, лежавшей глубоко в плечах. — Но какой смысл в том, что у вас закрыты мелочные лавки?

— Лавочники заодно с нашими врагами.

— Понимаю, понимаю. Но если у меня оторвется пуговица, где я ее куплю?

Таким рассуждениям, казалось, не будет конца, и Сергей вдруг заскучав, почувствовал, что совершенно ничего не получится, если он начнет рисовать брауншвейгца.

— Знаете, я попробую сделать ваш портрет завтра, на конгрессе, — сказал он.

Немец снисходительно разрешил, и художник быстро простился.

3

На другое утро, с билетом в кармане, Сергей торопился на открытие конгресса, но, когда он пришел, зал Дворца Урицкого был уже полон, на хорах колыхалась живая полоса голов, все глухо гудело от разговоров, везде вспыхивали белыми крыльями расправляемые газеты. Стояла духота, чаще и чаще в амфитеатре снимались пиджаки, люди обмахивались газетами, платками, рябило в глазах от трепета неисчислимых пятен, все было напряжено ожиданием.

Сергей нашел место в ложе для журналистов, против трибуны. Отсюда хорошо были видны скамьи президиума. Он раскрыл альбом и стал готовиться к рисованию.

Внезапно хоры зашумели, и, все поглощая грохотом, визг начал сползать глетчер рукоплескании. Сергей поднялся вслед за всем залом и стал глядеть в места президиума. Но там никто не появлялся. Он посмотрел в зал, и вдруг у него выпал из рук альбом: он начал аплодировать.

Прямо на него, через весь зал, впереди разноплеменной толпы делегатов, шел Ленин. Он спешил, наклонив голову, словно рассекая ею встречный поток воздуха и как будто стараясь скорее скрыться из виду, чтобы приостановить аплодированье. Он поднялся на места президиума, и, пока длилась овация, его не было видно.

В момент, когда он появился, раскрылись все двери зала, и на хоры и в амфитеатр внесли огромные корзины красных гвоздик Цветы разлетались по рукам, вовлекая длинные ряды скамей в красочную переключку с алыми полотнищами знамен и дегсораций. Оглядывая зал, Сергей увидел неподалеку двух пожилых художников, которые еще недавно были его учителями.

Они уже уселись на места, а он все еще стоял. Спohватившись, он поднял альбом и взялся за карандаши.

Но неожиданно, когда стихло, он опять увидел Ленина, очень быстро поднимавшегося вверх между скамей амфитеатра. Его не сразу заметили, но едва заметили, снова начали аплодировать и заполнять проход, по которому он почти взбегал.

Он поравнялся с одним человеком и, весело улыбаясь, протянул ему руки. Тот встал навстречу Ленину, здороваясь неторопливо, с какой-то степенной манерой крестьянина и с ласковой сдержанной улыбкой. Они разговаривали, все больше наклоняясь друг к другу, потому что овация росла и люди обступили их кольцом.

— Это — Миха Цхакая, — услышал Сергей, — грузинский коммунист. Он жил с Лениным в Швейцарии.

Кольцо людей вокруг них сужалось, и Ленин, пожав руку то-варища, почти прорвал неподатливую толпу, устремляясь вниз, явно недовольный громом и толчеей.

Сергей следил за каждым шагом Ленина. Ему казалось, что он успел заметить очень важные особенности движений этого невысокого, легкого человека и уже видел их пойманными карандашом в своем альбоме.

Ленин, войдя в места президиума, на минуту исчез, потом вновь появился, и Сергей увидел, как он вынул из кармана бумаги и присел на ступеньку в проходе. Это случилось быстро, нечаянно, просто, и лучшей позы нельзя было ни ждать, ни вообразить. Сергей почувствовал, что его соседи-художники уже рисуют. Он сжал в пальцах карандаш, но не мог оторвать взгляда от Ленина.

Так хорошо была видна его голова — большая, необычная, за-поминавшаяся в один миг. Ленин положил бумаги на колени и, читая, низко нагнулся над ними. Взмах его лба, темя, затылок с завитушками светлых желтых волос, касавшихся воротника, резко преобладали во всем его облике. Сергей хотел сравнить Ленина с каким-нибудь образом, знакомым из истории или современности, но Ленин никого не повторял. Каждая черточка его принадлежала только ему.

Сергей наконец коснулся карандашом бумаги. Одним мягким, нащупывающим скольжением он прочертил контур ленинской головы и поднял глаза. Ленина уже не было.

4

Сергей увидел его снова, когда он ступил на трибуну для доклада.

Восторженная, несмолкающая овация встретила Ленина.

Ему пришлось вынести ее до конца. Он долго перебирал бумажки на кафедре. Потом, высоко подняв руку, тряс ею, чтобы уgomонить разбушевавшийся зал. Укоризненно и строго поглядывал он по сторонам — один среди клокотавшего шума. Вдруг он вынул часы и показал их аудитории, сердито постукивая пальцем по циферблату, — ничего не помогало. Тогда он опять принялся нервно пересматривать, перебирать бумажки, пока овация, словно исчерпав себя, не обратилась во внимающую тишину.

Ленин начал говорить.

Сергей увидел его в движении, передававшем мысль. Вот именно это и мечтал художник изобразить в рисунке. Черты Ленина, несколько минут назад совершенно точно уловленные, как будто

исчезли в Ленине-ораторе и заменялись новыми, в непрерывном живом чередовании. Одну за другой отмечал их в памяти Сергей, но они возникали и не повторялись, и он боялся упустить их, и все не решался начать рисовать, и уже не мог бы сказать, что делает — изучает ли жестикуляцию Ленина или слушает его речь.

Полная слитность жеста Ленина со словом поразила его.

Содержание речи передавалось пластично, всем телом. Сергею казалось, будто жидкий металл влит в податливую форму: настолько точно внешнее движение сопутствовало слову, так бурно протекала передача огненного смысла речи.

Ленин разоблачал Англию, которая неожиданно-негаданно прониклась миролюбием и, чтобы спасти панскую Польшу и белого генерала Врангеля, предложила свое посредничество между ними и Советской Республикой. Когда Ленин спросил у зала: почему создано во всем свете «беспокойство», как выражается деликатное буржуазное правительство Англии, все его тело иронически изобразило это неудобное, щекотливое для Англии «беспокойство», и ее политика на глазах у всех превратилась в разящий саркастический образ.

Ленин часто глядел в свои записки и много называл цифр, но ни на одну минуту он не делался от этого унылым докладчиком, оставаясь все время покоряющим трибуном. Его высокий голос был неутомим, его язык наглядно-прост, его произношение — мягко, он иногда грассировал на звуке «р», и это наделяло его слово человечностью, жизненно приближая речь к слушателю.

С таким чувством, как будто он не пропускает ни звука этой речи, Сергей принялся рисовать. Он набрасывал на бумагу приподнятую голову Ленина, его вытянутые руки, прямую сильную, разогнутую линию спины, круглую, выпяченную грудь. Он оставлял один рисунок, начинал другой: то у него не получалось лицо, то руки или торс. Он повторял удачное, бился над тем, что не удавалось, перевертывал в альбоме лист за листом и, наконец, в испуге заметил, что цель, которую себе поставил, ничуть не приближалась.

Он посмотрел на своих учителей. Один из них, нагнувшись, старательно стирал нарисованное резинкой. Лысина его была пунцовой. Сергей вспомнил он всегда краснел, если у него что-нибудь не получалось. Другой художник ушел из ложи, пристроился в рядах против трибуны и, бросив рисовать, слушал Ленина.

Сергею вдруг сделалось страшно, что он навсегда упустит мгновение, что Ленин кончит речь, а в его альбоме так и не будет ни одного цельного наброска. Он вышел из ложи, насилию толкавшись в дверях, где люди стояли плечом к плечу. Он стал внизу, в проходе, откуда Ленин показался ему больше и выше. Он

решил, что это самое выгодное место. Но тут мешал свет юпитеров: объективы фотокамер и кино вместе с художниками ловили неуловимого, живого Ленина, и огни, вмиг ослепив, окунали зрение в темноту. Сергей перешел на другую сторону от трибуны. Отсюда Ленин виден был почти силуэтно, потому что свет позади него падал ярче. Нет, первая позиция была лучше всех, надо было скорее, скорее возвращаться в ложу.

Место Сергея было занято, ему пришлось стоять. Но стоя он внезапно увидел всего Ленина, во весь рост и в той полноте, которая не давалась глазу, разывавшему на части исполненную цельности натуру. Сергей сразу взялся за новый рисунок. И тогда стала сказываться вся подготовка, все неуверенное штудирование, этюды, сделанные как будто на ощупь, вслепую, и жесты, движения головы, черты лица, дополняя друг друга, соединяясь, начали медленно превращаться в связный рисунок, в близкий к правде образ в живого Ленина. Уже не отрываясь от альбома, быстро, без усилий рисовал Сергей.

Гулкий шум раскатился по залу. Сергей вскинул глаза.

Взмахом руки собрав бумаги, Ленин легко сбегал с трибуны.

Сергей захлопнул альбом.

5

Когда кончилось заседание, в плотной, жаркой толпе делегатов Ленин вышел из Дворца вместе с Горьким. Сверкающе синий день слепил и обжигал после тепло-желтого полусвета зала. Теснота приостановила движение у самого выхода. Фотографы, наступая на делегатов со всех сторон, трещали затворами, обрадованные неистовым освещением. Горький и Ленин, подвинутые толпой, остановились у колонны дворцового крыльца. Их снимали не переставая. Гладко выбритая, голубеющая голова Горького, блестящая на солнце, была видна далеко. Кругом повторялось его имя. Ленин стоял ниже, впереди него, тоже с непокрытой головой.

Сергей был рядом, и ему надо было бы рисовать. Но толпа сдавила его. Да и он не думал шевельнуться: так близко он еще не видел Ленина за весь день. Он чувствовал, что улыбается и что улыбка его, может быть, не к месту, но она не спадала с лица, точно одеревенев. Конечно, он не мог радоваться, что фотографы нащелкают несколько десятков плохих снимков, но он позавидовал прыткости их беспечной профессии.

Шествие тянулось. Среди знамен, над головами, несли трехметровый венок из дубовых веток и красных роз: направлялись к братской могиле на площади Жертв Революции.

Ленин шел во главе делегатов конгресса. Рядом с ним все время сменялись люди — иностранцы, русские, старые и молодые. Он кончал говорить с одним, начинал с другим, третьим.

Он шел без пальто, расстегнув пиджак, закладывая руки то за спину, то в брючные карманы. Было похоже, что он — не на улице, среди тяжелых, огромных строений, а в обжитой комнате, дома: ровно ничего не находил он необычайного в массе, окружавшей его, и просто, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей.

Сергей, шедший поблизости, вдруг заметил знакомого человека, который, пробираясь между плотными рядами людей, вынырнул вперед и, улучив минуту, поравнялся с Лениным. Это был брауншвейгец. Обстоятельно представившись и пожав Ленину руку, он приступил, как видно, к хорошо заготовленной тираде.

Ленин наклонил голову набок, чтобы лучше слышать низенького собеседника. Тот говорил, важно поводя длинной рукой, цenia свои внушительные слова, боясь проронить что-нибудь напрасно. Сначала Ленин был серьезен. Потом заулыбался, прищурился, коротко подергивая головой. Потом отшатнулся, обрывисто махнув рукою с тем выражением, которым говорится: чушь, чушь! Брауншвейгец, жестикулируя, продолжал что-то доказывать. Ленин взял его за локоть и сказал две-три фразы — кратких и каких-то окончательных, бесповоротных. Но брауншвейгец яростно возражал. Тогда вдруг Ленин легко хлопнул его по плечу, засунул пальцы за жилет и стал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шага и уже больше не оглядываясь на человека, который его так рассмешил.

«Не о пуговице ли заговорил неудачливый брауншвейгец?

Возможно, конечно», — улыбнулся Сергей, когда немец отстал от Ленина и затерялся в толпе. Странные чувства подняла эта сцена в Сергее. Она была немой для него, но, полная движения, так остро выразила в Ленине непринужденность, доступность и беспощадное чувство смешного. Сергей видел Ленина веселого, от души хохочущего, наблюдал его манеру спорить — с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным глазом, с жестами, полными страсти и воли. Сцена с брауншвейгцем должна была дополнить рисунок Сергея такими важными штрихами, каких прежде он не мог знать.

«Два председателя, — думал он, улыбаясь и словно все еще видя перед собою две фигуры, — председатель трехдневного брауншвейгского правительства, канувшего в Лету, и председатель правительства, которое существует три года, будет существовать всегда».

Незнакомое телесное ощущение гордости потоком захватило Сергея, и почти в тот же момент у него стало биться сердце от досады и волнующего дерзкого желания: почему, почему так много людей подходят к Ленину и он уделяет им время, а он, художник, который должен, который обязан и хочет навсегда запечатлеть Ленина для сотен, для тысяч людей, почему он должен выискивать секунды, чтобы заглянуть в его лицо, рассмотреть его улыбку, поймать на лету его взгляд?

Сергей раскрыл альбом. В рисунке были черты сходства, несомненно. Пойманые бегло, мимолетно, они не обладали бесспорностью, но что сказал бы о них сам Ленин?

Сергея толкнули вперед. А может быть, это ему показалось, — он сам протиснулся в передний ряд и уже маршировал вровень с Лениным. Он чуть не задыхался. Какой-то шаг отделял его от цели, и, не зная, хватит ли силы, он сделал этот шаг.

Он подошел к Ленину.

— Я хочу, — сказал он, и едва придуманная фраза тотчас разломалась у него. — Владимир Ильич, как рисунок вы находите этот?

Ленин мельком глянул на Сергея, взял альбом за угол и, нагнувшись, сощурился на бумагу. Потом он отодвинул альбом, весело покосился на Сергея.

— Вам нравится? — спросил он со своим дружелюбным «р».

— Нет, — ответил Сергей, — но сходство, кажется, есть...

— Не могу судить, я — не художник, — скороговоркой отозвался Ленин.

В глазах его мелькнуло шутовское лукавство, он откинул голову назад, ободряюще кивнул Сергею и отвернулся в другую сторону: с ним кто-то заговорил.

Сергея оттеснили из первого, затем из второго ряда, он удивился, почему все время он легко сохранял удобное место в шествии и сразу потерял его. Огорчение? Неловкость? Сергей заново вызвал в себе состояние, которое только что испытал.

Нет, ни в голосе, ни во взгляде Ленина не мелькнуло ничего, что могло бы Сергея встревожить. Но как пришло в голову показать Ленину неудавшийся рисунок? Это было малодушие.

Сергей раскрыл и тотчас захлопнул альбом: рисунок никуда не годился.

Тогда кто-то взял его за локоть и потянул книзу. Он обернулся.

Его жестко держал брауншвейгец.

— Вы, мой друг, намеревались меня рисовать, — сказал он громко. Сегодня вам это не удалось, но я могу вас принять завтра.

Приподняв над головою длинную, сухую руку, он похлопал Сергея по плечу.

— Дьявольски жаркий день. Совсем не похоже на вашу матушку-Россию.

— Знаете что, — сказал Сергей, — я раздумал, я рисовать вас не буду.

— О, очень любезно, — расслышал он позади себя, пробираясь сквозь толпу.

Он тотчас забыл о немце. И в тот же момент он ощутил новое, теплое пожатие руки. Его учитель, художник, рисовавший вместе с ним в ложе, со знакомой участливой вдумчивостью сказал тихо:

— Слышите? У меня не получается рисунок с Ленина.

А у вас?

— У меня тоже, — ответил Сергей и, неожиданно прижимая к себе ласковую руку, с жаром договорил:

— Но даю слово, даю вам честное слово — у меня непременно получится!..

О. ФОКИНА*

Любимый Ленин!** (1967)

Меж годами
Мелькают разные года,
Но ты, живой, повсюду с нами.
И там, где плавится руда,
И там, где пить пустыня просит,
И там, где ждет людей Луна,
И там, где спелые колосья
И светлые глазенки льна.
Поем ли песню в турпоходе,
Случайный окружив родник,
Веселый юноша Володя –
И запевала, и шутник.
Сдавать готовимся экзамен
И с нами ты опять не спишь,
Родными умными глазами
По трудной теме говоришь,
И мы, взрослея, смотрим строже

* *Ольга Александровна Фокина* (р. 1937) — советская и русская поэтесса, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1976).

** Вологодский комсомолец. 1967. 21 апр.

В семье рабочих и жнецов...
И Отцы на Ленина похожи,
А мы похожи на отцов.

М. ФОФАНОВА*

В Питере и в Москве**

<Фрагмент>

Многим известны мои воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, относящиеся к тому периоду, когда Ильич, находясь в подполье, скрывался у меня на квартире. Это было в самый канун Октябрьской революции.

...Первую неделю новой, социалистической эры я провела почти безотлучно в Смольном. Была на заседании Петроградского Совета, депутатом которого являлась, на II съезде Советов, дежурила в Военно-революционном комитете у телефонов, выполняла, как и другие товарищи, отдельные поручения Ильича. На первых порах главным из этих поручений была раздача листовок с декретами о мире и о земле. Листовки мы раздавали не только разъезжавшимся делегатам съезда, но и всем собиравшимся в путь фронтовым солдатам, деревенским ходокам, которых так много было тогда в Смольном. Ленин просил нас не жалеть листовок, давать каждому столько, чтобы он мог как можно больше распространить их в дороге. При всей своей занятости, Ильич то и дело заглядывал в комнаты, где шла раздача, и несколько раз звонил в типографии, чтобы ускорили печатание декретов. «Человек, у которого в руке наши декреты, — говорил Ленин, — вооружен самым мощным, самым необходимым сейчас оружием. Такой человек — лучший агитатор за идеи революции».

Ильич часто выезжал в те дни из Смольного: то в штаб, руководивший военными действиями против войск Керенского, то на заводы, и, в частности, на Путиловский, где строился бронепоезд,

* *Маргарита Васильевна Фофанова (1883–1976)* — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. «М. В. Фофанову я знаю как энергичную и преданную большевичку с лета 1917 года. Осенью того же года, перед Октябрем, в самые опасные времена, она меня прятала у себя на квартире. С революции Октября 1917 года работает все время не покладая рук. <...> В. Ульянов (Ленин)» (*Ленин*. Полн. собр. соч., т. 54, стр. 124–125).

** Огонек. 1958 г. № 17, апрель.

то на митинги. А приближались морозы. И Надежда Константиновна с Марией Ильиничной поглядывали с беспокойством на легонькое демисезонное пальтецо, в котором расхаживал Ильич. Еще когда он жил у меня на Сердобольской, это пальто решено было утеплить, подложив ватин. Тогда же я приготовилась вспороть подкладку. Но Владимир Ильич, давший сначала согласие на эту операцию, сказал вдруг: «Маргарита Васильевна, не нужно этого делать. Боюсь, на ватине пальто станет мне тесновато. Лучше купим, чуть погодя, настоящее зимнее».

Я поняла его маленькую хитрость: просто не хотел меня утруждать. В Смольный он ушел в демисезонном пальто и продолжал ходить в нем в холодную погоду. Не раз заговаривали с ним о необходимости приобретения шубы, но он только шутливо отмахивался. И лишь когда ударили морозы, дал наконец согласие на покупку. Дождаться, что он улучит часок и сам отправится в магазин, было, конечно, безнадежно. И Надежда Константиновна сказала мне: «Маргарита, ты знаешь, я не специалист в этих делах. Очень прошу тебя, поезжайте-ка с Манечкой и купите Володе шубу...»

Мы поехали с Марией Ильиничной в «Деловой двор», большой универсальный магазин на Мойке, близ Невского. Там, в отделе готового платья, мы выбрали Ильичу пальто с черным каракулевым воротником, на вате, из добротного материала, хорошее, удобное, правда, с одним, на мой взгляд, недостатком: воротник шалью. Он красив, но с обыкновенным воротником, который можно застегнуть, все-таки теплее. К сожалению, с застежными, английского типа воротниками были только меховые шубы, очень дорогие, совсем не по средствам, имевшимся в нашем распоряжении... Кроме пальто мы купили Ильичу и каракулеву шапку-ушанку. У нас еще оставалась некоторая сумма. Продавались великолепные вязаные мужские жилеты из чистой шерсти. «Возьмем!» — предложила я. Мария Ильинична задумалась: «Не сочтет ли нас Володя транжирами?» Я стала уговаривать. «Ладно, — сказала она. — Вещь, действительно, чудесная. Покупаем!»

И пальто и шапка понравились Владимиру Ильичу. А вот третьей нашей покупки, как и предполагала Мария Ильинична, не одобрил: «Неразумная трата денег. Ты, Маняша, переусердствовала...» Мария Ильинична смолчала, приняв, таким образом, всю вину на себя, не выдав истинной виновницы «неразумной траты». Этот жилет Ильич в Питере так ни разу и не надел, считая его излишней роскошью...

К моменту покупки пальто — а это было в самом начале ноября — Ильичи (так друзья называли супружескую пару Ульяновых)

не имели еще своей квартиры. Владимир Ильич ночевал у Бонч-Бруевича на Херсонской, а если задерживался на работе допоздна, то ложился отдыхать в маленькой комнатухе, примыкавшей к совнаркомовской канцелярии. Весь тогдашний Совнарком размещался в трех комнатах: кабинет Ленина, приемная и канцелярия. Мне кажется, что следовало бы в этих комнатах на третьем этаже левого крыла Смольного восстановить обстановку той поры и открыть их для обозрения, как это сделано с квартирой Ульяновых здесь же, в Смольном...

Надежда Константиновна до получения квартиры жила у Елизаровых на Петроградской стороне. А работала она на Выборгской, в районном Совете. И, бывало, они с Владимиром Ильичем, закрутившись в делах, сутками не встречались. Помню, как однажды Ильич, дня два уже не видя Надежды Константиновны, попросил меня по дороге домой — я жила тоже на Выборгской — «забежать к Наденьке в Совет и разведать, здорова ли она».

Но вот наконец квартира получена, Ильичи вместе! Расположено их жилье удачно: в том же крыле, где и Совнарком, и прямо под совнаркомовскими «апартаментами» — этажом ниже. Квартира представляла собой, собственно, одну комнату, так как вторая, проходная, была полуумывальной, полукухней, заставленной к тому же какими-то огромными шкапами, наследством института благородных девиц... Квартира охранялась красногвардейцами, и попасть сюда можно было лишь по специальным пропускам, которые выдавал сам Ильич. Круг лиц, обладавших ими, был ограничен. У меня имелся пропуск № 12, заполненный и подписанный рукой Владимира Ильича. Эту желтенькую картоночку я долго хранила у себя, а затем передала в музей...

Надежде Константиновне из-за её чрезмерной занятости трудно было вести хозяйство. Ей необходим был помощник. Таким помощником, а вернее, деятельным, энергичным «управителем» стала несколько позже мать финского большевика А. В. Шотмана, хорошо знакомого Ильичу по подполью. Она приняла на себя все основные хлопоты по дому. А пока ее не было, Надежде Константиновне помогала Мария Ильинична, помогала и я. Моя домашняя работница Юзя готовила Ульяновым обед, прибирала у них в квартире. Юзя только что вернулась из деревни, куда ездила навестить своих больных родителей. И конечно же Ильич, жадно ловивший в те дни каждую весточку с мест, не упустил случая, чтобы не распространить ее обо всем виденном. Как восприняли в их деревне известие о революции? Что говорят про Декрет о земле? Как собираются распорядиться помещичьим хозяйством?.. Обстоятельная Юзя подробнейшим образом доложила обо всем этом Ильичу.

Юзя была глубоковерующей католичкой. Превыше ксендза не было для нее авторитета. С ним, ксендзом, она советовалась по любому поводу, большому и малому. Платье ли собирается шить, письмо ли пишет — непременно бежит к своему духовному отцу. А вот от чая с сахаром отказалась, не проконсультировавшись с ксендзом. Дело в том, что, по установившейся в Питере традиции, прислуге кроме основного жалованья полагалось еще выплачивать специальные деньги «на чай с сахаром». Получала их у меня и Юзя. Но однажды говорит: «Маргарита Васильевна, вы мне «чайных» больше не платите. Выпишите мне лучше на эти деньги «Красную газету». Оказывается, побывала она на митинге, где выступал Володарский. И так взял он ее за душу, так понравилась ей его пламенная речь, что стала моя Юзефа бегать по всем митингам, на которых ожидалось выступление Володарского. Купила его портрет и повесила у себя над кроватью. Узнала, что редактирует он «Красную газету». И вот хочет выписать ее. «А ты с ксендзом посоветовалась?» — спрашиваю. «Ну зачем с ним про такое?..» — отвечает в смущении.

Рассказала я об этом Ильичу. Он в восторге. «Чаю с сахаром предпочла, говорите, нашу “Красную газету”? А ксендзу — нашего Володарского? Превосходно! Архипревосходно! Вы даже не представляете себе, Маргарита Васильевна, сколь значителен данный факт...» Ильич и позже, в Москве уже, не раз вспоминал этот случай с Юзей, приводя его в пример того, как революционные идеи благотворно влияют на человеческие умы...

Я агроном по образованию. И Владимир Ильич часто давал мне поручения, связанные с деятельностью Наркомзема. А потом и говорит: «Пора вам садиться непосредственно в наркомат».

Трудно было работать в этом ведомстве. Вся коллегия, начиная с наркома, состояла здесь из левых эсеров. Они много шумели о так называемой «социализации» земли, а по существу, тормозили выполнение Декрета о земле. Поначалу я была, кажется, единственной большевичкой на весь Наркомзем и чувствовала себя тут одинокой и порой беспомощной. С какой завистью слушала я за столом у Ульяновых рассказы Надежды Константиновны о ее работе в Наркомпросе, куда она перешла недавно из района! Вот это был действительно большевистский наркомат, осуществлявший подлинную революцию в просвещении! А наш — эсеровская вотчина, болото... Но Ленин не спешил с удалением левых эсеров из Наркомзема. За их лозунгами шла еще определенная, довольно значительная часть крестьянства. И это следовало учитывать. «Не падайте духом, уважаемый товарищ! — говорил мне Ильич. — Выше голову. Твердо держитесь своей линии... Но не будем то-

ропиться! Жизнь сама скоро разоблачит лозунги левых эсеров, вскроет гнилую сущность их “социализации”...»

<...>

Д. ФУРМАНОВ*

Ленин в гробу**

Я шел по красным коврам Дома Союзов: тихо, в очереди, затаив дыханье, думая: «Сейчас увижу лицо твое, учитель, — и прощай. Навеки. Больше ни этого знакомого лба, ни сощуренных глаз, ни голый, круглой головы — ничего не увижу». Мы все ближе, ближе...

Все ярче огни — электричеством залит зал, заставленный цветами. Посреди зала, на красном — в красном — лежит Ленин: лицо бело, как бумага, спокойно, на нем ни морщин, ни страданья — оно далеко от тревог. Оно напоминает спокойствием своим лицо спящего младенца. Он, говорят, перед смертью не страдал — умер тихо, без корчей, без судорог, без мук. Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо. Как оно прекрасно, это лицо! Я знаю, что еще прекрасно оно потому, что — любимое, самое любимое, самое дорогое.

Я видел Ильича последний раз года два-три назад. Теперь, в гробу, он бледней, худей, — осунулся вдвое, только череп — крутой и гладкий, — как тогда, одинаков.

Вот вижу со ступенек все лицо, с закрытыми глазами, потом ближе и ближе — вот одна впалая щека и ниже ее чуточная бородка. Брови, словно приклеенные, четко отделяются на бледном лице — так при жизни они не выступали, — теперь кажутся они и гуще и черней... Двигается, движется человеческая цепочка слева направо, вокруг изголовья, за гроб.

Виден только череп... Блестит голой, широкой покатостью... И дальше идем — снова щека — другая, левая...

Идем, и оглядываемся — каждому еще и еще хоть один раз надо взглянуть на лицо, запечатлеть его в памяти, до конца дней запомнить.

* *Дмитрий Андреевич Фурманов* (1891–1926) — советский писатель-прозаик, революционер, военный и политический деятель. Наибольшую известность из литературного наследия Фурманова получил роман «Чапаев».

** *Фурманов Д.* Собрание сочинений. М.: Гослитиздат, 1961. Т. 4.

И снова по красным коврам идем проходами, коридорами Дома Союзов — выходом на Дмитровку. А у крыльца — толпа: тысячная, стотысячная ли она, не рассмотреть: кругом толпа, до Дома Советов, до Тверской, по Дмитровке — везде она волнуется, ждет очереди отдать последний поклон покойному вождю, любимому Ильичу.

Мы хоронили Ильича*

Все шли, шли, шли тысячи и сотни тысяч осиротелой Москвы по Красной площади от раннего утра до последней минуты, когда гроб, красный ящик, подняли, спрятали в вечное жилище. Был жестокий мороз — такого за зиму не было ни разу. Мы сбились у Лобного места. Два часа оставалось до похоронной минуты. Приближались, становились новые. Росла толпа...

Близился час... Вот три... три с половиной... без четверти четыре... без десяти... пяти... двух... одной минуты...

И вдруг заплакали в воздухе жалобные сирены, густо завывли заводские гудки. Стало жутко. Величественно. Торжественно. Кто-то возле зарыдал, забился в истерике. Его подхватили и понесли в санитарный автомобиль. Шмыгали носами, хватались за платки, рукавами отирали мокрые глаза. Эта толпа... замерла в молчанье, застыла в горе, вся на цыпочках устремилась взорами туда, откуда сняли и понесли священный красный ящик. В воздухе дрожали полеты артиллерийских ударов, проносились над головами невидимым рыданьем. В этот миг, где-нибудь далеко, далеко, в Кавказских горах, на каком-нибудь крошечном Сахалине, в версте, в двух от него среди полного хода — вдруг остановился поезд. Почему? Это Ленин умер... Ленину опускают в могилу. Эти минуты вся жизнь должна остановиться. Будут петь невидимые голоса похоронный гимн, будет бить телеграфная лента: — Ленин умер, Ленин умер... Ленин умер, но дело его живет...

В этот миг весь мир с нами слился в едином глубоко траурном чувстве.

Мы хоронили Ленина...

И расходились. Надо было видеть, как расходились мы с Красной площади. Ленина больше нет!

* Печатается по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей ИМЛИ им. А. М. Горького, 11–62, 1580.

Траурная година*

Год назад, в этот день, 6.50, умер Ильич. Я прошел снежным сквером и уперся в гранит храмхристовских лестниц. Тьма. Кремль в мелких, в ярких звездах — огнях. В темно-синюю вечернюю вуаль, где-то далеко-далеко на башне Кремля — бьется отсветами, красными отблесками флаг. Мы стоим молча — один, другой, десятый, сотый. Все молчим. И взорами вонзились туда, на Красную. Скоро салют — пальба. Скоро. Напряженно дрожит тело, гудит в голове, у горла что-то накапает, нарастает, все ближе, ближе, ближе... И вот одна за другой жалобно, протяжно заплакали заводские сирены... Над траурной Москвой поплыли, заплакали навзрыд печальные стоны...

Ударили орудия, выждали минуту, ударили вновь, а в густой вечерней синеве — над морем огня — жалобные, протяжные плыли во тьму рыданья сирен. Мы стояли окаменелые. Никто не говорил другому ни слова. Мы полны были глубоких чувств и молча их хранили в груди. Мы затем пришли, чтоб чувствовать здесь, что за день, что это за час, что за минуты.

Останавливалось дыхание, сгрудились спазмами в горле рыданья, по щекам моим оползали слезы... Нет его, великого учителя, нет...

И вспоминалось дорогое лицо — как видел я его на съездах**^{*}: желтое, утомленное, но горящее радостью, зажигающее бодростью, верой в успех, в победу своего дела... Вспомнился этот крутой череп, остро стриженные усы, колючие и ласковые вместе глаза — весь встал Ильича ожил. Он на трибуне. Говорит речь — простую, ясную до дна, убеждающую до отказа — историческую речь... И знать теперь, что нет его, — э-эх, тяжело... Вся Москва этот день, эти дни особенно — в воспоминаньях о дорогом покойнике: заставлены, затянуты в траур витрины, портретами, бюстами — учрежденья, залы — черно-красной материей, по залам, по клубам, на собраниях, в ячейках — везде речь об Ильиче, о делах его, о жизни, о борьбе.

Этот день, эти дни каждая минута жизни нашей пронизана мыслью и чувством только о нем.

Идут по улицам с плакатами рабочие, до глубокой) ночи бьют барабаны пионеров, слышны комсомольские песни. Москва поминает великого учителя, великого борца, любимого Ильича.

* *Фурманов Д.* Собрание сочинений. М.: Гослитиздат, 1961. Т. 4.

** *Фурманов* присутствовал в качестве делегата на VII и VIII Всероссийских съездах Советов в декабре 1919 г. и в декабре 1920 г. На этих съездах В. И. Ленин выступал с докладами и речами. — *Ред.*

Владислав ХОДАСЕВИЧ*

Язык Ленина (1924)

Оставляя в стороне оценку ленинской деятельности по существу, нельзя не признать, что человек этот обладал изрядным умом. Однако весьма значительный по объему, ум этот был не высок по качеству. Ленин останется в истории, как образец человека, сыгравшего огромную роль, не принеся оригинальной идеи. Его деятельность была попыткой осуществить на практике не им созданные теории. В лучшем случае, он популяризировал, даже видоизменял, даже корректировал, приспособлял к обстоятельствам, — но не изобретал. Это был практик, а не ученый, атаман, а не учитель. Отсюда его демагогизм, его политическая нечестность, неразборчивость в средствах, цинизм, — все качества, необходимые политическому дельцу, спекулянту, но невозможные для философа или социолога.

Едва ли не главное свойство ленинского ума — необычайная сила, с которой он умел все трехмерное сводить к двум измерениям. Попадая под этот паровой молот, любая идея расплющивалась, делалась плоской. Ленин был великий огрубитель и опошлитель. Вот почему, вечно орудуя с марксизмом, он добился-таки того, что даже марксизм нам кажется бесконечно более тонким, глубоким, аристократическим, нежели ленинизм. Мысль Ленина всегда сильна и всегда вульгарна.

Еще в ранней юности он уверовал в Маркса и всю жизнь, как верный мулла, долбил свой Коран. Как применитель и толкователь, он этот Коран опошлил и огрубил, но в основе его не усомнился. Сделавшись профессионалом революции, он с фанатическим аскетизмом отрекся от всего, что могло поколебать его веру.

В особенности он был невежествен в области искусства. Музыка, живопись, поэзия — все это было для него островом тех сирен, мимо которых Одиссей проплывал, залепив уши воском, чтобы не соблазниться. Ленин делал то же самое. Его суждения о музыке, приводимые в воспоминаниях Горького («Русский современник», № 1), — образец обывательщины. Литературу он знал в пределах гимназического курса, «жалел», что ему «нет времени» ею заняться, и... стыдно сказать, Пушкину откровенно предпочитал Демьяна Бедного. В Италии (опять-таки по воспоми-

* *Владислав Фелицианович Ходасевич* (1886–1939) — русский поэт, переводчик. Выступал также как критик, мемуарист и историк литературы, пушкинист.

нениям Горького) учился он ловить рыбу. Итальянского искусства он не заметил.

Ораторский и литературный стиль Ленина вполне, конечно, соответствовал основным свойствам его ума. Стремление к огрублению, презрение к эстетике (может быть, незнание о ней), полемическая хлесткость невысокой цены — вот главные черты ленинского стиля. За тонкостью или за красотой этот человек никогда не гнался. Слово было для него орудием грубой политической борьбы. Он этого, видимо, и не скрывал. К тому же его аудитория, то есть те, чьим мнением дорожил он, и те, на кого опирался, были достаточно грубы, и Ленин знал, что этих людей надо бить по головам, а риторическим изяществом их не проймешь. Поэтому, несомненно, покойник немало бы посмеялся, если бы узнал, что через несколько месяцев после его смерти найдутся люди, которым придет в голову благоговейно изучать «язык Ленина».

Однако они нашлись. Высылая писателей и ученых из России, Каменев сказал свою знаменитую фразу: «Упрямых вышлем, а прочих купим». Ныне из числа невысланных выступило шесть представителей «науки» — с благонамеренной целью открыть высокие достоинства ленинского стиля.

Шесть представителей так называемого «формального метода» (Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов, Якубинский, Казанский и Томашевский) напечатали на сию тему ряд статей в литературно-чекистском журнале «Леф». Сто страниц убористой печати заняли они своими учеными изысканиями.

Всякому ясно, что в самом задании — серьезно говорить о стилистике Ленина — есть уже немалое раболепство. Кроме раболепства и «халтуры», ничем нельзя объяснить, что за изучение ленинского стиля взялись люди, еще недавно посвящавшие свой труд изучению неизмеримо более достойных предметов. Худо ли, хорошо ли, но Шкловский работал над Диккенсом, Стерном, Достоевским, Розановым; Эйхенбаум написал книги о Льве Толстом и Анне Ахматовой; Тынянов изучал Гейне, Тютчева; Томашевскому принадлежат недурные работы о Пушкине и о французских поэтах XVIII столетия... После всего этого приниматься за Ленина было им, конечно, смешно. И вот — на своих ста страницах они перемигиваются и перешучиваются потихоньку от своих заказчиков. Так портной, работавший на хороших господ, подсмеивается над нуворишем. Так мольеровские учителя смеялись над мещанином во дворянстве.

Статьи формалистов о Ленине писаны языком, в котором за филологической терминологией и сложностью фраз трудно добраться до смысла. Эти писания как будто специально рассчитаны на то,

чтобы рядовой коммунист в них «ногу сломал»: чтобы не стал он пробиваться сквозь дымовую завесу параграфов, терминов, алгебраических формул и прочего «научного багажа», — а не читая, удовлетворялся бы горделивым сознанием того, что сама «наука» лишний раз подтверждает величие «Ильича». Да и некогда коммунисту читать. Уж ежели напечатано в «Лефе» — значит клонится к прославлению. Значит — отсчитать червонцы, и дело с концом.

Формалисты суть исследователи литературных приемов. Они в этом знают толк и придумали неплохой прием для статей о Ленине. Они вовсе не лгут. Они говорят правду. Но все же их шарлатанство заключается в том, что они тратят множество времени и бумаги, чадят и авгурствуют, чтобы «научно» открыть вещи, ясные всякому с первого взгляда. Второй их прием — эвфемизм, то есть облечение этих горьких истин в форму, сладостную для наследников Ленина. То, что в просторечии звучало бы обидно, на языке науки вполне приемлемо и лояльно по отношению к советской власти.

Ленин груб, как в мысли, так и в ее выражении. Ленин ораторски примитивен. К этим основным выводам приходят авторы статей один за другим. Но — послушайте, как осторожно они выражаются. «Ленин — деканонизатор» (Шкловский). «Борьба с революционной фразой проходит через все статьи и речи Ленина» (Эйхенбаум). «Если поставить его стиль на фоне того пышного философского и публицистического стиля, который господствовал в русской интеллигенции начала XX века (Вл. Соловьев, Мережковский, Бердяев и др.), то разница станет особенно ясной» (Тынянов). «Недопустимые выражения... — один из резких стилевых признаков ленинской речи» (Тынянов). «Эмоционально высокий, напряженный строй речи дан... в комбинации с такими синтаксическими и лексическими явлениями, которые его объективно снижают» (Якубинский). Этот деликатный термин, «снижение», встречается едва ли не у всех авторов. Им очень удобно прикрываются понятия: огрубление и опошление. Статья Якубинского так и называется: «О снижении высокого стиля у Ленина».

Словарь Ленина был беден. Он оперировал небольшим числом слов, в большинстве случаев затасканных по марксистским брошюрам. Это обстоятельство осторожно вскрыто и названо «лексической скупостью».

Тот убогий запас литературных сведений, которым обладал Ленин, не укрылся от Казанского. Но вот как тонко об этом сказано: «Цитаты ценны тем, что выдают литературный фон речи и могут служить мерилем “литературности”. У Ленина они состоят преимущественно из пословиц и литературных выражений, вошедших в поговорку. Таковы чаще всего изречения евангельские,

крыловские, грибоедовские, вообще школьных классиков. Крайне редко стихотворения, цитаты. Никакой изысканности в выборе, никаких современных сколько-нибудь авторов. Это уже даже не цитата, а поговорка». (Заметим от себя, что именно поговорка является одним из основных элементов в речах Санчо Пансы: не слишком лестное соседство для великого человека.) На ту же, приблизительно, тему пишет Казанский и в другом месте, что Ленин «не щеголяет поэтической культурой и эрудицией».

Иногда авторы статей решаются высказаться более откровенно, но и в этих случаях прибегают к особому смягчающему приему; они говорят: «может показаться», «кажется», а затем высказывают наблюдение, весьма нелестное для Ленина. Так, Эйхенбаум замечает, что «может показаться, что у него (Ленина) нет никаких определенных стилевых тенденций»; «кажется, что к языку Ленин относится равнодушно». Но это опровергается, по мнению Эйхенбаума, тем, что Ленин «очень определенно реагирует на чужой стиль», т. е. видит в чужом глазу соломинку. Казанский пишет, что «речь Ленина кажется бесцветной и безразличной».

Можно было бы привести еще много цитат из этих работ, но не стоит утомлять читателя изворотами рабьего языка. Заметим одно: наука, даже если она придавлена и становится «наукой» в кавычках, — всегда автоматически стремится вскрыть истину. Но бывают «люди науки», которые в своем раболепстве идут на то, чтобы, с одной стороны, — на истину намекнуть, с другой, — ее спрятать. И еще: продажные перья в конце концов мало пользы приносят тем, кто их покупает.

Н. ХОДЗА*

После представления

Однажды Володя и Оля попали на цирковое представление. Артисты показывали свои номера на городской площади. Представление начали клоуны. Их было два. Один — рыжий-рыжий, прямо огненный. У другого лицо было белое-белое, точно мукой

* *Нисон Александрович Ходза* (1906–1978) — советский детский писатель, переводчик. С 1955 г. — член Союза писателей СССР. С конца 1960-х гг. — член правления и председатель секции детской литературы Ленинградской писательской организации, бессменный член редколлегии журнала «Детская литература».

посыпано. А на голове колпак нахлобучен с колокольчиками. Этот клоун держал в руках длинную метлу. Чтобы смешить публику, он то и дело бил Рыжего метлой по голове. И тогда огненные волосы Рыжего поднимались дыбом, а из головы взвивалась тоненькая струйка воды. Вроде фонтанчика. Все над этим смеялись. А Володя не смеялся. И даже хмурился. Ему не нравилось, что клоун в колпаке бьет ни за что Рыжего.

Правда, под конец Володя немного повеселел. Потому что Рыжий терпел, терпел, потом рассердился, вырвал из рук белого клоуна метлу и сам начал мутузить обидчика. А тот отчаянно дергал головой, и колокольчики на его колпаке начали вызванивать «Барыню».

После клоунов на площадь выбежала обезьянка. Обезьянка была в клетчатых штанах, на голове ее красовался красный цилиндр. Обезьянка проделывала удивительные номера. Она курила сигару, стреляла из пистолета и так здорово кувыркалась, что напоследок с нее слетели широкие клетчатые штаны.

И все зрители долго хлопали в ладоши и хвалили ловкую обезьянку.

Потом показывали свои номера фокусники и силачи. Это тоже было интересно.

Но больше всего Володе понравился канатоходец. Высоко над землей был натянут канат, а по канату ходил человек в блестящем зеленом костюме. И не просто ходил. Ему завязали глаза, и он сделал сальто. С завязанными глазами!

Володя не спускал с канатоходца восхищенных глаз.

— Это очень смелый человек, — сказал он Оле.

И Оля тоже сказала:

— Это очень смелый человек!

Довольные, веселые, они вернулись домой.

Прошло несколько дней, и Оля заметила, что Володя забросил все игры. Даже в индейцев не хотел играть. И еще Оля заметила, что каждое утро Володя уходил в заброшенный сарай.

Оле было интересно узнать, что делает там Володя, и она спросила:

— Ты что делаешь в сарае, Володя?

Володя ответил:

— Приходи завтра утром, узнаешь.

Наутро Оля пришла в сарай. Вот что она увидела. Высоко под крышей была натянута толстая веревка. На веревке стоял Володя.

Оля испугалась и закричала:

— Володя, упадешь! Слезай скорее.

— Отойди в сторону, — сказал Володя. — Я могу зашибить тебя, если упаду...

И он медленно двинулся вперед.

До середины каната Володя добрался благополучно, но здесь потерял равновесие, пошатнулся и спрыгнул на землю.

Оля испуганно вскрикнула. Володя неодобрительно посмотрел на нее, потер ушибленное колено и сказал:

— Пустяковая высота. Не больше сажени. Вот увидишь, добьюсь своего!

— Давай опустим веревку пониже, — предложила Оля. — Тогда тебе не будет страшно...

— А если не будет страшно, тогда и ходить неинтересно, — сказал Володя.

И он снова взобрался по лестнице на канат. И опять его постигла неудача. Володя упал. Оля увидела, что он сморщился от боли.

— Пойдем играть в индейцев, — сказала она умоляюще. — У нашего вигвама я видела следы презренных бледнолицых!..

Володя покачал головой:

— Пока не пройду по всему канату — играть не буду!

Тогда Оля села в уголок и стала ждать, что будет дальше.

Много раз еще падал Володя с каната, но по-прежнему не отступал от своей затеи.

— Володя, — снова начала Оля, — если не хочешь в индейцев, давай походим на ходулях... Наперегонки!..

Володя даже не ответил сестре. О посидел немного на лестничной перекладине, потом вынул из кармана кусок мела и натер им подошвы ботинок.

И вот он уже снова на канате.

По всему было видно, что Володя очень устал. Он тяжело дышал, на лбу его выступили капельки пота. Он сделал шаг... другой... третий... Шажки были коротенькие, скользящие. Так он дошел до середины каната... и снова пошатнулся, но взмахнул несколько раз руками и удержался. И опять шажок... второй... третий... Шажок... еще шажок...

Оля смотрела на брата широко раскрытыми глазами и шептала про себя:

«Не падай! Не падай! Не падай!»

И Володя не упал. На этот раз он благополучно дошел до конца.

— Молодец! — звонко крикнула Оля. — Молодец! Давай покажем всем, как ты ходишь по канату!

— Не надо! Больше я не буду ходить по канату, — сказал Володя.

— Как — не будешь? Зачем же ты старался? Мог даже расшибиться!..

— Мне было интересно... чтобы добиться своего — пройти и не упасть... Хотел проверить, не испугаюсь ли, что высоко... А теперь пойдем. Покажи мне следы бледнолицых...

Он отвязал канат, швырнул его в угол и вышел из сарая.

М. ЦВЕТАЕВА*

Покушение на Ленина (из дневников)

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папаше. Из кофейного загара — белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые.) Задышывается.

— Вы Марина Ивановна Цветаева?

— Я.

— Ленин убит.

— О!!!

— Я к вам с Дону.

Ленин убит и Сережа жив! Кидаюсь на грудь.

Вечер того же дня. Квартирант-коммунист З<ак>с, забегаю в кухню:

— Ну что, довольны?

Туплю глаза, — не по робости, конечно: боюсь слишком явной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла, все коммунисты повешены, З<ак>с — первый) ... Уже — великодушье победителя.

— А вы — очень огорчены?

— Я? (Передергиванье плеч.) Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это, вообще, не важно, — Ленин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры... (новая судорога) ... с вашими Наполеонами и Цезарями... (сатанинская усмешка) ... а для нас, знаете. Нынче Ленин, а завтра...

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза. И быстро-быстро:

— Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти фунта, мне не нужно, я с сахарином пью, может быть, возьмете для Али?

(Этот же Икс мне на Пасху 1918 г. подарил деревянного кустарного царя.)

* *Марина Ивановна Цветаева (1892–1941)* — русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчик.

САША ЧЕРНЫЙ***Две Думы**

8 февраля 1906

Дым кадила, пенопенье,
Гнусно дьяконы поют, —
Генерала ль погребенье,
Ведьму ль замуж выдают?..

Нет — то Думу открывает
Удалое большинство
И молебном прославляет
Черной Руси торжество...

Глупо-радостны и горды
Лики медные купцов,
Рыла, рожи, хари, морды
Собрались со всех концов.

Злым невеждам честь и место —
Черной сотне первенство!
И краснеет, как невеста,
Бедных правых меньшинство...

Дальше речи... что за речи!
«Разве нет у нас штыков,
Пулеметов и картечи
Для чертей бунтовщиков?!

Наше место, братцы, свято —
Любим русскую страну...
Бить жида и супостата!
Вешать красных на сосну!»

Издеваются, поносят:
Крики, ругань — прямо ад...

* *Саша Чёрный* (наст. имя и фамилия — Александр Михайлович Гликберг; 1880–1932) — русский поэт Серебряного века, прозаик, журналист, получивший широкую известность как автор популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов. В марте 1920 г. эмигрировал, жил в Литве, Берлине и Риме, в 1924 г. переехал в Париж.

Резолюцию выносят:
«Возвратиться всем назад...

В шею давши всем свободам,
Обратимся к старине —
В пику западным народам
Будем счастливы вполне!..

Закрывай, ребята, Думу —
Есть у нас Народный Дом...
Вместо Думы денег сумму
Мы на образ соберем...»

Гимн торжественный несется.
Замер друг-городовой,
А у левых отдается:
«Со святыми упокой!..»

Торжествует клика злая,
Торжествует сатана...
Здравствуй, русская, родная
Обновленная страна!..

III

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ЛЕНИНЕ



М. АДЛЕР*

Владимир Ильич Ленин

От редакции «Красной Нови».

Статья Макса Адлера переведена из № 3 «Der Kampf». Адлер принадлежит к соглашательскому крылу Интернационала 2/2. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на ряд совершенно ошибочных суждений его о т. Ленине. Но тем знаменательнее та общая оценка, которую дает автор т. Ленину. Редакция считает полезным ознакомить читателей «Красной Нови» со статьей М. Адлера.

1

21 января 1924 года в маленьком местечке под Москвой скончался человек, весть о смерти которого потрясла во всем мире всех, как противников, так и приверженцев, впечатлением стихийной катастрофы: Ленин мертв! Ленин — на вершине своей исторически-мировой работы — скончался. Это казалось как бы крушением некоей могучей стихии, разрушительной силы которой боялись одни и ей противоборствовали, другие же с восторгом познали в ней силу, которая могла освободить жизнь для новых путей. И эти противоположные ощущения и у могилы великого вождя мирового пролетариата пробудили тот же спор и борьбу мнений и оценок, возникавших еще при жизни Ленина во все решительные моменты его деятельности.

Вокруг его облика неизменно бушевала страстная борьба мировоззрений; неизменно его личность, его речи и писания были подобны знамени, подъятому для безошибочного указания опреде-

* *Макс Адлер (1873–1937)* — австрийский философ, социолог и педагог, один из лидеров австрийской социал-демократии, теоретик австромарксизма и неокантианского «этического социализма».

ленного пути, для неустанного преследования одной цели: линии революционной классовой борьбы пролетариата, конечного дела марксизма: победы над классовым обществом.

В этом — не было никогда колебаний ни в его сердце, ни в его сознании — он был живой стрелкой магнита, которая никогда не могла отклониться от своего направления в сторону социализма, ибо его социалистически-революционное мышление, почерпнутое у Маркса и Энгельса, наполняло его и влияло на всю его духовную сущность, подобно тому, как земной магнетизм влияет на стрелку компаса. Этого нетеряемого и никогда не покидавшего его ощущения пути к социальной революции одного было достаточно для определения исторической роли Ленина, как великого народного борца за марксистский социализм, если бы он даже и не был в дальнейшем одним из могущественнейших двигателей пролетарской классовой борьбы, доведенной им до той стадии, в которой, как никогда ранее, он должен был обрести отчетливое ощущение своих социально-революционных устремлений.

Ибо, в противовес современным политическим теориям о развитии классовой борьбы, Ленин впервые выявил политические методы пролетариата в их принципиальных различиях от буржуазно-демократического мышления. При таком значении Ленина, которое неизбежно должно было обострить классовую борьбу, нет ничего удивительного, — напротив, естественно, — что влияние его личности и после смерти заставило вспыхнуть страстные противоречия в его оценке, ибо это было тем же противоречием классов, в борьбе меж которыми Ленин принял такое громадное участие.

Ненависти и озлоблению буржуазии противопоставлялась соответственно любовь, обожание и благодарность другого класса, класса пролетариата. Но вот здесь-то, у гроба этого великого двигателя истории, выявляется ужасающий и одновременно смущающий факт, что критика и оценка Ленина в социалистическом лагере, внутри самого пролетариата, которому Ленин посвятил всю свою горячую жизнь и неустанную работу, которому он отдал свою мысль и труд в условиях лишений, опасностей и жертв с ранней своей молодости, — носит не менее страстный и ожесточенный характер, чем у врагов пролетариата. В то время когда миллионы рабочих и крестьян в России превозносят и прославляют имя Ленина, как своего освободителя, и совершают паломничество к его могиле, как к святому месту, в то время как за пределами России сотни тысяч пролетариев преклоняются перед ним и обожают его, как героя и прообраз социального революционера, — другие миллионы о нем почти ничего не знают, кроме того, что он — вождь

русского большевизма, которому они не доверяют и которому они должны не доверять тем в большей степени, чем бессмысленное ослабляющее рабочее движение поведение так называемых коммунистических партий вне России, постоянно ссылающихся на его авторитет. Таким образом случилось, что для многих, особенно для вновь вступивших в ряды социал-демократии, название «коммунизм» стало почти чуждым, даже враждебным, им не было понятно, что всякий настоящий социал-демократ одновременно является коммунистом и должен быть таковым, — и в силу этого «коммунист» Ленин стал им чем-то чужим, враждебным, вместо того, чтобы каждый классово-революционный пролетарий при полном сохранении права идти своими путями и иметь свои личные мнения, должен был в деятельности Ленина взволнованно и с увлечением почувствовать прежде всего неслыханное и историческое проявление своего собственного революционного духа.

Как получилось такое расхождение воззрений, такое неестественное противоречие в природе пролетарской классовой борьбы?

Это вопрос, который может прозвучать и в некрологе Ленину, ибо ответ на него может быть дан не только там, где до сих пор одни лишь партийные страсти диктуют оценку; постановкой такого вопроса легче выяснить историческую ограниченность этой пролетарской враждебности к Ленину и одновременно ясно указать пределы его непосредственной исторической деятельности.

2

Ответ на наш вопрос должен быть следующий: во враждебности к Ленину в пределах пролетарской классовой борьбы не проявляется только простое личное чувство, но выступает нечто иное, именно кризис самого социализма, кризис, возникший с момента развала Интернационала в начале войны, или, вернее, превратившийся тогда из давно уже скрытого и ползучего в явный.

Этот кризис в значительной мере является кризисом самой пролетарской духовной жизни и поэтому плохо выражен популярными противопоставлениями реформизма и революции. Это обозначение характеризует, конечно, весьма значительные и явные элементы этого противоречия, но оно слишком чревато недоразумениями, которые привели как с одной, так и с другой стороны к пагубным самообманам, и способно затемнить то настоящее противоречие, которое происходит при кризисе социализма.

Ибо, если радикализм, вследствие своей «принципиальной» борьбы против оппортунизма, чувствует свое превосходство перед «компромиссным» реформизмом и если, с другой стороны, этот

последний упрекал первый в доктринерстве и отсутствии понимания практической политики, — пусть правы оба или неправы, — во всяком случае, соревнование это не решало вопроса, на чьей стороне был тот революционный дух, который живым основным настроением должен господствовать над каждым выступлением пролетариата и в духовной своей сущности должен противопоставить себя буржуазному государству и капиталистическому обществу, в оковах которого физически он еще пребывал. Имей это место, — он мог бы беззаветно изменять тактику своей непосредственной политической и экономической борьбы, принаравливая ее к текущим обстоятельствам, как этого требовал «оппортунизм»; не имей он места, — тогда даже самое принципиальное марксистское утверждение обозначало бы не что иное, как лишь простую словесную болтовню. Последняя, однако, является особенностью современного социализма у очень значительной части пролетариата всех стран, который из политических и экономических соображений, — здесь мы их ближе не можем касаться, впрочем, они достаточно часто приводятся, — вместо того, чтобы жить в пролетарской революционной идеологии, направленной к уничтожению существующего положения рабочих, живет типичной мелкобуржуазной идеологией, которая направлена исключительно на улучшение существования рабочего. Но при таком исповедании дух социализма утерян и стал бездушным, без воодушевляющего подъема, а потому и без внешней притягательной силы для молодежи; — таков социализм ныне везде, где он продолжает идти по старым путям.

Именно в этом противоречии между бездушным социализмом и социализмом, в котором горит горячая душа «практики переворота» Маркса и Энгельса, душа социальной революции — именно в нем лежит подлинная причина сегодняшнего раскола и слабости социализма. И вот Ленин, в противовес указанной слабости, являлся гигантским воплощением этой пламенной души социализма, этой беспокойной и всегда бодрствующей «практики переворота». И именно поэтому ему было чуждо это столь обыденное и ничего не выражающее противоречие между доктринерским радикализмом и реально-политическим реформизмом. Ибо не было более крупного и смелого реального политика, чем Ленин, не было более строгого и беспощадного врага пустой революционной фразы, равно как и всякого закостенелого радикализма, и в то же время не было более фанатического приверженца социальной революции. Так, мы читаем у него: «Недостаточно быть революционером и приверженцем социализма или быть только коммунистом. Нужно уметь в любой момент найти особое звено

цепи, чтобы ухватиться за него со всей силой, дабы удержать всю цепь и подготовить перехват следующего звена». В другом месте он пишет: «Выразить свой “революционный дух”, только браня парламентарский оппортунизм, только отвергая свое участие в парламентаризме, — дело легкое, но именно потому, что это легко, это не является разрешением трудной задачи». Ленин никогда не отделялся простой формулой в вопросах парламентаризма и участия в буржуазном правительстве, борьбы с империализмом, в вопросах внешней политики, в вопросах милитаризма и войны. Излюбленная ныне фраза, что современный социализм не может быть таким же, каким он был во времена Маркса, ибо за это время для пролетариата возникло так много новых положений и задач, «о которых Маркс ничего не знал», — эта фраза не может быть здесь применена там, где речь идет об устремлении реальной политики Ленина, направленной именно к тому, чтобы новыми методами революционной классовой борьбы разрешить эти новые положения и задачи.

Конечно, эта реальная политика была возможна лишь потому, что ее пронизывал пыл революционной воли, и отсюда происходила захватывающая сила, способная спор в собственной партии превратить в захватывающую убедительность. Для этой основной линии, превращающей простую тактику прежде всего в социально-революционную энергию, Ленин дал, еще в пору своей эмигрантской жизни в Швейцарии, правда, некрасиво звучащее, но чрезвычайно выразительное и внушительное определение — именно «профессионального революционера». Только в пору капитализма, который из каждой профессии сделал «гешефт» и не отделял, в силу этого, одного понятия от другого, и, говоря о выполнении одной профессии, подразумевает только «гешефт», — только в эту пору высокий и идеалистический смысл этого определения Ленина мог быть не понят или даже получить презрительное толкование. Но ощущение революции, как профессии, было не чем иным, как возрождением великого марксистского осознания исторической роли пролетариата при созидании нового общества, — было не чем иным, как одухотворенным указанием Лассаля на высокое историческое назначение рабочего класса. Быть профессиональным революционером — это призыв к каждому пролетарию быть во всех своих помыслах, чувствах и деятельности тем, чем назвал его уже «Коммунистический Манифест», — могильщиком сегодняшнего и пионером будущего общества.

Это означает, что каждый пролетарий, который действительно хочет обрести право на историческое почетное звание социалиста, должен быть проникнут во всякое время и везде, — т. е. не только

в больших политических действиях и профессиональной борьбе, но и в своей повседневной мелочной работе и во всем своем жизненном поведении, — чувством ненависти и презрения ко всей буржуазной организации и воззрениям, как это возможно лишь там, где в пределах буржуазного мира чувствуешь себя не дома и поэтому не хочешь в нем устраиваться прочно. Солдат во вражеской стране постоянно готов «по призыванию» к нападению, — таков и профессиональный революционер. Таким профессиональным революционером был Ленин: — для него борьба с капитализмом и империализмом против буржуазного классового государства, а равным образом и против обуржуазивания мыслей и чувств в самом пролетариате, была призванием, наполнявшим всю его жизнь и превращавшимся в профессию служения пролетариату и развитию более высоких форм общественной жизни. Поэтому его фигура возвышается над несчастным расколом в пролетариате, как пример, который должен быть дорог каждому революционному пролетарию; тем более должна она быть таковой, ибо убеждения Ленина, — как только они станут всеобщими, — содержат вернейшую гарантию возрождения единства пролетариата и его Интернационала.

3

Надо установить, таким образом, раз навсегда настоящее социалистическое значение Ленина, именно в деле развития революционного классового духа пролетариата, которое нельзя устранить никаким партийным спором, спором социалистических партий, могуче раздутым Лениным, спором, который неоднократно мог затемнить истинное значение Ленина, ибо он сам поставил очень внушительные пределы его проявлению, так что часто спор этот вредно влиял на развитие социализма вне России. Но и тут это мнение должно понести весьма значительные поправки, если только оно не останется в том плане мышления, которое привело к кризису социализма, но станет на почву социал-революционного классового мышления пролетариата. Тогда не только будет дана справедливая оценка Ленина, — что не имеет такого уже значения, ибо сама история исправит ошибочную оценку, — но тогда придет к собственному лучшему постижению его личности и к пониманию современного социализма.

Несомненно, странным и полным противоречий останется то обстоятельство, что Ленин, который был столь неслышанно верным тактиком в русской революции, заставлявшим поражаться по праву его почти баснословному инстинкту в ощущении необхо-

димости момента, сделал такую чреватую последствиями ошибку в отношении социалистической тактики за пределами России, именно хотел управлять ею из центра, из Москвы, и притом лишь теми методами, которые применялись в России. Это тем более удивительно, что именно Ленин постоянно учил, что тактика социализма не везде носит общий характер и ее нельзя установить навсегда, но что она должна проистекать из существующих условий. Он сам еще до революции поставил для себя требование признать своеобразный характер русской тактики. Так, он заявил однажды (1905 г.) на попытку Бебеля примирить большевиков и меньшевиков: «Мы относимся к Бебелю с величайшим уважением, но когда идет вопрос о том, как на нашей родине побороть царизм и буржуазию, то да будет нам позволено иметь на этот счет свое собственное мнение». В силу этого Ленин был далек от того, чтобы не сознавать, что успех большевизма в русской революции был результатом лишь единственных в своем роде обстоятельств, которые имелись только в России. В письме к швейцарским рабочим перед своим отъездом в Россию он говорит: «Мы отлично знаем, что пролетариат России менее организован, подготовлен и классовое его сознание менее развито, чем у рабочих других стран. Не особенность его свойств, но особое стечение исторических обстоятельств превратило русский пролетариат на некоторое, быть может, короткое, время в форпост революционного пролетариата всего мира». Как же объяснить это, если принять во внимание, что Ленин все-таки повел столь чреватую последствиями политику так наз. Третьего Интернационала?

Если не остаться погруженным в этом вопросе в гущу партийных предрассудков, то необходимо иметь ясный взгляд в двух направлениях. Нельзя «путчизм», в который выродился «коммунизм» за пределами России, отождествлять с Лениным, но нельзя в путчизме видеть только путчизм; для этого нужно прежде всего, чтобы у себя самих в соц. — демократической партии не все казалось в розовом свете подлинной революционной жизни. У кого нет глаз и понимания того, что я выше назвал «бездушием» социализма, тот никогда не поймет, что «путчизм» для многих его лучших и идеальных приверженцев, — и это особенно объясняет притягательную силу «коммунизма» у молодежи, — представляет страстную реакцию против этой бездушности. Именно как такую реакцию против революционной атрофии пролетарского социализма следует прежде всего понимать интернациональную деятельность Ленина. Это было гигантское стремление снова пробудить революционный классовый дух, высечь его словно искру из холодного кремня, даже ценой организационного единства

партии, выявляющей лишь показную величину и силу, которых в действительности нет. Если Ленин написал в начале войны в резолюции партии большевиков: «Надеяться создать настоящий социалистический интернационал без окончательного отпадения оппортунистов — значит отдаваться вредным иллюзиям», — то эта мысль дает основной тон всей международной тактике Ленина, которая с той поры, именно с поры несчастного развития германской социал-демократии, все более познается правильной и во многом вне III Интернационала. Рассматриваемая в этом свете, тактика Ленина в деле раскола старой соц. — демократической партии была ошибкой, так как она должна была повести к братоубийственной войне и вообще к разложению пролетарских сил, тогда как цель могла быть достигнута сильной оппозицией в старой партии без такого ее ослабления и путем внутренних преобразований, но это ошибка, которая связана, как всегда у великих людей, с достоинством страстной и стремительной силы новой революционной воли.

Далее, нельзя оставить без внимания, что, несмотря на все различие условий внутри России и вне ее пределов, и даже при том особенно сильном насаждении социал-патриотическими и социал-империалистическими элементами средне- и западноевропейского социализма, надежда на громадную революционную перегруппировку пролетариата, особенно в дни переворотов в Германии, не должна была бы быть лишь иллюзорной. С другой стороны, мы видим только теперь, — когда внутренняя история русской революции стала более ясной, чем это могло быть в бурный период ее первой заграничной пропаганды, — как пролетарская революция, тогда почти задушенная контрреволюционными движениями, созданными Антантой, должна была дожидаться восстания германского пролетариата, как освободителя. Если мы теперь можем точно указать те экономические и политические основания, благодаря которым восстание это не произошло и не могло произойти, то едва ли найдется кто-либо, кто бы мог отрицать, что объединенный пролетариат Германии смог создать такую ситуацию, которая, по крайней мере, не дала бы возможности до такой степени развиться современной реакции, превратившей самый сильный пролетариат в мире в беспомощный фактор в государстве и в социалистическом движении. Мы были правы, называя всегда буржуазных критиков Маркса и Энгельса ничего не понимающими, так как они насмеялись над тем, что эти оба большие революционеры столь часто после 1848 г. предвидели новую, более значительную революцию, которую они ожидали всю свою жизнь. Их теоретическое благоразумие рекомендовало

им терпение, но их революционный пыл увлекал их снова, ибо они были не только холодные исследователи истории, но были и людьми дела с необузданной энергией и сокрушительной волей. Поэтому пусть насмехается над Лениным, над тем, что в нем бурное стремление к мировой революции победило обычную холодную тактику, тот, кто никогда не чувствовал сам в себе подобного стремления, тот, кто всегда имеет терпенье и может выжидать, ибо он ощущает свою значительность лишь в пределах своей самодовольной деятельности.

И вот ответ на вопрос, каким образом такой крупный, быть может, самый значительный до сего времени реалист социал-революционной политики вел такую нереальную политику в отношении социалистического движения вне России: это была прежде всего ошибка в переоценке революционной силы мирового пролетариата, который, благодаря тогдашней слабой осведомленности о мировых событиях, казался ему действительно подготовленным; впрочем, это тогда не он один предполагал вследствие русской пролетарской революции и лихорадочно ускоренного войной возмущения пролетариата во всех других странах. В этом смысле знаменательны его первые слова, после его возвращения из Швейцарии, на родине: «Недалек тот час, когда народы откликнутся на зов нашего товарища Карла Либкнехта и направят свое оружие против эксплуататоров, против капиталистов... В Германии уже все находится в брожении. Не сегодня — завтра, каждый день может наступить катастрофа всего европейского капитализма». Затем была ужасная внутренняя и внешняя опасность русской революции, которая должна была вызывать все новое и новое гигантское напряжение получить пролетарскую революционную помощь извне, пролетарскую выручку осажденной крепости. Это были тяжелые ошибки Ленина, от которых страдает и по сей день социалистическое движение; но именно здесь-то Ленин и был тем человеком, который мог бы их преодолеть, если бы ему не помешала длительная болезнь и преждевременная смерть. Ибо что создало его громадную историческую деятельность? — именно то, что он не был человеком формулы, он не был рабом своей тактики, но обладал поистине беспримерной неустранимостью и беспощадностью к себе и к своим приверженцам, если дело касалось изменения тактики. Это он доказал в тяжелые дни поворота революции в вопросе заключения мира с германским империализмом, в отказе от социализации недвижимых имуществ и, под конец, в переходе к НЭП'у — он любил все это называть добродетелью отступления. «Лишь по этому большевики, — так говорил он однажды радикалам, — имели успех, что они беспощадно изгнали всех

революционеров пустой фразы, которые не понимали, что может стать необходимым начать отступление, и что нужно уметь начать это отступление». В другом месте он верно дал свою собственную характеристику, как политика большого масштаба, говоря: «Умен не тот, кто не делает ошибок; таких людей нет и не может быть. Умен тот, кто делает не особенно крупные ошибки и может их быстро и легко исправить». Смерть не дала Ленину времени, которое вообще было слишком коротким, преодолеть эти ошибки, — ведь пяти лет для практического осуществления этой задачи слишком мало, ибо чем были, тем более, эти пять лет, как не дикими судорогами и борьбой за существование вырабатывающейся новой исторической роли пролетариата. Здесь большая задача выпала в виде наследства наследникам Ленина. Да будет она им под силу!

4

В противовес к методам Ленина, можно было бы, конечно, гораздо менее резким путем достигнуть единодушия между социалистическим центром и большевизмом. — Это имело бы для объединения вновь всего пролетариата совершенно неисчислимые последствия, если бы вполне понятное отрицание путчизма с их стороны не проистекало из совершенно немарксистского, чтобы не сказать «лояльного», образа мыслей многих марксистов и при том проводилось ими в жизнь и укрепляло сознание исключительно в пределах легального демократического развития социализма. Это, во всяком случае, не в духе пролетарского классового сознания в понимании Маркса и Энгельса, — и теоретическая заслуга Ленина, несомненно, в том, что он снова с решительностью обратил на это внимание. Он словно снова открыл учение Маркса о классовой борьбе и напомнил о смысле марксистского понимания государства как об организации господства классов, — понимания, превратившегося в пустую фразу; он восполнил это понимание живыми и непосредственными историческими задачами, в которых доказывал, что это определение применимо не только к буржуазному, но и к пролетарскому государству. Понятия: демократия и диктатура получили совершенно новое освещение только благодаря толкованию, что завоевание политической власти пролетариатом в каждом случае — проводится ли оно демократическим путем, или путем захвата — неминуюемо должно вести к диктатуре, ибо только благодаря ей может быть осуществлена классовая воля пролетариата в отношении буржуазии.

Выяснилось, что демократия, пока существует классовое государство, является и будет являться противоречивой формой,

ибо самое демократическое государственное устройство предполагает, что или буржуазные, или пролетарские партии имеют большинство, равновесие их постоянно бывает лишь временным, ибо в непримиримости их экономических тенденций лежит повод к уничтожению этого равновесия при первом удобном случае. Поэтому и демократия означает собою, что большинство господствует над меньшинством, и, когда его положение становится критическим, оно прибегает к диктатуре, к чрезвычайному положению, к военному суду и пр. В демократическом буржуазном государстве и сейчас (и прежде) господствует буржуазная диктатура, точно так же, как в пролетарском государстве будет господствовать диктатура пролетарская. Демократия и диктатура, таким образом, в классовом государстве не являются противоположными понятиями, и речь может идти только о том, чтобы найти предпосылки к диктатуре пролетариата. Будет ли она при том проведена в «демократической» или другой форме, является вопросом несущественным и от воли нашей независимым. При таком освещении исчезает ряд проблем, которые до сих пор разъединяют пролетариат.

«Демократия» более — не принципиальный вопрос, парламентаризм — не место ловли для политической работы, — конечно, при всем этом для западно- и центрально-европейского рабочего класса эти понятия не теряют совершенно исключительного практического значения. Не кто иной, как Ленин, подчеркнул это с особенной резкостью. Он называл долгом «разрушить буржуазно-демократические и парламентские предрассудки» масс, но не для того, чтобы отстраняться от парламента, а, напротив, работать в этом осознании. Ленин никогда не играл в демагогию, говоря рабочим: «Вся власть Советам» или «Необходимо в одну ночь заменить парламентскую систему советской». Надо только прочесть, как он в своей книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме» осуждает эту тактику германских и австрийских «коммунистов», но отрицание этой демагогии не может отвергать духа политической критики демократии и происходящей благодаря ей легализованности движения, для которого еще Энгельс нашел жестокие слова. Борьба с путчи́змом у одних не должна выродиться в трусость собственного политического мышления, — что приведет к могиле всякое понимание марксистского государственного устройства и пролетарской классовой борьбы. Кто продумает эти оба понятия со всеми условиями классового принципа, — этим мы обязаны точке зрения Маркса, — тот найдет основание, почему Ленина, который впервые осуществил эти особенности понимания, назовут за раскрепощение политической мысли от массы

предрассудков и мнимых задач не в меньшей степени духовным освободителем, чем социалистом. Если кто-нибудь пугается тоги террора, одевающей его фигуру, то пусть тот поучится именно у него, тоги террора, одевающей его фигуру, то пусть тот поучится именно у него, равно как и демократические, ибо они были классовыми движениями, и что если необходимо быть террору, то красный террор все-таки оставляет больше надежды, чем белый, безотносительно от того, что он никогда не бывает столь кровав, как белый.

5

Значение Ленина для России и ее освобождения — ныне исторический и незыблемый факт, не подвергающийся спорам партий и классовых воззрений. Если историческим смыслом каждой революции является дать свободу и простор, уничтожая и отбрасывая пережитые и тормозящие законоположения и формы жизни для дальнейшего развития общества, — то не было более радикальной революции, чем русская, не было более беспощадного уничтожения старого мира, чем через большевизм. Это целиком дело Ленина, который взял в руки могучую инициативу в октябре 1917 года, в тот момент, когда даже его друзья еще колебались; его стихийная смелость, в соединении с упорной и неотступной силой и поразительным дипломатическим искусством, преодолела все опасности революции. Это грандиозное дело имеет значение не только для России: это — часть дела освобождения всего мира. Никогда не забудется современниками и останется в сердцах пролетариев то громадное впечатление, как в октябре 1917 года, когда еще культурный мир находился в кровавых оковах войны, когда всякая надежда на прекращение бедствия была утрачена — особенно после того, как даже героический поступок Фридриха Адлера остался без последствий, — как из Петербурга в это время раздался зажигательный клич: «Ко всем», что русский пролетариат признал войну законченной и пригласил народы к мирным переговорам. И как этот исторический акт являлся действительным духовным освобождением из величайшей безнадежности и отчаяния, так разрушение старой России означало физическое освобождение совершенно неожиданным способом всего мира, с которого, наконец, был сброшен гнет царизма, равно и империализма русской буржуазии, который еще при Милюкове и Керенском мог запятнать русскую революцию новым наступлением в угасающей мировой войне. Конечно, не по вине Ленина не была осуществлена власть пролетариата, — и союз советских республик — не пролетарское

государство в том смысле, что пролетариат является лишь одним господствующим классом. <...>

Если противники русского большевизма, который надо резко отграничить от вне-русского, хотят в этом видеть его банкротство и даже над этим насмежаются, то они вовсе не имеют понятия о различии в строении государства, рожденного из революции и стремящегося к тому, чтобы только сохранить, по возможности, свое первоначальное направление, от государства, в котором вовсе не может быть такого устремления, так как такое государство насквозь контрреволюционно. Пролетариат всего мира, поэтому, никогда не переставал с верным революционным чутьем смотреть на российские советские республики, как на драгоценнейшее и славнейшее достояния пролетарского движения на пути к социализму, как на великий форпост в борьбе против буржуазного капиталистического мира. Цепи, разорванные в России Лениным, были цепями, приготовленными и для нас, и надежды и гор ячее сочувствие мирового пролетариата в том, чтобы дело его было сохранено и мощно развивалось. Поэтому печаль, навеванная его смертью, была велика в пролетариате и соединялась со страхом, ибо одновременно к этому присоединялась боязнь за будущность русской революции. В этом смысле в чувстве каждого пролетария слились воедино — Ленин и дело пролетарской революции.

6

И человек, носивший в себе такое громадное историческое значение, это должно войти в надгробную речь, — оставался простым, скромным, почти по-мужицки живущим пролетарием, жил ли он в бедной лачуге или в царском дворце в Кремле. Он и здесь оставался символом революции: могуче распрямляясь в разрушительной и созидательной своей силе, царственно пренебрегая всей мелочностью и узостью жизни, без претензий к роскоши и оставаясь постоянно скромным в своей жизни. Под этим впечатлением Горький сказал о нем: «Его частная жизнь такова, что в религиозное время из него сотворили бы святого». Человек, который мог бы сделаться русским царем, если бы им руководили личное властолюбие и жажда славы, а не идея социальной революции, умер в комнате прислуги в загородном дворце, из многих комнат которого он хотел жить только в этой. Это не было эффективной игрой, это не была демагогия, наверняка, уже чуждая смертельно больному человеку, — это был инстинкт человека, который иначе не мог поступать, ибо существу большой пролетарской идеологии, которую он исповедовал, для которой он жил,

мог соответствовать только пролетарский образ жизни. Таким был Ленин, — великое единство мысли, поступков и чувств. Дух целого класса, дух пролетариата пронесил и образовывал это единство, чтобы благодаря ему сделаться богаче и полным духовной силы. Поэтому Ленин останется жив не только в памяти пролетариата, но и тем более пребудет живым, чем больше пролетариат поймет и выполнит свою историческую задачу, которую Ленин оставил на примере своей жизни.

М. АНДЕРСЕН-НЕКСЕ*

Я видел Ленина**

Я видел Ленина один только раз: в Кремле во время конгресса Коминтерна осенью 1922 года***. Тогда еще невозможно было понять весь огромный размах дела Ленина — Октябрьской революции; старый мир был неприятно поражен происшедшим, но еще не испытывал такого панического ужаса перед революцией, как сейчас. Революция, казалось ему, — только гигантский эксперимент: она вызвала расстройство капиталистического производства и некоторое уменьшение барышей; пожалуй, правильнее всего было бы ее придушить, но рано или поздно она сама обанкротится. Крупные капиталистические державы были полны противоречий, вызванных их собственной конкуренцией; новое пролетарское государство, конечно, мешало им в их игре, но они еще не слышали доносившегося оттуда погребального звона по старому миру. Даже II Интернационал еще не уразумел, что на карту было поставлено и его существование.

Сейчас дело Ленина выросло и охватило весь мир. Нет ни одного сколько-нибудь значительного для человечества события, которое не было бы связано с Лениным и революцией. Мир сегодняшнего дня содрогается в смертельной борьбе; в муках рождается будущее. Но кто тогда, кроме Ленина, предвидел это? Мы, участники конгресса, собравшиеся со всех концов земли; немецкие и скан-

* Мартин Андерсен-Нексе (1869–1954) — датский писатель, основоположник датской пролетарской литературы, участник IV конгресса Коминтерна, один из создателей Коммунистической партии Дании.

** Воспоминания «Я видел Ленина» написаны в 1940 г. И опубликованы в журнале «Интернациональная литература» (1940. № 3–4).

*** Речь идет о IV конгрессе Коминтерна. — *Ред.*

динавские рабочие, негры, египетские феллахи и индийские кули, — все мы верили в дело нового мира и в Ленина. Но сам он знал с непоколебимой уверенностью, что победа придет, и отчетливо видел путь к ней.

Вот это-то и отличало его среди огромного, пестрого собрания делегатов, где было немало ясных умов. Это чувствовалось во всем его простом облике, совсем не таком, каким обычно представляют себе облик великих мыслителей, — это отражалось и в его речи. Мысль Ленина текла, ясная и прозрачная, и тогда, когда он касался величайших проблем человечества и показывал наглядно для каждого, что будущее неизбежно и прочно развивается из настоящего. Казалось, он жил всеми человеческими жизнями. Он знал положение во всех странах, судьбы бедняков и применяемые в каждой стране методы эксплуатации; и он показывал нам, как развивались эти методы вплоть до настоящего времени. Это была наука, но совершенно особая и новая: она не пахла книгой, а была самой жизнью; она освещала судьбу и промышленного рабочего, и кули, и швеи, и подметальщика улицы. История человечества, сама история человеческой культуры представала перед нами из речи Ленина.

— Вот это настоящий человек, — шепнул мне рабочий-норвежец. — И как он похож на любого из нас, только в тысячу раз зорче! Накануне этот норвежский товарищ был у Ленина и ознакомил его с положением в Норвегии.

— Но Ленин знал об этом больше моего; да и о Дании тоже. Ваших мелких крестьян он сравнил с собакой цыгана, впряженной в тележку, перед которой подвешен кусок мяса; собака тянется за ним, но никак не может схватить его. Так ваши крестьяне, их жены и дети тянутся из последних сил, надрываются, работая на капитал; им внушили, что они — маленькие помещики, или, как выразился Ленин, «помещики в миниатюре».

— Как ты обращался к нему? — спросил я норвежца.

— Конечно, я говорил с ним на «ты». Я не хотел обидеть его!

Сама внешность Ленина, его простота обличали в нем человека нового времени. Разговаривая с ним, каждый, самый простой человек чувствовал, что перед ним один из тех необыкновенных людей, кто рождается раз в столетие, а может быть, и в тысячелетие; и этот редкостный человек, здороваясь с ним за руку, говорил: «Расскажи мне что-нибудь о себе, о своей жизни».

Ленин, который был умнее всех, чутко прислушивался к голосу и биению сердца простых людей, учился у них, возвышал их самих и их дела, показывал, что рядовой человек и его труд — основа жизни. Уже одно это было наградой за тысячелетнее прозябание;

никогда раньше не стоял перед простым человеком, так хорошо знавший его жизнь, как Ленин.

Поэтому Ленин всегда занимал особое место в сердцах рабочих, и никакая травля и клевета не могли изменить их отношения к нему. Даже самые забитые и отсталые оживляются, их глаза блестят, когда произносится имя Ленина.

А. ПЕТРОС*

Гвоздики**

Закат горит. Ему права даны
всегда гореть. И тысячи людей
искать корней живительной весны
спускаются под землю, в Мавзолей.
И я спускаюсь с ними вместе...

Вот
Я подхожу к тебе — спокоен ты.
И девушка смущенная кладет
к ногам твоим багряные цветы.
Но что же мне, что мне оставить здесь?
Ведь выжжен суховеем сад мой весь...
Но родились стихи в душе моей,
гвоздикой проросла в них кровь детей...
Здесь, под землей, где своды так тихи,
мой древний, юношеский мой народ
к ногам твоим, Ильич, кладет стихи,
свои гвоздики скорбные кладет.
Прими, Ильич...

* Петрос Антеос (р. 1920) — греческий поэт. Принадлежит к поколению греческих литераторов, творчество которых ковалось в годы второй мировой войны. Был в рядах движения Сопротивления. Литературную деятельность начал в 1937.

** Стихотворение «Гвоздики» написано в 1959. Печатается по изд.: Стихи о Ленине. Из зарубежной поэзии. М.: Иностранная литература, 1960. Перевод с греческого А. Янова.

Б. МИХАЙ*

Картина с Лениным**

Сияло солнцем Ленина чело,
И отсвет будущего лег на лица;
Как бы с вершины горной слово шло,
Чтоб за морями громом раскатиться.

Таким тот день открыл художник мне.
И я из непохожего сегодня
Протиснулся в толпу на полотне,
Свое лицо мерцающее поднял.

Я понял: пробираясь к Ильичу,
Не в прошлом очутился я — в грядущем,
И пусть я жизнью даже заплачу,
Но я иду путем, в рассвет ведущим.

Я человек, я в ленинском строю.
Я жив иль мертв — не важно, лишь бы гордо
Сквозь бури правду пронесла свою
Его непобедимая когорта.

* Михай Бенюк (1907–1988) — румынский поэт, прозаик, драматург, академик, лауреат Государственной премии. С 1946 по 1948 год Бенюк занимал пост культурного советника в Москве.

** Стихотворение «Картина с Лениным» написано в 1963 г. Печатается по изд.: Иностранная литература. 1964. № 8. Перевод с румынского Р. Морана..

И. БЕХЕР*

Ленин**

Он мир пробудил от глубокого сна
словами, что были как молнии.
Их передавала стране страна,
пока они мир не наполнили.

Они плыли водой, их несли поезда,
они реяли в небе знаменами,
становились то хлебом, то войском труда —
армиями миллионными.

Он мир от глубокого сна пробудил,
и слова его стали турбинами,
мощным трактором, что по полям проходил,
цепью ярких огней над плотинами.

Он мир пробудил от глубокого сна,
и слова его стали бессмертными —
они, словно огненные письма,
в каждом сердце сегодня начертаны!

Мой путь к Ленину***

Краткая заметка, затерявшаяся на страницах какой-то буржуазной газеты, привлекла мое внимание. Это было в 1917 году. В заметке сообщалось, что некто, по фамилии Ленин, приехал в Петроград, выступил с исключительно опасной речью — призывом к мятежу.

* *Иоганнес Роберт Бехер* (1891–1958) — немецкий революционный поэт, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1952). Министр культуры ГДР (1954–1958). Написал текст гимна ГДР.

** Стихотворение «Ленин» печатается по изд.: Стихи о Ленине. Из зарубежной поэзии. М.: Иностранная литература, 1960. Перевод с немецкого Т. Сикорской.

*** Статья «Мой путь к Ленину» написана в 1939 г. Печатается по изд.: Бессмертие. М.: Художественная литература, 1970.

В буржуазных кругах, где я вращался, эти лаконичные строки вызвали бурю ужаса и негодования. Но я воспринял эту заметку по-иному. Я навсегда запомнил имя Ленина.

В течение всей мировой войны я пребывал в поисках неизвестного, в поисках какого-то чуда, которое должно было положить конец этой кровавой свалке. И вот, сам не зная почему, я проникся верой в то, что с прибытием в Петроград Ленина этот долгожданный час наступил.

Я разделял участь многих интеллигентов, которые инстинктивно стали врагами империалистической войны и уверовали в русскую революцию, не углубляясь в сущность революционного процесса. Нас вдохновляла также героическая борьба Розы Люксембург и Карла Либкнехта, укрепляя в нас ненависть к этой бессмысленной человеческой бойне, но мы оставались чужды марксизму и рабочему движению.

Вскоре после того, волею исторических событий, фигура Ленина оказалась в центре внимания всего человечества. Но лишь значительно позже удалось мне постигнуть, хотя бы отчасти, все величие дела, созданного Лениным.

И вот Ленин умер. Как ярко запечатлелся в моей памяти этот день, этот час. В Берлине выпал снег. Вечерело. Я подходил к площади Виттенберга, как вдруг кто-то остановил меня и сказал: «Ленин умер». Хриплый голос дрожал от сдерживаемых рыданий. До поздней ночи я бродил по улицам и, встречаясь с безмолвными вопрошающими взглядами друзей, знакомых, мы лишь обменивались кивком, как бы давая друг другу понять, что мы знаем страшную весть...

...Образ Ленина продолжал вдохновлять меня и после его смерти, он стоит передо мной, незабываемый, живой, как никогда.

Ленин открыл мне тайные пружины войны.

Ленин своим учением об империализме показал мне глубину и направление общественных течений, среди которых я до тех пор бродил вслепую.

Ленин своим учением о государстве и революции вооружил меня знанием, с помощью которого я сумел найти свое настоящее место в надвигающихся исторических боях.

Ленин внедрил в мое сознание веру во всемирно-историческое призвание революционной партии коммунизма.

Ленин своими письмами к Горькому разрешил многое, что еще оставалось для меня загадкой, и раскрыл предо мной образ великого русского писателя Толстого так, как я никогда не смог бы сделать сам.

Ленин дал мне ответ на вопрос: «Что делать?»

В трудах Ленина я нашел то, чего так долго искало человечество, — правду жизни.

* * *

Я всегда искал Ленина, бывая в тех местах, где он жил.

Кто знает, часто говорил я себе, может быть, я случайно встретался с ним в моем родном Мюнхене? Живя там, Ленин любил бродить по набережnym Изара. Его можно было видеть сидящим с книгой и карандашом в руке на одной из зеленых скамеек, как раз там, где в ту пору я, еще «атаман разбойничьей шайки», носился с товарищами моих школьных игр.

В Берлине, на улице Клопштока, в районе Моабита, неподалеку от нашей партийной организации, находится дом, где когда-то снимал комнату Ленин. Это нелепое здание из красного кирпича, облепленное балкончиками и башенками. Как часто, проходя мимо этого дома, мы смотрели на окна ленинской комнаты и пытались взглянуть на самих себя его глазами, и каждый из нас спрашивал себя: как отнесся бы Ленин к твоей работе? Да, Ленин всегда жил в нашем сознании, он был нашей совестью.

Я нашел Ленина в Швейцарии, в Цюрихе — его последнем убежище перед возвращением в Россию. Узкая улица ведет от самой набережной Лимата, слегка поднимаясь вверх, к дому Ленина, мимо живописного фонтана. Даже журчание его струй как бы пробуждает воспоминания о Ленине. На стене дома прибита простая табличка, говорящая о том, что здесь жил вождь русской революции.

Но разве могут эти встречи дать хотя бы слабое представление о том, как часто и как близко я каждый день сталкиваюсь с Лениным? Я нахожу его в любви к нему миллионов трудящихся всего мира. Я нахожу его и в бессильной ненависти его врагов, и эта ненависть невольно служит доказательством бессмертного величия его дела.

* * *

Нельзя было без волнения читать, как во время Всемирной парижской выставки слепой заставил свою жену привести его в советский павильон, к бюсту Ленина. Дрожащими пальцами он благоговейно ощупывал лицо Ленина, чтобы навсегда запечатлеть дорогие черты.

И мы, зрячие, все вновь и вновь устремляем свои взоры к образу Ленина, как если бы его облик все еще недостаточно глубоко проник в наше сознание.

К Ленину ведет бесчисленное множество путей, прямых и извилистых. Величие Ленина одержало верх над тысячами и тысячами его бывших противников и многих поставило на правильный путь.

В наши дни путь Ленина сделался той столбовой дорогой, по которой шествуют миллионы в борьбе за мир, навстречу счастливому будущему человечества.

Е. БОБИНСКАЯ*

Ленин в Варшавском красном полку**

Лето 1918 года изобиловало грозами. Черные тучи собирались над всей молодой Республикой Советов... не только на небе. Восставшие эшелоны чехословацких военнопленных, превосходно вооруженные на деньги «союзников», стояли у Волги. Армии белых генералов угрожали отрезать Украину и Крым. Все чаще случалось, что в Москве не выдавали хлеба...

Это были времена большой любви и большой ненависти. Иначе я не могу назвать ту раскаленную атмосферу, в которой мы жили. Победоносная революция воспламенила сердца. Сознание, что мы создаем новый, ранее неизвестный строй (а думали тогда только о революции в мировом масштабе), окрыляло нас. Не было малых дел. Все, что касалось революции, становилось великим. Самым важным. Мир с поражающей ясностью распался на союзников и врагов.

Именно в такой своеобразной обстановке формировался революционный красный Варшавский полк.

Бобинский, комиссар этого полка, окунулся в работу с присущей ему страстью...

Некоторые отряды Варшавского полка уже отличились в борьбе с левыми эсерами во время восстания их в Ярославле. В конце июля у нас говорили, что со дня на день Варшавский полк вступит в бой с бандами «зеленых». 2 августа в Коммерческом институте,

* *Елена Федоровна Бобинская (1887–1968)* — польская пролетарская писательница, переводчица, революционерка, жена видного деятеля Компартии Польши — Станислава Бобинского. Некоторое время жила в СССР. Переводчик произведений русской классической и советской литературы на польский язык.

** Воспоминания печатаются по изд.: О Ленине. Воспоминания зарубежных современников. М.: Политгиздат, 1966.

в Замоскворечье, должен был состояться прощальный митинг. Митинг назначили на 11 часов.

...Когда мы сели в стоящий под дождем экипаж и мокрые сивки побежали резвой рысью, Бобинский шепнул мне, что на митинге будет Ленин. Теперь я поняла причину его возбуждения. Я знала, что увидеть Ленина горячо желали все товарищи поляки. В то время Ленину не разрешали делать частые выезды. Боялись за него.

— Я заверил, что ручаюсь за безопасность. Мархлевский меня поддержал. Это большая победа. Но уже поздно, — снова заволновался он.

Свернули на улицу, ведущую к институту.

— Почему здесь так пусто? — удивился Мархлевский. — Дождь уже прошел, а улицу как метлой вымело.

Потом на каждом шагу мы встречали группы улан. Когда проезжали мимо них, Бобинский высунулся из экипажа:

— Ну, как там? Все в порядке?

— В порядке, товарищ комиссар! — весело ответил молодой солдат. — Можете на нас положиться. Ни одного человека не пропустим!

— Как так, — забеспокоился Бобинский, — должны же быть делегации с заводов?

— Делегации со знаменами мы пропустили, но в одиночку никто не пройдет, товарищ комиссар!

— Мы роздали приглашения, а вы людей не пропускаете? — набросился на него Бобинский.

Но улан не смугился.

— Всякая контрреволюционная сволочь сумеет себе бумажку выписать (Мархлевский засмеялся), а мы здесь отвечаем за жизнь.

Бобинский прервал его:

— Проехал уже?

— Проехал! Только что... — зарделся улан.

— Снимите посты! Езжайте в институт.

— Есть, товарищ комиссар!

Лошади рванули с места. До нас еще долетел веселый, молодой голос:

— Ребята! Снимайте посты!

— Как вам это нравится! — злился Бобинский. — «Всякая контрреволюционная сволочь сумеет выписать себе такую бумажку», — и неожиданно рассмеялся: — И что я должен теперь делать с этими хлопцами?

— Это результаты нашей пропаганды, — весело шутил Мархлевский. — Хотим, чтобы солдат-революционер думал, вот он и думает. Раз он отвечает за жизнь Ленина, то что ему какие-то там бумажки?

* * *

Ленина мы застали в кабинете, рядом с большим залом. Он только что приехал и разговаривал с окружившей его группой товарищей. Мы присоединились к ним. Когда Ленин снимал пальто, Мархлевский воспользовался моментом, чтобы что-то сказать ему. Ленин громко рассмеялся. Бобинский подозрительно посмотрел в их сторону.

* * *

Огромный зал был заполнен до отказа. Появление Ленина было встречено бурей аплодисментов. Оркестр заиграл «Интернационал». Знамена переливались пурпуром и золотом. От дверей до сцены уланы образовали шпалеры. Едва Ленин сделал первый шаг, как блеснули сабли, скрещиваясь над его головой. Ленин вздрогнул, мельком посмотрел вверх и спокойно пошел дальше. Дойдя до сцены, повернулся и сказал с шутливым упреком:

— Эх, товарищи поляки, без эффекта никак не можете...

Провел ладонью по голове и посмотрел на лица смеющимся глазами.

— Хоть бы предупредили! А то, ей-богу, испугался!

Улыбка пробежала по сотням молодых лиц. Восхищение, удивление, радость вылились в стихийный возглас:

— Да здравствует Ленин!

Он поднялся на трибуну и начал говорить*.

Слова Ленина били метко, как снаряды. Он сказал: мы знаем, что война подходит к концу. Но им, империалистам, не удастся закончить войну. Войну закончат рабочие массы, которые уже достаточно пролили крови. Хищный империализм окружает нас все более плотным кольцом. Хочет нас задушить. Но мы знаем, у нас есть надежные союзники: рабочие массы всего мира. Мы должны теперь напрячь все силы: или власть кулаков, капиталистов и царя, или власть пролетариата. От нас зависит победа, товарищи!

В огромном, переполненном зале никто уже не сомневался в этой победе.

* * *

Бобинский вернулся поздно вечером, охрипший от разговоров и взволнованный проводами Варшавского полка.

— Если бы ты знала, — сказал он, — как меня благодарили хлопцы за эту встречу с Лениным!

* В. И. Ленин выступил в Варшавском революционном полку 2 августа 1918 г.

Л. БРАЙАНТ*

В первые годы**

Две задачи считает Ленин самыми главными: поднять Россию до уровня передовых западных стран и заложить основы социалистического государства. Он говорил мне, что не хочет давать разрешения ни на одну иностранную концессию, будь то промышленная, угольная или лесная, если при этом не удастся организовать свое, русское производство, чтобы русские учились у американцев и англичан, как следует работать.

Америка интересует его больше всех других стран.

Помнится, однажды днем, как раз перед тем, как я собиралась брать интервью у Ленина, один из работников Наркоминдела сказал мне, что, если Америка не поторопится и не заключит торговые договоры с Россией, Россия будет вынуждена заключить торговые соглашения с Японией. Я повторила эту фразу Ленину, и он сказал:

— Чепуха!.. Что она в состоянии дать? Нам нужны тысячи тракторов, паровозов, автомобилей и тому подобное. Мы должны получить все это из Америки, мы должны подружиться с Америкой.

Он регулярно читает американские газеты, книги и журналы. Вернувшись домой, я послала ему «Миррорз оф Вашингтон», и представляю себе, как он усмехается, читая эту газету, потому что видела, как он посмеивался над статьей Уильяма Хорда в «Нью рипаблик».

Ему настолько по душе энергия американцев, что он почти сочувствует стремлению американских репортеров заполучить наипоследнейшие новости, тогда как другие советские работники смотрят на их притязания косо...

Когда Наркоминдел отказал мне в разрешении на поездку по Средней Азии, я вынуждена была обратиться к Ленину. Ленин поднял голову, оторвавшись от работы, и улыбнулся.

— Я рад видеть, что в России есть кое-кто, — сказал он, — у кого хватает энергии и любознательности на такую поездку. Вас

* Луиза Брайант (1890–1936) — американская писательница и журналистка, жена Джона Рида. Вместе с ним приехала в 1917 г. в Россию, где была свидетельницей событий Октябрьской революции. Была принята В. И. Лениным в 20-х числах сентября 1920 года, затем 12 января 1921 г. Автор книг «Шесть красных месяцев в России» (1918) и «Зеркала Москвы» (1923). Фрагмент из книги «Зеркала Москвы» печатается по изд.: Вечно живой. М.: Политиздат, 1965.

** Из книги «Зеркала Москвы», написана между 1921–1923 г. Первая публикация — 1923.

могут там убить, но то, что вы увидите, вы не забудете никогда. Поэтому стоит рискнуть.

Через два дня я отправилась в путь, имея на руках все необходимые пропуска. У меня было с собой письмо Ленина*, меня сопровождала охрана — два солдата!

Ленину совершенно несвойственна мстительность. Он способен в споре беспощадно критиковать своего противника, но в то же время он необыкновенно человечен и добр: ему хочется, чтобы все вокруг были счастливы.

В начале революции ему представлялось, что окажется возможным сразу добиться свободы печати, свободы слова, быть либеральным по отношению к своим противникам.

Однако необходимость железной дисциплины диктовалась обстановкой, ибо только с ее помощью можно обеспечить успех.

Было время, когда он довольно сурово покарал анархистов, но только потому, что анархисты постоянно угрожали спокойствию в стране.

Ленин всегда относится с уважением к человеческим привязанностям и чувствам.

Когда умер Кропоткин, вдова и дочь умершего послали телеграмму Ленину и попросили, чтобы деятели партии анархистов, в то время сидевшие в тюрьме, присутствовали на похоронах. И Ленин под честное слово разрешил отпустить их на три дня без охраны.

Ленин старается привлечь к работе умных людей и всегда жалуется, что эти поиски не столь плодотворны, как бы ему хотелось.

Особо ошутим недостаток в знающих, образованных людях на дипломатической службе.

Небольшой дипломатический корпус во главе с Чичериным не в состоянии удовлетворить растущую потребность в послах и консулах, которые в самое ближайшее время должны быть направлены во все страны мира.

Советский премьер, без сомнения, скромный человек. Он очень редко дает автографы, а дневник, вести который его просили американские издатели, так никогда и не будет написан. Он говорит, что слишком устает от всей той массы работы, которую нужно

* В. И. Ленин вручил Луизе Брайант следующее удостоверение: «12. I. 1921 г. Удостоверяю, что подательница — тов. Луиза Брайант (Louise Bruant), американская коммунистка, вдова товарища Джона Рида, член Исполкома Коминтерна. Очень прошу партийные и советские учреждения оказывать всяческое содействие тов. Луизе Брайант. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)» (*Ленин*. ПСС. Т. 52. С. 302). — *Ред.*

сделать днем. Но не менее важной причиной является отсутствие какого бы то ни было тщеславия

Он ненавидит лесть и изо всех сил отказывается позировать художникам. Он был крайне расстроен, будучи вынужден пообещать позировать Клэр Шеридан, работавшей над его скульптурным бюстом*.

Между прочим, как утверждает сама миссис Шеридан, он специально позировал всего несколько часов, а все остальное время работал.

Нет таких вопросов, которые Ленин считал бы недостойными своего внимания. Я помню, как кто-то из иностранцев в разговоре о русском театре упомянул о плохих костюмах и бедном реквизите. При этом другой заметил, что Гельцер, знаменитая балерина, жаловалась, что у нее нет шелковых балетных трико. Большинство было того мнения, что это дело не стоит внимания. Большинство, но не Ленин.

Он нахмурился и сказал, что проследит, чтобы у Гельцер было все необходимое. Позвав своего секретаря, он продиктовал письмо Луначарскому по этому поводу.

Когда же Ленин наконец нашел время, чтобы пойти в театр, то выбрал Шекспира. Позвонив Луначарскому, он сказал:

— Мне бы хотелось посмотреть лучшую вещь, поставленную Художественным театром.

Луначарский задумался и назвал «Двенадцатую ночь». Ленин сказал:

— Я посмотрю этот спектакль.

В театре он, казалось, забыл свои многочисленные дела и наслаждался от души. С таким удовольствием он ходил на охоту.

У Ленина и Крупской нет детей. Всю свою жизнь они посвятили революции. Крупская — бледная серьезная женщина, очень слабого здоровья. Именно она создала новую систему образования для взрослых России, и как говорил мне Луначарский, эта система оказалась в высшей степени эффективной.

Ленин обожает жену и охотно говорит о ней. Как-то я сказала, что мне хотелось бы с ней познакомиться, он заметил:

— Да, обязательно, она вам понравится, это очень умная женщина.

Я убедилась, что она не только умная, но и очень обаятельный человек. Крупская пригласила меня на чашку чая к себе домой,

* Клэр Шеридан делала скульптурный портрет В. И. Ленина в октябре 1920 г. — *Ред.*

и я немедленно согласилась, потому что мне хотелось посмотреть, как они живут.

У них две небольшие комнаты, что для перенаселенной Москвы можно считать явлением вполне нормальным. Всюду идеальная чистота, хотя Надежда Константиновна сказала мне, что прислуги у них нет. Кругом множество книг, на окнах — цветы, несколько стульев, стол, кровати и ни одной картины на стенах.

Подобно Ленину, Крупская умеет как-то по-особому внимательно слушать своего собеседника.

Когда вы входите в кабинет Ленина, он всегда встает, улыбаясь, идет вам навстречу, тепло пожимает руки и усаживает в удобное кресло. Усадив вас, он берет другой стул, садится сам и, наклонясь вперед, начинает разговор, как будто у него нет никаких других дел, кроме этого визита.

Он любит короткие юмористические рассказы и весело смеется по поводу какого-нибудь случая в поезде или на улице. Он сам любит рассказывать, и рассказывает очень хорошо. Но легкомысленный разговор Ленин долго вести не будет. Он неожиданно перестает смеяться и спросит:

— Что за человек мистер Гардинг*, что у него за душой?

Большинство людей приходит к Ленину, намереваясь засыпать его вопросами. И лишь уходя, с изумлением вспоминают, сколько они сами успели рассказать и на сколько вопросов ответить, вместо того чтобы задавать их. У Ленина необыкновенная способность заставить собеседника раскрыть свою душу.

Многие у нас склонны считать Ленина разрушителем, тогда как он на самом деле созидатель... Он говорит, что Россия находится в более надежном положении по сравнению с другими европейскими странами, она была на самом низком уровне своего развития и ныне взбирается вверх, тогда как остальные страны Европы продолжают катиться вниз.

Вполне возможно, что он прав!

* У.-Г. Гардинг — крупный американский промышленник, республиканец. Враждебно относился к Советской России. В 1921–1923 гг. президент США. — *Ред.*

У. БРАУН***Бороться, как Ленин****

Есть в России такие места,
По которым с волнением проходят,
И священными их неспроста
Называют в народе.
«Там, где Ленин стоял...»
«Там, где Ленин родился...»
«Там, где, огненно-ал,
стяг простреленный взвился...»

Ленинград!
Город — родина большевика.
Славный Смольный — штаб революции.
Ленин с башни броневика
Видел — в космос ракеты рвутся!

Есть в России столица — Москва,
Кремль, где Ленин бродил меж елей,
И трибуна, с которой его слова
О победе народа народ облетели.

Есть в России такие места...
Из далёких чужбин
с уваженьем высоким
К ним идут на поклон неспроста
Бесконечным безмолвным потоком.
Люди разных наречий и стран,
И рабочий, и фермер, и зодчий —
Мы спешим сквозь жару и буран,
Чтоб увидеть святыню воочию.
Встань же там, где Ленин стоял!
Не туристом стой, не паломником.
Это место — трибуну ли, зал —

* Уилтон Джон Браун (1917–?) — австралийский поэт. Его перу принадлежат ряд произведений, посвященных рабочему классу. После окончания войны активно выступает в прогрессивных изданиях. Браун посетил СССР в составе делегации деятелей культуры Австралии.

** Стихотворение «Бороться, как Ленин» написано в 1959 г. Печатается по изд.: Стихи о Ленине. Из зарубежной поэзии. М.: Иностранная литература, 1960. Перевод с англ. А. Мамонова.

Всей душой, всем сердцем запомни-ка!
Здесь стоять —
означает не только молчать
И не сдерживать сердце,
что яростно бьётся.
Здесь стоять — это клятву бессмертную дать:
Жить,
как Ленин,
как Ленин бороться!

И. БУТТИТИ*

Ленин жив!**

Товарищ Ленин!
Когда над полями,
Воздух рубя,
В Москву нас доставила чудо-птица,
Мне показалось,
Я увидел тебя
За башнями красной звезды столицы.

Я увидел тебя,
В солнечном свете,
В нарядных колоннах,
Шагающих гордо.
...Я видел тебя
В университете,
В фабричном дыму
На окраинах города.

В глазах детворы,
Что спешила на отдых

* *Иньяццо Буттитта* (1899–1997) — итальянский поэт, драматург. Участник Первой мировой войны, член итальянской социалистической партии. Исследователь сицилийской лирики. Принадлежит к числу немногих, чья диалектальная поэзия вышла за пределы родного острова и получила европейскую известность. Удостоен премии Виареджо за сборник «Я работаю поэтом» (1972).

** Стихотворение «Ленин жив!» (1960) печатается по изд.: Стихи о Ленине. Из зарубежной поэзии. М.: Иностранная литература, 1960.

За город,
С песнями,
В светлых машинах.
Рядом с рабочими
Шел ты к заводам,
С колхозниками —
По полям Украины.
Ты не умирал никогда,
Ты всегда живой!
И днем и ночью —
В борьбе, в непогоду —
Ты всем улыбался,
Разговаривал со мной,
Я и сейчас еще слышу голос твой,
Слова,
Что правду несут народу.

П. ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ*

Ленин**

Коротки неизгладимые минуты, проведенные мною с Лениным. С тех пор как его нет с нами, я жадно роюсь в своей памяти, чтобы восстановить мельчайшие подробности этих драгоценных мгновений. И когда открываю его книги, погружаюсь в его учение, идеи, слова, я сразу вновь нахожу живого Ильича, его глаза, улыбку и жесты...

Это было в 1921 году. Год после вступления французской партии в Коминтерн. Через развалины Европы мы пришли к созидающему пролетариату Советской страны.

Ямбург, Кронштадт, Петроград зияли еще тысячами открытых ран. Уже тогда мы были поражены до глубины души встречей с этими легионами людей, пионерами новой жизни, солдатами разрушения и возрождения, войны и строительства.

* *Поль Вайян-Кутюрье* (1892–1937) — французский писатель, общественный деятель, один из основателей коммунистической партии Франции (1920). С 1921 г. — член ее ЦК, затем член Политбюро ЦК ФКП. Делегат III конгресса Коминтерна.

** Воспоминания «Ленин» были опубликованы в газете «Гудок», 1925, 23 апреля.

Поставили ногу на советскую землю — и сразу почувствовали себя физически освобожденными от западноевропейского капитализма. Мы почувствовали себя как бы заново рожденными, но до крайности идеологически слабыми и беспомощными. Русская партия. Вот это партия! А мы, французы, мы все еще возмисся с фроссарями-рenegатами*. Под давлением этих мелких буржуа наша партия до последнего времени не могла заняться воспитанием масс, партия погрязла в мелкобуржуазной тине.

Не скрываю, некоторые из нас и я лично, увлекаемые нашей ненавистью к правым, делали и говорили глупости.

Помню, как во время заседания французской секции я подошел к Ленину.

— Вы левый? Ну-ну, не так страшно.

Он сразу же увидел меня насквозь и любящей рукой поставил на место. Никогда я не встречал такого человека. Мы с ним после этого говорили о многом: о крестьянах, о французской революции, о Парижской Коммуне.

Владимир Ильич был и остался олицетворением непрерывного действия и в то же время марксистом с головы до ног. Соприкосновение с ним производило на сознание впечатление вихря, ворвавшегося в душную комнату; оно освежало загруженный предрассудками и формальными доктринами мозг.

Нарисовать Ленина до сего времени не удалось; черты его лица были до того насыщены внутренним содержанием, что передать это карандашом почти невозможно. Внешне широколицый, скуластый, с редкой бородкой, крупным носом, постоянной лукавой улыбкой на губах и в глазах, с руками в карманах. Несравненное добродушие, прямота, спокойствие, железная логика, культура и знания энциклопедиста.

У этого гиганта мысли и воли не могло быть места душевным драмам. Твердая уверенность в правоте своего дела, ни одного колебания, отклонения от раз намеченной цели.

Ленин-интеллигент умел мыслить, как рабочий. Ленин-оратор говорил без пустых фраз и трескотни. Человек, потрясший весь мир, в чьем сознании непрерывно переваривалось все, чем жил и дышал этот мир, — этот человек сохранил в себе до конца сознательной жизни удивительную способность чувствовать и мыслить, как китайский кули, как носильщик-негр. Угнетенный аннамит**,

* Фроссар Луи — французский политический деятель, ренегат. После IV конгресса Коминтерна (1922) вышел из Коминтерна, изменил делу рабочего класса и стал сотрудничать в буржуазной печати. — *Ред.*

** Аннамит — так раньше называли жителей Вьетнама. — *Ред.*

индус были ему так же понятны, были такой же открытой книгой, как ленинградский металлист, как парижский текстильщик, как шахтер из Новой Виргинии. Ленин — это законченный тип нового человека; он являлся для нас прообразом будущего.

Таким предстал передо мной Владимир Ильич с первых дней моей встречи с ним.

Г. ВАЛЬКАРСЕЛЬ*

У Ленина**

Людская очередь протянулась на километр. Мы медленно продвигаемся. Передо мной идет группа африканцев, позади — японская делегация, там — советские люди, приехавшие сюда со всех краев страны, здесь — арабы в своих величественных тюрбанах.

Сегодня воскресенье, и как бы поэтому бледное солнце время от времени играет блестками на золотых куполах. Собор Василия Блаженного представляется симфонией многоцветья, а Ленинская усыпальница смотрит в века торжественной строгостью линий темно-красного мрамора.

Это — Красная площадь, бьющееся сердце мирового пролетариата.

Ее очертания, как будто давно знакомые до мелочи, сегодня — перед моими глазами — приобретают особую величественность. Колонна людей,двигающихся по двое, становится плотнее, подтягивается, поднимается по склону площади. Кремлевские, цвета охры, кирпичи взлетают ценным прибором, захватывая с собой множество взглядов; глядишь ввысь и кажется, что звезды зубчатых башен светят над всей Вселенной. На древних стенах Кремля, овеянных историей и легендами, висят огромные красочные гербы советских республик. Металлом времени звучат кремлевские куранты.

Мы словно идем сквозь века. И века жизни человечества отражены в наших глазах, в глазах народа. Да, здесь сегодня наши

* *Густаво Валькарсель* (1921–1990) — перуанский поэт, прозаик, публицист, историк, журналист, редактор, политический и общественный деятель. Лауреат Национальной литературной премии Перу.

** Очерк «У Ленина» представляет собой главу из книги «Репортаж будущему» (Лима, 1963), был опубликован в журнале «Иностранная литература» (1965, № 11).

лица — многоликий образ народа. Каждый из нас представляет собой неисчислимое множество. Я ощущаю себя, но я не думаю о себе. Все мое — до последней мысли — отдано борьбе, любви, бою, жизни. Вчера, сегодня, завтра.

Шаг за шагом спускаюсь по ступеням Мавзолея.

Дневной свет остался где-то там, позади. Отныне нас освещает самое благородное, что есть и было в истории. В этот момент человечество — это легкий приглушенный шум спускающихся шагов. Никто не говорит, а слышен весь мир. Никто не кричит, но слышится крик земного шара, крепко сжавшего кулаки. Никто не плачет, однако ощущаешь слезы.

Мы спускаемся ниже.

Застыли солдаты в почетном карауле. Мгновение стало весомым, царит величие.

Еще несколько ступеней, еще несколько шагов, почти на цыпочках, поворачиваешь направо и — вот он... Вот он! Тело Ленина — лицом к Вселенной.

Этот небольшого роста человек, ныне ставший светочем людям, этот бессмертный, пришедший в наш мир, как-то однажды, в один из обычных дней, 7 ноября, повернул ход истории планеты.

Я смотрю на него сбоку, вглядываюсь в его лицо — прямо перед собой — и словно вижу выкристаллизованную вечность. Облик Ленина стал олицетворением славы, гений Ленина охватил небо и землю. Я, один из многих, не могу сдержать слезы.

Иду к выходу. Подымаюсь. Выхожу. Сегодня воскресенье. Я на Красной площади в Москве, где Ленин хранит судьбы человечества.

С того момента как ступаешь на землю Советского Союза и пока не расстанешься с нею, Ленин сопутствует зарубежному революционеру всюду. Он — в монументальных памятниках на площадях и в цветущих уголках парков, в детской улыбке пионера и в сердце рабочего, в машинном ритме цехов и в мирном созревании колосьев. Все строится с именем Ленина и во имя его идей. Его портреты, картины, где он изображен, его профиль, его бюсты, любовно и тщательно выполненные, видны повсюду. От высочайшей горной вершины страны до глубочайших земных недр звучит имя Ленина, слышно слово Ленина, славится Партия Ленина. Вдохновляемый Лениным человек претворяет в жизнь свои тысячелетние мечты.

Я никогда не видел любви, подобной той, что советский народ питает к Ленину. Это что-то захватывающее, всепокоряющее. Это чувство, наполняющее всю жизнь миллионов и миллионов людей, которые воодушевили Ленина и ради которых Ленин

родился, боролся и умер, — умер физически, однако гений его будет жить, пока живет человечество. Ленин везде: на страницах книг и в космосе, в лаборатории и в шахте, в городе и в селе, в воздухе, на море и на земле. И прежде всего Ленин — в грандиозных планах Партии, в той светлой цели, которая год за годом молодит человечество, распахнувшее объятия коммунизму.

Такой любви, как к Ленину — стихийной, бурной, неугасимой, — мне не приходилось встречать никогда. Это меня взволновало до слез с первого дня моего пребывания в СССР. И поныне я во власти этих чувств — сорок лет спустя после смерти Ленина я вижу его живым везде и во всем.

А. ВИЛЬЯМС*

Ленин-человек и его дело**

<Фрагменты>

Из предисловия автора к русскому изданию 1932 года

Весной 1918 года, готовясь к отъезду из России в Америку, я собрал огромный чемодан брошюр, плакатов, воззваний, листовок, номеров газет «Правда», «Известия» и даже «Речи».

Беседуя в последний раз с Лениным в Кремле, я упомянул о своем чемодане с литературой.

— Прекрасная коллекция, — сказал Владимир Ильич, — но только неужели вы в самом деле думаете, что ваше правительство пропустит вас с этим материалом в Америку?

— Я в этом нисколько не сомневаюсь, — ответил я, все еще будучи наивно убежден, что Америка желает узнать правду о России и русской революции.

Ленин покачал головой и, рассмеявшись, сказал:

— Прекрасно. Может быть, я и ошибаюсь. Посмотрим.

Он взял перо и собственной рукой написал обращение ко всем начальникам станций, весовщикам и другим железнодорожным работникам, прося их уделить особое внимание моему чемодану. И чемодан благополучно прибыл со мной во Владивосток.

* Альберт Рис Вильямс (1883–1962) — американский писатель и публицист. Посетил Россию в 1917 г. Неоднократно встречался с В. И. Лениным.

** «Ленин-человек и его дело» написаны и изданы в 1919 г. в США. Фрагменты печатаются по изд.: Бессмертие. М.: Художественная литература, 1970.

Но в Америку он так и не попал. Он исчез. Каким образом — не знаю.

Это было во время блокады. Америка по-своему тоже переживала блокаду. Вывоз медикаментов и разных товаров в Россию был запрещен американским правительством, в то же время в Америку не разрешалось ввозить русские газеты и сведения о России.

А между тем американский народ хотел узнать правду о русской революции. Воображение масс было захвачено необыкновенными, потрясающими событиями в России. Они особенно интересовались великим вождем русской революции Лениным.

Как известно, девизом американских газет всегда было и остается: «Преподноси публике то, что ей нравится». Если у редактора нет новостей, он должен фабриковать их сам. И поэтому вместо действительных фактов о Ленине заняли выдумки и небывицы. Каких только глупостей не печатали о нем в газетах! Чтобы придать всей этой несусветной чуши достоверность, всегда сообщали, что она получена от «собственного корреспондента» в Париже, Лондоне или Стокгольме.

Эти измышления были полны нелепостей и самых невероятных противоречий. Но в силу какой-то странной психологии, созданной войной, американская публика с жадностью поглощала такого рода «сведения» и требовала новых. Для нее во всем этом не было ничего нелепого или сверхъестественного.

И вот в ответ на эту ложь и клевету я написал «Десять месяцев с Лениным». Эту книжку мы снабдили тогда подробной биографией Владимира Ильича. Прошу читателей и критиков помнить, что она была написана для американцев и что условия, при которых она составлялась, были далеко не нормальные. Интервенция на все накладывала свою лапу. Писать в то время в Америке о России в доброжелательном духе было опасно. Трудно было тиснуть хотя бы строчку в каком-нибудь журнале или газете...

Вступление

...Нужно отметить, что эта книга не завершена. Она не претендует на то, чтобы дать полное представление о Ленине как личности и о его деле. Это можно сделать только в ходе дальнейшего развития истории, ибо вся последующая история будет связана с именем Ленина. Но те краткие сведения о Ленине-человеке и его деле, которые книга предоставляет в распоряжение читателя, не лишены, как надеется автор, интереса и значимости.

Ленин показан здесь в действии, за работой, в водовороте революционных событий. Книга передает впечатления иностранца,

тесно соприкасавшегося с ним. На его стороне очевидное преимущество перед всеми другими, кто писал о Ленине. Почти все за рубежом, писавшие в то время о Ленине, никогда с ним не говорили, не слышали его выступлений, не видели его, не приближались к нему ближе чем на тысячу миль. Большую часть своих сообщений они основывали на слухах, догадках и голом вымысле.

Что касается меня, то я встречался с Лениным как социалист из Америки. Я ехал с ним в одном поезде, выступал с одной и той же трибуны* и два месяца жил рядом с ним в гостинице «Националь» в Москве. В этой книге я пишу о целом ряде встреч, которые были у меня с Лениным в период революций.

Первые впечатления о Ленине

В то время как ликующие толпы солдат и рабочих, упоенных победой пролетарской революции, наполняли огромный зал в Смольном, а пушки «Авроры» возвещали о гибели старого строя и рождении нового, Ленин спокойно поднимался на трибуну. Председатель объявил:

— Слово предоставляется товарищу Ленину.

Мы напрягли все наше внимание. Сейчас перед нашим взором предстанет человек, которого мы так давно жаждали видеть и слышать. Но с наших мест, отведенных для корреспондентов, вначале его не было видно.

Под громкие приветствия, выкрики, топот ног и аплодисменты он прошел через сцену и поднялся на трибуну, всего метрах в десяти от нас. Шум, крики и приветствия достигли кульминационного пункта.

Теперь мы видели его очень хорошо... Внешность его оказалась почти противоположной той, какую создало наше воображение. Мы ожидали увидеть человека огромного роста, производящего впечатление одним своим видом. На самом же деле перед нами стоял человек небольшого роста, коренастый, с лысиной и взъерошенной бородакой.

Выждав пока стихнут ураганные аплодисменты, он проговорил:

— Товарищи! В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства. — И стал без пафоса, по-деловому излагать существо вопроса.

* 1 (14) января 1918 г. А.-Р. Вильямс выступал на проводах первых эшелонов социалистической армии в Михайловском манеже в Петрограде, где В. И. Ленин произнес речь. После переезда в Москву 10–11 марта 1918 г. В. И. Ленин некоторое время жил в гостинице «Националь».

Ленин говорил без всякого стремления блеснуть красноречием, скорее резковато и сухо. Засунув большие пальцы в вырезы жилета, он покачивался взад и вперед. В течение часа вслушивались мы в его речь, стремясь уловить в ней ту скрытую притягательную силу, которая объяснила бы нам его огромное влияние на этих свободных, молодых и сильных людей. Но тщетно.

Мы были разочарованы.

Дерзание и безудержный порыв большевиков зажгли наше воображение, того же мы ждали и от их вождя. Нам представлялось, что в лице лидера их партии мы увидим воплощение всех тех качеств, которые свойственны этой партии, что в нем заключена вся ее сила и мощь, что он, если хотите, сверхбольшевик. Но перед нами стоял усталый, ничем, казалось, особенно не выделяющийся человек, говорящий спокойно и просто, но с глубокой убежденностью и силой.

— Если его одеть немного получше, то можно было бы по внешности принять за среднего мэра или банкира из какого-нибудь небольшого французского городка, — прошептал Джулиус Вест, английский корреспондент.

— Да, совсем небольшого роста человек для такого большого дела, — проговорил его компаньон.

Мы представляли себе всю трудность задачи, решение которой взяли на себя большевики. Справятся ли они с ней? Их вождь поначалу не произвел на нас впечатления сильного человека.

Таково было первое впечатление. И все же, начав со столь ошибочной оценки, через шесть месяцев я был уже в лагере Воскова, Нейбута, Петерса, Володарского и Янышева*, для которых первым в Европе человеком и политическим деятелем был Ленин.

Ленин вводит строгий революционный порядок в жизнь государства

Девятого ноября 1917 года я хотел получить разрешение сопровождать красногвардейцев, чьи колонны шли тогда по всем дорогам на бой с казаками и контрреволюционерами. Я предъявил Ленину свои документы, на которых стояли подписи Хилквита**

* Восков, Нейбут, Петерс, Володарский и Янышев — большевики-эмигранты; они возвращались на родину в апреле 1917 г. на пароходе, которым направлялся в Россию А.-Р. Вильямс, и были первыми большевиками, с которыми он познакомился и затем сблизился. — *Ред.*

** *Хилквит М.* — руководитель Социалистической партии США, деятель II Интернационала.

и Гюисманса*. Я считал их очень внушительными документами. Ленин думал иначе. С лаконичным «нет» он вернул мне бумаги, словно я получил их в какой-нибудь филантропической буржуазной организации.

Инцидент пустячный, но он говорит о серьезном и строгом отношении к делу, которое зарождалось в пролетарских Советах. До того времени массы во вред себе были чрезмерно великодушны и доверчивы. Ленин принялся вводить революционный порядок. Он знал, что только решительными и крутыми мерами можно спасти революцию, которой угрожали голод, иностранная интервенция и реакция. Поэтому большевики проводили свои мероприятия без колебаний, а враги, изощряясь в эпитетах, осыпали большевиков бранью и клеветали на них. По отношению к буржуазии Ленин был суров и беспощаден.

Царивший в те недели хаос требовал от людей железной воли и железных нервов. Во всех государственных учреждениях наводили строгий революционный порядок и дисциплину. Было заметно, как росло чувство ответственности рабочих, как улучшали работу отдельные звенья советского аппарата. Предпринимая какие-нибудь действия, например, приступая к национализации банков, Советская власть действовала теперь энергично и эффективно. Ленин знал, в каких случаях нельзя медлить, но знал и то, когда поспешность недопустима. Однажды его посетила делегация рабочих в связи с возникшим у них вопросом: не может ли он декретировать национализацию их предприятия.

— Конечно, — сказал Ленин и взял со стола чистый бланк, — если бы все зависело от меня, то все решалось бы очень просто. Достаточно было бы мне взять эти бланки и вот тут проставить название вашего предприятия, здесь подписаться, а в этом месте указать фамилию соответствующего комиссара.

Рабочие очень обрадовались и сказали:

— Ну, вот и хорошо.

— Но прежде чем подписать этот бланк, — продолжал Ленин, — я должен задать вам несколько вопросов. Прежде всего, знаете ли вы, где можно получить для вашего предприятия сырье!

Делегаты ответили, что не знают.

— Умеете ли вы вести бухгалтерию? — продолжал Ленин. — Разработали ли вы способы увеличения выпуска продукции?

* Гюисманс Камиль — один из старейших деятелей бельгийского социалистического движения. В 1904–1919 гг. секретарь Международного социалистического бюро II Интернационала, занимал центристскую позицию. Неоднократно входил в бельгийское правительство.

Рабочие ответили отрицательно и признали, что они, считая это второстепенным делом, не придавали ему серьезного значения.

— Наконец, товарищи, позвольте узнать у вас, нашли ли вы рынок для сбыта своей продукции?

Опять они ответили «нет».

— Так вот, товарищи, — сказал Председатель Совнаркома, — не кажется ли вам, что вы не готовы еще взять сейчас завод в свои руки? Возвращайтесь домой и начинайте над всем этим работать. Это будет нелегко, вы будете иногда ошибаться, но приобретете знания и опыт. Через несколько месяцев приходите опять, и тогда мы сможем вернуться к вопросу о национализации вашего завода.

Железная дисциплина в личной жизни Ленина

Своей личной жизнью Ленин показывал пример той железной дисциплины, которую вводил в общественную жизнь. Щи и борщ, черный хлеб, чай и каша составляли меню тех, кто был тогда вместе со Смольным. Так же питался Ленин с женой и сестрой. Революционеры работали по двенадцать-пятнадцать часов в сутки. Рабочий день Ленина, как правило, длился не менее восемнадцати-двадцати часов. Он собственноручно писал сотни писем. Погрузившись в работу, Ленин забывал даже о еде. Пользуясь случаем, когда он разговаривал с кем-либо, его жена подходила, бывало, к нему со стаканом чая и говорила: «Вот, товарищ, не забудьте выпить». Часто чай был без сахара, так как Ленин получал такой же паек, как и все. Солдаты и посыльные спали на железных койках в больших, с голыми стенами, похожих на казармы комнатах. Ленин и его жена спали на таких же койках. Когда уже не оставалось сил работать, они ложились отдохнуть на свои жесткие койки, часто даже не раздеваясь, чтобы можно было вскочить в любую минуту. Ленин переносил эти лишения не из аскетических побуждений. Он просто проводил в жизнь принцип равенства.

Один из этих принципов состоял в том, что в то время заработная плата любого советского служащего была приравнена к заработной плате среднего рабочего и установлена в шестьсот рублей в месяц.

Я жил в гостинице «Националь», когда Ленин поселился там в комнате на втором этаже. Новый, советский режим прежде всего отменил здесь изысканные и дорогие блюда. Большое количество блюд, составлявших обед, было сведено к двум. Можно было получить либо суп и мясо, либо суп и кашу. Это все, что мог иметь любой, будь он народным комиссаром или чернорабочим, иными словами, в полном соответствии с требованием: «Ни один

не должен есть пирожных, пока все не получат хлеба»... Временами наступали дни, когда хлеба совсем не было. В эти дни не получал хлеба и Ленин.

Когда после покушения на него Ленин был в тяжелом состоянии, врачи прописали ему питаться продуктами, которых нельзя было получить по карточкам, но можно было приобрести только на рынке у спекулянтов. Невзирая на уговоры друзей, он отказывался притрагиваться ко всему, что не входило в законный паек.

Позже, когда Ленин начал выздоравливать, его жена и сестра нашли способ, как улучшить его питание. Зная, что он держит свой хлеб в ящике стола, они в его отсутствие проходили к нему в комнату и время от времени добавляли кусок хлеба к его запасам. Поглощенный работой, Ленин опускал руку в стол, доставал хлеб и съедал его, не подозревая, что это сверх обычного пайка.

В письме к рабочим Европы и Америки Ленин писал о тех бедствиях, тех муках голода, на которые обрекло рабочие массы военное вмешательство Антанты.

Ленин на трибуне

Несмотря на исключительную перегруженность почти круглосуточной напряженной работой, Ленин часто выступал с речами, в которых в живой и выразительной форме делал анализ сложившейся обстановки, ставил диагноз, предписывал лечение и убеждал слушателей применить его. Наблюдатели поражаются энтузиазму, который вызывают речи Ленина у малообразованных людей, хотя говорит он быстро и гладко и приводит множество фактов.

Ленин — мастер диалектики и полемики, чему способствует его удивительное самообладание во время дебатов. И дебаты — его конек. Ольгин* говорил: «Ленин не отвечает оппоненту, а подвергает его вивисекции. Он подобен лезвию бритвы. Его ум работает с поразительной остротой. Он подмечает малейшие оплошности оппонента, отвергает неприемлемые послышки и показывает, насколько абсурдные заключения могут быть выведены из них. В то же время он говорит с иронией, высмеивает своего оппонента. Он его беспощадно разносит, заставляет вас чувствовать, что его жертва — невежда, глупец и самоуверенное ничтожество. Сила

* Ольгин — псевдоним писателя и публициста М. Н. Новомейского. В 1914 г. выехал из России в США, принимал участие в социалистическом движении, а затем вступил в Компартию США, написал ряд книг и статей об СССР, сотрудничал в советских газетах. — *Ред.*

его логики увлекает вас. Вас подчиняет его интеллектуальная страстность».

Временами он оживляет свою мысль шутливым отступлением или язвительной репликой. Например, высмеивая Камкова, без конца задававшего вопросы, Ленин использовал поговорку: «Одни дурак может задать столько вопросов, что и десять умных не ответят».

Иногда Ленин простым примером иллюстрировал новый порядок. Он как-то привел рассказ старой крестьянки, которая говорила, что если раньше человек с ружьем не позволял ей собирать хворост в лесу, то теперь, наоборот, — он не опасен, он даже охраняет ее.

Ленин всегда стремился воздействовать в первую очередь на ум, а не на чувства. Тем не менее по реакции его слушателей можно было судить, какой силой эмоционального воздействия обладала ленинская логика.

Мне довелось выступать на митинге после Ленина. Это случилось в Михайловском манеже в январе 1918 года, когда на фронт отправлялся первый отряд защитников Советской страны. Колблющееся пламя факелов освещало огромное помещение, делая длинные ряды броневииков похожими на каких-то допотопных чудовищ. Вся большая арена и стоявшие на ней бронеавтомобили были усеяны темными фигурами новобранцев, плохо вооруженных, но сильных своим революционным пылом. Чтобы согреться, они плясали и притопывали ногами, а чтобы поддержать хорошее настроение — пели революционные песни и частушки.

Громкие крики возвестили о прибытии Ленина. Он поднялся на один из броневииков и начал говорить. В полумраке слушавшие его люди вытягивали шеи и жадно ловили каждое слово. После окончания выступления раздались бурные аплодисменты.

Когда Ленин, закончив свою речь, спустился с броневиика, Подвойский объявил:

— Сейчас перед вами выступит американский товарищ.

Толпа наострила уши. Я поднялся на автомобиль.

— Прекрасно, — сказал Ленин, — говорите по-английски, а я, с вашего разрешения, буду переводить.

— Нет, я буду говорить по-русски, — отважился я в каком-то безотчетном порыве.

Ленин следил за мной искрящимися глазами, словно предвкусывая возможность позабавиться. Ждать ему пришлось недолго. Израсходовав весь имевшийся у меня запас готовых фраз, я запнулся и замолчал. С большим трудом я подыскал еще несколько слов. Что бы ни делал иностранец с их языком, русские остаются

благожелательными и снисходительными. Они умеют ценить если не умение, то, во всяком случае, старание начинающего. Поэтому моя речь прерывалась продолжительными аплодисментами, которые каждый раз позволяли мне перевести дух и найти несколько слов для следующего короткого броска. Мне хотелось сказать им, что, если наступит критический час, я сам с радостью вступлю в ряды создаваемой Красной Армии. Я остановился, мучительно подбирая нужное слово. Ленин поднял голову и спросил:

— Какого слова вам не хватает?

— Enlist, — ответил я.

— Вступить, — подсказал он.

После этого всякий раз, когда я запинаясь, Ленин тут же подсказывал мне нужное слово, я его тотчас подхватывал и с американским акцентом бросал в зал. Это, а также то, что я представлял собой живой и осязаемый символ интернационализма, о котором все они столько слышали, вызывало веселое оживление и гром аплодисментов. Ленин от всей души смеялся и аплодировал.

— Ну вот, как бы там ни было, начало в освоении русского языка сделано, — сказал он мне. — Но вы должны продолжать заниматься им серьезно. А вы, — сказал он, повернувшись к Бесси Битти*, — вы тоже должны изучать русский язык. Дайте в газете объявление, что хотите обменяться уроками. И потом просто читайте, пишите и говорите только по-русски. С американцами не разговаривайте — все равно пользы от этого не будет, — добавил он, улыбаясь. — Когда мы встретимся в следующий раз, я вас проэкзаменую.

Необычайное самообладание Ленина

Во всех случаях жизни он проявлял исключительное самообладание. События, в результате которых другие теряли голову, служили для Ленина лишь поводом продемонстрировать свое спокойствие и душевное равновесие.

Единственное заседание Учредительного собрания** проходило бурно. На нем в смертельной схватке сцепились две фракции. Боевые выкрики делегатов, стук пюпитров, громы и молнии, которыми раздражались ораторы, страстное пение «Интернационала» и революционного марша, звучавших в устах двух тысяч

* *Бесси Битти* (1886–1947) — американская писательница, находившаяся в России в революционные дни 1917 г.; автор книги «Красное сердце России» и статей об Октябрьской революции.

** Заседание Учредительного собрания состоялось 5 (18) января 1918 г.

человек, — все это наэлектризовывало атмосферу. С приближением ночи напряжение все нарастало. Мы сидели на балконе, вцепившись руками в барьер и стиснув зубы, наши нервы были напряжены. Ленин сидел в первом ряду первой ложи, и лицо его выражало полнейшее отсутствие интереса.

Наконец, он встал, прошел за трибуну и сел там на покрытые ковром ступеньки. Изредка он поднимал голову и окидывал взглядом огромное скопление народа. Затем подпер голову рукой и закрыл глаза, будто говоря себе: «Так много людей понапрасну растрчивает свои силы, пусть хоть один их побережет». Громкие голоса ораторов и шум собрания прокатывались над его головой, но он продолжал спокойно сидеть. Раза два он приоткрывал глаза, прищурившись, осматривался вокруг и снова опускал голову.

Затем он поднялся, распрямился и неторопливой походкой направился в ложу. Воспользовавшись случаем, мы с Джоном Ридом сбежали с галерки в зал, чтобы спросить у Ленина, что он думает о ходе заседания Учредительного собрания. Он что-то безразличным тоном ответил. А потом поинтересовался ходом работы в бюро пропаганды*. Лицо его просияло, когда мы сообщили, что материал печатается тоннами и его удастся переправлять через линию фронта в германскую армию. Вместе с тем мы сказали ему, что встречаем большие трудности с переводами на немецким языком.

— Ах да, — воскликнул он и внезапно оживился, вспомнив о моих подвигах, когда я выступал с броневика. — Ну, как подвигается дело с изучением русского языка? В состоянии ли вы теперь понимать все эти речи?

— В русском языке так много слов, — ответил я уклончиво.

— В том-то и дело, — заметил Ленин, — им нужно заниматься систематически. С самого начала вы должны овладеть основами языка. Я расскажу вам о своем методе.

Вкратце метод Ленина сводился к следующему: сначала выучить все существительные, выучить все глаголы, выучить все причастия и прилагательные, выучить все остальные слова; выучить всю грамматику — орфографию и синтаксис, а затем непрерывно всюду и со всеми практиковаться. Как нетрудно заметить, метод Ленина был не столько оригинальным, сколько многосторонним. Словом, это был его метод борьбы с буржуазией применительно

* Бюро существовало при Федерации иностранных групп РКП(б), созданной в начале 1918 г. Оно состояло из литераторов и агитаторов-иностранцев; занималось подготовкой и распространением печатных изданий, а также агитационно-пропагандистской работой среди войск империалистических держав. — *Ред.*

к овладению языком — браться за дело самым решительным образом. И разговор о нем увлек Ленина.

Он сидел, перегнувшись через барьер ложи, и говорил, подчеркивая слова выразительными жестами. Глаза у него блестели. Наши коллеги — репортеры сгорали от зависти. Они думали, что Ленин в этот момент разоблачает преступления оппозиции, или выдает нам тайные планы Советов, или, может быть, разжигает в нас революционный пыл. В подобный критический момент, несомненно, такую вспышку энергии у главы великого Русского государства могли вызвать только подобные темы. Но наши коллеги заблуждались. Глава Советского правительства просто-напросто излагал свой взгляд на методику изучения иностранного языка, с удовольствием воспользовавшись возможностью отвлечься за дружеской беседой.

Когда во время дебатов противники подвергали Ленина критике, он обычно сохранял спокойствие и даже умел подмечать смешные стороны в происходящем. Закончив речь на IV съезде Советов*, он занял свое место в президиуме, чтобы выслушать нападки пятерых оппонентов. Всякий раз, когда он находил, что оппонент сделал удачный ход, Ленин широко улыбался и вместе со всеми аплодировал. Но если кто-нибудь начинал нести чушь, Ленин иронически усмехался и «аплодировал», постукивая ногтем одного большого пальца о другой.

Ленин в общении с людьми

Лишь один раз я видел Ленина усталым. После ночного заседания Совнаркома он вместе с женой и сестрой вошел в лифт в гостинице «Националь».

— Добрый вечер, — сказал он довольно устало. — Впрочем, нет, — поправился он, — доброе утро. Я говорил целый день и всю ночь и устал. Даже на второй этаж и то поднимаюсь на лифте.

Также всего один раз я видел его очень спешившим. Это было в феврале, когда Таврический дворец снова стал ареной жарких схваток — обсуждался вопрос о войне или мире с Германией. Ленин появился внезапно и быстрой, энергичной походкой, почти летя по воздуху, направился через вестибюль к двери, которая вела на трибуну. Профессор Кунц и я поджидали его и тут же обратились к нему со словами:

— Одну минуточку, товарищ Ленин.

* Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов состоялся в Москве 14–16 марта 1918 г. — *Ред.*

Он остановил свое стремительное движение, встал почти по стойке «смирно» и, очень вежливо кивнув головой, сказал:

— Пожалуйста, товарищи, на этот раз отпустите меня. Я не имею ни секунды времени. Меня ждут в зале. Прошу вас, извините, как-нибудь в другой раз. — Поклонившись, он пожал нам руки и зашагал дальше.

Уилкоккс, противник большевиков, отмечая мягкость Ленина в общении с людьми, рассказывает, что один английский коммерсант, чтобы спасти свою семью от грозившей ей опасности, обратился за помощью лично к Ленину. Он был поражен, встретив в нем вместо «кровожадного тирана» обходительного, мягкого и отзывчивого человека, готового помочь ему всем, что в его силах.

И Ленин был действительно таким. Временами даже казалось, что он слишком любезен, подчеркнуто вежлив. Возможно, тут имело значение то, что, говоря по-английски, Ленин употреблял изысканно вежливые выражения, почерпнутые им главным образом из книг. Но более вероятно, что это было его манерой обращаться с людьми, в чем Ленин, как и во многом другом, достиг высокой степени умения.

Попасть на прием к Ленину было не так-то просто, но если уж вы попадали к нему, то он всецело находился в вашем распоряжении. Все свое внимание он сосредоточивал только на вас, что иногда могло даже поставить в затруднительное положение. Вежливо поздоровавшись, он подвигался как можно ближе, почти вплотную. Во время разговора он часто подавался вперед, не переставая смотреть вам в глаза, словно высматривая сокровеннейшие тайники ваших мыслей и стараясь проникнуть в самую душу собеседника.

Нам часто приходилось встречать одного социалиста, который в 1905 году принимал участие в московском восстании и даже отличился, сражаясь на баррикадах. Карьера и обеспеченная жизнь заставили его забыть о пылких увлечениях молодости. Теперь он выглядел преуспевающим джентльменом, работая корреспондентом какого-то английского газетного синдиката и плехановского «Единства».

Встретаться с буржуазными писателями Ленин считал расточительством времени, однако этот человек, используя свое революционное прошлое, сумел добиться свидания с Лениным. На встречу с Лениным он отправлялся в прекраснейшем настроении. Несколькими часами позже я увидел его в состоянии полного смятения. Он рассказал мне следующее: «Войдя в кабинет Ленина, я упомянул о своем участии в революции 1905 года. Ленин подошел ко мне и сказал:

— Это так, товарищ, но что вы делаете для этой революции? — Лицо его было в каких-нибудь пятнадцати сантиметрах от моего, он смотрел мне прямо в глаза. Я заговорил о том, что когда-то сражался на баррикадах, и отступил шаг назад. Но Ленин сделал шаг вперед и, неотрывно смотря мне в глаза, повторил:

— Это так, товарищ, но что вы делаете для этой революции? — У меня было такое ощущение, словно меня просвечивали рентгеновскими лучами, словно он видел всю мою жизнь за последние десять лет. Я не выдержал и опустил глаза, как провинившийся ребенок. Я пытался заговорить. Но тщетно. Пришлось просто уйти».

Через несколько дней этот человек окончательно связал свою жизнь с революцией 1917 года, став советским работником.

<...>

Н. ГИЛЬБЕН*

Ленин**

Ты знаешь ли, что мощная рука,
тирана с трона свергшая, была
как лепесток легка?
Та мощная рука
ты знаешь, чьей была?

Ты знаешь ли: тот голос камни плавил,
он обрекал на смерть твоих хозяев,
но жизнь твою он славил.
Тот голос камни плавил,
и потому ты сам теперь хозяин.

Ты знаешь ли, что ветер тех ночей,
быком ревавший над землею, был
нежней, чем вздох детей?

* *Николаас Гельбен* (1902–1989) — кубинский поэт, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1954). Член бюро Всемирного Совета Мира, Председатель Союза писателей и художников Кубы.

** Стихотворение «Ленин» печатается по изд.: Новый мир. 1960. № 1. Перевод с испанского О. Савича.

Но ветер тех ночей, —
ты знаешь, чьим он был?

И знал ли ты, что солнца алый плес,
неумолимых грозных стрел хозяин,
осушит море слез?
И что на этот плес
ты вступишь как хозяин?

Он, Ленин, — в бурю небо голубое;
и сеет он с тобою,
крестьянин, прежде пасмурный и дикий;
и он поет с тобою, —
о голос, над которым нет владыки, —
народ, завоевавший счастье с бою!

Везде, всегда с тобою —
в труде и отдыхе, простой, великий,
над полем, над фабричною трубою,
над общемою и личною судьбою,
как сталь, мечта, природа, —
многоликий.

В Регле, когда умер Ленин*

Возможно, многие кубинцы не знают, что Регла, «заморское селение Регла», как пишут краснобаи-хроникеры, — это самый крошечный муниципальный округ нашей республики. В то время как некоторые районы и провинции растянулись на несколько тысяч квадратных километров (как, например, Камагуэй, самая большая провинция Кубы, — 6348 км), Регла занимает всего-навсего... три квадратных километра. Сельской зоны здесь нет вовсе. А население не составляет и тридцати тысяч человек. Однако в конце XVIII века и особенно в начале XIX, до 1812 года, здесь жило не менее двух тысяч креолов и испанцев. В 1690 году уже существовала одинокая часовенка на том самом месте, где сейчас находится церковь, и в ней служили молебны, как служат

* Очерк «В Регле, когда умер Ленин» (1960) печатается по изд.: Бессмертие. М.: Художественная литература, 1970.

и посейчас, Регльской божьей матери, или — по негритянским верованиям — Иемайе.

Со старых времен известны пути сообщения между Реглой и Гаваной. Только прибавился еще один — прекрасный подводный туннель, пересекающий бухту возле Морро, недавно построенный и открытый для движения. Что ж еще сообщить вам, читатель, чего вы не знаете? Ибо было бы поистине нелепо знакомить вас, словно с пятнадцатилетней девочкой, едва вступающей в жизнь, с солидной и твердо стоящей на ногах особой, за плечами которой уже более двухсот лет существования!

Так вот, если Регла географически незначительна, то население ее состоит из людей, отличающихся едва ли не самой большой живостью ума и характера во всей Республике. И не только эта живость выделяет их, но и то обстоятельство, что они так твердо и громко заявили о себе в час сражения за поправленные права, которые необходимо было восстановить. В 1880 году, когда отмена рабства открыла ворота свободному труду, население Реглы основало Цех Лодочников; четыре года спустя — Цех Плотников Побережья; а в 1886 году — Цех Конопатчиков. Потом появились металлурги, чернорабочие, рыбаки... Во времена республики, в 1906 году, возник в Регле первый кружок социального просвещения, яростно преследуемый полицией, окрестившей его «анархистским центром». И это именно в Регле был установлен впервые восьмичасовой рабочий день, которого добивались и добились конопатчики, а вслед за ними и плотники побережья. А позднее, в 1908 году, это они основали Дом трудящихся, называвшийся также «храмом», опередив, таким образом, табачников Гаваны.

Нет ничего удивительного в том, что с такими предпосылками, с таким «общественным климатом» и с такими свершениями, многие из которых мы не будем здесь упоминать, чтобы не отягчать излишними подробностями наш очерк, Регла явилась и в официальном отношении подходящим местом для принятия мер, могущих еще более укрепить традиции социальной борьбы, столь укоренившиеся среди ее населения. В 1921 году алькальд города доктор Антонио Бош издал декрет, которым день Первого мая официально объявлялся торжественным праздником. В соответствии с данным декретом было отдано распоряжение, чтобы учреждения муниципалитета в этот день не работали — в знак уважения к рабочему классу, как было сказано, и «в доказательство сочувствия духу солидарности, каковой данное торжество отражает...».

Три года спустя, в 1924 году, умер Ленин. И уже знакомый нам алькальд Бош немедленно издал новый декрет, еще более

знаменательный, чем предшествующий, касающийся на сей раз смерти великого человека.

Стоит привести здесь этот извлеченный из старых архивов документ, ибо он представляет и сегодня живейший интерес. Как вы увидите, читатель, в нем предписывалось, между прочим, посадить оливу в знак памятного дня.

ПОСКОЛЬКУ: Судя по известиям, полученным по подводному телеграфному кабелю, в России умер гражданин Николас Ленин и на субботний день двадцать шестого числа данного месяца назначено его погребение;

ПОСКОЛЬКУ: Вышеупомянутый гражданин Ленин заслужил большую любовь и горячую симпатию со стороны пролетарских элементов и интеллигенции упомянутого муниципального округа, и следует отметить высокое значение его личности и важность его огромной общественной деятельности во имя самых здоровых и естественных принципов справедливости;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что воздавать почести тем лицам, которые выделяются среди прочих своим трудом на пользу общества, считается делом узаконенным, а Ленин своей общественной деятельностью выделяется среди прочих как **ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН МИРА**, заслуживая признания со стороны всех обитателей земного шара, что является достаточным мотивом для того, чтобы воздать ему посмертные почести в знак уважения и восхищения, я, пользуясь полномочиями, вверенными мне населением данного города, облекшим меня званием алькальда,

ПОСТАНОВЛЯЮ: Объявить и объявляю нерабочим днем в учреждениях муниципальной администрации ближайший день двадцать шестого числа текущего месяца (суббота). Постановляю настоятельно просить и настоятельно прошу всех жителей вверенного мне муниципального округа, чтоб они посвятили две минуты молчания и размышления столь печальному событию, и постановляю пригласить и приглашаю все население города собраться в пять часов пополудни (время, когда в России будет предано земле тело Ленина) на холме, известном под именем “Крепость”, где будет посажено оливковое дерево в память об этой дате и событии, волнующем наши чувства.

Данный декрет распространить для всеобщего ознакомления».

В приложении к декрету предписывалось, кроме того, следующее: «Чтобы обеспечить выполнение моей просьбы к жителям округа касательно двух минут молчания и размышления, долженствует в течение этого времени, а также начиная с пяти часов пополудни, прервать всю общественную жизнь: движение

остановится, учреждения не станут проводить никаких деловых операций, люди будут находиться в абсолютном покое».

На следующий день, 25 января, алькальд Бош отдал еще одно распоряжение, также имеющее отношение к смерти Ленина. В нем говорилось следующее:

«**ДОВОЖУ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ:** Во изменение вчерашнего постановления, считаю нужным издать следующий указ:

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО, что, согласно последним новостям, переданным по подводному телеграфу, похороны **ВЕЛИКОГО ГРАЖДАНИНА МИРА** будут происходить в воскресенье 27-го, а необходимым условием для назначения часа почестей, о которых говорилось, является совпадение последних во времени с датой погребения тела Ленина, — **ПОСТАНОВЛЯЮ:** Назначить посадку оливкового дерева на воскресенье 27-го в пять часов пополудни — дату и час, на которые падут также две минуты молчания и размышления, упомянутые в прошлом указе муниципального управления».

Само собой разумеется, все эти меры получили широкий отклик по всей Республике. Известные газеты, такие, как «Ла noche» и «Эль мундо», посвятили горячие слова гениальному человеку, чей уход местные власти так справедливо собирались отметить почестями, о которых говорилось выше. Цех Плотников Побережья решил быть на манифестации в полном составе. Один поэт, родившийся или просто живший в Сантьяго-де-лас-Вегас, по имени Франсиско Симон, написал сонет на смерть Ленина и посвятил его алькальду, пометив 27 января 1924 года. Стихи были такого рода, что в них о Ленине говорилось, что он выше Будды, ибо тот, несмотря на свои законы милосердия, проповедовал доктрину, годную для тиранов, и выше Христа, ибо тот сделал добродетелью бедность, как трусливый отпор силе, в то время как Ленин, в ответ на страшный гнет, ставший позором века, поднял восстание против ига и увидел, как палачи повержены во прах.

Олива была посажена 27 января вечером, как и было определено в декрете алькальда. Шел проливной дождь, и люди было подумали, что торжественная церемония будет отменена. Но этого не случилось: несмотря на ливень, колонна, назначенная для посадки дерева, двинулась в путь. Во главе ее шел доктор Бош, а за ней следовала толпа народу, в которой было более тысячи человек. Судя по газетам того времени, в пять часов без пяти минут алькальд Бош и сеньорита Мерседес Борреро посадили оливу. Каждый из присутствующих бросил горсть земли, после чего все возвратились в здание муниципального Совета, где было проведено торжественное траурное собрание. Бош сам написал краткий обзор торжественного акта.

И чтоб закончить наш очерк, перейдем к эпилогу, как принято в старинных романах. Холм «Крепость», где была посажена олива, известен с тех пор как холм Ленина, и к нему в день праздника Первого мая обычно направлялись демонстрации рабочих. Оливковое дерево стояло шесть лет, до ночи 1 Мая 1930 года, когда было вырвано отрядом войск под командой капитана Пилара Хорхе, после кровавых событий того дня, в которых погибло много рабочих. В ту пору свирепая диктатура Мачадо уже начала выпускать свои когти и Бош уже не был алькальдом, а стал представителем в палате от правительственной — либеральной — партии. Можно прибавить еще один любопытный факт: среди пассажирских катеров, регулярно курсирующих между Гаваной и Реглой, есть один, еще и поныне действующий, который носит имя великого революционера: «Владимир И. Ленин».

Несколько дней назад мы виделись с доктором Бошем, человеком еще бодрым в свои семьдесят с лишним лет. Мы напомнили ему его смелые действия, со времени которых прошло почти сорок лет, и он сказал нам:

— Холм осел, и на равнине стоит небольшой, недавно построенный дом. Хорошо бы превратить это здание, например, в детские ясли, посадить вокруг оливы и поставить бюст Ленина...

Т. ГОНСАЛЕС*

Эскиз к песне о Ленине**

Самый стойкий и самый на земле человечный,
человечный и самый на земле неземной,
как гранит, монолитный и, как воздух, прозрачный
ты — рекою текущее золотое зерно.

Ты нашел в черном угле крупички алмаза
и жемчужины в море. Ты чудесно постиг

* *Рауль Гонсалес Туньон* (1905–1974) — аргентинский поэт, журналист. Для его творчества характерны обращения к социальной и революционной тематике. В двадцатые годы участвовал в жизни литературного авангарда Аргентины. Первый сборник его поэм вышел в 1926 г.

** Стихотворение «Эскиз к песне о Ленине» написано в 1941. Печатается по изд.: Бессмертие. М.: Художественная литература, 1970. Перевод с испанского В. Васильева.

пляску огненных духов под гул наковальни,
тайны гибкого стебля, прародителя книг.

Ты — биение пульса огромной вселенной.
Ты и в слове могуч, и понятен без слов.
Всякий раз ты Иной, всякий раз Неизменный,
словно луч, проходящий сквозь призмы веков.

Разве чья-нибудь жизнь, как твоя, расцветала?
Ты и в смерти живой, для тебя смерти нет.
Так угасшие звезды из пространств необъятных
льют на землю сиянье через тысячи лет.

Человек ты, похожий на прочих, и самый
не похожий при этом ни на кого.
Так же некогда высились древние храмы,
как прибежище всех и алтарь Одного.

Ты не идол, однако, не изваянье.
Ты — в деяниях наших, ты — стремленье вперед.
О Владимир Ильич, удивительный брат мой,
кровь иссякла твоя, мысль горит и живет.
Скорбь, цветы и знамена — твоему Мавзолею,
а идеи твои — это солнца восход.

О. ГРИМЛУНД*

На перевале**

На юге Швеции расположен маленький городок Треллеборг. Он связан паромным сообщением с Германией. Холодным апрельским вечером 1917 года я ожидал в этом городке прибытия парома.

* *Отто Гримлунд* (1893–1969) — шведский журналист и писатель-публицист. Во время Первой мировой войны — один из руководителей левых социал-демократов в Мальмё. Встречал В. И. Ленина в Швеции при его возвращении из эмиграции в Россию. Участник I конгресса Коминтерна, подписавший от имени шведской делегации манифест конгресса «К пролетариям всего мира». В 1920 г. присутствовал на IX съезде РКП(б) в качестве гостя от Компартии Швеции.

** Воспоминания «На перевале» печатаются по изд.: Ленин всегда с нами. М.: Художественная литература, 1967.

Солдат на посту, несколько таможенных служащих — больше никого вокруг не было. Они не знали, кого ждут*.

Но вот паром у пристани. На верхней палубе его показалась рослая фигура с непокрытой головой. Это фриц Платтен, швейцарский социалист. Ему доверил Ленин организацию этой поездки. Вокруг него несколько десятков человек. Я киваю Платтену, и вскоре все начинают кивать и улыбаться. Спускается трап, я спешу на борт. Сердечные объятия и поцелуи по русской традиции.

Несколько отдельных спальных вагонов, готовых немедленно отправиться в Стокгольм, ждало гостей.

Ленин подошел ко мне, и мы обсудили план дальнейшей поездки. В Мальмё, крупном городе, расположенном в тридцати километрах от Траллеборга, поезд должен был задержаться на несколько часов. Там в гостинице был заказан обед.

Вскоре мы покинули гостиницу. Проезжие пробудили большой интерес ее обитателей. Они докучали мне своими вопросами: «Кто эти странные люди?» Разумеется, никто из них не мог и предположить, что эти люди станут через полгода хозяевами великой России.

Вернувшись к поезду, мы начали располагаться на ночь. Ленин, я и еще два товарища заняли спальное купе. Женщины заняли другие купе. Всего было одиннадцать женщин, из них две-три с детьми.

Заснуть в эту ночь никому не удалось. Сначала Ленин рассказал о трудностях переезда из Швейцарии, о попытке проехать через страны Антанты, которые отказались предоставить визу, и о переговорах, которые Платтен вел в Германии. Потом я услышал красочное описание того, как во время поездки шведско-немецкий социал-шовинист Вильгельм Янсон, представляющий немецкое профсоюзное движение, пытался на одной из станций проникнуть в поезд, чтобы поговорить с Лениным.

А затем градом посыпались на меня вопросы Ленина: Брантинг и его влияние? (Брантинг был лидером шведской правой социал-демократии.) Положение нашей партии, ее численность и воля к борьбе, сколько членов партии в риксдаге, что они сделали и т. д.? Профсоюзы, их отношение к политическим течениям, их кассы, кто вожди, как велики стачки? Молодежный союз, как велик, каково его значение, какова тактика? И т. д. и т. п.

* В Треллеборге (Швеция) ожидалось прибытие группы русских эмигрантов во главе с В. И. Лениным, направлявшейся из Швейцарии в Россию через Германию. Встреча О. Гримлунда с В. И. Лениным состоялась 30 марта (12 апреля) 1917 г.

Спустя час я попытался взять реванш, достал блокнот и ручку и стал задавать вопросы об отношении России к Европе, об общем политическом положении и о революции в России.

Интервью это не было опубликовано. До сих пор оно лежит в одном из ящиков моего письменного стола. Но для меня эти ночные часы, пока поезд грохотал, двигаясь на север, были более чем интервью. Это был урок социализма, полет над полем борьбы, который я никогда не забуду.

Ленин был из тех, кому обязательно нужна большая аудитория, чтобы развивать свои мысли. Он считал, что молодому журналисту из маленькой Швеции также нужно изложить свои взгляды на политическое положение в мире.

Он ясно определил отношение своей партии к тогдашней стадии русской революции. Он посмеялся над социалистами Керенского и буржуазными империалистами. Он очертил в эти ночные часы программу действий большевиков, которую несколько дней спустя должен был обнародовать, выйдя из поезда на Финляндском вокзале в Петрограде. Всю власть в руки рабочих Советов! Мир народам! Землю крестьянам!

В Стокгольме, куда мы прибыли утром, русские остановились на один день. Для Ленина было важно встретиться с руководителями шведской партии. И встреча была организована. На ней присутствовали некоторые из членов ЦК, часть партийцев из риксдага. Ленин развил там те же мысли, что и ночью в разговоре со мной*.

После обеда нам удалось уговорить Ленина прогуляться по городу. Мы собирались купить ему костюм. Ленин вместе с Крупской пошли в большой универмаг и купили костюм, который теперь демонстрируется в Музее Ленина в Москве. Ленин ворчал, считая, что старый костюм мог бы ему послужить еще некоторое время. Купить ему еще что-нибудь было совершенно невозможно. «Я еду домой, в Россию, не за тем, чтобы открывать там какое-нибудь ателье, а делать революцию!» — шутил он.

Ночью поезд отправился дальше через Хапаранду в Финляндию, а затем в Петроград, в Россию. Я остался в Стокгольме.

Встречался с Лениным и позднее, уже в России.

В январе 1918 г. я приехал в Петроград.

Мой приезд совпал с созывом Учредительного собрания. Большинство Учредительного собрания не отражало интересов и желаний народа и было враждебно настроено к большевикам.

* Речь идет о совещании шведских социал-демократов интернационалистов 31 марта (13 апреля) 1917 г., в котором принял участие В. И. Ленин. — *Ред.*

В день открытия Учредительного собрания Петроград был взбудоражен уличными демонстрациями. Получив номер в гостинице, я тотчас отправился в Таврический дворец, где должно было заседать Учредительное собрание*. Оно открылось под неопишуемый шум, аплодисменты справа и свист слева.

Но вдруг шум затих. Кто-то пробивал себе дорогу через людские массы у боковых входов. Делегаты поднялись, вытянули шеи, чтобы посмотреть, что случилось. От человека к человеку пронеслось: «Ленин!..» А через мгновение разразился гром аплодисментов, криков одобрения, приветствий друзей вождю новой России.

Я пытался со своего места увидеть Ленина. Он сидел на лестнице, которая вела к трибуне.

Полчаса просидел он так, в одиночестве, о чем-то размышляя. Никто ему не мешал. Но вдруг Ленин поднял голову: решение принято. Он что-то сказал близко стоящим друзьям. Когда проходило голосование, большевики уже покинули зал. Весь вечер и всю ночь правые лидеры говорили и говорили... В четыре часа утра охрана дворца решила, что болтовни слишком много. Несколько матросов поднялись к председательствующему и заявили: «Мы хотим спать. Лучше всего прервать заседание!» Так бесследно закончилось Учредительное собрание свое существование...

Два дня спустя я встретил Ленина поздно вечером, около двенадцати часов. Это было то небольшое мгновение, которое он мог предоставить самому себе, урывая от своего сна. В другие дни мы лишь кивали друг другу при встрече в маленькой столовой Смольного. Несмотря на все заботы в эти первые тяжелые месяцы, связанные с беспорядками, с тяжелыми переговорами в Брест-Литовске, он был всегда веселым и улыбающимся.

«О, вы увидите, что все будет хорошо. Мы уже сделали это, это и это. Будьте уверены, сделаем!» Это был удивительный оптимизм, который заражал окружающих, придавал им уверенность и мужество в работе.

Мы часто встречались и в 1919 году. Швеция являлась для новой России «отдушиной» в мир. Ленин внимательно относился к шведским товарищам. Я получил от него фотографию с дружеской надписью.

В 1919 году был образован Коммунистический Интернационал. Я был на I конгрессе единственным представителем шведской партии**. В эти дни Ленин был, как всегда, прост и общителен.

* Заседание состоялось 5 (18) января 1918 г. — *Ред.*

** I конгресс III, Коммунистического Интернационала состоялся 2–6 марта 1919 г. в Москве.

Однажды вечером несколько человек: французский писатель Анри Гильбо, Фриц Платтен, наш друг — спартаковец Альберт (Хуго Эберлейн) и я — решили посмотреть город. На лестнице мы встретили Ленина.

— Разрешите быть вашим чичероне, — сказал он.

Мы хотели тут же поговорить с ним. Об этом он не хотел и слышать. Было решено: сначала сделаем небольшую прогулку, а потом выпьем кофе.

Итак, мы отправились в путь, побеседовали о бюстах Дантона и Каляева у городской думы, посмотрели на белое мерцание луны над Красной площадью, над старыми кремлевскими стенами и главами церквей и пошли домой по пустынному Кремлю. Ленин весело смеялся по пути:

— Разве не «обсудили» бы меня в Центральном Комитете, если бы узнали, что я был на ночной прогулке, вместо того, чтобы сидеть и работать...

Несколько дней спустя после конгресса часть делегатов нанесла короткий визит в Петроград. Приехал сюда и Ленин. Случилось так, что я, Платтен и Гильбо встретились с ним в поезде на обратном пути в Москву*. После небольшой трапезы Ленин пригласил нас в вагон. Началась оживленная дискуссия. В поезде была сестра Ленина, комиссар железных дорог Невский и жена Максима Горького — симпатичная артистка Андреева.

Андреева втянула нас в бурную дискуссию о современном искусстве. Ленин только улыбался. Было видно, что он думал о чем-то другом.

Вскоре он увлекся беседой с комиссаром железных дорог. Проблема транспорта и связанная с ним проблема обеспечения продовольствием городов была очень актуальной. Около четырех утра мы легли немного вздремнуть. А Ленин все еще обсуждал вопросы реорганизации железных дорог...

* В. И. Ленин выехал из Петрограда в Москву 13 марта 1919 г. — *Ред.*

А. ДЖАФРИ

Ленин (1948)*

Ленин...

Для друзей как пароль, как заздравная речь,

Для врагов это слово — карающий меч.

Будет в жилах рабочего пламенем течь,

Капиталу на грудь должен тяжестью лечь

Ленин.

Он во мраке бессилья горит, как маяк,

Смог сияньем надежды народы привлечь.

В бой за счастье, свободу его имя вело.

Он как символ свободы, предтеча предтеч.

Ленин...

Д. ДЖЕРМАНЕТТО**

С делегацией итальянских коммунистов в Москве***

Когда летом 1917 года в Турин прибыли посланцы Керенского «ориентировать» итальянских рабочих и объяснить им политику Временного правительства России, их встретили возгласами: «Да здравствует мир!», «Да здравствует Ленин!» Непрошенные гости, по-видимому, поняли, что рабочие Италии и без них достаточно ориентированы, и поскорее убрались восвояси...

Ленин! Это имя уже тогда воплотило все светлые надежды людей, истерзанных первой империалистической войной. Это имя наш народ провозгласил своим боевым знаменем, оно звучало угрозой виновникам мировой бойни, стало заветной надеждой трудящихся на лучшее будущее.

* Перевод с индийского.

** Джованни Джерманетто (1885–1959) — итальянский писатель, революционер, коммунист, антифашист. Член КПИ с момента ее основания (1921). Участвовал в работе ряда конгрессов Коминтерна. Встречался с В. И. Лениным в 1924. В 1927 г. эмигрировал из Италии. В годы 2-й мировой войны, находясь в СССР, выступал как публицист, разоблачая итальянскую фашистскую агрессию. В 1946 г. вернулся в Италию.

*** Статья «С делегацией итальянских коммунистов в Москве» печатается по изд.: Бессмертие. М.: Художественная литература, 1970.

Никогда еще в Италии за последнее столетие имя человека не было так любимо в народе, как имя Ленина. В бедных хижинах деревень, разбросанных по склонам Альп, в серных рудниках Сицилии, на фабриках и заводах Турина и Милана, в учреждениях и учебных заведениях всей страны, в казармах и окопах фронтов первой мировой войны миллионы итальянцев произносили это имя с любовью и благоговением. Имя Ленина было начертано на стенах домов, в тюремных камерах и в римских катакомбах...

Легко понять мою радость, когда мне сообщили, что я поеду в Советский Союз в составе делегации Итальянской коммунистической партии на IV конгресс Коминтерна и II конгресс Профинтерна.

Это было время террористического разгула фашистских банд, поджигавших помещения общественных организаций трудящихся и с благословения полиции убивавших лучших наших руководителей и друзей. За несколько дней до черного «похода Муссолини» на Рим мы выехали из Италии...

Мы — группа делегатов — проехали чуть ли не по всей Европе. Но меня ничто не интересовало ни в Вене, ни в Берлине, ни в других европейских столицах. Все мои думы были обращены к неведомой Стране Советов, к Москве, к великому Ленину, которого я увижу впервые.

Был ноябрь. Но мы, привыкшие к жаркому солнцу Италии, даже не чувствовали холода. Так горяча была встреча, оказанная нам советскими людьми, едва мы переступили границу нового мира, мира свободы и дружбы народов.

На открытии IV конгресса Коминтерна мы с восторгом пели пролетарский гимн «Интернационал» на 50 языках...* 13 ноября 1922 года мы собрались в самом большом зале Кремля, с нетерпением ожидая доклада Ленина «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции»...

Перед началом заседания я решил выйти в коридор с тайной надеждой встретить Ленина и приветствовать его от имени итальянских рабочих. И я его встретил. Но вместо многословного приветствия я лишь сказал по-французски:

— Здравствуйте, товарищ Ленин!

Он остановился, горячо пожал мою руку и спросил:

— Вы француз?

* Открытие IV конгресса III, Коммунистического Интернационала состоялось в Петрограде 5 ноября 1922 г. В. И. Ленин на нем не присутствовал; на первом заседании было оглашено его приветствие. С 9 ноября заседания конгресса продолжались в Москве. — *Ред.*

— Нет, я итальянец.

— Я говорю немного по-итальянски, — сказал он мне на моем родном языке.

В это время из зала вышли еще несколько товарищей. Все мы на разных языках старались обменяться несколькими словами с великим Лениным...

В порядке дня IV конгресса Коминтерна стоял также итальянский вопрос. Нашей молодой еще партией руководили лица, которые вели ее по неправильному пути.

В один из вечеров Владимир Ильич пригласил итальянскую делегацию к себе на беседу. Мы все, кроме троцкиста Бордиги и нескольких его сторонников, были несказанно обрадованы. За столом, за чашкой чая, уселась вся делегация. Владимир Ильич, Надежда Константиновна Крупская и еще несколько человек.

Бордига хотел было произнести речь об итальянских делах, но Владимир Ильич его прервал:

— Нет, нет... Мы уже слышали столько речей на конгрессе... Давайте лучше побеседуем со всеми вами попросту, по-товарищески...

Ленин был в прекрасном настроении, веселый и дружелюбный. Он беседовал почти с каждым из нас по-французски или по-итальянски. Расспрашивал о нашей партийной работе, узнавал, из каких мы приехали городов и областей, интересовался борьбой рабочих каждой местности и слушал ответы делегатов с таким вниманием, с каким был способен слушать великий учитель рабочего класса.

Никогда не изгладится в моей памяти совет, данный нам Лениным в тот вечер. Говоря о захвате власти в Италии фашистами, Владимир Ильич сказал, что фашисты, наверное, организуют свои профсоюзы. Итальянским коммунистам обязательно надо будет работать внутри этих профсоюзных организаций.

Должен признаться, что мы были тогда крепко пропитаны сектантством, и нам этот совет казался не совсем правильным... Однако дальнейший ход борьбы доказал всю справедливость этого мудрого указания Ленина. Мы вскоре поняли, что это был единственный путь к завоеванию трудящихся масс, обманутой фашистской демагогией, единственный путь, по которому можно было повести их на борьбу и добиться победы. Сколько раз позже, когда помещения фашистских профсоюзов нередко служили нам надежным убежищем для подпольных собраний, мы вспоминали мудрые слова Ленина!

Итальянская комиссия IV конгресса Коминтерна разработала обстоятельную резолюцию о работе нашей партии. Делегация собралась обсуждать эту резолюцию. Случайно в этот вечер в Кремле

не было свободного зала, кроме тронного. Председателем этого заседания товарищи избрали меня. Любопытно, что место председателя оказалось... тронном Николая II, и последнего. В пылу горячей дискуссии, длившейся до утра, никто и не задумался, вероятно, над тем, что на царском троне в тот вечер восседал... итальянский цирюльник...

Кстати, у меня были старые счеты с Николаем последним. Когда этот палач рабочих и крестьян России приехал однажды в Италию, меня и других рабочих арестовали за участие в демонстрации солидарности итальянских трудящихся с революционными рабочими России.

В тот знаменательный вечер заседания в тронном зале Кремля итальянские делегаты большинством голосов одобрили ленинскую линию в вопросах политики партии.

Под руководством Грамши и Тольятти была проведена длительная борьба, чтобы направить партию рабочего класса Италии на верный путь. Эта борьба привела к тому, что Итальянская компартия увеличила свои ряды с пятидесяти восьми тысяч до двух с лишним миллионов членов. Правильной ленинской политикой в работе профсоюзов мы достигли того, что Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ) насчитывает ныне наибольшее в истории страны число организованных рабочих и служащих. Во времена руководства предателя д'Арагона* в ее рядах состояло менее двух миллионов, а ныне более четырех миллионов членов профсоюзов.

Память о Ленине живет в этих завоеваниях рабочего класса нашей страны, который следует заветам гениального учителя народов.

Имя Ленина служит боевым знаменем для всех угнетенных и эксплуатируемых, а его бессмертное учение — нашей путеводной звездой в борьбе за мир, за свободу и социализм!

* Д'Арагон — итальянский профсоюзный лидер того периода, реформист. — *Ред.*

Т. ДРАЙЗЕР*

Ленин**

Это был человек, вся жизнь и все мысли которого были посвящены научным поискам и борьбе за лучший общественный строй, человек, который в конце концов получил величайшую возможность, какую когда-либо имели апостолы прогресса, — возможность руководить огромным, дотоле угнетенным и отсталым государством.

Я считаю, что широкое, всестороннее и ясное понимание Лениным, что должно и что можно сделать с огромной страной, занимающей одну шестую часть мира, страной, которая в результате царской тирании отстала на сотни лет от экономического и социального уровня жизни и научного прогресса современных ей Америки и Европы, — больше всего привлекало и всегда будет привлекать внимание всего мира. Нужно было не только свергнуть старый, деспотический режим, но и найти среди народных масс этой страны людей и средства для создания такого социального строя, который был бы и справедлив, и в то же время практически осуществим. Ибо, удовлетворяя насущные потребности масс, нужно было в то же время преодолевать все порожденные тиранией предрассудки и религиозные суеверия, еще тяготеющие над людьми. Еще труднее было заставить этих людей почувствовать все значение для них самих того, что от них требовалось.

Когда я был в 1927–1928 годах в России, мне случалось видеть на отдаленных окраинах страны, объединенной духом Ленина, крестьян и рабочих, мужчин и женщин, благоговейно склонявшихся или обнажавших голову перед бюстом Ленина и, насколько я понял, видевших в нем (совершенно справедливо) своего спасителя.

Сейчас предстоит гигантская борьба между теми, кто стремится поработить массы, и этими массами, которые не хотят быть больше рабами. Они знают теперь, что господствующие классы хотят жить в роскоши и праздности, что они хотят, чтобы так жили их дети и дети их детей. Французская революция, Гражданская война в Америке и русская революция многому научили массы. Русский

* *Теодор Драйзер* (1871–1945) — известный американский писатель, драматург, публицист, общественный деятель. Приветствовал Октябрьскую революцию. В книге «Бей, барабан!» (1920) выступил против антисоветской интервенции. В 1945 вступил в Компартию США.

** Статья «Ленин» (1940) была опубликована в журнале «Интернациональная литература», 1940, № 3–4.

народ, освобожденный Лениным, никогда не допустит, чтобы его снова превратили в раба. Он будет бороться, проникнутый духом Ленина. В исходе этой борьбы я не сомневаюсь. Ленин, его советское государство восторжествует.

Каков бы ни был ближайший исход этой борьбы, Ленин и его Россия, гуманность и справедливость, которые он внес в управление страной, в конечном счете победят. Ибо, хотя Ленина уже нет в живых, но социальный строй, который он создал и который его соратники и преемники с тех пор привели к нынешней мощи и величию, навсегда останется для будущих поколений.

С. ИЕГЕРФЕЛЬТ*

Могучая сосна**

Белые дали.
Темные тучи.
Тяжкой печали
полон земной простор.
Сегодня сосна упала,
которой не было лучше,
не стало сосны могучей...
Глухо рокочет бор.

Всех прямей,
с величавой кроной,
она любых ураганов
выдерживала напор.
Ветер не станет больше
шептаться с кроной огромной,
в траурные одежды
природа облачена.

Кто всечасно и безраздельно
жизнь отдавал за народ,
не умер и не умрет,

* *Сикстен фон Иегерфельт* — шведский поэт.

** Стихотворение «Могучая сосна» написано в 1924. Печатается по изд.: Стихи о Ленине. Из зарубежной поэзии. М.: Иностранная литература, 1960. Перевод с шведского В. Тушновой.

если даже по ветру развеян
или предан могиле прах.

С безупречной душой,
с волей крепче, чем сталь,
то гигантское дерево
в человечесьем росло лесу, —
человек, чьей жизни красу
сломила только что смерть.
Но великим его делам
веки не умереть.

Поколенья скорби полны —
борца великого нет.
Но не скроет могилы тьма
его оружия свет.
То оружие из рук бойца
в наследство принял народ.
Может быть, не под силу слабым оно,
но в солнечной воле с ним суждено
вечно шагать вперед.

С безупречной душой,
с волей крепче, чем сталь,
упало гигантское дерево
в государстве труда.
Но полон силой его
поколений вечный прилив,
не погаснет вовек этот красный огонь,
Ленин всегда жив!

С. КАТАЯМА*

С товарищем Лениным**

I

...Я был подготовлен к встрече с товарищем Лениным. Я слышал о том, с какой силой он умел убеждать свою аудиторию во время Брест-Литовска, а также и в других случаях, когда он своими речами одерживал верх над противниками.

Но самым лучшим средством познакомиться с товарищем Лениным было для меня чтение его «Государства и революции». Эта книга дала мне настоящую программу Октябрьской революции — программу «перехода от капитализма к коммунизму» ...

Здесь будет уместно сказать, почему я очутился на заседании съезда***. С 1916 года я принимал участие в движении левых сил в Америке и в издании еженедельника «Революционный век» и ежемесячника «Классовая борьба». Я приехал из Мексики, где тогда работал...

До прихода товарища Ленина я сказал несколько приветственных слов. Большой театр был переполнен. Я видел, что все присутствующие крайне взволнованы ввиду предстоящего выступления товарища Ленина.

Когда товарищ Ленин вошел в зал, все встали и аплодировали в течение нескольких минут. После того как председатель назвал оратора и товарищ Ленин взошел на трибуну, все присутствующие опять встали и приветствовали его продолжительными овациями.

Товарищ Ленин держался перед аудиторией непринужденно. Все слушали его с чрезвычайным вниманием, соблюдая полный порядок и глубокую тишину.

* *Сэн Катаяма* (1859–1933) — видный деятель японского и международного рабочего движения, публицист, организатор первого профсоюза в Японии. Перевел на японский язык книгу В. И. Ленина «Государство и революция». В 1919 г. создал первую коммунистическую группу из японских рабочих в США, участвовал в организации Компартии США (1919). В 1922 г. под его руководством из отдельных коммунистических групп была образована КПЯ.

** Статья «С товарищем Лениным» печатается по изд.: О Ленине. М.: Политиздат, 1962.

*** Речь идет о заседании IX Всероссийского съезда Советов 25 декабря 1921 г. — *Ред.*

Товарищ Ленин говорил приблизительно около трех часов, не обнаруживая никаких признаков усталости, почти не меняя интонации, неуклонно развивая свою мысль, излагая аргумент за аргументом, и вся аудитория, казалось, ловила, затаив дыхание, каждое сказанное им слово. Товарищ Ленин не прибегал ни к риторической напыщенности, ни к каким-либо жестам, но он обладал чрезвычайным обаянием; когда он начал говорить, наступила совершенная тишина, все глаза были устремлены на него. Товарищ Ленин окидывал взглядом всю аудиторию, как будто гипнотизировал ее. Ни один человек не шелухнулся и не кашлянул в продолжение этих часов. Товарищ Ленин — величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни. Когда он кончил свою речь, все встали, опять стали аплодировать и спели «Интернационал». Так закончилось это заседание IX Всероссийского съезда Советов.

После этого заседания я был принят товарищем Лениным...

II

Вторично я встретился с товарищем Лениным во время I съезда революционных организаций Дальнего Востока в январе 1922 года. Съезд состоял из представителей Китая, Японии, Индонезии и Монголии. Всего было 125 человек. Съезд просил товарища Ленина присутствовать и дать свои указания. Товарищ Ленин, не имевший возможности из-за состояния здоровья исполнить просьбу съезда, пригласил к себе представителей съезда.

В тот вечер мы, выбранные съездом делегаты, отправились в Кремль. Нас провели в его рабочий кабинет. Это была большая комната, просто, но хорошо обставленная. Когда мы вошли, увидели на правой стене несколько картин; с левой стороны стояли два больших книжных шкафа. Посреди комнаты большой стол и удобное кресло Ленина. Вокруг большого стола стояло много стульев для посетителей.

Несколько минут мы ждали прихода товарища Ленина. Никто из делегатов, кроме меня, никогда не видел прежде товарища Ленина. Войдя в комнату, он пожал руку каждому из нас, глубоко уселся в кресло и начал разговаривать с делегатами разных стран поочередно.

Товарищ Ленин обсуждал с каждой делегацией специальные вопросы ее страны, а также вопросы, касающиеся всего Дальнего Востока. Он подчеркивал необходимость объединить революционные силы всех стран, представленных на съезде. Конечно, в разговоре фигурировал и вопрос о едином фронте; товарищ Ленин

убеждал в необходимости объединения революционных рабочих дальневосточных стран и сказал, глядя на меня:

— Вы защищали единый фронт в дальневосточных странах.

Должно быть, он читал мою статью, в которой я утверждал, что корейские и японские рабочие должны образовать единый фронт против японского империализма, который одинаково угнетает и эксплуатирует рабочих обеих стран.

В этот вечер товарищ Ленин был в прекрасном настроении и выглядел очень хорошо. Он совершенно свободно говорил по-английски и был очень внимателен к каждому, кто с ним говорил, а также очень-очень хорошо умел слушать... Мы все чувствовали себя совершенно как дома. Он — настоящий мастер беседы и заинтересовал всех нас тем, о чем говорил. Товарищ Ленин дал много полезных указаний и советов каждой делегации в этой краткой, но очень важной беседе с членами съезда. Когда мы собирались прощаться с товарищем Лениным, он пожал руку каждому из нас. Я был самым последним, кто с ним сердечно простился, и благодаря этому мне удалось обменяться несколькими словами с товарищем Лениным.

— Я слышал, что вы покидаете Москву и уезжаете в деревню, чтобы отдохнуть?

Товарищ Ленин сказал:

— Да.

— Я бы хотел, чтобы вы спокойно отдохнули и вернулись в лучшем состоянии здоровья! — сказал я. Товарищ Ленин ответил:

— Я должен хорошо отдохнуть, я должен работать — все мы должны работать.

Мы тепло пожали друг другу руки и расстались.

III

В третий и последний раз я пожал руку товарищу Ленину во время IV конгресса Коминтерна, точнее — 13 ноября 1922 года. Как известно, темой его доклада было: «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции».

Большой Андреевский зал переполнен. Появление Ленина ожидается с напряженным вниманием. Когда вождь русской революции и мирового пролетариата появился в зале, его встретили восторженными овациями и нескончаемыми возгласами. Присутствующие встали, чтобы приветствовать товарища Ленина. Делегаты пропели «Интернационал».

Когда товарищ Ленин взошел на трибуну, он пожал руку каждому из членов президиума. Я почувствовал, что его рука не такая,

какой она была прежде; я вспомнил, что он долго болел после ранения и все же пришел приветствовать конгресс.

Когда он начал говорить, он казался вполне здоровым, его речь была почти такой же, как и в декабре прошлого года в Большом театре. Он говорил по-немецки, несколько раз смотрел на часы, стараясь закончить выступление в течение часа. Излишне говорить здесь о содержании его речи. Я только скажу, что все присутствующие слушали его с чрезвычайным вниманием при полной тишине.

Когда он кончил, весь зал стал громко аплодировать. Он сел и в течение нескольких минут вел разговор с членами президиума. Затем покинул зал. Вся аудитория стояла, пока он не вышел из зала.

...Для меня было величайшим счастьем встретиться с Лениным.

Н. КОЧА*

Ленин**

Ночь с 25 на 26 октября 1917 года.

На ведущих к Зимнему улицах с 4 часов дня не утихала пулеметная и ружейная стрельба. Около полуночи в Петрограде прогремел первый орудийный выстрел. Временное правительство капитулировало. Керенский был вынужден бежать. Революционный пролетариат одержал полную и безусловную победу.

В час ночи большой зал Советов ломился от народа. Ораторы сменяли друг друга на красной трибуне. Охрипшие и возбужденные, пламенно жестикулируя, они провозглашали победу революции. Непрерывный гул, неумолчный, как морской прибой, наполнял огромный зал. То и дело распахивались двери. Входили вооруженные рабочие с горящими глазами, с потемневшими от порохового дыма лицами, растерянно оглядывались по сторонам и в изнеможении падали в кресла. То и дело потрясающие вести. Сдался почтамт. Окружены кадетские казармы. Еще один полк сложил оружие. Пал Арсенал. Каждое известие сопровождалось

* *Николае Димитру Коча* (1880–1949) — румынский писатель и публицист. Принимал участие в кружке «Рабочая Румыния». Сотрудничал в социалистической прессе. В октябрьские дни 1917 г. Н.-Д. Коча находился в Петрограде.

** Воспоминания Коча написаны в 1919 г., на русском языке были опубликованы в журнале «Дружба народов», 1967, № 10.

оглушительными приветственными криками, и в зале вспыхивал «Интернационал». На трибуне продолжали сменяться ораторы. Но зал кипел от гула криков.

Вдруг воцарилась мертвая тишина. Все как загнипнотизированные обратили свои взоры в одну точку. К трибуне мелкими шагами шел невысокий, лысый, строго одетый человек средних лет, держа под мышкой пачку бумаг. Положив бумаги на стол, он перелистал их и, бросив на толпу короткий острый взгляд, в котором, казалось, искрилась улыбка, принялся читать.

Читал уверенно, спокойно и ровно, как лекцию в университете. Читал, и на лице его не вздрагивал ни один мускул, не отражалось ни одно из чудовищных потрясений этого дня, читал грозные декреты, провозглашавшие впервые в истории экономическое и социальное равенство между людьми, декреты, которые отнимали землю у помещика, обобществляли промышленность, дома, имущество, все, не оставляя камня на камне от всех устоев прошлого. Зал молчал, словно оцепенев. Ни одного хлопка, ни одного возгласа одобрения или протеста, никаких споров. Только руки взлетали вверх после каждого параграфа, утверждая с молниеносной быстротой основополагающие законы самой глубокой социальной революции.

Чтение продолжалось ровно один час тридцать пять минут.

А когда наступила очередь последнего параграфа, того самого, что одной фразой венчал все свершения мира и социализма, великой революционной ночи, Ленин, отложив смешавшиеся листки, тоже поднял руку, проголосовал и опустил широкую тяжелую ладонь, как нож гильотины, на все привилегии прошлого.

А. КУРЕЛЛА*

«Вы, собственно, кто по профессии, товарищ?»** (Воспоминания)

Многим людям в мире известна эта картина: большое белое здание с зеленым куполом, над которым развевается красный флаг, полированный гранит Мавзолея, ряд темных пихт, а между Мавзолеем и куполом — старая кирпичная стена с высокими зубцами, напоминающими хвост ласточки.

На этой стене, между двумя высокими зубцами 1 мая 1919 года стоял молодой немецкий коммунист и смотрел вниз, на Красную площадь...

Только что состоялся небольшой парад войск. Солдаты в далеко не парадной, пестрой форме стояли, выстроившись в каре, справа от оригинального по своей архитектуре собора Василия Блаженного. Другая часть солдат образовала цепь на Красной площади. За ними виднелась большая толпа людей. Все стояли, тесно прижавшись друг к другу. Вся Москва пришла сюда на майский праздник. И к этим людям был обращен голос вождя, на которого смотрели тысячи пар глаз со всех сторон площади***.

И вот речь окончена. Двумя энергичными жестами подкрепил оратор последние слова, встреченные громкими криками медленно колыхавшейся толпы.

Человек на трибуне собирался сойти по ступенькам лестницы. Из широко раскрытых ворот башни с большими часами выехал скромный автомобиль. Возгласы несколько затихли, и стали слышны звуки «Интернационала», исполнявшегося небольшим оркестром.

И вдруг произошло нечто непредвиденное. Когда этот среднего роста человек сошел с трибуны, к которой подъехал автомобиль, толпа прорвала слабый кордон.

Увлекая за собой солдат, которые были охвачены тем же желанием, что и их братья в рабочих блузах, толпа, запрудившая всю площадь, устремилась к человеку, подходившему к автомобилю.

* *Альфред Курелла* (1895–1975) — видный деятель германского и международного коммунистического движения, писатель, переводчик. В 1919 г. и последующие годы встречался с Лениным как секретарь Исполкома КИМ.

** Воспоминания написаны в 1957 г.

*** В. И. Ленин 1 мая 1919 г. выступал на Красной площади трижды. — *Ред.*

Человеческий поток все теснее и плотнее, концентрическими кругами обступал этого человека.

Человек в медленно продвигавшейся вперед машине встал. Держа в руке кепку, он приветствовал людей. В ответ поднялся лес рук. Все отчетливее и громче доносилось из окружившей его массы людей: «Ленин!.. Ленин!.. Ленин!..».

Все стоявшие на площади — старые и молодые, военные и гражданские — слились в пестрой толпе в одно целое. Масса людей медленно перемещалась к башне с часами, продолжая крутиться вокруг одной точки, ставшей центром этого водоворота. Затем большие ворота пропустили автомобиль, и народом сразу же овладело спокойствие. Толпа, лишенная центра притяжения, рассыпалась, постепенно раскололась на небольшие группки. Вновь вставшие в строй солдаты покидали площадь...

Навсегда, неизгладимо, со всеми подробностями осталась в моей памяти эта картина, которую в тот день видел, вероятно, только один я, молодой немецкий коммунист, чья заветная мечта побывать в столице революции исполнилась лишь десять дней тому назад. И как бесконечно много пережил я за эти дни!

Да, я жил в Москве, в Кремле, я сразу же очутился в центре преобразующего мир движения. Ежедневно в столовой Совета Народных Комиссаров я встречался с людьми, которых знал по газетам как руководителей этого движения. Всего лишь несколько дней назад я сидел в комнате у вождя революции Ленина и больше часа разговаривал с ним один на один. И все это происходило после продолжавшейся несколько недель полной приключений поездки через границы, в обход занятых деревень и, наконец, через фронты, когда не раз жизнь была в опасности. Все это было достаточным основанием для того, чтобы заставить молодого человека смотреть на мир иными глазами.

Предшествующие месяцы были месяцами тяжелых боев. На первый взгляд, они окончились для нас (немецких революционеров. — *Ред.*) поражением. Но из этих боев вышла Коммунистическая партия Германии. Мы знали, что это означало для германского и международного рабочего движения, и понимали, что этой победой, возместившей все поражения последних месяцев, мы в немалой степени обязаны Ленину, так как он дал нам лозунг, который позволил вести борьбу не только путем агитации и пропаганды, но и с оружием в руках. Этим лозунгом был лозунг диктатуры пролетариата.

Надо перенестись в то время, чтобы уяснить, что тогда значила постановка на обсуждение такого «абстрактного» и «чисто теоретического» понятия, как диктатура пролетариата, которая

к тому же находилась в резком противоречии с господствовавшими в то время не только в прогрессивных кругах, но и в рабочем движении либеральными взглядами. «Диктатура пролетариата!» Нужно было не только превратить этот лозунг в объект споров, но и сделать его целью борьбы. Это действительно так и произошло. Весь горячий спор внутри рабочего класса о направлении и целях революции был определен этими двумя словами. Нашим арсеналом, из которого мы брали оружие для борьбы за диктатуру пролетариата, стала ленинская работа «Государство и революция».

Эта маленькая, но богатая по содержанию работа была нелегально привезена летом 1918 г. из Швейцарии в Германию. В группах и кружках подпольного молодежного движения мы тогда много читали, изучали и думали, что уже кое-что понимаем в учении Маркса, но эта книга была для нас чем-то новым. Я хорошо помню первое впечатление от нее. Откровенно говоря, я был несколько обескуражен: чего, собственно, хочет этот человек? (Думаю, что меня простят за это выражение, но так мы тогда думали. Ленин был для нас видным революционером, как теоретик он был одним из многих авторов, к которым мы должны были определить свое отношение.) Почему он, Ленин, считает, что читателю надо повторять одно и то же два, три, а то и большее количество раз? К чему это топтание на одном и том же месте? Но я продолжал читать: перечитал книгу второй раз. И вдруг понял, что эта книга дала мне аргументы для ответа на все важнейшие вопросы, которые ставила современность. Ход истории и борьба трудящихся масс превратили вопрос о государственной власти в Германии в жгучую практическую проблему повседневной политики.

Старое руководство государством было свергнуто, что же теперь надо делать? Что представляло из себя это государство, чем была государственная машина? Что должно было произойти с ней? И обязательно каждое размышление, каждый диспут по всем этим актуальным вопросам приводили к диктатуре пролетариата. Здесь проходила линия размежевания. От положительного или отрицательного ответа на вопрос, действительно ли был нужен целый период революционного преобразования капиталистического общества в социалистическое и в связи с этим также и соответствующая форма государства, зависело каждое дальнейшее решение. В бурных спорах по этому вопросу, в оживленных дискуссиях, которые охватили самую широкую рабочую общественность, проявилось все внутреннее богатство ленинского решения этой проблемы. Мы научились тогда, даже сами этого не замечая, совершенно по-иному мыслить.

Кроме этого первого введения в материалистическую диалектику творческое изучение ленинской работы «Государство и революция» дало нам и нечто другое: эта книга по-настоящему познакомила нас с Марксом. Это не значит, что мы ранее не читали Маркса и Энгельса. Но картина, создававшаяся у нас после чтения, была отрывочной и неполной. Отдельные части их учения в нашем представлении не имели никакой внутренней связи, и прежде всего было трудно взять из марксизма, каким мы его раньше знали, прямые указания и аргументы для решения практических проблем, которые ставила перед нами история. То, что Ленин показал международному рабочему движению Маркса и Энгельса во всей полноте их гениальной мысли, то, что он открыл для нас марксизм как большую, всеобъемлющую систему теоретических и практических знаний, было одной из его величайших заслуг перед историей человечества.

Первая встреча и знакомство с миром мыслей Ленина были уже позади, когда весной 1919 года мне выпало счастье поехать с партийным поручением в Москву. Сразу же по приезде я познакомился с Лениным и быстро включился в работу, которая на долгое время ввела меня непосредственно в сферу деятельности Ленина, вождя Коммунистического Интернационала.

В Москву я прибыл 20 апреля 1919 года. Через несколько дней мне сообщили, что со мной желает говорить Ленин. Это приглашение было для меня несколько неожиданным, но я догадывался, что послужило поводом к нему. В то время, когда я находился в пути (а мое тяжелое путешествие продолжалось целый месяц), в Баварии была создана Советская республика. Связь Москвы с внешним миром в то время была слабой. Очевидно, Ленину сообщили, что прибыл курьер Центрального Комитета Коммунистической партии Германии. Этот человек из Мюнхена, где он руководил организацией коммунистической молодежи, был живым источником дополнительной информации для лучшего понимания того, что там произошло. И действительно, эта первая, продолжавшаяся более часа беседа заключалась в основном в том, что Ленин пытался почерпнуть из этого «источника» все, что было возможно. Но, как оказалось, от меня нельзя было получить слишком много.

Я жил в Кремле, и поэтому, когда за мной зашли, далеко идти не пришлось. Ленин встал из-за письменного стола, когда я вошел в небольшую, но очень светлую комнату правительственного здания, которая позже стала широко известной по многочисленным фотографиям и картинам. Мы сели за маленький столик в углу комнаты, Ленин — на стоявший у стены диван. Стол стоял так, что мы могли хорошо видеть друг друга. Ленин то откидывался

в угол дивана, положив левую руку на спинку, то нагибался вперед, опустив руки на колени и держа голову несколько набок. Когда он задавал важный вопрос, то садился прямо на край дивана, опустив слегка плечи и искоса поглядывая на меня, пока я долго отвечал на вопрос. И вообще я постоянно чувствовал его взгляд на себе, внимательный, испытующий, которым он, кажется, мог прочесть мысли, так как часто дополнительные вопросы Ленина касались того, о чем я только еще собирался сказать.

Что же касается меня, то наивная самоуверенность, с которой я пришел к Ленину, стала все больше и больше сменяться смущением. Не потому, что Ленин как-то хотел дать мне почувствовать свой авторитет; наоборот, он сразу заметил мое смущение и подчеркнул равноправный характер нашего разговора. Но это делало меня только еще более неуверенным. То, что сам Ленин знал о Мюнхене, о событиях в Баварии и о политическом положении в Германии, то, что он надеялся дополнительно узнать от меня, далеко выходило за пределы моих знаний и моего опыта.

Особенно удивлен я был уже в начале нашего разговора, когда Ленин спросил меня о специфических мюнхенских вещах. Ему были известны не только «Английский сад» с Моноптерусом и Китайской башней, но и Аумейстер и Унгерербад. (Тогда я еще не знал, что Ленин ранее был в Мюнхене.)* Он очень хорошо знал крупные предприятия этого города, из которых мне были известны только важнейшие; он знал о положении дел с кадрами в баварской социал-демократии, о чем я был осведомлен только в самых общих чертах. Ответы, которые я давал, были далеко не полными, а говоря о влиянии Коммунистической партии среди молодежи, я несколько преувеличивал его. Это Ленин сразу же почувствовал и с добродушной иронией поправил меня. Во время разговора мне все яснее и яснее становилось, сколько должен знать настоящий коммунист и партийный вождь и как мало мы (я судил по большинству моих тогдашних мюнхенских коллег по партии) знали о принципиальных и важных вещах.

Однако мне казалось, что все, о чем я мог сообщить, — характеристики различных деятелей мюнхенских левых, короткие рассказы о них — имело значение для Ленина. Он слушал, то одобрительно улыбаясь, то серьезно кивая головой. Но я был совершенно беспомощен в вопросе, который, очевидно, очень интересовал Ленина, — в вопросе о политических настроениях среди баварских крестьян и о влиянии нашей партии на них. Ле-

* В. И. Ленин жил в Мюнхене, где издавалась «Искра», с середины августа 1900 по март 1902 г. — *Ред.*

нин затронул его, когда я уже успел о многом сообщить. При первых моих словах о «левых течениях» и «растущем влиянии» он удивленно посмотрел на меня. Его брови поднимались все выше и выше, когда я начал рассказывать о «крестьянских советах», а когда же я упомянул один крестьянский совет в Розенхайме, он прервал мой рассказ: «Розенхайм? Это не у железной дороги на Куфштайн? Но это же город!..»

Я попытался несколько исправить мою информацию, но Ленин сразу же задал мне вопрос: «Вы, собственно, кто по профессии, товарищ?» — и сразу же после моего, правда не совсем соответствующего истине, ответа «студент» он возгласом «ах, так!» прервал расспросы о положении баварских крестьян. Ленин расспросил меня, где я остановился, как я обеспечен, какие у меня планы и могу ли я, если вскоре мне придется выехать, захватить с собой письмо в Баварию. Наша беседа имела своей целью дать дополнительный материал к тому, что Ленин уже собрал для «Письма к баварским рабочим»*. Я очень лаконично ответил на все эти вопросы и вскоре же распрощался с Лениным.

Этот не очень славный конец моей первой беседы с Лениным долго не выходил у меня из головы. Вначале я не видел связи между моим знанием крестьянского вопроса в Баварии и моей профессией и социальным происхождением. Только позднее, в течение многих лет приобретая опыт, я понял, как сильно социальное происхождение человека влияет на кругозор и тем самым на субъективные предпосылки для его умозаключений. Ведь речь идет о комплексе собственных переживаний, наблюдений и суждений в социально определенной и ограниченной среде, под влиянием которой в юношеские годы вырабатываются рефлексy и ассоциации индивидуума, та социально определенная окраска, которую получает образ мышления человека в детские и юношеские годы и которая дает о себе знать до глубокой старости. Жизненный опыт помог мне позднее понять, почему в Российской коммунистической партии, а затем и во всем Советском Союзе обращали внимание не только на общественное положение и профессиональную деятельность в настоящее время, но и на социальное происхождение человека, о взглядах и характере которого хотели знать как можно больше. Когда Ленин дал мне понять, что от немецкого студента он не ожидал хорошего знания аграрного вопроса в Баварии, я не сразу разобрался в том, что этим самым совершенно не было высказано принципиальное суждение о «студентах», что ни в коей

* Автор, вероятно, имеет в виду «Приветствие Баварской Советской республики». — *Ред.*

мере не шла речь о том увриеризме* [, о той интеллектуальной вражде, которая, как типичный спутник тред-юнионизма, продолжительное время делала в германском рабочем движении свое дело. Сомнение, зародившееся во мне после ленинского возгласа «ах, так!», заставляло меня постоянно возвращаться к вопросу о рабочем движении и интеллигенции до тех пор, пока я не нашел в гениальной работе Ленина «Что делать?» ключ для его правильного решения.

За первой встречей с Лениным последовала в том же 1919 г. вторая встреча, которая, однако, носила совершенно иной характер.

Еще в мае по инициативе Ленина была создана комиссия, которая должна была изучить положение в международном социалистическом молодежном движении и проверить возможность воссоздания молодежного Интернационала. Я был избран членом этой комиссии. Документы, которые появились в результате нашей работы, несколько раз докладывались Ленину и вернулись к нам с его замечаниями. В конце мая Исполнительный комитет незадолго перед этим созданного III, Коммунистического Интернационала издал воззвание, в основе которого лежало важнейшее ленинское указание по вопросу о международном социалистическом движении молодежи. В воззвании предлагалось объединить все существующие социалистические организации и организации рабочей молодежи, стоявшие в своем подавляющем большинстве в период войны на революционных позициях, в один Коммунистический Интернационал молодежи. Венгерский союз, представители которого в это время также были в Москве, взял на себя приглашение всех организаций на назначенную на середину августа встречу. Российский Коммунистический Союз Молодежи послал на нее двух своих делегатов. Наш отъезд был назначен на конец июля. Направлялись мы в Вену различными путями, так чтобы хоть один из нас смог доехать. Перед этим мы были еще не раз приглашены к Ленину.

И на этот раз разговор начался с многочисленных вопросов. То обстоятельство, что Ленин хорошо разбирался в этой области, не очень удивило меня. Я знал, насколько обстоятельно в Швейцарии в годы эмиграции он занимался проблемами молодежного движения. Мы должны были рассказать, как представляем себе нашу задачу. Ленин внес много поправок. Мы очень просто смотрели на вещи из-за своей юношеской наивности и надежды на то, что в документах комиссии есть замечательные тезисы по всем

* Увриеризм — воспитание у рабочего класса враждебного отношения к интеллигенции. — *Ред.*

вопросам. На прощание мы получили еще один небольшой урок по политической тактике.

Самой существенной стратегической задачей, как и прежде, была мобилизация возможно больших сил вокруг ясной, бескомпромиссной революционной программы, основой которой было признание диктатуры пролетариата. И здесь, в молодежном движении, признание классовой борьбы было тем принципиальным вопросом, на который можно было ответить только «да» или «нет». Но Ленин сразу же предупредил нас, что одно лишь признание этого теоретического пункта программы участниками движения не является решающим критерием для определения действительной политической позиции. Он особенно обратил наше внимание на ту позицию, которую, вероятно, займут австрийские марксисты. В молодежном движении они были представлены организацией австрийской социалистической молодежи. Они будут готовы идти на всевозможные уступки по чисто теоретическим вопросам, с тем чтобы избежать решения практических вопросов движения и сохранить за собой свободу действия.

Ленин предложил нам включить в проект программы не только признание III, Коммунистического Интернационала, но и положение о том, что новый Интернационал молодежи должен вступить на правах секции в Коминтерн. Во время предварительных переговоров, состоявшихся сразу же после этого, в августе 1919 года, в Вене, стало ясно, насколько важным было это указание. Действительно, «венцы» во главе с Даннебергом были готовы, как говорят, «проглотить» диктатуру пролетариата, но они упорно сопротивлялись признанию III Интернационала, предпочитая лучше идти на раскол, что и привело их в ходе дальнейших событий в болото социал-демократического оппортунизма.

На учредительном конгрессе Коммунистического Интернационала молодежи нам пришлось много сделать, чтобы выполнить поручение Ленина. Даже среди некоторых коммунистических молодежных союзов были мнения и настроения, направленные против руководства молодежью со стороны коммунистической партии.

Через полтора года я вновь увидел Ленина. В конце февраля 1921 года я как член комиссии находившегося в Берлине Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала молодежи выехал в Москву для ведения политических переговоров. Речь вновь шла о той же проблеме, на которую обратил наше внимание Ленин еще летом 1919 года. Обсуждался вопрос о том, должен ли был руководящий состав Интернационала молодежи переехать из Берлина в Москву, где находился Исполнительный комитет Коминтерна. Ленин не участвовал в переговорах. Но мне представилась возможность

в качестве гостя присутствовать на X съезде РКП(б), проходившем в Свердловском зале в Кремле, где я слушал отчет Ленина о деятельности ЦК и часть прений, во время которых обсуждались важнейшие вопросы (о продовольственном налоге, о единстве партии)*.

Летом 1921 года II конгресс Коммунистического Интернационала молодежи в Москве после продолжительных и бурных дебатов принял решение о переводе Исполнительного комитета в Москву.

Уже на III конгрессе Коминтерна, который предшествовал нашему конгрессу и в котором мы приняли участие, но чаще всего в последующие годы, когда я, являясь секретарем Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала молодежи, с небольшим перерывом жил в Москве, неоднократно имел личный контакт с Лениным. Это происходило прежде всего на заседаниях комиссий, где я переводил несколько раз выступления Ленина на немецкий и французский языки, или на заседаниях Президиума Коминтерна, в которых принимал участие Ленин. Подробности этих встреч не сохранились в моей памяти. Но каждая дискуссия, во время которой я слышал, как Ленин излагает свою точку зрения, давала очень много для моего политического развития.

К. КЮЛЯВКОВ**

Мое самое светлое воспоминание***

В 1921 году в Москве состоялся III конгресс Коминтерна****. Болгарская делегация возглавлялась товарищами Георгием Димитровым и Василом Коларовым... Как член нашей делегации, я имел большое счастье не только видеть великого Ленина, но и разговаривать с ним и рисовать его с натуры.

Открытие конгресса состоялось в Большом театре. Гостиница, в которой остановилась наша делегация, была недалеко от театра,

* X съезд РКП(б) проходил в Москве 8–16 марта 1921 г. — *Ред.*

** Крум Кюлявков (1893–1955) — болгарский писатель, участник революционного движения, член болгарской компартии с 1918. Делегат III конгресса Коминтерна в Москве (1921). В 1928–1940 гг. жил в СССР, в частности на территории Украины (преимущественно в Харькове). Переводил Т. Шевченко. Заслуженный деятель культуры (1953).

*** «Мое самое светлое воспоминание» написано в 1952 Печатается по изд.: О Ленине. Воспоминание зарубежных современников. М.: Политиздат, 1966.

**** III конгресс Коминтерна проходил в Москве 22 июня — 12 июля 1921 г. — *Ред.*

и в назначенное время мы отправились на конгресс пешком. Выйдя на площадь, мы заметили, что за нами следом идет довольно большая группа детей. Чем мы заслужили такое внимание? Скоро все стало ясно. Последними шли я и Пенчо Дворянов. Дети не спускали глаз именно с Пенчо. Оказалось, что их любопытство было вызвано оригинальным покроем его шаровар.

После окончания торжественной части на сцене появился Шаляпин в сопровождении пианиста, который был ему едва по пояс, — от этого фигура Шаляпина казалась еще больше. Шаляпин спел несколько песен и закончил выступление «Дубинушкой». Зал гремел бурными аплодисментами, когда он вместо припева «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет!» запел:

Эх, дубинушка, ухнем!

Эх, советская, сама пойдет!..

На другой день начались рабочие заседания конгресса. В зале, где он проходил, впервые встретились делегаты разных стран, до того знавшие друг друга только по именам. Советские товарищи отнеслись к иностранным делегатам с большим интересом. В свободное время, в перерывах между заседаниями, они подсаживались к нам или же вместе с нами прогуливались в кулуарах, ведя оживленные разговоры. Но еще большим был интерес иностранных делегатов к крупным деятелям и героям Октябрьской революции. Здесь были люди, имена которых — и в первую очередь имя Ленина — прогремели на весь мир.

Ленина на конгрессе все еще не было. Он пришел, если не ошибаюсь, только на восьмое заседание. При его появлении зал грохотал от аплодисментов и оваций. Все делегаты стоя, с энтузиазмом приветствовали великого учителя и вождя, гения революции, который озарил человечество ярким светом своей глубокой марксистской мысли. Скромный и спокойный, он сразу же сел за стол и деловито стал рыться в своей папке, наклонив голову и уже не поднимая ее, — казалось, он хотел сказать: давайте оставим это, есть дела и поважней.

В это время с трибуны говорили итальянские делегаты. В их делегации были не только коммунисты, безоговорочно присоединившиеся к программе III Интернационала и которыми здесь руководил Дженнари*, но и последователи Серрати**, представи-

* *Дженнари Эджидио* (1876–1942) — итальянский коммунист, один из основателей ИКП (1921), профессор математики. Неоднократно избирался членом Исполкома Коминтерна.

** *Серрати Джачинто Менотти* (1872–1926) — видный представитель итальянского социалистического движения. Его реформистские ошибки подверглись резкой критике В. И. Ленина. В 1924 г. Серрати со своей

телем которых был Лаццари. Серратисты не соглашались с некоторыми пунктами программы III Интернационала. Чтобы убедить их в правоте этой программы и помочь Итальянской Компартии ликвидировать кризис, в Италию был послан в 1920 году Христо Кабакчиев*. Вот почему все стремились услышать, что сейчас скажет представитель серратистов, который только начал свое выступление, когда вошел Ленин.

Уже пожилой человек, оратор старой школы, Лаццари говорил темпераментно, преувеличенно жестикулируя и оборачиваясь во все стороны. Когда он закончил, все приготовились слушать перевод. Сейчас вы надеваете наушники и втыкаете вилку в ту розетку, над которой стоит надпись на вашем родном языке или языке, перевод на который вы хотели бы слушать. Тогда же перевод делался так: после окончания речи переводчики расходились по четырем углам зала и там переводили речь на русский, французский, немецкий и английский языки. Каждый отправлялся в тот или иной угол, в зависимости от того, какой язык он понимал.

Мы, естественно, отправились в угол, где давался русский перевод. Переводил, кажется, Луначарский... Заслушавшись переводом, я не заметил, как кто-то стал рядом со мной, плотно прижавшись к моему левому плечу. Оборачиваюсь — Ленин! Казалось, мое плечо обдало жаром. Какое счастье! Я всматривался в его лицо, которое было совсем близко от моего, чувствовал его дыхание, вглядывался в цвет лица и волос, стараюсь запомнить все как можно лучше...

Ленин продолжал слушать, время от времени что-то пометая в своей записной книжке. Лицо его теперь было спокойно, искренне и добродушно. Я продолжал его разглядывать и думал: какая человечность исходит от него! Гений, который настолько же велик, насколько прост и прекрасен. Так прост и мил, с такой обаятельной силой тебя притягивает, что ты не можешь глаз от него оторвать.

Когда переводчик закончил и делегаты стали расходиться и усаживаться, Ленин внезапно обернулся ко мне:

— А вы почему так загляделись на меня, товарищ?

— Извините, товарищ Ленин, — ответил я, немного смущенный этим неожиданным обращением, — но я художник. Наверно, буду когда-нибудь вас рисовать.

группой вступил в Коммунистическую партию Италии и активно работал в ее рядах до конца жизни.

* Кабакчиев Христо Стефанов (1878–1940) — видный деятель болгарского и международного рабочего движения. В 1921 г. как представитель Исполкома Коминтерна выступал с докладом на съезде Итальянской социалистической партии в Ливорно и участвовал в основании Итальянской Коммунистической партии.

- Ах, вы, значит, художник? А откуда вы?
- Из Болгарии.
- А много там наших художников?
- Да, есть.

Здесь в смущении я, понятно, немного преувеличил. Тогда в Болгарии наших художников-коммунистов можно было пере-
честь по пальцам. Но все же они были.

Около нас собралось несколько человек — репортеры и художники. Они, как и я, жадно и с любопытством внимательно вглядывались в лицо Ленина.

— Товарищ Ленин, уделите нам немного времени, — попросил кто-то.

Ленин посмотрел на нас, захватил пальцами свою жилетку и кивнул головой.

— Ну, ну... Пойдемте.

Мы последовали за ним. В одной маленькой комнате было только несколько делегатов. Ленин сел на стул и, вынув блокнот из кармана, обменялся несколькими словами с одним журналистом, французом. Рисовали мы его три или четыре минуты — точно не помню. Кто-то сказал, что его зовут к телефону. Он ушел и больше уже не вернулся. К тому же перерыв закончился и начиналось заседание.

Первым слово получил Дженнари. Когда он кончил, Ленин поднялся на трибуну. Он отвечал Лаццари. И даже не отвечал, а скорее спрашивал. Вопросы сыпались один за другим, как пули из пулеметной ленты. Лаццари все чаще и чаще вынимал свой носовой платок и вытирал взмокшую шею. Теперь Ленин был уже совершенно другим. Его лицо было напряженно, вдохновенно, целеустремленно.

Другой раз мы были свидетелями интересной сцены. Ленин вошел и сразу же отправился к столу президиума. Но слова оратора, говорившего в то время, показались ему столь интересными, что он, не тратя времени на то, чтобы обойти колонну и попасть в президиум, присел на нижнюю ступеньку возвышения (на котором находился президиум) и быстро стал что-то записывать в свой блокнот. Этот интересный момент заснял много фотографов, многие художники сделали наброски. Одним из самых деятельных художников, сделавших тогда много рисунков, был Бродский.

Глубоко взрзался мне в память и другой случай.

Время, когда мы находились в России, было тревожным. Врангель еще не был сброшен в море. То тут, то там вспыхивал очаг контрреволюции. Москва выглядела безлюдной, потому что люди были на фронте, на ответственных участках по всей необъятной стране,

которым угрожала опасность. Москва была начеку. Студенческие общежития тогда напоминали казармы. Часто среди ночи студенты брались за винтовки, и из окон нашей гостиницы я слышал топот их ног, затихавший где-то в направлении Кузнецкого моста.

Из-за нехватки рабочих рук в то время возникли так называемые «субботники». Каждую субботу свободные граждане отправлялись на работу (нечто подобное трудовым дням у нас), бесплатно помогая молодому пролетарскому государству справиться с трудностями.

Делегаты конгресса также захотели принять участие в этих субботниках. И в одну из суббот, построившись в колонны, с песнями и маршами, мы отправились к указанному нам объекту. Это был Александровский вокзал*, где нужно было выгрузить из вагонов и рассортировать балки.

Мы прибыли на вокзал. Перед нами стояли длинные вереницы вагонов, груженных балками и другими материалами, — целые товарные составы, разгружать которые было некому. Распределившись по два человека на вагон, мы должны были сгрузить балки из вагонов, а затем сложить их в штабеля.

Разгрузка одного из таких вагонов досталась мне и товарищу Георгию Димитрову. Работа началась. Снимаем балки и осторожно кладем их в сторону. Вначале все шло хорошо: мы одновременно подхватывали балки и одновременно клали их на определенное место. Но к середине работы — уже когда вагон был почти наполовину разгружен — случилась небольшая неприятность. Одна из балок оказалась очень тяжелой. Товарищ Димитров, который был тогда в расцвете своих сил и был здоровее и сильнее меня, удержал балку, а я ее выпустил. Конец балки придавил мне ступню ноги, и я скорчился от боли. Удар был не очень сильным, но советские товарищи сразу же отправили меня в Кремлевскую больницу, где мне сделали компресс и уложили в постель.

Через несколько часов после этого ко мне подошла сестра, улыбнулась и сказала:

— А знаете, кто интересуется вами? Только что спрашивал Владимир Ильич. Он узнал, что один из иностранных делегатов ушибся при разгрузке балок на Александровском вокзале, и спрашивал о его здоровье.

Забывается ли такое? Очень трудно представить себе, как нашел Ленин время заниматься такими мелочами.

Эти отдельные моменты из жизни самой светлой личности в истории человечества глубоко врезались в мою память.

* Ныне Белорусский вокзал. — *Ред.*

Ю. ЛАТУККА***Ленин в подполье в Финляндии****

В последние дни сентября 1917 года в среде рабочих Петрограда и Москвы и вообще России большевики имели сильное влияние. Тысячами и десятками тысяч рабочие становились в ряды борющихся. Шансы Временного (второго коалиционного) правительства приостановить революционное движение трудящихся уменьшались изо дня в день.

Ставка Корнилова на контрреволюцию оказалась битой. Призыв «Вся власть Советам!» неся со всех уголков России. Даже из глухой провинции поступали сведения, что и здесь, среди беднейших и малоземельных крестьян, этот призыв спланирует их ряды, не говоря уже об армии, которая все более и более решительно становилась на революционный путь, — солдаты отказывались воевать и массами оставляли фронты.

Владимир Ильич Ленин по постановлению ЦК РСДРП(б) проживал в это время в Гельсингфорсе (Финляндия) у Ровио. Но так как из Гельсингфорса связь с Центральным Комитетом партии, находившимся в Петрограде, оказалась затруднительной, то явилась необходимость устроить Ленина где-нибудь поближе. Обратились ко мне. Я с радостью согласился дать ему приют у себя в Выборге.

В воскресенье 17 (30) сентября, в день, назначенный для приезда Владимира Ильича, я, встав рано утром и приведя комнату в надлежащий вид для приема дорогого гостя, пошел в город. Моя квартира находилась в рабочем квартале города, в так называемом Таликкала.

От радости, что мне предстоит принять вождя русского революционного пролетариата, я шагал легко и быстро.

«Привезти» Ленина из Гельсингфорса должен был тогдашний главный редактор местной рабочей газеты Хуттунен, на квартиру которого я и направился. Дверь открыли. Меня провели в комнату. «Где же Владимир Ильич? Дайте мне его увидеть поскорей». В ответ на мои слова Хуттунен сказал: «Пришел за ним? Сейчас увидишь, обожди минуточку», — и вышел.

* Юхо К. Латукка — финский журналист, член Социал-демократической партии Финляндии с 1904 г.. В 1917 г. — депутат Выборгского Совета. На его квартире скрывался В. И. Ленин в сентябре — начале октября 1917 г. перед возвращением в Петроград.

** Воспоминания «Ленин в подполье в Финляндии» печатаются по изд.: О Ленине. Воспоминания зарубежных современников. М.: Политиздат, 1962.

Немного погодя Хуттунен позвал меня, сказав, что тов. Иванов (Ильич получил паспорт на имя рабочего Сестрорецкого оружейного завода — Иванова) ждет меня на кухне. Владимир Ильич сидел у стола и завтракал. Я поздоровался. «Меня зовут Ивановым», — потихоньку сказал он мне, причем по его глазам можно было прочесть: «Не спутайте меня, Иванова, с кем-нибудь другим, которого разыскивает по всей России Керенский и его компания».

Побеседовав немного, мы с Хуттуненом отправились на собрание, а Ленин остался у него до вечера. И только вечером, забрав «багаж» (три кипы газет и кое-какой скарб) и наняв извозчика, мы отправились по направлению к моей квартире.

Комната и в особенности книжный шкаф и полка с большим количеством русской подпольной партийной литературы понравились Владимиру Ильичу. Получив утвердительный ответ на свой вопрос: «Значит, эту квартиру вы, товарищ, предоставляете мне?» — Ленин пожал мне руку и сказал: «Здесь я смогу хорошо поработать».

И действительно, в своем новом «рабочем кабинете» он работал. Рабочий день был распределен у него точно. Установлены были определенные часы, когда вставать утром, для обеда и ужина, для бесед и дневного отдыха. Только время, когда ложиться спать, не определялось: «Ну, это будет зависеть от продуктивности истекшего дня, чтобы не осталось чего-либо недоделанного, — сказал Ленин и тут же добавил: — Хотя мы и требуем для рабочих восьмичасового рабочего дня и даже шестичасового в некоторых отраслях, мы, как партийные работники, не считаемся со своим рабочим временем». И этот план Владимиром Ильичем выполнялся точно. Отступления от него допускались им только тогда, например, когда из Петрограда приезжали товарищи.

Уже в 7 часов утра Владимир Ильич сидел у письменного стола. Каждое утро, уходя на работу (я был сотрудником местной рабочей газеты «Тюэ» — «Труд»), я заглядывал к нему в комнату, так как Владимир Ильич просил никогда не уходить, не предупредив его. Он всегда справлялся, когда вернусь, просил сообщать новости и т. д. «Следите за телеграммами ПТА [Прим. — ПТА — Петроградское телеграфное агентство.], я боюсь и очень боюсь, как бы мы не прозевали момента. Ведь при вспышке революции мы должны быть на месте», — говорил он мне. И я давал обещания следить за телеграммами, исполняя его поручения.

Дни уходили. Мы очень подружились; беседовали, когда Владимир Ильич уставал от чтения или письма. Шутили иногда. Интересно и поучительно было слушать его рассказы про свою жизнь в эмиграции, при этом Ленин говорил: «Быть может,

и вам, товарищи (то есть финнам), придется еще в жизни своей жить в подполье или эмигрантами». И он, как это показали затем последовавшие в 1918 году события, не ошибся.

В моей памяти осталось несколько интересных эпизодов из жизни Владимира Ильича в моей квартире.

По газетам он усердно следил за событиями в России и в других странах. Почту с утренними петроградскими газетами (они получались в Выборге в 11 часов утра) он ожидал, как голодный обеда. Интересно было смотреть, как бегали его глаза по столбцам газет, ни одна малейшая заметка не ускользала от его глаз. «Нельзя ли достать газет крайне правых партий?» — спрашивал он, и приходилось доставать.

Особенно набрасывался Ленин на черносотенные газеты. Ведь они критиковали шаги Временного правительства и указывали на те силы, группировки, которые способны были на контрреволюцию. А это нужно было Владимиру Ильичу для его статей, которые он писал и которые мною отправлялись в Петроград.

Событиями местного характера Владимир Ильич также интересовался. Узнав, что я в качестве представителя ЦК выборгских рабочих организаций часто бываю в Выборгском Совете рабочих и солдатских депутатов, он дал мне задание выяснить отношение Выборгского гарнизона к большевикам на случай захвата последними власти в Петрограде. Эту задачу я легко выполнил благодаря товарищам Ракову и Половому, которые имели точные сведения о настроении квартировавших в Выборге полков.

Ленин давал ценные указания, как в дальнейшем вести работу среди армии. Впервые он также указал на необходимость тесной связи между русскими войсками и финскими рабочими организациями.

В Выборгский Совет часто приезжали докладчики. Во время пребывания Владимира Ильича в Выборге предполагалось, между прочим, выступление с докладом о текущем моменте эсерки Марии Спиридоновой. Узнав об этом, я сообщил Владимиру Ильичу. Но лучше было бы ему об этом не говорить, ибо Владимир Ильич тотчас же начал обсуждать вопрос, как ему поступить, чтобы присутствовать на данном докладе. И, несмотря на то что я указал ему на полную недопустимость такого шага, он настаивал на своем: «Прослушать Спиридонову сейчас, в данный момент, политически мне очень важно и полезно». — «Этого я не отрицаю, товарищ, — ответил я, — но по многим причинам вас нельзя устроить без риска быть захваченным агентами Временного правительства».

На счастье, у меня мелькнула мысль, с которой Ленин тотчас же согласился. Я обещал сам быть на докладе и взять с собой одного

товарища, знающего стенографию. «Полная проверенная стенограмма будет в ваших руках на другой же день после доклада», — сказал я Владимиру Ильичу. На следующий день было получено известие, что доклад Спиридоновой не состоится. Дома я передал это Владимиру Ильичу, и он успокоился и шутя разбирал вопрос, какая кара была бы для меня от партии в том случае, если бы я не удержал Ленина и он на докладе был бы арестован.

Когда стало ясно, что второе коалиционное правительство стоит накануне своего падения, Владимир Ильич попросил приносить ему и вечерние газеты.

С этой целью я бывал в городе и по вечерам. Не помню — 6 или 7 (19 или 20) октября я получил вечерние газеты, содержавшие официальное сообщение о смене кабинета. Владимир Ильич, узнав, что в новый состав правительства входят Гвоздев, Ливеровский, Кишкин и пр., глубоко вздохнул и сказал: «Значит, наконец последнее правительство Керенского сформировано». Хотелось ему сказать, что, следовательно, следующим будет правительство «т. Иванова», но все же не сказал.

В те же дни было получено из Москвы сообщение, что на выборах районных дум большевистский список собрал значительное количество голосов. В какой-то газете, хорошо не помню в какой, было сообщено еще, что из 17 тысяч солдат Московского гарнизона 14 тысяч отдали свои голоса большевистскому списку. «Я не понимаю, почему при таких обстоятельствах они не берут власти в свои руки?!» — вырвалось у Владимира Ильича.

Ленин жил революцией и сам бурлил, как революция.

Помню, что он два-три раза писал довольно длинные письма в Петроград товарищам, руководившим движением, в которых отмечал, что история никогда не простит нам, если мы не возьмем власть в свои руки теперь.

На одно свое письмо Владимир Ильич по каким-то техническим причинам не получил ответа. Тогда он написал новое письмо, где указывал, что он сам, без разрешения ЦК партии, выйдет из подполья и прибудет в Петроград руководить революционным движением пролетариата. И только приезд Шотмана помешал ему исполнить свое решение. Помню, каких трудов стоило Шотману уговорить Владимира Ильича остаться еще на неделю.

Ленин согласился, но Шотман должен был написать на клочке бумаги, что он, Шотман, от имени ЦК партии не разрешает самовольного приезда Ленина в Петроград. «А подпись? — заметил Владимир Ильич, — Поставьте и дату». Эту историческую бумажку я взял от Шотмана и сунул в ящик комода. Там она осталась после отъезда Владимира Ильича; после моего бегства, при власти

белых в Финляндии, она была сожжена моими родственниками из опасения репрессий со стороны белых.

В последнюю неделю пребывания Владимира Ильича у меня он с раннего утра до поздней ночи работал, готовился к назревающим событиям.

В субботу 7 (20) октября прибыл наконец долгожданный Эйно Рахья с поручением от ЦК партии доставить Ленина в Петроград. Времени не стали терять. Смастерили парик, сделавший нашего Владимира Ильича неузнаваемым — финским пастором.

При расставании я пожелал Владимиру Ильичу счастливого пути и успеха в разрешении политических вопросов, находившихся на порядке дня в России. «Следуйте нашему примеру», — был сердечный ответ Ленина, и они вышли. Сели на трамвай и скоро были на вокзале. Поезд в 2 часа 35 минут дня дал свисток — «Октябрьская революция» была на пути в Россию. На станции Райвола наши путешественники оставили площадку вагона; часа через два Владимир Ильич на тендере паровоза, на котором машинистом был Ялава, и Эйно Рахья в первом вагоне поезда приехали на станцию Ланская и сошли с поезда. Через 2 недели, 25 октября (7 ноября), Октябрьская революция стала фактом.

* * *

Мне пришлось, как это уже предвидел Владимир Ильич, после поражения финляндской революции стать эмигрантом.

В 1918 году я два раза бывал у Владимира Ильича в Москве в Кремле. Первый раз, 30 июля, беседовали около полутора часов. «У меня найдется всегда время для друзей», — сказал он, когда я, окончив свое дело, хотел уйти, зная, что он занят более важными государственными и другими делами. Его интересовали тогда причины поражения финляндских рабочих в гражданской войне. «Посещайте меня, звоните номер 36–182, вас я всегда приму. Ведь теперь наша очередь помочь вам (финнам)», — говорил мне Владимир Ильич. Еще раз, 19 августа, побывал я у Ильича, когда прибывшие в Петроград беженцы-финны начали голодать. Ильич дал нам несколько вагонов хлеба. Больше мне не приходилось его видеть, так как я был командирован на работу в Петроград.

* * *

Ленина нет... Но он все же жив своими заветами...

«Следуйте нашему примеру», — сказал он нам, финнам, и только этим путем достигнем мы победы финского рабочего класса и беднейшего крестьянства, и Финляндия будет Советской республикой.

Д. ЛИНДСЕЙ***Ленин****

Из «Приветствия Советскому Союзу» — массовой декламации, исполнявшейся в Англии на праздновании двадцатилетия СССР

Всюду, где мчатся со ржаньем белогривые кони ветра,
на север, на юг, на восток и на запад,
всюду, где зноем лучи скользят по хвое пустынной,
где барабаны бьют в городской уют, —
громче военной грозы
на север, на юг, на восток и на запад
разносится мощный советский голос.
Где люди думают все, как один,
едины в своей любви,
несокрушимы в своем единенье,
плечом к плечу,
все говоря, как один, одного находя вождя,
голос его — это их голоса, и он их ведет.
В Ленине собраны все голоса,
претворенные в действие, в ясность.
Мы славим в Ленине
кристаллически ясный и цельный ум,
сердце горячее, как юг виноградный,
ум и сердце в гармонии дивной.
Мы славим в Ленине
терпенье пылкое, слух, уловивший
подземный гул исторических сдвигов,
выжиданье с бестрепетной рукой
и в нужный миг мановенье, призыв,
проникновенье в сущность явлений
и претворенье их в действие, в ясность.

* Джек Линдсей (1900–1990) — английский прозаик, поэт и публицист, литературовед, искусствовед. Автор исторических романов «Адам нового мира», «1649», «Люди 48-го года» и др. Переводчик на английский язык произведений Т. Шевченко, В. Маяковского, Н. Тихонова.

** Стихотворение «Ленин» печатается по изд.: В сердцах народов. М.: Иностранная литература, 1957. Перевод с английского М. Зенкевича.

Г. МАНН***Ответы в Россию******1**

В жизни Ленина верность великому делу неизбежно сочетается с непримиримостью ко всем, кто пытался этому делу помешать.

Отдавая должное верности, я вынужден согласиться с непримиримостью. Мне стало легче это сделать, после того как я убедился в его способности подчинять свое дело насущным потребностям живых людей. Стало быть, он любил людей так же, как и дело, поэтому он и действовал как великий человек.

Кстати сказать, его величие всегда становилось мне понятнее, когда я думал, что получилось из Германии. Здесь была только слепая ненависть к идее и делу, к идее как к обновляющему принципу и к человеческому обществу как к делу созидающего разума. Все отдано на волю глупости и случая, в результате чего у нас тоже разрушали, но разрушали без толку.

В Германии мы тоже извели экспроприацию, равно как массовый голод и вымирание целых классов. К этому нужно прибавить растление умов, не видящих перед собой и за своим страданием никакой идеи, строящей будущее. Мало ли что было в России, одно несомненно: Ленин сделал свой народ счастливее; и сам он был счастливее, чем суждено любому, кто творит в Германии.

2

На первый взгляд кажется, будто пролетарская революция в России лишь усилила сопротивление буржуазии в Западной Европе. Но давайте-ка поглядим на собственную жандармерию богачей! Фашисты всех стран куда разнузданнее, чем положено быть послушным прислужникам капитала, мир их чувств — мятеж, а не благочестие. А это объясняется в числе прочего, если не главным образом, примером России. Таково эмоциональное воздействие русской революции, что здесь, на западе, нет уже спокойно-обеспеченного существования и нет покорных, — нет

* *Генрих Манн* (1871–1950) — немецкий писатель-прозаик, общественный деятель. Старший брат Томаса Манна.

** Статья «Ответы в Россию» (1924) написана по просьбе газеты «Известия» в связи со смертью В. И. Ленина.

покорных даже среди стражей. Буржуазия сама чувствует себя обреченной после русской революции. Ей дана более или менее длительная отсрочка, она всячески приспосабливается, чтобы продержаться, но она уже не та, что прежде, и с каждым днем становится все менее похожей на себя. Ее идеал «гражданской свободы» давно получил отставку. Ее идеал «образования» ушел в прошлое. Правда, здесь у нас беда в том, что буржуазный мир умирает прежде, чем подросла ему смена. Мы существуем временно, не очень-то веря в то, что мы делаем и с чем миримся. Такими мы стали, по-видимому, тоже под воздействием великого события на Востоке.

Пять лет со дня смерти Ленина*

Русской революции выпало великое счастье — иметь всеми признанного героя. Ленин был ее зачинателем, и он все еще остается тем, кто продолжает эту революцию, ибо он и после своей смерти по-прежнему живет в сердцах и умах всех ее борцов, как бы сильно они ни отличались друг от друга. Сегодняшние продолжатели революционного дела во многих своих речах прежде всего произносят имя этого первого государственного деятеля революции. Действовать в его духе они, очевидно, считают долгом совести и любви.

Вожди другой революции, французской, сменяли один другого, и все они были равны перед лицом истории. Но каждый из них побеждал своего предшественника и убивал его. Наиболее полным выразителем французской революции был ее последний герой, Наполеон, который одновременно принес эту революцию в другие страны и ослабил ее силу.

Ленин, напротив, остается сильнейшей концентрацией революционной мысли.

Он — начало, он никем не был побежден, и так много людей ссылается на него, так много людей прославляет его величие.

* Заметка «Пять лет со дня смерти Ленина» написана в 1928 г. Печатается по изд.: Генрих Манн. Соч.: в 8 т. Т. 8. М.: Гослитиздат, 1958.

Т. МАНН

<Из размышлений>

Несомненно, Ленин всемирно-историческая величина. Властитель дум в новом, демократическом, гигантском стиле. Заряженное силой соединение воли и аскезы. Великий папа идеи, полный мирсокрушающего божественного гнева. Сказочный витязь героической саги, сказавший: «Да будет проклят тот, кто опускает свой меч, боясь крови».

У. НАОКИ*

С Лениным вместе!**

Я телом уставшим ночь прорезаю.
 Как сердце гигантское, подо мною
 Колеса стучат: «тук-тук, тук-тук...»
 И лампочек искры мчатся по следу,
 Сверкая в полуночной мгле.
 Я в Токио еду, домой еду,
 И радостно мне не без повода.
 Я в руках держу раскрытую книгу
 С красными буквами «ЛЕНИН».
 Читаю, и хочется вдруг вслух —
 Громче сигнала встречного поезда! —
 Слова ленинские прокричать
 Всем пассажирам третьего класса:
 «Мир, хлеб, свободу — народам!»
 Я в Токио еду, домой еду,
 И радостно мне не без повода!
 Я бросаюсь в дремлющий город,
 В сонную тишь вокзала, —
 С Лениным вместе, с Лениным вместе!
 И повторяю слова поэта —

* *Усами Наоки* (р. 1928) — японский поэт, переводчик произведений В. Маяковского и других советских поэтов.

** Стихотворение «С Лениным вместе!» написано в 1952 г. Печатается по изд.: *Песни Хиросимы*. М.: Художественная литература, 1964. Перевод с японского А. Мамонова.

Солнцу встающему, людям идущим,
Улицам и домам:
«Ленин — жил,
Ленин — жив,
Ленин — будет жить!»

В. НЕЗВАЛ*

Памяти Владимира Ильича Ленина**

Мы были очевидцами великой
эпохи вымирания династий,
когда шуршали ночи у подножья
имперского глухого саркофага.

Война дарила нам букеты взрывов
и магию прожекторных лучей,
когда обманчивая синева
над нами, синеглазыми, висела.

И, кесарево кесарю воздав,
мы гибли на неведомых голгофах,
мы обвивались вкруг своих распятий,
как гроздья винограда вкруг подпорок.

Тогда-то и решились мы зажечь
шрапнельный фейерверк в алмазных фондах
и яростно прервали череду
миропомазания и коронаций.

Тогда среди аллей для моциона
запыхали флаги баррикад, —

* *Витезслав Незвал* (1900–1958) — чешский поэт, драматург, живописец, музыкант. В 1921 г. стал членом литературно-художественной группы Девятсил, основателем движения поэтизм, одним из лидеров чешского литературного авангарда. В 1924 г. вступил в КПЧ. Лауреат Государственной премии. Его поэма «Песня мира» удостоена Международной премии мира. Народный писатель ЧССР.

** Стихотворение «Памяти Владимира Ильича Ленина» печатается по изд.: Аврора. М.: Художественная литература, 1967. Перевод с чешского А. Голембы.

тогда вознесся новый Дионис
над жестким пурпуром московских кровель.

Мы были очевидцами паденья
династии сановных вырожденцев:
под ними, как в последний день Помпеи,
разверзлась огнедышащая бездна.

Нам эти годы памятны, как ясность
неотвратимых войн и революций,
как прояснение самых темных строф
в нагроможденьях лирики вселенской.

Читайте правду ленинских декретов,
И восхищайтесь Лениным.
И скорбно
оплакивайте день его кончины
в извечной смене календарных дат!

Поднимутся обугленные травы,
и города наполнятся народом,
и загудят ликующим органом
стволы грядущих летоисчислений.

Мы были Революцией полны,
что вторгнется и в наших внуков лепет:
пусть к ним домчится
сквозь престолов трепет
дыханье нашей радиоволны.

П. НЕРУДА***Из «Оды Ленину»******IV**

Были люди — только исследователи,
каждый — глубокая книга и страстность науки.
У других добродетель души — движенье.
Два крыла у Ленина было:
движенье и мудрость;
мыслью творил он,
разгадывал тайны,
маски срывал с правды и человека,
и был он везде,
одновременно — везде.

V

Ленин! Работали руки твои,
и отдыха разум не знал,
покамест над всем горизонтом
не встал сияющий образ,
как статуя, вся в крови,
победительница в лохмотьях,
женщина, света прекрасней,
вся в рубцах и в дыму.
Народы из стран самых дальних
глядели:
это была она несомненно,
это была Революция...
Старое сердце Вселенной
забилось по-новому.

* *Пабло Неруда* (1904–1973) — чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Национальной премии Чили по литературе (1945), Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1953) и Нобелевской премии по литературе (1971).

** Отрывок «Из «Оды Ленину»» написан в 1957. Печатается по изд.: Пабло Неруда. Четыре времени сердца. М.: Художественная литература, 1968. Перевод с испанского О. Савича.

VI

Ленин, земной человек!
Рука твоя
звёздами движет сегодня, —
та же рука,
что скрепляла декреты о хлебе
и о земле для народа,
та же рука
поднялась до светил.

VII

Всё изменилось теперь, а тогда
время было сурово,
а дни были терпки, колючи, трудны.
Сорок лет на границах
выли волки;
статую жизни хотели свалить,
выжечь хотели зеленые очи
голодом и огнем,
газом и смертью.
Хотели они, чтоб она умерла —
дочь твоя, Ленин, победа, а с нею
просторный, высокий, и нежный, и сильный
Советский Союз.
Не сумели
Не хватало хлеба, угля,
не хватало и жизни самой;
с неба падали дождь, снег и кровь
на дома подожженные, на хижины бедные;
но в дыму и в огне увидали
народы из стран самых дальних, как статуя жизни,
защищаясь, росла, и росла, и росла,
покамест храброе сердце ее
не стало звездой.

VIII

Ленин! Далёкие, мы благодарность приносим тебе.
С тех пор, как ты принял решения свои,
со времён твоих быстрых шагов и глаз твоих быстрых
народы не одиноки в борьбе

за радость.
Живет необъятная родина,
и выдержала осаду,
войну и угрозы, и стала
несокрушимой башней —
ее уж не могут свалить.
И вот люди живут жизнью другой
и едят хлеб другой —
хлеб надежды,
потому что в центре земли
есть Ленина дочь.
Светом решит она все.

Ленин! Спасибо
за энергию и за учение.
Спасибо за твёрдость,
за Ленинград и за целину,
за битву, за мир,
за бесконечность зерна и за школы,
за солдат твоих — малых титанов.
Спасибо за воздух, которым дышу на планете твоей, —
он не похож на другой:
это благоуханье пространства,
электричество гор голубых!
Ленин! Спасибо
за хлеб и надежду!

Ф. ПИНТОС*

Историю делает народ** (Из воспоминаний делегата IV конгресса Коминтерна)

В апреле 1921 года Социалистическая партия Уругвая приняла решение вступить в III Интернационал, приняв «двадцать одно условие». Год спустя, по решению исполнительного комитета партии, я выехал из Монтевидео в Москву, чтобы оформить вступление и представлять партию на IV конгрессе Коммунистического Интернационала.

Еще по дороге я узнал, что срок созыва конгресса перенесен с июля на ноябрь, — таким образом, мне представилась возможность ближе познакомиться с жизнью великого государства рабочих и крестьян.

В апреле 1922 года я приехал в Москву. Незадолго перед этим в стране была подавлена контрреволюция, а от иностранной интервенции оставались отдельные очаги на Дальнем Востоке. Владивосток, правда, еще находился в руках японцев, однако вскоре доблестные воины Красной Армии освободили и этот город.

В Москве стали ощущаться первые результаты новой экономической политики (нэп). Но к восстановительным работам здесь еще не приступали, и во внешнем облике столицы как бы отражались виденные мною по дороге картины: сожженные, почерневшие здания, пустые окна которых зияли, будто провалы огромных глаз; стены и ограды разрушены артиллерийским огнем, изрешечены пулями. Помню, я стоял на углу Тверской и бульвара, у подножия памятника Пушкину. Отсюда были видны горы обломков — все, что осталось от военной школы. Движение в городе было затруднено; из-за оттепелей стали непроходимыми улицы и тротуары — повсюду ямы, наполненные водой и грязью.

Жизнь все еще была трудна. Обо всем этом я имел представление по сообщениям рабочей печати, по рассказам возвращавшихся из России путешественников, с которыми мне

* *Франсиско Рикардо Пинтос* (1889–1968) — уругвайский деятель рабочего и коммунистического движения, историк-марксист, политический публицист. С молодых лет принимал участие в рабочем движении, в 1914 г. вступил в Социалистическую партию Уругвая.

** Воспоминания Ф.-Р. Пинтоса «Историю делает народ» впервые опубликованы в журнале «Иностранная литература», 1959, № 3.

приходилось встречаться в Германии, направляясь в Москву, по расклеенным на стенах Гамбурга и Берлина плакатам с призывами помочь голодающим Поволжья. Однако увиденная мною в московской гостинице «Люкс» выставка фотодокументов о трагедии районов, охваченных засухой, произвела на меня ужасное впечатление.

Столица испытывала недостаток во многом: не хватало продовольствия — мяса, рыбы, овощей; исчезло молоко; то, что называлось черным хлебом, попросту было почти несъедобно. Недоставало, естественно, обуви, одежды, медикаментов. Найти аспирин было проблемой неразрешимой!

Но зато царили оптимизм и вера в будущее. Рабочий класс, отдавший много сил борьбе, был готов на любые подвиги ради спасения революции, ради новой жизни, чтобы только идти вперед — к социализму. Он верил руководству большевистской партии, во главе которой стоял Ленин.

Весь советский народ работал без отдыха, спасая людей, обреченных на голодную смерть империалистическими державами, которые блокировали Советскую страну, надеясь, что голод, отчаяние, смерть тысяч мужчин, женщин и детей довершат дело вооруженной интервенции. Можно привести сотни примеров самоотречения, самопожертвования и героизма: рабочие шли добровольно на сверхурочные работы, на лишения, чтобы как можно больше продовольствия и одежды поступало в опустошенные районы. Я помню, что рассказывали о тех, кто сопровождал железнодорожные составы, направлявшиеся на Волгу. Люди ехали в вагонах, переполненных продуктами, — и хотя в течение многих часов сопровождающие не имели крошки во рту и некоторые еле-еле держались на ногах, однако не было случая, чтобы кто-нибудь из них дотронулся до консервной банки: то, что они везли, считалось священным и неприкосновенным.

В одной из корреспонденций, посланных мною из Москвы в уругвайскую газету «Хустисиа», я писал: «С полной уверенностью можно утверждать, что весь советский народ выражает доверие своей партии и своему правительству; народ убежден, что только партия и правительство с помощью пролетариата и масс смогут вывести Россию из того положения, в котором она оказалась после семи с лишним лет войны и контрреволюции. Увеличение продукции уже заметно: крестьяне, узнав, что город направит им за отданные ему излишки урожая промышленные товары, обрабатывают все больше земли. Из внутренних районов страны поступают хорошие известия: прошли обильные дожди — и состояние посевов обещает богатый урожай. Что касается

промышленной продукции, то, несмотря на нехватку сырья, она продолжает расти. С окончанием гражданской войны ряд заводов, занятых ранее производством военных материалов, переоборудуются; многие предприятия восстанавливаются, что позволит выпускать больше тканей, обуви, больше сельскохозяйственных машин, больше орудий производства вообще.

Одна из самых важных проблем, ожидающих своего разрешения, — это проблема транспорта, в частности железнодорожного... Сейчас реконструируются некоторые железнодорожные ветки, производится срочный ремонт подвижного состава... Я видел прибытие четырех полусмонтированных паровозов, доставленных на прицепе. Глядя на эти паровозы, люди аплодировали: они-то хорошо знали, что каждый пущенный в эксплуатацию паровоз уменьшает затруднения с транспортом...

Конечно, еще надо пройти длинный путь, прежде чем будет достигнуто полное восстановление национальной экономики. Опустошения огромны, разруха велика, и это мешает быстрой нормализации жизни в обедневшей стране, где промышленность не достигла высокого развития и где в течение четырех лет остро ощущались последствия преступной блокады».

Вечер 30 апреля. Москва приняла праздничный вид. Везде, куда не взглянешь, здания украшены зелеными гирляндами и красными флагами. Большие транспаранты на карнизах призывали напрячь силы для увеличения производства, напоминали о неотложных задачах и многократно повторяли лозунг трудящихся всего мира: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Все говорило о том, что московский пролетариат готовится достойно отпраздновать Международный день трудящихся.

«Два года здесь не проводились Первомайские демонстрации, — писал я в газету “Хустисиа”. — Ввиду напряженного положения в стране этот день посвящался особым сверхурочным работам — недостаток испытывался абсолютно во всем, и надо было использовать все возможное, чтобы выпускать больше продукции. В текущем году, поскольку условия жизни в стране в основном улучшились, было решено образцово отметить этот день и продемонстрировать международному капитализму, что русский народ поддерживает и защищает свое правительство, что русские люди готовы на все, чтобы удержать завоеванные победы...

Программа празднования отличалась скромностью и привлекательностью. Бойцы великой Красной Армии собрались на Красной площади и здесь дали клятву верности Родине, народу, делу пролетариата. Дисциплинированные и хорошо вооруженные, они маршировали стройными рядами, а над ними — на большой

высоте — разворачивалась эскадрилья самолетов, на крыльях которых поблескивала советская эмблема».

Одобряюще подействовал вид колонн молодых людей, одетых в красноармейскую форму, на тех из нас, кто привык считать армию слепым орудием буржуазии, готовой всегда обрушиться на трудящихся, которые борются за улучшение условий жизни и работы; многие из нас на наших митингах видали вооруженную до зубов полицию. В большинстве своем эти юноши уже боролись за революцию, а сейчас восторженно праздновали вместе со своими братьями по классу великий Международный день трудящихся.

Закончился военный парад, и началась демонстрация. Было невозможно хотя бы приблизительно подсчитать, сколько народу участвовало в демонстрации, но, чтобы дать представление о ее размерах, достаточно сказать, что несколько часов демонстранты шли стройными слитными рядами. Проехали грузовики и автобусы с детьми Поволжья, спасенными от голодной смерти.

Особое внимание я обратил на то, что в демонстрации участвовало много женщин и детей. Свободные женщины, активные участницы революции, также с полным правом праздновали день трудящихся. Шли дети, люди будущего, у которых формируется новое мировоззрение: дети — залог и гарантия того, что дело, так трудно начатое, будет ими закончено. А над этой веселой, воодушевленной толпой развевались тысячи красных знамен, древки которых сжимали мускулистые руки рабочих или с трудом удерживали женские руки.

Можно утверждать, не боясь ошибиться, что в демонстрации участвовала почти вся Москва — или шагая в рядах демонстрантов, или с тротуаров аплодируя им.

До позднего вечера продолжались шествия. Повсюду стихийно возникали собрания и образовывались группы, которые хором пели «Интернационал» и русские революционные песни, а лучи прожекторов освещали небо.

Уже ночью, устав от продолжительной ходьбы, я вернулся в свой номер в гостинице «Люкс», надеясь разобраться во множестве впечатлений. Я твердо знал, что теперь смогу с полной ответственностью заверить моих уругвайских товарищей: Советское правительство непоколебимо, и революция, несмотря на все трудности, будет продолжать свое поступательное движение.

Получив приглашение на собрание в Московский университет, я подготовил записную книжку и карандаш, надеясь, как обычно, задать много вопросов, однако вышло как раз наоборот — отвечать пришлось мне.

Как только я появился в переполненном зале, было объявлено, что пришел делегат Уругвайской компартии в Коминтерне, и я стал жертвой самого настоящего штурма. Посыпались вопросы. Все хотели услышать о моей стране, о ее обычаях, политической жизни и прежде всего о том, в каких условиях находится рабочий класс, о его организованности, его завоеваниях.

Спустя два дня мне все же удалось, в свою очередь, разузнать об университете. На квартире у Инессы Арманд я встретился с Н. К. Крупской, которая работала в Народном комиссариате просвещения, и она подробно рассказала мне об университете, его работе и, кроме того, об условиях жизни и учебы студентов. «Несмотря на все трудности, — сказала товарищ Крупская, — университет развивается, равно как и все учебные заведения нашей страны. Я уверена, что вскоре будет налажено и дело издания учебников».

«Если учитывать трудности, созданные годами войны и революцией и отсутствием иностранной помощи, — писал я тогда в газету “Хустисиа”, — то станет ясно, что экономическое возрождение России идет семимильными шагами, открывая во всех отношениях благоприятные перспективы.

Ввиду провала Генуэзской и Гаагской конференций и отсутствия в настоящее время возможностей вступить в прямые отношения с большинством капиталистических стран, советский народ мог надеяться только на себя — и это заставило его удвоить энергию, чтобы вывести страну из тяжелого экономического положения, в котором она оказалась после стольких лет разрухи и жертв.

Однако все позволяет прийти к выводу, что советский народ выполнит свою миссию, разбив надежды тех, кто думает, что без помощи извне Советское государство неминуемо погибнет».

Положение Советской Республики, улучшавшееся медленно, но последовательно с первых месяцев 1922 года, резко изменилось к июлю: со всех концов страны приходили воодушевляющие известия — и день ото дня менялся внешний облик, менялась и сама жизнь Москвы. Столица выглядела совсем иначе. Больше людей было на улицах и бульварах, оживился транспорт; ремонтировали тротуары и мостовые, восстанавливали здания, торопились покрасить крыши до наступления осенних дождей, укладывали рельсы трамваев. Открывались новые рынки, и увеличился приток крестьян, привозящих сельскохозяйственные продукты. Уже не было недостатка в овощах и фруктах; 15 июля впервые появился белый хлеб. С каким удовольствием мы ели маленькие «французские» булочки! В аптеках уже продавались лекарства, а в магазинах можно было достать продукты, одежду и обувь.

Это был полный триумф политики, предначертанной Лениным и партией.

Благодаря решительным мерам, а особенно в результате успешного проведения нэпа было покончено с голодом на Волге. Крестьяне отвечали доверием на доверие, проявленное к ним партией и правительством; расширилось производство, значительный толчок получила легкая промышленность и, пока в меньшей степени, тяжелая. Ежедневно в печати сообщалось о восстановлении и пуске новых фабрик и мастерских.

В большой корреспонденции, написанной в Москве о достижениях революции и опубликованной в газете «Хустисиа» 7 ноября 1922 года, я свидетельствовал: «Результаты новой экономической политики не заставили себя ждать. Утвердилось доверие. Несмотря на трудные условия разрухи и недостаток сырья, страна стала развиваться относительно быстрее. Положение заметно улучшилось, внутренний мир обеспечен, и нет никаких симптомов того, что он может быть нарушен.

Однако борьба против буржуазии и на экономическом фронте будет не менее трудной, чем на полях сражений. Частичное допущение капитализма создало новую буржуазию — за ней надо внимательно следить, чтобы помешать распространению ее влияния на некоторую часть масс.

В одной из своих последних речей Ленин заявил, что никаких других уступок капитализму не будет сделано. Так есть, и так будет, ибо это мнение великого революционера. И мы верим, что пролетарское государство преодолет все препятствия в нынешней обстановке».

В первые месяцы моего пребывания в Советской России я разделял вполне объяснимое беспокойство пролетариата и всего народа великой социалистической страны о здоровье Ленина. Из-за недостаточной информации и противоречивых слухов беспокойство это все нарастало, пока 24 сентября 1922 года не было официально заявлено, что Владимиру Ильичу значительно лучше.

Поэтому я поспешил послать в «Хустисиа» корреспонденцию, в которой опровергал утверждения буржуазной прессы об остром кризисе в ходе болезни Ленина и даже о его мнимой смерти.

«Ленин не умер, — писал я, — он сохраняет полную ясность мысли, его не разбил паралич, и нет никаких оснований так предполагать. Мы с радостью можем это засвидетельствовать и в доказательство можем представить фотографии вождя русской революции, снятые в санатории, где он еще находится».

Идя навстречу пожеланиям тысяч советских рабочих, встревоженных противоречивыми известиями о здоровье Ленина и жела-

ющих узнать истину, газета «Правда» опубликовала 24 сентября специальное приложение с фотографиями Председателя Советов Народных Комиссаров. Тираж полностью разошелся через несколько часов после выпуска; все наперебой покупали газету.

Отмечая безграничную любовь рабочего класса и всего советского народа к Ленину, я писал в «Хустисиа»: «Мы, коммунисты, не верим слепо в то, что великие люди всемогущи и что ход истории может быть изменен в соответствии с их желаниями. Нет, историю делают народы ценой самоотверженности и борьбы. Однако мы не принадлежим к числу тех, кто отрицает роль руководителей и учителей, в известных условиях ведущих массы к великим победам и вносящих свою лепту в дело совершенствования человечества. Великий вождь пролетарской революции является именно одним из таких людей».

Наша радость возросла, когда в последних числах октября было объявлено, что Ленин выступит на ноябрьских заседаниях IV конгресса Коммунистического Интернационала. С этого момента я с нетерпением ждал дня, когда мне доведется познакомиться с Лениным. Впервые я увидел Ленина 13 ноября 1922 года. Он выступил перед делегатами IV конгресса Коминтерна с одной из своих больших речей. Как он сам сказал, из-за неважного состояния здоровья эту речь он произнес в сокращенном виде. Это был доклад о первых пяти годах русской революции и перспективах революции мировой.

Тринадцатого ноября зал, где происходили заседания конгресса, был переполнен. Присутствовали абсолютно все делегаты, гости заняли отведенные им места.

Вдруг открылась небольшая дверь, и вошел Ленин. Быстрым и нервным шагом он направился к трибуне.

Словно подброшенные пружиной, все мы встали — и оглушительный гром аплодисментов приветствовал великого вождя мирового пролетариата. Мы долго аплодировали, не обращая внимания на жесты Ленина. Наконец он начал свое выступление.

Ленин говорил по-немецки. Слушая перевод сидевшей рядом со мной сотрудницы аппарата Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала, я стал внимательно смотреть на Ленина, чтобы запечатлеть в памяти его облик, жесты. Да, у него был вид человека, перенесшего серьезную и длительную болезнь; давала себя знать усталость, и крупные капли пота показывались на лбу и на висках. Однако все это не мешало ему проявлять временами свою исключительную энергию, когда он подчеркивал самые важные места доклада.

Ленин не производил впечатления выдающегося оратора в обычном смысле этого слова, но сразу же стало ясно, что это — человек, умеющий прекрасно излагать свои мысли, что это — великий вождь масс, который их прекрасно знает и понимает и который умеет говорить о важнейших и глубоких вещах очень просто, без всякой риторики. Он говорил, поглядывая на заметки, лежавшие на трибуне, а затем бросал взгляд на аудиторию, как будто хотел убедиться в том, что его правильно поняли.

Так, Ленин разъяснял нам, что в то время и в условиях Советской Республики представлял собой государственный капитализм; какие усилия прилагала партия и правительство для проведения новой экономической политики и какие значительные успехи в этом были достигнуты; какое значение имеет для страны, для дальнейшего ее экономического развития стабилизация рубля. Он говорил о возрастающем доверии со стороны крестьян, о росте производительности крестьянского труда, об успехах легкой промышленности.

Перейдя затем непосредственно к международным проблемам, Ленин рассказал, в какой форме должна быть выработана программа Коммунистического Интернационала, чтобы она была понятна руководителям и членам коммунистических партий и ее можно было бы успешнее проводить в жизнь.

Ленин закончил свой доклад. Мы снова поднялись и долго ему аплодировали. Затем раздались звуки «Интернационала»; мы пели на многих языках, и от наших голосов дрожали стекла в высоких окнах Кремлевского дворца...

Ф. ПЛАТТЕН*

Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917**

<Фрагменты>

— Не является ли Ленин немецким провокатором?

— Нет, Ленин человек неподкупный. Это фанатик, но необыкновенно честный, внушающий к себе всеобщее уважение.

— В таком случае он еще более опасен.

*Из книги «Россия накануне революции»
Мориса Палеолога — французского посла
в России в 1914–1917 гг.*

История вопроса

Всем исследователям современности, всем будущим историкам российской революции, всем биографам Ленина придется остановиться специально на вопросе о том, при каких условиях совершился переезд Ленина в Россию, и также вообще на вопросе, какое значение для судеб русской революции имело возвращение русских эмигрантов. Вокруг приезда Ленина уже сложились целые легенды. Деятельность Ленина и вернувшихся с ним товарищей была столь колоссальна по своим последствиям, она имела столь огромное историческое значение, что не покажется излишней попытка дать по возможности полное и основанное на документальных данных описание того, каким образом Ленину удалось в апреле 1917 года переехать через Германию в Россию.

О возвращении Ленина в Россию в 1917 году через враждебную ей Германию в свое время были опубликованы краткие сообщения товарищами Крупской, Радеком, Гильбо и мною. Я поэтому задавал себе вопрос, имеет ли смысл и представляется ли вообще необходимым опубликовать более обширную работу по истории переезда в Россию русских эмигрантов, живших в Швейцарии,

* *Фридрих (Фриц) Платтен* (1883–1942) — швейцарский деятель международного социалистического и коммунистического движения. Друг В. И. Ленина, приехал вместе с Лениным в Россию в 1917 г. 1 (14) января 1918 г. при первом покушении на Ленина в Петрограде, прикрывая его своим телом от пуль, был ранен. Погиб в сталинских лагерях 22 апреля 1942 г. при невыясненных обстоятельствах. Место захоронения неизвестно. После смерти Сталина был посмертно реабилитирован.

** *Платтен Ф.* Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917. М.: Московский рабочий, 1925.

в частности о переезде товарища Ленина. Я решил на это из следующих соображений.

Ни одна из вышеупомянутых статей не давала полной картины событий. Это были лишь моментальные снимки, вырванные из общей связи. За исключением книги Гильбо, ни одна из них не была основана на документах того времени. Однако решающим для меня было данное мною в 1919 году Ленину обещание опубликовать в ближайшем будущем в печати по возможности полное и документальное описание переезда. Он, Ленин, мотивировал это указанием на то, что я, в качестве уполномоченного группы эмигрантов, переезжавших с первой партией, больше других посвящен во все детали дела и что свидетельство западноевропейского товарища, особенно в таком деликатном деле, будет иметь цену.

В попытках Ленина как можно скорее и возможно кратчайшим путем пробраться в Россию, чтобы там исполнить свой долг революционера и вождя партии, можно отметить три момента, которые, надеюсь, мне удастся осветить, несмотря на то, что я лично принимал активное участие только в третьей фазе. О первой попытке Ленина проложить себе дорогу в Россию вместе с небольшой группой единомышленников сообщил мне он сам в 1919–1920 годах. Этот эпизод был в 1917 году окутан какой-то тайной. В русских эмигрантских кругах Цюриха ходили различные слухи, однако точных сведений по этому поводу никто не мог дать.

В попытках Ленина как можно скорее и возможно кратчайшим путем пробраться в Россию, чтобы там исполнить свой долг революционера и вождя партии, можно отметить три момента, которые, надеюсь, мне удастся осветить, несмотря на то, что я лично принимал активное участие только в третьей фазе. О первой попытке Ленина проложить себе дорогу в Россию вместе с небольшой группой единомышленников сообщил мне он сам в 1919–1920 годах. Этот эпизод был в 1917 году окутан какой-то тайной. В русских эмигрантских кругах Цюриха ходили различные слухи, однако точных сведений по этому поводу никто не мог дать.

Мы вряд ли ошибемся, если будем считать, что Парвус играл в этом деле вполне определенную роль и оказывал в качестве эксперта по русским делам известное влияние на немецкое правительство и высшее военное командование в смысле благоприятного разрешения вопроса о пропуске русских революционеров в Россию через Германию.

В меньшевистских эмигрантских кругах в Швейцарии делались лихорадочные усилия разузнать, какие средства пускал в ход агент Парвус для того, чтобы добиться скорейшего возвращения в Россию Ленина и Зиновьева. Только немногие посвященные

знали о нем. Как только разразилась революция и в среде русских эмигрантов, проживавших в Швейцарии, встал вопрос о возвращении на родину, какой-то субъект с темной репутацией, в качестве компаньона Парвуса, обратился под фальшивым именем к одной цюрихской даме, которая, по его сведениям, была близка к одному большевику, и предложил ей добиться разрешения для нескольких видных революционеров вернуться в Россию через Германию. Товарищ В., знакомый этой госпожи Д., вступил в переговоры, о которых он давал знать Ленину.

Ленин, страстно стремясь как можно скорее попасть в Россию, даже посоветовал назначить вторичное свидание. Во время этого свидания доверенное лицо этого Парвуса осмелилось предложить нужные средства для поездки. Обстоятельство это убедило Ленина, что посредник по этому делу — агент немецкого правительства, и он тотчас резко оборвал все дальнейшие переговоры.

Мое участие в поездке Ленина началось после того, как были прекращены упомянутые переговоры. Я не имел никакого представления о них и выше приведенное сообщение делаю на основании разъяснения Ленина, данного мне в связи со статьей Гардена, появившейся в журнале «Будущее». Разъяснение это было сделано в 1920 году.

Дело произошло следующим образом. Поздней осенью 1919 года, освободившись из румынской тюрьмы, я прибыл в Москву. По дороге в Москву из Каменец-Подольска, тогдашней петлюровской столицы, у меня началось кровохарканье, продолжавшееся несколько дней, и я был вынужден прибегнуть к врачебной помощи. Во время моей болезни товарищ Ленин, которому я, да будет мне позволено здесь указать, глубоко обязан за его всегда теплое участие при всех постигавших меня в Финляндии, Румынии и Литве ударах судьбы, проявил и на этот раз свое внимание, прислав мне злободневную немецкую литературу.

Среди присланных журналов я случайно нашел в «Будущем» сенсационную статью Гардена «Людендорф и путешествие Ленина». Приведенные в статье обстоятельства чрезвычайно меня заинтересовали. На меня все эти «разоблачения» производили впечатление какой-то мистификации, и я воспользовался первым своим выходом после выздоровления, чтобы посетить Ленина в его кабинете. В разговоре я, между прочим, коснулся и статьи Гардена, прося Ленина сказать, что он о ней думает.

Ленин тотчас же и очень охотно сделал это. Он снял со статьи все ее сенсационные прикрасы и представил события так, как они происходили на самом деле. При этом он определенно подчеркнул, что я могу воспользоваться его сообщениями, если опубликую

когда-нибудь свои воспоминания о совместной с ним поездке через Германию, что он со своей стороны, по его словам, очень приветствовал бы.

* * *

В свое время поездка Ленина вызвала большие толки. Ленин сделался мишенью клеветнических нападок не только со стороны буржуазной прессы — его преследовали своими яростными и подлыми подозрениями все небольшевистские рабочие партии. Невероятно гнусные обвинения распространялись на его счет. Ленин и Зиновьев изображались как немецкие агенты. Наиболее глупые из этих клеветников уверяли, что оба они оплачиваются немецкими деньгами. Клевета тоже является своего рода оружием, правда грязным. Ленин должен был в Петрограде вести настоящую газетную кампанию против подобных нападок. В настоящее время ни один человек уже не верит больше подобной бессмыслице. Но вопрос о том, почему Германия так предупредительно согласилась разрешить Ленину проезд через свою территорию, гарантировав ему даже экстерриториальность, — до сих пор мелькает у многих в уме. Эти люди до сих пор не хотят понять, что все это могло произойти без того, чтобы между Людендорфом и Лениным состоялось какое-нибудь определенное соглашение. Рассмотрим, каково было положение дел в 1917 году.

Когда в России разразилась Февральская революция, все правительства и генеральные штабы всех воюющих держав стали гадать, кому суждено вписать в актив своего баланса это колоссальное историческое событие. Всем известна роль, которую в этот период играл английский посланник Бьюкенен. Однако надежды этого господина не оправдались. Вместо ожидавшегося подъема боевого и усиления военной мощи русской армии наступило прогрессирующее ослабление боеспособности русской армии.

Антанта прилагала все старания к тому, чтоб направить революцию в желаемое русло и влить новые силы в сражающуюся русскую армию. Руководители Антанты отправили в Россию Плеханова с соратниками, пытаясь в то же время всеми мерами воспрепятствовать приезду интернационалистов. Все средства были пущены в ход для того чтобы сохранить Россию в качестве военного фактора. Милюковы и Гучковы имели еще меньше охоты, чем господа в Париже и Лондоне, подпустить к себе на близкое расстояние своих классовых врагов ленинского масштаба, ведь прибытие последних не могло предвещать ничего хорошего собственным политическим вожделям первых. Поэтому нужно признать несомненным, что возвращение Ленина и близких ему

людей через страны Антанты было делом невыполнимым. Ленин, по-видимому, никогда не разделял фантастических надежд Семковского, секретаря тогдашнего эмигрантского комитета, будто можно все-таки добиться согласия Милюкова на поездку через враждебную Германию.

Французская печать намеренно распространяла легенду о том, что поездка Ленина через Германию могла состояться только вследствие определенного тайного соглашения. Однако она не могла привести ни одного доказательства в пользу этого гнусного уверения.

Французская печать намеренно распространяла легенду о том, что поездка Ленина через Германию могла состояться только вследствие определенного тайного соглашения. Однако она не могла привести ни одного доказательства в пользу этого гнусного уверения.

Мотивы, победившие немецкое правительство и верховное командование разрешить русским эмигрантам в Швейцарии проезд через Германию, в настоящий момент совершенно очевидны. Когда одна враждебная сторона имеет основание помешать чему-либо, то противоборствующая сторона, совершенно естественно, имеет все основания желать как раз того, чему противник стремиться воспрепятствовать.

Проявленная немцами готовность разрешить эту проблему не должна, однако, рассматриваться только как ловкий шахматный ход против врага. Она была обоснована также политическими и военными соображениями.

5 апреля 1917 года Америка объявила воину Германии. Опубликованные мемуары Людендорфа, Чернина и Гинденбурга дают нам ясную картину тогдашнего положения Германии. Правительства Центральной Европы, и прежде всего Людендорф, рассчитывали найти в лице русских циммервальдиетов людей, которые готовы им помогать в осуществлении их целей. В «Мемуарах» Людендорфа нет ни слова о путешествии Ленина. Тем не менее книга эта, равно как и книга, принадлежащая перу бывшего австрийского премьер-министра Чернина, дает исчерпывающие сведения относительно мотивов, побудивших Германию предоставить этим, революционерам право проезда через Германию с гарантией экстерриториальности.

Была надежда посредством деятельности интернационалистов в России добиться разгрузки Восточного фронта. Надеялись даже добиться сепаратного мира.

Гинденбургу всякое средство представлялось хорошим, лишь бы оно дало возможность перебросить армию с Восточного фронта. Еще весной 1917 года Людендорф основывал свою уверенность в победе только на одном козыре: переброска 70 дивизий с Вос-

точного фронта на Западный должна была дать ему возможность нанести последний, решающий удар, повести «генеральный штурм на Париж» прежде, чем Америке удастся навсегда сделать невозможным прорыв Западного фронта.

Как бы правилен ни был этот расчет с военной точки зрения, он как политический шаг оказался совершенно ошибочным. Людендорф сам признает, что с течением времени военные успехи были аннулированы разрушительным влиянием большевистской пропаганды.

<...>

Действия Ленина по подготовке к возвращению в Россию

Еще 9 апреля (по новому стилю) 1917 г. Ленин уехал из Цюриха и 17 апреля прибыл в Петроград. Хоть к этому времени уже выяснилось, что оставшимся эмигрантам тоже не остается никакого другого пути и что, хорошо ли, плохо ли, им придется последовать примеру Ленина, — поездка последнего рассматривалась как «политическая ошибка», и это только потому, что не была доказана абсолютная невозможность добиться от миллюковского империалистического правительства согласия на поездку. Не напоминает ли эта политическая позиция меньшевиков пресловутой, ставшей крылатой, фразы о «верноподданнейшей оппозиции его величества»?

Для того чтобы иметь право выступить перед русской буржуазией не «в роли обвиняемых, а в роли обвинителей», эти «влиятельнейшие старейшие вожди Российской социал-демократической рабочей партии» сами готовы были лишиться себя в продолжение больше чем месяца «своего священного права занять место в рядах революционных борцов и тем самым выполнить свой высший долг перед народом и революцией».

По сравнению с этим героизмом высшей марки кажется смешным хакари какого-нибудь приговоренного судом к смертной казни китайца.

Они решительно ничего не имели возразить против условий, на которых Ленин совершил свою поездку. Но они оценивали как смертный политический грех то, что он не мог сдержать себя и ждать, пока ему будет дана возможность выступить «в качестве обвинителя». Имеющаяся в протоколе заявление меньшевиков о том, что они осуждают поездку Ленина, не есть просто неудачный оборот речи, а представляет собой серьезный протест. Я прихожу к такому заключению на основании сделанных мною в то время заметок, имеющихся у меня еще сейчас под руками.

Когда я получил разрешение перевезти в Россию первую партию эмигрантов в 60 человек, то созданный для этой цели ленинский комитет по организации поездки известил об этом Мартова и просил сообщить число едущих с ним товарищей. Мартов поведал нам, что они (меньшевики) считают себя связанными принятым решением. Они не поедут, так как предполагают, что русское правительство предпримет меры, чтобы добиться обмена пленными.

С формальной стороны Мартов возражал, указывая на отсутствие подписи немецкого посланника на представленном Платтеном документе, содержащем условия переезда.

* * *

Между тем по инициативе Радека швейцарский корреспондент «Франкфуртер цайтунг» пытался выяснить в немецком посольстве в Берне, как отнесутся немецкие власти к возвращению русских эмигрантов через Германию. Получился ответ, что власти готовы по этому поводу вступить в переговоры. Так как дело касалось всех стоявших на почве Циммервальда эмигрантов, то по этому делу выступил Центральный комитет по возвращению на родину русских политических эмигрантов, проживающих в Швейцарии.

Так как непосредственные сношения эмигрантов с немецкими властями были признаны нежелательными, то решено было поручить ведение переговоров тов. Гримму — председателю Циммервальдского комитета.

Уже в первых числах апреля было достигнуто принципиальное соглашение. В силу занимаемой им фракционной позиции, Гримм принял во внимание желание меньшевиков отсрочить окончательное решение до получения согласия Милюкова. Ленин возмутился таким саботажем. Медлительный темп переговоров создал в Ленине убеждение, что тут кроются какие-то влияния и что можно, пожалуй, заподозрить наличие тенденций, отнюдь не отвечающих его целям. Он решился расследовать дело через свое доверенное лицо.

Между тем, по инициативе Радека швейцарский корреспондент «Франкфуртер цайтунг» пытался выяснить в немецком посольстве в Берне, как отнесутся немецкие власти к возвращению русских эмигрантов через Германию. Получился ответ, что власти готовы по этому поводу вступить в переговоры. Так как дело касалось всех стоявших на почве Циммервальда эмигрантов, то по этому делу выступил Центральный комитет по возвращению на родину русских политических эмигрантов, проживающих в Швейцарии.

Так как непосредственные сношения эмигрантов с немецкими властями были признаны нежелательными, то решено было по-

ручить ведение переговоров тов. Гримму — председателю Циммервальдского комитета.

Уже в первых числах апреля было достигнуто принципиальное соглашение. В силу занимаемой им фракционной позиции, Гримм принял во внимание желание меньшевиков отсрочить окончательное решение до получения согласия Милюкова. Ленин возмущился таким саботажем. Медлительный темп переговоров создал в Ленине убеждение, что тут кроются какие-то влияния и что можно, пожалуй, заподозрить наличие тенденций, отнюдь не отвечающих его целям. Он решил расследовать дело через свое доверенное лицо.

Однажды, в 11 часов утра, мне позвонили по телефону в секретариат партии и попросили быть в половине второго для беседы с тов. Лениным в помещении рабочего клуба Эйнтрахт. Я застал там небольшую компанию товарищей за обедом. Ленин, Радек, Мюнценберг и я отправились для конфиденциальной беседы в комнату правления, и там тов. Ленин обратился ко мне с вопросом, согласился бы я быть их доверенным лицом в деле организации поездки и сопровождать их при проезде через Германию. После короткого размышления я ответил утвердительно. Как перед Лениным, так и передо мною возникал вопрос о политическом значении этого шага. У меня возникло сомнение, смогу ли я оказать Ленину эту партийную услугу, не отказавшись от своей должности секретаря швейцарской социал-демократической партии. Я должен был задать себе вопрос, не будет ли благодаря этой поездке моя дальнейшая партийная деятельность значительно затруднена. Я глубоко сознавал, что мой долг — оказать всяческое содействие возвращению в Россию моих политических друзей. Отбросив всякие колебания, я решил взять на себя эту роль доверенного лица. Еще в тот же день после обеда мы с трехчасовым поездом поехали в Берн, предварительно сговорившись по телефону с Гриммом, которого я просил прийти для переговоров в бернский Народный дом.

Объяснение с Гриммом было короткое и решительное. Разговаривали стоя в Народном доме в Берне. Гримм заявил, что он считает вмешательство Платтена нежелательным. Хотя Фриц и искренний революционер, однако плохой дипломат. А это, в связи с могущими возникнуть вопросами, чревато осложнениями. Это заявление еще более усилило в Ленине прежнее недоверие, и мы оба заявили, что завтра я буду просить аудиенцию у Ромберга и что, в случае отказа в аудиенции, мы должны будем заключить, что имеется основание сомневаться в миссии Гримма. Роберт Гримм ничего не предпринял против задуманного нами шага, и министр

Ромберг принял меня для переговоров по делу о переезде русских эмигрантов, проживающих в Швейцарии.

В комнате Ленина, в номерах при Народном доме в Берне, вопрос о поездке подвергся основательному и детальному обсуждению.

Так как не имелось в виду — да и не было основания для этого, — чтобы я выступал в роли уполномоченного по ведению переговоров наряду с Гриммом или даже вместе с ним (Гримм был выбран всем комитетом), то надлежало выяснить, в качестве чьего представителя я буду вести переговоры. Хотя в принципе немецкие власти не должны были знать имен уезжающих эмигрантов. Ленин уполномочил меня заявить, что первая партия поедет во главе с Лениным и Зиновьевым и что мне поручено вести переговоры по этому делу и сопровождать уезжающих.

<...>

Переезд Ленина в Россию

Теперь можно считать доказанным, что поездка Ленина в Россию через Германию произвела столь огромное впечатление не потому, что он — первый из эмигрантской массы вместе с ближайшими своими соратниками рискнул совершить эту поездку, а потому, что у всех было убеждение, что этот человек с огромной силой воли вмешается в события русской революции. Произведенная поездкой Ленина сенсация, вызванное ею возбуждение находились в резком противоречии с позицией, занятой той же европейской печатью по отношению ко второй партии эмигрантов, хотя при этом через Германию ехало приблизительно 500 русских эмигрантов.

Наша партия состояла из 32 человек. Большинство поехавших с нами эмигрантов завоевали себе в истории революции выдающееся место своим мужеством, энергией, дальновидностью и самоотверженностью, проявленными ими в интересах пролетариата и коммунизма. Из числа ехавших в нашей партии нашел преждевременную смерть зять Феликса Кона тов. Усиевич, погибший на чехословацком фронте. К нашему величайшему горю, смерть слишком рано вырвала из наших рядов также незабвенного тов. Ленина.

Нет никакого сомнения, что лица, участвовавшие в этой поездке, сыграли решающую роль не только в русской, но, можно без преувеличения сказать, и в мировой истории. Кто в Западной Европе в 1917 году осмелился бы предсказать, что эти «голяки» в ободренных костюмах, все пожитки которых можно было увязать в головной платок, сделаются вождями и руководителями стра-

ны со 130-миллионным населением? В 1917 году все издевались над этой кучкой фанатиков, стремящихся «осчастливить мир и лишенных всякого чувства действительности».

* * *

Путешествие Ленина произошло следующим образом.

Согласно выраженному Лениным и Зиновьевым желанию Фриц Платтен взял на себя руководство поездкою.

9 апреля 1917 года в половине третьего группа эмигрантов направилась из ресторана «Церингергоф» к цюрихскому вокзалу, нагруженная — по русскому обычаю — подушками, одеялами и прочими пожитками. Согласно расписанию поезд отошел в 3 часа 10 минут. В Тайнгене происходил швейцарский таможенный досмотр, причем паспорта не проверялись. Ввиду того что взятые с нами съестные припасы — главным образом шоколад, сахар и пр. — превышали дозволенную властями норму, излишки были отобраны, а пострадавшим было предоставлено право переслать конфискованные съестные припасы родственникам и знакомым в Швейцарию.

На вокзале в Готтмадингене нас временно изолировали в зале III класса. Потом мы сели в plombированный пассажирский вагон II—III класса. Дети и женщины заняли мягкие места, мужчины разместились в III классе.

Поездка протекала нормально, к полному удовлетворению едущих. Лишь время от времени причиняли мне хлопоты несколько товарищей — любителей пения. Часть из них не могла удержаться и пела на французском языке «Марсельезу», карманьолу и другие французские песни, не обращая внимания на сопровождавших нас двух офицеров.

Во Франкфурте разыгрался инцидент с Радеком, вызванный его «братанием с солдатами». Я, сознаюсь, виноват в том, что допустил немецких солдат войти в вагон. Три наших вагонных двери были запломбированы; четвертая, задняя, вагонная дверь открывалась свободно, так как мне и офицерам было предоставлено право выходить из вагона. Ближайшее к этой свободной двери купе было предоставлено двум сопровождавшим нас офицерам. Проведенная мелом черта на полу коридора отделяла — без нейтральной зоны — территорию, занятую немцами, с одной стороны, от русской территории — с другой. Господин фон Планди сторожайше соблюдал инструкции, преподанные ему господином Шюллером, атташе немецкого посольства, передавшим в Готтмадингене нашу партию для дальнейшего следования обоим офицерам; эти инструкции требовали, чтобы экстерриториальность не была нарушена.

Предполагая, что во Франкфурте я не выйду из вагона, оба офицера покинули его. Я последовал их примеру, так как условился встретиться на франкфуртском вокзале с одной своей знакомой. Я купил в буфете пива, газет и попросил нескольких солдат за вознаграждение отнести пиво в вагон, предложив служащему, стоявшему у контроля, пропустить солдат.

Привожу здесь эти подробности только для объяснения инцидента.

Сильнейшим образом взволновала многих ехавших следующая картина. Франкфуртские рабочие и работницы спешили сесть в вагоны дачного поезда. Мимо нашего вагона проходил длинный ряд измученных, усталых людей с потухшим взором, на их лицах не видно было ни малейшей улыбки. Это траурное шествие как молния осветило нам положение Германии и пробудило в сердцах ехавших эмигрантов надежду на то, что уже недалек тот час, когда народные массы в Германии восстанут против господствующих классов.

И действительно, в ноябре 1918 года разразилась революция в Германии, — она пришла поздно, но все-таки пришла.

* * *

Я должен напомнить еще об одном обстоятельстве, имевшем важное политическое значение. Оно показывает самым очевидным образом, какого рода отношения существовали между Генеральной комиссией немецких профессиональных союзов и немецким правительством.

Вопрос о «поездке Ленина» был решен немецким правительством и высшим военным командованием не без ведома и, нет сомнения, при поддержке Генеральной комиссии немецких профессиональных союзов.

В Штутгарте господин Янсон сел в наш поезд и просил через ротмистра фон Планица (наш проводник-офицер) разрешения переговорить со мною. Мы еще раньше лично знали друг друга. Господин Янсон заявил мне, что он по поручению Генеральной комиссии немецких профессиональных союзов приветствует едущих эмигрантов и желал бы лично переговорить с товарищами. Я был вынужден заявить ему, что едущие эмигранты желают солидности экстерриториальности и отказываются принять кого бы то ни было на немецкой территории. Я готов довести до сведения едущих о нашей беседе и передать ему ответ завтра утром. После этого господин Янсон удалился в свой вагон.

Мое сообщение вызвало среди едущих взрыв веселья. После краткого совещания было решено не принимать господина Янсона

и не отвечать на его приветствие. Мне было предложено уклониться от назойливых попыток, и в случае их повторения было решено ограждать себя силой.

На другой день утром я поблагодарил лично от своего имени господина Янсона за приветствие, так как едущие отказались из политических соображений отвечать на таковое. Я просил его udовольствоваться состоявшейся между нами беседой. Господин Янсон удовлетворил мое желание и удалился.

Само собой понятно, что я со своей стороны соблюдал необходимую сдержанность. Крайне комичными являются слухи о том, будто Ленин вел переговоры с Бетман-Гольвегом и Шейдеманом. Все эти лживые сведения распространялись с целью бросить тень на едущих.

В отличие от Франкфурта изоляция перрона и охрана вагона в Берлине носили очень строгий характер. Мне тоже не было разрешено без конвоя уходить с перрона. Немцы опасались, что мы вступим в сношения с немецкими единомышленниками.

Я хочу еще упомянуть об одной беседе с Лениным на немецкой территории, так как психологически интересно узнать, как в то время Ленин оценивал шансы большевистской партии в русской революции и каков был мой ответ — типичный ответ западноевропейского коммуниста — на поставленный Лениным вопрос. Нужно иметь в виду, что Керенский угрожал возбудить против едущих эмигрантов обвинение в государственной измене, и, по всем сведениям, надо было ожидать, что Ленин и его товарищи встретят в Петрограде наряду с большим числом стойких друзей также множество яростных и подлых врагов. Еще будучи в Швейцарии, Ленин знал, что его ожидает; еще до своего отъезда в Россию он созвал на совещание Лорио из Парижа, Гильбо из Женевы, Поля Леви, Бронского и меня для того, чтобы дать нам подписать протокол об условиях поездки и иметь в нашем лице свидетелей.

В коридоре вагона шел горячий спор. Вдруг Ленин обратился ко мне с вопросом: «Какого вы мнения, Фриц, о нашей роли в русской революции?» — «Должен сознаться, — ответил я, — что вполне разделяю ваши взгляды на методы и цели революции, но как борцы вы представляетесь мне чем-то вроде гладиаторов Древнего Рима, бесстрашно, с гордо поднятой головой выходявших на арену навстречу смерти. Я преклоняюсь перед силой вашей веры в победу». Легкая улыбка скользнула по лицу Ленина, и в ней можно было прочесть глубокую уверенность в близкой победе.

В Заснице мы оставили немецкую территорию; перед этим было проверено число едущих, сняты пломбы с багажного вагона, и состоялась передача багажа. Пассажирский пароход «Треллеборг» доставил нас в Швецию. Море было беспокойно. Из 32 путешественников не страдали от качки только пять человек, в том числе Ленин, Зиновьев и Радек; стоя возле главной мачты, они вели горячий спор. На берегу нас встретил Ганецкий и шведская делегация.

В Швеции нам был оказан в высшей степени сердечный прием. На конференции эмигрантов с представителями шведской и норвежской социалистической молодежи нами был сделан подробный доклад о совершенном переезде и были изложены те политические соображения, которые заставили нас ехать через Германию. Шведские товарищи одобрили поездку. Впоследствии мне стала еще более очевидной невозможность вернуться в Россию через Англию и необходимость поездки через Германию, особенно когда я по возвращении в Стокгольм узнал об аресте Троцкого и его товарищей, произведенном английскими властями. Можно смело быть уверенным, что с Лениным и его единомышленниками поступили бы еще хуже.

После десятичасового пребывания в Стокгольме мы продолжали путешествие. В Торнео, на пограничной русской станции, встреча, оказанная эмигрантам местными солдатами, отличалась исключительной теплотой. Солдаты с воодушевлением рассказывали о революционных событиях и восторженно приветствовали вернувшихся эмигрантов. Вскоре меня разлучили с моими спутниками. При прощании мне было заявлено, что в 4 часа они под военным конвоем будут отправлены в Петроград.

Я имел намерение — и того же хотели мои спутники — сопровождать товарищей до Петрограда, но этому воспрепятствовал английский контроль. «Франкфуртская газета» впоследствии сообщила, что я на пограничной станции «решил вернуться обратно», так как пограничные власти не хотели мне гарантировать безопасность в России. По этому поводу мне хотелось бы заметить, что я никогда таких требований не предъявлял ни к какому правительству; а в Торнео со мной произошло следующее: после того как я заполнил обычный опросный лист, я подвергся самому тщательному телесному осмотру, что является процедурой чрезвычайно тягостной. После того как осмотр не дал никаких результатов, между мною и английским пограничным офицером произошел следующий разговор:

«Какие у вас имеются мотивы для поездки в Петроград и Москву?»

«Я еду для того, чтобы поддержать в министерстве свое ходатайство о выплате мне залога, внесенного мною в 1908 году в депозит суда в Риге, и для того, чтобы по личным делам навестить в Москве родителей своей жены».

Других мотивов политического характера я не указал, так как было ясно, что это могло бы только затруднить положение эмигрантов. Мое настойчивое требование дать мне возможность ехать в Петроград вызвало у офицера замечание: «Не советую вам ехать, так как вы ведь опять будете арестованы, как в 1907 и 1908 годах». Я ответил ему, что это обстоятельство не может помешать моему решению ехать; я получил продолжительный отпуск, и его сообщение никоим образом не может меня испугать. После того как английский офицер убедился, что по собственной инициативе я не откажусь от своего намерения и не соглашусь ехать обратно, он категорически заявил, что мне не будет дано разрешения переехать через границу без специального распоряжения из Петрограда и что он вынужден отвезти меня обратно под конвоем на шведскую границу. Перед отъездом я получил возможность проститься со своими товарищами и обменяться с ними несколькими словами. Ленин предложил из солидарности и по мотивам политической целесообразности настаивать на моей поездке в Петроград и отложить дальнейшее путешествие, пока не получится разрешение на мою поездку. Ленин при этом имел в виду, что я сделаю доклад Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов о переезде. Ведь можно было ожидать, что все приехавшие эмигранты будут арестованы. Однако, не желая служить препятствием для их дальнейшей поездки, я настойчиво просил оставить меня в Швеции. Я дал обещание ожидать в течение трех дней в Хапаранде и по телеграфному требованию немедленно поехать в Петроград.

Как известно, при приезде в Петроград Ленин и товарищи его не были арестованы. Наоборот, приезд Ленина был отпразднован самым торжественным образом.

После прощания меня усадили в сани, и в сопровождении конвоя я был обратно доставлен на шведскую границу.

Я пустился в обратный путь, прождавши три дня в Хапаранде; здесь я напрасно дождался разрешения на переезд через русскую границу. Я оставался также два дня в Стокгольме, чтобы в случае телеграфного разрешения из Петрограда отправиться в Россию.

Суханов описал, как Ленина встретили в Петрограде. Встреча была достойна Ленина.

Суханов описал, как Ленина встретили в Петрограде. Встреча была достойна Ленина.

Ф. ПРАЙС***Незабываемое время****

В большевистской газете «Правда» 23 февраля появилась подписанная Лениным статья, где он в решительном тоне изложил причины, в силу которых русская революция должна подписать мирные условия Германии...*** Статья тотчас же стала предметом ожесточеннейших споров. Решающий момент настал. Срок нового немецкого ультиматума истекал на следующее утро, 24 февраля, и еще этой ночью ВЦИК должен был собраться, чтобы принять решение, от которого зависела судьба революции.

...Вечером 23-го, в 8 часов большевики и левые эсеры, входившие в состав ВЦИКа, собрались на фракционные заседания... После долгих и бесплодных споров около полуночи обе фракции решили собраться вместе... В этом общем заседании участвовали также анархисты. Единственной группой, оставшейся в стороне, была кучка меньшевиков и правых эсеров. Находясь на галерее, я был свидетелем этого заседания и никогда не забуду подавленного и напряженного настроения, охватившего всех. Какой контраст тем триумфальным сценам, какие видел этот зал еще недели назад при открытии съезда Советов...

Ленин, невозмутимо потирая подбородок, смотрел перед собой, в то время как «горячая голова» — Радек нервно шагал за трибуной взад и вперед, бледный, с глазами, налившимися кровью. Казалось, что он в своем воображении рубит на куски генерала Гофмана. Потребовав слова, Радек в резком тоне заявил, что подписание мира означало бы моральное банкротство русской революции и выдачу Восточной Европы на милость прусской реакции. «Какими глазами вы посмотрите в лицо польским, литовским, латвийским, эстонским и белорусским социалистам

* *Прайс М. Филип* (1885–1973) — английский журналист, публицист, британский политик, член парламента от Лейбористской партии. В 1917 г. был корреспондентом газеты «Манчестер гардиан» в Петрограде. Встречался неоднократно с Лениным. В 1921 г. в Лондоне издал книгу «Русская революция», в которой изложил свои воспоминания о днях Великого Октября. Вместе с Дж. Ридом, А.-Р. Вильямсом и другими зарубежными журналистами вел революционную пропаганду среди войск английских и американских интервентов.

** Отрывок из книги «Русская революция» (1921) печатается по изд.: Ленин всегда с нами. М.: Художественная литература, 1967.

*** 23 февраля 1918 г. в «Правде» была напечатана статья В. И. Ленина «Мир или Война»

после того, как выдадите их немецкому генеральному штабу?» Затем на трибуну вышел Рязанов и страстно заявил, что для революции лучше погибнуть с честью, чем с позором. Казалось, никто не хотел подписания мира...

Но вот поднялся Ленин, хладнокровный, невозмутимый, как всегда. Никогда еще столь тяжелая ответственность не лежала на плечах одного человека. И все же было бы ошибочным думать, что его личность была в этой кризисной ситуации решающим фактором. Сила Ленина тогда, как и в последующее время, заключалась в его способности правильно оценивать психологию русских рабочих и крестьянских масс. Как будто даже без созыва нового Всероссийского съезда Советов он знал уже мнение депутатов тысяч губернских и уездных Советов...

Его речь произвела сильное впечатление*. Казалось, никто не находил в себе смелости возразить, каждый чувствовал правоту Ленина. Я сам, несмотря на все мое жгучее стремление к реваншу, начал склоняться к ленинским взглядам. Был объявлен перерыв до двух часов ночи, с тем чтобы привлечь фракции меньшевиков и правых эсеров и открыть заседание ВЦИКа. Затем Камков, лидер левых эсеров, выступил от имени своей партии, которая в перерыве приняла решение. Он признал фактическую правильность ленинских доводов, но заявил, что его партия отказывается нести моральную ответственность перед Европой за подписание постыдного мира. Советам следовало бы, сказал он, оставить Петроград, отойти в глубь страны и предоставить немцам спокойно продвигаться вперед, если они на это решатся. Если же будет принято противоположное решение, то левые эсеры не будут противодействовать, однако отзовут своих членов из состава Совета Народных Комиссаров. В 5 часов утра было решено провести голосование, не связывая его участников партийным решением**. Вряд ли я забуду эти мгновения. До последней минуты я сам не знал, какой из сторон русской революции, боровшихся за преобладание, я желаю победы. Наконец решение было вынесено. В пять часов утра состоялось голосование путем поднятия рук. За подписание мира проголосовало 112 человек, против — 84 и 24 воздержались***.

* Речь В. И. Ленина на объединенном заседании фракций большевиков и левых эсеров ВЦИК 23 февраля 1918 г.

** Фракция большевиков отвергла требование «левых коммунистов» о свободном голосовании и приняла решение на заседании ВЦИК голосовать за подписание мира.

*** 116 голосами против 85, при 26 воздержавшихся, заседание ВЦИК утвердило предложенную большевиками резолюцию о принятии немецких

Около шести часов утра — это было морозное зимнее утро — я, измученный усталостью и голодом, вернулся домой, чтобы тут же забыться сном.

На следующий день те делегаты и комиссары-большевики, которые минувшей ночью выступали против Ленина, совершили поездку по городу, по заводам и фабрикам, чтобы составить себе впечатление о настроении народа. Днем они вернулись в Смольный, сами проникшись теперь убеждением, что всякое сопротивление было бы невозможным. Лучшие и наиболее дальновидные рабочие Путиловского, Балтийского и Обуховского заводов, так же как и железнодорожных мастерских и верфей, понимали положение, в котором находилась молодая Советская Республика... Между тем Ленин послал местным Советам по всей территории Республики телеграммы с предложением известить о своей позиции по вопросу о ратификации мира. Он сообщил им, что в то время как ВЦИК в ходе последнего ночного заседания принял немецкий ультиматум и уже послал делегатов в Брест-Литовск для подписания мира, чтобы остановить дальнейшее продвижение немцев, во власти Советов все еще остается сделать это решение недействительным, так как договор требует ратификации Чрезвычайным съездом Советов, который должен быть созван возможно скорее.

...Первого марта поступили первые ответы на телеграмму Ленина местным Советам, и целые их пачки были напечатаны в официальных «Известиях». Они дали заслуживающую большого внимания картину настроений, царивших в провинции, и показали, как верно Ленин в ту историческую ночь 23 февраля оценил чувства своих соотечественников, когда он, можно сказать, один стремился побудить ВЦИК принять немецкий ультиматум. Советы городских и промышленных районов Северной и Центральной России сообщили в своих резолюциях, что рабочие были бы готовы сражаться, так как они вполне сознают последствия подписания мира. Однако большинство резолюций избегало определенных формулировок. Те, кто открыто выступал за подписание мира, настаивали на том, чтобы, не теряя минуты, немедленно положить начало созданию сильной Красной Армии из преданных представителей трудящихся классов. Провинциальные крестьянские Советы большей частью подчеркивали, что Россия обессилела, поэтому продолжение борьбы невозможно и мир становится главным требованием момента. Было ясно, что на успешное сопротивление рассчитывать нельзя... Ленин знал требования мо-

условий мира. Большинство «левых коммунистов» не приняло участия в голосовании, покинув на это время зал заседания.

мента: не продолжать старую войну, а использовать передышку, чтобы разоружить контрреволюционные банды, скопившиеся на плодородных окраинах России, и заложить основы свободной Рабоче-Крестьянской Армии.

К. РАВЕРА*

Могущество правды** (1960)

Осенью 1922 года в составе делегации Итальянской коммунистической партии на IV конгресс Коминтерна я впервые приехала в Страну Советов. Революционная волна, прокатившаяся по Италии в послевоенные годы, в этот момент пошла на убыль. Фашистские банды, вооруженные и оплачиваемые помещиками и капиталистами, совершали нападения на помещения газет, профсоюзных и политических организаций трудящихся. Начались зверские расправы над вожаками рабочих и крестьян. Фашизм готовился захватить власть.

...Поезд уносил нас все дальше от Италии. Стоя у окна вагона, я смотрела на поля и леса, уже покрытые снегом. Мы приближались к границе Страны Советов. Березовые рощи стояли словно заколдованные. В эту минуту я думала о русском народе, который большевики освободили от тяжкого гнета. Я думала о Ленине, который повел свой народ через величественные и героические битвы к победоносной Октябрьской революции, открывшей новую эру в жизни всего человечества...

Среди бесконечных снегов я увидела наконец большой красный флаг — государственная граница. Нас встречала страна социализма. С незабываемым волнением смотрела я на этот флаг.

В Москве мы первым делом встретились с товарищем Грамши***, который вот уже несколько месяцев представлял Итальянскую

* *Камилла Равера* (1889–1988) — журналист, видный деятель КПИ. Активный деятель итальянского коммунистического движения. Первая женщина в истории страны, возглавившая политическую партию и ставшая пожизненным сенатором. Считается знаковой фигурой для итальянского феминизма. Член Центрального комитета КПИ в 1923–1930 гг. Генеральный секретарь ЦК КПИ в 1927 г. Много раз бывала в СССР.

** Газета «Комсомольская правда», 9 апреля 1960 г.

*** *Грамши Антонио* (1891–1937) — выдающийся деятель итальянского и международного коммунистического движения, основатель и руководитель Итальянской коммунистической партии. Активнейший борец про-

компартию в Исполкоме Коминтерна. Уже в столице Страны Советов до нас дошло сообщение о «фашистском походе» — Муссолини вошел в Рим во главе банд «чернорубашечников». Их в открытую поддержали правящие круги. Государственные власти оказали фашистам молчаливое содействие. В Италии начиналось господство фашистского режима.

Однажды утром — до начала работы конгресса Коминтерна оставалось еще несколько дней — мне сказали: «Сегодня вы сможете побывать у Ленина».

Трудно кратко сказать, чем стал Ленин для нас, коммунистов, рабочих и крестьян Италии, для миллионов и миллионов людей во всех странах. Мы ассоциировали его имя с победой социализма. Трудящиеся всего мира видели в нем воплощение чаяний, надежд, идеалов всех угнетенных и эксплуатируемых. Ленин стал символом рождения нового мира, в котором навсегда будет уничтожена всякая возможность гнета и порабощения человека человеком.

Могущество мысли и воли Ленина, величие совершенного им труда заставляли каждого человека мысленно представлять себе Ленина могучим и величественным, почти мифическим существом. То же самое думала о нем и я.

Нас провели в его кабинет. Ленин пошел к нам навстречу, улыбающийся и сердечный, приветствуя по-итальянски и продолжая говорить дальше уже по-французски.

Я смотрела на него с внутренним смущением и изумлением: живой Ленин совершенно отличался от того образа, который сложился у меня раньше. Он был предельно прост во внешности, в привычках, в манере говорить. Все это сразу сделало разговор непринужденным и естественным. Я слушала его, и мне казалось, что это уже давно знакомый человек.

Мы сказали Владимиру Ильичу, что очень обеспокоены состоянием его здоровья.

— Чувствую я себя хорошо, — неожиданно сказал Ленин. — Однако мне приходится подчиняться деспотическим предписаниям врачей, дабы не заболеть снова. А это было бы неприятно — ведь столько надо сделать.

А затем Владимир Ильич перешел к разговору об успехах Советской власти. Ленин приводил многочисленные факты, данные. Потом сказал:

— Обо всем этом я буду говорить в своем докладе на конгрессе.

тив итальянского фашизма, захватившего власть в Италии в 1922 году. В 1926 г. Грамши был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Умер 27 апреля 1937 г. — *Ред.*

И тут же Ленин выразил желание ознакомиться с некоторыми новостями и мнениями по поводу последних событий в Италии.

Один из членов нашей делегации вкратце рассказал о событиях, происшедших за последнюю неделю, и повторил свое ошибочное мнение, уже высказанное им раньше среди наших делегатов: приход фашизма якобы не является фактом чрезвычайного значения. Это-де простая смена министров, означающая приход к власти более реакционного правительства, и не больше. А поэтому будто бы нет причин для изменения нашей политики и действий. Главным остается, сказал он, пропаганда принципов партии.

Ленин сразу же поставил вопрос:

— А что думают о происшедшем рабочие, крестьяне, люди из народа?

— Они борются, — несмело вмешалась я в разговор. Я думала о рабочих, убитых в Турине, о тех, кто героически сражался против фашистов и погибал в городах и деревнях Италии.

— Борются? Хорошо, это хорошо, — повторил Ленин. — Потом сказал:

— Рабочий класс всегда борется за то, чтобы завоевать и отстаивать демократические права, даже если они ограничены буржуазной властью. А когда он теряет их, он борется за то, чтобы вернуть их, и вместе с этим ищет себе союзников...

Его речь была прервана: в комнату вошла Надежда Константиновна. Она поздоровалась с нами и молча посмотрела на Ленина.

— Опять провинился, — сказал он, возвращаясь к тому шутивому тону, которым всегда говорил о своем здоровье, — время для нашего разговора окончилось. Вот что означает появление Крупской. Предписания врачей строги: переговоры не могут продолжаться свыше известного числа минут. И я, человек дисциплинированный, им повинуюсь. Мы увидимся на конгрессе, — добавил он сердечно, провожая нас до дверей своего кабинета.

Расставаясь, Владимир Ильич сказал нам серьезным тоном:

— У вас будет долгая и трудная работа. Главное — никогда, ни при каких обстоятельствах не терять связей с рабочими, с крестьянами, с женщинами, с жизнью всего народа.

Вернувшись в гостиницу, где остановилась наша делегация, я встретила товарища Джерманетто. Он спросил меня:

— Ты действительно была у Ленина?

Я подтвердила.

— Тебе повезло, — заметил он. — Мы-то его не увидим.

— Да нет же, — сказала я. — Мы все его увидим и услышим на конгрессе.

— Говорят, что его там не будет. Врачи против.

— Будет. Он сам сказал.

Джерманетто засиял и пошел сообщить новость другим товарищам. С просьбой подтвердить это ко мне зашел наш товарищ Натанджелло, молодой рабочий из Неаполя, которого мы в шутку называли «певцом», наверное, потому, что во всем мире распространено мнение, будто любой неаполитанец — певец. Его часто приглашали спеть что-нибудь делегаты из других стран. Натанджелло любезно запевал какую-нибудь неаполитанскую мелодию. Позже он признавался, что ему никогда не приходилось столько петь, как в Москве. «Певца» очень пугало, что ему не удастся передать Ленину привет, как об этом его просили земляки-рабочие.

— Ну как я покажусь у себя, — говорил он, — если я не полностью моего обязательства? Они провели на заводе сбор денег, чтобы помочь мне приехать сюда.

Ленин пришел на конгресс. Во время заседания члены нашей делегации неожиданно узнали, что Ленин направляется по коридору в зал. Мы бросились ему навстречу. Джерманетто поздоровался с ним по-французски, а потом объяснил, что мы — итальянские делегаты. Натанджелло был взволнован до предела.

— Теперь ты можешь передать привет от своих товарищей из Неаполя, — шепнула я ему.

Но он только смотрел на Ленина, не произнося ни слова.

— Я расскажу об этом своим товарищам, — говорил Натанджелло позже. — Они поймут, как я был взволнован.

Нужно ли говорить, что земляки нашего неаполитанского друга все отлично поняли.

Рим, апрель 1960 г.

А. РЭНСОМ*

Великий вождь**

1

Что бы ни думали о Владимире Ильиче Ульянове-Ленине его враги, но даже и они не отрицают, что он один из величайших людей своего времени. Стоит ли объяснять, почему я записал тот мой краткий разговор с ним, который, как мне кажется, позволяет судить о складе его ума.

Разговаривая со мной о том, что английскому рабочему движению не хватает теоретиков, он вспомнил, как на одном собрании слышал выступление Бернарда Шоу.

— Шоу, — сказал Ленин, — честный человек, попавший в компанию фабианцев. Он куда левее всех тех, кто его окружает.

Ленин ничего не знал о книге Шоу «Совершенный вагнерианец» и очень заинтересовался ею, когда я рассказал ему содержание. Кто-то из присутствовавших вмешался в разговор и назвал Шоу клоуном. Ленин сердито отрезал:

— Он, может быть, и клоун для буржуазии в буржуазном государстве, но в революции его не сочли бы за клоуна.

Он спросил меня:

— Сознательно ли работает Сидней Вебб на капиталистов?

И когда я ответил, что это, по моему глубокому убеждению, не так, Ленин заметил:

— Тогда у него больше трудолюбия, чем ума. У него безусловно огромные знания.

...О Советах Ленин сказал:

— Вначале я думал, что они есть и останутся чисто русской формой, но теперь совершенно очевидно, что под разными названиями они должны стать орудием революции повсюду.

* *Артур Рэнсом* (1884–1967) — английский писатель, журналист, корреспондент газет «Дейли ньюс» и «Манчестер гардиан» в 1919–1924 гг. в России. Брал интервью у Ленина и Троцкого. В Москве сошелся с секретарём Троцкого Евгенией Шелепиной, на которой впоследствии женился. В 1919 г. покидает Россию вместе с Шелепиной. Написал книгу «Шесть недель в России» (1919). Разведчик, агент МІБ. Профессор новой истории в Йоркширском колледже. Автор книг для детей.

** Статья «Великий вождь» печатается по изд.: Ленин всегда с нами. М.: Художественная литература, 1967.

Он выразил мнение, что в Англии не допустят, чтобы я говорил правду о России, и в качестве примера рассказал, как в Америке заставили молчать полковника Робинса. О Робинсе он спросил:

— В самом ли деле он относился к Советскому правительству дружелюбно?

Я ответил:

— Да, но только как спортсмен, восхищавшийся его мужеством и смелостью в борьбе с трудностями. Затем я привел слова Робинса, говорившего: «Я не могу воевать с ребенком, у колыбели которого провел шесть месяцев. Но если бы большевистское движение началось в Америке, я взял бы в руки винтовку, чтобы в любой момент выступить против него».

Ленин заметил:

— Вот это человек честный и гораздо дальновиднее многих. Мне он всегда нравился.

Представив себе образ ребенка, Ленин весело рассмеялся:

— У колыбели этого ребенка сидят еще несколько миллионов человек.

... Говоря о клевете, которую распространяют о России, Ленин заметил, что это главным образом извращенные факты, а не голые выдумки, и в качестве примера рассказал о недавно опровергнутом им слухе.

— Вы знаете, откуда пошел этот слух? — спросил он. — Я, разговаривая по телефону с одним знакомым, пожелал ему счастливого Нового года и сказал: «Будем надеяться, что в новом году мы совершим меньше глупостей, чем в старом». Кто-то услышал об этом и рассказал кому-то еще. Одна же из газет объявила: «Ленин говорит: мы совершаем глупости». С этого все и началось.

Больше, чем когда-либо раньше, Ленин произвел на меня впечатление счастливого человека.

Возвращаясь из Кремля, я думал: видел ли я когда-нибудь человека его калибра, который обладал бы таким же жизнерадостным темпераментом? Мне никто не приходил на ум. Этот невысокий, лысоватый, с морщинками на лице человек, который, покачиваясь на стуле, смеется то по одному, то по другому поводу, в то же время всегда готов каждому дать обстоятельный совет; при этом совет настолько хорошо аргументирован, что делается для его сторонников убедительнее любого приказа. Его морщины — морщины смеха, а не горя. Я думаю, что это именно так, ибо он первый великий вождь, который полностью отрицает значение своей собственной личности. Ему совершенно несвойственно честолюбие. Более того, как марксист, он верит в народное движение, которое с ним или без него все равно будет поступательным. Его

взгляды вообще основаны на вере в воодушевляющие народ стихийные силы, а его представление о своей роли сводится к тому, что он считает себя в состоянии правильно определить направление этих сил. Он не верит, что один человек может совершить или остановить революцию, которую он считает неизбежной. По его мнению, если русская революция и потерпит неудачу, то только временно и только благодаря силам, которые не подчинятся воле какого-либо одного человека. Поэтому он свободен, как не был свободен ни один выдающийся человек до него. Доверие к нему рождает не столько то, что он говорит, сколько эта ощущаемая в нем внутренняя свобода и это его бросающееся в глаза самоотречение. Исходя из своей философской концепции, он ни на минуту не допускает, чтобы ошибка одного человека могла испортить все дело. Сам он, по его мнению, только участник, а не причина событий, которые навеки будут связаны с его именем.

2

Я отправился к Ленину на следующий день после парада на Красной площади и праздника в честь Третьего Интернационала*.

Первым делом он сказал мне:

— Боюсь, джингоисты** в Англии и во Франции используют вчерашние события в качестве предлога для новых выступлений против нас.

Он заговорил о последней чичеринской ноте и сказал, что в России возлагают на нее большие надежды. Бальфур*** где-то сказал: «Пускай огонь погаснет сам». Так не выйдет. Но самый быстрый путь восстановить в России нормальные условия состоит, конечно, в заключении мира и соглашения с союзниками. «Я уверен, мы могли бы договориться, если бы они вообще хотели договориться. Англия и Америка, возможно, пошли бы на это, не будь их руки связаны Францией. А интервенция в широком смысле сейчас едва ли возможна. Они, должно быть, поняли, что с Россией никогда нельзя расправиться так, как расправляются с Индией, и что от-

* В. И. Ленин принял А. Рансома 7 марта 1919 г. — *Ред.*

** Джингоисты — уничижительное прозвище английских воинствующих шовинистов. — *Ред.*

*** *Бальфур Артур Джемс* (1848–1930) — английский государственный деятель, в 1916–1919 гг. министр иностранных дел Англии; после Великой Октябрьской социалистической революции один из организаторов антисоветской интервенции. — *Ред.*

правка сюда войск равноценна их отправке в коммунистический университет».

Я сказал что-то про общую обстановку враждебности, с какой встречаются пропаганду большевиков в зарубежных странах.

Ленин заметил:

— Скажите им, пусть построят вокруг каждой из своих стран китайскую стену. У них же есть таможенники, границы и береговая охрана. Они же могут убрать любых большевиков, каких только захотят. Революция не зависит от пропаганды. Если нет условий для революции, никакая пропаганда не сможет ни ускорить, ни задержать ее. Война создала эти условия во всех странах, и я убежден, что, поглоти сегодня Россию море или же исчезни она совсем с лица земли, революция в остальной Европе будет развиваться своим чередом. Спрячьте Россию на двадцать лет под воду, но и этим вы ни на шиллинг, ни на час в неделю не удовлетворите требований цеховых старост Англии.

Я заявил ему, как неоднократно заявлял большинству людей в России, что не верю в возможность революции в Англии.

Ленин ответил:

— У нас говорят, что человек может ходить и не знать, что болен тифом. Лет двадцать, а может быть, и тридцать тому назад у меня был тиф, а я об этом и не подозревал, пока он не свалил меня. Так вот, и Англия, и Франция, и Италия уже заразились. Англия, возможно, кажется вам незатронутой, но микроб уже проник в нее.

Я рассказал ему о том, что забастовки у нас носят неопределенный и разобщенный характер и что либеральный, в противовес социалистическому, характер этого движения, если только оно вообще носило политическую окраску, напоминает мне картину России 1905 года, а вовсе не России 1917 года, и что я уверен, что все утихнет.

— Да, очень возможно, — сказал Ленин. — Это, может быть, период воспитательный, во время которого английские рабочие все же осознают свои политические потребности и повернут от либерализма к социализму. Конечно, социализм в Англии слаб. Ваши социалистические движения, ваши социалистические партии... когда я был в Англии, я старался побывать всюду, где только мог, и для страны с таким большим индустриальным пролетариатом они ничтожны, ничтожны... горсточка на углу улицы... собрание в гостиной... в школьном классе... все это ничтожно. Но вы должны не забывать об одном значительном различии между Россией 1905 года и сегодняшней Англией. Наш первый Совет был создан во время революции, ваши комитеты цеховых старост существуют уже давно. У них нет программы, нет направления, но та оппозиция, с которой они столкнутся, заставит их выработать программу.

Говоря об ожидавшемся приезде бернской делегации*, он спросил меня, знаю ли я Макдональда**, чье имя фигурировало вместо имени Гендерсона*** в последующих телеграммах, в которых сообщалось об их приезде. Ленин сказал:

— Я очень рад, что вместо Гендерсона едет Макдональд. Конечно, Макдональд в любом смысле слова не марксист, но он по крайней мере интересуется теорией, а поэтому можно полагать, что он постарается понять, что здесь происходит. Большого мы не просим.

Затем мы немного поговорили о вопросе, который очень меня интересует, а именно о том, как незаметно, совершенно независимо от войны, претерпевает изменение коммунистическая теория в трудном процессе ее претворения в жизнь. Мы говорили об изменениях в «Рабочем контроле», который теперь совсем не похож на те стихийные комитеты, которые поначалу затрудняли работу. Затем мы разговорились об антипатии крестьянства к военному коммунизму и о том, как развивалась дальше эта идея. Я спросил, как будут выглядеть отношения между коммунистами городов и проникнутыми духом собственничества крестьянами и нет ли опасности того, что между ними возникнет антипатия; я сказал при этом, что мне жаль так скоро уезжать, потому что не смогу увидеть, как выдержит эластичность коммунистической теории неизбежный нажим крестьянства.

Ленин заметил, что в России наблюдается довольно резкое различие между богатыми и бедными крестьянами.

— Единственная оппозиция, — сказал он, — с которой мы сталкиваемся в России, прямо или косвенно связана с богатым крестьянством. Беднота, как только она освобождается от политического господства богатеев, становится на нашу сторону; она сейчас составляет огромное большинство. Он спросил меня, не собираюсь ли я вернуться, сказав, что я смог бы поехать в Киев понаблюдать революцию так, как я наблюдал ее в Москве. Я сказал, что мне очень не хотелось бы думать, что я в последний раз приехал в страну, которую люблю почти так же, как свою собственную. Он рассмеялся и ответил мне комплиментом, заметив,

* Имеется в виду делегация (комиссия), которая, по решению созданного в феврале 1919 г. предательского Бернского Интернационала, должна была «обследовать» политическое и экономическое положение Советской России, чтобы он получил возможность высказать свое отношение к пролетарскому государству, интервенции и т. п. — *Ред.*

** *Макдональд Джеймс Рамсей* (1866–1937) — английский политический деятель, один из основателей лейбористской партии. — *Ред.*

*** *Гендерсон Артур* (1863–1935) — английский реакционный политический деятель, один из лидеров лейбористской партии. — *Ред.*

что хотя я и англичанин, но более или менее сумел разобраться в том, чего добиваются большевики, и что он был бы очень рад видеть меня еще раз.

Д. РИД*

Десять дней, которые потрясли мир**

<Фрагмент>

Неудержимо вперед!

Четверг, 8 ноября (26 октября). Утро застало город в неистовом возбуждении. Целый народ поднимался среди рокота бури. На поверхности всё было спокойно. Сотни тысяч людей легли спать в обычное время, рано встали и отправились на работу. В Петрограде ходили трамваи, магазины и рестораны были открыты, театры работали, выставки картин собирали публику... Сложная рутина повседневной жизни, не нарушенная и в условиях войны, шла своим чередом. Ничто не может быть более удивительным, чем жизнеспособность общественного организма, который продолжает все свои дела, кормится, одевается, забавляется даже во время величайших бедствий...

Город был полон слухов о Керенском. Говорили, что он добрался до фронта и ведёт на столицу огромную армию. «Воля Народа» опубликовала приказ, выпущенный им в Пскове:

«Наступившая смута, вызванная безумием большевиков, ставит государство наше на край гибели и требует напряжения всей воли, мужества и исполнения долга каждым для выхода из переживаемого Родиной нашей смертельного испытания.

В настоящее время впредь до объявления нового состава Временного правительства, если таковое последует, каждый должен

* *Джон Рид* (1887–1920) — американский журналист и писатель, свидетель Октябрьской революции. В 1917 г. приехал в Россию. Событиям Октября посвятил знаменитую книгу «Десять дней, которые потрясли мир». В 1919 г. был избран членом Исполкома Коминтерна. В 1920 г. принимал участие в работе II конгресса Коминтерна. Умер в Москве. Похоронен на Красной площади.

** «Неудержимо вперед!» — фрагменты из V главы книги Дж. Рида «Десять дней, которые потрясли мир» (1919). Русский перевод вышел в 1923 г. с предисловием В. И. Ленина и Н. К. Крупской.

оставаться на своём посту и исполнить свой долг перед истерзанной Родиной. Нужно помнить, что малейшее нарушение существующей организации армии может повлечь за собой непоправимые бедствия, открыв фронт для нового удара противника. Поэтому необходимо сохранить во что бы то ни стало боеспособность армии, поддерживая полный порядок, охраняя армию от новых потрясений, и не поколебать взаимное полное доверие между начальниками и подчинёнными. Приказываю всем начальникам и комиссарам во имя спасения Родины сохранить свои посты, как и я сохраняю свой пост Верховного Главнокомандующего, впредь до изъявления воли Временного правительства республики...»

В ответ на это на всех стенах появилось воззвание:

«От Всероссийского съезда Советов.

Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и др. арестованы Революционным комитетом. Керенский бежал. Предписывается всем армейским организациям принять меры для немедленного ареста Керенского и доставления его в Петроград. Всякое пособничество Керенскому будет караться как тяжкое государственное преступление».

Обретя полную свободу действия, Военно-революционный комитет, словно искры, рассыпал во все стороны приказы, воззвания и декреты... Было приказано доставить Корнилова в Петроград. Члены крестьянских земельных комитетов, арестованные Временным правительством, были выпущены на свободу. Отменили смертную казнь на фронте. Государственным служащим приказали продолжать работу, угрожая за неповиновение строгими наказаниями. Погромы, беспорядки и спекуляции были запрещены под страхом смертной казни. Во все министерства назначили временных комиссаров: в министерство иностранных дел — Урицкого и Троцкого; в министерства внутренних дел и юстиции — Рыкова, в министерство труда — Шляпникова, в министерство финансов — Менжинского, в министерство социального обеспечения — Коллонтай, в министерства торговли и путей сообщения — Рязанова, в морское ведомство — матроса Корбира, в министерство почт и телеграфов — Спиро, в управление театров — Муравьёва, в управление государственных типографий — Дербышева, комиссаром Петрограда назначили лейтенанта Нестерова, комиссаром Северного фронта — Позерна*.

Армию призывали выбирать военно-революционные комитеты. Железнодорожников призывали поддерживать порядок и, главное, не задерживать подвоза продовольствия к городам и фронтам. За это им обещали допустить в министерство путей сообщения их представителей.

* Приведённые сведения не точны: в министерство иностранных дел был назначен один Урицкий; руководство морским министерством взял на себя избранный представителями всех флотов на Всероссийском съезде Советов Военно-морской революционный комитет (см.: Хроника событий. М.: Государственное издательство, М.; Л. 1926. Т. V. С. 200–201). — *Ред.*

«Братья казаки! — говорилось в одной из прокламаций. — Вас ведут на Петроград. Вас хотят столкнуть с революционными солдатами и рабочими столицы...

Не верьте ни одному слову наших общих врагов — помещиков и капиталистов.

На нашем съезде представлены все организованные рабочие, солдаты и сознательные крестьяне России. Съезд хочет видеть в своей семье и трудовых казаков. Черносотенные генералы, слуги помещиков, слуги Николая Кротового — наши враги...

Вам говорят, что Советы хотят отнять у казаков землю. Это ложь. Только у казаков-помещиков революция отнимет земли и передаст их народу.

Организуйте Советы казацких депутатов! Присоединяйтесь к рабочим, солдатским и крестьянским Советам!

Покажите чёрной сотне, что вы не станете изменниками народа, что вы не пожелаете накликать на себя проклятие всей революционной России!..

Братья казаки! Не исполняйте ни одного приказа врагов народа!..

Присылайте в Петроград ваших делегатов для сговора с нами...

Казаки петроградского гарнизона, к их чести, не оправдали надежд врагов народа...

Братья казаки! Всероссийский съезд Советов протягивает вам братскую руку.

Да здравствует союз казаков с солдатами, рабочими и крестьянами всей России!»

С другой стороны, какой бурный поток воззваний, афиш, расклеенных и разбрасываемых повсюду, газет, протестующих, проклинающих и пророчащих гибель! Настало время борьбы печатных станков, ибо всё остальное оружие находилось в руках Советов.

Первым появилось воззвание Комитета спасения родины и революции, широко распространённое по всей России и Европе:

«Гражданам Российской республики.

25 октября большевиками Петрограда вопреки воле революционного народа преступно арестована часть Вр. правительства, разогнан Временный Совет Российской республики и объявлена незаконная власть.

Насилие над правительством революционной России, совершённое в дни величайшей опасности от внешнего врага, является неслыханным преступлением против родины.

Мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и отодвигает всем желанный мир.

Гражданская война, начатая большевиками, грозит ввергнуть страну в неопишемые ужасы анархии и контрреволюции и сорвать Учредительное собрание, которое должно упрочить республиканский строй и навсегда закрепить за народом землю.

Сохраняя преемственность единой государственной власти, Всероссийский комитет спасения родины и революции возьмёт на себя инициативу воссоздания Временного правительства, которое, опираясь на силы

демократии, доведёт страну до Учредительного собрания и спасёт её от контрреволюции и анархии.

Всероссийский комитет спасения родины и революции призывает вас, граждане:

Не признавайте власти насильников!

Не исполняйте их распоряжений!

Встаньте на защиту родины и революции!

Поддерживайте Всероссийский Комитет Спасения Родины и революции!

Всероссийский Комитет Спасения Родины и Революции в составе представителей: Петроград. гор. думы, Временного Совета Российской Республики, Централ. Исп. Ком. Всер. Сов. Крест. Деп., Центр. Исп. Ком. Сов. Раб. и Сол. Д., фронтовых групп, представителей II съезда Сов. Раб. и Сол. Д., фракций с.-р., с.-д. (меньш.), народ. социал., группы “Единство” и др.»

Воззвания эсеровской партии, меньшевиков-оборонцев, исполкома крестьянских Советов, армейских комитетов, от Центрфлота...

«...Голод задавит Петроград, — кричали они все. — Германские армии растопчут нашу свободу. Черносотенные погромы захлестнут Россию, если все мы, сознательные рабочие, солдаты, граждане, не сплотимся...

Не верьте обещаниям большевиков! Обещание немедленного мира — ложь! Обещание хлеба — обман! Обещание земли — сказка!..»

И всё в этом же роде.

«Товарищи!.. Вас подло и преступно обманули! Захват власти был произведён одними большевиками... Большевики скрывали свой план от других социалистических партий, входящих в Советы...

Вам обещали землю и волю, но контрреволюция использует посеянную большевиками анархию и лишит вас земли и воли!..»

Столь же резки были и газеты:

«Наш долг, — восклицало “Дело Народа”, — разоблачить этих предателей рабочего класса. Наш долг — мобилизовать все силы и встать на защиту дела революции».

«Известия», в последний раз говорившие от имени старого ЦИК, грозили страшным возмездием...

«...А что касается съезда Советов, то мы утверждаем, что не было съезда Советов, мы утверждаем, что имело место лишь частное совещание большевистской фракции. В этом случае они не имели права лишать полномочий ЦИК».

«Новая «Жизнь», высказываясь за новое правительство, которое объединило бы все социалистические партии, резко критиковала действия эсеров и меньшевиков, ушедших со съезда, и утверждала, что восстание большевиков с непреложной ясностью

установило одно основное обстоятельство — полную беспочвенность всех иллюзий относительно сотрудничества с буржуазией.

«Рабочий Путь» опять превратился в «Правду» — ленинскую газету, закрытую в июле месяце. Она резко заявляла: «Рабочие, солдаты, крестьяне! Вы сломали в феврале самодержавие дворянской клики. Вы сломали вчера самодержавие буржуазной шайки...

И первая задача теперь — охранить все подступы к Петрограду.

Вторая задача — разоружить и окончательно обезвредить контрреволюционные элементы в Петрограде.

Третья задача — окончательная организация революционной власти и обеспечение осуществления народной программы...».

Те немногие кадетские и вообще буржуазные газеты, какие ещё продолжали выходить, относились ко всему происходившему со спокойной иронией, как бы презрительно говоря всем прочим партиям: «А что мы вам говорили?». Влиятельные члены кадетской партии всё время вертелись вокруг городской думы и Комитета спасения родины и революции. В целом буржуазия помалкивала, выжидая своего часа, который, казалось ей, был недалёк. Быть может, никто, кроме Ленина, Троцкого и петроградских рабочих и простых солдат, не допускал мысли о том, что большевики удержат власть дольше трёх дней...

В этот день я видел в огромном амфитреатре Николаевского зала бурное заседание городской думы, объявленное непрерывным. Здесь были представлены все силы антибольшевистской оппозиции. Величественный, седобородый и седовласый городской голова Шрейдер рассказывал собравшимся, как прошлой ночью он отправился в Смольный, чтобы заявить протест от имени городского самоуправления. «Дума, являющаяся в настоящий момент единственной в городе законной властью, созданной на основе всеобщего, прямого и тайного голосования, не признаёт новой власти!» — заявил он Троцкому. В ответ Троцкий сказал: «Что ж, на это есть конституционные средства. Думу можно распустить и переизбрать...». Рассказ Шрейдера вызвал бурю негодования.

«Если вообще признавать правительство, созданное штыками, — продолжал старик, обращаясь к думе, — то такое правительство у нас есть. Но я считаю законным только такое правительство, которое признаётся народом, большинством, а не такое, которое создано кучкой узурпаторов». Неистовые рукоплескания на всех скамьях, кроме большевистских. Городской голова среди шума и криков сообщает, что большевики уже нарушили права городского самоуправления, назначив в ряд отделов своих комиссаров.

Большевистский оратор, стараясь покрыть шум, кричит, что поддержка, оказанная большевикам съездом Советов, есть под-

держка всей России. «Вы не истинные представители населения Петрограда!» — восклицает он. Голоса с мест: «Оскорбление! Оскорбление!». Городской голова с достоинством напоминает, что дума была избрана на основе самого свободного избирательного права, какое только может быть. «Верно, — отвечает оратор-большевик. — Но дума избрана давно, так же давно, как ЦИК и армейские комитеты...» «Нового съезда Советов ещё не было!» — кричат ему в ответ.

«Фракция большевиков отказывается оставаться в этом гнезде контрреволюции...» Шум. «Мы требуем переизбрания думы!..» Большевики уходят из зала заседания. «Германские агенты! — кричат им вслед. — Долой изменников!»

Кадет Шингарёв потребовал, чтобы все служащие городского самоуправления, согласившиеся быть комиссарами Военно-революционного комитета, были смещены и преданы суду. Шрейдер встал и внёс предложение протестовать против угрозы большевиков распустить думу. Дума в качестве законной представительницы населения должна отказаться оставить свой пост.

Александровский зал был тоже набит битком. Шло заседание Комитета спасения. Выступал Скобелев: «Никогда, — сказал он, — положение революции не было так остро, никогда вопрос о самом существовании Российского государства не возбуждал столько тревоги. Никогда ещё история так резко и так категорически не ставила перед Россией вопрос — быть или не быть. Настал великий час спасения революции, и, сознавая это, мы охраняем тесное единение всех живых сил революционной демократии, организованная воля которой уже создала центр для спасения родины и революции. Мы умрём, но не покинем нашего славного поста...» И так далее в том же роде.

Под гром аплодисментов было сообщено, что союз железнодорожников присоединяется к Комитету спасения. Через несколько минут явились почтово-телеграфные чиновники. Затем вошло несколько меньшевиков-интернационалистов; их встретили рукоплесканиями. Железнодорожники заявили, что они не признают большевиков, что они взяли весь железнодорожный аппарат в свои руки и отказываются передавать его узурпаторской власти. Делегаты от телеграфных служащих объявили, что их товарищи наотрез отказались работать, пока в министерстве находится большевистский комиссар. Работники почты отказались принимать и отправлять почту Смольного... Все телефонные провода Смольного выключены. Собрание с огромным наслаждением выслушало рассказ о том, как Урицкий явился в министерство иностранных

дел требовать тайных договоров и как Нератов* попросил его удалиться. Государственные служащие повсюду бросали работу...

То была война — сознательно обдуманная война чисто русского типа, война путём стачек и саботажа. Председатель огласил при нас список поручений. Такой-то должен обойти все министерства, такой-то — отправиться в банки; десять-двенадцать человек были назначены в казармы убеждать солдат сохранять нейтралитет: «Русские солдаты, не лейте братской крови!». Была выделена особая комиссия для совещания с Керенским. Несколько человек было разослано по провинциальным городам для организации местных отделов Комитета спасения и для объединения всех анти-большевистских элементов.

Настроение было приподнятое: «Эти большевики хотят попробовать диктовать свою волю интеллигенции?.. Ну, мы им покажем!..» Поразителен был контраст между этим собранием и съездом Советов. Там — огромные массы обносившихся солдат, измазанных рабочих и крестьян — все бедняки, согнутые и измученные жестокой борьбой за существование; здесь — меньшевистские и эсеровские вожди, Авксентьевы, Даны, Либеры, бывшие министры-социалисты Скобелевы и Черновы, а рядом с ними кадеты вроде елейного Шацкого и гладенького Винавера. Тут же журналисты, студенты, интеллигенты всех сортов и мастей. Эта думская толпа была упитана и хорошо одета; я заметил здесь не больше трёх пролетариев...

Получены новые вести. Верные Корнилову текинцы перебили в Быхове стражу, и Корнилов бежал. Каледин двигался на Север. Московский Совет организовал Военно-революционный комитет и вступил в переговоры с комендантом города, требуя от него сдачи арсенала. Совет хотел вооружить рабочих.

Эти факты перемежались массой всевозможных слухов, сплетен и явной лжи. Так, например, один молодой интеллигент-кадет, бывший личный секретарь Милюкова, а потом Терещенко, отвёл нас в сторону и рассказал нам все подробности о взятии Зимнего дворца.

«Большевиков вели германские и австрийские офицеры!» — утверждал он.

«Так ли это? — вежливо спрашивали мы. — Откуда вы знаете?»

«Там был один из моих друзей. Он рассказал мне».

«Но как же он разобрал, что это были германские офицеры?»

«Да они были в немецкой форме!..»

* Вице-министр иностранных дел Временного правительства, бывший царский дипломат. — *Ред.*

Такие нелепые слухи распространялись сотнями. Мало того, что их печатала вся антибольшевистская пресса, им верили даже такие люди, как меньшевики и эсеры, которые всегда вообще отличались несколько более осторожным отношением к фактам.

Но гораздо серьёзнее были рассказы о большевистских насилиях и жестокостях. Так, например, повсюду говорилось и печаталось, будто бы красногвардейцы не только разграбили дочиста весь Зимний дворец, но перебили обезоруженных юнкеров и хладнокровно зарезали нескольких министров. Что до женщин-солдат, то большинство из них было изнасиловано и даже покончило самоубийством, не стерпя мучений... Думская толпа с готовностью проглатывала подобные рассказы... Но что ещё хуже, отцы и матери юнкеров и женщин читали все эти ужасные рассказы в газетах, где часто даже приводились имена пострадавших, и в результате думу с самого вечера осаждала толпа обезумевших от горя и ужаса граждан...

Очень характерен случай с князем Тумановым, чей труп, как утверждали многие газеты, был выловлен в Мойке. Через несколько часов это сообщение было опровергнуто семейством самого князя, которое заявило, что он арестован. Тогда было напечатано, что утопленник не князь Туманов, а генерал Денисов. Но генерал тоже оказался жив и здоров. Мы произвели расследование, но никаких следов якобы выловленного из Мойки трупа не обнаружили...

Когда мы выходили из думы, двое бойскаутов раздавали прокламации огромной толпе, запруживавшей Невский перед дверями. Толпа эта состояла почти исключительно из дельцов, лавочников, чиновников, конторских служащих. Вот что говорила прокламация:

«От городской думы.»

Городская дума в своём заседании от 26 октября ввиду переживаемых событий постановила объявить неприкосновенность частных жилищ и через домовые комитеты призывает население гор. Петрограда давать решительный отпор всяким попыткам врываться в частные квартиры, не останавливаясь перед применением оружия в интересах самообороны граждан».

На углу Литейного пятеро красногвардейцев и двое матросов окружили газетчика и требовали, чтобы он отдал им пачку экзemplяров меньшевистской «Рабочей Газеты». Газетчик яростно кричал на них и грозился кулаком, когда один из матросов всё-таки отнял у него газеты. Кругом собралась большая толпа, осыпавшая патруль бранью. Какой-то маленький рабочий упрямо старался переубедить газетчика и толпу, непрерывно повторяя: «Здесь на-

печатана прокламация Керенского, он говорит, что мы стреляем в русский народ. Будет кровопролитие...»

В Смольном атмосфера была ещё напряжённее, чем прежде, если это только было возможно. Всё те же люди, бегающие по тёмным коридорам, всё те же вооружённые винтовками рабочие отряды, всё те же спорящие и разъясняющие, раздающие отрывочные приказания вожди с набитыми портфелями. Эти люди всё время куда-то торопились, а за ними бегали друзья и помощники. Они были положительно вне себя, казались живым олицетворением бессонного и неутомимого труда. Небритые, растрёпанные, с горящими глазами, они полным ходом неслись к намеченной цели, стгорая воодушевлением. У них было так много, так бесконечно много дела! Надо было создать правительство, навести порядок в городе, удержать на своей стороне гарнизон, победить думу и Комитет спасения, удержаться против немцев, подготовиться к бою с Керенским, информировать провинцию, вести пропаганду по всей России от Архангельска до Владивостока. Правительственные и городские служащие отказывались повиноваться комиссарам, работники почты и телеграфа лишили Смольный сообщения с внешним миром, железнодорожники упрямо отвечали отказом на все его просьбы о поездах, а тут надвигался Керенский, на гарнизон не вполне можно было положиться, казаки готовились к выступлению... За врагами стояла не только организованная буржуазия, но и все социалистические партии, за исключением левых эсеров и нескольких меньшевиков-интернационалистов и новожизненцев, да и те колебались, не зная, на что решиться. Правда, за большевиками шли широкие массы рабочих и солдат; правда, отношение крестьянства ещё недостаточно определилось, но ведь, в конце концов, партия большевиков была далеко не богата образованными и подготовленными людьми...

Рязанов, поднимаясь по лестнице, с комическим ужасом говорил, что он, комиссар торговли и промышленности, решительно ничего не понимает в торговых делах. Наверху, в столовой, сидел, забившись в угол, человек в меховой папахе и в том самом костюме, в котором он... я хотел сказать, проспал ночь, но он провел её без сна. Лицо его заросло трёхдневной щетиной. Он нервно писал что-то на грязном конверте и в раздумье покусывал карандаш. То был комиссар финансов Менжинский, вся подготовка которого заключалась в том, что он когда-то служил конторщиком во Французском банке... А вот те четверо товарищей, которые бегут по коридору из помещения Военно-революционного комитета, налету что-то записывая на лоскутках бумаги, — это комиссары, рассылаемые по всей России, чтобы они рассказали обо всём про-

исшедшем, чтобы они убеждали и боролись теми аргументами и тем оружием, какие удастся найти...

Заседание съезда должно было открыться в час дня, и обширный зал был уже давно переполнен делегатами, было уже около семи часов, а президиум всё ещё не появлялся... Большевики и левые эсеры вели по своим комнатам фракционные заседания. Весь этот бесконечный день ушёл у Ленина и Троцкого на борьбу с сторонниками компромисса. Значительная часть большевиков склонялась в пользу создания общесоциалистического правительства. «Нам не удержаться! — кричали они. — Против нас слишком много сил! У нас нет людей. Мы будем изолированы, и всё погибнет...» Так говорили Каменев, Рязанов и др.

Но Ленин, которого поддерживал Троцкий, стоял незыблемо, как скала: «Пусть соглашатели принимают нашу программу и входят в правительство! Мы не уступим ни пяди. Если здесь есть товарищи, которым не хватает смелости и воли дерзать на то, на что дерзаем мы, то пусть они идут ко всем прочим трусам и соглашателям! Рабочие и солдаты с нами, и мы обязаны продолжать дело».

В пять минут восьмого левые эсеры послали сказать, что они остаются в Военно-революционном комитете.

«Так и есть, — говорил Ленин. — Они тянутся за нами!»

Несколько позднее, когда я сидел в большом зале за столом прессы, один анархист, сотрудничавший в буржуазных газетах, предложил мне пойти вместе с ним посмотреть, что с президиумом. Ни в комнате ЦИК, ни в бюро Петроградского Совета не оказалось никого. Мы обошли весь Смольный. Казалось, никто не имел понятия о том, где находятся руководители съезда. По дороге мой спутник рассказывал мне о своей прежней революционной деятельности, о том, как ему пришлось бежать из России и с каким удовольствием он довольно долго прожил во Франции... Большевиков этот человек считал грубыми, пошлыми и невежественными людьми, без всякого эстетического чутья. Он был очень типичным экземпляром русского интеллигента... Наконец, мы дошли до комнаты № 17, где помещался Военно-революционный комитет, и остановились перед его дверью. Мимо нас непрерывно сновали люди... Дверь открылась, и из комнаты вышел коренастый, широколицый человек в военной форме без погон. Казалось, он улыбался, но, присмотревшись, можно было догадаться, что его улыбка — это просто гримаса бесконечной усталости. То был Крыленко.

Мой спутник, изящный молодой человек очень культурного вида, радостно вскрикнул и шагнул вперёд.

«Николай Васильевич! — воскликнул он, протягивая руку. — Разве вы забыли меня? Мы с вами вместе сидели в тюрьме».

Крыленко сделал над собою усилие, сосредоточился и взгляделся. «Ах, да, — ответил он наконец, глядя на собеседника с самым дружеским выражением. — Вы С... Здравствуйте!» Они поцеловались. «Ну, что вы здесь делаете?» — и Крыленко сделал рукой широкий жест.

«О, я только наблюдаю... Вы, кажется, пользуетесь большим успехом?»

«Да, — ответил Крыленко несколько упрямым тоном. — Пролетарская революция — это большой успех!» Он улыбнулся.

«Впрочем... впрочем, может быть, мы слова встретимся с вами в тюрьме!..»

Мы пошли по коридору, и мой приятель принялся разъяснять мне положение: «Видите ли, я последователь Кропоткина. С нашей точки зрения, революция закончилась огромной неудачей: она не подняла патриотизма масс. Конечно, это доказывает только то, что наш народ ещё не созрел для революции...»

Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потёртый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твёрдый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума.

Каменев читал отчёт о действиях Военно-революционного комитета: отмена смертной казни в армии, восстановление свободы агитации, освобождение солдат и офицеров, арестованных за политические преступления, приказы об аресте Керенского и о конфискации запасов продовольствия на частных складах... Бурные аплодисменты.

Снова представитель Бунда. Непримируемая позиция большевиков губит революцию, поэтому делегаты Бунда вынуждены отказаться от дальнейшего участия в съезде.

Выкрики с мест: «Мы думали, что вы ушли ещё прошлой ночью? Сколько раз вы будете уходить?»

Затем представитель меньшевиков-интернационалистов. Крики: «Как! Вы ещё здесь?». Оратор разъясняет, что со съезда ушла только часть меньшевиков-интернационалистов, а часть осталась на съезде.

«Мы считаем передачу власти Советам опасной и, быть может, даже гибельной для революции... (Шум). — Но мы считаем своим долгом оставаться на съезде и голосовать против этой передачи».

Выступили и другие ораторы, по-видимому, получившие слово без предварительной записи. Делегат от донецких углекопов призывал съезд принять меры против Каледина, который мог отрезать столицу от угля и хлеба. Несколько солдат, только что прибывших с фронта, передали собранию восторженное приветствие от своих полков.

Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимому, не замечая нараставшую овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал: «Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури.

«Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира... Мы должны предложить народам всех воюющих стран мир на основе советских условий; без аннексий, без контрибуций, на основе свободного самоопределения народностей. Одновременно с этим мы, согласно нашему обещанию, обязаны опубликовать тайные договоры и отказаться от их соблюдения... Вопрос о войне и мире настолько ясен, что, кажется, я могу без всяких предисловий огласить проект воззвания к народам всех воюющих стран...»

Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь; голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно бы приобретённой многолетней привычкой к выступлениям — и звучал так ровно, что, казалось, он мог бы звучать без конца... Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонялся вперёд. Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц напряжённо смотрели на него, исполненные обожания.

«Обращение к народам и правительствам
всех воюющих стран.

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24–25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам

и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощённых, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, — миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, — таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.

Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги, впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций.

Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далёких заокеанских странах эта нация живёт.

Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насилеием, если ей, вопреки выраженному с её стороны желанию — всё равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнёта, — не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение её является аннексией, т. е. захватом и насилеием.

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъятия народностей условиях.

Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультимативными, т. е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира.

Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая твёрдое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтверждённых или заключённых правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Всё содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, правительство объявляет безусловно и немедленно отменённым.

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать немедленно открытые переговоры о заключении мира, правительство выражает с своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством письменных сношений, по телеграфу, так и путём переговоров между представителями разных стран или на конференции таковых представителей. Для облегчения таких переговоров правительство назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны.

Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие, причём со своей стороны считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше как на 3 месяца, т. е. на такой срок, в течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих стран, временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трёх самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие образцы чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значение, совершённых французским пролетариа-

том, наконец, в героической борьбе против исключительного закона в Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной дисциплинированной работе создания массовых пролетарских организаций Германии. Все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и её последствий, что эти рабочие всесторонней, решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации».

Когда затих гром аплодисментов, Ленин заговорил снова:

«Мы предлагаем съезду принять и утвердить это воззвание. Мы обращаемся не только к народам, но и к правительствам, потому что обращение к одним *народам* воюющих стран могло бы затянуть заключение мира. Условия мира будут выработаны за время перемирия и ратифицированы Учредительным собранием. Устанавливая срок перемирия в три месяца, мы хотим дать народам возможно долгий отдых от кровавой бойни и достаточно времени для выбора представителей. Некоторые империалистические правительства будут сопротивляться нашим мирным предложениям, мы вовсе не обманываем себя на этот счёт. Но мы надеемся, что скоро во всех воюющих странах разразится революция, и именно поэтому с особой настойчивостью обращаемся к французским, английским и немецким рабочим...».

«Революция 24–25 октября, — закончил он, — открывает собою эру социалистической революции... Рабочее движение во имя мира и социализма добьётся победы и исполнит своё назначение...»

От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин.

Было внесено и открытым голосованием немедленно принято предложение предоставить слово только представителям фракций и ограничить время ораторов 15 минутами.

Первым выступил Карелин от имени левых эсеров: «Наша фракция не имела возможности предложить поправки к тексту обращения, поэтому оно исходит от одних большевиков. Но мы всё-таки будем голосовать за него, потому что вполне сочувствуем его общему направлению...»

От социал-демократов интернационалистов говорил Кмаров, длинный, узкоплечий и близорукий человек, которому суждено было стяжать не вполне лестную известность шута оппозиции.

Только правительство, составленное из представителей всех социалистических партий, заявил он, может обладать достаточным авторитетом, чтобы решаться на столь важное выступление. Если такая социалистическая коалиция образуется, то наша фракция поддержит всю программу, если же нет, то она поддержит её только частично. Что до обращения, то интернационалисты всецело присоединяются к его основным пунктам...

После этого в атмосфере растущего воодушевления выступали один за другим ораторы. За обращение высказались представители украинской социал-демократии, литовской социал-демократии, народных социалистов, Польской и Латышской социал-демократии. Польская социалистическая партия тоже высказалась за воззвание, но оговорила, что она предпочла бы социалистическую коалицию... Что-то пробудилось во всех этих людях. Один говорил о «грядущей мировой революции, авангардом которой мы являемся», другой — о «новом веке братства, который объединит все народы в единую великую семью...» Какой-то делегат заявил от своего собственного имени: «Здесь какое-то противоречие. Сначала вы предлагаете мир без аннексий и контрибуций, а потом говорите, что рассмотрите все мирные предложения. Рассмотреть — значит принять...»

Ленин сейчас же вскочил с места: «Мы хотим справедливого мира, но не боимся революционной войны... По всей вероятности, империалистические правительства не ответят на наш призыв, но мы не должны ставить им ультиматум, на который слишком легко ответить отказом... Если германский пролетариат увидит, что мы готовы рассмотреть любое мирное предложение, то это, быть может, явится той последней каплей, которая переполняет чашу, и в Германии разразится революция...

Мы согласны рассмотреть любые условия мира, но это вовсе не значит, что мы согласны принять их. За некоторые из наших условий мы будем бороться до конца, но очень возможно, что среди них найдутся и такие, ради которых мы не сочтём необходимым продолжать войну... Но главное — мы хотим покончить с войной...»

Было ровно 10 часов 35 минут, когда Каменев предложил всем, кто голосует за обращение, поднять свои мандаты. Один из делегатов попробовал было поднять руку против, но вокруг него разразился такой взрыв негодования, что он поспешно опустил руку... Принято единогласно.

Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на ноги, и наше единое дыхание вылилось в стройном, волнующем звучании «Интернационала». Какой-то старый, сидящий солдат плакал, как ребёнок. Александра Коллонтай потихоньку смахнула сле-

зу. Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо. «Конец войне! Конец войне!» — радостно улыбаясь, говорил мой сосед, молодой рабочий. А когда кончили петь «Интернационал» и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей-то голос крикнул из задних рядов: «Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!». И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую и бесконечно трогательную. Ведь «Интернационал» — это всё-таки напев, созданный в другой стране. Похоронный марш обнажает всю душу тех забытых масс, делегаты которых заседали в этом зале, строя из своих смутных прозрений новую Россию, а может быть, и нечто большее...

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали всё, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.
Настанет пора, и проснётся народ,
Великий, могучий, свободный.
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный!

Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики Мартовской революции, во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть всё свершилось не так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но всё-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно...

Ленин оглашал декрет о земле:

«1) Помещичьи собственности на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мёртвым инвентарём, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания.

3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.

4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, ^[5.31] составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград, № 88, 19 августа 1917 г.).

5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются».

«Это, — добавил Ленин, — не проект бывшего министра Черно-ва, который говорил, что надо “строить леса”, и пытался провести реформу сверху. Вопрос о переделе земли будет разрешён снизу, на местах. Крестьянский надел будет варьироваться в зависимости от местности...

При Временном Правительстве помещики наотрез отказывались слушаться приказаний земельных комитетов, — тех самых земельных комитетов, которые были задуманы Львовым, проведены в жизнь Шингарёвым и управлялись Керенским!»

Дебаты ещё не начались, когда какой-то человек силой проложил себе путь, расталкивая толпу, забивавшую проход, и взобрался на трибуну. То был член исполнительного комитета крестьянских Советов Пьяных. Он был вне себя от ярости.

«Исполнительный комитет Всероссийских Советов крестьянских депутатов протестует против ареста наших товарищей, министров Салазкина и Маслова! — резко бросил он в лицо делегатам. — Мы требуем их немедленного освобождения! Они сидят в Петропавловской крепости. Нужно действовать немедленно. Нельзя терять ни минуты!»

За ним последовал солдат с растрёпанной бородой и горящими глазами. «Вы сидите здесь и разговариваете о передаче земли крестьянам, а сами в это время расправляетесь с выборными представителями этих крестьян, как тираны и узурпаторы! Говорю вам, — он поднял кулак, — говорю вам, что, если хоть волос упадёт с их головы, вы будете иметь дело с восстанием!» Толпа смущённо загудела.

На трибуну поднялся спокойный и ядовитый, уверенный в своей силе Троцкий. Собрание встретило его приветственным гулом. «Вчера Военно-революционный комитет принял принципиальное решение освободить эсеровских и меньшевистских министров: Маслова, Салазкина, Гвоздева и Малянтовича. Если они всё ещё сидят в Петропавловской крепости, то это только потому, что мы слишком заняты... Разумеется, они останутся под домашним арестом, пока не будет окончательно выяснено их участие в предательских действиях Керенского во время корниловщины».

«Никогда, — кричал Пьяных, — никогда ни в одной революции не было того, что мы видим сейчас!»

«Ошибаетесь, — отвечал Троцкий. — Подобные вещи видела даже наша революция. В июльские дни были арестованы сотни наших товарищей... Когда товарищ Коллонтай по требованию врача была освобождена из тюрьмы, то Авксентьев приставил к её дверям двух агентов бывшей царской охранки!» Крестьянские представители ушли, ругаясь. Собрание проводило их насмешками.

Представитель левых эсеров высказался о земельном декрете. Вполне соглашаясь с декретом принципиально, левые эсеры, однако, смогли голосовать за него только после обсуждения. Необходимо узнать мнение крестьянских Советов.

Меньшевики-интернационалисты тоже настаивали на обсуждении вопроса внутри своей партии.

Затем выступил вождь максималистов, т. е. анархистского крыла крестьянства: «Мы не можем не отдать должное той политической партии, которая в первый же день без всякой болтовни проводит в жизнь такое дело!..»

На трибуне появился типичный крестьянин — длинноволосый, в высоких сапогах и овчинном тулупе. Он кланялся на все стороны. «Здравствуйте, товарищи и граждане, — говорил он. — Тут всё бродят кругом кадеты. Вот вы арестуете наших крестьян-социалистов, а что же вы кадетов этих не арестуете?»

Это был сигнал к возбуждённым крестьянским спорам. Точно так же спорили солдаты прошлой ночью. Здесь были истинные пролетарии земли...

«Члены нашего исполнительного комитета Авксентьев и другие, которых мы считали защитниками крестьянства, — это те же кадеты! Арестовать их! Арестовать их!»

Чей-то другой голос: «Кто они, все эти Авксентьевы и Пьяных? Они вовсе не крестьяне! Они только языком болтают!»

Как потянулась к этим ораторам толпа делегатов, чувствуя в них своих братьев!

Левые эсеры предложили получасовой перерыв. Когда делегаты стали выходить из зала, Ленин поднялся со своего места:

«Нам нельзя терять времени, товарищи! Завтра утром вся Россия должна узнать новости колоссального значения! Никаких задержек!»

Среди оживлённых споров, разговоров и топота сотен ног слышен был голос представителя Военно-революционного комитета, кричавший:

«В 17-ю комнату нужно пятнадцать агитаторов! Для отправки на фронт!..»

Два с половиной часа спустя делегаты отдельными группами вернулись в зал, президиум занял своё место, и заседание воз-

обновилось. Началось чтение телеграмм от различных полков, обещавших Военно-революционному комитету свою поддержку.

Собрание постепенно раскачивалось. Делегат от русских войск на Македонском фронте с горечью рассказывал об их положении. «Нам больше приходится терпеть от дружбы наших “союзников”, чем от неприятеля», — говорил он. Представители X и XII армий, только что спешно прибывшие с фронта, заявили: «Мы обещаем вам всемерную поддержку!» Какой-то солдат из крестьян протестовал против освобождения «социал-предателей Маслова и Салазкина». Что до исполнительного комитета крестьянских Советов, то его надо поголовно арестовать! Да, это были истинно революционные слова... Делегат от русских войск в Персии заявил, что ему поручено требовать передачи всей власти Советам... Офицер-украинец кричал на своём родном языке: «В момент такого кризиса не может быть никакого разделения по национальностям... Да здравствует диктатура пролетариата во всех странах!» Так бурлил этот поток возвышенных и горячих мыслей, и было ясно, что Россия уже никогда не сможет снова онеметь.

Каменев заявил, что антибольшевистские силы повсюду стремятся создавать беспорядки, и огласил воззвание съезда ко всем Советам на местах:

«Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов поручает Советам на местах принять немедленно самые энергичные меры к недопущению контрреволюционных выступлений, антиеврейских и каких бы то ни было *погромов*. Честь рабочей, крестьянской и солдатской революции требует, чтобы никакие *погромы* не были допущены.

Красная Гвардия в Петрограде, революционный петроградский гарнизон и матросы обеспечили в столице полный порядок.

Рабочие, солдаты и крестьяне всюду на местах должны поступить по примеру петроградских рабочих и солдат.

Товарищи солдаты и казаки, на вас в первую очередь ложится обязанность обеспечить подлинно революционный порядок. На вас смотрят вся революционная Россия и весь мир!».

В два часа ночи декрет о земле был поставлен на голосование и принят всеми голосами против одного. Крестьянские делегаты были в неистовом восторге...

Так большевики неудержимо неслись вперёд, отбрасывая все сомнения и сметая со своего пути всех сопротивляющихся. Они были единственными в России, обладавшими определённой программой действий, в то время как все прочие целых восемь месяцев занимались одной болтовнёй.

На трибуну поднялся измождённый, оборванный, красноречивый солдат. Он протестовал против той статьи наказа*, в которой говорится, что дезертиры лишаются земельного надела. Сначала его встретили шиканьем и свистом, но под конец его простые и трогательные слова заставили всех замолчать: «Несчастный солдат, насильно загнанный в окопную мясорубку, весь бессмысленный ужас которой вы сами признаёте в декрете о мире, — кричал он, — встретил революцию как весть о мире и свободе. Мир? Правительство Керенского заставило его снова наступать, идти в Галицию, убивать и погибать. Он умолял о мире, а Терещенко только смеялся... Свобода? При Керенском он увидел, что его комитеты разгоняются, его газеты закрываются, ораторов его партии сажают в тюрьму... А дома, в родной деревне, помещики борются с земельными комитетами и сажают за решётку его товарищей... В Петрограде буржуазия в союзе с немцами саботировала снабжение армии продовольствием, одеждой и боеприпасами... Солдат сидел в окопах голый и босый. Кто заставил его дезертировать? Правительство Керенского, которое вы свергли!» Под конец ему даже аплодировали.

Но тут выступил с горячей речью другой солдат: «Правительство Керенского — не ширма, за которой может укрываться такое грязное дело, как дезертирство! Дезертир — это негодяй, который бежит домой и покидает товарищей, умирающих в окопах! Каждый дезертир — предатель и должен быть наказан...» Шум, крики: «Довольно! Тише!». Каменев поспешно предлагает передать вопрос на рассмотрение правительства.

В 2 часа 30 минут ночи наступило напряжённое молчание. Каменев читает декрет об образовании правительства:

«Образовать для управления страной впредь до созыва Учредительного собрания временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров.

Заведование отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить проведение в жизнь провозглашённой съездом программы, в тесном единении с массовыми организациями рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии председателей этих комиссий, т. е. Совету Народных Комиссаров.

Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Советов ра-

* Имеется в виду наказ, принятый съездом одновременно с декретом о земле. — *Ред.*

бочих, крестьянских и солдатских депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету...».

В зале тишина; затем, при чтении списка народных комиссаров, взрывы аплодисментов после каждого имени, особенно Ленина и Троцкого.

«...Председатель Совета — *Владимир Ульянов (Ленин)*;
Народный комиссар по внутренним делам — *А. И. Рыков*;
Земледелия — *В. П. Милютин*;
Труда — *А. Г. Шляпников*;
По делам военным и морским — комитет в составе: *В. А. Овсёенко (Антонов)*, *Н. В. Крыленко* и *П. Е. Дыбенко*;
По делам торговли и промышленности — *В. П. Ногин*;
Народного просвещения — *А. В. Луначарский*;
Финансов — *И. И. Скворцов (Степанов)*;
По делам иностранным — *Л. Д. Бронштейн (Троцкий)*;
Юстиции — *Г. И. Оппоков (Ломов)*;
По делам продовольствия — *И. А. Теодорович*;
Почт и телеграфа — *Н. П. Авилов (Глебов)*;
Председатель по делам национальностей — *И. В. Джугашвили (Сталин)*.
Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно остаётся незаполненным».

Вдоль стен зала тянулась линия штыков; штыки торчали и над стульями делегатов. Военно-революционный комитет вооружил всех. Большевизм вооружался для решительного боя с Керенским, звуки труб которого уже доносились с юго-востока... Никто не хотел уходить домой. Наоборот, в зал пробирались всё новые и новые сотни людей. Огромное помещение было битком набито солдатами с суровыми лицами и рабочими. Долгими часами стояли они здесь, неумолимо внимая ораторам. Тяжёлый, спёртый воздух был полон табачного дыма; пахло потом, человеческим дыханием и грязной одеждой.

Авилов из редакции «Новой Жизни» говорил от имени социал-демократов интернационалистов и оставшихся меньшевиков-интернационалистов. У него было молодое тонкое лицо; его изящный сюртук резко дисгармонировал с окружающей обстановкой.

«Мы должны отдать себе ясный отчёт в том, что происходит и куда мы идём... Та легкость, с которой удалось свалить коалиционное правительство, объясняется не тем, что левая демократия очень сильна, а исключительно тем, что это правительство не могло дать народу ни хлеба, ни мира. И левая часть демократии сможет удержаться только в том случае, если она сможет разрешить обе эти задачи.

Может ли она дать народу хлеб? Хлеба в стране очень мало. Большинство крестьянской массы не пойдёт за вами, потому что вы не можете дать крестьянам машины, в которых крестьяне так нуждаются. Топлива и других предметов первой необходимости почти невозможно достать...

Так же трудно, и даже ещё труднее, добиться мира. Правительства союзных держав отказались говорить даже со Скобелевым, а предложения мирной конференции, исходящего от вас, они не примут ни в коем случае. Вас не признает ни Лондон, ни Париж, ни Берлин.

Пока нельзя рассчитывать на активную поддержку пролетариата союзных стран, ибо он в своём большинстве пока очень далёк от революционной борьбы. Вспомните, что союзной демократии не удалось даже созвать Стокгольмскую конференцию. Что же до германской социал-демократии, то я только что говорил с нашим стокгольмским делегатом товарищем Гольденбергом. Представители крайней левой заявляют ему, что во время войны революция в Германии невозможна...» Выкрики с мест становились всё более частыми и озлобленными, но Авилов продолжал:

«Будет ли русская армия разбита немцами, так что австро-германская и англо-французская коалиция помирятся за наш счёт, заключим ли мы сепаратный мир с Германией, в результате всё равно получится полная изоляция России.

Я только что узнал, что союзные послы собираются уезжать и что по всем городам России организованы комитеты спасения родины и революции...

Ни одна партия не может в одиночку справиться с такими невероятными трудностями. Только настоящее большинство народа, поддерживающее правительство социалистической коалиции, может завершить дело революции...»

Затем он огласил резолюцию обеих фракций:

«Признавая, что для спасения завоеваний революции необходимо немедленное образование правительства, опирающегося на революционную демократию, организованную в Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, признавая, далее, что задачей этого правительства является: скорейшее достижение демократического мира, передача земли в распоряжение земельных комитетов, организация контроля над производством и созыв в назначенный срок Учред. собрания, съезд постановляет: выбрать временный исполнит. комитет для создания правительства по соглашению с теми группами революционной демократии, которые действуют на съезде».

Спокойные и холодные рассуждения Авилова привели делегатов в некоторое смущение, несмотря на весь их революционный

энтузиазм. К концу речи крики и свист смолкли, а когда Авиллов кончил говорить, кое-где даже раздались аплодисменты.

За Авилловым последовал Карелин, тоже молодой и бесстрашный, в искренности которого никто не сомневался, и притом представитель партии левых эсеров, т. е. партии Марии Спиридоновой, единственной партии, следовавшей за большевиками, той партии, которая вела за собой революционное крестьянство.

«Наша партия отказалась войти в Совет Народных Комиссаров, потому что мы не хотим навсегда порвать с той частью революционной армии, которая ушла со съезда. Такой разрыв лишил бы нас возможности быть посредниками между большевиками и другими демократическими группами. А именно такое посредничество и является в настоящий момент нашей основной обязанностью. Мы не можем поддерживать никакого правительства, кроме правительства социалистической коалиции...

Кроме того, мы протестуем против деспотического поведения большевиков. Наши комиссары прогнаны со своих постов. Вчера запрещён наш единственный печатный орган “Знамя Труда”.

Городская дума создаёт для борьбы с вами могущественный Комитет спасения родины и революции. Вы уже изолированы. Ни одна демократическая группа не поддерживает вашего правительства...»

На трибуну поднялся уверенный и владеющий собой Троцкий. На его губах блуждала саркастическая улыбка, почти насмешка. Он говорил звенящим голосом, и огромная толпа подалась вперёд, прислушиваясь к его словам.

«Все эти соображения об опасности изоляции нашей партии не новы. Накануне восстания нам тоже пророчили неминуемый провал. Против нас были решительно все; Военно-революционному комитету оказала поддержку только фракция левых эсеров. Но каким же образом нам всё-таки удалось почти без кровопролития сбросить Временное правительство?.. Этот факт является самым ярким доказательством того, что мы не были изолированы. В действительности изолированным оказалось Временное правительство; были изолированы демократические партии, идущие против нас, они и сейчас изолированы и навсегда порвали с пролетариатом!

Нам говорят о необходимости коалиции. Возможна только одна коалиция — коалиция с рабочими, солдатами и беднейшим крестьянством. И честь осуществления этой коалиции принадлежит нашей партии... Какую коалицию имеет в виду Авиллов? Коалицию с теми, кто поддерживал правительство измены народу? Коалиция не всегда увеличивает силы. Например, могли бы мы организовать восстание, если бы в наших рядах находились Дан и Авксентьев?»

Взрывы смеха.

«Авксентьев давал мало хлеба. Но разве коалиция с оборонцами даст больше? Когда надо выбирать между крестьянами и Авксентьевым, который арестовывал земельные комитеты, мы выбираем крестьян! Наша революция останется классической в истории...

Нас обвиняют в отказе от соглашения с другими демократическими партиями. Но мы ли виновны в этом? Или, быть может, виновно, как думает Карелин, “недоразумение”? Нет, товарищи. Когда в самом разгаре революции партия, ещё окутанная пороховым дымом, приходит и говорит: “Вот власть, берите её!”, а те, кому эта власть предлагается, переходят в стан врагов, то это не недоразумение... это — объявление беспощадной войны! И объявили эту войну не мы...

Авилов грозит, что если мы останемся “изолированными”, то наши усилия добиться мира останутся безуспешными. Повторяю, я не вижу, каким образом коалиция со Скобелевым или даже с Терещенко может помочь нам добиться мира. Авилов пытается запугать нас опасностью мира за счёт России. На это я отвечаю, что если Европа и впредь будет возглавляться империалистической буржуазией, то революционная Россия всё равно неизбежно погибнет...

Одно из двух: либо русская революция вызовет революционное движение в Европе, либо европейские державы задушат русскую революцию!»

Делегаты бурно аплодировали, они горели дерзанием, чувствуя себя борцами за всё человечество. И с этих пор во всех действиях восставших масс появилась и осталась навсегда какая-то осознанная и твёрдая решимость.

Но и другая сторона уже начинала вступать в борьбу. Каменев дал слово представителю союза железнодорожников. То был коренастый человек с жёстким лицом, не скрывавший своей непримиримой враждебности. Его речь подействовала на собрание, как разорвавшаяся бомба.

«Я прошу слова от имени сильнейшей организации в России и заявляю вам: Викжель* поручил мне довести до вашего сведения решение нашего союза по вопросу об организации власти. Центральный комитет безусловно отказывается поддерживать большевиков, если они и впредь останутся во вражде со всей русской демократией». В зале поднимается страшный шум.

«В 1905 г. и в корниловские дни железнодорожные рабочие показали себя лучшими защитниками революции. Но вы не пригласили нас на свой съезд». Крики: «Вас не пригласил старый ЦИК!» Оратор не слушает и продолжает: «Мы не признаём этого съезда законным: после ухода меньшевиков и эсеров здесь не осталось необходимого кворума... Наш союз поддерживает старый ЦИК и заявляет, что съезд не имеет права избрания нового ЦИК...

* Викжель — Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожных рабочих и служащих. — *Ред.*

Власть должна быть социалистической и революционной властью, ответственной перед авторитетными органами всей революционной демократии. Впредь до создания такой власти союз железнодорожников, отказываясь перевозить контрреволюционные отряды, направляемые в Петроград, в то же время воспрещает своим членам исполнять какие бы то ни было приказания, не утверждённые Викжелем. Викжель берёт в свои руки всё управление российскими железными дорогами».

Конец этой речи почти потонул в яростной буре общего негодования. Но всё-таки это был тяжёлый удар. Чтобы убедиться в этом, достаточно было поглядеть на озабоченные лица членов президиума. Каменев кратко ответил, что никаких сомнений в правомочности съезда не может быть, так как, несмотря на уход меньшевиков и эсеров, на съезде осталось даже больше членов, чем требует кворум, установленный старым ЦИК...

Затем подавляющим большинством голосов был избран Совет Народных Комиссаров.

Избрание нового ЦИК, нового парламента Российской республики, заняло не больше четверти часа. Троцкий огласил результаты: сто членов, из них семьдесят большевиков... Что до крестьян и ушедших со съезда партий, то для них оставлены свободные места. «Мы с радостью примем в правительство все партии и группы, которые примут нашу программу», — так заключил Троцкий своё сообщение.

Тотчас же после этого II Всероссийский съезд Советов был закрыт, чтобы его делегаты могли поскорее разъехаться по всем уголкам России и рассказать о происшедших великих событиях...

Было почти семь часов утра, когда мы разбудили спящих кондукторов и вагонновожатых в стоящих перед Смольным трамваях. Эти трамваи были присланы союзом трамвайных рабочих для доставки делегатов по домам. Атмосфера в переполненных вагонах, мне показалось, была уже не так радостна и беззаботна, как в прошлую ночь. Очень многие имели сильно встревоженный вид. Может быть, в душе они говорили: «Ну, вот мы и стали хозяевами... Как-то нам удастся провести свою волю?..»

Около нашего дома мы были задержаны и тщательно обысканы патрулём вооружённых обывателей. Думская прокламация делала своё дело...

Хозяйка услышала нас и выбежала навстречу в розовом шёлковом капоте.

«Домовый комитет снова требует, чтобы вы дежурили наравне с прочими мужчинами!»

«А для чего нужны эти дежурства?»

«Надо же защищать женщин и детей».

«От кого?»

«От разбойников и громил».

«А если придёт комиссар от Военно-революционного комитета и будет искать оружие?»

«Да, они все себя так называют... Да и потом — не всё ли это равно?»

Я официально заявил, что консул воспретил всем американским гражданам иметь при себе оружие в тех районах, где проживает русская интеллигенция...

<...>

Д. РОДАРИ*

Горные вершины революции (1967)

Октябрьская революция — это история нашего сегодня, нашего завтра. Она изменила облик всего мира, а не только той страны, в которой восторжествовала. Она изменила и облик её врагов. Она присутствует в воздухе, которым мы дышим, даже когда мы это не замечаем. В книгах, которые о ней рассказывают, говорится не о наших предках или о наших дедах — в них говорится о НАС.

При посещении Советского Союза бросается в глаза, что здесь нет деления на людей, которые идут в счёт, и обезличенную массу. Конечно, различия существуют, но «право быть личностью» не является привилегией узкой группы людей.

Социализм воспринимается здесь прежде всего как действительность, а затем уже как социальное устройство и экономическая система. Эта человеческая гуманная действительность производит неотразимое впечатление даже на тех, кто не одобряет социализм...

Джанни Родари
REVOLUCION

Я улыбнусь, когда однажды, блуждая меж бетонных глыб вооруженных встречу граждан и вдруг пойму, что я погиб.

* Джанни Родари (1920–1980) — всемирно известный детский писатель, автор «Чипполино». Журналист. Сотрудник итальянской коммунистической газеты «Унита», часто бывал в СССР. В 1941 г. вступил в Национальную фашистскую партию.

Революция, здравствуй, здравствуй, я буду первым из.
чтобы на площади, на красной, висеть башкою вниз.
Революция, здравствуй.

Мне не дано уже узнать, какое небо над тобою,
мне скоро будет наплевать, и ты глаза мои закроешь.

Какая странная тоска, я разрываюсь пополам,
но можешь знать наверняка, я эту Веру не предаю.
Революция, здравствуй.

Наш народ с энтузиазмом собрался на этот гигантский митинг,
чтобы выразить вам, наши чувства, любви и уважения
к советскому народу, казалось, эта была не партия, завоевавшая
власть почти 60 лет назад,
а партия полная новой и неисчерпаемой энергией, которая
каждый день идет по пути революции.

Р. РОЛЛАН*

Дневники военных лет**

...Говорили о Ленине. Ленин резкий, безгранично прямолинейный человек. Он всюду вносит бурю, борьбу...

Он пользуется огромным авторитетом. Это «святой», говорит Луначарский (впрочем, строго судящий о нем). У него нет никаких слабостей. Он целиком отдает себя делу. Его даже нельзя обвинить в высокомерии или в честолюбии, как это может показаться на первый взгляд. Он не страдает честолюбием. И он первый уступит место человеку, который, по его мнению, сможет принести больше пользы делу. Однако он убежден, что правда на его стороне. И ради этой правды он готов пожертвовать всем...

* *Ромен Роллан* (1866–1944) — французский писатель, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1915) «За высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине». Активно переписывался с Львом Толстым, приветствовал Февральскую революцию и одобрительно относился к Октябрьской революции в России 1917 г., но страшился её методов и идеи «цель оправдывает средства».

** Из «Дневников военных лет» — отрывки из 20-й тетради «Дневников» Р. Роллана, относящиеся к 1917 г.

На смерть Ленина*

...Я не разделял идей Ленина и русского большевизма. Но именно потому, что я слишком индивидуалист и слишком идеалист, чтобы присоединиться к марксистскому кредо и его материалистическому фатализму, я придаю огромное значение великим личностям и горячо восторгаюсь личностью Ленина. Я не знаю более могучей индивидуальности в современной Европе. Его воля так глубоко взбороздила хаотический океан дряблого человечества, что еще долго след не исчезнет в волнах, и отныне корабль, наперекор бурям, устремляется на всех парусах вперед, к новому миру.

Никогда еще после Наполеона европейская история не знала такой стальной воли. Никогда еще, со своих героических времен, европейские религии не знали апостола столь несокрушимой веры. И, главное, никогда еще человеческая деятельность не выдвигала вождя, учителя, людей, столь чуждого каких-либо личных интересов. Его духовный облик еще при жизни запечатлелся в сердцах людей и останется нетленным в веках.

А. САТХЕ**

Давайте о Ленине песню споем***

Давайте о Ленине песню споем,
О Ленине, имя которого счастье приносит,
О Ленине, славном учителе нашем,
Который в России вырастил
Красный цветок революции,
О Ленине, поводе ре миллионеров,
О неугасимой звезде угнетенных,

* «На смерть Ленина» написано в 1924 г., представляет собой ответ на просьбу газеты «Известия» высказаться о В. И. Ленине в связи с его смертью.

** *Аннабхау Сатхе* (Тукарам Бхурао Сате; 1920–1968) — индийский писатель, писал на маратхи, драматург. Социальный реформатор, находился под влиянием коммунистической идеологии. Народный поэт Индии. Советскому читателю был известен по повести «Читра», опубликованной на русском языке в 1959.

*** Стихотворение «Давайте о Ленине песню споем» печатается по изд.: Капитан Земли. Писатели мира о В. И. Ленине. М., 1976. Перевод с маратхи Д. Смирнова.

О друге,
Вожде мировой революции.
Он был непреклонным,
Великим борцом,
Он жертвой своею врагов ослепил,
И даже решетка тюремная рухнула,
Чтоб выпустить узника, —
Даже железо
Согнулось пред духом великим борца.
Он вырастил красное знамя, как деревце,
И яркое солнце свободы взошло,
И в двадцать четвертом году, в январе,
Луч солнца не умер —
Тот луч перешел
В сердца миллионов, простые сердца.

А. СТИЛЬ*

Учитель**

Впервые, то есть действительно в самый первый раз в жизни, я услышал имя Ленина, когда мне было десять или двенадцать лет. Одним из наших соседей был старый шахтер-коммунист Эдмон Лардо. Именно он вовлек моего старшего брата в ряды партии. Часто я слушал, как они беседовали друг с другом. И так как в эту эпоху кругозор большинства рабочих, среди которых я жил, ограничивался примерно тем, что происходило в пределах нашего округа, а Эдмон Лардо, как и все остальные, обычно не уходил из деревни далее чем на несколько километров, то я вполне искренне считал, что Ленин тоже находится где-то поблизости, что этот великий человек живет где-то в нашем районе. Дело, однако, не в этой ошибке, не в этом заблуждении детского ума. Впоследствии Эдмон Лардо занял особое место в моей писательской биографии. Он явился как бы воплощением связи самой бедной и скудной жизни с величайшими идеями, поднимающими со-

* *Андре Стиль* (1921–2004) — французский писатель. Член ФКП с 1940, участник Движения Сопротивления. Лауреат Сталинской премии второй степени (1952).

** Статья «Учитель» написана в 1960 г., была напечатана в «Литературной газете» (1960, 23 апреля).

знание и душу человека. Именно он стал прототипом ряда столь дорогих мне образов старых рабочих в моих произведениях, начиная от «Слово “шахтер”, товарищи...» и вплоть до «Поставлен вопрос о счастье».

И вот еще один результат этих давних, детских впечатлений: на всю жизнь я сохранил особенно сильное ощущение — в дальнейшем оно подкреплялось фактами и чтением, — ощущение ленинской простоты, его подлинной человечности, его умения быть неизменно, как скажет потом Поль Элюар, «на человеческой высоте», на уровне народа, его способности умом и сердцем понимать до конца то, что волновало рабочих и крестьян. Вот почему миллионы людей на земле не могут сдержать слез волнения, когда видят Ленина, например, на экране, даже если его образ воплощен актером.

Но по-настоящему ленинская мысль открылась мне впервые, когда я прочитал его «Философские тетради». На молодого интеллигента, вынесшего из буржуазной средней школы весьма путаную систему знаний и сразу же познавшего ужасы войны и гитлеровской оккупации, эта книга, тогда, разумеется, запрещенная, не могла не оказать огромного, глубокого и устойчивого влияния.

Прежде всего, это явилось для меня первым знакомством с теорией познания, первым шагом на тернистом пути к знанию и от него — к практике. Но мне хотелось бы особенно подчеркнуть, чем было это чтение для человека, который не только стремился отточить свое сознание и углубить понимание жизни, но воспринимал ленинские слова так же, как поэт и как романист. И сколько же здесь было — именно в этом смысле — пищи для размышлений, какие удивительные открытия удавалось делать! Чтение этого произведения Ленина, несомненно, оказало решающее влияние на мое последующее развитие как писателя. Какая огромная поэтическая сила, в самом высоком значении слова, исходила от этого богатого оттенками и смелого мировоззрения, хотя при первом ознакомлении с ним кое-что казалось мне непонятным. А сколько поэзии в таком ярком ленинском образе: «Но и пена есть выражение сущности!» А ведь как раз эта формула и контекст, в котором она приведена, помогают точно определить роль детали в искусстве, дают будущему писателю драгоценную отправную точку.

Прекрасная формула, — восклицал Ленин, — «Не только абстрактно всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного» (все богатство особого и отдельного!)!! *Tres bièn!**. То было предупреждением против всяческих тенденций к схематизму.

* Очень хорошо! (*фр.*).

А сколько еще уроков мог извлечь будущий писатель из всех ленинских определений диалектики, противоречий, являющихся источником всякого движения, всякой жизни, из рассуждений о единстве противоположностей, о взаимоотношениях субъективного и объективного, идеального и действительного. Все это побуждало смотреть на литературное творчество не как на легкую игру, но как на деятельность, полную ответственности. Дух высокой ответственности пронизывает это ленинское произведение. Оно отмечено и необыкновенной легкостью, красотой стиля, наглядно демонстрирует истинность идеи, единства формы и содержания. Все в этой работе свидетельствует о неимоверном трудолюбии автора, его профессиональном умении, его ясной политической позиции и четком выборе темы.

У. ТЕН ДОН*

Портрет**

Босой ногой о камень спотыкнувшись,
«Ничуть не больно!» — говорит старик.
Он раньше плохо жил. И спотыкался
На мягкой пашне, на чужой земле.

Его тогда никто не замечал.
И дальше чем до ближнего селенья
он никогда, бывало не ходил.

А ныне он просторный дом построил.
И на него с портрета смотрит Ленин
с таким вниманьем, будто бы читает
всю долю по морщинам старика.

Быть может,
кто велел портрет повесить?
Нет, нет! Приказа не было такого!
Портрет повешен стариком.

* *Тен Дон У* (р. 1931) — корейский поэт. Первые стихи опубликовал в 1948 г. В период освободительной войны служил в рядах Народной армии.

** Стихотворение «Портрет» печатается по изд.: Капитан Земли. Писатели мира о В. И. Ленине. М., 1976. Перевод с корейского Н. Глазкова.

И, проработав день в кооперативе,
легко перешагнув через порог,
по вечерам старик встречает дома
вождя и друга задушевный взгляд.

И он стоит с улыбкой, будто слышит
отца благожелательного голос,
который в дом заботливой рукою
привел вола в подарок сыновьям...

Состарился старик. Спина согнулась.
Он утверждает, что Ильич — кореец,
и разве можно с ним не согласиться,
когда улыбку дал ему Ильич.

У. ГЕРБЕРТ*

Россия во мгле: Великий фантаст и кремлевский мечтатель** (1920)

<Фрагмент>

6. Кремлевский мечтатель

Основной целью моей поездки из Петрограда в Москву была встреча с Лениным. Мне было интересно повидаться с ним, и я должен сказать, что был предубежден против него. На самом деле я встретился с личностью, совершенно непохожей на то, что я себе представлял.

Ленин — не человек пера; его опубликованные труды не дают правильного представления о нем. Написанные в резком тоне

* *Герберт Джордж Уэллс* (1866–1946) — английский писатель, публицист. Автор известных научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Трижды посетил Россию. Был принят 6 октября 1920 г. В. И. Лениным. Встречался со Сталиным. Тогда же в 1920 г. Уэллс познакомился с Марией Игнатьевной Закревской-Будберг. Их связь возобновилась в 1933 г. в Лондоне, куда она эмигрировала после расставания с Максимом Горьким. Близкие отношения Будберг с Уэллсом продолжались до смерти писателя.

** Книга Г. Уэллса «Россия во мгле» (1920) издавалась в СССР в 1922, 1958 и 1970 гг., в 1964-м — в составе собрания сочинений в 15 т. Перевод И. Виккер и В. В. Пастоева.

брошюры и памфлеты, выходящие в Москве за его подписью, полные ложных концепций о психологии рабочих Запада и упорно отстаивающие абсурдное утверждение, что в России произошла именно предсказанная Марксом социальная революция, вряд ли отражают даже частицу подлинного ленинского ума, в котором я убедился во время нашей беседы. В этих работах порой встречаются проблески вдохновенной пронизательности, но в целом они лишь повторяют раз навсегда установленные положения и формулировки ортодоксального марксизма. Быть может, это необходимо. Пожалуй, это единственно понятный коммунистам язык; переход к новой фразеологии сбил бы их с толку и вызвал полную растерянность. Левый коммунизм можно назвать позвоночным столбом сегодняшней России; к сожалению, это неподвижный позвоночник, сгибающийся с огромным трудом и только в ответ на почтительную лесть.

Жизнь в Москве, озаренной ярким октябрьским солнцем и украшенной золотом осенней листвы, показалась нам гораздо более оживленной и легкой, чем в Петрограде. На улицах — большое движение, сравнительно много извозчиков; здесь больше торгуют. Рынки открыты. Дома и мостовые — в лучшем состоянии. Правда, сохранилось немало следов ожесточенных уличных боев начала 1918 года. Один из куполов нелепого собора Василия Блаженного, у самых ворот Кремля, был разбит снарядом и все еще не отремонтирован. Трамваи, которые мы видели, перевозили не пассажиров, а продукты и топливо. Считают, что в этом отношении Петроград лучше подготовлен к зиме, чем Москва.

Десять тысяч крестов московских церквей все еще сверкают на солнце. На кремлевских башнях по-прежнему простирают крылья императорские орлы. Большевики или слишком заняты другими делами, или просто не обращают на них внимания. Церкви открыты; толпы молящихся усердно прикладываются к иконам, нищим все еще порой удается выпросить милостыню. Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской божьей матери возле Спасских ворот; многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены.

Как раз напротив нее на стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: «Религия — опиум для народа». Действенность этой надписи, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ не умеет читать.

У меня произошел небольшой, но забавный спор насчет этой надписи с г. Вандерлипом, американским финансистом, жившим в том же правительственном особняке, где и мы. Он считал, что она должна быть уничтожена. Я находил, что ее стоит сохранить

как историческую реликвию, а также потому, что веротерпимость должна распространяться и на атеистов. Но г. Вандерлип принимал это так близко к сердцу, что не мог понять моей точки зрения.

Особняк для гостей правительства, где мы жили вместе с г. Вандерлипом и предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого, — большое, хорошо обставленное здание на Софийской набережной (№ 17), расположенное напротив высокой кремлевской стены, за которой виднеются купола и башни этой крепости русских царей. Мы чувствовали себя здесь не так непринужденно, более изолированно, чем в Петрограде. Часовые, стоявшие у ворот, оберегали нас от случайных посетителей, в то время как в Петрограде ко мне мог зайти поговорить, кто хотел. Г. Вандерлип, по-видимому, жил там уже несколько недель и собирался пробыть еще столько же. С ним не было ни слуги, ни секретаря, ни переводчика. Он не обсуждал со мной свои дела и лишь два осторожно заметил, что они носят строго финансовый, экономический и отнюдь не политический характер. Мне говорили, что он привез рекомендательное письмо к Ленину от сенатора Хардинга, но я не любопытен по природе и не пытался ни проверить это, ни соваться в дела г. Вандерлипа. Я даже не спрашивал его, как вообще можно в коммунистическом государстве вести коммерческие переговоры и финансовые операции с кем бы то ни было, кроме самого правительства, и как можно иметь дело с правительством, совершенно не касаясь политики. Должен признаться, что все эти таинственные вещи выше моего понимания. Но мы вместе ели, курили, пили кофе и беседовали, соблюдая полнейшую сдержанность. Благодаря тому, что мы избегали упоминать о «миссии» г. Вандерлипа, она раздулась в нашем сознании до огромных размеров, и мысль о ней стала неотвязной.

Формальности, связанные с подготовкой моей встречи с Лениным, были утомительно длинны и вызывали раздражение, но вот, наконец, я отправился в Кремль в сопровождении г. Ротштейна, в прошлом видного работника «коммунистической партии в Лондоне, и американского «товарища» с большим фотоаппаратом, который, как-я понял, тоже был сотрудником Наркоминдела.

Я помню Кремль в 1914 году, когда в него можно было пройти так же беспрепятственно, как в Виндзорский замок; по нему бродили тогда небольшие группы богомольцев и туристов. Но теперь свободный вход в Кремль отменен, и попасть туда очень трудно. Уже в воротах нас ожидала возня с пропусками и разрешениями. Прежде чем мы попали к Ленину, нам пришлось пройти через пять или шесть комнат, где наши документы проверяли часо-

вые и сотрудники Кремля. Возможно, что это и необходимо для личной безопасности Ленина, но это затрудняет живую связь России с ним и — что еще важнее с точки зрения эффективности руководства — затрудняет его живую связь с Россией. Если то, что доходит до него, пропускается через некий фильтр, то так же фильтруется и все, что исходит от него, и во время этого процесса могут произойти весьма значительные искажения.

Наконец, мы попали в кабинет Ленина, светлую комнату с окнами на кремлевскую площадь; Ленин сидел за огромным письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Я сел справа от стола, и невысокий человек, сидевший в кресле так, что ноги его едва касались пола, повернулся ко мне, облокотившись на кипу бумаг. Он превосходно говорит по-английски, но г. Ротштейн следил за нашей беседой, вставляя замечания и пояснения, и это показалось мне весьма характерным для теперешнего положения вещей в России. Тем временем американец взялся за свой фотоаппарат и, стараясь не мешать, начал усердно снимать нас. Беседа была настолько интересной, что все это шелканье и хождение не вызывало досады.

Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили, что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы. Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха. Линии его лба напомнили мне кого-то, я никак не мог вспомнить, кого именно, пока на днях не увидел г. Артура Бальфура, сидевшего возле затененной лампы. У него в точности такой же высокий, покатый, слегка асимметричный лоб.

У Ленина приятное смугловатое лицо с быстро меняющимся выражением, живая улыбка; слушая собеседника, он щурит один глаз (возможно, эта привычка вызвана каким-то дефектом зрения). Он не очень похож на свои фотографии, потому что он один из тех людей, у которых смена выражения гораздо существеннее, чем самые черты лица; во время разговора он слегка жестикулировал, протягивая руки над лежавшими на его столе бумагами; говорил быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы, как разговаривают настоящие ученые.

Через весь наш разговор проходили две — как бы их назвать — основные темы. Одну тему вел я: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?» Вторую тему вел он: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтоб подготовить ее?»

Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?» Эти темы переплетались, сталкивались, разъясняли одна другую. Вторая тема возвращала нас к первой: «Что вам дала социальная революция? Успешна ли она?» А это, в свою очередь, приводило ко второй теме: «Чтобы она стала успешной, в нее должен включиться западный мир. Почему это не происходит?»

До 1918 года все марксисты рассматривали социальную революцию как конечную цель. Пролетарии всех стран должны были соединиться, сбросить капитализм и обрести вечное блаженство. Но в 1918 году коммунисты, к своему собственному удивлению, оказались у власти в России, и им надлежало наглядно доказать, что они могут осуществить свой золотой век. Коммунисты справедливо ссылаются на условия военного времени, блокаду и тому подобное, как на причины, задерживающие создание нового и лучшего социального строя, но тем не менее совершенно очевидно, что они начинают понимать, что марксистский образ мышления не дает никакой подготовки к практической деятельности. Есть множество вещей — я упоминал некоторые из них, — за которые они не знают, как взяться... Но рядовой коммунист начинает негодовать, если вы осмелитесь усомниться в том, что при новом режиме все делается самым лучшим и самым разумным способом. Он ведет себя, как обидчивая хозяйка, которая хочет, чтобы ее похвалили за образцовый порядок в доме, хотя там все перевернуто вверх дном из-за переезда на новую квартиру. Такой коммунист напоминает забытых теперь суфражисток, обещавших рай на земле, как только удастся освободиться от тирании «установленных мужчиною законов». Но Ленин с откровенностью, которая порой ошеломляет его последователей, рассеял недавно последние иллюзии насчет того, что русская революция означает что-либо иное, чем вступление в эпоху непрестанных исканий. Те, кто взял на себя гигантский труд уничтожения капитализма, должны сознавать, что им придется пробовать один метод действия за другим, пока, наконец, они не найдут тот, который наиболее соответствует их целям и задачам, писал он недавно.

Мы начали беседу с обсуждения будущего больших городов при коммунизме. Мне хотелось узнать, как далеко пойдет, по мнению Ленина, процесс отмирания городов в России. Разоренный Петроград навел мысль, которая раньше не приходила мне в голову, что весь внешний облик и планировка города определяются торговлей и что уничтожение ее, прямо или косвенно, делает бессмысленным и бесполезным существование девяти десятых

всех зданий обычного города. «Города станут значительно меньше», — подтвердил Ленин. «И они станут иными, да, совершенно иными». Я сказал, что это означает снос существующих городов и возведение новых и потребует грандиозной работы. Соборы и величественные здания Петрограда превратятся в исторические памятники, как церкви и старинные здания Великого Новгорода и храмы Пестума. Огромная часть современного города исчезнет. Ленин охотно согласился с этим. Я думаю, что ему было приятно беседовать с человеком, понимавшим неизбежные последствия коллективизма, которых не могли полностью осознать даже многие его сторонники. Россию надо коренным образом перестроить, воссоздать заново...

А как промышленность? Она тоже должна быть реконструирована коренным образом?

Имею ли я представление о том, что уже делается в России? Об электрификации России?

Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает все, от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные, он видит, как новые шоссе и дороги прорезают всю страну, как подымается обновленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая держава. И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего предвидения.

— И вы возьметесь за все это с вашими мужиками, крепко сидящими на земле?

Будут перестроены не только города; деревня тоже изменится до неузнаваемости.

— Уже и сейчас, — сказал Ленин, — у нас не всю сельскохозяйственную продукцию дает крестьянин. Кое-где существует крупное сельскохозяйственное производство. Там, где позволяют условия, правительство уже взяло в свои руки крупные поместья, в которых работают не крестьяне, а рабочие. Такая практика может расширяться, внедряясь сначала в одной губернии, потом в другой. Крестьяне других губерний, неграмотные и эгоистичные, не будут знать, что происходит, пока не придет их черед...

Может быть, и трудно перестроить крестьянство в целом, но с отдельными группами крестьян справиться очень легко. Говоря о крестьянах, Ленин наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать.

Я спорил с ним, доказывая, что большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. По традициям и привычкам русские — индивидуалисты и любители поторговать; чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию. Ленин спросил, что мне удалось повидать из сделанного в области просвещения. Я с похвалой отозвался о некоторых вещах. Он улыбнулся, довольный. Он безгранично верит в свое дело.

— Но все это только наброски, первые шаги, — сказал я.

— Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время, — ответил он.

Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все-таки может быть огромной творческой силой. После всех тех утомительных фанатиков классовой борьбы, которые попадались мне среди коммунистов, схоластов, бесплодных, как камень, после того, как я насмотрелся на необоснованную самоуверенность многочисленных марксистских начетчиков, встреча с этим изумительным человеком, который откровенно признает колоссальные трудности сложность построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его осуществлению, подействовала на меня живительным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, преображенный и построенный заново.

Ему хотелось услышать от меня побольше о моих впечатлениях от России. Я сказал, что, по-моему, во многих вопросах коммунисты проводят свою линию слишком быстро и жестко, разрушая раньше, чем они сами готовы строить; особенно это ощущается в Петроградской коммуне. Коммунисты уничтожили торговлю раньше, чем они были готовы ввести нормированную выдачу продуктов; они ликвидировали кооперативную систему вместо

того, чтобы использовать ее, и т. д. Эта тема привела нас к нашему основному разногласию — разногласию между эволюционным коллективистом и марксистом, к вопросу о том, нужна ли социальная революция со всеми ее крайностями, нужно ли полностью уничтожить одну экономическую систему до того, как может быть приведена в действие другая. Я верю в то, что в результате большой и упорной воспитательной работы теперешняя капиталистическая система может стать «цивилизованной» и превратиться во всемирную коллективистскую систему, в то время как мировоззрение Ленина издавна неотделимо связано с положениями марксизма о неизбежности классовой войны, необходимостью свержения капиталистического строя в качестве предварительного условия перестройки общества, о диктатуре пролетариата и т. д. Он вынужден был поэтому доказывать, что современный капитализм неисправимо алчен, расточителен и глух к голосу рассудка, и пока его не уничтожат, он будет бессмысленно и бесцельно эксплуатировать все, созданное руками человека, что капитализм всегда будет сопротивляться использованию природных богатств ради общего блага и что он будет неизбежно порождать войны, так как борьба за наживу лежит в самой основе его.

Должен признаться, что в споре мне пришлось очень трудно. Ленин внезапно вынул новую книгу Кюицца Монеи «Триумф национализации», с которой он, очевидно, был хорошо знаком.

— Вот видите, как только у вас появляется хорошая, действенная коллективистская организация, имеющая хоть какое-нибудь значение для общества, капиталисты сразу же уничтожают ее. Они уничтожили ваши государственные верфи, они не позволяют вам разумно эксплуатировать угольные шахты.

Он постучал пальцем по книге.

— Здесь обо всем этом сказано.

И в ответ на мои слова, что войны порождаются националистическим империализмом, а не капиталистической формой организации общества, он внезапно спросил:

— А что вы скажете об этом новом республиканском империализме, идущем к нам из Америки?

Здесь в разговор вмешался г. Ротштейн, сказал что-то по-русски, чему Ленин не придал значения.

Невзирая на напоминания г. Ротштейна о необходимости большей дипломатической сдержанности, Ленин стал рассказывать мне о проекте, которым один американец собирался поразить Москву. Проект предусматривал оказание экономической помощи России и признание большевистского правительства, заключение оборонительного союза против японской агрессии в Сибири, соз-

дание американской военно-морской базы на Дальнем Востоке и концессию сроком на пятьдесят — шестьдесят лет на разработку естественных богатств Камчатки и, возможно, других обширных районов Азии. Поможет это укрепить мир? А не явится ли это началом новой всемирной драки? Понравится ли такой проект английским империалистам?

Капитализм, утверждал Ленин, — это вечная конкуренция и борьба за наживу. Он прямая противоположность коллективным действиям. Капитализм не может перерасти в социальное единство или всемирное единство.

— Но какая-нибудь промышленная страна должна прийти на помощь России, — сказал я. — Она не может сейчас начать восстановительную работу без такой помощи...

Во время нашего спора, касавшегося множества вопросов, мы не пришли к единому мнению. Мы тепло распрощались с Лениным; на обратном пути у меня и моего спутника снова неоднократно проверяли пропуски, как и при входе в Кремль.

— Изумительный человек, — сказал г. Ротштейн. — Но было неосторожно с его стороны...

У меня не было настроения разговаривать; мы шли в наш особняк вдоль старинного кремлевского рва, мимо деревьев, листва которых золотилась по-осеннему; мне хотелось думать о Ленине, пока память моя хранила каждую черточку его облика, и мне не нужны были комментарии моего спутника. Но г. Ротштейн не умолкал.

Он все уговаривал меня не упоминать г. Вандерлипу об этом проекте русско-американского сближения, хотя я с самого начала заверил его, что достаточно уважаю сдержанность г. Вандерлипа, чтобы нарушить ее каким-нибудь неосторожным словом.

И вот — снова дом на Софийской набережной, поздний завтрак с г. Вандерлипом и молодым скульптором из Лондона. Подавая на стол, старик слуга грустно глядел на наше скудное меню, вспоминая о тех великолепных днях, когда в этом доме останавливался Карузо и пел в одной из зал второго этажа перед самым избранным обществом Москвы. Г-н Вандерлип предлагал нам днем познакомиться с московским рынком, а вечером смотреть балет, но мы с сыном решили в тот же вечер уехать обратно в Петроград, а оттуда — в Ревель, чтобы не опоздать на пароход, уходящий на Стокгольм.

7. Заключение

Преыдущие главы написаны от первого лица и в очерковом стиле, так как я хотел, чтобы читатель ни на минуту не упускал из виду краткость нашего пребывания в России и ограниченность моих возможностей. Сейчас, заканчивая книгу, я хотел бы, если у читателя хватит терпения прочесть еще несколько строк, изложить с меньшей субъективностью и с большей ясностью свои основные соображения о положении в России. Эти соображения вытекают из моих глубоких убеждений и касаются не только России, но и всего будущего нашей цивилизации. Это всего лишь мои личные убеждения, но они глубоко волнуют меня, и потому я излагаю их без каких-либо оговорок.

Начнем с того, что Россия, которая представляла собой цивилизацию западного типа — наименее организованную и наиболее шаткую из великих держав, — сейчас представляет собой современную цивилизацию *in extremis**. Непосредственная причина крушения России — последняя война, которая привела ее к физическому истощению. Только благодаря этому большевики смогли захватить власть. История не знает ничего, подобного крушению, переживаемому Россией. Если этот процесс продлится еще год, крушение станет окончательным. Россия превратится в страну крестьян; города опустеют и обратятся в развалины, железные дороги зарастут травой. С исчезновением железных дорог исчезнут последние остатки центральной власти.

Крестьяне совершенно невежественны и в массе своей тупы, они способны сопротивляться, когда вмешиваются в их дела, но не умеют предвидеть и организовывать. Они превратятся в человеческое болото, политически грязное, раздираемое противоречиями и мелкими гражданскими войнами, поражаемое голодом при каждом неурожае. Оно станет рассадником всяческих эпидемических заболеваний в Европе и все больше и больше будет сливаться с Азией.

Крушение цивилизации в России и замена ее крестьянским варварством на долгие годы отрежет Европу от богатых недр России, от ее сырья, зерна, льна и т. п. Страны Запада вряд ли могут обойтись без этих товаров. Отсутствие их неизбежно поведет к общему обнищанию Западной Европы.

Единственное правительство, которое может сейчас предотвратить такой окончательный крах России, — это теперешнее большевистское правительство, при условии, что Америка и западные

* При последнем издыхании (*лат.*).

державы окажут ему помощь. В настоящее время никакое другое правительство там немыслимо. У него, конечно, множество противников, — всякие авантюристы и им подобные готовы с помощью европейских государств свергнуть большевистское правительство, но у них нет и намека на какую-нибудь общую цель и моральное единство, которые позволили бы им занять место большевиков. Кроме того, сейчас уже не осталось времени для новой революции в России. Еще один год гражданской войны — и окончательный уход России из семьи цивилизованных народов станет неизбежным. Поэтому мы должны приспособиться к большевистскому правительству, нравится нам это или нет.

Большевистское правительство чрезвычайно неопытно и неумело; временами оно бывает жестоким и совершает насилие, но в целом — это честное правительство. В нем есть несколько человек, обладающих подлинно творческим умом и силой, и они смогут, если дать им возможность и помочь им, совершить великие преобразования. Судя по всему, большевистское правительство старается действовать в соответствии со своими убеждениями, которых большинство его сторонников до сих пор придерживается с чуть ли не религиозным пылом. Если оказать большевикам щедрую помощь, они, возможно, сумеют создать в России новый, цивилизованный общественный строй, с которым остальной мир сможет иметь дело. Вероятно, это будет умеренный коммунизм с централизованным управлением транспортом, промышленностью и, позднее, сельским хозяйством.

Если народы западных стран хотят по-настоящему помочь русскому народу, они должны научиться понимать и уважать убеждения и принципы большевиков. До сего времени правительства западных стран самым грубым образом игнорировали эти убеждения и принципы. Советское правительство, как оно само о том заявляет, — коммунистическое правительство, и оно полно твердой решимости строить свою деятельность на принципах коммунизма. Оно отменило частную собственность и частную торговлю в России не из конъюнктурных соображений, а потому, что считало это справедливым; и во всей России не осталось сейчас лиц и организаций, занимающихся торговлей, с которыми мы могли бы вести дела на основе обычаев и норм западноевропейской торговой практики. Нам следует понять, что большевистское правительство в силу самой своей природы испытывает сильнейшее предубеждение против частных предпринимателей и торговцев и всегда будет, с точки зрения последних, обращаться с ними несправедливо и без уважения; оно всегда будет не доверять им и везде, где только возможно, ставить их в самое невыгодное положение. Оно

считает их пиратами, а в лучшем случае — каперами. Поэтому частным лицам и фирмам нечего и думать о торговле с Россией. В этой стране есть только одно юридическое лицо, которое может предложить западному миру необходимые гарантии и с которым можно эффективно вести дела, а именно — само большевистское правительство, и для этого существует только один путь — создать какой-нибудь национальный, а еще лучше международный трест. Такой трест, который представлял бы одно или несколько государств и даже был бы номинально связан с Лигой Наций, мог бы иметь дело с большевистским правительством на равных началах. Ему пришлось бы признать это правительство и вместе с ним приняться за разрешение назревшей задачи создания материальной основы для восстановления условий цивилизованной жизни в европейской и азиатской частях России. По своей общей структуре он должен походить на один из тех крупных закупочно-распределительных трестов, которые сыграли такую важную роль в жизни европейских государств во время мировой войны. Этот трест имел бы дело с отдельными промышленниками, а большевистское правительство, со своей стороны, имело бы дело с населением России; за короткое время он мог бы стать совершенно незаменимым для большевистского правительства. Только по такому пути может развиваться торговля капиталистического государства с коммунистическим. Все попытки, которые делались в прошлом году и раньше, найти какой-либо способ вести частную торговлю с Россией без признания большевистского правительства, были с самого начала столь же безнадежны, как поиски северо-западного пути из Англии в Индию. Лед непреодолим.

Любая страна или группа стран, обладающая достаточными промышленными ресурсами, которая пойдет на признание большевистской России и будет оказывать ей помощь, неизбежно станет опорой, правой рукой и советником большевистского правительства. Она будет воздействовать на это правительство и, в свою очередь, подвергаться его воздействию. Страны, входящие в такой трест, станут более склонны к методам коллективизма, а с другой стороны, строгости, налагаемые крайним коммунизмом в России, вероятно, значительно смягчатся под их влиянием.

Соединенные Штаты Америки — единственная держава, которая может взять на себя роль такого спасителя, являющегося в последнюю минуту. Вот почему дело, которое замыслил предпринимчивый и не лишенный воображения г. Вандерлип, представляется мне весьма знаменательным. Я сомневаюсь в положительных результатах его переговоров; возможно, они представляют собой лишь начальную стадию обсуждения русской проблемы на новой

основе, которое может привести, наконец, к тому, что эта проблема будет решаться всеобъемлюще, в мировом масштабе. Так как мировые ресурсы истощены, если не считать США, другим державам придется объединить свои усилия, чтобы иметь возможность оказать России эффективное содействие. У коммунистов нет отвращения к ведению дел в большом масштабе; напротив, чем больше масштаб, тем больше и приближение к коллективизму. Это высший путь к коллективизму для немногих, в отличие от низшего пути, которым идут массы.

Я твердо убежден, что без такой помощи извне в большевистской России произойдет окончательное крушение всего, что еще осталось от современной цивилизации на территории бывшей Российской империи. Это крушение вряд ли ограничится ее пределами. Другие государства, к востоку и западу от России, одно за другим будут втянуты в образовавшуюся таким образом пропасть. Возможно, что эта участь постигнет всю современную цивилизацию.

Эти соображения относятся не к какому-то гипотетическому будущему; излагая их, я пытался дать общую картину событий, развивающихся с огромной быстротой в России и во всем мире, и наметить возможные перспективы, — как все это мне представляется. Такова общая характеристика создавшегося положения, и я хотел бы, чтоб читатель руководствовался ею, знакомясь с моими очерками о России. Так я толкую письма на восточной стене Европы.

Л. ФИШЕР*

Жизнь Ленина

<Фрагмент>

К читателям

Ленин был человеком особого рода — помимо большой роли, сыгранной им в истории, он наложил глубокий отпечаток на раз-

* Луис Фишер (1896–1970) — американский журналист, публицист, биограф Ганди («Жизнь Махатмы Ганди», 1950) и Ленина (в 1965 получил Национальную книжную премию (National Book Award) за книгу «Жизнь Ленина», 1964). В последние годы жизни Фишер состоял в фактическом браке со Светланой Аллилуевой.

витие не только России и Восточной Европы, но также и других частей земного шара.

Лениным было написано очень много и очень много было написано о нем. В опубликованных работах, статьях, заметках и письмах Ленина и дневниках его сотрудников вырисовываются его политический профиль и весь ход революционного движения до 1917 года и становление Советской России по 1924 год.

В предлагаемой книге я пытался дать образ как самого Ленина, так и людей, с которыми он работал, и показать их взаимоотношения с подвластным населением России, в которой я прожил 14 лет.

Я надеюсь, что русский перевод моего труда, первоначально опубликованного по-английски, явится известным вкладом в дело объективного и тщательного изучения жизни Ленина и его места в истории в перспективе 100-летней годовщины со дня рождения основателя советского государства.

Луис Фишер

17. Ленин строит государство

Ленин выигрывал сторонников среди широких слоев населения и в то же время строил советское государство — ружьем и лопатой каменщика, кнутом и пером. 1 января 1918 г. он назначил грузина Сергея Орджоникидзе «Чрезвычайным комиссаром Района Украины». 5 января написал послание солдатскому съезду о необходимости создания Красной Армии. 14 января принял дипломатический корпус. В тот же день после полудня председательствовал на заседании

Совнаркома и выступал на проводах первых эшелонов «социалистической армии» на фронт. По возвращении с собрания, подвергается нападению: в его автомобиль стреляют, но он остается невредим. На этой же неделе он подготавливает политическую почву для разгона Учредительного собрания и пишет декрет «О роспуске Учредительного собрания». По прямому проводу он разговаривает с Троцким, ведущим переговоры в Бресте. 26 января он телеграфирует Орджоникидзе: «Между Орлом и Курском образовался затор, мешающий движению поездов с углем и хлебом. Всякая остановка грозит голодом и остановкой промышленности. Подозреваем саботаж железнодорожников на этом месте... Настоятельно просим принять самые беспощадные революционные меры. Просим послать отряд абсолютно надежных людей... Сажайте на паровозы по несколько матросов или красногвардейцев. Помните, что от вас зависит спасти Питер от голода. Ленин».

Четыре дня спустя Ленин телеграфирует в Харьков нарком Антонову-Овсеенко: «Приветствую присоединение казаков, делегаты от коих уже здесь... относительно земельного вопроса на Дону советую иметь в виду текст принятой позавчера на съезде Советов резолюции о федерации Советских республик». Ленин намекал на то, что, если казаки станут на сторону Советов, им будет предоставлена автономия и право проводить земельную реформу по-своему.

В феврале Ленин продолжает жонглировать этими шарами и подбрасывать в воздух новые. Он советует наркомвоенмору Н. И. Подвойскому проследить за тем, чтобы посылаемые по железной дороге бумажные деньги шли по назначению... Разрешает заместителям наркомов присутствовать на заседаниях Совнаркома и голосовать вместо наркомов, если у них есть соответствующее назначение... Телеграмма главнокомандующему М. А. Муравьеву в Киеве от 14 февраля 1918 г.: «Если не будет иного распоряжения от Антонова, действуйте как можно энергичнее на Румынском фронте по соглашению с Раковским и его комиссией». Ленин стремился предотвратить отдачу несогласованных приказов и ее последствия — соперничество и зависть. Муравьев пытался защитить Бессарабию от румын. Это ему не удалось. К тому же германские войска вскоре заняли Украину, свергли тамошние Советы и прогнали красные отряды. Антонов расположил свои войска на юго-востоке. 23 февраля Ленин телеграфировал Антонову: «Сегодня же во что бы то ни стало взять Ростов». После декларации Троцкого «Ни мира, ни войны» германские войска продвинулись и в Западную Россию. В ответ на запрос председателя совета города Дрисса о том, как поступать в случае приближения немцев к городу, Ленин послал следующую телеграмму: «Оказывайте сопротивление, где это возможно. Вывозите все ценное и продукты. Остальное все уничтожайте. Не оставляйте врагу ничего. Разбирайте пути — две версты на каждые десять. Взрывайте мосты». Между сессиями Совнаркома текущими делами должен был ведать исполнительный комитет. Его членами Ленин назначил Троцкого, Сталина, самого себя и левых эсеров Карелина и Прошьяна.

В течение того же месяца Ленин вел напряженную борьбу против левых коммунистов и левых эсеров, за заключение мира в Бресте. Казалось бы, что Ленин должен быть целиком загружен партийными конференциями, советскими конференциями, спорами с оппозицией, журналистской деятельностью в «Правде», чтением отчетов о Брестских переговорах и составлением инструкций Троцкому. Но он находит время делать выписки из «Истории Западной Европы» Н. Кареева и «Истории войн На-

полеона Первого с Германией» в поддержку своего утверждения, что история не оканчивается подписанием мира «под штыками» завоевателей. Каждому завоевателю приходит конец. Об этом он убедительно говорит 20 февраля, выступая перед латышскими стрелками, составлявшими тогда ядро советских вооруженных сил, в связи с заявлением латышских стрелков о том, что они против мира и будут вести партизанскую войну. Они знали, что их Латвия будет жертвой мирного договора.

Антонов взял Ростов. 28 февраля Ленин телеграфировал ему: «Наш горячий привет всем беззаветным борцам за социализм, привет революционному казачеству. Помня о том, такую важную роль играют казаки в стратегии белых генералов, Ленин опять — он любит повторять — наказывает Антонову: пусть съезд Советов всей Донской области «сам выработает свой аграрный законопроект и представит на утверждение Совнаркома. Будет лучше. Против автономии Донской области ничего не имею».

VII съезд партии заседал 6, 7 и 8 марта. Ленин выступал каждый день и составил большую часть резолюций. Он поставил перед собой две задачи: принятие мирного договора и новой партийной программы. Большевики придавали программе огромную важность. Программа партии была теоретической основой ее деятельности в настоящем и будущем. Захват власти в России изменил роль партии. Поэтому Ленин предложил новую программу и новое название. Название «Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия» больше его не удовлетворяло. Социал-демократия была скомпрометирована в глазах трудящихся своим поведением во время войны, утверждал Ленин. Кроме того, как Ленин указывал еще в «Государстве и революции», поскольку каждое государство основано на насилии, демократического государства не может быть, а следовательно, и демократии. Поэтому Ленин предложил переменить название партии, назвав ее «Российской Коммунистической Партией (большевиков)». Новое название было утверждено большинством голосов.

Но когда левые коммунисты во главе с Бухариным потребовали, чтобы в новой программе давалась характеристика социализма или коммунизма, Ленин ответил, что время для этого еще не пришло, «...нет еще для характеристики социализма материалов. Кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится». Если программа заглянет слишком далеко в будущее, западные пролетарии «будут подозревать, что наша программа — это только фантазия. Программа есть характеристика того, что мы начали делать, и следующие шаги, какие хотим сделать. Дать характеристику социализма мы не в состоянии...»

Поэтому Ленин предложил только два дополнения к старой программе: во-первых, характеристику империализма, как он проявился у всех участников Мировой войны (здесь Ленин ссылается на свою книгу «Империализм»), во-вторых, подкрепленное вескими доказательствами утверждение, что Советы являются новой формой правительства, новым типом государства. По этому поводу у Бухарина тоже были поправки. Он хотел, чтобы Ленин описал социализм как общество без государства. Ленин отказался: «Мы сейчас стоим безусловно за государство, а сказать — дать характеристику социализма в развернутом виде, где не будет государства — ничего тут не выдумаешь, кроме того, что тогда будет осуществлен принцип — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но до этого еще далеко, и сказать это — значит ничего не сказать, кроме того, что сказать, что почва слаба под ногами».

«Заранее провозглашать отмирание государства будет нарушением исторической перспективы», — предупреждал Ленин. Тем не менее, он сослался на свою книгу «Государство и революция», где заранее говорилось, что государство начнет отмирать немедленно после захвата власти пролетариатом. Власть в России была захвачена ровно за 4 месяца до съезда. Отмирания государства не замечалось. Из-за этого несоответствия между дореволюционной фантазией и послереволюционными фактами Ленин запутался в противоречиях. «Государство есть аппарат для подавления, — сказал Ленин съезду. — Надо подавлять эксплуататоров, но их подавлять нельзя полицией, их может подавлять только сама масса...» Однако именно Ленин, а не массы отдали приказ ЧК арестовать правление уральских заводов и конфисковать их имущество. Именно Совнарком, под руководством Ленина, угрожал капиталистам принудительными работами; армия и полиция, а не массы приводили эту угрозу в исполнение. Ленин ставил неисполнимую задачу: создание охватывающего всю страну «общественного счетоводства, учета и контроля, проведенного самим населением, лежащего в основе дальнейших шагов социализма». Это требование было в согласии с его трактатом о государстве, но не имело никакой связи с тогдашней (или теперешней) советской практикой. Тем не менее, Ленин пишет, что «Советская власть есть новый тип государства, форма диктатуры пролетариата, что демократии мы поставили иные задачи...» А в «Государстве и революции» Ленин утверждал, что демократического государства не может быть. Эта «демократическая диктатура» провела «закон о социализации земли, но «мы будем справедливо делить землю, с точки зрения преимущественно мелкого хозяйства».

Капиталистические хозяйства на социалистической почве. Очевидно сознавая противоречивость своих доводов, Ленин сказал в заключение: «Может быть, мы делаем ошибки, но мы надеемся, что пролетариат Запада их исправит. И мы обращаемся к европейскому пролетариату с просьбой помочь нам в нашей работе».

От Тома Пэйна до Прудона (1809–1865), от Бакунина до Карла Маркса, Энгельса и Ленина, — всех революционеров отличала ненависть к государству. Боялись государства и либеральные реформисты, утверждая, что государство управляет тем лучше, чем меньше оно управляет. Ибо чем больше власти принадлежит государству, тем больше оно угнетает слабых и служит сильным. Там, где это особенно заметно, в России и в Испании, у анархистов, сторонников безгосударственного равенства и личной свободы, нашлось особенно много сторонников. Марксизм родился с этой анархической чертой. Но Маркс не заметил, что пороки британского капитализма вытекали из политической системы, в которой правительству принадлежало меньше всего власти. Если бы он остался жив, он увидел бы увеличение правительственной власти, принесшее пользу низшим классам. Ни Маркс, ни Ленин не могли себе представить государства, которое было бы орудием общества, а не одного класса. Чтобы уничтожить классовое государство, Ленин собирался уничтожить классы. Вместо этого он занял исключительное место в истории как архитектор одноклассового государства, ставшего угнетателем всех классов. Сторонник крайних мер в стране крайностей — климатических, имущественных, культурных и государственно-политических, — Ленин ненавидел экстремистское государство. Но именно такое государство он создал.

VII съезд исполнил требования Ленина. Мирный договор был одобрен, в новую программу партии вошли идеи его последних книг — «Империализма» и «Государства и революции». Он продолжал борьбу за мирный договор, против бюрократической «дезорганизации» и экономического банкротства. 28 марта 1918 г. он продиктовал набросок статьи об очередных задачах Советской власти, в которой подчеркивал необходимость практичности и повышения производительности труда. Для этого требовалось привлечь на службу государства «руководителей-специалистов, хотя бы из буржуазной интеллигенции». Это не означало отхода от принципов социализма, утверждал Ленин. Наоборот, буржуазные специалисты могли помочь революции. Между тем, финансовое положение становилось катастрофическим. Был представлен план восстановления платежеспособности. По поводу этого плана Ленин 18 апреля заметил: «...даже самый лучший план в настоя-

щее время в области финансовой... — сейчас невозможно выполнить, потому что фактически у нас не организован тот аппарат, который выполнит этот финансовый план... Советы, которые являются властью на местах, в настоящее время не связаны между собою... они оторваны от центральной власти...» У советов нет власти, чтобы исправить свое финансовое положение, «фактически власть находится в руках отдельных групп, которые часто враждуют с Советами, не подчиняются Советам и в распоряжении которых к несчастью находится определенная штыковая сила». Эти группы сами проводят налоговое обложение. Государство разлагалось, отмирало. Ленин жаловался.

В марте и апреле 1918 г. Ленин пытается спасти Россию от полного хаоса. Он делает заметки: «повышение производительности»; «учиться социализму у крупнейших организаторов капитализма, у трестов»; «6 час. физической работы + 4 час. управления государством» (верный путь к полной неразберихе). «Тейлоровская система. Изучение движения», — пишет он по-английски, имея в виду систему экономии труда, выработанную Ф. У. Тейлором и подвергшуюся жестоким нападкам со стороны коммунистов и пр. «Сила примера (образцовой общины)»; «единоличное распоряжение» на предприятиях; «черпать обеими руками из-за границы»; «сдельная плата по итогам»; «не воруй, не лодырничай»; «Советская власть плюс прусский порядок железных дорог плюс американская техника и организация трестов плюс американское народное образование etc., etc., = сумма = социализм».

23 апреля он пишет записку А. И. Рыкову, в то время — наркому по внутренним делам, настаивая на замене старых бумажных денег новыми. «Гуковский» — замнаркома финансов — «упирается, а по-моему надо это двинуть. Ваше мнение?»

В апрельской записке наркомпроду А. Д. Цюрупе указывается на «катастрофическое положение продовольствия в Московской губернии». Крестьян тоже надо было кормить, «иначе съедят все семена и не вспашут. Что можно сделать? Что сделали?» 22 мая 1918 г. Совнарком принял предложение Ленина об отправке водой из Царицына в Баку 10000 пудов хлеба в распоряжение Бакинского совета в обмен на нефть. В мае Ленин пишет наркому юстиции Д. И. Курскому; «Необходимо тотчас, с демонстративной быстротой, внести законопроект, что наказания за взятку (лихоимство, подкуп, сводка для взятки и пр. и т. п.) должны биты НЕ НИЖЕ десяти лет тюрьмы и, сверх того, десяти лет принудительных работ».

Это только малая часть тех вопросов, которые тяготели над Лениным в первой половине 1918 г. Он думает и о будущем (планируя

снабжение Москвы и Петрограда электричеством). Перед ним ставят принципиальные вопросы и вопросы о персонале. Левые коммунисты, например, считали, что управление национализированными предприятиями должно перейти в руки рабочих. На I Всероссийском съезде Совета народного хозяйства (СНХ) в мае — июне 1918 г. В. В. Оболенский (Н. Осинский) и В. М. Смирнов предложили децентрализовать систему управления промышленностью. Во время заседания Совнаркома Ленин передал Рыкову записку: Вейнберг из ВСНХ звонил ему, что «левые наговорили глупостей об управлении предприятиями». «Что произошло? — спрашивал Ленин. — И как быть?»

Рыков ответил: «Смирнов и Оболенский буквально выдумывают “умные глупости”. На пленуме они потерпели поражение. В комиссии об управлении принята середина: правление составляется из $\frac{1}{3}$ от рабочих завода, $\frac{1}{3}$ от проф. союза и $\frac{1}{3}$ от технических сил. Сверх того, высшим органам управления дано право вводить представителя с правом приостанавливать решение».

Ленин остался недоволен. Он изложил свои взгляды 2 июня 1918 г.: «Коммунизм требует и предполагает наибольшую централизацию крупного производства во всей стране... Отнять право у Всероссийского центра подчинять себе непосредственно все предприятия данной отрасли во всех концах страны, как это вытекает из проекта комиссии, было бы областническим анархосиндикализмом, а не коммунизмом».

Левые, однако, пользовались довольно широкой поддержкой. Сейчас же после большевистской революции в управлении предприятиями преобладал децентрализованный синдикализм. Рабочие и профсоюзы управляли предприятиями, включая железнодорожный и речной транспорт. Они отменяли государство. По Ленину, это не было коммунизмом. Он постепенно отменил рабочее и профсоюзное управление промышленностью. Власть перешла к центральному правительству. Это называлось «военным коммунизмом».

Казалось, Ленин метался во все стороны. Но у него был свой метод. Он сознательно строил государство на административном пастыре, и строил его из обломков капитализма, вместо новых социалистических кирпичей. Он был занят не только неотложными вопросами (армия, мирный договор, продовольствие, управление и т. д.), но и делами, которые служат украшению общества. Еще в ноябре 1917 г. он составил меморандум о задачах публичной библиотеки Петрограда, которую, по его мнению, следовало преобразовать, исходя «из принципов, давно осуществленных в свободных государствах Запада, особенно в Швейцарии и в Соединенных

Штатах Северной Америки». Он приказал ввести даровой обмен книгами с русскими и заграничными библиотеками. «Читальный зал библиотеки (Публичной, бывшей Императорской) должен быть открыт, как делается в культурных странах в *частных* библиотеках и читальнях для *богатых* людей, ежедневно, не исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. вечера». 25 мая 1918 г. он составил проект об учреждении «Социалистической Академии общественных наук» с издательством «марксистского направления». На заседании Совнаркома 12 июля 1918 г. Ленин передал наркомпросу Луначарскому записку, спрашивая, говорил ли тот с Виноградовым, секретарем комиссии по снятию «царских» памятников. Луначарский ответил: «Еще не говорил». Ленин отправил назад тот же клочок бумаги с новым вопросом: «Когда Вы едете (в Петроград)? День и час?»

Луначарский: «Завтра в 12 ночи».

Ленин: «Можете ли созвониться с Виноградовым и назначить ему свидание завтра?»

Луначарский: «Конечно».

Ленин: «Имеете его №?»

Луначарский ответил, что узнает. Тогда Ленин послал записку секретарю: «Виноградову позвоните от моего имени: почему он не сговорился с Луначарским? Луначарский здесь».

Ленину очень хотелось снять «монархические» памятники и расписать здания Москвы и Петрограда соответствующими надписями (вроде «Религия — опиум для народа»). «Удивлен и возмущен», — пишет он Луначарскому, что это еще не сделано. В августе 1918 г. он поручил Наркомпросу увеличить число студентов, принимаемых в высшие учебные заведения, «на первое место, безусловно, должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства». В сентябре 1918 г. он объявил выговор Луначарскому: «Бюста Маркса для улицы нет, для пропаганды надписями ничего не сделано... требую присылки мне имен всех ответственных лиц для предания их суду. Позор саботажникам и рогозеям». 19 ноября Ленин составил проект постановления СНК о детских домах. Когда на заседании Совнаркома один из ответственных работников выступил с заявлением, что Большой и Малый театры не нужны рабочему государству, так как они только тратят топливо и ставят все те же старые буржуазные оперы вроде «Травиаты», «Кармен» и «Евгения Онегина», Ленин возразил, сказав, что докладчик «имеет несколько наивное представление о роли и назначении театра». Театры были спасены.

В своих распоряжениях о новой системе законов, судопроизводства и тюрем Ленин был склонен к суровым мерам. Он предложил

исключить из партии тех судей, которые (2 мая 1918 г.) приговорили группу взяточников к 6 месяцам тюрьмы вместо расстрела, «ибо им место рядом с Керенскими или Мартовыми, а не рядом с революционерами-коммунистами». При обсуждении функций ЧК он предложил «карать расстрелом за ложные доносы». (Ложные доносы на бытовой или личной почве стали широко распространенным общественным явлением в Советском Союзе.) Были, однако, и такие случаи, когда Ленин выступал в защиту несправедливо обвиненных, арестованных и приговоренных. Телефонограмма Дзержинскому или его заместителю Петерсу от 2 ноября 1918 г. гласит: «Есть ли серьезные обвинения против арестованного вами профессора Зернова? Горбунов и Красин просят освободить». Анатом Д. Н. Зернов был профессором Московского университета. Тамбовскому уисполкому Ленин 25 октября 1918 г. телеграфировал: «Больную Азанчевскую, живущую в номерах Михайлова, выселять нельзя. Прошу принять ее на попечение Красного Креста. Телеграфируйте ответ». В начале ноября 1918 г. ЧК арестовала зубного врача К. С. Гинзбурга по подозрению в связях с кадетской партией. Два коммуниста предложили взять его на поруки. Ленин запросил у ЧК сведений. Позже он послал в ЧК телефонограмму: «Сведения эти я затребовал к вечеру 11 ноября. До сих пор, 10½ часов, ответа не имею. Повторяю еще раз свое требование». Члены ЧК утверждали, будто не могут найти Гинзбурга, хотя Ленин настаивал, что он содержится в Бутырках. После телефонограммы Ленина, они быстро нашли и выпустили зубного врача. Позже Ленин добился освобождения Пальчинского, известного русского инженера, служившего в правительстве Керенского. (В 1930 г. Пальчинский был расстрелян в связи с шахтинским процессом.)

В то же время Ленин занимается делами общественного страхования, Красного Креста, государственных сооружений, всеобщей переписи, созданием домов отдыха для раненых солдат на юге, поправками к конституции («По мере установления в других странах социалистической советской власти РСФСР входит с ними в единый Союз Социалистических Федеративных Советских Республик» и т. д.), ценой на картофель, оборудованием бактериологической лаборатории, тишиной на заседаниях Совнаркома (записка секретарю: «Во время заседания не разговаривать, а только записками обмениваться»), переводом «Государства и революции» на финский язык, подбором книг, брошюр, газет и других материалов для своей библиотеки в Смольном (он просит Иоффе регулярно присылать ему газетную сводку из-за границы).

Ленин и большевики обзаводились постоянной мебелью. Белье и другие противники большевизма вели себя, как временные

жильцы. Они набирали солдат, конфисковали зерно, распределяли министерские портфели и печатали бумажные деньги. Их целью была Москва. Там они надеялись создать государство. Трудно было образовать национальное правительство в Таганроге, Иркутске, Новочеркасске, Омске или Архангельске. Победа красных над бесчисленными врагами в гражданской войне 1917–1921 гг. была в немалой степени обусловлена тем, что в их руках была столица России, даже обе столицы — Москва и Петроград. Но это преимущество осталось бы без применения, если бы Ленин не использовало его в целях создания советского государства. Революция происходит тогда, когда старая администрация разваливается. Советская революция победила в ноябре 1917 г. потому, что Временное правительство было обескровлено ленинской стратегией «двоевластия», т. е. раздела власти между правительством и советами. Точно так же годы гражданской войны и административной анархии, к которой она привела, сделали Мао Дзэдуна властителем Китая. С другой стороны, функционирующая администрация, государство, как шатко бы оно ни было, служит подспорьем действующей армии, укрепляет ее и ведет к победе в гражданской войне. Вспоминается одно исключение: гражданская война в Испании в 1936–1939 гг. Там анархисты, коммунисты и та доля анархизма, которая заложена в каждом испанце, ослабили правительственную администрацию, что привело к победе более сильной армии, пользовавшейся иностранной поддержкой. Если бы Ленин придерживался заветов своего полуанархического труда «Государство и революция», его режим постигла бы та же судьба. Но, придя к власти, он перестал руководствоваться книгами.

23. Ленин и Горький

Когда советское правительство переехало из Петрограда, Ленин поселился в московской гостинице «Националь» на углу Моховой (ныне Карла Маркса) и Тверской (ныне Горького). Позже он и Крупская заняли квартиру из пяти маленьких комнат в Кремле. Гость, пришедший как-то к Крупской и оставшийся к чаю, вспоминал позже, что на все семейство Лениных было две чайных ложки, передававшихся из рук в руки. К чаю подали черный хлеб и масло. Был голодный 1919 год.

Крестьяне — ходоки к Ленину заметили, что в кабинете у него холодно и прислали воз дров.

Ленин ненавидел лишние затраты. Он настаивал, чтобы служащие пользовались телефоном и экономили бумагу. Журналистам: он советовал писать покороче: «Правда», ежедневная газета пар-

тии, выходила одним листом, на коричневой оберточной бумаге. Времени Ленин тоже не любил тратить. Заседания ЦК партии назначались на 10 часов утра. Он открывал их ровно в четверть одиннадцатого. Выступающим давалось две минуты, Ленин следил по часам. Е. Д. Стасова, секретарь ЦК рассказывает, что Ленин не допускал растрачивания казенного имущества. Когда А. Д. Цюрупа, ответственный большевик, запустил свое здоровье, Ленин сделал ему предупреждение «за неосторожное отношении к казенному имуществу», к которому, как он говорил, относятся и члены партии. Крупская и сестра Ленина Мария Ильинична жаловались Стасовой, что Ленин плохо спит. Стасова провела в ЦК постановление об отпуске Ленина и сообщила об этом Ленину по телефону. В ответ Ленин сказал «очень сердитым голосом:

— Когда прикажете приступить к отпуску?»

Получив отпуск, Ленин ходил на охоту, собирал грибы и ловил рыбу в окрестностях Москвы.

Летом 1918 года Ленин иногда проводил выходные дни в деревне Тарасовке под Москвой. Он пытался быть один, но безуспешно, так как на даче жило несколько семейств. Кроме того, как пишет его сестра Мария, на окнах не было сеток, и Ленин страдал от комаров. Один раз, безуспешно стараясь заснуть ночью, «Владимир Ильич сбежал с дачи на рассвете в город». Домашняя работница Лениных, А. М. Сысоева, рассказывает: «Бывало, если (Ленин) увидит, что хлеб на столе не покрыт и на него садятся мухи, он всегда обращал на это внимание и напоминал, что от мух непременно надо все закрывать». Летом 1919 года Ленин иногда приезжал отдыхать в Горки. Там он ходил в лес за грибами «и всегда возвращался очень довольным», как вспоминает его повариха, «в особенности, если корзинка была полна».

Позже у Ленина и Крупской служила в прислугах Олимпиада Никаноровна Журавлева, раньше работавшая на уральском заводе. «Ильич находил, что у ней силен пролетарский инстинкт, — вспоминала Крупская, — и сидючи на кухне (Ильич по старой привычке любил обедать, ужинать, пить чай на кухне), любил потолковать с Олимпиадой Никаноровной о грядущих победах».

Здоровье Крупской после сделанной в Берне операции все ухудшалось. В начале 1919 года управляющий делами СНК В. Д. Бонч-Бруевич посоветовал Ленину отправить Крупскую из Москвы на длительный отдых.

— Длительный отдых!.. Пойдите уговорите ее. Она и слышать не хочет... — воскликнул Ленин.

— Уговорить ее можете только вы один, — возразил Бонч. — И надо это сделать!..

Зная, что Крупская была активна в области народного образования, Бонч советовал «перевести ее в одну из лесных школ в Сокольниках. Ленину это предложение понравилось, и он послал Бонча в Сокольники «на разведку»: «Никому ничего не говорите, зачем приехали. Запомните получше дорогу... А я попробую предварительно поговорить с Надей».

Бонч нашел, что в Сокольниках Крупской будет удобно. «Надя склоняется поехать, — сказал ему Ленин. — Завтра утром я скажу вам окончательно», «...и он опять углубился в бесперывную, напряженную, крайне нервную работу, постоянно прерываемую телефонными сигналами: вспыхивали лампочки, жужжали “пчелы”, телефонные станции, находившиеся в соседней комнате, сигнализировали вызовы из Петрограда, Нижнего, Курска и других мест. Ровно, спокойно, не повышая голоса, давал Владимир Ильич сотни распоряжений, получал донесения, записывал важнейшее, составлял телеграммы, радиограммы, телефонограммы, посылал записочки и письма с курьерами на мотоциклах — и все так просто и внешне спокойно, как будто бы и работы никакой нет. Время от времени быстро подходил он к картам и делал отметки о положении на фронтах, согласно самым последним донесениям».

«...Наутро, лишь только я вошел к нему с очередным докладом, как он сказал мне: — Надя согласна... Укладывается... Берет с собой кучу работы, а сама еле говорит, еле дышит... Поправится ли?.. Сегодня к вечеру мы поедем, только не надо никому говорить, совершенно никому».

Все сошло благополучно: Крупская поселилась в Сокольниках, Ленин время от времени ее навещал. Однажды Ленин пригласил Бонча с собою на школьную елку — был январь 1919 года. Они купили в складчину конфеты и подарки; магазины в те дни были пусты. На елке веселились: с песнями водили хоровод и играли в кошки-мышки. «Владимир Ильич весь ушел в детский праздник... Смотрите, как увлекательно играет он, не пропуская кота, защищая мыш!» — сообщает тронутый Бонч.

Свежий воздух и отдых были полезны Крупской, и она осталась в Сокольниках. 19 января 1919 года, в воскресенье, Ленин снова поехал навестить ее. Шофер Ленина Степан Казимирович Гиль, которому тогда было 30 лет, вспоминает: «Зима была в том году вьюжная, Москву замело снегом... В нескольких саженях от Каланчевской площади мы вдруг услышали грозный крик: «Стой!» Кричал какой-то субъект в шинели. Я прибавил ходу... Когда стали подъезжать к Калининскому заводу, на середину дороги выскочило несколько человек с револьверами в руках. «Стой! Машину остановить!» — раздался крик. Я вижу, что по форме это

не патруль, и продолжаю ехать прямо на них. Неизвестные повторили свой окрик: «Стой! Будем стрелять!» Я хотел проскочить, но Владимир Ильич потребовал, чтобы я остановил машину...

— Выходите! Живо!

Владимир Ильич приоткрыл дверцу и спросил:

— В чем дело?

Один из нападавших крикнул:

— Выходите, не разговаривайте!

Бандит схватил Владимира Ильича за рукав и резко дернул к себе. Выйдя из машины, Ильич недоуменно повторил свой вопрос:

— В чем дело, товарищи? Кто вы? — и достал пропуск».

Мария Ильинична и их спутник тоже вышли из машины. Один из вооруженных людей обыскал карманы Ленина, отобрал документы и браунинг. Сестра Ленина возмущенно обратилась к ним: «Какое право вы имеете обыскивать? Ведь это же товарищ Ленин! Предъявите ваши мандаты!» «А нам никаких мандатов не надо, — ответили ей. — У нас на все право есть». Гиль, оставшийся за рулем, не посмел стрелять, чтобы в перестрелке не убили Ленина. Налетчики приказали Гилю тоже выйти из автомобиля. Он повиновался. Бандиты уселись в машину и укатили.

«— Да, ловко, — произнес Владимир Ильич, — вооруженные люди и отдали машину. Вот позор! — вспоминает Гиль. — Я понял, что Ильич метит в мой огород, и стал объяснять, что в ответ на мой выстрел бандиты открыли бы огонь... Владимир Ильич, подумав с минуту, ответил: — Да, товарищ Гиль, вы правы. Тут силой мы ничего не сделали бы. Очевидно, мы уцелели только благодаря тому, что не сопротивлялись».

Путники отправились в Сокольничевский совет, здание которого стояло тут же рядом, позвонить в Кремль. Часовой не пустил их, потребовав пропуск. Ленин назвал себя и объяснил, что пропуска у него нет, потому что его ограбили. Часовой продолжал сомневаться. Наконец, Гиль показал свои документы, и по ним всю компанию пропустили в здание. В Совете никого не было. В коммутаторной разбудили сонного телефониста, позвонили в Кремль, ВЧК. За ними прислали машину.

Ленин приказал разыскать украденный автомобиль. Дороги из города были завалены снегом, а в Москве большую машину где-то было скрыть. В ЧК и уголовном розыске все было поставлено на ноги, и в ту же ночь машина была найдена. Возле машины лежали убитые милиционер и красноармеец. Налетчики скрылись, но в эту ночь было схвачено много преступников.

Весной 1919 года делегация донских казаков приехала в Москву на прием к М. И. Калинину, ставшему после смерти Свердлова

председателем ВЦИК, Калинин сказал им, что «Ильич очень интересуется положением на Дону» и приглашает их на завтра, в 3 часа. В приемной Ленина его секретарь Лидия Фотијева предупредила их, «что Владимир Ильич не спит уже несколько ночей и просила допросы излагать короче». В три часа их пригласили в кабинет Ленина. Делегаты были взволнованы, но Ленин быстро рассеял их стеснительность простотой обращения. Он стал задавать вопросы: обеспечены ли семьи красноармейцев семенами, как относится казачество к сельскохозяйственным артелям и коммунам, как казачество идет в ряды Красной Армии и т. п. Ответы казаков не сохранились, но о них можно догадываться. Аудиенцию часто прерывали телефонные звонки с фронтов, с фабрик, со всех концов страны. После каждого звонка Ленин с улыбкой возвращался к прерванному разговору с казаками. Они, как многие другие, прибыли в Москву чтобы получить в различных комиссариатах вооружение, транспорт и т. д. Ленин выслушал их нужды и, прощаясь, сказал: «Идите и стучите. Где вам не отворят — звоните мне». У него было чуткое ухо.

В «Правде» за 15 февраля 1919 года был напечатан ответ Ленина на запрос крестьянина, помещенный в «Известиях ЦИК» от 2 февраля. Крестьянин-красноармеец г. Гулов ставил вопрос об отношении правительства к середнякам и рассказывал «про распространяемые слухи, будто Ленин с Троцким не ладят, будто между ними есть крупные разногласия и как раз на счет середняка-крестьянина».

Троцкий уже дал ответ на это письмо в «Известиях» от 7 февраля, назвав слухи о разногласиях «бессовестной ложью, распространяемой помещиками и капиталистами, или их вольными и невольными пособниками». Ленин, со своей стороны, «целиком подтверждал заявление тов. Троцкого»: «Никаких разногласий у нас с ним не имеется, и относительно крестьян-середняков нет разногласий не только у нас с Троцким, но и вообще в коммунистической партии, в которую мы оба входим. Товарищ Троцкий в своем письме подробно и ясно объяснил, почему партия коммунистов и теперешнее рабоче-крестьянское правительство, выбранное советами и принадлежащее к этой партии, не считает своими врагами крестьян-середняков. Я подписываюсь обеими руками под тем, что сказано тов. Троцким». Но, зная, что было на уме у крестьян — и у бедняков, и у середняков, и у кулаков, Ленин добавил: «Свободная торговля хлебом, это значит свобода наживаться для богатых свобода умирать для бедных... Власть капиталистов, “свобода торговли” не возвратится. Социализм победит».

(Статья Ленина появилась в 36 томе 4-го издания его «Сочинений», вышедшем в Москве в 1957 году. Редакция не сочла возможным исключить ее из издания, но снабдила ее примечанием: «Л. Д. Троцкий — злейший враг ленинизма... После победы Октябрьской социалистической революции Троцкий некоторое время формально соглашался с политикой партии по крестьянскому вопросу».)

Ленин все-таки сомневался в лояльности крестьянства и 30 апреля 1919 года попросил Зиновьева подобрать «300–600 питерских рабочих, с серьезнейшими рекомендациями от партии и от профессиональных союзов, для рассылки по 1, по 2 в уисполкомы всей России... Без группы таких абсолютно надежнейших и опытных питерских рабочих нам с деревней не добиться крупного улучшения».

Блистательный Петроград, «Северная Пальмира», был погружен во тьму. Царили голод и холод. Культ рабочих и крестьян послужил политической почвой для одичания. Максим Горький, житель бывшей столицы, ворчал: «В 19 году, в Петербурге был съезд “деревенской бедноты”. Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи».

Как общественный деятель, Горький был в это время, вероятно, популярнее Ленина. Он был известен интеллигенции и многим рабочим и крестьянам, независимо от того, читали они его произведения или нет. В отличие от Ленина, пришедшего в революцию из дворян, Горький был человеком из народа и служил народу по-своему. Ленин питал к Горькому особое уважение и обычно принимал его дома. Если же Горький должен был посетить его в Совнарком, то Ленин приходил в свой кабинет раньше обычного и напоминал секретарю: «Не забыли ли сказать в будку у кремлевских ворот, не задержат ли там Горького?» Через полчасы он звонил из кабинета: послали ли за Горьким машину. Обычно Горькому не приходилось ждать в приемной, Ленин принимал его без очереди. Секретарь Ленина вспоминает: «В часы, когда у Владимира Ильича сидел Горький, на нашу долю выпадало много работы». Горький приносил ходатайства об арестованных ученых, писателях, художниках. Классовая дискриминация

огорчала Горького: официальное солнце сияло только для рабочих и крестьян, интеллигенция оставалась в тени. Горький «приедет сюда завтра, и я очень хотел бы вытащить его из Питера, где он изнервничался и раскис», писал Ленин 7 июля 1919 года Крупской, находившейся на борту волжского агитпарохода «Красная звезда». Ленин пытался уговорить Горького присоединиться к волжской агитгруппе: это было бы большой политической победой. В конце письма Ленин прибавил: «Митя (т. е. его брат Дмитрий) уехал в Киев: Крым, кажись, опять у белых. Мы живем по-старому: отдыхаем на “нашей” даче по воскресеньям. Троцкий поправился, уехал на юг, надеюсь подтянет. От замены главнокомандующего Вацетиса Каменевым (с Востфронта) я жду улучшения... Крепко обнимаю, прошу писать и телеграфировать чаще. Твой В. Ульянов. NB. Слушайся доктора: ешь и спи больше, тогда к зиме будешь *вполне* работоспособна».

На другой день Ленин телеграфировал Крупской: «...Сегодня видел Горького, убеждал его поехать на вашем пароходе... но Горький категорически отказался». Слово «категорически» показывает, что Горький не отговаривался работой или состоянием здоровья. Он просто не хотел присоединиться к агитпароходу и отождествить себя с советским режимом. Он не был антисоветски настроен, но ограничение свободы и преследование интеллигенции мучило его. В Петрограде оно чувствовалось всего сильнее. Петроград был окном в Европу, европейским городом, а Москва — всего лишь непомерно разросшейся деревней. Окно затуманилось политической изморозью. Флюгер показывал на восток: ветер дул из Азии. Отчасти в плохой погоде была повинна вражда западных держав. Но в этом было мало утешения. Интеллигенцию возмущал холодный ветер, дувший из московского Кремля. Возмущал он и Горького. Чистокровный великоросс, он вкусил запада и чувствовал нужду в нем.

Горький вернулся в Петроград, но Ленин не сдавался. Он снова написал Горькому 19 июля 1919 года, уговаривая его приехать в правительственный дом отдыха под Москвой, в Горках: «Я на два дня часто уезжаю в деревню, где великолепно могу Вас устроить и на короткое и на более долгое время. Приезжайте, право! Телеграфируйте, *когда*, мы Вам устроим купе, чтобы удобнее доехать. Немножечко переменить воздух, ей-ей, Вам надо. Жду ответа! Ваш Ленин».

Горький отказался, дав волю накопившейся в нем горечи. Ленин ответил 31 июля длинным письмом, пожалуй, самым длинным его письмом за всю гражданскую войну. В письме чувствовался сдерживаемый гнев. «Дорогой Алексей Максимыч! — начиналось

оно. — Чем больше я вчитываюсь в Ваше письмо, чем больше думаю о связи его выводов с изложенным в нем (и рассказанным Вами при наших свиданиях), тем больше прихожу к убеждению, что и письмо это, и выводы Ваши, и все Ваши впечатления совсем большие. Питер — один из наиболее больших пунктов за последнее время... голод тяжелый, военная опасность тоже. Нервы у Вас явно не выдерживают. Это не удивительно. А Вы упрямитесь, когда Вам говорят, что надо переменить место, ибо дать себе истрепать нервы до большого состояния совсем неразумно...

Начинаете Вы с дизентерии и холеры; и сразу какое-то болезненное озлобление: «братство, равенство». Бессознательно, а выходит нечто вроде того, что коммунизм виноват — в нужде, нищете и болезнях осажденного города!!

Дальше какие-то мне непонятные озлобленные остроты против «заборной» литературы (какой? почему связанной с Калининим?). И вывод будто «ничтожные остатки разумных рабочих» говорят, что их «предали» «в плен мужику».

В письме Горького, доказывал Ленин, речь шла «об остатках аристократии». «Их настроение на Вас болезненно влияет, — писал Ленин. — Вы пишете, что видите “людей самых разнообразных слоев”. Одно дело — видеть, другое дело ежедневно во всей жизни ощущать прикосновение». В силу своей профессии, намекал Ленин, Горький вынужден принимать «десятки озлобленных буржуазных интеллигентов». Горький писал Ленину, что «остатки» «питают к Советской власти нечто близкое симпатии», а большинство рабочих «поставляет «воров, примазавшихся коммунистов и пр.». «И Вы договариваетесь до вывода, — замечает Ленин, — что революцию нельзя делать при помощи воров, нельзя делать без интеллигенции».

«Это — сплошь больная психика, — утверждал Ленин. — Все делается, чтобы привлечь интеллигенцию (небелогвардейскую) на борьбу с ворами... В Питере «видеть» этого нельзя, ибо Питер город с исключительно большим числом потерявшей место (и голову) буржуазной публики (и «интеллигенции»), но для всей России это бесспорный факт. В Питере или из Питера убедиться в этом можно только при исключительной *политической* осведомленности, при специально большом политическом опыте. Этого у Вас нет. И занимаетесь Вы не политикой и не наблюдением *работы* политического строительства, а особой профессией, которая Вас окружает озлобленной буржуазной интеллигенцией, ничего не понявшей, ничего не забывшей, ничему не научившейся...

Если *наблюдать*, надо наблюдать внизу, где можно обзреть работу нового строения жизни, в рабочем поселке провинции (скуку

которой Горький так хорошо знал. — Л. Ф.) или в деревне, — там не надо политически охватывать сумму сложнейших данных, там можно только наблюдать...

Вы поставили себя в положение, в котором непосредственно наблюдать нового в жизни рабочих и крестьян, т. е. $\frac{9}{10}$ населения России Вы не можете». (В ряде других высказываний Ленин славил Петроград как пример пролетарского города, а Горький, самый наблюдательный художник России, уже видел крестьян на съезде в Зимнем...) «Советы уехать Вы упорно отвергаете. Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам. Вы пишете, не только тяжело, но и “весьма противно”!!! Еще бы!» Горький, по словам Ленина, приковал себя к «больной» интеллигенции Петрограда. «Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать *не можете*... Страна живет лихорадкой борьбы против буржуазии всего мира... Жизнь опротивела, “углубляется расхождение с коммунизмом”. В чем расхождение, понять невозможно. Ни тени указаний на расхождение в политике или в идеях нет».

В заключение письма Ленина снова посоветовал «радикально изменить обстановку, и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно.

Крепко жму руку. Ваш Ленин».

Некоторые из «остатков аристократии», за которых заступался Горький, были аристократами духа, кисти или пера. Среди них был великий князь Николай Михайлович, историк, желавший удалиться в Финляндию, чтобы посвятить себя литературному труду. Горький ходатайствовал перед Лениным о разрешении на выезд и получил от него особое письмо к петроградским властям. Но вернувшись в Петроград, Горький узнал о казни великого князя. По словам Бориса Николаевского, видного меньшевистского писателя, Горький, находясь в Берлине в 1922–1923 гг., высказывал подозрение, что Ленин лично, или кто-нибудь из его приближенных, отдал приказ о казни великого князя в то самое время, когда ходатайство Горького было формально удовлетворено Лениным. Это подозрение подтверждается телеграммой, воспроизведенной в 21 томе «Ленинского сборника» (с. 279), в которой Ленин приказывал Зиновьеву задержать отъезд Николая Михайловича.

Но ничто не могло нарушить связь между Лениным и Горьким. Обращаясь к Ленину, как к последней инстанции, Горький спас жизнь многим писателям, художникам и ученым. А Ленину Горький был нужен как знаменитый во всей России писатель, вышедший из народа, писавший о народе и для народа. Разве

Горький не связал себя с коммунистической партией? Отчуждение его могло повредить престижу советской власти. Ленин и Горький продолжали встречаться в Москве: Горький привозил свой список допущенных несправедливостей, Ленин пытался «наставить его на путь истинный». Воспоминания Горького о Ленине, написанные после смерти вождя, настоящий гимн в его честь. Но позиция Горького оставалась неизменной: он мягко, но упорно оказывал давление на вождя большевиков, отстаивая принципы свободы. «Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не в праве сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами разного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал: — Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм, — скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу. — Между нами, — говорил он, — ведь многие изменяют, предаются не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная

теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент».

Однажды Горький спросил: «Кажется мне это, или вы действительно жалуете людей?»

«Умных — жалею, — ответил Ленин. — Умников у нас мало. Мы народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума». Умственная лень — частое последствие политической тирании. Запреты, накладываемые на выражение мысли, редко способствуют мышлению.

«Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейна, сказал:

— Ничего не знаю лучше *Appassionata*, готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди.

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по голоскам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!»

Ленин был многосторонней личностью, ряд аспектов которой не сразу бросаются в глаза. Но замечание, сделанное им на этом музыкальном вечере, проливает свет на некоторые из них. Самой адской трудностью взятой им на себя работы была необходимость подавить в себе человечность и воспитать способность «бить по головкам». Он надел ежовые рукавицы, чтобы скрыть мягкость своей руки, и вытравил последние остатки мягкости из своего характера, чтобы она не могла помешать исполнению долга. Чтобы ограничить других, он ограничил самого себя. Он продал душу своему идолу — революции — и целиком повиновался ее жестокому диктату. Никакие элизийские сонаты не должны были напоминать ему о красоте жизни. Музыка действовала ему на нервы, потому что он вынужден был бороться с собой, чтобы не слышать, что она говорила ему. Он был на войне, на службе у ее величества Победы, и прислушивался только к звуку боевой трубы. Он не пил и не курил. Борьба была его пищей, труд — его наркотиком. Но спал он плохо. Горький назвал Ленина «рулевым столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия». Этот корабль тянул его ко дну.

<...>

А. ФРАНС*

Письмо В. И. Ленину**

*5, Вилла Саид, XVI округ,
19 ноября 1921 г.*

Товарищ Ленин,

Рекомендую Вам, как Вашего и моего друга, Жюльена Вейлера, который едет в Россию, чтобы вести там крупные торговые дела в пользу Советского правительства.

Пользуясь представившимся мне случаем, товарищ Ленин, чтобы воздать должное Вашему характеру и Вашему гению.

Анатоль Франс.

* *Анатоль Франс* (Франсуа Анатоль Тибо, 1844–1924) — французский писатель, литературный критик. Был видным деятелем реформистского, а позже — социалистического лагеря. Член Французской академии. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1921) за «блестящие литературные достижения, отмеченные изысканностью стиля, глубоко выстраданным гуманизмом и истинно галльским темпераментом», деньги которой он пожертвовал в пользу голодающих России.

** Письмо В. И. Ленину от 19 ноября 1921 г. печатается по изд.: Письма В. И. Ленину из-за рубежа. М.: Мысль, 1966.

Ю. ФУЧИК*

Ленин**

Студенты, исследовавшие условия жизни словацкой деревни, встретили высоко на Липтовских голях*** старого пастуха и разговорились с ним. Им хотелось узнать, что известно этому пастуху, почти отрезанному от общества, более близкому к звездам, нежели к людям, одинокому в этих глухих горных местах Словакии, — что известно ему о мире, о строе, при котором живет, о людях, которые им управляют? Много правдивого из сказанного стариком некоторым людям было бы неприятно услышать. Но многого он не знал.

Разговор коснулся Советского Союза. Пастух радостно кивнул головой.

— А о Ленине, — спросили его, — вы знаете?

— Еще бы, — ответил он, — Ленин был как наш Яношик****. У богатых брал, а бедным отдавал.

После этих слов наступила тишина, долгая, задумчивая тишина. Старый дед попыхивал трубкой и между двумя затяжками добавил:

— Он был даже лучше Яношика.

Этот забавный случай — правда. Пастух с Липтовских голей действительно представлял себе Ленина как самого большого героя и самого благородного парня с гор; и он вспомнил Яношика, которого почтение униженных сделало воплощением справедливости, долженствующей одержать победу в борьбе против господам. Поразмыслив, видимо, и сравнив про себя Яношика и Ленина, пастух признал:

— Он был даже еще лучше...

* Юлиус Фучик (1903–1943) — чешский писатель, литературный и театральный критик, журналист. Активист компартии. Национальный герой ЧССР. В 1930 и в 1934–1936 гг. в качестве журналиста посещал СССР, в частности Ташкент и чешскую коммуны «Интергельпо» в Киргизии. Во время путешествия по Средней Азии познакомился с классиком таджикской литературы Садриддином Айни. На основании полученных от посещения СССР впечатлений написал книгу «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днём» (1932) и цикл художественных очерков. Выступал против критиков Советского Союза: Андре Жида и Иржи Вейля. В 1943 г. казнён на гильотине (по другим данным казнен через повешение) в берлинской тюрьме Плётцензее. Посмертно ему присуждена Международная премия Мира (1950).

** Статья «Ленин» написана в 1934 г.

*** Голи — горные пастбища в Словакии. — *Ред.*

**** Юрай Яношик (1688–1713) — легендарный герой словацкого народа.

Рассуждая о необыкновенном значении Ленина, тысячи разных врагов, политиков и журналистов изображали вождя русских рабочих разбойником, правонарушителем, государственным преступником, — правда, гениальным, но все же только преступником, который нарушил законы и которого необходимо за это ненавидеть. Имя Ленина должно было стать известным миллионам людей, прежде чем дойти до пастуха с Липтовских голей. Ясно, что оно докатилось до него с примесью всего того, что о нем рассказывали враги. Однако этот живущий вдали от людей пастух почувствовал, что Ленин делал все для эксплуатируемых, — и отвел ему самое высокое место, какое было в его представлении для людей справедливых, мужественных и мудрых.

Как же после этого не понять ту восторженную любовь русских рабочих и бедных крестьян к человеку, с которым они запросто познакомились, которого видели своим вождем и с которым шли к победе, — к тому, что было их стремлением и мечтой. Ленин стал символом справедливой борьбы за права бесправных, символом победы в этой борьбе.

Если мы сейчас оглянемся на путь, пройденный Лениным, то поймем, что он никогда не принимал случайных решений о направлении, не делал случайного выбора на перекрестках дорог. С первой минуты, когда он стал интересоваться политическими вопросами, с того момента, как он начал участвовать в рабочем движении, и до последней минуты своей жизни он шел одним непоколебимым, неуклонным путем, который всегда может быть примером, — путем, устанавливающим отчетливые, ясные, наглядные вехи для пролетариев, стремящихся к свободе.

Позднее Ленин сам выразил это в следующих словах: «Наша сила — полная ясность и трезвость учета всех наличных классовых величин, и русских и международных, а затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость, решительность и беззаветность борьбы».

Если мы учтем, что люди, призванные направлять ход жизни всего мира, переживающего сейчас страшные потрясения, фактически не видят, каким путем и куда идти, не умеют создать единого плана, способного действительно привести к каким-нибудь положительным результатам, и лишь всеми силами защищают свое господствующее положение, нам станет ясно, каким великим источником силы Ленина и его идей было именно то, что он совершенно точно знал, куда направлено и куда идет историческое развитие.

Откуда черпал Ленин эту уверенность? Из марксизма, которым он овладел, будучи студентом, когда был еще неизвестен и когда,

собственно, не существовало еще того имени, которое знает теперь весь мир. Владимир Ильич Ульянов, родившийся в 1870 году, позднее взявший себе псевдоним Ленин, изучал Маркса, Энгельса, а также тех, кто, делая вид, будто исходит из учения основоположников марксизма, затуманивал, уродовал его своими псевдонаучными выводами или нарочито извращал его единственно правильную истину.

Когда в двадцать девять лет Ленин выпустил свою первую книгу «Развитие капитализма в России», где с марксистской точки зрения объяснил путь развития капитализма в стране, для которой это было в то время самым важным вопросом, многие поняли, что появился не только настоящий ученик Маркса, но и человек, который сумеет создать новые ценности на основе теории Маркса. И Ленин не обманул этих ожиданий. Он стал марксистом еще более высокого периода развития человечества, марксистом периода империалистических войн и пролетарских революций. Благодаря своей прозорливости, он вел успешную борьбу против нерешительности, оппортунизма и политики поддержки умирающего класса буржуазии и добился в этой борьбе победы на одной шестой земного шара.

Когда весть о смерти Ленина распространилась по всему миру, многие оплакивали его, но нашлось немало и таких, которые со злорадством смотрели на осиротевший Советский Союз, как на страну, в которой рухнет все созданное Лениным. Но там, в Советской стране, возник лозунг, мало похожий на траурный:

«Ленин умер, но дело Ленина живет!»

Было ли это правдой? Жило ли дело Ленина? Да! Оказалось, что сильная личность, играющая выдающуюся роль в истории, не играет ее сама по себе, а вырастает вместе с общим подъемом из одной основы, и что руль, который выпустил из рук умерший, не будет оставлен ни на минуту, если корабль, управляемый им, плыл в правильном направлении. В Советском Союзе ленинизм действительно живет полной жизнью, и в конце концов никто даже из врагов не станет серьезно оспаривать этого, так как тут говорят факты, статистические данные о строительстве социалистической промышленности, о росте коллективных хозяйств и о развитии Советского Союза (в то время как во всем остальном мире можно наблюдать прогрессирующий упадок). Лозунг «Дело Ленина живет!» является в Советском Союзе лозунгом действительности, лозунгом правды.

А в остальном мире? Мы должны признать, что Коммунистический Интернационал — как дело Ленина — и секции его в отдельных странах тоже являются фактом, и то, как они ведут борьбу, свидетельствует о его жизненности. Факт, что десять лет

назад имени Ленина противопоставляли, например, имя Вильсона. Сейчас — мы видим — о Ленине не забыли, его имя называют с еще большей любовью одни и с еще большей ненавистью другие. Значит, его имя живет. А имя Вильсона? Разве говорят еще об его условиях построения нового мира и заметны ли результаты его дела? Лозунг «Ленин умер, но дело его живет!», провозглашенный десять лет тому назад, был выдвинут той же самой силой, которая имеет своим источником ясность планов, железную энергию, твердость и решительность в борьбе.

Ленин умер, но дело его действительно живет, и мы будем встречаться с ним на самых различных фазах.

Н. ХИКМЕТ*

«Не умрет!..»**

Не умрет!
Не умрет никогда!
Не умрет человек,
Который
Крутые повороты
Истории
Раньше всех
Проходил в боях,
Который
Во время шторма
Раньше всех
Замечал маяк!
Разве может
Закрыть свои очи
На веки веков
Вождь
Рабочих,

Большевиков?!

* *Назым Хикмет Ран* (1902–1963) — турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель. Основоположник турецкой революционной поэзии. Коммунист с 1922 г. «Романтический коммунист» и «романтический революционер», он неоднократно был арестован за политические убеждения и провел большую часть жизни в тюрьме или в изгнании. Лауреат Международной премии Мира (1950).

** Перевод с турецкого.

К. ХОАНГ***Почему мне дорог Ленин?*******I**

Почему я хочу говорить о Ленине?
Его имя для меня священо.
Могу ли сказать главное?
На заре человечества
Улыбка была еще редким гостем.
Бесконечные войны
Опустошали города и целые государства.
Короли и вельможи богатели,
А народ страдал от непосильного гнета.
Особенно тяжело приходилось бедняку зимой,
Когда холодный северный ветер
Выдувал последнее тепло из его жилища.
Но вот появляется Ленин!
В его сердце — огонь,
А взгляд — далеко видит!
Это он вселил в людей надежду.
Черные тучи стали расходиться —
Показалось чистое голубое небо.

II

Почему мне дорог Ленин?
Потому что народы колоний
Поднялись по его призыву.
И с ними Ленин!
Под чужеземным игом
Они забыли свою славную многовековую историю.
Но уже бурлит Восток!
Уже мир знает имена его героев!
Я ценю имя Ленина во имя этих очистительных гроз,
Во имя песен борьбы,
Которые мы распеваем все громче и громче.

* *Ксуан Хюэ Хоанг* (р. 1931) — вьетнамский поэт.

*** Стихотворение «Почему мне дорог Ленин?» печатается по изд.: Огонек. 1971. № 16. Перевод с вьетнамского М. Аксенова.

III

Мне дорог Ленин,
Потому что над зелеными
Рисовыми полями моей Родины
Парят белокрылые аисты.
Потому что сети рыбаков полны,
А сады тяжелы от плодов.
Как бы восхищался Ленин
Закатом солнца в заливе Ха-Лонг,
Когда его розовые волны чуть-чуть колышутся.
Увы, в течение восьмидесяти лет
Мою прекрасную Родину — Вьетнам —
Картографы закрасивали как территорию Франции.
О моей стране Ленин, быть может, никогда не говорил,
Но он знал про угнетенные народы Востока,
Которым надо помочь обрести Свободу.

IV

Еще мне дорог Ленин
За ту маленькую песенку,
Которую он со слов горничной выучил в Париже.
Вдали от Родины, как он радовался, когда видел березку,
Словно получал привет из России.
Часами он мог смотреть на Женевские горы,
Когда утренний туман, рассеиваясь,
Приоткрывает одну вершину за другой.
Он мне дорог за свою совесть:
Он считал, что не имеет права заменить свои стоптанные сапоги,
Потому что у многих в то время не было даже таких — стоптанных.

V

Я ценю имя Ленина — во имя всех, во имя каждого.
Во имя влюбленных, которые никак не могут расстаться,
Хотя ночь уже прошла, а их волосы стали мокрыми от росы.
Я ценю имя Ленина,
Потому что груженные доверху повозки
Пахнут свежим хлебом.
Потому что в мягких люльках
Спят теперь дети вьетнамских крестьян.

Мне дорог Ленин,
Потому что Гагарин первым проник в космос!
Я ценю имя Ленина
За новые больницы, сияющие белизной,
За широкие окна школ,
Где в светлых классах в красных галстуках
Учатся наши дети — наши быстроногие кузнечики.
Мне дорог Ленин
За наступивший день,
За день, который наступит,
За зеленые почки весны,
За все, что цветет,
За все, что улыбается,
Потому что в свете каждой улыбки
Светится
Имя Ленина!

Х. ХУППЕРТ*

Бригада памяти двадцать первого января**

Вечером в бараке бригадир сказал,
Прижавшись к печке спиной:
— Завтра день памяти Ленина,
Завтра у нас выходной.

Ночь была черна, как базальт.
Тверд мороз, как гранит.
А в бараке — сало и чай,
Лопаты и динамит.

Люди бурили, долбили, скребли,
Проклятый грунт был острой стекла.

* *Хуго Хупперт* (1902–1982) — австрийский поэт, прозаик, критик. Стронник марксизма. Долгое время был связан с СССР. Переводчик стихов В. Маяковского.

** Стихотворение «Бригада памяти двадцать первого января» написано в 1931 г. Печатается по изд.: Революционная баллада мира. М.: Молодая гвардия, 1967. Перевод с немецкого М. Ваксмахера.

Тоскуя по снегу, стыла земля.
Работа была, как грунт, тяжела.

Завтра — памяти Ленина день.
Передышка завтра, привал...
— Эй, бригадир, Расскажи-ка нам,
Что ты в тот год повидал.

— Нас, красноармейцев, из Петрограда
Прислали в Москву, в почетный караул.
Выходим ночью из вагона — видим:
Мороз-то уже к сорока шагнул.

Дома на улицах заиндевели,
Словно изъедены ржавчиной седой...
А еще страшней, чем мороз, чем ветер,
Великая скорбь над Москвой...

Мне не забыть детей постаревших,
Взрослых, что плачут по-детски, навзрыд.
Улицы стонут, стонут площади,
Камень слезой застывшей облит.

Гроб Ильича Москва обнимает,
Кострами греет, как мать нежна.
Как сегодня, вижу: идут и идут
Народы и племена...

Скорбное солнце в морозной дымке
Кажется не солнцем — луной.
Руки жжет горячей огня
Винтовки металл ледяной.

Поплыл над домами плач сирен.
Паровозы — в клубах дыма и пара.
Ударили пушки. Люди несли
Ленина вокруг земного шара.

Весь мир на Красную площадь пришел,
С вождем прощался народ.
Видите — у меня на партийном билете
Двадцать четвертый год...

Люди смотрели на партийный билет
Своего бригадира. И в полумраке
До полуночи о Ленине шел разговор
В рабочем бараке.

А двадцать первого января,
Утром, в морозный туман,
Бригада лопаты взяла
И пошла в котлован.

Был этот день торжеством труда.
Сорокаградусный злился мороз.
Копали, взрывали, бурили, скребли.
Котлован на глазах рос.

— Цемент привезут — послезавтра фундамент
Класть начинаем, — бригадир кричал, —
Чтоб через год дала металл
Домна имени Ильича!

Л. ХЬЮЗ*

Ленин**

Ленин проходит по белому свету,
Проходит, не зная границ и преград,
Как будто казарм и полиции нету,
Ключей проволоки и баррикад.

Ленин проходит по белому свету,
Черным, и желтым, и белым — друг.
Язык — не помеха пройти планету,
В Ленина верят все люди вокруг!

* *Лэнгстон Хьюз* (1902–1967) — американский негритянский поэт, прозаик, драматург, борец за мир и демократию. Известен как один из ведущих и влиятельных писателей культурного «Гарлемского ренессанса» и первооткрыватель «джазовой поэзии».

** Стихотворение «Ленин» печатается по изд.: Бессмертие. М.: Художественная литература, 1970. Перевод с английского А. Мамонова.

Ленин проходит по белому свету...
Раной закат пламенеет всегда,
А в сумерках, ночью, ближе к рассвету.
Восходит красное пламя — звезда!

А. ЦВЕЙГ*

Труд — первооснова его жизни**

Получив возможность ознакомиться с трудами В. И. Ленина, я из-за болезни глаз не сумел сам читать то, что вышло из-под пера этого неутомимого труженика и затем, сойдя с бумажных листов, преобразило весь мир. За время моей болезни я прочел лишь две его сравнительно небольшие по объему, но обладающие огромной взрывной силой работы: «Государство и революция» и «Империализм, как высшая стадия капитализма». И я постоянно сожалел о том, что с этими мастерскими произведениями предельно сжатой прозы мне пришлось знакомиться в переводе, ибо даже хорошие переводы произведений гениальных мыслителей не передают аромата непосредственности, столь присущей оригиналу.

Однако мое духовное общение с В. И. Лениным, само собой разумеется, началось уже в дни Февральской революции и особенно — в Октябре. Предо мной предстал образ человека, который под воздействием казни своего брата и всей атмосферы родительского дома отрешился от юношеских мечтаний и сказал себе: существующую государственную систему следует уничтожить, а чудесный русский народ — пробудить, поднять на борьбу. Путь, приведший юриста Ульянова в эмиграцию, был путем лучших его сограждан и товарищей по университетской аудитории; но то, что Ленин, находясь за границей, сумел стать идейным вождем и подлинным руководителем русских рабочих, международного пролетариата и, наконец, народов всего земного шара в их борьбе

* *Арнольд Цвейг* (1887–1968) — немецкий писатель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1958). В течение своей жизни прошёл путь от прусского патриота до пацифиста после Первой мировой войны, затем был сионистом во второй половине 1920-х — 1930-е гг., включая годы жизни в Палестине и, уже в конце жизни — коммунистом, одним из самых почитаемых писателей бывшего ГДР. С 1949 г. — член Всемирного совета мира.

** Статья «Труд — первооснова его жизни» (1960) печатается по изд.: Друзья Октября и мира. М.: Художественная литература, 1967.

за построение совершенно нового общества, — именно это делает его великий образ в высшей степени единственным и неповторимым. Вот почему в день девяностолетия В. И. Ленина мы приветствуем его с благоговением и благодарностью. Неизвестно, дожил ли бы Ленин до наших дней, если бы даже щадил себя после того, как он был ранен пулей лжереволюционерки. Долголетие есть качество наследственное, оно зависит также от психического и от физического состояния человека, его работы и отдыха. А труд был первоосновой жизни В. И. Ленина, особенно тогда, когда он находил воплощение в слове, личном участии, практической деятельности, выходящей за пределы стен его кабинета.

Один из наших журналов недавно опубликовал фотоснимок, который нас очень обрадовал: озаренные лучами солнца, Ильич и Крупская сидят рядом на скамье перед домом, где Ленин провел последние годы. Как было бы хорошо, если бы фотографам в свое время удалось сделать больше таких снимков. Однако этот человек — подлинный гуманист духа — никогда не знал покоя бездеятельности. Он постоянно стремился к тому «доступному, что трудно достижимо». С помощью присущего ему дара фантазии он не только постигал действительность, но одновременно как бы просвечивал ее внутреннее, скрытое содержание.

Что же отличает силу и неповторимость этой фантазии от обычной фантазии поэта? Духовное начало, которым она вдохновляется в процессе преобразования действительности, есть все та же действительность. Тот, кто начал с серьезной заботы о кипятке для фабричных рабочих, кончил созданием концепции политического и экономического сосуществования различных государств земного шара.

С. ЦВЕЙГ***Пломбированный вагон**
Ленин, 9 апреля 1917 года****Человек, живущий у сапожника
по мелкому ремонту**

Швейцария, маленький мирный островок, со всех сторон окруженный бушующим океаном мировой войны, в те четыре года — с 1915-го по 1918-й — постоянно была ареной действия волнующего детективного романа. Послы враждующих государств, год назад заходившие друг к другу в гости, составлявшие дружеские партии в бридж, нынче, встречаясь в роскошных отелях, чопорно проходят, не замечая один другого, как будто никогда не были знакомы. В коридорах занимаемых ими апартаментов непрерывно снуют какие-то странные личности. Делегаты, секретари, атташе, дельцы, дамы под вуалью и дамы без вуали — каждый с таинственным поручением. К отелям подъезжают шикарные автомобили с эмблемами иностранных государств, из машин выходят промышленники, журналисты, артисты и как бы случайно попавшие в страну туристы. Но едва ли не у каждого из них тоже свое чрезвычайное секретное поручение: что-то узнать, кого-то вы-

* *Стефан Цвейг* (1881–1942) — австрийский писатель, драматург, журналист. Автор множества романов, пьес, стихов и беллетризованных биографий. Был дружен с такими известными людьми, как Эмиль Верхарн, Ромен Роллан, Огюст Роден, Томас Манн, Зигмунд Фрейд, Джеймс Джойс, Герман Гессе, Герберт Уэллс, Поль Валери, Максим Горький, Рихард Штраус, Бертольд Брехт и др.

Цвейг полюбил русскую литературу ещё в гимназические годы, а затем внимательно читал русских классиков в период учёбы в Венском и Берлинском университетах. Когда в конце 1920-х в Советском Союзе стало выходить собрание сочинений Цвейга, он, по его собственному признанию, был счастлив. Предисловие к двенадцатитомному изданию произведений Цвейга написал Максим Горький.

** В 1943 г. вышла книга Стефана Цвейга «Звёздные часы человечества: двенадцать исторических миниатюр» (Stefan Zweig. Sternstunden der Menschheit: zwölf historische Miniaturen. Stockholm: Bermann-Fischer, 1943), в которой была опубликована историческая миниатюра *Der versiegelte Zug. Lenin, 9. April 1917* (Пломбированный поезд. Ленин, 9 апреля 1917 г.). В издании Stefan Zweig: "Briefe 1932–1942" высказано предположение, что миниатюра написана в июле 1936. На русском языке миниатюра впервые была опубликована в 1987 г.: Стефан Цвейг. Ленин, 9 апреля 1917 г. Перевод Л. Миримова. Вступительная статья А. Березиной (Нева, 1987. № 11).

следить; и портье, ведущий их в номер, и девушка, убирающая комнаты, — все они обязаны следить, подсматривать, подслушивать. Всюду друг против друга работают различные организации — в гостиницах, в пансионатах, на почтамтах, в кафе. И все то, что именуется пропагандой, — наполовину шпионаж, то, что имеет обличье любви, является предательством, и за любым явным делом каждого из этих вечно спешащих вновь прибывших скрывается на заднем плане какое-то второе и третье предприятие. Обо всем докладывается, все выслеживается; едва немец, какое бы звание он ни имел, какую бы должность ни занимал, появляется в Цюрихе, об этом тотчас же узнают в бернских консульствах стран-противников, а часом позже — в Париже. Целые тома вполне достоверных и вымышленных донесений мелкие и крупные агенты каждодневно переправляют атташе, а эти — дальше. Все стены — прозрачны, все телефонные разговоры подслушиваются, по обрывкам брошенных в корзину бумаг, по промокашкам восстанавливается корреспонденция, этот пандемоний оказывается в конце концов безумным настолько, что иной из героев этого детективного романа и сам перестает понимать, кто он — охотник или преследуемый, шпион или жертва шпионажа, предатель или кем-то предан.

Только об одном человеке мало что сообщается в эти дни — может, потому, что он очень незаметен, не посещает фешенебельные отели, не сидит в кафе, не принимает участия в пропагандистских мероприятиях, а замкнуто живет со своей женой у сапожника, занимающегося мелким ремонтом. Сразу же за Лимматом, в Старом городе, на узкой, старинной, горбатой Шпигельгассе живет он на втором этаже одного из крепко построенных домов с островерхими крышами; время и маленькая колбасная фабричка, стоящая во дворе, прокоптили этот дом. Соседи у этого человека — булочница, итальянец, актер-австриец. Хозяин и его домочадцы знают о нем лишь то, что он не больно-то разговорчив, да, пожалуй, еще, что он русский с очень трудно выговариваемым именем. То, что он много лет назад бежал из своей страны, что совсем небогат, не занимается никакими доходными делами, хозяйке прекрасно известно по скудной еде постояльцев, по их подержанному гардеробу, по тому, что весь их скарб умещается в небольшой корзине, привезенной ими с собой при въезде в квартиру.

Этот невысокий, коренастый человек крайне незаметен, и живет он очень незаметно. Он избегает общества, жильцы дома редко встречаются с острым, пронзительным взглядом его глаз с косым разрезом, редко бывают у него посетители. Но регулярно день за днем в девять утра он уходит в библиотеку и сидит там до за-

крытия, до двенадцати. Точно в десять минут первого он уже дома, а через сорок минут покидает дом, чтобы вновь первым быть в библиотеке, где сидит до шести вечера. А поскольку агенты, охотящиеся за сенсационными новостями, следят лишь за теми, кто много болтает, и поэтому понятия не имеют о том, что замкнутые, необщительные люди как раз и являются наиболее опасными носителями всевозможных революционных идей, то они и не пишут никаких донесений о незаметном человеке, живущем у сапожника по мелкому ремонту. В кругах социалистов знают, что в Лондоне он был редактором маленькой радикальной газетки русских эмигрантов, а в Петербурге его считают руководителем некоей особой партии, название которой не выговорить; но поскольку он резко и пренебрежительно высказывается о самых уважаемых членах социалистических партий и считает их методы неправильными, поскольку он держит себя недоступно и непримиримо, его оставили в покое. На встречи, которые он иногда по вечерам устраивает в маленьком кафе, где обычно собираются рабочие, является не более пятнадцати — двадцати человек, в основном молодежь, поэтому и терпят здесь этого чудака, как, впрочем, всех русских эмигрантов, подогревающих свои головы невероятным количеством горячего чая и многочасовыми горячими спорами. Никто, однако, не принимает этого невысокого лобастого человека всерьез, и в Цюрихе не найти и трех десятков человек, которые считали бы для себя важным запомнить имя этого Владимира Ильича Ульянова, человека, живущего у сапожника по мелкому ремонту. И если бы тогда один из тех шикарных автомобилей, которые на больших скоростях носятся по городу от посольства к посольству, при несчастном стечении обстоятельств задавил этого человека, мир бы так и не узнал, что существовал на свете человек, носивший фамилию Ульянов, или Ленин.

Исполнение...

Однажды произошло это утром 15 марта 1917 года, библиотекарь Цюрихской библиотеки удивился тому, что стрелки часов уже показывают девять, а место, ежедневно занимаемое самым пунктуальным среди всех посетителей, пусто. Полдесятого, десять, а постоянный читатель не идет; он более не придет вообще. На пути в библиотеку он встретил русского друга, сообщившего ему, а точнее, возбужденно выпалившего потрясающую новость — в России разразилась революция.

Сначала Ленин не хочет этому верить. Он оглушен сообщением. Затем мелкими, быстрыми шагами спешит к газетному киоску,

стоящему на берегу озера. И вот, много дней часами дежурит он у редакции газеты, возле киоска в ожидании новостей из России. Это правда. Сообщения подтверждаются и с каждым днем вызывают в нем все более и более живой интерес. Сначала — лишь слухи о дворцовом перевороте и, по-видимому, о смене кабинета министров, затем низложение царя, приход к власти Временного правительства, дума, русская свобода, амнистия политическим заключенным: все, о чем он мечтал на протяжении долгих лет, все, ради чего он работал двадцать лет в нелегальных организациях, сидел в тюрьмах, был сослан в Сибирь, корпел в эмиграции — все это свершилось. И сразу показалось ему, что миллионы жертв этой войны погибли не напрасно. Не бессмысленно убитыми казались они ему теперь, а мучениками, погибшими за новое государство свободы, справедливости и вечного мира, который вот-вот наступит; опьяненным чувствует себя этот обычно холодный, рассудительный, расчетливый мечтатель. А как ликуют, как торжествуют теперь при этом замечательном известии сотни других, сидящих в своих эмигрантских комнатках в Женеве, Лозанне, Берне: можно возвращаться домой, в Россию! Можно возвращаться домой не с фальшивым паспортом, не под чужим именем с опасностью для жизни ехать в царскую Россию, а свободным гражданином в свободную страну. Уже собирают они свой скудный скарб, так как газеты печатают лаконичную телеграмму Горького: «Возвращайтесь все домой!» Во все концы посылаются письма и телеграммы: возвращаться, возвращаться! Собирайтесь! Объединяйтесь! Отдать всё за дело, которому они до последнего часа посвятили свою сознательную жизнь: за русскую революцию.

...И разочарование

Но через несколько дней эмигранты делают ошеломляющее открытие: русская революция, известие о которой так окрылило их сердца, совсем не та революция, о которой они мечтали, это совсем не русская революция. Это дворцовый переворот, инспирированный английскими и французскими дипломатами для того, чтобы помешать царю заключить мир с Германией, это не революция народа, жаждущего мира и прав для себя. Не революция, для которой они жили и готовы отдать жизнь, а козни военных партий, империалистов и генералов, не желающих, чтобы мешали их планам. И скоро Ленин и его товарищи по эмиграции начинают понимать, что приглашение вернуться назад не относится к тем, кто желает этой настоящей, радикальной революции, революции в духе Карла Маркса. Милюков и другие либералы уже дали ука-

зание закрыть им путь на родину. И если наиболее умеренных, высказывающихся за продолжение войны социалистов, таких, например, как Плеханов, уважительно провожают из Англии в Петербург с почетным эскортом подводных лодок, то Троцкого задерживают в Галифаксе, а других крайних — на границе России. На всех пограничных станциях стран Антанты лежат черные списки участников Циммервальдской конференции Третьего Интернационала. В отчаянии шлет Ленин телеграмму за телеграммой в Петербург, но их либо перехватывают, либо они остаются без ответа; в России прекрасно знают то, что не известно ни в Цюрихе, ни вообще где-либо в Европе — как силен и энергичен Владимир Ильич Ленин, как целеустремлен и смертельно опасен он своим противникам.

Безгранично отчаяние людей, страстно желающих вернуться на родину и лишенных этой возможности. Годы и годы на бесчисленных заседаниях своих генеральных штабов в Лондоне, Париже, Вене разрабатывали они стратегию русской революции. Каждая организационная мелочь была тщательно обдумана, проверена, обсуждена. На протяжении десятилетий они взвешивали в своих газетах теоретические и практические трудности, опасности, возможности. Всю свою жизнь этот человек вновь и вновь рассматривал, ревизовал, обдумывал лишь эти проблемы и пришел к окончательным формулировкам. И вот теперь, потому лишь, что его удерживают здесь, в Швейцарии, силой, он должен эту свою революцию отдать другим, которые ослабят ее, опошлят, заставят святую для него идею освобождения народа служить чужим государствам, чуждым народу интересам. Удивительная аналогия — Ленин в эти дни переживает то, что пережил в первые дни войны Гинденбург, который мысленно в течение сорока лет до тончайших подробностей разрабатывал русскую кампанию, перебрасывал войска, развертывал фронт боевых действий, стягивал его, а когда война началась, вынужден был сидеть дома в цивильном костюме и переставлять флажки на географической карте, наблюдать со стороны за успехами и ошибками генералов, ведущих эту войну. Самые безрассудные, самые фантастичные планы строит этот обычно холодный реалист, Ленин, в те дни отчаяния. Не арендовать ли аэроплан, чтобы на нем перелететь Германию или Австрию? Но первый же человек, который предлагает помощь, оказывается шпионом. Все более странными и путанными становятся планы побега: он пишет шведам, просит их позаботиться о шведском паспорте для него, хочет притвориться немцем, чтобы не отвечать на вопросы пограничной охраны. Разумеется, на следующее утро после полубредовой ночи Ленин сам понимает,

что все эти иллюзорные идеи невыполнимы*. Но одно ему твердо известно: он должен вернуться в Россию, он, а не другие должны делать революцию, подлинную, настоящую. Он должен вернуться, немедленно вернуться в Россию. Вернуться любой ценой!

Через Германию: да или нет?

Швейцария окружена четырьмя государствами — Италией, Францией, Германией и Австрией. Путь через страны Антанты закрыт Ленину как революционеру, путь через Германию или Австрию закрыт ему как русскому подданному, подданному вражеской страны. Но странное стечение обстоятельств: именно Германия кайзера Вильгельма готова оказать Ленину помощь, а не Россия Милюкова, не Франция Пуанкаре. Германии любой ценой нужен мир с Россией. Ведь Америка вот-вот объявит ей войну. Следовательно, революционер, который создаст в России трудности послам Англии и Франции, будет ей желанным помощником.

Но вступление в переговоры с кайзеровской Германией, которую он оскорблял, которой он в своих статьях угрожал сотни раз, — шаг чрезвычайно ответственный. Ибо появление во вражеской стране или проезд через нее во время войны, да еще с согласия неприятельского генерального штаба, является с точки зрения общепринятой морали поступком, квалифицируемым как государственная измена, и, конечно же, Ленин должен знать, что этим поступком он, прежде всего, скомпрометирует и свою партию, и дело своей жизни, его станут подозревать в том, что он является оплачиваемым агентом, посланным в Россию немецким правительством, и, если он, в соответствии со своей программой, добьется немедленного заключения мира, его навеки обвинят в том, что он встал на пути к заключению победного для России мира. Само собой разумеется, не только умеренные революционеры, но и большинство единомышленников Ленина приходят в ужас, когда он подтверждает свою готовность, в случае необходимости, следовать этому чрезвычайно опасному и компрометирующему решению. Смущенные, они напоминают, что уже давно через швейцарскую социал-демократическую партию ведутся переговоры об обмене русских революционеров на военнопленных — легальным и нейтральным образом. Но Ленин понимает, сколь дорог будет этот путь, какие усилия приложит русское правительство, чтобы до бесконечности оттягивать их возвращение на родину, и знает также, как много для дела революции значит каждый день, каждый час. Он видит лишь цель, тогда как другие, менее прямолинейные,

менее волевые, не в состоянии пойти на поступок, по всем действующим законам и представлениям считающийся изменой. И, внутренне решившись, Ленин на свою личную ответственность начинает переговоры с германским правительством.

Договор

Понимая сенсационность и необычный характер своего шага, Ленин ведет эти переговоры с максимально возможной прямой. По его поручению Секретарь швейцарского профсоюза Фриц Платтен направляется к германскому послу, который уже до этого вел переговоры с русскими эмигрантами, и передает ему условия Ленина. Ибо этот незаметный, никому не известный эмигрант, как будто уже предчувствуя, что в самом скором времени авторитет его неизмеримо возрастет, не обращается к германскому правительству с просьбой, нет, он предъявляет ему условия, при которых он и его товарищи примут любезность германского правительства. За вагоном должно быть признано право экстерриториальности. Проверку паспортов и установление личности не проводить ни при входе в вагон, ни при выходе из вагона. Проезд эмигранты оплачивают по действующему тарифу. Пассажиры не покидают вагон ни по распоряжению властей, ни по собственной инициативе. Министр Ромберг передает эти условия далее. Они попадают в руки Людендорфа, который их несомненно поддерживает, хотя в своих мемуарах об этом всемирно-историческом, возможно самом значительном из принятых им в жизни, решении не говорит ни слова. Посол пытается внести некоторые изменения в протокол, намеренно составленный так неопределенно, что допускает проезд без проверок не только русских, но и австрийских подданных, например, Радека. Но спешит не только Ленин, германское правительство спешит тоже. Ибо в этот день, 5 апреля, Соединенные Штаты Америки объявляют Германии войну.

И вот, 6 апреля, в полдень, Фриц Платтен получает знаменательный ответ: «Вопрос решен в положительном смысле». Девятого апреля 1917 года в половине третьего пополудни из ресторана «Церингергоф» к цюрихскому вокзалу идет небольшая группа плохо одетых людей с чемоданами. Их тридцать два человека, в том числе женщины и дети. Из уезжающих мужчин сохранились лишь имена Ленина, Зиновьева и Радека. После скромного прощального обеда они подписывают документ, в котором подтверждается, что им известно сообщение «Пти паризьен», где русское Временное правительство заявляет, что будет считать изменниками всех лиц, приезжающих в Россию через Германию.

Тяжелыми, неуклюжими буквами они подписываются, что всю ответственность за этот выбранный ими маршрут берут на себя и все условия поездки принимают. Спокойно и решительно приготовились они к всемирно-исторической поездке.

Их появление на вокзале не привлекает ничего внимания. Нет ни репортеров, ни фотографов. Кому известен в Швейцарии этот господин Ульянов в мятой шляпе, поношенном костюме и до смешного тяжелых горных ботинках (он сменит их только в Швеции); с группой мужчин и женщин, нагруженных багажом, молчаливый и незаметный, ищет он место в поезде. Ничем не отличаются эти люди от бесчисленных переселенцев — югославов, русинов, румын, сидящих на своих фанерных чемоданах на платформе цюрихского вокзала и получивших несколько часов передышки, прежде чем тронуться дальше, к французскому морю, а оттуда — за океан. Швейцарская рабочая партия, порицающая этот отъезд, не прислала своих представителей, пришли лишь несколько русских, чтобы передать с отъезжающими приветы и немного продуктов близким на родину, и еще несколько человек, чтобы в последнюю минуту отговорить Ленина от «безрассудной, от преступной поездки». Но решение принято. В три часа десять минут кондуктор дает сигнал. И поезд уходит к Готтмадингену, германской пограничной станции. Три часа десять минут — с этого момента у часов мира другой ход.

Пломбированный вагон

Миллионы смертоносных пуль были выпущены в мировую войну, огромные, гигантской разрушительной силы снаряды дальноточной артиллерии были созданы инженерами для войны. Но ни один снаряд не имел столь серьезных последствий, не повлиял так на судьбы мира в Новой истории, как этот поезд с самыми опасными революционерами столетия, людьми, преисполненными неистребимой решимости; вот несется он в этот час от швейцарской границы через всю Германию к месту назначения — Петербургу, чтобы взорвать там порядок нынешнего времени.

На рельсах станции Готтмадинген стоит этот уникальный снаряд, вагон второго и третьего классов, в котором женщины и дети занимают места второго класса, мужчины — третьего. Меловая черта на полу коридора отделяет суверенную территорию русских от купе двух германских офицеров, сопровождающих этот транспорт живого тринитротолуола. Поезд без происшествий несется сквозь ночь. Только во Франкфурте вагон неожиданно осаждают германские солдаты, узнавшие о проезде русских революционеров,

и еще — однажды проезжающим приходится отклонить попытки немецких социал-демократов объясниться с ними. Ленин прекрасно знает, какое подозрение навлечет он на себя, если обменяется хотя бы одним словом с немцем на немецкой земле. В Швеции их встречают торжественно. Изголодавшиеся, спешат они к столу, сервированному для завтрака. Предложенный хлеб с маслом кажется им чудом кулинарии. В Швеции Ленин покупает себе ботинки и кое-что из верхней одежды. Наконец они добираются до русской границы...

Снаряд взрывается

Поведение Ленина в первые минуты по возвращении на родину весьма характерно. Он не видит своих соотечественников, он не смотрит на них, нет — прежде всего он бросается к газетам. Четырнадцать лет он не был в России, не видел ни русской земли, ни российского государственного флага, ни солдатской формы. Но этот железный идеолог не раздражается слезами, как другие, не обнимает, как его спутницы, ничего не понимающих, обескураженных солдат. Сначала газету, «Правду», чтобы проверить, что газета, его газета, достаточно решительно держится интернациональной ориентации. Сердито мнет лист. Нет, недостаточно, все еще пестрят на ее полосах слова «отечество», «патриотизм», все еще недостает чистой революции в его духе. И он чувствует: пришло время взять штурвал, круто повернуть его, во что бы то ни стало реализовать идеи всей своей жизни. Удастся ли это? Последние часы волнений, последние страхи. Не прикажет ли Милюков арестовать его сразу же по приезде в Петроград? Город теперь называется так, но через несколько лет он сменит свое имя. Каменев и Сталин, друзья, выехавшие к нему навстречу, уже в поезде, они таинственно усмеваются в темном купе третьего класса, скудно освещаемом огарком свечи. Они не отвечают или не хотят отвечать.

Но неслыхан ответ, который дает действительность. Поезд подходит к перрону Финляндского вокзала, огромная площадь перед ним, заполненная десятками тысяч рабочих, почетным караулом всех родов войск, ожидающих возвращающихся из изгнания, раздражается пением «Интернационала». И когда Владимир Ильич Ульянов выходит из вагона, то его, человека, только позавчера снимавшего комнату у сапожника по мелкому ремонту, подхватывают сотни рук и поднимают на броневик. На Ленина направляются прожектора — и крепостные, и установленные на крышах домов; с броневика он обращается со своей первой речью к народу. Улицы бурлят, скоро начнутся те «десять дней, которые потрясли мир». Снаряд разорвался и превратил в развалины империю, мир.

К. ЦЕТКИН***Воспоминания о Ленине****

<Фрагмент>

Предисловие Н. К. Крупской

Отзывы и воспоминания Клары Цеткиной о Ленине имеют особое значение. Сама Цеткина была одним из виднейших борцов за дело рабочего класса, ударницей мировой революции. В прошлом году, в день 75-летия Клары, ЦК ВКП(б) написал ей горячий привет. «Ветерану международного рабочего движения, пламенно-му трибуну пролетарской революции, старейшему вождю Коммунистического Интернационала, другу и товарищу трудящихся масс СССР, борцу за раскрепощение женщин-работниц — Центральный Комитет ВКП(б) шлет и день 75-летия горячий большевистский привет. Соратница Энгельса, ты неустанно боролась против оппортунизма во II Интернационале, со всей силой своего большого ума и революционной страсти ты восстала против бернштейнианства, против ревизионизма. В дни, когда вспыхнула мировая бойня, когда столпы II Интернационала позорно впряглись в колесницу империализма, ты вместе с Лениным, вместе с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом высоко подняла знамя пролетарского интернационализма. Ты была с нами и в дни Октября, и в дни гражданских боёв, когда мировая контрреволюция пыталась задушить первое в мире государство пролетариата. Беззаветный друг СССР, ты всегда на боевом посту, когда враг угрожает Стране Советов. Центральный Комитет ВКП(б) выражает своё горячее пожелание

* *Клара Цеткин (1857–1933)* — немецкая политическая деятельница, участник немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. Была хорошо знакома с В. И. Лениным и Н. К. Крупской; в 1920 г. она в первый раз побывала в Советской России и взяла у вождя большевиков интервью для «Женского вопроса». Сыграла важную роль в основании Второго интернационала и подготовила для его Учредительного конгресса речь о роли женщин в революционной борьбе. Считается, что она является автором идеи Международного женского дня — 8 марта.

Цеткин скончалась в 1933 г. в Архангельском близ Москвы. После смерти была кремирована, урна с прахом помещена в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади, на пространстве стены от Сенатской башни в сторону Никольской башни.

** *Цеткин К. Ленин и освобождение женщины. М.: Московский рабочий, 1925.*

и твёрдую уверенность в том, что ты ещё многие годы будешь бороться в первых рядах Коммунистического Интернационала», Этому пожеланию не было суждено исполниться, Цеткина не дожила даже до 76 лет, но последние месяцы её жизни были яркой иллюстрацией того, как верна была характеристика, которую дал Цеткиной Центральный Комитет.

Цеткина была избрана в немецкий рейхстаг, она оказалась старейшим членом рейхстага и как старейший член рейхстага она должна была открыть его. Никто не думал, что она будет в состоянии это сделать. Она жила в доме отдыха под Москвой, с трудом могла приподняться с постели, силы её ушли, она каждую минуту задыхалась. Но когда Германская коммунистическая партия написала, что был бы желателен её приезд, она ни минуты не колебалась: собрала последние силы и поехала в Германию, запасшись камфорой и другими средствами поддержания жизни. Она знала, какая опасность ей грозит, опасность быть схваченной и даже убитой фашистами. Это её не остановило. Собрав все свои последние силы, она открыла рейхстаг блестящей речью убеждённой коммунистки. Через голову рейхстага она обращалась к трудящимся массам Германии, говорила им о России, о необходимости борьбы, о социалистической революции. Свою речь Цеткина заключила словами: «Выполняя обязанность старейшего члена рейхстага, я открываю его и выражаю надежду, что мне придёт ещё, несмотря на мою теперешнюю инвалидность, открыть, как старейшему его члену, первый съезд советов Советской Германии!» Вернувшись в Россию, Цеткина почувствовала резкий упадок сил, но не бросила работы. Больная, умирающая, она диктовала брошюру «Заветы Ленина женщинам всего мира». Брошюра кончается словами: «Великая цель светит миру. Исторический момент требует самой решительной борьбы. Он властно диктует пролетаркам, трудящимся женщинам: смотрите, осознавайте, действуйте, боритесь, боритесь! Великий момент не допускает узости женской ограниченности. Вширь, вперёд, миллионы безвестных, безымянных борцов! Вы призваны победить. Вы должны встать в ряды международных исполнителей заветов Ленина, продолжателей его бессмертного учения и дела. Будьте достойными продолжателями дела Ленина, достойными его учениками».

Я была у Цеткиной 12 мая и рассказывала ей о съезде колхозников и колхозниц. После этого она написала письмо к колхозницам Красной Пахры, в котором она писала о важности колхозного строительства и о том, что речь товарища Сталина на съезде колхозников о женщине в колхозах должна их воодушевлять и служить руководством к действию.

Владимир Ильич очень любил и ценил Цеткину как страстную революционерку, как марксистку, хорошо, глубоко понимающую учение Маркса, как борца с оппортунизмом II Интернационала, и он очень любил говорить с ней «по душам» на те темы, которые его очень занимали, поговорить в тех разрезах, в каких он официально не выступал. Он говорил с Цеткиной об искусстве, о культурном строительстве, о международном женском движении, о германском движении и пр. Ему интересно было говорить с ней по этим вопросам, потому что он знал — она много думала над этими вопросами, широко их ставила, и ей будет понятно то, о чём он говорит.

Воспоминания Клары о Ленине, её статьи и речи о нём говорят о том, как высоко она ценила Ленина, как близка и дорога ей была Страна Советов, как захватывала её соцстройка, широко развёртывающаяся в нашей стране. Цеткина писала свои статьи о Ленине несколько иначе, чем пишем мы: больше в них пафоса, больше в них, я бы сказала, интернационального размаха, другая несколько рамка, в которую она ставит свои воспоминания. Но именно это и делает её воспоминания об Ильиче своеобразными и ценными. Нам важно и нужно знать то, что говорила об Ильиче Клара, так горячо его любившая.

Н. Крупская, 10 августа 1933 г.

Воспоминания о Ленине

О эти тяжёлые часы, когда каждый из нас подавлен чувством глубочайшего горя, когда каждый сознаёт, что ушёл от нас тот, кого заменить нельзя, перед нами встаёт яркое и полное жизни воспоминание о нём единственном, которое, как вспышка молнии, выявляет нам в великом вожде великого человека. На личности Ленина лежит печать гармоничного слияния величия вождя и человека. Благодаря этой особенности личность Ленина навсегда пустила корни в великом сердце мирового пролетариата, а это есть то, что Маркс называл славным жребием борца за коммунизм. Ибо трудящиеся, все те, кто отдан в жертву богатству, все те, кто не знает условной лжи и лицемерия буржуазного мира, тонким инстинктивным чутьём улавливают разницу между правдивым и ложным, между скромным величием и напыщенным чванством, между действительной, обращённой к ним любовью и погоней за популярностью, в которой отражается только пустое тщеславие.

Я считаю своим долгом поделиться со всеми отрывками из сокровищницы моих личных воспоминаний о незабвенном вожде и друге. Это долг по отношению к Владимиру Ильичу. Это — долг

по отношению к тем, кому была отдана вся его деятельность: пролетариям, трудящимся, эксплуатируемым, подневольным всего мира, которых охватило его любящее сердце и которых его гордая мысль рассматривала как революционных борцов и творцов более высокого общественного строя.

Впервые после того, как разразилась потрясшая весь мир русская революция, я встретила с Лениным ранней осенью 1920 г. Это было сейчас же после моего приезда в Москву, во время одного партийного заседания, — если память мне не изменит, в Свердловском зале в Кремле. Ленин показался мне не изменившимся, почти не постаревшим, я могла бы поклясться, что на нем был тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, который я видела на нем при первой нашей встрече в 1907 г. на всемирном конгрессе II Интернационала в Штутгарте. Роза Люксембург, отличавшаяся метким глазом художника, подмечавшим всё характерное, указала мне тогда на Ленина со словами: «Взгляни хорошенько на этого человека. Это — Ленин. Обрати внимание на его упрямый, своевольный череп».

В своём поведении и в своих выступлениях Ленин остался таким же, как прежде. Дебаты становились порой очень оживлёнными, даже страстными. Как и раньше, во время конгрессов II Интернационала, Ленин проявлял чрезвычайное внимание к ходу дебатов, большое самообладание и спокойствие, в котором чувствовалась внутренняя сосредоточенность, энергия и эластичность. Это доказывали его восклицания, отдельные замечания и более пространственные речи, произносимые им, когда он брал слово. От его острого взгляда и ясного ума, казалось, не могло ускользнуть ничто, заслуживающее внимания. Мне бросилась в глаза тогда на собрании, как впрочем и всегда впоследствии, самая характерная черта Ленина простота и сердечность, естественность во всех его отношениях ко всем товарищам. Я говорю «естественность», так как я вынесла вполне определённое впечатление, что этот человек не может вести себя иначе, чем он себя ведёт. Его отношение к товарищам — естественное выражение всего его внутреннего существа.

Ленин был беспорным вождём партии, которая сознательно вступила в бой за власть, указывая цель и путь русскому пролетариату и крестьянству. Облечённая их доверием, она управляет страной и осуществляет диктатуру пролетариата. Ленин был руководителем великой страны, которая стала первым в мире пролетарским государством. Его мысли и воля жили в миллионах людей и за пределами Советской России. Его мнение по любому вопросу было решающим в стране, имя его было символом надежды и освобождения повсюду, где существует гнёт и рабство.

«Товарищ Ленин ведёт нас к коммунизму. Как бы тяжело нам ни было, мы выдержим», заявляли русские рабочие. Они, имея перед своим духовным взором идеальное царство высшего человеческого общества, спешили, голодая, замерзая, на фронт или же напрягали чрезвычайные усилия, чтобы среди невероятных трудностей восстановить хозяйственную жизнь страны.

«Нам нечего бояться, что помещики вернуться и отберут у нас землю. Ильич и большевики с красноармейцами выручат нас», так рассуждали крестьяне, земельная нужда которых была удовлетворена. «Да здравствует Ленин!» часто красовалась надпись на многих церковных стенах в Италии: это было пропитанное восторженным удивлением какого-нибудь пролетария, который в лице русской революции приветствовал свою собственную освободительницу. Вокруг имени Ленина как в Америке, так и в Японии и Индии объединялись все восставшие против власти собственников.

Как просто и скромно было выступление Ленина, который уже имел позади себя совершённый им гигантский исторический труд и на котором лежало колоссальное бремя безграничного доверия, самой тяжёлой ответственности и никогда не прекращающейся работы! Он целиком сливался с массой товарищей, был однороден с ней, был одним из многих. Он не хотел ни одним жестом, ни выражением лица оказывать давление в качестве «руководящей личности. Подобный приём был ему совершенно чужд, так как он действительно был ярко выраженной личностью. Курьеры беспрерывно доставляли сообщения из различных учреждений гражданских и военных, он очень часто тут же давал ответ в нескольких быстро набросанных строках. Для всякого у Ленина была дружеская улыбка и кивок, и это всегда вызывало в ответ радостное выражение лица у того, к кому они относились. Во время заседаний он время от времени, не вызывая ничьего внимания, сговаривался по разным вопросам с тем или иным ответственным товарищем. Во время перерыва Ленину приходилось выдерживать настоящую атаку: его обступали со всех сторон товарищи мужчины и женщины питерцы, москвичи, а также из самых различных центров движения. Особенно много молодых товарищей обступало его: «Владимир Ильич, пожалуйста»... «Товарищ Ленин, вы не должны отказать»... «Мы, Ильич, хорошо знаем, что вы... но»... В таком роде сыплется град просьб, запросов, предложений.

Ленин выслушивал и отвечал всем с неистощимым, трогательным терпением. Он чутко прислушивался и всегда был готов помочь в партийной работе или личном горе. Глядя на него, как он относился к молодежи, сердце радовалось: чисто товарищеские

отношения, свободные от какого-либо педантизма. Наставнического тона или высокомерия, продиктованного тем, что пожилой возраст будто бы сам по себе является каким-то несравненным преимуществом и добродетелью.

Ленин вёл себя, как ведет себя равный и среде равных, с которыми он связан всеми фибрами своего сердца. В нем не было и следа «человека власти», его авторитет в партии был авторитетом идеальнейшего вождя и товарища, перед превосходством которого склоняешься в силу сознания, что он всегда поймёт и в свою очередь хочет быть понятым.

Не без горечи сравнивала я атмосферу, окружавшую Ленина, с напыщенной чопорностью «партийных отцов» немецкой социал-демократии. И мне совершенно нелепой казалась та безвкусица, с которой социал-демократ Эберт, в качестве «господина президента Германской республики», старался копировать буржуазию «во всех её повадках и манерах», теряя всякое чувство человеческого достоинства. Конечно, эти господа никогда не были такими «безумными и отчаянными», как Ленин, чтобы «стремиться совершить революцию». И под их защитой буржуазия может тем временем храпеть ещё более спокойно, чем даже во времена тридцати пяти монархов при Генрихе Гейне, храпеть, пока, наконец, и здесь революция не подымется из потока исторически подготовленного, необходимого и прогремит этому обществу:

«Берегись»!

* * *

При моём первом посещении семьи Ленина ещё углубилось впечатление от него, полученное мною на партийной конференции и усилившееся с тех пор после ряда бесед с ним. Ленин жил в Кремле. Прежде чем к нему попасть, нужно было пройти мимо нескольких караульных постов предосторожность, объяснявшаяся непрекращавшимися в ту пору контрреволюционными террористическими покушениями на вождей революции. Ленин, когда это нужно было, принимал и великолепных государственных апартаментов. Однако его частная квартира отличалась крайней простотой и непритязательностью. Мне случалось часто бывать в квартирах рабочих, которые были богаче обставлены, чем квартира «всесильного московского диктатора».

Я застала жену и сестру Ленина за ужином, к которому я тотчас же была приглашена самым сердечным образом. Это был скромный ужин любого среднего советского служащего того времени. Он состоял из чая, чёрного хлеба, масла, сыра. Потом сестра должна была «в честь гостя» поискать, нет ли чего «сладкого», и,

к счастью, нашлась небольшая банка с вареньем. Как известно, крестьяне доставляли в изобилии «своему Ильичу» белую муку, сало, яйца, фрукты и т. п.; известно также, что из всего этого ничего не оставалось в доме у Ленина. Всё посылалось в больницы и детские приюты, так как семья Ленина строго придерживалась принципа жить в тех же условиях, что и трудящиеся массы.

Я не видела т. Крупскую, жену Ленина, с марта 1915 г., когда происходила международная женская социалистическая конференция в Берне. Её симпатичное лицо с мягкими добрыми глазами носило на себе неизгладимые следы предательской болезни, которая её подтачивала. Но, за исключением этого обстоятельство, она оставалась такой же, а именно воплощением прямоты, простоты и какой-то чисто пуританской скромности. Со своими гладко назад причёсанными волосами, собранными на затылке в бесхитростный узел, в своём простом платье, она производила впечатление изнурённой жены рабочего, вечно озабоченной мыслью, как бы успеть, как бы не потерять времени. «Первая женщина великого русского государства» согласно буржуазным понятиям и терминологии Крупская является бесспорно первой по преданности делу угнетённых и страдающих. Её соединяла с Лениным самая искренняя общность взглядов на цель и смысл жизни. Она была правой рукой Ленина, его главный и лучший секретарь, его убежденнейший идейный товарищ, самая сведущая истолковательница его воззрений, одинаково неутомимая как в том, чтобы умно и тактично вербовать друзей и приверженцев, так и в том, чтобы пропагандировать его идеи в рабочей среде. Наряду с этим она имела свою особую сферу деятельности, которой она отдавалась всей душой, дело народного образования и воспитания.

Было бы оскорбительно и смешно предполагать, что т. Крупская в Кремле играла роль «жены Ленина». Она работала, несла заботы вместе с ним, пеклась о нём, как она делала это всю свою жизнь, делала тогда, когда условия нелегальной жизни и самые тяжёлые преследования разделяли их друг от друга. С чисто материнской заботливостью, нужно указать, что сестра Ленина помогала ей в этом самым любовным образом, превращала она ленинское жилище в «родной очаг» в самом благородном смысле этого слова. Конечно, не в смысле немецкого мещанства, а в смысле той духовной атмосферы, которая его наполнила и которая служила отражением отношений, соединявших между собой живущих и работающих здесь людей. получалось впечатление, что в этих отношениях все было настроено на исключительный то правды, искренности, понимания и сердечности. Хотя я до той минуты лично мало была знакома с т. Крупской, я тотчас же по-

чувствовала себя в её обществе и под ее дружеским попечением, как дома. Когда пришёл Ленин и когда несколько позже появилась большая кошка, весело приветствуемая всей семьёй, она прыгнула на плечи к «страшному вождю террористов» и потом свернулась в удобной позе на коленях у него, то мне казалось, что я у себя дома или у Розы Люксембург с её ставшей памятной для друзей кошкой «Мими».

Ленин застал нас трёх женщин беседующими по вопросам искусства, просвещения и воспитания. Я как раз в этот момент высказывала своё восторженное удивление перед единственной, в своём роде титанической, культурной работой большевиков, перед расцветом в стране творческих сил, стремящихся проложить новые пути искусству и воспитанию. При этом я не скрывала своего впечатления, что довольно часто приходится наблюдать много неуверенности и неясных нащупываний, пробных шагов и что наряду со страстными поисками нового содержания, новых форм, новых путей в области культурной жизни имеет иногда место и искусственное «модничанье» и подражание западным образцам. Ленин тотчас же очень живо вмешался в разговор.

— Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое искусство и культуру, — сказал он, — это хорошо, очень хорошо. Бурный темп их развития понятен и полезен. Мы должны нагнать то, что было упущено в течение столетий, и мы хотим этого. Хаотическое брожение, лихорадочные искания новых лозунгов, лозунги, провозглашающие сегодня «осанну» по отношению к определённым течениям в искусстве и в области мысли, а завтра кричащие «распни его», всё это неизбежно.

— Революция развязывает все скованные до того силы и гонит их из глубин на поверхность жизни. Вот вам один пример из многих. Подумайте о том влиянии, которое оказывали на развитие нашей живописи, скульптуры и архитектуры мода и причуды царского двора, равно как вкус и причуды господ аристократов и буржуазии. В обществе, базирующемся на частной собственности, художник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. Наша революция освободила художников от гнёта этих весьма прозаических условий. Она превратила Советское государство в их защитника и заказчика. Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего.

— Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки. и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты. Мы ещё далеки от этого, очень далеки. Мне кажется,

что и мы имеем наших докторов Карлштадтов*. Мы чересчур большие «ниспровергатели в живописи». Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо поклониться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости.

Я не могла удержаться и созналась, что и мне не хватает органа восприятия, чтобы понять, почему художественным выражением вдохновенной души должны служить треугольники вместо носа и почему революционное стремление к активности должно превратить тело человека, в котором органы связаны в одно сложное целое, в какой-то мягкий бесформенный мешок, поставленный на двух ходулях, с двумя вилками по пяти зубцов в каждой.

Ленин от души расхохотался.

— Да, дорогая Клара, ничего не поделаешь, мы оба старые. Для нас достаточно, что мы, по крайней мере, в революции остаёмся молодыми и находимся в первых рядах. За новым искусством нам не угнаться, мы будем ковылять позади.

— Но, — продолжил Ленин, важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу, Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать и них художников и развивать их. Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие, утончённые бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в чёрном хлебе? Я понимаю это, само собой разумеется, не только в буквальном смысле слова, но и фигурально: мы должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. Ради

* Карлштадт (1480–1541) — видный деятель реформации. — *Ред.*

них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также к области искусства и культуры.

Для того чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к искусству, мы должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень. Как у нас обстоит дело в этом отношении? Вы восторгаетесь по поводу того колоссального культурного дела, которое мы совершили со времени прихода своего к власти. Конечно, без хвастовства, мы можем сказать, что в этом отношении нами многое, очень многое сделано. Мы не только «снимали головы», как в этом обвиняют нас меньшевики всех стран и на вашей родине Каутский, но мы также просветляли головы; мы много голов просветили. Однако «много» только по сравнению с прошедшим, по сравнению с грехами господствовавших тогда классов и клик. Необъятно велика разбуженная и разжигаемая нами жажда рабочих и крестьян к образованию и культуре. Не только в Питере и в Москве, в промышленных центрах, но и далеко за этими пределами, вплоть до самых деревень. А, между тем, мы народ нищий, совершенно нищий. Конечно, мы ведём настоящую упорную войну с безграмотностью. Устраиваем библиотеки, «избы-читальни» в крупных и малых городах и сёлах. Организуем самые разнообразные курсы. Устраиваем хорошие спектакли и концерты, рассылаем по всей стране «передвижные выставки» и «просветительные поезда». Но я повторяю: что это может дать тому многомиллионному населению, которому недостает самого элементарного знания, самой примитивной культуры? В то время как сегодня в Москве, допустим, десять тысяч человек, а завтра ещё новых десять тысяч человек придут в восторг, наслаждаясь блестящим спектаклем в театре, миллионы людей стремятся к тому, чтобы научиться по складам писать своё имя и считать, стремятся приобщиться к культуре, которая обучила бы их тому, что земля шарообразна, а не плоская и что миром управляют законы природы, а не ведьмы и не колдуны совместно с «отцом небесным».

— «Товарищ Ленин, не следует так горько жаловаться на безграмотность, — заметила я. В некотором отношении она вам облегчила дело революции. Она предохранила мозги рабочего и крестьянина от того, чтобы быть напичканными буржуазными понятиями и воззрениями и захиреть. Ваша пропаганда и агитация бросает семена на девственную почву. Легче сеять и пожинать там, где не приходится предварительно выкорчёвывать целый первобытный лес».

— Да, это верно, возразил Ленин. Однако только в известных пределах или, вернее сказать, для определённого периода нашей борьбы. Безграмотность уживалась с борьбой за власть, с необходи-

мостью разрушить старый государственный аппарат. Но разве мы разрушаем единственно ради разрушения? Мы разрушаем для того, чтобы воссоздать нечто лучшее. Безграмотность плохо уживается, совершенно не уживается с задачей восстановления. Последнее ведь, согласно Марксу, должно быть делом самих рабочих и, прибавлю, крестьян, если они хотят добиться свободы. Наш советский строй облегчает эту задачу. Благодаря ему в настоящее время тысячи трудящихся из народа учатся в различных советах и советских органах работать над делом восстановления. Это мужчины и женщины «в расцвете сил», как у вас принято говорить. Большинство из них выросло при старом режиме и, следовательно, не получило образования и не приобщилось к культуре, но теперь они страстно стремятся к знанию. Мы самым решительным образом ставим себе целью привлекать к советской работе всё новые пласты мужчин и женщин и дать им известное практическое и теоретическое образование. Однако, несмотря на это, мы не можем удовлетворить всю потребность нашу в творческих руководящих силах. Мы вынуждены привлекать бюрократов старого стиля, и в результате у нас образовался бюрократизм. Я его от души ненавижу, не имея, конечно, при этом в виду того или иного отдельного бюрократа. Последний может быть дельным человеком. Но я ненавижу систему.

Она парализует и вносит разврат как вниз, так и наверх. Решающим фактором для преодоления и искоренения бюрократиями служит самое широкое образование и воспитание народа.

— Каковы же пиши перспективы на будущее? Мы создали великолепные учреждения и провели действительно хорошие мероприятия с той целью, чтобы пролетарская и крестьянская молодежь могла учиться, штудировать и усваивать культуру. Но и тут встаёт перед нами тот же мучительный вопрос: что значит всё это для такого большого населения как наше? Ещё хуже того: у нас далеко нет достаточного количества детских садов, приютов и начальных школ. Миллионы детей подрастают без воспитания и образования. Они остаются такими же невежественными и некультурными, как их отцы и деды. Сколько талантов гибнет из-за этого, сколько стремлений к свету подавлено! Это ужасное преступление с точки зрения счастья подрастающего поколения, равносильное расхищению богатств Советского государства, которое должно превратиться в коммунистическое общество. В этом кроется грозная опасность.

В голосе Ленина, обычно столь спокойном, звучало сдержанное негодование.

«Как близко задевает его сердце этот вопрос, подумала я, раз он перед нами тремя произносит агитационную речь». Кто-то из нас,

я не помню, кто именно, заговорил по поводу некоторых, особенно бросающихся в глаза явлений из области искусства и культуры, объясняя их происхождение «условиями момента». Ленин на это возразил:

— Знаю хорошо! Многие искренне убеждены в том, что *rapnet et circences* («хлебом и зрелищами») можно преодолеть трудности и опасности теперешнего периода. Хлебом — конечно! Что касается зрелищ, — пусть их! Не возражаю. Но пусть при этом не забывают, что зрелища это не настоящее большое искусство, а скорее более или менее красивое развлечение. Не надо при этом забывать, что наши рабочие и крестьяне нисколько не напоминают римского люмпен-пролетариата. Они не содержатся на счёт государства, а содержат сами трудом своим государство. Они «делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешён. На этой почве должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию. На этом пути нашим «интеллигентам» предстоит разрешить благородные задачи огромной важности. Поняв и разрешив эти задачи, они покрыли бы свой долг перед пролетарской революцией, которая и перед ними широко раскрыла двери, ведущие их на простор из тех низменных жизненных условий, которые так мастерски характеризованы в «Коммунистическом манифесте».

В эту ночь — был уже поздний час — мы коснулись ещё и других тем. Но впечатления об этом бледнеют по сравнению с замечаниями, сделанными Лениным по вопросам искусства, культуры, народного образования и воспитания.

«Как искренне и горячо любит он трудящихся, — мелькнуло у меня в мозгу, — когда я в эту холодную ночь с разгорячённой головой возвращалась домой. А между тем, находятся люди, которые считают этого человека холодной, рассудочной машиной, принимают его за сухого фанатика формул, знающего людей лишь в “качестве исторических категорий” и бесстрастно играющего ими, как шариками».

Брошенные Лениным замечания так глубоко меня взволновали, что тотчас же в основных чертах я набросала их на бумаге, подобно тому, как во время моего первого пребывания на священной революционной земле Советской России день за днём заносила в свой дневник всё, что мне казалось заслуживающим внимания.

В душу мою врезался неизгладимыми чертами ещё ряд других замечаний Ленина, сделанных им в ту пору, во время одной беседы со мною.

Я, как и многие приезжавшие в то время из западных стран, должна была уплатить дань перемене образа жизни и слегла. Ленин навестил меня. Заботливо, как самая нежная мать, осведомлялся он, имеется ли за мной надлежащий медицинский уход, получаю ли я соответствующее питание, допытывался, в чём я нуждаюсь, и т. д. Позади него я видела милое лицо т. Крупской. Ленин усомнился, всё ли так хорошо, так великолепно, как мне казалось. Особенно он выходил из себя по поводу того, что я жила на четвёртом этаже одного советского дома, в котором, правда, в теории имелся лифт, но на практике он не функционировал.

— Точь-в-точь, как любовь и стремление к революции у сторонников Каутского», — заметил Ленин саркастически. Вскоре наш разговор потек по руслу политических вопросов

Отступление Красной Армии из Польши дохнуло ранним морозом на революционные мечты, которые мы и многие имеете с ними лелеяли, когда советские войска молниеносным и смелым натиском достигли Варшавы. Этот дохнувший мороз не дал созреть нашим мечтам.

Я описывала Ленину, какое впечатление произвели и на революционный авангард немецкого пролетариата, и на Шейдеманов, и на Дитманов, и на крупную и мелкую буржуазию красноармейцы с советской звездой на шапке и в донельзя потрёпанной военной форме, а часто в штатском платье, в лаптях или в рваных сапогах, появившиеся на своих маленьких бойких лошадках у самой немецкой границы. «Удержат ли они Польшу в своих руках или нет, перейдут ли они через немецкую границу, и что тогда будет?» вот вопросы, занимавшие тогда умы в Германии, вопросы, при разрешении которых стратеги за кружкой пива готовились одерживать блестящие победы. При этом обнаружилось, что во всех классах, во всех социальных слоях было гораздо больше шовинистической ненависти против белогвардейской империалистической Польши, чем против французского «наследственного врага».

Однако ещё сильнее, ещё неотразимее, чем шовинистическая ненависть против Польши и благоговение перед святостью Версальского договора, был страх перед призраком революции. Перед ним укрылся в подворотню и бурно-пламенный на словах патриотизм и нежно журчащий пацифизм. Крупная и мелкая буржуазия совместно с сопутствующими ей реформистскими элементами из пролетариата взирали, таким образом, на дальнейшее развитие вещей в Польше Одним глазом, который смеялся, и другим, который плакал.

Ленин внимательно прислушивался к деталям о поведении Коммунистической партии, равно как и реформистской партии и вождей профсоюзов, которые я ему сообщала.

Несколько минут сидел он молча, погружённый в раздумье.

— Да, — сказал он наконец, — в Польше случилось то, что должно было, пожалуй, случиться. Вы ведь знаете все те обстоятельства, которые привели к тому, что наш безумно смелый, победоносный авангард не мог получить никакого подкрепления со стороны пехоты, не мог получить ни снаряжения, ни даже чёрствого хлеба в достаточном количестве и поэтому должен был реквизировать хлеб и другие предметы первой необходимости у польских крестьян и мелкой буржуазии; последние же, под влиянием этого, готовы были видеть в красноармейцах врагов, а не братьев-освободителей. Конечно, нет нужды говорить, что они чувствовали, думали и действовали при этом отнюдь не социалистически, не революционно, а националистически, шовинистически, империалистически. Крестьяне и рабочие, одураченные сторонниками Пилсудского и Дашинского, защищали своих классовых врагов, давали умирать с голоду нашим храбрым красноармейцам, завлекали их в засаду и убивали.

Известно ли вам, что заключение мира с Польшей сначала встретило большое сопротивление, точно так же, как это было при заключении Брест-Литовского мира? Мне пришлось выдержать жесточайший бой, так как я стоял за принятие мирных условий, которые безусловно были благоприятны для Польши и очень тяжелы для нас. Почти все наши эксперты утверждали, что, принимая во внимание положение дел в Польше, особенно же учитывая её тяжёлое финансовое положение, можно было бы добиться мирных условий, гораздо более благоприятных для нас, в том случае, если бы мы могли продолжать военные действия хотя бы ещё некоторое время. Тогда бы для нас не была исключена возможность добиться полной победы. При условии продолжения войны национальные противоречия в восточной Галиции и в других частях Польши значительно ослабили бы военную силу официальной империалистической Польши. Несмотря на субсидии и кредиты Франции, всё растущее бремя военных расходов и бедственное финансовое положение вызвали бы в конце концов движение крестьян и рабочих. Были указания и на ряд других обстоятельств, доказывающих, что при дальнейшем ведении войны наши шансы становились бы всё благоприятнее.

— Я сам думаю, — продолжал Ленин развивать после короткой паузы свою мысль, — что наше положение вовсе не обязывало нас заключать мир какой угодно ценой. Мы могли зиму продержаться.

Но я считал, что с политической точки зрения разумнее пойти навстречу врагу, временные жертвы тяжёлого мира казались мне дешевле продолжения войны. В конце концов наши отношения с Польшей от этого только выиграли. Мы используем мир с Польшей для того, чтобы обрушиться со всей силой на Врангеля и нанести ему такой сокрушительный удар, который заставит его навсегда оставить нас в покое. Советская Россия может только выиграть, если они спойм поведением доказывает, что ведёт войну только для того, чтобы оборонять себя и защищать революцию, что оно единственное большое миролюбивое государство и мире, что ей чуждо какое-либо намерение захватить чью-либо территорию, подчинить себе какие-либо нации и вообще затевать империалистические авантюры. Но самое главное было то: могли ли мы без самой крайней нужды обречь русский народ на ужасы и страдания еще одной зимней кампании? Могли ли мы послать наших героев-красноармейцев, наших рабочих и крестьян, которые вынесли столько лишений и столько терпели, опять на фронт? После ряда лет империалистической и гражданской войны новая зимняя кампания, во время которой миллионы людей будут голодать, замерзать, погибать в немом отчаянии. Наличие съестных припасов и одежды сейчас ничтожно. Рабочие кричат, крестьяне ворчат, у них только забирают и ничего не дают... Нет, мысль об ужасах зимней Кампании была для меня невыносима. Мы должны были заключить мир.

Пока Ленин говорил, лицо его у меня на глазах как-то съёжилось. Бесчисленные большие и мелкие морщины глубоко бороздили его. Каждая из них была проведена тяжелей заботой или же разъедающей болью... Вскоре он ушел. Между прочим, он мне ещё успел сказать, что заказаны десять тысяч кожаных костюмов для красноармейцев, которые должны взять Перекоп со стороны моря. Но ещё до того, как эти костюмы были готовы, мы ликовали, получив известие, что героические защитники Советской России под гениальным и смелым предводительством т. Фрунзе штурмом овладели перешейком. Это был беспрецедентный военный подвиг, совершённый войсками и вождями.

Одной заботой, одним страданием у Ленина стало меньше на общем фронте также не предстояло зимней кампании.

<...>

Ц. ЦЮЙ*

Ленин**

Красный свет, бьющий во все стороны из Андреевского зала, озаряет вселенную; речи представителей трудящихся разных стран, их голоса сотрясают земной шар — это Коммунистический Интернационал на своем III конгрессе. Сегодня Кремль стал поистине символом поразительного сочетания различных культур человечества.

Ленин несколько раз выступал на конгрессе. Он совершенно свободно говорит по-немецки и по-французски, спокойно обдумывая и взвешивая каждое слово. В том, как Ленин держится во время выступлений, нет ничего от университетского профессора. И в этой простоте, с которой он держит себя, виден прямой и непреклонный политический деятель. Как-то я встретился с Лениным в коридоре, и мы разговаривали несколько минут. Он указал мне на некоторые материалы по вопросам Востока, а потом, занятый государственными делами, извинился и ушел.

Всякий раз, когда в Андреевском зале выступает Ленин, протиснуться к трибуне невозможно — на стульях и столах всюду люди, так что яблоку негде упасть. Когда в зале зажигаются огни, большая тень Ленина, образуя удивительную картину, падает на плакаты и лозунги: «Коммунистический Интернационал», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». Этот силуэт на кумаче рождает необыкновенные чувства и становится особым символом... Последние слова речи Ленина утопают в громе аплодисментов...

* * *

Завод «Электросила» № 3, бывшие мастерские «Динамо». Годовщина Октябрьской революции. В торжественный вечер на заводе собралось много народа... Рабочим — этим честным

* *Цюй Цю-бо* (1899–1935) — китайский писатель-публицист, видный деятель Коммунистической партии Китая. Один из руководителей КПК. Встречался с В. И. Лениным на III конгрессе Коминтерна. С 1933 г. народный комиссар просвещения Центрального рабоче-крестьянского демократического правительства Китая.

** Отрывки из «Путевых заметок о новой России». Первое воспоминание написано 6 июля 1921 г., второе — 8 ноября 1921 г. Печатаются по изд.: О Ленине. Воспоминание зарубежных современников. М.: Политиздат, 1966.

труженикам — пришлось немало повидать и перенести на своем веку: и разгоны рабочих сходов озверелыми казаками, и подобные урагану стачки, и упорные, не на жизнь, а на смерть, бои с врагами. А сегодня, в годовщину Октябрьской революции, их чествует столько людей! Служащие, рабочие, их семьи, группа за группой, всё идет и идет к заводу.

...Все встают, чтобы почтить память павших в боях за революцию. После того как стихают звуки траурной мелодии, на трибуну один за другим поднимаются ораторы, которые горячо поздравляют присутствующих.

Все, на кого ни глянь, в необычайно приподнятом настроении. Но вот совершенно неожиданно они видят, что на трибуну поднимается Ленин. Все, кто был в зале, толпой устремляются вперед. В течение нескольких минут кажется, что изумлению не будет конца. Однако тишина длится недолго: ее вдруг раскалывают крики «ура», аплодисменты, от которых сотрясаются небо и земля...

Взоры рабочих устремлены в одну точку — они прикованы к Ленину. Напрягая до предела слух, они внимательно слушают его речь, стараясь не упустить ни единого слова. На самых простых и понятных примерах Ленин убедительно показывает, что Советская власть — власть самих трудящихся, и сознание этой истины у трудящихся масс растет день ото дня, и с каждым днем она становится для них все более понятной.

«Человек с ружьем — страшный в прошлом в сознании трудящихся масс — не страшен теперь, как представитель Красной Армии, и является их же защитником».

Последние слова Ленина утопают в бурной овации. Кажется, не выдержат заводские стены грома аплодисментов, возгласов «ура» и торжественных звуков «Интернационала» — это пробуждается к жизни и растет великая, могучая энергия...

Собрание окончено. Большинство присутствующих уходит в столовую на праздничный ужин...

Заводской вечер, посвященный празднованию годовщины Красного Октября, был по-настоящему торжественен...

В. ШИМБОРСКАЯ*

Ленин**

За то, что поднял на борьбу угнетенных,
За то, что привел их к великой победе,
Которая стала фундаментом прочным
Для стройки грядущих эпох, —
Могила, в которой покоится он,
Адам человечества нового века,
Украшена будет цветами
С неведомых ныне планет.

Б. ШОУ***

Люди, желающие в самом деле что-нибудь сделать, как Ленин, не ждут****

Русский солдат сделал одну чрезвычайно удивительную вещь. Долго он сражался, испытывая ужасные страдания, а потом ему вдруг пришла в голову остроумная мысль: он взял и неожиданно перестал сражаться, вернулся домой и — захватил себе землю страны. Это — с точки зрения грабительских классов других стран — была первая ужасная русская жестокость. Может быть, это и есть жестокость, но если это и так, то эта жестокость очень практическая и хорошая. Когда потом русские приступили к организационной работе, они стали организовывать промышленность в интересах народа, уничтожая бездельников, а также буржуазную демократию, стоявшую им поперек дороги.

* *Шимборская Вислава* (1923–2012) — польская поэтесса; лауреат Нобелевской премии по литературе (1996).

** Перевод с польского М. С. Живова.

*** *Джордж Бернард Шоу* (1856–1950) — английский драматург ирландского происхождения, один из основоположников «драмы идей», писатель, эссеист, один из реформаторов театрального искусства XX в., после Шекспира второй в рейтинге популярности автор пьес в английском театре, лауреат Нобелевской премии по литературе (1925), обладатель премии «Оскар» (1939).

**** Статья «Люди, желающие в самом деле что-нибудь сделать, как Ленин, не ждут» написана в 1921 г. Печатается по изд.: Бессмертие. М.: «Художественная литература», 1970.

В данный момент есть один только интересный государственный деятель Европы: имя его Ленин. По мнению Ленина, социализм не вводится большинством народа путем голосования, а, наоборот, осуществляется энергичным убежденным меньшинством. Нет никакого смысла ждать, пока большинство народа, очень мало понимающее в политике и не интересующееся ею, не проголосует вопрос, тем более что вся пресса дурачит его, надувая ему в уши всякие нелепости.

Мы, социалисты, завоеывая себе немного удобств и комфорта, готовы ждать, но люди, желающие в самом деле что-нибудь сделать, — как Ленин, — не ждут... Он заявил, что каждый человек должен работать или голодать.

...Я устал наблюдать, как рабочие и социалисты Запада со страшными усилиями стараются втолкнуть камень на вершину, а он каждый раз скатывается вниз.

Камень постоянно скатывается вниз потому, что мы не работаем теми практическими способами, какими это делает Ленин.

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя	5
-------------------	---

I

ЛЕНИН ГЛАЗАМИ РОДНЫХ

<i>А. И. Ульянова-Елизарова</i> О В. И. Ленине и семье Ульяновых <Фрагменты>	9
<i>Н. К. Крупская</i> Мой муж — Владимир Ленин <Фрагмент>	24
Что нравилось Ильичу из художественной литературы	40

II

ОБРАЗ ЛЕНИНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

<i>Л. Авербах</i> О пометках Ленина на статье В. Плетнева <Фрагмент>	47
<i>А. Аверченко</i> Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко	59
<i>Г. Адамович</i> Литературные заметки	62
<i>В. Аксенов</i> Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках <Фрагмент>	63
<i>Ал. Алтаев</i> Я слушаю Ленина	65

<i>М. Алданов</i>	
Ленин. Политическая биография <Фрагменты>	67
<i>С. Алексеев</i>	
Снегирь	96
<i>Юз Алешковский</i>	
Смерть Ленина. Рассказ из книги «Пулоприпуло» (пункт по приему пустой посуды).....	98
<i>П. Антокольский</i>	
Рождение нового мира (1956).....	116
<i>П. Арский</i>	
Во дворце Кшесинской	118
<i>Н. Асеев</i>	
Опыт портрета (1934) (Отрывок)	123
<i>Э. Багрицкий</i>	
Ленин с нами	124
<i>П. Бажов</i>	
Солнечный камень	126
<i>Д. Бедный</i>	
Никто не знал (1927).....	130
<i>А. Безыменский</i>	
Партбилет № 224332.....	131
О Ленине	132
<i>А. Бек</i>	
На другой день <Фрагмент>	133
<i>О. Берггольц</i>	
Первый день (1941).....	142
<i>В. Билль-Белоцерковский</i>	
Октябрь в Москве <Фрагмент>	143
<i>В. Бонч-Бруевич</i>	
Общество чистых тарелок	144
На ёлке в школе	145
Владимир Ильич на субботнике	147
<i>Л. Бородин</i>	
Без выбора (Автобиографическое повествование) <Фрагмент>	148

<i>О. Брик</i>	
Брюсов против Ленина (1924)	154
<i>И. Бродский</i>	
Меньше единицы (1976) <Фрагмент>	159
<i>В. Брюсов</i>	
О Ленине	162
Реквием на смерть В. И. Ленина 24 января 1924	163
<i>Д. Быков</i>	
Явившийся вовремя	164
<i>Н. Валентинов</i>	
Смерть Ленина.	176
<i>К. Ваншенкин</i>	
Ленинский портрет (1960)	185
<i>А. Вознесенский</i>	
«Лонжюмо» (1963)	185
Уберите Ленина с денег.	186
<i>А. Воронский</i>	
Из прошлого	187
У склепа	188
<i>З. Воскресенская</i>	
Сердце матери (1963–1965)	197
Повесть в рассказах о М. А. Ульяновой	197
<i>А. Гастев</i>	
Свидание с Лениным.	206
<i>З. Гиппиус</i>	
Черные тетради (1917–1919) (Дневники, воспоминания) <Фрагменты>	208
<i>А. Гитович</i>	
Старому другу (1958)	212
<i>Г. Гоппе, В. Верховский</i>	
Разговор о тепле	212
<i>С. Городецкий</i>	
Наш Ильич (1949)	214
<i>Б. Гунько</i>	
«Дожили! Тянутся грязною лапой к Ленину!» (1991).	215

<i>Л. Данилкин</i>	
Ленин: пантократор солнечных пылинок <Фрагмент>	217
<i>Ю. Дегтярёв</i>	
«Все глуше стыд и боль все глуше...»	249
<i>С. Довлатов</i>	
Представление.	249
<i>Е. Долматовский</i>	
Баллада о памятнике.	270
<i>Е. Драбкина</i>	
Раздумье	273
<i>Ю. Друнина</i>	
В доме Зыряновых (1969)	281
<i>М. Дудин</i>	
Ленин.	282
<i>Е. Евтушенко</i>	
Ленин поможет тебе	282
Братская ГЭС <Фрагмент>	283
Первый арест (Из поэмы «Казанский университет») (1970) . .	284
<i>Вен. Ерофеев</i>	
Моя маленькая лениниана (1988)	287
<i>В. Ерофеев</i>	
За мимолетную страсть против брака (2017)	300
<i>С. Есенин</i>	
Ленин.	303
Ленин (1924)	306
Капитан земли (1925)	308
<i>А. Жаров</i>	
Ленин в гостях у комсомольцев	310
<i>П. Железнов</i>	
Дети Ленина	320
<i>Н. Заболоцкий</i>	
Ходоки (1954)	321
<i>Е. Зозуля</i>	
О Ленине	323

<i>М. Зоценко</i>	
Рассказы о Ленине (1939–1940)	326
<i>М. Ивсен</i>	
«Когда был Ленин маленький...»	337
<i>Р. Ивнев</i>	
Ленин	338
<i>В. Инбер</i>	
Пять ночей и дней (<i>На смерть Ленина</i>) (1924)	339
О Ленине	339
<i>М. Исаковский</i>	
Докладная записка (<i>Деревенская быль</i>)	340
Два сокола	343
<i>Ф. Искандер</i>	
Человек и его окрестности (2000-е) <Фрагмент>	344
<i>Р. Казакова</i>	
По поводу нового-старого гимна	381
<i>В. Казин</i>	
Да здравствует В. И. Ленин! (1920)	381
<i>Ю. Карякин</i>	
Верны ли мои убеждения? <Фрагмент>	383
Дневник русского читателя (Переделкино, 1994–2007) <Фрагменты>	394
<i>В. Катаев</i>	
В Смольном (1960)	397
<i>Т. Кибиров</i>	
Когда был Ленин маленьким (1985)	407
<i>В. Кириллов</i>	
Траурный марш (1924)	413
<i>А. Клинге</i>	
Ленин. Самая правдивая биография Ильича <Фрагмент> . . .	414
<i>Н. Клюев</i>	
Ленин (1918, 1923)	429
<i>М. Кольцов</i>	
Человек из будущего (1923)	430
<i>А. Кононов</i>	
Рассказы о В. И. Ленине	440

<i>Л. Котомка</i>	
Третье поручение	444
<i>Г. Кржижановский</i>	
Сонеты Владимиру Ильичу Ленину (1948)	447
Заморский подарок	453
За работой	454
<i>Н. Кубанский</i>	
Ленин великий (1924)	456
<i>Ю. Кузнецов</i>	
Триптих	456
<i>А. Куприн</i>	
Ленин. Моментальная фотография (1919)	457
<i>Б. Лавренев</i>	
Дворец Кшесинской (1937)	465
<i>Э. Лимонов</i>	
Священные монстры (портреты) (2004)	470
<i>М. Лисянский</i>	
Семья	476
<i>Б. Лихарев</i>	
Старая фотография (1956)	478
<i>В. Луговской</i>	
Ленин	478
Из поэмы «Москва» (1956)	479
<i>М. Луконин</i>	
Его любовь	480
<i>А. Луначарский</i>	
Владимир Ильич Ленин	482
Ленин и искусство	487
Воспоминания	487
<i>Н. Майоров</i>	
Ленин (1937)	492
<i>Л. Мартынов</i>	
Бессмертие правды	493
Ленин и Вселенная (1969)	494
<i>С. Маршак</i>	
Баллада о памятнике (1946)	494

Ленин	496
<i>В. Маяковский</i>	
Ленин с нами	496
Владимир Ильич!	500
Из поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924)	502
Мы не верим	505
<i>Д. Мережковский</i>	
Царство антихриста	506
Записная книжка. 1919–1920 <Фрагменты>	516
Лев Толстой и большевизм <Фрагменты>	518
<i>С. Михалков</i>	
Ноябрь (Из цикла «Круглый год»)	519
В музее В. И. Ленина	519
На родине Ленина	524
<i>В. Набоков</i>	
Воспоминание о Ленине в беседе с Рильке	526
Из мемуарной книги «Другие берега»	527
<i>Л. Наппельбаум</i>	
Лицо	529
<i>Л. Никулин</i>	
Большой человек мира сего	530
<i>Л. Озеров</i>	
«Как мало жил он!..» (1970)	534
<i>С. Орлов</i>	
Гвардейское знамя	535
<i>Г. Остер</i>	
Товарищи Ленина (1970)	536
<i>Н. Островский</i>	
Как закалялась сталь (1930–1934) <Фрагмент>	541
<i>И. Охлобыстин</i>	
Тень вождя (дачное поверье)	543
<i>В. Панова</i>	
Листок с подписью Ленина	546
<i>Ф. Панферов</i>	
Твердой поступью	548

<i>Б. Пастернак</i>	
Из поэмы «Высокая болезнь» (1923–1928)	552
<i>К. Паустовский</i>	
Январская стужа	554
<i>В. Пелевин</i>	
Хрустальный мир	558
<i>А. Платонов</i>	
Лампочка Ильича (1927)	577
<i>Н. Погодин</i>	
Человек с ружьем (1937)	
Пьеса в трех действиях, тринадцати картинах	
<Фрагмент>	586
<i>Б. Полевой</i>	
Покушение	591
<i>Н. Полетаев</i>	
Ленин на трибуне	593
Портретов Ленина не видно (1923)	597
<i>А. Поморский</i>	
Июльские дни	597
<i>Е. Преображенский</i>	
Ленин — гений рабочего класса (Социологический очерк)	
<Фрагмент>	600
<i>Д. Пригов</i>	
Из сборника «Написанное с 1975 по 1989»	612
<i>М. Прилежаева</i>	
Жизнь Ленина	613
<i>З. Прилепин</i>	
О Ленине (2015)	625
«Власть должна думать, насколько она мне угодна»	
Инт. Надежде Дроздовой 25 апреля 2016	627
Коммунизм — это наша традиция и наша единственная	
надежда на прорыв в будущее	628
<i>М. Пришвин</i>	
Ленин на охоте	631
<i>А. Прокофьев</i>	
«Когда мы в огнеметной лаве...» (1932)	635
Ленин (1941)	636

Три поколения	637
<i>А. Проханов</i>	
Ленин — человек неба	638
<i>В. Пьецух</i>	
Дневник читателя	641
<i>Л. Радищев</i>	
Пассажир с проходным свидетельством	649
<i>Ф. Раскольников</i>	
Рассказ о потерянном дне	655
<i>З. Рихтер</i>	
Первая годовщина	658
<i>Р. Рождественский</i>	
Из поэмы «Письмо в тридцатый век» (1963)	661
<i>В. Розанов</i>	
Воспоминания о Владимире Ильиче	662
<i>Л. Рубинштейн</i>	
Камень на камень (навстречу 97-й годовщине смерти Владимира Ильича Ленина)	676
<i>Н. Рыленков</i>	
Баллада о портрете (1948)	679
<i>И. Савельев</i>	
Я говорю врагам моим	680
<i>Г. Садулаев</i>	
Жизнь на Капри	681
<i>М. Светлов</i>	
Ленин смотрит на нас	704
Родное имя	705
<i>И. Северянин</i>	
По справедливости (1918)	706
<i>Л. Сейфуллина</i>	
Мужицкий сказ о Ленине	706
О Ленине	714
<i>И. Сельвинский</i>	
Баллада о ленинизме	716
Ленин (1966)	719

<i>А. Серафимович</i>	
Мои встречи с Лениным	719
<i>Г. Серебрякова</i>	
В. И. Ленин	724
<i>Скиталец</i>	
Ульянов-Ленин	727
<i>Я. Смеляков</i>	
Ленин (1949)	732
Размышления возле новогодней елки (1970).	733
<i>Ф. Солодов</i>	
На субботнике	735
<i>В. Солоухин</i>	
Это было в двадцатом (1950).	736
При свете дня <Фрагменты>.	739
<i>В. Сорокин</i>	
Аварон	760
<i>Ф. Степун</i>	
Ленин.	778
<i>П. Струве</i>	
Подлинный смысл и необходимый конец большевистского коммунизма. По поводу смерти Ленина	785
Человек-легенда, или Легенда о Ленине	790
<i>А. Сурков</i>	
Песня о Ленине (1932)	790
Ленин (1948)	791
Песня о Ленине (1960)	792
<i>А. Твардовский</i>	
Ленин и печник (1938–1940). <i>По преданию</i>	793
<i>Н. Тихонов</i>	
«Июль девятнадцатый, год двадцатый...»	797
Апрельский вечер (1966)	798
<i>Т. Толстая</i>	
Сюжет	805
<i>Б. Томашевский</i>	
Конструкция тезисов.	813

<i>Н. Тряпкин</i>	
Вербная песня (1994)	822
<i>Яков Тублин</i>	
Слово «Ленин» (1970)	822
<i>Тэффи</i>	
Моя летопись (Воспоминания) <Фрагменты>	823
<i>А. Фадеев</i>	
Предсмертное письмо	842
<i>К. Федин</i>	
Рисунок с Ленина (1939)	844
<i>О. Фокина</i>	
Любимый Ленин! (1967)	852
<i>М. Фофанова</i>	
В Питере и в Москве <Фрагмент>	853
<i>Д. Фурманов</i>	
Ленин в гробу	857
<i>Владислав Ходасевич</i>	
Язык Ленина (1924)	860
<i>Н. Ходза</i>	
После представления	863
<i>М. Цветаева</i>	
Покушение на Ленина (из дневников)	866
<i>Саша Черный</i>	
Две Думы	867

III

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ЛЕНИНЕ

<i>М. Адлер</i>	
Владимир Ильич Ленин	871
<i>М. Андерсен-Нексе</i>	
Я видел Ленина	884
<i>А. Петрос</i>	
Гвоздики	886
<i>Б. Михай</i>	
Картина с Лениным	887

<i>И. Бехер</i>	
Ленин	888
Мой путь к Ленину	888
<i>Е. Бобинская</i>	
Ленин в Варшавском красном полку	891
<i>Л. Брайант</i>	
В первые годы	894
<i>У. Браун</i>	
Бороться, как Ленин	898
<i>И. Буттити</i>	
Ленин жив!	899
<i>П. Вайян-Кутюрье</i>	
Ленин	900
<i>Г. Валькарсель</i>	
У Ленина	902
<i>А. Вильямс</i>	
Ленин-человек и его дело <Фрагменты>	904
<i>Н. Гильен</i>	
Ленин	916
В Регле, когда умер Ленин	917
<i>Т. Гонсалес</i>	
Эскиз к песне о Ленине	921
<i>О. Гримлунд</i>	
На перевале	922
<i>А. Джафри</i>	
Ленин (1948)	927
<i>Д. Джерманетто</i>	
С делегацией итальянских коммунистов в Москве	927
<i>Т. Драйзер</i>	
Ленин	931
<i>С. Иегерфельт</i>	
Могучая сосна	932
<i>С. Катаяма</i>	
С товарищем Лениным	934

<i>Н. Коча</i>	
Ленин	937
<i>А. Курелла</i>	
«Вы, собственно, кто по профессии, товарищ?» (Воспоминания).	939
<i>К. Кюлявков</i>	
Мое самое светлое воспоминание	947
<i>Ю. Латукка</i>	
Ленин в подполье в Финляндии	952
<i>Д. Линдсей</i>	
Ленин	957
<i>Г. Манн</i>	
Ответы в Россию	958
Пять лет со дня смерти Ленина	959
<i>Т. Манн</i>	
<Из размышлений>	960
<i>У. Наоки</i>	
С Лениным вместе!	960
<i>В. Незвал</i>	
Памяти Владимира Ильича Ленина	961
<i>П. Неруда</i>	
Из «Оды Ленину»	963
<i>Ф. Пинтос</i>	
Историю делает народ (Из воспоминаний делегата IV конгресса Коминтерна)	966
<i>Ф. Платтен</i>	
Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917 <Фрагменты>	974
<i>Ф. Прайс</i>	
Незабываемое время	988
<i>К. Равера</i>	
Могущество правды (1960)	991
<i>А. Рэнсом</i>	
Великий вождь	995
<i>Д. Рид</i>	
Десять дней, которые потрясли мир <Фрагмент>	1000

<i>Д. Родари</i>	
Горные вершины революции (1967).....	1026
<i>Р. Роллан</i>	
Дневники военных лет	1027
На смерть Ленина	1028
<i>А. Сатхе</i>	
Давайте о Ленине песню споем.....	1028
<i>А. Стель</i>	
Учитель	1029
<i>У. Тен Дон</i>	
Портрет	1031
<i>У. Герберт</i>	
Россия во мгле: Великий фантаст и кремлевский мечтатель (1920) <Фрагмент>	1032
<i>Л. Фишер</i>	
Жизнь Ленина <Фрагмент>	1044
<i>А. Франс</i>	
Письмо В. И. Ленину	1065
<i>Ю. Фучик</i>	
Ленин.....	1066
<i>Н. Хикмет</i>	
«Не умрет!..»	1069
<i>К. Хоанг</i>	
Почему мне дорог Ленин?.....	1070
<i>Х. Хупперт</i>	
Бригада памяти двадцать первого января	1072
<i>Л. Хьюз</i>	
Ленин.....	1074
<i>А. Цвейг</i>	
Труд — первооснова его жизни	1075
<i>С. Цвейг</i>	
Пломбированный вагон. Ленин, 9 апреля 1917 года	1077
<i>К. Цеткин</i>	
Воспоминания о Ленине <Фрагмент>.....	1086

Ц. Цюй

Ленин..... 1101

В. Шимборская

Ленин..... 1103

Б. Шоу

Люди, желающие в самом деле что-нибудь
сделать, как Ленин, не ждут..... 1103

Научное издание

В. И. ЛЕНИН: PRO ET CONTRA

*Образ и миф Ленина
в мировой литературе*

Антология

Составитель
Ольга Владимировна Богданова

Директор издательства *А. А. Галат*
Заведующий редакцией *В. Н. Подгорбунских*
Корректор *С. А. Авдеев*
Верстка *О. М. Кукушкиной*

Подписано в печать 18.10.2022. Формат 60×90^{1/16}
Бум. офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 70,00. Тираж 300 экз.
Зак. № 1072

191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15
Издательство Русской христианской гуманитарной академии
Тел.: (812) 310-79-29; +7 (981) 699-6595
E-mail: editor@rhga.ru. <http://www.rhga.ru>

Отпечатано в типографии «Поликона» (ИП А. М. Коновалов)
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134

Научное издание

В. И. ЛЕНИН: PRO ET CONTRA

*Образ и миф Ленина
в мировой литературе*

Антология

Составители

*Кирилл Михайлович Андерсон,
Ольга Владимировна Богданова*

Директор издательства *А. А. Галат*
Заведующий редакцией *В. Н. Подгорбунских*
Корректор *С. А. Авдеев*
Верстка *О. М. Кукушкиной*

Подписано в печать 18.10.2022. Формат 60×90^{1/16}
Бум. офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 70,00. Тираж 300 экз.
Зак. № 1072

191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15
Издательство Русской христианской гуманитарной академии
Тел.: (812) 310-79-29; +7 (981) 699-6595
E-mail: editor@rhga.ru. <http://www.rhga.ru>

Отпечатано в типографии «Поликона» (ИП А. М. Коновалов)
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134